
Виктор
Гюго
СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

Собор Парижской Богоматери (сборник)

Виктор Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери (сборник)
Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Ф. М. Достоевский
Собор Парижской Богоматери
  Книга первая
    I. Большой зал
    II. Пьер Гренгуар
    III. Кардинал
    IV. Мэтр Жак Коппеноль
    V. Квазимодо
    VI. Эсмеральда
  Книга вторая
    I. Сцилла и Харибда
    II. Гревская площадь
    III. Besos para colpes
    IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину
    V. Продолжение неудач

VI. Разбитая кружка
VII. Свадебная ночь
Книга третья
I. Собор Богоматери
II. Париж с птичьего полета
Книга четвертая
I. Добрые души
II. Клод Фролло
III. Immanis pecoris custos – immanior ipse
IV. Собака и ее господин
V. Продолжение о Клоде Фролло
VI. Нелюбовь народа
Книга пятая
I. Abbas beati Martini
II. Это убьет то
Книга шестая
I. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру
II. «Крысиная нора»
III. Рассказ о маисовой лепешке
IV. Слеза за каплю воды
V. Конец рассказа о лепешке
Книга седьмая
I. Как опасно доверять свою тайну козе
II. Священник и философ не одно и то же
III. Колокола

IV. 'ANÀГКН
V. Два человека в черном
VI. К каким последствиям могут привести несколько ругательств, громко произнесенных на улице
VII. Мрачный монах
VIII. Удобство окон, выходящих на реку
Книга восьмая
I. Золотая монета, превратившаяся в сухой лист
II. Продолжение рассказа об экю, превратившемся в сухой лист
III. Конец экю, превратившегося в сухой лист
IV. Lasciate ogni speranza
V. Мать
VI. Три мужских сердца, созданные различно
Книга девятая
I. Лихорадка
II. Горбатый, одноглазый, хромой
III. Глухой
IV. Песчаник и кристалл
V. Ключи от Красной двери
VI. Продолжение рассказа о ключе от Красной двери
Книга десятая
I. У Гренгуара на Бернардинской улице появ-

ляется несколько блестящих идей
II. Становись бродягой!
III. Да здравствует веселье!
IV. Медвежья услуга
V. Молельня короля Людовика XI
VI. «Огонек горит»
VII. «Шатопер, выручай!»
Книга одиннадцатая
I. Башмачок
II. La creatura bella bianco vestita
III. Женитьба Феба
IV. Женитьба Квазимодо
Человек, который смеется
Книга первая. «Море и ночь»
Пролог
1. Урсус
2. Компрачикосы
Часть первая. Ночь не так черна, как человек
1. Южная оконечность Портленда
2. Брошенный
3. Один
4. Вопросы
5. Дерево, изобретенное людьми
6. Битва смерти с ночью
7. Северная оконечность Портленда
Часть вторая. Урка в море

1. Законы, не зависящие от человеческой воли
2. Обрисовка первых силуэтов
3. Встревоженные люди на тревожном море
4. Появление тучи, не похожей на другие
5. Хардкванон
6. Они уповают на помощь ветра
7. Священный ужас
8. Nix et nox – Снег и ночь
9. Бурное море предостерегает
10. Буря – лютая дикарка
11. Каскеты
12. Поединок с рифом
13. Лицом к лицу с мраком ночи
14. Ортах
15. Portentosum mare – Море ужаса
16. Загадочное затишье
17. Последнее средство
18. Крайнее средство
Часть третья. Ребенок во мраке
1. Чесс-Хилл
2. Действие снега
3. Тягостный путь еще тяжелее от ноши
4. Иного рода пустыня
5. Причуды мизантропа
6. Пробуждение

Книга вторая. «По приказу короля»
Часть первая. Прошлое не умирает; в людях отражается человек
1. Лорд Кленчарли
2. Лорд Дэвид Дерри-Мойр
3. Герцогиня Джозиана
4. Magister elegantiarum – Законодатель изящества
5. Королева Анна
6. Баркильфедро
7. Баркильфедро пробивает себе дорогу
8. Inferi – Преисподняя
9. Ненависть так же сильна, как и любовь
10. Пламя, которое можно было бы видеть, будь человек прозрачен
11. Баркильфедро в засаде
12. Шотландия, Ирландия и Англия
Часть вторая. Гуинплен и Дея
1. Лицо человека, которого до сих пор знали только по его поступкам
2. Дея
3. Oculos non habet, et videt – Не имеет глаз, а видит
4. Прекрасно подобранная чета влюбленных
5. Лазурь среди мрака

6. Урсус наставник и Урсус опекун
7. Слепота дает уроки ясновидения
8. Не только счастье, но и благоденствие
9. Сумасбродство, которое люди без вкуса называют поэзией
10. Взгляды на вещи и на людей человека, выброшенного за борт жизни
11. Гуинплен – глашатай справедливости, Урсус – глашатай истины
12. Урсус-поэт увлекает Урсуса-философа
Часть третья. Возникновение трещины
1. Тедкастерская гостиница
2. Красноречие под открытым небом
3. Прохожий появляется снова
4. Ненависть роднит самых несходных людей
5. Жезлоносец
6. Мышь на допросе у котов
7. По каким причинам может затесаться золотой среди медяков?
8. Признаки отравления
9. Abyssus abyssum vocat – Бездна призывает бездну
Часть четвертая. Подземный застенок
1. Искушение святого Гуинплена
2. От сладостного к суровому

3. Lex, rex, fex – Закон, король, чернь
4. Урсус выслеживает полицию
5. Ужасное место
6. Какие судебные чины скрывались под париками того времени
7. Трепет
8. Стон
Часть пятая. Море и судьба послушны одним и тем же ветрам
1. Прочность хрупких предметов
2. То, что плывет, достигает берега
3. Всякий, кого в одно мгновение перебросили бы из Сибири в Сенегал, лишился бы чувств (Гумбольдт)
4. Чары
5. Человеку кажется, что он вспоминает, между тем как он забывает
Часть шестая Личины Урсуса
1. Что говорит человеконенавистник
2. И как он поступает
3. Осложнения
4. Moenibus surdis, campana muta – Стены глухи, колокол нем
5. Государственные интересы проявляются в великом и в малом
Часть седьмая. Женщина-титан

1. Пробуждение
2. Дворец, похожий на лес
3. Ева
4. Сатана
5. Узнают друг друга, оставаясь неузнанными
Часть восьмая. Капитолий и его окрестности
1. Торжественная церемония во всех ее подробностях
2. Беспристрастие
3. Старинный зал
4. Палата лордов в старину
5. Высокомерная болтовня
6. Верхняя и нижняя палаты
7. Жизненные бури страшнее океанских
8. Был бы хорошим братом, если бы не был примерным сыном
Часть девятая. На развалинах
1. С высоты величия в бездну отчаяния
2. Последний итог
Заключение. Море и ночь
1. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем
2. Баркильфедро метил в ястреба, а попал в голубку
3. Рай, вновь обретенный на земле

4. Нет, на небесах
Гаврош

Аннотация

В данное издание вошли такие знаменитые произведения Виткора Гюго как «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», «Гаврош».

Виктор Гюго
Собор Парижской Богоматери (сборник)

© Е. Лесовикова, составление, 2013
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013

* * *

Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
Ф. М. Достоевский

«Le laid, c'est le beau»[1] — вот формула, под которую лет тридцать тому назад самодовольная ратина думала подвести мысль о направлении таланта Виктора Гюго, ложно поняв и ложно передав публике то, что сам Виктор Гюго писал для истолкования своей мысли. Надо признаться, впрочем, что он и сам был виноват в насмешках врагов своих, потому что оправдывался очень темно и заносчиво и истолковывал себя довольно бестолково. И однако ж нападки и насмешки давно исчезли, а имя Виктора Гюго не умирает, и недавно, с лишком тридцать лет спустя после появление его романа «Notre Dame de Paris»[2], явились «Les Misérables»[3], роман,

---

[1] Сноски: 1
Безобразное тоже прекрасное (*фр.*).

[2] Сноски: 2
«Собор Парижской Богоматери» (*фр.*).

[3] Сноски: 3
«Отверженные» (*фр.*).

в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии в такой художественной полноте, что весь свет облетело его произведение, все прочли его, и чарующее впечатление романа полное и всеобщее. Давно уже догадались, что не глупой карикатурной формулой, приведенной нами выше, характеризуется мысль Виктора Гюго. Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. Конечно, аллегория немыслима в таком художественном произведении, как, например, «Notre Dame de Paris». Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и созна-

ние своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих.

Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи *«восстановления»* в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве. Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия, хотя, впрочем, принято обвинять наше столетие, что оно после великих образцов прошлого времени не внесло ничего нового в литературу и в искусство. Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов.

Виктор Гюго, бесспорно, сильнейший талант, явившийся в девятнадцатом столетии во

Франции. Идея его пошла в ход; даже форма теперешнего романа французского чуть ли не принадлежит ему одному. Даже его огромные недостатки повторились чуть ли не у всех последующих французских романистов. Теперь, при всеобщем, почти всемирном успехе «Les Misérables», нам пришло в голову, что роман «Notre Dame de Paris» по каким-то причинам не переведен еще на русский язык, на котором уже так много переведено европейского. Слова нет, что его все прочли на французском языке у нас и прежде; но, во-первых, рассудили мы, прочли только знавшие французский язык, во-вторых — едва ли прочли и все знавшие по-французски, в-третьих — прочли очень давно, а в-четвертых — и прежде-то, и тридцать-то лет назад, масса публики, читающей по-французски, была очень невелика сравнительно с теми, которые и рады бы читать, да по-французски не умели. А теперь масса читателей, может быть, в десять раз увеличилась против той, что была тридцать лет назад. Наконец — и главное — все это было уже очень давно. Теперешнее же поколение вряд ли перечитывает старое. Мы даже думаем, что роман Виктора Гюго теперешнему поколению читателей очень мало известен. Вот почему мы

и решились перевесть в нашем журнале вещь гениальную, могучую, чтоб познакомить нашу публику с замечательнейшим произведением французской литературы нашего века. Мы даже думаем, что тридцать лет — такое расстояние, что даже и читавшим роман в свое время может быть не слишком отяготительно будет перечесть его в другой раз.

Итак, надеемся, что публика на нас не посетует за то, что мы предлагаем ей вещь так всем известную… *по названью.*

Собор Парижской Богоматери

Несколько лет тому назад, посещая, или, вернее, обследуя собор Парижской Богоматери, автор этой книги заметил в темном углу одной из башен вырезанное на стене слово:

ΑΝ ΑΓΚΗ[4]

Греческие письмена, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в камне, неуловимые особенности готического письма, сквозившие в их форме и расположении и словно свидетельствовавшие о том, что их начертала средневековая рука, а более всего — мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, живо поразили автора.

Он раздумывал, он старался отгадать, чья скорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив клейма преступления или несчастья на челе старинного собора.

Теперь эту стену (я уже даже не помню, какую именно) не то закрасили, не то выскоблили, и

---

[4] Сноски: 4
Рок, судьба (*греч.*).

надпись исчезла. Ведь уже двести лет у нас так поступают с чудесными средневековыми церквами. Их калечат всевозможными способами как снаружи, так и изнутри. Священник их перекрашивает, архитектор скребет; затем является народ и разрушает их вконец.

И вот, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги посвящает таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, ничего не осталось ни от этого слова, ни от той неведомой судьбы, итог которой был столь меланхолически подведен в нем.

Человек, начертавший его на стене, исчез несколько столетий тому назад из числа живых, слово, в свою очередь, исчезло со стены собора, и самый собор, быть может, вскоре исчезнет с лица земли. Из-за этого слова и написана настоящая книга.

Февраль 1831 г.

Книга первая
I. Большой зал

Ровно триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижан разбудил громкий трезвон всех колоколов трех кварталов: Старого и Нового города и Университета. А между тем этот день, 6 января 1482 года, не принадлежал к числу тех, о которых сохранилась память в истории. Ничего примечательного не было в событии, так взволновавшем жителей Парижа и заставившем с утра звонить все колокола. На город не шли приступом пикардийцы или бургундцы, студенты не бунтовали, не предвиделось ни въезда «нашего грозного властелина, господина короля», ни занимательного повешения воров и воровок. Не ожидалось также прибытия какого-нибудь разряженного и разубранного посольства, что случалось так часто в пятнадцатом веке. Всего два дня тому назад одно из таких посольств, состоящее из фламандских послов, явившихся с целью устроить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, прибыло в Париж, к великой досаде кардинала

Бурбонского, который, угождая королю, должен был волей-неволей оказывать любезный прием этим неотесанным фламандским бургомистрам и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасной моралите, шуточной пьесы и фарса», в то время как проливной дождь хлестал по его великолепным коврам, разостланным у входа во дворец.

Но 6 января причиной волнения всех жителей Парижа, как говорит Жеан де Труайе, было установившееся с незапамятных времен двойное празднество — праздник Богоявления и праздник шутов. В этот день бывала иллюминация на Гревской площади, посадка майского дерева в Бракской часовне и мистерия во Дворце правосудия.

Об этом провозгласили накануне на всех перекрестках, при звуках труб, городские глашатаи в красивых одеждах из фиолетового камлота, с большими белыми крестами на груди.

Толпы горожан и горожанок, заперев дома и лавки, направились с самого утра по трем разным направлениям. Одни шли на Гревскую площадь, другие — в часовню, третьи — смотреть мистерию. И нужно отдать справедливость здравому смыслу тогдашних парижских зевак: большин-

ство из них предпочло иллюминацию, как раз подходящую ко времени года, и мистерию, которая должна была разыгрываться в большом зале Дворца, хорошо защищенном от непогоды. Бедному майскому дереву, едва покрытому листьями, любопытные предоставили одиноко зябнуть под январским небом на кладбище Бракской часовни.

Особенно много народу стекалось по улицам, ведущим ко Дворцу правосудия, так как было известно, что прибывшие два дня тому назад фламандские послы будут присутствовать на представлении и при избрании папы шутов, которое тоже должно было состояться в большом зале. Нелегко было пробраться в этот зал, считавшийся тогда самым большим на свете. (Действительно, тогда еще Соваль не измерял большого зала в замке Монтаржи.)

Залитая народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась тем, кто смотрел на нее из окон, волнующимся морем, куда пять или шесть улиц изливали каждую минуту, подобно рекам, новые волны голов. И эти волны, все увеличиваясь, разбивались об углы домов, выступавших, словно мысы, то тут то там, в неправильном вместилище площади.

В центре высокого готического[5] фасада Дворца правосудия с большой лестницы непрерывно поднимались и спускались толпы народу, разделяясь на верхней площадке и разливаясь широкими волнами по двум большим спускам, словно водопады. От криков, смеха, топота тысяч ног над площадью стояли страшный шум и гул. По временам этот шум усиливался, течение, несшее всю эту толпу к лестнице, внезапно поворачивало назад, и начинался какой-то водоворот. Это происходило тогда, когда полицейский страж ударял кого-нибудь ружейным прикладом или конный сержант врезался в толпу, чтобы водворить порядок; эта милая традиция, завещанная старшинами города коннетаблям, от коннетаблей перешла по наследству к объездной команде, а уж затем к теперешней жандармерии Парижа.

У дверей, у окон, на крышах, на чердаках — всюду виднелись тысячи добродушных, честных лиц горожан, глазевших на Дворец, на толпу и не желавших ничего больше. Многие парижане

---

[5] Сноски: 5

Значение, которое обыкновенно придается слову «готический», хоть и неточно, но принято всеми. Мы, как и все, употребляем его здесь, чтобы охарактеризовать стиль архитектуры второй половины Средних веков, в котором стрельчатый свод служит таким же отличительным признаком, как в предшествовавшем ему периоде полукруглый свод. (*Примеч. В. Гюго.*)

довольствуются тем, что лишь смотрят на других зрителей; даже стена, за которой происходит что-нибудь, уже представляет для них интерес.

Если бы мы, живущие в 1830 году, могли хоть мысленно смешаться с парижанами пятнадцатого века и войти вместе с ними, толкаясь, работая локтями и вертясь в гуще толпы, в огромный зал суда, казавшийся 6 января 1482 года столь тесным, мы увидели бы интересное и чарующее зрелище, нас окружали бы вещи столь старинные, что они показались бы нам совсем новыми.

Если читатель согласен, мы попробуем воспроизвести хоть мысленно то впечатление, которое мы с ним испытали бы, переступив за порог большого зала вместе с этой разношерстной толпой.

Прежде всего мы были бы оглушены страшным шумом и ослеплены роскошью и блеском. Вверху, над нашими головами, — двойной стрельчатый бледно-голубой свод, украшенный деревянной резьбой и усеянный золотыми лилиями; внизу, под ногами, — пол из черных и белых мраморных плит. В нескольких шагах от нас — громадная колонна, потом другая, третья. Всего вдоль зала семь колонн, поддерживающих двойной свод.

Вокруг первых четырех колонн — лавочки торговцев, сверкающие стеклом и разными по-

брякушками; вокруг трех остальных — дубовые скамьи, немало послужившие на своем веку, гладко отполированные одеждой тяжущихся и мантиями прокуроров. Кругом зала, вдоль высоких стен, между колоннами и в простенках между дверями и окнами, — бесконечный ряд статуй французских королей, начиная с Фарамонда, королей-лентяев с повисшими руками и опущенными глазами и королей мужественных, воинственных, смело поднявших к небу головы и руки. В высоких стрельчатых окнах вставлены тысячи разноцветных стекол. Великолепные двери украшены тонкой резьбой. И все это — свод, колонны, стены, наличники, потолок, двери, статуи — чудесного голубого цвета с золотом, уже несколько потускневшего в то время и вовсе исчезнувшего под пылью и паутиной к 1549 году, когда де Брель восхищался им уже только по преданию.

Теперь представьте себе этот громадный продолговатый зал, освещенный бледным светом январского дня, с нахлынувшей в него пестрой шумной толпой, и вы в общем получите о нем некоторое понятие, а интересные частности мы постараемся описать более точно.

Разумеется, если бы Равальяк не убил Генри-

ха IV, в канцелярии дворца не хранились бы документы по его делу, не было бы сообщников, заинтересованных в исчезновении этих документов, а следовательно, не было бы и поджигателей, вынужденных, за неимением лучшего средства, сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь самый Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Не было бы пожара 1618 года, старинный дворец сохранился бы до сих пор, и я мог бы сказать читателю: «Сходите посмотреть на большой зал». И мне не пришлось бы описывать его, а читателю — читать это посредственное описание. Все это служит доказательством новой истины, что великие события имеют неисчислимые последствия.

Возможно, конечно, что у Равальяка не было сообщников, а если он и имел их, то они все-таки могли быть неповинны в пожаре 1618 года. Существуют еще два весьма вероятных предположения. Во-первых, все знают, что 7 марта, после полуночи, большая пылающая звезда шириною в фут, длиною в локоть упала с неба на Дворец правосудия. Во-вторых, существует следующее четверостишие Теофиля:

Certes, ce fut un triste jeu,

Quand a Paris dame Justice,
Pour avoir mangé trop dépice,
Se mit tout le palais en feu[6].

Но как бы мы ни смотрели на эти три толкования — политическое, физическое и поэтическое, — событие, к сожалению, неопровержимое, пожар Дворца правосудия в 1618 году, остается налицо. По милости этого пожара, а в особенности по милости позднейшей реставрации, погубившей то, что пощадил пожар, в настоящее время почти ничего не осталось от этого первого дворца французских королей. Он был древнее Лувра и уже в царствование Филиппа Красивого считался таким старинным, что в нем находили много общего с великолепными постройками, воздвигнутыми королем Робертом и описанными Гельгальдусом. И почти все исчезло. Что сталось с канцелярией, где Людовик Святой «скрепил свой брак»? С садом, где он, «одетый в камлотовое платье, камзол без рукавов из грубого сукна и черный плащ, решал дела, лежа на ковре вместе с Жуанвилем»? Где комнаты императора Си-

---

[6] Сноски: 6

Да, печальное было зрелище, Когда парижская юстиция, Объевшись пряников, Подожгла свой дворец (*фр.*).

Четверостишие содержит игру слов: «epice» означает и «пряники», и «взятки».

гизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где лестница, с которой Карл IV провозгласил свой милостивый эдикт? Плита, на которой Марсель, в присутствии дофина, зарезал Роберта Клермонского и маршала Шампанского? Калитка, где были разорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда вышли его посланные, наряженные в шутовские мантии и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа? Где большой зал с его голубой окраской, позолотой, статуями, колоннами, с его стрельчатым сводом, покрытым резьбой? А позолоченная комната? А каменный лев около дверей с опущенной головой и поджатым хвостом, как у львов Соломонова трона, — символ силы, смиренно склоняющейся перед правосудием? А великолепные двери и цветные оконные стекла? А резные дверные ручки, приводившие в отчаяние Бикорнета? А изящная столярная работа дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? И что дали нам взамен этой истории галлов, этого готического стиля? Тяжелые полукруглые своды де Бросса, построившего неуклюжий портал Сен-Жерве, — по части искусства, а по части истории — вздорную болтовню господ Патрю о главной колонне. Нельзя сказать,

чтобы это было много.

Но вернемся к настоящему большому залу настоящего старинного дворца…

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом, таким длинным, широким и толстым, что, по выражению старинных рукописей, он был способен возбудить аппетит у Гаргантюа, потому что подобного куска мрамора в мире не бывало. На противоположном конце зала находилась часовня, где Людовик XI велел поставить свою коленопреклоненную статую перед образом Божией Матери и куда, по его приказанию, невзирая на то что в ряду королевских статуй остались две пустые ниши, были перенесены статуи Карла Великого и Людовика Святого, двух святых, пользующихся, по его мнению, в качестве французских королей большим влиянием на небе. Эта часовня, совсем новая, существовавшая всего лет шесть, была в том изящном, прелестном архитектурном стиле, с чудесными скульптурными украшениями и тонкой резьбой, который заканчивает готическую эру и продолжается до середины шестнадцатого столетия в волшебных, причудливых созданиях эпохи Возрождения. Тончайшим произведением искусства была

небольшая вделанная над входом сквозная розетка, необыкновенно изящной и тонкой работы. Она казалась сотканной из кружева звездой.

Посреди зала, напротив главного входа, около стены возвышалась обтянутая золотой парчой эстрада, на которую был устроен отдельный ход через окно коридора, находящегося перед золоченой комнатой. Эта эстрада была приготовлена для фламандских послов и других знатных особ, приглашенных на представление.

Мистерия, по издавна установившемуся обычаю, должна была разыгрываться на мраморной площадке, приготовленной с самого утра. На великолепной мраморной доске, исцарапанной каблуками судебных писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка. Верхняя ее часть, хорошо видная всем зрителям, должна была служить сценой, а внутренняя, замаскированная коврами, — одевальной для актеров. Лестница, наивно приставленная к клетке снаружи, предназначалась для сообщения сцены с одевальной, и по ней должны были входить и уходить актеры. Как ни внезапно должно было появиться какое-нибудь действующее лицо, ему все-таки приходилось взбираться по этой лестнице, и каким неожиданным ни предполагался ка-

кой-нибудь сценический эффект, нельзя было обойтись без этих ступенек. Невинное и почтенное детство искусства и механики!

Четыре сержанта дворцового судьи, обязанные присутствовать при всех народных развлечениях как в дни празднеств, так и во время казней, стояли по четырем углам мраморной площадки.

Представление должно было начаться ровно в двенадцать — с последним ударом дворцовых часов. Это было, конечно, слишком поздно для театрального представления, но приходилось поневоле считаться с удобствами фламандских послов.

Между тем вся толпа, теснившаяся в зале, ждала здесь с самого утра. Многие из любопытства пришли на площадь, как только занялась заря, и терпеливо стояли там, дрожа от холода, а некоторые даже утверждали, что провели всю ночь у главного входа, чтобы наверняка войти первыми. Толпа увеличивалась с каждой минутой и, как река, выступившая из берегов, поднималась около стен, вздувалась вокруг колонн, разливалась по карнизам, подоконникам, выступам и всем выпуклостям скульптурных украшений.

От давки, скуки, нетерпения, свободы сумасбродного и шутовского дня, ссор, разгоравшихся

из-за каждого пустяка — торчащего локтя или подбитого гвоздями башмака, — в криках этого стиснутого, запертого, задыхавшегося народа начало звучать раздражение еще задолго до прибытия послов. Со всех сторон раздавались жалобы и проклятия по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, судьи, Маргариты Австрийской, сержантов с жезлами, холода, жары, дурной погоды, парижского епископа, Папы, шутов, колонн, статуй, запертой двери, открытого окна. Все это очень забавляло затесавшихся в толпу студентов и слуг, старавшихся еще больше подзадорить недовольных, раздражая их, словно булавочными уколами, язвительными остротами и насмешками.

Особенно отличалась одна группа веселых забияк, которые, выбив в окне стекла, бесстрашно уселись на подоконник и оттуда осыпали насмешками попеременно то толпу на площади, то толпу в зале. По их оживленным жестам, звонкому хохоту, по тому, как весело перекликались они через весь зал с товарищами, видно было, что эти молодые люди не скучают и не томятся, как остальная публика, и что это зрелище вполне их удовлетворяет в ожидании другого.

— Черт побери, да это ты, Жан Фролло де Молен-

дино! — крикнул один из них, увидав маленького белокурого бесенка с хорошеньким, плутовским личиком, повисшего на акантах капители. — Ну, недаром же тебя зовут Жаном Фролло Муленом[7]. Твои руки и ноги и впрямь похожи на четыре крыла ветряной мельницы. Давно ты здесь?

— Да уж побольше четырех часов, — ответил Жан Фролло. — Надеюсь, они зачтутся мне, когда я попаду в чистилище. Я слышал, как восемь певчих сицилийского короля начали петь в семь часов раннюю обедню в капелле.

— Отличные певчие! Голоса их, пожалуй, еще пронзительнее их остроконечных колпаков. Только, прежде чем служить обедню святому Иоанну, королю следовало бы разузнать, нравятся ли святому Иоанну латинские псалмы с провансальским акцентом.

— И все это сделано для того, чтобы эти проклятые сицилийские певчие могли зашибить деньгу! — резко крикнула старуха, стоявшая в толпе под окном. — Подумать только! Тысячу ливров за одну обедню! Да еще из налога с продажи морской рыбы на парижских рынках!

— Помолчи, старуха! — сказал важный толстяк,

---

[7] Сноски: 7
Moulin — мельница (*фр.*).

стоявший возле рыбной торговки и зажимавший себе нос. — Нельзя было не отслужить обедни. Разве тебе хочется, чтобы король опять заболел?

— Ловко сказано, мэтр Жилль Лекорню, придворный меховщик! — закричал маленький студентик, прицепившийся к капители.

Все школяры громко захохотали, услыхав злосчастное имя придворного поставщика мехов.

— Лекорню! Жилль Лекорню![8] — кричали они.

— Cornutus et hirsutus![9] — прибавил кто-то.

— Ну, ясно, — продолжал маленький дьяволенок на капители. — И чему они смеются? Этот почтенный человек, Жилль Лекорню, — брат Жана Лекорню, смотрителя королевского дворца, сын Маги Лекорню, главного сторожа в Венсенском лесу. Все они парижские горожане, и все до одного женаты.

Хохот усилился. Толстый меховщик, не говоря ни слова, старался скрыться от устремленных на него со всех сторон глаз. Но тщетно пыхтел он и обливался потом: он торчал как клин, вбитый в дерево, и, сколько ни старался, только и мог, что

---

[8] Сноски: 8
Le cornu — рогатый (*фр.*).

[9] Сноски: 9
Рогатый и косматый (*лат.*).

спрятать за плечи соседей свое толстое, побагровевшее от досады и гнева лицо.

Наконец один из его соседей, такой же толстый, коренастый и почтенный, как он сам, пришел к нему на помощь.

— Безобразие! — воскликнул он. — Как смеют студенты так издеваться над горожанином! В мое время их высекли бы за это розгами, а потом сожгли бы на костре из этих самых розг.

Вся банда студентов накинулась на него:

— Эй! Кто это распевает там? Что это за зловещая сова?

— Постойте-ка, я знаю его! — воскликнул кто-то. — Это мэтр Андри Мюнье.

— Один из четырех присяжных книгопродавцов университета! — подхватил другой.

— В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки! — крикнул третий. — Четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре попечителя, четыре избирателя и четыре книгопродавца.

— Ну, так мы четырежды наделаем им хлопот! — вскричал Жан Фролло.

— Мюнье, мы сожжем твои книги!

— Мюнье, мы поколотим твоего слугу!

— Мюнье, мы намнем бока твоей жене!

— Что за славная толстуха — эта госпожа Ударда!

— И притом так свежа и весела, как будто овдовела!

— Черт побери вас всех! — пробормотал Мюнье.

— Молчи, мэтр Андри, а не то я свалюсь тебе прямо на голову, — сказал Жан, все еще вися на своей капители.

Мэтр Андри поднял глаза, смерил высоту капители, определил приблизительную тяжесть Жана и, помножив ее в уме на квадрат скорости, замолчал.

— Так-то лучше, — злорадно проговорил Жан, торжествуя победу. — Я это сделал бы, хоть и прихожусь родным братом архидьякону.

— Что за жалкое начальство сидит у нас в университете! Они даже не подумали ознаменовать наши привилегии в такой день, как сегодня! В городе — праздник мая и иллюминация; здесь — мистерия, папа шутов и послы; у нас в университете — ничего!

— А между тем площадь Мобер, кажется, достаточно велика, — заметил один из студентов, сидевших на подоконнике.

— Долой ректора, избирателей и попечите-

лей! — крикнул Жан.

— Устроим сегодня иллюминацию из книг мэтра Андри, — вторил ему другой.

— И из пюпитров писцов! — подхватил его сосед.

— И из жезлов надзирателей!

— И из плевательниц деканов!

— И из шкафов прокуроров!

— И из скамеек ректора!

— Долой! — зажужжал, как пчела, маленький Жан. — Долой мэтра Андри, надзирателей и писцов! Теологов, медиков и докторов богословия! Попечителя, избирателей и ректора!

— Настоящее светопреставление! — пробормотал Мюнье, затыкая уши.

— Вот, кстати, и ректор! Вот он пересекает площадь! — крикнул один из сидевших на окне.

Все устремили глаза на площадь.

— Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? — спросил Жан Фролло де Мулен; вися на капители, он не мог видеть площади.

— Да, да! — закричали ему. — Это он сам, мэтр Тибо, ректор!

И действительно, ректор и все университетские власти двигались процессией перед послами и в

настоящую минуту пересекали Дворцовую площадь. Сидевшие на окне студенты встретили их саркастическими выкриками и насмешливыми рукоплесканиями. Ректору, ехавшему впереди, достался первый оглушительный залп.

— Здравствуйте, господин ректор! Эй! Да здравствуйте же!

— Как он попал сюда, этот старый игрок? Как он решился расстаться с игральными костями?

— Смотрите, как он подпрыгивает на муле. А ведь, право же, у мула уши короче, чем у него самого!

— Здравствуйте, господин ректор Тибо! Tybalde aleator[10]. Старый дуралей! Старый игрок!

— Много ли раз выбросили вы двойную шестерку сегодня ночью?

— Что за отвратительная рожа — бледная, испитая, помятая! А все страсть к азартной игре!

— Куда это вы едете, Тибо, Tybalde ad dados? Повернувшись спиной к университету, а лицом к городу?

— Он, наверное, едет искать квартиру в улице

---

[10] Сноски: 10
Тибальд-кормилец (*лат.*).

Тиботодэ![11] — крикнул Жан де Мулен.

Вся компания с ревом повторила его остроту и неистово захлопала в ладоши.

— Вы, значит, хотите поселиться в улице Тиботодэ, ведь так, господин ректор, чертов игрок?

Потом наступила очередь других сановников университета.

— Долой надзирателей! Долой жезлоносцев!

— А это что за птица? Не знаешь ли ты, Робен Пуспен, кто это?

— Это Жильбер де Сюильи, Gilbertus de Soliaco, канцлер Отенской коллегии.

— Постой, вот мой башмак. Тебе ловчее, брось-ка его ему в физиономию!

— Saturnialitias mittimus ecce nuces[12].

— Долой шестерых богословов с их белыми стихарями!

— Так это-то богословы? А я думал, что это шесть белых гусей, которых святая Женевьева пожертвовала городу.

— Долой медиков!

— Долой диспуты на заданный и выбранный

---

[11] Сноски: 11

Непередаваемая игра слов, означающая: «Тибо с игральными костями».

[12] Сноски: 12

Вот мы и швыряем орешки сатурналиев (*лат.*).

по желанию тезис!

— А! Вот канцлер святой Женевьевы, швырнука в него своей шапкой! Немало он мне насолил! Он отдал мое место у нормандцев маленькому Асканию Фальзаспада из Буржской провинции, потому что он итальянец.

— Это несправедливо! — закричали все студенты. — Долой канцлера святой Женевьевы!

— Эй! Иоахимде Ладегор! Э-гей! Луи Дагюиль! Э-гей! Ламбер-Гоктеман!

— Ко всем чертям покровителя германской нации!

— И капелланов капеллы с их серым меховым облачением! Cum tunicis grisis[13].

— Seu de pellibus grisis furratis[14].

— Ого! Профессора университета! Все красивые черные мантии! Все красивые красные мантии!

— У ректора получился недурной хвост.

— Право же, можно подумать, что это венецианский дож идет обручаться с морем!

— Смотри-ка, Жан! Каноники Святой Женевьевы!

— К черту каноников!

---

[13] Сноски: 13
С серыми туниками (*лат.*).

[14] Сноски: 14
Или с серыми овчинными шкурами (*лат.*).

— Аббат Клод Шоар! Доктор Клод Шоар! Вы, должно быть, ищете Мари Жиффар?

— Она живет на улице Глатиньи!

— Она греет постель королю распутников!

— Она выплачивает свои четыре денье — quatuor denarios.

— Aut unum bombum[15].

— Вы хотите, чтобы она дала вам по носу?

— Смотрите! Это едет Симон Сангэн, избиратель из Пикардии, а сзади сидит его жена.

— Post equitem sedet atra cura[16].

— Смелее, мэтр Симон!

— Доброго утра, господин избиратель!

— Спокойной ночи, госпожа избирательница!

— Какие счастливцы — им видно все! — со вздохом проговорил Жан де Мулен, все еще цепляясь за завитки своей капители.

Между тем книгопродавец университета Андри Мюнье нагнулся к уху королевского меховщика Жилля Лекорню.

— Ну, право же, сударь, пришел конец света! — сказал он. — Никогда еще не видано было такой распущенности студентов. А всему виной

---

[15] Сноски: 15
Или одну потасовку (*лат.*).

[16] Сноски: 16
Сзади него черная забота (*лат.*).

эти проклятые новые изобретения — пушки, кулеврины, бомбарды, а в особенности книгопечатание — еще одна немецкая язва! Не будет больше ни рукописных сочинений, ни книг. Да, книгопечатание убивает книжную торговлю. Пришел конец мира!

— Верно, верно! Это видно уж по тому, как бойко стал расходиться бархат, — заметил меховщик.

В эту минуту пробило двенадцать.

— А! — в один голос воскликнула вся толпа.

Студенты замолчали; в зале поднялась страшная суматоха. Головы задвигались, ноги зашаркали, люди начали оглушительно кашлять и сморкаться; каждый старался устроиться поудобнее; затем наступила глубокая тишина. Все шеи вытянулись, все рты открылись, все глаза устремились к мраморной площадке. Но там не было никого. Только четыре сержанта, вытянувшись в струнку, продолжали стоять неподвижно, как раскрашенные статуи. Все взгляды обратились к эстраде, приготовленной для посольства; дверь была затворена, и эстрада пуста. Вся эта толпа ждала с самого утра, полдня, посольства и мистерии. Но лишь один полдень настал вовремя.

Это было уж слишком.

Подождали одну, две, три, пять минут, четверть

часа — представление не начиналось. Эстрада оставалась по-прежнему пустой, сцена — немой. Нетерпение начало сменяться гневом. Послышались недовольные возгласы — правда, еще негромкие — и сдержанный гул голосов: «Мистерию! Мистерию!» Возбуждение росло. Буря, пока еще вызывавшая лишь ропот, готова была разразиться каждую минуту. Первая искра вспыхнула благодаря Жану де Мулену.

— Мистерию, и к черту фламандцев! — крикнул он во всю силу своих легких, обвившись, как змея, вокруг капители.

Толпа захлопала в ладоши.

— Мистерию! — заревела она. — Ко всем чертям Фландрию!

— Начинайте мистерию, и сию же минуту! — продолжал студент. — А не то мы взамен представления повесим судью!

— Верно, верно! — подхватила толпа. — А для начала повесим его сержантов.

Поднялся страшный шум и крики. Несчастные сержанты побледнели и переглянулись. Толпа надвигалась на них, того и гляди рухнет легкая деревянная балюстрада, отделяющая их от зрителей.

Минута была критическая.

— Вздернуть их! Вздернуть! — кричали со всех сторон. Вдруг ковер, закрывавший вход в одевальную, откинулся, и показался человек, один вид которого усмирил толпу и, словно по волшебству, превратил ее гнев в любопытство.

— Тише! Тише! — раздались отовсюду голоса.

Вошедший неуверенно и боязливо шел по площадке, ежеминутно кланяясь. И чем ближе он подходил к краю, тем ниже становились его поклоны и тем больше были они похожи на коленопреклонение.

Между тем шум мало-помалу затих. Остался только тот легкий гул, который всегда стоит над замолчавшей толпой.

— Господа горожане и госпожи горожанки! — сказал вошедший. — Мы будем иметь честь представлять и декламировать перед его преосвященством господином кардиналом прекрасную моралите, под названием «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии». Я буду играть Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту достопочтенное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, слушая приветственную речь господина ректора университета у ворот Бодэ. Как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тот-

час же начнем представление.

Только вмешательство самого Юпитера и могло спасти четырех судейских сержантов. Если бы мы сами выдумали эту правдивую историю и были ответственны за нее перед судом почтеннейшей критики, то против нас нельзя было бы выставить классическое правило «Nec deus intersit»[17]. Кроме того, костюм Юпитера был очень красив и немало способствовал успокоению толпы, так как привлек всеобщее внимание. Юпитер был в латах, обтянутых черным бархатом, прикрепленным золотыми гвоздиками; на голове его была шапочка, украшенная серебряными вызолоченными шишечками. И если бы толстый слой румян не покрывал верхней части его лица, а густая рыжая борода не закрывала нижней; если бы он не держал в руках позолоченной картонной трубки, усеянной блестками и мишурой, в которой опытный глаз сейчас же узнал бы молнию; если б не его ноги, обтянутые телесным трико и перевитые на греческий манер лентами, — то он строгостью своей осанки мог бы поспорить с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

---

[17] Сноски: 17
«Незачем впутывать Бога» (*лат.*).

II. Пьер Гренгуар

Восхищение, вызванное костюмом Юпитера, мало-помалу проходило по мере того, как он говорил свою речь. А когда он дошел до злополучного заключения: «Как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тотчас же начнем представление», — голос его был заглушен громкими криками.

— Начинайте сейчас же! Мистерию! Мистерию! Сейчас же начинайте мистерию! — кричал народ.

Громче всех звучал пронзительный голос Жана де Мулена, выделявшийся как звук флейты среди грома других инструментов.

— Начинайте сию же минуту! — визжал студент.

— Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! — вопили Робен Пуспен и клерки, сидевшие на окне.

— Играйте моралите, — ревела толпа. — Сейчас же! Сию же минуту! А не то мы повесим комедиантов и кардинала!

Бедный Юпитер, растерянный, перепуганный, побледневший под румянами, уронил молнию,

снял шапочку, задрожал всем телом и, низко кланяясь, пробормотал: «Его преосвященство… послы… госпожа Маргарита Фландрская…» Он не знал, что сказать. Он всерьез испугался, что его могут повесить. Его повесит народ, если он будет ждать кардинала, его повесит кардинал, если он не станет ждать его. И в том и в другом случае — виселица.

К счастью, нашелся человек, пожелавший вывести его из затруднения и взять ответственность на себя.

До сих пор этот так неожиданно явившийся спаситель стоял в промежутке между балюстрадой и мраморным помостом. Его никто не замечал, так как колонна скрывала от публики его длинную тощую фигуру. Это был высокий, худой, бледный белокурый человек с блестящими глазами, улыбающийся, еще молодой, но уже с морщинами на лбу и на щеках. На нем была черная саржевая одежда, сильно потертая и лоснившаяся от времени. Он подошел к мраморному помосту и сделал знак несчастному Юпитеру. Но тот, совсем растерявшись, не замечал его.

— Юпитер! — позвал его незнакомец, подойдя еще ближе. — Любезный Юпитер!

Юпитер не слыхал его.

Тогда высокий блондин, потеряв терпение, крикнул ему чуть не в самое ухо:

— Мишель Жиборн!

— Кто меня зовет? — спросил Юпитер, словно внезапно пробудившись от сна.

— Я! — ответил незнакомец в черном.

— А! — сказал Юпитер.

— Начинайте сейчас же. Удовлетворите публику. Я берусь утихомирить судью, а тот утихомирит кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

— Господа горожане! — воскликнул он насколько мог громче, обращаясь к толпе, продолжавшей кричать и свистеть. — Мы сию минуту начнем представление!

— Evoe, Jupiter! Plaudite, cives![18] — закричали студенты.

— Браво! Браво! — заревела толпа.

Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер скрылся в одевальной, весь зал еще дрожал от криков одобрения.

Между тем незнакомец, превративший, как по волшебству, «бурю в штиль», как выражается

---

[18] Сноски: 18
Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! (*Лат.*)

наш милый старый Корнель, скромно удалился за свою колонну. Он, наверное, там бы и остался, по-прежнему невидимый для публики, по-прежнему безмолвный и неподвижный, если бы его не вызвали оттуда две молодые девушки, сидевшие в первом ряду зрителей и заметившие его разговор с Мишелем Жиборном — Юпитером.

— Мэтр! — сказала одна из них, делая знак подойти.

— Молчи, милая Лиенарда, — остановила ее сидевшая рядом с ней хорошенькая, свеженькая, разряженная по-праздничному девушка. — Он к клиру не принадлежит, он мирянин. Его нужно называть не «мэтр», а «мессир».

— Мессир! — сказала Лиенарда.

Незнакомец подошел к балюстраде.

— Что вам угодно, сударыни? — любезно спросил он.

— Нет... ничего! — смутившись, ответила Лиенарда. — Не я, а моя соседка, Жискета ла Жансьен, хотела вам что-то сказать.

— Неправда, — возразила Жискета, покраснев. — Это Лиенарда сказала вам «мэтр». А я поправила ее, объяснив, что нужно назвать вас «мессир».

Обе молодые девушки опустили глазки. Незна-

комец, который, по-видимому, был не прочь продолжать разговор, улыбаясь, смотрел на них.

— Так я ничем не могу служить вам, сударыни? — спросил он.

— О, ничем! — ответила Жискета.

— Совершенно ничем, — добавила Лиенарда.

Высокий блондин сделал шаг назад, собираясь уйти. Но две любопытные девушки не имели ни малейшего желания выпустить так легко свою добычу.

— Мессир, — заговорила Жискета с той стремительностью, которая свойственна водяному потоку и женской болтовне, — значит, вы знаете этого солдата, который будет играть роль Пресвятой Девы в мистерии?

— То есть вы хотите сказать — роль Юпитера? — спросил незнакомец.

— Конечно! — воскликнула Лиенарда. — Какая она глупая! Так вы знаете Юпитера?

— Мишеля Жиборна? Да, сударыня.

— Какая у него красивая борода! — сказала Лиенарда.

— А хорошо то, что они будут представлять? — застенчиво спросила Жискета.

— Великолепно, сударыня, — без малейшего колебания ответил блондин.

— Что же это будет? — спросила Лиенарда.

— «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии» — моралите, сударыня.

— А, это дело другое! — сказала Лиенарда.

Наступила короткая пауза. Незнакомец прервал ее.

— Это совершенно новая моралите, — заметил он, — ее еще ни разу не играли.

— Значит, это не та, — спросила Жискета, — которую давали два года тому назад, в тот день, как в город въезжал легат? Там еще играли три хорошенькие девушки, которые изображали…

— Сирен… — подсказала Лиенарда.

— И совсем голых, — прибавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глаза. Жискета взглянула на нее и последовала ее примеру.

— Да, это была очень интересная пьеса, — продолжал их собеседник. — Но сегодня будут играть моралите, написанную нарочно для герцогини Фландрской.

— А будут петь пастушеские песенки? — спросила Жискета.

— Помилуйте, разве это возможно в моралите? Не нужно смешивать разные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда дело другое.

— Жаль, — сказала Жискета. — В день приезда легата у фонтана Понсо играли прекрасную пьесу. Мужчины и женщины — их было очень много — представляли дикарей, сражались между собою и пели пастушеские песни и мотеты.

— То, что хорошо для легата, — довольно сухо заметил молодой человек, — не подходит для принцессы.

— И тогда, — сказала Лиенарда, — на различных инструментах исполняли чудесные мелодии.

— А чтобы прохожие могли освежиться, — подхватила Жискета, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и напиток с пряностями. Всякий мог пить сколько угодно.

— А немножко дальше фонтана, у Троицы, — продолжала Лиенарда, — актеры безмолвно представляли страсти Христовы.

— Ах, как хорошо я помню это! — воскликнула Жискета. — Господь на кресте и два разбойника по правую и по левую сторону.

Тут молодые подружки, разгоряченные воспоминаниями обо всем виденном в день въезда легата, затараторили разом, перебивая друг друга:

— А немного дальше, у Ворот живописцев, как великолепно были одеты актеры!

— А помнишь охотника, который около фонтана Святого Иннокентия гнался за козочкой, и собаки громко лаяли, и трубили рога?

— А около парижской бойни были устроены подмостки, изображавшие Дьепскую крепость…

— И когда мимо проезжал легат, — помнишь, Жискета? — начался приступ, и всех англичан перерезали.

— А какие прекрасные актеры были у ворот Шатлэ!

— А что творилось у моста Шанж!

— А как только легат въехал на мост, выпустили больше двухсот дюжин всяких птиц. Ах, как это было красиво, Лиенарда!

— Сегодня будет еще лучше, — сказал их собеседник, по-видимому, с нетерпением слушавший их болтовню.

— Вы ручаетесь, что мистерия будет хороша? — спросила Жискета.

— Вполне, — ответил он и прибавил несколько напыщенно: — Я автор этой пьесы, сударыни.

— Неужели? — воскликнули изумленные девушки.

— Совершенно верно, — ответил поэт, слегка выпятив грудь. — Нас, собственно, двое: Жан Маршан напилил доски и сколотил театр, а я

написал пьесу. Меня зовут Пьер Гренгуар.

Даже автор «Сида» не сумел бы более гордо произнести свое имя: Пьер Корнель.

Читатель, наверное, заметил, что должно было пройти уже порядочно времени с тех пор, как Юпитер ушел в одевальную, до той минуты, как Пьер Гренгуар объявил девушкам, что он автор новой моралите, и тем вызвал их наивное восхищение. Странная вещь! Вся эта толпа, такая буйная всего несколько минут тому назад, теперь добродушно ждала, успокоенная обещанием актера. Новое доказательство той вечной истины, которая ежедневно подтверждается и в наших театрах, что лучший способ заставить публику терпеливо ждать — это объявить ей: «Представление сейчас начнется!» Однако студента Жана провести было не так просто.

— Эй! — раздался вдруг его голос, нарушая мирную тишину, сменившую шум и волнение. — Юпитер, Пречистая Дева и все прочие чертовы фигляры! Насмехаетесь вы, что ли, над нами? Пьесу! Пьесу! Начинайте, а не то опять начнем мы!

Этого возгласа оказалось вполне достаточно.

Изнутри стоявшей на столе огромной клетки послышались звуки высоких и низких инструментов; ковер, закрывавший вход, откинулся,

из одевальной вышли четверо нарумяненных актеров в пестрых костюмах. Они вскарабкались по крутой лестнице и, добравшись до сцены, выстроились в ряд перед публикой и низко поклонились. Музыка смолкла. Началась мистерия. Четыре актера, щедро вознагражденные за свои поклоны рукоплесканиями, начали среди благоговейной тишины пролог, от которого мы избавим читателя. Впрочем, и публика не особенно внимательно слушала его. Ее, как нередко бывает и в наши дни, гораздо больше занимали костюмы действующих лиц, чем их роли. А на костюмы этих четверых актеров действительно стоило посмотреть. Все они были в платьях наполовину желтых, наполовину белых, одинаковых по покрою, но из разной материи. Платье первого актера было из золотой и серебряной парчи, платье второго — из шелковой материи, третьего — из шерстяной и четвертого — из полотна. Первый держал в руке шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — лопату. А чтобы зрители, не умеющие быстро соображать, поняли, что означают эти атрибуты, на подоле парчового платья было вышито большими черными буквами: «Я — дворянство»; на подоле шелкового платья: «Я — духовенство»;

на подоле шерстяного: «Я — купечество»; и на подоле полотняного: «Я — крестьянство». Каждый здравомыслящий человек мог сейчас же догадаться, какие из этих аллегорических фигур были мужского пола и какие женского, так как на первых платья были короче, а головные уборы гораздо проще.

Нужно было также не хотеть понимать, чтобы не понять из стихотворного пролога, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство — с Дворянством и что у этих двух счастливых парочек был общий чудный золотой дельфин, которого они решили отдать самой красивой женщине в мире. Они отправились разыскивать эту красавицу по всему свету; отвергнув голкондскую королеву, трапезондскую принцессу, дочь великого хана татарского и многих других, Крестьянство, Купечество, Духовенство и Дворянство пришли отдохнуть на мраморном помосте Дворца правосудия, где принялись угощать почтенную публику таким огромным количеством афоризмов, остроумных изречений, софизмов и риторических фигур, что их могло бы хватить на весь факультет словесных наук, для всех добивающихся ученой степени.

Все шло прекрасно.

Но ни у кого из слушателей, на которых эти четыре аллегорические фигуры изливали целые потоки метафор, не было таких внимательных ушей, такого трепещущего сердца, такого напряженного взгляда и такой вытянутой шеи, как у самого автора, поэта Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять против желания назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Теперь он стоял в нескольких шагах от них, спрятавшись за колонну, слушал, смотрел и наслаждался. Поощрительные аплодисменты, приветствовавшие начало его пролога, еще звучали у него в ушах, и он забылся в том блаженном упоении, с каким автор внимает словам актера, передающего его мысли одну за другой среди безмолвия многочисленной публики.

Достойный Пьер Гренгуар!

Однако это восторженное состояние, как нам ни грустно сознаться в этом, было скоро нарушено. Едва Гренгуар успел поднести к губам эту опьяняющую чашу радости и триумфа, как в нее уже попала капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, настолько затертый толпой, что не мог собирать милостыню, неудовлетворенный жалкими подачками своих соседей, решил взобраться на какое-нибудь

видное местечко, надеясь привлечь внимание публики и выклянчить у нее побольше. И вот во время пролога он ухитрился вскарабкаться по столбам эстрады, приготовленной для почетных гостей, и добрался до карниза под балюстрадой, где и уселся на виду, стараясь разжалобить зрителей своими лохмотьями и язвой на правой руке. Он не произносил при этом ни слова, и пролог продолжался без помехи. Он и закончился бы, пожалуй, благополучно, если бы по несчастной случайности студент Жан не заметил со своей колонны кривлявшегося нищего. Повеса громко захохотал и, нисколько не заботясь о том, что прерывает представление и мешает внимательно слушающей публике, весело крикнул:

— Посмотрите-ка! Этот несчастный собирает милостыню!

Тот, кому случалось бросить камень в болото, где много лягушек, или выстрелить в стаю птиц, может легко представить себе, какое действие произвело на зрителей это неожиданное восклицание в то время, как все внимание их было обращено на сцену. Гренгуар вздрогнул, как от электрической искры. Пролог прервался, и все головы сразу повернулись к нищему, которого это нимало не смутило. Он, напротив, нашел, что

теперь самое подходящее время просить милостыню, и, полузакрыв глаза, жалобно затянул: «Подайте Христа ради».

— Вот так штука! — воскликнул Жан. — Клянусь, это Клопен Труйльфу. Эй, приятель! Должно быть, болячка на ноге мешала тебе, что ты перенес ее на руку?

Говоря это, он с ловкостью обезьяны бросил мелкую серебряную монету прямо в засаленную шапку, которую Клопен держал в своей больной руке. Нищий, не сморгнув, принял подаяние и насмешку и продолжал жалобно тянуть: «Подайте Христа ради!»

Этот случай послужил немалым развлечением для публики, и многие зрители с Робеном Пуспеном и всеми членами причта во главе весело аплодировали странному дуэту, который так неожиданно затеяли среди пролога студент, пронзительно кричавший, и монотонно причитавший нищий.

Гренгуар был возмущен. Оправившись от неожиданности, он изо всех сил закричал актерам:

— Продолжайте! Черт возьми, да продолжайте же! — Он не удостоил даже взглядом двух нарушителей тишины.

В эту минуту кто-то дернул его за платье. Он с досадой обернулся и едва мог заставить себя улыбнуться. А не улыбнуться было нельзя: это Жискета ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку через решетку, старалась таким способом привлечь к себе его внимание.

— Сударь, — спросила девушка, — актеры будут продолжать?

— Конечно, — ответил несколько задетый этим вопросом Гренгуар.

— В таком случае, мессир, не будете ли вы любезны объяснить мне…

— Что они будут говорить? — прервал ее Гренгуар. — Извольте. Они…

— Нет, — сказала Жискета, — объясните мне, пожалуйста, что они говорили раньше!

Гренгуар вздрогнул, как вздрагивает человек, когда неосторожно дотронутся до его открытой раны.

— Черт бы побрал эту глупую девчонку! — сквозь зубы пробормотал он.

И с этой минуты Жискета погибла в его мнении. Между тем актеры повиновались ему и снова начали играть. Зрители, видя, что они заговорили, стали слушать. Но они все-таки были лишены возможности насладиться несколькими

прекрасными местами пролога из-за злополучного перерыва, так неожиданно разделившего его на две части. Так, по крайней мере, с горечью подумал про себя Гренгуар. Все же тишина мало-помалу восстановилась; студент молчал, нищий считал монеты в своей шапке, а пьеса шла своим чередом.

Это была, в сущности, очень недурная пьеса, которая могла бы, пожалуй, с успехом пойти с некоторыми изменениями и в наше время. Положим, она, согласно тогдашним правилам, была слишком растянута и бессодержательна, зато она отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души восхищался необыкновенной ясностью изложения.

Как и следовало ожидать, две аллегорические парочки немножко устали, обегав три части света и не найдя случая приличным образом отделаться от своего золотого дельфина[19]. А потому понятны бесконечные похвалы, которые они расточали своей чудесной рыбе, делая в то же время тонкие намеки на юного жениха Маргариты Фландрской. А он в это самое время сидел в печальном заточении в Амбуазе, нимало

---

[19] Сноски: 19

Игра слов: по-французски «dauphin» — «дельфин» и «дофин» (наследник французского престола).

не подозревая, что Крестьянство, Купечество, Духовенство и Дворянство совершили ради него целое кругосветное путешествие. Итак, дельфин был молод, красив, силен и — что еще важнее — был сыном Льва Франции, отсюда все его царственные достоинства. Эта удивительная и смелая метафора, хотя и несогласная с законами природы, не казалась неестественной в аллегории, написанной по случаю предстоящего бракосочетания дофина. Дельфин — сын Льва! Что же, как не вдохновение, внушило поэту такое необыкновенное и смелое сопоставление!

Однако критик, наверное, заметил бы, что двухсот стихов, пожалуй, слишком много для развития прекрасной идеи автора. Но и в этом случае для него находилось оправдание: господин прево распорядился, чтобы мистерия продолжалась от двенадцати до четырех часов, и потому поэту поневоле приходилось быть многоречивым, — не могли же актеры стоять молча на сцене. Впрочем, слушали терпеливо.

Вдруг, в то время как ссора между Купечеством и Дворянством находилась в полном разгаре и Крестьянство произносило удивительный стих:

Onc ne vis dans les bois bâte plus triom

phante...[20] –

дверь эстрады, которая до сих пор так некстати оставалась закрытой, теперь еще более некстати отворилась, и привратник громко провозгласил:

— Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!

III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати мушкетов, выстрел знаменитой пушки башни Бильи, которым в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито сразу семеро бургундцев, взрыв всего хранящегося у ворот Тампля пороха оглушили бы его в торжественную и драматическую минуту меньше, чем эта коротенькая фраза слуги: «Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»

Дело было не в том, что Пьер Гренгуар боялся кардинала или относился к нему с пренебрежением. Нет, он не был ни настолько малодушен, ни настолько высокомерен. Настоящий эклектик, как его назвали бы в наше время, он принадлежал

---

[20] Сноски: 20

В лесу невидан был такой торжествующий зверь (*стар. фр.*).

к числу тех спокойных, уравновешенных людей, обладающих возвышенным и твердым умом, которые всегда и во всем держатся золотой середины (stare in dimidio rerum), здраво рассуждают и либерально философствуют, относясь в то же время с полным уважением к кардиналам. Этот замечательный тип философов никогда не исчезает. Мудрость, словно Ариадна, дает им клубок ниток, и они, разматывая его, шествуют от сотворения мира сквозь лабиринт человеческих дел. Они всегда одинаковы, то есть всегда умеют приноровиться к своему времени. Оставив в стороне Гренгуара, их представителя в пятнадцатом веке, мы легко найдем подобный же тип и в шестнадцатом. Стоит только припомнить великолепные в своей наивности и достойные всех веков взгляды отца де Брёля: «Я парижанин по происхождению и парижанин по манере говорить, потому что „parrhisia" по-гречески значит „свобода речи". Я всегда говорил без всякого стеснения правду монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца [Конти], конечно, с должным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, что было нелегко».

Итак, в неприятном впечатлении, произведенном на Гренгуара появлением кардинала, не

было ни ненависти к нему, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт обладал слишком большой дозой здравого смысла и слишком потертой одеждой, чтобы не оценить того, что намеки его пролога, а в особенности горячие похвалы дофину, сыну Льва Франции, будут услышаны святейшим ухом. Но у благородных поэтических натур расчет никогда не стоит на первом плане. Если обозначить совокупность всех достоинств и недостатков поэта цифрою десять и подвергнуть это целое тщательному химическому анализу, разложив его на составные части, то, вероятно, можно было бы установить, как говорит Рабле, что на девять десятых самолюбия приходится всего едва десятая корыстолюбия. А в ту минуту, как отворилась дверь эстрады, процент самолюбия Гренгуара, польщенного восхищением публики, так разросся, что совершенно похоронил под собой ту маленькую частичку корысти, которую мы только что обнаружили в натуре поэта вообще. Впрочем, эта частичка есть тот реальный человеческий вес, без которого поэт никогда бы не прикасался к земле, а парил бы в воздухе.

Гренгуар наслаждался, видя, чувствуя и как бы осязая все, правда, далеко не блестящее, собра-

ние, которое изумлялось, цепенело и, казалось, задыхалось от нескончаемых тирад, сыпавшихся на него из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар сам разделял всеобщий восторг и в полную противоположность Лафонтену, который, присутствуя при представлении своей комедии «Флорентинец», выкрикнул: «Какой это болван написал такую дрянь?» — он, наоборот, готов был спросить своего соседа: «Кем написан этот шедевр?» Можно представить себе поэтому, какое впечатление произвело на него шумное и неуместное появление кардинала.

Его опасения полностью оправдались. Прибытие его преосвященства всполошило всю аудиторию. Все головы повернулись к эстраде. Поднялся страшный шум. «Кардинал! Кардинал!» — раздавалось со всех сторон. И несчастный пролог был прерван во второй раз.

Кардинал на минуту остановился у входа на эстраду и довольно равнодушно оглядел зрителей. Шум усилился, каждому хотелось получше рассмотреть кардинала; каждый вытягивал шею и клал голову на плечо соседа.

Это было действительно очень важное лицо, и взглянуть на него стоило всякого другого зрелища. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ

и граф Лионский, примат Галльский, состоял в родстве и с Людовиком XI, на старшей дочери которого был женат его брат, синьор Пьер Божэ, и с Карлом Смелым по линии своей матери, Анны Бургундской. Отличительной чертой примата Галльского было то, что по натуре это был настоящий придворный, преклонявшийся перед властью. Можно представить себе, сколько затруднений вытекало для него из этого двойного родства и с каким трудом приходилось ему лавировать между подводными камнями, чтобы не натолкнуться ни на Людовика XI, ни на Карла — на Сциллу и Харибду, уже погубивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. К счастью, ему удалось избегнуть опасностей и благополучно достигнуть Рима. Но хотя теперь он и был у пристани или, вернее, именно поэтому, он не мог без тревоги вспоминать о препятствиях, встречавшихся ему в его политической жизни, так долго исполненной борьбы и труда.

Он имел обыкновение повторять, что 1476 год был для него «и черным и белым»: в этот год умерли его мать, герцогиня Бурбонская, и его двоюродный брат, герцог Бургундский; второй траур был для него утешением после первого.

Впрочем, это был довольно добродушный

человек. Он вел веселую жизнь кардинала, с удовольствием попивал королевское вино Шальо, благосклонно относился к Ришарде ля Гармуаз и к Томасе ля Сайярд, гораздо охотнее подавал милостыню молодым девушкам, чем старухам, и благодаря всему этому пользовался большой популярностью у парижан. Он являлся всюду в сопровождении целого штата епископов и аббатов знатного происхождения, любезных, веселых, готовых при случае покутить. И часто разряженные прихожанки Сен-Жерменского предместья, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, бывали возмущены, слыша, как те же самые голоса, которые пели днем в церкви, теперь при звоне стаканов распевали вакхическую песню Бенедикта XII, Папы, прибавившего третью корону к тиаре: «Bibamus papaliter»[21].

Должно быть, именно благодаря этой вполне заслуженной популярности толпа не встретила кардинала шиканьем, несмотря на то что была так враждебно настроена против него всего несколько минут тому назад, да еще нисколько не расположенная относиться с уважением к карди-

[21] Сноски: 21
«Будем пить, как Папа» (*лат.*).

налу в тот самый день, как ей самой предстояло выбирать себе папу. Но парижане не злопамятны. Они заставили начать представление, не дожидаясь прибытия его преосвященства, и эта победа удовлетворила их. Да к тому же кардинал Бурбонский был очень красив, на нем была великолепная красная мантия, которая очень к нему шла. Значит, на его стороне были все женщины и, следовательно, лучшая часть зрителей. Ведь и в самом деле было бы несправедливо и бестактно шикать кардиналу за то только, что он немножко опоздал, когда он такой красивый и к нему так идет его красная мантия.

Он вошел и поклонился присутствующим с традиционной улыбкой, которая всегда появляется у высокопоставленных лиц при обращении к народу, потом медленно направился к своему красному бархатному креслу с рассеянным видом человека, думающего о чем-то постороннем. Вслед за ним на эстраду вошла вся его свита, весь его, как выразились бы в наши дни, генеральный штаб, состоящий из епископов и аббатов, отчего еще усилились волнение и любопытство толпы. Всякий знавший хоть одного из этих духовных лиц спешил указать на него и назвать его. Вот, насколько я помню, марсельский епископ Алодэ,

вот премикарий Сен-Дени; вот Роберт де Леспинас — аббат Сен-Жермен-де-Пре, этот распутный брат любовницы Людовика XI. Все напропалую путали имена и принимали одно лицо за другое. Студенты же ругались вовсю. Это был их день, их праздник шутов, сатурналия, ежегодная оргия студентов и причетников. Всякое безумство считалось в этот день дозволенным, всякая дерзость — простительной. К тому же в толпе находились такие зачинщики, как Симона Четыре Ливра, Агнеса Треска, Розина Козлоногая. Для каждого соблазном было побраниться и безнаказанно покощунствовать в такой исключительный день, в таком исключительном обществе священников и уличных девок одновременно. И они не давали маху; среди всеобщего шума раздавались неистовые проклятия и гнусные выкрики всех тех развязавшихся языков студентов и причетников, которые в обычное время сдерживались страхом перед раскаленным железом Святого Людовика. Бедный Людовик Святой! Какие непристойности позволяли они себе в самом его дворце! Каждый из них выбрал себе на эстраде одну из сутан — черную, серую, белую или фиолетовую — и изощрялся над ней в своем остроумии. А Жан Фролло де Молендино, в качестве архидьяконско-

го брата, смело набросился на красную мантию и, устремив на кардинала свои дерзкие глаза, распевал во все горло:

Capa repleta mero![22]

Все эти насмешки и остроты, которые мы описываем не приукрашивая, в назидание читателю, сливались с гулом толпы и исчезали в нем, не доходя до эстрады. Впрочем, кардинала это и не тронуло бы, настолько уже вошла в обычай полная свобода того дня. Да ему было и не до того. У него была своя забота, и его физиономия целиком выражала ее — то были фламандские послы, взошедшие на эстраду почти одновременно с ним.

Кардинал не был глубоким политиком. Его мало интересовало, каковы будут последствия брака между его кузиной, Маргаритой Бургундской, и кузеном Карлом, дофином венским, долго ли продолжится неискреннее примирение герцога Австрийского с королем французским, как примет английский король пренебрежение, с которым отнеслись к его дочери. Нет, все эти вопросы не особенно интересовали его, и он очень спокойно пил каждый вечер вино Шальо, подававшееся к королевскому столу. Ему и в го-

---

[22] Сноски: 22
Голова, наполненная вином (*лат.*).

лову не приходило, что несколько бутылок этого самого вина, только немножко приправленного доктором Куаксье, будут любезно предложены Людовиком XI Эдуарду IV и в один прекрасный день избавят Людовика XI от Эдуарда IV.

Достопочтенное посольство герцога Австрийского тревожило кардинала не в политическом, а совсем в другом отношении. Мы уже говорили раньше, что ему было тяжело принимать этих послов. Он, Карл Бурбонский, должен был рассыпаться в любезностях перед какими-то мещанами; кардинал вынужден принимать светских старшин; ему, французу и веселому собеседнику, приходилось выносить общество неотесанных фламандцев, которые молча тянут пиво. И все это он принужден был проделывать публично. Никогда еще не случалось ему играть такой скучной роли в угоду королю.

Но когда привратник громко провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», кардинал с самой приветливой улыбкой — он отлично умел владеть собою — обернулся к двери. Нечего и говорить, что глаза всех в зале обратились туда же.

На эстраду начали входить попарно, со степенной важностью, представлявшей резкий контраст с оживлением духовной свиты Карла

Бурбонского, сорок восемь послов Максимилиана Австрийского. Во главе их шли: преподобный отец Жеан, аббат Сен-Бартенский, канцлер ордена Золотого Руна, и Иаков де Гуа, сьёр Доби, главный судья Гента. В зале наступила тишина, прерываемая заглушенным смехом, когда привратник провозглашал смешные имена и титулы фламандцев, невозможно коверкая их. Тут были: мэтр Лоис Рёлоф, старшина города Лувена; мессир Клайс Этюальд, старшина города Брюсселя; мессир Поль Баёст, сьёр Вуармизель, президент Фландрии; мэтр Жеан Коллегенс, бургомистр города Антверпена; мэтр Георг Мёр, главный старшина города Гента; мэтр Гельдольф ван дер Геге, дворянский старшина того же города, и сьёр Борбок, и Жеан Пиннок, и Жеан Димаэрзель и т. д. и т. д. — судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи — серьезные, важные, чопорные, разряженные в бархат и шелк, в черных бархатных шапочках, украшенных кипрскими золотыми кистями. Впрочем, у всех этих фламандцев были славные лица, спокойные и строгие, того типа, который обессмертил Рембрандт на темном фоне своего «Ночного дозора». Стоило только взглянуть на них, чтобы убедиться, что Максимилиан Австрийский имел

полное основание «всецело довериться» послам, как он выразился в своем манифесте, «полагаясь на их здравый смысл, мужество, опытность и добросовестность».

Только один из них составлял исключение. У него было умное, хитрое лицо обезьяны и дипломата. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и низко поклонился, несмотря на то что это был только Гильом Рим, советник и пенсионарий города Гента.

Немногие знали тогда, что представлял собой Гильом Рим. Редкий гений, который во время революции, вероятно, с блеском выплыл бы на поверхность событий, но в пятнадцатом веке был принужден заниматься подпольными интригами и — как выразился герцог Сен-Симон — «жить в подкопах». Впрочем, он был оценен как первый «подкапыватель» Европы Людовиком XI. Гильом Рим орудовал запросто у Людовика XI, не раз исполняя его секретные поручения. Но толпа, собравшаяся в зале, не подозревала этого и удивлялась, с какой стати так разлюбезничался кардинал с каким-то жалким фламандским советником.

IV. Мэтр Жак Коппеноль

В то время как пенсионарий города Гента и его преосвященство обменивались низкими поклонами и произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, с широким лицом и могучими плечами выступил вперед, чтобы войти одновременно с Гильомом Римом. Он напоминал бульдога, пробирающегося за лисицей. Его войлочная шапка и кожаная куртка казались пятном среди бархатных и шелковых одежд. Привратник, полагая, что это конюх, зашедший сюда по ошибке, заступил ему дорогу.

— Постой, любезный, — сказал он, — здесь входа нет!

Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.

— Что нужно этому болвану? — воскликнул он таким громким голосом, что весь зал встрепенулся и стал слушать. — Разве ты не видишь, что и я принадлежу к посольству?

— Ваше имя? — спросил привратник.

— Жак Коппеноль.

— Звание?

— Чулочник в Генте, под вывеской «Три це-

почки».

Привратник попятился. Докладывать о старшинах и бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике — это уж слишком. Кардинал был как на иголках. Народ слушал и смотрел. Вот уже два дня, как его преосвященство старался по мере сил отшлифовать этих фламандских медведей, чтобы сделать их более представительными в обществе, и теперь все было испорчено.

Между тем Гильом Рим подошел к привратнику и со своей лукавой улыбкой вполголоса сказал ему:

— Доложите: мэтр Жак Коппеноль, клерк совета старшин города Гента.

— Привратник, — громко повторил кардинал, — доложите: мэтр Жак Коппеноль, клерк старшин славного города Гента.

Это была ошибка. Гильом Рим, действуя осторожно и незаметно, наверное, уладил бы дело; теперь же Коппеноль услыхал слова кардинала.

— Нет, черт побери! — воскликнул он своим громовым голосом. — Доложи: Жак Коппеноль, чулочник. Слышишь? Только это — ни больше ни меньше. Черт возьми! Чулочник — что же в этом зазорного! Да сам эрцгерцог не раз искал свою перчатку в моем товаре.

Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. В Париже сейчас же поймут шутку и оценят ее по достоинству. Да к тому же Коппеноль был из народа, как и вся публика в зале. Благодаря этому сближение между ним и зрителями произошло мгновенно. Гордая выходка фламандского чулочника, оскорбив придворных, пробудила в душе всех плебеев чувство собственного достоинства, еще смутное и подсознательное в пятнадцатом веке. Этот Коппеноль, равный им по происхождению, не уступил кардиналу. И это было очень приятно жалким беднякам, привыкшим относиться с глубоким уважением и покорностью даже к слугам сержанта судьи аббатства Святой Женевьевы, потому что этот судья был шлейфоносцем кардинала.

Коппеноль гордо поклонился кардиналу, и тот вежливо ответил на поклон всемогущего горожанина, которого боялся даже Людовик XI. Гильом Рим, этот «умный и хитрый человек», по выражению Филиппа Коммина, с улыбкой насмешки и превосходства следил за ними в то время, как они возвращались на свои места. Кардинал был смущен и озабочен; Коппеноль смотрел спокойно и гордо. Он, наверное, раздумывал теперь о том, что его звание торговца, в конце концов, не хуже

любого другого титула и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он приехал сюда сватать, гораздо меньше боялась бы его, если бы он был кардиналом, а не торговцем. Не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал убедил толпу выполнить свое намерение, несмотря на мольбы и слезы принцессы фландрской, пришедшей к подножию эшафота и умолявшей народ пощадить ее любимцев. Чулочнику стоило только шевельнуть рукой, чтобы с плахи скатились головы двух светлейших сановников, Ги Эмберкура и канцлера Вильгельма Гугоне!

Однако бедного кардинала ждала еще одна неприятность. Он попал в дурное общество, и ему пришлось испить горькую чашу до дна.

Читатель, может быть, не забыл дерзкого нищего, который, как только начался пролог, взобрался на край кардинальской эстрады. Прибытие высоких гостей не заставило Клопена спуститься вниз, и в то время как прелаты и посланники, набившись на эстраду, как настоящие фламандские сельди в бочонок, усаживались на свои места, он преспокойно скрестил ноги на карнизе. Сначала никто не заметил этой дерзости, так как все были заняты другим. А Клопен, со своей стороны, не

обращал никакого внимания на то, что делалось в зале. Он с беззаботностью неаполитанца покачивал головою и время от времени, несмотря на шум, начинал по привычке тянуть: «Подайте Христа ради!» И без всякого сомнения, только он один из всего собрания не удостоил повернуть голову, когда Коппеноль заспорил с привратником. Гентский чулочник, уже успевший заслужить сочувствие всего зала, прошел в первый ряд и случайно сел как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее удивление, когда фламандский посол, пристально вглядевшись в нищего, дружески хлопнул его по плечу, покрытому лохмотьями! Клопен обернулся, с изумлением взглянул на посла и, по-видимому, узнал его, так как лица их обоих просветлели. Потом, не обращая никакого внимания на устремленные на них со всех сторон взгляды, чулочник и нищий начали тихонько разговаривать, держа друг друга за руки, причем лохмотья Клопена Труйльфу на обтянутой золотой парчой эстраде казались гусеницей, вползшей на апельсин.

Эта неожиданная сцена вызвала такой смех и такое безудержное веселье в публике, что кардинал не мог этого не заметить. Он наклонился, но так как с его места были только чуть-чуть видны

лохмотья Труйльфу, то ему, естественно, пришло в голову, что нищий выпрашивает милостыню.

— Господин дворцовый старшина! — воскликнул он, возмущенный такою наглостью. — Велите-ка бросить этого негодяя в реку!

— Помилосердствуйте, ваше преосвященство! — сказал Коппеноль, не выпуская руки Клопена. — Это мой друг!

— Браво! Браво! — закричала толпа.

С этой минуты мэтр Коппеноль в Париже, как и в Генте, вошел «в большое доверие у народа, так как люди такого покроя, — говорит Филипп де Коммин, — входят у народа в доверие, когда они держат себя столь бесцеремонно».

Кардинал закусил губу и, наклонившись к своему соседу, аббату Святой Женевьевы, вполголоса сказал:

— Удивительных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.

— Вы, ваше преосвященство, чересчур любезны с этими фламандскими свиньями. Margaritam ante porcos[23].

---

[23] Сноски: 23
Жемчуг перед свиньями (*лат.*).

— А не лучше ли так: Porcos ante Margaritam?[24] — с улыбкой сказал кардинал.

Вся свита в сутанах пришла в восторг от такой игры слов. Это несколько утешило кардинала. Он рассчитался с Коппенолем — его шутка тоже имела успех.

Теперь мы позволим себе спросить тех из наших читателей, которые умеют обобщать образы и идеи, вполне ли ясно представляют они себе, какое зрелище являл громадный параллелограмм зала в тот момент, о котором идет речь.

Посреди западной стены возвышается великолепная, обтянутая золотой парчой эстрада; через маленькую стрельчатую дверь на нее входят один за другим важные посетители, о которых докладывает резким голосом привратник. На передних скамьях уже разместились разодетые в шелк и бархат послы. На эстраде все тихо и чинно, а по обе ее стороны и прямо перед ней шумит и волнуется внизу громадная толпа. Тысячи глаз устремлены на каждого входящего на эстраду, тысячи уст повторяют шепотом его имя. Зрелище действительно очень любопытное и вполне заслуживающее внимания публики. Но что же это

---

[24] Сноски: 24
Свиньи перед жемчугом (Маргаритой) — игра слов.

там, в самом конце зала? Что это за подмостки, на которых кривляются четыре пестро одетые фигуры? Кто этот бледный человек в потертой одежде, стоящий около подмостков? Увы, любезный читатель, — это Пьер Гренгуар и его пролог.

Мы совсем было забыли о нем.

А именно этого-то он и боялся.

С той минуты, как на эстраду вошел кардинал, Гренгуар не переставал тревожиться за судьбу своего пролога. Увидев, что актеры нерешительно остановились, он велел было им продолжать и говорить громче; потом, видя, что никто не слушает, остановил их и в продолжение четверти часа, пока продолжался перерыв, метался из стороны в сторону, топал ногами, просил Жискету и Лиенарду убеждать своих соседей требовать продолжения пролога. Напрасный труд. Все не отрывая глаз смотрели на кардинала, посланников и эстраду. Полагаем — к сожалению, приходится это признать, — что пролог успел уже порядочно надоесть публике к тому времени, как его прервал кардинал. Да к тому же и на эстраде, и на мраморном помосте разыгрывался один и тот же спектакль: борьба между Крестьянством и Духовенством, Купечеством и Дворянством. И большинству было гораздо приятнее, волнуясь и

толкая друг друга, смотреть на ту сцену, где это столкновение между сословиями происходило на самом деле, где действовали и боролись настоящие представители этих сословий в лице фламандских послов, духовной свиты кардинала, самого кардинала в его мантии и Коппеноля в его одеянии, чем слушать актеров, нарумяненных, декламирующих стихи и в известном смысле похожих на чучел в своих белых и желтых туниках, в которые их нарядил Гренгуар.

Однако к тому времени, как шум немножко стих, наш поэт придумал средство, которое, по его мнению, могло спасти все.

— Сударь, — обратился он к одному из своих соседей, толстяку с добродушным лицом, — а что, если бы начать снова?

— Что? — спросил тот.

— Что? Да, конечно, мистерию, — ответил Гренгуар.

— Как знаете, — отвечал сосед.

Этого далеко не полного одобрения оказалось вполне достаточно для Гренгуара. Он вмешался в толпу и начал кричать как можно громче:

— Начинайте мистерию сначала! Начинайте сначала!

— Черт возьми! — воскликнул Жан де Моленди-

но. — С чего это они так разорались на том конце? (Гренгуар шумел и кричал за четверых.) Послушайте, братцы, ведь мистерия окончена? А они хотят начинать ее сначала. Это несправедливо!

— Несправедливо! Несправедливо! — закричали студенты. — Долой мистерию! Долой!

Но Гренгуар не сдался и начал кричать еще громче:

— Начинайте! Начинайте!

Эти крики привлекли внимание кардинала.

— Господин дворцовый судья, — обратился он к высокому человеку в черной одежде, стоявшему в нескольких шагах от него, — что эти бездельники подняли за возню, точно бес перед заутреней?

Дворцовый судья принадлежал, если можно так выразиться, к семейству амфибий и был чем-то вроде летучей мыши судебного сословия, не то крысой, не то птицей, судьей и вместе с тем солдатом.

Он подошел к его преосвященству и, боясь возбудить его неудовольствие и заикаясь от страха, объяснил ему, в чем дело. Полдень наступил до прибытия его преосвященства, народ начал волноваться и требовать, чтобы начинали представление, а потому актеры вынуждены были начать, не дожидаясь его преосвященства.

Кардинал расхохотался.

— Клянусь честью, — воскликнул он, — и ректору университета не мешало бы поступить так же. Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?

— Ваше преосвященство, — отвечал Рим, — будем довольны и тем, что пропустили хотя половину комедии. Во всяком случае, мы в выигрыше.

— Дозволит ли ваше преосвященство продолжать представление? — спросил судья.

— Продолжайте, продолжайте — мне все равно. Я пока почитаю мой требник.

Судья подошел к краю эстрады и, подняв руку, чтобы водворить тишину, закричал:

— Горожане, крестьяне и жители новых городов! Чтобы удовлетворить тех, кто желает слушать с самого начала, и тех, кто не желает слушать совсем, его преосвященство приказывает продолжать представление.

Обе стороны принуждены были покориться. Но ни автор, ни зрители не были довольны решением кардинала и долго не могли простить ему этого.

Актеры снова принялись декламировать стихи, и Гренгуар надеялся, что хоть конец его произведения будет выслушан внимательно. Но и эта

надежда оказалась, как водится, обманчивой. Тишина действительно мало-помалу водворилась в зале, но Гренгуар не заметил, что эстрада была далеко не полна в ту минуту, как кардинал велел продолжать представление, вслед за фламандскими послами стали появляться все новые лица из их свиты. Имена и титулы новоприбывших, выкликаемые пронзительным голосом привратника, врывались совсем некстати в диалог актеров. Пусть читатель представит себе, что во время театрального представления раздаются между двумя строфами и даже отдельными стихами такие возгласы:

— Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда!

— Жеан де Гарлэ, начальник ночной стражи города Парижа!

— Мессир Галио де Женуалак, рыцарь!

— Сеньор де Брюссак, начальник королевской артиллерии!

— Мэтр Дрэ-Рагье, смотритель королевских лесов, вод и земель во Франции, Шампани и Бри!

— Мессир Луи де Гравиль, рыцарь, советник и стольник короля, адмирал Франции, страж Венсенского леса!

— Мессир Дени ле Мерсье, начальник Дома

слепых в Париже!

И т. д. и т. д.

Это становилось невыносимым.

Такой странный аккомпанемент, из-за которого не было никакой возможности следить за ходом пьесы, тем более возмущал Гренгуара, что занимательность его мистерии, как он думал, постепенно возрастала и его произведению недоставало лишь одного — внимания слушателей.

И действительно, трудно было представить себе более остроумный и драматический сюжет. Четыре действующих лица пролога разливались в жалобах на свое затруднительное положение, как вдруг сама Венера, vera, incessu patuit dea[25], в красивой одежде с гербом Парижа, предстала перед ними. Она сама пришла за дельфином, обещанным прекраснейшей из женщин. Юпитер, громы которого гремели в одевальной, очевидно, настаивал на исполнении ее требования, и богиня уже готова была завладеть дельфином, или, иначе говоря, выйти замуж за дофина, когда совсем молоденькая девушка в белом шелковом платье и с маргариткой в руке (прозрачный намек на Маргариту Фландрскую) явилась оспа-

---

[25] Сноски: 25

Самая поступь обнаруживает богиню (*лат.*) (*Вергилий*).

ривать его у Венеры. Театральный эффект и неожиданная перемена. После долгого состязания Венера, Маргарита и все остальные решили обратиться к суду Девы Марии. В пьесе была еще одна прекрасная роль — короля Месопотамии, дона Педро. Но, вследствие постоянных перерывов, трудно было сообразить, зачем, собственно, понадобился этот король. И все они взбирались на сцену по лестнице.

Но, к сожалению, публика не поняла и не оценила ни одной из красот пьесы. Казалось, с прибытием кардинала какая-то невидимая волшебная нить притянула все взоры от мраморного стола к эстраде, от южной стены залы — к западной. И ничто не могло разрушить очарования. Все глаза были устремлены на эстраду, и вновь прибывшие лица, их проклятые имена, их наружность и костюмы непрерывно отвлекали внимание.

Это было ужасно. Кроме Жискеты и Лиенарды, которые на минуту оборачивались к сцене, когда Гренгуар дергал их за платья, и терпеливого толстяка, его соседа, положительно никто не слушал и не смотрел на представление бедной покинутой моралите. Гренгуар, оборачиваясь взглянуть на зрителей, видел только профили.

С какой горечью смотрел он, как рушится мало-помалу возведенное им здание поэзии и славы! Рушится из-за невнимания тех самых людей, которые так нетерпеливо желали услыхать его произведение, что начали даже угрожать судье. А теперь, когда желание их исполнилось, они не обращали никакого внимания на пьесу, которая началась при таких единодушных рукоплесканиях. Вечный прилив и отлив благосклонности толпы. И подумать только, что эта же самая толпа чуть не повесила сержантов судьи! О, как ему хотелось бы пережить опять эти блаженные минуты!

Нестерпимые выкрики привратника наконец прекратились. Все уже собрались, и Гренгуар мог наконец свободно вздохнуть. Актеры тоже ободрились, и все шло прекрасно, как вдруг Коппеноль встал и среди всеобщего внимания произнес возмутительную речь:

— Господа горожане и дворяне Парижа! Клянусь Богом, я не понимаю, что мы делаем здесь. Я вижу вон в том углу, на подмостках, каких-то людей, которые как будто собираются драться. Не знаю, может быть, это и называется по-вашему мистерией, но, по-моему, тут нет ничего забавного. Они только ссорятся, и больше ничего. Вот

уже четверть часа, как я жду первого удара, а они все не начинают драться. Это просто трусы — они бьют друг друга не кулаками, а словами. Вам следовало бы послать за бойцами в Лондон или Роттердам. Они показали бы вам, как следует драться; даже на площади слышны были бы их удары. А это какие-то жалкие актеры. Хоть бы они проплясали мавританский танец или придумали еще что-нибудь забавное. Да, это совсем не то, чего я ожидал. Мне сказали, что здесь будет праздник шутов и станут выбирать папу. У нас в Генте тоже выбирают папу шутов, — в этом мы не отстали от других. Вот как это бывает у нас. Мы собираемся целой толпой, как и вы здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и делает самую ужасную гримасу, какую только может. И тот, чья гримаса выйдет, по мнению публики, страшнее всех остальных, выбирается папой. Это очень забавно. Хотите выбрать сегодня папу по-нашему? Ручаюсь, что это, во всяком случае, будет веселее, чем слушать этих болтунов. Если они хотят, мы, пожалуй, примем в игру и их. Что вы скажете на это, господа горожане? Здесь, в зале, найдется достаточно безобразных лиц — и женских и мужских. Значит, есть надежда, что мы увидим вдоволь

забавных гримас и повеселимся по-фламандски.

Гренгуар хотел было возразить на эту речь, но от изумления, негодования и гнева не мог произнести ни слова. К тому же предложение Коппеноля было с таким восторгом принято горожанами, польщенными титулом «дворян», что нечего было и думать о сопротивлении. Оставалось только покориться судьбе. И бедный Гренгуар закрыл лицо руками. У него, к сожалению, не было плаща, который он мог бы набросить себе на голову, как Агамемнон Тиманта.

V. Квазимодо

В одно мгновение все было готово, чтобы осуществить мысль Коппеноля. Горожане, студенты, клерки — все принялись за работу. Гримасы решили делать в маленькой капелле, занимавшей конец зала, напротив мраморного помоста. В красивой розетке над входом выбили одно стекло, так что образовалось круглое отверстие, в которое конкуренты должны были просовывать голову. Для того чтобы добраться до него, стоило только вскарабкаться на две бочки, которые где-то добыли и взгромоздили одну на другую. Было условлено, чтобы каждый кандидат в папы,

будь то мужчина или женщина (папа мог быть и женского пола), чтобы произвести свежее впечатление своей гримасой, ждал в капелле, закрыв лицо до тех пор, пока не наступит его очередь высунуться в отверстие. В одну минуту капелла наполнилась конкурентами, и дверь затворилась за ними.

Коппеноль со своего места отдавал приказания, распоряжался всем, устраивал все. В зале поднялись страшный шум и суета. Кардинал, возмущенный всем этим не меньше Гренгуара, сославшись на неотложные дела и вечернюю службу, поспешил уйти вместе со своей свитой. И вся эта толпа, которую так взволновало его прибытие, теперь даже не заметила его ухода. Один только Гильом Рим отметил бегство его преосвященства.

Внимание толпы обратилось в другую сторону; оно в этот день обращалось вокруг зала, как солнце вокруг земли. Сначала оно было устремлено на один конец зала, потом перешло на середину, а оттуда на другой конец. Мраморный помост и парчовая эстрада уже получили свое, — наступила очередь капеллы Людовика XI. Теперь открывалось широкое поле для всяких безумств: в зале остались только фламандцы и сброд.

Начались гримасы. Первая показавшаяся в отверстии физиономия с вывернутыми веками, разинутым, точно пасть, ртом и собранным в складки лбом, похожим на гусарские сапоги времен империи, возбудила такой неудержимый хохот, что Гомер, наверное, принял бы этих крестьян и горожан за богов. Между тем большой зал ничуть не походил на Олимп, и бедный Юпитер Гренгуара знал это лучше всякого другого. За первой страшной рожей появилась другая, потом третья, а хохот и восхищение толпы все увеличивались. В этом зрелище было что-то безумное, какое-то могучее упоение и очарование, о котором трудно составить понятие читателю нашего времени. Вообразите себе, что перед вами проходит целая серия лиц, представляющих собой все геометрические фигуры, от треугольника до трапеции и от конуса до многогранника; выражения всех человеческих чувств, от гнева до сладострастия; все возрасты, от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи; все религиозные фантасмагории, от Фавна до Вельзевула; все профили животных, от пасти до клюва, от кабаньей головы до мордочки лисицы. Представьте себе, что все чудовищные изваяния Нового моста, эти кошмары, воплощенные в камень рукой Жер-

мена Пилона, вдруг ожили и устремили на вас свои сверкающие глаза, — вообразите себе, что перед вами проходят все маски венецианского карнавала, весь человеческий калейдоскоп.

Оргия становилась чисто фламандской. Сам Тенирс не мог бы дать о ней вполне четкого представления. Это была превращенная в вакханалию битва Сальватора Розы. В зале не было теперь ни студентов, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин, ни Клопена Труйльфу, ни Жилля Лекорню, ни Марии Катрливр, ни Робена Пуспена. Все слились в общем безумии. Большой зал превратился как бы в громадное горнило бесстыдства и ликования, где каждый рот кричал, каждое лицо кривлялось, каждая фигура принимала странную позу. И все это ревело и выло. Невероятные лица, одно за другим показывавшиеся в отверстии розетки, были как бы пылающими головнями, бросаемыми в горящий костер. И из всей этой буйной толпы вырывался, как пар из громадного котла, резкий, пронзительный гул:

— Проклятье!

— Взгляни-ка на эту рожу!

— Ну, она ничего не стоит!

— А вот и другая!

— Гильомета Можерпюи, видишь эту бычачью

морду? Ей не хватает только рогов. Не твой ли это муж?

— Подавай новую!

— Смотрите, смотрите — это что за гримаса?

— Эй! Это жульничество. Можно показывать только лицо.

— Это, наверное, проклятая Перетта Кальбот. Она способна на все.

— Браво! Браво!

— Я задыхаюсь!

— А у этого уши не могут пролезть!

И т. д. и т. д.

Нужно отдать справедливость нашему другу Жану. Среди этого шабаша он продолжал сидеть на верхушке своей колонны, как юнга на мачте. Он вел себя как бесноватый. Рот его был широко открыт, и из него вырывался крик, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а, вероятно, потому, что он был слишком высок и недоступен человеческому уху. Совер полагает, что это бывает при двенадцати тысячах колебаний, а Био — при восьми тысячах.

Что же касается Гренгуара, то после первой минуты оцепенения он пришел в себя и, вооружившись твердостью, решил не поддаваться.

— Продолжайте! — в третий раз сказал он сво-

им говорящим машинам — актерам — и принялся ходить большими шагами около мраморного помоста.

Минутами ему приходило в голову подойти в свою очередь к розетке капеллы, хотя бы для того, чтобы доставить себе удовольствие — состроить гримасу этому неблагодарному народу. Но он отгонял от себя эту мысль.

«Нет, — думал он, — такая месть недостойна меня. Будем бороться до конца. Поэзия обладает могущественным влиянием на народ. Я заставлю эту толпу вернуться ко мне. Посмотрим, что одержит верх — гримасы или поэзия!»

Увы! Он остался единственным зрителем своей пьесы. Теперь было еще хуже, чем раньше: оборачиваясь, он видел одни лишь спины.

Впрочем, я ошибаюсь. Лицо терпеливого толстяка, с которым Гренгуар советовался в критическую минуту, было обращено к сцене. Что же касается до Лиенарды и Жискеты, то они уже давно исчезли.

Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Он подошел к нему и заговорил с ним, подергав его сначала за руку, так как этот честный человек облокотился на балюстраду и слегка вздремнул.

— Благодарю вас, сударь, — сказал Гренгуар.

— За что же? — спросил толстяк, зевая.

— Я вижу, что вам надоел этот страшный шум, — он мешает вам слушать пьесу. Но будьте спокойны: ваше имя перейдет в потомство. Позвольте узнать, как вас зовут?

— Рено Шато, хранитель печати в парижском суде, к вашим услугам.

— Вы здесь единственный представитель муз, — сказал Гренгуар.

— Вы слишком любезны, сударь, — ответил хранитель судебной печати.

— Один только вы слушали пьесу как следует, — продолжал Гренгуар. — Как вы ее находите?

— Гм, гм! Она, право же, довольно забавна, — ответил толстяк, еще не совсем проснувшись.

Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, так как гром рукоплесканий и оглушительные крики прервали их разговор. Папа шутов был выбран.

— Браво! Браво! Браво! — ревела толпа.

И действительно, трудно было придумать что-нибудь великолепнее гримасы, красовавшейся сейчас в отверстии розетки. После всех пяти-шестиугольных безобразных рож, которые выглядывали оттуда, не достигая идеала урод-

ливости, сложившегося в разгоряченном оргией воображении зрителей, только такая необыкновенная по своему безобразию гримаса могла прельстить толпу и привести ее в восторг. Сам мэтр Коппеноль аплодировал, и даже бывший в числе конкурентов Клопен Труйльфу — а он был настолько безобразен, что мог состроить ужаснейшую гримасу, — признал себя побежденным. Так же поступим и мы. Мы не беремся дать читателю понятие об этом лице с четырехгранным носом, ртом в виде подковы и раздвоенным подбородком. Над маленьким, в виде мешка, левым глазом этого урода нависла щетинистая рыжая бровь, тогда как правый глаз совсем исчезал под громадной бородавкой; поломанные зубы были выщерблены, как зубцы на крепостной стене, а один из них выступал из-за растрескавшихся губ, как клык слона. Но еще труднее передать выражение этого ужасного лица — какую-то смесь злости, изумления и грусти. А теперь представьте себе, если можете, это чудовище.

Публика единодушно приветствовала его восторженными криками. Все бросились к капелле и с торжеством вывели оттуда папу шутов. Но тут изумление и восторг толпы дошли до крайних пределов. Гримаса была настоящим лицом.

Вернее, он весь представлял собой гримасу. Огромная голова с щетинистыми рыжими волосами; громадный горб на спине и поменьше на груди; страшно искривленные ноги, которые могли соприкасаться только в коленях и напоминали два изогнутых серпа; громадные ступни, чудовищные руки и при всем этом безобразии что-то грозное, могучее и смелое во всей фигуре, представлявшей странное исключение из общего правила, требующего, чтобы сила, как и красота, вытекала из гармонии. Таков был папа, избранный шутами.

Казалось, это был разбитый и затем кое-как спаянный великан.

Когда этот циклоп показался на пороге капеллы — коренастый, почти одинаковый в ширину и высоту, в камзоле, наполовину красном, наполовину фиолетовом, затканном серебряными колоколенками, — толпа по этому камзолу, а в особенности по необыкновенному безобразию нового папы тотчас же узнала его.

— Это Квазимодо, звонарь! Это Квазимодо кривой! Квазимодо-горбун, из собора Богоматери! Квазимодо кривоногий! Браво! Браво!

У бедняка не было, как видно, недостатка в прозвищах.

— Берегитесь, беременные женщины! — закричали студенты.

— Или те, которые желают забеременеть! — прибавил Жан.

Женщины действительно закрыли лица руками.

— Господи, какая отвратительная обезьяна! — воскликнула одна из них.

— И он так же зол, как и уродлив, — подхватила другая.

— Это сам дьявол! — прибавила третья.

— Я, к несчастью, живу возле самого собора Богоматери и слышу, как он каждую ночь шатается по крыше.

— Вместе с кошками!

— Да, он всегда шляется по нашим крышам!

— И напускает на нас порчу через дымовые трубы!

— Как-то вечером он заглянул ко мне в окно. Я подумала, что это какой-то человек, и ужасно перепугалась.

— Я уверена, что он летает на шабаш. Раз он забыл свою метлу около моего дома.

— Безобразный горбун!

— Гнусная душонка!

— Тьфу!

Зато мужчины смотрели на горбуна с восхищением и восторженно рукоплескали ему.

А Квазимодо, породивший всю эту суматоху, продолжал стоять неподвижно около двери капеллы, серьезный и мрачный, позволяя любоваться собой.

Студент Робен Пуспен подошел слишком близко к нему и засмеялся ему в лицо. Квазимодо, не говоря ни слова, схватил его за пояс и отшвырнул шагов на десять в толпу.

Мэтр Коппеноль, восхищенный, приблизился к нему.

— Клянусь Богом, никогда в жизни не видал я такого великолепного безобразия! — воскликнул он. — Тебя стоило бы сделать папой не только в Париже, но и в Риме!

И, сказав это, он весело хлопнул его по плечу.

Квазимодо не шевельнулся.

— Ты как раз такой человек, с которым я был бы не прочь покутить, — продолжал Коппеноль. — И кутеж будет на славу, денег я не пожалею. Что ты на это скажешь?

Квазимодо молчал.

— Господи помилуй! — воскликнул башмачник. — Да ты глухой, что ли?

Квазимодо был действительно глух.

Между тем любезности Коппенолля начали, по-видимому, надоедать горбуну. Он вдруг повернулся к нему и так грозно заскрежетал зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки.

Толпа тоже отступила, так что около Квазимодо образовался пустой круг, радиусом не меньше шагов пятнадцати. А за этим кругом стояли любопытные, с уважением и страхом смотря на горбуна.

Какая-то старуха объяснила Коппенолю, что Квазимодо глух.

— Глух? — повторил, громко расхохотавшись, фламандец. — Клянусь Богом, лучше этого папы и не придумаешь!

— А, вот это кто! — воскликнул Жан, спустившись наконец с своего карниза, чтобы взглянуть на папу поближе. — Это звонарь моего брата, архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!

— Этакий дьявол! — сказал Робен Пуспен, еще не успевший оправиться от смущения после своего падения. — Поглядишь на него — оказывается, он горбун; пойдет — видишь, что он кривоногий; посмотрит на вас — кривой; заговоришь с ним — он глух. Но почему же он молчит? Куда девал свой язык этот Полифем?

— Он говорит, когда захочет, — сказала старуха. — Он оглох от звона колоколов. Он не немой.

— Только этого ему и не хватает, — заметил Жан.

— Да еще один глаз у него лишний, — прибавил Робен Пуспен.

— Ну, нет, — рассудительно возразил Жан. — Кривому еще хуже, чем слепому: он знает, чего он лишен.

Тем временем, налюбовавшись на Квазимодо, нищие, слуги и воры-карманники отправились вместе со студентами за картонной тиарой и шутовской мантией папы шутов, которые хранились в шкафу судебных писцов. Квазимодо беспрекословно, с какой-то горделивой покорностью позволил одеть себя и посадить на пестрые носилки, которые подняли на плечи двенадцать человек из братства шутов. И выражение горькой, презрительной радости осветило мрачное лицо циклопа, когда он увидел под своими уродливыми ногами головы всех этих красивых, прямых, стройных людей. Потом шумная, оборванная толпа двинулась процессией, чтобы, по принятому обычаю, обойти сначала все внутренние галереи дворца и затем уже совершить прогулку по улицам и площадям города.

VI. Эсмеральда

С величайшим удовольствием можем объявить нашим читателям, что в продолжение всей этой сцены Гренгуар не сдавался и пьеса шла своим чередом. Актеры, которых он то и дело понукал, не умолкая, декламировали стихи, а он не переставал их слушать. Не обращая внимания на шум, он решил бороться до конца, все еще не теряя надежды привлечь внимание публики. Эта надежда оживилась, когда Квазимодо, Коппеноль и буйная свита папы шутов с оглушительным шумом вышли из зала и толпа бросилась за ними.

«Отлично, — подумал Гренгуар, — теперь все крикуны ушли».

К сожалению, «крикунами» оказалась вся публика, и зал в одно мгновение опустел.

Собственно говоря, кое-где у колонн еще осталось несколько зрителей. Это были старики, женщины и дети, утомленные всем этим шумом и гамом. Кроме того, несколько студентов сидели верхом на подоконнике и смотрели на площадь.

«Ну, что же? — подумал Гренгуар. — И этих достаточно, чтобы выслушать конец моей мистерии. Правда, их мало, но зато это самая избранная,

самая образованная публика».

Через несколько минут выяснилось, что музыканты, которые при появлении «пресвятой девы» должны были заиграть симфонию — что, несомненно, произвело бы большой эффект, — почему-то молчат. Оказалось, что музыканты исчезли, их увлекла за собой шутовская процессия.

— Обойдемся без музыки, — стоически сказал Гренгуар.

Он подошел к кучке горожан, говоривших, как ему показалось, о его пьесе. Вот отрывок их разговора, который он услыхал:

— Знаете вы, мэтр Шенето, наваррский особняк, принадлежавший господину Немуру?

— Знаю, это напротив Бракской часовни.

— Ну, так казна отдала его внаймы Гильому Александру, орнаментовщику, за шесть ливров восемь су в год.

— Господи, как наемная плата-то повышается!

«Увы! — со вздохом подумал Гренгуар. — Но, наверно, другие слушают мою пьесу».

— Товарищи! — крикнул вдруг один из студентов, сидевших на окне. — Эсмеральда! Эсмеральда на площади!

Это имя произвело магическое действие. Все

оставшиеся в зале бросились к окнам, крича: «Эсмеральда! Эсмеральда!»

В то же время на площади раздался взрыв рукоплесканий.

«Что это еще за Эсмеральда? — подумал Гренгуар, с отчаянием сжимая руки. — Ах, господи! Теперь, как видно, пришла очередь окнам».

Он обернулся к мраморному помосту и увидел, что представление прекратилось. Наступила как раз та минута, когда должен был явиться Юпитер со своей молнией. А между тем Юпитер стоял неподвижно внизу, около одевальной.

— Мишель Жиборн! — воскликнул рассвиреповший поэт. — Что ты там делаешь? Забыл, что ли, свою роль? Выходи скорее на сцену!

— Увы! — сказал Юпитер. — Какой-то студент унес лестницу!

Гренгуар взглянул на то место, где она стояла: действительно, ее не было. Всякое сообщение между завязкой и развязкой его пьесы было прервано.

— Негодяй! — пробормотал он. — Зачем же он взял лестницу?

— Чтобы посмотреть на Эсмеральду, — жалобно проговорил Юпитер. — Он сказал: «Вот лестница, которая стоит здесь зря!» — и утащил ее.

Это был последний удар; Гренгуар безропотно перенес его.

— Убирайтесь ко всем чертям! — крикнул он комедиантам. — Если заплатят мне, то и я заплачу вам.

И он ушел, понурив голову, но ушел последним, как храбро сражавшийся генерал, покидающий поле битвы.

— Что за буйное сборище ослов и дураков эти парижане! — ворчал он сквозь зубы, сходя вниз по извилистым лестницам дворца. — Они приходят слушать мистерию и не слушают ее! Они занимались всем на свете — Клопеном Труйльфу, кардиналом, Коппенолем, Квазимодо, чертом и дьяволом, но только не Пресвятой Девой! Знай я это, показал бы уж я вам пресвятых дев, болваны! А я? Вместо того чтобы видеть лица зрителей, я видел одни только спины! Я — поэт — провалился, как какой-нибудь аптекарь! Положим, Гомер просил милостыню в греческих поселках, а Овидий Назон умер в изгнании у москвитян… Пусть черт сдерет с меня кожу, если я понимаю, что хотели они сказать своей Эсмеральдой. И что это за слово? Как будто египетское.

Книга вторая
I. Сцилла и Харибда

В январе смеркается рано. На улицах было уже почти совсем темно, когда Гренгуар вышел из дворца. Эта темнота пришлась ему по душе. Ему хотелось уйти на какую-нибудь пустынную улицу и поразмыслить там на свободе: философ должен был наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была теперь его единственным прибежищем, так как он даже не знал, где проведет ночь. После столь блистательного провала своей пьесы он не решался вернуться в помещение, которое занимал на улице Гренье, против Фуэнских ворот. Он за целые полгода задолжал своему хозяину, мэтру Гильому Ду-Сиру, и рассчитывал расплатиться с ним деньгами, полученными за пьесу от судьи. А долг был большой — целых двенадцать су! Ровно в двенадцать раз больше, чем стоило все его имущество, включая рубашку, шапку и панталоны.

Несколько минут стоял он около маленькой калитки тюрьмы Сен-Шапель, раздумывая о том, где бы провести ночь. Наконец он припомнил,

что на прошлой неделе, проходя по улице Сават-ерн, видел около дома одного парламентского советника каменную подножку, устроенную для того, чтобы было удобнее садиться на мула. Он тогда же подумал, что она при случае могла бы служить отличной подушкой нищему или поэту. Возблагодарив Провидение, пославшее ему такую счастливую мысль, Гренгуар решил отправиться туда. Для этого ему нужно было пересечь Дворцовую площадь и углубиться в извилистый лабиринт старинных улиц — Бочарной, Суконной, Башмачной, Еврейской и т. д., которые еще до сих пор существуют, но только с девятиэтажными домами. Не успел он ступить на площадь, как туда хлынула процессия папы шутов. Она только что вышла из дворца и с оглушительными криками, зажженными факелами и музыкой неслась прямо на Гренгуара. Это зрелище вновь разбередило его уязвленное самолюбие; он поспешил удалиться. С болью сознавал он свою неудачу на театральном поприще, и все, напоминавшее ему о празднике, раздражало его и растравляло его рану. Он направился к мосту Сен-Мишель. Там бегали дети с горящими факелами и ракетами…

— Черт бы побрал все эти ракеты! — сказал про себя Гренгуар и повернул к мосту Шанж. У входа

на мост на домах были вывешены три флага с нарисованными на них изображениями короля, дофина и Маргариты Фландрской и шесть маленьких флагов с портретами герцога Австрийского, кардинала Бурбонского, синьора де Божэ, Жанны Французской, незаконнорожденного Бурбона и еще кого-то. Все это было освещено факелами. Толпа любовалась.

— Какой счастливчик этот живописец Жан Фурбо! — с глубоким вздохом сказал Гренгуар и повернулся. Прямо перед ним была улица, такая темная и пустынная, что там — как он надеялся — ему наконец удастся укрыться от всех отголосков и отблесков праздника. Гренгуар направился туда, через несколько минут нога его наткнулась на что-то, — он потерял равновесие и упал. Это была вязанка сучьев майского дерева, которую корпорация парламентских клерков поставила с утра около двери президента парламента в честь торжественного дня.

Гренгуар геройски перенес эту новую неприятность. Он встал и пошел вдоль берега реки. Пройдя мимо гражданской и уголовной палат парламента и высоких стен королевских садов, по немощеному берегу, где грязь доходила ему до лодыжек, он дошел до западной окраины города.

Тут он остановился и несколько времени смотрел на пастуший островок, который теперь исчез под бронзовым быком Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узкой полоской светлевшей воды, казался ему в темноте какой-то черной массой. При мерцающем свете огонька на острове смутно выделялась хижина в виде улья, где пастух укрывался на ночь.

«Счастливый пастух! — подумал Гренгуар. — Ты не мечтаешь о славе и не пишешь свадебных гимнов. Что тебе до королей, которые женятся, и до герцогинь бургундских! Ты знаешь только одни маргаритки — те, которые цветут в апреле на лугу, где пасутся твои коровы. А я, поэт, унижен и осмеян. Я дрожу от холода, я должен двенадцать су, а подошвы моих башмаков так износились, что могли бы служить стеклами для твоего фонаря. Спасибо тебе, пастух! Смотря на твою хижину, я успокаиваюсь и забываю Париж».

Страшный треск двойной петарды, внезапно вылетевшей из счастливой хижины, грубо нарушил лирический экстаз поэта. Пастух, как видно, не хотел отстать от других и пускал фейерверк. Гренгуар вздрогнул, услыхав треск петарды, и мороз пробежал у него по телу.

— Проклятый праздник! — воскликнул он. —

Неужели ты будешь всюду преследовать меня? О господи! От него нельзя избавиться даже здесь, около хижины пастуха!

Он взглянул на Сену, протекавшую у его ног, и страшное искушение овладело им.

— Ах, с каким бы удовольствием я утопился! — воскликнул он. — Если бы вода не была так холодна!..

И он принял отчаянное решение. Раз все равно нет никакой возможности скрыться от процессии папы шутов, от флагов Жана Фурбо, от майских веток, ракет и петард, так лучше уж смело ринуться в самый центр увеселений и отправиться на Гревскую площадь.

«Там я хоть немножко погреюсь около костра, — думал он, — и поужинаю крошками от трех огромных сахарных щитов с королевскими гербами, выставленных над городским общественным буфетом».

II. Гревская площадь

В наши дни остался лишь один малозаметный след от Гревской площади того времени: это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Да и она уже не та, что была прежде. Ее чудес-

ные скульптурные украшения грубо замазаны штукатуркой, и очень возможно, что башня эта в недалеком будущем совсем исчезнет за массой новых домов, которые так быстро вырастают, поглощая старинные здания Парижа.

Люди, которые, подобно нам, не могут пройти по Гревской площади, не бросив взгляда сожаления и сочувствия на эту бедную башенку, стиснутую между двумя некрасивыми домами времен Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении общий вид зданий, к которым она принадлежала, и ясно представят себе старую готическую площадь пятнадцатого века.

Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции: по одной стороне ее шла набережная, а по трем остальным тянулись ряды высоких, узких, мрачных домов. Днем можно было любоваться разнообразием этих почти сплошь покрытых резьбою по дереву или камню зданий, которые могли служить точными образцами различных средневековых стилей от одиннадцатого до пятнадцатого века. Тут можно было увидать и прямоугольные окна, заменившие стрельчатые, и полукруглые окна чисто романского стиля, которые были вытеснены стрельчатыми. Окна этого романского стиля были во всем нижнем

этаже башни Роланда, стоявшей на углу набережной, около Кожевенной улицы.

Ночью из всей этой массы зданий можно было различить лишь остроконечные верхушки крыш, выделявшихся на небе рядом черных зубцов. Одно из самых главных различий между теперешними и прежними городами состоит в том, что в настоящее время дома строятся фасадом к улицам и площадям, тогда как прежде они выходили боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице.

На восточной стороне площади возвышалось тяжелое здание смешанного стиля, состоящее из трех помещений. У него было три различных названия, объясняющих его историю, назначение и архитектуру. Оно называлось Домом дофина, потому что в нем жил дофин Карл V; Домом торговли, так как здесь был городской магистрат, и Домом с колоннами (domus ad piloria), потому что ряд толстых колонн поддерживал его три этажа.

Здесь можно было найти все, что требуется такому большому городу, как Париж: часовню, чтобы помолиться; судебный зал, чтобы творить суд и расправу и в случае надобности отправлять в кутузку королевских подданных, и арсенал, полный огнестрельного оружия.

Парижане прекрасно понимали, что одними просьбами далеко не всегда можно добиться каких-нибудь льгот для города, и потому у них на всякий случай был сложен на чердаке порядочный запас ржавых мушкетов.

Что-то зловещее было в том впечатлении, какое производила тогда Гревская площадь. Впрочем, почти такое же впечатление производит она и теперь благодаря тяжелым воспоминаниям, которые пробуждаются при ее виде, и благодаря мрачной городской ратуше Доминика Бокадора, заменившей Дом с колоннами. К тому же виселица и позорный столб — «правосудие и лестница», как говорили тогда, — всегда стоявшие рядышком посреди площади, заставляли невольно отвращать глаза от страшного места, где погибло столько полных жизни и здоровья людей и где спустя полвека появилась особая ужасная болезнь, «лихорадка святого Вальера», вызываемая страхом перед эшафотом, — самая чудовищная из всех болезней, так как она исходит не от Бога, а от человека.

Утешительно думать, между прочим, что смертная казнь, загромождавшая триста лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами и разными орудиями пыток

Гревскую и Рыночную площади, перекресток Трауар, площадь Дофина, Свиной рынок, ужасный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачью площадь, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Бодо и Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц прево, епископов, аббатов и приоров, которым было предоставлено право суда, не считая тех несчастных, которых по судебным приговорам топили в Сене, — эта старая сюзеренка феодальных времен в настоящее время потеряла свою прежнюю власть. Постепенно она принуждена была сложить оружие, отказаться от утонченных мучений, развращавших воображение и фантазию, и от пыток, для которых переделывали каждые пять лет кожаную постель в Гран-Шатлэ. Теперь смертная казнь совсем почти исчезла из наших законов и городов. Ее преследовали шаг за шагом, прогоняли с места на место, и теперь у нее во всем громадном Париже остался лишь один опозоренный уголок на Гревской площади, одна жалкая гильотина, робкая, беспокойная, пристыженная, которая словно боится, что ее застанут на месте преступления, и мгновенно исчезает, нанеся свой удар.

III. Besos para colpes[26]

К тому времени, как Пьер Гренгуар дошел до Гревской площади, он совсем окоченел от холода. Чтобы избежать толпы на мосту Шанж и флагов Жана Фурбо, он свернул на Мельничный мост. Но по пути вертевшиеся колеса всех мельниц епископа так забрызгали его, что он промок насквозь. К тому же он чувствовал, что после провала своей пьесы его как будто еще больше знобит. А потому он быстро направился к праздничному костру, великолепно пылавшему на середине площади, но костер был окружен плотным кольцом людей.

— Проклятые парижане! — сказал про себя Гренгуар, почувствовав, как настоящий драматург, пристрастие к монологам. — Теперь они загораживают мне огонь. А как бы мне нужно было погреться и пообсушиться. Мои башмаки промокли, а эти отвратительные мельницы окатили меня с ног до головы водой! Чтобы черт побрал парижского епископа со всеми его мельницами! Интересно знать, на что епископу мельницы? Уж не собирается ли он из епископа

---

[26] Сноски: 26
Поцелуи за удары (*исп.*).

превратиться в мельника? Если для этого нужно только мое проклятие, то я с удовольствием прокляну и его самого, и его собор, и его мельницы!.. А эти зеваки и не думают расходиться! И что, спрашивается, они там делают? Греются, вот так удовольствие! Смотрят, как горит сотня поленьев, — есть чем любоваться!

Однако, подойдя поближе, Гренгуар заметил круг гораздо больший, чем нужно для того, чтобы греться около королевского костра, и что это стечение зрителей объяснялось не только красотой сотни горящих поленьев.

В довольно большом пустом пространстве между толпой и костром танцевала девушка. Несмотря на весь свой скептицизм философа и всю свою иронию поэта, Гренгуар в первую минуту не мог решить, была эта молодая девушка человеческим существом, феей или ангелом, — до такой степени был он очарован ослепительным видением. Она была невысока ростом, но тонкая фигурка ее была так стройна, что казалась высокой. Она была брюнетка, и днем кожа ее, как нетрудно было догадаться, имела тот чудный золотистый оттенок, который свойственен андалузкам и римлянкам. Ее маленькие ножки так легко и свободно двигались в хорошеньких

узких башмачках, что тоже казались ножками андалузки. Она танцевала, вертелась, кружилась на небрежно брошенном на землю старом персидском ковре, и каждый раз, как она повертывалась и ее сияющее лицо мелькало перед вами, она обжигала вас, как молнией, взглядом своих больших черных глаз.

Все взгляды были обращены на нее, все рты полуоткрыты. Она танцевала с тамбурином, поднимая его над головой нежными, точно выточенными руками. Тоненькая, легкая и подвижная, как оса, в золотистом корсаже, плотно облегающем талию, пестрой, развевающейся юбке, иногда открывавшей ее стройные ножки, с обнаженными плечами, черными волосами и сверкающими глазами — она действительно казалась сверхъестественным существом.

«Это саламандра, — думал Гренгуар, — это нимфа, богиня, вакханка!»

В эту минуту одна из кос «саламандры» расплелась, и блестящая медная монета, привязанная к ней, упала и покатилась по земле.

— Господи, да это цыганка! — воскликнул Гренгуар.

И вся иллюзия сразу исчезла.

Она снова принялась танцевать. Подняв с зем-

ли две шпаги и приложив их острием ко лбу, она начала вертеть их в одну сторону, а сама стала кружиться в другую. Да, это была простая цыганка. Но как ни велико было разочарование Гренгуара, он не мог не поддаться обаянию этого зрелища, в котором было что-то волшебное. Ярко-красное пламя костра освещало всю картину, дрожало на лицах зрителей, на смуглом лбу молодой девушки и отбрасывало слабый, прорезанный колеблющимися тенями отблеск в глубину площади, на старый, почерневший фасад Дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы — с другой.

Среди множества лиц, освещенных красным пламенем костра, особенно выделялось суровое, спокойное и мрачное лицо одного человека, поглощенного, казалось, больше всех остальных созерцанием танцовщицы.

Человеку этому, одежду которого нельзя было рассмотреть за окружавшей его толпой, казалось на вид не больше тридцати пяти лет. А между тем он был лыс, и только несколько прядей жидких и уже седеющих волос остались у него на висках. Его высокий и широкий лоб был изрезан морщинами, но впалые глаза сверкали пылом молодости, жаждой жизни и глубокой страстью.

Он не спускал их с цыганки, и в то время, как беззаботная шестнадцатилетняя девушка танцевала и порхала, возбуждая восторг толпы, его мысли, казалось, становились все мрачнее. Время от времени улыбка и вздох встречались на его губах, но улыбка была еще печальнее вздоха.

Наконец молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и толпа наградила ее рукоплесканиями.

— Джали! — позвала цыганка.

Тут только Гренгуар увидал хорошенькую белую подвижную козочку с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами и в золоченом ошейнике. До сих пор она лежала на уголке ковра, смотря, как танцует ее хозяйка, и он не заметил ее.

— Теперь твоя очередь, Джали, — сказала танцовщица.

Она села и, грациозно протянув козочке свой тамбурин, спросила:

— Какой теперь месяц, Джали?

Козочка подняла переднюю ногу и ударила по тамбурину один раз.

Был действительно январь. Толпа зааплодировала.

— Джали, — спросила молодая девушка, пере-

вернув тамбурин, — какое у нас число?

Джали подняла свое позолоченное копытце и ударила им по тамбурину шесть раз.

— Джали, — продолжала цыганка, снова перевернув тамбурин, — который теперь час?

Козочка ударила по тамбурину семь раз. В ту же минуту на часах Дома с колоннами пробило семь часов.

Народ был в восторге.

— Это колдовство! — сказал зловещий голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему глаз с цыганки.

Она вздрогнула и обернулась. Но в ту же минуту раздался гром рукоплесканий, заглушивший эти ужасные слова и изгладивший из памяти молодой девушки произведенное ими тяжелое впечатление.

— Джали, — обратилась она опять к своей козочке, — покажи, как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, капитан городской стражи, во время крестного хода на Сретение.

Джали поднялась на задние ноги и заблеяла, переступая с такой уморительной важностью, что вся толпа разразилась громким хохотом при этой пародии на ханжу-капитана.

— Джали, — продолжала цыганка, ободренная

все возраставшим успехом, — представь, как говорит речь мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда.

Козочка села и заблеяла, размахивая передними ножками, причем по ее позе и жестам сейчас же можно было узнать мэтра Жака Шармолю. Для полного сходства недоставало только плохого французского языка и такой же плохой латыни. Толпа разразилась восторженными рукоплесканиями.

— Это святотатство! Профанация! — снова раздался голос лысого человека. Цыганка опять обернулась.

— Ах, это тот противный человек! — прошептала она и, вытянув вперед нижнюю губку, сделала гримасу, которая, по-видимому, вошла у нее в привычку. Потом она повернулась на каблучках и, взяв в руки тамбурин, пошла собирать приношения зрителей.

Крупные и мелкие серебряные монеты и лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно опустил руку в карман, и девушка остановилась перед ним.

— Черт возьми! — пробормотал поэт, найдя в своем кармане действительность, то есть пустоту.

А цыганка продолжала стоять, смотря на него своими большими глазами и протягивая ему тамбурин. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара.

Если бы у него в кармане лежало все золото Перу, он не задумавшись отдал бы его танцовщице. Но никаких золотых россыпей Перу не было у Гренгуара, да и Америка в то время еще не была открыта.

Счастливая случайность помогла ему.

— Скоро ли ты уберешься отсюда, египетская саранча! — крикнул резкий голос из самого темного уголка площади.

Молодая девушка испуганно обернулась. Это говорил уже не лысый человек; это был голос женщины — злой, исступленный голос.

Восклицание, так напугавшее цыганку, доставило большое удовольствие бегавшим по площади детям.

— Это затворница башни Роланда! — со смехом закричали они. — Это она бранится! Должно быть, она не ужинала. Сбегаем в городской буфет и принесем ей каких-нибудь объедков!

И они побежали к Дому с колоннами.

Между тем Гренгуар, воспользовавшись смущением танцовщицы, обратился в постыдное

бегство. Слова детей напомнили ему, что он тоже не ужинал. Он побежал к буфету. Но у ребятишек ноги были проворнее, чем у него, и, когда он пришел, они уже успели очистить стол. На нем не осталось решительно ничего. Только нежные лилии и розы, переплетаясь, красовались на стенках, расписанных в 1435 году Матье Битерном. Но такой ужин не мог, конечно, насытить нашего поэта.

Неприятно ложиться спать без ужина. Но еще неприятнее остаться без ужина и не иметь уголка, где бы можно было заснуть. Гренгуар был как раз в таком положении, — у него не было ни хлеба, ни пристанища. Горькая нужда теснила его со всех сторон, и он находил ее чересчур суровой. Давно уже открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии и что мудрецу приходится всю жизнь бороться с судьбою, которая держит, словно в осаде, его философию. Что касается его самого, то никогда еще, казалось ему, эта осада не доходила до такой крайней степени. Желудок его бил тревогу, и он находил, что со стороны злой судьбы нечестно смирять его философию голодом.

Погрузившись в эти грустные размышления, он глубоко задумался, как вдруг странное, но

необыкновенно нежное пение вывело его из задумчивости. Это пела молодая цыганка.

О ее голосе можно было сказать то же, что об ее танцах и красоте. В нем было что-то неизъяснимое и прелестное, что-то чистое, воздушное и, так сказать, окрыленное. Голос этот то повышался, то понижался; чудесные мелодии сменялись неожиданными переходами; простые музыкальные фразы перемежались с резкими, звонкими нотами; рулады, способные сбить с толку соловья, но всегда полные гармонии, переходили в мягкие переливы октав, то поднимаясь, то опускаясь, как грудь самой молодой певицы.

На ее прелестном лице с необыкновенной быстротой сменялось выражение, передавая все оттенки ее капризной песенки — от страстного вдохновения до самого чистого, целомудренного величия. Она казалась то безумной, то королевой. Она пела на неизвестном Гренгуару языке. Казалось, он был незнаком и самой певице, так как выражение, которое она придавала пению, часто совсем не подходило к словам. Безумным весельем звучали в ее устах слова:

Un cofre de gran riqueza
Haralon dentro un pilar,

Dentro del nuevas banderas
Con figuras de espantar...[27]

А минуту спустя, когда она пела:

Alarabes de cavallo
Sin paderse menear
Con espadas, y los cuellos
Ballestas de buen echar...[28] –

у Гренгуара навернулись слезы.

Но чаще всего в ее пении звучала жизнерадостность: она пела весело и беззаботно, как птичка.

Песня цыганки нарушила задумчивость Гренгуара, как лебедь, плывя, тревожит водную гладь. Он слушал с восхищением, забыв обо всем на свете. После долгих тяжелых часов он в первый раз вздохнул свободно и не чувствовал страдания. Но это продолжалось недолго.

Голос той же женщины, которая прервала танец цыганки, теперь прервал ее пение.

— Замолчишь ли ты, чертова стрекоза! — крик-

---

[27] Сноски: 27

Роскошный сундук вытащили со дна водоема, в нем были новые знамена со страшными изображениями... (*Исп.*)

[28] Сноски: 28

Арабы на лошадях, неподвижные, с мечами и самострелами через плечо... (*Исп.*)

нула она из своего темного угла.

Бедная «стрекоза» сразу умолкла, а Гренгуар заткнул себе уши.

— Ах, эта проклятая зазубренная пила разбила лиру! — воскликнул он.

В толпе тоже послышался ропот.

— К черту затворницу! — крикнул кто-то.

И невидимая старуха, нарушавшая общее веселье, могла бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы внимание толпы не было в эту минуту отвлечено процессией шутовского папы, уже обошедшей улицы и перекрестки и теперь хлынувшей с факелами и шумом на Гревскую площадь.

Эта процессия, о которой читатель составил себе некоторое понятие, когда она выходила из дворца, успела организоваться в пути и вобрать в себя по дороге всех парижских мошенников, воров и бродяг. Таким образом, когда она явилась на Гревскую площадь, у нее был весьма внушительный вид.

Впереди шествовало цыганское царство. Во главе его ехал верхом герцог цыганский со своими графами, которые шли рядом с ним, ведя за повод его коня и придерживая стремена; позади них двигалась беспорядочная толпа цыган и цыганок

с маленькими плачущими детьми за плечами. Все они — герцог, графы и простой народ — были в лохмотьях и мишурных украшениях.

Затем следовало королевство «арго», то есть все воры Франции. Они были разделены по рангам на несколько отрядов. Мелкие воришки шли впереди, за ними, по четыре в ряд, следовали остальные, со знаками ученых степеней, в которые их возвел этот странный факультет. Тут были хромые, однорукие, карлики, слепые, кривые, эпилептики, расслабленные, сироты, плуты, лицемеры; перечисление всех утомило бы самого Гомера. Посреди святошей и плутов ехал король «арго», высокий человек, сидевший на корточках в маленькой тележке, которую везли две большие собаки.

Потом шло царство галилейское. Впереди бежали шуты, которые дрались между собою и выплясывали пиррический танец, а за ними важно выступал Гильом Руссо, царь галилейский, в пурпурной, залитой вином мантии, окруженный своими жезлоносцами, советниками и писцами счетной палаты.

Шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях, с украшенными цветами «майскими ветвями», достойной шабаша музы-

кой и толстыми желтыми восковыми свечами. Посреди этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которые было налеплено больше свечей, чем на раке святой Женевьевы во время чумы. А на этих носилках сидел сияющий, облаченный в мантию, в митре и с посохом в руках новый папа шутов — звонарь собора Богоматери, Квазимодо-горбун.

У каждого отделения этой шутовской процессии была своя музыка. Цыгане били в тамбурины и балафосы. Народ «арго», далеко не музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и готической рюбебы двенадцатого столетия. Царство галилейское стояло по части музыки почти на таком же уровне. Правда, в его оркестре слышались звуки гудка, но это был жалкий старинный гудок, имевший всего три тона. Зато около шутовского папы звучали и гремели в дикой какофонии все лучшие музыкальные инструменты той эпохи. Тут были уже новые гудки, отдельные — для верхних, средних и нижних регистров, было много флейт и медных инструментов. Увы! Как известно читателю, это был оркестр Гренгуара.

Трудно представить себе, до какой степени изменилось безобразное и грустное лицо Квазимодо

с тех пор, как процессия выступила из дворца и добралась до Гревской площади. Теперь это лицо просветлело, озаренное выражением гордости и блаженства. Первый раз за всю свою жизнь испытал Квазимодо чувство удовлетворенного самолюбия. До сих пор он не знал ничего, кроме унижений; все относились к нему с презрением ввиду его низкого положения, все с отвращением смотрели на его фигуру и лицо. А потому, несмотря на свою глухоту, он наслаждался, как настоящий папа, восторженными криками толпы, которую ненавидел за ненависть к себе. Правда, народ его состоял из всякого сброда — из воров, шутов, нищих и калек, — но что из этого! Все же это был народ, а он — его властелин. И он принимал за чистую монету иронические рукоплескания и насмешливые знаки уважения, хотя нужно сознаться, что к чувствам толпы примешивалась немалая доля страха. Горбун был силен, кривоногий был ловок, глухой был зол — три качества, умеряющие насмешки.

Но едва ли новый папа шутов отдавал себе ясный отчет в чувствах, которые он возбуждал и которые испытывал сам. Ум, обитавший в этом уродливом теле, тоже не мог развиться как следует, не мог рассуждать здраво и делать точные

выводы. А потому Квазимодо лишь смутно и неопределенно сознавал то, что сам он чувствовал в эту минуту.

Только радость охватывала его все сильнее, только гордость преобладала над всем! Это уродливое, жалкое лицо было, казалось, озарено сиянием.

В ту минуту, как опьяненного величием Квазимодо торжественно несли мимо Дома с колоннами, какой-то человек, к изумлению и ужасу толпы, вдруг бросился к нему и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох — знак его папского достоинства.

Этот смельчак был тот самый лысый незнакомец, который некоторое время тому назад, стоя в толпе, окружавшей цыганку, испугал молодую девушку своими угрожающими, полными ненависти словами. На нем была одежда духовного лица. В ту минуту, как он бросился к Квазимодо, Гренгуар, до сих пор не видевший его, вскрикнул от удивления.

— Господи! — пробормотал он. — Да это мой учитель герметики, архидьякон Клод Фролло! Что ему нужно от этого кривого? Ведь тот разорвет его!

И действительно, раздался крик ужаса. Квазимодо в ярости соскочил с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть убийства архидьякона.

Горбун бросился к Клоду Фролло, взглянул на него и пал на колени. Архидьякон сорвал с него тиару, сломал его посох и разорвал мишурную мантию.

Квазимодо продолжал стоять на коленях, опустив голову и сложив руки.

Потом между ними начался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни один из них не произносил ни слова. Архидьякон стоял гневный, в угрожающей, повелительной позе; Квазимодо склонялся к его ногам, смиренный, умоляющий. А между тем он мог бы одним пальцем уничтожить Клода Фролло, — в этом не было ни малейшего сомнения.

Наконец архидьякон, сжав могучее плечо Квазимодо, знаком велел ему встать и следовать за собою.

Горбун встал.

Тогда братство шутов, опомнившись от первого изумления, решило защищать своего так грубо свергнутого папу; цыгане, воры и писцы с криками окружили архидьякона.

Квазимодо заслонил его собою, сжал свои страшные кулаки и, оглядев толпу, заскрежетал зубами, как разъяренный тигр.

Архидьякон, лицо которого приняло свое обычное спокойное и строгое выражение, сделал ему знак и молча стал удаляться.

Горбун пошел впереди, расталкивая народ на его пути.

Когда они выбрались из толпы и пересекли площадь, толпа любопытных и зевак двинулась за ними. Тогда Квазимодо занял место в арьергарде и, обернувшись к ним лицом, пятясь, пошел за архидьяконом. Угрюмый, коренастый, всклокоченный, чудовищный, насторожившийся, он облизывал свои кабаньи клыки, ворчал, как дикий зверь, и одним взглядом или жестом заставлял толпу отпрянуть в сторону.

Наконец они оба вошли в узкую темную улицу, и никто не решился следовать за ними, — одна мысль о страшном, скрежещущем зубами Квазимодо преграждала туда путь.

— Вот так чудеса! — сказал Гренгуар. — Но где же, черт возьми, я добуду себе ужин?

IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину

Не зная, куда идти, Гренгуар пошел за цыганкой. Он видел, как она повернула со своей козочкой на улицу ножовщиков, и тоже свернул туда.

«Почему бы и нет!» — подумал он.

Гренгуар, практический философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение легче всего приходит, когда следуешь за хорошенькой женщиной, не зная, куда она идет. Это добровольное отречение от своей воли, подчинение своей фантазии фантазии другого, даже не подозревающего о том, смесь независимости и слепого повиновения, нечто среднее между свободой и рабством, — нравились Гренгуару. У него был нерешительный, сложный характер, постоянно переходящий из одной крайности в другую, колеблющийся между различными желаниями и стремлениями, которые вследствие этого взаимно уничтожались. Он сам охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который два

магнита тянут в противоположные стороны и который вечно колеблется между верхом и низом, между восхождением и падением, между зенитом и надиром.

Если бы Гренгуар жил в наше время — какое великолепное место занял бы он между классицизмом и романтизмом!

Но, к сожалению, он родился слишком поздно, когда люди уже перестали жить по триста лет. А между тем в наши дни его отсутствие особенно ощутимо и заметно.

Настроение человека, не имеющего пристанища на ночь, как нельзя лучше подходит для того, чтобы следовать за прохожими и прежде всего, конечно, за женщинами, что Гренгуар проделывал охотно.

Итак, он шел, задумавшись, за молодой девушкой, которая ускорила шаг и заставляла бежать свою козочку, видя, что все расходятся по домам и таверны запираются. Все остальные лавки были закрыты в этот день.

«Ведь живет же она где-нибудь, — думал Гренгуар. — У цыган доброе сердце. Кто знает?..»

Многоточие, которое он мысленно ставил после этого вопроса, таило за собой что-то недосказанное и, по-видимому, очень приятное.

Время от времени, когда он проходил мимо групп горожан, возвращавшихся домой и запиравших за собою двери, обрывки их разговоров, долетавшие до него, прерывали цепь его мечтаний.

Вот встретились на улице два старика.

— А какой холод-то сегодня, мэтр Тибо Ферникль! — произнес один.

Гренгуар знал это с самого начала зимы.

— Ваша правда, мэтр Бонифаций Дизом, — отвечал другой. — Неужели у нас будет опять такая же зима, как три года тому назад, в четыреста восьмидесятом году, когда охапка дров стоила восемь солей?

— Это что, мэтр Тибо! А помните зиму в четыреста семидесятом году, когда морозы стояли с Мартинова дня и до самого Сретения, — да такие морозы, что у секретаря парламента через каждые три слова замерзали на пере чернила! И из-за этого пришлось запустить дела.

Вот две соседки болтают, стоя у окон с зажженными свечами, потрескивающими от тумана.

— Слышали вы, какое несчастье случилось сегодня, госпожа де Бурдак? Рассказывал вам муж?

— Нет. Что же такое случилось, госпожа Тюркан?

— Лошадь нотариуса Жилля Годена испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног мэтра Филиппа Аврилло, облата целестинских монахов.

— Неужели?

— Истинная правда.

— Лошадь горожанина! Это уж слишком. Еще будь это кавалерийская лошадь — куда ни шло!

Окна захлопнулись. Но Гренгуар все-таки терял нить своих мыслей.

К счастью, он скоро опять находил ее благодаря цыганке и Джали, двум нежным, грациозным, прелестным созданиям, шедшим впереди. Он любовался их маленькими ножками, их стройными формами и грациозными движениями, и они почти сливались в его воображении. По своему уму и дружбе обе они казались ему молодыми девушками; по легкости и быстроте походки это были две козочки.

Между тем улицы становились с каждой минутой все темнее и пустыннее.

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как прозвучал колокольный сигнал тушить огни, и теперь только изредка попадался на улице прохожий или светился где-нибудь в окне огонек.

Гренгуар последовал за цыганкой в запутанный лабиринт улиц, перекрестков и глухих

переулков, которые окружают старинное кладбище «Невинных душ» и походят на моток ниток, перепутанный кошкой.

«Вот улицы, которым не хватает логики!» — думал Гренгуар, путаясь в бесчисленных поворотах, которые, казалось ему, приводили опять на то же место. Но девушка, очевидно, хорошо знала эту местность: она без малейшего колебания шла вперед, все ускоряя шаг. Что же касается Гренгуара, то он совсем сбился с толку и не мог бы сказать, куда попал, если бы не заметил на повороте одной улицы восьмиугольного позорного столба Рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей черной резьбой на освещенном окне одного из домов улицы Верделе.

Молодая девушка наконец заметила, что ее преследуют, и несколько раз с беспокойством оглянулась назад. Один раз она даже остановилась и, воспользовавшись светом, проникавшим из полуотворенной двери булочной, внимательно оглядела Гренгуара с головы до ног. После этого осмотра она сделала гримасу, которую он уже видел раньше, и пошла дальше.

Эта хорошенькая гримаска заставила призадуматься Гренгуара; она — в этом не могло быть

сомнения — выражала презрение и насмешку. А потому он немножко замедлил шаг и, опустив голову, стал считать камни мостовой, следуя за девушкой уже на некотором отдалении. Вдруг на повороте одной улицы девушка пропала у него из виду, и он услыхал ее пронзительный крик.

Гренгуар ускорил шаг.

Улица была окутана мраком. К счастью, на углу, около статуи Пресвятой Девы, горела в железном фонаре пропитанная маслом светильня, и при ее слабом свете Гренгуар увидел цыганку, вырывавшуюся из рук двоих мужчин, старавшихся заглушить ее крики. Бедная перепуганная козочка опустила рога и жалобно блеяла.

— Стража, сюда! — крикнул Гренгуар и смело бросился вперед.

Один из мужчин, державших девушку, обернулся к нему, и он увидел страшное лицо Квазимодо.

Гренгуар не обратился в бегство, но и не двинулся с места.

Квазимодо подошел к нему, одним ударом сбил его с ног и быстро скрылся в темноте, унося молодую девушку, перебросив ее через плечо, как шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка, продолжая жалобно блеять,

побежала сзади.

— Помогите! Помогите! — кричала несчастная цыганка.

— Стойте, негодяи, и освободите эту женщину! — раздался вдруг громовой голос, и из-за угла появился какой-то всадник.

Это был капитан королевских стрелков, вооруженный с головы до ног и с обнаженной саблей в руке.

Он вырвал цыганку из рук ошеломленного Квазимодо и положил ее поперек своего седла. А когда ужасный горбун, опомнившись от изумления, бросился к нему, чтобы отнять свою добычу, человек пятнадцать вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим начальником, подскакали к нему. Этот отряд был послан в ночной объезд по распоряжению парижского прево мессира Роберта д'Эстуваля.

Квазимодо схватили и связали по рукам и ногам. Он кричал, бесновался, кусался, и, будь это днем, один вид его безобразного, искаженного гневом лица, которое от этого было еще ужаснее, чем обычно, наверное, обратил бы в бегство весь отряд. Но темнота лишила горбуна самого страшного его оружия — безобразия.

Спутник Квазимодо исчез во время схватки.

Цыганка, грациозно приподнявшись на седле и положив руки на плечи молодого всадника, несколько секунд пристально смотрела на него, как бы благодаря его за оказанную услугу и вместе с тем восхищаясь его красивой наружностью. Она первая нарушила молчание. Придав еще больше нежности своему и без того нежному голосу, она спросила:

— Как вас зовут, господин стрелок?

— Капитан Феб де Шатопер к вашим услугам, моя красавица, — выпрямившись, ответил офицер.

— Благодарю вас, — сказала она.

И в то время как капитан самодовольно крутил усы, она, как падающая на землю стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии.

— Черт возьми! — воскликнул капитан и велел стянуть покрепче ремни, которыми был связан Квазимодо. — Мне было бы гораздо приятнее оставить у себя девушку!

— Делать нечего, капитан! — сказал один из его спутников. — Птичка улетела, а летучая мышь осталась.

V. Продолжение неудач

Оглушенный падением, Гренгуар продолжал лежать на углу улицы, перед статуей Пресвятой Девы. Мало-помалу он пришел в себя. Сначала, в продолжение нескольких минут, он находился в полубессознательном и довольно приятном забытьи, причем воздушные фигуры цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимодо. Но это состояние продолжалось недолго. Довольно сильный холод, который ощущало его тело от соприкосновения с мостовой, вывел его из забытья и привел в себя.

«Отчего мне так холодно?» — подумал он и тут только заметил, что лежит в уличной канаве.

— Черт побери этого горбатого циклопа! — проворчал сквозь зубы Гренгуар и хотел встать. Но у него так кружилась голова и он был до того разбит, что не мог подняться и принужден был остаться на месте. Делать нечего — приходилось покориться. Он поднял руку и зажал себе нос.

«Парижская грязь, — подумал он, в полной уверенности, что луже, в которой он лежит, суждено было послужить ему на этот раз ночлегом (“А что же делать на ложе, как не мечтать”), — па-

рижская грязь как-то особенно зловонна. Она, наверное, заключает в себе много летучей соли и азотной кислоты. По крайней мере, так полагает мэтр Никола Фламель и герметики…»

Слово «герметики» напомнило ему об архидьяконе Клоде Фролло. Он вспомнил страшную сцену, которая произошла на его глазах; вспомнил, как цыганка отбивалась от двоих мужчин; вспомнил, что у Квазимодо был спутник, — и суровое, гордое лицо архидьякона смутно промелькнуло в его памяти.

«Это было бы очень странно!» — подумал он и по одной лишь данной принялся строить на весьма шатком основании причудливое здание гипотез — этот карточный домик философов.

— Господи! Я совсем замерзаю! — вдруг воскликнул он, снова возвращаясь к действительности.

Положение Гренгуара становилось действительно невыносимым. Каждая частичка воды отнимала частичку теплоты его тела, так что его температура, мало-помалу понижаясь, начала весьма неприятным образом сравниваться с температурой воды.

Но тут Гренгуара постигла новая беда. Толпа уличных мальчишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые с незапамятных времен

гранят мостовые Парижа и называются «гаменами», которые в дни нашего детства швыряли камнями в нас, когда мы по вечерам выходили из школы, только за то, что наши панталоны не были оборваны, — толпа этих буйных ребятишек показалась на перекрестке, где лежал Гренгуар. Нисколько не заботясь о том, что все уже спят, они с громким хохотом и криком тащили за собою какой-то безобразный мешок. Деревянные башмаки их с таким громом били о мостовую, что этот стук мог бы разбудить мертвого. Гренгуар, который был еще не совсем мертв, немножко приподнялся.

— Эй, Геннекен Дандеш! Эй, Жан Пенсбурд! — во все горло кричали они. — Старик Эсташ Мубон, торговавший на углу железом, умер. У нас его соломенное чучело, мы разведем из него костер — устроим иллюминацию по случаю приезда фламандцев.

И они швырнули чучело прямо на Гренгуара, к которому подбежали, не заметив его. Потом один из них взял пук соломы и стал зажигать его от лампадки, горевшей перед статуей Пресвятой Девы.

— Господи помилуй! — пробормотал Гренгуар. — Теперь мне будет, пожалуй, уж чересчур

жарко.

Минута была критическая. Гренгуар мог очутиться в безвыходном положении, между водой и огнем. Сделав такое же страшное, нечеловеческое усилие, какое сделал бы для спасения своей жизни фальшивомонетчик, видя, что его собираются варить в котле, Гренгуар встал, отбросил чучело на мальчишек и бросился бежать.

— Пресвятая Дева! — вскрикнули дети. — Это вернулся старик Мубон!

И они тоже умчались без оглядки.

Поле битвы осталось за соломенным чучелом. Летописцы Бельфорз, священник ле Жюж и Коррозэ уверяют, что на другой день местное духовенство подняло его и торжественно отнесло в церковь Сент-Опортюнэ. Для ризницы этой церкви оно до 1789 года служило довольно прибыльной статьей дохода, так как появление чучела Эсташа Мубона на перекрестке считалось чудом, совершенным Пресвятой Девой, статуя которой стояла тут же, на углу улицы Монконсейль. Она одним своим присутствием спасла в памятную ночь с 6 на 7 января 1482 года умершего Эсташа Мубона, который, желая подшутить над дьяволом, умирая, запрятал свою душу в соломенное чучело.

VI. Разбитая кружка

Гренгуар бежал некоторое время со всех ног, сам не зная куда. Не раз стукался он головой об углы домов, сворачивая из одной улицы в другую, перепрыгивал через канавы, пересекал улицы, глухие переулки и перекрестки, бросался во все извилистые проходы старинного рынка и исследовал в паническом страхе то, что называется в старинных латинских хартиях «tota via, cheminum et viaria»[29].

Вдруг наш поэт остановился как вкопанный. Во-первых, он чуть не задохнулся, а во-вторых, его, так сказать, схватила за ворот неожиданно пришедшая ему в голову дилемма.

— Мне кажется, мэтр Пьер Гренгуар, — сказал он, прикладывая палец ко лбу, — что вы совсем потеряли голову! Ну зачем вы бежите как безумный! Ведь мальчишки испугались вас нисколько не меньше, чем вы испугались их. Вы своими же собственными ушами слышали, как застучали их башмаки по направлению к югу — в то время как вы сами бросились к северу. Одно из двух.

---

[29] Сноски: 29

«Вся дорога, извилистая и запутанная» (*лат.*).

Если они убежали, то принесенная ими солома послужит вам прекрасной постелью, которой вы добиваетесь чуть не с самого утра и которую вам чудесно посылает Пресвятая Дева в награду за то, что вы написали в ее честь моралите. Если же дети остались и зажгли солому, у вас будет великолепный костер, около которого вам можно будет обсушиться, обогреться и немножко воспрянуть духом. Во всяком случае, — в виде ли костра, в виде ли постели — солома для вас является даром неба. Может быть, Пресвятая Дева Мария, статуя которой стоит на углу улицы Монконсейль, именно для этого и послала смерть Эсташу Мубону, и очень глупо с вашей стороны бежать, как пикардиец перед французом, оставляя позади себя то, чего сами же ищете. Вы ужаснейший болван, мэтр Пьер Гренгуар!

И Гренгуар повернул обратно. Насторожив уши и внимательно всматриваясь, он старался ориентироваться и отыскать благодетельную солому. Но старания его были тщетны. Он попал в такой лабиринт глухих переулков, перекрестков и домов, что все время колебался, не зная, куда идти, потерявшись в этой путанице темных улиц больше, чем если бы попал в лабиринт замка Турнель. Наконец его терпение лопнуло.

— Будь прокляты все эти перекрестки! — торжественно воскликнул он. — Наверное, сам дьявол понаделал их!

Это восклицание несколько облегчило его, а красноватый отблеск, который он в эту минуту увидел в конце длинной извилистой улицы, вернул ему мужество.

— Слава богу! — воскликнул он. — Это горит мой костер! — И, сравнивая себя с кормчим судна, сбившегося ночью с пути, он благоговейно прибавил: — Salve, Maria, stella[30].

К кому относились эти слова хвалебного гимна — к Пресвятой Деве или соломенному чучелу, — этого мы знать не можем.

Не успел он сделать и нескольких шагов по длинной немощеной улице, которая шла под гору и становилась все круче и грязнее, как заметил что-то странное. То тут то там по ней двигались, смутно выделяясь среди темноты, какие-то неуклюжие фигуры. Все они направлялись к свету, мерцавшему в конце улицы, и походили на неповоротливых гусениц, которые, перебираясь ночью со стебелька на стебелек, ползут к костру пастуха.

---

[30] Сноски: 30
Привет, Мария, звезда (*лат.*).

Человек делается необыкновенно смел, когда у него пусты карманы. Гренгуар продолжал идти вперед и скоро догнал одну из этих гусениц, которая тащилась медленнее других. Поравнявшись с нею, он увидал, что это жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, и походил на паука-сенокосца, оставшегося только с двумя лапками. В то время как он проходил мимо этого паука с человеческим лицом, тот жалобно проговорил:

— La buona mancia, signor! La buona mancia![31]

— Черт тебя побери, — воскликнул Гренгуар, — да и меня вместе с тобою, если я понимаю, что ты хочешь сказать!

И он пошел дальше.

Через минуту Гренгуар догнал другого калеку и с любопытством оглядел его. Это был разбитый параличом несчастный, хромой и однорукий, опиравшийся на сложное сооружение из костылей и деревяшек, которые делали его похожим на ходячие подмостки каменщиков. Гренгуар, имевший слабость к благородным классическим сравнениям, мысленно сравнил его с живым треножником Вулкана.

---

[31] Сноски: 31
Подайте, синьор, подайте! (*Ит.*)

Этот треножник поклонился, когда он поравнялся с ним, и, подставив свою шляпу, как бритвенницу, под самый его подбородок, крикнул ему в ухо:

— Senor caballero, para comprar un pedaso de pan[32].

«И этот, кажется, говорит, — подумал Гренгуар, — но на очень грубом языке. Он счастливее меня, если понимает его».

Тут мысли его внезапно приняли другой оборот, и он прибавил, хлопнув себя по лбу:

— Не понимаю, что они хотели сказать сегодня утром своей «Эсмеральдой»!

Он хотел ускорить шаг, но в третий раз что-то или, вернее, кто-то преградил ему путь. Это был слепой, с еврейским лицом, низенький и бородатый, которого вела на поводу большая собака. Он размахивал вокруг себя палкой и, услыхав шаги Гренгуара, прогнусил с венгерским акцентом:

— Facitote caritatem[33].

— Слава богу! — сказал Гренгуар. — Хоть один говорит по-человечески. Должно быть, я кажусь очень добрым, если у меня просят милостыню,

---

[32] Сноски: 32
Господин кавалер, подайте на кусок хлеба (*исп.*).

[33] Сноски: 33
Сотворите милостыню (*лат.*).

несмотря на мой тощий кошелек... Любезный друг, — прибавил он, обращаясь к слепому, — я на прошлой неделе продал свою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого другого ты, по-видимому, не понимаешь, vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam.

Сказав это, он повернулся спиной к нищему и пошел дальше. Но слепой ускорил шаг и не отставал от него; в то же время паралличный и безногий стали догонять Гренгуара, громко стуча по мостовой своими костылями и чашками для сбора подаяний. Потом они все трое, спотыкаясь и ковыляя, пошли за бедным поэтом и затянули свою песенку:

— Caritatem! — начинал слепой.

— La buona mancia! — подхватывал безногий.

— Un pedaso de pan! — заканчивал музыкальную фразу паралличный.

Гренгуар заткнул уши.

— Настоящее вавилонское столпотворение! — воскликнул он и бросился бежать. Слепой, безногий и паралличный тоже побежали за ним.

И по мере того как Гренгуар подвигался вперед, около него все увеличивалось число калек, которые выходили из домов и прилегающих

переулков, выползали из подвалов. Тут были безногие, слепые, горбатые, безрукие, кривые и прокаженные со своими страшными язвами. И все они кричали, выли, визжали, все спотыкались и ковыляли, стремясь к свету, все были грязны, как улитки после дождя.

Гренгуар, которого продолжали преследовать трое нищих, совсем растерялся и, не зная, что делать, шел вместе с остальными, обходя хромых, перепрыгивая через безногих и с таким же трудом пробираясь в этой толпе калек, с каким подвигалось судно одного английского капитана, попавшее в косяк крабов.

Ему пришло в голову повернуть назад, но было уже слишком поздно. Весь этот легион сомкнулся позади него, а его преследователи не отставали ни на шаг. И он продолжал идти, увлекаемый этим непреодолимым течением и охватившим его страхом. Голова у него кружилась — ему казалось, что он видит страшный сон.

Наконец он дошел до конца улицы. Она выходила на громадную площадь, где в ночном тумане мерцали тысячи рассеянных огоньков. Гренгуар бросился бежать, надеясь, что быстрые ноги унесут его от трех отвратительных калек, не выпускавших его из виду.

— Onde vas, hombre?[34] — крикнул паралич-ный, отшвырнув костыли, и бросился за ним. У него оказалась пара самых великолепных и быст-рых ног, какие когда-либо ступали по парижским улицам.

Безногий тоже подбежал и нахлобучил на голо-ву Гренгуару свою тяжелую, окованную железом чашку, а слепой смотрел на него сверкающими глазами.

— Где я? — спросил перепуганный поэт.

— Во Дворе чудес, — ответил четвертый нищий, подходя к товарищам.

— Да, здесь действительно совершаются чуде-са, — сказал Гренгуар. — Слепые тут прозревают, безногие бегают... Но где же Спаситель?

В ответ раздался зловещий смех.

Бедный поэт осмотрелся кругом. Он на самом деле попал на тот страшный Двор чудес, куда никогда не заходил в такой поздний час ни один порядочный человек. Это был магический круг, где исчезали бесследно судебные пристава и городские сержанты, осмелившиеся переступить черту; притон воров, отвратительный нарост на лице Парижа; клоака, откуда изливался каж-

---

[34] Сноски: 34
Куда бежишь, человече? (*Исп.*)

дое утро, а ночью лился назад грязный поток пороков, нищенства и бродяжничества, всегда переливавшийся через край и наводнявший улицы столицы, чудовищный улей, куда сходились вечером с добычей все трутни человеческого общества; обманчивый госпиталь, где цыган, расстриженный монах, опустившийся студент и негодяи всех наций и религий — испанцы, итальянцы, немцы, евреи, христиане, магометане, язычники — днем просили подаяния, стараясь разжалобить своими искусственными язвами, а ночью превращались в разбойников, — словом, громадная одевальная, где одевались и раздевались в ту пору актеры той вечной комедии, которую воровство, проституция и убийство играют на улицах Парижа.

Обширная площадь неправильной формы была плохо вымощена, как и все парижские площади в то время. Тут и там на ней горели костры, вокруг которых теснились странные группы. Люди подходили, уходили, кричали. Со всех сторон раздавались грубый смех, плач детей и голоса женщин. Руки и головы этой толпы, казавшиеся черными на светлом фоне, принимали странные очертания. Иногда мимо костра, бросавшего на землю колеблющийся отблеск, пересеченный

длинными смутными тенями, мелькала собака, похожая на человека, или человек, похожий на собаку. Здесь были люди всякого сорта и всех национальностей, но грани между ними были стерты. Мужчины, женщины, животные, возраст, пол, здоровье, болезни — все смешивалось и сливалось. Каждый принимал здесь участие во всем.

При слабом, мерцающем свете Гренгуар, несмотря на свое волнение, различил вокруг площади ряд безобразных старых домов. Осевшие, низкие, источенные червями фасады их с освещенными то одним, то двумя слуховыми окнами казались ему в темноте рядом громадных голов угрюмых, чудовищных старух, смотревших, подмигивая, на этот шабаш.

Перед ним был какой-то совсем новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, фантастический.

Гренгуар, совсем обезумев от страха, окруженный троими нищими, державшими его как в тисках, и множеством других лиц, оглушенный шумом и гвалтом, старался собраться с мыслями и припомнить, не канун ли праздника сегодня. Но все его усилия были тщетны — нить его мыслей и памяти оборвалась.

И, сомневаясь во всем, переходя от того, что он видел, к тому, что он чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос:

— Если я существую — существует ли все окружающее? Если существует все окружающее — существую ли я?

В это время раздались громкие крики, покрывшие гул окружавшей его толпы:

— Отведем его к королю! Отведем его к королю!

— Пресвятая Дева! — пробормотал Гренгуар. — Здешний король, наверное, козел!

— К королю! К королю! — заревела вся толпа.

Гренгуара потащили. Каждый старался завладеть им. Но трое нищих не выпускали своей добычи и вырывали его у других с криком: «Он наш!» Камзол поэта, и без того уже изношенный, во время этой битвы испустил последнее дыхание. Пересекая ужасную площадь, он несколько опомнился, пришел в себя и начал осматриваться. В первую минуту, благодаря его поэтическому воображению, а может быть, просто пустому желудку, легкое облако задернуло перед ним все окружающее, и он видел все словно в неясном тумане кошмара, как в сумраке сна, когда все очертания дрожат, формы колеблются, предме-

ты скучиваются в чудовищные группы, когда вещи кажутся химерами, а люди — призраками. Мало-помалу эта галлюцинация рассеялась, и помутившийся взгляд Гренгуара прояснился. Действительность предстала перед ним; она била ему в глаза, попадалась под ноги, и наконец ужасная, но поэтическая картина, подсказанная в первые минуты его воображением, побледнела и исчезла. Он сообразил, что перед ним не Стикс, а грязь, что его толкают не демоны, а воры, что в опасности находится не душа его, а попросту жизнь, так как у него нет кошелька, этого вернейшего примирителя, который с таким успехом становится между вором и честным человеком. Таким образом, разглядев оргию ближе и хладнокровнее, Гренгуар понял, что попал не на шабаш, а в кабак.

Двор чудес был и в самом деле кабак, но кабак разбойников, залитый не только вином, но и кровью.

Когда оборванный конвой Гренгуара наконец доставил его куда следовало, открывшееся перед ним зрелище никоим образом не могло привести его в мечтательное настроение, так как было лишено всякой поэзии, даже поэзии ада. Перед ним была самая прозаическая, грубая действитель-

ность таверны. Если бы действие происходило не в пятнадцатом веке, мы сказали бы, что Гренгуар спустился от Микеланджело к Калло.

На плоском камне был разложен большой огонь, над которым стоял таган, в настоящую минуту пустой, а вокруг огня в беспорядке стояли несколько источенных червями столов. Здесь не было слуги-геометра, который бы удосужился придать им побольше симметрии или хотя бы позаботился, чтобы они не соприкасались между собою под такими необычайными углами. На столах поблескивало несколько переливающихся через край кружек с пивом и вином, а за этими кружками виднелись пьяные лица, раскрасневшиеся от огня и вина. Вон какой-то толстяк с огромным брюхом и веселым лицом звонко целует толстую, обрюзгшую девку. Рядом с ним плут, изображавший днем солдата, разбинтовывает, посвистывая, свою якобы раненую ногу и потирает здоровое колено, которое было туго завернуто с самого утра во всевозможные тряпки. Его сосед занят изготовлением чудесного снадобья из чистотела и бычьей крови, при помощи которого он к утру превратит свою здоровую ногу в больную, покрытую страшными язвами. Через два стола от них «святоша» в полном костюме

паломника упражняется, монотонно напевая в нос стихи и псалмы. Недалеко от него очевидно еще неопытный юноша берет урок падучей болезни у старого попрошайки, который учит его пускать пену, засунув в рот кусок мыла. Тут же больной водянкой превращается в здорового, выпуская раздувавший его воздух, а четыре или пять воровок, сидящие с ним за одним столом и спорящие из-за украденного вечером ребенка, зажимают себе носы.

Спустя два века все эти типы и превращения Двора чудес казались уже «такими удивительными и забавными», как говорит Соваль, «что, для развлечения короля, они появились на сцене и послужили сюжетом для балета „Ночь", который разделялся на четыре акта и давался в театре Малого Бурбонского дворца».

«Никогда еще, — говорит очевидец 1653 года, — не были так верно воспроизведены необыкновенные метаморфозы Двора чудес. А прелестные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».

Всюду раздавались грубый смех и непристойные песни. Каждый говорил свое, кричал и бранился, не слушая соседа. Кружки стукались одна об другую, разбитая кружка порождала

ссору, и в ссоре бродяги черепками рвали друг на друге лохмотья.

Большая собака сидела около огня и смотрела на него. Было в этом аду и несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, толстенький мальчик лет четырех, сидел, свесив ноги, на слишком высокой для него скамейке, у стола, доходившего ему до подбородка, и не говорил ни слова. Третий с серьезным видом размазывал пальцем по столу сало, которые текло с оплывавшей свечи. Последний, еще совсем крошка, весь покрытый грязью, был едва виден из-за огромного котла. Он почти влез в него и скреб котел обломком черепицы, извлекая звук, от которого Страдивари, наверное, упал бы в обморок.

У огня стояла бочка, а на ней сидел нищий. Это был король на своем троне.

Трое оборванцев, захвативших Гренгуара, подвели его к бочке, и на минуту вся толпа притихла, только из котла, в который забрался ребенок, по-прежнему раздавался скрип.

Гренгуар не осмеливался ни поднять глаз, ни перевести дух.

— Hombra, quita tu sombrero[35], — сказал один

---

[35] Сноски: 35
Человече, сними свою шляпу (*исп.*).

из троих негодяев, и, прежде чем Гренгуар понял, что это значит, другой сорвал с него шляпу. Правда, это была довольно жалкая шляпа, но она еще могла защищать его от солнца и дождя. Гренгуар вздохнул.

Между тем король с высоты своего трона обратился к нему.

— Это что за мошенник? — спросил он.

Гренгуар вздрогнул. Голос короля, хотя в нем теперь и слышалась угроза, напомнил ему другой, жалобный голос, который в то самое утро нанес первый удар его мистерии, затянув среди представления: «Подайте Христа ради!» Он поднял глаза. Перед ним был действительно Клопен Труйльфу.

Несмотря на знаки королевского достоинства, Клопен Труйльфу был облачен в те же самые лохмотья. Болячка на его руке уже исчезла. Он держал ременный кнут из белой кожи, какие назывались в то время «метелками» и употреблялись сержантами, когда нужно было водворить порядок в толпе. На голове у него было что-то странное — не то детская шапочка, не то корона. Разобрать было трудно — ведь они так похожи одна на другую.

Между тем Гренгуар, сам не зная почему,

несколько ободрился, узнав в короле Двора чудес ненавистного ему нищего большого зала.

— Мэтр… — пробормотал он. — Монсеньор… Сир… Как прикажете называть вас? — наконец спросил он, достигнув высшей точки своего величания, не зная, как подняться еще выше, и не решаясь спуститься вниз.

— Монсеньор, ваше величество или товарищ — называй меня, как хочешь. Но только не мямли. Что можешь ты сказать в свое оправдание?

«В свое оправдание! — подумал Гренгуар. — Плохо дело!» И он проговорил, заикаясь:

— Я тот… который сегодня утром…

— Клянусь когтями дьявола! — прервал его Клопен. — Твое имя, мошенник, и ничего больше! Слушай. Ты стоишь перед лицом трех могущественных государей: меня, Клопена Труйльфу, короля тунского, преемника верховного властелина королевства арго; Матиаса Гунгади Сникали, герцога египетского и цыганского, — вон того желтолицего старика с тряпкой, обвязанной кругом головы, и Гильома Руссо, императора галилейского, того толстяка, который ласкает шлюху и не слушает нас. Мы твои судьи. Ты, чужой, пришел в королевство арго и нарушил этим привилегии нашего города. Ты будешь наказан,

если только ты не вор, не нищий и не бродяга. Оправдывайся. Выкладывай свои титулы. Кто ты — вор, нищий или бродяга?

— Увы! — отвечал Гренгуар. — Я не имею чести принадлежать к ним. Я писатель…

— Довольно, — остановил его Труйльфу, не дав ему докончить, — ты будешь повешен. Да, повешен, и это вполне справедливо, господа честные горожане. Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами у себя. Закон, который вы придумали для бродяг, бродяги в свою очередь применяют к вам. Вы сами виноваты, если он строг. Надо же когда-нибудь полюбоваться и нам на гримасу честного человека в веревочной петле. От этого сама казнь становится как-то почетней. Ну, приятель, раздай-ка живей свои лохмотья этим барышням. Я повешу тебя для развлечения воров и бродяг, а ты отдашь им кошелек, чтобы им было на что выпить. Если хочешь помолиться перед смертью, у нас есть прекрасная статуя Бога Отца, которую мы украли из церкви Святого Петра на Быках. Даю тебе четыре минуты, чтобы поручить Богу свою душу.

Речь произвела большой эффект.

— Ловко сказано, клянусь душою! — восклик-

нул царь галилейский, разбив свою кружку об стол. — Клопен Труйльфу читает проповеди не хуже самого святейшего отца Папы!

— Всемилостивейшие императоры и короли! — хладнокровно сказал Гренгуар; к нему совершенно неожиданно вернулось мужество, и он говорил смело. — Вам еще неизвестно, кто я. Я Пьер Гренгуар, поэт, написавший мистерию, которую разыгрывали сегодня утром в большом зале Дворца правосудия.

— А, так вот ты кто! — воскликнул Клопен. — Как же, как же, ведь я тоже был там. Так что же из этого, приятель? Разве потому, что ты надоедал нам утром, тебя нельзя повесить вечером?

«Трудно мне будет выпутаться из беды», — подумал Гренгуар, но все-таки сделал еще одну попытку.

— По-моему, — сказал он, — поэты как раз подходят к вам. Эзоп был бродягой, Гомер — нищим, Меркурий — вором…

— Ты, кажется, вздумал морочить нас своей тарабарщиной, — прервал его Клопен. — Черт возьми! К чему столько церемоний? Неужели ты не можешь дать себя повесить просто?

— Извините, ваше величество, король тунский, — возразил Гренгуар, упорно отстаивая

каждый шаг. — Вы увидите сами… Одну минуту… Выслушайте меня… Ведь не осудите же вы меня, не выслушав?..

Между тем шум мало-помалу увеличивался, и слабый голос Гренгуара был едва слышен. Маленький мальчик пилил по котлу еще усерднее, чем прежде, да вдобавок какая-то старуха поставила на таган сковородку с салом, трещавшим на огне так громко, как кричит толпа ребятишек, преследуя маску.

Клопен Труйльфу, посовещавшись с герцогом цыганским и мертвецки пьяным царем галилейским, резко крикнул своим подданным:

— Молчать!

Но так как котел и сковородка не слушались его, то он соскочил с бочки, одним ударом ноги отбросил котел шагов на десять от ребенка, а другой ногой опрокинул сковородку, все сало с которой пролилось в огонь. Затем он важно взобрался на свой трон и уселся, не обращая внимания на прерывистые всхлипывания мальчика и ворчание старухи, ужин которой улетел вместе с густым дымом.

По знаку Труйльфу герцог цыганский, император галилейский, святоши и высшие члены королевства встали полукругом вокруг Гренгу-

ара, которого продолжали держать трое нищих. Окружавшие поэта люди были в лохмотьях и мишурных украшениях, с дрожащими от пьянства ногами, тусклыми глазами и тупыми, безжизненными лицами. Они держали в руках вилы и топоры. Во главе этого чудовищного «круглого стола» восседал на своем троне Труйльфу, как дож в сенате, как Папа на конклаве, как король среди своих пэров. Он господствовал над всеми, был выше всех, и не потому только, что сидел на бочке. В выражении его лица было что-то свирепое, надменное и грозное, придававшее блеск его глазам и смягчавшее его животный тип. Он казался вепрем среди свиней.

— Слушай, — сказал он Гренгуару, поглаживая уродливый подбородок мозолистой рукой. — Я не вижу ничего такого, что мешало бы мне повесить тебя. Положим, это как будто не нравится тебе, но что же тут мудреного? Вы, горожане, не привыкли к этому и потому воображаете, что это уж невесть что. Но мы вовсе не желаем тебе зла, и, если хочешь, я дам тебе возможность выпутаться из беды. Согласен ты присоединиться к нам?

Нетрудно представить себе, как подействовало это предложение на Гренгуара, потерявшего уже всякую надежду спасти свою жизнь. Он с востор-

гом ухватился за него.

— Согласен… конечно… с удовольствием, — отвечал он.

— Желаешь ты вступить в воровскую шайку?

— В воровскую? Конечно!

— Признаешь ты себя членом вольной буржуазии? — продолжал тунский король.

— Да, я признаю себя членом вольной буржуазии.

— Подданным королевства арго?

— Королевства арго.

— Бродягой?

— Бродягой.

— От всей души?

— От всей души.

— Должен, впрочем, предупредить тебя, — сказал король, — что в конце концов тебя все-таки повесят.

— Господи помилуй! — воскликнул поэт.

— Только немножко позднее, — невозмутимо продолжал Клопен, — с большей церемонией, повесят честные люди, на красивой каменной виселице и на счет славного города Парижа. Это может служить тебе утешением.

— Да… конечно, — согласился Гренгуар.

— Ты будешь пользоваться и другими преиму-

ществами. Как члену вольной буржуазии тебе не придется платить обязательных для всех парижан налогов: в пользу бедных, на очистку города и освещение улиц.

— Хорошо, — сказал поэт, — я согласен. Я бродяга, подданный королевства арго, член воровской шайки, вольной буржуазии и всего чего угодно. И я был всем этим еще раньше, ваше величество, потому что я философ. А как вам известно, et omnia in philosophia, omnes in philosophio continentur[36].

Тунский король нахмурил брови.

— За кого ты принимаешь меня, приятель? — сказал он. — С какой стати ты начал болтать на языке венгерских жидов? Я не говорю по-еврейски. Чтобы сделаться бандитом, не нужно быть жидом. Теперь я даже не занимаюсь воровством; я выше этого — я убиваю. Я режу головы, но не срезываю кошельков.

Слушая эти короткие фразы, которые, по мере того как королем овладевал гнев, становились все отрывистее, Гренгуар испугался и начал оправдываться.

— Прошу извинения у вашего величества, — сказал он. — Я говорил не по-еврейски, а по-ла-

---

[36] Сноски: 36
Философия и философы всеобъемлющи (*лат.*).

тыни.

— Повторяю тебе, что я не жид! — в ярости воскликнул Клопен. — Я велю тебя повесить, отродье синагоги! Вместе вон с тем коротышкой-жиденком, который стоит рядом с тобою. Впрочем, его, наверное, скоро пригвоздят к прилавку, как фальшивую монету.

Говоря это, он показал пальцем на низенького бородатого еврея, надоедавшего Гренгуару своим facitote caritatem[37]. Не зная никакого другого языка, еврей с удивлением смотрел на тунского короля, не понимая, чем мог вызвать его гнев.

Наконец его величество Клопен несколько успокоился.

— Итак, плут, ты хочешь поступить в воровскую шайку? — спросил он поэта.

— Да, хочу, — отвечал тот.

— Одного желания еще мало, — угрюмо проговорил Клопен. — От него не прибавится ни одной луковицы в супе, оно хорошо только для рая. А рай и арго — вещи разные. Чтобы быть принятым в шайку, ты должен доказать, что годен на что-нибудь, и для этого обыскать чучело.

— Я обыщу кого угодно, — отвечал Гренгуар.

---

[37] Сноски: 37
Подайте милостыньку (*лат.*).

Клопен сделал знак. Несколько человек вышли из круга и через минуту вернулись, неся два столба. Эти столбы заканчивались двумя деревянными подпорками, на которых они держались прочно и крепко, когда их поставили на землю. Верхние концы столбов соединили поперечной перекладиной, так что вышла прехорошенькая переносная виселица. Гренгуар имел удовольствие видеть, как она в одну минуту воздвиглась перед ним. Все было налицо, даже петля, грациозно качавшаяся под перекладиной.

— Что они хотят делать? — с некоторым беспокойством спрашивал себя Гренгуар.

В эту минуту раздался звон колокольчиков, рассеявший его тревогу, и чучело, которому члены вольной буржуазии накинули на шею петлю, закачалось на виселице. Это было настоящее воронье пугало, наряженное в красную одежду и увешанное таким огромным количеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на упряжь для тридцати кастильских мулов. Эти колокольчики звенели, пока качалась веревка, а потом, мало-помалу замирая, совсем затихли, когда чучело остановилось неподвижно, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы.

Тогда Клопен, указывая Гренгуару на старую, расшатанную скамейку, стоявшую под чучелом, сказал:

— Влезай!

— Черт возьми, да ведь я сломаю себе шею! — возразил Гренгуар. — Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала. Одна нога у нее гекзаметр, а другая пентаметр.

— Влезай! — повторил Клопен.

Делать нечего, Гренгуар влез на скамейку и, взмахнув несколько раз руками и головой, нашел наконец равновесие.

— Теперь, — продолжал тунский король, — подними правую ногу, обхвати ею левое колено и встань на кончики пальцев левой ноги.

— Так вы непременно хотите, чтобы я сломал себе что-нибудь, ваше величество? — воскликнул Гренгуар.

Клопен покачал головою.

— Ты слишком много болтаешь, приятель, — сказал он. — Вот в двух словах, что от тебя требуется: ты встанешь на цыпочки, как я сказал. Тогда ты сможешь достать карман у чучела. Ты обыщешь его и вынешь оттуда кошелек, который там лежит. Если ты сделаешь это так, что не зазвенит ни один колокольчик, — отлично, ты

будешь членом нашей шайки, и все ограничится только тем, что мы в продолжение восьми дней будем нещадно колотить тебя.

— Господи помилуй! — воскликнул Гренгуар. — А если колокольчики зазвенят?

— Тогда тебя повесят. Понимаешь?

— Нет, совсем не понимаю, — отвечал Гренгуар.

— Так слушай еще раз. Ты обыщешь это пугало и вытащишь у него из кармана кошелек. Если в это время зазвенит хоть один колокольчик, тебя повесят, понимаешь?

— Хорошо, понимаю, — сказал Гренгуар, — а дальше?

— Если тебе удастся вытащить кошелек так, что не зазвенит ни один колокольчик, ты будешь принят в шайку и мы станем тузить тебя в продолжение восьми дней подряд. Теперь ты, надеюсь, понял?

— Нет, ваше величество, я опять-таки ничего не понял. Что же я выиграю? В одном случае меня повесят, в другом будут колотить!

— Но ведь зато ты будешь бродягой! Разве ты не ставишь это ни во что? А бить тебя мы будем для твоей же пользы, чтобы приучить твое тело к ударам.

— Благодарю покорно, — отвечал поэт.

— Ну, живей! — воскликнул король, ударив ногой по бочке, которая загудела, как огромный барабан. — Обыскивай чучело, и покончим с этим. Предупреждаю тебя в последний раз, что ты сам займешь место чучела, если звякнет хоть один колокольчик.

Вся шайка разразилась рукоплесканиями при этих словах Клопена и с громким смехом окружила виселицу; этот безжалостный смех показал Гренгуару, что его отчаянное положение является для них забавой и что ему нечего ждать пощады. Итак, все было против него, — оставалась лишь одна слабая надежда, что, может быть, ему удастся выполнить трудную задачу. Он решил рискнуть, но сначала обратился мысленно с горячей мольбой к чучелу, которое собирался обокрасть; легче было смягчить его, чем окружавших виселицу людей. А когда Гренгуар взглядывал на все эти колокольчики с медными языками, ему казалось, что это — мириады змей, открывших свои пасти и собирающихся зашипеть и ужалить его.

«Господи, — думал он, — неужели моя жизнь зависит от того, зазвенит или не зазвенит хотя бы один из этих маленьких колокольчиков? О колокольчики, не звените, бубенчики, не гремите!»

— прибавил он мысленно, с мольбою сжав руки. Потом он снова обратился к Клопену.

— А если колокольчики зазвенят от ветра? — спросил он.

— Ты будешь повешен, — не задумываясь отвечал Клопен.

Видя, что нет никакой возможности ни увернуться, ни добиться отсрочки, Гренгуар покорился своей судьбе. Он переступил правою ногою за левую, встал на цыпочки на левую ногу и протянул руку; но в ту минуту, как он дотронулся до чучела, тело его, стоявшее только на одной ноге, да к тому же на трехногой скамейке, пошатнулось. Он машинально хотел опереться на чучело и, потеряв равновесие, тяжело упал на землю, оглушенный зловещим звоном тысячи колокольчиков, а чучело, которое он толкнул, сначала описало круг, а потом величественно закачалось между двумя столбами.

— Проклятие! — воскликнул Гренгуар, летя со скамейки, и, упав на землю ничком, остался неподвижен, как мертвый.

А между тем он слышал страшный трезвон у себя над головой, злобный хохот бродяг и голос их короля, сказавшего:

— Поднимите этого молодца и повесьте его!

Гренгуар встал. Чучело уже сняли, чтобы освободить ему место, и заставили его влезть на скамейку. Клопен подошел к нему, надел ему на шею петлю и, хлопнув его по плечу, сказал:

— Прощай, любезный друг! Теперь тебе уже не вернуться, будь ты хоть сам Папа!

Мольба о пощаде замерла на губах Гренгуара. Он огляделся кругом. Никакой надежды — все хохочут.

— Бельвинь де Летуаль, — сказал тунский король, и огромный верзила вышел из рядов. — Влезь на перекладину!

Бельвинь де Летуаль ловко взобрался на поперечный брус, и Гренгуар с ужасом увидал, что он присел на корточки над самой его головой.

— Когда я хлопну в ладоши, — продолжал король, — ты, Андрэ Леруж, вышибешь скамейку из-под его ног ударом колена, ты, Франсуа Шант-Прюн, повиснешь на ногах этого бездельника, а ты, Бельвинь, вскочишь ему на плечи. И все трое сразу — понимаете?

Гренгуар задрожал.

— Ну, готовы вы? — спросил Клопен Бельвиня, Франсуа и Леружа, которые собирались броситься на Гренгуара, как три паука на муху. Затем для несчастного поэта наступила минута томитель-

ного ожидания, в то время как Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не загоревшихся веток. — Готовы вы? — повторил он и поднял руки, чтобы хлопнуть в ладоши.

Еще секунда — и все было бы кончено.

Но вдруг Клопен остановился, как бы внезапно пораженный какой-то мыслью.

— Погодите, — сказал он, — я забыл. По нашим обычаям, нельзя повесить человека, не спросив сначала, не хочет ли какая-нибудь женщина взять его в мужья… Ну, товарищ, это твоя последняя надежда. Ты возьмешь себе в жены или одну из наших женщин, или веревку.

Этот цыганский обычай может показаться читателю очень странным, но он существовал на самом деле и внесен в старинное английское законодательство. О нем можно справиться в «Заметках» [Берингтона].

Гренгуар перевел дух. В течение получаса он во второй раз возвращался к жизни и не мог быть вполне уверен, что ему удастся спастись.

— Эй, вы, бабье! — крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку. — Кто из вас, начиная с колдуньи и кончая ее кошкой, хочет взять себе в мужья этого молодца? Эй, Колетта ла Шаронн! Елизавета Трувен! Симона Жадуин! Мария Пье-

дебу! Тонн ла Лонг, Берар да Фануель! Мишель Женайль! Клодина Ронж-Орейль! Матурина Жирору! Изабелла Тьери! Идите сюда, смотрите! Мужчина даром! Кто хочет?

Но Гренгуар имел такой жалкий вид, что представлял мало привлекательного. Женщины отнеслись равнодушно к предложению короля, и бедный поэт слышал, как они говорили: «Нет! Нет! Его лучше повесить. Тогда все получат удовольствие».

Однако три из них все-таки вышли из толпы и одна за другой стали подходить и осматривать его. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела истрепанную одежду философа; на ней было больше дыр, чем в печной решетке для жаренья каштанов. Девушка сделала гримасу.

— Старое тряпье! — пробормотала она и обратилась к Гренгуару: — Где твой плащ?

— Я потерял его, — ответил Гренгуар.

— А твоя шляпа?

— У меня ее взяли.

— Покажи твои башмаки.

— У них отваливаются подошвы.

— Твой кошелек?

— Увы! — запинаясь, проговорил Гренгуар. — У

меня нет ни гроша.

— Так попроси, чтобы тебя повесили, да еще поблагодари за труды! — сказала девушка и повернулась к нему спиной.

Вторая, подошедшая взглянуть на Гренгуара, была безобразная смуглая старуха, вся в морщинах, выделявшаяся своим уродством даже на Дворе чудес. Она обошла кругом Гренгуара, которому сделалось даже страшно, что она хочет взять его.

— Нет, он слишком уж худ! — проворчала сквозь зубы старуха и ушла.

Третья была молодая девушка, довольно свеженькая и недурненькая собою.

— Спасите меня! — прошептал ей несчастный.

Она посмотрела на него с состраданием, потом опустила глаза и, перебирая юбку, несколько времени стояла, как бы не зная, на что решиться. Гренгуар следил за всеми ее движениями: это был последний луч надежды.

— Нет, — произнесла наконец девушка, — Гильом Лонгжу меня изобьет.

И она вошла в толпу.

— Ну, приятель, тебе не везет! — сказал Клопен. Он встал на бочку и, к величайшему удовольствию всех, закричал тоном оценщика на

аукционе: — Никто не желает взять его? Раз, два, три! — И, повернувшись к виселице, прибавил, кивнув головой: — Он остался за тобою!

Бельвинь де Летуаль, Андрэ Леруж и Франсуа Шант-Прюн подвинулись к Гренгуару.

В эту минуту раздались крики:

— Эсмеральда! Эсмеральда!

Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону. Толпа расступилась и пропустила прелестную молодую девушку.

Это была цыганка.

— Эсмеральда! — прошептал пораженный Гренгуар. Несмотря на волнение и на то, что мысли его были заняты совсем другим, магическое слово «Эсмеральда» сразу вызвало в его памяти все события этого дня.

Даже здесь, на Дворе чудес, все, казалось, испытывали на себе могущество ее очарования и красоты. Мужчины и женщины тихо расступались, давая ей дорогу, и их грубые лица прояснялись от одного ее взгляда.

Она подошла своей легкой поступью к жертве. Хорошенькая Джали следовала за ней. Гренгуар был ни жив ни мертв. Эсмеральда с минуту смотрела на него.

— Вы хотите повесить этого человека? — спро-

сила она Клопена.

— Да, сестра, — отвечал тунский король, — если только ты не захочешь взять его в мужья.

Она сделала свою презрительную гримаску и сказала:

— Хорошо, я возьму его.

Тут Гренгуар уже вполне убедился, что видит сон. Да, он заснул еще утром — он грезит и теперь.

Развязка, как ни была она приятна, слишком потрясла его своей неожиданностью. С шеи поэта сняли петлю и помогли ему сойти со скамейки. Он был так взволнован, что принужден был сесть.

Герцог египетский, не произнося ни слова, принес глиняную кружку. Эсмеральда подала ее Гренгуару.

— Бросьте ее, — сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

— Брат, — сказал герцог египетский, кладя руки на их головы. — Она твоя жена. Сестра, он твой муж. На четыре года. Ступайте.

VII. Свадебная ночь

Через несколько минут наш поэт очутился в маленькой, уютной, теплой комнатке со сводчатым

потолком, перед столом, который, по-видимому, только и ждал, чтобы на него положили что-нибудь из висевшего тут же шкафчика с провизией. А в перспективе ему улыбалась хорошая постель и общество очаровательной молодой девушки. Все это было так похоже на волшебную сказку, что Гренгуар стал не шутя смотреть на себя как на сказочного принца. Время от времени он даже внимательно осматривался по сторонам, как бы отыскивая огненную колесницу, запряженную двумя крылатыми химерами, так как только она одна могла перенести его так быстро из Тартара в рай. Моментами же он начинал упорно смотреть на свою дырявую одежду, словно стараясь, ухватившись за действительность, не потерять почву под ногами. Лишь эта единственная нить удерживала его готовый унестись в мир фантазии разум.

Молодая девушка, по-видимому, не обращала на Гренгуара никакого внимания. Она ходила взад и вперед, передвигала скамейки, болтала со своей козочкой, делала по временам свою любимую гримаску. Наконец она подошла к столу, и Гренгуар смог наконец хорошенько рассмотреть ее.

Вы были ребенком, читатель, а может быть,

вы настолько счастливы, что остались им до сих пор. Вероятно, вы не раз следили в солнечный день около ручейка за какой-нибудь прелестной зеленой или голубой стрекозой, которая быстро, делая резкие повороты, перелетала с кустика на кустик, легко прикасаясь ко всем веточкам, как бы целуя их. Я проводил за этим занятием целые дни — лучшие дни моей жизни. Помните, с какой любовью и любопытством следили вы взглядом и мыслью за этим вихрем крыльев, пурпура и лазури, среди которых мелькало нечто неуловимое благодаря необыкновенной быстроте движений. И воздушное создание, которое смутно вырисовывалось сквозь прозрачные трепещущие крылья, казалось вам тогда чем-то фантастическим, призрачным, недоступным ни зрению, ни осязанию. А когда наконец стрекоза садилась отдохнуть на верхушку тростника, с каким удивлением, сдерживая дыхание, смотрели вы на ее длинные, прозрачные крылья, на ее эмалевое одеяние и хрустальные глаза! Как боялись вы, что она снова скроется в тень, что это создание опять превратится в химеру! Вспомните, что вы чувствовали тогда, и вы поймете, что испытывал Гренгуар, любуясь Эсмеральдой, которую до сих пор видел только мельком, в вихре танцев, песен

и шума толпы.

«Так вот что такое Эсмеральда! — думал он, смотря на нее и все больше погружаясь в мечты. — Небесное создание! Уличная танцовщица! Так много и так мало! Она нанесла последний удар моей мистерии утром, и она же спасла мне жизнь вечером. Мой злой гений! Мой добрый ангел!.. Прехорошенькая девушка, клянусь честью! А раз она сама захотела сделаться моей женой, то, значит, любит меня до безумия. Да, как-никак, — подумал он вдруг с тем сознанием действительности, которое составляло основу его характера и философии, — не знаю, как это вышло, но ведь я ее муж!»

Мысль эта отразилась у него во взгляде, и он с таким победоносным видом подошел к молодой девушке, что она отступила.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Как можете вы спрашивать об этом, обожаемая Эсмеральда? — сказал Гренгуар, и голос его зазвучал такою страстью, что это изумило даже его самого.

Цыганка широко открыла глаза.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — с недоумением проговорила она.

— Как? — воскликнул Гренгуар, воспламеняясь

еще больше и думая, что имеет дело с добродетелью, достойной Двора чудес. — Как? Разве я не принадлежу тебе, моя дорогая? Разве ты не моя? — И он простодушно обнял ее за талию.

Цыганка выскользнула, как угорь, у него из рук. Она отпрыгнула на другой конец комнаты, нагнулась, выпрямилась, и в руке ее блеснул кинжал. Гренгуар даже не успел заметить, откуда он взялся. Она стояла перед ним, гневная и гордая, с дрожащими губами и раздувающимися ноздрями; щеки ее пылали, черные глаза сверкали. В то же время белая козочка встала перед ней и, готовясь к бою, опустила голову и выставила вперед свои хорошенькие, позолоченные рожки, очень острые рожки. Все это произошло в мгновение ока.

Стрекоза превратилась в осу и собиралась ужалить. Бедный философ, совсем растерявшись, тупо смотрел то на Эсмеральду, то на козочку.

— Пресвятая Дева! — воскликнул он наконец, немножко опомнившись от изумления. — Вот так бедовая парочка!

— А ты, как видно, очень дерзкий негодяй! — заметила, со своей стороны, Эсмеральда.

— Извините, сударыня, — с улыбкой сказал Гренгуар. — Но зачем же в таком случае взяли вы

меня в мужья?

— А лучше было бы дать тебя повесить?

— Так, значит, вы вышли за меня замуж только для того, чтобы спасти меня от виселицы? — спросил Гренгуар, разочаровавшийся в своих страстных ожиданиях.

— А иначе зачем же я вышла бы за тебя? — сказала она.

— Я, как видно, далеко не так счастлив в любви, как думал, — пробормотал он. — Но к чему же тогда было разбивать эту несчастную кружку?

Между тем кинжал Эсмеральды и рога козочки все еще были на страже.

— Заключим перемирие, Эсмеральда, — сказал поэт. — Я не секретарь суда и, конечно, не стану доносить, что вы держите у себя оружие вопреки указам и запрещениям парижского прево. Ведь вы, наверное, знаете, что всего неделю тому назад Ноэль Лескрипьен был присужден к штрафу в десять су за то, что носил шпагу. Но это меня не касается, и я перейду прямо к делу. Клянусь вечным спасением, что не подойду к вам близко без вашего разрешения и позволения. Только дайте мне поужинать.

В сущности, Гренгуар, как и Депрео, обладал лишь «небольшой дозой чувственности» и не

принадлежал к числу тех кавалеров и мушкетеров, которые берут молодых девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был против крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Хороший ужин и приятное общество казались ему — в особенности на пустой желудок — великолепнейшим антрактом между прологом и развязкой его любовного приключения.

Цыганка не отвечала. Она сделала свою презрительную гримаску, подняла голову, как птичка, и звонко расхохоталась; а маленький кинжал исчез так же быстро, как и появился, прежде чем Гренгуар мог заметить, куда пчелка спрятала свое жало.

Через минуту на столе лежали ржаной хлеб, кусок свиного сала и несколько сморщенных яблок и стояла кружка пива. Гренгуар с увлечением принялся за еду. Судя по отчаянному стуку железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было подумать, что вся его любовь превратилась в аппетит.

Молодая девушка сидела напротив него и молча смотрела, как он ужинает, очевидно занятая совсем другими мыслями. Время от времени на губах ее мелькала улыбка, и она гладила своей нежной рукой умную головку козочки, прижав-

шейся к ее коленям.

Желтая восковая свеча освещала эту сцену жадности и мечтательности.

Между тем Гренгуар, утолив первые приступы голода, устыдился, увидев, что на столе не осталось ничего, кроме одного яблока.

— Вы ничего не кушаете, Эсмеральда? — сказал он.

Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взгляд на сводчатый потолок.

«Что ее там занимает? — подумал Гренгуар и взглянул на потолок. — Не может быть, чтобы рожа этого высеченного на своде карлика. Черт возьми! Кажется, я могу соперничать с ним!»

— Мадемуазель Эсмеральда! — окликнул он.

Она, казалось, не слышала его.

— Мадемуазель Эсмеральда! — повторил он громче.

Напрасный труд. Мысли молодой девушки были далеко, и голос Гренгуара не мог отвлечь ее от них. К счастью, вмешалась козочка. Она начала тихонько дергать свою госпожу за рукав.

— Что тебе, Джали? — спросила цыганка, как бы внезапно пробудившись от сна.

— Она голодна, — сказал Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.

Эсмеральда накрошила хлеба, который Джали принялась грациозно есть с ее ладони.

Гренгуар не дал молодой девушке времени снова впасть в задумчивость. Он решился задать ей довольно щекотливый вопрос.

— Так вы не хотите, чтобы я был вашим мужем? — спросил он.

— Нет, — отвечала Эсмеральда, пристально взглянув на него.

— А вашим любовником?

— Нет, — отвечала она, сделав свою гримаску.

— А вашим другом? — продолжал Гренгуар.

Она снова внимательно посмотрела на него и, немножко подумав, сказала:

— Может быть.

Это «может быть», такое дорогое для философов, ободрило Гренгуара.

— Знаете вы, что такое дружба? — спросил он.

— Да, — отвечала цыганка. — Это значит быть братом и сестрой. Это две души, которые соприкасаются, но не сливаются; это два пальца на руке.

— А любовь? — спросил Гренгуар.

— О, любовь! — сказала она, и голос ее задрожал, а глаза блеснули. — Это когда два существа сливаются в одно, когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это — небо.

В то время как уличная танцовщица говорила это, ее лицо просияло чудесной красотой, поразившей Гренгуара. Красота эта вполне гармонировала с восточной экзальтацией ее слов. Ее невинные розовые губки улыбались, чистый, ясный лоб минутами затуманивался мыслью, как зеркало от дыхания, а из-под опущенных длинных черных ресниц разливался какой-то особенный свет, придававший ее лицу ту идеальную красоту, которую впоследствии нашел Рафаэль в слиянии девственности, материнства и божества.

— Каким же нужно быть, чтобы вам понравиться? — продолжал допрашивать ее Гренгуар.

— Нужно быть мужчиной.

— А я? — спросил он. — Что же я такое?

— Мужчиной с каской на голове, со шпагой в руке и золотыми шпорами на ногах.

— Так, — сказал Гренгуар. — Значит, без коня нет и мужчины? А вы любите кого-нибудь?

— Любовью?

— Да, любовью.

Эсмеральда с минуту задумалась, а потом сказала с каким-то особым выражением:

— Я скоро узнаю это.

— Почему же не сегодня вечером? — нежно

спросил поэт. — Почему не меня?

Она серьезно взглянула на него:

— Я могу полюбить только такого человека, который сумеет меня защитить.

Гренгуар покраснел и принял к сведению эти слова. Она, очевидно, намекала на то, что он не помог ей спастись от опасности, которой она подвергалась два часа тому назад; ошеломленный переживаниями странной ночи, он совсем забыл об этом. Теперь лишь он ударил себя по лбу.

— Мне следовало прежде всего спросить об этом! — воскликнул он. — Простите мне, пожалуйста, мою глупую рассеянность. Скажите, как удалось вам вырваться из когтей Квазимодо?

Вопрос Гренгуара заставил цыганку вздрогнуть.

— Ах, этот ужасный горбун! — сказала она, закрыв лицо руками и дрожа, как в лихорадке.

— Действительно ужасный, — согласился Гренгуар и снова спросил: — Как же удалось вам спастись от него?

Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и не отвечала.

— Знаете вы, почему он следовал за вами? — спросил Гренгуар, стараясь вернуться обходом к тому же интересовавшему его вопросу.

— Нет, не знаю, — отвечала молодая девушка, а потом быстро прибавила: — Ведь и вы шли за мной. Зачем вы это делали?

— Клянусь честью, тоже не знаю! — отвечал Гренгуар.

Наступило молчание. Гренгуар строгал ножом стол. Молодая девушка улыбалась и пристально смотрела на стену, как будто видела за ней что-то. Вдруг она запела едва слышно:

Quando los pintadas aves
Mudas estan, y la tierra...[38] –

и, так же внезапно остановившись, начала ласкать Джали.

— Какое хорошенькое животное, — сказал Гренгуар.

— Это моя сестра, — отвечала цыганка.

— Почему вас называют Эсмеральдой? — спросил поэт.

— Не знаю.

— А все-таки?

Она вынула из кармана маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из каких-то зерен. Ладанка сильно пахла камфарой.

---

[38] Сноски: 38
Когда цесарки меняют перья, и земля... (*Исп.*)

Она была сшита из зеленой шелковой материи; посредине ее блестел зеленый камень, похожий на изумруд.

— Может быть, меня называют так поэтому[39], — сказала она.

Гренгуар хотел взять в руки ладанку, но она отдернула ее.

— Нет, не трогайте — это амулет, — сказала она. — Ты повредишь ему, либо он тебе.

Любопытство поэта было сильно возбуждено.

— Кто же вам его дал? — спросил он.

Она приложила палец к губам и снова спрятала амулет на груди. Гренгуар попробовал задать ей еще несколько вопросов, но она едва отвечала ему.

— Что значит слово «Эсмеральда»?

— Не знаю.

— На каком оно языке?

— Должно быть, на цыганском.

— Так казалось и мне, — сказал Гренгуар. — Вы родились во Франции?

— Не знаю.

— Живы ваши родители?

В ответ на это она запела на мотив старинной

---

[39] Сноски: 39
Esmeralda — по-испански «изумруд».

песни:

Mon pèere est oiseau,
Ma mere est oiselle,
Je passe l'eau sans nacelle,
Je passe l'eau sans bateau,
Ma mèere est oiselle,
Mon pèere est oiseau[40].

— Так, — сказал Гренгуар. — Каких же лет приехали вы во Францию?

— Я была в то время еще совсем маленькая.

— А в Париж?

— В прошлом году. Когда мы входили в Папские ворота, над нашими головами пролетела малиновка. Это было в конце августа. И тогда я сказала себе: зима будет холодная.

— Она и на самом деле была холодная, — сказал Гренгуар, радуясь, что она заговорила. — Мне все время приходилось согревать дыханием пальцы. Так вы, значит, обладаете даром пророчества?

— Нет, — по-прежнему коротко отвечала она.

— Этот герцог цыганский, как вы его называете, считается главой вашего племени?

---

[40] Сноски: 40

Отец мой птица, Мать моя птичка, Я пересекаю воду без челна, Я пересекаю воду без лодки, Мать моя птичка, Отец мой птица (*фр.*).

— Да.

— Ведь это он сочетал нас браком, — робко заметил поэт.

Эсмеральда сделала свою презрительную гримаску.

— Я даже не знаю, как тебя зовут, — сказала она.

— Вы желаете знать мое имя? Извольте. Меня зовут Пьер Гренгуар.

— Я знаю одно имя, более прекрасное.

— Злая! — сказал поэт. — Ну ладно, я не стану сердиться на вас. Подождем, вы, может быть, полюбите меня, когда узнаете ближе. К тому же вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я считаю себя обязанным сделать то же. Итак, меня зовут Пьер Гренгуар, — я сын фермера из Гонесса. Моего отца повесили бургундцы, а мать зарезали пикардийцы во время осады Парижа, двадцать лет тому назад. И я с шести лет остался сиротою, и подошвами мне служили мостовые. Не знаю сам, как удалось мне прожить с шести до шестнадцати лет. Иногда какая-нибудь торговка фруктами давала мне сливу, иногда булочник бросал корку хлеба. Вечером я старался, чтобы меня подобрал обход, и в тюрьме я ночевал на соломе. Несмотря на все эти невзгоды, я, как ви-

дите, вырос, хотя толстым меня, правда, назвать нельзя. Зимой я грелся на солнышке у дверей особняка де Сане и никак не мог понять, почему костры Иванова дня зажигаются летом, а не зимою. В шестнадцать лет я решил пристроиться к какому-нибудь делу. Я перепробовал все. Сначала я поступил в солдаты, но оказалось, что я недостаточно храбр для военной службы. Затем я пошел в монахи, но я был недостаточно набожен и к тому же не умел много пить. С отчаяния я поступил учеником к плотникам — оказалось, что я недостаточно силен. Больше всего мне хотелось сделаться школьным учителем. Положим, я не умел читать, но это ничего не значило. Через некоторое время я заметил, что за какое бы занятие я ни принялся, мне всегда не хватает чего-нибудь. Убедившись таким образом в своей полной непригодности к чему бы то ни было, я по доброй воле сделался поэтом. Это самое подходящее занятие при бродячей жизни, и все-таки оно лучше, чем воровство, на которое подбивали меня некоторые из моих приятелей, занимавшиеся кражами. К счастью, в один прекрасный день я встретился с преподобным отцом Клодом Фролло, архидьяконом собора Богоматери. Он принял во мне участие, и ему обязан я тем, что

стал настоящим ученым. Я знаю латынь, начиная с «Обязанностей» Цицерона и кончая мартирологом целестинских монахов, я изучил схоластику, пиитику, стихосложение и герметику — эту премудрость из премудростей. Я — автор мистерии, которую с таким успехом разыгрывали сегодня в битком набитом большом зале Дворца правосудия. Затем я написал книгу — в ней будет не меньше шестисот страниц — о чудесной комете 1465 года, от которой один бедняк даже сошел с ума. Выпали на мою долю и другие успехи. Понимая кое-что в артиллерийском деле, я работал вместе с другими при сооружении громадной бомбарды Жана Мог, которую, как вы знаете, разорвало на Шарантонском мосту, когда из нее попробовали выстрелить. При этом еще было двадцать четыре убитых из числа зрителей. Как видите, меня нельзя назвать плохой партией. Я знаю очень много забавных фокусов и штук, которым научу вашу козочку. Я, например, могу выучить ее представлять парижского архиепископа, этого проклятого фарисея, мельницы которого обрызгивают с головы до ног всех проходящих по Мельничному мосту. Да кроме того, я получу за свою мистерию много денег, если мне заплатят. Словом, я весь к вашим услугам,

я отдаю вам себя самого, свой ум, свои знания и литературные произведения. И я готов жить с вами, как вам будет угодно — целомудренно или весело. Если хотите, мы будем мужем и женой; если хотите — братом и сестрой.

Гренгуар остановился, ожидая, какое впечатление произведет его речь на молодую девушку, которая сидела, опустив глаза в землю.

— Феб! — вполголоса проговорила она и, обернувшись к поэту, спросила: — Что значит слово «Феб»?

Гренгуар, хоть и не понимавший, какое отношение имеет этот вопрос к его речи, был не прочь похвастаться своей ученостью.

— Это латинское слово, — отвечал он, приосаниваясь, — и оно значит — «солнце».

— Солнце! — повторила она.

— Так звали прекрасного стрелка, который был богом, — прибавил Гренгуар.

— Богом! — снова повторила цыганка.

Что-то задумчивое и страстное звучало в ее голосе.

В это время один из ее браслетов расстегнулся и упал. Гренгуар тотчас же нагнулся поднять его, а когда выпрямился — молодая девушка и козочка исчезли. Он услыхал, как щелкнула задвижка.

Маленькая дверь вела в соседнюю комнатку, и теперь эта дверь была заперта снаружи.

«Оставила ли она мне хоть постель?» — подумал наш философ. Он обошел комнату кругом. В ней не было ничего, на чем бы можно было лечь, кроме довольно длинного деревянного сундука. Но у него была резная крышка, так что, растянувшись на нем, Гренгуар, наверное, испытал такое же ощущение, какое должен был испытать Микромегас, улегшись во всю длину на Альпы.

«Делать нечего, попробуем заснуть хоть тут! — подумал он, укладываясь поудобнее. — Странная, однако, брачная ночь! Очень жаль, что так вышло. В этой свадьбе с разбитой кружкой было что-то наивное, допотопное и привлекательное».

Книга третья
I. Собор Богоматери

Собор Парижской Богоматери, без сомнения, и в настоящее время является прекрасным и величественным зданием. Но как ни хорошо сохранилось это дряхлеющее здание, трудно не скорбеть и не возмущаться при виде многочисленных повреждений, нанесенных ему дружными усилиями времени и рук человеческих, без всякого уважения к Карлу Великому, положившему первый камень при его основании, и к Филиппу Августу, закончившему его постройку.

На лице этого престарелого царя наших соборов рядом с каждой морщиной обязательно находится и глубокий шрам. Tempus edax, homo edacior[41]. Эту пословицу я бы охотно перевел так: «Время слепо, а человек глуп».

Если бы у нас с читателем было достаточно досуга, чтобы подробно разобрать все способы разрушения, примененные к этому древнему храму, то мы бы нашли, что время гораздо мень-

---

[41] Сноски: 41
Время прожорливо, человек еще прожорливей (*лат.*).

ше участвовало в этой разрушительной работе, чем человек, и главным образом — «человек искусства». Я не оговариваюсь, сказавши «человек искусства», потому что в течение двух последних столетий действительно были люди, которые, пользуясь правами архитекторов, немилосердно портили этот великий памятник.

Прежде всего нужно заметить, что, наверное, не много найдется архитектурных страниц прекраснее тех, которые представлены фасадом собора Парижской Богоматери, где последовательно и в совокупности являются глазу три стрельчатых входа, точно вышитая кружевная линия из двадцати восьми королевских ниш, громадное круглое центральное окно в форме розетки, с двумя меньшими круглыми боковыми окнами по обе стороны, подобно тому как по обе стороны священника всегда бывают дьякон и иподьякон, высокая прозрачная галерея трехлиственных аркад, подымающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две массивные черные башни с шиферными навесами. Все эти гармоничные части великолепного целого, нагроможденные друг на друга пятью гигантскими ярусами, с бесчисленными статуями, скульптурными и резными деталями, властно собранными

в одно спокойное, величавое целое, в стройной гармонии развертываются перед вами. Это, так сказать, исполинская каменная симфония; колоссальный труд одного человека и одного народа, целый и полный, как «Илиада» и «Романсеро», которым он родствен. Это чудесное произведение всех соединенных сил одной эпохи, в каждом камне которого вы видите многообразное проявление фантазии мастера, сдерживаемой в известных границах гением художника; словом, создание человеческого творчества, могучего и плодотворного, как творчество природы, у которой оно заимствовало двойственность характера: разнообразие и устойчивость.

То, что сказано о фасаде, нужно применить и ко всему собору, а все сказанное о парижском кафедральном соборе относится вместе с тем и ко всем христианским церквам Средних веков. В этом искусстве все вытекает из самого себя, является строго последовательным и соразмерным. Достаточно смерить один палец ноги гиганта, чтобы определить размеры всего его тела.

Но вернемся к фасаду собора Богоматери, каким он представляется нам в настоящее время, когда мы благоговейно любуемся этим могучим и величественным зданием, которое, по словам

хроникеров, «наводит на зрителя невольный трепет» — quae mole sua terrorem incutit spectantibus.

В настоящее время в этом фасаде недостает трех важных частей: одиннадцати ступеней, когда-то поднимавшихся над землею; статуй, украшавших ниши трех главных порталов, и находившихся в наружной галерее первого яруса двадцати восьми изображений самых древних французских королей, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, державшим в руке императорскую державу. Ступени уничтожило время, непреодолимою силою поднимавшее уровень почвы города. Но время, допуская постепенное поглощение постоянно поднимавшимся приливом парижских мостовых всех этих одиннадцати ступеней, способствовавших величественной высоте здания, дало, пожалуй, собору больше, чем отняло: оно придало ему ту темную, сотканную веками окраску, которая превращает эпоху старости памятников в эпоху расцвета их наивысшей красоты.

Но кто опрокинул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто высек посреди центрального входа это новое, совсем неподходящее стрельчатое украшение? Кто дерзнул вставить эту тяжелую аляповатую резную деревянную дверь

в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники нашего времени.

А если мы войдем в самый собор, то кто снес колоссальное изображение святого Христофора, так же славившееся среди других статуй, как славился большой зал Дворца правосудия среди других зал и острие колокольни Страсбургского собора среди всех прочих колоколен? Кто так варварски грубо уничтожил те мириады статуй, которые населяли все просветы между колоннами в храме и на хорах, — статуй коленопреклоненных, во весь рост, конных, статуй мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, — кто уничтожил все эти чудные изваяния из камня, мрамора, золота, серебра, меди и даже воска? Уж никак не время.

А кто заменил древний готический алтарь, так роскошно обставленный драгоценными ковчежцами и раками для мощей, этим тяжелым мраморным саркофагом, украшенным головами ангелов и облаками, который гораздо более подходит к церкви Валь де Грас или Дому Инвалидов?

Кто так нелепо внес этот громоздкий каменный анахронизм в создание карловингской эпохи? Не Людовик ли XIV, исполнивший желание Лю-

довика XIII?

Кто вставил в розетки над средним главным входом и в стрельчатые окна хоров эти холодные белые стекла вместо прежних цветных стекол, которыми не могли вдоволь налюбоваться очарованные взоры наших предков? Что бы сказал какой-нибудь причетник шестнадцатого столетия, если бы он увидал ярко-желтую штукатурку, которою наши вандалы-архиепископы измазали свой собор? Он припомнил бы, что желтою краскою палачи его времени очищали здания, запятнанные каким-нибудь злодейством; припомнил бы отель «Маленького Бурбона», весь закрашенный желтой краской в ознаменование измены коннетабля, — той самой краской, о которой сказал Соваль: «Эта желтая краска такого прекрасного свойства, так хорошо сохранилась, что более чем столетний промежуток времени не мог заставить ее полинять». Припомнив все это, причетник подумал бы, что это священное место сделалось нечистым, и в ужасе бежал бы из него.

Если мы пройдем в верхнюю часть собора, не обращая внимания на множество проявлений варварства, то спросим, что сталось с той прелестной маленькой колоколенкой, которая, опираясь на точку пересечения свода, не менее

красивая, чем соседний шпиль святой часовни (также уничтоженной), стройная, изящная, острая, сквозная, звонкая, так смело вонзалась в чистое голубое небо, выше башен самого собора? Один архитектор, обладавший хорошим вкусом, ампутировал ее (в 1787 году) и вздумал замаскировать зиявшую рану безобразным свинцовым пластырем, похожим на крышку котла.

Так относились к чудесному средневековому искусству во всех странах, а больше всего во Франции. На соборе Парижской Богоматери ясно можно проследить три рода повреждений, из которых каждое захватывало здание глубже другого. Сначала видна рука времени, но она только тут и там провела едва заметные борозды и набросила на все слой ржавчины. Потом на собор целыми толпами обрушились слепые, бешеные по своей сути политические и религиозные смуты. Они оборвали его богатый скульптурный и резной наряд, вырвали его розетки, разбили его украшения из арабесок и нежных завитков, стерли в порошок его статуи — одни за то, что они были в митрах, другие за то, что на их головах красовались короны. Наконец собор теребила и искажала по-своему каждая новая мода, сменявшая одна другую в формах все более и более

грубых и безобразных за весь период постепенного неизбежного упадка зодчества, начавшегося с анархических, но красивых уклонений эпохи Возрождения.

Мода наделала вреда больше, чем революция. Она резала уж прямо живое тело, касаясь самого остова произведения искусства; резала, кромсала, разрывала на части, убивала здание не только в его форме, но и в его символе, уничтожала его красоту и смысл. В довершение всего та же мода отваживалась переделывать собор, на что не осмелились ни время, ни революции. С наглым бесстыдством мода, вообразив себя обладательницею привилегии «хорошего вкуса», залепила язвы готического памятника своими однодневными безделушками, мраморными лентами, металлическими помпончиками, настоящей проказою каменных завитков, ободков, драпировок, гирлянд, бахром, языков, бронзовых облаков, толстых амуров, херувимов с раздутыми щеками, всем тем, чем было начато разрушение искусства в молельне Екатерины Медичи, а спустя два века, после бесконечного кривлянья, окончательно довершено в будуаре Дюбарри.

Следовательно, резюмируя все сказанное, мы видим, что памятники готического зодчества

оказываются обезображенными тремя разрушительными силами. Морщины и борозды на них — дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы — дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Изуродование, уничтожение частей, разрушение гармонии целого, наконец, так называемые реставрации — дело варварской работы желавших подражать грекам и римлянам ученых мастеров, справлявшихся по Витрувию и по Виньолю. Так чудное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К действию веков и революций, производивших опустошения, по крайней мере, с величавым беспристрастием, присоединилась туча патентованных, присяжных и дипломированных зодчих из академий, которые принялись с разборчивостью дурного вкуса разрушать все, что было сделано до них, и переделывать по-своему, заменяя, например, готическое резное кружево нелепыми завитушками времен Людовика XV, якобы во славу Парфенона. Это было ударом ослиного копыта умирающему льву. Это можно также сравнить со старым засыхающим дубом, на который набросились гусеницы, чтобы скорее источить и уничтожить обессилевшего исполина.

Как это далеко от того времени, когда Роберт

Сенлис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославляемым языческими писателями», с храмом, который обессмертил Герострата, нашел галльский собор «превосходящим по длине, ширине, высоте и построению»[42].

В общем, собор Парижской Богоматери не может быть назван памятником цельным, вполне законченным, классифицированным. Это уже не романская церковь, но еще и не вполне готическая. Словом, это не тип. В этом соборе нет того, чем отличается Турнюсское аббатство: массивной и величавой квадратной формы, круглого и широкого свода, нет той величественной простоты, которыми отличаются здания, сооруженные по принципу полной дуги. Он не похож на собор в Бурже — легкий, разнообразный, сжатый, уносящийся ввысь, колосящийся таким множеством стрелок. Нельзя причислить его и к числу древних храмов, мрачных, таинственных, низких, точно придавленных тяжелыми сводами; к числу почти египетских храмов с низким потолком; храмов иероглифических, жреческих, символических и больше обремененных в виде

[42] Сноски: 42
История галлов. Кн. II. — Период III. — Т. 130. — С. 1. (*Примеч. В. Гюго.*)

украшений косоугольниками и зигзагами, чем цветами, больше цветами, чем животными, и больше животными, чем людьми, — храмов, являвшихся произведениями скорее епископов, чем зодчих; храмов, служивших выражением первого преобразования искусства, всецело проникнутого теократическим и военным духом, вышедшим из Византийской империи и существовавшим до Вильгельма Завоевателя. Нельзя причислить наш собор и к другому семейству церквей, отличающихся высотою, воздушностью, богатством цветных оконных стекол и скульптурных украшений, остроконечных по форме, смелых по виду, как политические символы, служащие выражением общины и буржуазии; свободных, прихотливых, разнузданных, как произведения искусства, — церквей, служащих воплощением второго преобразования зодчества, являющегося теперь более уже не иероглифическим, жреческим, неподвижным, а художественным, развивающимся и всенародным, нового вида зодчества, начавшегося во времена крестовых походов и закончившегося царствованием Людовика XI. Собор Парижской Богоматери — произведение не чисто романской расы, как церкви первой категории, но и не чисто

арабской, как церкви второй категории.

Это здание переходной эпохи. Саксонский зодчий водружал первые столбы для средней части храма, когда явилось произведение крестовых походов — стрельчатый свод, и он победоносно лег на эти широкие романские капители, предназначенные для круглых сводов. Воцарившись, стрельчатый свод докончил здание. Впрочем, скромный и нерешительный вначале, этот свод ширился и раскидывался в известных границах, не дерзая еще вытянуться в острые стрелы и копья, как случилось впоследствии в стольких других соборах. Казалось, он еще стеснялся соседства тяжелых романских столбов.

Однако здания времен перехода от романского искусства к готическому не менее драгоценны для изучающего историю зодчества, чем типы чистые. Эти здания выражают особый оттенок искусства; без них он был бы для нас утрачен. Это, так сказать, прививка стрельчатого свода к полной дуге.

В частности, собор Парижской Богоматери является любопытным образцом этой архитектурной разновидности. Каждый фасад, каждый камень этого прекрасного памятника представляет собою не только страницу истории страны,

но и историю науки и искусства. Чтобы отметить лишь главные детали, укажем, для примера, на Малые Красные двери, которые своей отделкою почти достигают тонкостей готического зодчества пятнадцатого столетия, и на столбы притвора, напоминающие своими размерами аббатство Сен-Жермен-де-Пре времен Карловингов. Можно подумать, что между этими дверями и столбами лежит промежуток в шесть веков. Даже сами герметики в символических украшениях главной паперти должны найти вполне удовлетворительный образчик их науки, в таком совершенстве выразившийся во всем здании церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, в соборе Парижской Богоматери соединились, слились, сплотились в одно целое все разновидности зодческого искусства: в него вошли часть романского аббатства, часть церкви философической, часть искусства готического и саксонского, вошел и массивный круглый столб времен Папы Григория VII, и герметический символизм, с которым Николай Фламель предшествовал Лютеру: в нем видны и папское единство, и раскол, и Сен-Жермен-де-Пре, и Сен-Жак-де-ла-Бушри. Эта церковь, центральная и родовая среди старых парижских церквей, является как бы химерою, соединяя в

себе голову одной церкви, члены другой, торс третьей, что-нибудь от каждой из них.

Повторяем, эти смешанные здания одинаково интересны как для художника, так и для антиквара и историка. Они заставляют почувствовать, что зодчество есть нечто первобытное, что доказано также остатками циклопических построек, египетскими пирамидами, исполинскими индусскими пагодами; крупные памятники зодчества скорее являются произведениями целого общества, чем индивидуального духа; это отложения целого народа, напластование веков, осадки последовательных испарений человечества, — словом, это своего рода органические формации. Каждая волна времени оставляет свой нанос, каждая раса оставляет на памятнике свой слой, каждый индивидуум приносит свой камень. Так делают бобры, так делают пчелы, так делают и люди. Величайший символ архитектуры — Вавилон — тот же улей.

Великие здания, точно так же как и высокие горы, сооружаются веками. Часто форма искусства уже изменилась, но работа из-за этого не прекращается, pendent opera interrupta[43], она

[43] Сноски: 43
На время останавливаются прерванные дела (*лат.*) (*Вергилий*).

спокойно продолжается по новым приемам изменившегося искусства. Новое искусство берется за неоконченный памятник, где бы оно его ни нашло, оно въедается в него, усваивает, развивает сообразно своей фантазии и заканчивает, если может. Дело совершается тихо, без усилия, без противодействия откуда бы то ни было, следуя естественному закону. Это прозябающий отросток какого-нибудь полузасохшего растения, бродящий сок, возрождающаяся растительность. В этих последовательных соединениях различных искусств, стоящих на разной высоте, на одном и том же памятнике, скрывается богатый материал для многотомных книг, в особенности для истории человечества. В этих огромных массах совершенно исчезает дело человека как художника и индивида, в них только собираются и резюмируются усилия всего человечества. Время — зодчий, народ — каменщик.

Рассматривая здесь одно европейское, христианское зодчество, этого младшего брата великих зодчеств Востока, мы заметим, что оно является исполинскою формацией, разделенной на три, резко отличающихся один от другого, последовательных слоя: на слой романский, слой готический и слой эпохи Возрождения, который

мы охотно назовем греко-римским. Слой романский[44], самый древний, нижний, выражается круглым сводом, вновь появляющимся перед нами в верхнем, новейшем слое, подпираемом греческими колоннами. Между нижним и верхним слоями находится слой стрельчатого свода. Здания, принадлежащие исключительно одному из этих трех слоев, ярко разнятся между собою и являются вполне цельными и законченными. Возьмем, например, Жюмьежское аббатство, собор в Реймсе, церковь Святого креста в Орлеане. Но все эти три слоя смешиваются и сливаются по краям, как цвета в солнечном спектре. Отсюда возникли составные здания с оттенком перехода. Они являются романскими по своему основанию, готическими в середине, греко-римскими в верхней своей части. Это значит, что они строились в продолжение целых шестисот лет. Это разновидность редкая. Образчиком такого здания служит башня замка д'Этамп. Более часто встречаются памятники двух формаций. К ним принадлежит собор Парижской Богоматери — здание стрель-

[44] Сноски: 44

Это то самое искусство, которое, согласно местности, климату и расе обитателей, называется также ломбардским, саксонским и византийским. Эти три разновидности зодчества, родственные и параллельные, исходят из общего принципа, из полукруглого свода, хотя и сохраняют свои особенности.

чатое, внедренное своими круглыми столбами в романский слой, в котором всецело находятся главная паперть церкви Сен-Дени и притвор церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такого же рода и прекрасный полуготический монастырский зал Лошервиля, до половины коренящийся в романском слое. Двойствен и кафедральный собор в Руане, который был бы вполне готическим, если бы конечность его шпиля не уносилась в слой эпохи Возрождения[45].

Facies non omnibus una
Non diversa tamen qualem, etc.[46]

В сущности, все эти различия и оттенки касаются одной наружности зданий. Искусство изменило только оболочку; само же строение христианской церкви осталось без изменения. Внутренний остов ее тот же, с тем же логическим расположением частей. Но какова бы ни была разукрашенная оболочка кафедрального собора, в ней всегда, хотя бы в зачаточном виде,

---

[45] Сноски: 45

Эта часть шпиля была деревянная, уничтоженная грозою в 1823 году. (*Примеч. В. Гюго.*)

[46] Сноски: 46

Все не на одно лицо, однако не столько различны, сколько и т. д. (*Примеч. В. Гюго.*)

можно найти контуры римской базилики. Все соборы созидаются по одному закону. В каждом из них вы неизбежно найдете два притвора, перерезывающих один другой в форме креста и имеющих в верхней своей части закругленное, в виде навеса, место для хора; найдете приделы для внутренних процессий или для устройства в них часовен. Это своего рода боковые ходы, сообщающиеся с главным притвором колоннадами. На этом незыблемом основании до бесконечности разнообразятся число и форма часовен, папертей, колоколен, шпилей и проч. — сообразно фантазии времени, народа, искусства. Раз богослужение обеспечено, все предписанные им условия соблюдены, зодчество получает возможность развиваться далее уже по собственному усмотрению. Статуи, оконные стекла, розетки, арабески, разные украшения, капители, барельефы — все это архитектура комбинирует по своему вкусу. Отсюда изумительное наружное разнообразие этих зданий, внутренность которых отличается общим порядком и единством. Ствол дерева неизменен, а его ветви могут разрастаться причудливо.

II. Париж с птичьего полета

Мы попытались восстановить перед читателем прекрасный собор Парижской Богоматери. Мы бегло указали на большую часть тех красот, которыми он отличался в пятнадцатом столетии и которых недостает ему ныне. Но мы упустили из виду главное: мы еще ни слова не сказали о виде на Париж, который открывался со всех башен собора.

Чудная картина сразу развертывалась перед изумленными взорами того, кто после долгого подъема ощупью по темной винтовой лестнице, отвесно пронизывающей толстые стены колокольни, вдруг выходил на одну из высоких площадок, залитых светом и воздухом. Зрелище sui generis[47], о котором могут составить себе понятие только те из наших читателей, которые имели счастье видеть цельный, однородный в своих частях готический город, например Нюрнберг в Баварии или Витторию в Испании, или хотя самые небольшие образчики таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витрэ в

---

[47] Сноски: 47
Своеобразное (*лат.*).

Бретани и Нордгаузена в Пруссии.

Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж пятнадцатого века, был уже исполинским городом. Мы, современные парижане, сильно заблуждаемся, воображая, что с тех пор заняли бог весть сколько лишнего пространства. В сущности, Париж со времен Людовика XI увеличился немногим более чем на одну треть. Во всяком случае, он гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в пространстве.

Как известно, Париж возник на том древнем острове Старого города, который имеет форму колыбели. Риф этого острова был его первой оградой, Сена была его первым рвом. Париж несколько веков находился в положении острова с двумя мостами — одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми укреплениями, служившими в то же время и воротами: Гран-Шатлэ на правом берегу и Пти-Шатлэ — на левом. Затем, начиная с королей первой династии, Париж, не имея более возможности пошевельнуться на острове, который сделался для него слишком тесен, перешел через реку. Тогда по ту сторону обоих Шатлэ была воздвигнута первая линия стен, охватившая часть полей на обоих берегах Сены. Еще в прошлом столетии оставались следы

этой древней ограды, ныне же от нее не сохранилось ничего, кроме воспоминания и кое-каких связанных с местностью преданий, как, например, о воротах Бодэ, или Бодуайе (римской porta Bagauda). Понемногу поток домов, беспрерывно изливавшийся из сердца города на окраины, поднялся через ограду, подмыл ее, источил, затем совершенно сровнял с землею. Филипп Август воздвиг этому потоку новую запруду. Этот король заключил Париж в замкнутую цепь громадных, высоких и солидных башен. Более ста лет дома теснились, сбивались в кучу, и уровень их в этом бассейне все поднимался, как вода в резервуаре. Дома бросались в глубину города, нагромождали этажи, карабкались друг на друга, пробивались кверху, как сжатая жидкость; только тот дом и мог захватить немного воздуха, которому удавалось поднять голову выше соседей. Улица все более и более углублялась и суживалась, площади наполнялись строениями и исчезали под ними. Наконец дома, перескочив и через стену Филиппа Августа, весело рассыпались как попало по равнине, точно вырвавшиеся на свободу узники. Там они, не стесняясь, начали себе устраивать в полях сады и вообще располагаться с полным удобством.

С 1367 года предместья города стали так расползаться, что понадобилась новая ограда, в особенности на правом берегу. Эту ограду возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, находится в состоянии вечного роста. Только такие города и становятся столицами. Это своего рода воронки, куда вливаются географические, политические, нравственные и умственные течения целой страны, куда ведут все естественные тропы народа; это, так сказать, кладези цивилизации и вместе с тем сточные места, где фильтруется и накапливается беспрерывно капля за каплей, век за веком торговля, промышленность, знания, население — все соки, жизнь, душа народа. Стена Карла V разделила участь стены Филиппа Августа. В конце пятнадцатого столетия дома преодолели и ее, и предместье устремилось дальше. В шестнадцатом столетии кажется, будто сама стена отступает, все глубже и глубже уходя в Старый город, — так разрастается за нею новый.

Таким образом, в пятнадцатом веке, на котором мы остановимся, Париж уже прорвал тройной концентрический круг, бывший во времена Юлиана Отступника еще, так сказать, в зачаточном состоянии между Гран-Шатлэ и Пти-Шатлэ. Могучий город последовательно заставил треснуть

четверной пояс своих стен, подобно тому, как у растущего ребенка лопается по швам одежда. При Людовике XI из моря домов местами еще выделялись развалины башен прежних оград, как вершины холмов во время наводнения, как архипелаг древнего Парижа, затопленный волнами нового города.

С тех пор Париж не раз вновь преображался, к несчастью для наших глаз, но перешел с того времени всего одну новую ограду — ту, которую воздвиг Людовик XV, — эту жалкую стену, слепленную из грязи и мусора, вполне достойную ее строителя и воспевшего его поэта:

Le
mur
murant Paris rend Paris murmurant[48].

В пятнадцатом столетии Париж был еще разделен на три города, совершенно независимые и резко отличные друг от друга, имевшие каждый свою собственную физиономию, специальность, нравы, обычаи, привилегии и историю: Сите, Университет, Город. Сите, расположенный на острове, самый старший и самый меньший из

[48] Сноски: 48

Игра слов, означающая: «Стена, обносящая Париж, вызывает ропот Парижа».

городов и отец обоих остальных, был сжат между ними и напоминал дряхлую старушку между двумя взрослыми цветущими дочерьми. Университетская сторона, или просто Университет, как ее называли, занимала левый берег Сены, от Ла Турнель до Польской башни. В современном Париже первый из этих пунктов соответствует Винному рынку, а второй — Монетному двору. Его ограда далеко раскидывалась по тому полю, где когда-то находились термы Юлиана. В этой ограде оказалась заключенной гора Святой Женевьевы. Самым видным пунктом этой каменной дуги являлись Папские ворота, находившиеся приблизительно на месте нынешнего Пантеона. Город, самая обширная из трех частей Парижа, располагался на правом берегу реки. Его набережная, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены от башни Бильи до башни Буа, то есть от местности, где ныне склады «Изобилия», до места, на котором красуется Тюильри. Эти четыре пункта, в которых Сена перерезает ограду столицы, оставляя налево Ла Турнель и Польскую башню, а направо — башни Бильи и Буа, в общем носили название «Четырех парижских башен». Город еще дальше, чем Университет, углублялся в окрестности. Главным

пунктом его ограды, возведенной Карлом V, были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, уцелевшие на своих местах до сих пор.

Как мы уже сказали, каждое из этих трех крупных подразделений Парижа составляло особый город, но город со слишком специальным характером, чтобы быть совершенным и обходиться без остальных двух. От этого и вид у каждого был своеобразный. Сите изобиловал церквами, Университет — учебными заведениями, а Город — дворцами. Оставляя в стороне второстепенные особенности старого Парижа и причуды его распространения, скажем с общей точки зрения, выделив из хаоса общественной юрисдикции лишь главные характеризующие черты, что остров принадлежал епископу, правый берег — торговому старшине, а левый — ректору. Над всем этим властвовал прево, то есть старшина города Парижа, чиновник королевский, а не муниципальный. Сите заключал в себе собор Парижской Богоматери, Город — Луврский дворец и городскую ратушу, а Университет — Сорбонну. В Городе был главный рынок, в Сите — Отель-Дье, а в Университете — Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые учащимися на левом берегу Сены, разбирались на острове, во Дворце правосудия,

и наказывались на правом берегу, в Монфоконе. Исключения бывали только тогда, когда в дело вмешивался ректор, чувствуя, что университетская власть сильна, а королевская слаба. Тогда учащиеся пользовались привилегией быть повешенными у себя дома.

Заметим здесь мимоходом, что большая часть университетских привилегий — а в числе их были и более серьезные — были вырваны у королевской власти путем восстаний и бунтов. Таков обычай с незапамятных времен. Король не выпускает, пока народ не вырывает. Есть одна старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верноподданности:

Civibus fidelitas in reges quae tamen aliquoties seditionibus interrupta multa peperit privilegia[49].

В пятнадцатом веке парижские стены окружали пять островов, омываемых Сеною: остров Лувье, где в то время были деревья, а теперь только продаются дрова, острова О-Ваш и Нотр-Дам, находившиеся во владении парижского епископа. Они были тогда совсем пустынными. В семнадцатом столетии их соединили в один остров, назвали островом Святого Людовика и

[49] Сноски: 49

Гражданская верность правителям, изредка прерываемая восстаниями, породила многие привилегии (*лат.*).

застроили. Четвертым был остров Сите, а пятым — примыкавший к нему островок Перевозчика коров, исчезнувший теперь под валом Нового моста. Сите имел в то время пять мостов: три по правую сторону — каменные Нотр-Дам и О-Шанж и деревянный мост О-Менье и два по левую сторону — каменный Малый мост и деревянный — Святого Михаила; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, сооруженных Филиппом Августом и носивших следующие названия: Сен-Виктор, Бордель, Папские, Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город также имел шесть ворот, построенных Карлом V и называвшихся Сент-Антуан, Дю-Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, Монмартр и Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и красивы — вовсе не в ущерб крепости. Подножия стен, окружавших Париж, омывались проведенными из Сены водами широкого и глубокого рва. Ночью все ворота запирались, река на обоих концах города заграждалась толстыми железными цепями, и Париж спокойно спал.

С высоты птичьего полета все эти три части — Сите, Университет и Город — представлялись глазу густою, запутанною сетью причудливо переплетенных улиц. Тем не менее при пер-

вом же взгляде можно было различить, что эти три части составляют одно целое. Сразу бросались в глаза две длинные параллельные улицы, тянувшиеся без перерыва, почти совершенно прямыми линиями, с юга на север, отвесно к Сене, и пересекавшие из конца в конец все три части города. Соединяясь, смешиваясь, местами сливаясь и беспрестанно переливая народные волны из одного города в другой, эти улицы тесно связывали три города в один. Первая из них шла в ворота Сен-Жак до ворот Сен-Мартен; в Университете она называлась улицею Сен-Жак, в Сите — улицею Де-ла-Жюиври, а в Городе — улицею Сен-Мартен. Она дважды переходила через реку по мостам Пти-Пон и Нотр-Дам. Вторая улица, на левом берегу реки называвшаяся улицей Де-ла-Гарп, на острове — улицей Де-ла-Барильери, на правом берегу — улицей Сен-Дени, шла от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе — через мосты Святого Михаила на одном рукаве Сены и Шанж — на другом. Эти все названия носили только две улицы — улицы-матери, родоначальницы, главные артерии Парижа. Остальные жилы тройного города были их разветвлениями или в них вливались.

Независимо от этих двух главных улиц, по-

следовательно прорезавших Париж во всю его ширину, общих для всей столицы, — Город и Университет имели каждый свою особую главную улицу, пролегавшую параллельно Сене и перерезывавшую под прямым углом обе артериальные улицы. Таким образом, в Городе можно было пройти по прямой линии от ворот Сент-Антуан до ворот Сент-Оноре; в Университете — от ворот Сен-Виктор до ворот Сен-Жермен. Скрещиваясь с первыми улицами, эти главные пути Города и Университета представляли собой канву, на которой был выткан перепутанный лабиринт всех парижских улиц. В сливавшихся очертаниях узора этой гигантской сети, пристально вглядываясь, можно было различить как бы два широких снопа улиц: один в Университете, другой в Городе; эти два пучка больших улиц, постепенно расширяясь, шли от мостов к воротам.

Кое-что от этого геометрического плана осталось и до сих пор.

В каком же виде представлялось это целое с высоты башен собора Парижской Богоматери в 1482 году? Постараемся дать понятие и об этом.

Зритель, который, задыхаясь, взобрался бы на эту высоту, сначала был бы ослеплен расстилавшимся внизу хаосом кровель, труб, улиц,

мостов, площадей, шпилей, колоколен. Ему сразу бросились бы в глаза резные шпили, остроконечные кровли, повисшие на углах стен башенки, каменная пирамида одиннадцатого века, шиферный обелиск пятнадцатого, круглая неукрашенная башня замка, четырехугольные узорчатые колокольни церквей — грандиозное и миниатюрное, массивное и воздушное. Взор его долго терялся бы в глубине этого лабиринта, где не было ничего, что не отличалось бы оригинальностью, смыслом, гением, красотою, на чем не лежало бы печати художественности, начиная с самого маленького домика, с расписанным и скульптурным фасадом, со всей его обшивкой, с притаившейся дверью и с выступавшим вперед вторым ярусом, и кончая королевским Лувром, который был тогда окружен колоннадою башен. Но, начав разбираться в этом хаосе зданий, глаз различил бы главные составные части.

Сначала выделился бы Сите. «Остров Сите, — говорит Соваль, у которого среди набора пустозвонных слов иногда попадаются и удачные выражения, — похож на большой корабль, завязший в тине и застрявший навсегда посередине Сены». Мы уже говорили, что в пятнадцатом столетии этот «корабль» соединялся с обоими

берегами пятью мостами. Корабельная форма острова поразила и составителей геральдики. Корабль, украшающий древний герб Парижа, возник, по словам Этьена Пакье, благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманнов. Для человека, умеющего в ней разбираться, геральдика есть своего рода алгебра, геральдика — язык. Вся история второй половины Средних веков написана на гербах, как история первой их половины выражена символами романской церкви. Это иероглифы феодалов, заменившие иероглифы теократии.

Итак, остров Сите показался бы зрителю кораблем, обращенным кормою на восток, а носом на юг. Обернувшись к носу, зритель увидал бы несметное сборище древних кровель, над которыми возвышается куполообразная свинцовая крыша Святой часовни, напоминающая спину слона с находящейся на ней башенкой. Только здесь эта башня представилась бы взору зрителя самой смелой, острой, узорчатой, тщательно отделанной резной вершиной, сквозь кружевной конус которой просвечивает голубое небо. Далее его взор упал бы на красивую, обставленную старинными домами площадь собора Парижской Богоматери с выходившими на нее тремя

улицами. На южной стороне этой площади высился угрюмый, весь в морщинах и бороздках фасад Отель-Дье с его кровлей, словно покрытой желваками и пузырями. И повсюду в тесной сравнительно окружности Сите, направо и налево, на восток и на запад и куда бы ни взглянул зритель, виднелись колокольни двадцати одной церкви различных времен, всевозможных форм и величин, начиная с низенькой, источенной веками романской колокольни церкви Сен-Дени-дю-Па и кончая тонкими шпилями церквей Сен-Пьер-о-Бев и Сен-Ландри. За собором Парижской Богоматери на севере выступали: монастырь с готическими галереями; на юге — полуроманский дворец епископа; на востоке — пустынная оконечность острова, так называемый мыс Террен. В этом нагромождении домов глаз отличал по каменным сквозным митрам, увенчивавшим в ту эпоху верхние окна дворцов, не исключая и слуховых, особняк, подаренный Городом, при Карле VI, Ювеналу Дезюрсену; немного далее — просмоленные бараки рынка Палюс; еще далее — старую церковь Сен-Жермен-де-Вье, расширенную в 1458 году за счет улицы О-Фев; потом кишащий народом перекресток, позорный столб на углу улицы, кусок прекрасной мостовой Фи-

липпа Августа, великолепную, вымощенную плитами и предназначавшуюся для всадников дорожку посередине улицы, так плохо замененную в шестнадцатом веке жалким булыжником, называвшимся мостовою Лиги. После этого глаз зрителя проникал внутрь какого-нибудь двора позади дома и останавливался на одной из тех сквозных башенок, пристроенных ко входу в дом, образец которых можно видеть еще и теперь на улице Бурдонне. Наконец, направо от Святой часовни, на западной стороне, у самой воды, виднелась группа башен Дворца правосудия. Деревья королевских садов, покрывавших западную оконечность острова Сите, маскировали островок Перевозчика. Что же касается реки, то с башен собора Парижской Богоматери ее совсем не было видно ни с какой стороны: она исчезала под мостами, а мосты скрывались под домами.

Если, пробежав по этим мостам с домами, кровли которых зеленели от плесени, преждевременно нараставшей от водяных испарений, взгляд зрителя направлялся влево, к Университету, то прежде всего он останавливался на широком и низком снопе башен. Это был Пти-Шатлэ, широко зиявшие ворота которого словно поглощали часть Малого моста. Если же взгляд

устремлялся на берег, то во всю длину с востока на запад, от Ла Турнель до Нельской башни, он видел линию домов с лепными украшениями, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом ярусами; видел бесконечные извилины владений буржуазии, часто пересекаемых какою-нибудь улицей или задеваемых фасадом или углом громадного каменного особняка, бесцеремонно расползшегося со всеми своими дворами и садами, корпусами и флигелями в ширину и в длину, среди массы сжатых, теснившихся друг к другу домов, как важный барин в толпе простолюдинов. Таких особняков на берегу было пять или шесть; они начинались особняком де Лорен, разделявшим с бернардинцами громадное, обведенное оградой пространство по соседству с Турнель, и кончались особняком де Нель, главная башня которого служила рубежом Парижа, а остроконечные кровли пользовались привилегией ежегодно в продолжение трех месяцев подряд своими черными треугольниками застилать багряный диск заходящего солнца.

На этом берегу Сены торговля была развита меньше, чем на противоположном, здесь толпилось и шумело больше учащихся, чем ремесленников. Набережной, в настоящем смысле

этого слова, можно было считать только пространство от моста Святого Михаила до Нельской башни, остальная же часть берега Сены или представлялась голой песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, или была покрыта скопищем домов, стоявших у самой воды, как, например, между обоими мостами. Здесь стоял вечный гвалт прачек; с утра до вечера, полоща белье вдоль реки, они неумолчно болтали, кричали и пели так же, как и в наши дни. Париж и в те времена был таким же веселым.

Университетская сторона представлялась глазам сплоченною массою. Она была из конца в конец однородным целым. Тысячи ее остроконечных, примыкавших одна к другой кровель, почти одинаковой формы, с высоты казались кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшиеся рвы улиц не могли разбить всю эту массу зданий на пропорциональные кварталы. Сорок две коллегии этой части Парижа распределялись довольно равномерно, так что их можно было видеть всюду. Разнообразные и забавные вершины этих прекрасных зданий были произведениями того же самого искусства, что и кровли простых домов, которые они превосходили только вышиною; они были, в сущ-

ности, лишь умножением в квадрате или в кубе той же геометрической фигуры. Эти вершины только объединяли целое, не нарушая его, только дополняли, не обременяя. Геометрия — это гармония. Тут и там несколько красивых особняков выделялись великолепными брызгами посреди живописных чердаков левого берега. Неверское подворье, Римское подворье и Реймское подворье, теперь исчезнувшие; особняк Клюни, существующий, к утешению художников, до сих пор, башню которого несколько лет тому назад так глупо развенчали. Возле отеля Клюни виднелось красивое римское здание с прекрасными сводчатыми арками — термы Юлиана. Немало было аббатств, отличавшихся более строгой красотою, более внушительной величественностью, чем особняки, и не менее прекрасных и значительных. Из них особенно бросались в глаза: аббатство бернардинцев с его тремя колокольнями; монастырь Святой Женевьевы, четырехугольная башня которого, уцелевшая до сих пор, заставляет так сильно жалеть об остальном; Сорбонна, полумонастырь, полушкола, прекрасная церковь которой еще сохранилась; красивый квадратный монастырь матуринцев; его сосед, монастырь Святого Бенедикта, в сте-

ны которого, в промежутке между седьмым и восьмым изданиями этой книги, успели втиснуть театр; аббатство кордельеров с его тремя громадными остроконечными фронтонами; аббатство августинцев, изящный шпиль которого, после Нельской башни, является в этой стороне Парижа вторым по красоте резным украшением. Коллежи, в сущности служившие соединительным звеном монастыря с миром, держались по архитектуре середины между особняками и аббатствами, отличаясь полною изящества строгостью, менее воздушными скульптурами, чем дворцы, и менее серьезною архитектурой, чем монастыри. К несчастью, почти ничего не осталось от этих памятников, в которых готическое искусство так прекрасно соединялось с богатством и умеренностью. Церковные здания в Университете были многочисленны и великолепны, они также представляли все эпохи зодчества, начиная с круглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми сводами Сен-Северина. Церкви там господствовали над всем и — самые гармоничные среди всеобщей гармонии — то и дело пронизывали разнообразные вершины зданий узорчатыми стрелами, сквозными колокольнями и тонкими иглами, линии которых были прелест-

ным дополнением к острым углам кровель.

Университетская сторона была гориста. Гора Святой Женевьевы образовывала громадный выступ на юго-востоке. Интересно было бросить взгляд с высоты собора Парижской Богоматери на это множество узких и извилистых улиц (теперь там Латинский квартал), на эти массы домов, разбросанных по горе и в беспорядке скатывавшихся по ее склонам к самой реке: одни из них имели вид падающих вниз, другие — карабкающихся наверх, а все вместе — цепляющихся друг за друга. Беспрерывный поток многих тысяч черных точек, перекрещивавшихся на мостовой, являл глазу образ самого движения: это кишел людской муравейник, который едва можно было различить с такой высоты и на таком расстоянии.

Наконец, в промежутках этих кровель, стрел, разнообразных бесчисленных зданий, так прихотливо очерчивавших и украшавших своим узором линии Университета, местами проглядывали части покрытой мхом стены, массивная круглая башня и зубчатые городские ворота, представлявшие укрепления; это была стена Филиппа Августа. По ту сторону этой стены расстилались зеленые луга и во все стороны разбегались дороги, вдоль которых были разбросаны последние

дома предместий, по мере удаления от города все более и более редевшие. Некоторые из этих предместий пользовались известным значением. Таково, например, предместье Сен-Виктор с его мостом-аркою через Бьевр, с его аббатством, где можно было прочесть надпись Людовика Толстого — epitaphium Ludovici Grossi, — и с его церковью, которая украшена восьмигранною стрелою, окруженною четырьмя колоколенками одиннадцатого века (подобную церковь до сих пор можно видеть в Этампе — ее не успели еще сломать). Далее следовало предместье Сен-Марсо, в котором были три церкви и монастырь. Потом, если оставить влево фабрику гобеленов с ее четырьмя белыми стенами, перед вами открывалось предместье Сен-Жак с его прекрасным резным крестом на перекрестке. По пути бросались в глаза: церковь Сен-Жак-дю-Го-Па, которая тогда еще была готическою и пленяла взоры своей воздушной красотою; прелестная церковь Сен-Маглуар, красивое произведение зодчества четырнадцатого века, которую Наполеон превратил в сенной склад; церковь Богородицы на Полях, в которой находились византийские мозаики. Наконец, скользнув по расположенному в открытом поле монастырю Шартрэ, богатому

зданию, современнику Дворца правосудия, с его разбитыми на маленькие участки садами, и пробежав по развалинам Вовера, пользующимся такой дурной славою, взор падал на западе на три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Сен-Жерменское предместье, бывшее уже тогда большой общиной, расползалось пятнадцатью или двадцатью улицами. Один из углов этого предместья был отмечен островерхой колокольней церкви Святого Сульпиция. Рядом с этой церковью можно было различить четырехгранную ограду Сен-Жерменского рынка, затем — красивую кругленькую башню аббатства, увенчанную свинцовым конусом. Дальше шли: черепичный завод, улица Дю-Фур, ведущая к общественной хлебопекарне, мельница на пригорке и приют для прокаженных — уединенное здание весьма непривлекательного вида. Но более всего приковывало к себе взоры Сен-Жерменское аббатство. Действительно, великолепную картину представляло на горизонте это аббатство с его одинаково величественными церковью и дворцом, провести хоть одну ночь в котором парижские епископы считали за особенную честь. Этот монастырь с его трапезной, которой архитектор придал стиль, красоту и великолепный

орнамент собора, с изящной часовней Богородицы, монументальными дортуарами, обширными садами, подъемными решетками и мостами, с зубчатою оградою, так красиво выделявшейся на зеленом фоне окружающих лугов, с дворами, где вперемежку с блещущими золотом мантиями кардиналов сверкало оружие воинов, — все это, сгруппированное и объединенное вокруг трех острых готических стрельчатых башен, представляло на горизонте великолепную картину.

Когда же наконец, вдоволь налюбовавшись на Университет, вы поворачивались к правому берегу, где расположен Город, панорама вдруг менялась. Более обширный, чем Университет, Город отличался меньшим единством. При первом же взгляде было видно, что он подразделяется на несколько частей, резко отличающихся одна от другой. На востоке, в той части, которая до сих пор еще называется по имени болота, в которое Камулоген загнал было Юлия Цезаря, теснилась группа дворцов, выдвинувшихся на самый край берега. В водах Сены красиво отражались перерезанные стройными башенками шиферные кровли четырех особняков, почти примыкавших друг к другу: Жуи, Санс, Барбо и Дворца королевы. Эти четыре здания занимали все пространство от

улицы Де-Нондьер до Целестинского монастыря, красиво возвышавшегося своей стрельчатой колокольней над зубцами и кровлями дворцов. Несколько позеленевших развалин, нависших над водою перед этими роскошными дворцами, не мешали видеть прекрасные линии их фасадов, широкие окна с крестообразными каменными переплетами, сводчатые, украшенные статуями ворота; изящно закругленные детали доказывали изумительное богатство готического искусства. За этими дворцами извивались во всех направлениях, то выделяясь своими зубцами и укреплениями, то прячась в тени деревьев, бесконечные стены грандиозного дворца Сен-Поль, где французский король мог свободно и роскошно поместить двадцать два принца крови вроде дофина и герцога Бургундского, с их свитами и служителями, не считая знатных вельмож германского императора, когда он посещал Париж, а также львов, помещавшихся тут же в особом здании. Заметим мимоходом, что отделение каждого принца состояло из одиннадцати комнат, начиная парадным залом и кончая молельней, не говоря уже о галереях, ваннах и других «лишних» помещениях, которыми было снабжено каждое отделение; не говоря об особых для каждого коро-

левского гостя садах, о кухнях, чуланах, людских, столовых для слуг, задних дворах, на которых были расположены двадцать две богато обставленные поварни, начиная с той, где пекли хлеб, и кончая пивоварней; не говоря о помещениях для разнообразных игр: в мячи, в шары, в обручи и т. п., и о множестве птичников, рыбных садков, конюшен, зверинцев, скотных дворов, библиотек, арсеналов и проч. Вот что тогда представляли собою королевские Лувр и дворец Сен-Поль! Это были города в городе.

С того места, где находился зритель, дворец Сен-Поль, полузакрытый от взора четырьмя вышеупомянутыми домами, все-таки представлял величественное зрелище. Можно было легко различить три особняка, которые Карл V присоединил к этому дворцу, хотя они очень искусно были связаны с главным зданием длинными галереями, украшенными колонками и расписными окнами. Это были: особняк Пти-Мюс с кружевной балюстрадой, грациозно обвивавшей его кровлю; особняк аббатства Сен-Мор, похожий на крепость, с толстой башней, железным болверком, бойницами и гербом аббатства на саксонских воротах между выемками для подъемного моста, и особняк графа д'Этамп с попорченною в

верхней части вышкою, зазубренною, как петушиный гребешок. Кое-где там были разбросаны купы вековых дубов, похожих издали на кочаны цветной капусты. В прозрачных, полных то света, то тени водах прудов белели гордые лебеди; к сожалению, можно было видеть только уголки этих прекрасных и живописных прудов. Здесь было помещение для львов с низкими сводами на саксонских столбах, с железными решетками и вечным гулом львиного рыканья. Там, пронизывая воздух, уходила в небо чешуйчатая стрела церкви Ave Maria. Налево — жилище парижского прево, украшенное четырьмя изящно вырезанными башенками по углам. В самой середине, в глубине этого городка, возвышалось главное здание дворца Сен-Поль с его разнообразными фасадами, со всеми теми бесчисленными приращениями всевозможных видов, которыми со времен Карла V обременяла его в продолжение двух столетий фантазия зодчих, — со всеми вышками его часовен, с его галереями, с тысячами узорчатых флюгеров по всем четырем странам света, наконец, с двумя смежными высокими башнями, конические кровли которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие шляпы с загнутыми полями.

Поднимаясь уступами по этому раскинувшемуся в отдалении амфитеатру дворцов, перенесясь через низину, прорытую в массе домов Города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, глаз зрителя достигал Ангулемского подворья, обширного здания нескольких эпох, в котором новые части резко отличались от старых своей белизною и так же мало подходили к целому, как красные заплаты к голубой мантии. Особенно поражала изумительно острая, высокая кровля нового дворца, щетинившаяся резными желобами и покрытая свинцовыми полосами, которые были усеяны бесчисленными, ярко сверкавшими фантастическими арабесками из желтой меди. Эта словно замаскированная, замысловатая кровля с величавой грациозностью возносилась посреди коричневых развалин старого здания, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, оседали от ветхости и трескались сверху донизу, как расстегнутые на тучных животах жилеты. Позади этого особняка виднелся лес шпилей дворца Ла Турнель. Нигде во всем мире, даже в Альгамбре или Гамборе, нельзя было видеть такой волшебной, захватывающей воздушной картины, как та, что открывалась здесь перед зрителем узором всех этих стрел, колоколен, флюгеров, винтовых

лестниц, шпилей, просвечивавших фонариков, павильонов и башен всевозможной формы, высоты и расположения. Все это, вместе взятое, можно было сравнить с гигантской каменной шахматной доской, уставленной шахматными фигурами.

По правую сторону от дворца Турнель ершился громадный пук черных башен, врезывающихся одна в другую и точно перевязанных охватившим их рвом. Башни окружали мрачное здание, в котором было больше бойниц, чем окон, и у которого был постоянно поднят мост и опущена решетка. Это — Бастилия. Черные цилиндрические предметы, выглядывавшие из-за каждого зубца этого замка и издали похожие на желоба, были пушки.

Под их жерлами, у подножия страшного здания, виднелись ворота Сент-Антуан, сжатые между двумя башнями.

Дальше, за этим городком башен, вплоть до стены Карла V, расстилался роскошный зеленый, красиво расшитый цветами ковер полей и королевских парков, между которыми сразу можно было отличить, по лабиринту аллей и деревьев, знаменитый сад Дедала, подаренный Людовиком XI Куаксье. Обсерватория этого

ученого поднималась над лабиринтом исполинскою колонною, увенчанною вместо капители небольшим домиком. В этой башне немало было состряпано ужасных астрологических бредней. Теперь здесь Королевская площадь.

Выше было сказано, что дворцовый квартал, о котором мы старались дать читателю представление, хотя останавливались лишь на его главных особенностях, наполнял весь угол, образуемый на восточной стороне оградою Карла V и Сеною. Центр Города был загроможден жилыми домами. Там сходились все три моста с правого берега Сите; дома на этих мостах предшествовали дворцам. И это скопище буржуазных жилищ, лепившихся друг к другу, как ячейки улья, тоже не лишено было красоты. Кровли большого города, как волны моря, представляют собой величественную картину. Спутанные, то и дело перекрещивающиеся улицы Города разрезали эту груду домов на сотню причудливых фигур. Вокруг рынков они образовывали громадную звезду. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, с их бесчисленными разветвлениями, поднимались рядом одна с другою и походили на исполинские деревья, перепутавшиеся своими сучьями. Улицы Каменщиков, Стекольщиков, Ткачей и другие змеились

во всех направлениях. Местами застывшие волны этого моря кровель прорывались высокими зданиями. Так, например, перед мостом Менял, за которым Сена пенила свои воды под колесами мельниц, расположенных вдоль моста Менье, высился Шатлэ, уже не в виде римской башни, как во времена Юлиана Отступника, а в форме феодальной башни тринадцатого столетия. Камень, из которого была сооружена эта башня, отличался такой твердостью, что за три часа его удавалось продолбить ломом не глубже чем на палец. Прекрасная колокольня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, вся поросшая, точно мхом, гранями и скульптурными украшениями, была очень живописна, несмотря на то, что в пятнадцатом веке она еще не была окончена. Тогда ей еще недоставало четырех чудовищ по углам, имеющих вид сфинксов, задающих новому Парижу загадку старого. Ваятель Ро поместил их туда только в 1526 году, получив за свой труд двадцать франков. Дальше: церковь Сен-Мери со сводчатыми окнами; церковь Святого Иоанна, чудесный шпиль которой вошел в пословицу; Дом с колоннами, выходивший на Гревскую площадь, о которой мы уже рассказали читателю. Церковь Сен-Жервэ, впоследствии испорченная папертью в стиле

«хорошего» вкуса, и десятки других памятников, не брезговавших погрузить свои чудеса в этот хаос черных, глубоких и узких улиц. Прибавьте к этому резные каменные кресты, которыми перекрестки изобиловали более, чем виселицами; кладбище «Невинных душ», видневшееся вдали, над морем зданий; архитектурную ограду; столбы рынка, верхушки которых выделялись между двумя печными трубами улицы Де-ла-Коссопри; лестницу церкви Де-ла-Круа-дю-Трагуар на перекрестке того же имени, вечно черневшем народом; развалины круглого Хлебного рынка; обломки древней ограды Филиппа Августа, потонувшие тут и там в массе домов; источенные временем башни; полуразрушенные ворота; бесформенные, рассыпающиеся остатки домовых стен; набережную с ее тысячами лавок и кровавыми живодернями; часть покрытой лодками Сены; представьте себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, каков был в 1482 году вид центральной части Города.

Город, состоявший из двух кварталов: один — дворцов, другой — домов, опоясывался почти кругом рядом аббатств, тянувшихся со своими монастырями и часовнями с востока на запад, образуя по ту сторону фортификационных линий

вторую, внутреннюю ограду. Непосредственно за Турневильским парком, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Дю-Тампль, стоял величественный монастырь Святой Екатерины; оградой ему служила городская стена. Между обеими улицами Дю-Тампль, Старою и Новою, посреди обширной зубчатой ограды, хмурилась высокая, уединенная и мрачная громада аббатства Дю-Тампль. Между улицами Нев-дю-Тампль и Сен-Мартен находилось аббатство Сен-Мартен, великолепный укрепленный монастырь посреди садов, уступавший красотою башен своей ограды и тиарою своих колоколен разве только церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Мартен и Сен-Дени виднелась ограда аббатства Святой Троицы. Наконец, между улицами Сен-Дени и Монторгель было аббатство Филь-Дье. В стороне можно было различить прогнившие кровли и полуразрушенную ограду Двора чудес; это было единственным мирским звеном, неизвестно как попавшим в эту цепь святынь.

Но Город имел и четвертое подразделение, резко обрисовывавшееся в путанице его домов на правом берегу. Эта часть, занимавшая западный угол Города, состояла из нового узла дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древ-

ний Лувр Филиппа Августа, огромное здание, вокруг главной башни которого было сгруппировано двадцать три других, немного меньших размером, не считая бесчисленного множества маленьких башенок, издали казался втиснутым между готическими кровлями особняка д'Алансон и Пти-Бурбон. Эта башенная гидра, исполинская охранительница Парижа, с ее двадцатью четырьмя грозно поднятыми головами, чудовищными свинцовыми и чешуйчатыми крестцами, вся переливавшаяся волнами металлических отблесков, восхитительно заканчивала собою западный угол Города.

Итак, Город представлялся громадным скоплением частных домов между двумя группами дворцов, увенчанных с одной стороны Лувром, а с другой — дворцом Ла Турнель и окаймленных на севере длинной линией аббатств и садов. Все это издали сливалось в одно целое. Над этим множеством зданий высились одна над другою черепичные и шиферные кровли, а над ними, причудливо рассекая воздух и перемешиваясь между собою, вонзались в небо стройные резные, узорчатые башни четырех церквей. Внизу вся эта масса зданий прорывалась через множество улиц и переулков, ограничиваясь с одной стороны

стенами с четырехугольными башнями (башни стен Университета были круглые), а с другой — Сеною, пересекаемою мостами и покрытою всевозможными мелкими судами. Таков был Город в пятнадцатом веке.

За стенами Города, ближе к воротам, расположилось несколько предместий, но менее многочисленных и более разбросанных, чем за стенами Университета. За Бастилией скучилось десятка два плохоньких домишек вокруг любопытных скульптурных сооружений Круа-Фобан и массивных сводов аббатства Сент-Антуан-де-Шан; затем шли предместья: Попенкур, затерявшееся в хлебных полях; Ла Куртиль, веселенькая деревенька со множеством кабачков; местечко Сен-Лорен с церковью, колокольня которой издали сливалась с островерхими башнями ворот Сен-Мартен; предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр. За Монмартрскими воротами белели стены Гранж-Бательер; за ними высились меловые откосы самого Монмартра, в котором тогда было почти столько же церквей, сколько мельниц, и на котором теперь уцелели одни мельницы, так как современное общество требует только телесной пищи. Наконец, по ту сторону Лувра можно было видеть расстилающе-

еся по лугам предместье Сент-Оноре, в то время уже довольно значительное, зеленеющую Пти-Бретань и развертывающийся Свиной рынок с черневшею посредине страшною черною печью, в которой заживо жарились фальшивомонетчики. Между предместьями Куртиль и Сен-Лорен глаз зрителя останавливается на своего рода здании, увенчивавшем одинокий холм посреди пустынной равнины и издали походившем на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. Это не был ни Парфенон, ни храм Юпитера олимпийского. Это был Монфокон.

Теперь, перечислив главные особенности описываемой картины и опасаясь, как бы все эти подробности не улетучились из памяти читателя по мере того, как мы их указываем, постараемся несколько короче резюмировать сказанное и дорисовать картину общего вида старого Парижа. Итак, повторяем: в центре — остров Сите, похожий своею формою на исполинскую черепаху, лапы которой образуются чешуйчатыми мостами, а голова — массою серых кровель; налево — сплошная трапеция Университета, как бы слитая, плотно сжатая, ощетинившаяся; направо — обширный полукруг Города, изобилующий садами и церквами. Эти три части

— Сите, Университет и Город — изрыты бесчисленными улицами. Поперек всего этого тянется серебристая лента Сены, — Сены-кормилицы, как называл ее П. дю Брёль, — сплошь покрытая островами, мостами и судами. Всю эту панораму окружает необъятная равнина, покрытая пестрыми нивами, усеянная красивыми селениями. С левой стороны идут селения: Исси, Ванвр, Вожирар, Монруж и Шантильи с двумя башнями, круглой и четырехугольной. С правой стороны расположены двадцать селений, начиная с Конфлана и кончая Виль д'Эвек. На горизонте — кайма холмов, образующих круг как бы по краям бассейна. Наконец, вдали виднеются: на востоке — Венсен с семью четырехгранными башнями; на юге — острые вершины башен Бисетра; на севере — Сен-Дени с его стрелою, а на западе — Сен-Клуи с его крепостью. Вот каков был Париж, которым любовались с башен собора Парижской Богоматери вороны, жившие в 1482 году.

Между тем Вольтер сказал об этом городе, что он до Людовика XIV имел всего четыре хороших памятника: купол Сорбонны, церковь Валь-де-Грас, нынешний Лувр и, не помню, какой четвертый, кажется, Люксембург. К счастью, Вольтер написал «Кандида» и лучше всех остальных людей,

сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, умел хохотать дьявольским смехом. Это, между прочим, доказывает, что можно быть гением в одном каком-нибудь искусстве и ничего не смыслить в остальных. Не воображал ли и Мольер, что он оказывал много чести Рафаэлю и Микеланджело, когда называл их Миньярами своего времени?

Но возвратимся к Парижу пятнадцатого века.

Париж был тогда не только красивым городом, но и цельным произведением зодчества и истории Средних веков, был каменною хроникою. Он был составлен всего из двух наслоений: римского и готического. Римское наслоение давно уже исчезло, за исключением терм Юлиана, в виде которых оно еще пробивалось сквозь толстую кору Средних веков. Что же касается отложения кельтского, то его следов не находили даже при рытье колодцев.

Пятьдесят лет спустя, когда начавшееся Возрождение принялось примешивать к этому строгому и вместе с тем разнообразному единству ослепительную роскошь своих фантазий и систем и праздновать свои оргии римского свода, греческих колонн и готических перекладин, распространять свою тонкую, идеальную

скульптуру, свои любимые арабески и свое архитектурное язычество, современное Лютеру, — тогда Париж, быть может, сделался еще более прекрасным, зато не таким гармоничным для глаза и мысли. Но этот блестящий момент быстро миновал. Возрождение не отличалось беспристрастием: оно не довольствовалось созиданием — оно стремилось и к разрушению. Правда, ему нужно было очистить больше места. Таким образом, Париж лишь на мгновение был вполне готическим. Еще не успели окончить церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, как уже начали ломать старый Лувр.

С тех пор великий город с каждым днем все более и более терял свой облик. Париж готический, под которым исчезал романский, быстро исчез в свою очередь. Какой же Париж заменил его?

Был Париж Екатерины Медичи в Тюильри[50]; Париж Генриха II в городской ратуше, — оба этих здания прекрасны еще до сих пор; Париж Генриха IV на Королевской площади — кирпичные фасады, каменные углы, шиферные кровли и трехцветные дома; Париж Людовика XIII — в церкви Валь-де-Грас — зодчество приземистое, придавленное, полуовальные своды с какими-то толстыми колоннами и горбатыми куполами; Париж Людовика XIV — в церкви Святого Сульпиция — каменные банты, облака, червячки и завитушки; Париж Людовика XVI — в Пантеоне (вообще все это здание слеплено кое-как); Париж республики — в Медицинской школе, — тоже плохом подражании римлянам и грекам, столь же похожем на Колизей или Парфенон, как конституция

---

[50] Сноски: 50

С грустью и с негодованием слышали мы, что хотят увеличить, перекроить, переделать, то есть, собственно, уничтожить, этот чудный дворец. У зодчих нашего времени слишком тяжелая рука, чтобы касаться такого нежного произведения эпохи Возрождения. Но будем надеяться, что этого не решатся сделать. Разрушение Тюильри было бы в наши дни не только грубым варварством, от которого мог бы покраснеть даже вандал, но прямо актом измены. Ведь Тюильри является не просто шедевром искусства шестнадцатого века, а страницею истории девятнадцатого столетия. Этот дворец принадлежит уже не королю, а народу. Оставим его таким, какой он есть. Наша революция сделала на нем две отметины: один его фасад пробит ядрами 10 августа, другой — 29 июля. Он священен. (*Примеч. В. Гюго к пятому изданию. Париж, 7 апреля 1841 г.*)

III года походит на законы Миноса, — этот вид зодчества назывался «стилем Мессидора»; Париж Наполеона — на Вандомской площади — нечто действительно грандиозное, но состоящее из одной бронзовой колонны, перелитой из пушек; Париж Реставрации — в здании Биржи — слишком белая колоннада с чересчур прилизанным фризом (здание это четырехугольное и стоило двадцать миллионов).

Каждому из этих своеобразных памятников соответствует по вкусу, форме и виду известное количество домов, рассеянных в различных частях города. В общей массе знаток сразу отличает эти дома и определяет их эпоху. Кто умеет смотреть, тот узнает дух века и характер данного царствования даже по ручке дверного молотка.

Но современный Париж не имеет никакой определенной физиономии. Это — простая коллекция образцов зодчества нескольких столетий, и притом далеко не лучших. Наша столица увеличивается только количеством зданий — и каких зданий? Париж теперь живет при таких условиях, что должен возобновляться каждые пятьдесят лет. Поэтому историческое значение его зодчества все более и более умаляется. Прежних памятников в нем становится меньше

и меньше: они постепенно тонут среди новых зданий. Наши предки жили в каменном Париже, а потомки будут жить в Париже гипсовом.

Что же касается современных памятников нового Парижа, то мы охотно избавим себя от труда говорить о них подробно. Мы лишь упомянем о них по заслугам. Например, церковь Святой Женевьевы, сооруженная архитектором Суфло, бесспорно, является одним из самых красивых савойских пирогов, когда-либо выделанных из камня. Дворец Почетного легиона также представляет собой весьма замечательный кусок кондитерского пирога. Купол Хлебного рынка очень напоминает фуражку английского жокея, вздернутую на длинную лестницу. Башни церкви Святого Сульпиция сильно напоминают пару больших кларнетов, и это, право, неплохо; телеграф, торчащий на их кровле, вполне гармонирует с целым. Церковь Сен-Рош щеголяет папертью, с которою по великолепию может равняться разве только паперть церкви Святого Фомы Аквинского. В ней есть круглое и горбатое возвышение, изображающее Голгофу; кроме того, имеется солнце из позолоченного дерева. Оба эти изделия — штука замечательная. Фонарь лабиринта ботанического сада тоже довольно

замысловат. Что же касается здания Биржи, греческого стиля по его колоннаде, римского — по дугообразным сводам окон и дверей и эпохи Возрождения — по большим низким перекладинам, — то это, несомненно, памятник вполне корректный и безупречный; уже одно то, что он увенчан аттическою вышкою, какой не было и в Афинах, изумительно прямолинейною и местами чрезвычайно изящно пересеченною печными трубами, вполне доказывает это. По правилам, архитектура здания должна вполне соответствовать его назначению, так, чтобы при первом же взгляде было понятно, к чему оно предназначено. Взглянув же на здание Биржи, вы можете его принять за что угодно: за королевский дворец, за академию, за склад товаров, за здание суда, за музей, казармы, гробницу, храм или театр. Но пока — это Биржа. Между прочим, каждое строение должно быть приспособлено и к местному климату. То здание, о котором идет речь, очевидно, тоже построено сообразно с нашим климатом. Кровля у него сделана плоская, какие бывают на Востоке; поэтому зимою, когда идет снег, ее метут, из чего должно заключить, что кровли для того и устраиваются, чтобы их подметали. Что же касается назначения, о котором мы выше го-

ворили, то это здание так хорошо удовлетворяет этому требованию, что, будучи во Франции биржей, оно в Греции с тем же удобством могло бы служить храмом. Правда, архитектор сильно старался замаскировать циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, и позаботился окружить все здание колоннадою, в которой, в особо торжественные дни, свободно может развернуться величественная процессия биржевых маклеров и купеческих приказчиков.

Да, все это, без сомнения, превосходные произведения зодчества. А если к ним прибавить удивительно красивые, разнообразные и веселые улицы, вроде улицы Риволи, то смело можно надеяться, что когда-нибудь Париж с высоты птичьего полета представит глазу то богатство линий, изобилие деталей, приятное разнообразие видов, ту величавость в простоте и оригинальность в красоте, которые отличают шахматную доску.

Между тем, каким бы прекрасным ни казался вам современный Париж, восстановите мысленно Париж пятнадцатого столетия; вообразите этот лес башен, колоколен и стрел; разбросайте их по городу, оторвите от оконечностей островов, обвейте вокруг арок мостов Сену с ее зелеными и

желтыми заливчиками гниющей воды, переливающимися ярче, чем кожа змеи; нарисуйте на голубом фоне неба готический профиль старого Парижа; заставьте выступить его контуры сквозь пелену зимнего тумана, цепляющегося за его многочисленные трубы; окуните его в ночной мрак, полюбуйтесь на эту причудливую игру света и тени в лабиринте его зданий. Бросьте на него полосу лунного света и посмотрите, как она выделит в тумане большие головы башен; или же возьмите этот черный силуэт, оживите игрою тени множества острых углов, шпилей и зданий и заставьте его сразу выступить еще более кружевным, чем внутренняя челюсть акулы, на медном небе заката, а затем сравнивайте.

Если же вы желаете получить от старого города впечатление, какого никогда не будет в состоянии дать вам новый Париж, то поднимитесь пораньше утром, в большой праздник, например в первый день Пасхи или на Троицу, на один из возвышенных пунктов, господствующих над всей столицей, и ждите пробуждения колоколов. Вот вы дождались этого момента, когда по сигналу неба, данному первым солнечным лучом, брызнувшим над горизонтом, сразу дрогнут все эти сотни колоколен. Сначала от одной церкви

к другой понесутся редкие удары колоколов, как в оркестре перед началом увертюры проносятся отдельные звуки. Потом, смотрите, — ведь в некоторых случаях и ухо может смотреть, как глаз, — с каждой колокольни сразу поднимется столб звуков, облако гармонии. Пока еще вибрация каждого колокола поднимается к ясному утреннему небу как бы отдельно, чистым, кристаллическим звуком, но понемногу эти звуки, усиливаясь, сливаются в одно целое и соединяются в один великолепный аккорд. Теперь с бесчисленных колоколен несется сплошное звучное гудение; оно волнами расстилается над Парижем, и далеко за его пределы несутся отзвуки его могучих раскатов. Это море гармонии не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, оно все-таки остается как бы прозрачным. Вы свободно можете проследить, как в нем змеиными изгибами проносятся отдельные группы звуков, брызжущих из прорезов колоколен; можете расслышать диалог важного басового колокола и суетливо-крикливого тенорового; можете видеть, как с одной колокольни на другую перелетают октавы, как легко возносятся крылатые, пронизывающие ноты серебряного колокола и как грузно падают глухие звуки деревянного;

можете любоваться роскошными переливами и гаммами всех семи колоколов церкви Святого Евстафия, гаммами, то повышающимися, то понижающимися. Временами в этот концерт звуков врываются неизвестно откуда несколько ясных, звонких нот и, отчетливо прозвучав, снова поспешно исчезают, сверкнув молниеносными зигзагами в этом океане благовеста. С одного горизонта несется дребезжащее и крикливое пение колоколов аббатства Сен-Мартена, с другого ему отвечает грубый и зловещий голос Бастилии. Дальше гудит басом Луврская башня. Царственные колокола Дворца правосудия беспрерывно во все стороны шлют лучезарные трели своих чистых голосов, покрываемых по временам тяжелыми ударами большого колокола собора Богоматери. От этих ударов трели рассыпаются еще звонче и брызжут, точно искры на наковальне при ударах тяжелого молота. В известные промежутки бесконечно разнообразными сочетаниями проносятся струи звуков, изливаемые тройным набором колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Иногда вся эта масса чудных звуков вдруг как бы расступается, чтобы пропустить налетающую с колокольни церкви Благовещения фугу, которая тотчас же разлетается звездными брызгами. А

снизу, из самой глубины этого оркестра, вам смутно слышится пение, которым в эту минуту полны церкви и которое пробивается наружу сквозь их гулкие своды. Да, такую оперу, бесспорно, стоит послушать. Днем Париж шумит говором; ночью он дышит, а теперь вы слышите, как он поет. Прислушайтесь же к этому чарующему ухо трезвону парижских колоколов. Присоедините к нему немолчный гул полумиллионного населения, вечный ропот реки, неумолкаемые вздохи ветров, внушительный и далекий квартет четырех рощ, расположенных на окаймляющих горизонт холмах, подобно трубам гигантских органов; заглушите этой как бы полутенью все, что может быть грубого и резкого в городском трезвоне, — и скажите, положа руку на сердце, знаете ли вы что-нибудь более богатое, более радостное, более яркое и ликующее, чем это смятение колоколов, чем этот очаг музыки, чем эти десять тысяч медных голосов, поющих вместе и возносящихся из гигантских каменных флейт в триста футов высотой, чем этот город-оркестр, чем эта симфония, создающая шум бури!

Книга четвертая
I. Добрые души

За шестнадцать лет до описываемых нами событий, в одно прекрасное утро в Фомино воскресенье, в соборе Парижской Богоматери после обедни было найдено какое-то маленькое, живое существо. Оно лежало в деревянных яслях, вделанных в пол паперти, налево от того исполинского изображения святого Христофора, на которое так благоговейно смотрела с 1413 года каменная коленопреклоненная фигура рыцаря, мессира Антуана Дезэссара. Статуя стояла вплоть до того времени, когда умные люди нашли нужным убрать и изображение святого, и статую молящегося.

По издавна существовавшему обычаю, в эти ясли клали подкидышей, поручая их общественному милосердию. Отсюда каждый желающий мог взять подкидыша на воспитание. Перед яслями стояло медное блюдо для подаяния.

Подобие живого существа, лежавшее на досках в Фомино воскресенье 1467 года, очевидно, сильно возбуждало любопытство столпившейся

вокруг яслей довольно густой кучки людей. Кучка эта состояла большею частью из представительниц прекрасного пола, преимущественно старух.

Среди этих женщин особенно выделялись четыре старухи, стоявшие у самых яслей и низко наклонившиеся над ними. Судя по длинным серым одеяниям монашеского покроя, старухи принадлежали к какой-то благочестивой общине. Я не вижу причин, почему бы не передать потомству имен этих четырех скромных и почтенных особ. Их звали: Агнеса ла Герм, Жанна де ла Тарм, Генриетта ла Гольтьер и Гошер ла Виолет. Они все были вдовы и состояли при обители Этьен-Годри.

С разрешения своей начальницы и согласно уставу Пьера д'Айльи старушки пришли в собор слушать проповедь.

Однако, соблюдая в точности устав Пьера д'Айльи, достойные монахини, с другой стороны, самым бесцеремонным образом нарушали правила Михаила де Браша и кардинала Пизского, жестоко предписывавшие им молчание.

— Что это такое, сестра? — говорила Агнеса своей соседке Гошер, рассматривая маленькое создание, которое с визгом корчилось в яслях, видимо испуганное множеством устремленных

на него глаз.

— Что же это будет с нами, если стали появляться на свет такие дети! — сказала Жанна.

— Я не знаю толку в ребятах, — продолжала Агнеса, — но думаю, что на такого ребенка грешно даже и смотреть.

— Да это вовсе и не ребенок, Агнеса.

— Это неудавшаяся обезьяна, — заметила Гошер.

— А по-моему, это какое-то знамение, — произнесла Генриетта ла Гольтьер.

— В таком случае, — подхватила Агнеса, — это уже третье чудо за нынешний месяц. Ведь прошло не больше недели, как обервильская Богородица так чудесно наказала нечестивого странника, который кощунствовал перед ее изображением. А то было вторым чудом в этот месяц.

— Этот подкидыш — настоящее страшилище! — воскликнула Жанна.

— От его крика даже певчий оглохнет! — добавила Гошер. — Замолчи ты, неугомонный ревун!

— И подумать только, что монсеньор архиепископ Реймсский прислал это чудовище в подарок монсеньору архиепископу Парижскому! — ужасалась Гошер, всплеснув руками.

— По-моему, — снова заговорила Агнеса, — это

просто какой-то звереныш… что-то вроде помеси жида и свиньи… ему не место в христианском храме, нужно бросить его в огонь или в воду.

— Надеюсь, никто не решится взять к себе это чудовище, — сказала ла Гольтьер.

— Ах, боже мой! — сокрушалась Агнеса. — Как мне жаль бедных кормилиц приюта для подкидышей, который находится в конце переулка, на берегу, рядом с жилищем архиепископа… Каково им будет, если придется кормить такое чудовище!.. Я бы на их месте предпочла кормить своей грудью настоящего вампира…

— Ну и простота же вы, ла Герм! — вскричала Жанна. — Разве вы не видите, что этому маленькому страшилищу по меньшей мере года четыре и что он нуждается не в груди, а скорее в хорошем куске мяса?

И действительно, маленькое «страшилище» (мы и сами затруднились бы назвать его иначе) не было новорожденным. Это существо представляло собой угловатую, очень подвижную массу, завязанную в мешок, помеченный начальными буквами имени мессира Гильома Шартье, тогдашнего парижского архиепископа. Из мешка выглядывала одна только голова, отличавшаяся поразительной уродливостью. На ней ничего

нельзя было различить, кроме щетины рыжих волос, одного глаза и зубастого рта. Глаз плакал, рот кричал, а зубы, казалось, так и искали, во что бы им вонзиться. Существо это изо всей силы билось в своем мешке, к немалому изумлению окружавшей ясли всё растущей толпы.

В эту толпу вмешалась и госпожа Алоиза Гондлорье, богатая и знатная дама, которая вела за руку хорошенькую девочку лет шести и тащила за собой длинное покрывало, прикрепленное к золотому рогу ее головного убора. Дама остановилась, чтобы тоже взглянуть на злополучное маленькое существо, корчившееся и кричавшее в яслях, между тем как ее дочь, прелестная Флёр де Лис, разодетая в шелк и бархат, водила своим крохотным пальчиком по прибитой к яслям надписи: «Подкидыши».

— Фу, какая гадость! — с отвращением проговорила дама. — Я думала, что сюда кладут только детей.

И она поспешно пошла дальше, бросив на блюдо серебряный флорин, гордо звякнувший между лежавшими там медяками. Бедные сестры общины Этьен-Годри вытаращили глаза при виде такой небывалой щедрости.

Вслед за этим подошел кичившийся своей

ученостью Роберт Мистриколь, королевский протонотариус, державший под мышкою одной руки толстый молитвенник, а под другой — руку своей супруги Гильометы, урожденной ла Мерес. Таким образом он имел при себе оба свои регулятора: духовный и светский.

— Подкидыш! — проговорил он, рассмотрев метавшееся в мешке существо. — Гм… По всей вероятности, его нашли на берегу реки Флегетона.

— У него виден только один глаз, а другой закрыт каким-то желваком, — заметила бывшая девица ла Мерес.

— Это не желвак, — возразил мэтр Роберт Мистриколь, — это — яйцо; оно содержит в себе другого такого же демона с таким же яйцом, в котором тоже сидит демон. И так далее… до бесконечности.

— Откуда ты это знаешь? — спросила Гильомета.

— Знаю, вот и все! — ответил протонотариус.

— Господин протонотариус, — обратилась к нему Гошер, — что, по вашему мнению, предвещает этот странный найденыш?

— Величайшее бедствие, — изрек мэтр Мистриколь.

— Ах ты, господи! — вскричала одна старуха

в толпе. — Неужели мало того, что у нас в прошлом году была такая сильная чума, а теперь, говорят, еще англичане собираются высадиться в Гарфле?

— Еще, чего доброго, — подхватила другая старуха, — королева не приедет в Париж в сентябре. А торговля и без того идет так плохо.

— По-моему, — сказала Жанна де ла Тарм, — для парижских бедняков было бы лучше, если бы этот маленький колдун был положен на костер, а не в ясли.

— Да, на хорошенький пылающий костер! — подхватила первая старуха.

— Действительно, это было бы благоразумнее, — подтвердил и Мистриколь.

В толпе уже несколько минут стоял молодой священник, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили монахини и протонотариус. У него были широкий лоб, глубокий взгляд, суровое выражение лица. Он молча отстранил толпу, посмотрел на «маленького колдуна» и положил на него руку. Да и пора было, потому что все эти старые ханжи уже начали предвкушать наслаждение при мысли о «хорошеньком пылающем костре».

— Я беру этого ребенка к себе, — произнес мо-

лодой священник.

И, завернув подкидыша в свою сутану, он быстро ушел с ним, провожаемый полными ужаса взглядами присутствующих. Через минуту он уже скрылся за Красной дверью, соединявшей в то время церковь с монастырем.

Когда первое изумление прошло, Жанна де ла Тарм наклонилась к уху Генриетты де ла Гольтьер и прошептала:

— Разве я не говорила вам, сестра, что этот молодой клирик, Клод Фролло, колдун?

II. Клод Фролло

Клод Фролло действительно не был обыкновенною личностью.

Он принадлежал к одному из тех семейств среднего состояния, которые на грубом языке прошлого столетия причислялись то к высшей буржуазии, то к низшему дворянству. Семейство это унаследовало от братьев Паклэ ленный земельный участок Тиршап, зависевший от епископа Парижского; двадцать один дом, расположенный на этом участке, были в тринадцатом столетии предметом бесконечных судебных тяжб. В качестве владельца этого лена Клод

Фролло принадлежал к числу тех феодалов, которые имели притязание на взимание сборов в Париже и его предместьях. Его имя долгое время красовалось между леном Танкарвиль, принадлежавшим мэтру Франсуа ле Рец, и леном Турского коллежа в списке упомянутых феодалов, хранившемся в архиве монастыря Сен-Мартен-де-Шан.

Родители Клода Фролло со дня рождения сына предназначили его к духовному званию. Читать его учили по-латыни и очень рано привили ему привычку держать глаза опущенными и говорить тихим голосом. Совсем еще маленьким он был отдан отцом в коллеж Торши, в квартале Университета. Там он и вырос над молитвенником и словарем.

Впрочем, Клод и от природы был ребенком серьезным, тихим и задумчивым. Он отлично учился, быстро запоминал, никогда не шумел во время рекреаций, не участвовал в вакханалиях улицы Фуар, не знал, что такое dare alapas et capilos laniara[51], и никак не обнаружился в том мятеже 1473 года, который был занесен летописцами в хронику под громким названием «шестой университетской смуты». Лишь изредка он поз-

[51] Сноски: 51
Давать пощечины и вырывать волосы (*лат.*).

волял себе вместе с другими осмеивать бедных учеников коллежа Монтегю за их capettes (плащи с капюшонами), по которым они получили свое прозвище, или бурсаков коллежа Дормана за их тонзуры и трехцветные кафтаны из зеленовато-синего, голубого и фиолетового сукна — «azurini coloris et bruni», как сказано в хартии кардинала «Четырех корон».

Зато он был самым ревностным посетителем всех больших и малых учебных заведений улицы Сен-Жан-де-Бове. Начиная свою лекцию канонического права в школе Сен-Вандржезиль, аббат Сен-Пьер де Валь всегда видел первым лицо Клода Фролло, который, сидя как раз против кафедры, у одного из столбов аудитории, и, вооруженный пером и чернильницей, готовился записывать слова лектора в лежавшую у него на коленях тетрадь, для чего зимою он должен был отогревать дыханием окоченевшие от холода пальцы. На лекции мессира Миль-Дилье, читавшего по понедельникам в школе Шеф-Сен-Дени, первым, весь запыхавшись, прибегал Клод Фролло. Ни разу не случалось, чтобы он не поспел туда к тому моменту, когда растворялись двери школы. Благодаря этому Клод уже шестнадцати лет смело мог бы потягаться в мистической теологии

с любым из отцов Церкви, в канонической — с любым из членов соборов, а в схоластической — с кем угодно из докторов Сорбонны.

Изучив до тонкости богословие, он с жадностью набросился на декреталии. От «Свода сентенций» он перешел к капитуляриям Карла Великого. Затем, при такой неутолимой жажде знания, он последовательно поглощал одни декреталии за другими: Теодора, епископа Гиспальского, Бушара, епископа Вормского, Ива, епископа Шартрского, потом декреталии Грациана, затем сборник Григория IX и послание Гонория III super specula, последовавшие за капитуляриями Карла Великого. Этим путем он вполне разобрался в том обширном и смутном периоде борьбы канонического права с гражданским, происходившей среди хаоса Средних веков, который был начат епископом Теодором в 618 году и закончен Папою Григорием в 1227 году.

Переварив декреталии, Клод Фролло ухватился за медицину и за свободные искусства. Он изучил науку о целебных растениях и о составлении мазей, основательно ознакомился с различными способами лечения лихорадок, ушибов, нарывов, ран и т. п. Знаменитый Жак д'Эпар не задумался бы дать ему диплом доктора медицины, а Ришар

Геллэн с удовольствием вручил бы ему диплом доктора хирургии. С тем же успехом он прошел и все ученые степени в изящных науках: лиценциата, магистра и доктора. Он изучил языки: латынь, греческий и древнееврейский — тройную святыню, мало кого привлекавшую. Его пожирала горячка знания, и он накапливал его с ненасытностью скряги. Восемнадцати лет он уже прошел все четыре факультета. Казалось, что этот юноша видел в жизни только одну цель: знание.

Как раз в это время, то есть в знойное лето 1466 года, и разразилась та страшная чума, которая в одном Парижском округе унесла около сорока тысяч человек, в том числе, как выразился Жан де Труа, и «мэтра Арну, королевского астролога, человека добродетельного, мудрого и приятного в обращении». Вдруг в университете распространился слух, что эпидемия с особенной силою свирепствует на улице Тиршап. На этой улице, в своем ленном владении, проживали родители Клода Фролло. В страшном испуге юноша бросился туда. Он застал отца и мать уже мертвыми. В одной комнате с едва остывшими трупами родителей лежал и плакал в колыбели покинутый разбежавшимися слугами грудной младенец, брат Клода. Это было все, что осталось

от семьи. Молодой человек взял ребенка на руки и задумчиво вышел. До этой страшной минуты он жил только в мире науки, а теперь внезапно оказался брошенным в водоворот настоящей, «живой» жизни.

Эта катастрофа произвела коренной переворот в жизни Клода. Внезапно осиротев и сделавшись на двадцатом году жизни главою семейства, он вдруг был низведен из мира школьных мечтаний в мир грубой действительности. Но, охваченный жалостью к своему маленькому беспомощному брату, он с жаром отдался заботам о нем и страстно к нему привязался. Это чувство было необычно и сладостно для юноши, питавшего раньше любовь только к книгам.

Любовь к брату развивалась в нем с изумительною быстротою и силою, всецело охватывая его девственную душу. Это было похоже на первую любовь. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых поэтому он едва знал, зарывшийся всецело в книги, жаждавший только знания, заботившийся исключительно о развитии своего ума посредством науки и питавший свое воображение лишь изящною словесностью, бедный студент до сих пор не имел времени почувствовать, что у него бьется сердце. Маленький

осиротевший брат, свалившийся к нему вдруг точно с неба, преобразил его и сделал другим человеком. Он понял, что наряду с умозрениями Сорбонны и стихами Гомера в мире есть еще кое-что, что человеку свойственны и живые привязанности, что без любви и нежности жизнь не что иное, как мертвый, ржавый, скрипучий и безобразный механизм. Но, будучи еще в тех годах, когда одна иллюзия сменяется другою, он был уверен, что человеку нужны одни родственные, основанные на узах крови привязанности и что любви к брату вполне достаточно, чтобы сделать жизнь полной.

Таким образом, он весь отдался любви к Жану, своему маленькому брату, отдался со всей страстью своей глубокой, сосредоточенной души. Это крошечное, хрупкое существо с розовыми щечками и светлыми кудрявыми волосиками, этот сиротка, не имевший другой опоры, кроме него, бывшего таким же сиротой, трогал его до глубины души. Серьезный мыслитель, Клод подолгу размышлял и над этим существом, в то же время окружая его нежнейшей заботливостью. Он был для Жана больше чем братом, — он сделался его второй матерью.

Жан лишился матери в то время, когда еще был

грудным ребенком, поэтому Клод был вынужден приискать ему кормилицу. Кроме лена в улице Тиршап он унаследовал от отца еще другой ленный участок — мельницу, стоявшую на холме, близ Винчестерского дворца (Бисетра). У мельничихи был здоровый грудной ребенок. Мельница находилась недалеко от университета, и Клод сам отнес туда Жана.

С того времени, чувствуя, что на него возложено бремя, Клод стал относиться к жизни с серьезностью человека зрелых лет. Забота о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и единственною целью его научных занятий. Он решил посвятить себя всецело этому существу, за будущность которого обязан был отвечать перед Богом, и дал обет, что никогда не женится и что все свои радости, все свое счастье будет искать только в брате. Это еще более побудило его избрать духовное поприще, к которому он чувствовал такую склонность с детства. Кстати, его прекрасные свойства, его знания и положение в качестве вассала парижского архиепископа широко открывали ему церковные двери.

Двадцати лет от роду он с особого разрешения Папы был уже священником, и его назначили младшим капелланом в тот придел собора Бо-

гоматери, в котором служилась поздняя обедня и алтарь которого поэтому назывался altare pigrorum[52].

На этом месте он, еще более прежнего погруженный в любимые книги, которые покидал только затем, чтобы сходить ненадолго на мельницу навестить брата, не по годам серьезный и ученый, быстро завоевал удивление и уважение всего монастыря. Отсюда слава о его учености проникла и в народ, который, как это водилось в доброе старое время, смешивал научные знания с колдовством.

В то памятное Фомино воскресенье Клод шел к себе домой после того, как отслужил позднюю обедню в упомянутом приделе, находившемся направо от главного алтаря, у входа на хоры, возле изображения Богоматери, как вдруг его внимание было привлечено группою старух, так возбужденно работавших языками вокруг яслей для подкидышей.

Так случилось ему подойти к тому злополучному маленькому существу, на которое из уст окружающих сыпалось столько ненависти и угроз. Вид этого брошенного, беспомощного,

---

[52] Сноски: 52
Алтарь лентяев (*лат.*).

обиженного природою и людьми создания, воспоминание о брате внушили ему мысль, что если он, Клод, внезапно умрет, то и его маленький Жан может быть так же безжалостно брошен в ясли подкидышей. Эта ужасная мысль возбудила в его сердце чувство бесконечной жалости к уродцу в мешке и заставила его унести к себе несчастного ребенка.

Вынутый из мешка подкидыш действительно оказался уродливым до чудовищности. Левый глаз бедняжки был закрыт желваком, голова совершенно уходила в плечи, позвоночник выгибался в виде дуги, грудная кость сильно выпячивалась, а ноги были кривые. Тем не менее этот уродец казался живучим. Между прочим, о его здоровье и силе свидетельствовал громкий голос, все время выкрикивавший что-то непонятное. Уродливость ребенка только усилила сострадание к нему Клода и заставила его дать обет воспитать подкидыша из любви к своему брату. Этим милосердием он как бы искупал будущие грехи маленького Жана. Клод словно заботился о том, чтобы припасти брату капитал добрых дел на случай, если тот сам окажется не в состоянии накопить себе таких денег — единственных, которые в ходу в раю.

Клод окрестил своего приемыша и назвал его Квазимодо, не то в память того дня, в который он его нашел, не то потому, что хотел этим нечеловеческим именем охарактеризовать его как существо, представляющее собою не полного человека, а лишь черновой набросок его. Ведь кривой, горбатый и кривоногий Квазимодо действительно мог считаться только подобием человека[53].

III. Immanis pecoris custos – immanior ipse[54]

В 1482 году Квазимодо был уже взрослым. Он уже несколько лет исправлял должность звонаря собора Богоматери. Эту должность он получил по милости своего приемного отца Клода Фролло. Последний имел теперь сан жозасского архидьякона, полученный им по милости своего начальника Луи де Бомона, сделавшегося в 1472 году парижским архиепископом по смерти Гильома Шартье, по милости своего покровителя,

---

[53] Сноски: 53
Quasimodo — «как бы», «наподобие» (*лат.*).

[54] Сноски: 54
Страж страшных тварей — страшнее их сам (*лат.*).

Оливье ле Дена, бывшего по милости Божьей цирюльником Людовика XI.

Итак, Квазимодо был звонарем собора Богоматери.

С течением времени между звонарем и собором образовалась какая-то таинственная связь. Навсегда отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем — неизвестностью происхождения и уродливостью, — с детства заключенный в этот двойной круг, через который невозможно было перешагнуть, злополучный подкидыш не привык видеть ничего другого, кроме этих священных стен, приютивших его под своей сенью. По мере того как Квазимодо рос, собор Богоматери представлял для него сначала яйцо, потом — гнездо, дом, отечество, а под конец и всю Вселенную.

И действительно, это существо было соединено с собором Богоматери какой-то особенной извечной гармонией.

Когда Квазимодо, будучи еще совсем маленьким, с мучительными усилиями, вприскочку, на четвереньках, пробирался под мрачными сводами этого собора, то он, со своим получеловеческим лицом и чудовищным телосложением, казался пресмыкающимся, возникшим прямо от

того сырого и сумрачного помоста, на который капители романских столбов бросали свои причудливые тени.

Впоследствии, в тот день, когда Квазимодо в первый раз уцепился за веревку колокольни и, повиснув на ней, раскачал колокол, он произвел на своего приемного отца Клода Фролло такое впечатление, точно у этого странного ребенка развязался наконец язык и он начинает говорить.

Таким образом, постепенно развиваясь сообразно окружавшей его обстановке собора, безвыходно живя в этом здании и постоянно подвергаясь его таинственному влиянию, Квазимодо в конце концов почти сросся с собором, сделался как бы его инкрустацией, неотделимою от него частью. Выступающие углы его тела (да простят нам это сравнение!) вполне соответствовали вогнутым углам здания, так что он казался не только обитателем, но прямо частью этого здания. Можно было сказать, не впадая в особенное преувеличение, что он принял форму собора, как улитка принимает форму своей раковины. Собор был его жилищем, его норою, его оболочкою. Между ним и старым храмом существовала такая глубокая коренная симпатия, было столько, так

сказать, органического сходства, что он как бы целиком прирос к собору, как прирастает черепаха к своему панцирю. Шероховатые стены собора были действительно как бы его чешуей.

Было бы лишним предупреждать читателя, чтобы он не придавал буквального значения сравнениям, к которым мы были вынуждены прибегнуть, чтобы дать понятие об этом странном, симметричном, непосредственном, почти однородном по своему вещественному составу сочетании человека с зданием. Бесполезно также было бы распространяться о том, до какой степени Квазимодо освоился со всем собором в продолжение долгого и близкого своего общения с ним. Собор был зданием, построенным точно нарочно для него. В этом здании не было ни одной щели, в которой не побывал бы Квазимодо, ни одного возвышения, на которое он бы не влезал. Сколько раз взбирался он на собор прямо по фасаду, пользуясь одними выступами скульптурных украшений! Не раз видали его пробирающимся ползком по наружным краям башен, подобно ящерице, скользящей по отвесной стене. Эти два каменных близнеца-исполина, грозные и недоступные для других, не внушали ему страха; карабкаясь по ним, он не испытывал

ни головокружения, ни боязни, ни приступов растерянности. Видя их такими податливыми, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно лазая, прыгая и кувыркаясь над бездною, зиявшею со всех сторон у подножия гигантского собора, Квазимодо сделался чем-то средним между обезьяной и серною, напоминая калабрийского ребенка, который начинает плавать раньше, чем ходить, и, совсем еще маленький, точно играет с грозным морем.

Наконец не только его тело, но и сама его душа сформировалась по подобию собора. В каком состоянии находилась его душа? Как она складывалась, какую приняла форму в этой угловатой оболочке, в этой невозможной жизненной обстановке? Определить это очень трудно. Квазимодо явился на свет кривым, горбатым и колченогим. Даже выучить его говорить Клоду Фролло удалось с громадным трудом и терпением. Но, очевидно, над бедным подкидышем тяготел рок. Сделавшись четырнадцати лет от роду звонарем собора Богоматери, он подвергся новому несчастью, довершившему его физическое убожество: от колокольного звона у него лопнули барабанные перепонки, и он оглох. Этим для него закрылась навсегда и та последняя дверь, которую остави-

ла было ему природа для общения с внешним миром.

Закрывшись, эта дверь пресекла доступ единственному лучу света и радости, до тех пор кое-как проникавшему в душу бедного звонаря, и эта душа очутилась в полном мраке. Злополучного калеку охватила глубокая меланхолия, такая же полная и неизлечимая, как и его телесное уродство. Глухота сделала его отчасти и немым. Почувствовав себя оглохшим, он, чтобы не быть мишенью лишних насмешек, обрек себя на молчание, которое нарушал только наедине с самим собою. Он добровольно вновь наложил узы на свой язык, развязать который стоило стольких трудов его приемному отцу. Последствием этого было то, что, когда перед ним возникала неизбежная необходимость говорить, язык его поворачивался тяжело и неуклюже, как дверь на ржавых петлях.

Если бы мы попытались проникнуть в душу Квазимодо сквозь покрывавшую ее толстую и корявую оболочку; если бы мы могли прощупать всю глубину этого уродливого организма; если бы нам была дана возможность заглянуть за эти грубые органы и исследовать сумрачную внутренность этого загадочного существа, прой-

ти по всем углам и своеобразным изгибам этой темной пропасти и осветить томившуюся на ее дне психику, мы, наверное, нашли бы ее в самом жалком положении: скорченною и захирелою, подобно тем несчастным узникам венецианских свинцовых тюрем, которые доживали до старости, согнутые в три погибели в каменных ящиках, слишком узких, коротких и низких для того, чтобы можно было в них выпрямиться.

В уродливом теле дух не может не атрофироваться. Квазимодо лишь смутно мог чувствовать в себе присутствие души, похожей на его тело. Впечатления окружавших его предметов должны были подвергаться множеству преломлений, прежде чем дойти до его сознания. Мозг его представлял совсем особую среду: проходившие через него мысли были чудовищно извращены. Мысль, подвергавшаяся стольким преломлениям, естественно, должна была получаться до невозможности расплывчатой, туманной.

Это порождало бесчисленное множество зрительных обманов, ложных суждений и уклонений блуждавшей мысли, и Квазимодо казался то сумасшедшим, то форменным идиотом.

Первым следствием такой роковой организации было то, что она совершенно затемняла

взгляд Квазимодо на окружающее. Не получая никаких непосредственных впечатлений, это злополучное существо было несравненно дальше от внешнего мира, чем всякое другое. Вторым следствием его уродства являлась злость. И действительно, Квазимодо был зол, потому что был дик, а диким он стал оттого, что был безобразен. Его натура, как и всякая другая, была последовательна. Его необычайно развившаяся телесная сила тоже немало способствовала увеличению в нем злости. Гоббс недаром сказал: Malus puer robustus[55].

Впрочем, по справедливости следует сказать, что злость, пожалуй, у него не была врожденной. Не нужно забывать, что с первых же шагов среди людей он почувствовал себя — а впоследствии и отчетливо осознал это — оплеванным, забросанным грязью, отверженным. Человеческая речь была для него не чем иным, как проклятьями или насмешками. Пока он рос, он видел вокруг себя одну лишь ненависть и сам проникся ею. Он лишь подобрал оружие, причинившее ему столько глубоких, неизлечимых ран.

Впрочем, он всегда с крайнею неохотою об-

---

[55] Сноски: 55
Сильный юноша — зол (*лат.*).

ращался к людям. Ему было вполне достаточно его собора, населенного мраморными изображениями королей, святых, епископов и проч. Эти изображения, по крайней мере, не смеялись ему прямо в лицо и смотрели на него лишь взглядом, полным благоволения и величавого бесстрастия. Правда, там были изображения демонов и чудовищ, но и те смотрели на него без всякой ненависти. Он сам был слишком на них похож. Если он и подмечал в них оттенок насмешливости, то разве только по отношению к другим. Святые благословляли его, и он поэтому считал их своими друзьями. Чудовища охраняли его, он и в них видел своих друзей. Он не стеснялся изливать перед ними свои чувства. Иногда он по целым часам сидел на корточках перед какою-нибудь статуей, ведя с ней задушевную беседу. Если кто-нибудь заставал его, он поспешно убегал, точно влюбленный, которого застали поющим серенаду.

Собор заменял для Квазимодо не только общество людей, но и всю вселенную, всю природу. Ему не нужно было других украшений, кроме разноцветных и ярких красок, сверкающих на оконных стеклах собора; другой тени, кроме той, которая отбрасывалась каменною, усаженною

птицами листвою, густо украшавшей саксонские капители; других гор, кроме исполинских башен собора; другого океана, кроме того, который представлял Париж, бурливший у подножия этих башен.

Но что он более всего любил в этом родном здании, что пробуждало его душу и заставляло ее хоть изредка расправлять свои бедные крылья, так безжалостно сжатые ее тесным помещением, — это колокола. Он их любил, лелеял, разговаривал с ними и понимал их. Он относился нежно ко всем ним, начиная с маленьких колоколов средней стрельчатой башенки и кончая большим колоколом портала. Средняя колоколенка и обе боковые башни были для него тремя громадными клетками, в которых воспитанные им птицы услаждали своим пением только его одного. А между тем эти самые колокола были причиною его глухоты. Но ведь матери обыкновенно любят сильнее именно тех детей, которые заставляли их больше страдать.

Да, голос колоколов был единственный, который он мог еще слышать. Поэтому он больше всех остальных любил большой колокол; он относился к нему с особенным вниманием и отличал его из всей этой шумной семьи, так весело заливав-

шейся вокруг него по праздничным дням. Этот большой колокол звали «Марией». Он висел один в южной башне, рядом со своей сестрой «Жакелиной», заключенной в клетку меньших размеров. «Жакелина» была названа этим именем в честь жены Жана Монтегю, пожертвовавшего этот колокол собору, что, кстати, не помешало ему быть потом обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висело шесть колоколов, на средней башенке помещалось тоже шесть колоколов, поменьше, в обществе деревянного колокола, в который звонили только на Страстной неделе, начиная с полудня чистого четверга и кончая утром субботы. Таким образом, в распоряжении Квазимодо было пятнадцать колоколов, из которых самым любимым была все-таки «Мария».

Невозможно описать радость, какую он испытывал в дни большого благовеста. Как только архидьякон приказывал ему идти на свое место и начинать звон, он бросался на винтовую лестницу и взбирался по ней скорее, чем другой стал бы спускаться. Запыхавшись, он вступал в воздушное помещение большого колокола. С минуту он проводил в благоговейном созерцании своего любимца, потом нежным голосом что-то говорил ему и гладил его рукою, точно доброго коня,

которому предстоит длинный путь. Казалось, он жалел колокол за предстоявший ему труд. После этих первых ласк он кричал своим помощникам, дожидавшимся в нижнем ярусе башни, чтобы они начинали. Помощники повисали на канатах, раздавался скрип ворота, и громадная медная масса медленно начинала раскачиваться. С замирающим сердцем Квазимодо следил за нею глазами. Вот вздрогнули бревенчатые балки под первым ударом колокола, под первым звуком медного языка. Квазимодо сам вибрировал вместе с колоколом.

— Ну, звони! — вскрикивал он и разражался безумным хохотом. Между тем движение колокола ускорялось, и, по мере того как увеличивался описываемый им угол размаха, глаз Квазимодо все более и более расширялся и начинал сверкать фосфорическим блеском. Наконец к голосу этого колокола присоединялись голоса и остальных колоколов собора. Начинался трезвон. Дрожала уже вся башня; она гудела всем своим корпусом — каменными плитами и свинцовыми полосами, начиная со столбов фундамента и кончая увенчивавшими ее трилистниками. Квазимодо кипел ключом. Наклоняясь взад и вперед, он дрожал вместе с башней с головы до ног. Освобожденный

рассвирепевший колокол подносил то к тому, то к другому из пролетов башни свою бронзовую пасть, дышавшую той бурей звуков, которая была слышна по крайней мере на четыре лье кругом. Поместившись перед этой пастью, Квазимодо, следуя движениям колокола, то приседал, то подскакивал, вдыхая производимый движением колокола ветер и с торжеством глядя попеременно то на кишевшую народом внизу, на глубине двухсот футов, площадь, то на исполинский медный язык, ревевший ему прямо в уши. Это был единственный голос, который он мог слышать, единственный звук, нарушавший безмолвие, в которое для него была погружена вселенная. Он наслаждался, как птица в лучах солнца. Вдруг исступление колокола сообщалось и ему; взгляд его становился неестественным. Выждав приближение качавшегося взад и вперед колокола, как паук выжидает добычу, и уловив момент, он бросался на него одним прыжком. Повиснув над бездной, он схватывал медное чудовище за ушки, сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всею своею силою, всею тяжестью своего тела старался увеличить и без того уже бешеные размахи колокола. Вся башня тряслась. Квазимодо вскрикивал и скрежетал зубами; его рыжие

волосы становились дыбом, грудь пыхтела, как кузнечный мех, единственный глаз метал молнии; огромный колокол ржал и задыхался под ним. Это были уже не колокол собора Богоматери и его звонарь Квазимодо, это была фантасмагория, вихрь, буря. Это было безумие, оседлавшее звук; дух, вцепившийся в летающий хребет; чудовищный кентавр — наполовину человек, наполовину колокол; своего рода ужасающий Астольф, уносимый волшебным бронзовым гиппогрифом.

Присутствие такого странного существа, как Квазимодо, вдыхало жизнь во все здание собора. По словам суеверной толпы, казалось, что от Квазимодо исходит какая-то таинственная сила, оживлявшая камни и шевелившая самые недра старого собора. Достаточно было верившим в эту силу знать, что он находится в соборе, чтобы им представлялось, как он оживляет бесчисленные статуи, галереи и паперти. И действительно, собор казался живым существом, во всем ему покорным и послушным, ждавшим его приказания, чтобы поднять свой гулкий голос, — существом, одержимым Квазимодо, как духом. Можно сказать, что Квазимодо заставлял дышать все громадное здание. Он был точно

вездесущ в соборе, как бы одновременно присутствовал во всех его пунктах. То с ужасом видели на вершине одной из башен уродливого карлика, который там лазил, извивался змеей, ползал на четвереньках, висел над пропастью, прыгал с одного выступа на другой и забирался внутрь какой-нибудь скульптурной горгоны — это был Квазимодо, разорявший вороньи гнезда. То вдруг неожиданно наталкивались в темном углу собора на подобие живой химеры, скорченной и насупившейся, — это был Квазимодо, погруженный в размышление. То вдруг из-под какого-нибудь колокола показывалась громадная голова, приделанная к чудовищно уродливому туловищу, бешено раскачивавшемуся на веревке, — это был Квазимодо, звонивший к вечерне. Часто по ночам можно было видеть какое-то страшилище, бродившее по нежной, точно кружевной балюстраде, увенчивавшей башни и кровлю собора, — это был все тот же горбун собора Богоматери. В эти ночи, как уверяли соседки, вся церковь принимала какой-то сверхъестественный, страшный вид. Тут и там раскрывались глаза и уста; слышен был лай каменных псов, вой змей и драконов, день и ночь стороживших собор с вытянутыми шеями и разинутыми пастями. А если дело происходило

в ночь под Рождество, в то время, когда большой колокол задыхающимся голосом созывал верующих на полунощное богослужение, мрачный фасад собора принимал такой вид, точно он своим порталом, как чудовищной пастью, поглощает толпу богомольцев, а центральная розетка казалась громадным светящимся глазом, озиравшим их с высоты. И все это происходило благодаря Квазимодо. В Египте его признали бы божеством этого храма; Средние века видели в нем демона собора, тогда как в действительности он был только душою этого здания.

Да, для тех, которые знают, что существовал Квазимодо, собор Богоматери теперь опустел, превратился в бездыханную, мертвую массу. Чувствуется, что в соборе чего-то недостает, что это громадное тело внутри пусто, что это, в сущности, один скелет. Дух исчез, осталась одна оболочка. Это все равно что череп, в котором еще сохранились впадины для глаз, но самых глаз уже нет.

IV. Собака и ее господин

Между тем было одно человеческое существо, на которое Квазимодо не распространял злобы, питаемой им ко всем остальным людям. Он лю-

бил одного человека так же, а быть может, даже больше, чем свой собор. Это был Клод Фролло.

Да оно и понятно. Клод Фролло подобрал его, когда он был брошен всеми, усыновил, вскормил и воспитал его. Будучи еще ребенком, Квазимодо привык искать у ног Клода Фролло защиты против бросавшихся на него злых собак и ребятишек. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец, Клод Фролло сделал его звонарем, а обручить Квазимодо с большим колоколом было то же самое, что отдать Джульетту Ромео.

Зато и глубокой, страстной признательности Квазимодо не было предела. Хотя лицо его приемного отца часто было мрачно и сурово, а речь — отрывиста, жестка и повелительна, признательность Квазимодо к своему воспитателю еще ни разу ни на одно мгновение не ослабевала. Архидьякон имел в лице своего приемыша самого покорного раба, самого усердного слугу, самую бдительную собаку. Когда бедный звонарь оглох, между ним и Клодом Фролло установился своеобразный, таинственный язык знаков, понятный только им одним. Таким образом, архидьякон был единственным человеком, с которым Квазимодо еще общался. Только собор Богоматери и Клод Фролло и связывали его со здешним миром.

Власть архидьякона над звонарем и привязанность звонаря к архидьякону были беспредельны. По одному знаку Клода Фролло, из одного желания сделать ему удовольствие, Квазимодо был бы готов броситься вниз с самой высокой башни собора Богоматери. Замечательно, что Квазимодо, обладавший такой необычайной физической силой, подчинялся, точно ребенок, человеку, бывшему физически гораздо слабее его. В этом, несомненно, сказывались не только сыновняя любовь и привязанность слуги к своему господину, но и обаяние более сильного ума. Убогий, скудный, жалкий разум звонаря невольно благоговейно преклонялся перед глубоким, сильным, властным и могучим умом архидьякона. На первом месте, однако, здесь была благодарность, дошедшая до таких крайних пределов, что сравнить ее нельзя ни с чем. Наиболее яркие примеры этой добродетели даются не людьми. Поэтому мы лучше всего охарактеризуем привязанность Квазимодо к Клоду Фролло, если скажем, что он любил его так, как ни собака, ни лошадь, ни слон никогда не любили своего господина.

V. Продолжение о Клоде Фролло

В 1482 году Квазимодо было около двадцати, а Клоду Фролло — около тридцати шести лет. Один возмужал, другой начинал стареть.

Клод Фролло уже не был прежним скромным школьником коллежа Торши, нежным покровителем беспомощного ребенка, молодым философом-мечтателем, так много знавшим и еще больше не знавшим. Теперь это был строгий, серьезный и угрюмый священник, блюститель душ, архидьякон Жозасский, второй викарий епископства, управлявший двумя деканатами — Монлерийским и Шатофорским — и ста семьюдесятью четырьмя сельскими приходами. Он сделался особой, перед которой трепетали певчие в стихарях и куртках, причетники, братия Святого Августина, младшие клирики собора Богоматери, когда он, величавый и мрачный, медленными шагами проходил перед ними, скрестив на груди руки и низко опустив голову, так что был виден только один его высокий обнаженный лоб.

Однако Клод Фролло не бросил ни науки, ни забот о воспитании своего брата — этих двух привязанностей своей жизни. С течением време-

ни к ним добавилась только некоторая горечь. Недаром Павел-Дьякон говорит, что от времени горкнет и самое лучшее сало. Маленький Жан Фролло, прозванный де Муленом в честь мельницы, на которой он был вскормлен, смотрел совсем не в ту сторону, в какую направлял его Клод. Старший брат порывался сделать из младшего богобоязненного, покорного, ученого и вообще достойного уважения человека; а тот, подобно тем молодым деревьям, которые, наперекор всем стараниям садовника, упорно тянутся в сторону света и воздуха, рос и распускался пышными побегами только в сторону лени, невежества и всякого рода безрассудств. Это был настоящий дьяволенок, своими бесшабашными проказами то и дело заставлявший грозно хмуриться высокое чело старшего брата. Но вместе с тем он был такой забавный и увертливый, что часто вызывал на строгом лице старшего брата невольную улыбку. Клод поместил его в тот самый коллеж Торши, в котором сам провел первые годы своей школьной жизни в занятиях и размышлениях. Для архидьякона было большим огорчением, что теперь в этом святилище имя Фролло произносилось чуть ли не с ужасом, в то время как при нем оно считалось одним из лучших украшений шко-

лы. На эту тему Клод часто читал брату длинные и строгие наставления, которые тот выслушивал с примерным мужеством. Впрочем, несмотря на свою распущенность, Жан был очень добр, как герой комедии. Выслушав грозную проповедь брата, он как ни в чем не бывало преспокойно снова продолжал свои похождения и дебоши. То он поколотит какого-нибудь школяра-новичка, следуя в этом случае сохранившейся до наших времен традиции, по которой все вновь вступавшие в храм науки посвящались в его адепты доброю порцией колотушек со стороны поступивших раньше. То поведет банду учащейся молодежи в «классический» поход на какой-нибудь кабачок, где буяны сначала изрядно отдубасят кабатчика, потом с хохотом все разгромят у него, выбьют дно у бочек в погребе и устроят настоящее разливанное море. По временам к Клоду являлся старший наставник коллежа Торши и со скорбным видом вручал ему изложенный на превосходном латинском языке отчет о буйствах Жана, с грустною отметкою на полях: «Rixa; prima causa vinum optimum potatum»[56]. В довершение говорили, что Жан Фролло доходил

[56] Сноски: 56
«Драка; причина — напились самого лучшего вина» (*лат.*).

в своих бесчинствах даже до улицы Глатиньи, а для шестнадцатилетнего юноши это ужасно.

Опечаленный и все более падая духом вследствие таких сведений о поведении брата, Клод с большей еще страстью бросался в объятия науки, этой сестры, которая, во всяком случае, не издевается над нами и всегда, по временам, правда, довольно потертою монетою, вознаграждает нас за оказываемое ей внимание. Таким образом он набирался большей и большей учености и, сообразно с этим, по естественному закону последовательности, становился все более суровым священником и все более печальным человеком. У каждого из нас существует известный параллелизм между нашим умственным складом, нашим характером и нашими склонностями, нарушающийся только при крупных потрясениях.

Клод Фролло уже в молодости прошел почти весь круг положительных официальных, дозволенных законом знаний. Теперь ему ничего более не оставалось, как перейти через границу этих знаний и искать другой пищи для утоления своего ненасытного духовного голода, если он не хотел остановиться ubi defuit orbis[57]. Древ-

[57] Сноски: 57
Там, где кончаются все знания (*лат.*).

ний символ змеи, кусающей свой собственный хвост, всего лучше подходит к науке. Вероятно, Клод Фролло убедился в этом на собственном опыте. Многие серьезные люди уверяли, что, истощив весь fas человеческого знания, он дерзнул проникнуть и в nefas[58]; что, перепробовав последовательно один за другим все плоды древа познания и не удовлетворившись ими, он ухватился и за плоды запретные. Читатели помнят, что он принимал участие и в конференциях богословов Сорбонны, и в собраниях богословов Сент-Илэра, и в диспутах декретистов Сен-Мартена, и в конгрегациях медиков чаши Богородицы — ad cupam Nostrae-Dominae.

Он поглотил всю стряпню тех четырех громадных кухонь, которые называются университетскими факультетами, и пресытился ими раньше, чем успел насытиться. Тогда он стал проникать дальше и глубже и рваться за пределы этой ограниченной, строго замкнутой самой в себе, чисто материальной науки. Рискуя своей душою, он забрался в таинственную пещеру запретного знания и уселся за ту мистическую трапезу алхимиков, астрологов, герметиков, на верхнем

[58] Сноски: 58
Fas — дозволенное, nefas — недозволенное (*лат.*).

конце которой в Средние века сидели Авероэс, Гильом Парижский и Николай Фламель, а другой, освещенный семисвечником, терялся в дверях Востока, где за ним виднелись тени Соломона, Пифагора и Зороастра.

Так, по крайней мере, думали о Клоде Фролло, а справедливо это было или нет — неизвестно.

Несомненно было только то, что архидьякон часто посещал кладбище «Невинных душ», на котором были погребены его родители вместе с остальными жертвами чумы 1466 года. Там он не столько молился над крестом, осенявшим их могилу, сколько всматривался в странные изображения, украшавшие могилы Николая Фламеля и Клода Пернеля, находившиеся рядом.

Достоверно было и то, что не раз видели, как Клод Фролло пробирается по улице Ломбар и быстро входит в небольшой домик, стоявший на углу улиц Экривен и Мариво. Этот дом был построен Николаем Фламелем, который в нем и скончался около 1417 года. С тех пор домик пустовал и уже начинал разрушаться благодаря тому, что стекавшиеся к нему со всех сторон герметики и искатели философского камня исчерчивали его стены своими именами. Были люди, уверявшие, что однажды они видели, как архидьякон

Клод усердно рыл землю в тех двух подвалах, подпорки которых были покрыты во всех направлениях бесчисленными иероглифами и стихами, написанными рукою Николая Фламеля. Предполагалось, что в этих подвалах он зарыл свой философский камень, поэтому в течение целых двух веков все алхимики, начиная с Манжистри и до отца Пасифика, не переставали рыться под фундаментом этого дома, пока последний не выдержал и не рассыпался.

Не подлежало сомнению и то, что архидьякон пылал какою-то исключительной страстью к символическому порталу собора Богоматери, этой странице чернокнижной мудрости, начертанной таинственными каменными письменами рукою епископа Гильома Парижского, который, разумеется, попал прямо в ад за то, что дерзнул приделать столь дьявольский заголовок к священному гимну, представляемому самым зданием. Шел также слух, что архидьякон исследовал внутренность колоссальной статуи святого Христофора и длинного загадочного каменного изображения, которое в то время возвышалось у входа на паперть и было известно в народе под насмешливым прозванием «Мосье Легри». Но как бы там ни было, во всяком случае, каждый

мог видеть, как Клод Фролло просиживал по целым часам на парапете преддверия, то созерцая изваяние над главным входом в собор, то изучая безрассудных дев с потухшими светильниками и мудрых с горящими, то измеряя взглядом угол, под которым смотрит в какую-то таинственную точку внутри собора ворон, изображенный над левым входом. По всей вероятности, в том месте, куда смотрит каменный ворон, и зарыт философский камень, если только, впрочем, он не находится под развалинами дома Николая Фламеля. Сказать мимоходом: не казалось ли в самом деле странным то обстоятельство, что собор Богоматери в описываемую нами эпоху был предметом горячей, беззаветной преданности двух существ, так отличавшихся друг от друга, как Клод Фролло и Квазимодо? Звонарь, получеловек, полуживотное, живший почти одним инстинктом, любил собор за его внешнюю красоту, за его стройную величавость, за гармонию, которою в целом дышит это здание, а архидьякон, как человек глубоко ученый, с пылким воображением, чувствовал любовь к собору за его внутреннее значение, за символы, рассеянные по его фасаду под скульптурными изображениями, подобно тому как в древней рукописи под одним текстом

скрывается другой, более глубокий и содержательный по смыслу. Словом, Клод Фролло любил собор Богоматери за ту вечную, неразрешимую загадку, которую он предлагает пытливому уму.

Наконец, не подлежало сомнению и то, что архидьякон приспособил себе в одной из тех двух башен, которые обращены к Гревской площади, рядом с помещением для колоколов, небольшую потайную келью, куда никто не смел входить без его разрешения, даже сам епископ, как гласила молва. Эта келья, находившаяся на самой вершине башни, между вороньими гнездами, была устроена епископом Гуго Безансонским (жившим между 1326–1332 годами), занимавшимся там колдовством. Что заключала в себе келья, никто не знал. Но нередко по ночам с песчаных отмелей Террена можно было видеть, как в ее небольшом окне, выходившем в сторону, противоположную площади, с правильными промежутками то вспыхивает, то гаснет, то вновь разгорается какое-то странное красное сияние, происходившее точно от действия кузнечного меха и напоминавшее скорее пламя горна, чем огонь обыкновенного светильника. Этот перемежающийся огонь, видневшийся в ночном мраке на высоте собора, производил очень странное

впечатление, и кумушки, завидев его, говорили: «Ну, архидьякон опять принялся раздувать огонь в своей адской печи!»

В сущности, все это не могло еще, конечно, служить несомненными доказательствами чернокнижия, но все-таки давало столько дыма, что поневоле приходилось подозревать за ним и огонь, тем более что архидьякон пользовался в этом отношении дурною славой. Следует, впрочем, сказать, что все науки, происхождение которых нужно искать в древнем Египте, — все эти некромантии и магии, не исключая и самой невинной из них, так называемой белой магии, — не имели более заклятого врага и более яростного обличителя перед судом консистории, чем архидьякон Клод Фролло. Скажись в этом искреннее отвращение Клода или будь это только уловкой вора, громче всех кричащего «Держите его!» — все равно ученые мужи капитула смотрели на архидьякона как на душу, уже забравшуюся в преддверие ада, блуждающую в дебрях каббалистики и ощупью пробирающуюся во мраке тайных наук. Народ тоже понимал его по-своему. Для каждого мало-мальски проницательного человека было ясно как божий день, что Квазимодо — демон, а Клод Фролло — колдун. Очевидно,

звонарь обязался отслужить у архидьякона известный срок, чтобы затем, по истечении этого срока, овладеть его душою в виде платы за свою службу. Ввиду всего этого архидьякон, несмотря на свой строгий образ жизни, пользовался дурною славою между людьми, и не было ни одной столь неискушенной набожной души, которая не считала бы его за колдуна. И вот с возрастом не только в его знаниях, но и в его сердце образовались глубокие бездны; так, по крайней мере, можно было думать, глядя на его лицо, где его душа просвечивала точно сквозь темную тучу. В самом деле, откуда взялся у него такой широкий и высокий лоб? Отчего голова его всегда клонилась книзу, а грудь постоянно подымалась с тяжелыми вздохами? Какая тайная мысль заставляла его уста улыбаться с такой горечью, в то время как его нахмуренные брови сдвигались подобно двум быкам, готовым вступить в бой друг с другом? Почему оставшиеся волосы успели так рано поседеть? Что это был за внутренний огонь, который порою так вспыхивал в его глазах, что они казались отверстиями пылающего горна?

Все эти признаки напряженной душевной деятельности у Клода Фролло особенно резко стали проявляться в описываемую нами эпоху. Не раз

случалось, что кто-нибудь из маленьких певчих, встретившись с ним в соборе с глазу на глаз, в ужасе убегал, испуганный его неестественно сверкающим взором. Нередко на хорах во время богослужения кто-нибудь из стоящих поблизости слышал, как он к пению священных гимнов ad omnem tonum[59] прибавлял какие-то непонятные слова. Даже прачка, стиравшая на весь «капитул», часто с ужасом замечала на стихаре жозасского архидьякона следы судорожно сжатых пальцев и вонзавшихся в материю ногтей.

В то же время он стал вести еще более строгий образ жизни и мог служить блестящим примером нравственной чистоты. И в пору цветущей молодости он избегал женщин — отчасти в силу своего положения, а отчасти и по своему личному характеру; теперь же он, казалось, прямо ненавидел их. Достаточно было ему услыхать шуршание шелкового женского платья, чтобы это заставило его опустить капюшон своей рясы на глаза. Строгость его в этом отношении дошла до того, что когда дочь короля, Анна де Боже, в декабре 1481 года пожелала посетить монастырь собора Богоматери, он серьезно воспротивился

[59] Сноски: 59
К общему напеву (*лат.*).

допущению принцессы в монастырь, напомнив сопровождавшему принцессу епископу параграф Черной книги, изданной в 1334 году, накануне дня святого Варфоломея, по которому доступ в монастырь собора Богоматери воспрещался всякой женщине, «без разбора, молода она или стара, госпожа или служанка». В ответ на это епископ был вынужден сослаться на постановление легата Одо, сделавшего исключение в пользу особенно высокопоставленных дам. «Aliquae magnates mulieres, quae sine scandalo vitari non possunt»[60], — говорится в этом параграфе. Но архидьякон не сдался. Продолжая протестовать, он возразил епископу, что постановление Одо, составленное в 1207 году, предшествует Черной книге на сто двадцать семь лет, а следовательно, должно считаться отмененным последнею. И он отказался появиться перед принцессой.

Между прочим, досужие умы замечали, что с некоторых пор особенно усилилась ненависть архидьякона к египтянкам и цыганкам. Не ограничиваясь исходатайствованием у епископа распоряжения, воспрещавшего цыганкам бить в бубен и плясать на площади перед собором, он

[60] Сноски: 60

«Ради некоторых женщин, которых без скандала нельзя допустить» (*лат.*).

рылся в заплесневелых документах консистории и составлял сборник о колдунах и колдуньях, присужденных к виселице или к сожжению на костре за чародейства, совершенные ими при помощи козлов, свиней или коз.

VI. Нелюбовь народа

Таким образом, архидьякон и звонарь не пользовались расположением лиц, обитавших по соседству с собором. Когда Клод и Квазимодо выходили вместе — что случалось довольно часто — и пробирались по прохладным, узким и темным улицам, прилегавшим к собору, по адресу обоих летели злые словечки, насмешливые припевы и различные оскорбительные замечания. Исключение составляли только те редкие случаи, когда Клод Фролло шел с высоко поднятой головою. Вид строгого и величественного лица архидьякона останавливал насмешников.

Они оба в своем околотке находились в положении тех поэтов, о которых Ренье говорит:

Toutes sortes de gens vont après les poètes
Comme après les hiboux vont criant les

fauvettes[61].

Часто какой-нибудь шалун-мальчишка рисковал своей шкурой и костями из-за наслаждения воткнуть булавку в горб Квазимодо, или какая-нибудь красивая, бойкая, не в меру отважная девица нарочно задевала своим платьем черную рясу архидьякона, напевая ему прямо в лицо насмешливую песенку, начинающуюся словами:

Niche, niche, le diable est pris[62].

Иной раз группа старух, сидевших на ступенях одной из папертей собора, громко ворчала вслед архидьякону и звонарю:

— Гм! Вот парочка-то! Сразу видно: что у одного написано прямо на роже, то у другого таится в душе!

Или же кучка школяров, игравших в камешки, разом поднималась при их появлении и встречала их свистками и какою-нибудь насмешкою на латинском языке, вроде, например, следующей:

---

[61] Сноски: 61

Всякий сброд бежит за поэтами, Как за совой с криком летят малиновки (*фр.*).

[62] Сноски: 62

Вот так штука — пойман бес (*фр.*).

«Eia, eia! Claudus cum claudo»[63].

Чаще всего священник и звонарь даже не замечали этих оскорблений. Чтобы расслышать все эти любезности, Квазимодо был слишком глух, а Клод — слишком погружен в свои размышления.

[63] Сноски: 63
Игра слов: «Ура, ура! Клод и хромой» (*лат.*).

Книга пятая
I. Abbas beati Martini[64]

Слава Клода Фролло разнеслась далеко. Ей он был обязан случившимся вскоре после того, как он отказался принять госпожу де Боже, посещением, надолго сохранившимся в его памяти. Дело было вечером. Клод только что вернулся после вечернего богослужения в свою келью в монастыре собора Богоматери. В этой келье не было ничего странного или таинственного, если не считать несколько стоявших в углу склянок, наполненных каким-то подозрительного вида порошком, напоминавшим алхимические снадобья. Правда, кое-где на стенах виднелись надписи, но это были просто научные сентенции или благочестивые изречения, заимствованные у вполне благонадежных авторов. Усевшись при свете медного трехсвечника перед столом, на котором стоял большой ящик с рукописями, и опершись локтем на раскрытую книгу Гонория Отенского «De

[64] Сноски: 64
Аббат блаженного Мартина (*лат.*).

praedestinatione et libero arbitrio»[65], архидьякон в глубокой задумчивости перелистывал большой печатный фолиант, только что принесенный им с собою. Других печатных книг у него в этой келье не было.

Его задумчивость была прервана стуком в дверь.

— Кто там? — крикнул ученый радушным тоном голодной собаки, которой помешали как раз в то время, когда она хотела приняться за кость.

— Ваш друг Жак Куаксье, — раздалось за дверью.

Архидьякон поднялся и отпер дверь.

Это действительно был медик короля, человек лет пятидесяти, с жестким выражением лица, несколько смягчавшимся взглядом хитрых глаз. С ним был какой-то незнакомец. Оба были в длинных одеждах темно-серого цвета, обшитых белым мехом, наглухо застегнутых и перетянутых поясом. Головы их покрывали шапки того же цвета и из той же материи; руки прятались в рукавах, ноги — под складками одежд, а глаза — под шапками.

— Праведный Боже! — воскликнул архидья-

---

[65] Сноски: 65

«О предназначении и свободной воле» (*лат.*).

кон, впуская гостей в келью. — Вот уж никак не ожидал таких почетных посетителей в столь поздний час!

Говоря это любезным тоном, он с видимым беспокойством пытливо вглядывался в лица гостей.

— Никакой час не может считаться слишком поздним для посещения такого знаменитого ученого, как dom[66] Клод Фролло де Тиршап, — ответил доктор Куаксье, тягучее произношение которого обличало в нем уроженца Франш-Конте. Благодаря этому произношению каждая его фраза казалась величественной, как платье со шлейфом.

Тут между доктором и архидьяконом начался тот обмен любезностями, который, по обычаю того времени, был обязателен при встрече ученых, что, однако, нисколько не мешало им от всей души ненавидеть друг друга. Впрочем, и в наши дни замечается то же самое: уста ученого, приветствующие собрата, представляют сосуд, наполненный желчью, подслащенной медом.

В любезностях, которыми Клод осыпал Жака Куаксье, были скрыты ядовитые намеки на те мирские блага, которые достойный медик

---

[66] Сноски: 66
Dom — господин (от латинского слова «dominus»).

так удачно умел извлекать из каждой пустячной болезни короля в течение своей карьеры, возбуждавшей столько зависти. По мнению архидьякона, способ действий доктора Куаксье мог быть приравнен к алхимическим деяниям, только более верным и более прибыльным, нежели искание философского камня.

— Честное слово, господин доктор, — продолжал распинаться архидьякон перед медиком короля, — весть о том, что ваш племянник, достопочтенный Пьер Версэ, получил епископат, возбудила живейшую радость в моем сердце… Если не ошибаюсь, он назначен епископом в Амьен?

— Совершенно верно, господин архидьякон, — отвечал медик. — Это великая милость Божия, — прибавил он.

— Какой у вас был внушительный вид на Рождество, во главе сопровождавших вас членов счетной палаты, господин президент!

— Увы, dom Клод! Я пока еще только вице-президент.

— Ну, а как ваш прекрасный дом в улице Сен-Андрэ-Дезарк?.. Это настоящий Лувр!.. Как красиво изображенное над главным его входом абрикосовое дерево с остроумною надписью: «А

l'abri ôtier»[67].

— Увы, мэтр Клод, если бы вы знали, каких бешеных денег стоит мне постройка этого дома! По мере того как он строится, я разоряюсь.

— Ну, полноте! Разве у вас нет доходов от пошлин всех судебных учреждений Парижского округа, кроме аренды с домов, лавок, палаток и мастерских, находящихся на вашей земле… Неужели и этих доходов мало?

— Мое кастелянство в Пуасси в нынешнем году не дало ничего…

— А пошлины на заставах, которые вы получаете с Триеля, Сен-Джемса и Сен-Жермен-ан-Лэ?

— А много ли их набирается? Всего сто двадцать ливров, да и то не парижских!

— Но у вас и постоянные доходы, например, жалованье королевского советника.

— Это верно, мой дорогой собрат. Зато проклятое Полиньи, о котором так много шумят, даже в самый хороший год дает не более шестидесяти золотых экю.

Во всех любезностях архидьякона сквозила горькая насмешка. Пока он их расточал, на его губах играла печальная и вместе с тем

---

[67] Сноски: 67

Игра слов: l'abricotier — абрикосовое дерево, A l'abri ôtier — прибрежный приют (*фр.*).

жестокая улыбка человека, одаренного более возвышенным умом, но не такого счастливого и пользующегося случаем потешиться над грубым довольством человека дюжинного. Но королевский медик ничего этого не замечал.

— Во всяком случае, — закончил наконец Клод, пожимая руку медика, — я душевно рад видеть вас в вожделенном здравии.

— Благодарю вас, dom Клод.

— Кстати, как здоровье вашего царственного больного? — продолжал архидьякон.

— Он плохо вознаграждает своего врача, — отвечал медик, искоса взглянув на своего спутника.

— Вы находите, кум Куаксье? — проговорил последний.

Эти слова, сказанные тоном удивления и упрека, заставили архидьякона пристальнее взглянуть на незнакомца, которого до этой минуты он наблюдал только украдкою, хотя и довольно внимательно. Не имей он тысячи причин сохранять добрые отношения с доктором Жаком Куаксье, этим всемогущим медиком короля Людовика XI, он ни за что не принял бы его в обществе незнакомой личности. Поэтому лицо его не отличалось особенною приветливостью, когда Жак Куаксье сказал:

— Кстати, dom Клод, я привел к вам собрата, который хотел видеть вас, прослышав о вашей славе.

— Так этот господин тоже служитель науки? — спросил архидьякон, устремляя проницательный взгляд на незнакомца, из-под нависших бровей которого сверкнул не менее острый и недоверчивый взор. Насколько можно было разглядеть при слабом свете трехсвечника, спутник Жака Куаксье был старик лет около шестидесяти, среднего роста, довольно болезненный и хилый на вид. Профиль его лица, хотя и буржуазного типа, таил в себе что-то строгое и величественное: глаза его из глубоких впадин сверкали огнем, вырывавшимся точно из недр пещеры, а под шапкой, надетой на самый нос, можно было угадать очертания высокого лба, говорившего об одаренности.

Незнакомец сам ответил на вопрос архидьякона.

— Уважаемый учитель, — проговорил он внушительным тоном, — ваша слава дошла до меня, и я пожелал с вами посоветоваться. Я — небогатый провинциальный дворянин и всегда с величайшим почтением отношусь к людям науки… Но вы еще не знаете моего имени. Мое имя

— кум Туранжо.

«Странное имя для дворянина!» — подумал архидьякон, в то же время чувствуя, что перед ним сильная и незаурядная личность.

Чутьем своего выдающегося ума он угадывал такой же ум и под отделанной мехом шапкою кума Туранжо. По мере того как он пристальнее всматривался в эту полную достоинства фигуру, ироническая усмешка, вызванная на его собственном угрюмом лице присутствием Жака Куаксье, постепенно исчезала, как исчезает вечерняя заря на ночном небе. Мрачный и молчаливый, он уселся опять в свое глубокое кресло, привычно облокотился на стол и подпер лоб рукою. После нескольких минут раздумья он знаком пригласил своих посетителей сесть и произнес, обращаясь к куму Туранжо:

— Вы желаете посоветоваться со мною, сударь, — но о чем же?

— Отец мой, — ответил кум Туранжо, — я болен, очень болен, а вы, говорят, второй Эскулап! Вот я и пришел просить у вас медицинского совета.

— Медицинского! — воскликнул архидьякон, покачав головою.

Подумав с минуту, он продолжал:

— Кум Туранжо, — если вас действительно так

зовут, — поверните голову, и вы увидите мой ответ вот на этой стене.

Кум Туранжо повиновался и прочитал находившуюся как раз над его головою надпись, выцарапанную на стене: *«Медицина — дочь сновидений. Ямвлих»*.

Между тем доктор Жак Куаксье выслушал вопрос своего кума с досадой, которую еще усилил ответ Клода. Он нагнулся к уху кума Туранжо и сказал ему так тихо, что архидьякон не мог его расслышать:

— Я предупреждал вас, что это сумасшедший, но вы все-таки пожелали его видеть…

— А может быть, этот сумасшедший и прав, доктор Жак, — так же тихо, но с горькою улыбкою ответил кум Туранжо.

— Как вам будет угодно, — сухо проговорил медик и, обращаясь к архидьякону, громко сказал: — Однако, dom Клод, вы очень быстры в своих суждениях, и для вас разделаться с Гиппократом, очевидно, так же легко, как обезьяне разгрызть орех… Называть медицину сновидением! Я уверен, что если бы вас услыхали господа аптекари и лекаря, то непременно побили бы вас каменьями… Так, следовательно, вы отрицаете влияние микстур на кровь, не признаете пользы мазей

для тела? Отрицаете вековечную аптеку трав и металлов, которую называют природой и которая нарочно устроена для того вечного больного, которого зовут человеком?

— Я вовсе не отрицаю ни аптеки, ни больного, — холодно возразил Клод, — я отрицаю только медика.

— Так, по-вашему, — с жаром продолжал Куаксье, — неправда, что подагра — простой вошедший внутрь лишай, что огнестрельную рану можно вылечить прикладыванием к ней жареной мыши, что надлежащим образом перелитая в старые жилы молодая кровь возвращает старикам молодость?.. Отрицаете, что дважды два — четыре и что в корчах тело сначала выгибается вперед, а потом назад?

— Нет, я просто составил себе о некоторых вещах особое мнение, — спокойно ответил архидьякон.

Куаксье весь покраснел от негодования.

— Полно, полно, мой добрый Куаксье, не будем сердиться, — сказал кум Туранжо. — Не забывайте, что господин архидьякон наш друг.

— Да и в самом деле, что спрашивать с сумасшедшего! — вполголоса проворчал Куаксье, успокаиваясь.

— Ну, мэтр Клод, — продолжал кум Туранжо после короткой паузы, — вы меня совсем обескуражили. Я было шел к вам за двумя советами: относительно моей болезни и насчет моей звезды.

— Милостивый государь, — ответил архидьякон, — если вы пришли именно с этим намерением, то не стоило и затруднять себя подниматься ко мне по лестнице. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию.

— В самом деле? — с удивлением произнес кум Туранжо.

Куаксье насильственно засмеялся и шепнул своему спутнику:

— Ну, разве вам теперь не ясно, что это сумасшедший?.. Не верит даже в астрологию!

— Как можно воображать, что каждый луч звезды изображает из себя нить, прикрепленную к голове человека! — продолжал Клод.

— Так во что же вы верите? — воскликнул кум Туранжо.

Архидьякон с минуту, как бы в нерешимости, помолчал, потом с мрачною улыбкой, противоречившей его словам, проговорил:

— Credo in Deum[68].

— Dominum nostrum[69], — добавил кум Туранжо, сотворив крестное знамение.

— Amen[70], — докончил Куаксье.

— Уважаемый учитель, — продолжал кум Туранжо, — я душевно рад видеть вас таким твердым в религии. Но неужели, будучи таким великим ученым, вы ради религии перестали признавать науку?

— Нет! — воскликнул архидьякон, схватив руку кума Туранжо, и в его потускневших было глазах вспыхнул луч прежней восторженности. — Нет, я не отрицаю науки!.. Если я столько времени ощупью, ползком, не щадя сил, пробирался по запутанному лабиринту подземных ходов храма науки, то, конечно, в конце концов не мог не увидать мерцающий вдали, в страшной глубине, огонек, светоносное сияние, отблеск того ослепительного света, которым должна быть наполнена центральная лаборатория вселенной, где мудрые и терпеливые находят Бога.

---

[68] Сноски: 68
Верую в Бога (*лат.*).

[69] Сноски: 69
Господа нашего (*лат.*).

[70] Сноски: 70
Аминь (*лат.*).

— Но какую же из наук вы считаете верною и истинною? — спросил кум Туранжо.

— Алхимию.

— Помилуйте, dom Клод, может быть, алхимия и права! — вскричал Куаксье. — Но зачем же поносить медицину и астрологию?

— Затем, что ваша наука о человеке и о небе — ничто! — с жаром проговорил архидьякон.

— Стало быть, — возразил медик с усмешкой, — по-вашему, Эпидавр и всю Халдею можно побоку?

— Послушайте, мессир Жак, — ответил Клод, — будем говорить положа руку на сердце. Я ведь не медик короля и не получал от его величества сада Дедала, чтобы наблюдать там звезды. Не сердитесь и выслушайте меня… Скажите по совести, какую вы извлекли истину… Я уж не говорю из медицины — она не имеет под собою ровно никакой почвы, — но что дала вам астрология? Укажите мне достоинства вертикального бустрофедона и открытия чисел зируф и зефирот.

— Значит, вы отрицаете и симпатическую силу клавикулы, и происхождение от нее кабалистики?

— Заблуждение, мессир Жак! Ни одна из ваших формул не приводит ни к чему реальному, тогда

как алхимия имеет за собою множество открытий. Что вы можете возразить против тех истин, до которых дошли путем алхимии?.. Например, благодаря этой науке известно, что лед, пробывши в земле тысячу лет, превращается в горный кристалл; что свинец — родоначальник всех металлов, за исключением золота, которое не может быть названо металлом, оно скорее — свет, и что свинцу нужно всего четыре периода, в двести лет каждый, чтобы последовательно перейти сначала в красный мышьяк, потом — в олово, а из олова — в серебро… Разве это не положительные факты? Но верить в клавикулу, в полную линию и во влияние на человека звезд так же смешно, как, например, верить вместе с обитателями великого Катея, что иволга может превращаться в крота, а хлебные зерна — в рыбу чебак.

— Я изучал герметику и утверждаю… — начал было Куаксье, но вспыливший архидьякон не дал ему договорить.

— А я изучал и медицину, и астрологию, и герметику, — перебил он, — и нашел истину только вот в этом.

С этими словами он достал из-под стола склянку с тем подозрительным порошком, о котором мы уже говорили выше, и продолжал:

— Только в этом свет!.. Гиппократ — одна мечта; Урания — тоже; Гермес — мысль, а золото — это солнце. Делать золото — значит быть самим божеством. Вся истинная наука скрыта в этом познании… Повторяю, я проник в самую глубь медицины и астрологии — ничто, ничто… Тело человеческое — потемки! Звезды — потемки!

И Клод откинулся на спинку своего кресла; лицо его дышало силой и вдохновением. Туранжо молча наблюдал его, а Куаксье искусственно посмеивался, пожимал плечами и вполголоса повторял:

— Сумасшедший!

— Ну а скажите, пожалуйста, удалось вам достигнуть великой цели алхимии? Добыли вы золото? — вдруг спросил Туранжо.

— Если бы я его добыл, — отвечал архидьякон, медленно выговаривая каждое слово, как человек, отвечающий на собственную мысль, — то французский король назывался бы Клодом, а не Людовиком.

Туранжо нахмурился.

— Впрочем, — с презрительной улыбкой продолжал архидьякон, — на что бы мне французский престол! Владея тайною делать золото, я мог бы восстановить Восточную империю.

— Ну, вот это дело другое, — проворчал Туранжо.

— Вот безумец-то! — бормотал себе под нос Куаксье.

Следуя течению своих мыслей, Клод продолжал с расстановкою:

— Но я пока все еще только двигаюсь ползком… Я раздираю себе лицо и колени о камни подземелья… пока только смутно подозреваю, но ничего еще не вижу… Я еще не читаю, а только едва разбираю по складам.

— А когда вы научитесь читать свободно, то сумеете делать золото? — спросил кум Туранжо.

— В этом не может быть и сомнения! — воскликнул архидьякон.

— Одной Богоматери известно, как я нуждаюсь в деньгах; и я бы очень хотел научиться читать ваши книги. А скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не неприятна Божией Матери? — спросил кум Туранжо.

На этот вопрос Клод ответил с высокомерным спокойствием:

— А где я служу архидьяконом?

— Вы правы, учитель… Не будете ли вы так добры посвятить и меня в вашу науку настолько, чтобы я мог вместе с вами читать хоть по

складам?

Клод принял величественный вид и заговорил тоном пророка:

— Старик! Для того чтобы отважиться предпринять путешествие по дебрям великих тайн, нужно иметь впереди более длинный ряд лет, чем тот, который остался перед вами. Ваша голова уже покрыта сединою, а с сединою можно только выходить из этих дебрей, входить же в них нужно с темными волосами. Сама наука сумеет избороздить, иссушить и заставить поблекнуть человеческое лицо. Она не нуждается, чтобы к ней приходили с лицами, уже изборожденными старостью… Но если вас, несмотря на ваши годы, тянет засесть за указку и приняться за страшную азбуку мудрецов, то приходите ко мне, — я попробую. Я не заставлю такого слабого старика, как вы, спускаться в подземные склепы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот. Я не отправлю вас исследовать ни Вавилонскую кирпичную башню, ни громадное, возведенное из белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видал ни халдейских каменных сооружений, воздвигнутых в подобие священной Сикры, ни разрушенного храма Соломона, ни разбитых каменных врат от гробницы

царей израильских. Мы удовольствуемся теми отрывками книги Гермеса, которые у нас здесь под рукою. Я объясню вам статую святого Христофора, символ сеятеля, и значение двух ангелов, изображенных при входе в Святую часовню, один из которых держит руку опущенною в сосуд, а другой — простирает свою руку в облака…

Здесь Жак Куаксье, совсем было опешивший перед страстной речью архидьякона, приободрился и перебил его торжествующим тоном ученого, поправляющего ошибку другого.

— Erras, amice Claudi![71] — произнес он. — Символ — не число. Вы принимаете Орфея за Гермеса.

— Нет, это вы заблуждаетесь, — со спокойной самоуверенностью возразил архидьякон. — Дедал — это основание, Орфей — стены, а Гермес — это все здание… Приходите, когда хотите, — продолжал он, обращаясь к Туранжо. — Я покажу вам крупинки золота, оставшиеся на дне тигеля Николая Фламеля, и вы можете сравнить их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайный смысл греческого слова peristera…[72]

---

[71] Сноски: 71
Ошибаешься, друг Клод! (*Лат.*)

[72] Сноски: 72
Голубь (*греч.*).

Но прежде всего я научу вас, как нужно читать мраморные буквы азбуки, гранитные страницы великой книги. Мы пойдем от портала епископа Гильома и Сен-Жана ле Рона у Святой часовни к дому Николая Фламеля на улице Мариво, а оттуда — к его могиле на кладбище «Невинных душ», после чего посетим оба его госпиталя на улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивных железных косяка портала больницы Сен-Жерве и улицы Ла-Ферронри. Кроме того, мы вместе постараемся разобрать по складам фасады церквей Сен-Ком, Святой Женевьевы-Дезардан, Сен-Мартена, Сен-Жак-де-ла-Бушри…

По выражению лица Туранжо было заметно, что он, несмотря на ум, светившийся в его глазах, давно уже перестал понимать dom Клода. Наконец он перебил:

— Господи! Да что же это за книги у вас?

— Вот одна из них, — ответил архидьякон.

И, распахнув окно своей кельи, он указал на величавое здание собора Богоматери. Собор, вырисовываясь на звездном небе черными силуэтами своих двух башен, каменных боков и чудовищного хребта, казался исполинским двуглавым сфинксом, расположившимся по-

среди города. Несколько времени архидьякон молча смотрел на колоссальное здание, потом, протянув со вздохом правую руку к печатной книге, лежавшей раскрытою на столе, а левую по направлению к собору, с глубокой печалью произнес:

— Увы! Это убьет то!

Куаксье поспешно нагнулся над книгою и невольно воскликнул:

— Помилуйте! Да что же дурного в этой книге? Ведь это — Clossa in epistolas D. Pauli. Norimbergae, Antonius Koburger[73]. Тысяча четыреста семьдесят четвертый год, вещь далеко не новая. Это сочинение Пьера Ломбара, прозванного «Учителем сентенций». Может быть, вас пугает эта книга только потому, что она печатная?

— Именно потому, — ответил Клод.

Выпрямившись во весь рост, с печатью глубокой думы на лице, он крепко прижал согнутый указательный палец к одной из страниц книги, вышедшей из-под знаменитого нюренбергского печатного станка, и многозначительно добавил:

— Да, увы! Малое осиливает великое; один зуб в состоянии разрушить целую массу. Нильская

[73] Сноски: 73

Примечания к посланиям апостола Павла. Нюренберг, Антоний Кобургер (*лат.*).

крыса убивает крокодила, рыба-меч убивает кита, а книга убьет здание.

Монастырский колокол, приглашавший тушить огонь, прозвучал как раз в тот момент, когда медик шептал на ухо своему спутнику свой неизменный припев:

— Он сумасшедший!

На этот раз и спутник ответил:

— Кажется, что так.

Настал час, когда все посторонние должны были удалиться из монастыря. Посетители встали.

— Учитель, — сказал Туранжо, прощаясь с архидьяконом, — я люблю ученых и великие умы, вас же я особенно уважаю. Приходите завтра в Турнельский дворец и спросите там аббата из Сен-Мартен-де-Тур.

Архидьякон возвратился в свою келью совершенно ошеломленный; он наконец понял, кто был этот «кум Туранжо». Ему припомнилось следующее место из монастырских грамот святого Мартина Турского: «Abbas beati Martini, scilicet rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habet parvam praebendam quam habet sanctus Venantius

et debet sedere in sede thesaurarii»[74].

Утверждали, что с этого вечера архидьякон часто виделся с Людовиком XI, когда его величество приезжал в Париж, и что милость, которою Клод Фролло пользовался у короля, возбуждала зависть даже Оливье ле Дена и Жака Куаксье, причем последний, по своей привычке, грубо пенял за это Людовику.

II. Это убьет то

Наши читательницы извинят нас, если мы остановимся на минуту, чтобы попытаться разгадать внутренний смысл загадочных слов архидьякона: «Это убьет то» и «Книга убьет здание».

По нашему мнению, мысль эта была двойственна. Прежде всего, это была мысль священника, ужас священнослужителя перед новой силой — печатным станком, крик испуга представителя Церкви, ослепленного светоносным изобретением Гуттенберга. Церковная кафедра и рукописная книга, слово изустное и слово рукописное, во-

[74] Сноски: 74

«Аббатом блаженного Мартина является король Франции, считающийся каноником и пользующийся частью доходов аббатства; будучи преемником святого Венанция, он должен сидеть в казначейском кресле» (*лат.*).

оружались против слова печатного. Это было нечто вроде ужаса воробья, перед которым ангел Легион развернул бы свои шесть миллионов крыльев. Это было воплем пророка, которому уже слышится, как шумит и бурлит освобождающееся человечество, который видит, как в будущем расшатываются устои религии, как свободная мысль свергает с пьедестала слепую веру и как потрясается могущество Рима. Это было предвидением философа, которому представлялось, как окрыленная печатью человеческая мысль вырвется из тисков теократии. Это было страхом воина перед железным стенобитным орудием, говорящего: «Башня рухнет». Это означало, что одна сила сменяется другою, что «печать убьет Церковь».

Но это было, так сказать, лишь поверхностной частью мысли, понятной каждому по своей простоте. За этой частью мысли скрывалась другая, менее доступная общему пониманию, хотя и легче опровержимая, — мысль также философская и мысль уже не только священника, но и ученого и художника. В ней выражалось предчувствие, что человеческое мышление направится по новому пути и соответственно этому будет выливаться в новые формы, что преобладаю-

щие в каждом поколении идеи не будут более записываться прежним материалом и прежним способом; что книга каменная, которая казалась такою прочною и трудно истребимою, должна будет уступить место книге бумажной, еще более прочной и неистребимой. С этой точки зрения неопределенные выражения архидьякона имели второй смысл, и именно тот, что одно искусство займет место другого, что книгопечатание убьет зодчество. В самом деле, с самого начала истории человечества и вплоть до пятнадцатого столетия христианской эры единственною книгою человечества было зодчество. В этой книге и выражались все ступени развития человека, как силы просто физической и как силы умственной.

Когда память первобытных человеческих племен оказалась уже чересчур обремененною, когда запас накопившихся воспоминаний человечества сделался так велик и запутан, что простое летучее слово рисковало растерять его весь по дороге, то эти воспоминания стали записывать на почве самым легким, прочным и вместе с тем самым естественным способом, то есть каждое предание запечатлевалось под видом какого-нибудь памятника.

Первые памятники были простыми каменны-

ми глыбами, к которым, по выражению Моисея, «не прикасалось железо». Зодчество началось с того же, с чего начинается каждая письменность, — с азбуки. В известном месте ставили стоймя камень, и он изображал собою какую-нибудь букву. Каждая такая буква была иероглифом, а на каждом иероглифе покоилась целая группа мыслей, как покоится на колонне капитель. Так делали первобытные племена человеческого рода по всему лицу земли. Стоячий камень кельтов можно найти и в азиатской Сибири, и в американских пампасах.

Позднее возникли слова. Начали накладывать один камень на другой и соединять каменные слога в слова, делая известные комбинации. Дольмены и кромлехи кельтов, этрусский турмул, еврейский Галгал — все это каменные слова. Некоторые из этих слов, в особенности этрусские турмулы, представляют собою имена собственные. Подчас в известный период писались даже целые фразы в тех местах, где было много материала и пространства. Так, например, громадные каменные нагромождения в Карнаке изображают целые формулы.

Наконец, таким путем начали уже составлять и целые книги. Предания порождали симво-

лы, под которыми сами исчезали, как исчезает под листьями ствол дерева. Все эти символы, в которые веровало человечество, постепенно нарастали, размножались, перекрещивались между собою и все более и более осложнялись; под конец они разрослись до такой степени, что под ними нельзя было уже разобрать смысла тех простых, едва возвышавшихся над землею преданий, в воспоминание о которых были воздвигнуты памятники. Символу необходимо было расшириться в здание. В это время вместе с человеческой мыслью стало развиваться и зодчество. Вырастая в тысячеголового и тысячерукого гиганта, оно облекло в вековечную, видимую и осязаемую форму весь символизм, страдавший раньше такой неопределенностью. Пока [Дедал] — сила — делал измерения, а [Орфей] — разум — пел, столп — буква, аркада — слог, пирамида — слово, вызванные к жизни законами геометрии и поэзии, начали группироваться, соединяться и сливаться в одно целое, углубляться в почву, подниматься ввысь, громоздясь одно над другим, тянуться в небо, создавая таким образом, под диктовку преобладающей в данную эпоху идеи, те чудесные книги, которые являлись и чудесными зданиями, как, например, Эклингская

пагода, Рамсейон в Египте и храм Соломона в Иерусалиме.

Главная идея, слово, не только легла в основание всех этих зданий, но выражалась и в их форме. Так, например, храм Соломона представлял собою не просто переплет священной книги, но был и самою книгою. Посвященные могли прочесть ясно выраженное и истолкованное слово на каждой из его концентрических оград и от святилища к святилищу проследить все его превращения, пока наконец это слово не представилось им в святая святых, в самой конкретной форме, — опять-таки зодческой, — в форме кивота Завета. Слово хотя и было заключено в здании, но образ его запечатлевался и на его внешней оболочке, как очертания человеческой фигуры на мумии.

Не только форма здания, но и самое место, на котором оно располагалось, выражало представленную им мысль. Сообразно со светлым характером своего символа, Греция увенчивала горы храмами, пленявшими глаз гармоничностью линий, между тем как Индия под влиянием своего мрачного мировоззрения пряталась в недрах гор, чтобы там высекать причудливые пагоды, поддерживаемые рядами исполинских

гранитных слонов.

Таким образом в течение первых шести тысяч лет существования мира зодчество служило человечеству великой книгой истории, начиная с самой древней пагоды Индостана и кончая Кёльнским собором. Это факт неоспоримый. В этой огромной книге записаны не только все религиозные символы человечества, но каждая его мысль нашла себе место и памятник на ее страницах.

Каждая цивилизация начинается с теократии и кончается демократией. Порядок последовательного перехода от подчинения к свободе запечатлен зодчеством. Не нужно забывать, что зодчество воздвигало не одни только храмы, выражало не одни мифы и священные символы и начерчивало иероглифами на своих каменных страницах не одни таинственные скрижали закона. Если бы было так, то поскольку в каждом человеческом обществе наступает момент, когда священный символ изнашивается и стирается под давлением свободной мысли, когда человек освобождается от влияния духовенства, когда развитие философии и наук изглаживает религию, то архитектура не смогла бы выразить новое состояние духа, ее страницы, заполненные

снаружи, оказались бы пустыми изнутри, ее создания были бы изуродованы, ее летопись была бы неполна. Но это не так.

Возьмем для примера Средние века, которые нам доступнее, потому что они ближе к нам. В самом их начале, в то время как теократия организует Европу, Ватикан собирает вокруг себя и приводит в порядок все элементы нового Рима, возникающие из частей старого Рима, лежащего в развалинах вокруг Капитолия; в то время как христианство отыскивает в обломках древней цивилизации материал для возведения нового общественного здания со всеми ярусами для сооружения нового иерархического мира, краеугольным камнем которого является духовенство; в то время, говорим мы, из хаоса и из-под развалин мертвых архитектур Греции и Рима начинает медленно пробиваться, благодаря соединенным усилиям христианства и варваров, таинственное романское зодчество — этот брат теократических сооружений Египта и Индии, эта яркая эмблема чистого католицизма, этот непоколебимый памятник папского единства. Действительно, мысль того времени выразилась целиком в мрачном романском стиле. От этого стиля так и веет властью, единством, непрони-

цаемостью и абсолютизмом — словом, Папою Григорием VII. Во всех зданиях той эпохи всюду чувствуется священнослужитель, а не человек, проявляется каста, а не народ. Но вот наступают крестовые походы. Это было сильное народное движение, а каждое народное движение, каковы бы ни были его причина и цель, в конце концов всегда порождает стремление к свободе. Начинает пробиваться что-то новое, открывается бурный период жакерий, прагерий, лиг. Власть расшатывается, единство раздваивается. Феодализм оспаривает часть власти у теократии в ожидании, когда дойдет неизбежная очередь до народа, который обязательно потребует себе львиную долю. Quia nominor leo[75]. Из-под духовенства пробивается аристократия; из-под феодальной власти — коммуна. Лицо Европы резко изменяется, а вместе с тем изменяется и лицо зодчества. Одновременно с цивилизацией и зодчество перевертывает страницы своей летописи и готовится добросовестно записывать то, что продиктует ему новый дух времени. Как народ возвратился из крестовых походов со стремлением к свободе, так и зодчество вернулось из них со стремлением

[75] Сноски: 75
Ибо именуюсь львом (*лат.*).

к стрельчатой форме. А в то время, когда власть Рима начинает мало-помалу распадаться, гибнет и романское зодчество. Иероглиф покидает собор и переходит в гербы замков аристократии, чтобы увеличить ее престиж. Самый собор, этот символ строгого догматизма, под влиянием врывающейся в него буржуазии, свободной общины, начинает уклоняться от непосредственной власти священника и отдается художнику, который и перестраивает его по собственному вкусу. Прощайте мистерия, миф, закон. На смену пришли фантазия и каприз. Лишь бы священнику была сохранена основная форма базилики с алтарем, во всем остальном он уже не имеет права голоса. Стены собора всецело находятся теперь в распоряжении художника. Книга зодчества перестает быть исключительным достоянием духовенства, религии, Рима, — она уже открывает свои страницы воображению, поэзии, народу. Отсюда быстрые и многочисленные превращения нового зодчества, в течение его только трехвекового существования, которые и представляют такой резкий контраст со стоячей неподвижностью, выдержанною романским зодчеством в продолжение вдвое большего промежутка времени. Искусство исполинскими шагами движется

вперед. Народный гений и народное творчество берут на себя задачу, которая раньше выполнялась только епископами. Каждое поколение мимоходом заносит свою строку в книгу зодчества. Соединенными усилиями целого ряда поколений стираются с фасадов соборов древние романские иероглифы и заменяются новыми символами, и лишь очень проницательный глаз может различить под этими иероглифами следы старого догмата, под драпировкою народной фантазии — остов религии. Трудно себе представить, до какой степени доходила в эту эпоху вольность зодчих по отношению к церкви. В Каминном зале Дворца правосудия на капителях колонн изображены непристойными парами монахи и монахини. На паперти собора в Бурже выписана резцом вся история посрамления Ноя, с чрезвычайной откровенностью и точностью. В умывальной комнате Бошервильского аббатства смеется в лицо всей общине пьяный монах с ослиными ушами, держащий в руке чашу, наполненную вином. Вообще в ту эпоху человеческая мысль, выражаемая зодчеством, пользовалась привилегией, напоминающей современную свободу печати. Это было время свободы зодчества.

Эта свобода заходила очень далеко. То тут, то

там какой-нибудь портал, фасад, а иногда и целая церковь являлись символическим выражением мысли, совершенно чуждой и даже враждебной культу религии. Гильом Парижский в тринадцатом столетии, а Николай Фламель в пятнадцатом написали этим способом несколько очень соблазнительных страниц. Что же касается церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, то она вся была воплощением духа оппозиции.

Будучи свободной лишь в области зодчества, мысль и высказывалась целиком только на тех страницах, которые называются зданиями. В этой форме мысль лицезрела, как ее в виде рукописи сжигали на площадях рукой палача. Мысль, выраженная на портале собора, присутствовала при казни мысли, запечатленной в книге. Поэтому вполне понятно, что мысль с такой стремительностью бросалась на единственный путь, оставшийся ей открытым. Этим только и можно объяснить невероятное количество церквей, покрывших всю Европу, — количество до такой степени громадное, что трудно поверить, даже пересчитав их лично. Очевидно, все материальные и духовные силы общества тогда сосредоточились в одном зодчестве, как в зрительном фокусе. Под предлогом сооружения церквей для служе-

ния Богу широко развивалось искусство.

В то время каждый родившийся поэтом делался архитектором. Вся та сумма дарований, которая была рассеяна в массах и со всех сторон подавлялась феодализмом, точно стеною бронзовых щитов, находила приложение только в зодчестве и, широко пользуясь этим искусством, писала свои «Илиады» в форме соборов. Все остальные искусства подчинились зодчеству и служили ему, перестав существовать самостоятельно. Они были чернорабочими великого дела. Архитектор-поэт, архитектор-мастер подчинил себе и скульптуру, покрывавшую резьбою его фасады, и живопись, разрисовывавшую ему оконные стекла, и музыку, приводившую в движение колокола и дышавшую трубами органа. Даже бедная поэзия, которая так упорно прозябала в рукописях, в конце концов, не желая окончательно погибнуть, должна была согласиться войти в рамки здания под формою гимна или прозы. Эту же роль играли в греческих празднествах трагедии Эсхила, а в храме Соломона — Книга Бытия.

Таким образом, до Гуттенберга зодчество было преобладающею формою письменности, общею для всего мира. Его гранитная книга, начатая Востоком, продолжавшаяся греческою и римскою

древностью, была дописана Средними веками. Нужно, впрочем, заметить, что не в одни Средние века можно было наблюдать, как зодчество народное выступает на смену зодчеству кастовому; это случалось и в другие периоды истории человечества. Укажем вкратце на главнейшие проявления закона, для подробного исследования которого понадобилось бы исписать целые тома. На дальнем Востоке, этой колыбели первобытного человечества, индусское зодчество сменяется финикийским, этим щедрым родоначальником арабского. В классической древности за египетским зодчеством с его разновидностями — циклопическими постройками и этрусскими подземными сводами — следует греческое, продолжением которого служил римский стиль в соединении с карфагенским куполом. Потом, в Средних веках, как мы уже видели, на смену зодчеству романскому явилось готическое. Классифицируя все эти различные виды зодчества, мы видим, что они составляют, так сказать, три двойные серии, из которых первая половина — зодчество индусское, египетское и романское — символизирует одно понятие: теократию, касту, единство, догмат, миф, бога, а вторая половина — зодчество финикийское, греческое и готиче-

ское, при всем различии их форм, — представляет понятие совершенно противоположное: свободу, народ, человека. В зданиях первого порядка, то есть в индусских, египетских и романских, чувствуется влияние одного священнослужителя, как бы он ни назывался: брамином, магом или Папою, между тем как в зданиях, созданных не кастою, а народом, — нечто совершенно иное. Так, в постройках финикийских чувствуется купец, в греческих — республиканец, в готических — буржуа.

Теократическое зодчество всегда и всюду отличалось неизменяемостью, боязнью всякого прогресса, строгим сохранением традиционных форм, соблюдением первоначальных типов и постоянным подчинением всех проявлений человеческого бытия и самой природы непостижимой прихоти символа. Произведения этого зодчества — такие темные книги, разобрать которые может только посвященный. В них каждая форма, даже самая уродливая, имеет свой особенный смысл, обеспечивающий ее неприкосновенность. От индусских, египетских или романских зодчих нельзя требовать, чтобы они изменяли свой рисунок и совершенствовали формы своих изваяний. Каждое улучшение для них — кощунство. Зда-

ния эпохи теократического зодчества кажутся вдвойне окаменелыми — и по своему материалу, и по неподвижности своих догматических форм. Характерные же особенности зданий народного зодчества, напротив, — стремление к прогрессу, к самобытности, к разнообразию и вечному движению. Народное искусство уже настолько отрешилось от религиозного догмата, что не считает грехом думать и заботиться о своей красоте, беспрестанно украшая свой наряд статуями и арабесками. Такое искусство всегда живет вместе со временем и во всех своих произведениях примешивает присущий ему элемент человечности к религиозному символу, который поневоле еще довлеет над ними. Потому-то эти здания, подобно природе, доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Собственно, между зодчеством теократическим и народным та же разница, как между священным языком и народной речью, между иероглифом и искусством, между Соломоном и Фидием.

Резюмируя отмеченные в этом беглом обозрении главнейшие данные о зодчестве, которые можно было бы подтвердить множеством примеров, мы получим следующий вывод: зодчество было главною летописью человечества до пят-

надцатого столетия нашей эры. В продолжение всего этого громадного промежутка времени не было ни одной более или менее сложной идеи, которая не выразилась бы в виде здания, и каждая народная идея, как и идея религиозная, оставила свои памятники. Человечество не воспринимало ни одной значительной идеи, которую не спешило бы увековечить в форме каменных письмен. Чем же это объяснить? А тем, что каждая мысль, будь она религиозная или философская, стремится увековечить себя. Каждая идея, волновавшая одно поколение, рвется перейти к следующим поколениям и поэтому старается оставить по себе неизгладимый след. Легко уничтожимая рукопись представляет слишком плохую гарантию увековечения мысли, между тем как здание своей прочностью, устойчивостью и способностью сопротивления скорее может обеспечить долговечность. Для уничтожения рукописного слова достаточно какого-нибудь дикаря или горящего факела, а для уничтожения того же слова, вылитого из гранита, нужен целый переворот — общественный или земной. Колизей устоял под напором варваров, а над пирамидами, быть может, пронесся даже целый потоп.

В пятнадцатом столетии все изменяется.

Человеческая мысль открывает другой способ увековечения, способ, не только еще более прочный и устойчивый, чем зодчество, но несравненно более простой и легкий. Зодчество развенчивается. Каменные буквы Орфея заменяются свинцовыми буквами Гуттенберга.

Книга стремится убить здание.

Изобретение книгопечатания — величайшее событие истории. Оно производит коренной переворот. Способ выражения человеческой мысли совершенно изменяется; мышление облекается в новую форму, отбросив старую. Символическая змея, со времен Адама олицетворявшая разум, сменяет старую шкуру на совершенно новую, небывалую.

Благодаря печати человеческая мысль становится уже вполне бессмертною, потому что сделалась крылатою, неуловимою и неуничтожимою. Она начинает носиться в воздухе. Во времена владычества архитектуры мысль превращалась в утес и властно располагалась в одном определенном месте и овладевала одним определенным веком. Но с возникновением печати она превращается в стаю птиц, которая разлетается во все стороны и одновременно наполняет все точки воздуха и пространства.

Повторяем, каждому понятно, что эта перемена должна была придать мысли большую несокрушимость. Из прочной она делается живучей, из долговечной превращается в бессмертную. Всякую твердыню можно уничтожить, но как уничтожить вездесущее? Пусть настанет потоп, горы исчезнут под водою, а птицы все-таки будут летать! Достаточно одному ковчегу уцелеть и носиться на поверхности вод, чтобы на него опустились птицы и поплыли вместе с ним. Когда спадут воды и из хаоса потопа возникнет новый мир, то этот мир все-таки увидит витающую над ним крылатую, бессмертную мысль мира погибшего.

Можно ли поэтому удивляться, что человеческий разум покинул зодчество ради изобретения Гуттенберга и что книгопечатание не только лучше зодчества обеспечивает сохранение мысли, но в то же время представляется наиболее простым, удобным и легким способом ее выражения? Действительно, книгопечатание не требует громоздких приспособлений, не нуждается в тяжеловесных орудиях. Для того чтобы выразиться в форме здания, мысль должна затратить значительную денежную сумму, призвать к себе на помощь все остальные искусства, срыть целые

горы, чтобы добыть необходимый материал, срубить целые леса для устройства подмостков, двинуть целые полчища рабочих. Между тем для того, чтобы выразиться в виде книги, ей нужно немного бумаги, чернил и перьев. Само собою разумеется, что мысль с радостью должна была ухватиться за новый способ облечения ее в осязаемую форму. Пересеките русло реки каналом, прорытым ниже ее уровня, и воды реки тотчас же покинут старое русло.

В самом деле, мы видим, как с момента изобретения книгопечатания начинает понемногу сохнуть, атрофироваться и бледнеть зодчество. Так и чувствуется, что вода в этом русле убывает, что жизненные соки этого искусства иссякают, что мысль веков и народов устремилась уже по другому пути. В пятнадцатом столетии эта перемена еще не особенно была заметна. Печатный станок тогда еще недостаточно окреп и поддерживал свое существование только тем, что питался излишком соков процветавшего еще зодчества. Но с шестнадцатого века зодчество уже начинает хиреть так сильно, что это бросается в глаза. Оно перестает быть главным выразителем общественной мысли и, как искусство, ищет жалкой опоры в классицизме, превращаясь из галльско-

го, европейского, самобытного в греко-римское, из современного и правдивого — в ложноантичное. Настает та эпоха упадка зодчества, которая называется эпохою Возрождения. Положим, этот упадок был обставлен очень эффектно. Старый готический гений, представлявший собою как бы солнце, закатывавшееся за исполинским майнцским печатным станком, еще некоторое время золотит своими последними лучами всю эту разнохарактерную смесь латинских аркад и коринфских колоннад.

И это заходящее солнце мы принимаем за утреннюю зарю!

Лишь только зодчество стало на одну ступень с остальными искусствами, перестав быть главным между ними, поглощавшим все остальные и всецело господствовавшим над ними, — оно потеряло всякое влияние на них. Почувствовав обессиление зодчества, остальные искусства спешат освободиться из-под его гнета и сделаться самостоятельными. И они все выигрывают от этого освобождения. Обособление способствует их развитию. Резьба становится ваянием, рисование превращается в живопись, церковный канон развивается в музыку. Совершается нечто вроде распада империи после смерти Александра, когда

провинции делаются государствами.

Отсюда появление Рафаэля, Микеланджело, Жана Гужона, Палестрины — этих светочей лучезарного шестнадцатого века.

Одновременно с искусствами освобождается со всех сторон и мысль. Католичество было уже сильно поколеблено ересями Средних веков, а шестнадцатый век окончательно расшатал его устои. До книгопечатания реформация была бы только расколом, книгопечатание сделало ее переворотом. Отнимите у ереси печатный станок, и вы обессилите ее. По предопределению или по роковому случаю, но Гуттенберг является предшественником Лютера.

И вот когда средневековое солнце совершенно закатилось, когда готический гений навеки угас на горизонте искусства — зодчество отживает свой век, все более и более тускнея, обесцвечиваясь и ухудшаясь. Оно высасывается и пожирается печатною книгою, подобно дереву, подтачиваемому червяком. Зодчество быстро чахнет, лишается своих листьев и сохнет. Оно оскудевает, впадает в убожество, превращается в ничтожество. Оно уже более ничего не выражает, даже воспоминания об искусстве прежних времен. Предоставленное самому себе, покинутое осталь-

ными искусствами, потому что человеческая мысль устремилась в другую сторону, оно вместо художников зовет к себе на помощь ремесленников. Расписные оконные стекла заменяются простыми. Скульптор заменяется каменотесом. Прощай всякая самобытность, вся жизненность, вся осмысленность зодчества! Отныне оно, жалкий нищий, будет влачить существование по ремесленным мастерским, пробавляясь плохим подражанием. Микеланджело, очевидно, понимавший, что зодчество в шестнадцатом веке пошло на окончательную убыль, в отчаянии сделал последнюю попытку спасти погибающее искусство. С этой целью он, этот титан искусства, создал собор Святого Петра в Риме, нагромоздив на Парфенон Пантеон. Это великое произведение, достойное того, чтобы остаться единственным в своем роде, было последнею вспышкою творчества в зодчестве, подписью художника-исполина на длинном, многовековом каменном списке, которому уже более не суждено продолжаться. Умер Микеланджело — в чем же тогда стало проявляться убогое зодчество, пережившее само себя в виде бледного призрака? Оно набрасывается на римский собор Святого Петра и начинает делать с него слепки и пародии. Это подражание

превращается в жалкую манию. Каждое столетие имеет свой собор Святого Петра; семнадцатое представляет его под названием церкви Валь-де-Грас, восемнадцатое — под названием церкви Святой Женевьевы. Каждая страна обзаводится своим собором Святого Петра; в Париже их два или три, в Петербурге и Лондоне по одному. Это последние усилия воли, последний бред великого умирающего искусства, от дряхлости впавшего в детство перед смертью.

Если мы, не вдаваясь в подробности, вглядимся только в общий вид зодчества, за период времени от шестнадцатого до восемнадцатого столетия, то заметим те же признаки упадка и вырождения. Начиная с Франциска II художественная форма здания все более и более сглаживается, из-под нее все заметнее выступает форма чисто геометрическая, как скелет на исхудавшем теле больного. Изящные линии художника уступают место сухим, жестким линиям геометра. Здание перестает быть зданием, оно превращается в простой многогранник. Между тем зодчество тщетно силится скрыть свою наготу. Отсюда происходит то, что в романский фронтон втискивается греческий, и наоборот; повсюду вы видите все тот же Пантеон на Парфеноне — тот же римский

собор Святого Петра. Но вот явились кирпичные дома Генриха IV, с углами, обделанными камнем; такими домами застроены Королевская площадь и площадь Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII — тяжелые, приземистые, неуклюжие, придавленные куполом, точно горбом. Вот зодчество времен кардинала Мазарини — плохая итальянская стряпня в виде училища Четырех наций. Вот дворцы Людовика XIV — длинные, холодные, скучные казармы для придворных. Вот, наконец, и эпоха Людовика XV с ее пучками цикория и червячками, со всеми этими бородавками и наростами, которые так обезображивают лицо старого, беззубого, дряхлого, но все еще молодящегося зодчества. Словом, начиная с Франциска II и до Людовика XV, недуг архитектуры возрастал в геометрической прогрессии. От искусства остались только кожа да кости. Оно медленно умирает.

Что же делается в это время с книгопечатанием? Все жизненные силы, покидающие зодчество, вливаются в него. По мере того как зодчество падает, книгопечатание растет и крепнет. Человечество теперь тратит на книги все те силы, которые прежде тратило на здания. Уже в шестнадцатом столетии книгопечатание, сравнявшись

ростом с падающим зодчеством, борется с ним и убивает его, а в семнадцатом печать уже настолько могущественна и победоносна, настолько укрепила плоды своей борьбы, что может задать миру великий пир литературного процветания. В восемнадцатом веке она, после продолжительного отдыха при дворе Людовика XIV, снова овладевает старым оружием Лютера, вооружает им Вольтера и шумно устремляется в битву с той старой Европой, которую она уже лишила архитектурного способа выражения. К концу же восемнадцатого столетия печать разрушила все старое, а в девятнадцатом начинает созидать новое.

Спросим теперь, которое же из двух этих искусств является за три последних столетия истинным представителем человеческой мысли? Которое из них истолковывает эту мысль, выражает не только ее литературные и школьные направления, но и все ее движение во всей его широте и глубине? Которое из них постоянно, ни на секунду не отставая, неутомимо идет рядом с постоянно подвигающимся вперед тысяченогим чудовищем, называемым человечеством, — зодчество или печать?

Разумеется, печать. Не будем обманываться:

зодчество умерло и никогда уже более не воскреснет. Оно убито печатною книгою, убито потому, что оно не так прочно, как эта книга, и несравненно дороже стоит. Каждый собор поглощает миллиард. Представьте же себе, какие колоссальные затраты понадобились бы на то, чтобы, так сказать, переписать заново всю архитектурную книгу, чтобы снова покрыть землю тысячами зданий, чтобы воскресить то время, когда, по словам очевидца, количество памятников зодчества было так велико, что, казалось, «и мир стряхнул с себя старые одежды, чтобы покрыться белыми ризами церквей». Erat enim ut si mundus, ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam ecclesiarum vestem indueret (Glaber Radulphus).

Между тем книга изготовляется так быстро, стоит так дешево и распространяется так легко! Что же удивительного, если человеческая мысль устремляется по этому склону? Впрочем, нельзя сказать, чтобы зодчество уже окончательно лишилось возможности всякого успеха, что оно уже никогда не будет в состоянии дать какого-нибудь единичного образцового произведения. Нет, и при господстве печатного станка зодчество может по временам воздвигать из сплава пушек и при помощи целой армии какую-нибудь

колонну, как складывались при господстве зодчества «Илиады» и «Романсеро», «Махабхараты» и «Нибелунги» — эти литературные творения целых народов, слитые воедино из отдельных рапсодий. Случай может вызвать к жизни и в двадцатом столетии гениального зодчего, как он породил в тринадцатом Данте. Но только зодчество уже никогда более не будет искусством общественным, коллективным и главенствующим. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества не будет строиться — оно будет печататься.

Если зодчеству и удастся случайно вновь подняться, оно не будет более стоять во главе; оно будет подчинено литературе, как литература в свое время была подчинена ему. Взаимоотношение обоих искусств изменится в обратном направлении. Несомненно, что изредка появлявшиеся в эпоху владычества зодчества поэмы имели много сходства с его собственными произведениями. Индийский Вияза, творец «Махабхараты», так же непроницаем, загадочен и странен, как сама пагода. Египетская поэзия отличается той же строгостью очертаний и величавостью, какою отличаются самые здания страны фараонов. В античной Греции в обоих искусствах царят кра-

сота, ясность и гармония. В христианской Европе поражают величавость католицизма, наивность народа и богатая, бьющая через край жизнедеятельность эпохи Возрождения. В общем, Библия походит на пирамиды, «Илиада» — на Парфенон, Гомер — на Фидия. Данте в тринадцатом столетии представляет как бы последний храм романского стиля, как Шекспир в шестнадцатом — последний готический собор.

Итак, делая окончательный вывод из всего сказанного, по необходимости очень отрывисто и бегло, мы видим, что человечество имеет, так сказать, две книги, два списка, два завета — библию каменную и библию бумажную: зодчество и печать. Бесспорно, сравнивая оба эти завета, обе эти книги, так широко раскрытые перед нами историей, мы невольно поддаемся чувству сожаления о покинутом величии этого гранитного письма, гигантские буквы которого изображались в виде колоннад, пилонов и обелисков, в виде гор, созданных и раскиданных рукою человека по всему лицу земли, начиная с Хеопсовой пирамиды и кончая Страсбургским собором. Будем же перечитывать прошлое, начертанное на этих каменных страницах; будем чаще перелистывать книгу, написанную зодчеством, и восхищаться ею, но

не будем ради нее отрицать и величия здания, воздвигнутого в свою очередь печатью.

Это здание колоссально. Какой-то статистик-любитель вычислил, что если положить одну на другую все книги, вышедшие из-под печатного станка со времени Гуттенберга, то они могли бы заполнить все расстояние между Землей и Луною. Положим, мы говорим не о таком величии, однако не можем не заметить, что если мы попытаемся вычислить в уме всю сумму произведений печати от начала ее возникновения и до наших дней, то перед нашим воображением действительно возникает такое исполинское здание, которое своим основанием покроет весь земной шар и вершиною затеряется в туманах будущего, потому что оно постоянно увеличивается неустанными трудами всего человечества. Это вечно кишащий муравейник умов — улей, куда все золотистые пчелы воображения сносят свой сладкий мед. Это здание имеет тысячи этажей. Здесь и там в его стенах зияют темные впадины бесчисленных, пересекающих друг друга пещер, выкапываемых в нем наукою. Искусство щедрою рукою украшает это гигантское здание своими арабесками, розетками и кружевами. Каждое отдельное произведение, каким бы причудливым

и обособленным оно ни казалось, имеет здесь свое место и находится на виду. Тысячи башен разбросаны в этом здании во всех направлениях, заполняя промежутки между собором Шекспира и мечетью Байрона. На самом же его основании переписаны некоторые из древних грамот человечества, не вошедшие в список зодчества. Налево, у входа, воспроизведен белый мраморный барельеф Гомера, направо возвышает свои семь голов многоязычная Библия. Дальше щетинятся гидра «Романсеро» и некоторые другие гибриды поэзии, Веды и «Нибелунги». Но как ни велико это здание, оно все еще не закончено. Печать, этот гигантский механизм, безостановочно выкачивающий из общества все его соки, неустанно подбавляет новые строительные материалы. Все человечество собралось для работы на лесах этого здания. Каждый ум здесь является каменщиком. Самый смиренный работник кладет свой камень или заделывает еле заметную щель. Ретиф де ла Бретон тащит свою корзину с мусором. Каждый день кладется новый ряд камней. Независимо от самостоятельных трудов отдельных творцов, в бесконечное здание печати вводятся и целые части, созданные коллективно. Восемнадцатый век создает «Энциклопедию», а революция —

«Moniteur». Здание печати растет и тянется вверх бесконечными спиралями. Здесь мы присутствуем при смешении всевозможных языков, видим беспрерывную деятельность, неутомимый труд, напряженное соревнование всего человечества, созидание убежища для мысли на случай нового потопа или нашествия варваров. Это вторая Вавилонская башня, возводимая человечеством.

Книга шестая
I. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру

В 1482 году во всем Париже не было человека счастливее благородного Робера д'Эстувиля, сьёра де Бейна, барона д'Иври и Сен-Андри ан ла Марш, советника и камергера короля и парижского прево. Последнюю должность, очень почетную, он получил от короля еще семнадцать лет тому назад, а именно 7 ноября 1465 года, столь памятного появлением страшной кометы[76]. Кстати сказать, эта должность давала гораздо больше прав, чем обязанностей, по определению Иоанна Лемнея, сказавшего о ней: «Dignitas, quae cum non exiqua potestate politiam concernente, atque praerogativis multus et juribus conjuncta est»[77]. В 1482 году было чудом увидеть человека, состоящего на королевской службе со времени

[76] Сноски: 76

Эта комета, при появлении которой Папа Каликст, дядя Борджиа, повелел всенародно молиться, появилась вновь в 1835 году. (*Примеч. В. Гюго.*)

[77] Сноски: 77

«Должность, которая соединяет с немалой государственной властью многие прерогативы и права» (*лат.*).

бракосочетания побочной дочери Людовика XI с незаконным сыном герцога Бурбонского. В тот же самый день, когда Робер д'Эстувиль заместил Жака де Вилье в звании главного парижского судьи, мэтр Жан Довэ был назначен первым президентом парламентского суда на место мессира Эли де Торета, Жан Ювенал Дезюрсен сменил Пьера де Морвилье в должности государственного канцлера, а Реньо де Дорман сделался преемником Пьера Пюи в должности начальника канцелярии королевского двора. С тех пор три последние должности много раз уже переходили из рук в руки, а Робер д'Эстувиль все еще сидел на своем месте. Королевский патент гласил, что должность главного парижского судьи «дается ему на хранение», и он действительно хранил ее хорошо. Он так крепко вцепился в эту прибыльную должность, точно прирос к ней и сроднился с нею, и, несмотря на страсть Людовика XI к переменам, усидел на месте.

Как известно, этот недоверчивый и упрямый король, постоянно сам во все входивший, любил поддерживать упругость своей власти частыми перемещениями должностных лиц, увольнением старых и назначением новых. Что же касается д'Эстувиля, то почтенный прево, на случай своей

смерти, добился даже и для своего сына формального закрепления за ним должности главного парижского судьи, так что за последние годы имя его сына, Жака д'Эстувиля, конюшего, красовалось рядом с именем отца в списке служебного персонала Парижского судебного приказа. Поистине редкая и знаменательная милость! Правда, Робер д'Эстувиль был храбрый воин и в свое время мужественно бился за короля против Лиги общественного блага, а в день въезда королевы в Париж поднес ей великолепного сахарного оленя. Кроме того, он пользовался расположением мессира Тристана л'Эрмита, начальника королевской дворцовой стражи. Вообще мессир Робер благоденствовал. Во-первых, он получал приличное жалованье, к которому были прицеплены, как кисти к виноградной лозе, разные побочные доходы, например: доход с судебных пошлин по гражданским и уголовным делам, подлежавшим разбору в Главной парижской судебной палате; доходы с дел, разбиравшихся в Шатлэ; мостовые пошлины в Манте и Корбейле и проч., не считая доходов по разным другим статьям, вроде поборов с меряльщиков дров, с весовщиков соли и проч. Прибавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в блеске своего

великолепного военного мундира на фоне полукрасных, полукоричневых одеяний мещанских старост и квартальных. Кстати, кто желает иметь верное понятие об этом мундире, тот может полюбоваться его точным изображением на могиле Робера д'Эстувиля в Вальмонском аббатстве, в Нормандии. Там же находится и его шлем со следами ударов, полученных в сражении при Монлери. А чего стоило наслаждение сознавать себя начальником над двенадцатью сержантами, над привратниками и сторожами Шатлэ, над двумя аудиторами того же Шатлэ, над шестнадцатью комиссарами стольких же парижских кварталов, над тюремщиком Шатлэ, над четырьмя сержантами ленными, ста двадцатью конными и ста двадцатью сержантами-жезлоносцами, над начальником ночной стражи со всеми его помощниками? А разве плохо было иметь право решать и вершить всевозможные судебные дела, вешать, четвертовать и подвергать наказанию плетьми у позорного столба, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции (in prima instantia, как говорилось в тогдашних хартиях) по всему парижскому виконтству с его семью судебными округами? Можно ли представить себе что-нибудь приятнее возможности чинить суд и

расправу, как это ежедневно делал мессир Робер д'Эстувиль, заседая в залах Большого Шатлэ, под широкими и придавленными сводами эпохи Филиппа Августа, а затем возвращаться вечером в прелестный домик на Галилейской улице возле королевского дворца, полученный им в приданое за своею женою, Амбруазою де Орэ, и спокойно предаваться там сладкому отдыху после трудов? Труды же эти состояли главным образом в том, чтобы осудить какого-нибудь горемыку на ночевку в «маленькой горенке в улице д'Эскоршери, употреблявшейся судьями и старшинами города Парижа в качестве тюрьмы и имевшей одиннадцать футов в длину, семь футов четыре дюйма в ширину и одиннадцать футов в вышину»[78].

Мессир Робер д'Эстувиль имел не только свою собственную юрисдикцию в качестве прево и виконта Парижского, но и долю в делах высшего королевского суда, участвуя как в разбирательствах, так и в прибылях последнего. Не было ни одной сколько-нибудь высокопоставленной личности, которая не прошла бы через его руки, прежде чем попасть в руки палача. Таким образом, он имел удовольствие вести на казнь из

[78] Сноски: 78

См.: Отчеты по управлению коронными имуществами за 1383 год. (*Примеч. В. Гюго.*)

Бастилии на площадь Главного рынка герцога Немурского, а на Гревскую площадь для той же надобности коннетабля Сен-Поля, который на пути к казни кричал и вырывался, к немалой радости господина прево, сильно его недолюбливавшего.

Разумеется, всего этого было вполне достаточно, чтобы сделать человека счастливым и знаменитым и чтобы обеспечить за ним впоследствии местечко на страницах той интересной истории парижских главных судей, из которой мы, между прочим, узнаем, что Удар де Вильнёв имел собственный дом на улице Бушри, что Гильом де Ганга купил Большую и Малую Савойю, что Гильом Тибу завещал монахиням Святой Женевьевы свои дома на улице Клопэн, что Гюг Обрио жил в отеле «Поре-Эпик», и много других подробностей из быта этих господ.

Однако, несмотря на то, что Робер д'Эстувиль имел столько причин быть довольным своей жизнью, утром 7 января 1482 года он проснулся в самом отвратительном расположении духа. Почему — он и сам не сумел бы определить. Быть может, его расстраивала пасмурная погода? Быть может, пряжка от его портупеи, побывавшей в сражении при Монлери, была неловко застегнута

и слишком сжимала раздобревшую талию судьи? Или же его рассердила кучка гуляк, которые, точно насмехаясь над ним, прошли под его окнами, щеголяя своими лохмотьями и продавленными шляпами, с сумками и фляжками у пояса? А может статься, его томило предчувствие грядущей беды, ожидавшей его в следующем году, когда новый король, Карл VIII, вынужден был более чем на триста семьдесят ливров урезать доходы парижского главного судьи? Предоставляем читателю самому решить, какое из этих предположений вернее. Что же касается нас, то мы склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.

К тому же накануне был праздник, то есть день и вообще-то скучный, а в особенности для чиновника, обязанного убирать всю грязь, какую в прямом и переносном смысле оставляет после себя праздник в Париже. Кроме всего этого, нужно принять во внимание и то, что Роберу д'Эстувилю предстояло в этот день заседать в Шатлэ. Насколько мы могли заметить, судьи всегда стараются подогнать дурное расположение духа к тем дням, когда им предстоит присутствовать на заседаниях. Впрочем, они делают это, вероятно, с тою целью, чтобы иметь возможность отыграть-

ся на подсудимом, ссылаясь на короля, закон и юстицию.

В этот раз заседание началось без него. Назначенные на этот день дела, по обыкновению, разбирались его помощниками, замещавшими его в уголовном и гражданском отделениях суда. Уже с восьми часов утра несколько десятков обывателей обоего пола набилось в тесное пространство между стеною и крепкою дубовою решеткою; это место было отведено для публики в самом тесном углу залы судебных заседаний в Шатлэ. Публика всегда с удовольствием присутствовала при разнообразных и подчас увеселительных эпизодах разбирательства, чинимого мэтром Флорианом Барбдьёном, аудитором суда Шатлэ и помощником господина прево, переходившим от гражданских дел к уголовным и обратно как попало, по вдохновению.

Зал суда был небольшой, низкий и сводчатый. В глубине его находился стол, украшенный изображениями лилий, а перед столом помещалось дубовое резное кресло судьи, которое в эту минуту было пусто. Налево от кресла была скамья, на которой восседал аудитор, мэтр Флориан. Несколько пониже, на другой скамье, помещался секретарь суда, что-то строчивший. Публика сиде-

ла напротив стола, по ту сторону решетки. Возле дверей было выстроено несколько сержантов суда в лиловых камлотовых одеяниях с белыми крестами. Двое других сержантов, в красных с голубым камзолах, стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала позади стола. При бледном свете январского утра, проникавшего через единственное стрельчатое окно, проделанное в толстой стене, особенно выделялись две забавные фигуры: причудливый каменный демон, высеченный в самой середине свода зала, и аудитор, сидевший в глубине зала у разукрашенного лилиями стола.

В самом деле, трудно представить себе более смешную фигуру, чем та, которая сидела за столом между двумя кипами бумаг. Локтями эта фигура тяжело опиралась на стол, а одна из ее ног покоилась на длинном шлейфе темного суконного платья. Голову фигуры украшала шапка, обшитая белым барашком. Брови походили на два клочка меха, оторванных от шапки, лицо было красного цвета, щеки лоснились от жира и величественно свисали по обеим сторонам лица, почти сходясь у подбородка, а выпученные глаза постоянно мигали. Это был мэтр Флориан Барбдьён, аудитор Шатлэ.

Вдобавок господин аудитор был глух. Но глухота, очевидно, не важный порок для судьи, потому что она нисколько не препятствовала мэтру Флориану судить довольно здраво и выносить безапелляционные приговоры. Да оно и верно: для судьи совершенно достаточно лишь показывать вид, что он слушает, а этому условию, которое одно только и существенно в деле правосудия, почтенный аудитор удовлетворял вполне, так как его внимание не нарушалось никаким посторонним шумом.

Впрочем, в зале суда неумолимо контролировал каждое слово и движение мэтра Флориана наш приятель Жан Фролло де Мулен, этот безбородый студент и неутомимый пешеход, которого всегда можно было встретить в любом уголке Парижа, только не перед профессорской кафедрой.

— Смотри-ка, — шепотом говорил он сидевшему рядом с ним и посмеивавшемуся Робену Пуспену, которому он взялся объяснять все, что происходило у них перед глазами, — ведь это Жанета дю Буисон, красивая дочка лентяя с Нового рынка. И этот старый хрыч произносит над нею обвинительный приговор!.. Да у него, нужно полагать, нет не только ушей, но и глаз!.. Платить пятнадцать су и четыре денье только за

то, что нацепила на себя пару четок! Дорогонько! Lex duri carminis[79]. А это кто? А-а! Робен Шеф де Виль, кольчужный мастер… С него взимается пошлина «по случаю принятия его мастером в сказанный цех…». Это его вступительный взнос!.. Э, да вот и двое дворян посреди этого сброда! Эгле де Суан и Гютен де Мальи! Два рыцаря, клянусь телом Христовым! А-а! Их притянули за игру в кости… Когда же наш ректор попадет сюда? Сто ливров парижской чеканки в пользу короля? Здорово! Однако этот Барбдьён бьет с плеча, как глухой!.. Ну, я готов хоть сейчас превратиться в своего почтенного братца господина архидьякона, если это может помешать играть в кости. Я буду играть днем и ночью, стану жить за игрою и умру за игрою, предварительно спустив после своей последней рубашки и душу!.. Пресвятая Дева! Сколько девиц-то!.. Смотри, смотри, так и валят одна за другой, как овечки. Амбруаза Лекюер, Изабо ла Пайнет, Берарда Жиронен… Это всё мои знакомые… Ба! Все они присуждаются к штрафу… Вот то-то, голубушки! Будете знать, как щеголять в золотых поясах, когда вас каждый раз заставят платить за это удовольствие по десяти

---

[79] Сноски: 79
Закон сурового постановления (*лат.*).

парижских су… Ишь, щеголихи какие! Ах ты, старая судейская морда! Глупая, глухая башка! Флориан-болван, дурак Барбдьён!.. Ишь, сидит за столом, как боров, и жрет все, что ни попало: подсудимых, дела — все чавкает, скотина! Наколачивает, наколачивает себе брюхо, а все ему мало!.. Штрафы, пени, пошлины, судебные издержки, протори и убытки, тюрьма, железные узы, — словом, весь ад для подсудимых, а для него это настоящие лакомства, все равно что для других святочные пряники или марципаны, которыми угощают в Иванов день… Ты взгляни только на эту свинью! Ах, вот еще одна жрица любви! Сама Тибо ла Тибод, собственной персоной… Ее привлекли за то, что она вышла за пределы улицы Глатиньи… А это что за молодец? Ба! Жифруа Мабон, жандарм из стрелковой команды… Он-то за что попался?.. А! «За произнесение всуе имени Божьего…» Так! К штрафу ла Тибод! К штрафу и Жифруа!.. Ну, глухой тетерев, кажется, перепутал оба дела. Ставлю десять против одного, что девицу он приговорил к штрафу за крепкое словцо, а жандарма — за легкое поведение… Ну, Робен Пуспен, теперь внимание! По всему видно, что ждут кого-то важного… Гляди, сколько собралось жандармов — чуть не со всего

Парижа!.. Вся свора ищеек налицо… Наверное, дошла очередь до крупной дичи, вроде кабана… И то кабан, настоящий кабан!.. Гляди-ка, Робен, гляди!.. Ба! Да ведь это наш вчерашний владыка, наш папа шутов, наш звонарь, наш горбун, наш кривоглазый гримасник, — словом, Квазимодо! Вот так штука!

Это действительно был Квазимодо.

Звонарь шел, крепко связанный и окруженный сильным конвоем, состоящим из городских сержантов под предводительством самого начальника ночной стражи, у которого на груди был вышит французский государственный герб, а на спине — герб города Парижа. Впрочем, в самом Квазимодо, если не считать его феноменального безобразия, не было ничего такого, что требовало бы стольких алебард и ружей; он был угрюм, безмолвен и спокоен. Лишь изредка, украдкою, он бросал своим единственным глазом гневный взгляд на стягивавшие его веревки.

Войдя в зал, он осмотрелся вокруг с видом такой сонливости и тупости, что женщины без всякого страха смеялись, указывая на него друг другу пальцами.

В это время мэтр Флориан внимательно перелистывал протокол, составленный по делу

Квазимодо и поданный аудитору секретарем суда.

Просмотрев этот протокол, судья помолчал с минуту, как бы собираясь с мыслями. Он всегда придерживался этой предосторожности, прежде чем приступить к допросу. Ознакомляясь заранее с именем, званием и проступком подсудимого, аудитор приискивал наперед возражения на ответы, которых ожидал по существу дела. Таким образом он почти всегда выпутывался из всех затруднений допроса, не выдавая перед присутствующими своей глухоты. Протоколы предварительного следствия служили для него тем же, чем служит собака для слепого. Если ему иногда и случалось выдавать свой недостаток каким-нибудь неуместным вопросом или замечанием, то у одних это сходило за глубокомыслие, а у других — за доказательство его глупости.

В том и другом случае честь судебного сословия нисколько не страдала, потому что для судьи гораздо лучше прослыть глубокомысленным или глупым человеком, нежели глухим. Итак, тщательно скрывая свою глухоту, он делал это так успешно, что в конце концов и сам позабывал о своем недостатке. Дойти до такого самообмана гораздо легче, чем думают.

Все горбуны ходят, высоко подняв голову, все заики считают себя великими ораторами, глухие говорят чуть ли не шепотом. Что же касается нашего аудитора, то он считал себя только несколько «туговатым» на ухо. Это была единственная уступка общему мнению, но и до нее он доходил только в минуты откровенности и строгой самопроверки.

Таким образом, мысленно переварив как следует дело Квазимодо, мэтр Флориан откинул назад голову и прищурил глаза, чтобы придать себе более внушительный и беспристрастный вид, благодаря чему он в эту минуту был не только глух, но и слеп. Известно, что только при соблюдении этих двух условий и можно быть идеальным судьею. Приняв величественную позу, аудитор начал допрос:

— Ваше имя?

Но здесь возникло недоразумение, не предусмотренное законом: глухой стал допрашивать глухого.

Не видя никаких признаков, по которым он мог бы догадаться, что аудитор обратился к нему с вопросом, Квазимодо молчал, впиваясь своим единственным глазом в судью. Глухой же судья, который тоже ничего не знал о глухоте подсуди-

мого, думал, что тот ответил на вопрос, как это обыкновенно делают все подсудимые, и повел дальнейший допрос своим глухим монотонным голосом, не теряя, впрочем, своего величия:

— Так… Ну а сколько вам лет?

Квазимодо и на этот вопрос ответил молчанием, а судья, в полной уверенности, что подсудимый уже ответил, продолжал:

— Ваше звание?

То же молчание. Публика начала переглядываться и перешептываться.

— Довольно, — проговорил невозмутимый аудитор, когда, по его мнению, подсудимый успел ответить и на последний вопрос. — Вы обвиняетесь перед судом: primo — в учинении ночного буйства; secundo — в насильственных действиях против женщины легкого поведения; in praejudicium meretricis, tertio — в бунте и неповиновении стрелкам, состоящим на службе его величества, нашего всемилостивейшего короля. Отвечайте по всем этим пунктам обвинения… Секретарь, вы записали предыдущие ответы подсудимого?

При этом злополучном вопросе по всему залу, начиная с секретарской скамьи и кончая местами для публики, пронесся такой неистовый,

заразительный, дружный хохот, что даже глухой судья и глухой подсудимый не могли не заметить его. Квазимодо обернулся, презрительно поводя своим горбом, меж тем как судья, уверенный, что хохот вызван каким-нибудь непочтительным замечанием подсудимого по его адресу, чем объяснялось и презрительное движение Квазимодо, с негодованием воскликнул:

— За такой ответ, негодяй, тебя следовало бы повесить! Знаешь ли ты, с кем говоришь?

Эти слова аудитора подлили масла в огонь и, конечно, не могли остановить взрыва общей веселости. Новая выходка судьи так поразила всех своей несообразностью, что даже сержанты, у которых тупоумие составляло своего рода необходимую принадлежность, не выдержали и дружно захохотали. Один Квазимодо оставался серьезным, по той простой причине, что он ровно ничего не понимал из происходившего вокруг. Что же касается судьи, то, раздражаясь все более и более, он нашел нужным продолжать в начатом им тоне, надеясь нагнать этим страх на подсудимого и оказать косвенное воздействие на публику, напомнив ей о должном уважении к суду:

— Понимаешь ли ты, бессовестный и раз-

вращенный человек, что ты позволяешь себе забываться перед аудитором суда Шатлэ, перед сановником, которому вверена охрана порядка в городе Париже, перед лицом, на которое возложены многотрудные и важные обязанности: преследовать все преступления, проступки и непорядки; иметь надзор за всеми промыслами и ремеслами и не допускать монополий; содержать в порядке мостовую; пресекать злоупотребления в торговле домашней птицей и дичью; следить за правильною мерою дров; очищать город от нечистот и воздух от заразительных болезней, — словом, неусыпно печься о благополучии обывателей? И все это я должен делать совершенно безвозмездно, я не получаю за это ни жалованья, ни какого-либо иного вознаграждения, даже не имею надежды на что-либо подобное… Так знай же, что я — Флориан Барбдьён, помощник самого господина прево, кроме того, комиссар, следователь, контролер и допросчик, и пользуюсь одинаковыми полномочиями во всех судебных учреждениях, как городских, так и прочих.

Когда глухой обращается к другому глухому, ему нет никакой надобности останавливаться, потому что его никто не перебивает. Бог знает, когда остановил бы мэтр Флориан поток своего

красноречия, если бы в эту минуту не отворилась низенькая дверь за судейским столом и в зал не вошел сам господин прево.

При появлении начальника аудитор вскочил со своего места и, сделав довольно ловкий поворот на каблуках, продолжал с прежней горячностью, обращаясь к главному судье:

— Монсеньор, я требую наказания, какое вы найдете нужным назначить для этого вот подсудимого; он осмелился издеваться над судом!

Выпалив задыхающимся голосом эти слова, он снова уселся на свое место, тяжело дыша и отирая крупные капли пота, которые выступили у него на лбу и градом скатывались на лежащие перед ним бумаги.

Мессир Робер д'Эстувиль нахмурил брови и обратился к подсудимому с таким выразительным, грозным жестом, что Квазимодо, несмотря на свою глухоту и тупость, поневоле насторожился.

— Отвечай, негодяй, — строго проговорил прево, — за какое преступление ты попал в суд?

Бедняк подумал, что судья спрашивает, как его зовут, и, прервав свое обычное молчание, он ответил хриплым горловым голосом:

— Квазимодо.

Ответ так плохо гармонировал с вопросом, что

в публике снова раздался оглушительный хохот. Мессир Робер, весь красный от гнева, вне себя вскрикнул:

— Как, мерзавец, ты, кажется, вздумал потешаться и надо мною?!

— Звонарь собора Богоматери, — снова невпопад ответил Квазимодо, думая, что судья спрашивает, кто он такой.

— А, звонарь! — продолжал прево, который, как мы уже говорили, в этот день встал левой ногой с постели, а потому и без таких ответов подсудимого готов был вспылить каждую минуту. — Звонарь! Хорошо! Я прикажу задать тебе на парижских перекрестках такого трезвона по спине, что ты вовек не забудешь!

— Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — продолжал Квазимодо, — то мне в Мартинов день, должно полагать, будет двадцать лет.

Это было уже слишком. Прево окончательно вышел из себя.

— Ах ты, мерзавец! — крикнул он не своим голосом. — Ты уж начинаешь издеваться над самим главным судьей?! Господа сержанты-жезлоносцы! Отведите этого нахала на Гревскую площадь, привяжите его там к позорному столбу и бейте

плетью целый час… Он у меня поплатится за свои дерзости!.. И об этом приговоре объявить через глашатаев, в сопровождении четырех присяжных трубачей, по всем семи округам парижского виконтства!

Секретарь принялся писать письменный приговор.

— Черт возьми! Вот это суд так суд! — воскликнул из своего угла студент Жан Фролло де Мулен.

Прево обернулся и снова устремил на Квазимодо разъяренный взгляд.

— Кажется, этот негодяй сказал «черт возьми»? Секретарь, прибавьте к наложенному наказанию еще двенадцать парижских денье штрафа за произношение бранных слов, и пусть половина этого штрафа пойдет в пользу церкви Святого Евстафия, к которому я чувствую особенное уважение.

Через несколько минут приговор был готов. Содержание его было коротко и ясно. В то время обычаи парижского суда еще не были преобразованы президентом Тибо Бэллье и прокурором Роже Бармо. Судопроизводство тогда не загромождалось еще тем дремучим лесом формальностей и крючкотворства, который эти юристы насадили в нем в начале шестнадцатого столетия. Тогда все было просто, ясно и делалось очень быстро. Пра-

восудие шло прямо к цели, без всяких изворотов и обходов, так что во время самого судопроизводства сразу можно было видеть, к чему будет присужден подсудимый: к виселице, позорному столбу или к четвертованию. По крайней мере, каждый знал, что его ожидает.

Секретарь подал приговор господину прево, который, скрепив его своею подписью и печатью, тотчас же вышел из зала, чтобы продолжать свой обход по другим отделениям суда. Расположение духа, в котором он удалился, было таково, что можно было ожидать значительного увеличения населения парижских тюрем в этот день.

Жан Фролло и Робен Пуспен посмеивались. Квазимодо озирался с равнодушным и недоумевающим видом.

В то время как мэтр Флориан пробегал глазами приговор и готовился в свою очередь подписать его, в секретаре суда шевельнулось чувство сострадания к осужденному, и он, в надежде добиться смягчения приговора, наклонился к самому уху аудитора и довольно громко сказал, указывая на Квазимодо:

— Он глух.

Секретарь предполагал, что эта общность физического недостатка расположит мэтра Флориана

в пользу осужденного. Но аудитор, во-первых, как мы уже сказали, вовсе не желал, чтобы другие замечали его собственную глухоту, а во-вторых, он был так туг на ухо, что не расслышал ни одного звука из того, что ему сказал секретарь. Не желая, однако, показывать этого, он ответил:

— Вот как! Ну, я не знал этого… В таком случае прибавьте негодяю еще один час наказания у позорного столба.

И он подписал исправленный в таком виде приговор.

— Славно! Поделом ему! — обрадовался Робен Пуспен, затаивший обиду на Квазимодо. — Это научит его быть повежливее с людьми.

II. «Крысиная нора»

Теперь мы попросим читателя вернуться с нами на Гревскую площадь, которую мы оставили накануне, чтобы вместе с Гренгуаром последовать за Эсмеральдой.

Было десять часов утра. Вся площадь носила следы минувшего празднества. Мостовая была усеяна обрывками, лентами и тряпками, перьями от шляп, каплями воска от факелов, объедками вчерашнего народного пира. Тут и там еще бро-

дили кучки зевак, шевеля ногами потухавшие угли вчерашних костров и любуясь фасадом Дома с колоннами, который накануне был так роскошно задрапирован, а теперь щеголял одними гвоздями, на которых держалась драпировка. Среди публики сновали продавцы сидра и пива со своими тележками. По всем направлениями площади шли деловые люди, спешившие к своим обязанностям. Торговцы переговаривались, стоя на порогах своих лавок. Толковали о вчерашнем празднике, о фламандских послах, о Коппеноле, о папе шутов. Каждый старался сообщить какой-нибудь курьез и первый смеялся своему рассказу. Вдруг на площади появились четыре конных сержанта и расположились у четырех углов позорного столба. Появление их привлекло со всех концов площади любопытных, тотчас же обступивших позорный столб и добровольно обрекших себя на продолжительную неподвижность и скуку в надежде насладиться зрелищем предстоящего истязания человека.

Если теперь читатель, полюбовавшись шумными, оживленными сценами, происходившими во всех концах площади, перенесет свой взор на старинный дом полуроманской, полуготической архитектуры, известный под названием

Роландовой башни и занимающий западный угол площади, то он может заметить на одном из углов фасада этого дома большой требник с роскошно разрисованными страницами. Этот требник защищен от дождя небольшим навесом, а от воров — решеткой, не мешающей, однако, переворачивать листы. Рядом с требником находится небольшое узкое окно стрельчатой формы, перегороженное двумя скрещивающимися железными полосами. Окно выходит на площадь и служит единственным отверстием, пропускающим немного света и воздуха в тесную келью без дверей, проделанную на уровне мостовой в стене старого здания. Глубокая, мертвая тишина, постоянно царящая в этой келье, производит особенно сильное впечатление, потому что тут же, рядом с нею, кипит жизнь одной из самых людных и шумных площадей Парижа.

Эта келья еще около трехсот лет тому назад была прославлена Роландой, владелицей Роландовой башни. Оплакивая своего отца, погибшего в одном из крестовых походов, она приказала вырубить в стене своего дома келью и заперлась в ней навсегда. От всего своего роскошного жилища она оставила себе только эту тесную комнатку, вход в которую приказала замуровать,

оставив только небольшое окно; это окно она держала открытым круглый год, летом и зимою. Все свое имущество она раздала нищим. Двадцать лет дожидалась смерти безутешная дочь крестоносца в этой каменной могиле, в которую она заточила себя заживо. Дни и ночи она проводила в молитве, спала на куче золы, не имея даже камня под головою, носила рубище и питалась только хлебом и водою, которые сострадательные прохожие ставили на наружный выступ ее окна. Раздав все, что имела, она сама стала существовать одним подаянием. Перед смертью, прежде чем перейти в вечную могилу, она свою временную могилу завещала тем вдовам или осиротевшим девушкам, которые захотят, в сильной скорби или раскаянии, так же, как она, похоронить себя заживо, чтобы замаливать свои или чужие грехи. На погребение умершей затворницы собралась вся голь и беднота того времени и с честью проводила ее на вечный покой, напутствуя своими слезами и благословениями. Но, к величайшему удивлению и сожалению бедняков, подвижница не была объявлена святой — у нее не было протекции при папском дворе. Те из ее почитателей, которые отличались некоторым вольнодумством, утешались мыслью, что

в Царстве Небесном к добровольной затворнице отнесутся лучше, чем в Риме, и довольствовались тем, что усердно молились за нее. Большинство свято чтило ее память и благоговейно хранило остатки ее рубища. Город, со своей стороны, по желанию девицы Роланды прикрепил под фонарем рядом с ее кельей требник. Это было сделано с той целью, чтобы прохожие останавливались в этом месте и читали молитву, которая могла бы навести их на мысль о милостыне затворницам, поселившимся в келье Роланды, чтобы они не умерли с голода, всеми позабытые.

Такого рода могилы посреди городов не были особенной редкостью в Средние века. Очень часто на какой-нибудь людной улице или среди шумного рынка, кишащего народом, чуть не под ногами лошадей и колесами тележек продавцов, можно было заметить замурованную нору, нечто вроде подвала или колодца, с еле заметным окончем, заделанным железною решеткою. В такой норе добровольно проводило свой век какое-нибудь человеческое существо, оплакивая большое горе или замаливая тяжкое преступление. В наше время подобное зрелище вызвало бы в каждом улыбку сожаления и множество размышлений, но тогда оно действовало на толпу иначе. Эта

ужасная нора, служившая как бы промежуточным звеном между домом и гробом, между городом и кладбищем; этот живой покойник, отрешенный навсегда от всякого общения с живыми людьми; эта жизнь, догорающая во мраке, подобно лампе, в которую больше не подливается масла; этот голос, неустанно твердящий слова молитвы в четырех стенах каменного ящика; это тело, заточенное в склепе, и вечное томление духа в своем двойном заключении — все это тогда не замечалось толпой. В те времена благочестивые люди не рассуждали и не вдавались в подробности, когда речь шла о подвиге благочестия. Они брали факт целиком, высоко чтили подвиг самоотречения, преклонялись пред ним, признавали его святым делом, но не анализировали тех страданий, с которыми был сопряжен этот подвиг для того, кто его выполнял, и не особенно плакали над участью добровольного мученика. Время от времени они приносили ему корку хлеба, заглядывали в окошко, чтобы удостовериться, жив ли он еще, но часто не знали даже имени затворника и едва ли могли сказать, сколько лет тому назад он обрек себя на медленную смерть в своей норе. На расспросы посторонних о живом скелете, похороненном в подвале, соседи просто

отвечали, что это затворник или затворница, и больше ничего.

В те времена на все явления жизни смотрели без всяких мудрствований, без всяких преувеличений, так сказать, простым, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для предметов мира вещественного, ни для явлений мира духовного. К тому же случаи подобного добровольного заточения среди шумной жизни городов были делом самым обыкновенным. Немало было таких келий и в Париже, и все они были почти всегда заняты. Да и само духовенство заботилось о том, чтобы кельи не пустовали, так как это было признаком оскудения веры в народе, и если не оказывалось налицо добровольных подвижников, то в эти норы замуровывали прокаженных. Кроме кельи на Гревской площади другая такая же келья была на Монфоконе, третья находилась близ кладбища «Невинных душ», а четвертая — не помню, где именно, кажется, в стене особняка Клишон. Несколько таких же убежищ было разбросано в разных других местах. Предания о них сохранились до наших дней, хотя сами здания, в которых они были устроены, уже давно не существуют. В квартале Университета тоже были такие же места добровольного

заточения. На горе Святой Женевьевы какой-то средневековый Иов целых тридцать лет распевал все семь покаянных псалмов, сидя на гноище, в каком-то колодце. Окончив седьмой псалом, он тотчас же начинал опять первый. Особенно громко он пел по ночам — magna voce per umbras[80]. Еще в наши дни любителю, посещающему улицу Говорящего колодца на горе Святой Женевьевы, мерещится голос этого певца.

Но возвратимся к келье Роландовой башни. В затворницах, желавших занять эту келью, редко бывал недостаток, поэтому она почти не пустовала, а если это и случалось, то ненадолго, самое большее на год, на два. Немало женщин оплакивало в ней своих погибших родных, возлюбленных, детей или свои прегрешения. Парижские сплетники, вмешивающиеся во все, даже и в то, чего им не следовало бы и касаться, утверждали, что менее всего в этой келье перебывало вдов.

По обычаю той эпохи, латинская надпись, вырезанная на стене, указывала грамотному прохожему на благочестивое назначение кельи. Вообще вплоть до середины шестнадцатого сто-

---

[80] Сноски: 80
Громким голосом во тьме (*лат.*).

летия еще сохранился обычай пояснять значение зданий коротеньким изречением над его входом. Так, например, во Франции и теперь можно прочесть над калиткою тюрьмы в Турвильском замке надпись: «Sileto et spera»[81]. В Ирландии, на щите, которым украшены главные ворота замка Фортескью, мы читаем: «Forte scutum, salus ducum»[82]. В Англии, над главным входом гостеприимного замка графов Каупер, видим надпись: «Tuum est»[83]. И это понятно: ведь в те времена каждое здание выражало собою какую-нибудь мысль.

Так как замурованная келья Роландовой башни не имела двери, то над ее окном были вырезаны крупными романскими буквами следующие два слова: «Tu ora»[84].

Народ, здравый смысл которого не любит останавливаться на разных тонкостях и который не стесняется переделкой слов Ludovico Magno в «во-

---

[81] Сноски: 81
«Молчи и надейся» (*лат.*).

[82] Сноски: 82
«Крепкий щит — спасение вождей» (*лат.*).

[83] Сноски: 83
«Это твое» (*лат.*).

[84] Сноски: 84
«Ты молись» (*лат.*).

рота Сен-Дени», прозвал этот темный, мрачный и сырой склеп «Крысиною норой» — «Trou aux rats». Название это если и не так величественно, зато гораздо образнее.

III. Рассказ о маисовой лепешке

В то время, к которому относится наш рассказ, келья Роландовой башни была занята. Если читатель полюбопытствует узнать, кем именно, пусть прислушается к беседе трех почтенных кумушек, которые как раз в ту минуту, когда мы остановили внимание читателя на «Крысиной норе», шли в ее сторону, пробираясь от Шатлэ вдоль реки к Гревской площади.

Две из этих кумушек были одеты так, как подобало настоящим парижским гражданкам. Их тонкие белые шейные косынки, юбки из полосатой, красной с голубым, шерстяной ткани, белые чулки с цветными вышитыми стрелками, красиво облегавшие ноги, желтые кожаные башмаки с квадратными вырезами и черными подошвами, а главное — их головные уборы наподобие рога из блестящей сетки, с которой спускалось множество лент и кружев, — указывали на их принадлежность к разряду богатых купчих,

занимающих среднее положение между теми, которых лакеи называют просто женщинами, и теми, которых они величают дамами. На них не было ни золотых колец, ни крестов, но сразу заметно было, что они отказывают себе в удовольствии щеголять такими украшениями вовсе не из бедности, а просто из боязни штрафа. Спутница этих купчих была одета приблизительно так же, как они, но во всем ее наряде и в манерах было что-то, изобличавшее в ней провинциалку. При одном взгляде на ее слишком высоко подтянутый пояс можно было понять, что она очень недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку со складками, банты на башмаках, юбку с поперечными, а не с продольными полосами и множество других отступлений от хорошего вкуса.

Купчихи шли той особенною походкою, которая свойственна только парижанкам, показывающим свою столицу приезжей родственнице или знакомой из какого-нибудь провинциального захолустья. Приезжая вела за руку толстого мальчугана, державшего в руке большую лепешку. К великому нашему прискорбию, мы должны сознаться, что, по случаю холодной погоды, он вместо носового платка пользовался своим язы-

ком.

Мальчик давал себя тащить non passibus aequis[85], как выражается Вергилий, и на каждом шагу спотыкался, причем его мать громко вскрикивала. И действительно, он больше смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Должно быть, важные причины мешали ему приняться за истребление этой лепешки и заставляли его довольствоваться одним любовным созерцанием ее. Матери следовало бы самой нести лепешку. Было слишком большою жестокостью подвергать этого толстощекого малыша мукам Тантала.

Между тем все три «дамуазели» (так назывались в то время женщины недворянского происхождения, в отличие от дам высшего сословия) без умолка тараторили.

— Однако нам нужно поторопиться, дамуазель Магиета, — говорила, обращаясь к провинциалке, самая молодая и вместе с тем самая толстая из кумушек. — Боюсь, мы опоздаем. Ведь в Шатлэ говорили, что его сейчас же поведут к позорному столбу.

— Ах, что вы, дамуазель Ударда Мюнье! — с жаром возразила другая парижанка. — Разве вы не

---

[85] Сноски: 85
Неровными шагами (*лат.*).

слыхали, что его продержат тут целых два часа? Времени у нас вполне достаточно… А вы видели когда-нибудь позорный столб, милая Магиета?

— Конечно, у нас в Реймсе, — отвечала провинциалка.

— Ну, какой уж позорный столб может быть у вас в Реймсе! Так, какая-нибудь дрянная клетка, в которой выставляют одних неотесанных крестьян… Есть чем хвалиться!

— Крестьян! — с негодованием повторила Магиета. — Это на Суконном-то рынке, в Реймсе? Ну, нет, вы ошибаетесь, мы видали там очень замечательных преступников, даже таких, которые убивали отца и мать!.. Крестьян!.. Да за кого вы нас принимаете, милая Жервеза?

Очевидно, провинциалка была готова энергично вступиться за честь позорного столба своего родного города. К счастью, благоразумная Ударда Мюнье поспешила свернуть разговор на другую тему.

— Кстати, дамуазель Магиета, — сказала она, — как понравились вам наши фламандские послы? Бывали у вас такие в Реймсе?

— Нет, надо сказать правду, что таких послов можно увидать только в Париже, — согласилась Магиета.

— А заметили вы между ними того высокого и толстого посла, который назвал себя чулочником?

— Да, — сказала Магиета, — он похож на настоящего Сатурна.

— А того толстяка, у которого лицо похоже на голое брюхо? — продолжала Жервеза. — И того низенького, с маленькими глазами и красными веками, растрепанного, как куст репейника?

— Больше всего мне понравились их лошади, — они так красиво обряжены по моде их страны, — заметила Ударда.

— Ах, моя милая! — воскликнула Магиета, в свою очередь принимая вид превосходства. — Что же вы бы сказали, если бы в шестьдесят первом году, восемнадцать лет тому назад, увидали лошадей принцев и королевской свиты у нас, в Реймсе, на коронации? Какие там были попоны и чепраки — просто умопомрачительные!.. У одних из дамасского сукна или из золотой парчи, обшитые соболями; у других — бархатные с горностаевой отделкой; у некоторых так и горели золотом, с толстыми золотыми или серебряными кистями… Каких страшных денег все это должно было стоить… А если бы вы видели, какие хорошенькие пажи сидели на этих лошадях!

— Все это может быть, — сухо сказала Ударда. — А все-таки и у фламандцев лошади очень хороши и богато убраны, да и ужин вчера был задан посольству на славу в ратуше господином купеческим старшиною. Говорят, за столом подавали обсахаренный миндаль, вино с корицей, пряности и другие редкости.

— Что вы, милая соседка! — вскричала Жервеза. — Да ведь фламандцы ужинали у кардинала, в Малом Бурбонском дворце!

— Да нет же! В ратуше.

— Ну, вот опять! Говорю вам, в Малом Бурбонском дворце!

— Нет, они ужинали именно в ратуше! — задорно возразила Ударда. — Еще доктор Скурабль сказал им там прекрасную латинскую речь, которой они остались очень довольны. Мне сказал это мой муж, присяжный книготорговец.

— Нет, — упорствовала Жервеза, — они ужинали в Малом Бурбонском дворце! Я даже могу перечислить вам все, что им представил посланный кардинала: двенадцать двойных бутылок вина с пряностями, белого, розового и красного; двадцать четыре коробки самых лучших раззолоченных лионских пряников; столько же факелов, весом в два фунта каждый; полдюжины белого и

красного боннского вина самого лучшего достоинства и много других хороших вещей… Думаю, что я лучше других должна это знать. Мне об этом рассказывал муж, а он, как вам известно, состоит пятидесятником в отряде судебных сержантов. Он сегодня утром сравнивал фламандских послов с послами императора требизондского, которые приезжали из Месопотамии в Париж при последнем короле и носили в ушах кольца.

— А все-таки фламандцы ужинали в ратуше, — продолжала Ударда, нисколько не смущенная доводами Жервезы. — Это так же верно, как и то, что с тех пор, как стоит ратуша, никогда не видали такой пропасти жарких и сластей.

— А я вам говорю, что они ужинали в Малом Бурбонском дворце! — кипятилась Жервеза. — Наверное, вас сбило с толку слышанное от кого-то, что им прислуживал сержант городского управления ле Сек. Вот вы все и спутали.

— Нет, это вы путаете! Они ужинали в ратуше.

— В Малом Бурбонском дворце, моя милая, в Малом Бурбонском! Я даже знаю, что слово «Надежда», которое выбито над главным входом в этот дворец, было иллюминовано разноцветными огнями.

— В ратуше, в ратуше, говорю вам!.. Еще Гюссон

ле Вуар играл там на флейте во время ужина.

— Говорю вам — нет!

— А я вам говорю — да!

— Да нет же, нет!

Толстая Ударда собиралась ответить, и спор угрожал перейти в крупную ссору, которая могла кончиться потасовкою, если бы в эту минуту Магиета не воскликнула:

— Смотрите, смотрите, сколько собралось народу в конце моста!.. Там что-то случилось… Видите, как все столпились!

— И то правда, — сказала Жервеза. — Слышите бубен?.. Э, да там, должно быть, маленькая Эсмеральда со своей козой… Ну, милая Магиета, прибавьте шагу да и сынишку заставьте идти попроворнее… Ведь вы приехали, чтобы ознакомиться со всем, что есть интересного у нас, в Париже. Вчера вы видели наших фламандских послов, а сегодня вам надо посмотреть цыганку.

— Цыганку?! — повторила Магиета, энергично прокладывая себе путь локтями и крепко сжимая руку ребенка. — Нет, сохрани меня господи! Она еще украдет у меня мальчика!.. Идем отсюда, Эсташ, — торопила она мальчугана.

Она бегом пустилась вдоль набережной по направлению к Гревской площади и бежала до

тех пор, пока мост не остался далеко позади. Наконец Эсташ от усталости упал на колени, и она сама, вся запыхавшись, остановилась. Ударда и Жервеза вскоре догнали ее.

— С чего вам пришло в голову, что эта цыганка может украсть у вас ребенка? — спросила Жервеза. — Какая дикая фантазия!

Магиета задумчиво покачала головой.

— Странно! — заметила Ударда. — Ведь вот и затворница то же самое говорит о цыганках.

— Какая затворница? — спросила Магиета.

— Да сестра Гудула, — ответила Ударда.

— А кто же такая эта сестра Гудула?

— Вот и видно, что вы только что приехали из вашего Реймса! — воскликнула Ударда. — Да ведь это затворница «Крысиной норы».

— Как? — спросила Магиета. — Та несчастная, которой мы несем лепешку?

Ударда утвердительно кивнула головою и сказала:

— Ну да, та самая. Вы сейчас ее увидите у окошечка ее кельи, — оно выходит прямо на площадь… Да, она думает то же, что и вы, об этих египетских бродягах, которые бьют в бубен и предсказывают судьбу. Никто не знает, почему затворница так ненавидит этих цыган. Но вы-то,

милая Магиета, почему так испугались одного упоминания о цыганке?

— Ах! — вскричала Магиета, обхватывая обеими руками белокурую головку своего ребенка. — Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что было с Пакетой Шанфлери.

— Э, да это, кажется, пахнет целой историей! Вы нам расскажете ее, не так ли, милая Магиета? — проговорила Жервеза, беря приезжую за руку.

— Пожалуй, расскажу, — согласилась провинциалка. — Но вот сейчас видно, что и вы дальше своего Парижа нигде не бывали, если даже ничего не слыхали о Пакете… Так вот… Да что же мы остановились? Разве я не могу рассказывать на ходу?.. Ну, так вот, нужно вам сказать, что Пакета Шанфлери была красивой восемнадцатилетней девушкой как раз в то время, когда я была такою же, то есть восемнадцать лет тому назад. Если из нее теперь не вышло такой же здоровой, цветущей женщины тридцати шести лет, имеющей мужа и ребенка, как я, то она сама виновата… Впрочем, ей уже с четырнадцати лет поздно было думать о замужестве… Отца ее звали Гиберто. Он был реймским судовым менестрелем — тем самым, который имел счастье играть и петь перед самим королем Карлом Седьмым, когда король во

время празднества по случаю своей коронации катался в лодке по нашей реке Веле, от Сильери до Мюизона. Сама девственница была вместе с ним в лодке. Старик отец умер, когда Пакета была еще ребенком. У нее, таким образом, осталась только мать, которая была сестрою господина Прадона, мастера медных и котельных изделий, жившего в Париже, на улице Парен-Гарлен. Он умер только в прошлом году. Как видите, жена Гиберто происходила из хорошего рода и вдобавок была доброю женщиною, но, на свою беду, она ничему не научила Пакету, кроме вышивания золотом и бисером разных безделушек. Ну, так вот девочка и росла, а достатка не прибавлялось. Жили они вдвоем с матерью в Реймсе, у самой реки, в улице Фоль-Пен. Запомните это: мне думается, что от этого и произошло все несчастье Пакеты. В шестьдесят первом году, когда наш король Людовик Одиннадцатый — да хранит его Бог! — вступил на престол, Пакета была такая хорошенькая и веселенькая резвушка, что ее прозвали Шанфлери[86]. Бедняжка! Зубы у нее были точно жемчуг, и она то и дело смеялась, чтобы похвастаться ими. А это уж известно, что когда девушки много

[86] Сноски: 86
Цветущая.

смеются, значит, готовят себе ручьи слез в будущем. Красивые зубы погубят красивые глаза. Так вот какая была эта Пакета Шанфлери… Жить им с матерью было очень трудно. Менестрель-то им ничего не оставил. Своими безделушками они зарабатывали не больше шести денье в неделю, стало быть, меньше двух лиардов каждая. Разве такие были у них средства при жизни Гиберто? Он во время коронации одними своими песенками заработал двенадцать парижских су… Итак, вот в одну очень холодную зиму… это случилось как раз в шестьдесят первом году… у них не было ни одной хворостинки, чтобы протопить себе печку. От холода у бедной Шанфлери так зарумянились щеки, что мужчины больше прежнего стали на нее заглядываться. Тут-то и стряслась беда. В эту самую зиму она и сгубила себя… Эсташ, ты никак собираешься приняться за лепешку? Смотри у меня!.. Мы тогда же все сразу поняли, что она пропала, когда она в одно воскресенье пришла в церковь с золотым крестиком на шее. Это в четырнадцать-то лет, а? Началось с виконта де Кормонтрёля, у которого есть замок в трех четвертях лье от Реймса. Потом на его место явился мессир Анри де Трианкур, королевский всадник. После него она перешла к сержанту Шиару де

Больону. Потом она начала опускаться все ниже и ниже и попала сначала к Гери Обержону, который был лакеем при королевском столе, затем к Масэ де Фрепюсу, цирюльнику дофина; потом сошлась с Тевененом ле Муэном, королевским поваром, пока наконец, переходя все к более старым и менее благородным, не попала в руки Гильома Расина, менестреля-сказочника, а уж от него прямо к фонарщику Тьери де Меру. Вообще, бедняжка в конце концов пустилась, как говорится, во все тяжкие и дошла до того, что во время коронации нашего благочестивого короля попала вовсе на улицу… вы понимаете?.. И все это в один год!

Магиета вздохнула и утерла слезы, навернувшиеся у нее на глаза.

— Ну, это история самая обыкновенная, — заметила Жервеза. — Мы думали, вы нам порасскажете что-нибудь о цыганках, которые воруют детей…

— Погодите, — продолжала Магиета, — дойдет и до этого. В нынешнем месяце, в день святого Павла, будет ровно шестнадцать лет, как Пакета родила девочку. Это, стало быть, случилось в шестьдесят шестом году… Бедняжка была ужасно рада этому, потому что давно уже желала иметь

ребенка. Мать ее, эта простушка, которая всю свою жизнь только и умела, что закрывать на все глаза, уже умерла. Пакете некого было больше любить, да и ее не любил никто. Со времени ее первой беды прошло пять лет. Жизнь ее была так плоха, что и сказать нельзя. Она осталась на свете одна как перст. Все только и знали, что срамить ее. На улицах ей не давали прохода, городская стража ее колотила, мальчишки бросали в нее грязью и насмехались над нею. И потом ей ведь стукнуло уже двадцать лет, а это для таких женщин, как она, уже старость. От своего уличного промысла она получала не больше того, что в прежнее время зарабатывала иголкою. Каждая лишняя морщинка на лице убавляла ее заработок. Зимою она постоянно дрожала от холода, потому что нечем было топить печь, есть тоже приходилось не каждый день; у нее часто не было даже корки хлеба. Работать она больше не могла, потому что, пустившись гулять, обленилась… Впрочем, вернее будет сказать, что она и загуляла-то оттого, что всегда была ленива… Священник церкви Сен-Ромен говорит, что такие женщины в старости больше других страдают от холода и голода…

— Все это прекрасно, — перебила Жервеза, — но

где же цыганки?

— Ах, какая вы нетерпеливая! — воскликнула более степенная Ударда. — Дайте же ей рассказать все по порядку. Не с конца же начинать вам… Продолжайте, Магиета, вы так интересно рассказываете… Бедная Шанфлери!

Магиета продолжала:

— Она никак не могла выбиться из нужды и плакала так, что ее щечки избороздили потоки слез. Но среди своего одиночества, срама и позора ей казалось, что она не будет такой одинокой, опозоренной и отверженной, если кого-нибудь полюбит чистой любовью и такой же любовью будут отвечать ей. И ей захотелось иметь ребенка, который, по своей ангельской невинности, мог бы дать ей эту любовь. Она поняла это после того, как сошлась с одним вором, единственным человеком, который мог ее пожелать. Но через некоторое время она заметила, что даже вор ее презирает… А между тем именно таким несчастным женщинам и необходима какая-нибудь сильная привязанность, чтобы наполнить их сердце: если не любовник, то хоть ребенок. Без этого им уж слишком тяжело жить. Не находя верного любовника, она горячо стала желать ребенка, а так как она всегда была набожною,

несмотря на свою грешную жизнь, то постоянно просила Бога послать ей хотя это утешение. И вот Господь сжалился над нею и послал ей дочку. Трудно описать, как она была рада этому. Бедняжка чуть не зацеловала и не заласкала до смерти своего ребенка и обливала его слезами радости. Она сама стала кормить свою дочку и наделала ей пеленок из своего единственного старенького одеяла. От счастья она не чувствовала ни холода, ни голода; она даже опять похорошела. Это, впрочем, всегда так: даже старая девушка бывает молодой матерью. Опять нашлись ухажеры, да еще такие, которые стали ей хорошо помогать. Но она почти все деньги, добытые грехом, тратила на шелковые шапочки, переднички с кружевцами, хорошенькие платьица и разные другие безделушки для своей дочки, а сама так и оставалась без одеяла. Так вот… Эсташ! Я уж говорила тебе, чтобы ты не смел есть этой лепешки!.. Так вот, маленькая Агнеса… Так звали ребенка, а фамилии у самой Шанфлери давно уже не было… Ну вот, я и говорю, что маленькая Агнеса всегда была нарядна, как принцесса. Между прочим, у девочки была пара таких башмачков, каких, я думаю, не было и у самого короля Людовика Одиннадцатого в детстве. Мать сама их сшила из

розовой шелковой материи и украсила разными блестками и золотыми шнурочками, словно покров Богоматери. Обойди, кажется, весь свет, а лучших башмачков не найдешь. Величиною они были не длиннее моего большого пальца, а девочке приходились как раз впору. Можно себе представить, какие крошечные ножки были у Агнесы! А как они были хороши, просто загляденье! Пухленькие и розовенькие, так что их даже трудно было отличить от розовых башмачков… Когда у вас будут дети, милая Ударда, вы поймете, что нет ничего прелестнее детских ручек и ножек…

— Ах! — со вздохом произнесла Ударда. — Я только и мечтаю о ребенке, но мой муж, господин Анри Мюнье, не желает иметь детей.

— Но у дочки Пакеты, — продолжала Магиета, — были хороши не одни ножки. Я видела ее, когда ей было всего четыре месяца, и могу сказать, что она казалась настоящим ангелочком. Глаза у нее были больше ротика, а головка покрыта тонкими черными вьющимися волосиками. Шестнадцати лет она была бы такой красавицей, что другой подобной ей не сыскать было на всем свете. Мать с каждым днем все больше и больше сходила с ума по своей дочке. Только и знала, что возиться с девочкою: мыла, чесала, наряжала,

кормила, ласкала и баловала ее по целым дням. От счастья она не знала, как благодарить Бога. Особенно восхищалась она розовыми ножками дочки: никак не могла на них налюбоваться и беспрестанно их целовала, чуть не готова была съесть их. Сто раз в день она то обувала, то разувала эти ножки, восторгалась ими, разглядывала их на свет и едва не плакала от жалости, когда девочка начала пробовать переступать ими по постели. Одним словом, счастливая мать не поленилась бы, кажется, всю жизнь простоять на коленях перед ножками дочери, точно перед какою-нибудь святыней, и все время обувать, разувать и целовать их…

— Все это очень хорошо, — проворчала снова Жервеза, — а цыганок-то я все-таки еще не вижу.

— Погодите, сейчас будут и они, — сказала рассказчица и продолжала: — В один прекрасный день в Реймс прибыли какие-то странные всадники, не то нищие, не то бродяги, шлявшиеся по стране под предводительством своего герцога и своих графов. Лица у них были смуглые, волосы — курчавые, а в ушах блестели большие круглые серебряные серьги. Женщины их были еще хуже мужчин: почти совсем черные, в драных юбчонках и каких-то дерюгах на плечах. Волосы у них

были распущены по плечам на манер лошадиной гривы. Детей их, цеплявшихся за подолы матерей, испугались бы и обезьяны. Словом, это была настоящая шайка нехристей. Как мы потом узнали, вся эта нечисть пожаловала в Реймс прямо из Египта, через Польшу. Говорили, что они были на исповеди у Папы и тот наложил на них епитимью, чтобы они семь лет подряд странствовали по белу свету и во все это время не спали ни одной ночи в постели. Поэтому они сами называли себя кающимися, и от них ужас как несло какою-то вонью. Кажется, они когда-то были сарацинами и поэтому, конечно, должны были верить в Юпитера… Вдобавок они брали по десяти турских ливров со всех архиепископов, епископов и аббатов, имевших митры и кресты. Говорили, что это им было разрешено Папой. В Реймс они притащились затем, чтобы предсказывать судьбу от имени алжирского короля и германского императора. Так как им было воспрещено пребывание в самом городе, то вся их ватага расположилась станом за стенами города, у Бренских ворот, на пригорке, где стоит мельница, рядом со старыми каменоломнями, где когда-то добывали мел. Понятно, что чуть не весь Реймс устремился к этим предсказателям. Они глядели людям на руки и

предсказывали всякие чудеса. Кажется, сунь им сам Иуда-предатель свою нечестивую ручищу, они и ему предсказали бы, что он будет Папой. Это, впрочем, все было бы еще ничего, но про них ходила дурная молва: поговаривали, будто они похищают детей и воруют у ротозеев кошельки и едят человеческое мясо. Благоразумные люди говорили дуракам: «Не ходите», а сами украдкою бывали у них. Все словно очумели… Впрочем, это было неудивительно: они предсказывали всем такие вещи, что любой кардинал и тот бы потерял голову. Все матери совсем рехнулись от гордости, после того как цыганки вычитали на руках их деточек всякие умопомрачительные вещи, написанные будто бы на детских ручках по-язычески и по-турецки. У одной сыночку суждено, вишь, быть императором, у другой — Папой, у третьей — великим полководцем. Несчастную Шанфлери тоже разобрало любопытство: захотелось и ей узнать, не сделается ли ее хорошенькая дочка когда-нибудь армянской императрицею или чем-нибудь в этом роде. Вот и она бросилась со своей девочкой к цыганкам. Те восхищались ребенком, ласкали его, целовали своими черными губами. Ножки и башмачки девочки, которой тогда еще не было и года, хитрые цыганки нашли такими

восхитительными, каких, по их словам, не было ни у одного ребенка в свете, да и не будет. Девочка что-то лепетала, заливалась смехом, глядя на мать, и хлопала ручонками. При этом она была такая пухленькая, румяная и быстроглазая и корчила такие уморительные гримаски, что на нее и правда нельзя было достаточно налюбоваться. Наконец, девочке сделалось скучно или страшно от обступивших ее со всех сторон цыганок: она громко заплакала. Но мать живо успокоила ее поцелуями и ушла с нею, не помня себя от радости, когда ворожеи предсказали ей, что ее девочка будет невиданной красавицей, умницей, королевой. Бедная Шанфлери, сама не своя от гордости, что несет на руках будущую королеву, не помнила, как вернулась в свою бедную каморку в улице Фоль-Пен. На другой день она улучила минутку, когда Агнеса спала на ее кровати, куда она всегда клала ее, и побежала к соседке на улицу Сешри похвалиться, что настанет день, когда ее Агнесе будут прислуживать за столом даже такие лица, как английский король и эфиопский эрцгерцог, и кучу разных других чудес. Возвращаясь и не слыша крика ребенка, Пакета подумала, что девочка все еще спит, и была очень этим довольна. Ее удивило только то, что дверь каморки оказалась

отворенною более широко, чем она ее оставила. Она поспешно вошла в каморку и бросилась к кровати. Кровать оказалась пустою: вместо ребенка на ней лежал один из его розовых башмачков. Как безумная, она бросилась вон из дому, вихрем слетела с лестницы и стала колотиться головой об стену, крича: «Дитя мое… У кого мое дитя? Кто взял мое дитя?» В доме в это время не было ни души. Пакета побежала по улице и стала там кричать то же самое; но улица была пуста, и никто не мог ей сказать, куда девалась ее девочка. Несчастная мать обегала весь город, заглядывала во все встречные дворы, совалась во все двери и окна, как разъяренная тигрица, у которой отняли детеныша. Растрепанная, с искаженным лицом, задыхающаяся, с сухими горящими глазами, она была страшна. Она останавливала встречных и кричала: «Где моя дочь?.. Отдайте мне мою девочку… Кто мне вернет мою дочь, я буду его слугою… даже слугою его собаки… Если нужно, я свое сердце отдам на съедение этой собаке!..» Встретив священника церкви Сен-Реми, она сказала ему: «Господин кюре, я готова голыми руками копать землю, только верните мне мою девочку!» Это было ужасно, уверяю вас, Ударда. Даже прокурор Понс Лакабр и тот заплакал, глядя на обезумев-

шую от горя мать, а уж на что, кажется, он был черств сердцем… Только поздно вечером вернулась она домой и узнала от соседки, что, пока она бродила по городу, в ее каморку потихоньку пробрались две цыганки, одна из них несла в руках какой-то сверток. Немного погодя эти цыганки торопливо спустились вниз и, как только вышли на улицу, исчезли, словно провалились сквозь землю. После этого из каморки Пакеты стал слышаться писк ребенка. Выслушав это, Пакета радостно засмеялась, взлетела на лестницу словно на крыльях, одним ударом распахнула дверь и вошла… Ах, милая Ударда, страшно даже сказать, что она там увидела. Вместо вымоленной у Бога своей красавицы дочки, этой беленькой, румяной и пухленькой девочки с громадными ясными глазами и кудрявыми волосами, на полу ползал какой-то безобразный уродец, кривой, горбатый, колченогий, — вообще такое страшилище, что и вообразить себе трудно… Пакета закрыла глаза от ужаса. «Господи! — кричала она. — Неужели злые колдуньи обратили мою девочку в этого страшного звереныша?..» Прибежали соседки и поскорее унесли уродца: они боялись, что Пакета сойдет с ума, глядя на него… Все поняли, что это отродье самого нечистого и какой-нибудь цыганки. На

вид уродцу было года четыре, и он все бормотал что-то непонятное, — знать, на чертовском языке. Пакета бросилась на башмачок — все, что оставалось ей от того, что она любила. Долго она лежала ничком на кровати, не шевелясь, молча, даже без слез и точно не дыша. Думали уж, не умерла ли она. Вдруг она задрожала, поднялась и, не переставая осыпать поцелуями башмачок, так принялась голосить, что у нас сердце разрывалось на части. Я была при этом, и мы все плакали навзрыд. Она повторяла: «Дочка моя! Милая моя, дорогая девочка! Где ты?» А у нас мороз так по коже и пробежит. Я и сейчас готова плакать, как только вспомню об этом… Ведь дети-то наши — мозг наших костей. О мой милый Эсташ, что бы я стала делать без тебя?.. Если бы вы знали, какой он у меня умник! Вчера еще говорит мне: «Мама, я хочу быть жандармом…» Ах ты, ангелочек мой славный! Никуда я тебя не отпущу! Так вот, Пакета… Вдруг она вскочила и выбежала на улицу. Там она принялась кричать отчаянным голосом: «Бежим в цыганский табор… Зовите сержантов! Нужно сжечь этих проклятых ведьм!» Но цыган уже и след простыл. Наступила ночь, и такая темная, что хоть глаз выколи. Разыскивать колдунов нечего было и думать. На другой день неподалеку

от Реймса, на пустоши между Гё и Тиллуа, нашли следы от большого костра, ленточки от наряда Агнесы, капли крови и козий помет. Накануне была суббота, поэтому все догадались, что цыгане справляли на этой пустоши свой шабаш и сожрали дочку Пакеты в компании с Вельзевулом, как это водится у магометан. Когда Пакета узнала про все эти ужасы, она не проронила ни одной слезинки, а только все шевелила губами, словно хотела что-то сказать. На другое утро она оказалась вся седая, а на третий день исчезла…

— Да, это действительно ужасная история и может разжалобить даже бургундца, — заметила Ударда.

— После этого я не удивляюсь, что вы так боитесь цыган, — добавила Жервеза.

— Вы хорошо сделали, что сейчас убежали сюда со своим Эсташем, потому что цыгане, которые бродят у нас по Парижу, тоже из Польши, — продолжала Ударда.

— Нет, — сказала Жервеза, — говорят, они пришли из Испании и из Каталонии.

— Из Каталонии?.. Ну, может быть, — сдалась Ударда. — Польша, Каталония, Валония — это все одно и то же; я всегда смешиваю эти три провинции. Во всяком случае, верно то, что тут бродят

цыгане…

— И что у них зубы достаточно остры, чтобы пожирать детей, — подхватила Жервеза. — Мне думается, что даже эта Эсмеральда втихомолку лакомится детским мясом, несмотря на то что умеет так хорошо складывать свои губки сердечком. Ее белая коза, с которою она постоянно показывается, выкидывает такие хитрые штуки, что едва ли дело тут чисто.

Магиета теперь шла молча. Она была погружена в ту глубокую задумчивость, которая всегда служит как бы продолжением только что оконченного печального повествования и прекращается лишь тогда, когда на дне души угаснет волнение, вызванное грустным содержанием рассказа. Но Жервеза обратилась к ней с вопросом:

— Неужели так никто и не узнал, что сделалось с Пакетой?

Магиета не отвечала. Жервеза повторила свой вопрос, схватив свою спутницу за руку и назвав ее по имени.

— Что сталось с Пакетой? — машинально повторила Магиета, сделав над собою усилие, чтобы вникнуть в смысл этих слов, и с живостью добавила: — Ах, вы спрашиваете о Пакете? Нет,

толком о ней ничего так и не узнали.

Помолчав немного, она добавила:

— Правда, одни говорили, что видели вечером, как она выходила из города через Флешамбосские ворота, а другие — что она вышла на рассвете через старые Базеские ворота. Какой-то нищий нашел ее золотой крестик повешенным на каменный крест в том месте, где бывают у нас ярмарки. Это был тот самый крестик, который подарил ей в шестьдесят первом году ее первый любовник, красавец виконт де Кормонтрёль, бывший причиной ее гибели. Как, бывало, ни нуждалась Пакета, но никогда не соглашалась продать этот крестик. Она дорожила им больше жизни. Поэтому, когда мы узнали о находке, то сразу подумали, что она умерла. А между тем есть люди, в Кабаре-ле-Вот, которые уверяют, что видели ее идущею босиком по дороге в Париж. Но тогда она должна была выйти из Реймса Вольскими воротами. Вообще слухи были разные. Впрочем, очень может быть, что она вышла из города и Вольскими воротами, только не в Париж, а прямо на тот свет…

— Что вы хотите этим сказать? — спросила Жервеза.

— Ведь у нас перед этими воротами протекает река Вель, — с печальной улыбкой пояснила

Магиета.

— Бедная Шанфлери! — с дрожью проговорила Ударда. — Значит, она утопилась?

— Наверное, так, — сказала Магиета. — Думал ли Гиберто, когда он распевал свои песни, плывя в лодке под мостом Тенкё вниз по течению реки, что настанет день, когда и его милая маленькая Пакета проплывет под этим мостом, но уж не в лодке и без песен?

— Ну а башмачок? — спросила Жервеза.

— Пропал вместе с нею, — ответила Магиета.

— Бедненький башмачок! — сказала Ударда.

Эта чувствительная толстушка готова была довольствоваться одними восклицаниями и вздохами, между тем как любопытная Жервеза продолжала неутомимо спрашивать.

— А чудовище? — спросила она у Магиеты.

— Какое чудовище? — недоумевала та.

— Да то самое, которое цыганки подкинули Пакете вместо маленькой Агнесы. С ним что сделали? Тоже утопили?

— Нет, не утопили, — отвечала Магиета.

— Ах, да! Его сожгли… Это правильно. Колдовское отродье и следует сжигать, чтобы от них и следа не оставалось.

— Нет, Жервеза, его и не сожгли. Этим цыган-

ским ребенком заинтересовался сам архиепископ. Монсеньор отчитал его от сидевшего в нем беса, благословил и отправил в Париж. Там его положили в соборе Богоматери в ясли для подкидышей.

— Ох уж эти епископы! — проворчала с неудовольствием Жервеза. — Никогда ничего не сделают по-людски… от большой учености, должно быть… Ну, скажите, пожалуйста, Ударда, на что это похоже — класть чертенят в ясли для подкидышей? Наверное, это и был сам дьявол, а вовсе не человеческий ребенок… Ну а не слыхали вы, Магиета, что сталось с ним у нас в Париже? Неужели нашелся человек, который решился взять его себе на воспитание? Думаю, что нет.

— Ну, уж этого не могу вам сказать, — ответила реймская жительница. — Как раз в то время, когда случилось это дело, муж мой приобрел место нотариуса в Верю, в двух лье от Реймса, и мы больше не занимались этой историей. Перед деревней стоят два больших сернейских пригорка; они заслоняют от нас весь город вместе с его соборными колокольнями.

Продолжая болтать, три почтенные гражданки дошли до Гревской площади. Занятые своим разговором, они прошли, не останавливаясь,

мимо Роландовой башни с кельей затворницы и машинально направились к позорному столбу, вокруг которого толпа беспрерывно росла. По всей вероятности, зрелище, привлекавшее туда толпу, заставило бы и наших кумушек совсем забыть о «Крысиной норе» и о цели их прогулки, если бы об этом вдруг не напомнил шестилетний толстяк Эсташ, которого мать тащила за руку.

— Мама, — спросил он, точно угадав детским инстинктом, что «Крысиная нора» осталась позади, — можно теперь съесть лепешку?

Если бы Эсташ был похитрее, вернее, если бы он не был таким лакомкой, то он отложил бы свой робкий вопрос до того времени, когда они с матерью вернутся в дом мэтра Анри Мюнье, в квартале Университета. Там он со своей лепешкою был бы отделен от «Крысиной норы» обоими рукавами Сены и всеми пятью мостами острова Сите.

Но теперь неосторожный вопрос Эсташа направил внимание Магиеты совсем в другую сторону.

— Постойте! — воскликнула Магиета. — Ведь мы совсем забыли про затворницу!.. Где же тут ваша «Крысиная нора»? Нужно снести туда лепешку.

— Ах да, и в самом деле! — спохватилась Удар-

да. — Мы ведь несем подаяние.

Но это меньше всего входило в расчеты Эсташа.

— Я хочу лепешку… Она моя!.. — хныкал Эсташ, ежась и попеременно потирая уши то одним плечом, то другим, что у детей служит признаком крайнего неудовольствия.

Когда все три женщины дошли обратно до Роландовой башни, Ударда сказала своим спутницам:

— Нам не следует всем сразу заглядывать в окно, это может испугать затворницу. Вы обе делайте вид, что читаете «Отче наш» по молитвеннику, а я пока загляну одна в келью. Затворница меня уж немножко знает. Я скажу, когда можно будет подойти и вам.

И Ударда одна приблизилась к окошку. Но лишь только она заглянула в каменный мешок, на ее открытом и веселом лице тотчас же изобразилась глубокая жалость и самый цвет ее лица изменился так резко, точно она перешла из полосы солнечного света в лунный. На глазах ее навернулись слезы, и губы судорожно задергались, как будто она собиралась заплакать. Минуту спустя она приложила палец к губам и сделала Магиете знак подойти поближе.

Магиета, тоже сильно взволнованная, приблизилась на цыпочках, точно к ложу умирающего.

Трудно было представить себе более печальное зрелище, чем то, которое увидели обе женщины, молча, затаив дыхание, заглядывавшие в решетчатое окно «Крысиной норы».

Келья была очень узкая, но довольно высокая, со стрельчатым сводом, придававшим ей изнутри сходство с епископской митрой. На голом каменном полу, прислонившись спиною к стене, сидела скорчившаяся женская фигура. Голова ее была опущена на грудь, а руки крепко обхватывали приподнятые колени. Из-под покаянного коричневого балахона, который облекал худое, изможденное тело, виднелись босые ноги. Скорченная, с растрепанными космами длинных седых волос, падавших ей на лицо, она с первого взгляда казалась не человеком, а каким-то странным предметом, треугольником, резко разделенным слабо проникавшим в окно светом на две половины, одну темную, другую — освещенную. Это был точно один из тех призраков, состоящих наполовину из тени, наполовину из света, которые иногда видишь во сне или на удивительных произведениях кисти Гойя, изображавшего бледные, неподвижные,

зловещие призраки, сидящие на могиле или прислоненные к решетке тюрьмы. Призрак не походил ни на женщину, ни на мужчину, вообще ни на одно живое существо, даже ни на какой определенный предмет. Это было что-то бесформенное, чудовищное, какая-то странная смесь действительного с фантастичным, света с мраком. С большим трудом можно было различить сквозь нависшие и падавшие почти до полу волосы строгие очертания изможденного лица. Только видневшиеся из-под подола балахона босые ноги, судорожно сжатые на холодных плитах пола, доказывали, что эта фигура может быть человеком, а это еще более заставляло содрогаться от жалости сердца зрительниц.

Это существо, казавшееся вросшим в каменный пол, само словно окаменело, лишившись способности двигаться и дышать. Едва прикрытая тонким холщовым балахоном, сидя на голом гранитном полу в углу темного помещения, в окно которого проникал только холодный ветер и слабый дневной свет, затворница точно не чувствовала январского холода. Но это происходило, быть может, оттого, что она действительно уже окаменела на камнях, застыла на холоде. Руки ее были сжаты, а глаза неподвижно устремлены в

одну точку. При первом взгляде ее можно было принять за призрак, при втором — за статую.

Однако по временам ее посиневшие губы раскрывались, и она слабо вздыхала. Но это движение было такое же машинальное и безжизненное, как движение сухих листьев, уносимых ветром. Ее тусклые глаза были неподвижно устремлены в угол кельи, не видный снаружи, и глядели глубоким, сумрачным, напряженным взглядом, в котором, казалось, сосредоточилась вся скорбь ее страждущей души.

Таково было это создание, прозванное за свой образ жизни затворницей, а за одежду — мешочницей.

Жервеза вместе со своими подругами тоже взглянула в окно кельи. Головы любопытных женщин заслоняли и без того скупой свет, проникавший в крошечное окно, но несчастная, по-видимому, не замечала этого.

— Молится! — шепотом заметила Ударда. — Не будем ей мешать.

Между тем Магиета с возрастающим вниманием всматривалась в поблекшее, страшно исхудавшее лицо затворницы, едва видневшееся из-под растрепанных волос, и глаза ее наливались слезами.

— Быть не может! — пробормотала она.

Встав на цыпочки и прижав лицо к решетке окна, она ухитрилась заглянуть в дальний угол, к которому был прикован взгляд затворницы. Когда она оторвалась от окна, все ее лицо было залито слезами.

— Как зовут эту несчастную? — спросила она Ударду.

— Мы зовем ее сестрой Гудулой, — отвечала Ударда.

— Ну а я могу ее назвать Пакетой Шанфлери! — сказала Магиета и, приложив палец к губам, предложила удивленной Ударде посмотреть повнимательнее в тот угол, куда был обращен неподвижный взгляд затворницы. Ударда поспешно взглянула туда и заметила в углу крошечный розовый башмачок, покрытый золотым шитьем и блестками.

После Ударды заглянула в глубь кельи и Жервеза. Затем все три женщины, глядя на несчастную мать, расплакались чуть не навзрыд.

Но ни их взгляды, ни их слезы не были замечены отшельницей. Руки ее по-прежнему были сжаты, уста — безмолвны, глаза — неподвижны. Это сосредоточенное созерцание розового башмачка было душераздирающим, особенно для

знавших ее историю.

Женщины стояли молча, не решаясь говорить даже шепотом. Это безмолвие, это великое горе, это полное отречение от всего окружающего производило на них такое впечатление, точно они присутствовали при торжественном пасхальном или рождественском богослужении. Затихнув в глубоком благоговении, они готовы были опуститься на колени. Им казалось, что они вступили в храм.

Наконец Жервеза, самая любопытная, а потому и не особенно деликатная, решила попытаться заговорить с затворницей:

— Сестра Гудула! А сестра Гудула!

Она повторила свой оклик три раза, все повышая голос, но затворница оставалась по-прежнему неподвижною. Ни слова, ни взгляда, ни вздоха, ни малейшего признака жизни.

Ударда тоже окликнула ее, но более мягким и ласковым голосом:

— Сестра Гудула, что с вами?

Такое же молчание, такая же неподвижность.

— Вот странная женщина! — воскликнула Жервеза. — Тут хоть из пушек стреляй, она и тогда, должно быть, не пошевельнется…

— Может быть, она глухая? — заметила Удар-

да.

— И слепая, — добавила Жервеза.

— Скорее всего, она умерла, — сказала Магиета.

И действительно, если душа и не покинула еще это неподвижное, оцепеневшее, точно застывшее тело, то она скрылась в такие глубокие тайники, куда не могли проникнуть никакие внешние звуки.

— Можно бы оставить лепешку на окне и уйти, — сказала Ударда, — но ее, пожалуй, стащат мальчишки. Нужно придумать, как бы привести ее в чувство.

В это время Эсташ, внимание которого раньше было отвлечено большой собакой, запряженной в тележку, вдруг заметил, что его спутницы пристально смотрят в окно кельи. Это возбудило и его любопытство. Он забрался на тумбу, стоявшую возле стены, приподнялся на цыпочки и, приложив свое толстое румяное личико к оконной решетке, крикнул:

— Мама, я тоже хочу посмотреть!

При звуках ясного, свежего и звонкого детского голоса затворница встрепенулась. Она повернула голову сухим и резким движением стальной пружины, откинула своими длинными, костлявыми

руками с лица волосы и уставила на ребенка глаза, полные удивления, горечи и отчаяния. Это был не взгляд, а молния.

— Боже мой! — воскликнула она, снова уткнувшись лицом в колени. — Не показывай мне, по крайней мере, чужих детей!

Голос ее был так резок, что, казалось, должен был разорвать ей грудь.

— Здравствуйте, мадам! — с важностью сказал ребенок.

Как бы там ни было, но мальчуган своим вмешательством вывел затворницу из оцепенения. По всему ее изможденному телу пробежала дрожь, зубы застучали. Она снова приподняла голову, прижала локти к бокам и, обхватив руками ноги, чтобы согреть их, тихо проговорила:

— Ой, как холодно!

— Бедная сестра Гудула, не хотите ли, мы вам принесем огня, чтобы погреться? — сострадательно обратилась к ней Ударда.

Затворница отрицательно покачала головой.

— Так вот, выпейте этого вина с пряностями, это вас согреет, — продолжала Ударда, протягивая флягу.

Отшельница снова покачала головою и, пристально глядя на Ударду, промолвила:

— Воды!

— О, сестра, что за питье зимою — вода! — настаивала Ударда. — Лучше выпейте вина и закусите вот этой лепешкой. Она из маисовой муки; мы ее нарочно для вас испекли.

Но затворница оттолкнула лепешку, которую протягивала ей Магиета, и резко сказала:

— Черного хлеба!

— Сестра Гудула, — заговорила Жервеза, охваченная в свою очередь жалостью к этой несчастной женщине, — возьмите вот мою шерстяную накидку. Она будет потеплее вашего мешка. Накиньте себе на плечи.

Затворница отказалась и от этого подарка точно так же, как отказалась от вина и лепешки:

— Довольно и мешка.

— Но надо ж, — продолжала добродушная Ударда, — помянуть чем-нибудь и вам вчерашний праздник.

— Я и так его помню, — сказала затворница. — Второй день в моей кружке нет ни капли воды.

Помолчав немного, она добавила:

— В праздники меня всегда забывают. Да это и хорошо. К чему людям думать обо мне, когда я о них не думаю? Потухшим угольям — холодная зола.

И, как бы утомленная этой длинной речью, она опять уткнулась головою в колени.

— Ну, так что же, принести вам горячих угольев? — спросила добрая, но простоватая Ударда, понявшая последние слова затворницы в том смысле, что та все еще продолжает жаловаться на холод.

— Горячих угольев? — каким-то странным тоном повторила затворница. — А могут ли эти уголья согреть ту бедную малютку, которая уже пятнадцать лет лежит в земле?

Она вся дрожала, как в злейшей лихорадке; голос ее вдруг зазвенел, глаза загорелись огнем. Привстав на колени, она протянула свою костлявую руку к Эсташу, смотревшему на нее изумленными глазами, и громко крикнула:

— Уведите скорее отсюда этого ребенка, а не то и его унесет цыганка!

С последними словами она упала ничком на пол и ударилась лбом о каменный пол кельи с таким звуком, точно и ее лоб был каменный. Стоявшие за окном женщины подумали, что она умерла. Однако немного спустя она зашевелилась и поползла на коленях в тот угол, где находился башмачок. У посетительниц не хватило духа подсмотреть, что она там будет делать; но они

вскоре услыхали звуки бессчетных поцелуев вперемежку со вздохами, раздирающими душу воплями и какими-то глухими ударами, точно затворница билась головою об стену. Потом, после одного из таких ударов, такого сильного, что все три женщины невольно вздрогнули, в келье вдруг все затихло.

— Боже мой! Не покончила ли она с собой? — сказала Жервеза, пытаясь просунуть голову сквозь толстые прутья оконной решетки. — Сестра Гудула! Сестра Гудула, послушайте! — кричала она.

— Сестра Гудула! — повторяла за нею и Ударда.

— Так и есть, — продолжала Жервеза. — Она не движется… Наверное, умерла… Гудула! Гудула!

Магиета, едва владевшая собою от охватившего ее волнения, до сих пор молчала, не будучи в состоянии говорить от душивших ее слез. Сделав над собою усилие, она отстранила подруг.

— Погодите, я попробую, — сказала она и крикнула в окно: — Пакета! Пакета! Шанфлери!

Ребенок, нечаянно вызвавший взрыв ракеты, дунув на ее тлевший фитиль, и получивший при этом ожоги лица, не мог бы испугаться так, как испугалась Магиета действия произнесенного ею имени.

Дрожа всем телом, отшельница вскочила на свои босые ноги и одним скачком очутилась у окна. Глаза ее так страшно сверкали, что все три посетительницы, подхватив ребенка, в ужасе бросились бежать от кельи.

Страшная фигура отшельницы, плотно прильнув к решетке окна, закричала им вслед с безумным смехом:

— А! Это цыганка меня зовет!

Вдруг ее блуждающий взгляд остановился на позорном столбе.

Увидев происходившую там сцену, она, с искаженным от бешенства лицом, просунула сквозь решетку свои иссохшие, как у скелета, руки и крикнула диким голосом:

— Так это опять ты, нечестивая египтянка! Это ты меня зовешь, гнусная воровка детей?! Будь же ты проклята! Проклята! Проклята!

IV. Слеза за каплю воды

Эти слова явились как бы связующим звеном между двумя сценами, происходившими в двух пунктах Гревской площади: в «Крысиной норе» и у позорного столба. Первая сцена, уже описанная нами, не имела других свидетелей, кроме трех

известных читателю женщин; вторая же, предстоящая еще описанию, происходила на глазах всей той толпы, которая, как мы видели выше, собиралась вокруг позорного столба и виселицы.

Толпа, привлеченная видом тех четырех сержантов, которые с девяти часов утра заняли свои места у четырех углов площадки со столбом, поняла, что предстоит какое-нибудь интересное зрелище: если и не повешение, то, по крайней мере, наказание плетьми, отрезание ушей или что-нибудь в этом роде. Мало-помалу эта толпа возросла до таких размеров, что сержанты, на которых она слишком бесцеремонно напирала, не раз вынуждены были «осаживать» ее, как тогда выражались, ударами плети или крупами своих лошадей.

Публика, давно приученная подолгу ожидать зрелищ на этой площади, не выказывала особенного нетерпения. Для развлечения она рассматривала позорный столб, представлявший собою очень простое сооружение в виде полого внутри куба из камней футов в десять вышиной. Несколько крутых ступеней из неотесанного камня, носивших громкое название лестницы, вели к устроенной наверху площадке, где виднелось дубовое колесо, лежащее горизонтально. При-

говоренного к наказанию плетьми ставили на колесо на колени со связанными назад руками. Скрытый в столбе ворот посредством зубчатой оси приводил колесо в движение: вращаясь вокруг своей оси, колесо продолжало оставаться в горизонтальном положении, так что осужденный поворачивался лицом последовательно во все стороны площади. Это называлось «вертеть» преступника.

Из этого описания читатель видит, что позорный столб Гревской площади далеко не был так интересен, как столб Рынка. В нем не было ничего монументального, никаких архитектурных особенностей; не было ни крыши с железным крестом, ни восьмигранного фонаря, ни стройных колонн, распускавших вокруг, под самой крышей свои капители в виде листьев и цветов, ни желобов, похожих на какие-то фантастичные чудовища, ни разукрашенных деревянных частей, ни тонкой скульптуры на каменных частях. Зрителю положительно нечем было любоваться, кроме грубой кладки столба с его двумя подпорками да возвышающейся рядом с ним тощей, тоже обнаженной каменной виселицы. Любитель изящной архитектуры не нашел бы ничего интересного в этом аляповатом сооружении. Но

почтенные ротозеи Средних веков были очень невзыскательны в художественном отношении и не искали никаких красот в сооружениях, предназначенных для наказаний.

Наконец прибыл и осужденный, привязанный к задку тележки. Когда его ввели на верх столба и привязали там веревками и ремнями к колесу, вся площадь дрогнула от смешанного гула криков, хохота и говора толпы, узнавшей в осужденном Квазимодо.

Это был действительно он. Судьба, видимо, издевалась над ним, заставляя его сегодня стоять у позорного столба на той самой площади, на которой он накануне так торжественно фигурировал в качестве папы и повелителя шутов, при восторженных криках толпы, в сопровождении герцога египетского, короля тунского и императора галилейского. Смело можно, однако, поручиться, что во всей этой толпе, присутствовавшей на площади в эту минуту, не было ни одного человека, — не исключая даже и героя дня, превратившегося из вчерашнего триумфатора в жалкого преступника, — кому пришло бы на ум такое сопоставление. Недоставало Гренгуара с его страстью к философствованию.

Но вот Мишель Нуарэ, присяжный глашатай

его величества, заставил умолкнуть шумевших зрителей и громким голосом прочитал судебный приговор, как это было приказано господином прево. Затем он вместе со своими одетыми в мундиры подчиненными направился к тележке.

Квазимодо сидел бесстрастный и неподвижный. Сопротивления он оказать не мог благодаря тому, что на тогдашнем канцелярском языке называлось «силою и крепостью уз», которые действительно крепко впивались ему в тело. Впрочем, эта традиция тюрем и галер до сих пор еще сохраняется у нас в виде кандалов, несмотря на нашу цивилизованность, мягкость и гуманность (каторга и гильотина не в счет).

Звонарь собора Богоматери с видом полнейшего равнодушия позволил себя привезти на площадь, втащить волоком на вершину столба, связывать, развязывать и снова связывать, сколько было угодно его мучителям. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме разве изумления дикаря или идиота. Что он был глух — это давно уже всем было известно, а теперь казалось, что он и слеп.

Его поставили на колени на вершине столба, — он не сопротивлялся. С него сняли верхнюю одежду и спустили до пояса рубашку, — он и тут

не выказал ни малейшего сопротивления. Его стали опутывать целой системою ремней и пряжек, — и он покорно давал застегивать на себе пряжки и завязывать узлы. Только по временам он шумно фыркал, как теленок, когда тот колотится головой о края тележки мясника.

— Вот дурак-то! — говорил Жан де Мулен своему другу Робену Пуспену (само собою разумеется, что эти два студента последовали за осужденным на площадь). — Сразу видно, что он смыслит не больше жука, засаженного в коробку.

В толпе пронесся оглушительный хохот, когда обнажили горбатую спину, верблюжью грудь и угловатые, обросшие волосами плечи Квазимодо. Во время этого взрыва народной веселости на площадку столба поднялся небольшого роста коренастый человек с грубым лицом, одетый в мундир городской магистратуры, и встал рядом с осужденным. Имя этого человека, передаваясь из уст в уста, с быстротою молнии облетело всю толпу. Это был мэтр Пьера́ Тортерю, присяжный палач суда Шатлэ. Сначала он поставил на край площадки столба черные песочные часы, верхняя часть которых была наполнена красным песком, мерно сыпавшимся в нижнее отделение. Потом он снял с себя верхнюю двухцветную одежду, под

которой у него оказалась висевшая на правой руке тонкая длинная плеть из скрученных белых лоснящихся кожаных ремешков, покрытых узлами и снабженных на концах металлическими когтями. Левою рукою палач небрежно засучил на правой руке рукав до самого плеча. Между тем Жан Фролло взобрался на плечи Робена Пуспена и, подняв свою кудрявую белокурую голову над толпою, закричал во все горло:

— Месье и медам, пожалуйте сюда! Здесь сейчас начинается интересное представление! Будут самым добросовестным образом хлестать достопочтенного мэтра Квазимодо, звонаря моего брата, господина архидьякона Жозасского. Уважаемый звонарь устроен в чисто восточном вкусе, — в этом вы можете убедиться по его куполообразной спине и ногам в виде витых колонн.

Слова студента были встречены новым взрывом хохота, в особенности со стороны молодежи и детей.

Но вот палач топнул ногой, и колесо начало вращаться. Связанный Квазимодо вздрогнул. Появившееся на его уродливом лице выражение тупого недоумения усилило смех толпы.

Вдруг, в ту самую минуту, когда колесо, повернувшись, подставило мэтру Пьера горбатую

спину Квазимодо, палач поднял руку с плетью, тонкие ремни с резким свистом прорезали воздух, словно пучок змей, и со всего размаха опустились на плечи несчастного.

Квазимодо подскочил, точно внезапно разбуженный от сна. Он начинал понимать. Он стал корчиться и извиваться под ремнями. Все лицо его судорожно передернулось от не ожиданности и боли, но он не издал ни одного звука. Он только дернул головой сначала назад, потом вправо и влево, наконец замотал ею, как бык, ужаленный в бок слепнем.

За первым ударом последовал второй, затем — третий, четвертый, пятый. Колесо вертелось, и удары сыпались градом. Вскоре брызнула кровь и побежала струйками по темной спине горбуна, свистевшая же в воздухе плеть, перед тем как упасть, разбрызгивала капли крови над толпой.

Что же касается Квазимодо, то он снова, по крайней мере по внешности, впал в свою обычную апатию. Вначале он пробовал незаметно разорвать свои узы. Глаз его при этом пылал диким огнем, мускулы напрягались, все тело корчилось. Ремни было растянулись под его отчаянным геркулесовским усилием, но, несмотря на свою ветхость, все-таки с честью выдержали

этот могучий напор. Они только слегка трещали, но не лопались.

Квазимодо, очевидно, понял бесполезность своей попытки и более не повторял ее. Вместо тупого равнодушия на его лицо теперь легло выражение глубокого и горького разочарования. Он закрыл свой единственный глаз, опустил голову на грудь и замер.

После этого он больше не шевелился. Казалось, ничто не могло заставить его двинуть хоть одним мускулом: ни кровь, продолжавшая литься по его исполосованной спине, ни удары плетью, сыпавшиеся на него градом, ни ярость палача, возраставшая с каждым ударом, ни резкий свист отвратительных змеевидных ремней.

Наконец, одетый с головы до ног в черное, пристав суда Шатлэ, все время сидевший верхом на черной лошади у подножия столба, протянул свой черный жезл по направлению к песочным часам. Палач мгновенно остановился. Остановилось и колесо. Глаз Квазимодо медленно раскрылся.

Истязание кончилось.

Двое слуг палача обмыли окровавленную спину наказанного, натерли ее какою-то мазью, тотчас же остановившею кровь, и накинули ему на плечи что-то вроде желтой рясы. Тем временем

Пьера Тортерю стряхивал на мостовую кровь, которою была пропитана его плеть.

Однако Квазимодо еще не отделался этим. Ему предстояло пробыть на позорном столбе еще тот час, которым мэтр Флориан Барбдьён так справедливо усилил приговор мессира Робера д'Эстувиля, к вящей славе старой, но столь богатой психологическим и физиологическим смыслом игры слов Иоанна Куменского: surdus — absurdus[87].

Песочные часы перевернули и оставили горбуна привязанным к колесу, чтобы удовлетворить правосудие до конца.

Чернь, особенно средневековая, является среди общества тем же, чем ребенок среди своей семьи. Пока народ находится в состоянии первобытного невежества, умственного и нравственного несовершеннолетия, про него можно сказать то же самое, что говорят о детях: «Этот возраст не знает жалости».

Мы уже говорили, что Квазимодо был предметом общей ненависти, имевшей, впрочем, более или менее основательные причины. Едва ли во всей этой толпе, обступавшей позорный столб

---

[87] Сноски: 87
Глухой — глуп (*лат.*).

Гревской площади, был хоть один человек, который не считал бы себя вправе жаловаться на звонаря собора Богоматери. Поэтому его появление на позорном столбе возбудило общую радость, а жестокое истязание, которому он подвергся, и жалкое положение, в котором его оставили после бичевания, не только не возбудили сострадания в толпе, но еще усилили народную ненависть, вооружив ее жалом насмешки.

И вот лишь только были выполнены требования «закона общественного возмездия», как до сих пор еще выражаются носители четырехугольных шапок, настала очередь и тысячеголовой личной мести. Здесь, как в зале суда, больше всех неистовствовали женщины. Они все ненавидели Квазимодо: одни — за его злой нрав, другие — за его уродство. Последние прямо бесновались, глядя на него.

— У, харя антихристова! — визжала одна.

— Чертов всадник на помеле! — голосила другая.

— Ишь ведь, какую рожу корчит! — кричала третья. — Если бы вчерашний праздник был сегодня, этого урода за одну его рожу нужно было бы сделать папой шутов!

— Ах, моя милая! — прошамкала какая-то ста-

руха. — Если он строит такую рожу у позорного столба, то какую же он скорчил бы на виселице?

— Когда же твой большой колокол вдавит тебя в землю? — доносилось с одной стороны.

— И этот-то черт звонит к вечерне? — неслось с другой. — Ах ты, глухарь!.. Кривоглазый урод!.. Горбатое чудовище!

— При одном взгляде на это чучело можно выкинуть без помощи лекарей и аптекарей!

А школьники Жан де Мулен и Робен Пуспен во все горло распевали старинный народный припев:

Une hart –
Pour le pendart!
Un fagot –
Pour le magot![88]

Ругательства, проклятия, оскорбительные замечания, насмешки вместе с хохотом так и сыпались на злополучного горбуна. По временам в него летели и камни.

Квазимодо был глух, но видел очень хорошо, а озлобление толпы выражалось на лицах так же ясно, как и в словах. К тому же удары камнями

---

[88] Сноски: 88
Веревка — висельнику, костер — уроду (*фр.*).

поясняли ему, что означают взрывы хохота.

Сначала звонарь крепился, но мало-помалу и его терпение, закалившееся под плетью палача, стало колебаться от бесчисленных уколов целой тучи насекомых. Астурийский бык, хладнокровно выдержавший нападение пикадора, приходит в ярость, когда на него накидывается свора собак и бандерильеров.

Сначала Квазимодо обвел толпу угрожающим взглядом. Но так как он был крепко связан, его взгляд не мог отогнать мух, облепивших и сосавших его раны. Он начал рваться из своих уз с такою силою, что старое колесо, к которому он был привязан, колебалось и трещало. Но все это только подливало масла в огонь: насмешки и ругательства толпы усилились.

Убедившись еще раз, что ему не порвать ремней, которыми он был связан, несчастный горбун, как дикий зверь, снова затих. Лишь по временам вздохи бешенства вздымали его уродливую грудь. На лице его не выражалось ни стыда, ни смущения. Он был слишком далек от цивилизации и слишком близок к дикому состоянию, чтобы иметь понятие о стыде. Да и возможно ли при таком уродстве, каким он отличался, быть чувствительным к позору? Но гнев, ненависть

и отчаяние постепенно заволакивали его безобразное лицо темной тучей, все более и более сгущавшейся и насыщавшейся электричеством, сверкавшим тысячей молний из глаза циклопа.

Однако эта туча на мгновение просветлела, когда в толпе появился какой-то священник верхом на муле. Лишь только Квазимодо еще издали увидел этого священника, лицо его сразу смягчилось. Гримаса бешенства, еще более усилившая безобразие этого лица, сменилась какой-то странной улыбкой, полною бесконечной нежности, кротости и умиления. По мере приближения священника эта улыбка становилась яснее, теплее и лучезарнее, точно несчастный приветствовал появление своего спасителя. Но в ту минуту, когда мул очутился настолько близко от столба, что всадник мог узнать преступника, всадник опустил глаза, круто повернул своего мула и погнал его обратно. По-видимому, он спешил избавиться от унизительного положения быть узнанным жалким горемыкой, выставленным на общий позор.

Это был архидьякон Клод Фролло.

Туча на лице Квазимодо сгустилась более прежнего; сквозь нее еще мелькала улыбка, но уже улыбка горькая, скорбная, страдальческая.

Время шло. Уже полтора часа мучился Квазимодо на позорном столбе, истерзанный нравственно и физически, служа мишенью издевательств.

Вдруг он снова начал биться на колесе с удвоенной энергией отчаяния; все сооружение так затрещало, что, казалось, готово было разрушиться, и наконец он нарушил молчание, которое до сих пор так упорно хранил.

— Пить! — крикнул он глухим, сиплым, дрожавшим от бешенства голосом, напоминавшим лай разъяренного пса.

Этот вопль страдания, вырвавшийся из глубины измученной груди, вместо того чтобы разжалобить добрых парижан, окружавших столб, только усилил их веселость. Впрочем, эти парижане были нисколько не лучше той шайки бродяг, с которой мы уже познакомили читателя и которая составилась из худших отбросов общества. Если и поднимались голоса вокруг страждущего на колесе, то лишь с тем, чтобы поглумиться над его новым мучением — над жаждой.

Правда, в эту минуту, со своим красным, безобразным лицом, покрытым грязным потом, с блуждающим взором, с покрытыми пеной от бешенства и муки губами и высунутым языком,

он был не столько жалок, сколько страшен и отвратителен. Да если бы в толпе и нашлась сострадательная душа, вроде евангельского самаритянина, которая была бы готова подать страдальцу кружку воды, то и она едва ли бы решилась это сделать ввиду того, что считалось унизительным и постыдным даже касаться ногой ступеней позорного столба. А господствующие предрассудки, как известно, сильнее всего.

Тщетно прождав несколько минут, Квазимодо окинул толпу взглядом отчаяния и прохрипел еще более душераздирающим голосом:

— Пить!

В ответ на это снова раздался грубый, злорадный хохот.

— Вот, на, пососи! — крикнул Робен Пуспен, бросив в лицо несчастного грязную тряпку, намоченную в луже. — Получай, подлый глухарь, от своего должника.

Какая-то женщина бросила горбуну в голову камень.

— А вот тебе за то, что ты нас будишь по ночам своим адским трезвоном! — крикнула она.

— Ну что, дружок, — спросил один калека, стараясь ткнуть несчастного своим костылем, — будешь ты теперь насылать на нас порчу с

вершины соборных башен?

— На, получай посудину для питья! — крикнул какой-то мастеровой, швырнув горбуну прямо в грудь разбитую кружку. — Моя жена, мимо которой ты прошел, когда она была беременна, из-за тебя родила двухголового ребенка.

— А моя кошка из-за тебя принесла котенка с шестью лапами! — завизжала какая-то старуха и бросила в горбуна черепком.

— Пить! — в третий раз повторил Квазимодо, задыхаясь.

В эту минуту он увидал, как толпа вдруг расступилась и пропустила молодую девушку в странном наряде. Девушка держала в руке баскский бубен и шла в сопровождении белой козы с золотыми рогами.

Глаз Квазимодо засверкал. Горбун узнал в этой девушке ту самую цыганку, которую он пытался похитить в предшествующую ночь и за которую, как он смутно предполагал, его так жестоко наказывали. Но мы знаем, что это предположение было неверно: его наказывали за то, что он был глух и попался в лапы глухого судьи. Квазимодо вообразил, что и цыганка пришла лишь за тем, чтобы отомстить ему и ударить его, как все остальные.

Он видел, как цыганка быстро поднялась по ступеням позорного столба. Он задыхался от гнева и ярости. Он жаждал сокрушить столб. Если бы острый взгляд его глаза мог бы метать молнии, то египтянка была бы превращена в прах раньше, чем она дошла до площадки столба.

Безмолвно приблизившись к Квазимодо, тщетно пытавшемуся увернуться от воображаемого удара, цыганка отвязала от пояса фляжку и с ласковым видом поднесла ее к пересохшим губам страдальца.

Вдруг в его глазу, который до сих пор оставался сухим и воспаленным, выступила крупная слеза и медленно скатилась по его уродливому лицу, выражавшему до того лишь злобу и отчаяние. Быть может, это была первая слеза, пролитая жалким созданием во всю его жизнь.

Пораженный неожиданным поступком цыганки, Квазимодо даже забыл о своей жажде. Эсмеральда нетерпеливо передернула плечами и с улыбкой прижала свою фляжку к зубастому рту Квазимодо. Он жадными глотками стал утолять мучившую его жажду. Осушив фляжку, он вытянул свои почерневшие губы с явным намерением поцеловать красивую руку, оказавшую ему помощь. Но молодая девушка, по-видимому,

не совсем ему доверяла и, вспомнив о его вчерашнем дерзком покушении, отдернула руку с испуганным видом ребенка, опасающегося, как бы его не укусил зверь.

Несчастный горбун устремил на нее взгляд, полный упрека и невыразимой печали.

Трогательное зрелище представляла из себя эта прелестная, цветущая и чистая девушка, которая, несмотря на свою слабость, так мужественно явилась на помощь к такому олицетворению уродства, злобы и несчастья. У позорного столба подобное зрелище было величественным.

Даже толпа невольно почувствовала себя тронутой и с криками «Noël! Noël!»[89] стала хлопать в ладоши.

В эту-то минуту затворница из окна своей кельи увидела цыганку на вершине позорного столба и выкрикнула зловещие слова:

— О, будь ты проклята, египтянка, проклята, проклята!

V. Конец рассказа о лепешке

Эсмеральда побледнела и стала спускаться,

---

[89] Сноски: 89
«Рождество!» (В знак одобрения.)

шатаясь, а голос затворницы продолжал ее преследовать:

— Сходи, сходи, египетская воровка! Тебе опять придется взбираться туда!

— Ну, на затворницу сегодня что-то нашло! — говорили зрители. Больше они ничего не решались сказать, потому что подвижницы не только пользовались уважением в народе, но даже считались святыми. Неудобно затрагивать человека, который день и ночь проводит в молитве.

Между тем срок наказания окончился. Бедного горбуна отвязали от колеса, и толпа стала расходиться.

Магиета тоже направилась домой вместе со своими двумя спутницами. У Большого моста она вдруг остановилась:

— Эсташ, а куда ты девал лепешку?

— Ах, мама, — отвечал ребенок, — пока вы говорили с тетей, которая сидит в башне, ко мне подбежала большая собака и откусила кусок лепешки. Тогда и я откусил.

— Как, бесстыдник, — воскликнула мать, — ты съел всю лепешку?!

— Нет, мама, виновата собака. Я ей говорил, что нельзя есть эту лепешку, а она меня не послушалась. Ну, тогда и я стал есть лепешку.

— Ах, какой ты ужасный ребенок! — с притворно сердитой улыбкой проговорила Магиета. — Представьте себе, Ударда, этот малыш поедает все вишни в нашем садике в Шарльранже. Недаром дедушка говорит, что быть ему капитаном… Смотри ты у меня, Эсташ! В другой раз не спущу!.. Ну а теперь пойдем, гадкий мальчишка!

Книга седьмая
I. Как опасно доверять свою тайну козе

Прошло несколько недель. Стояли первые дни марта. Солнце, еще не получившее от Дю Барта, этого классического предка перифразы, названия великого герцога светочей, сияло, однако, не менее ярко и радостно. Был один из тех мягких, чудесных весенних дней, которые весь Париж, высыпав на площади и бульвары, празднует, как воскресенья. В эти ясные, теплые, безмятежные дни бывает один час, когда особенно хорош фасад собора Богоматери. Это тот час, когда солнце, уже склонившись к западу, стоит почти против самого собора. Его лучи, становясь все более и более горизонтальными, медленно покидают мостовую площади и поднимаются вдоль заканчивающегося шпилем фасада, освещая множество округленных выпуклостей, приобретающих особенную рельефность, а большая центральная розетка пылает, как глаз циклопа, в котором отражается пламя кузницы.

Был именно этот час.

Напротив собора, освещенного пурпуром зака-

та, на балконе над входом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и улицы Парви, весело смеялись и забавлялись несколько молодых девушек. По длинным покрывалам, спускавшимся до земли с их остроконечных, унизанных жемчугом уборов, по тонкому полотну их вышитых сорочек, покрывавших плечи и, согласно тогдашней моде, низко вырезанных спереди, по пышным нижним юбкам, сшитым, вследствие изысканной утонченности, из еще более богатого материала, чем покрывавшие их шелковые, газовые и бархатные верхние юбки, а особенно по белизне их рук, указывавшей на праздный, ленивый образ жизни, — нетрудно было узнать в них богатых, благородных наследниц. Действительно, то были девица Флёр де Лис де Гондлорье со своими подругами Дианой де Кристель, Амлоттой де Монмишель, Коломбой де Гайфонтэн и маленькой Шаншеврие. Все девушки принадлежали к аристократическим семьям и собрались у вдовы де Гондлорье по случаю ожидаемого приезда в Париж монсеньора де Боже и его супруги, которым был поручен выбор фрейлин для встречи и сопровождения невесты дофина Маргариты, следовавшей из Фландрии через Пикардию. Все дворяне на тридцать лье

вокруг Парижа добивались этой чести для своих дочерей, и многие уже привезли или прислали их в Париж. Родители поручили их покровительству почтенной госпожи Алоизы де Гондлорье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, жившей со своей единственной дочерью в собственном доме на площади против собора Богоматери.

С балкона, на котором находились молодые девушки, можно было пройти в комнату, обтянутую роскошной фландрской кожей коричневого цвета с золотыми тиснеными разводами. Расположенные параллельно балки потолка веселили взгляд разнообразными разрисованными и золочеными резными фигурами. Затейливые шкатулки отливали драгоценной эмалью, фаянсовая кабанья голова украшала великолепный поставец, две ступеньки которого указывали на то, что хозяйка была женой или вдовой дворянина, имевшего свое знамя. В глубине комнаты, у высокого камина, украшенного сверху донизу гербами, в богатом, обитом красным бархатом кресле сидела сама госпожа де Гондлорье, пятидесятипятилетний возраст которой можно было угадать как по лицу, так и по одежде.

Возле нее стоял молодой человек довольно

горделивой осанки, хотя несколько фатоватый и самодовольный, — один из тех красавчиков, которые возбуждают единодушное восхищение женщин, а людей серьезных и физиономистов заставляют пожимать плечами. На молодом человеке был блестящий мундир капитана королевских стрелков, настолько походивший на наряд Юпитера, уже описанный нами в первой книге нашего рассказа, что мы можем избавить нашего читателя от вторичного его описания.

Девицы сидели частью в комнате, частью на балконе, кто на четырехугольных, обитых утрехтским бархатом табуретах с золотыми кистями, кто на дубовых скамеечках, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край большого вышивания, над которым они все работали сообща и добрая половина которого лежала на полу.

Они разговаривали между собой, понизив голос и хихикая, как всегда бывает, когда среди молодых девушек находится молодой человек. Молодой же человек, присутствия которого было достаточно, чтобы пробудить самолюбие всех этих женщин, по-видимому, мало замечал их, в то время как красавицы девушки наперебой старались обратить на себя его внимание. Он чи-

стил пряжку своего пояса замшевой перчаткой и, казалось, был всецело поглощен этим занятием.

По временам старая дама обращалась к нему шепотом, и он почтительно отвечал ей с натянутой, неловкой любезностью. По улыбкам, знакам и взглядам, которые госпожа Алоиза, говоря с капитаном, бросала на свою дочь, Флёр де Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшемся сватовстве и, по-видимому, близкой свадьбе молодого человека и Флёр де Лис. По холодности же офицера легко было догадаться, что с его стороны, по крайней мере, не было и речи о любви. Во всей его мине сказывались натянутость и равнодушие, которое наш теперешний гарнизонный офицер выразил бы словами: «Вот так скучища!»

Но госпожа Алоиза, влюбленная в свою дочь, как подобает нежной матери, не замечала равнодушия офицера и изо всех сил старалась шепотом обратить его внимание на то бесконечное совершенство, с каким Флёр де Лис втыкала иголку или разматывала шерсть.

— Да взгляните же на нее, кузен, — говорила старушка, дергая молодого человека за рукав, чтобы он наклонился к ней ухом. — Вот она нагибается.

— Да, в самом деле, — подтверждал молодой человек и снова погружался в свое ледяное рассеянное молчание.

Через минуту ему снова приходилось наклоняться, и госпожа Алоиза говорила:

— Видали ли вы лицо оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? Видали ли цвет лица нежнее и волосы светлее? А как хороши ее руки! А шейка? Не напоминает ли она вам своей гибкостью шею лебедя? Как я минутами завидую вам! Как вы счастливы, противный вы кутила! Разве не очаровательна моя Флёр де Лис и разве вы не влюблены в нее без памяти?

— Несомненно! — отвечал тот, думая совсем о другом.

— Да поговорите же вы с ней, — вдруг сказала госпожа Алоиза, толкая его в плечо. — Вы стали очень робки.

Смеем уверить читателя, что робость не была ни добродетелью, ни пороком молодого человека. Однако он попытался исполнить это требование.

— Прекрасная кузина, — сказал он, подходя к Флёр де Лис, — каков сюжет вашего вышивания?

— Прекрасный кузен, — отвечала Флёр де Лис с легкой досадой, — я уже три раза говорила вам: это грот Нептуна.

Очевидно, Флёр де Лис гораздо яснее, чем мать, видела холодность и рассеянность молодого человека. Он почувствовал, что ему необходимо сказать хотя бы несколько слов.

— Для кого же предназначается вся эта мифология? — спросил он.

— Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан, — отвечала Флёр де Лис, не поднимая глаз.

Капитан приподнял угол вышивки.

— Кого же должен изображать этот толстый жандарм, который, надув щеки, дует в трубу, прекрасная кузина?

— Это Тритон, — отвечала она.

В коротких ответах Флёр де Лис звучало неудовольствие. Молодой человек видел, что ему придется сказать ей что-нибудь на ухо: пошлость, любезность — все равно! Он нагнулся, но не мог найти в своем воображении ничего более нежного или задушевного, чем следующие слова:

— Почему ваша матушка постоянно носит робу, украшенную гербами, как наши бабушки времен Карла Седьмого? Скажите ей, прелестная кузина, что теперь это уже не в моде. Петли и лавры ее герба, вышитые на платье, придают ей вид ходячего камина. Теперь уже не принято восседать на своих знаменах, клянусь вам!

Флёр де Лис с упреком подняла на него свои прекрасные глаза.

— Больше вам не в чем поклясться мне? — проговорила она шепотом.

Между тем простодушная госпожа Алоиза, восхищенная тем, что они так близко наклонились друг к другу и шепчутся, говорила, играя застежками своего часослова:

— Трогательная картина любви!

Капитан, приходя все больше в замешательство, опять вернулся к вышиванию.

— Право, прелестная работа! — воскликнул он. При этом замечании Коломба де Гайфонтэн, другая блондинка с нежным цветом лица, в платье из голубого шелка, плотно застегнутом до самого горла, решилась вставить свое слово, обращаясь к Флёр де Лис, но надеясь, что ей ответит красивый капитан:

— Милая Гондлорье, видели вы вышивки в особняке ла Рош-Гюон?

— Это тот самый особняк, в ограде которого находится садик луврской белошвейки? — спросила, смеясь, Диана де Кристель, которая смеялась при каждом удобном случае, чтобы показать свои прекрасные зубы.

— И где еще стоит эта большая старинная

башня, оставшаяся от прежней парижской стены? — прибавила Амлотта де Монмишель, хорошенькая, свеженькая, кудрявая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же, как ее подруга смеяться, сама не зная почему.

— Вы, вероятно, говорите об особняке, принадлежавшем господину де Беквиллю при Карле Шестом, милая Коломба? — спросила госпожа Алоиза. — Правда, там есть прекрасные тканые обои.

— Карл Шестой! Карл Шестой! — бормотал капитан, закручивая ус. — Боже мой, какую старину помнит почтенная дама!

Мадам Гондлорье продолжала:

— Действительно, прекрасные. Такая чудная работа, что считается единственной в своем роде!

В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, стройная семилетняя девочка, смотревшая на площадь через узорчатую решетку балкона, позвала:

— Крестная Флёр де Лис! Смотри-ка, какая хорошенькая танцовщица пляшет там, на улице, и бьет в бубен! А кругом на нее все так и смотрят!

Действительно, с улицы доносился громкий звон бубна.

— Какая-нибудь цыганка, — отвечала Флёр де Лис, небрежно поворачивая голову в сторону

площади.

— Посмотрим! Посмотрим! — закричали ее резвые подруги.

Все бросились к решетке балкона, между тем как Флёр де Лис, озабоченная холодностью своего жениха, последовала за ними медленно, а сам жених, выручeнный этим случаем, положившим конец натянутому разговору, возвратился в глубину комнаты с чувством облегчения, как солдат, сменившийся с караула. Одно время ему нравилось ухаживать за прелестной Флёр де Лис, но мало-помалу это стало ему надоедать, а теперь близость их предстоящего брака охлаждала его с каждым днем все больше. Впрочем, он от природы отличался непостоянством, да вдобавок обладал еще и несколько грубым вкусом. Несмотря на свое высокое происхождение, он приобрел на военной службе солдатские замашки. Ему были по душе таверны и кутежи. Он чувствовал себя хорошо только там, где раздавались грубые остроты, где можно было отпускать казарменные любезности, где красота была доступна и успех легок. А между тем в семье ему дали некоторое воспитание и привили известные манеры; но он слишком рано попал в казарму, слишком рано начал жить, и с каждым днем дворянский лоск

все более стирался от грубого трения его военной перевязи. Бывая время от времени из уважения, еще не вполне угасшего в нем, у Флёр де Лис, он чувствовал себя вдвойне стесненным. Во-первых, потому, что, растеряв свою любовь в различных похождениях, он сохранил очень мало для своей невесты, а во-вторых, он постоянно боялся, чтобы среди всех этих затянутых, чопорных красавиц с его языка, привыкшего к ругательствам, не сорвалось бы какое-нибудь крепкое словцо. Можно себе представить, каково было бы впечатление!

Впрочем, все это сочеталось у него с большой претензией на изящество, с щегольством и красивой наружностью. Пусть читатель соединит все это, как ему будет угодно. Я только историк.

Так он стоял несколько минут молча, точно в раздумье, прислонясь к резному наличнику камина, как вдруг Флёр де Лис, повернув голову, обратилась к нему с вопросом. Ведь, по правде говоря, разговаривать с ним холодно бедной девушке было очень трудно.

— Вы, кажется, говорили мне, прекрасный кузен, о какой-то цыганочке, которую вы спасли от целой шайки жуликов два месяца тому назад, объезжая с патрулем город?

— Как будто говорил, прекрасная кузина, — от-

вечал капитан.

— Не она ли пляшет там, на площади? Посмотрите, не узнаете ли вы ее, кузен Феб?

В этом кратком приглашении подойти и в обращении по имени явно сквозило желание примириться. Капитан Феб де Шатопер — читатель, вероятно, уже с начала главы узнал его — медленно направился к балкону.

— Посмотрите на эту девочку, — обратилась к Фебу Флёр де Лис, нежно беря его под руку, — не ваша ли это цыганочка?

Феб взглянул и сказал:

— Да. Я узнаю ее козу.

— Ах, в самом деле, какая прелестная козочка! — воскликнула Амлотта, всплеснув руками от восхищения.

— А что, ее рожки из настоящего золота? — спросила Беранжера.

Мадам Алоиза заметила, не вставая с кресла:

— Не одна ли это из тех цыганок, которые в прошлом году вошли в Париж через Жибарские ворота?

— Матушка, теперь эти ворота называются Адскими воротами, — кротко заметила Флёр де Лис.

Мадемуазель де Гондлорье знала, как коробят

капитана устарелые выражения ее матери. Действительно, он усмехался, повторяя сквозь зубы:

— Жибарские ворота! Жибарские! Все воспоминания о короле Карле Шестом!

— Крестная, — позвала Беранжера, чьи все время бегавшие глазки вдруг устремились к верхушке собора Богоматери, — какой это там, наверху, человек в черном?

Все девушки посмотрели вверх. Действительно, на верхнюю балюстраду северной башни, выходившей на Гревскую площадь, облокотился человек. Это был священник. Ясно видны были его одежда и лицо, подпертое обеими руками. Он стоял неподвижно, как статуя, устремив пристальный взгляд на площадь. В его позе было что-то напоминающее неподвижность коршуна, заметившего воробьиное гнездо и смотрящего на него.

— Это жозасский архидьякон, — сказала Флёр де Лис.

— Хорошее у вас зрение, если вы узнали его отсюда, — заметила Гайфонтэн.

— Как он смотрит на плясунью! — заметила Диана де Кристель.

— Беда цыганочке! — сказала Флёр де Лис. — Он не любит ее родины — Египта.

— Жаль, что этот человек так смотрит на нее, — прибавила Амлотта де Монмишель. — Она танцует восхитительно…

— Прекрасный кузен Феб, — вдруг обратилась к молодому человеку Флёр де Лис, — так как вы знаете эту цыганочку, то сделайте ей знак, чтобы она подошла сюда. Это бы нас позабавило.

— Да, да! — хором воскликнули остальные девушки, хлопая в ладоши.

— Это безумие, — возразил Феб. — Она, наверное, уже забыла меня, и я даже не знаю ее имени. Однако, если вы желаете, сударыни, то я попытаюсь.

И, перегнувшись через балюстраду балкона, он закричал:

— Эй, цыганка!

Плясунья в эту минуту не била в бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался голос, устремила на Феба блестящие глаза и замерла на месте.

— Сюда! — он жестом позвал цыганку.

Молодая девушка еще раз взглянула на него, затем вся вспыхнула и, взяв тамбурин под мышку, направилась мимо изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звали. Она шла медленно, качаясь, с помутившимся взглядом птички, оча-

рованной змеей.

Минуту спустя шитая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, опустив глаза, не смея ступить ни шагу дальше.

Беранжера захлопала в ладоши.

Между тем плясунья стояла неподвижно на пороге. Ее появление произвело странное впечатление на группу молодых девушек. Всех их, несомненно, одушевляло бессознательное желание нравиться красивому офицеру, все их кокетство имело в виду блестящий мундир, и с момента его появления между ними началось тайное, глухое соревнование, в котором они сами едва ли отдавали себе отчет, но которое поминутно сквозило во всех их жестах и словах. Но так как они все были приблизительно одинаково красивы, то боролись они одинаковым оружием, и каждая могла надеяться на победу.

Появление цыганки сразу нарушило это равновесие. Девушка отличалась такой редкой красотой, что, как только она появилась на пороге, всем показалось, что она распространяет какой-то особый свет. В этой тесной комнате, в темной раме драпировок и резьбы, она была несравненно прекраснее и блистательнее, чем

на площади. Она походила на факел, который внесли со света в тень. Благородные девицы были ослеплены. Каждая почувствовала себя как бы оскорбленной в своей красоте. И тут же, не обменявшись между собой ни словом, они — да извинит нам читатель это выражение — переменили фронт. Они прекрасно поняли друг друга. Женщины инстинктивно понимают друг друга быстрее, чем мужчины. Перед ними явилась соперница — все это почувствовали и все сомкнулись. Достаточно одной капли вина, чтоб окрасить целый стакан воды, а чтоб испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления женщины еще более хорошенькой, — особенно когда в обществе есть мужчина.

Поэтому цыганке был оказан ледяной прием. Девицы окинули ее взглядом с головы до ног, потом переглянулись, — и все было сказано. Они поняли друг друга. Между тем цыганка ждала, чтоб с ней заговорили. Она была так взволнована, что не смела поднять глаз.

Капитан первый прервал молчание.

— Честное слово, — заговорил он с крайне фатоватым видом, — прехорошенькая! Как ваше мнение, прекрасная кузина?

Это замечание, которое более деликатный человек сделал бы, по крайней мере, не так громко, не могло способствовать тому, чтобы уменьшить ревнивое чувство женщин, рассматривавших цыганку.

Флёр де Лис ответила кузену с гримаской притворного пренебрежения:

— Недурна!

Остальные шептались.

Наконец госпожа Алоиза, приревновавшая цыганку не меньше других, но, конечно, не за себя, а за дочь, обратилась к плясунье:

— Подойди сюда, девочка.

— Подойди сюда, девочка! — с комической важностью повторила Беранжера, ростом не доходившая до талии цыганки.

Девушка подошла к благородной даме.

— Красавица, я не знаю, окажусь ли я настолько счастлив, что ты узнаешь меня… — высокопарно начал Феб, подходя.

Она прервала его, подняв на него бесконечно кроткий взгляд, и проговорила с улыбкой:

— Конечно!

— У нее хорошая память, — заметила Флёр де Лис.

— Как ты, однако, быстро убежала тогда, — про-

должал Феб. — Разве я такой страшный?

— Ах, нет, — ответила цыганка.

В этом «ах, нет» и в этом «конечно» было нечто неизъяснимое, что оскорбило Флёр де Лис.

— А вместо себя, красавица, ты оставила мне какого-то горбатого кривого урода, кажется, епископского звонаря, — продолжал капитан, язык которого развязался в разговоре с девушкой из простонародья. — Мне говорили, что он побочный сын архидьякона и по природе своей черт. У него смешное имя, что-то вроде Великой пятницы, Вербного воскресенья или Заговенья. Одним словом — название какого-то праздника, когда трезвонят в колокола! И он позволил себе похитить тебя, будто ты создана для пономарей… Это слишком! Чего нужно было от тебя этому дикому коту? А? Скажи-ка!

— Не знаю, — ответила она.

— Представьте себе, какая дерзость! Звонарь похищает девушку, как какой-нибудь виконт! Мужик охотится за дворянской дичью! Это неслыханно. Впрочем, он дорого поплатился за это. Мэтр Пьера Тортерю — мастер своего дела! И я должен тебе сказать, — если это может доставить тебе удовольствие, — что он здорово обработал шкуру твоего звонаря.

— Бедный! — сказала цыганка, в памяти которой эти слова вызвали воспоминание о сцене у позорного столба.

Капитан разразился смехом:

— Ах, черт возьми! Тут сожаление так же у места, как султан из перьев на хвосте у свиньи! Пусть мне раздует брюхо, как самому Папе, если…

Он осекся:

— Извините, сударыни. Я, кажется, чуть было не сказал глупости.

— Фи, сударь, — сказала Гайфонтэн.

— Он говорит с этой цыганкой на понятном ей языке! — добавила вполголоса Флёр де Лис, досада которой возрастала с каждой минутой.

Это чувство, конечно, не уменьшилось, когда она увидела, как капитан, довольный цыганкой, а еще больше самим собой, повернулся на каблуках, повторяя со своей грубой и простодушной солдатской любезностью:

— Красавица, черт побери!

— Костюм у нее довольно неприличный, — заметила Диана де Кристель, улыбаясь, чтобы показать свои прекрасные зубки.

Это замечание было лучом света для всех остальных. Оно указало на уязвимую сторону

цыганки. Не имея возможности придраться к ее красоте, девицы набросились на ее наряд.

— Да, правда, милая, — вмешалась Амлотта де Монмишель, — как это ты решаешься показываться на улицу без косынки и шемизетки?

— И юбка так коротка, что совестно смотреть, — сказала Гайфонтэн.

— Тебя, моя милая, за твой золотой пояс заберет городская стража, — довольно язвительно вставила Флёр де Лис.

— Девочка, девочка, если бы ты прикрывала руки рукавами, они бы у тебя не так загорели, — продолжала с неумолимой усмешкой Диана.

Эта группа молодых красавиц, скользивших и извивавшихся по-змеиному вокруг уличной плясуньи, жаливших ее острыми и ядовитыми язычками, представляла зрелище, достойное более умного наблюдателя, чем Феб. Красавицы были грациозны и злы. Они злобно разбирали этот убогий фантастический наряд из блесток и пестрых тряпок, и смеху, насмешкам, унижениям не было конца. Сарказмы, сопровождаемые высокомерным состраданием и злобными взглядами, сыпались дождем. Красавицы напоминали молодых римских патрицианок, забавлявшихся тем, что втыкали булавки в грудь красивой невольни-

цы. Их можно было сравнить со сворой гончих, с раздутыми ноздрями и разгоревшимися глазами окруживших бедную лесную лань, растерзать которую им запрещает взгляд хозяина.

И что значила в конце концов эта жалкая уличная плясунья перед знатными девицами! Они, казалось, даже забыли о ее присутствии и говорили о ней громко, как о вещи довольно красивой, но неопрятной и презренной.

Цыганка не была нечувствительна к этим булавочным уколам. По временам краска стыда заливала ее лицо, и в глазах сверкал гнев. Презрительное слово, казалось, было готово сорваться с ее губ, и она делала гримаску, уже знакомую читателю. Однако она молчала и стояла неподвижно, устремив на Феба покорный, грустный и кроткий взгляд. В этом взгляде сквозили счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживается, боясь, чтобы ее не прогнали.

Феб же смеялся, принимая сторону цыганки, со смесью сострадания и нахальства.

— Ты их не слушай, милая, — повторял он, позванивая своими золотыми шпорами. — Правда, твой наряд несколько странен и не вполне приличен, но это ничего не значит для такой красотки, как ты.

— Боже мой! — воскликнула блондинка Гайфонтэн, вытягивая с горькой усмешкой свою лебединую шейку. — Как легко королевские стрелки воспламеняются от прекрасных цыганских глаз!

— Что же тут особенного? — спросил Феб.

При этом ответе, небрежно брошенном капитаном, как бросают камень, даже не заботясь взглянуть, куда он упадет, Коломба засмеялась, так же, как засмеялись Диана, Амлотта и Флёр де Лис, у которой, впрочем, на глаза навернулись слезы.

Цыганка, опустившая взгляд при замечании Коломбы де Гайфонтэн, подняла глаза и, вся сияющая и гордая, взглянула на Феба. Она была очень красива в эту минуту.

Хозяйка, наблюдавшая за этой сценой, чувствовала себя, сама не зная почему, оскорбленной.

— Пресвятая Дева! — вдруг закричала она. — Что это там шевелится, у моих ног! Ах ты, противное животное!

То была коза, прибежавшая отыскивать свою госпожу. Пытаясь пробраться к ней, она запуталась в бесчисленных складках платья благородной дамы, сидевшей в кресле.

Внимание было отвлечено. Цыганка, не говоря

ни слова, высвободила козу.

— Ах, это козочка с золочеными копытцами! — воскликнула Беранжера, прыгая от восторга.

Цыганка опустилась на колени и прижалась щекой к голове ласкавшейся к ней козочки, словно прося у нее прощения за то, что покинула ее.

Диана между тем нагнулась к уху Коломбы:

— Ах, боже мой! Как это я прежде ее не узнала: ведь это цыганка с козой! Говорят, она колдунья, и ее коза умеет выделывать удивительные штуки.

— Ну, так пусть коза нас позабавит и покажет нам какое-нибудь чудо! — сказала Коломба.

Диана и Коломба живо обернулись к цыганке.

— Милая, заставь свою козу показать нам чудо.

— Я не понимаю вас, — отвечала плясунья.

— Чудо, волшебство… ну вообще, — колдовство.

— Не знаю… — И она начала ласкать хорошенькое животное, повторяя: — Джали! Джали!

В эту минуту Флёр де Лис заметила вышитый кожаный мешочек, висевший на шее козы.

— Что это такое? — спросила она цыганку.

Цыганка подняла на нее свои большие глаза и отвечала серьезно:

— Это моя тайна.

«Хотела бы я знать, что у тебя за тайны», — по-

думала Флёр де Лис.

Между тем хозяйка встала с недовольным видом.

— Однако, моя милая, если ты со своей козой не можешь нам проплясать что-нибудь, то что вам здесь делать?

Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подходила к порогу, тем медленнее становился ее шаг, как будто ее удерживал невидимый магнит. Вдруг она обратила полные слез глаза на Феба и остановилась.

— Клянусь Богом! — вскричал капитан. — Разве можно так отпустить ее! Вернись и пропляши нам что-нибудь. Кстати, красотка, как тебя зовут?

— Эсмеральда, — отвечала плясунья, не сводя глаз с офицера.

При этом странном имени девицы покатились со смеху.

— Вот так имя для девушки! — воскликнула Диана.

— Сами видите, что она колдунья, — пояснила Амлотта.

— Одно могу сказать, моя милая: не у святой купели твои родители дали тебе это имя, — торжественно заявила госпожа Алоиза.

Между тем не замеченная никем Беранжера

успела кусочком марципана приманить козу в уголок, и они мгновенно подружились. Любопытная девочка отвязала мешочек, висевший на шее козы, открыла его и высыпала содержимое на ковер. Там оказалась азбука, каждая буква которой была написана на отдельной дощечке. Едва успев высыпать эти игрушки на пол, девочка с изумлением увидела, что коза стала своей золоченой ножкой отбирать буквы и размещать их, тихонько подталкивая, в известном порядке. Вероятно, это было одно из «чудес», известных животному. Через минуту составилось слово, по-видимому хорошо ей знакомое, и Беранжера, в восторге всплеснув руками, объявила:

— Крестная Флёр де Лис, посмотрите, что сделала коза.

Флёр де Лис поспешно подошла и вздрогнула: буквы, размещенные на полу, составляли слово:

«ФЕБ»

— Это написала коза? — спросила молодая девушка изменившимся голосом.

— Да, крестная! — отвечала Беранжера.

Сомнение было невозможно: девочка не умела писать.

«Так вот ее тайна!» — подумала Флёр де Лис.

Между тем на крик девочки подбежали все — и

мать, и девицы, и цыганка, и офицер.

Цыганка увидала, какую глупость совершила ее коза. Она вспыхнула, затем побледнела и вся дрожала, как уличенная в преступлении, стоя перед капитаном. Он же смотрел на нее с улыбкой удивления и самодовольства.

— Феб, — изумленно шептали девицы, — это имя капитана.

— У тебя превосходная память! — заметила Флёр де Лис цыганке, замершей на месте, и разразилась рыданиями. — О! — повторяла она горестно, закрывая лицо прекрасными руками. — Она — колдунья!

А другой, еще более горький голос шептал ей: «Она — соперница!»

Флёр де Лис упала в обморок.

— Дочь моя! Дочь моя! — кричала испуганная мать. — Убирайся прочь, проклятая цыганка!

Эсмеральда в мгновение ока собрала злополучные буквы, сделала знак Джали и вышла в одну дверь, между тем как Флёр де Лис выносили в другую.

Оставшись один, капитан Феб, поколебавшись с минуту, в какую дверь ему направиться, пошел за цыганкой.

II. Священник и философ не одно и то же

Священник, которого молодые девушки увидали на северной башне и который так внимательно следил, перегнувшись через перила, за пляской цыганки, был действительно архидьякон Клод Фролло.

Читатель не забыл, вероятно, таинственной кельи, которую архидьякон устроил себе в этой башне. (Между прочим, я не знаю, не та ли эта самая келья, внутренность которой и теперь можно видеть через четырехугольное окошечко, проделанное на высоте человеческого роста с восточной стороны платформы, служащей основанием для башен собора. Теперь это не что иное, как пустая полуразрушенная нора, плохо выштукатуренные стены которой местами «украшены» плохими пожелтевшими изображениями фасадов различных соборов. Я думаю, что там гнездятся летучие мыши и пауки, и, следовательно, ведется двойная истребительная война против мух.)

Ежедневно, за час до захода солнца, архидьякон

поднимался по лестнице на башню и запирался в этой келье, где иногда проводил целые ночи. На этот раз, добравшись до низенькой двери своего убежища, вставляя в замок замысловатый ключ, который он всегда носил в сумке, висевшей у него на поясе, он услыхал звук бубна и кастаньет. Звук доносился с площади перед собором. Келья, как мы уже говорили, имела только одно окошечко, выходившее на крышу собора. Клод Фролло быстро выдернул ключ и через минуту стоял уже на вершине башни в угрюмой, сосредоточенной позе, в которой его заметили молодые девицы.

Он стоял там, серьезный, неподвижный, весь поглощенный одним зрелищем и одной мыслью. У его ног лежал Париж с тысячами шпилей своих зданий и горизонтом, затянутым мягкими очертаниями холмов, с рекой, извивающейся под мостами, и улицами, кишащими народом, облаками дыма и массами нагроможденных, как горы, одна на другую крыш, словно наступающих со всех сторон на собор. Но во всем этом городе внимание священника привлекал один только уголок — площадь перед собором. Среди всей этой толпы он видел одно только лицо — лицо цыганки.

Трудно было бы определить, что выражал этот

взгляд и какое чувство заставляло его гореть таким огнем. Взгляд был неподвижен и вместе с тем исполнен смятения и тревоги. Судя по неподвижности всего тела, по которому лишь изредка пробегал невольный трепет, подобный содроганию дерева, колеблемого ветром, по застывшим локтям, казавшимся изваянными из мрамора, как те перила, на которые они опирались, по неподвижной улыбке, исказившей лицо, — можно было подумать, что в Клоде Фролло оставались живыми одни только глаза.

Цыганка плясала. Она вертела свой бубен на кончике пальца и подбрасывала его в воздух, танцуя провансальскую сарабанду. Проворная, легкая, радостная, она не чувствовала тяжести страшного взгляда, тяготевшего отвесно над ее головой.

Толпа теснилась вокруг нее. По временам человек в желтом с красным казакине расширял круг, а затем снова усаживался на стул в нескольких шагах от танцовщицы и клал голову козы себе на колени.

Этот человек был, по-видимому, спутником цыганки. Клод Фролло с высоты, на которой он находился, не мог различить черт его лица.

С той минуты, как архидьякон заметил этого

человека, внимание его, казалось, раздвоилось между плясуньей и им, и лицо его становилось все мрачнее.

Вдруг он выпрямился, и по всему его телу пробежала дрожь.

— Что это за человек? — проговорил он сквозь зубы. — Она всегда ходила одна.

И, скрывшись под извилистым сводом винтовой лестницы, он спустился вниз.

Проходя мимо полуотворенной двери помещения для колоколов, он увидел нечто, поразившее его. Квазимодо, высунувшись в отверстие под одним из шиферных навесов, похожих на жалюзи, тоже смотрел на площадь. Он так ушел в свое созерцание, что не заметил, как его приемный отец прошел мимо. В его единственном глазу было странное выражение. В нем светились восторг и умиление.

— Вот странно, — бормотал Клод, — неужели он так смотрит на цыганку?

Клод продолжал задумчиво спускаться и через несколько минут вышел через дверь у подножия башни на площадь.

— Куда же девалась цыганка? — спросил он, вмешиваясь в группу зрителей, собравшихся на звук бубна.

— Не знаю, — ответил один из стоявших рядом с ним, — она куда-то исчезла. Кажется, пошла плясать в тот дом, напротив. Ее позвали оттуда.

Вместо цыганки на том же ковре, арабески которого минуту тому назад исчезали под капризными узорами пляски, архидьякон увидал только человека в красном с желтым казакине. Завладев вниманием зрителей, человек этот обходил круг, подперши бока руками, закинув голову, вытянув шею, побагровев и держа в зубах стул. К стулу была привязана кошка, взятая напрокат у живущей поблизости женщины и отчаянно мяукавшая со страху.

— Пресвятая Богородица, как попал сюда мэтр Пьер Гренгуар! — воскликнул архидьякон, когда фигляр, с которого пот катился градом, прошел мимо него со своей пирамидой из стула и кошки.

Строгий голос так поразил беднягу, что все его сооружение потеряло равновесие и стул с кошкой при отчаянных криках ушибленных полетел на головы зрителей.

Очень вероятно, что Пьеру Гренгуару — то был действительно он — пришлось бы дорого поплатиться перед хозяйкой кошки и перед всеми ушибленными или исцарапанными, если бы он не воспользовался смятением, чтобы скрыться в

церкви, куда Клод Фролло знаком пригласил его следовать за собой.

В соборе было пусто и темно, и лампады в приделах светились, как звездочки среди мрака, уже наполнившего своды. Только большая розетка фасада, на разноцветные стекла которой падали косые лучи солнца, сверкала в темноте игрой самоцветных камней, отбрасывая ослепительный спектр на противоположную стену.

Сделав несколько шагов, достопочтенный Клод прислонился к колонне и пристально взглянул на Гренгуара. Взгляд его был не тот, которого боялся Гренгуар, устыдившийся, что такое почтенное и ученое лицо встретило его в наряде фигляра. Во взгляде священника не было ни насмешки, ни иронии; он был серьезен, спокоен и проницателен. Архидьякон первый нарушил молчание:

— Послушайте, мэтр Пьер, вы должны объяснить мне многое. Во-первых, что это значит, что вас не было видно целых два месяца, а теперь вы появляетесь на перекрестке и, нечего сказать, в чудесном наряде: одна сторона желтая, другая — красная, словно кодебекское яблоко!

— Мессир, — жалобно заговорил Гренгуар, — это действительно очень странный наряд, и он стесняет меня больше, чем стеснила бы кошку

тыква, надетая ей на голову. Я чувствую, что поступаю очень глупо, подвергая господ сержантов городской стражи риску нанести удар по плечевой кости философа-пифагорейца, обрядившегося в этот казакин. Но что делать, почтенный учитель! Виноват во всем мой старый кафтан, предательски покинувший меня в начале зимы под предлогом, что он превращается в клочья и что ему пора отдохнуть в корзине тряпичника. Что делать? Цивилизация еще не достигла той степени, при которой можно было бы ходить нагишом, как мечтал старик Диоген. Прибавьте к этому, что дул холодный ветер и что в январе мудрено пытаться ввести подобное усовершенствование в жизнь человечества. Подвернулся этот казакин. Я его взял и бросил свой черный подрясник, бывший далеко не достаточно герметическим для такого герметика, как я. И вот вы видите меня в наряде гистриона, как это было с блаженным Генезием. Что делать? Бывают такие темные полосы в жизни людской. Ведь пришлось же Аполлону пасти свиней у Адмета.

— Нечего сказать, славное вы избрали себе ремесло! — продолжал архидьякон.

— Совершенно согласен, что лучше философствовать или заниматься поэзией, раздувать

пламя в алхимическом горне или доставать его с неба, чем носить кошек на подставке. И вот, когда вы окликнули меня, я почувствовал себя в таком же глупом положении, как осел перед вертелом. Но как быть, почтенный учитель? Надо чем-нибудь перебиваться со дня на день, и самый превосходный александрийский стих не заменит зубам куска сыра бри. Как вам известно, я сочинил для принцессы Маргариты Фландрской свадебную песнь, и город не платит мне за нее под предлогом, что эта песнь — далеко не лучшее произведение в своем роде, — как будто за четыре экю можно дать трагедию Софокла! Стало быть, мне грозила голодная смерть. К счастью, в челюстях у меня оказалась порядочная сила, и я сказал им: «Показывайте фокусы, в которых проявилась бы ваша сила, и кормите сами себя — ale te ipsam». Шайка оборванцев, с которыми я свел дружбу, выучила меня разным атлетическим штукам, и теперь я каждый вечер преподношу моим зубам тот хлеб, который они заработали в поте лица моего. Конечно, concedo, — я согласен, что это весьма печальное применение моих умственных способностей и что человек не для того создан, чтобы бить в бубен и носить в зубах стулья. Но, уважаемый учитель, недостаточно жить, надо

как-нибудь суметь сохранить свою жизнь.

Достопочтенный Клод слушал молча. Вдруг взгляд его впавших глаз принял такое проницательное, дальновидное выражение, что Гренгуару показалось, что этот взгляд проник в сокровенные тайники его души.

— Все это прекрасно, мэтр Пьер, но как же вы очутились в обществе этой плясуньи-цыганки?

— Очень просто: она моя жена, а я ее муж, — отвечал Гренгуар.

В мрачных глазах священника вспыхнул зловещий огонь.

— Ты осмелился сделать это, негодяй! — закричал Клод, яростно хватая Гренгуара за руку. — Неужели Бог тебя совсем оставил, что ты осмелился коснуться этой девушки?

— Если это вас тревожит, монсеньор, то клянусь вам спасением моей души, что я ни разу не прикоснулся к ней, — дрожа всем телом, заявил Гренгуар.

— Что же ты болтаешь о муже и жене? — спросил священник.

Гренгуар поспешил коротко рассказать ему обо всем, что уже известно читателю, — обо всем случившемся с ним на Дворе чудес и о своем венчании разбитой кружкой. По-видимому, это

венчание не имело дальнейших последствий, и цыганка каждый вечер ускользала от него, как в первую ночь.

— Это неприятно, — заключил свой рассказ Гренгуар. — Но беда в том, что я, кажется, имел несчастье жениться на девственнице.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил архидьякон, мало-помалу успокоившийся в продолжение рассказа.

— Это довольно трудно объяснить, — отвечал поэт. — Тут дело в суеверии. Моя жена, как мне сказал старый бродяга, которого у нас называют герцогом египетским, подкинута или потеряна своими родными, — впрочем, это одно и то же. Она носит на шее ладанку, которая, как уверяют, поможет ей со временем отыскать родных, но которая утратит свою силу, если девушка утратит свою чистоту. Из этого следует, что мы оба живем как нельзя более добродетельно.

— Стало быть, вы думаете, мэтр Пьер, что к этой твари еще не прикасался ни один мужчина? — спросил Клод, лицо которого прояснялось по мере того, как говорил Гренгуар.

— Что может мужчина поделать против суеверия, достопочтенный Клод? — ответил поэт. — У девушки эта мысль засела в голове. Полагаю, что,

наверное, большая редкость встретить такую монашескую целомудренность среди цыганок, которые вообще так легко приручаются. Но ее сохраняют три вещи: герцог египетский, взявший ее под свое покровительство, предполагая, может быть, со временем продать ее какому-нибудь аббату; все ее племя, относящееся к ней с каким-то особенным обожанием, точно к какой-нибудь святой, и, наконец, маленький кинжал, который мошенница всегда носит при себе, несмотря на запрещение прево, и который немедленно появляется в ее руке, как только вздумаешь обнять ее за талию. Настоящая оса!

Архидьякон засыпал Гренгуара вопросами.

По мнению Гренгуара, Эсмеральда безобидное, прелестное существо. Она хорошенькая, когда не делает своей особенной гримаски, наивная, страстная, совершенно не знающая жизни и всем увлекающаяся, не понимает еще различия между мужчиной и женщиной. Это совершенное дитя природы, до страсти любящее пляску, шум, жизнь под открытым небом, — нечто вроде женщины-пчелы, с невидимыми крыльями на ногах, живущей в постоянном вихре. Она обязана этими свойствами той бродячей жизни, которую вечно вела. Гренгуару удалось узнать, что еще в

детстве она исходила всю Испанию, Каталонию и Сицилию; кажется, даже побывала со своим цыганским табором в царстве Алжирском, находящемся в Ахайи, которая, как известно, с одной стороны граничит с Малой Албанией и Грецией, а с другой — с Сицилийским морем, по которому лежит путь в Константинополь. Цыгане, по словам Гренгуара, оказывались подданными алжирского короля, как главы всех белых мавров. Достоверно только то, что Эсмеральда еще в очень юном возрасте пришла во Францию из Венгрии. Во всех этих странах молодая девушка усвоила отрывки странных наречий, песен и понятий, и поэтому ее речь так же пестра, как ее полуафриканский, полупарижский наряд. Жители кварталов, которые она посещает, любят ее за ее веселость, грацию, живость, пляски и песни. Она считает, что во всем городе ее ненавидят только два лица, о которых она часто говорит с ужасом: затворница Роландовой башни, неизвестно за что ненавидящая цыганок и проклинающая Эсмеральду каждый раз, как та проходит мимо окошечка ее кельи, и какой-то священник, который никогда не проходит мимо, не бросив ей взгляда или слова, которые пугают ее. Последнее обстоятельство весьма смутило

архидьякона. Но Гренгуар не обратил особенного внимания на его смущение. Двух месяцев оказалось совершенно достаточно, чтобы заставить легкомысленного поэта забыть странные подробности того вечера, когда он встретился с цыганкой, и о той роли, которую при этом играл архидьякон. Вообще маленькая танцовщица ничего не боится, она не гадает, а следовательно, ей нечего опасаться преследований за колдовство, которым часто подвергаются цыганки. К тому же Гренгуар постоянно находится при ней, если не в качестве мужа, то, по крайней мере, брата. Вообще философ, по-видимому, переносил очень терпеливо свой платонический брак. Все же он имел кров и кусок хлеба. Каждое утро он выходил из квартала нищих, чаще всего вместе с цыганкой, и помогал ей собирать на перекрестках мелкие монеты. Вечером они вместе возвращались под общую кровлю. Эсмеральда запиралась в своей каморке, а он засыпал сном праведника. Гренгуар находил такое существование очень приятным и располагающим к мечтательности. Философ в душе не был уверен в том, что он без ума влюблен в цыганку. Он, кажется, любил козу не меньше ее хозяйки. То было прелестное, кроткое, умное животное — ученая коза. В Средние

века подобные ученые животные, возбуждавшие всеобщее удивление и часто доводившие своих хозяев до костра, не были редкостью. Между тем колдовство козочки с золочеными копытцами было самого невинного свойства. Гренгуар разоблачил ее фокусы архидьякону, которого эти подробности, по-видимому, чрезвычайно интересовали. В большинстве случаев достаточно было протянуть бубен тем или иным образом, чтобы она произвела желаемое колдовство. Научила ее этому цыганка, обладавшая в этом отношении таким талантом, что ей достаточно было двух месяцев, чтобы выучить козу складывать из передвижных букв слово «Феб».

— «Феб», — сказал священник. — Почему «Феб»?

— Не знаю, — отвечал Гренгуар. — Может быть, цыганка приписывает этому слову какое-нибудь особенное, таинственное свойство. Часто, думая, что ее никто не слышит, она повторяет его вполголоса.

— Уверены ли вы, что это слово, а не имя? — спросил Клод, сопровождая свой вопрос проницательным взглядом.

— Чье имя? — сказал поэт.

— Почем я знаю, — ответил священник.

— Знаете, что я думаю, мессир? Цыгане в некотором роде огнепоклонники и обожают солнце. Вот откуда взялось «Феб».

— Мне это не кажется таким ясным, как вам, мэтр Пьер.

— В сущности, это меня не касается. Пусть себе бормочет своего «Феба» на здоровье! Одно я знаю, что Джали любит меня уже почти не меньше, чем ее.

— Кто это Джали?

— Коза.

Архидьякон взялся рукой за подбородок и на минуту задумался. Вдруг он порывисто обратился к Гренгуару:

— И ты клянешься мне, что ты не прикасался к ней?

— К кому? — спросил Гренгуар. — К козе?

— Нет, к этой женщине?

— К моей жене? Клянусь!

— А ты часто бываешь наедине с ней?

— Каждый вечер с добрый час.

Клод нахмурился.

— Ого! Solus cum sola non cogitabuntur orare Pater noster[90].

---

[90] Сноски: 90

Наедине мужчина и женщина не станут заниматься чтением «Отче наш» (*лат.*).

— Клянусь честью, я мог бы прочесть при ней и Pater, и Ave Maria, и Credo in deum patrem omnipotentem[91], и она обратила бы на меня внимания не больше, чем курица на церковь. — Поклянись мне утробой своей матери, что ты не прикасался к этой твари кончиком пальца! — горячо повторил архидьякон.

— Я мог бы поклясться также и головой моего отца, а это не меньше. Но, почтенный учитель, позвольте и мне предложить вам один вопрос.

— Говорите.

— Какое вам до всего этого дело?

Бледное лицо архидьякона вспыхнуло, как щеки девушки. Он с минуту ничего не отвечал, затем заговорил с видимым смущением:

— Послушайте, мэтр Пьер Гренгуар, вы еще, насколько мне известно, не погубили своей души. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра. Малейшее же общение с этой проклятой цыганкой отдаст вас во власть Сатаны. Вы знаете, что всегда тело губит душу. Горе вам, если вы сблизитесь с этой женщиной. Вот и все.

— Я было попытался раз… в первый день, да укололся, — сознался Гренгуар, почесывая затылок.

---

[91] Сноски: 91

«Отче наш», и «Дева Мария», и «Верую в Бога, всемогущего Отца» (*лат.*).

— У вас хватило на это совести, мэтр Пьер?

Лицо священника снова омрачилось.

— Другой раз, — продолжал поэт, улыбаясь, — я перед сном подсмотрел в замочную скважину и увидел самую красивую женщину, под обнаженной ногой которой когда-либо скрипела постель.

— Убирайся ты к дьяволу! — крикнул священник с ужасным взглядом и, толкнув изумленного Гренгуара, большими шагами удалился под самые темные своды собора.

III. Колокола

С того дня, когда Квазимодо был выставлен у позорного столба, жителям соседних с собором домов стало казаться, что усердие Квазимодо к колокольному звону значительно охладело. Прежде трезвон поднимался по всякому поводу. Утренний звон продолжался от ранней до поздней обедни, а перед вечерней начинался целый набат. Богатая гамма всех колоколов раздавалась при бракосочетании или крестинах, образуя в воздухе как бы узор из разнородных прелестных звуков. Старинный храм весь наполнялся звучными, радостными переливами. Чувствовалось постоянное присутствие причудливого шумного

духа, певшего всеми этими медными устами. Теперь этот дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно безмолвствовал. В праздники и при похоронах раздавался обычный сухой звон без всяких прикрас — только то, что требовалось по уставу, и ничего больше. Из двух голосов церкви — орган внутри, а колокола снаружи — остались только звуки органа. Можно было подумать, что на колокольнях уже нет умелого звонаря. Между тем Квазимодо продолжал жить там. Что же с ним случилось? Быть может, стыд и отчаяние, испытанные им у позорного столба, еще продолжали наполнять его сердце, удары кнута палача продолжали отдаваться в его душе и пережитое страдание убило в нем все, даже его страсть к колоколам? Или, быть может, колокол «Мария» нашел себе соперницу в сердце соборного звонаря, забывшего большой колокол и его четырнадцать братьев ради чего-нибудь более прекрасного?

Случилось так, что в 1482 году Благовещение пришлось во вторник. В этот день воздух был так чист и легок, что в душе Квазимодо снова пробудилась любовь к его колоколам. Он поднялся на северную башню, между тем как внизу церковный сторож открывал настежь все церковные

двери, состоявшие тогда из огромных плоскостей крепкого дерева, окованных медью, прибитых золочеными железными гвоздями и обрамленных весьма искусно вычеканенным орнаментом.

Войдя в верхнее отделение колокольни, Квазимодо некоторое время смотрел на свои шесть колоколов, грустно покачивая головой, словно жалея о том, что в его сердце что-то встало между ним и ими. Но, когда он раскачал их, когда почувствовал движение этой грозди колоколов, управляемой его рукой, когда увидал — слышать он не мог, — как трепещущая октава пробегала вверх и вниз по этой звучащей лестнице, подобно птице, прыгающей с ветки на ветку, когда демон музыки, потрясающий всей массой нот, трелей и переливов, овладел бедным глухим, он снова стал счастлив. Он забыл все, и облегчение, испытываемое его сердцем, отразилось на его лице.

Он ходил взад и вперед, ударял в ладоши, бегал от одной веревки к другой, ободряя своих шестерых певцов голосом и жестами, как дирижер, подбадривающий чутких виртуозов.

— Ну, «Габриель», — говорил он, — наполни своими звуками всю площадь. Сегодня праздник. «Тибо», не ленись! Ты что-то замедляешь темп, ну же, ну! Ты заржавел, ленивец?.. Хорошо! Скорей,

скорей! Чтоб языка не было видно. Оглуши их, чтоб они стали, как я! Хорошо, «Тибо»... молодец!.. «Гильом»! «Гильом»! Ты самый большой, а «Пакье» самый маленький, — и у «Пакье» дело идет лучше. Я готов побиться об заклад, что те, которые слышат, слышат его лучше, чем тебя. Хорошо, хорошо, «Габриель»; сильней, сильней! Эй, да что это вы оба там делаете, воробьи? Вас вовсе не слышно. Что это за медные клювы? Они как будто зевают, вместо того чтобы петь? У меня работать! Сегодня Благовещение. Солнце светит ярко. Надо отзвонить на славу... Бедный «Гильом», ты совсем запыхался, толстяк!

Он весь ушел в подбадривание своих колоколов, которые взапуски подпрыгивали, сотрясаясь своими блестящими телами, как шумная запряжка испанских мулов, поощряемых время от времени прикосновением бича.

Вдруг, бросив взгляд вниз через широкую шиферную чешую, покрывавшую остроконечную стену колокольни, он увидал на площади девушку в пестром наряде, расстилавшую ковер, на который прыгнула козочка. Кругом уже собирались зрители. Это зрелище вдруг изменило направление мыслей звонаря и охладило его музыкальное рвение, как струя холодного воздуха

охлаждает растопленную смолу. Он остановился, отвернулся от колоколов и, присев у отверстия в шиферных плитах, устремил на плясунью тот задумчивый, нежный и кроткий взгляд, который уже однажды так изумил архидьякона. Между тем забытые колокола замолкли все сразу, к великому прискорбию любителей колокольного звона, внимательно слушавших с моста Шанж и разошедшихся с чувством недоумения, испытываемого собакой, которой показали кость, а дали камень.

IV. 'ANÀГКН

Случилось, что в одно прекрасное утро того же марта месяца — кажется, в субботу двадцать девятого, в день святого Евстафия, — наш юный друг, студент Жан Фролло, заметил, одеваясь, что из кармана его штанов, в котором лежал кошелек, не доносится никакого металлического звука.

— Бедный кошелек! — проговорил он, вынимая его. — Не осталось в тебе ни одного су! Жестоко опустошили тебя кости, кружки с пивом да Венера! Ты опустел, сморщился, сплюснулся! Точно грудь ведьмы! Скажите-ка мне, господа Цицерон и Сенека, произведения которых в засохших пе-

реплетах валяются на полу, какая мне польза от того, что я лучше всякого начальника Монетного двора или жида с моста Менял знаю, что золотой экю с короной стоит тридцать пять монет, по двадцать пять су и восемь парижских денье каждая, а экю с полумесяцем стоит тридцать шесть монет, по двадцать шесть су и шесть денье, если у меня нет даже несчастного лиара, чтоб рискнуть в double-six? О консул Цицерон, из такой беды не выпутаешься красивыми оборотами, вроде quemadmodum[92] или verum enim vero[93].

Он грустно стал одеваться. В то время как он завязывал башмаки, ему пришла одна мысль. Сначала он ее отогнал, однако она снова вернулась, и Жан надел жилет наизнанку — явный признак сильной внутренней борьбы. Наконец он изо всей силы швырнул шапку оземь и воскликнул:

— Тем хуже! Будь что будет! Пойду к брату. Придется выслушать проповедь, но, по крайней мере, достану денег.

Он поспешно надел казакин с меховыми отворотами, поднял шапку и выбежал из дому.

---

[92] Сноски: 92
Каким образом, как (*лат.*).

[93] Сноски: 93
Но, впрочем (*лат.*).

Он пошел по улице Арфы к Старому городу. Когда он проходил по улице Гюшетт, запах вкусного мяса, жарившегося на вертеле, защекотал его обонятельный аппарат, и он любовно взглянул на огромную съестную лавку, по поводу которой францисканский монах Калатажирон воскликнул с пафосом: «Veramente, queste rotisserie sono cosa stupenda»[94]. Но Жану нечем было заплатить за завтрак, и он с глубоким вздохом вошел под портик Пти-Шатлэ — огромный шестиугольник из массивных башен, охраняющий вход в город.

Он даже не остановился на мгновение, чтобы, по обычаю, проходя, бросить камень в статую презренного Перинэ-Леклера, предавшего при Карле VI Париж англичанам. За это преступление его статуя с лицом, избитым камнями и выпачканным грязью, расплачивалась в продолжение трех веков, стоя на перекрестке улиц Арфы и Бюси, словно у вечного позорного столба.

Пройдя Новый мост и улицу Нев-Сен-Женевьев, Жан де Молендино очутился перед собором Богоматери. Тут им снова овладела нерешительность, и он несколько минут бродил вокруг статуи Легри, повторяя с тоской:

---

[94] Сноски: 94

«Поистине эта торговля жареным мясом вещь глупая» (*ит.*).

— Проповедь-то неизбежна, экю — сомнительно!

Он окликнул церковного сторожа, выходившего из церкви:

— Где господин жозасский архидьякон?

— Должно быть, в башенной келье, — ответил сторож, — и не советую вам беспокоить его там, разве только если вы посланы кем-нибудь вроде Папы или короля.

Жан захлопал в ладоши:

— Ах, черт возьми! Вот прекрасный случай посмотреть знаменитый приют всякого колдовства!

Он решительно двинулся к темному входу и стал подниматься по винтовой лестнице в верхний этаж башни.

«Посмотрим, — думал он дорогой. — Клянусь Пресвятой Девой, интересна, должно быть, эта келья, которую мой преподобный братец так тщательно скрывает! Говорят, он там зажигает огонь в горне и раскаляет на сильном пламени философский камень. Ну, мне этот философский камень так же нужен, как простой булыжник, и я бы больше обрадовался, если б увидел на его очаге простую яичницу с салом, чем самый большой философский камень в мире!»

Достигнув галереи с колоннами, он перевел дух, призывая по поводу бесконечной лестницы тысячу чертей, а затем снова начал подниматься, пройдя через узкую северную дверцу, теперь закрытую для публики. Миновав помещение для колоколов, он очутился на маленькой площадке, устроенной в боковом углублении, и на ней, под сводом, увидел низенькую стрельчатую дверь. Свет, падавший из проема, проделанного в круглой стене, вдоль которой поднималась лестница, позволил ему рассмотреть огромный замок и тяжелую железную обшивку. Кто поинтересовался бы теперь взглянуть на эту дверь, тот узнал бы ее по надписи белыми буквами на черной стене: «Обожаю Корали. 1829. Подписано Южен». *Подписано* — имеется в тексте.

— Уф, — вздохнул студент, — должно быть, здесь.

Ключ торчал в замке; дверь была близко. Жан толкнул ее тихонько и просунул голову в образовавшуюся щель.

Читателю, вероятно, случалось видеть чудесные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. Между его гравюрами есть один офорт, изображающий, как предполагают, доктора Фауста. На эту картину нельзя смотреть без восторга.

Она представляет темную келью; посредине стол со странными предметами: мертвыми головами, шарами, ретортами, циркулями, пергаментами, исписанными иероглифами. Доктор сидит за этим столом; он одет в тяжелую епанчу и надвинутую до бровей меховую шапку. Видна только верхняя половина его корпуса. Он привстал со своего огромного кресла, опираясь сжатыми кулаками на стол, и с любопытством и ужасом рассматривает большой светлый круг, составленный из магических букв и сверкающий на задней стене, как солнечный спектр в темной комнате. Кажется, будто его каббалистическое солнце дрожит и наполняет мрачную келью своим таинственным сиянием. Страшно и прекрасно!

Нечто похожее на келью Фауста представилось глазам Жана, когда он решился просунуть голову в полуотворенную дверь. Это была тоже темная, едва освещенная келья. В ней стояли большое кресло и большой стол с циркулями, ретортами, скелетами животных, подвешенными к потолку. На каменном полу стоял подвижной глобус, а вперемешку с банками, где дрожали золотые листья, лежали лошадиные и человеческие черепа на пергаментных листах, испещренных фигурами и буквами. Огромные рукописи были

навалены одна на другую с раскрытыми страницами, невзирая на ломкость пергамента в сгибах. Словом, тут был собран весь сор науки. И весь этот хаос покрывали пыль и паутина. Недоставало только круга из светящихся букв и доктора, созерцающего в экстазе сверкающее видение, как орел созерцает солнце.

Однако келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жан, к которому сидящий был обращен спиной, мог видеть только плечи и заднюю часть черепа. Но он без труда узнал эту лысую голову, с тонзурой, выбритой самой природой, словно желавшей наружным знаком указать на духовное призвание архидьякона.

Итак, Жан узнал брата. Но дверь отворилась так тихо, что Клод не слыхал ничего. Любопытный студент воспользовался этим, чтобы оглядеть на свободе келью. Налево от кресла, под круглым окном, находился широкий очаг, которого Жан сначала не заметил. Луч света, проникавший через это окно, проходил через круглую паутину, изящная розетка которой была вплетена в стрелку окна; в середине ее архитектор-паук сидел неподвижно, как сердцевина этого кружевного колеса. На очаге стояли в беспорядке всевозмож-

ные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные рожки, угольные колбы с длинными горлышками. Жан со вздохом заметил, что сковородки не было видно.

«Нечего сказать… кухня!» — подумал он.

Впрочем, в очаге не было огня, и казалось даже, что его уже давно не зажигали. Стеклянная маска, замеченная Жаном среди алхимических приборов и служившая, вероятно, для предохранения лица архидьякона во время выработки какого-нибудь опасного вещества, лежала в углу, покрытая пылью и, видимо, позабытая. Рядом лежали не менее запыленные мехи с надписью из медных букв на верхней крышке: «Spira, spera»[95].

На стенах, по обычаю алхимиков, также красовались многочисленные изречения, одни — написанные чернилами, другие — вырезанные металлической иглой. Готические, еврейские, греческие и римские буквы перемешивались, надписи переплетались, более свежие сглаживали более старинные, — все перепутывалось, как ветви кустов, как пики в рукопашной схватке. Это действительно было смешение всяких философий, всяких человеческих знаний и мечтаний.

---

[95] Сноски: 95
«Дыши, надейся» (*лат.*).

Тут и там что-нибудь выступало особенно ярко, как выступает знамя среди леса острых пик. Чаще всего это было краткое греческое или латинское изречение, которое так хорошо умели формулировать в Средние века: Unde? inde? — Homo homini monstrum. — Astra, castra; nomen, numen. — Μέγα βίσλίον, μέγα κακιον. — Sapere aude. — Flet ubi vult[96].

Иногда попадалось слово, лишенное видимого смысла: Αναγχοφα' για[97] — может быть, горький намек на монастырскую жизнь. Иногда — какое-нибудь простое дисциплинарное правило духовной иерархии, изложенное в правильном гекзаметре: Coelestem dominum, terrestrem dicito domnum[98]. Попадались и еврейские изречения, но тут Жан, и в греческом-то не особенно сильный, не понимал ровно ничего. Поверх всего были разбросаны звезды, человеческие фигуры и пересекающиеся треугольники, и все это делало испещренную стену кельи похожей на

---

[96] Сноски: 96

Откуда? оттуда? (*лат.*) — Человек человеку чудовище (*лат.*). — Звезды, лагерь; имя, божество (*лат.*). — Большая книга — большое зло (*греч.*). — Дерзай знать (*лат.*). — Течет, где хочет (*лат.*).

[97] Сноски: 97

Пожирание судьбы (*греч.*).

[98] Сноски: 98

Владыку неба величай dominus, владыку земли — domnus (*лат.*).

лист бумаги, по которому обезьяна водила пером, обмакнутым в чернила.

Общий вид кельи производил впечатление заброшенности и разорения, и плохое состояние всех приборов наводило на мысль, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих занятий другими мыслями.

Этот хозяин, склонившийся над обширной рукописью, украшенной странными рисунками, казалось, мучился какою-то мыслью, постоянно врывавшейся в его размышления. По крайней мере, так подумал Жан, услыхав, как его брат, точно грезя наяву, восклицал:

— Да, Ману говорит это, и Зороастр учил тому же — солнце рождается от огня, луна — от солнца. Огонь — душа всего великого. Его первичные атомы изливаются непрестанно на мир и разливаются по нему бесконечными потоками. В тех точках, где эти течения пересекаются в небе, они порождают свет. В местах пересечения в земле — золото. Свет и золото одно и то же — огонь в конкретной форме. Разница между видимыми и осязаемыми, между жидкостью и твердым веществом, состоящими из той же субстанции, та же, что между паром и льдом. Больше ничего… Это не бредни, таков общий закон природы… Но как

ввести в науку этот общий закон? Как? Этот свет, заливающий мою руку, — золото! Это те же атомы, размещенные по известным законам, и стоит лишь сгустить их соответственно иному закону! Но как это сделать?.. Нашлись люди, вздумавшие зарыть в землю солнечный луч. Авероэс — да, Авероэс — закопал один такой луч под первой колонной с левой стороны в святилище Корана — большой Кордовской мечети. Но открыть склеп, чтобы посмотреть, удалась ли операция, можно только через восемь тысяч лет.

— Долго же пришлось бы, черт возьми, ждать, пока получишь экю, — проговорил про себя Жан.

— Другие думали, что лучше брать луч Сириуса, — продолжал задумчиво рассуждать архидьякон. — Но весьма трудно получить этот луч в чистом виде из-за того, что лучи других звезд примешиваются к нему на пути. Фламель полагал, что проще действовать посредством земного огня… Фламель! Какое имя, как бы предопределенное самой судьбой: Flamma!.. Да, огонь. Вот все… Алмаз в угле, золото в огне… Но как его извлечь оттуда?.. Мажистри утверждает, что есть некоторые женские имена, имеющие такую обаятельную и таинственную силу, что достаточно произносить их во время добывания!.. Посмот-

рим, что говорит об этом Ману: «Где женщина в почтении, там богам приходится радоваться. Где она в презрении — бесполезно молиться Богу… Уста женщины всегда чисты. Это проточная вода, это солнечный луч… Имя женщины должно быть приятно, легко и говорить воображению; оно должно оканчиваться длинными гласными и походить на благословение…» Да, мудрец прав; в самом деле: Мария, София, Эсмер… Проклятие, вечно эта мысль!

Архидьякон с сердцем захлопнул книгу.

Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя навязчивую мысль. Затем взял со стола гвоздь и молоточек, ручка которого была покрыта странными каббалистическими знаками.

— С некоторых пор все мои опыты оканчиваются неудачно. Одна неотвязная мысль засела у меня в мозгу и жжет его, как раскаленное железо. Я даже не мог отыскать секрета Кассидора, лампа которого горела без фитиля и без масла. Между тем вещь нехитрая!

— Еще бы! — пробормотал про себя Жан.

— Стало быть, достаточно какой-то одной несчастной мысли, чтобы превратить человека в ничтожного безумца! О, как бы стала смеяться надо мной Клавдия Пернель, которой ни на

минуту не удалось отвлечь Николая Фламеля от работы над великим делом! Вот я держу в руках магический молоток Захиелэ. При каждом ударе, который делал в своей келье знаменитый равви по гвоздю, тот из его врагов, которого он осудил на смерть, — будь он за тысячу лье — уходил на локоть в землю, пожиравшую его. Сам французский король за то, что однажды необдуманно постучал в дверь чародея, погрузился до колен в мостовую Парижа… Это случилось три века тому назад. Вот теперь молоток и гвоздь у меня в руках, и эти орудия оказываются не опаснее молота в руках кузнеца… А между тем стоит только найти магическое слово, которое произносил Захиелэ, ударяя по гвоздю…

«Пустяки!» — подумал Жан.

— Дай-ка попробую, — продолжал архидьякон. — В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя выскочит голубая искра… Эмен-хэтан! Эмен-хэтан!.. Не то… Сижеани! Сижеани!.. Пусть этот гвоздь разверзнет могилу для человека, носящего имя Феб! Проклятие! Постоянно, постоянно одна и та же мысль!

Он гневно отбросил молоток и затем так глубоко погрузился в кресло, что совершенно скрылся от Жана за огромной его спинкой. В продолжение

нескольких минут студент видел только кулак, конвульсивно сжатый на книге.

Вдруг Клод встал, взял циркуль и молча вырезал на стене прописными буквами греческое слово:

’ANÀГКН

«Брат сошел с ума, — подумал Жан, — проще было бы написать: Fatum — рок. Не все обязаны знать греческий язык».

Архидьякон снова сел в кресло и положил голову на обе руки, как делает больной, когда голова у него тяжела и горит.

Студент с изумлением наблюдал за братом. Он, у которого душа всегда была нараспашку, признававший в жизни один только закон — закон природы, изливавший свои страсти по их руслам, исчерпывая все сильные впечатления и наслаждения до дна, он не ведал, с какой яростью море человеческой страсти волнуется и кипит, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, вздымается, рвется из берегов, как оно подмывает человеческое сердце, разражается внутренними рыданиями и глухими судорогами до тех пор, пока не прорвет плотины и не вырывается на волю. Ледяная, суровая наружность Клода Фролло,

холодная внешность непреклонной добродетели, всегда вводила в заблуждение Жана. Веселый студент никогда не размышлял о том, какая масса клокочущей яростной лавы наполняет недра покрытой снегом Этны.

Не знаем, отдал ли он себе внезапно отчет во всем этом, но при всем своем легкомыслии он понял, что видел то, чего ему не следовало видеть, что он увидел душу старшего брата в одну из самых сокровенных минут и что Клод не должен этого знать. Видя, что архидьякон снова погрузился в полную неподвижность, он тихонько отступил и, стуча ногами, походил за дверью, как человек, который только что пришел и желает дать знать о своем приходе.

— Войдите! — крикнул архидьякон из кельи. — Я вас ждал и нарочно оставил ключ в двери. Войдите, мэтр Жак.

Студент смело переступил через порог. Архидьякон, которому здесь подобное посещение было очень неудобно, вздрогнул:

— Как, Жан, это ты?

— Все то же Ж, — отвечал студент с румяным, нахальным и веселым лицом.

Лицо Клода снова приняло свое обычное строгое выражение.

— Что тебе нужно?

— Я пришел к вам, братец… — начал студент, стараясь состроить приличную, скромную и жалобную мину и вертя с самым невинным видом свою шапку в руках. — Я хочу просить…

— Что?

— Дать мне наставление, в котором я очень нуждаюсь.

Он не осмелился прибавить вслух: «И немного денег, в которых нуждаюсь еще больше!» Последняя часть фразы застряла у него в горле.

— Я очень недоволен тобой, — сказал архидьякон холодным тоном.

— Весьма сожалею, — вздохнул юноша.

Клод на четверть круга повернул свое кресло и пристально взглянул на брата:

— Я рад тебя видеть.

Вступление было подозрительное. Жан приготовился выдержать удар.

— Ко мне каждый день обращаются с жалобами на тебя. Что это за драка, где вы исколотили молодого виконта Альберта де Рамошан?..

— Пустяки! — отвечал Жан. — Скверный мальчишка забавлялся тем, что забрызгивал студентов, скача на лошади по грязи.

— А кто это Майе Фаржель, которому ты изодрал

платье? «Tunicam dechiraverunt» — говорится в жалобе.

— Э, какая беда! Просто сбросил шапку с какого-то Монтегю…

— В жалобе сказано «tunicam», а не «cappettam». Ты понимаешь по-латыни?

Жан не отвечал.

— Да, вот как теперь учатся, — продолжал священник, покачивая головой. — Латынь еле-еле понимают, о существовании сирийского языка не подозревают, изучение греческого в таком положении, что даже самым ученым людям не ставится в вину, если они пропускают греческое слово, не читая его, да еще говорят: Graecum est, non legitur[99].

Студент поднял с решительным видом глаза.

— Желаете вы, братец, чтоб я объяснил вам на ясном французском языке, что значит это греческое слово, написанное на стене?

— Какое слово?

— ’ΑΝΑΓΚΗ.

Легкая краска вспыхнула на впалых щеках архидьякона, подобно клубу дыма, возвещающему снаружи о переворотах, совершающихся в

---

[99] Сноски: 99
По-гречески, чтению не подлежит (*лат.*).

тайниках вулкана.

Студент почти не обратил на это внимания.

— Хорошо, — с усилием проговорил архидьякон, — что же значит это слово?

— Судьба, рок!

Достопочтенный Клод снова побледнел, а студент продолжал, ничего не подозревая:

— А слово, начерченное внизу той же рукой, — ’Αναγιεία — значит «нечистота». Видите-с, и мы немножко маракуем по-гречески.

Архидьякон молчал. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.

Жан, обладавший проницательностью балованного ребенка, счел минуту благоприятной для того, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым нежным тоном:

— Братец, неужели вы возненавидели меня до такой степени, что сердитесь за встряску, которую я в честной схватке задал каким-то там мальчишкам и молокососам — quibusdam marmosetis? Видите, братец Клод, и с латынью мы знакомы.

Но слова эти не произвели желаемого действия на строгого старшего брата. Цербер не кинулся на сладкий пирог, и лоб архидьякона оставался таким же нахмуренным.

— К чему ты ведешь все это? — спросил архидьякон.

— Хорошо, скажу прямо: мне нужны деньги, — смело отвечал Жан.

При этом беззастенчивом заявлении лицо архидьякона приняло наставнически отеческое выражение.

— А известно ли тебе, господин Жан, что наше поместье Тиршап, со включением поземельной подати и аренды за двадцать один дом, приносит всего тридцать девять ливров одиннадцать су шесть парижских денье. Это в полтора раза больше, чем во времена братьев Паклэ, однако все же очень немного.

— Мне нужны деньги, — стоически повторил Жан.

— Тебе известно решение консисторского суда, по которому наши двадцать один дом переходят в полный лен епископства, и мы можем выкупить этот дар не иначе, как внеся его преподобию епископу две серебряные золоченые марки, ценностью по шесть парижских ливров каждая. Эти две марки мне еще не удалось скопить. Ты это знаешь.

— Я знаю только, что мне нужны деньги, — в третий раз повторил Жан.

— На что?

При этом вопросе в глазах молодого человека загорелась надежда. Он снова заговорил вкрадчивым, ласковым тоном:

— Поверьте, братец Клод, я не стал бы просить у вас денег с дурными намерениями. Не стал бы я сорить вашими унциями по тавернам или гулять по парижским улицам в платье из золотой парчи в сопровождении собственного лакея, cum meo laquasio. Нет, братец, мне деньги нужны на доброе дело.

— На какое доброе дело? — спросил Клод с некоторым удивлением.

— Двое из моих друзей желали бы купить приданое ребенку одной бедной вдовы. Это доброе дело. Всего требуется три флорина, и мне бы хотелось внести свою долю.

— Как зовут твоих друзей?

— Пьер Лассомер и Батист Крок-Уазон[100].

— Хм! — пробормотал архидьякон. — Вот уж имена, которые так же пристали к доброму делу, как пушка к церковному алтарю.

Нет сомнения, что Жан очень плохо подобрал имена своих друзей. Он спохватился слишком

---

[100] Сноски: 100

L'Assomeur — убийца, Croque-Oison — пожиратель птиц (фр.).

поздно.

— И, кроме того, что это за приданое, которое стоит три флорина? Да еще для вдовы бедняка. С каких это пор бедные вдовы стали готовить приданое своим ребятам?

Жан еще раз попытался проломить лед:

— Ну, так вот, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня взглянуть на Изабо ла Тьери в Валь д'Амур.

— Презренный нечестивец! — воскликнул священник.

— 'Αναγιεία, — перевел Жан.

Это слово, заимствованное студентом, может быть, не без намерения, со стены кельи, произвело на архидьякона странное впечатление. Он закусил губу, и гнев его выразился только краской на лице.

— Уходи, — сказал он Жану. — Я жду одного человека.

Студент сделал последнюю попытку:

— Братец Клод, дайте мне хоть одно парижское су. Мне нечего есть.

— В каком положении твои грацияновские декреталии? — спросил Клод.

— Я потерял тетради.

— Кого из латинских классиков ты изучаешь?

— У меня украли мой экземпляр Горация.

— А как с Аристотелем?

— Братец, вы не помните, какой это из отцов церкви сказал, что заблуждения еретиков испокон века ищут убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Ну его, Аристотеля! Не хочу я нарушать своих религиозных воззрений его метафизикой!

— При последнем выезде короля у одного из дворян, Филиппа де Коммин, на чепраке лошади был вышит девиз, о смысле которого советую тебе поразмыслить: «Qui non laborat non manducet»[101].

Студент с минуту помолчал, приложив палец к уху, и стоял, опустив глаза, с раздосадованной миной. Вдруг он обратился к Клоду с быстротой вертихвостки:

— Стало быть, вы мне отказываете в одном су, на которое я мог бы купить себе кусок хлеба у булочника?

— Qui non laborat non manducet.

При этом ответе неумолимого архидьякона Жан закрыл лицо руками, как рыдающая женщина, и воскликнул с выражением отчаяния:

— Отототототι!

---

[101] Сноски: 101

«Кто не работает, тот не ест» (*лат.*).

— Что это значит?! — спросил Клод, изумленный этим дурачеством.

— Греческое изречение, анапест из Эсхила, выражающий глубокое горе, — ответил студент, поднимая на Клода свои смелые глаза, которые он натер кулаками, чтобы они казались заплаканными.

Но тут он разразился таким неудержимым, заразительным хохотом, что даже архидьякон улыбнулся. Клод сознавал, что он сам во всем виноват, — зачем он так избаловал этого мальчика?

— Ах, добрый братец, — продолжал Жан, ободренный этой улыбкой, — посмотрите на мои разорванные башмаки. Можно ли вообразить себе что-нибудь более трагическое, чем башмаки, из которых выглядывают пальцы?

К архидьякону быстро вернулась его прежняя суровость.

— Я пришлю тебе новые башмаки, но денег не дам.

— Только одно экю, братец, — продолжал умолять Жан. — Я выучу Грациана наизусть, стану набожным, сделаюсь настоящим Пифагором и по учености и по добродетели! Но, ради бога, дайте хоть одно экю! Неужели вы хотите, чтоб я попал

в пасть голода, которая уже разверста передо мной? Она чернее, зловоннее, глубже Тартара или монашеского носа.

Клод покачал головой:

— Qui non laborat…

Жан не дал ему кончить.

— Хорошо же! — крикнул он. — К черту! Да здравствует веселье! Стану шляться по тавернам, драться, бить посуду, гулять с публичными женщинами! — Он швырнул шапочкой в стену и щелкнул пальцами, как кастаньетами.

Архидьякон мрачно взглянул на него:

— Жан, у тебя нет души…

— В таком случае у меня, по определению Эпикура, нет чего-то, состоящего из чего-то, чему нет имени.

— Жан, надо серьезно подумать об исправлении.

— Ну, я вижу, здесь все пусто — и рассуждения, и бутылки! — воскликнул студент, переводя взгляд то на брата, то на реторты на очаге.

— Жан, ты катишься по наклонной плоскости. Знаешь ли ты, куда ты идешь?

— В кабак, — ответил Жан.

— Из кабака путь лежит к позорному столбу.

— Это такой же фонарный столб, как и всякий

другой. Может быть, Диоген именно с помощью его нашел бы человека, которого искал.

— От позорного столба недалеко до виселицы.

— Виселица — весы, у которых по одну сторону человек, а вся земля по другую. Хорошо быть человеком.

— С виселицы прямо попадешь в ад.

— Там яркий огонь.

— Жан, Жан, тебя ждет плохой конец.

— По крайней мере, начало хорошо.

В эту минуту на лестнице раздались шаги.

— Молчи! — сказал архидьякон, поднося палец к губам. — Это мэтр Жак. Слушай, Жан, — шепотом продолжал он. — Боже тебя сохрани проболтаться когда-нибудь о том, что ты видел и слышал здесь. Спрячься сюда, под очаг, и старайся не дышать.

Студент съежился под очагом. Здесь ему пришла в голову блестящая мысль:

— Кстати, братец Клод, флорин за то, что я буду сидеть тихо.

— Молчи! Обещаю!

— Дайте.

— Бери! — с сердцем проговорил архидьякон, бросая брату свой кошелек. Жан спрятался под очагом, и дверь отворилась.

V. Два человека в черном

Вошедший был в черной одежде, с угрюмым выражением лица. Особенно бросилась в глаза нашему другу Жану (устроившемуся, конечно, в своем уголке так, чтобы все видеть и слышать) глубокая печаль, отличавшая и одежду, и лицо пришедшего. Однако на лице можно было прочесть кротость, но кротость кошки или судьи, кротость притворную. Это был плотный мужчина лет шестидесяти, с сильной проседью в волосах, морщинистым лицом, мигающими глазами, светлыми бровями, отвисшей нижней губой и большими руками. Рассмотрев все это и решив, что перед ним, наверное, какой-нибудь доктор или судейский, и заметив, что нос у него отстоит далеко от рта — признак глупости, — Жан отодвинулся в самый дальний уголок своего убежища и досадовал, что ему придется провести неопределенное время в таком неудобном положении и таком скучном обществе.

Архидьякон между тем даже не встал навстречу пришедшему. Он сделал знак, чтобы тот сел на скамейку возле двери, и после нескольких минут молчания, в продолжение которых он

как бы заканчивал ранее начатое размышление, обратился к нему слегка покровительственно:

— Здравствуйте, мэтр Жак.

— Мое почтение, мэтр! — отвечал человек в черном.

В тоне, которым было произнесено *мэтр Жак* с одной стороны и просто *мэтр* с другой, была такая же разница, как между обращением *монсеньор* и *месье*, или между domine и domne. По-видимому, ученик встречался с учителем.

— Ну, что же, — спросил архидьякон после нового молчания, которого мэтр Жак не смел нарушить, — надеетесь на успех?

— К несчастью, я все еще продолжаю раздувать. Пепла — сколько угодно, но золота — ни единой крупинки, — отвечал мэтр Жак с грустной улыбкой.

Клод сделал нетерпеливый жест.

— Я не об этом говорю, мэтр Жак Шармолю, а о процессе вашего колдуна. Ведь вы называли его Марком Сененом, казначеем счетной палаты? Признается он в своем колдовстве? Удался допрос?

— К несчастью, нет, — отвечал мэтр Жак все с тою же грустной улыбкой. — Мы не имеем этого утешения. Этот человек настоящий кремень. Его

нужно живьем сварить на Свином рынке, прежде чем он что-нибудь скажет. Однако мы не щадим ничего, чтобы добиться истины. У него уже все члены вывернуты. Мы пускаем в ход все средства, как говорит старый комик Плавт:

> *Adversum stimulos, laminas, crucesque, compedesque,*
>
> *Nervos, catenas, carceres, numellas, pedicas, boias*[102].

Ничего не действует. Это — ужасный человек. С ним и латынь не помогает.

— Вы не нашли ничего нового в его доме?

— Как же! — заявил мэтр Жак, шаря в своем мешке. — Этот пергамент. Тут есть слова, которых мы не понимаем. Между тем королевский прокурор Филипп Лелье знает немного еврейский язык. Он изучил его во время ведения процесса о евреях с улицы Кантерсен в Брюсселе. — Говоря это, мэтр Жак развернул пергамент.

— Дайте сюда! — приказал архидьякон и, бросив взгляд на документ, вскрикнул: — Несомненно колдовство! *Эменхетан*! — это крик ведьм, когда они прилетают на шабаш. Per ipsum,

---

[102] Сноски: 102

Против стрекал, прутьев, крестов, оков, бичей, цепей, темниц, силков (*лат.*).

et cum ipso, et in ipso![103] Это — заклинание, которым дьявол переносит себя обратно в ад. *Нах, рах, тах* — это медицинские термины. Формула против укуса бешеной собаки. Мэтр Жак, вы королевский прокурор церковного суда. Этот пергамент — гнусность!

— Снова подвергнем этого человека допросу. Вот еще что мы нашли у Марка Сенена, — добавил мэтр Жак, снова порывшись в своем мешке.

Это был сосуд, похожий на те, которые стояли на очаге патера Клода.

— А, — сказал архидьякон, — алхимический тигель.

— Признаюсь вам, — продолжал мэтр Жак со своей робкой, неестественной улыбкой, — что я было попробовал его на очаге, но не получил лучших результатов, чем с моим собственным.

Архидьякон принялся рассматривать сосуд.

— Что такое нацарапано на тигле? Och! Och! Слово, отгоняющее блох? Невежда этот Марк Сенен! Вполне уверен, что в таком тигле вам не добыть золота! Он годится разве только на то, чтоб ставить его подле кровати летом.

— Раз мы коснулись ошибок, — сказал королев-

---

[103] Сноски: 103
Через себя, и с собой, и в себе! (*лат.*)

ский прокурор, — то, перед тем как подняться к вам, я внимательно присматривался к порталу внизу. Вполне ли вы уверены, ваше преподобие, в том, что начало работ по физике изображено на стороне, обращенной к больнице, и что из семи обнаженных фигур, стоящих у подножия Богоматери, фигура с крыльями на пятках представляет Меркурия?

— Да, — отвечал патер. — Так пишет Августин Нифо — итальянский ученый, которому служил бородатый демон, открывавший ему все. Впрочем, пойдемте вниз, и я вам объясню все это по надписи.

— Благодарю вас, учитель, — ответил Шармолю, кланяясь до земли. — Кстати, я забыл! Когда прикажете допросить маленькую колдунью?

— Какую колдунью?

— Известную вам цыганку, что каждый день выходит плясать на площадь перед собором, несмотря на запрещение властей! У нее есть рогатая коза, одержимая дьяволом, которая читает, пишет, знает математику, как Пикатрикс. Из-за нее одной можно бы перевешать всех цыган. Вина налицо. Обвинительный акт недолго составить! А хорошенькое создание, клянусь честью, эта плясунья! Какие чудные черные глаза! Точно

два египетских карбункула! Когда мы начнем?

Архидьякон был страшно бледен.

— Я скажу вам, — ответил он чуть слышно и затем проговорил с усилием: — Занимайтесь Марком Сененом.

— Не беспокойтесь, — сказал Шармолю, улыбаясь. — Вернувшись, я опять прикажу растянуть его на кожаной постели. Только это какой-то черт, а не человек! Он довел до изнеможения самого Пьера Тортерю, у которого руки посильнее моих. Как говорит добряк Плавт: «Nudus vinctus, centum pondo es quando pendes per pedes!»[104] Допрос на дыбе! Это лучшее, что у нас есть! Попробуем его.

Dom Клод, казалось, был отвлечен мрачными мыслями. Он обернулся к Шармолю:

— Мэтр Пьера… то есть мэтр Жак, займитесь Марком Сененом!

— Да, да, господин Клод. Бедняга! Ему придется перенести все муки ада. Да и что за фантазия отправиться на шабаш? Ему — казначею Монетного двора, которому, кажется, следовало бы знать закон Карла Великого: Stryga vel masca!..[105] А

---

[104] Сноски: 104

«Раздет донага, связан, подвешен за ноги!» (*Лат.*)

[105] Сноски: 105

Начальные слова капитулярия Карла Великого о ведьмах, запрещавшего иметь с ними сношения.

что касается этой девочки — Смеральды, как ее зовут, — я буду ждать ваших приказаний... Да! Проходя под порталом, вы объясните мне, что значит живописное изображение садовника, которое мы видим при входе в церковь... Это, должно быть, сеятель?.. Мэтр, о чем это вы так задумались?

Углубившись в свои мысли, Клод не слушал. Следя за его взглядом, Шармолю заметил, что он остановился на большой паутине, затягивавшей круглое окно. В эту минуту легкомысленная муха, стремясь к мартовскому солнцу, бросилась было через тенета и прилипла к ним. При сотрясении сети огромный паук сделал резкое движение от центра паутины и одним прыжком бросился на муху, которую согнул вдвое своими передними крючками, между тем как его отвратительный хоботок нащупывал ее голову.

— Бедная мушка! — сказал прокурор церковного суда и поднял руку, чтобы освободить насекомое.

Архидьякон, словно очнувшись, в испуге удержал его судорожным движением.

— Мэтр Жак! — крикнул он. — Не перечьте судьбе!

Прокурор обернулся в испуге. Ему показалось,

что его руку сжали железные тиски. Священник устремил суровый, сверкающий неподвижный взгляд на ужасную маленькую группу — паука и муху.

— Да, — продолжал священник голосом, звучавшим откуда-то из глубины, — вот символ всего. Она только что родилась на свет Божий. Она летает, радуется, ищет весны, воздуха, свободы. Но вот она наткнулось на роковую розетку, и из нее выскакивает отвратительный паук! Бедная плясунья! Бедная мушка, которой предопределена погибель! Оставьте, мэтр Жак, это — рок!.. Увы! Клод, ты паук! Но ты также и муха!.. Ты летел к науке, к свету, к солнцу, ты думал только о том, как бы вырваться на воздух, на свет вечной истины… Но, бросившись к отдушине, которая ведет в другой мир, в мир света, ума и науки, ты — слепая муха — безумный ученый! — не заметил тонкой паутины, протянутой роком между светом и тобой, ты бросился в нее очертя голову, несчастный безумец, — и теперь ты стараешься вырваться из железных когтей судьбы… Но голова у тебя разбита и крылья сломаны! Мэтр Жак, не мешайте пауку!

— Уверяю вас, что я не трону его, — сказал Шармолю, смотревший на Клода, ничего не пони-

мая. — Но пустите же мою руку, мэтр, ради бога! У вас не рука — клещи.

Архидьякон не слушал его.

— О безумец, — продолжал он, не отрывая глаз от окна. — И если б тебе даже удалось своими слабыми крыльями прорвать эту страшную паутину, ты думаешь, ты достиг бы света? Нет! Как бы ты пробрался через это окно, это прозрачное препятствие, через эту хрустальную стену, которая тверже металла, отделяющего всех философов от истины? О, тщета науки! Сколько мудрецов, несясь издалека, ударяются о нее и разбивают себе голову! Сколько учений, перепутываясь и жужжа, натыкаются на это вечное стекло!..

Он умолк. Последние рассуждения, незаметно отвлекшие его внимание от его собственной личности в науке, как будто успокоили его. Шармолю окончательно вернул его к действительности, обратившись к нему с вопросом:

— Когда же вы зайдете ко мне, учитель, чтобы помочь мне добыть золото? Мне хочется поскорей достигнуть удачного результата.

Архидьякон с горькой усмешкой покачал головой:

— Прочтите «Dialogus de energia et operatione

daemonum»[106], мэтр Жак. То, что мы делаем, не вполне невинная забава!

— Тише, учитель! Я того же мнения, — сказал Шармолю, — но приходится немного изучить алхимию, когда занимаешь место королевского прокурора в церковном суде, получая всего тридцать турских экю в год. Только давайте говорить потише.

В эту минуту щелканье челюстей, пережевывавших что-то, донеслось из-под очага до слуха насторожившегося Шармолю.

— Что это? — спросил он.

Студент, соскучившийся сидеть в своем углу и случайно обнаруживший кусок черствого хлеба и заплесневевшую корку сыра, принялся закусывать без всякой церемонии. Так как он был голоден, то ел с большим шумом, что и привлекло внимание прокурора.

— Должно быть, мой кот лакомится там мышью, — поспешно сказал архидьякон.

Шармолю удовлетворился этим объяснением.

— Правда, ведь у всех философов были любимцы среди животных, — сказал он с почтительной улыбкой. — Помните, что говорит Сервий: «Nullis

---

[106] Сноски: 106
«Диалог о силе и действиях демонов» (*лат.*).

enim locus sine genio est»[107].

Клод, боясь какой-нибудь новой выходки Жана, напомнил своему достойному ученику, что им еще надо рассмотреть вместе несколько изображений на портале, и оба вышли из кельи, к великому облегчению студента, начинавшего серьезно опасаться, как бы его колено не сохранило навеки отпечатка его подбородка.

VI. К каким последствиям могут привести несколько ругательств, громко произнесенных на улице

— Te Deum laudamus![108] — воскликнул Жан, вылезая из своего убежища. — Насилу-то убрались оба филина. Och! Och! Нах! Рах! Бешеные собаки! Дьяволы! Хороших я наслушался разговоров, нечего сказать! У меня от них до сих пор в ушах трезвон стоит. А тут еще этот вонючий сыр! Ну, теперь скорее вон! Захватим с собой братцеву мошну и поспешим променять денежки на бутылки!

---

[107] Сноски: 107
«Нет места, где бы не было гения» (*лат.*).

[108] Сноски: 108
Слава тебе, Господи! (*Лат.*)

Жан с любовью и восхищением заглянул еще раз в драгоценный кошелек, привел в порядок свою одежду, смахнул пыль с башмаков, почистил посеревшие от золы рукава, засвистал какую-то песенку, перевернулся на одной ноге, осмотрелся, нельзя ли еще чего стащить, захватил с собой несколько лежавших на очаге стеклянных амулетов, рассчитав, что их можно подарить Изабо ла Тьери, и наконец отворил дверь, которую брат не запер из сострадания к нему. Жан тоже оставил ее открытой, желая на прощание насолить брату, и побежал вниз по винтовой лестнице, подпрыгивая, как воробей.

В потемках на лестнице Жан толкнул кого-то, посторонившегося с сердитым рычанием. Он подумал, что это Квазимодо, и эта мысль его так рассмешила, что остаток лестницы он пробежал, держась за бока от смеха, и, даже выскочив уже на площадь, все еще продолжал хохотать.

Очутившись наконец на улице, он топнул ногой.

— О славная, почтенная парижская мостовая! И будь проклята лестница, — на ней запыхались бы сами ангелы, восходившие по лестнице Иакова! Чего ради я полез в этот каменный бурав, ушедший в самое небо? Чтобы поесть протухшего сыра

да полюбоваться из слухового окна на парижские колокольни!

Пройдя несколько шагов, Жан заметил «обоих филинов», то есть достопочтенного Клода и Жака Шармолю, погруженных в созерцание изваяний у входа в собор. Подкравшись к ним на цыпочках, он услыхал, как архидьякон объяснял вполголоса Жаку Шармолю:

— Это Гильом Парижский приказал вырезать изображение Иова на этом камне цвета ляпис-лазури, позолоченном по краям. Иов знаменует собою философский камень, который тоже должен перенести много испытаний и терзаний, чтобы стать совершенным, как говорит Раймонд Луллий: Sub conservatione formae specificae salva anima[109].

«Ну, меня это не касается, — подумал Жан, — благо денежки у меня в руках».

В эту минуту позади него раздался громкий и звучный голос, ругавшийся самым отчаянным образом:

— Провалиться тебе! К черту тебя! Нечестивое чрево Вельзевула! Клянусь Папой! Гром и молния!

---

[109] Сноски: 109
При сохранении специфической формы спасается душа (*лат.*).

— Клянусь честью, — воскликнул Жан, — да ведь это мой друг — капитан Феб!

Имя Феб поразило слух архидьякона в ту минуту, как он объяснял королевскому прокурору значение дракона, спрятавшего свой хвост в фонтане, откуда выходят клубы дыма, окутывающие голову короля. Клод вздрогнул и, оборвав, к великому удивлению Шармолю, свою речь на полуслове, обернулся. Он увидел своего брата Жана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему перед домом Гондлорье.

Действительно, это был капитан Феб де Шатопер. Он стоял, прислонившись к стене дома своей невесты, и ругался самым неистовым образом.

— Однако, капитан Феб, и молодец же вы ругаться, — проговорил Жан, дотрагиваясь до его руки.

— Убирайся к черту! — отвечал капитан.

— Убирайтесь сами к черту! — возразил школяр. — Но расскажите мне, милейший капитан, что вызвало такой фонтан красноречия?

— Простите, дружище! — воскликнул Феб, пожимая ему руку. — Но ведь знаете — и лошадь на всем скаку не остановишь сразу, а я ведь ругался во весь дух! Видите ли, я только что вышел от этих святош, а каждый раз, как я там побываю,

я даю себе потом волю поругаться всласть, а то боюсь задохнуться. Гром и молния!

— Не хотите ли выпить? — спросил студент.

Такое предложение немного успокоило капитана.

— Я бы с удовольствием, да денег нет.

— Зато у меня есть!

— Неужели?

Жан показал ему кошелек жестом, исполненным величественной простоты. Между тем архидьякон, покинув у собора изумленного Шармолю, тихо подошел к ним и, никем не замеченный, стал наблюдать за молодыми людьми, всецело поглощенными рассматриванием кошелька.

Феб воскликнул:

— Кошелек у вас в кармане, Жан! Да это похоже на отражение луны в воде: и видишь ее, и нет ее там! Черт возьми, да я готов пари держать, что вы насовали туда одних камешков!

— А вот полюбуйтесь, какими камешками набит мой кошелек! — хладнокровно возразил на это Жан и без дальних разговоров высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу с видом римлянина, спасающего отечество.

— Фу ты, черт! — пробурчал Феб. — Большие беляки, мелкие беляки, турские монеты, париж-

ские монеты и даже настоящие лиарды! Да это восхитительно!

Жан сохранял свой невозмутимый вид.

Несколько лиардов скатилось в грязь, и восхищенный капитан бросился было их подымать.

Но Жан остановил его:

— Стыдитесь, капитан Феб де Шатопер!

Феб сосчитал деньги и торжественно обратился к Жану:

— Знаете ли вы, Жан, что тут двадцать три парижских су! Сознайтесь, что вы кого-нибудь ограбили сегодня ночью на улице Перерезанных глоток!

Жан тряхнул своей белокурой кудрявой головой и произнес, презрительно прищурив глаза:

— На то у нас имеется полоумный братец — архидьякон.

— Ах, черт побери! — воскликнул Феб. — Вот достойный-то человек!

— Пойдем выпьем, — предложил Жан.

— Куда же пойдем, — спросил Феб, — разве в кабак «Яблоко Евы»?

— Не стоит, капитан, пойдем лучше в «Старую науку», мне там больше нравится.

— Ну ее к черту, «Старую науку». Вино лучше в «Евином яблоке». И там у самой двери вьется

на солнышке виноградная лоза. Я люблю на нее смотреть, когда пью.

— Ну ладно, отправимся к Еве, — согласился студент, беря капитана под руку. — Кстати, дорогой капитан, вы только что упомянули улицу Перерезанных глоток. Так не говорят. Мы уже теперь не варвары. Нужно говорить: «улица Перерезанного горла».

И оба друга направились к «Яблоку Евы». Незачем и говорить о том, что они предварительно собрали рассыпанные деньги и что архидьякон последовал за ними, мрачный и расстроенный… Тот ли это Феб, проклятое имя которого не давало ему покоя со времени его разговора с Гренгуаром? Он не был в этом уверен, но достаточно было этого магического слова, чтобы заставить архидьякона крадучись последовать за беспечными друзьями, прислушиваясь к их разговору и тревожно наблюдая за малейшими их движениями. Впрочем, весьма нетрудно было слышать все, что они говорили, потому что приятели нисколько не заботились о том, что другие прохожие могут услыхать их. Они разговаривали очень громко, болтая о дуэлях, женщинах, попойках и всяких сумасбродствах.

На углу одной улицы к ним донесся с ближай-

шего перекрестка звук бубна. И Клод услыхал, как офицер сказал студенту:

— Черт возьми! Пойдем скорее!

— Почему?

— Боюсь, чтобы цыганка не увидала.

— Какая цыганка?

— Да та, что ходит с козой.

— Эсмеральда?

— Она самая. Все забываю ее дурацкое имя. Пойдем скорее, а то она меня узнает. А мне вовсе не хочется, чтобы она заговорила со мной на улице.

— Да разве вы ее знаете, Феб?

Тут архидьякон услыхал самодовольный смех капитана, прошептавшего что-то на ухо Жану. Потом Феб снова захохотал и с победоносным видом тряхнул головой.

— Правда? — спросил Жан.

— Ей-богу! — отвечал Феб.

— Сегодня вечером?

— Сегодня вечером.

— И вы думаете, что она придет?!

— Да что вы, Жан, разве в этом можно сомневаться?

— Ну и счастливчик же вы, капитан Феб!

Ни одно слово из этого разговора не ускользнуло от архидьякона. Зубы его стучали, как в

лихорадке, и он весь дрожал. На секунду он остановился, присев на тумбу, как пьяный, а затем снова пустился вслед за молодыми шалопаями.

В ту минуту, как он их догнал, они уже оставили интересовавшую его тему, и до его слуха донесся припев старинной песни, которую они распевали во все горло:

Les enfants des Petits-Carreaux
Se font pendre comme des veaux![110]

VII. Мрачный монах

Знаменитый кабак «Яблоко Евы» находился в университетском квартале, на углу улиц Ронделель и Батонье. Он помещался в нижнем этаже и представлял собой довольно большую комнату с очень низким сводчатым потолком, поддерживаемым посредине толстым деревянным столбом, выкрашенным в желтое. Все помещение было заставлено столами, а по стенам висели блестящие жестяные кружки. Тут всегда была масса народу, желавшего выпить, и много уличных женщин. Одно окно выходило на улицу, у двери

[110] Сноски: 110
Ребята с улицы Птит-Каро Дают себя вешать, как телята! (*Фр.*)

же вилась виноградная лоза, а над дверью был прибит скрипучий железный лист, украшенный изображениями женщины и яблока. Заржавевший от дождя лист раскачивался от ветра на железном гвозде. Этот своеобразный флюгер заменял вывеску.

Наступала ночь, на перекрестке было темно. Кабак, освещенный многочисленными свечами, пылал во мраке, как кузнечный горн. Оттуда, сквозь разбитые стекла, слышались звон стаканов, пьяные крики, крепкие словца и перебранка. Сквозь запотевшее окно смутно виднелись многочисленные посетители, а по временам оттуда раздавались взрывы хохота. Прохожие, спешившие по своим делам, проходили не оглядываясь мимо шумного окна. Лишь изредка какой-нибудь мальчишка в лохмотьях, встав на цыпочки, старался заглянуть в окно и крикнуть старинную прибаутку, которой дразнили тогда пьяниц: «Aux Houls, saouls, saouls, saouls»[111].

Но теперь взад и вперед около шумной таверны терпеливо прогуливался какой-то человек, не спуская с нее глаз и не отходя дальше, чем часовой от своей будки. На нем был плащ, которым

[111] Сноски: 111

«Пьяницы, пьяницы, пьяницы, отправляйтесь в Гуль» (houle — морская зыбь) (*фр.*).

он старательно закрывал себе лицо. Плащ этот был только что куплен у старьевщика, торговавшего в лавочке рядом с «Яблоком Евы». Вероятно, прохожий или прозяб в холодный мартовский вечер, или хотел скрыть свой костюм. По временам он останавливался перед мутным окном с железной решеткой, вслушивался, вглядывался и топал ногой.

Наконец дверь кабака отворилась. Этого, повидимому, только и дожидался прохожий. Два человека вышли на улицу, и луч света, вырвавшийся через отворенную дверь, на минуту озарил их веселые лица. Незнакомец в плаще продолжал свои наблюдения, спрятавшись под навесом крыльца, на другой стороне улицы.

— Гром и молния! — воскликнул один из пьяниц. — Сейчас пробьет семь часов, а ведь это час моего свидания.

— Я вам говорю, — бормотал его товарищ заплетающимся языком, — я вам говорю, что я не живу на улице Сквернословия, indighus qui inter mala verba habitat. Я живу на улице Жан — Мягкий хлеб, in vico Johannis Pain Mollet. Вы более рогаты, чем единорог, если вы утверждаете обратное. Каждый знает, что кто раз сел верхом на медведя, тот ничего не боится, а только вы полакомиться

любите не хуже Сен-Жака де Лопиталя.

— Жан, друг мой, вы пьяны, — говорил второй, но тот продолжал, пошатываясь:

— Что вы там ни говорите, капитан Феб, но давно доказано, что у Платона был профиль легавой собаки.

Читатель, без сомнения, уже узнал наших двух друзей, капитана и студента. Да и незнакомец, скрывавшийся в тени, тоже, по-видимому, узнал их, потому что он медленно последовал за ними, описывая на ходу такие же зигзаги, как пьяный Жан, увлекавший за собой и капитана, хотя тот, более привычный к вину, держался на ногах вполне твердо.

Внимательно прислушиваясь, незнакомец в плаще не пропустил ни одного слова из следующего интересного разговора:

— Черт возьми! Старайтесь же идти прямо, господин бакалавр. Сейчас я уйду от вас, ведь уже семь часов, а у меня назначено свидание с красоткой.

— Отстаньте от меня, пожалуйста. Вон я вижу звезду, вижу огненные копья. А вы страсть как похожи на Дампмартенский замок, который лопается от смеху.

— Клянусь бородавками моей бабушки, Жан,

нельзя городить такую чушь! Скажите-ка мне лучше, остались ли у вас деньги?

— Господин ректор, тут нет никакой ошибки: parva boucheria значит маленькая бойня.

— Жан, друг мой Жан! Ведь я вам говорил, что у меня назначено свидание с этой девочкой за мостом Святого Михаила. Там негде устроиться, иначе как у старухи Фалурдель, а ей надо заплатить за комнату. Старая карга с седыми усами мне не поверит в долг. Жан, пожалуйста, посмотрите, неужели мы пропили все поповские деньги? Неужели у вас не осталось ни одного су?

— Сознание хорошо проведенного дня — лучшая приправа к кушаньям…

— Черт тебя возьми, наконец! Вот проклятье! Отвечай, есть у тебя еще деньги? Коль есть, так давай, а не то я сам обыщу тебя, хоть бы ты был покрыт проказой, как Иов, или паршой, как Цезарь!

— Милостивый государь! Улица Гальяш одним концом упирается в улицу ла Веррули, а другим — в улицу Тиксеранди.

— Ну да, ну да, голубчик, улица Гальяш прекрасная улица, но постарайтесь немного прийти в себя. Ведь мне нужно всего одно су и, главное, не позднее семи часов!

— Тс-с, слушайте хорошенько куплет:

Quand les rats mangerout les chats,
Le roi sera seigneur d'Arras;
Quand la mer, qui est grande et lèe,
Sera à la Sainte Jean gelee
On verra, par dessus la grace
Sortir ceux d'Arras de leur place[112].

— Ну ладно, чертов школяр, чтоб тебе удавиться еще в материнской утробе! — воскликнул Феб и грубо толкнул пьяного. Тот скользнул вдоль стены и упал, как мешок, на мостовую. Движимый чувством братского сострадания, никогда не покидающего окончательно сердца пьяниц, Феб подпихнул ногой Жана к даровой подушке, всегда готовой к услугам бедняков у каждой тротуарной тумбы и презрительно называемой богачами кучей мусора. Капитан удобно уложил голову Жана на изголовье из капустных кочерыжек, и в ту же минуту Жан захрапел великолепным басом. Но досада еще не совсем угасла в сердце капитана.

— Тебе же хуже, коль мусорщик подберет те-

---

[112] Сноски: 112

Когда мыши поедят кошек, Король овладеет Аррасом; Когда море-океан замерзнет в Иванов день, То увидят, как из Арраса пойдут по льду (*фр.*).

бя по дороге в свою тележку! — проговорил он, обращаясь к уснувшему приятелю, и зашагал дальше.

Незнакомец в плаще, не отставáвший от него ни на шаг, остановился на минуту перед спящим, как будто в нерешительности, потом, глубоко вздохнув, направился опять вдогонку за капитаном.

И мы, читатель, по их примеру, оставим Жана спать под благосклонным взором звезд и последуем за капитаном и незнакомцем в плаще. Выйдя на улицу Сент-Андре-Дезарк, капитан заметил, что за ним кто-то следит. Случайно обернувшись, он обратил внимание на какую-то тень, крáвшуюся вслед за ним вдоль стен. Капитан остановился — и тень остановилась, он пошел — зашевелилась и тень. Это обстоятельство, впрочем, его нисколько не встревожило. «На здоровье, — подумал он, — все равно у меня нет ни гроша».

Перед Отюнским коллежем Феб остановился. Здесь он получил начатки того, что называл своим образованием, и по укоренившейся школьной привычке никак не мог пройти мимо, не нанеся статуе кардинала Пьера Бертрана, стоявшей у входа, того оскорбления, на которое так горько жалуется Приап в сатире Горация: Olim truncus

eram ficulnus[113]. Благодаря стараниям капитана надпись «Eduensis episcopus»[114] почти уже исчезла. И теперь, по обыкновению, он остановился перед статуей. Улица была совершенно безлюдна. Вдруг, в ту минуту, как он приводил в порядок свой туалет, посматривая по сторонам, он заметил тень, приближавшуюся к нему медленно, так медленно, что он успел рассмотреть плащ и шляпу на ее голове. Подойдя к нему, тень остановилась и замерла неподвижно, как статуя кардинала Бертрана.

Но взгляд ее был устремлен прямо на капитана Феба, и глаза искрились тем особым светом, каким горят глаза кошки в темноте.

Капитан был не трус и нисколько бы не испугался встречи с бродягой, вооруженным кистенем. Но эта ходячая статуя, этот окаменевший человек сковал его сердце ужасом. Ему смутно вспомнились ходившие в то время по городу легенды о каком-то «мрачном монахе», бродившем по ночам по улицам Парижа. Несколько секунд он простоял в оцепенении и наконец заговорил с деланым смехом:

---

[113] Сноски: 113
Речь идет о специфической неприличной выходке.

[114] Сноски: 114
«Епископ Отюнский» (*лат.*).

— Сударь, если вы вор, как мне кажется, то вы похожи на цаплю, собравшуюся поживиться пустым орехом… Я, голубчик, сын разорившихся родителей. Поищите лучше в другом месте, ну, хотя бы в этой часовне, здесь много серебряной утвари.

Из-под плаща призрака показалась рука и сжала руку Феба с силою орлиных когтей. Призрак заговорил:

— Капитан Феб де Шатопер!

— Ах, черт! — воскликнул Феб. — Ты знаешь, как меня зовут?

— Я не только знаю, как вас зовут, — продолжал незнакомец в плаще своим замогильным голосом, — я знаю, что у вас на сегодняшний вечер назначено свидание.

— Верно, — отвечал озадаченный Феб.

— В семь часов.

— Да, через четверть часа.

— У старухи Фалурдель.

— Совершенно верно.

— За мостом Святого Михаила.

— Святого Михаила Архангела, как говорится в молитвах.

— Нечестивец! — пробормотал призрак. — С женщиной.

— Confiteor[115].

— И ее зовут…

— Смеральдой, — подсказал Феб, к которому мало-помалу вернулась его всегдашняя беспечность.

При этом имени призрак яростно стиснул руку Феба.

— Капитан Феб де Шатопер, ты лжешь!

Тот, кто увидал бы, каким гневом вспыхнуло при этих словах лицо капитана Феба, как стремительно он отступил назад, вырвав свою руку из сжимавших ее тисков, и каким гордым движением схватился за рукоятку своей шпаги, кто видел бы, с какой мрачной невозмутимостью встретил незнакомец в плаще этот порыв гнева, тот содрогнулся бы от ужаса. Сцена эта напоминала борьбу Дон Жуана со статуей Командора.

— Клянусь Сатаной! — воскликнул капитан. — Такие слова нечасто приходилось слышать Шатоперам, и ты не посмеешь их повторить.

— Ты лжешь! — хладнокровно отвечал призрак.

Капитан заскрежетал зубами. Он забыл в эту минуту, что, может быть, имеет дело с «мрачным

---

[115] Сноски: 115
Сознаюсь (*лат.*).

монахом», призраком, привидением, и помнил только о полученных оскорблениях.

— А, ну ладно же! — проговорил он, задыхаясь от гнева, и обнажил шпагу, заикаясь и дрожа как в лихорадке от негодования. — Ну, становись в позицию! Живей! Обнажай шпагу, и будем драться насмерть!

Но призрак не двигался. Увидав, что противник его готовится к нападению, он произнес:

— Капитан Феб, — и в голосе его звучали горькие ноты, — вы позабыли о своем свидании.

Гнев людей, подобных Фебу, похож на кипящий молочный суп с высоко вздувшимися пузырями, моментально лопающимися, если на них брызнуть каплей холодной воды. Простое замечание незнакомца заставило капитана опустить уже обнаженную шпагу.

— Капитан, — продолжал незнакомец, — завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет я всегда готов перерезать вам горло, но сегодня отправляйтесь сначала на свидание.

— В самом деле! — согласился Феб, как будто обрадованный представившимся исходом. — И дуэль, и любовное свидание одинаково прекрасные вещи, так зачем же упускать одну из них?

И он вложил шпагу в ножны.

— Отправляйтесь же на свое свидание, — снова проговорил незнакомец.

— Очень вам благодарен за любезный совет, — отвечал с маленькой запинкой Феб. — Действительно, мы и завтра поспеем наделать дырок в костюме своего прародителя Адама. Весьма признателен вам за разрешение приятно провести время. Правда, я рассчитывал сейчас приколоть вас и все-таки поспеть вовремя к своей красотке, тем более что заставить женщину немножко подождать себя даже служит признаком хорошего тона в таких случаях. Но вы, по-видимому, здоровый малый, и вернее будет отложить наши счеты до завтра. А теперь спешу на свидание, ведь оно назначено в семь часов, как вам известно. — Тут капитан Феб почесал у себя за ухом. — Ах, черт, я и забыл, что у меня нет ни гроша, чтобы заплатить за каморку, а старая ведьма потребует плату вперед. Ни за что не поверит в долг.

— Вот вам чем заплатить.

И Феб почувствовал, как холодная рука незнакомца сунула ему какую-то крупную монету. Он не мог удержаться, чтобы не схватить деньги, и крепко пожал руку, протянувшую их.

— Ей-богу, — воскликнул он, — вы славный малый!

— С одним условием, — продолжал незнакомец. — Докажите мне, что я ошибся, а вы говорили правду. Спрячьте меня где-нибудь так, чтобы я мог сам убедиться, что эта женщина именно та, чье имя вы назвали.

— Пожалуйста, — отвечал Феб, — мне это безразлично. Мы возьмем келью святой Марты. Там есть рядом собачья конура, откуда все прекрасно видно.

— Ну так пойдем, — промолвила тень.

— К вашим услугам, — отозвался капитан. — Не знаю, может, вы и сам дьявол, но на сегодняшний вечер — мы друзья. А завтра я уплачу вам долги моего кошелька и моей шпаги.

Они быстро зашагали вперед. Через несколько минут по плеску воды капитан догадался, что они подходят к мосту Святого Михаила, в то время застроенному домами.

— Сначала я вас спрячу, — обратился Феб к своему спутнику, — а потом пойду за красоткой. Она меня поджидает у Малого Шатлэ.

Незнакомец ничего не ответил. За всю дорогу он не проронил ни слова. Феб остановился перед низенькой дверью и начал стучать в нее изо всех сил. В щелях двери показался свет.

— Кто там? — спросил старческий голос.

— Черт! Дьявол! Сатана! — отвечал капитан.

Дверь сейчас же отворилась, и глазам посетителей представились старая женщина и старая лампа, обе одинаково дрожащие. Старуха была сгорбленная, одетая в лохмотья, с трясущейся головой и узенькими щелками вместо глаз, повязанная какой-то тряпкой, вся покрытая морщинами на лице, на руках, на шее. Губы у нее ввалились между беззубых десен, а вокруг рта торчали пучки седых волос, придававшие ей сходство с кошкой. И внутренность комнаты была так же непривлекательна и ветха, как ее хозяйка. Стены, вымазанные известкой, потолок, подпертый почерневшими балками, убогий очаг, повсюду паутина. Посреди комнаты было нагромождено несколько хромоногих столов и расшатанных скамеек. Грязный ребенок копался в золе, а в глубине виднелась крутая деревянная лестница, упиравшаяся в люк, проделанный в потолке.

Переступив порог притона, таинственный спутник Феба старательно закрыл лицо плащом до самых глаз. Между тем капитан, продолжая отчаянно ругаться, поспешил «сверкнуть золотым экю на солнышке», по выражению нашего неподражаемого Ренье.

— Дай нам келью святой Марты, — распорядился капитан.

Старуха назвала его монсеньором и спрятала экю в ящик стола. Это была та монета, которую дал Фебу человек в черном плаще. Не успела она повернуться спиной, как лохматый, оборванный мальчишка, копавшийся в золе, ловко подкрался к столу, вытащил из ящика монету, а на ее место положил сухой лист, оторванный им от веника.

Старуха, пригласив обоих посетителей следовать за собою, полезла вверх по лестнице. Поднявшись наверх, она поставила лампу на сундук, а Феб, очевидно хорошо знакомый с расположением дома, толкнул дверь в темную каморку.

— Войдите сюда, любезнейший, — пригласил он своего спутника.

Тот, не говоря ни слова, повиновался. Дверь захлопнулась за ним, он услыхал, как Феб запер ее на замок и потом спустился вниз за старухой. Стало совсем темно.

VIII. Удобство окон, выходящих на реку

Клод Фролло (читатель, более проницательный, чем Феб, конечно, с самого начала узнал в мрачном монахе архидьякона) принялся ощупью знакомиться с темной каморкой, куда его запер Феб. Она представляла собой чуланчик, какие иногда устраиваются архитекторами между крышей и поддерживающей ее стеной. Вертикальный разрез этой собачьей конуры, как ее удачно назвал Феб, представлял треугольник. Вдобавок там не было даже намека на окошко, а скат крыши не позволял выпрямиться во весь рост. Клод присел на корточки среди пыли и обломков штукатурки, рассыпавшихся под тяжестью его тела. Голова у него горела. Пошарив кругом руками, он нашел на полу осколок разбитого стекла, приложил его ко лбу, и эта прохлада немного облегчила его.

Что происходило в эту минуту в глубине души архидьякона, про то ведал лишь Бог да он сам!

В каком роковом порядке рисовались его воображению Эсмеральда, Феб, Жак Шармолю,

его младший брат, так нежно любимый им и брошенный на улице, в грязи, наконец, его собственная священническая ряса и даже доброе имя, которыми он рисковал в притоне какой-то Фалурдель, — словом, все образы и события сегодняшнего дня, — этого я не смогу вам сказать. Одно несомненно, что все эти образы слились в его мозгу в ужасную картину.

Так прождал он с четверть часа, но ему казалось, что за это время он состарился на целых сто лет. Вдруг он услыхал скрип ступенек деревянной лестницы под чьими-то ногами. Люк открылся, и показался свет. В полусгнившей двери чулана, где притаился Клод Фролло, была довольно большая щель, и он жадно приник к ней лицом, так что мог наблюдать за всем, что происходило в соседней комнате. Сначала, с лампой в руке, показалась старуха с кошачьим лицом, за ней Феб, покручивавший ус, и, наконец, прелестная грациозная фигурка Эсмеральды. Она явилась пред священником как чудное, ослепительное видение. Клод задрожал, в глазах у него помутилось, кровь бросилась ему в голову, в ушах поднялся звон, все кругом закружилось, и он перестал видеть и слышать.

Когда он пришел в себя, Феб и Эсмеральда были

уже одни и сидели на сундуке рядом с лампой, ярко освещавшей их молодые лица и жалкое ложе в глубине каморки.

Около этого ложа находилось окно, разбитые стекла которого напоминали паутину, поврежденную дождем. Оттуда виднелись клочок неба и луна, мягко покоившаяся на пушистых облаках.

Молодая девушка сидела смущенная, трепещущая, с пылающим лицом, опущенные ресницы бросали длинную тень на зардевшиеся щеки. Феб, на которого она не решалась взглянуть, так и сиял. Машинально, с очаровательной неловкостью, чертила она пальчиком по сундуку какие-то бессвязные линии и следила за движением своего пальца. Ножек ее не было видно, на них лежала, свернувшись, маленькая козочка.

Капитан был одет весьма щегольски, воротник и рукава его мундира были расшиты золотом, что в те времена считалось верхом роскоши.

Клод с трудом мог расслышать, о чем они говорили, — так у него стучало в висках.

Разговоры влюбленных не отличаются большим разнообразием. Это вечное повторение слов «я вас люблю», музыкальной фразы, весьма пустой и бессодержательной для постороннего

слушателя, если она не украшена какими-нибудь фиоритурами. Но Клод не был равнодушным слушателем.

— Ах, — проговорила молодая девушка, не поднимая глаз, — не презирайте меня, монсеньор Феб. Я сама знаю, что поступила очень дурно.

— Презирать вас, моя красотка! — воскликнул капитан тоном, полным утонченной галантности. — Презирать вас! Боже мой, да за что же?

— За то, что я пришла сюда.

— Ну, моя прелесть, в этом мы не сойдемся. Мне бы вас не презирать надо, а ненавидеть.

Молодая девушка испуганно взглянула на него:

— Меня ненавидеть! Да что же я сделала?

— Заставили себя слишком долго упрашивать.

— Ах, — возразила она, — ведь я нарушила свой обет. Не найти мне больше своих родителей! Талисман потеряет силу! Но что мне за дело! На что мне теперь мать и отец?

И при этих словах она с невыразимой нежностью взглянула на капитана своими большими черными глазами, влажными от радости и умиления.

— Ей-богу, ничего не понимаю! — воскликнул Феб.

Эсмеральда на минуту притихла, слеза скатилась по ее щеке, глубокий вздох вырвался из уст, и она проговорила:

— О монсеньор, как я вас люблю!

Вокруг молодой девушки царила атмосфера такого целомудрия, такой нравственной чистоты, что Феб чувствовал себя не совсем ловко. Однако последние слова придали ему смелости.

— Ты любишь меня! — с восторгом воскликнул он, обнимая цыганку. Он только и ждал для этого удобной минуты.

Священник, увидев это, ощупал пальцем лезвие кинжала, спрятанного у него на груди.

— Феб, — продолжала цыганка, тихонько освобождаясь от крепких объятий капитана, — вы добрый, хороший, красивый. Вы спасли меня, бедную, ничтожную цыганку. Давно уже я мечтала об офицере, который спасет мне жизнь. Это о вас я мечтала, еще не зная вас, мой Феб. Герой моей мечты был одет в такой же красивый мундир, как вы, со шпагой на боку, и имел такой же гордый вид. Вас зовут Фебом — какое чудное имя! Я люблю ваше имя, люблю вашу шпагу. Дайте мне вашу шпагу, Феб, покажите мне ее.

— Дитя! — улыбнулся капитан, вынимая шпагу из ножен. Цыганка осмотрела рукоятку лезвия,

полюбовалась на вырезанный на эфесе вензель и поцеловала шпагу со словами: «Ты шпага храброго офицера, и я люблю твоего хозяина».

Феб воспользовался этим случаем, чтобы поцеловать ее наклоненную прелестную шейку, отчего девушка быстро подняла голову и зарделась, как вишня. Архидьякон заскрежетал зубами в потемках.

— Феб, — продолжала цыганка, — дайте мне наговориться с вами! Пройдитесь по комнате, и я полюбуюсь на вас. Какой вы высокий, как звенят ваши шпоры! Какой вы красавец!

Феб исполнил ее желание, заметив с самодовольной улыбкой:

— Какое ты еще дитя! А кстати, моя прелесть, видела ты меня в парадной форме?

— К сожалению, нет, — вздохнула она. — Вот это действительно красиво!

Феб снова уселся рядом с молодой девушкой, но гораздо ближе, чем прежде.

— Послушай, моя радость…

Цыганка несколько раз слегка хлопнула его по губам своей прелестной ручкой, ребяческим жестом, полным очаровательной грации:

— Нет, нет, не хочу слушать! Любите меня? Скажите, если любите.

— Люблю ли я тебя, ангел души моей! — воскликнул капитан, становясь на одно колено. — Я весь твой, я готов пожертвовать для тебя и душой и телом, отдать за тебя всю жизнь. Я люблю тебя и никого не любил, кроме тебя.

Капитан столько раз повторял эти слова в подобных случаях, что и теперь выговорил их одним духом, ни разу не запнувшись. При таком страстном объяснении цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему небо, взор, полный неземного блаженства.

— Ах, — прошептала она, — как бы я желала сейчас умереть!

Феб же нашел, что сейчас самый удобный случай сорвать еще один поцелуй, чем опять доставил бесконечные муки несчастному архидьякону.

— Умереть! — воскликнул влюбленный капитан. — Да что ты говоришь, мой ангел! Жить нужно, жить, клянусь Юпитером! Как можно думать о смерти теперь, когда нас ждет столько наслаждений? Черт побери, я на это не согласен! Послушай, дорогая моя Симиляр… Эсмепарда. Извини, пожалуйста! У тебя такое нехристианское имя, что я никак не могу его запомнить. Каждый раз язык заплетается.

— Ах, боже мой, — проговорила бедная девушка, — а мне казалось, что оно тем и хорошо, что оно такое необыкновенное! Но если оно вам не нравится, зовите меня как хотите.

— Ну, полно, милочка, не стоит огорчаться из-за таких пустяков. К твоему имени стоит только привыкнуть, вот и все. Я выучу его наизусть и тогда уже не буду сбиваться. Послушай же, моя прелестная Семиляр, я тебя обожаю! Я люблю тебя так страстно, что даже сам удивляюсь. И я знаю одну особу, которая готова лопнуть от зависти.

— Кто это? — перебила его ревниво молодая девушка.

— Что нам за дело! — возразил Феб. — Любишь ты меня?

— Ах!.. — прошептала она.

— Ну... и больше нам ничего и не нужно. Я тебя тоже очень люблю, ты увидишь. И пусть Нептун проколет меня своим трезубцем, если я не сделаю тебя счастливейшей женщиной в мире. Мы найдем где-нибудь маленькую уютную комнатку, я буду водить своих стрелков у тебя под окнами. Все они конные, и стрелки капитана Миньона против них никуда не годятся. Я поведу тебя на парад в Рюлли. Это, я тебе скажу, великолепное зрелище! Восемьдесят тысяч человек

вооруженных, тридцать тысяч белых попон и камзолов. Тут же значки всех шестидесяти семи цехов, знамена парламента, счетной палаты, казначейства, монетного двора, одним словом — вся чертова свита! Я покажу тебе королевских львов — это дикие звери. Все женщины очень любят такие вещи.

Тем временем молодая девушка, погруженная в свои радужные мысли, мечтала под звуки его голоса, не вслушиваясь в то, что он говорил.

— Ах, как ты будешь счастлива! — продолжал капитан, осторожно расстегивая в то же время пояс цыганки.

— Что вы делаете? — испуганно воскликнула она, очнувшись от своей задумчивости при переходе капитана от слов к делу.

— Ничего, — отвечал Феб. — Я только хотел сказать, что тебе придется расстаться с этим уличным нарядом, когда ты будешь со мной.

— Когда я буду с тобой, мой Феб! — повторила нежно молодая девушка.

И снова замолкла, погрузившись в задумчивость.

Капитан, ободренный такой покорностью, обнял ее за талию и не встретил сопротивления. Тогда он принялся осторожно расшнуровывать

ее корсаж и при этом настолько спустил ее косынку, что задыхающийся архидьякон увидал обнажившееся под легкой кисеей прелестное смуглое плечико цыганки, напоминавшее собой луну, показавшуюся в тумане горизонта.

Молодая девушка не останавливала Феба и, кажется, даже не замечала, что он делает. Глаза предприимчивого капитана разгорались.

— Феб, — вдруг обратилась к нему молодая девушка с выражением бесконечной любви, — научи меня своей вере.

— Своей вере?! — воскликнул капитан, расхохотавшись. — Научить тебя своей вере? Черт возьми! Да на что тебе моя вера?

— Чтобы нам можно было повенчаться, — отвечала она.

На лице капитана отразилось сразу удивление, насмешка, беспечность и сладострастие.

— Ну, вот еще! — воскликнул он. — Какая тут женитьба!

Цыганка побледнела и печально опустила голову.

— Прелесть моя, — нежно продолжал капитан, — выкинь ты из головы эти глупости. Велика важность — женитьба! Точно мы будем меньше любить друг друга, если священник не побормо-

чет над нами по-латыни.

И, говоря так, он постарался вложить в голос всю нежность, на какую был способен, а сам наклонялся все ближе к цыганке и с разгоревшимися глазами крепко обнял ее стройную, гибкую талию.

По всему видно было, что для капитана Феба наступает одна из тех минут, когда даже сам Юпитер делал такие глупости, что Гомеру приходилось призывать себе на помощь облако.

Достопочтенный Клод видел все. В двери чулана, сколоченного из гнилых досок, были такие широкие щели, что сквозь них свободно проникал взгляд архидьякона, напоминавший взгляд хищной птицы. Смуглый и широкоплечий священник, обреченный до сих пор на строгое монастырское целомудрие, теперь дрожал и не помнил себя от этой ночной сцены, полной любви и сладострастия. Вид полуобнаженной молодой красивой девушки в страстных объятиях капитана разогрел его кровь так, словно в его жилах текло расплавленное олово. С чувством бесконечной ревности следил он за каждой отколотой булавкой. Тому, кто увидел бы в эту минуту лицо несчастного, приникшего к гнилым доскам, показалось бы, что он видит перед собой

тигра, смотрящего из клетки, как шакал терзает газель. Зрачки его сверкали, как угли, сквозь щели в двери.

Вдруг Феб быстро сдернул косынку молодой девушки. Бедная цыганка, сидевшая до сих пор бледная и неподвижная, сразу очнулась. Она быстро отскочила от предприимчивого капитана и, взглянув на свои обнаженные плечи, замерла, сконфуженная и растерянная от стыда, скрестив руки на груди и стараясь прикрыть ими свою наготу. Если бы не зардевшиеся щеки, ее неподвижную и нежную фигуру легко было бы принять за статую целомудрия. Глаза ее оставались опущенными. Резкая выходка капитана обнаружила таинственный талисман, висевший у нее на шее.

— Что это такое? — спросил капитан, пользуясь предлогом снова приблизиться к напуганной красавице.

— Не троньте! — воскликнула она. — Это мой хранитель, он мне поможет отыскать моих родителей, если я окажусь достойной их. Оставьте меня, господин капитан! Матушка! Милая матушка! Где ты? Помоги мне! Сжальтесь, господин Феб, отдайте мою косынку.

Феб отступил и холодно проговорил:

— О, сударыня, теперь я отлично вижу, что вы меня не любите!

— Я его не люблю! — воскликнула бедная цыганка, бросаясь на шею капитана и усаживая его рядом с собой. — Я тебя не люблю, милый Феб! Злой, ведь ты говоришь это нарочно, чтобы меня помучить. Так *на* же, возьми меня, возьми всю! Делай со мной все, что хочешь, я вся твоя! На что мне талисман, на что мне мать! Ты для меня мать, потому что я люблю тебя! Феб, мой любимый Феб, взгляни на меня! Смотри, это я, та самая маленькая цыганка, которую ты по своей доброте не оттолкнул от себя, она сама пришла к тебе и сама отдается тебе. Моя душа, моя жизнь, мое тело, все, все во мне принадлежит тебе, мой дорогой! Ну что ж, если ты не хочешь жениться, так и не надо. Да и что я такое? Несчастная уличная девочка, а ведь ты дворянин, мой Феб! Правда, это было бы даже смешно — уличная плясунья и вдруг замужем за офицером! Да я с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей забавой, твоим наслаждением — всем, чем ты захочешь, ведь я для того только и создана! Пусть я буду опозорена, запятнана, всеми презираема, но зато любима! И я буду самой счастливейшей из женщин. А когда я состарюсь или подурнею, мой Феб, когда не смо-

гу больше служить для вас забавой, монсеньор, вы позволите мне прислуживать вам. Другие будут вам вышивать шарфы, а я, ваша служанка, буду хранить их. Я буду чистить ваши шпоры, чистить ваш мундир, обтирать пыль с ваших сапог. Не правда ли, мой Феб, вы из сострадания позволите мне это? А теперь бери меня, Феб, я вся твоя, только люби меня! Нам, цыганкам, лишь это и нужно — воздух и любовь!

И с этими словами она обвила руками шею капитана, умоляюще глядя на него снизу вверх глазами, полными слез, и улыбаясь чудной улыбкой. Ее нежная грудь терлась о сукно и грубую вышивку его мундира, ее полуобнаженное тело извивалось у него на коленях. Опьяненный капитан прильнул жадными губами к ее смуглым плечикам. Молодая девушка, запрокинувшись назад и подняв глаза, трепетала и замирала под этим поцелуем.

Вдруг над головой Феба она увидела другую голову, с мертвенно-бледным, искаженным судорогой лицом и диким взглядом. И около этого лица виднелась поднятая рука с кинжалом. То были лицо и рука архидьякона, выломавшего дверь и выбежавшего из чулана. Феб не мог его видеть. Пораженная страшным видением, девуш-

ка замерла, неподвижная, похолодевшая, немая, как голубка при виде ястреба, устремившего свои круглые глаза на ее гнездо.

Она не могла даже крикнуть. Она видела, как кинжал опустился на Феба и снова взлетел вверх, весь окровавленный.

— Проклятье, — проговорил капитан, падая.

Цыганка лишилась чувств.

Когда глаза ее закрывались и сознание заволакивалось туманом, ее губы ощутили прикосновение огня, поцелуй более жгучий, чем раскаленное железо палача.

Очнувшись, она увидала себя окруженной солдатами ночной стражи. Истекающего кровью капитана куда-то уносили. Архидьякон исчез; окошко в глубине комнаты, выходившее на реку, было распахнуто; около него подняли какой-то плащ, думая, что он принадлежит капитану, а вокруг нее говорили:

— Колдунья заколола капитана.

Книга восьмая
I. Золотая монета, превратившаяся в сухой лист

Гренгуар и весь Двор чудес были в смертельном беспокойстве. Уже больше месяца никому не было известно ни что сталось с Эсмеральдой, — это весьма печалило герцога египетского и бродяг, — ни что сталось с козой, что особенно огорчало Гренгуара. Однажды вечером цыганка исчезла, и с тех пор о ней не было ни слуху ни духу. Все поиски не привели ни к чему. Кто-то сказал Гренгуару, с очевидным намерением подразнить его, что встретил Эсмеральду в тот вечер около моста Святого Михаила в обществе офицера. Но этот муж, обвенчанный по цыганскому обряду, оказался философом-скептиком. К тому же ему лучше, чем кому-либо, была известна чистота его жены. Он по опыту знал, какую непреодолимую силу представляли собою амулет и добродетель самой цыганки, и с математической точностью рассчитал сопротивление, которое они могут оказать нападению. На этот счет он был совершенно спокоен.

Тем необъяснимее было для Гренгуара исчезновение Эсмеральды. Оно его глубоко опечалило. Он бы даже похудел, если бы для него существовала такая возможность. Он все оставил, даже свои литературные занятия, даже свою большую работу «De figuris regularibus et irregularibus»[116], которую собирался напечатать на первые деньги, которые у него появятся. Он бредил книгопечатанием с тех пор, как увидел книгу Гюга де Сен-Виктора, Didascalon, напечатанную знаменитым шрифтом Винделина Спирского.

Однажды, грустно бредя мимо здания Ла Турнель, он увидал группу людей, толпившихся у дверей Дворца правосудия.

— Что там такое? — спросил он у одного из выходивших оттуда молодых людей.

— Не знаю, сударь, — отвечал молодой человек. — Говорят, судят какую-то женщину, убившую военного. Тут, кажется, замешано колдовство. Епископ и консисторский судья вступились в это дело, мой брат, архидьякон, с головой ушел в него. Мне надо было поговорить с ним, да я так и не добрался до него — такая там толпа! Это ужасно досадно, потому что мне

[116] Сноски: 116
«О правильных и неправильных оборотах речи» (*лат.*).

нужны деньги.

— Желал бы иметь возможность ссудить вас ими, молодой человек, только у меня карманы продырявились не от денег, — сказал Гренгуар.

Он не посмел сказать студенту, что знает его брата архидьякона, к которому он не заходил со времени встречи в церкви и чувствовал себя виноватым в этом.

Студент пошел своей дорогой, а Гренгуар стал подниматься по лестнице вслед за толпой, направлявшейся в первую камеру палаты. Принято утверждать, что ничто так не способствует рассеянию меланхолии, как зрелище уголовного процесса, — настолько забавна глупость судей! Толпа, в которую вмешался Гренгуар, двигалась и толкалась молча. После медленного скучного топтания по темному коридору, извивавшемуся в старом здании, Гренгуар достиг низкой двери, ведшей в зал. Благодаря своему высокому росту он видел происходящее через головы колыхающейся толпы.

Зал был обширный и темный, отчего казался еще больше. Смеркалось. В длинные стрельчатые окна проникали только бледные лучи, погасавшие, не достигнув свода, представлявшего огромную решетку из балок, покрытых

множеством вырезанных на них фигур, которые, казалось, двигались в полумраке. На столах местами уже горели свечи. Свет от них падал на головы согнувшихся над кипами бумаг писцов. Передняя часть зала была занята толпой; направо и налево сидели судейские и стояли столы. В глубине, на эстраде, сидели многочисленные судьи, последние ряды которых тонули в темноте, — неподвижные, мрачные лица! Стены были усеяны изображениями лилий. Над судьями неясно виднелось большое распятие, и повсюду сверкали пики и алебарды, на остриях которых огненными точками отражался свет.

— Что это за господа, сидящие, как прелаты на соборе? — спросил Гренгуар одного из соседей.

— Направо советники первой камеры палаты, налево — судебные следователи. Низшие чины — в черном, а высшие — в красном.

— А там, выше, кто этот толстяк, что так потеет?

— Господин председатель.

— А эти бараны позади него? — продолжал расспрашивать Гренгуар, не любивший, как мы уже сказали, магистратуру; может быть, причиной тому была злоба, которая осталась у него по отношению к суду со времени его драматических

злоключений.

— Это все господа следователи королевской палаты.

— А перед ними — этот кабан?

— Это королевский секретарь парламента.

— А направо — тот крокодил?

— Мэтр Филипп Лёлье, чрезвычайный королевский прокурор.

— А налево — этот толстый черный кот?

— Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда, и господа члены консистории.

— Что же делают здесь все эти господа? — спросил Гренгуар.

— Судят.

— Кого? Я не вижу подсудимого.

— Это женщина, сударь. Вы не можете ее видеть. Она обращена к нам спиной, и толпа закрывает ее. Она там, где вы видите группу стражей с бердышами.

— Что это за женщина? — спросил Гренгуар. — Вы знаете ее имя?

— Нет; я только что пришел. Думаю только, что дело идет о колдовстве, потому что консистория присутствует на суде.

— А! Так мы увидим, как все эти господа в мантиях станут поедать человеческое мясо. Что же,

зрелище, как всякое другое!

— Не находите ли вы, сударь, что у мэтра Жака Шармолю очень кроткая наружность? — спросил сосед.

— Гм, — отвечал Гренгуар. — Не доверяю я кроткой физиономии со сжатыми ноздрями и тонкими губами.

Здесь соседи попросили разговаривавших замолчать. Слушалось важное свидетельское показание.

— Господа, — говорила, стоя посреди зала, старуха, лицо которой настолько сливалось с одеждой, что она казалась сплошным узлом лохмотьев, — это все такая же правда, как то, что я ла Фалурдель с моста Святого Михаила, где я живу уж сорок лет, аккуратно платя пошлины, оброки и подати. Дверь моя против Тассена Кайяра, красильщика, который живет на верхнем берегу реки. Теперь я — бедная старуха, а когда-то была красивой девушкой! На днях мне сказали: «Ла Фалурдель, не верти свою прялку чересчур быстро вечером, дьявол любит расчесывать своими рогами пряжу старух. Достоверно, что “мрачный монах”, что бродил в прошлом году около Темпля, теперь оказался в ла Сите. Смотри, Фалурдель, как бы он не постучался к тебе в дверь». Однажды

вечером я пряла около двери. Стучат. Спрашиваю — кто там? Кто-то ругается. Отворяю. Входят двое мужчин — один весь в черном, другой красивый офицер. У черного были видны только глаза — как два горящих угля. Все остальное было закрыто плащом и шляпой. Вот что они мне сказали: «Дай нам келью святой Марты». Это моя верхняя комната, самая чистая из всех. Они мне дают экю. Я прячу экю в ящик и говорю: «Завтра куплю себе требухи на живодерне в Глориетте». Мы идем наверх. Когда мы пришли в комнату и я обернулась, человек в черном исчез. Это меня несколько удивило. Офицер, красивый, как настоящий аристократ, спустился со мной вниз. Он ушел. Не успела я спрясть и четверть пасмы, как он вернулся с красивой молодой девушкой — куколкой, которая засияла бы как звездочка, если бы ее приодеть. С ней был козел, большой козел, белый или черный, теперь не помню. Это заставило меня призадуматься. До девушки мне дела нет, но вот козел… Не люблю я этих животных — у них борода и рога. Как будто мужчины. Да и пахнет шабашем. Однако я ничего не говорю. Я получила экю. Ведь я правильно рассудила, господин судья? Я проводила девушку и капитана наверх и оставила их одних, то есть с козлом.

Сама же возвратилась вниз и снова принялась за пряжу. Надо вам сказать, что дом мой двухэтажный и задняя сторона его обращена к реке, как у прочих домов на мосту, и окна из первого и второго этажа выходят прямо над водой. Ну вот, я принялась было за пряжу, и, не знаю почему, у меня в голове все вертелся этот «мрачный монах», о котором мне напомнил козел; а девушка показалась мне несколько странно одетой. Вдруг я слышу наверху крик, что-то падает на пол, и затем открывается окно. Я бегу к своему окну, которое как раз под верхним, и вижу, как мимо меня мелькает какая-то черная масса и падает в воду. Это был призрак, одетый священником. Светила луна, и я его очень хорошо рассмотрела. Он поплыл в сторону Сите. Тогда, вся дрожа, я зову ночную стражу. Солдаты вошли, и так как они были навеселе, то, не зная, в чем дело, в первую минуту стали бить меня. Я им все объяснила. Мы идем наверх — и что же находим? Комната вся залита кровью, офицер лежит на полу с кинжалом в шее, девушка притворяется мертвой, а козел мечется в испуге. «Вот так история, — говорю я, — теперь целых две недели не отмоешь пол. Придется скоблить — ужасно!» Бедного молодого человека, офицера, унесли, а также и девушку —

она была полураздета. Подождите. Самое худшее то, что, когда я на другой день хотела взять экю, чтобы сходить за требухой, я на его месте нашла сухой лист.

Старуха умолкла. Ропот ужаса пробежал среди слушателей.

— Привидение, козел — все это пахнет колдовством, — заметил один из соседей Гренгуара.

— А этот сухой лист! — добавил другой.

— Нет никакого сомнения, — заключил третий, — это колдунья, у которой стачка с «мрачным монахом», чтобы грабить офицеров.

Сам Гренгуар был недалек от того, чтобы найти все это ужасным и правдоподобным.

— Женщина Фалурдель, вы не имеете ничего больше сообщить правосудию? — величественно спросил председатель.

— Нет, разве только то, что в протоколе мой дом назвали покосившейся, вонючей лачугой, а это обидно! — заявила старуха. — Все дома на мосту не бог весть какие, потому что битком набиты людьми. А все же мясники не перестают селиться там, хотя это люди богатые и жены у них — красивые, порядочные женщины.

Прокурор, в котором Гренгуар нашел сходство с крокодилом, поднялся.

— Замолчите, — сказал он. — Прошу господ судей не терять из виду, что на обвиняемой нашли кинжал. Женщина Фалурдель, принесли ли вы с собой сухой лист, в который превратился экю, данный вам демоном?

— Да, милостивый государь, я его нашла. Вот он.

Судебный пристав передал засохший лист «крокодилу», который зловеще кивнул головой и передал лист председателю, тот препроводил его прокурору церковного суда, и лист обошел весь зал.

— Это березовый лист, — сказал мэтр Жак Шармолю. — Новое доказательство колдовства.

— Свидетельница, — заговорил один из советников, — к вам вошли два человека — человек в черном, который потом исчез и поплыл по Сене в одежде монаха, и еще офицер. Который из двоих вам дал экю?

Старуха с минуту подумала и сказала:

— Офицер.

В толпе пробежал шепот.

«А, — подумал Гренгуар, — это показание поколебало мое убеждение».

Между тем снова вмешался мэтр Филипп Лёлье, королевский прокурор:

— Напомню господам, что в своем показании, записанном у его изголовья, убитый офицер заявил, что в ту минуту, когда к нему подошел человек в черном, у него мелькнула мысль, не мрачный ли это монах. Этот человек уговаривал его сойтись с обвиняемой и на замечание, что у него, капитана, нет денег, дал ему экю, которым офицер заплатил Фалурдель. Стало быть, это экю — бесовская монета.

Это заключительное слово, по-видимому, рассеяло все сомнения Гренгуара и других скептиков из числа слушателей.

— У вас, господа, в руках обвинительный акт, — прибавил королевский прокурор, садясь, — вы можете найти в нем подтверждение показания Феба де Шатопера.

При этом имени подсудимая встала. Показалась ее голова. Гренгуар, к своему ужасу, узнал Эсмеральду.

Она была бледна. Волосы, прежде так изящно заплетенные и украшенные монетами, падали в беспорядке, губы посинели, ввалившиеся глаза смотрели страшно.

— Феб? — повторила она как бы в забытьи. — Где он? О господа! Прежде чем убить меня, сжальтесь, скажите, жив ли он еще!

— Замолчи, женщина, — сказал председатель. — Это не наше дело.

— Ради бога, скажите, жив ли он? — продолжала она, сжимая свои прелестные исхудалые руки. При этом послышался звон цепей.

— Он умирает, — сухо сказал королевский прокурор. — Довольно ли с тебя этого?

Бедняжка упала на скамейку, без голоса, без слез, бледная, как восковая статуя.

Председатель нагнулся к человеку в расшитой золотом шапке и черном платье, с цепью на шее и жезлом в руке, сидевшему у его ног:

— Пристав, введите вторую подсудимую.

Все взоры обратились к отворившейся дверце, и в нее вошла хорошенькая козочка с золочеными рожками и копытцами. Гренгуар задрожал. Грациозное животное на минуту остановилось на пороге, вытягивая шею вперед, как будто, стоя на скале, увидело перед собой необъятный горизонт. Вдруг она заметила цыганку и, перескочив через стол и голову одного из писцов, в два прыжка очутилась возле нее. Тут она грациозно стала ластиться у ног своей госпожи, выпрашивая слово или ласку. Но подсудимая сидела неподвижно, и на долю бедной Джали не выпало даже ни одного взгляда.

— Ах, да ведь это та самая противная коза! — воскликнула Фалурдель. — Теперь я узнаю их обеих.

Жак Шармолю заговорил:

— Если угодно, господа, мы приступим к допросу козы.

Действительно, коза оказалась второй подсудимой. В те времена обвинение животного в колдовстве было делом обыкновенным. Так, в отчетах судопроизводства за 1466 год содержатся, между прочим, интересные подробности о стоимости процесса Жилье-Сулара и его свиньи, казненных за их проступки в Карбэйле. Здесь есть все: и стоимость ямы для закапывания свиньи, и пятьсот вязанок хвороста из Морсанского порта, и три пинты вина и хлеба — последний обед осужденного, который он по-братски разделил со своим палачом, — и наконец, издержки на охрану и корм свиньи в продолжение одиннадцати дней, по восьми парижских денье в день. Иногда заходили еще дальше. Так, по капитуляриям Карла Великого и [Людовика Благочестивого] налагаются ужасные кары на огненные призраки, осмеливающиеся появляться в воздухе.

Между тем прокурор духовного суда воскликнул:

— Если злой дух, который вселился в эту козу и который не поддается никаким увещеваниям, будет продолжать упорствовать в своих кознях, — если он ужаснет ими суд, то мы предупреждаем его, что мы будем вынуждены прибегнуть против него к виселице или к костру.

У Гренгуара выступил холодный пот. Шармолю взял со стола бубен цыганки и подал его особенным образом козе, спрашивая ее:

— Который час?

Коза посмотрела на него своим умным взглядом, подняла золоченое копытце и ударила семь раз. Действительно, было семь часов. Движение ужаса пробежало в толпе.

Гренгуар не выдержал.

— Она губит себя! — крикнул он. — Вы ведь видите, что она не понимает, что делает.

— Тише, вы, мужичье, там в зале! — резко приказал пристав.

При помощи такого же маневра с бубном Жак Шармолю заставил козу проделать еще несколько подобных фокусов, касавшихся дня недели, числа месяца, года и т. д., — словом, заставил козу проделать все, чему читатель уже был свидетелем. И вследствие оптического обмана, обычного при судебных разбирательствах, те же зрители,

которые, может быть, не раз аплодировали на перекрестках невинным шуткам Джали, испугались их под сводами суда. Коза, без всякого сомнения, была нечистой силой.

Впечатление получилось еще более сильное, когда королевский прокурор, высыпав на пол из мешочка, висевшего у Джали на шее, содержавшиеся в нем подвижные буквы, заставил козу копытцем сложить из рассыпанной азбуки роковое имя: Феб. Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным, и в глазах всех эта прелестная плясунья, столько раз очаровывавшая прохожих своей грацией, превратилась в ужасную ведьму.

Впрочем, она не подавала никаких признаков жизни. Ни грациозные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия, раздававшиеся из толпы, — ничто не доходило до ее сознания.

Чтобы пробудить ее, сержанту пришлось безжалостно ее трясти, а председателю торжественно возвысить голос:

— Девушка, ты из цыганского племени, предающегося колдовству. Ты, состоя в сообщничестве с заколдованной козой, привлеченной к процессу, в ночь на двадцать девятое марта убила, заколов кинжалом, при помощи темных сил, чар и кол-

довства, капитана королевских стрелков Феба де Шатопера. Ты продолжаешь отрицать это?

— Какой ужас! — вскричала девушка, закрывая лицо руками. — Мой Феб!.. О! Это ад!

— Ты продолжаешь отрицать? — холодно спросил председатель.

— Да, отрицаю! — отвечала она громко и встала со сверкающими глазами.

Председатель прямо поставил вопрос:

— В таком случае как ты объяснишь обстоятельства, послужившие к твоему обвинению?

Она отвечала прерывающимся голосом:

— Я уже сказала. Я ничего не знаю. Это сделал священник — священник, которого я не знаю. Этот дьявол-священник преследует меня.

— Совершенно правильно, — сказал судья. — Это «мрачный монах».

— Сжальтесь надо мной, господа судьи! Я бедная девушка…

— Цыганка, — дополнил судья.

Мэтр Жак заговорил мягко:

— Ввиду прискорбного запирательства подсудимой я предлагаю применить пытку.

— Согласен, — ответил председатель.

Несчастная содрогнулась всем телом, однако поднялась по приказанию стражей и медленно,

довольно твердою поступью, предшествуемая Шармолю и консисторскими священниками, между двумя рядами алебард, направилась к потайной двери, которая внезапно отворилась и так же быстро захлопнулась, произведя на Гренгуара впечатление ужасной пасти, поглотившей несчастную.

Когда она исчезла, послышалось жалобное блеяние — то плакала бедная коза.

Заседание было прервано. Один из советников заметил, что господа судьи устали и что слишком долго ждать окончания пытки. На это председатель ответил, что должностное лицо должно уметь приносить себя в жертву своему долгу.

— Скучная, противная девчонка, с которой приходится возиться на голодный желудок! — заключил один судья-старик.

II. Продолжение рассказа об экю, превратившемся в сухой лист

Поднявшись и спустившись по нескольким ступеням в коридорах, настолько темных, что и днем они освещались лампами, Эсмеральда в сопровождении своей мрачной свиты была введена судейской стражей в комнату зловещего

вида. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из толстых башен, вздымающихся еще и в наше время над зданиями, заступившими в современном Париже место старинных построек. В этом подземелье не было окон, не было никаких отверстий, кроме низкой, окованной железом двери. Темно, однако, здесь не было. В толстой стене была выложена печь, в которой пылал яркий огонь, наполнявший подземелье своим багровым отблеском и лишавший всякого значения жалкую сальную свечу, горевшую в углу. От железной решетки, закрывавшей печь, поднятой в это время над пылающим отверстием, на темной стене выступал ряд темных, острых, редких зубьев, что придавало печи вид сказочного дракона, изрыгающего пламя. При свете печи узница увидела в комнате различные ужасные орудия, назначение которых ей было непонятно. Посредине, почти на полу, находился кожаный матрац, над которым висел ремень с пряжками, прикрепленный к медному кольцу, соединенному с таким же кольцом огромных размеров, вделанным в свод потолка. Тиски, клещи, огромные полосы железа наполняли внутренность печи и накалялись, брошенные в беспорядке на горящие угли. Кровавый свет горна освещал в

подземелье массу ужасных вещей.

Этот ад назывался *допросной камерой*.

На кровати сидел в непринужденной позе Пьера Тортерю, присяжный палач. Его прислужники, два гнома с четырехугольными лицами, в кожаных фартуках и холщовых рубахах, поворачивали железные орудия на углях.

Напрасно несчастная девушка призывала на помощь все свое мужество. Войдя в эту комнату, она ужаснулась.

Стража встала по одну сторону, священники и представители консистории — по другую. В углу, за столом, на котором стояла чернильница, сидел писец.

Мэтр Жак Шармолю подошел к цыганке с самой ласковой улыбкой.

— Ты все еще продолжаешь запираться, дитя мое?

— Да, — отвечала она уже упавшим голосом.

— В таком случае нам очень тяжело будет допрашивать тебя более настоятельно, чем мы бы того желали. Потрудись сесть на кровать. Мэтр Пьера, дайте барышне сесть и затворите дверь.

Пьера встал, ворча.

— Если запру дверь, огонь погаснет, — проворчал он.

— Ну, так не запирайте ее.

Между тем Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось столько несчастных, приводила ее в ужас. Страх леденил ее кровь. Она стояла растерянная, ничего не понимая. По знаку Шармолю два прислужника схватили ее и посадили на постель. Они не причинили ей боли, но, когда эти мужчины дотронулись до нее, когда кожа матраца коснулась ее тела, она почувствовала, как вся кровь прилила ей к сердцу. Она окинула блуждающим взглядом комнату. Ей казалось, что все эти безобразные орудия пытки, представлявшие собой среди виденных ею когда-либо инструментов то же, что летучие мыши, сороконожки и пауки среди насекомых и птиц, двинулись к ней со всех сторон, чтобы поползти по ее телу, чтобы кусать и щипать ее.

— Где врач? — спросил Шармолю.

— Здесь, — отвечал человек в черном, которого Эсмеральда не заметила раньше. Она вздрогнула.

— В третий раз спрашиваю вас, продолжаете вы упорствовать в отрицании поступков, в которых вас обвиняют?

На этот раз она могла только кивнуть головой.

У нее не было голоса…

— Вы упорствуете? — спросил Жак Шармолю. — В таком случае я, к величайшему сожалению, должен исполнить свой служебный долг.

— С чего мы начнем, господин королевский прокурор? — резко вмешался Пьера.

Шармолю с минуту поколебался с двусмысленной улыбкой поэта, подыскивающего рифму.

— С испанского «сапога», — сказал он наконец.

Несчастная почувствовала себя до такой степени покинутой Богом и людьми, что голова ее бессильно опустилась на грудь, как неодушевленный предмет.

Палач и врач одновременно подошли к ней. В то же время прислужники начали рыться в своем ужасном арсенале. При звоне этих страшных железных орудий несчастная девочка задрожала, как мертвая лягушка, сквозь тело которой пропустили электрический ток.

— О мой Феб! — проговорила Эсмеральда так тихо, что никто ее не слыхал.

Затем она снова погрузилась в свою прежнюю неподвижность и каменное безмолвие. Это зрелище истерзало бы всякое другое сердце, кроме судейского. Казалось, будто сам Сатана допрашивает бедную грешную душу при багровом свете

ада. Несчастное тело, за которое готовы были ухватиться эти бесчисленные пилы, колеса и дыбы, существо, которое должно было сейчас очутиться в этих цепких руках палачей, в этих тисках, было кроткое, хрупкое, беленькое созданьице. Бедное зернышко, которое людское правосудие бросало под ужасные жернова пытки.

Между тем мозолистые руки слуг Пьера Тортерю грубо обнажили эту прелестную маленькую ножку, не раз поражавшую своим изяществом и красотой зрителей на парижских перекрестках.

— Экая жалость! — проворчал палач, смотря на нежную, грациозную ножку.

Если бы архидьякон был тут, он, без сомнения, вспомнил бы своих символических паука и муху. Скоро несчастная увидала сквозь дымку, застлавшую ей глаза, как поднесли «сапог», скоро почувствовала, как ее ножка, охваченная окованными железом лубками, исчезла в ужасном аппарате. Тогда ужас вернул ей силы.

— Снимите с меня это! — крикнула она, не помня себя, и, поднявшись, вся растрепанная, прибавила: — Сжальтесь!

Она пыталась вскочить и броситься к ногам прокурора, но ногу ее сдавливал тяжелый,

дубовый обрубок, окованный железом, и она принуждена была опуститься, более обессиленная, чем пчела, к крылу которой подвесили бы кусок свинца.

По знаку Шармолю ее снова положили на постель, и две грубые руки привязали к ее тонкому поясу ремень, свисавший с потолка.

— В последний раз: признаете вы обстоятельства, при которых совершилось злодеяние? — спросил Шармолю со своей невозмутимой медоточивостью.

— Я невиновна.

— В таком случае как вы объясните все, в чем вас обвиняют?

— Увы! Я не знаю, монсеньор.

— Вы отрицаете свою вину?!

— Отрицаю все!

— Начинайте! — приказал Шармолю палачу.

Пьера завернул винт, «сапог» сжался, и несчастная испустила один из тех ужасных криков, передать которые невозможно ни на одном человеческом языке.

— Остановитесь, — приказал Шармолю Пьера. — Сознаетесь? — спросил он цыганку.

— Во всем! — закричала несчастная девушка. — Сознаюсь! Сознаюсь! Пощадите!

Идя на пытку, она не соразмерила своих сил. Первая боль победила бедняжку, жизнь которой до тех пор была так весела, легка и приятна.

— Человеколюбие обязывает меня предупредить вас, что, повинившись, вы должны ждать смерти, — сказал прокурор.

— О, поскорей бы, — ответила она и упала на кожаную постель, точно умирающая, перегнувшись вдвое и повиснув на кожаном ремне, застегнутом пряжкой у нее на груди.

— Ну, красавица, приободрись, — сказал мэтр Пьера, приподнимая ее. — Ты похожа на золотого агнца, которого носит на шее герцог Бургундский.

Жак Шармолю возвысил голос:

— Писец, пишите. Цыганка, ты признаешься, что принимала участие в сходбищах, шабашах и адских колдовствах вместе с злыми духами, ведьмами и вампирами? Отвечай.

— Да, — отвечала она так тихо, что ее слова сливались с дыханием.

— Ты видела барана, которого показывает Вельзевул в облаках, чтобы собрать шабаш, и которого могут видеть одни только колдуньи?

— Да.

— Ты признаешься в том, что поклонялась го-

ловам Бофомета, этим отвратительным идолам храмовников?

— Да.

— Что общалась с дьяволом под видом ручной козы, привлеченной к делу?

— Да.

— Наконец, ты признаешься и каешься в том, что с помощью демона и оборотня, обыкновенно называемого «мрачным монахом», ты в ночь на двадцать девятое марта убила некоего капитана Феба де Шатопера?

Она подняла на прокурора свои большие неподвижные глаза и отвечала как бы машинально, не дрогнув:

— Да.

Очевидно, в ней все было сломлено.

— Пишите, писец, — приказал Шармолю. — А вы, — продолжал он, обращаясь к палачам, — отвяжите узницу и отведите ее обратно в зал суда.

Когда с узницы сняли «сапог», церковный прокурор осмотрел ее ногу, все еще неподвижную от боли.

— Ну, беда невелика. Ты крикнула вовремя. Еще сможешь плясать, красавица!

Затем он обратился к представителям правосудия:

— Вот наконец правосудию все ясно. Это утешительно, господа. Барышня должна отдать нам справедливость, что мы действовали со всей доступной нам мягкостью.

III. Конец экю, превратившегося в сухой лист

Когда бледная, хромающая Эсмеральда вернулась в зал, ее встретил общий ропот удовольствия. Со стороны публики это было чувство удовлетворенного нетерпения, которое зрители испытывают при окончании последнего антракта пьесы, когда подымается занавес и начинается финал. Со стороны судей — надежда на скорый ужин. И козочка заблеяла от радости. Она хотела побежать навстречу хозяйке, но ее привязали к скамейке.

Совсем стемнело. Свечи, количество которых не увеличили, давали так мало света, что даже стены зала не были видны. Мрак окутывал всех как бы туманом. Только едва выделялось несколько апатичных лиц судей. На противоположном конце длинного зала зрители видели неясную белую точку, выделявшуюся на темном фоне. То была подсудимая.

Она дотащилась до своего места. Шармолю, торжественно дойдя до своего, сел, затем встал и, не выказывая слишком сильного тщеславия своим успехом, сказал:

— Подсудимая во всем созналась.

— Цыганка, — заговорил председатель, — ты призналась в колдовстве, распутной жизни и убийстве Феба де Шатопера?

Ее сердце сжалось. Из темноты послышались рыдания.

— Во всем, в чем хотите, — отвечала она слабым голосом. — Только убейте меня поскорей!

— Господин прокурор церковного суда, палата готова выслушать ваше заявление.

Мэтр Шармолю извлек тетрадь ужасающих размеров и начал читать, жестикулируя, повышенным тоном стряпчего латинскую речь, где все доказательства обвинения были нагромождены на цицероновских перифразах и сопровождались цитатами из Плавта, его любимого комика. Очень сожалеем, что не можем предложить читателю этого замечательного документа. Оратор читал его весьма оживленно и еще не успел окончить вступление, как уже пот капал у него с лица, а глаза вылезли из орбит.

Вдруг на самой середине периода он оста-

новился, и его взгляд, обыкновенно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнии.

— Господа! — вскричал он уже по-французски, так как этого не было в тетради. — Сатана настолько замешан во всем этом деле, что вот он сам присутствует при наших прениях и передразнивает королевский суд. Взгляните.

Говоря это, он указал на козочку, которая, видя жесты Шармолю, действительно подумала, что ей следовало подражать ему. Она присела на задние ноги, а передними и бородатой головкой старалась, насколько возможно, повторять патетические движения прокурора церковного суда. Если читатель помнит, это был один из ее талантов. Этот инцидент, это последнее доказательство произвело огромный эффект. Козе связали ноги, и королевский прокурор продолжал прерванную нить своего красноречия.

Говорил он долго, но речь была великолепна. Вот ее последняя фраза; прибавьте к ней мысленно хриплый голос и торопливую жестикуляцию мэтра Шармолю: «Ideo, domini, coram stryga demonstrata, crimine patente, intentione criminis existente, in nomine sanctae ecclesiae Nostrae-Dominae Parisiensis, quae est in saisina habendi

omnimodum altam et bassam justitiam in illa hac intemerata Civitatis insula, tenore praesentium declaramus nos requirere, primo, aliquamdam pecuniariam indemnitatem; secundo, amendationem honorabilem ante portalium maximum Nostrae-Dominae, ecclesiae cathedralis; tertio, sententiam in virtute cujus ista stryga exeunte in fluvio Secanae juxta pointam jardini regalis, executatae sint»[117]. Он надел шапочку и сел.

—

Ох! — вздохнул Гренгуар. — Bassa latinitas![118]

Другой человек в черной мантии встал возле обвиняемой. Это был ее адвокат. Проголодавшиеся судьи начали роптать.

— Говорите кратко, — обратился к адвокату председатель.

— Господин председатель, — начал адвокат, —

---

[117] Сноски: 117

«Итак, господа, теперь ведьма обличена, преступление доказано, преступные намерения ясны, и от имени священнослужителей собора Парижской Богоматери, которым принадлежит высшее и низшее право суда на этом незапятнанном острове государства, мы, согласно в настоящее время действующему суду, заявляем наши требования: во-первых, присуждения к денежному штрафу; во-вторых, к публичному покаянию перед главным порталом собора Парижской Богоматери; в-третьих, приговора, в силу которого эта ведьма со своей козой были бы казнены на площади, которую в просторечии именуют Гревской, или на острове реки Сены, неподалеку от королевского сада» (*лат.*).

[118] Сноски: 118

Варварская латынь! (*Лат.*)

так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать только одно слово. Вот текст салического закона: «Если ведьма съела человека и уличена в том, она заплатит штраф в восемь тысяч экю, то есть штраф в двести золотых су». Угодно будет суду приговорить мою клиентку к уплате штрафа?

— Текст, уже вышедший из употребления, — заметил королевский прокурор.

— Nego[119], — ответил защитник.

— На голоса! — посоветовал советник. — Преступление доказано, и уже поздно.

Собирали голоса, не выходя из зала. Судьи подавали голос снятием шапочки, все спешили. При зловещем вопросе, с которым к ним шепотом обращался председатель, видно было в полумраке, как они один за другим снимали шапочки с головы. Несчастная подсудимая как будто смотрела на них, но ее помутившиеся глаза уже не видели ничего.

Затем писец начал писать и через несколько времени передал председателю длинный пергамент.

Тогда несчастная услыхала, как толпа задвига-

---

[119] Сноски: 119
Отрицаю (*лат.*).

лась, зазвенели пики, ударяясь одна о другую, а ледяной голос стал говорить:

— Девушка-цыганка, в тот день, который благоугодно будет назначить королю, нашему государю, в полдень, тебя, в рубашке, босиком, с веревкой на шее, вывезут в телеге перед главным фасадом собора Богоматери. Здесь, держа двухфунтовую восковую свечу в руках, ты всенародно покаешься, и оттуда тебя перевезут на Гревскую площадь, где тебя повесят и удавят на виселице, так же, как и твою козу. Ты заплатишь исполнителю приговора три лиондера в возмездие за совершенные тобой преступления, в которых ты повинилась, — колдовство, волшебство, распутство и убийство дворянина Феба де Шатопера. Прими, Господь, твою душу!

— Это сон! — проговорила Эсмеральда и почувствовала, что ее уносят сильные руки.

IV. Lasciate ogni speranza[120]

В Средние века в каждом законченном здании почти такая же часть, какая находилась над землей, скрывалась и под землей. Каждый

---

[120] Сноски: 120

Оставь всякую надежду (*Данте. Божественная комедия*).

дворец, каждая крепость, каждый храм, если только они не были построены на сваях, как собор Богоматери, имели подземные этажи. В соборах бывали как бы еще другие, подземные соборы — низкие, темные, таинственные, слепые и немые, помещавшиеся под первыми, верхними, залитыми светом, оглашаемыми день и ночь звуками органа и колоколов. Иногда то бывали склепы. Во дворцах и крепостях под землей помещались темницы либо тоже склепы, а иногда и то и другое вместе. Эти огромные здания, способ постройки которых мы уже объяснили, имели не только фундаменты, но и, так сказать, корни, которые разветвлялись под землей в виде комнат, галерей, лестниц, таких же, как в надземном помещении. Таким образом, половина корпуса церквей, дворцов и укреплений находилась в земле. Подвалы здания были другим зданием, в которое спускались, вместо того чтобы подниматься, и которое соприкасалось своими подземными этажами с громадой надземных этажей, как соприкасаются леса и горы, отраженные на зеркальной поверхности озера, с подножием гор и лесов, находящихся на его берегу.

В Сент-Антуанской бастилии, в парижском Дворце правосудия, в Лувре эти подземелья были

тюрьмами. По мере того как этажи этих тюрем углублялись ниже и ниже, они становились все теснее и темнее. Каждый этаж представлял как бы пояс известной степени ужаса. Данте не мог найти ничего лучшего для своего ада. Эти тюрьмы-воронки обыкновенно оканчивались колодцем-ямой, куда Данте поместил своего Сатану и куда общество заключало приговоренных к смерти. Раз несчастный попадал в такой колодец — прощай, свет, воздух, жизнь, прощай, всякая надежда! Он выходил оттуда только на виселицу или костер. Иногда он тут и сгнивал. Человеческое правосудие называло это забвением. Осужденный чувствовал, что между ним и людьми над его головой тяготеет каменная громада, а тюремщики, вся тюрьма, вся крепость представлялись ему огромным сложным замкóм, за которым он сидит, исключенный из мира живых.

В такое-то подземелье, в колодец, вырытый Святым Людовиком в тюрьме для вечного заключения в Турнеле, поместили, вероятно опасаясь ее бегства, Эсмеральду, приговоренную к повешению. Над ее головой высилась громада Дворца правосудия. Бедная мушка, которая не могла шевельнуть ни одной из своих маленьких лапок!

Без сомнения, судьба и общество были одинаково несправедливы. Не было надобности в таком избытке бедствия и муки, чтобы разбить столь хрупкое создание.

Она очутилась в темноте, погребенная, закопанная, замурованная. Всякий, кому пришлось бы увидеть ее в таком положении после того, как он ее видел пляшущей и смеющейся на солнце, несомненно, содрогнулся бы. Кругом тьма и холод смерти. Ни одно дуновение ветерка не шевелило ее волос, ни один человеческий звук не касался ее слуха, ни один луч света не достигал ее глаз. Разбитая, раздавленная цепями, сидя возле кружки с водой и куском хлеба, на охапке соломы, в луже воды, образовавшейся из капель, стекавших со стен тюрьмы, без движения, почти без дыхания, — она уже не имела сил даже для страданий. Феб, солнце, полдень, свобода, улицы Парижа, пляски при рукоплесканиях, сладостный любовный лепет с офицером; затем монах, кинжал, кровь, пытка, виселица — все это еще мелькало в ее голове, то как радостное, золотое видение, то как уродливый кошмар. Но это были уже лишь смутные и ужасные образы, терявшиеся во мраке, тихие отдаленные звуки, раздававшиеся там, наверху, на земле, и не достигавшие уже глубины,

где была заточена несчастная. С тех пор как ее поместили здесь, она не бодрствовала, но и не спала. Со своим несчастием, в этом склепе, она уже не была в состоянии отличить бодрствование от сна, сновидение от действительности, день от ночи. Все смешивалось, дробилось, расплывалось, носилось в мыслях в каком-то тумане. Она уже не чувствовала, не сознавала, не думала, разве только грезила. Никогда еще живое существо не стояло так близко к небытию.

В таком оцепенении, застывшая от холода, окаменевшая, она едва слышала два или три раза стук открывавшегося где-то над ее головой люка, через который не проникало даже ни единого луча света, но через который чья-то рука бросала ей корку черного хлеба. Это периодическое появление тюремщика было единственным ее общением с людьми.

Один только звук невольно занимал ее слух. Над ее головой сырость просачивалась через заплесневевший камень свода, и через ровные промежутки времени с него падали капля за каплей. Эсмеральда бессознательно слушала шум, производимый этой каплей при падении в лужу возле ее подстилки.

Эта падающая капля была единственным

движением вокруг, единственными часами, указывавшими течение времени, единственным звуком из всех звуков, раздававшихся на поверхности земли.

В довершение всего Эсмеральда часто чувствовала, как что-то холодное пробегает у нее по руке или ноге среди этой зловонной темноты, и вздрагивала.

Сколько времени она пробыла в этом подземелье, она не знала. Она смутно помнила, что где-то над кем-то был произнесен смертный приговор, что затем ее унесли куда-то и что она, вся закоченев, пришла в себя среди темноты и полного безмолвия. Она поползла на руках, цепи зазвенели и врезались ей в ноги. Она убедилась, что ее окружает одна сплошная стена и что она лежит на снопе соломы, брошенном на мокрый пол. Нигде ни светильника, ни отдушины! Тогда она села на этой соломе, а иногда, чтобы переменить положение, переходила на последнюю ступень каменной лестницы, находившейся в ее тюрьме.

Эсмеральда попробовала было считать минуты по падавшим каплям, но скоро это слабое усилие больного мозга само собой прервалось, и она погрузилась в полное оцепенение.

Наконец — днем то было или ночью, она не

знала: в этом склепе полночь и полдень были одинаково черны — она услыхала над своей головой шум более сильный, чем производила обыкновенно подъемная дверь, через которую ей спускали хлеб и кружку с водой. Она подняла голову и увидала красноватый луч, падавший через люк, устроенный в своде камеры.

В то же время загремел тяжелый засов, люк со скрипом поднялся на заржавленных петлях, и Эсмеральда увидала руку, фонарь и нижнюю часть туловища двух человек. Дверь была слишком низка, чтобы можно было рассмотреть их головы. От света ее глазам стало так больно, что она их закрыла.

Когда она снова открыла глаза, дверь была затворена, фонарь поставлен на ступеньку, а перед ней стоял человек — один. Черный плащ окутывал его с головы до ног, капюшон такого же цвета закрывал лицо. Не было видно ни фигуры, ни лица, ни рук. Перед Эсмеральдой стоял черный саван, под которым что-то двигалось. Несколько секунд она, не сводя глаз, смотрела на привидение; оба молчали. Они походили на две встретившиеся статуи. Только две вещи, казалось, жили в этом подземелье: фитиль фонаря, трещавший от сырости воздуха, да водяная капля,

прерывавшая этот неровный треск своим монотонным падением, заставляя дрожащий отблеск фонаря разбегаться кругами по маслянистой поверхности лужи. Наконец узница прервала молчание:

— Кто вы?

— Священник.

Слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть. Священник продолжал глухим голосом:

— Вы приготовились?

— К чему?

— К смерти.

— О! — сказала она. — Скоро ли это будет?

— Завтра.

Голова ее, которую она было радостно подняла, снова упала на грудь.

— Как долго! — проговорила она. — Отчего не сегодня?

— Вы, стало быть, очень несчастны? — спросил священник, помолчав.

— Мне очень холодно, — ответила она.

Она взялась руками за ноги движением, свойственным людям, которым холодно; мы уже видели такое же движение у узницы Роландовой башни. Зубы ее застучали.

Священник, по-видимому, осмотрел из-под капюшона камеру.

— Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!

— Да, — отвечала она с тем изумленным видом, который ей придало несчастье. — Свет ведь для всех. Отчего мне дают только мрак?

— Знаете ли вы, за что вы здесь? — спросил священник.

— Кажется, знала, — сказала она, проводя худыми пальчиками по лбу, как бы стараясь помочь своей памяти, — только теперь забыла.

Вдруг она расплакалась, как ребенок.

— Мне хотелось бы уйти отсюда, сударь. Мне холодно, страшно. По моему телу бегают какие-то звери.

— Хорошо, идите за мной.

С этими словами священник взял ее за руку. Бедняжка вся окоченела и тем не менее почувствовала холод от прикосновения этой руки.

— О! Это ледяная рука смерти, — проговорила она. — Кто же вы?

Священник поднял капюшон. Она увидела то зловещее лицо, которое так давно преследовало ее, ту дьявольскую голову, которую она увидала у Фалурдель над головой обожаемого Феба, тот самый взор, который сверкнул перед ней рядом

с кинжалом.

Появление этого человека, всегда роковое для нее, толкавшее ее от одного несчастья к другому, вплоть до осуждения на казнь, вывело ее из оцепенения. Ей показалось, что покров, окутывавший ее память, порвался.

Все подробности кровавого происшествия, от ночной сцены в доме Фалурдель до приговора на суде, сразу воскресли в ее памяти не в неясных, расплывчатых воспоминаниях, как до сих пор, но в отчетливых, резких, трепещущих, ужасных образах. Темная фигура, стоявшая перед ней, снова оживила эти воспоминания, почти изгладившиеся под влиянием чрезмерных страданий, подобно тому, как приближение огня заставляет резко выступить на белой бумаге невидимые буквы, написанные симпатическими чернилами. Ей показалось, что все раны ее сердца раскрылись снова и сочатся кровью.

— А! — крикнула она, с судорожной дрожью закрывая глаза рукой. — Это тот священник!

Затем руки ее беспомощно опустились, и она села, понурив голову, устремив глаза в землю, безмолвно трепеща.

Священник смотрел на нее глазами коршуна, который долго кружился в воздухе над головой

бедного жаворонка, притаившегося во ржи, безмолвно сужая спираль своего полета, и вдруг как молния бросился на добычу, сжимая трепещущую птичку в когтях.

Эсмеральда тихо проговорила:

— Кончайте! Нанесите последний удар! — Она в ужасе втянула голову в плечи, как овечка, ожидающая удара дубины мясника.

— Я внушаю вам ужас? — спросил он.

Она не отвечала.

— Неужели я внушаю вам ужас? — повторил он.

Ее губы искривились, точно она улыбалась.

— Да, — сказала она, — палач еще смеется над осужденной! Вот уже целые месяцы, как он преследует меня, грозит, пугает меня! Боже, как я была счастлива без него! Он толкнул меня в эту пропасть! Небо! Это он убил… он убил его… моего Феба!

Рыдая, она подняла глаза на священника.

— О презренный! Кто вы? Что я вам сделала? За что вы так ненавидите меня? За что?

— Я люблю тебя! — крикнул священник.

Слезы Эсмеральды сразу высохли. Она смотрела на священника тупым взглядом. Он же упал перед ней на колени и пожирал ее пламенным

взглядом.

— Слышишь ты? Я люблю тебя! — еще раз закричал он.

— Что же это за любовь! — прошептала несчастная, содрогаясь.

Он продолжал:

— Любовь обреченного грешника.

Оба несколько секунд молчали, подавленные тяжестью своих чувств; он — обезумевший, она — совершенно отупевшая.

— Слушай, — заговорил наконец священник, к которому вернулось странное спокойствие. — Ты все узнаешь. Я тебе признаюсь в том, в чем до сих пор едва решался признаться самому себе, вопрошая свою совесть в те поздние ночные часы, когда мрак так глубок, что сам Бог, кажется, не видит нас. Слушай. До встречи с тобой, девушка, я был счастлив…

— И я тоже! — со слабым вздохом прошептала она.

— Не прерывай меня… Да, я был счастлив, по крайней мере, верил, что счастлив. Я был чист; на душе у меня было ясно и светло. Никто не держал голову так высоко, как я. Священники учились у меня целомудрию, доктора — науке. Да, наука была для меня всем! Она была мне сестрой, и,

кроме нее, мне никого не было нужно. Между тем с летами мне стали приходить другие мысли. Не раз моя плоть волновалась, когда мне случалось видеть проходившую мимо женщину. Не раз волнение крови, которое я, безумный юноша, считал подавленным навеки, судорожно потрясало железные обеты, приковывавшие меня, презренного, к холодным плитам алтаря. Но пост, молитва, занятия, умерщвление плоти снова вернули душе господство над телом. Я избегал женщин. К тому же стоило мне открыть книгу, чтоб все нечистые помыслы рассеялись перед лучезарным сиянием науки. Через несколько минут я чувствовал, как все тяжелые мирские дела отступали все дальше и дальше, я снова становился спокойным, созерцая в душевной ясности ослепительное, но спокойное сияние вечной истины. Пока дьявол посылал, чтобы меня искушать, лишь неясные женские образы, мелькавшие мимо меня поодиночке то в храме, то на улице, то где-нибудь вблизи и лишь слегка тревожившие меня во сне, — я легко побеждал дьявола. Увы! Если победа осталась не за мной, — виноват Бог, давший неодинаковые силы дьяволу и человеку… Слушай же! Однажды…

Здесь священник остановился, и узница услы-

шала, как из груди его вырвался хриплый, стонущий вздох.

Он продолжал:

— Однажды я стоял, облокотясь, у окна моей кельи. Что я тогда читал?.. Теперь все перепуталось у меня в голове… Итак, я читал. Окно выходило на площадь. Я услыхал звук бубна и музыку. Досадуя, что мне мешают, я взглянул в окно. То, что я увидал, видели и другие, а между тем то было зрелище, созданное не для человеческих глаз. Там, посредине площади, — был полдень… светило солнце… плясала девушка. Девушка столь прекрасная, что Бог предпочел бы ее Пресвятой Деве, избрал бы ее своей матерью, пожелал бы родиться от нее, если бы она существовала тогда, когда он решил воплотиться в человека. У нее были чудные черные глаза, в черных волосах, под солнечными лучами, загорались золотые нити. Ножки исчезали в движении, как спицы быстро вертящегося колеса. Вокруг головы в ее черные косы были вплетены золотые пластинки, сверкавшие на солнце и образовавшие на ее лбу как бы корону из звезд. Ее платье, усеянное блестками, отливало голубым цветом и все искрилось, как летняя ночь. Ее гибкие смуглые руки сплетались вокруг талии и расплетались, как два шарфа.

Формы ее тела были удивительно красивы. Какое это было ослепительное создание! Оно лучезарно сверкало даже при ярком свете солнца!.. Увы, эта девушка была ты!.. Изумленный, опьяненный, очарованный, я поддался искушению и смотрел на тебя. Я смотрел на тебя, пока не вздрогнул от ужаса, чувствуя, что уже не в силах противиться року.

Под гнетом тяжелых воспоминаний священник снова остановился. Затем продолжал:

— Уже наполовину побежденный, я пытался ухватиться за что-нибудь, чтобы удержаться в своем падении. Я вспомнил про те сети, которые Сатана уже расставлял мне. Создание, которое я видел перед собой, было одарено такой сверхъестественной красотой, что могло быть только даром неба или ада. То не была девушка, созданная, как мы все, из земли и бледно освещенная изнутри мерцающим лучом женской души. То был ангел, но не лучезарный ангел света, а ангел мрака и пламени. В ту минуту, как я подумал об этом, я увидел возле тебя козу — дьявольское животное: она смотрела на меня, смеясь. Рога ее при полуденном солнце горели, как огненные. Тут я начал подозревать западню со стороны дьявола и уже не сомневался, что ты порождение

ада, посланное мне на погибель. Я был убежден в этом. — Тут священник взглянул прямо в лицо узнице и прибавил холодно: — Я и теперь убежден в этом… Между тем очарование действовало мало-помалу. Твоя пляска кружила мне голову, я чувствовал, как колдовство овладевало мной. Все, что должно было бодрствовать в моей душе, засыпало, и, подобно людям, умирающим в снегу, я с удовольствием поддавался этому сну. Вдруг ты начала петь. Что мне, несчастному, оставалось делать? Твое пение было еще очаровательнее пляски. Я хотел бежать. Невозможно. Я был пригвожден, я прирос к месту. Мне казалось, что мраморные плиты пола доходят мне до колен. Пришлось остаться до конца. Ноги у меня были как лед, а голова горела. Наконец ты, может быть, сжалилась надо мной, — ты перестала петь и исчезла. Мало-помалу ослепительное видение в моих глазах и звук чарующей музыки в моих ушах стали исчезать. Я упал на подоконник, обессиленный и неподвижный, как разбитая статуя. Разбудил меня звон к вечерне. Я встал и убежал. Но — увы! — во мне рушилось что-то, что не могло уже подняться. Явилось нечто новое, пришедшее извне, от чего я не мог спастись.

Он снова помолчал и продолжал:

— Да, с этого дня во мне поселился другой человек, которого я не знал. Я пустил в ход все средства противодействия — покаяние, молитву, работу, книги… Безумство! О, каким пустым звуком кажется наука, когда в отчаянии прибегаешь к ней с головой, полной страстей! Знаешь ли ты, что я с этой минуты постоянно видел между собой и книгой? Тебя, твою тень, лучезарное видение, промелькнувшее однажды передо мной. Но этот образ уже имел иную окраску: он был мрачный, зловещий, темный, как черный круг, долго преследующий зрение неосторожного, который прямо взглянул на солнце.

Не будучи в силах избавиться от твоего образа, вечно слыша твою песню, вечно видя перед собой твои пляшущие ножки, ощущая ночью твое прикосновение к себе, я жаждал снова увидеть тебя, прикоснуться к тебе, узнать, кто ты, убедиться, действительно ли ты походишь на тот идеал, который ты оставила в моей памяти, — быть может, разбить свою мечту о действительность! Во всяком случае, я надеялся, что новое впечатление изгладит прежнее, а прежнее мне стало невыносимо. Я начал разыскивать тебя и снова увидал. Несчастье! Когда я увидел тебя два раза, я пожелал видеть тебя тысячу раз, видеть тебя

вечно! После этого как мог я остановиться на этой адской покатости? Я уже не принадлежал себе. Враг человека привязал к твоим ногам конец нити, который связал мои крылья. Я стал таким же бездомным бродягой, как ты. Я поджидал тебя на церковных папертях, за углом улиц, караулил тебя на вершине своей башни. И с каждым днем я все более и более очаровывался, приходил все в большее и большее отчаяние, все больше и больше поддавался колдовству. Я окончательно погибал.

Я узнал, что ты цыганка, египтянка, хитана, зингара. Как мог я сомневаться, что ты колдунья! Слушай. Я надеялся, что процесс избавит меня от твоих чар. Колдунья околдовала Бруно д'Аста. Он добился ее сожжения и исцелился. Я захотел испытать это средство. Сначала я пытался запретить тебе доступ на площадь перед собором, надеясь позабыть тебя, если ты не вернешься. Ты не обратила внимания на это запрещение. Ты вернулась. Тогда мне пришла мысль похитить тебя. Однажды ночью я сделал попытку. Нас было двое. Мы уже схватили тебя, когда явился этот несчастный офицер и отбил тебя. Этим он положил начало своему несчастью, твоему и моему. Наконец, не зная, что делать, куда броситься, я до-

нес на тебя консистории. Я думал, что исцелюсь, как Бруно д'Аст. У меня также смутно мелькала мысль, что процесс предаст тебя в мои руки и что, раз ты попадешь в тюрьму, ты уже не уйдешь от меня, что ты уже довольно долго владеешь мной, чтоб я в свою очередь мог овладеть тобой. Когда делаешь зло, надо делать его до конца. Безумие остановиться на полдороге, когда идешь на чудовищное дело! Завершенное преступление таит в себе безумие и радость. Священник и колдунья могут погрузиться в наслаждения на охапке соломы в тюрьме!

Итак, я донес на тебя. С этих пор я стал пугать тебя при встречах. Замысел, который я питал против тебя, гроза, которую собирал над твоей головой, прорывались в угрозах и вспышках с моей стороны. Однако я еще колебался. Мой план имел ужасающие особенности, заставившие меня отступать.

Может быть, я и совсем отказался бы от него, может быть, моя чудовищная мысль засохла бы у меня в мозгу, не принеся плода. Мне казалось, что от меня зависит, продолжить или прекратить процесс. Но всякая злая мысль непреклонна и требует перехода к делу. И там, где я считал себя всемогущим, судьба оказалась сильнее меня.

Увы! Увы! Это она взяла тебя и бросила под колеса машины, которую я коварно соорудил!.. Слушай. Я подхожу к концу.

Однажды — опять был такой же солнечный день — я встретился с человеком, произнесшим твое имя со смехом и сладострастием во взгляде. Проклятие! Я последовал за ним. Остальное тебе известно…

Он умолк.

У молодой девушки нашлось только одно слово:

— О мой Феб!

— Не упоминай этого имени! — воскликнул священник, схватывая ее за руку. — Не произноси его! Это имя погубило нас всех! Или скорее мы все губили друг друга по воле неумолимого рока!.. Ты страдаешь, ты зябнешь, слепнешь от постоянного мрака, тюрьма давит тебя. Но, быть может, в душе твоей еще сохранился какой-нибудь свет, хотя бы твоя детская любовь к этому пустому офицеру, игравшему твоим сердцем! Я же ношу тюрьму в душе. Во мне зима, лед, отчаяние, ночь… Знаешь ли ты, как я страдал? Я присутствовал при твоем процессе. Я сидел в числе представителей консистории. Да, под одним из священнических капюшонов бился в судорогах грешник, нахо-

дящийся под проклятием. Я был там, когда тебя привели, присутствовал при твоем допросе… Волчья берлога… Я видел, как медленно воздвигалась для тебя виселица, созданная мною, моим преступлением… Я присутствовал при допросе свидетелей, при предъявлении документов, при чтении всего обвинения. Я мог считать каждый твой шаг на скорбном пути. Я слышал, как этот хищный зверь… королевский прокурор… О! я не предвидел пытки! Слушай! Я последовал за тобой в застенок. Я видел, как тебя раздел и как схватил тебя своими гнусными руками палач. Я видел, как твою ножку — ту ножку, за прикосновение к которой губами я отдал бы все в мире, под которую я с радостью положил бы свою голову, чтоб она раздавила ее, — я видел, как эту ножку сжал ужасный «сапог», превращающий члены живого существа в кровавую массу. О, презренный! Смотря на все это, я взбороздил себе всю грудь кинжалом, который держал под плащом. При крике, вырвавшемся у тебя, я вонзил в себя кинжал, и если б я услыхал еще раз крик, острие пронзило бы мне сердце! Взгляни: рана еще не зажила.

Он распахнул сутану. Действительно, грудь была словно исцарапана когтями тигра, а на боку

виднелась довольно большая и плохо затянувшаяся рана.

Узница в ужасе отшатнулась.

— Сжалься надо мной, девушка, — молил священник. — Ты думаешь, что ты несчастна. Увы! Увы! Ты не знаешь, что такое несчастье. О! Любить женщину и быть монахом! Возбуждать ненависть! Любить девушку страстно, всеми силами своей души, за одну ее улыбку быть готовым отдать всю свою кровь, всего себя, свое доброе имя, свое спасение, бессмертие, вечность, эту жизнь и будущую; сожалеть, что ты не король, не гений, не император, не архангел, не Бог, чтоб иметь возможность повергнуть к ее ногам еще большую жертву; и только мысленно, в сновидениях прижимать ее к своей груди и видеть, что она влюблена в военный мундир! Иметь возможность явиться к ней только в монашеской рясе, возбуждающей в ней, быть может, отвращение и страх! Видеть, тая в душе ревность и бешенство, как она расточает сокровища любви и красоты жалкому хвастуну! Видеть, как это существо, один взгляд на которое зажигает всю кровь, как эта нежная грудь краснеет и трепещет под поцелуями другого!.. О Небо! Любить эту ножку, эту ручку, это плечико, бредить голубыми жилка-

ми на смуглой коже и ночью валяться в корчах на полу своей кельи! Видеть, что вместо ласк, которыми ты мечтал осыпать ее, ты довел ее до пытки и только уложил на кожаный тюфяк! Да! Это настоящие клещи, раскаленные на адском пламени! О, счастливы те, кого распиливают надвое или разрывают лошадьми на четыре части! Имеешь ли ты понятие о муках, которые испытываешь в долгую ночь, когда кровь кипит в твоих жилах, когда сердце разрывается на части, голова готова лопнуть, зубы впиваются в руки? Когда мысль твоя постоянно возвращается к твоей любви, ревности и отчаянию, и кажется, что остервенелые палачи непрестанно поворачивают тебя на раскаленной решетке? Молю тебя, сжалься! Дай минуту вздохнуть! Посыпь немного пепла на эти пылающие угли! Вытри, умоляю тебя, пот, струящийся по моему лицу! Дитя мое, мучь меня одной рукой, но только ласкай другою! Сжалься надо мной, девушка, сжалься!

Священник лежал на каменном мокром полу и бился головой об углы каменных ступеней. Девушка слушала и смотрела на него.

Когда же он, изнемогая и задыхаясь, умолк, она проговорила:

— О мой Феб!

Клод подполз к ней на коленях.

— Умоляю тебя! — вскричал он. — Если в тебе есть сердце, не отталкивай меня! О, я люблю тебя! Я — презренный, несчастный! Когда ты произносишь это имя, ты словно терзаешь своими зубами мое сердце! Сжалься! Если ты исчадие ада, я последую за тобой в ад. Я все сделал, чтобы попасть туда. Ад, где ты будешь, будет для меня раем. Видеть тебя — это больше, чем видеть Бога! О, скажи! Ты отворачиваешься от меня? Мне казалось, что в тот день, когда женщина отвергнет такую любовь, горы должны сдвинуться с места. О, если бы ты пожелала, как мы могли бы быть счастливы! Мы бы бежали — я устроил бы твой побег, — ушли бы куда-нибудь, отыскали бы местечко на земле, где больше всего солнца, где кругом деревья и вечно голубое небо. Мы бы любили друг друга, сливались бы душами, вечно жаждали бы один другого и утоляли бы эту жажду из кубка неиссякаемой любви…

Эсмеральда разразилась ужасным, безудержным хохотом.

— Взгляните, отец, у вас кровь под ногтями!

Священник несколько мгновений, не спуская глаз, пристально смотрел на свои руки.

— Ну да, — сказал он наконец со странной

кротостью, — оскорбляй меня, насмехайся надо мной, добивай! Но иди со мной. Поспешим. Я сказал тебе, что завтра… ты знаешь, виселица на Гревской площади всегда готова… О! Видеть, как тебя повезут на телеге! Пощади!.. Никогда я еще не чувствовал так, как теперь, до чего я люблю тебя!.. О, пойдем со мной! Со временем ты, может быть, полюбишь меня, после того как я спасу тебя… Можешь ненавидеть меня, сколько тебе будет угодно. Только пойдем… Завтра, завтра! Виселица! Твоя казнь! О, спасись! Пожалей меня!

Он взял ее за руку, сам не помня себя, и хотел увлечь за собой. Она устремила на него пристальный взгляд.

— Что сталось с моим Фебом?!

— А! — проговорил священник, выпуская ее руку. — Вы неумолимы!

— Что сталось с Фебом?! — холодно повторила она.

— Он умер! — закричал священник.

— Умер? — повторила она тем же ледяным голосом, не двигаясь. — Зачем же вы говорите мне о жизни?

Он не слушал ее.

— Да, да, — говорил он будто сам с собой, — он, вероятно, умер. Кинжал вошел глубоко. Мне ка-

жется, я острием коснулся сердца. О, я жил тогда на острие этого кинжала!

Девушка бросилась на него, как разъяренная тигрица, и со сверхъестественной силой толкнула его к ступеням лестницы.

— Уходи, чудовище! Уходи, убийца! Дай мне умереть! Пусть наша кровь — моя и его — наложит несмываемое пятно на твое чело! Ты говоришь — быть твоей, поп? Никогда! Никогда! Ничто не соединит нас; не соединит даже ад! Уходи, проклятый! Никогда!

Священник споткнулся у лестницы. Он молча высвободил ноги из складок своего платья, взял фонарь и начал медленно подниматься по ступеням, которые вели к двери. Отворив эту дверь, он вышел.

Вдруг узница увидела, что голова его снова появилась, выражение его лица было ужасно, и он крикнул ей хриплым от бешенства и отчаяния голосом:

— Говорю же тебе, — он умер!

Эсмеральда упала ничком на землю, и в тюрьме не стало слышно ровно ничего, кроме монотонного звука падавших капель, колебавших в темноте поверхность лужи.

V. Мать

Я думаю, что нет на свете ничего отраднее тех мыслей, которые пробуждаются в сердце матери при виде башмачка ее ребенка. В особенности если это праздничный, воскресный, крестильный башмачок, весь расшитый; башмачок, в котором ребенок еще не ходил. Глядя на этот крошечный башмачок, матери кажется, что она видит своего ребенка. Она улыбается ему, целует его, говорит с ним. «Может ли быть такая маленькая ножка?» — думает она. Достаточно ей посмотреть на такой башмачок, чтоб представить себе отсутствующего ребенка. Мать его видит живого, веселого, видит его — с его нежными ручками, круглой головкой, чистыми губками, ясными глазками с голубоватым белком. Зимой он ползает на ковре, привстает около табуретки, и мать боится, чтоб он не подошел к огню. Летом он на дворе, в саду, выдергивает травку, выросшую между камней, без страха разглядывает больших собак, лошадей, играет раковинами, цветами, и садовник ворчит, находя песок на клумбах и землю на дорожках. Все блестит и смеется вокруг него, а дуновение ветерка и луч солнца играют в его растрепанных

волосиках. Все это напоминает матери башмачок, и сердце ее тает, как воск на огне.

Но когда ребенок пропал, тогда эти радостные, нежные воспоминания превращаются в муки. Хорошенький башмачок делается вечным орудием пытки для сердца матери. Оно продолжает вибрировать и трепетать, но уже не от ласки ангела, а от мучительных прикосновений демона.

В одно утро, когда майское солнце вставало на том синем небе, на фоне которого Гарофло любил писать свои картины, изображающие снятие с креста, затворница Роландовой башни услышала шум колес и топот лошадей на Гревской площади.

Она не обратила на это внимания, сдвинула волосы на уши, чтобы меньше слышать, и продолжала стоять на коленях перед неодушевленным предметом, который боготворила в продолжение пятнадцати лет. Этот башмачок, как мы уже говорили, составлял весь ее мир. Ее мысль была навсегда прикована к нему. Сколько горьких упреков, сколько молений, сколько рыданий воссылала она к небу при виде этой вещицы из розового атласа, мог бы сказать только один мрачный погреб Роландовой башни. Никогда столько горького отчаяния не изливалось над

маленьким, прелестным предметом! В это утро горе ее, казалось, было еще сильнее, чем когда-либо, ее громкое и однообразное причитание надрывало сердце.

— Дочь моя! — говорила она. — Дочь моя! Бедное мое маленькое дитятко, неужели я никогда не увижу тебя? Неужели все кончено? Мне кажется, что это было вчера! Господи, если Ты хотел так скоро отнять ее, лучше бы не давал мне ее! Разве Ты не знаешь, как близко нам наше дитя, разве не знаешь, что, потеряв ребенка, мать перестает верить в Бога? Зачем я, несчастная, вышла в тот день! Господи, Господи! Ведь Ты видел меня с нею, когда я грела ее у огня, когда она смеялась у моей груди, когда я целовала ее ножки! Если бы Ты тогда взглянул на нас, Ты не мог бы отнять у меня мою радость, мою последнюю любовь! Неужели я уж такая недостойная, что Ты не мог взглянуть на меня, прежде чем так ужасно покарать? Увы! Увы! Вот башмачок, а где теперь ножка? Где дитя мое? Дочь моя, дочь моя, что они с тобой сделали? Господи, возврати мне ее. Пятнадцать лет на коленях молю, разве этого недостаточно? Отдай мне ее на день, на час, на минуту, одну минуту, и повергни меня в ад на вечность! Если бы я могла захватить край Твоей ризы, я бы не выпустила ее, пока бы

Ты не отдал мне моего ребенка! Господи, неужели не трогает Тебя этот башмачок? Неужели можно приговаривать мать к такой каторге в продолжение пятнадцати лет? Матерь Божия, Царица Небесная! Моего младенца Иисуса отняли, украли, съели, пили его кровь, дробили его кости… Пресвятая Дева, пожалей меня! Я хочу, хочу мою дочь! Что мне в том, что она в раю? Мне не ангела надо, а мою дочь! Я львица и хочу своего львенка. Я разобью голову мою о камни, я погублю душу, я прокляну Тебя, Господи, если мне не возвратят моего ребенка! Видишь, я искусала все свои руки, неужели у Тебя нет милосердия? Не давайте мне ничего, кроме черного хлеба, но дайте мне мою дочку: она, как солнце, согреет мое сердце. Увы, Господи Боже мой, я страшная грешница, но дочь моя делала меня благочестивой. Из любви к ней я была набожна. Я видела Тебя сквозь ее улыбку. О, дай еще раз, один раз надеть этот башмачок на ее розовую ножку, и я умру, благословляя тебя, Мать Пресвятая! Пятнадцать лет — она бы уж теперь была взрослая! Бедное дитя! Значит, это правда? Я не увижу ее никогда, даже на небесах! Я ведь не попаду туда. Это ужасно! От всего счастья остался только один башмачок!

Несчастная бросилась к этому башмачку, ее

утешению и отчаянию в течение стольких лет, и душераздирающе зарыдала, как в первый день. Матери, потерявшей своего ребенка, время не приносит забвения. Такое горе не старится. Траурные платья изнашиваются, в сердце же остается мрак.

В эту минуту она услыхала за своим окном веселые детские голоса. Всякий раз, когда она видела или слышала детей, она пряталась в самый темный угол своего каменного гроба и, казалось, хотела зарыться головой в камень, чтобы не слыхать их. На этот раз она, напротив, стала жадно прислушиваться. Маленький мальчик сказал:

— Сегодня будут вешать цыганку.

Как паук бросается на пойманную муху, так она бросилась к своему оконцу, которое выходило, как известно, на Гревскую площадь. Перед постоянной виселицей действительно была поставлена лестница, и помощник палача поправлял там какие-то цепи. Вокруг толпился народ.

Смеющиеся дети были уже далеко. Узница искала глазами, кого бы расспросить. Она заметила священника, который стоял возле самой ее кельи, делая вид, будто читает общественный молитвенник. В сущности, он был гораздо менее занят

молитвенником, чем виселицей, на которую он по временам бросал мрачный и суровый взгляд. Она узнала жозасского архидьякона, святого человека.

— Отец мой, — спросила она, — кого будут вешать?

Священник посмотрел на нее, не отвечая. Она повторила свой вопрос. Тогда он сказал:

— Не знаю.

— Тут проходили дети, они говорили, что цыганку, — продолжала затворница.

— Кажется, да, — ответил священник.

Пакета Шанфлери разразилась хохотом гиены.

— Сестра моя, — сказал архидьякон, — вы, должно быть, сильно ненавидите цыганок?

— Еще бы не ненавидеть! — закричала она. — Они, ведьмы, воруют детей! Они растерзали мою девочку, мое единственное дитя! Они растерзали и мое сердце!

Она была страшна. Священник холодно смотрел на нее.

— Одну я особенно ненавижу, я прокляла ее, — продолжала затворница. — Она молодая, ей столько лет, сколько было бы моей дочери, если б ее мать не съела мое дитя. Каждый раз, когда этот змееныш проходит мимо меня, у меня кипит

кровь!

— Ну, так радуйтесь, сестра моя, — сказал священник, холодный, как статуя на гробнице, — вы увидите именно ее смерть.

Он опустил голову на грудь и медленно стал удаляться.

Затворница всплеснула руками от радости.

— Я ей предсказывала это! Спасибо, священник! — закричала она.

И она стала ходить большими шагами перед решеткой своего окна. Волосы ее были растрепаны, глаза горели. Она билась плечом о стены, как запертая в клетку волчица, которая голодна и чувствует, что близок час кормления.

VI. Три мужских сердца, созданные различно

Феб, однако, не умер. Такие люди живучи. Мэтр Филипп Лёлье сказал Эсмеральде, что он умирает, по ошибке или издеваясь. Архидьякон сказал, что он умер, потому что хотя ничего не знал, но надеялся, что это так, желал этого, уверял в том самого себя. Да и не мог он сообщить женщине, которую любил, доброй вести о своем сопернике. Каждый мужчина на его месте поступил бы так же.

Рана Феба была хотя и опасна, но не настолько, как надеялся архидьякон. Аптекарь, к которому солдаты принесли раненого, с неделю опасался за его жизнь и объяснял ему это по-латыни. Но молодость взяла свое, и природа спасла больного, несмотря на предсказание лекаря. Когда он еще лежал у аптекаря, он должен был отвечать на допрос Филиппа Лёлье и следователей, что ему вовсе не хотелось. Поэтому, как только он почувствовал себя лучше, он ушел, оставив свои золотые шпоры в вознаграждение аптекарю. Это, впрочем, не помешало следствию. В то время не интересовались правильностью процесса: лишь бы обвиняемый был повешен, вот все, что было нужно. Судьи имели достаточно улик против Эсмеральды. Они считали Феба убитым, и этим все было сказано.

Феб, со своей стороны, вовсе не думал куда-либо прятаться, а просто отправился в свой полк, который стоял в Кё-ан-Бри, недалеко от Парижа.

Ему не улыбалось лично участвовать в этом процессе. Он чувствовал, что будет смешон. Он сам не знал хорошенько, что думать об этой истории. Неверующий, но полный предрассудков, как всякий солдат, который прежде всего солдат, и только, он не особенно был спокоен относитель-

но козы и обстоятельств встречи с Эсмеральдой. Ее признание в любви, ее принадлежность к цыганам и мрачный монах смущали его. Он во всем этом видел больше колдовства, чем любви. Она была колдуньей, может быть, даже самим чертом; а может быть, эта история была комедией, или, как говорили тогда, мистерией, где он играл невыгодную роль побитого и осмеянного. Капитан чувствовал стыд, так превосходно выраженный Лафонтеном: «Стыдился, как лисица, пойманная курицей».

Он, впрочем, надеялся, что все это не разгласится, что имя его не будет произнесено и что молва не пойдет дальше зала Турнель. Он не ошибался; тогда не было судебных газет, и так как в то время не проходило дня, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьмы, не сожгли еретика, то все так привыкли видеть расправу средневековой Фемиды, с засученными рукавами и голыми руками, что никто на это не обращал внимания. Люди из хорошего общества даже и не знали имен несчастных казнимых, и только чернь наслаждалась этим грубым зрелищем. Казнь была обычным явлением уличной жизни, подобно жаровне блинопека или бойне мясника. Палач был тот же мясник, только поважнее.

Феб скоро перестал беспокоиться насчет колдуньи Эсмеральды, или Симиляр, как он говорил. Не все ли равно, кто нанес ему удар ножом — цыганка или монах? Исход процесса тоже не тревожил его. Но как только его сердце опустело, в него вернулся образ Флёр де Лис. Сердце капитана Феба, как физика того времени, не признавало пустоты.

К тому же Кё-ан-Бри было очень скучное место. Это была маленькая деревня, в которой можно было увидеть только кузнецов, коровниц с грубыми руками и тянувшиеся вдоль улицы полуразрушенные хижины.

Флёр де Лис была его предпоследняя страсть. Это была хорошенькая девушка с заманчивым приданым, так что, выздоровев и надеясь, что история с цыганкой после двух месяцев уже забыта, влюбленный кавалер в одно прекрасное утро подъехал, гарцуя, к дому Гондлорье.

Он почти не заметил довольно большой толпы, собравшейся перед папертью собора Богоматери. Он предположил, что это какая-нибудь праздничная майская процессия, привязал лошадь и весело вошел к своей прекрасной невесте.

Она была одна с матерью.

Сердце Флёр де Лис не могло забыть сцены с

цыганкой, ее козы с проклятой азбукой и долгого отсутствия Феба. Но когда она увидела своего капитана, красивого, расфранченного, страстного, она вспыхнула от радости. Благородная девица сама была прелестнее, чем когда-либо. Ее чудные белокурые волосы были заплетены в косы, платье было того небесного цвета, который так идет белокурым, — этому ее научила Коломба, — глаза были подернуты любовной истомой, от чего сделались еще красивее.

Феб, долго не видавший в Кё-ан-Бри красивых женщин, был в восторге от Флёр де Лис и сразу стал так мил и галантен, что мир был заключен. Даже у госпожи Гондлорье, все так же величественно восседавшей в своем кресле, не хватило духу его упрекать. Упреки же Флёр де Лис выразились в нежном воркованье.

Девушка сидела у окна, вышивая свой вечный грот Нептуна. Капитан стоял за ее стулом и слушал ее нежные выговоры:

— Где это вы, злой, пропадали два месяца?

— Ей-богу, — ответил несколько сконфуженный Феб, — вы так прекрасны, что сам архиепископ размечтается, если вас увидит.

Она только улыбнулась:

— Хорошо, хорошо. Оставьте мою красоту в

покое и отвечайте на вопрос.

— Я, дорогая кузина, был призван на службу.

— Куда это? Отчего не пришли проститься?

— В Кё-ан-Бри.

Феб был рад, что, отвечая на первый вопрос, мог обойти второй.

— Но ведь это совсем близко. Отчего же вы ни разу не навестили меня?

Феб окончательно смутился:

— Да знаете… служба… Потом, прелестная кузина, я был болен.

— Болен! — воскликнула она с испугом.

— Да… ранен…

— Ранены?

Бедная девушка совсем взволновалась.

— Не пугайтесь, — небрежно сказал Феб. — Пустяки… ссора… удар шпагой. Что вам до этого?

— Что мне до этого? — воскликнула Флёр де Лис, поднимая к нему свои полные слез глаза. — Вы не думаете того, что говорите. Как это случилось? Я хочу знать все.

— Ну, дорогая, у меня была неприятность с Маге Фэди. Вы знаете его? Лейтенант из Сен-Жермен-ан-Лэ. Мы немного поцарапали друг другу кожу. Вот и все.

Лживый капитан знал, что дело чести все-

гда возвышает человека в глазах женщины. Действительно, Флёр де Лис смотрела на него с выражением страха и восторга. Она все еще не вполне была успокоена.

— Совсем ли вы выздоровели, мой Феб? Я не знаю вашего Маге Фэди, но он дурной человек. Из-за чего же вы поссорились?

Тут уже Феб, воображение которого не отличалось изобретательностью, не знал, как выпутаться.

— Право, я не знаю… Так… лошадь… слова! Прелестная кузина, — воскликнул он, чтобы переменить разговор, — что это за шум на площади?

Он подошел к окну.

— Посмотрите, прелестная кузина, сколько народу!

— Не знаю, — сказала Флёр де Лис. — Кажется, какая-то ведьма должна принести покаяние, прежде чем ее повесят.

Капитан был так уверен, что дело Эсмеральды было давно покончено, что не смутился словами Флёр де Лис, но все-таки спросил:

— Как зовут эту колдунью?

— Не знаю, — отвечала она.

— А что она сделала?

Она пожала белыми плечиками:

— Не знаю.

— Боже мой, — сказала госпожа де Гондлорье, — теперь столько колдунов, что их жгут, не разузнав даже их имени. Где же их всех узнать? Но можете быть покойны, Господь ведет им счет.

Почтенная дама тоже подошла к окну.

— Вы правы, Феб, — сказала она, — какая масса народу! Господи, даже на крышах люди. Знаете, Феб, это напоминает мне мою молодость. Когда въезжал король Карл Шестой, было тоже много народу. В каком году это было, я уж не припомню. Вам представляется то, что я говорю, очень старым, а меня переносит к молодости. Тогда народ был лучше, красивее. Толпа стояла стеной до самых Сент-Антуанских ворот. Королева сидела за королем на его лошади, все принцы и вельможи также везли своих жен. Я помню, все смеялись, потому что ехали рядом Амоньон де Гарпанд, крошечного роста, и рыцарь Матефелон, гигантского роста, — тот, что побил стольких англичан. Очень было хорошо. Перед всеми рыцарями несли их знамена, которые так и блестели. Тут были и знамена и хоругви. Где все запомнить! Сир де Калан — с рыцарским знаменем; Жан де Шатоморан — с хоругвью; сир де Куси — с хоругвью, да такой богатой, какой не было ни у кого, кроме

герцога Бурбонского… Как грустно думать, что все это было и прошло!

Влюбленные не слушали почтенную особу. Феб возвратился к стулу своей невесты и облокотился на его спинку, причем взгляд повесы проникал во все отверстия воротничка Флёр де Лис. Этот воротник так кстати раскрывался, показывая столь соблазнительные вещи, и давал возможность догадываться о других, еще более соблазнительных, что восхищенный Феб думал: «Можно ли любить кого-нибудь, кроме блондинки?»

Оба молчали. Молодая девушка иногда подымала на него счастливые и ласковые глаза. Волосы их смешивались в весеннем луче солнца.

— Феб, — вдруг сказала шепотом Флёр де Лис, — мы через три месяца будем мужем и женой. Поклянитесь мне, что вы никогда не любили другой женщины.

— Клянусь вам, мой ангел!.. — ответил Феб, и страстный взгляд подтвердил искренность его слов. Он в эту минуту, может быть, сам верил тому, что он говорил.

Добрая мать, видя согласие между молодыми людьми, вышла из комнаты за каким-то делом. Феб это заметил, и странные мысли вспыхнули в мозгу предприимчивого капитана. Флёр де

Лис его любила, он был ее женихом, они были наедине; его прежняя любовь к ней вернулась если не с прежней свежестью, то с еще большею силою, — так разве грех взять свое, хотя бы и раньше времени?.. Не знаю, таковы ли в точности были его мысли обо всем этом, но Флёр де Лис была испугана его взглядом. Она обернулась и увидела, что матери нет в комнате.

— Боже мой, — сказала она, — как мне жарко!

— Действительно, — отвечал Феб, — скоро полдень. Солнце греет. Надо закрыть занавес.

— Нет, нет, — воскликнула бедная девушка, — напротив! Мне нужен свежий воздух!

Как лань, чувствующая приближение охотника, она бросилась к двери, открыла ее и выбежала на балкон.

Феб, недовольный, последовал за нею.

Площадь перед собором Богоматери, на которую, как известно, выходил балкон, представляла зрелище, снова испугавшее боязливую Флёр де Лис.

И площадь, и выходившие на нее улицы были запружены народом. Низенькая каменная ограда, окружавшая паперть, не сдержала бы толпы, если б около нее не стоял ряд вооруженных солдат. Благодаря этой живой стене пик и аркебуз пло-

щадка около паперти была пуста. Вход охраняла монастырская стража с алебардами. Широкие врата храма были закрыты в противоположность окнам выходящих на площадь домов, открытым настежь и наполненным головами зрителей, напоминавшими груды пушечных ядер в артиллерийском парке.

Толпа казалась грязной и серой. Ожидаемое зрелище было из тех, которые привлекают внимание самого низкого слоя народа. Отвратительный шум стоял над этим сборищем желтых платков и растрепанных волос. Смеха больше было, чем разговоров, женщин больше, чем мужчин.

Иногда резкий возглас выделялся средь общего шума.

— Эй, Майо Балифр! Ее тут и повесят?

— Дура! Здесь она будет каяться в одной рубашке! Здесь Господь будет каркать над ней по-латыни. Это всегда здесь бывает в полдень. Хочешь видеть виселицу — ступай на Гревскую площадь.

— Пойду после.

……

……

— Скажите, Буканбри: правда ли, что она отказалась от священника?

— Кажется, да, Бешень.

— Ишь ты, язычница!

.....

.....

— Это, сударь, всегда так. Судья должен передать осужденного парижскому прево для казни. Если же преступник из духовных, то — представителю епископа.

— Благодарю вас.

.....

.....

— Боже мой! — говорила Флёр де Лис. — Бедное создание!

Взгляд ее сделался грустным. Капитан, занятый больше всего ею, мял сзади ее пояс. Она обернулась с мольбой и улыбкой:

— Ради бога, оставьте меня, Феб! Если матушка вернется, она увидит вашу руку!

В эту минуту на часах собора Богоматери пробило двенадцать. Шепот удовлетворения прошел по толпе. Едва прозвучал последний удар, все головы двинулись, как волна от ветра, и раздался крик: «Вот она!»

Флёр де Лис закрыла глаза руками.

— Милая, — сказал Феб, — уйдемте отсюда.

— Нет, — ответила Флёр де Лис и, закрыв глаза

от страха, вновь открыла их из любопытства.

С улицы Сен-Пьер-о-Беф выехала на площадь повозка, запряженная нормандской лошадью и окруженная всадниками в лиловых мундирах с белыми крестами. Пристава расчищали дорогу ударами булавы. Около повозки ехали члены суда, которых можно было узнать по черному одеянию и по неловкой посадке на лошадях.

Во главе их ехал Жак Шармолю.

В позорной повозке, рядом со священником, сидела девушка со связанными за спиной руками. Она была в одной рубашке, длинные черные волосы (тогда было принято срезать их только перед виселицей) падали на ее полуобнаженные грудь и плечи.

Сквозь эти волосы, блестящие как вороново крыло, виднелись узлы грубой серой веревки, которая сдирала нежную кожу шеи и вилась вокруг нее, как дождевой червяк вокруг цветка. Под веревкой блестела ладанка с зелеными бусами, которую, вероятно, оставили ей, потому что последнее желание умирающих принято исполнять. Глядевшим из окон видны были ее голые ноги, которые она стыдливо старалась спрятать. У ее ног лежала связанная козочка. Приговоренная зубами поддерживала спускавшуюся рубашку.

Казалось, что в своем отчаянии бедняжка еще могла страдать от мысли, что толпа видит ее полунагой.

— Боже! — воскликнула Флёр де Лис. — Посмотрите, кузен, это та самая противная цыганка с козой!

Она обернулась к Фебу. Он смотрел на тележку и был очень бледен.

— Какая цыганка с козой? — пробормотал он.

— Как! — продолжала Флёр де Лис. — Разве вы не помните?

Феб перебил ее:

— Я не знаю, о чем вы говорите.

Он хотел вернуться в комнату. Но Флёр де Лис, в которой зашевелилось прежнее чувство ревности к цыганке, бросила на него взгляд, полный проницательности и недоверия. Она в эту минуту вспомнила доходившие до нее слухи, что в деле колдуньи замешан какой-то капитан.

— Что с вами? — сказала она Фебу. — Вид этой женщины как будто смутил вас?

Феб засмеялся притворным смехом:

— Меня? Нисколько. С какой стати!

— Тогда останьтесь здесь, — повелительно произнесла она. — Посмотрим до конца.

Несчастному капитану пришлось остаться.

Его немного успокаивало, что приговоренная не поднимала глаз. Это действительно была Эсмеральда. На последней ступени презрения и несчастья она все еще была хороша. Ее большие черные глаза казались еще больше от худобы ее щек; ее бледный профиль был чист и прекрасен. Она походила на то, чем она была прежде, как мадонна Мазаччо походит на мадонну Рафаэля: более слабая, нежная, хрупкая.

Впрочем, все в ней, кроме стыдливости, казалось, притупилось под гнетом отчаяния. Тело ее поддавалось толчкам тележки, как мертвое. Ее взгляд казался безумным. На ресницах повисла слеза, казавшаяся замерзшей.

Мрачная повозка проезжала среди радостных криков толпы. Мы должны, однако, со справедливостью историка сказать, что при виде красоты осужденной во многие грубые сердца закралась жалость.

Повозка въехала на площадку перед собором.

Перед средними вратами она остановилась. Сопровождавшие ее выстроились в два ряда по бокам. Толпа смолкла. Среди этого торжественного молчания врата отворились как бы сами собой и петли их заскрипели. Тогда открылась мрачная внутренность храма, обтянутая черным,

освещенная несколькими свечами на алтаре, открылась, как мрачная пещера, среди блеска освещенной дневным светом площади. В самой глубине можно было различить громадный серебряный крест на черной ниспадающей завесе. Церковь была пуста. Кое-где только виднелись головы священников на хорах, и в то время как двери открылись, из церкви донеслось громкое, мрачное, однообразное пение, которое как бы бросало в лицо осужденной отрывки заунывных псалмов:

…Non timebo millia populi, circumdantis me: Exsurge, Domine; salvum me fac, Deus.

…Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam.

….Infixus sum in limo profundi; et non est substantia[121].

В то же время другой голос, отдельно от хора, меланхолично пел на ступенях алтаря:

«Qui verbum meum audit; et credit ei qui misit me, habet vitam aeternam et in juducium non venit; sed

[121] Сноски: 121

…Не убоюсь многих тысяч, окружающих меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже! …Спаси меня, Боже, ибо воды вошли и поднялись до самой души моей. …В глубокой трясине погряз я, и нет твердой опоры (*лат.*).

transit a morte in vitam»[122].

Это пение, исполнявшееся невидимыми среди мрака храма старцами, было панихидой над прекрасным созданием, полным молодости и жизни, ласкаемым теплым весенним воздухом и ярким солнцем.

Народ внимал с благоговением.

Мысль и взгляд несчастной устремились в мрачную внутренность храма. Ее губы зашевелились как бы в молитве, и когда палач приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти, он услыхал тихо произнесенное ею слово: «Феб».

Ей развязали руки, сняли с тележки, освободили и козочку, которая запрыгала от радости. Потом осужденную заставили пройти босиком по мостовой до ступеней паперти. Веревка, надетая ей на шею, ползла за ней, точно змея.

Пение в церкви умолкло. Большой крест и ряд свечей зашевелились в тени. Послышались удары алебард о землю, и длинная процессия священников и дьяконов в ризах с пением псалмов двинулась к осужденной. Ее взгляд остановился на том, кто шел первым после несшего крест.

— О, — прошептала она, вздрагивая, — опять

---

[122] Сноски: 122

«Слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (*лат.*).

он… этот священник!

Это был действительно архидьякон. С одной стороны возле него шел регент, с другой — его помощник. Голова его была откинута, глаза открыты и неподвижны, он сильным голосом пел:

De ventre inferi clamavi, et exaudisti vocem meam.

Et projecisti me in profundum in corde maris,

et flumen circumdedit mes[123].

В ту минуту, когда он вышел на свет под стрельчатый портал, в серебряной ризе с черным крестом, он был так бледен, что его можно было принять за одного из мраморных епископов, сошедшего с могильного памятника, чтобы встретить у порога смерти ту, которая шла умирать.

Она — такая же бледная статуя — не заметила, как ей сунули в руку зажженную свечу из желтого воска. Она не слыхала прочтенного секретарем суда обвинительного акта. Когда ей велели сказать «аминь», она сказала «аминь». Она несколько оживилась, когда священник отде-

[123] Сноски: 123

Из недр глубоких я возопил, и Ты услышал голос мой. И ввергнул меня в глубину пучины морской, и волны окружили меня (*лат.*).

лился от своих спутников и подошел к ней один.

Тогда кровь бросилась ей в голову, и в застывшей душе проснулось негодование.

Архидьякон медленно приблизился к ней. Даже в такую минуту его глаза скользнули по ее обнаженному телу с выражением ревности, страсти и вожделения. Он сказал громко:

— Девушка, просила ли ты прощения у Бога за свои грехи? — Он наклонился к ее уху и прошептал (зрители думали, что он выслушивает ее исповедь): — Если ты будешь моею, я еще могу спасти тебя.

Она пристально посмотрела на него:

— Отойди от меня, демон, или я обличу тебя перед всеми.

Он улыбнулся страшной улыбкой:

— Тебе не поверят. Ты лишь присоединишь к преступлению буйство. Отвечай, согласна ли ты?

— Что ты сделал с моим Фебом?

— Он умер, — сказал священник.

В эту минуту архидьякон машинально поднял голову и увидал в конце площади, на балконе дома Гондлорье, капитана рядом с Флёр де Лис. Он пошатнулся, провел по глазам рукой, пробормотал проклятие, все черты его исказились.

— Ну, так умри же и ты! — пробормотал он

сквозь зубы. — Пусть никто не обладает тобой.

Подняв руку над цыганкой, он произнес погребальным тоном:

— I nune, anima anceps, et sit tibi deus misericorns[124].

Это была страшная формула, которой завершались подобные мрачные церемонии. Это был сигнал священника палачу.

Народ опустился на колени.

— Kyrie, eleison[125], — запели священники под сводами портала.

— Kyrie, eleison, — повторила толпа, и звук этот пробежал по ней, как всплески морской воды.

— Amen, — произнес архидьякон.

Он отвернулся от осужденной, голова его склонилась на грудь, руки скрестились, и он присоединился к процессии. Священники, крест и свечи — все исчезло в темных воротах собора. Голоса хора постепенно умолкали со словами песни отчаяния:

Omnes gurgites tui et fluctus tui super me

---

[124] Сноски: 124
Иди, погибшая душа, и Господь да смилуется над тобою (*лат.*).

[125] Сноски: 125
Господи, помилуй (*греч.*).

transierunt![126]

Удаляющиеся удары алебард стражников, медленно замиравшие среди колонн на хорах, звучали как удары часов, отбивающих последний час осужденной.

Двери собора остались открытыми, и была видна внутренность храма, пустая, мрачная, траурная, безмолвная.

Осужденная не трогалась с места. Пристав обратил на нее внимание мэтра Шармолю, который усердно рассматривал барельеф на вратах, представляющий, по мнению одних, жертвоприношение Авраама, а по мнению других — философский символ, где ангел изображал солнце, костер — огонь, а Авраам — работника.

Трудно было оторвать его от этого созерцания. Но наконец он махнул помощникам палача, которые приблизились к осужденной, чтобы снова связать ей руки.

Может быть, у несчастной в последнюю минуту, когда нужно было влезть в тележку, чтобы отправиться в последний путь, пробудилась жажда к жизни. Она подняла свои воспаленные глаза к небу, к солнцу, к серебристым облакам,

---

[126] Сноски: 126
Все пучины твои и потоки твои прошли по мне! (*Лат.*)

потом опустила их на землю, на толпу, на дома.

Вдруг, пока ей вязали руки, она громко и радостно вскрикнула. Там, на углу площади, на балконе, она увидала его, своего друга, своего господина, свое второе «я», своего Феба!

Судья лгал! Священник лгал! Это был Феб, красивый, живой, нарядный, с пером на шляпе, со шпагой на бедре!

— Феб, — закричала она, — мой Феб!

И она хотела в восторге и любви протянуть к нему руки, но они уже были связаны.

Она увидала, что капитан нахмурил брови, что прекрасная молодая девушка, стоявшая с ним, обратила на него презрительный и гневный взгляд. Феб что-то сказал ей, и оба исчезли за дверью балкона, которая затворилась за ними.

— Феб! — закричала она в ужасе. — Неужели ты поверил этому?

Страшная мысль овладела ею. Она вспомнила, что была приговорена за убийство Феба де Шатопера.

Она все переносила до сих пор, но этот последний удар был слишком тяжел. Она упала без чувств на мостовую.

— Снесите ее в телегу, — сказал Шармолю. — Пора кончать!

Никто не заметил между статуями королей, стоявших прямо над порталом, странного зрителя, смотревшего на происходившее с такой неподвижностью, так вытянув шею и такого безобразного, что если бы не его полосатая, лиловая с красным, ливрея, то его можно было бы принять за одно из каменных чудовищ, корчащихся вот уже шесть веков над водосточными трубами собора. С самого полудня он неотступно следил за всем, что происходило на площадке перед собором Богоматери. Никем не замеченный, он привязал к колонне галереи толстую веревку с узлами, конец которой спускался до паперти. Сделав это, он стал спокойно наблюдать, посвистывая время от времени, когда мимо него пролетала птица.

Вдруг, когда помощники палача собирались исполнить приказание Шармолю, он, обхватив веревку руками и ногами, скользнул по ней, как дождевая капля скользит по стеклу, с проворством кошки подбежал к двум палачам, ударил каждого из них кулаком, схватил одной рукой цыганку, как ребенок хватает куклу, и бросился в храм, восклицая громким голосом:

— Убежище!

Все это произошло с быстротой молнии.

— Убежище! Убежище! — заревела толпа, и рукоплескания десяти тысяч рук заставили заблистать радостью и гордостью единственный глаз Квазимодо.

Осужденная пришла в себя, открыла глаза, но, взглянув на Квазимодо, закрыла их опять от ужаса пред своим спасителем.

Шармолю остановился пораженный, так же как и палачи и стража. Действительно, в стенах собора осужденная была неприкосновенна. Собор пользовался правом убежища. Закон человеческий терял всякую силу за порогом церковных дверей.

Квазимодо остановился в дверях. Его большие ноги, казалось, вросли в пол, как тяжелые римские колонны. Его мохнатая голова уходила в плечи, как голова льва. Он держал девушку, словно кусок белой ткани, но его грубые руки прикасались к ней нежно, как к цветку, который он боялся смять. Квазимодо чувствовал, что это нежное создание было предназначено не для его рук. Минутами он боялся дохнуть на нее, потом прижимал ее к своей груди, как сокровище, как мать ребенка. Его взор опускался на нее с выражением нежности, горя и жалости и подымался, метая молнии. Женщины смеялись и плакали,

толпа дрожала от энтузиазма, потому что в эту минуту Квазимодо сиял своеобразной красотой. Он, этот сирота-найденыш, этот отверженец, чувствовал себя мощным и сильным. Он гордо смотрел на это изгнавшее его общество, над которым он теперь властвовал, на правосудие людское, у которого он вырвал жертву, на всех этих зверей, оставшихся ни с чем, на приставов, судей, палачей, на всю эту вражескую силу, которую он, ничтожный, сломил с помощью Божией!

Трогательно было это покровительство урода несчастной, спасение Квазимодо приговоренной к смерти. Отверженец природы и отверженица общества соприкасались и помогали друг другу.

После минуты торжества Квазимодо внезапно со своей ношей исчез внутри храма. Народ, всегда любящий отвагу, жалел, что он так скоро скрылся. Вдруг его увидели бегущим по галерее французских королей, он высоко держал на руках свою добычу и кричал: «Убежище!» Снова раздались рукоплескания толпы. Пробежав галерею, он вновь пропал и снова показался на более высокой галерее и снова кричал, приветствуемый рукоплесканиями: «Убежище!» Наконец он показался в третий раз на колокольне, с торжеством показал толпе спасенную и громовым голосом

— голосом, который так редко слышали другие и которого сам он никогда не слыхал, трижды прокричал исступленно:

— Убежище! Убежище! Убежище!

— Noël! Noël! — кричал, со своей стороны, народ, и эти громкие возгласы потрясли на другом берегу Сены толпу, собравшуюся на Гревской площади, и затворницу, не отводившую глаз от виселицы.

Книга девятая
I. Лихорадка

Клода Фролло уже не было в соборе Богоматери, когда его приемный сын так внезапно разрубил роковой узел, которым несчастный архидьякон связал цыганку, попав в него сам. Войдя в ризницу, священник сорвал с себя облачение, сбросил его на руки удивленного пономаря, выбежал боковою дверью из монастыря и, приказав лодочнику перевезти себя на левый берег Сены, углубился в сеть улиц Университетской стороны, сам не зная, куда он идет, сталкиваясь на каждом шагу с группами мужчин и женщин, оживленно спешивших в сторону моста Сен-Мишель в надежде «поспеть вовремя», чтобы видеть, как будут вешать колдунью. Бледный, заблудившийся, он был более растерян, ослеплен и дик, чем ночная птица, преследуемая днем детьми. Он не знал, где он, о чем думает, наяву ли все это. Он шел, бежал, сворачивал куда попало, не выбирая направления, гонимый прочь Гревской площадью, ужасной Гревской площадью, которую он ощущал позади себя.

Так пересек он гору Святой Женевьевы и наконец вышел из города через Сен-Викторские ворота.

Он продолжал бежать, пока мог видеть, оглядываясь, верхушки башен Университета и разбросанные дома предместья.

Когда же наконец холм окончательно скрыл от его глаз ненавистный Париж, когда ему показалось, что он на расстоянии ста лье от него, в полях, в пустыне, он остановился и почувствовал, что начинает дышать. Тогда в его уме начали роиться страшные мысли. Он ясно увидел свою душу и содрогнулся. Он подумал о несчастной девушке, погубившей его и погубленной им. Он бросил блуждающий взор на извилистый путь их судеб и на ту минуту, когда эти судьбы пересеклись и были безжалостно разбиты одна об другую. Он думал о тщете вечных клятв, о тщете девственности, науки, религии, добродетели, о ненужности Бога. Сердце его испытывало радость от этих страшных мыслей, и, погружаясь в них все больше, он слышал в своей душе сатанинский хохот.

Заглянув в свою душу, увидев, сколько страстности природа вложила в нее, он усмехнулся с еще большей горечью. Он всколыхнул всю свою

ненависть, всю свою злобу, лежавшие в глубинах его сердца; и, всмотревшись в свою душу холодным взором врача, исследующего больного, он увидал, что эта ненависть, эта злоба была только извращенной любовью, что любовь, источник всех человеческих добродетелей, превращалась в нечто чудовищное в сердце священника, что человек, созданный, как он, становясь священником, превращается в дьявола. Он горько рассмеялся и вдруг побледнел, вспомнив самую мрачную сторону своей извращенной, злобной, беспощадной, ядовитой любви, приведшей цыганку к виселице, его — к аду. Она — приговорена; он — проклят.

Он снова засмеялся, подумав о том, что Феб жив; что после всего, что произошло, капитан весел и доволен, что он поведет свою новую возлюбленную смотреть, как будут вешать старую. Его смех усилился, когда он подумал о том, что из всех людей, которым он желал смерти, не избежала ее только цыганка, единственное существо, которое он не ненавидел.

От капитана мысль его перенеслась к толпе, и в нем вспыхнула небывалая ревность. Он думал о том, что и народ, весь народ видел женщину, которую он любил, в рубашке, почти обнаженной.

Он заломил руки при мысли, что женщина, чье тело, созерцаемое во мраке им одним, было бы для него источником высшего блаженства, была выставлена средь бела дня, в яркий полдень, на поругание, одетая, словно для ночи сладострастия. Он плакал от ярости, вспоминая, что все эти чудеса любви осквернены, обнажены, обесчещены. Он плакал от ярости, думая о том, сколько нечистых взглядов коснулось этой сорочки с распахнутым воротом. Эта чудная девушка, эта чистая лилия, эта чаша чистоты и прелести, к которой он лишь, дрожа, осмеливался приблизить свои уста, превратилась как бы в публичный сосуд, из которого пили теперь сообща все воры, нищие, лакеи, пили нечистое, развратное наслаждение все подонки Парижа!

Когда он старался представить себе, каким бы счастьем мог он наслаждаться на земле, если бы она не была цыганкой, а он священником, если бы не существовало Феба и она любила его, — когда он думал, что и для него возможно было бы спокойное счастье, что и в эту минуту есть на свете счастливые пары, воркующие под сенью апельсинных деревьев, у журчащих ручьев, при сиянии заходящего солнца или звездной ночи, что и он, если бы Богу было угодно, мог составить

с нею одну из таких благословенных пар, — сердце его разрывалось от нежности и отчаяния.

О, эта мысль! Эта страшная, неотступная, постоянно возвращающаяся мысль! Она его грызла, сверлила его мозг, раздирала его внутренности. Он не жалел, не раскаивался, он был готов снова поступить так, как поступил. Он предпочитал видеть ее в руках палача, чем в объятиях капитана, но он страдал, так страдал, что временами вырывал себе клочья волос, чтобы посмотреть, не поседели ли они.

Одну минуту ему пришло на ум, что, быть может, в это самое мгновение тяжелая цепь, которую он видел утром, стянула железным узлом нежную шейку. При этой мысли он весь покрылся холодным потом.

Затем, дьявольски смеясь над собою, он представил себе Эсмеральду, какою он увидал ее в первый раз: живую, беззаботную, радостную, нарядную, пляшущую, окрыленную и гармоничную, и Эсмеральду последнего дня, в рубашке, с веревкой на шее, медленно всходящую босыми ногами по грубой лестнице виселицы. Он так ясно увидал эту двойную картину, что у него вырвался крик ужаса.

В то время как этот ураган отчаяния бушевал,

опрокидывая, ломая, вырывая с корнем все в его душе, Клод смотрел на окружающую его природу. У ног его куры ворошили мелкий кустарник, что-то клюя, золотые жучки сверкали на солнце, над головою серые облачка плыли по ясной лазури, на горизонте поднимался шпиль Сен-Викторского аббатства. Мельник на холме Копо, посвистывая, смотрел на вертящиеся крылья своей мельницы. Вся эта деятельная, спокойная, организованная, воплощенная в многообразную форму жизнь причиняла ему боль. Он снова бросился бежать.

Так бродил он по полям до вечера. Это бегство от природы, от жизни, от себя самого, от людей, от Бога, от всего длилось весь день. Порой он бросался на землю ничком и вырывал ногтями молодую траву, порой останавливался посреди пустынной деревни, и мысли его становились столь невыносимы, что он хватался руками за голову, будто желая сорвать ее с плеч и разбить о мостовую.

Когда солнце начало склоняться к западу, он снова заглянул в свою душу, и ему показалось, что он почти безумен. Буря, происходившая в нем с той минуты, как он потерял надежду и желание спасти цыганку, эта буря не оставила в его сознании ни одной здравой мысли, ни одного ясного

представления. Его рассудок лежал распростертый, почти окончательно сломленный. Лишь два образа существовали в его уме: Эсмеральда и виселица. Все остальное было — мрак. Эти два образа сплетались в ужасное видение, и чем больше старался он сосредоточить на них остатки своего внимания и мысли, тем фантастичнее вырастали грациозность, очарование, красота, лучезарность одного образа и тем страшнее становился другой. Наконец Эсмеральда стала казаться ему звездой, а виселица — громадной костлявой рукой.

Странно, что во время таких мучений мысль о смерти ни разу не пришла ему в голову. Несчастный был так создан, он любил жизнь. Быть может, он ощущал приближение ада.

Тем временем надвигалась ночь. Живое существо, еще шевелившееся в нем, смутно напомнило ему о возвращении. Ему казалось, что он далеко от Парижа, но, оглядевшись, он заметил, что кружил все время вокруг ограды университета. Шпиль Сен-Сюльписа и три высокие иглы Сен-Жермен-де-Пре прорезали горизонт справа от него. Он направился в ту сторону, но, подойдя к зубчатым стенам Сен-Жермена и услыхав оклик часового, свернул на тропинку, пролегавшую между мельницей аббатства и городской больницей, и через

несколько минут очутился на окраине Пре-о-Клер. Это был луг, известный буйствами, которые совершались там днем и ночью. Он был гидрой бедных монахов Сен-Жермена: quod monachis sancti Germani pratensis hydra fuit, clerics nova semper dissidiorum capita suscitantibus[127]. Архидьякон боялся встретить там кого-нибудь, боялся всякого человеческого лица. Обойдя университет и предместье Сен-Жермен, он хотел попасть на улицы как можно позднее. Обогнув Пре-о-Клер, пройдя по пустынной дорожке, отделявшей его от Дьё-Нёф, он дошел наконец до реки. Там Клод нашел лодочника, который за несколько парижских денье переправил его через Сену до конца Сите и высадил на косу, на которой читатель уже видел мечтавшего Гренгуара и которая тянулась за садами короля, параллельно с островом Погонщика коров.

Монотонное покачивание лодки и плеск воды словно убаюкали несчастного Клода. Когда лодочник удалился, он тупо стоял на отлогом берегу, видя перед собой только какие-то неясные фантастические образы. Нередко утомление страданием вызывает такое притупление ума.

---

[127] Сноски: 127

Это была гидра для монахов святого Германа, что в лугах, ибо миряне кружили им там головы своими ссорами и безобразиями (*лат.*).

Солнце скрылось за высокой Нельской башней. Наступали сумерки. Небо было белое, река тоже. Между этими двумя белыми полосами левый берег Сены, к которому были прикованы его глаза, казался темной массой и, уменьшаясь в перспективе, терялся в тумане на горизонте, как черная стрела. На ней стояли дома; можно было различить лишь их темные силуэты, резко очерченные на светлом фоне неба и воды. Кое-где окна начинали светиться огнями, как искры в тлеющей груде углей. Этот громадный черный обелиск между двумя белыми простынями неба и реки, широкой в этом месте, производил на Клода странное впечатление, похожее на то, какое испытывал бы человек, лежащий на спине у подножия Страсбургской колокольни и смотрящий, как огромный шпиль вырисовывается в сумерках над его головой. Только здесь Клод стоял, а обелиск лежал; но так как река, отражая небо, продолжала бездну под ним, огромный мыс казался так же смело вонзившимся в пустоту, как шпиль собора; впечатление было то же самое. Оно было тем более странным и глубоким, что мыс и в самом деле походил на Страсбургскую колокольню, но колокольню в два лье вышиной; нечто неслыханное, гигантское, неизмеримое;

здание, какого никогда не видел человеческий глаз: Вавилонская башня. Трубы домов, зубчатые стены, острые коньки крыш, стрела Августинцев, Нельская башня — все эти выступы, бороздящие профиль колоссального обелиска, увеличивали иллюзию, представляясь глазу деталями богатой и фантастической скульптуры.

Клод в состоянии, близком к галлюцинации, вообразил, что он видит воочию башню ада. Тысячи огоньков, разбросанные вдоль всей чудовищной башни, казались ему дверцами громадной внутренней печи; шум и говор, вырывавшиеся оттуда, — криками и скрежетом зубовным. Ему стало страшно: он заткнул руками уши, чтобы не слышать, отвернулся, чтобы не видеть, и стал быстро удаляться от страшного видения.

Но видение было в нем самом.

Когда он опять попал на улицы, прохожие, толкавшиеся при свете, вырывавшемся из лавок, казались ему призраками. Странный шум гудел у него в ушах, странные фантазии волновали мозг. Вместо домов, повозок, людей он видел хаос неопределенных предметов, сливавшихся между собою. На углу улицы Барильери была бакалейная лавка, перед входом в которую, по незапамятному обычаю, вместо вывески висел

железный обруч со связкой сделанных из дерева свечей, которые от ветра стучали друг об друга, как кастаньеты. Ему показалось, что это стучат в темноте кости скелетов с кладбища Монфокон.

— О, — прошептал он, — ночной ветер гонит их, и вместе со стуком цепей слышится стук костей! Может быть, и она уже между ними!

Растерянный, не сознавая, куда он идет, он очутился на мосту Святого Михаила. Окно в нижнем этаже одного из домов было освещено. Он приблизился. Сквозь тусклое стекло была видна комната, что-то смутно напоминавшая ему. В этой плохо освещенной комнате веселый, свежий белокурый молодой человек со смехом целовал девушку, не особенно скромно одетую. Около лампы старуха пряла и пела надтреснутым голосом. Когда юноша переставал смеяться, отрывки песни долетали до слуха священника. Это было что-то непонятное и ужасное:

Grève, aboye, Grève, grouille!

File, file, ma quenouille,

File sa corde au boureau,

Qui siffle dans le prèau,Grève, aboye, Grève, grouille!

La belle corde de chanvre!

Semez d'Issy jusqu'a Vanvre
Du chanvre et non pas du blè.
Le voleur n'a pas volè
La belle corde de chanvre.
Grève, grouille, Grève, aboys.
Pour voir la fille de joie
Pendre aux gibeet chassieux.
Les fen tres sont des yeux.
Grève, grouille, Grève, aboye![128]

Молодой человек хохотал и ласкал девушку. Старуха была Фалурдель; девушка была из гуляющих. Молодой человек был его брат, Жан.

Он продолжал смотреть. Не все ли равно на что?

Он видел, как Жан подошел к окну в глубине комнаты, открыл его, взглянул на набережную, где вдалеке сверкали тысячи освещенных окон, и слышал, как Жан произнес, закрывая окно:

— Клянусь, вот уже и ночь. Горожане зажигают

---

[128] Сноски: 128

Грев, лай, Грев, ворчи! Вейся, вейся, моя пряжа, Вейся веревкой палача, Что свистит на площади. Грев, лай, Грев, ворчи! Прекрасная пеньковая веревка! Сейте от Неси до Ванвра Пеньку, а не рожь. Вору не украсть Прекрасную пеньковую веревку. Грев, ворчи, Грев, лай. Ты увидишь продажную девку Висящей на паршивой виселице. Окна будут, что твои глаза. Грев, ворчи, Грев, лай! (*Фр.*)

огни, а Бог — звезды.

Потом Жан подошел к девке, разбил бутылку, стоявшую на столе, и воскликнул:

— Уже пуста, проклятая! У меня больше нет денег! Изабо, друг мой, я не буду доволен Юпитером, пока он не превратит твои белые груди в черные бутылки, из которых я буду день и ночь сосать бонское вино!

Девушка рассмеялась этой шутке, и Жан вышел. Клод едва успел броситься на землю, чтобы не столкнуться с братом лицом к лицу и не быть узнанным. К счастью, улица была темна, а студент пьян. Но он все же заметил архидьякона, лежавшего в грязи на мостовой.

— Ого! — сказал он. — Вот этот весело провел время. — Он тронул ногой Клода, затаившего дыхание. — Мертвецки пьян, — заметил он. — Напился, как пиявка. Лысый, — продолжал он, нагнувшись, — старик! Fortunate senex![129]

И Клод услышал, как он удаляется, говоря:

— А все-таки разум великая вещь, и мой брат архидьякон счастлив, что он добродетелен и имеет много денег.

Тогда архидьякон встал и, не останавливаясь,

---

[129] Сноски: 129
Счастливый старик! (*Лат.*)

добежал до собора Богоматери, огромные башни которого возвышались в темноте над домами. Когда он, запыхавшись, дошел до площадки, он отступил, не смея поднять глаз на роковое здание.

— О, — прошептал он, — разве может быть, чтоб это случилось здесь, сегодня утром?

Клод решился поднять глаза на церковь. Фасад был темен. Небо за ним сияло звездами. Серп луны, недавно показавшийся из-за горизонта, остановившийся в эту минуту над правой башней, казался блестящей птицей, севшей на балюстраду с вырезанными черными трилистниками.

Ворота монастыря были заперты. Но у архидьякона всегда был при себе ключ от той башни, где находилась его лаборатория. Он воспользовался этим ключом, чтобы проникнуть в собор.

Там было тихо и мрачно, как в подземелье. По длинным теням вокруг он понял, что занавеси утренней церемонии еще не сняты. Большой серебряный крест местами переливался в темноте сверкающими точками, как Млечный Путь. Стрельчатые верхушки длинных окон на хорах поверх черных занавесей, освещенные луной, блестели неверными ночными тонами, лилова-

тыми, белыми, голубоватыми, какие бывают на лицах умерших. Архидьякону казалось, что эти верхушки окон — митры проклятых епископов. Он закрыл глаза, и, когда снова открыл их, они показались ему рядом бледных лиц, которые смотрели на него.

Он побежал по храму, но ему показалось, что храм зашевелился, ожил, что каждая колонна сделалась громадной лапой, опиравшейся на пол, и что весь громадный собор обратился в чудесного слона, который пыхтел и топтался толстыми столбами вместо ног, с башнями вместо хоботов и темными драпировками вместо попоны.

Горячка и безумие Клода дошли до того, что внешний мир превратился для несчастного в какой-то видимый, ощутимый, страшный апокалипсис.

Ему сделалось немного легче, когда, направившись в боковой придел, он заметил за колоннами красноватый огонек. Он направился к нему, как к путеводной звезде. Это была бедная лампадка, горевшая день и ночь над общественным молитвенником Пресвятой Девы, покрытым железной сеткой. Он жадно бросился к святой книге в надежде найти там утешение или опору. Книга была открыта на странице из Иова, которую он

пробежал взглядом: «Дух пронесся перед лицом моим. Я почувствовал его дуновение, и волосы мои поднялись дыбом».

При чтении этих зловещих слов он почувствовал то, что почувствовал бы слепец, ужаленный палкой, поднятой им. Колени его подкосились, и он опустился на землю, думая о той, которая умерла сегодня. Он чувствовал, что его мозг обволакивает чудовищный дым, и ему показалось, что голова его превратилась в адскую печь.

Клод долго оставался в этом положении, не думая, безвольно предаваясь терзавшему его демону. Наконец он немного оправился и решился спастись в свою башню, к верному Квазимодо. Он встал и, так как ему было страшно, взял лампадку, висевшую над молитвенником, чтобы посветить себе. Это было кощунство, но он уже не обращал внимания на такие мелочи.

Клод медленно поднимался по лестнице башни, полный тайного ужаса, который, должно быть, разделяли и редкие прохожие на площади при виде таинственного огонька, поднимавшегося в такой час от бойницы к бойнице на колокольню.

Вдруг он почувствовал на своем лице свежесть и очутился перед дверью верхней галереи. Воздух был холоден; белые облака двигались, громоздясь

друг на друга, словно вскрывшаяся после зимы река, серп луны казался кораблем, затертым этими воздушными льдами.

Опустив глаза, он взглянул сквозь решетку, соединяющую обе башни, сквозь дымку тумана, вдаль, на молчаливую толпу парижских крыш, острых, бесчисленных, сжатых и маленьких, как волны тихого моря в летнюю ночь.

Луна бросала слабые лучи, окрашивавшие небо и землю в пепельный цвет.

В эту минуту раздался хриплый звук часов. Пробило полночь. Священник вспомнил о полудне; с тех пор прошло двенадцать часов.

«О, — подумал он, — теперь она уже окоченела!»

Вдруг порыв ветра погасил лампаду, и в ту же минуту Клод увидел в противоположном углу башни тень, белизну, облик, женщину. Он вздрогнул. Около женщины была козочка, проблеявшая вместе с последним ударом часов.

У него хватило сил посмотреть. Это была она.

Она была бледна и сурова. Ее волосы падали на плечи, как утром. Но веревки на шее не было, и руки не были связаны. Она была свободна — она была мертва!

Она была одета в белое, и белая вуаль покры-

вала ей голову. Она тихо приближалась к нему, смотря на небо. Сверхъестественная коза следовала за ней. Клод окаменел и не мог бежать. При каждом ее шаге он лишь отступал на шаг назад. Он дошел таким образом до темного свода лестницы. Его леденила мысль, что она вступит туда же, и, если бы она это сделала, он умер бы от ужаса.

Она действительно подошла к лестнице, остановилась на минуту, пристально посмотрела в темноту, не заметила священника и прошла. Она показалась ему выше ростом, чем при жизни. Он видел, как луна просвечивала сквозь ее белое одеяние; он слышал ее дыхание.

Когда она прошла, он стал спускаться с лестницы медленно, как виденный им призрак. Он сам себе казался привидением, его редкие волосы стояли дыбом, в руках он все еще держал потухшую лампаду. Спускаясь по спиральной лестнице, Клод ясно слышал над своим ухом голос, смеющийся и повторяющий: «Дух пронесся перед лицом моим. Я почувствовал его дуновение, и волосы мои поднялись дыбом».

II. Горбатый, одноглазый, хромой

Все города во Франции до царствования Людовика XII имели свои места убежища. Среди потопа карающих законов и варварских юрисдикций эти убежища возвышались, как острова, над уровнем человеческого правосудия. Всякий преступник, вступивший на них, был спасен. В каждом округе мест убежища было столько же, сколько мест наказания. Это было злоупотребление безнаказанностью рядом со злоупотреблением казнью — два зла, которые стремились уравновесить друг друга. Дворцы, дома принцев, церкви обладали правом убежища. Иногда, когда хотели населить город, его целиком делали местом убежища. Людовик XI в 1467 году сделал убежищем Париж.

Вступив в убежище, преступник становился священным. Но он уже не должен был выходить. Один шаг — и он снова валился в бездну. Колесо, виселица ждали свою жертву и кружились вокруг нее, как акулы вокруг корабля. Многие осужденные доживали до седых волос в монастыре, на лестнице дворца, в саду аббатства, под портиком церкви, так что убежище становилось в то же время и тюрьмой.

Случалось, что, по торжественному постановлению парламента, извлекали преступника из убежища и передавали палачу, но это бывало очень редко. Члены парламента боялись епископов, и, когда они друг с другом сталкивались, мантия оказывалась бессильной против сутаны. Иногда, как было в деле убийц Пети-Жана, парижского палача, и в деле Эмери Руссо, убийцы Жана Валера, правосудие действовало вопреки Церкви и приводило в исполнение свои приговоры. Но, кроме как по постановлению парламента, горе тому, кто посмел нарушить право убежища вооруженной рукой. Все знают, какою смертью погибли Робер Клермонский, маршал Франции, и Жан де Шалон, маршал Шампани, а речь шла всего лишь о Перрене Марке, служащем у менялы, о жалком убийце; но маршалы разбили двери церкви Сен-Мери. В этом и заключался их проступок.

Убежища уважались до такой степени, что предание говорит, будто даже звери подчинялись этому чувству. Эмуан рассказывает, что олень, преследуемый Дагобером, укрылся около гробницы святого Дениса, и свора собак сразу остановилась и перестала его преследовать.

В церквах обыкновенно находилась келья,

принимавшая спасающихся. В 1407 году Николай Фламель построил для них под сводами Сен-Жак-де-ла-Бушри комнату, которая обошлась ему в четыре ливра шесть солей шестнадцать парижских денье.

В соборе Богоматери она была на крыше, под сводами, против монастыря, в том месте, где теперь привратница устроила себе садик, так же похожий на висячие вавилонские сады, как кустик салата на пальму, а сама привратница на Семирамиду.

Туда после своего яростного и победного бега по башням и галереям Квазимодо поместил Эсмеральду. В продолжение этого бега молодая девушка, еще не очнувшаяся, наполовину спящая, наполовину бодрствующая, чувствовала только, что она несется по воздуху, летит куда-то, что кто-то приподнял ее от земли. Время от времени она слышала смех и громкий голос Квазимодо и открывала глаза. Смутно представлялся ей Париж черепичной мозаикой своих сине-красных крыш, но когда взгляд ее случайно попадал на страшное и радостное лицо Квазимодо, она закрывала глаза и думала, что все кончено, что ее убили во время обморока и что безобразный дух, руководивший ее судьбой, завладел ею и уносит

ее. Она боялась смотреть на него и покорялась.

Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь опустил ее в келье, когда его огромные руки стали осторожно развязывать веревку, до боли тершую ей руки, она ощутила толчок, какой пробуждает пассажиров корабля, внезапно снявшегося с якоря среди ночи. Мысли ее понемногу прояснились. Девушка поняла, что она в соборе Богоматери, и вспомнила, что ее спасли из рук палача, что Феб жив, что Феб ее больше не любит. Когда эти две мысли, из которых одна делала такой горькой другую, ясно представились бедной осужденной, она обратилась к Квазимодо, стоявшему перед ней и пугавшему ее своим видом, и сказала:

— Зачем вы меня спасли?

Он тревожно смотрел на нее, стараясь понять, что она говорит. Она повторила вопрос. Тогда он бросил на нее глубокий, грустный взгляд и быстро удалился.

Она была удивлена.

Через несколько минут он вернулся и опустил к ее ногам узел. Это была одежда, положенная для нее на паперть добрыми женщинами. Тогда она оглянулась на себя, увидела, что почти обнажена, и покраснела. Жизнь возвращалась.

Квазимодо, казалось, почувствовал ее стыд; он закрыл глаза рукою и опять вышел медленными шагами.

Она поторопилась одеться. В узле оказались белое платье и белое покрывало — одежда послушницы.

Едва она оделась, как вернулся Квазимодо. Он нес корзину и тюфяк. В корзине был хлеб, бутылка вина и еще кое-какая провизия. Он поставил корзину и сказал:

— Кушайте. — Затем, постлав на пол тюфяк, прибавил: — Спите!

Звонарь принес ей собственный обед и собственную постель. Цыганка подняла глаза, чтобы поблагодарить его, но не могла выговорить ни слова. Он был так ужасен, что она, вздрогнув, опустила голову.

Тогда Квазимодо проговорил:

— Я вас пугаю. Я безобразен, не правда ли? Не смотрите на меня. Слушайте меня только. Днем вы будете оставаться тут; ночью вы можете гулять по всей церкви. Но из церкви не выходите ни днем, ни ночью. Вы погибнете. Вас убьют. А я умру.

Тронутая, она подняла голову, чтобы ответить, но он уже исчез. Оставшись одна, она задумалась

над странными словами этого чудовища, над звуком его голоса, грубого и нежного в одно и то же время.

Потом девушка осмотрела свою келью. Это была комната в шесть квадратных футов, с маленьким окном и с дверью, выходившею на слегка покатую крышу из плоских кирпичей. Несколько водосточных труб с изображениями животных точно заглядывали в ее окошечко. Под крышей виднелись верхушки тысяч труб, несших в ее сторону дым чуть ли не всех печей Парижа. Грустный вид для бедной безродной цыганки, приговоренной к смерти, для одинокого создания без родины, без семьи, без очага!

В ту минуту, как она особенно сильно почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая бородатая голова скользнула по ее рукам и коленям. Она вздрогнула: все пугало ее теперь. Это была ее бедная козочка, ее Джали, которая последовала за нею, когда Квазимодо отбил ее от стражи Шармолю, и которая уже давно терлась у ее ног, расточая ласки, чтобы обратить на себя внимание своей хозяйки. Цыганка покрыла ее поцелуями.

— О, Джали, — говорила она, — я забыла о тебе! Но ты все время помнила обо мне! О, какая я

неблагодарная!

И она заплакала, как будто невидимая рука сняла тяжесть, так долго угнетавшую ее сердце. Вместе с этими слезами растворялось все самое жгучее, все самое горькое, что было в ее душе.

Когда наступила ночь, она показалась ей такой прекрасной, луна — такой нежной, что она обошла верхнюю галерею церкви. Земля показалась ей с этой высоты такой мирной, что она почувствовала облегчение.

III. Глухой

На другое утро она заметила, что хорошо выспалась. Это ее удивило. Она уже так давно отвыкла от сна. Веселый луч восходящего солнца проходил в окошечко и падал ей на лицо. Вместе с солнцем она увидала в окошечке и нечто страшное: лицо несчастного Квазимодо. Невольно она закрыла глаза, но и сквозь закрытые веки ей казалось, что она видит эту одноглазую, зубастую маску. Тогда она услышала грубый голос, кротко говоривший:

— Не бойтесь. Я ваш друг. Я смотрел, как вы спите. Ведь вам от этого не больно, когда я смотрю на вас. Не все ли вам равно, что я здесь, когда глаза у вас закрыты. А теперь я уйду. Вот! Я встал

за стеной. Вы можете открыть глаза.

Выражение, с которым это говорилось, было еще грустнее самих слов. Тронутая цыганка открыла глаза. Его действительно не было в окошке. Девушка подошла к окну и увидала бедного хромого, спрятавшегося за стеной в грустной и покорной позе. Она сделала над собой усилие, преодолевая отвращение, которое он ей внушал, и тихо сказала:

— Подите сюда!

По движению губ Квазимодо подумал, что она гонит его. Он опустил голову и стал медленно удаляться, хромая, боясь даже поднять на молодую девушку свой взгляд, полный отчаяния.

— Подите сюда! — крикнула она; но он продолжал удаляться.

Тогда она выскочила из кельи, подбежала к нему и взяла его за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимодо задрожал всем телом. Он поднял на нее умоляющий взгляд; когда он увидел, что она удерживает его, все лицо его осветилось радостью и нежностью. Она хотела, чтобы он вошел в ее комнату, но он остановился на пороге.

— Нет, нет, — сказал он, — сова не должна входить в гнездо жаворонка.

Она грациозно уселась на свое ложе. Козочка спала у ее ног. Несколько минут Эсмеральда и Квазимодо молчали и рассматривали: он — такую красоту, она — такое безобразие. Каждую минуту она находила в нем новые уродства: ее взгляд перебегал с кривых колен на горб, с горба на единственный глаз. Она не могла понять, как существует такое уродливое создание! Впрочем, в нем было столько грусти и нежности, что она начинала привыкать к нему.

Квазимодо заговорил первый:

— Вы сказали мне, чтоб я вернулся?

Она кивнула головой, произнеся:

— Да.

Он понял ее кивок.

— Увы, — нерешительно сказал он, — ведь я… глухой.

— Бедный! — вскричала с видом ласкового сострадания цыганка.

Он печально улыбнулся.

— Вы находите, что только этого мне недоставало, не правда ли? Да, я глух и безобразен. Это ужасно, что я такой, не правда ли? А вы, вы так прекрасны!

В голосе несчастного было такое глубокое сознание своего горя, что она не имела силы ответить

ему. Да он ее бы и не услышал.

Квазимодо продолжал:

— Я никогда не сознавал так своего безобразия, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне жалко самого себя, бедного урода! Я вам кажусь зверем, не так ли? А вы, вы — луч солнца, вы — капля росы, вы — пение птицы! Я ужасен: ни зверь, ни человек, я тверже, безобразнее булыжника, который топчут ногами.

Он засмеялся, и смех этот надрывал душу. Затем он продолжал:

— Да, я глух. Но вы можете говорить со мной жестами, знаками. У меня есть учитель, который так говорит со мной. Я скоро привыкну узнавать ваши желания по движению губ, по глазам.

— Ну, так скажите мне, — проговорила она, улыбаясь, — зачем вы спасли меня?

Он внимательно присматривался к ней.

— Я понял, — сказал он. — Вы спрашиваете, зачем я вас спас? Вы забыли несчастного, который как-то ночью хотел украсть вас и которому вы же на следующий день подали помощь на проклятом позорном столбе. За эту каплю воды и за вашу жалость я могу заплатить только своей жизнью. Вы забыли этого несчастного, но он не забыл вас!

Она слушала его, глубоко тронутая. Слезы было

навернулись на глаза звонаря, но он удержал их.

— Послушайте, — продолжал он, почувствовав, что не заплачет, — у нас тут высокие башни, человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем долетит до мостовой. Когда вы пожелаете, чтоб я бросился, вам не нужно будет произнести ни слова, — одного взгляда будет достаточно.

Он встал. Это странное существо возбуждало сожаление бедной цыганки. Она сделала ему знак остаться.

— Нет, нет, — сказал он, — я не должен оставаться слишком долго. Я неспокоен, когда вы смотрите на меня. Вы из жалости не отворачиваете от меня глаз. Я пойду куда-нибудь, откуда буду видеть вас, а вам не будет нужно смотреть на меня. Так будет лучше.

Он вынул из кармана металлический свисток.

— Возьмите, — сказал он, — и когда вам нужно будет меня, когда вы захотите, чтоб я пришел, когда вам не так будет противно видеть меня, — засвистите. Этот звук я слышу.

Он положил свисток на пол и скрылся.

IV. Песчаник и кристалл

Дни проходили. Спокойствие постепенно возвращалось в душу Эсмеральды. Сильное отчаяние, как и сильная радость, не может долго продолжаться. Сердце человеческое не выносит долго крайнего напряжения. Цыганка так исстрадалась, что теперь у нее осталось только удивление.

Когда миновала опасность, вернулась надежда. Она была вне общества, вне жизни, но смутно чувствовала возможность вернуться к ним. Она была похожа на мертвеца, у которого есть ключ от его гробницы.

Постепенно исчезали страшные образы, так долго мучившие ее. Ужасные призраки — Пьера Тортерю, Жак Шармолю — исчезли из ее памяти, исчез даже священник.

Затем — Феб был жив, она была в этом уверена, она видела его.

Жизнь Феба — это было все. После роковых потрясений, все уничтоживших в ней, одно только чувство осталось нетронутым в ее душе: любовь к капитану. Любовь растет, как дерево, глубоко запускает корни в нашу душу и часто продолжает

еще зеленеть над разбитым сердцем.

Непостижимо то, что страсть чем более слепа, тем упорнее. Она тем тверже, чем меньше у нее оснований.

Конечно, Эсмеральда думала о капитане с некоторой горечью. Конечно, было ужасно то, что он был обманут, что он поверил такой невозможной вещи, как удар кинжала от той, которая тысячу жизней отдала бы за него. Но не так уж он виноват: разве она не созналась в своем преступлении? Разве она, слабая женщина, не испугалась пытки? Она сама виновата. Она должна была дать вырвать себе ногти скорее, чем произнести такое слово. Если бы она хоть раз увидала Феба, довольно было бы одного ее слова, одного взгляда, чтобы разубедить его, чтобы вернуть его. В этом она не сомневалась. Она обманывала себя самыми невероятными предположениями относительно присутствия Феба в день ее публичного покаяния, относительно девушки, бывшей с ним. Это, несомненно, была его сестра. Она довольствовалась этой обманчивой мечтой, потому что у нее была потребность верить, что Феб ее любит, ее одну. Он клялся ей в этом, а чего же ей, доверчивой и простодушной, было больше нужно? В этом деле все внешние доказательства были скорей против

нее, чем против него. Она ждала, она надеялась.

Вдобавок сама церковь, огромная церковь, которая ее окружала, защищала, спасала, успокаивала ее. Торжественные архитектурные линии, святость предметов, окружавших девушку, религиозные и светлые мысли, которые навевали даже эти камни, помимо ее воли действовали на нее. Звуки священные и торжественные смягчали ее больную душу. Монотонное пение священнослужителей, ответы народа священникам, порой беззвучные, порой громовые, гармоничное дрожание стекол, орган, звучащий, как сотни труб, три колокольни, жужжащие, как рой пчел, — весь этот оркестр, гамма которого пролетала от толпы к колокольне, усыплял ее память, ее воображение, ее горе. Особенно колокола убаюкивали ее, словно широкие волны магнетизма неслись к ней от их мощных корпусов.

Каждый восход солнца находил ее более успокоенной, менее бледной. По мере того как закрывались ее душевные раны, красота ее расцветала, но становилась более спокойной и серьезной. Между тем возвращался ее прежний характер. Она бывала иногда даже весела, мило надувала губки, и к ней возвращалась любовь к козочке, стыдливость и желание петь. Она одевалась

утром в дальнем углу комнаты, чтоб кто-нибудь из обитателей соседних чердаков не увидал ее в окно.

Когда мысль о Фебе не поглощала ее всю, она думала о Квазимодо. Он был единственной связью, единственным звеном между нею и живыми людьми. Несчастная, она была более, чем Квазимодо, отдалена от мира! Она не понимала друга, посланного ей судьбой. Она часто упрекала себя в неблагодарности, но не могла привыкнуть к бедному звонарю. Он был слишком безобразен.

Эсмеральда оставила на полу свисток, который он дал ей. Это не помешало Квазимодо являться к ней в первые дни. Она старалась скрыть свое отвращение, когда он приносил ей еду и питье, но он замечал всякое ее движение и грустно уходил.

Раз он вошел, когда она ласкала Джали. Он постоял в задумчивости над этой грациозной группой, затем сказал, качая своей тяжелой, безобразной головой:

— Мое несчастье, что я еще слишком похож на человека. Я бы хотел быть совсем животным, как эта коза.

Она удивленно посмотрела на него.

Он ответил на этот взгляд:

— Я знаю почему, — и ушел.

В другой раз он показался в дверях кельи (он никогда не входил внутрь), когда Эсмеральда пела старую испанскую балладу, слов которой она не понимала, но которая осталась у нее в памяти с тех пор, как цыгане убаюкивали ее этой песнью. При виде страшного лица, внезапно появившегося среди ее пения, девушка умолкла и сделала невольное движение испуга. Несчастный звонарь упал на колени и, сложив свои огромные руки, горько проговорил:

— Умоляю вас, продолжайте и не гоните меня.

Она не хотела огорчить его и, еще дрожащая, продолжала свой романс. По мере того как она пела, страх ее прошел, и она поддалась вся настроению грустной песни. Он остался на коленях со сложенными, как для молитвы, руками и смотрел в ее блестящие глаза, как будто в них слушал песню.

Другой раз он как-то смущенно подошел к ней.

— Послушайте, — сказал он с усилием, — мне нужно сказать вам одну вещь.

Она сделала знак, что слушает его. Он начал вздыхать, открыл было губы, чтоб заговорить, но, только взглянул на нее, сделал отрицательное движение головой и медленно ушел, сжимая лоб

руками, оставив цыганку в изумлении.

Между уродливыми фигурами, высеченными в стене, была одна, которую он особенно любил и с которой он, казалось, часто обменивался дружескими взглядами. Цыганка раз услышала, как он говорил изображению: «Зачем я не каменный, как ты!»

Однажды Эсмеральда приблизилась к краю крыши и смотрела на площадь из-за остроконечной крыши Сен-Жан-ле-Рон. Квазимодо стоял за нею. Он старался всегда стоять так, чтобы избавить девушку от неприятности видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула, слезы и радость вместе блеснули в ее глазах, она опустилась на колени на краю крыши, с тоской протянула руки к площади и воскликнула:

— Феб! Приди, приди! Одно слово, одно только слово, ради бога, Феб! Феб!

Ее голос, ее лицо, ее движение, все в ней выражало ужас и мольбу тонущего, который видит веселый корабль, освещенный солнцем, проходящий на горизонте.

Квазимодо нагнулся и увидел, что предметом этой нежной и горячей мольбы был молодой человек, блестящий, нарядный капитан, который, заставляя гарцевать своего коня, приветствовал,

сняв каску, прекрасную даму, улыбавшуюся ему с балкона. Офицер был слишком далеко, чтобы услыхать возглас несчастной.

Зато бедный глухой услыхал, и тяжкий вздох вырвался из его груди. Он вернулся в собор; его сердце было полно слез, которые он глотал. Он судорожно сжал руками голову, а когда снова отнял их, то в каждом кулаке оказалось по клоку рыжих волос.

Цыганка не обращала на него внимания. Он тихо произнес, скрежеща зубами:

— Проклятье! Так вот каким надо быть! Красивым снаружи!

Тем временем она, все еще стоя на коленях, кричала с невероятным возбуждением:

— Он слезает с лошади! Входит в дом! Феб! Феб! Неужели ты не слышишь меня! Феб! Эта злая женщина говорит с ним, чтоб он не услышал меня! Феб! Феб!

Глухой смотрел на нее. Он понимал ее. Он не давал течь слезам, наполнявшим его глаз. Вдруг он осторожно потянул ее за рукав. Она обернулась. Он спокойно сказал ей:

— Хотите, я схожу за ним?

Она радостно вскрикнула:

— Подите! Поди, беги скорей! Приведи мне

этого капитана! Я буду любить тебя!

Она обняла его колени, он печально покачал головой.

— Я вам приведу его, — сказал он слабым голосом и опрометью бросился с лестницы, задыхаясь от рыданий.

Когда он дошел до площади, то увидал только лошадь, привязанную у подъезда дома Гондлорье; капитан уже вошел в дом.

Он поднял глаза на крышу собора. Эсмеральда стояла на том же месте, в той же позе. Он печально кивнул ей головой и прислонился к крыльцу дома, решив дождаться выхода капитана.

В доме Гондлорье происходило одно из тех праздничных собраний, которые предшествуют свадьбе. Квазимодо видел много людей, входивших туда, но никто не выходил. Время от времени он бросал взгляд на крышу, — цыганка не двигалась, так же, как и он. Конюх отвязал лошадь и увел ее в конюшню.

Так прошел весь день: Квазимодо — у подъезда, Эсмеральда — на крыше, Феб — должно быть, у ног Флёр де Лис.

Наконец наступила ночь, ночь безлунная, темная. Квазимодо не отводил взгляда от Эсмеральды; вскоре он стал различать в сумерках

лишь белое пятно; затем и оно исчезло. Все стерлось, все было черно.

Квазимодо видел, как зажглись по всему фасаду, сверху донизу, окна дома Гондлорье; он видел, как осветились одно за другим остальные окна, выходящие на площадь; он видел, как они погасли все до одного, потому что он весь вечер пробыл на посту. Офицер не выходил.

Когда все прохожие возвратились к себе домой, когда все огни в других домах погасли, Квазимодо остался один в полном мраке. Тогда еще не было освещения на площадке перед собором Богоматери.

Только в квартире Гондлорье окна были освещены и после полуночи. За цветными стеклами неподвижно наблюдающий Квазимодо видел толпу подвижных пляшущих теней. Если бы он не был глух, он, по мере того как утихал засыпающий Париж, все яснее слышал бы шум бала, смех и музыку, доносившиеся из дома Гондлорье.

Около часу ночи гости стали расходиться. Квазимодо, притаившись в темноте, оглядывал их всех. Капитана между ними не было. Грустные думы овладевали звонарем. По временам он с тоской взглядывал кверху. Большие черные, тяжелые, разорванные облака висели, как гамаки,

под звездным небом. Они были похожи на паутину, сплетенную под небосводом.

Вдруг он заметил, что таинственно отворилась дверь балкона, каменная ограда которого вырисовывалась над его головой. Хрупкая стеклянная дверь пропустила двух человек и бесшумно затворилась за ними — это были мужчина и женщина. Квазимодо с трудом узнал в мужчине прекрасного капитана, в женщине — молодую даму, приветствовавшую утром прибывшего капитана с этого самого балкона. На площади было совершенно темно, а двойная темно-красная драпировка, опустившаяся за дверью, как только та закрылась, не пропускала на балкон света из комнаты.

Молодые люди, насколько мог судить наш глухой, не слыхавший их слов, были очень нежны друг с другом. Молодая девушка, казалось, позволила офицеру обвить рукой свой стан и не очень сопротивлялась его поцелую.

Квазимодо присутствовал внизу при этой сцене, тем более очаровательной, что она не предназначалась для посторонних глаз. Он с горечью наблюдал такое счастье. Природа не молчала в несчастном: его искривленный позвоночник был способен к жизни, как и всякий другой. Он думал

о том, как ужасна предначертанная ему Провидением участь, о том, что женщина, любовь, страсть всегда будут проходить мимо него и что он может быть только зрителем чужого счастья. Но более всего мучила его и заставляла негодовать мысль о том, как страдала бы цыганка, если бы могла видеть эту сцену. Но ночь была темна, и даже если Эсмеральда и не покинула крыши (в чем он не сомневался), она была слишком далеко, а он сам с трудом различал влюбленных на балконе. Это его утешало.

Разговор между тем становился оживленнее. Молодая дама, казалось, умоляла офицера не требовать от нее большего. Но Квазимодо только мог увидеть с мольбой сжатые руки, улыбки, смешанные со слезами, поднятые к небу глаза девушки и страстный взгляд капитана, устремленный на нее.

По счастью — так как девушка сопротивлялась все слабее, — дверь балкона внезапно открылась, явилась пожилая дама; красавица казалась сконфуженной, офицер — рассерженным, и все трое ушли в комнаты.

Через несколько минут лошадь зафыркала у подъезда, и блестящий офицер, завернутый в плащ, проехал мимо Квазимодо.

Звонарь дал ему доехать до угла, затем побежал за ним с быстротою обезьяны и закричал:

— Эй! Капитан!

Капитан остановился.

— Что тебе надо, бродяга? — спросил он, заметив в темноте странную фигуру, прихрамывая, бежавшую к нему.

Квазимодо, добежав, смело схватил лошадь за узду и сказал:

— Следуйте за мной, капитан, с вами желают поговорить.

— Черт побери, — проворчал Феб, — я где-то видел эту зловещую птицу. Эй, ты, отпусти повод моей лошади.

— Капитан, — ответил глухой, — вы не спрашиваете, кто желает видеть вас?

— Я говорю: отпусти мою лошадь, — с нетерпением сказал Феб. — Чего ты повис на ней? За виселицу ее принимаешь, что ли?

Квазимодо, не оставляя повода, старался загородить ему дорогу. Не понимая, чем объяснить упорство капитана, он поспешно сказал:

— Пойдемте, капитан, вас ждет женщина. Женщина, которая вас любит, — с усилием добавил он.

— Дурак, — сказал капитан, — точно я должен

идти к каждой женщине, которая меня любит или уверяет в этом. Может быть, она на тебя похожа, филин? Скажи ей, что я женюсь и чтоб она убиралась к черту!

— Послушайте, господин! — воскликнул Квазимодо, думая одним словом сломать его нерешительность. — Пойдемте, это цыганка, которую вы знаете!

Это слово действительно произвело впечатление на Феба, но не то, которого ожидал глухой. Читатель помнит, что наш блестящий офицер ушел с балкона вместе с Флёр де Лис прежде, чем Квазимодо спас осужденную из рук Шармолю. С тех пор во время своих визитов в дом Гондлорье он не говорил о женщине, воспоминание о которой было ему тяжело, да и Флёр де Лис не нашла нужным сообщить ему, что цыганка жива. Феб думал, что бедная «Симиляр» умерла месяца два тому назад. Прибавим, что ночь была темная, что вид у посланника был страшный, голос замогильный, что была полночь, что улица была так же безлюдна, как тогда, когда мрачный монах напал на него, и лошадь его захрапела, косясь на Квазимодо.

— Цыганка! — воскликнул он в испуге. — Что же ты — пришелец с того света? — Он положил

руку на эфес шпаги.

— Скорей, скорей, — говорил глухой, стараясь повести лошадь за собой, — вот сюда!

Феб изо всех сил ударил его ногой в грудь.

Глаз Квазимодо засверкал. Он сделал движение, чтобы броситься на капитана, но удержался и сказал:

— Как вы счастливы, что кто-то вас так любит!

Он сделал ударение на слове «кто-то» и, бросив повод, сказал:

— Уезжайте!

Феб с проклятием вонзил шпоры в бока лошади. Глядя, как он исчезает в ночном тумане, бедный глухой промолвил:

— Боже мой! Отказаться от этого!

Он вернулся в собор, зажег светильник и поднялся на башню. Как он и ожидал, цыганка была все на том же месте. Как только она заметила Квазимодо, она полетела к нему навстречу.

— Один! — вскрикнула она, горестно сжимая прекрасные руки.

— Я не мог найти его, — холодно ответил Квазимодо.

— Надо было ждать всю ночь! — горячо воскликнула она.

Он видел ее гневное движение и понял упрек.

— Я постараюсь в другой раз, — сказал он, опуская голову.

— Поди прочь! — сказала она.

Квазимодо оставил ее. Она была недовольна им. Он, однако, предпочел вынести ее гнев, чем огорчить ее.

С этого дня цыганка не видала его: он перестал подходить к ее келье. Иногда она видела на какой-нибудь башне грустное, наблюдающее за нею лицо звонаря. Но как только она замечала его, он исчезал.

Мы должны признаться, что ее мало огорчало добровольное отсутствие бедного горбуна. В глубине души она даже была рада. Квазимодо прекрасно это знал.

Она не видела его, но чувствовала присутствие доброго гения. Еду приносила ей во время ее сна невидимая рука. Однажды утром она нашла на своем окне клетку с птицами. Над кельей была скульптурная голова, которая пугала ее. Эсмеральда не раз выражала испуг в присутствии Квазимодо. И вот однажды утром — все делалось по ночам — этого изображения не оказалось, кто-то разбил его. Тот, кто влез туда, где находилось изваяние, рисковал жизнью.

Иногда вечером она слышала из-под коло-

кольни как бы убаюкивающую ее грустную и странную песню. Это были стихи без рифм, которые может сочинить и глухой:

Не смотри ты на лицо,
Девушка, смотри на сердце,
Сердце красавца бывает уродливо.
Есть сердца, где любовь живет недолго.
Девушка, сосна не так красива,
Не так красива, как тополь,
Но не вянет и зимою.
Ах, слова эти напрасны,
Не должно бы жить уродство:
Красота любит красоту,
Апрель убегает от января.
Красота прекрасна,
Красоте все доступно,
Лишь одна красота живет полной жизнью.
Ворон только днем летает,
А сова летает ночью,
Лебедь день и ночь летает.

Однажды утром, проснувшись, она увидела на своем окне две вазы с цветами. Одна была хрустальная — красивая и блестящая, но надтреснутая: вода вытекла из нее, и цветы завяли; другая была из грубого песчаника, но она сохранила всю воду, и цветы в ней оставались свежими и яркими.

Не знаю, было ли то намеренно, но Эсмеральда взяла увядшие цветы и носила их целый день на груди.

В этот день она не слыхала пения на колокольне.

Она не обратила на это внимания. Эсмеральда проводила дни, лаская Джали, наблюдая за подъездом дома Гондлорье, беседуя вполголоса с Фебом, кормя крошками хлеба ласточек.

Наконец она совсем перестала видеть и слышать Квазимодо. Бедный звонарь, казалось, совсем исчез из собора.

Но в одну ночь, когда думы о Фебе мешали ей спать, она услыхала вздохи возле своей кельи.

Испугавшись, она встала и при свете луны увидела темную массу, лежавшую поперек ее двери. Это был Квазимодо, спавший на голом камне.

V. Ключи от Красной двери

Тем временем общественная молва о чудесном спасении цыганки дошла до слуха архидьякона. Узнав об этом, он не мог понять, что с ним происходит. Он свыкся с мыслью о смерти Эсмеральды. Он был спокоен. Он испытал всю глубину страдания. Человеческое сердце (Клод размышлял на этот счет) может вынести только известную долю страдания.

Когда губка насыщена, целое море может прокатиться по ней, не прибавив ни одной капли воды.

Эсмеральда была мертва, губка насыщена, все было кончено на свете для Клода. Но узнать, что и она, и Феб живы, — это было возобновление пытки, потрясений, страданий, жизни. А Клод устал от всего этого.

Когда священник узнал эту новость, он заперся в своей монастырской келье.

Он не являлся ни на собрания капитула, ни на службы. Дверь его была заперта даже для епископа.

Так провел он несколько недель. Думали, что он болен. И это была правда.

Что делал он взаперти? С какими мыслями бился? Быть может, вел последний бой со своей роковой страстью? Или обдумывал последний план смерти для нее и гибели для себя?

Жан, его любимый брат, его балованный ребенок, стучался в его дверь, умолял, заклинал, десятки раз называл свое имя. Клод не впустил его.

Он проводил целые дни, прислонив лицо к стеклу окна. Из этого окна в монастыре он видел келью Эсмеральды, он часто видел ее с козочкой, иногда с Квазимодо. Клод видел ухаживание за нею глухого, его внимание, его послушание цыганке. У него была хорошая память, а память — мучительница ревнивцев, и он вспоминал странный взгляд, брошенный как-то звонарем на танцовщицу. Клод спрашивал себя, какая причина могла заставить Квазимодо спасти ее. Он был свидетелем коротких встреч цыганки с глухим, и ее жесты, дорисованные его страстным воображением, издали казались ему нежными. Он не доверял женщинам. И в нем пробудилась ревность, которой он не ожидал и которая заставляла его краснеть от стыда и негодования. «Пусть бы еще капитан, — с возмущением думал он, — но этот!» Мысль эта терзала его.

Ночи его были ужасны. С тех пор как он узнал, что цыганка жива, его страхи перед призраком и могилой исчезли, но возвратилась физическая страсть. Он корчился на своей постели при мысли, что молодая смуглянка была так близко от него.

Каждую ночь его воспаленное воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. То он видел ее склонившейся над заколотым капитаном, с закрытыми глазами, с белой грудью, окрашенной кровью Феба, в ту блаженную минуту, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, огонь которого несчастная почувствовала, хотя была полумертва. То представлялась она ему полураздетой в руках мучителей, когда винты испанского «сапога» охватили ее маленькую ступню, ее стройную, округлую ножку, ее гибкое, белое колено. Он еще видел ее словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из ужасного орудия пытки Тортерю. Наконец он воображал ее в рубашке, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти всю обнаженную, какой видел ее в последний раз. При этих сладострастных образах он сжимал кулаки, и дрожь пробегала у него по спине.

Одну ночь эти образы так разожгли в его венах кровь девственника и священника, что он кусал свою подушку. Наконец он встал, накинул плащ поверх сорочки и, с лампой в руках, безумный, полураздетый, с воспаленными глазами, вышел из своей кельи.

Клод знал, где найти ключ от Красной двери, соединявшей монастырь с собором, а ключ от башен, как известно, всегда был с ним.

VI. Продолжение рассказа о ключе от Красной двери

В эту ночь Эсмеральда заснула в своей келье, полная забвения, надежд и сладких грез. Она спала уже некоторое время, видя во сне, как всегда, Феба, как вдруг услыхала около себя шум. У нее был легкий беспокойный сон птицы: малейший шорох пробуждал ее. Она открыла глаза. Было темно. Тем не менее она увидала в своем окне смотрящее на нее лицо. Лампа освещала это видение. Заметив, что Эсмеральда увидела его, призрак задул лампу, но Эсмеральда успела разглядеть его. Веки девушки опустились от ужаса.

— О, — сказала она упавшим голосом, — священник!

Все минувшее горе, как молния, охватило ее, и она, похолодев, упала на постель.

Через мгновение она почувствовала прикосновение к своему телу, прикосновение, от которого она встрепенулась и хотела в ярости вскочить.

Священник был около нее и крепко обхватил ее руками. Она хотела закричать, но не могла.

— Уйди, изверг! Уйди, убийца! — шептала она дрожащим от негодования и ужаса голосом.

— Сжалься надо мной! — говорил священник, целуя ее плечи.

Она обеими руками схватила за остатки волос его плешивую голову и старалась отдалить от себе его поцелуи, как будто то были ядовитые укусы.

— Сжалься! — повторял несчастный. — Если б ты знала мою любовь к тебе! Это огонь, растопленное олово, тысяча ножей в сердце!

Он с неестественной силой схватил ее руки.

— Пусти меня, — растерянно промолвила она, — пусти, или я плюну тебе в лицо.

Священник отпустил ее.

— Унижай меня, бей меня, будь злой, делай со мной, что хочешь, но только сжалься! Полюби меня.

Тогда она начала бить его с яростью ребенка.

Своими прекрасными ручками она била его по лицу.

— Уходи, дьявол!

— Люби меня, люби меня! Пожалей меня! — кричал священник, прижимаясь к ней, отвечая ласками на удары.

Вдруг она почувствовала, что он сильнее ее.

— Пора кончить! — прошептал он сквозь зубы.

Она была побеждена, разбита. Дрожащая, она была в его руках, в его власти. Она чувствовала, как сладострастная рука блуждает по ее телу. Сделав последнее усилие, она закричала:

— Спасите! Сюда! Вампир! Вампир!..

Никто не являлся на помощь, одна Джали проснулась и жалобно заблеяла.

— Молчи! — повторял, задыхаясь, священник.

Вдруг, борясь с ним, ползая по земле, цыганка нащупала что-то холодное, металлическое. Это был свисток Квазимодо. Она схватила его с порывом надежды, поднесла к губам и дунула в него из последних сил. Свисток издал пронзительный, резкий, чистый звук.

— Что это? — проговорил священник.

Почти в то же мгновение его приподняли вверх сильные руки. В келье было темно. Он не видел, кто держал его, но слышал бешеный скрежет зу-

бов и разглядел поднятое над ним лезвие ножа.

Священнику показалось, что это Квазимодо, это не мог быть никто другой. Он вспомнил, что, входя, чуть не наступил на какую-то массу, лежавшую снаружи у двери. Но так как явившийся на зов не произносил ни слова, Клод не знал, что и подумать. Он схватил руку, державшую нож, и закричал: «Квазимодо!» — забыв в этот ужасный момент, что Квазимодо глух.

В одно мгновение священник был брошен на пол и ощутил железное колено у себя на груди. По этому острому колену он узнал Квазимодо. Но как поступить, чтобы Квазимодо мог узнать его? Ночь превращала глухого в слепого.

Ему грозила гибель. Молодая девушка, безжалостная, как разъяренная тигрица, не думала спасать его. Острие кинжала приближалось к его голове. Минута была критической. Вдруг его враг поколебался.

— Кровь не должна коснуться ее, — сказал он глухо.

Это действительно был голос Квазимодо.

Сильная рука выволокла священника за ноги из комнаты. Там должен был он умереть. На его счастье, в это время взошла луна. Когда они очутились за дверью кельи, ее бледный луч упал на

лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал, бросил его и попятился.

Цыганка, подошедшая к порогу своей кельи, увидела с удивлением, что роли переменились. Теперь священник грозил, Квазимодо умолял.

Священник, осыпавший его жестами гнева и упрека, властно приказал ему удалиться.

Глухой опустил голову, потом стал на колени перед дверью цыганки.

— Ваше преподобие, — сказал он покорным, но торжественным голосом, — вы сделаете все, что вам будет угодно, но прежде убейте меня.

Говоря это, он подал священнику свой нож. Взбешенный священник хотел схватить нож, но молодая девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и злобно расхохоталась.

— Подойди! — сказала она священнику.

Она подняла нож. Священник остановился. Без всякого сомнения, она ударила бы его.

— Ты не смеешь подойти, трус! — закричала она. Потом прибавила безжалостно, так как знала, что это каленым железом пронзит сердце священника: — Я знаю, что Феб жив!

Священник отшвырнул Квазимодо ногой и, дрожа от бешенства, скрылся на лестнице.

Когда он ушел, Квазимодо поднял свисток, который спас цыганку, и подал его ей, говоря:

— А то он было совсем заржавел!..

С этими словами он оставил ее одну. Молодая девушка, измученная этой бурной сценой, упала в изнеможении на свою постель и разразилась рыданиями. Ее горизонт снова затягивался тучами.

Священник ощупью вернулся в свою келью. Свершилось: Клод ревновал цыганку к Квазимодо. Он задумчиво повторял роковые слова:

— Она не достанется никому.

Книга десятая
I. У Гренгуара на Бернардинской улице появляется несколько блестящих идей

С тех пор как Гренгуар увидал, какой оборот принимает дело, и понял, что оно, наверное, для главных действующих лиц комедии кончится веревкой, виселицей и другими неприятностями, он уже старался не вмешиваться. Бродяги, с которыми он продолжал жить, рассуждая, что в конце концов это все же лучшие люди в Париже, не переставали интересоваться цыганкой. Он находил это очень естественным со стороны людей, у которых, как у нее, не было впереди ничего, кроме господ Шармолю и Тортерю, и которые не летали подобно ему в фантастических сферах на крыльях Пегаса. Из их разговоров Гренгуар узнал, что его супруга, обвенчанная с ним разбитой кружкой, нашла себе приют в соборе Богоматери, и был этому очень рад, но у него даже не явилось искушения разыскать ее. Изредка он вспоминал о козочке — вот и все. Днем он давал атлетические представления, которыми кормился, а ночью корпел над обличительной статьей против епи-

скопа Парижского, так как не мог забыть, что однажды был обрызган колесами его мельниц, и затаил против него месть. Кроме того, он был занят составлением комментариев к прекрасному сочинению Бодри ле Ружа, епископа Нойонского и Турнейского, «De cupa Petrarum»[130], вследствие чего он сильно заинтересовался архитектурой, и это искусство вытеснило из его сердца страсть к герметике. Впрочем, одно увлечение проистекало из другого, так как между герметикой и зодчеством существует тесная связь. Гренгуар перешел от своего увлечения идеей к увлечению формой этой идеи.

Однажды он остановился близ церкви Святого Германа Оксерского, на углу здания, называемого Фор л'Эвек и находившегося напротив другого, по имени Фор ле Руа. Около этого Фор л'Эвек была прелестная часовня четырнадцатого столетия, фасад которой выходил на улицу. Гренгуар благоговейно рассматривал внешние украшения часовни. На него нашла одна из тех минут эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник видит во всем мире одно только искусство и весь мир только в одном

---

[130] Сноски: 130
«О тесании камней» (*лат.*).

искусстве. Вдруг он почувствовал, что на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Он обернулся. Это был его бывший друг, бывший наставник — господин архидьякон.

Гренгуар был поражен. Он уже давно не встречался с архидьяконом, а Клод принадлежал к числу тех величавых и страстных личностей, встреча с которыми всегда нарушает равновесие в душе философа-скептика.

Архидьякон несколько минут хранил молчание, и Гренгуар за это время успел его рассмотреть. Он нашел, что dom Клод сильно изменился. Тот был бледен, как зимнее утро; глаза у него впали, и волосы почти совсем поседели. Священник первый прервал молчание, говоря спокойным, но ледяным тоном:

— Как поживаете, мэтр Пьер?

— Как поживаю? — переспросил Гренгуар. — Да так себе. Но вообще еще ничего. Я очень умерен. Вам ведь известен гиппократовский секрет вечного здоровья? Id est: cibi, potus, somni, venus — omnia moderata sint[131].

— Значит, у вас нет никакой заботы, мэтр Пьер? — спросил архидьякон, пристально смотря

---

[131] Сноски: 131

Он таков: в пище, в питье, во сне, в любви — во всем воздержание (*лат.*).

на Гренгуара.

— И то правда — нет.

— А что вы теперь делаете?

— Видите, учитель, рассматриваю, как обтесаны эти камни и изваяны эти барельефы.

Священник улыбнулся той горькой улыбкой, которая только приподнимает один из углов рта.

— И это вас занимает?

— Это для меня рай, — отвечал Гренгуар и, нагнувшись над изваяниями, с восхищенным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал: — Разве вы не находите, например, что изгибы этого барельефа исполнены с чрезвычайным искусством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонну. Где вы видали капитель, обвитую листьями, более нежными и тоньше изваянными? Вот три фрески Жана Мальевена. Это еще не самое совершенное произведение его великого гения. Тем не менее наивность, мягкость выражения лиц, красота поз и складок одежды и какая-то неизъяснимая прелесть примешиваются даже к самым недостаткам, придают фигурам необыкновенно приятный и изящный, может быть, даже слишком изящный характер. Вы не находите это очень интересным?

— Нет, отчего же? — заметил священник.

— А если бы вы видели внутренность часовни! — продолжал поэт, окончательно разболтавшись. — Всюду изваяния! Густо, как капустный кочан! Особенно хоры выдержаны в таком строго религиозном и оригинальном стиле, какого мне нигде не приходилось видеть!

Клод прервал его:

— Стало быть, вы счастливы?

Гренгуар отвечал с увлечением:

— Честное слово, да! Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они не менее интересны, чем женщины и звери, но далеко не так коварны.

Священник поднес руку ко лбу. Это был его привычный жест.

— Правда?

— Убедитесь сами, какое это удовольствие!

Он взял священника за руку и повел его под свод башенок, откуда начиналась лестница Фор л'Эвека.

— Вот лестница! Каждый раз, как я вижу ее, я бываю счастлив. Это одно из самых простых и вместе с тем редких сооружений Парижа. Все ступеньки скошены книзу. Ее красота и простота заключаются в красоте именно этих ступеней,

имеющих в ширину около фута, они сплетаются, набегают одна на другую, вделаны одна в другую, как бы впиваются друг в друга, твердо и вместе с тем изящно.

— И вы ничего не желаете?

— Ничего.

— И ни о чем не жалеете?

— У меня нет ни желаний, ни сожалений. Я наладил свою жизнь.

— Что люди устраивают, то обстоятельства расстраивают, — сказал Клод.

— Я философ школы Пиррона и стараюсь во всем сохранять равновесие, — отвечал Гренгуар.

— А чем же вы живете?

— Пописываю кое-какие эпопеи и трагедии. Но больше всего мне приносит мое ремесло, которое вам известно, учитель, — умение носить пирамиды из стульев в зубах.

— Грубое ремесло для философа.

— Оно тоже требует равновесия, — сказал Гренгуар. — Когда человека занимает одна мысль, он находит ей применение повсюду.

— Знаю, — отвечал архидьякон. Помолчав, священник продолжал: — Однако у вас довольно жалкий вид.

— Жалкий, да; но не несчастный.

В эту минуту послышался стук лошадиных копыт, и собеседники увидали, что на улицу въезжает рота стрелков королевского конвоя с поднятыми вверх пиками, с офицером во главе. Кавалькада имела блестящий вид, и звон копыт гулко отдавался по мостовой.

— Что это вы так смотрите на этого офицера? — сказал Гренгуар архидьякону.

— Мне кажется, я его узнаю.

— Как его зовут?

— Мне думается, это Феб де Шатопер, — отвечал Клод.

— Феб! Редкостное имя! Есть еще один Феб — граф де Фуа. Я знал одну девушку, у которой имя Феб не сходило с языка.

— Пойдемте со мной, — сказал священник. — Мне надо кое-что вам сказать.

Со времени появления отряда сквозь холодную наружность архидьякона стало пробиваться какое-то волнение. Он пошел. Гренгуар последовал за ним по привычке повиноваться ему, как все, кому случалось приближаться к этому человеку, обладавшему удивительным влиянием на людей. Они молча дошли до Бернардинской улицы, довольно пустынной. Клод остановился.

— Учитель, что вы хотите мне сказать? — спро-

сил Гренгуар.

— Не находите ли вы, что мундиры этих всадников, которых мы только что видели, куда красивее моей рясы или вашего одеяния? — сказал архидьякон с видом глубокого размышления.

Гренгуар покачал отрицательно головой:

— Мне куда больше нравится мой красно-желтый казакин, чем их железная и стальная броня. Удивительное удовольствие производить на ходу такой шум, как чугунная набережная при землетрясении!

— И вы никогда, Гренгуар, не завидовали этим красавцам в военных доспехах?

— Чему же завидовать, отец архидьякон? Их силе, вооружению, их дисциплине? Философия и независимость в лохмотьях сто́ят дороже. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва.

— Удивительно! — задумчиво проговорил священник. — А все же мундир очень красивая вещь.

Гренгуар, видя, что он задумался, отошел, чтобы полюбоваться фасадом соседнего дома. Он вернулся, хлопая в ладоши.

— Если бы вы не были так заняты красивыми мундирами военных, отец архидьякон, я попросил бы вас взглянуть на эту дверь. Я всегда

говорил, что дверь дома сеньора Обри самая красивая в мире.

— Пьер Гренгуар, — спросил архидьякон, — куда вы девали ту маленькую плясунью-цыганку?

— Эсмеральду? Какой резкий переход в разговоре!

— Она, кажется, была вашей женой?

— Да, нас повенчали разбитой кружкой. На четыре года. Кстати, — прибавил Гренгуар, смотря на архидьякона не без лукавства, — вы ее еще не забыли?

— А вы — неужели забыли?

— Почти… У меня столько дела… Боже мой, что за прелесть была ее козочка!

— Ведь цыганка, кажется, спасла вам жизнь?

— Черт возьми, это правда!

— Ну, так что же сталось с нею? Что вы с ней сделали?

— Не могу вам сказать. Ее, кажется, повесили.

— Вы думаете?

— Я не вполне уверен в этом. Когда я увидал, что дело пахнет виселицей, я поспешил убраться.

— Это все, что вы знаете?

— Постойте! Мне говорили, что она нашла убежище в соборе Богоматери, что там она в безопасности. Я очень рад этому, не знаю только,

спаслась ли козочка вместе с ней? Вот и все, что я знаю.

— Я скажу вам больше, — закричал dom Клод, и голос его, до тех пор тихий, медленный и почти глухой, загремел как гром. — Она действительно нашла убежище в соборе. Но через три дня правосудие снова овладеет ею, и ее повесят на Гревской площади. Это уже постановлено парламентом.

— Это досадно, — заметил Гренгуар.

К священнику в одно мгновение вернулось его ледяное спокойствие.

— Какому дьяволу понадобилось добиваться вторичного ее ареста? — спросил поэт. — Неужели нельзя было оставить парламент в покое? Кому убыток от того, что бедная девушка скрывается под стрельчатыми сводами собора, там, где ласточки вьют себе гнезда?

— Есть на свете такие демоны, — отвечал архидьякон.

— Все это чертовски досадно, — заметил Гренгуар.

Архидьякон помолчал и затем снова спросил:

— Итак, она спасла вам жизнь?

— Да, у моих друзей, бродяг… Я уже почти болтался на виселице. Пожалели бы теперь!

— Вы не желаете сделать что-нибудь для нее?

— Очень бы желал, господин Клод, только боюсь, не нажить бы себе хлопот.

— Подумаешь!

— Да! Подумаешь! Вам-то хорошо, учитель! Ну а у меня начаты две большие работы.

Священник ударил себя по лбу. Несмотря на все его старания казаться спокойным, по временам резкий жест выдавал его душевные муки.

— Как ее спасти?

Гренгуар сказал ему:

— Я вам отвечу, наставник: «Il padelt», что значит по-турецки: «Бог наша надежда».

— Как спасти ее? — задумчиво повторил Клод.

Гренгуар в свою очередь ударил себя по лбу:

— Послушайте, у меня бывают минуты вдохновения. Я найду способ. Не попросить ли помилования у короля?

— Помилования — у Людовика Одиннадцатого?

— Отчего же нет?

— Отнимите кость у тигра!

Гренгуар начал придумывать другой исход.

— Ну, вот, слушайте! Хотите, я обращусь к повивальным бабкам с заявлением, что эта девушка беременна?

Впавшие глаза священника сверкнули:

— Беременна! Дурак! Разве ты имеешь основания утверждать это?

Вид его испугал Гренгуара. Он поспешил сказать:

— Я не имею никакого основания. Наш брак был настоящим forismaritagium[132]. Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки.

— Безумство! Позор! Замолчи!

— Напрасно вы сердитесь, — пробормотал Гренгуар. — Отсрочка никому бы не принесла вреда, а повивальные бабки — бедные женщины — заработали бы сорок парижских денье.

Священник не слушал его.

— Ее надо как-нибудь вывести оттуда! — говорил он. — Приговор должен быть приведен в исполнение через три дня. Но если б даже не было приговора… этот Квазимодо… У женщин такой извращенный вкус!.. — Он повысил голос: — Мэтр Пьер, я рассудил, что есть только одно средство спасти ее.

— Именно?.. Я его не вижу.

— Послушайте, мэтр Пьер, вспомните, что вы обязаны ей спасением жизни. Я вам изложу свой план. За церковью наблюдают день и ночь. Из

---

[132] Сноски: 132
Фиктивный брак (*лат.*).

нее выпускают только тех, кого видели входящими. Вы, стало быть, можете войти. Вы придете. Я проведу вас к ней. Вы поменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш казакин, вы — ее юбку.

— До сих пор все идет отлично, — заметил философ. — А дальше?

— Дальше? Она уйдет в вашем платье; вы останетесь в ее. Вас, может быть, повесят, но она будет спасена.

Гренгуар почесал у себя за ухом с очень серьезным видом.

— Да, вот мысль, которая ни за что не пришла бы мне в голову самому.

При неожиданном предложении Клода открытое, добродушное лицо поэта омрачилось, как веселый итальянский пейзаж, когда принесенное порывом ветра облако закрывает собою солнце.

— Ну, что же вы скажете о моем плане, Гренгуар?

— Я скажу, что меня повесят не «может быть», а наверное.

— Это уж вас не касается.

— Черт возьми! — воскликнул Гренгуар.

— Она спасла вам жизнь. Вы только уплатите ей свой долг.

— Есть за мной и другие долги, которых я не

плачу.

— Мэтр Пьер, это необходимо.

Архидьякон говорил повелительным тоном.

— Послушайте, dom Клод, — отвечал совершенно сбитый с толку Гренгуар. — Вы настаиваете на выполнении вашего плана, и совершенно напрасно. Я не вижу причины, почему мне идти на виселицу за кого-нибудь другого.

— Что же вас так привязывает к жизни?

— Тысяча причин.

— Какие, например?

— Какие? Воздух, солнце, утро, вечер, лунный свет, мои друзья-бродяги, покойники, чудные произведения парижского зодчества, которые я изучаю, три толстые книги, которые я намереваюсь написать, между прочим, одну против епископа и его мельниц. Да мало ли еще что!.. Анаксагор говорил, что он живет для того, чтобы любоваться солнцем. Кроме того, я имею счастье проводить все дни с утра до вечера с гением, то есть с самим собой, что весьма приятно.

— Пустозвон! — пробормотал архидьякон. — Ну а кто сохранил тебе жизнь, которую ты находишь такой приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь этим воздухом, что видишь небо и что твой птичий ум еще тешится пустяками и глупостями?

Без этой девушки где бы ты был? И ты, обязанный ей своей жизнью, хочешь, чтобы она умерла? Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, очаровательного создания, без которого, кажется, и свет померкнет, более божественного, чем сам Бог. А ты, полусумасшедший, пустой набросок чего-то, какое-то растение, воображающее, что оно думает и движется, ты будешь пользоваться жизнью, которую украл у нее, которая так же бесполезна, как свеча в яркий полдень! Пожалей ее, Гренгуар! Будь теперь ты великодушен! Она показала тебе пример.

Священник говорил пылко. Гренгуар слушал его сначала равнодушно, затем растрогался, и наконец, на лице его появилась трагическая гримаса, сделавшая его похожим на новорожденного, у которого резь в желудке.

— Как вы увлекательно говорите! — сказал он, отирая слезу. — Ну, хорошо; я подумаю… Оригинальная вам пришла мысль… В конце концов, — продолжал он, помолчав, — кто знает? Может случиться, что меня и не повесят. Ведь не всегда женится тот, кто посватался. Найдя меня в келье в таком смешном наряде — юбке и чепце, — они, может быть, только расхохочутся… Ну а если даже и повесят? Разве смерть от веревки

не такая же смерть, как всякая другая, или, лучше сказать, не похожа на всякую другую? Смерть на виселице — смерть, достойная мудреца, который колебался всю свою жизнь. Эта смерть — ни рыба ни мясо, как ум истинного скептика, смерть, носящая отпечаток пирронизма и нерешительности, смерть между небом и землей, парящая в воздухе. Это смерть, приличная философу, и мне она, может быть, предопределена. Великолепно умереть так, как жил.

Священник прервал его:

— Значит, решено?

— Что такое смерть, в конце концов? — продолжал Гренгуар с увлечением. — Одно неприятное мгновение, необходимая дань, переход от ничтожества к небытию. Когда кто-то спросил философа Церцидаса, охотно ли бы он умер, тот ответил: «Отчего и не умереть, раз я в загробной жизни увижу великих людей — Пифагора среди философов, Гекатея среди историков, Гомера среди поэтов, Олимпия среди музыкантов?»

Архидьякон протянул ему руку:

— Итак, решено? Вы придете завтра.

Этот жест возвратил Гренгуара к действительности.

— Ах нет, — ответил он тоном человека, только

что проснувшегося. — Быть повешенным! Это ни с чем не сообразно! Я не хочу.

— В таком случае прощайте! — И архидьякон прибавил сквозь зубы: — Я доберусь до тебя!

«Не хочу я, чтобы этот человек добрался до меня», — подумал Гренгуар и побежал за Клодом.

— Стойте! Отец архидьякон! Зачем ссориться старым друзьям? Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене, — хорошо! Вы придумали план, чтобы вывести ее невредимой из собора, но предлагаете средство, весьма неприятное для меня, Гренгуара. А что, если я вам предложу свой план?.. Предупреждаю вас, что у меня сию минуту мелькнула блестящая мысль. Что вы скажете, если я придумал средство вывести ее из затруднительного положения, не подвергая своей шеи опасности свести знакомство с петлей? Что вы на это скажете? Ведь вы этим удовлетворитесь? Разве для вашего удовольствия необходимо, чтоб меня повесили?

Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны.

— Вот болтун!.. Говори, что ты такое придумал!

— Да, — продолжал Гренгуар, разговаривая сам с собой и поднося указательный палец к носу в знак размышления, — так! Бродяги — славные

ребята… Цыгане любят ее… Они пойдут по первому зову… Нет ничего легче… Одним ударом. В сумятице ее легко будет похитить… Хоть завтра вечером… Они будут очень рады.

— Говори же, что ты придумал? — настаивал священник, тряся его.

Гренгуар величественно повернулся к нему.

— Оставьте! Видите, я сочиняю. — Он подумал еще несколько секунд, затем зааплодировал своей мысли, крича: — Великолепно! Успех верный!

— Говори же! — гневно закричал Клод.

Гренгуар сиял.

— Идите сюда, я буду говорить шепотом. Презабавная выдумка, которая всех нас выведет из затруднения. Черт возьми! Надо согласиться, что я не дурак.

Он сам прервал себя:

— Да! А козочка с нею вместе?

— Да! Черт тебя побери!

— Ведь и ее они бы повесили?

— А мне какое дело?

— Да, наверное, повесили бы. Вот в прошедшем месяце повесили же свинью! Палачу это выгодно. Он съедает потом мясо. Повесить мою прелестную Джали? Бедную маленькую козочку!

— Проклятие! — вскричал Клод. — Ты сам па-

лач! Ну, что же ты придумал, чудак? Надо, что ли, вытаскивать из тебя мысль щипцами?

— Тише, учитель, слушайте!

Гренгуар наклонился к уху архидьякона и стал говорить шепотом, бросая тревожные взгляды вдоль улицы, где, впрочем, в это время не видно было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку, сказав холодно:

— Хорошо… До завтра.

— До завтра, — повторил Гренгуар.

И когда архидьякон направился в одну сторону, Гренгуар пошел в другую, бормоча вполголоса:

— Важно ты это придумал, мэтр Гренгуар. Что же такое! Из того, что ты маленький человечек, еще не следует, что ты станешь бояться большого дела. Битон носил большого быка на плечах; вертихвостки, малиновки и каменки перелетают через океан.

II. Становись бродягой!

Вернувшись в монастырь, архидьякон встретился у дверей с братом, Жаном де Муленом, который, поджидая его, заполнял скуку ожидания, рисуя на стене углем профиль старшего брата и украшая его огромным носом.

Клод едва взглянул на брата. Он был занят иными мыслями. Веселое лицо повесы, не раз заставлявшее своим радостным видом проясняться мрачную физиономию священника, оказалось на этот раз бессильным разогнать туман, все более и более сгущавшийся над этой сломленной, гниющей и разлагающейся душой.

— Братец, — робко начал Жан, — я пришел к вам.

Архидьякон даже не поднял глаз.

— Ну и что ж?

— Братец, — продолжал лицемер, — вы так добры ко мне и даете мне всегда такие хорошие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам…

— Дальше!

— Увы, братец, я убедился, что вы были правы, говоря мне: «Жан! Жан! Cessat doctorum doctrina, discipulorum disciplina…[133] Будь благоразумен, Жан, учись, не отлучайся из коллежа без законной причины и без позволения наставника! Не бей пикардийцев, noli, Joannes, verberare Picardos. Не покрывайся плесенью, лежа на школьной соломе, как безграмотный осел, quasi asinus illiteratus. Жан, подчиняйся наказанию, налагае-

---

[133] Сноски: 133

Иссякает ученость ученых, послушание учеников (*лат.*).

мому наставником; ходи каждый вечер в часовню и пой там каноны, стихи и молитвы Пресвятой Деве Марии…» Ах, какие то были превосходные советы!

— Ну а дальше что?

— Братец, вы видите перед собой виновного, преступника, развратника, чудовище! Дорогой братец, Жан потоптал ногами, как солому и навоз, ваши советы. Я жестоко за это наказан, и Господь необычайно справедлив. Пока у меня были деньги, я гулял, кутил, делал глупости… О, как привлекателен разгул сначала и как отвратительна его оборотная сторона! Теперь у меня уж нет ни гроша, я спустил скатерть, последнюю рубашку и полотенце! Теперь конец веселью! Яркая свеча догорела, и остался один сальный огарок, от вони которого приходится затыкать нос. Девчонки смеются надо мной. Приходится пить только воду. Раскаяние и кредиторы преследуют меня.

— Ну и вывод из всего этого? — спросил архидьякон.

— Увы, братец! Мне очень хотелось бы начать лучшую жизнь. Я прихожу к вам, полный раскаяния. Я приношу покаяние, исповедуюсь и бью себя в грудь кулаками. Вы были совершенно

правы, высказав желание, чтобы я стал лиценциатом и сделался помощником наставника в коллеже Торши. Именно теперь я почувствовал глубокое к этому призвание. Но у меня нет даже чернил — надо купить новый запас; нет перьев — и их надо купить; нет ни бумаги, ни книг — все надо купить! Для этого мне необходимо немного денег. Вот я и пришел к вам, братец, с сердцем, полным раскаяния.

— Это все?

— Да… — отвечал студент. — Немного денег.

— У меня их нет.

Тогда Жан заявил серьезно и решительно:

— В таком случае, братец, мне очень прискорбно, но я должен заявить, что мне делают весьма выгодные предложения совершенно с другой стороны. Вы не хотите дать мне денег?.. Нет?.. В таком случае я становлюсь бродягой.

Произнося это ужасное слово, Жан принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния. Архидьякон отвечал холодно:

— Становись бродягой.

Жан низко поклонился и, посвистывая, спустился с монастырской лестницы.

В ту минуту, как он проходил монастырским двором под окном кельи брата, он услыхал, что

окно отворилось.

Подняв голову, он увидал, что в окно высунулось строгое лицо архидьякона.

— Убирайся к черту! — крикнул dom Клод. — Вот тебе последние деньги, которые ты получаешь от меня.

Говоря это, священник бросил вниз кошелек, посадивший студенту большую шишку на лоб. Жан ушел, огорченный и вместе с тем довольный, как собака, которую забросали мозговыми костями.

III. Да здравствует веселье!

Читатель, может быть, еще не забыл, что оградой части Двора чудес служила старинная городская стена, большинство башен которой уже начинало в то время разваливаться. Одну из этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижнем этаже помещался кабак, а все прочее — в верхних этажах. Эта башня была самым оживленным, а следовательно, и самым отвратительным местом в резиденции бродяг. Это был словно огромный улей, жужжавший день и ночь. Ночью, когда большинство нищих спало, когда уже не светился огонь ни в одном

окошке домишек, окружавших площадь, когда уже ни один крик не доносился из этих бесчисленных лачуг, кишевших ворами, проститутками, незаконными и краденными детьми, — веселую башню можно было узнать по ее шуму, по красному свету, лившемуся из ее окон, отдушин, трещин рассевшихся стен, словом, вырывавшемуся из всех ее пор.

Итак, в подвальном этаже помещался кабак. В него спускались через низенькую дверь по лестнице, крутой, как классический александрийский стих. На двери вывеску заменяла мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят, с каламбуром внизу: «Кабачок похоронных звонарей».

Однажды вечером, когда на парижских колокольнях давали сигналы к тушению огней, ночные сторожа — если бы им только дано было право входить в страшный Двор чудес — могли бы заметить, что в притоне бродяг было еще шумнее, чем обыкновенно, что там пили больше и бранились крепче. Перед дверью толпились многочисленные группы, разговаривавшие вполголоса, словно обсуждая какой-то важный проект, а местами оборванцы, сидя на корточках, оттачивали старые железные ножи о камень.

Между тем в самой таверне вино и игра так отвлекали бродяг от мыслей, занимавших в этот вечер все умы, что трудно было бы догадаться из отрывков речей пирующих, о чем, собственно, шла речь. Заметно было только, что они веселее обыкновенного и что у всех сверкает какое-нибудь оружие, зажатое между колен: кривой нож, топор, тяжеловесный палаш или приклад старой пищали.

Зал круглой формы был очень обширен, но столы стояли так тесно и пьющих было так много, что все, находившееся в таверне, — мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки, все, что тут пило, спало, играло, здоровые и калеки, — все перемешалось в беспорядке, как устричные раковины в куче. Кое-где на столах горели сальные свечи; но главное освещение, заменявшее в таверне люстру оперной залы, было пламя очага. Подвал был настолько сыр, что даже летом в огромном камине со скульптурным навесом, заваленным тяжелыми железными щипцами и кухонными принадлежностями, всегда ярко пылали дрова и торф, и это был такой огонь, какой в кузнице дает ночью яркое отражение ее окон на стенах противоположных домов деревенской улицы. Большая собака, важно восседавшая на

куче золы, поворачивала перед горящими угольями вертел с мясом.

Однако, несмотря на весь хаос, оглядевшись, можно было различить в этой толпе три группы, толпившиеся вокруг трех человек, уже знакомых читателю. Один из них, в странном наряде из каких-то пестрых восточных лохмотьев, был Матиас Хунгади Стукали, герцог египетский и цыганский. Бродяга восседал на столе, скрестив ноги, подняв указательный палец кверху, и громким голосом посвящал своих слушателей в тайны белой и черной магии, а те только рты разевали от удивления.

Другая кучка толпилась вокруг нашего старинного приятеля, храброго короля тунского, вооруженного до зубов. Клопен Труйльфу очень деловито, тихим голосом, руководил расхищением лежащей перед ним огромной бочки с выбитым дном, наполненной оружием. Топоры, сабли, кольчуги, наконечники для стрел, копий и алебард, луки и вертящиеся стрелы сыпались оттуда, как яблоки и виноград из рога изобилия. Каждый брал из кучи, что хотел, — темляк, шпагу или меч с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались, а безногие калеки заковывались в броню и латы и, точно огромные жуки, ползали

между ног пирующих.

Наконец, третья группа, самая многочисленная, шумная и веселая, занимала скамьи и столы вокруг какого-то человека, звонкий голос которого, ораторствуя и ругаясь, раздавался из-под тяжелых доспехов, дополненных каской и шпорами. Человек, навьючивший на себя эти рыцарские доспехи, совершенно исчезал под своим вооружением, так что от всей его особы виднелись только дерзкий красный короткий нос, прядь белокурых волос, румяный рот и смелые глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, справа болтался большой меч, а слева — заржавленный самострел. Перед ним стояла объемистая кружка вина, а рядом с ним сидела толстая, неряшливая девушка. Все вокруг хохотали, бранились и пили.

Прибавив еще групп двадцать второстепенных, слуг и служанок, бегавших с кружками пива, игроков, нагнувшихся над шарами и костями, игравших в мельницу, палочку и другие азартные игры; перебранка в одном углу комнаты, поцелуи — в другом, можно составить себе некоторое понятие об общем виде этой картины, освещенной колеблющимся светом яркого огня, пылавшего в камине и заставлявшего плясать на стене множе-

ство огромных уродливых теней.

Шум, царивший в таверне, придавал ей сходство с внутренностью колокола во время трезвона.

Сковородка, на которой шипело сало, наполняла своим неумолкаемым треском промежутки между разговорами, перекрещивавшимися во всех направлениях.

Среди всего этого гама, в глубине таверны, на скамье возле очага, положив ноги на пепел и устремив взор на горящие уголья, сидел философ, погруженный в свои мысли. Это был Пьер Гренгуар.

— Ну, скорей! Вооружайтесь живей! Через час выступать! — говорил Клопен Труйльфу своей компании.

Одна из женщин запела:

Доброй ночи, отец мой и мать,
Уж последние тухнут огни.

Двое картежников спорили.

— Валет! — кричал, весь разгоревшись, один из них, показывая кулак другому. — Покажу я тебе трефы! Ты можешь самого Мистрижи заткнуть за пояс в карточной игре у короля!

— Уф! — рычал нормандец, которого можно

было узнать по его гнусавому произношению. — Здесь напихано столько народу, сколько святых в Кальювилле!

— Дети мои, — говорил фальцетом герцог египетский, обращаясь к своей аудитории. — Французские ведьмы летают на шабаш без метлы, без сала, не на каком-либо звере, а только при помощи магического слова. Итальянских колдуний у дверей всегда ждет козел. Но все обязательно вылетают в трубу.

Голос юноши, вооруженного с головы до ног, покрывал весь гам.

— Ура! Ура! — кричал он. — Я сегодня впервые ношу оружие! Бродяга! Я теперь бродяга. Черт побери самого Иисуса! Налейте мне вина! Друзья, меня зовут Жан Фролло де Мулен, и я дворянин. Я уверен, что, если бы у Бога было оружие, Он стал бы разбойником! Братья! Мы предпринимаем славную экспедицию. Мы храбрецы. Мы осадим собор, выломаем двери, выведем красавицу, спасем ее от судей, от священников, разнесем монастырь, сожжем епископа в его доме и сделаем все это в меньший срок, чем надо бургомистру, чтобы съесть ложку супу. Наше дело правое; мы ограбим собор Богоматери — и баста! Квазимодо повесим! Знаете вы Квазимодо, сударыни? Вида-

ли ли вы, как он, весь запыхавшись, трезвонит в большой колокол в Троицын день? Красивое зрелище! Словно сам дьявол сел верхом на жерло… Послушайте меня, друзья, я в душе бродяга, я родился бродягой. Я был очень богат и прожил все свое состояние. Мать желала, чтобы я был офицером, отец — чтобы я сделался дьяконом, тетка — секретарем королевства, бабушка — королевским прокурором, а внучатная бабушка — казначеем. Я же сделался бродягой! Я сказал это отцу, и он мне ответил проклятием, мать расплакалась и распустила нюни, как это полено в камине. Да здравствует веселье! Трактирщица, голубушка, другого вина! У меня есть еще чем заплатить. Вина! Только не сюренского! Оно дерет глотку! Лучше уж глотать прутья, черт побери!

Компания с хохотом рукоплескала ему, и, видя, что гам вокруг него усиливается, школяр продолжал:

— Ах, какой славный шум! Populi debacchantis populosa debacchatio![134] — И он принялся петь, закатывая глаза, тоном каноника, начинающего служить вечерню: — Quae cantica! Quae organa! Quae cantilenae! Quae melodiae hic sine fine

---

[134] Сноски: 134
Беснующегося народа — разнообразное беснование! (*Лат.*)

decantantur! Sonant melliflua hymnorum organa, suavissima angelorum melodia, cantica canticorum mira!..[135]

Он перебил сам себя:

— Чертова трактирщица! Подай мне ужин!

Наступила минута затишья, среди которого вдруг зазвучал резкий голос герцога египетского, поучавшего своих цыган:

— Ласку зовут Адуиной, лисицу — голубой ногой или лесным бродягой, волка — серой или золотой ногой, медведя — стариком или дедушкой. Колпак гнома делает невидимым и позволяет видеть невидимые вещи. Всякую жабу, которую хотят окрестить, следует одеть в красное или черное бархатное платье и привязать ей к шее и ногам по колокольчику. Крестный отец держит голову, крестная мать — задние ноги… Злой дух Сидрагасум властен заставлять девушек плясать нагими.

— Клянусь обедней, хотел бы я быть злым духом — Сидрагасумом! — перебил Жан.

Между тем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом конце таверны.

---

[135] Сноски: 135

Какие песнопения! Какие трубы! Какие песни! Какие мелодии здесь без конца звучат! Поют медоточивые трубы, раздается нежнейшая ангельская мелодия, дивная песнь песней! (*лат.*)

— Бедняжка Эсмеральда, — говорил один цыган. — Ведь она наша сестра; надо вытащить ее оттуда.

— А разве она все еще в соборе? — спросил один из бродяг с еврейским лицом.

— Да, черт возьми!

— Ну, так идем на собор, товарищи! — крикнул бродяга. — Тем более что в часовне Святых Ферреоля и Ферруциона есть две статуи — одна святого Иоанна Крестителя, а другая — святого Антония — обе из чистого золота и вместе весят семь золотых марок пятнадцать унций; а серебряные золоченые пьедесталы их весят семнадцать марок пять унций. Я это знаю; я ведь золотых дел мастер.

В эту минуту Жану подали его ужин. Он воскликнул, положив голову на грудь девушки, сидевшей рядом с ним:

— Клянусь святым Вульфом Люком, которого народ называет святым Гоглю, я вполне счастлив! Передо мной торчит какой-то дурак с рожей гладкой, как у эрцгерцога; а у соседа слева зубы такие длинные, что закрывают весь его подбородок. А сам я похож на маршала Жиэ при осаде Понтуаза. Я так же, как он, опираюсь на холм. Черт возьми, приятель, ты с виду похож на торговца, а усажи-

ваешься рядом со мной. Я, любезный, из дворян. Торговля несовместна с дворянством. Убирайся отсюда!.. Эй, вы там, перестаньте драться! Как, Баптист Крок-Уазон, у тебя такой великолепный нос, а ты рискуешь подставлять его под кулак этого быка! Дурак! Non cuiquam datum est habere nasum[136]. А ты, право, божественна, Жаклина Ронж-Орейль, жаль только, что у тебя нет волос. Эй! Меня зовут Жан Фролло, и брат мой — архидьякон. Черт его побери! Все, что я говорю вам, — правда. Делаясь бродягой, я с легким сердцем отказался от половины дома в раю, которую брат сулил мне: dimidiam domum in paradiso. Привожу его подлинные слова. У меня есть владение на улице Тиршап, и все женщины влюбляются в меня. Это так же верно, как верно то, что святой Илия был хорошим золотых дел мастером, что пять цехов славного города Парижа — это дубильщики, сыромятники, ременщики, кошелечники и седельщики, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичных скорлуп. Клянусь вам, товарищи:

Que je ne beuvrai de piment

---

[136] Сноски: 136
Не всякому дано иметь нос (*лат.*).

Devant un an, si je cy ment![137]

Посмотри, моя милая, светит луна. Взгляни в отдушину. Как ветер мнет облака! Вот и я так твою косынку. Эй, вы, бабы, смотрите, как текут сопли из детских носов и со свечей! Христос и Магомет! Что это я ем, Юпитер! Эй, хозяйка! На голове у твоих девок волос нет, зато их находишь в яичнице. Старуха! Я люблю лысую яичницу. Ах, чтоб тебя черт схватил за нос! Чертовски хороший кабак, где девки причесываются вилками!

Говоря это, он разбил тарелку об пол и запел во все горло:

Et je n'ai, moi:
Par le sang – Dieu!
Ni foi, ni loi,
Ni feu, ni fieu,
Ni roi,
Ni Dieux![138]

Между тем Клопен Труйльфу окончил раздачу оружия. Он подошел к Гренгуару, который,

---

[137] Сноски: 137

Пусть я не попробую крепкой Настойки целый год, если я лгу! (*Фр.*)

[138] Сноски: 138

Клянусь кровью Господа: Не верю я ни в Бога, ни в черта, Нет у меня Ни крова, ни пристанища, Ни короля, Ни Бога! (*Фр.*)

поставив ноги на перекладину камина, казался погруженным в глубокое раздумье.

— Друг Пьер, — начал тунский король, — о каком ты черте думаешь?

Гренгуар обернулся к нему с меланхолической улыбкой:

— Люблю я огонь, ваше величество. Я люблю его не по той тривиальной причине, что он согревает нам ноги или варит наш суп, но люблю его за его искры. Иногда я по целым часам смотрю на них. Я открываю тысячу вещей в этих звездах, усеивающих черный фон очага. Эти звезды — тоже миры.

— Гром и молния, если я тебя понимаю! — сказал бродяга. — Знаешь ли ты, который час?

— Не знаю, — отвечал Гренгуар.

Клопен подошел к герцогу египетскому.

— Друг Матиас, неудачное мы выбрали время: говорят, король Людовик Одиннадцатый в Париже?

— Тем более нужно извлечь из его когтей нашу сестру, — ответил старый цыган.

— Ты молодец, Матиас, — сказал тунский король. — К тому же мы живо обделаем. Сопротивления в соборе нечего бояться. Каноники — зайцы, а мы сильны. То-то удивятся парла-

ментские прислужники, когда придут завтра за ней. Клянусь кишками Папы, я не допущу, чтобы повесили нашу красавицу.

Клопен вышел из кабака.

Между тем Жан крикнул хриплым голосом:

— Я пью, я ем, я пьян, я Юпитер! Ей, Пьер-душегуб, если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, я щелчком смахну у тебя пыль с носа.

Гренгуар, выведенный из задумчивости, со своей стороны, начал всматриваться в происходившую вокруг него бурную и крикливую сцену, бормоча сквозь зубы: «Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebreitas[139]. Увы! хорошо я делаю, что не пью, и прав святой Бенедикт, говоря: “Vinum apostatare facit etiam sapientes”»[140].

В эту минуту вернулся Клопен и закричал громовым голосом:

— Полночь!

При этом слове, вызвавшем такой же эффект, как приказание седлать, отданное отдыхающему полку, все бродяги — мужчины, женщины и дети — толпой бросились вон из кабака, гремя оружием и звеня железом.

---

[139] Сноски: 139
От вина распутство и буйное веселье (*лат.*).

[140] Сноски: 140
«Вино доводит до греха даже мудрецов» (*лат.*).

Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни одного огонька. Однако двор не опустел: на нем стояла толпа мужчин и женщин, переговаривавшихся шепотом. Слышен был гул, и в темноте отсвечивало разнообразное оружие. Клопен стал на большой камень.

— Стройся, бродяги! — скомандовал он. — Стройся, цыгане! Стройся, галилеяне!

В темноте началось движение. Огромная толпа, по-видимому, строилась в колонну. Через несколько минут тунский король еще раз возвысил голос:

— Идти тихо во время шествия по Парижу! Пароль — «Огонек горит!» Факелы зажечь только перед собором. Марш!

Через десять минут ночные сторожа бежали в ужасе перед длинной процессией одетых в черное людей, молча двигавшихся по направлению к мосту Шанж по извилистым улицам, пересекающим по всем направлениям огромный Рыночный квартал.

IV. Медвежья услуга

В эту самую ночь Квазимодо не спал. Он только что в последний раз обошел собор. Запирая дверь,

он не заметил, что архидьякон прошел мимо него, и выразил неудовольствие, видя, как он тщательно запирал все засовы и замки тяжелых дверей с железной обшивкой, придававшей этим дверям прочность каменной стены. Клод казался еще более озабоченным, чем обычно. Вообще со времени ночного приключения в келье он обращался с Квазимодо очень дурно. Но напрасно он был груб с ним, даже иногда бил его, — ничто не было в состоянии поколебать терпения, покорности, преданности верного звонаря. Он сносил от архидьякона все: брань, угрозы, побои — без слова, без малейшей жалобы. Разве только глаз его с беспокойством следил за Клодом, когда тот поднимался по лестнице в башню. Но архидьякон и сам уже не показывался на глаза цыганке.

Итак, в эту ночь, бросив мимоходом взгляд на свои колокола, которые он совсем забросил, — на «Жаклину», «Марию», «Тибо», — Квазимодо взошел на вершину северной башни и, поставив на крышу наглухо закрытый фонарь, стал смотреть на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж, который в то время не освещался, представлялся глазу смутной темной массой, перерезанной местами беловатыми изгибами Сены. Квазимодо не видел света нигде, кроме

окна отдаленного здания, темный профиль которого вырисовывался над крышами, в стороне Сент-Антуанских ворот. Там тоже кто-то не спал.

Оглядывая своим единственным глазом этот темный, туманный горизонт, Квазимодо чувствовал в душе какую-то необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был настороже. Он замечал, что вокруг собора постоянно бродят какие-то люди зловещего вида и не спускают глаз с убежища девушки. Он подозревал, что, быть может, против несчастной составился какой-нибудь заговор. Он воображал, что народ преследует ее своей ненавистью так же, как его, и что, следовательно, можно ожидать всего. Поэтому он стоял на колокольне настороже, «мечтая в своем укромном уголке», как говорит Рабле, и устремляя взгляд то на келью, то на Париж, полный недоверия, зорко сторожил, как хорошая собака.

Вдруг в ту минуту, как он всматривался в Париж одним глазом, который природа как бы в вознаграждение снабдила такой зоркостью, что он почти заменял Квазимодо все недостающие у него органы, ему показалось, что набережная Виейль-Пеллетри приняла какой-то странный вид, что там что-то движется, и линия парапета, черневшая на светлой поверхности вод, не так

пряма и спокойна, как на прочих набережных, а как будто колеблется, подобно речной волне или головам движущейся толпы.

Это показалось ему странным. Он удвоил внимание. Движение, казалось, шло со стороны Сите. Однако — ни малейшего огонька. Движение несколько времени происходило на набережной, затем оно мало-помалу улеглось, будто волна вошла внутрь острова. Затем все исчезло, и линия моста снова сделалась прямой и неподвижной.

В ту минуту, как Квазимодо терялся в догадках, ему показалось, что движение возобновилось на улице, идущей от площади по Сите, перпендикулярно к фасаду собора. Наконец, несмотря на всю густоту мрака, он увидел, как у выхода из этой улицы показалась голова колонны, и вслед за тем всю площадь наводнила толпа, в которой ничего нельзя было рассмотреть впотьмах, кроме того, что это — толпа.

Это зрелище было страшно. Вероятно, эта странная процессия, которая, по-видимому, хотела скрыться под покровом темноты, хранила глубокое молчание. Все же оттуда должен был доноситься кое-какой шум — хотя бы шум шагов. Но эти звуки не долетали до нашего глухого, и масса людей, которую он едва различал, которой

не слыхал, хотя она волновалась и двигалась так близко от него, производила на него впечатление сонма мертвецов, безмолвного, неосязаемого, теряющегося во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман, полный людей, что он видит, как в тени движутся тени.

Тогда к нему вернулись его опасения, мысль о покушении на цыганку снова возникла в его мозгу. Он смутно чувствовал, что наступает решительная минута. В эту критическую минуту он все обдумал так основательно и быстро, как того мудрено было ожидать от его слабо развитого мозга. Разбудить ему цыганку? Дать ей возможность бежать? Каким ходом? Улицы все заняты, а задний фасад собора выходит на реку. Нет ни лодки, ни выхода… Оставалось одно: пасть мертвым на пороге собора, сопротивляться, по крайней мере до тех пор, пока не придет помощь, если только она придет, но не нарушать сна Эсмеральды. Несчастную всегда еще успеют разбудить для смерти. Приняв такое решение, он начал более спокойно приглядываться к врагу.

Толпа на площади, по-видимому, росла с каждой минутой. Он понял, что она производила очень мало шума, потому что окна, выходившие на улицы и площадь, оставались закрытыми.

Вдруг сверкнул огонь, и над головами замелькало во мраке колеблющееся пламя семи или восьми факелов. При свете их Квазимодо ясно рассмотрел на площади чудовищную, волнующуюся толпу оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, кривыми ножами и палашами, острия которых сверкали. Местами черные вилы торчали, как рога, над этими безобразными лицами. Квазимодо неясно припомнилась эта чернь, и ему даже казалось, что он узнает и лица этих людей, провозглашавших его несколько месяцев тому назад папой шутов. Один человек с зажженным факелом в одной руке и дубиной в другой встал на тумбу и, по-видимому, держал речь. В то же время странная армия сделала несколько эволюций, как бы размещаясь вокруг собора. Квазимодо взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы видеть все поближе и придумать средства обороны.

Действительно, Клопен Труйльфу, дойдя до дверей собора, построил свою армию в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, однако, по свойственному ему благоразумию, хотел сохранить порядок, который позволил бы ему встретить внезапную атаку ночной стражи или отряда королевских войск. Он расположил

свой отряд так, что издали и сверху он напоминал римский треугольник в битве при Экноме, кабанью голову Александра или знаменитый клин Густава-Адольфа. Основание этого треугольника упиралось в глубину площади, преграждая доступ на нее с улицы, а одна из сторон была обращена к Отель-Дьё, другая — к улице Сен-Пьер-о-Беф. Клопен Труйльфу стал во главе толпы с герцогом египетским, нашим другом Жаном и самыми смелыми из бродяг.

Нападения, подобные тому, которое бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, не составляли редкости в Средние века. Того, что мы теперь называем полицией, тогда не существовало. В населенных городах, особенно в столицах, не было одной центральной, охраняющей порядок власти. Феодализм построил эти большие общины странным образом. Город являлся собранием множества отдельных феодальных владений, разделявших его на части, разнообразные по форме и величине. Это создало множество противоречивых организаций, другими словами — никакой организации. В Париже, например, независимо от ста сорока одного владельца, имевших право взимать пошлину, было еще двадцать пять владельцев, пользовавшихся и правом со-

бирать подати и судебной властью, начиная с парижского епископа, которому принадлежало сто пять улиц, и кончая приором монастыря Богоматери в полях, который владел четырьмя улицами. Все эти феодалы лишь номинально признавали авторитет своего сюзерена — короля. Все пользовались правом собирать дорожные пошлины. Все были хозяевами у себя дома. Людовик XI, этот неутомимый труженик, начавший разгром феодального здания, который потом продолжали Ришелье и Людовик XIV в интересах монархии, а Мирабо завершил в интересах народа, — попытался было пробить брешь в этой сети независимых владений, покрывавшей Париж, и издал без всякой последовательности два или три указа, касавшихся общей полиции. Так, в 1465 году им был издан приказ, чтобы граждане, под страхом смертной казни, при наступлении ночи ставили зажженные свечи на окнах и запирали собак. В этом же году было приказано запирать улицы железными цепями и запрещено носить при себе ночью кинжалы или вообще какое-либо оружие. Но все эти попытки введения общих законов быстро сводились к нулю. Граждане позволяли ветру гасить свечи на их окнах, а собакам бродить на свободе. Цепи протягивались только

при осадном положении, а запрещение носить кинжалы повело лишь к переименованию улицы Перерезанной глотки в улицу Перерезанного горла — очевидный прогресс! Старинное сооружение феодального законодательства продолжало существовать. Независимые и арендные владения в городе переплетались, сцеплялись, мешали друг другу, вытесняли одно другое. Стражи, помощники стражей, сыщики образовали бесполезную заросль, через которую пробивались во всеоружии разбой, грабеж и подкуп. Таким образом, подобное вооруженное нападение одной части населения на дворец, на особняк, на дом в одном из наиболее населенных мест города отнюдь не представляло ничего необыкновенного при существующем повсюду беспорядке. В большинстве случаев соседи вмешивались в дело только тогда, когда грабеж касался их самих. При выстрелах из мушкетов они зажимали уши, закрывали ставни, баррикадировали двери, предоставляя нападению разыграться при участии стражи или без нее, и на следующий день по всему Парижу толковали: «Сегодня ночью разгромили дом Стефана Барбетта», «На маршала Клермона произведено нападение» и т. п. Поэтому не только королевские резиденции — Лувр, Дворец правосудия,

Бастилия, Турнель, — но и дворцы вельмож, как, например, Малый Бурбонский, особняк де Сане, особняк герцога Ангулемского и т. д., были обнесены зубчатыми стенами и над воротами имели бойницы. Церкви охраняла их святость. Однако некоторые из них — собор Парижской Богоматери не принадлежал к числу последних — бывали тоже укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено такими же зубчатыми стенами, как резиденция какого-нибудь барона, и истратило на пушки много больше меди, чем на колокола. Еще в 1610 году видны были эти укрепления. Теперь там едва сохранилась только церковь.

Вернемся же к собору Богоматери.

Когда первые маневры были окончены — и, к чести дисциплины бродяг, мы должны сказать, что приказания Клопена были исполнены в полной тишине и с поразительной точностью, — достойный предводитель шайки взобрался на парапет паперти и возвысил свой хриплый, грубый голос, повернувшись в сторону собора и потрясая факелом, свет которого, колеблемый ветром и застилаемый собственным дымом, то озарял, то оставлял в тени багровый фасад храма.

— Тебе, Куи де Бомон, епископ Парижский, член парламента, я, Клопен Труйльфу, король тунский, князь бродяг, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, несправедливо осужденная на смерть за колдовство, нашла убежище в твоей церкви. Ты должен был дать ей приют и покровительство. Однако парламент хочет извлечь ее оттуда, и ты на это согласился, так что ее повесили бы завтра на Гревской площади, если бы девушке не помогли Бог и бродяги. Вот мы пришли сюда, епископ. Если церковь твоя неприкосновенна, то неприкосновенна и наша сестра. Если наша сестра не неприкосновенна, то твоя церковь — тоже нет. Поэтому мы предлагаем тебе выдать нам нашу сестру, если ты хочешь спасти церковь, иначе же мы силой возьмем девушку и разграбим церковь. Вот и все! В доказательство я водружаю здесь свое знамя, и да хранит тебя Господь, епископ Парижский!»

К несчастью, Квазимодо не мог слышать этих слов, произнесенных с мрачным, диким величием. Один из бродяг подал Клопену знамя, и он торжественно водрузил его в щели между двумя плитами. То были вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.

Совершив это, король тунский обернулся и

оглядел свою армию — мрачную толпу, где взгляды сверкали почти так же, как пики. После минутной паузы он крикнул:

— Вперед, дети! За дело, молодцы!

Тридцать здоровенных молодцов с железными мускулами, по-видимому слесаря, выступили из рядов с молотами, клещами и железными полосами на плечах. Они направились к главному входу в собор, взошли по ступеням и, вскоре очутившись под сводом, принялись рычагами и клещами взламывать двери. Толпа бродяг последовала за ними, чтобы посмотреть или помочь, и запрудила все одиннадцать ступеней лестницы.

Однако дверь не поддавалась.

— Черт возьми, какая крепкая! — сказал кто-то.

— Стара, и оттого хрящи у нее окостенели, — подхватил другой.

— Смелей, товарищи! — ободрял Клопен. — Ставлю голову против старого башмака, что вы взломаете дверь, похитите девушку и ограбите главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один из церковных сторожей. Вот, кажется, замок уже подался.

Страшный треск, раздавшийся позади Клопена, заставил его прервать свою речь. Он обернулся.

Огромная балка упала с неба. Она задавила с десяток бродяг на ступенях паперти и полетела на мостовую с грохотом пушечного выстрела, перешибив по дороге ноги нескольким бродягам, сторонившимся с криками ужаса. В одну минуту площадка перед папертью опустела. Молодцы, пробивавшие дверь, хотя и бывшие под защитой глубокого свода портика, бросили дверь, и сам Клопен отступил на почтительное расстояние от церкви.

— По счастью, не попался! — воскликнул Жан. — Только ветром пахнуло. Ну а Пьер-душитель — задушен!

Невозможно изобразить, какое изумление и ужас вызвало это бревно среди бродяг. Они несколько минут смотрели в воздух, перепуганные этим куском дерева больше, чем появлением двадцати тысяч королевских стрелков.

— Черт возьми, — ворчал герцог египетский, — это пахнет колдовством!

— Луна швырнула в нас этим поленом, — сказал Анри ле Руж.

— Недаром говорят, что луне покровительствует Пресвятая Дева, — заметил Франсуа Шантпрюн.

— Тысяча чертей! — закричал Клопен. — Все вы

дураки! — Однако он и сам не знал, как объяснить падение бревна.

Между тем на фасаде, до вершины которого не достигал свет факелов, ничего не было видно. Тяжелая балка лежала посредине площади, и слышались стоны несчастных, распоровших себе животы об острые углы каменных ступеней.

Очнувшись от первого потрясения, король тунский нашел объяснение, показавшееся его товарищам правдоподобным:

— Черт побери! Кажется, попы вздумали обороняться? Так бейте их! Грабьте!

— Грабьте! — повторила толпа со страшным ревом. И в фасад храма был выпущен залп из самострелов и мушкетов.

При этом грохоте мирные жители окрестных домов проснулись. Несколько окон отворилось, показались ночные колпаки и руки с зажженными свечами.

— Стреляй по окнам! — командовал Клопен.

Окна тотчас захлопнулись, и бедные граждане, едва успевшие бросить испуганный взгляд на эту бурную сцену, освещенную светом факелов, вернулись, обливаясь холодным потом, к своим супругам, спрашивая себя, не шабаш ли справляется на площади перед собором или

не произошло ли нападение бургундцев, как в шестьдесят четвертом году. Мужья боялись грабежа, жены — насилия, и все дрожали.

— Грабь! — повторяли бродяги, однако не смели двинуться вперед. Они смотрели на балку, смотрели на собор. Балка лежала неподвижно, здание хранило свой спокойный и пустынный вид, но что-то непонятное леденило бродяг.

— Ну, молодцы, за дело! — крикнул Труйльфу. — Выламывайте двери.

Никто не тронулся.

— Гром и молния! — кричал Клопен. — Трусы, испугались перекладины!

Старый слесарь отвечал ему:

— Не перекладина пугает нас, командир, а дверь вся обшита железными полосами. Клещами тут ничего не поделаешь.

— Что же вам надо, чтобы взломать ее? — спросил Клопен.

— Надо бы таран.

Тунский король смело подбежал к ужасной балке и поставил на нее ногу.

— Вот вам таран, сами каноники вам его прислали. — И, насмешливо кланяясь в сторону собора, он прибавил: — Спасибо, отцы каноники!

Эта шутка произвела хорошее впечатление.

Бревно потеряло свою устрашающую силу. Бродяги ободрились. Скоро тяжелая балка, подхваченная, как перо, двумястами сильных рук, яростно ударилась о большие двери, которые перед тем пытались взломать. При слабом свете факелов на площади эта длинная балка, поддерживаемая толпой, бегом несущейся к собору, походила на тысяченогое чудовищное животное, нападающее с опущенной головой на каменного великана.

Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, звенела, как огромный барабан. Однако она не поддавалась, хотя весь собор содрогался и удары, казалось, отдавались в самых отдаленных подвалах здания.

В ту же минуту на голову осаждающих сверху посыпался град крупных камней.

— Ах, черт! — воскликнул Жан. — Кажется, башни вздумали засыпать нас своими балюстрадами?

Но толчок был дан; пример тунского короля подействовал. Все были уверены, что епископ защищается, и это заставило только с удвоенной яростью штурмовать дверь, несмотря на камни, разбивавшие направо и налево черепа.

Замечательно, что камни падали поодиночке, один за другим, но зато очень часто. Бродяги чув-

ствовали одновременно удар одного по голове, другого по ногам. Редкий из камней не наносил удара, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в предсмертных судорогах у ног осаждающих, которые, рассвирепев, беспрестанно сменялись свежими силами.

Длинная балка продолжала ударяться о дверь с правильными промежутками, как язык колокола, камни — сыпаться, дверь — гудеть.

Читатель, вероятно, уже угадал, что это неожиданное сопротивление, ожесточившее бродяг, было оказано Квазимодо.

Случай, к несчастью, пришел на помощь храброму глухому.

Когда он спустился на площадку между башнями, мысли у него в голове путались. Он несколько минут бегал вдоль галереи как сумасшедший, видя внизу плотную толпу бродяг, готовых устремиться на церковь, и прося Бога или Сатану спасти цыганку. Ему пришла мысль вбежать на южную колокольню и ударить в набат, но, прежде чем он успеет раскачать колокол, прежде чем «Мария» издаст первый звук, не успеют ли нападающие десять раз выломать двери собора? Это было как раз в ту минуту, как выступили вперед слесаря. Что делать?

Вдруг он вспомнил, что каменщики целый день работали над поправкой стены и крыши южной башни. Его озарила мысль. Стена была каменная, крыша свинцовая, а перекладины деревянные. Эти удивительные перекладины были так часты, что получили название «леса».

Квазимодо побежал на эту башню. Действительно, помещение нижнего этажа было завалено материалами. Тут были целые кучи глины, свернутые листы железа, пучки дранок, толстые, уже надпиленные балки, груды щебня — целый арсенал.

Каждая минута была дорога. Молотки и клещи работали внизу. С силой, удвоившейся от сознания опасности, Квазимодо поднял одно из бревен — самое тяжелое, самое длинное, высунул его в слуховое окно, затем выбежал на крышу и стал спускать его по карнизу балюстрады, окружавшей площадку, и наконец сбросил его в пропасть. Огромная балка летела с высоты ста шестидесяти футов, царапая стену, разбивая изваяния. Несколько раз она перевернулась в воздухе, как оторвавшееся мельничное крыло, и наконец грохнулась о землю. Послышался страшный крик, и огромное черное бревно, отскочив от мостовой, походило на гигантскую подпрыгнувшую змею.

Квазимодо видел, как бродяги при падении бревна бросились в стороны, как пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и, пока они в суеверном страхе разглядывали темную массу, упавшую с неба, и осыпали градом стрел и крупной дробью изваяния святых на портике собора, Квазимодо заготовил запас камней, щебня, мусора, даже целые мешки с инструментами каменщиков на парапете балюстрады, откуда перед тем сбросил бревно.

И как только бродяги начали выбивать дверь, на них посыпался каменный град, и им показалось, что собор сам собою разрушается над их головами.

Вид Квазимодо в эту минуту был страшен. Кроме собранных им на балюстраде метательных снарядов он еще заготовил кучу камней на самой крыше. Как только запас на балюстраде истощился, Квазимодо принялся за вторую кучу. Он нагибался, выпрямлялся, снова нагибался и опять выпрямлялся с необычайной быстротой. Его огромная голова гнома склонялась над парапетом балюстрады, и один громадный камень летел вниз за другим. По временам он следил взглядом за особенно большим камнем и, удачно попав в цель, издавал рычание.

Бродяги между тем не падали духом. Уже более двадцати раз тяжелая дверь, против которой они направили свои усилия, сотрясалась под тяжестью дубового тарана, увеличенной силой сотни человек. Рамы дверей трещали, резьба разлеталась вдребезги, петли при каждом сотрясении подпрыгивали, пазы расползались, дерево, окованное железом, рассыпалось в порошок под трением металла. К счастью для Квазимодо, в дверях было больше железа, чем дерева.

Однако он чувствовал, что дверь колеблется. Хоть он и не слышал, но каждый удар тарана отзывался в нем и в подвалах церкви. Он видел сверху, как исступленные бродяги с торжеством грозили кулаками темному фасаду собора, и завидовал за себя и за цыганку крыльям сов, стаями взлетавших над его головой.

Каменного града оказалось недостаточно, чтоб отразить нападение.

В эту критическую минуту Квазимодо увидел несколько ниже балюстрады, с которой громил бродяг, две длинные каменные водосточные трубы, оканчивающиеся как раз над главным входом. Верхнее отверстие этих водостоков приходилось как раз у края платформы. У Квазимодо мелькнула мысль. Он побежал в свою конуру,

схватил там вязанку хвороста, положил ее на кучу драни и на нее свертки свинца — снаряды, которыми еще не воспользовался, — и, уложив этот костер перед отверстием водосточных труб, зажег его от своего фонаря.

В этот промежуток каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть на небо. Бандиты, задыхаясь, как стая гончих, выгоняющая кабана из логова, с шумом теснились вокруг главной двери, изуродованной тараном, но все еще не уступавшей. Они с трепетом ждали последнего удара, который бы пробил ее. Каждый старался протесниться вперед, чтобы, когда она откроется, первым ворваться в этот богатый храм, где были собраны сокровища трех веков. Рыча от радости и жадности, бродяги напоминали друг другу о великолепных серебряных крестах, роскошных парчовых ризах, чудных золотых раках, великолепных хоругвях на хорах, окруженных сверкающими светильниками, пасхальных иконах, залитых солнечным светом, о богатых святынях, где все — канделябры, раки святых, дарохранительницы, ковчеги, иконостасы — было покрыто броней из золота и бриллиантов. Без сомнения, в эту прекрасную минуту все эти плуты, воры и бродяги думали гораздо меньше об

освобождении цыганки, чем о разграблении собора. Мы охотно готовы поверить, что для многих из них Эсмеральда была только предлогом, — если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог!

Вдруг в ту самую минуту, как осаждавшие, готовясь нанести последний удар, столпились вокруг тарана, затаив дыхание и напрягая мускулы, чтобы придать больше силы решительному натиску, среди них раздался вопль — еще более ужасный, чем в ту минуту, как на них упало бревно. Те, кто не кричал, кто остался невредим, огляделись. В самую плотную часть толпы сверху лились две струи расплавленного свинца. Люди падали как подкошенные под кипящим металлом, образовавшим в местах своего падения, в толпе, две черные дымящиеся дыры, какие образовала бы горячая вода в снегу. Умирающие, наполовину сваренные, корчились, испуская отчаянные вопли. От этих двух главных потоков летели в стороны капли ужасного дождя и впивались в черепа осаждающих, как огненные бурава. Тяжелые раскаленные капли тысячью градин падали на несчастных.

Слышались раздирающие душу вопли. Бродяги — и храбрые, и трусливые — бежали врассыпную,

бросив балку на тела умирающих, и паперть опустела вторично.

Все устремили глаза на церковную колокольню. Тут им представилось необычайное зрелище. На верхней галерее, приходившейся выше центральной розетки, горел яркий костер, пламя которого с вихрем искр вздымалось между двумя колокольнями; это было беспорядочное, свирепое пламя, и ветер по временам уносил клочки его вместе с дымом. Под этим пламенем, под темной балюстрадой, металлическая решетка которой раскалилась, две водосточные трубы изрыгали непрестанно из своих пастей этот жгучий дождь, серебристая струя которого выделялась на темной нижней части фасада. По мере приближения к низу потоки расплавленного свинца расширялись в снопы, как вода, прорывающаяся из мелких дырочек лейки. Над пламенем возвышались огромные башни и видны были две резко отделенные стороны каждой из них — одна совершенно черная, другая багровая. От тени, отбрасываемой ими до самого неба, они казались еще выше. Бесчисленные украшавшие их орнаменты из чудовищ и драконов казались зловещими. При трепещущем отблеске пламени они, чудилось, колебались и сами. Змеи словно

смеялись, чудовища с открытыми пастями, казалось, щелкали зубами, саламандры дули на огонь, а горгоны чихали, задыхаясь от дыма. И среди этих чудовищ, разбуженных от каменного сна всем этим огнем и шумом, было одно чудовище, двигавшееся и мелькавшее время от времени на фоне пылающего костра, как летучая мышь перед свечой.

Без сомнения, этот странный маяк должен был разбудить дровосеков, живших на далеких холмах Бисетра, испугав их видом колеблющихся над их лесом теней гигантских башен собора Богоматери.

Среди бродяг воцарилась ужасная тишина, слышались только испуганные крики каноников, запертых в своем монастыре и встревоженных более, чем лошади в горящей конюшне, мимолетный стук быстро отворяемых и так же быстро затворяемых окон, шум, поднявшийся внутри дома Отель-Дьё, порывы ветра, задувавшие пламя, предсмертный хрип умиравших, неумолкающий треск свинцового дождя, падавшего на мостовую.

Между тем предводители шайки удалились под портик дома Гондлорье и держали совет. Герцог египетский, сидя на тумбе, с суеверным страхом

смотрел на волшебный костер, пылавший на высоте двухсот футов. Клопен Труйльфу кусал от бешенства свой толстый кулак.

— Войти невозможно! — бормотал он сквозь зубы.

— Старая заколдованная церковь! — ворчал старый цыган, Матиас Хунгади Спикали.

— Клянусь папскими усами, эти каменные желоба плюются свинцом не хуже Лектурских бойниц, — вставил пожилой солдат.

— Видите вы этого демона, что бегает взад и вперед перед огнем? — воскликнул герцог египетский.

— Черт возьми, да это проклятый звонарь Квазимодо, — заявил Клопен.

Цыган покачал головой:

— А я говорю вам, что это дух Сабнак, великий маркиз, демон укреплений. Он принимает вид солдата с львиной головой. Иногда он является верхом на безобразной лошади. Он превращает людей в камни, из которых строит башни. У него под командой пятьдесят легионов. Говорю вам, это он. Я его узнал. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье турецкого покроя.

— Где Бельвин Летуаль? — спросил Клопен.

— Умер, — ответила одна из женщин-бродяг.

Анри ле Руж хохотал идиотским смехом:

— Собор Богоматери задает работу больнице Отель-Дьё.

— Неужели же нет возможности выбить эту дверь? — воскликнул тунский король, топая ногой.

Герцог египетский грустно указал на два сверкающих свинцовых ручья, не переставявших бороздить темный фасад, как две фосфорические прялки.

— Бывали случаи, что церкви защищались сами таким образом, — добавил он, вздыхая. — Сорок лет тому назад Святая София в Константинополе три раза кряду ниспровергала полумесяц Магомета, потрясая своими куполами. Гильом Парижский, построивший этот собор, был колдун.

— Неужели же так и убираться отсюда ни с чем, как каким-нибудь мелким воришкам? — сказал Клопен. — И оставить в руках этих волков в скуфьях нашу сестру, которую они завтра повесят?

— И ризницу, где золота целые телеги! — прибавил бродяга, имени которого мы, к сожалению, не знаем.

— Ах, проклятые! — закричал Труйльфу.

— Попытаемся еще раз, — предложил бродяга.

Матиас Хунгади покачал головой:

— В дверь нам не войти. Надо отыскать, где есть изъян в броне старой колдуньи. Потайную дверь, отдушину, какую-нибудь щель.

— Кто пойдет со мной? Я возвращаюсь! — проговорил Клопен. — Кстати, где этот маленький студент Жан, что так основательно вооружился?

— Должно быть, приказал долго жить, — ответил кто-то. — Его смеха что-то не слыхать.

Король тунский нахмурился:

— Тем хуже. Под латами билось храброе сердце… А мэтр Пьер Гренгуар?

— Этот удрал, когда мы еще не дошли до моста о'Шанж, — доложил Анри ле Руж.

Клопен топнул ногой.

— Проклятый! Зазвал нас сюда, и сам первый дал тягу, оставив нас в беде. Подлый болтун! Стоптанный башмак!

— Командир Клопен, — заговорил Анри ле Руж, смотря на улицу, — вот наш студент!

— Хвала Плутону! — произнес Клопен. — Какого это черта он тащит за собой?

Действительно, это был Жан, бежавший так скоро, как только ему позволяли его тяжелое вооружение и длинная лестница, которую он храбро тащил по мостовой, запыхавшись при этом больше, чем муравей, который тащит соло-

минку в двадцать раз длиннее его самого.

— Победа! Te Deum![141] — кричал студент. — Вот лестница грузчиков с моста Сен-Ландрен.

Клопен подошел к нему.

— Что ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?

— Я достал ее… я знал, где она, — запыхавшись, отвечал Жан. — Она стояла под навесом у дома наместника. Там живет моя знакомая девица, которая находит, что я красив, как Купидон… Я воспользовался знакомством, чтобы достать лестницу, и достал, прах ее побери!.. Девчонка выскочила отворить мне ворота в одной рубашке…

— Все это хорошо, — сказал Клопен. — Но на что тебе лестница?

Жан взглянул на него плутовским самоуверенным взглядом и щелкнул пальцами, как кастаньетами. Он был неподражаем в эту минуту. На голове у него был один из тех фантастических шлемов пятнадцатого века, которые устрашали врагов своими причудливыми украшениями. На шлеме Жана торчало штук десять металлических клювов, так что Жан мог бы оспаривать у корабля

---

[141] Сноски: 141
Хвала Господу! (*Лат.*)

гомеровского Нестора эпитет «δεχεμβολοζ»[142].

— На что она мне, могущественный король тунский? Видите вы ряд статуй, так глупо стоящих над тремя порталами?

— Да… Ну, что же?

— Это — галерея французских королей.

— А нам какое дело до этого? — спросил Клопен.

— Погодите! В конце этой галереи есть дверь, запертая только на щеколду. Я влезу туда по этой лестнице и проберусь в церковь.

— Дай мне влезть первым, мальчуган.

— Нет, извините, дружище. Лестница моя. Вы, если хотите, будете вторым.

— Чтоб Вельзевул тебя удавил! — проворчал угрюмо Клопен. — Я не хочу быть вторым.

— Ну так найди себе лестницу!

Жан побежал по площади, волоча за собой лестницу и крича:

— За мной, ребята!

В одну минуту лестницу подняли и прислонили к балюстраде нижней галереи, над одним из боковых порталов. Толпа бродяг с громкими криками толпилась у ее подножия, готовясь лезть по ней.

---

[142] Сноски: 142
«Десять медных носов» (*греч.*).

Но Жан отстаивал свое право и первый ступил на лестницу. Лезть пришлось долго. Галерея французских королей в настоящее время находится на высоте около шестидесяти футов над мостовой. Тогда же прибавлялись еще одиннадцать ступеней паперти. Жан лез медленно: ему мешало тяжелое вооружение, он держался одной рукой за лестницу, а другой придерживал свой самострел. Достигнув середины лестницы, он бросил меланхолический взгляд на тела бедных бродяг, которыми была усеяна паперть, и проговорил:

— Увы, вот груда трупов, достойная пятой песни «Илиады»!

Он продолжал взбираться. Бродяги следовали за ним. На каждой ступени стояло по человеку. Эта колеблющаяся линия покрытых латами спин имела в полумраке сходство с огромной змеей, покрытой стальной чешуей, карабкающейся по стене собора. Жан, бывший во главе, свистал, дополняя иллюзию.

Наконец студент достиг балкона галереи и довольно легко прыгнул на нее при всеобщем одобрении бродяг. Овладев таким образом цитаделью, он испустил крик радости, но вдруг остановился как окаменелый. За статуей одного из королей он увидел Квазимодо, притаившегося

в потемках. Глаз Квазимодо сверкал.

Прежде чем второму осаждающему удалось ступить на галерею, страшный горбун прыгнул к лестнице, не произнося ни слова, схватил ее за конец своими могучими руками, приподнял ее, отдалил от стены, раскачал и, при криках ужаса, со сверхъестественной силой бросил длинную гибкую лестницу со всеми унизывавшими ее сверху донизу бродягами на площадь. Наступило мгновение, когда самые отважные содрогнулись. Отброшенная лестница одну секунду стояла прямо, словно колеблясь. Затем она закачалась и, описав огромный круг радиусом в восемьдесят футов, рухнула на мостовую со своим грузом быстрее, чем подъемный мост, у которого оборвались цепи. Раздалось страшное проклятие, затем все замолкло, и несколько искалеченных выползли из-под груды убившихся насмерть.

Торжествующие крики сменились ропотом гнева и жалости. Квазимодо стоял невозмутимо, опершись о балюстраду локтями, и смотрел вниз. Он имел вид древнего, обросшего волосами короля, смотрящего из окна своего дворца.

Жан Фролло находился в критическом положении. Он очутился на галерее с глазу на глаз со страшным звонарем, отделенный от товарищей

отвесной стеной в восемьдесят футов. Пока Квазимодо возился с лестницей, Жан побежал к дверце, которую думал найти отворенной. Напрасно: выходя на галерею, глухой запер дверь за собой. Жан спрятался за одну из статуй, затаив дыхание и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, как человек, который, ухаживая за женой сторожа в зверинце и идучи однажды вечером на любовное свидание, ошибся, перелезая через стену, и неожиданно очутился лицом к лицу с белым медведем.

В первую минуту глухой не заметил его. Но наконец он обернулся и вдруг выпрямился: он увидал студента.

Жан приготовился к жестокому нападению; но горбун стоял неподвижно, он только смотрел на студента.

— Хо! Хо! — крикнул Жан. — Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом?

Говоря это, повеса исподтишка готовил самострел.

— Квазимодо! — закричал он. — Я тебе переменю имя. Теперь тебя станут звать слепой.

Раздался выстрел. Стрела просвистела в воздухе и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это внимания не более, чем если бы

поцарапали каменного короля Фарамонда. Он вырвал стрелу и спокойно разломил ее надвое о свое толстое колено. Затем он скорее уронил, чем бросил, оба обломка. Но выстрелить Жану во второй раз не удалось. Сломав стрелу, Квазимодо, пыхтя, прыгнул вперед, как кузнечик, на студента и притиснул его латами к стене.

И в полумраке, при трепещущем свете факелов, произошло нечто ужасное.

Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жана, который уже не сопротивлялся, чувствуя, что погиб. Правой рукой глухой, сохраняя молчание, стал снимать с зловещей медленностью со студента все части его вооружения — шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручники. Как обезьяна, очищающая орех, Квазимодо бросал к своим ногам один за другим куски железной скорлупы студента.

Увидав себя безоружным, раздетым, слабым и обнаженным в этих ужасных руках, Жан не пытался заговорить с глухим, но нагло засмеялся ему в лицо и запел, с неустрашимой беззаботностью шестнадцатилетнего школяра, известную тогда песенку:

Elle est bien habillê

La ville de Cambrai.
Marasin La pillè[143].

Он не кончил: Квазимодо, вскочив на парапет галереи, схватил его одной рукой за ноги и начал вертеть им в воздухе над бездной, как пращой. Затем послышался шум, как бы от ящика с костями, разбитого об стену, и в воздухе мелькнуло что-то, что остановилось приблизительно на трети пути, зацепившись за выступ здания. То было бездыханное тело, которое повисло, согнувшись, с перебитыми костями, с размозженным черепом.

Крик ужаса поднялся среди толпы.

— Отомстим! — кричал Клопен.

— Разнесем все! — отвечала толпа. — На приступ! На приступ!

Раздался рев, где смешались все языки, все наречия, все акценты. Смерть бедного студента пробудила ярость в этой толпе. Стыд и злоба овладели ею при мысли, что ее так долго отражал от церкви какой-то горбун. Ярость заставила найти лестницы, новые факелы, и через несколько минут Квазимодо с ужасом увидел, что бродяги со всех сторон, как муравьи, карабкаются по стенам собора. Те, кому не досталось лестницы, делали

---

[143] Сноски: 143
Славно обряжен город Кебраи. Марасен разграбил его (*фр.*).

узлы на веревках, а те, у кого не было и веревок, лезли, хватаясь за выступы изваяний, цепляясь за рубища своих товарищей. Нечего было и думать устоять против прилива этих чудовищ. Исступление исказило эти и без того дикие лица; глаза их метали молнии. С землистых лбов ручьями струился пот. Все эти искаженные злобой, отвратительные лица окружали Квазимодо. Можно было подумать, что какое-то другое здание выслало для осады собора всех своих горгон, псов, драконов, демонов, свои самые фантастические изваяния. Как будто слой живых чудовищ покрыл слой каменных чудовищ фасада!

Между тем на площади, подобно звездам, зажглось множество факелов. Беспорядочная картина, погруженная до того времени в темноту, вдруг озарилась светом. Площадь была залита светом, отбрасывающим свой отблеск на небо. Костер на верхней площадке собора продолжал пылать, издали освещая город. Огромный силуэт двух башен, далеко раскинувшись над крышами Парижа, образовал темное пятно на этом светлом фоне. Город проснулся. С разных сторон стал доноситься звон набата. Бродяги рычали, пыхтели, ругались и продолжали взбираться наверх, а Квазимодо, сознавая свое бессилие перед таким

наплывом врагов, дрожа за цыганку, видя, что все эти разъяренные лица все ближе и ближе подвигаются к галерее, просил у неба чуда и в отчаянии ломал руки.

V. Молельня короля Людовика XI

Читатель, может быть, не забыл, что за несколько минут до того, как Квазимодо заметил толпу наступавших под покровом ночи бродяг, он, окидывая с высоты своей башни взглядом Париж, видел один только огонек, светившийся в одном из окон верхнего этажа высокого и мрачного здания близ Сент-Антуанских ворот. Это здание была Бастилия, а светлая звездочка — свеча Людовика XI.

Король действительно уже два дня был в Париже и через день предполагал отправиться в крепость Монтильз ле Тур. Он редко и только на короткое время показывался в своем добром городе Париже, находя, что в нем недостаточно подземелий, виселиц и шотландских стрелков.

В эту ночь он избрал местом своего ночлега Бастилию. Он не любил занимаемую им в Лувре большую комнату с ее огромным камином, украшенным массивным изображением двенадцати

животных и тринадцати пророков, с постелью, имевшею одиннадцать футов ширины и двенадцать длины. Он терялся среди этого величия и при своих буржуазных вкусах чувствовал себя лучше в маленькой комнатке с узкой постелью в Бастилии. К тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр.

Эта келейка, которую король устроил для себя в здании знаменитой тюрьмы, была все же довольно просторна и помещалась в самом верхнем этаже башенки, которою оканчивалась сторожевая башня замка. Комната имела круглую форму, стены ее были обтянуты блестящими циновками; деревянный потолок украшали жестяные золоченые лилии, а промежутки между балками были цветные. Кругом шел роскошный цветной карниз, усеянный розетками из белой жести, раскрашенными ярко-зеленым цветом, составленным из желтого мышьяка и индиго.

Здесь было лишь одно узкое стрельчатое окно с переплетом из проволоки и с железной решеткой. Цветные стекла были украшены живописными изображениями гербов короля и королевы и стоили по двадцать два соля каждое.

Здесь был всего один вход. Дверь была современной архитектуры, с низкой притолокой,

обитая изнутри вышивкой, а снаружи — выпилкой из ирландской сосны тонкой артистической работы. Такие двери еще лет пятьдесят тому назад встречались в старинных домах. «Хотя они обезображивают наши жилища и занимают чересчур много места, — говорит с отчаянием Соваль, — однако наши старики не желают с ними расстаться и хранят их наперекор всему».

В этой комнате не было решительно ни одной вещи, составляющей обычную меблировку комнат: ни скамей, ни табуретов, ни скамеек в форме сундуков, ни изящных скамеечек на резных ножках, стоивших по четыре су каждая. В келье стояло одно только складное кресло великолепной работы. Дерево на нем было раскрашено розами по красному фону; сиденье было обито красным сафьяном, широкая бахрома кругом была прибита золотыми гвоздями. Одинокое кресло свидетельствовало, что в этой комнате имеет право сидеть только одно лицо. Возле кресла, у самого окна, стоял стол, покрытый скатертью с изображением птиц. На столе стояли чернильница, забрызганная чернилами, и резной серебряный кубок, лежали свитки пергамента и перья. Несколько поодаль помещалась грелка, далее — аналой, обтянутый темно-красным

бархатом с выпуклыми золотыми украшениями. Наконец, в глубине комнаты стояла простая постель с пологом из желтой и красной парчи, без мишуры и позументов, обшитая самой простой бахромой. Эту самую постель, в которой Людовик XI находил себе покой или бессонницу, двести лет тому назад видела в доме одного государственного советника мадам Пилу, описанная в романе «Кир» под именем Арцидии или «Олицетворенной нравственности».

Такова была комната, называвшаяся «молельней Людовика XI».

В ту минуту, как мы ввели читателя в молельню, в ней было довольно темно. Сигнал к тушению огней был дан уже час тому назад. На дворе была ночь, и пять человек, находившихся в комнате, освещались только мерцающим светом восковой свечи, стоявшей на столе.

Первый, на которого падал свет, был вельможа в великолепном наряде, состоявшем из штанов и полукафтана пурпуровой материи с серебряными полосами. Поверх кафтана был надет род плаща с широкими рукавами, украшенными отворотами из золотого сукна с черными разводами. Этот великолепный наряд, на котором отражался свет, казалось, вспыхивал пламенем на каждом

сгибе. У человека, так одетого, на груди был вышит яркими красками герб: две пересекающиеся под углами полосы, а под ними — бегущая лань. С одной стороны герба находилась оливковая ветвь, с другой — олений рог. За поясом у этого человека был заткнут богатый кинжал, золотая рукоятка которого имела форму шлема и была украшена графской короной. У него был злой вид, гордое лицо, высоко поднятая голова. При первом взгляде на его лицо читалась надменность, при втором — хитрость.

Он стоял с непокрытой головой, держа длинный свиток в руке, позади кресла, в котором сидела, некрасиво согнувшись, закинув одну ногу на другую и опершись локтем на стол, личность, весьма скверно одетая. Пусть читатель представит себе на этом роскошном сафьяновом кресле человека с угловатыми коленями и худыми ляжками, обтянутыми поношенным черным шерстяным трико, и закутанного во фланелевый кафтан, обшитый совершенно облезлым мехом; в довершение на голове была старая засаленная шапка из самого плохого сукна, отороченная шнурком со свинцовыми фигурками. Вот, вместе с засаленной ермолкой, почти скрывавшей волосы, все, что можно было рассмотреть в его фигуре.

Сидящий так низко наклонил голову, что на его лице, скрытом в тени, можно было рассмотреть только освещенный лучом света кончик носа, по-видимому довольно длинного. По худобе морщинистой руки видно было, что это старик. Это был Людовик XI.

Позади, в отдалении, тихо разговаривали между собой два человека, одетые в платье фламандского покроя. Они были настолько освещены, что каждый присутствовавший на представлении мистерии Гренгуара без труда узнал бы в них двух главных послов Фландрии — Гильома Рима, тонкого гентского дипломата, и Жака Коппеноля, популярного чулочника. Читатель, вероятно, помнит, что оба эти человека имели тайные политические сношения с Людовиком XI.

Наконец, в самой глубине комнаты, у двери, стоял в темноте, неподвижный как статуя, крепкий, коренастый человек в военных доспехах и кафтане с гербом. Его четырехугольное лицо с огромным ртом и глазами навыкате, с ушами, спрятанными под гладко причесанные волосы, и с низким лбом напоминало в одно и то же время и тигра и собаку.

Все были без головных уборов, кроме короля. Вельможа, стоявший подле короля, читал ему

нечто вроде длинной докладной записки, которую его величество, по-видимому, внимательно слушал.

— Ей-богу, я устал стоять! — проворчал Коппеноль. — Неужели здесь нет стула?

Рим отвечал отрицательным жестом, сопровожденным сдержанной улыбкой.

— Право, мне так и хочется усесться на пол, поджав под себя ноги, как чулочник во время работы, как я сижу в своей лавке, — не унимался Коппеноль, раздосадованный тем, что приходится так понижать голос.

— Не вздумайте этого сделать, мэтр Жак!

— Ох, мэтр Гильом! Неужели здесь можно присутствовать не иначе, как стоя на собственных ногах?

— Или на коленях, — сказал Рим.

В эту минуту голос короля зазвучал громче. Они замолчали.

— Пятнадцать солей на одежды нашим слугам и двенадцать ливров нашим придворным писцам! Превосходно! Тратьте золото бочками! Да вы с ума сошли, Оливье?

Говоря это, старик поднял голову. На его шее заблестели золотые раковины цепи ордена святого Михаила. Свеча ярко осветила его худой, суровый

профиль. Он вырвал бумагу из рук Оливье.

— Вы нас разоряете! — кричал он, пробегая вваливши-мися глазами тетрадь. — К чему все это? Зачем нам такая роскошь в нашем доме? Двум капелланам по десяти ливров в месяц каждому и причетнику по сотне су! Камердинеру девяносто ливров в год! Четырем поварам по сто двадцать ливров в год каждому! Смотрителю за рабочими, огороднику, садовнику, хранителю оружия, двум счетоводам по десяти ливров в месяц каждому. Двум поваренкам по восьми ливров! Конюху и его двум помощникам по двадцать четыре ливра в месяц! Рассыльному, пирожнику, булочнику, двум кучерам по шестидесяти ливров в год! Кузнецу — сто двадцать ливров! А нашему казначею — тысячу двести ливров! Контролеру — пятьсот. Это черт знает что! Это безумство! Мы грабим Францию, чтобы платить жалованье нашим слугам! Все луврские драгоценности расплавятся на таком огне расточительности. Всю посуду придется продать! А в будущем году, если Господу и Пресвятой Богородице, — тут он приподнял шапку, — угодно будет продлить нашу жизнь, мы будем пить лекарство из оловянного стакана.

Говоря это, король бросил взгляд на серебряный кубок, сверкавший на столе. Он кашлянул

и продолжал:

— Мэтр Оливье, владетельные князья, правители больших государств, короли и императоры не должны допускать роскоши в своих домах, потому что оттуда этот огонь перебрасывается в провинцию. Итак, мэтр Оливье, запомни раз навсегда: наши расходы растут из года в год. Это нам не нравится! Как это? До семьдесят девятого года они не превышали тридцати шести тысяч ливров. В восьмидесятом году они достигли сорока трех тысяч шестисот девятнадцати ливров… я хорошо помню эти цифры… В восемьдесят первом году — шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ливров, а в нынешнем году — клянусь жизнью — дойдут до восьмидесяти тысяч ливров. В четыре года они возросли вдвое! Чудовищно!

Король замолчал, тяжело дыша, затем продолжал запальчиво:

— Я вижу вокруг себя только людей, жиреющих за счет моей худобы! Вы из всех моих пор высасываете экю!

Все молчали. Это был один из тех припадков гнева, которые следовало переждать. Он продолжал:

— Это похоже на латинское прошение, поданное нам феодалами Франции, в котором просят

нас восстановить так называемые почетные придворные должности. Нечего сказать, должности! Должности, от которых хребет трещит! Вы заявляете, господа, что мы не настоящий король, если обходимся dapifero nullo, buticulario nullo[144]. Покажем мы вам, клянусь Пасхой, король мы или нет!

Он улыбнулся с сознанием своего могущества. Его дурное расположение духа смягчилось, и он обратился к фламандцам:

— Видишь ли, кум Гильом, все эти главные кравчие, главные виночерпии, главные камергеры и главные сенешали не стоят последнего лакея... Запомни это, кум Коппеноль; в них нет никакого проку. Когда я вижу, как они без всякой пользы толкутся вокруг меня, я вспоминаю статуи четырех евангелистов, окружающих циферблат больших дворцовых часов, недавно подновленных Филиппом Бриллем: они покрыты позолотой, но времени не указывают, и стрелки часов прекрасно могли бы обходиться без них.

Он на минуту задумался и прибавил, покачав седой головой:

— Хо! Клянусь Пресвятой Девой, я не Филипп

---

[144] Сноски: 144
Без кравчего и без виночерпия (*лат.*).

Брилль и не стану покрывать позолотой знатных вассалов… Продолжай, Оливье.

Человек, которого король называл этим именем, взял из его рук тетрадь и продолжал читать вслух:

— «Адаму Тенону, хранителю печатей в парижском ведомстве, за серебро, работу и гравировку этих печатей, сделанных заново, ибо прежние по ветхости и от долгого употребления уже не могут служить, — двадцать парижских ливров.

Гильому Фреру — четыре ливра четыре парижских су за его труды и расходы по кормлению голубей на двух голубятнях замка Турнель в течение января, февраля и марта сего года. На тот же предмет отпущено семь мер ячменя.

Францисканскому монаху за исповедь преступника четыре парижских соля».

Король слушал молча. Время от времени он кашлял, подносил к губам кубок и отпивал из него глоток, делая гримасу.

— «В этом году по распоряжению суда было сделано при звуках труб на перекрестках Парижа пятьдесят шесть оповещений… Счет подлежит оплате.

За поиски и раскопки в некоторых местах Парижа и других местностях кладов, которые, как

говорят, там были сокрыты, — хотя ничего не найдено, — сорок пять парижских ливров».

— Это значит закопать экю, чтобы выкопать су, — сказал король.

— «…За вставку в замке Турнель шести панно из белого стекла в том месте, где находится железная клетка, — тринадцать су… За изготовление и доставку по приказу короля в день праздника шутов четырех щитов с королевскими гербами, увитых розами, — шесть ливров… За новые рукава к старому камзолу короля — двадцать солей… За ящик сала, чтобы смазывать сапоги короля, — пятнадцать денье. За новый хлев для помещения королевских черных поросят — тридцать парижских ливров. Несколько перегородок, досок и подъемных дверей для помещения львов близ церкви Святого Павла — двадцать два ливра».

— Дорогонько-таки обходятся эти звери, — сказал Людовик XI. — Ну, что делать! Это уж чисто царственная затея! Там есть один большой рыжий лев, которого я люблю за его ужимки… Мэтр Гильом, видели вы его?.. Правителям необходимо иметь таких диковинных животных. Нам, королям, собаками должны служить львы, кошками — тигры. Величие приличествует короне. Во времена языческие, когда народ приносил в

жертву Юпитеру сто быков и сто овец, императоры давали сто львов и сто орлов. Это было грозно и величественно. Короли французские всегда слышали рычание этих животных вокруг своего трона. Однако отдадут справедливость, что я трачу на этих зверей гораздо меньше, чем мои предшественники, и что число львов, медведей, слонов и леопардов в моем зверинце значительно скромнее… Продолжайте, мэтр Оливье; мы только желали сообщить это нашим друзьям фламандцам.

Гильом Рим низко поклонился, между тем как Коппеноль со своей нахмуренной физиономией походил на одного из тех медведей, о которых говорил его величество. Король этого не заметил. Он омочил губы в кубке и выплюнул напиток, говоря:

— Фу! Мерзкий отвар!

Читавший продолжал:

— «За прокорм бездельника-бродяги, содержащегося шесть месяцев на бойне в ожидании решения своей участи, — шесть ливров четыре соля…»

— Это еще что? — прервал король. — Кормить того, кого следует повесить? Клянусь Пасхой, я не дам больше ни одного су на его прокорм. Оливье,

переговори с господином д'Эстувилем и сегодня же вечером приготовь этого молодца к свадьбе с виселицей… Продолжай.

Оливье сделал знак ногтем против статьи о «бездельнике-бродяге» и продолжал:

— «Андриэ Кузену, главному палачу при парижском уголовном суде, шестьдесят парижских солей по определению и приказанию господина парижского префекта на покупку по распоряжению того же вышепоименованного господина префекта большого меча для обезглавления и казни лиц, осужденных судом за их проступки, а также за снабжение вышеупомянутого меча ножнами и всем необходимым; равно как за обновление и исправление старого меча, треснувшего и зазубрившегося при казни сеньора Людовика Люксембургского, в удостоверение чего…»

Король прервал его:

— Довольно. С удовольствием назначаю эту сумму. Против таких расходов я не возражаю. На это я никогда не жалел денег. Продолжай.

— «За переделку заново большой клетки…»

— Да, я знал, что недаром приехал я в эту Бастилию! — сказал король, опираясь обеими руками на ручки кресла. — Подожди, мэтр Оливье. Я хочу

сам взглянуть на клетку. Прочтешь мне счет, пока я ее буду рассматривать… Господа фламандцы, пойдемте взглянуть. Это интересно.

Он встал, опираясь на руку своего собеседника, приказал знаком безмолвной личности, стоявшей у дверей, идти впереди, а фламандцам следовать за собой, и вышел из комнаты.

У дверей кельи к царственной процессии присоединилась свита, состоявшая из закованных в железо воинов и маленьких пажей, несших факелы. Некоторое время король и его спутники шли в темной башне, по лестницам и коридорам, местами проделанным в самой толще стены. Комендант Бастилии шел во главе, приказывая отворять двери перед старым, согбенным, больным королем, кашлявшим во время пути. Перед каждой дверью всем, кроме старика, согбенного летами, приходилось нагибаться.

— Гм! — бормотал он сквозь десны, так как зубов у него не было. — Мы уж близки к дверям подземелья. В низенькую дверцу проходить согнувшись.

Наконец, пройдя через последнюю дверь, на которой было навешано столько замков, что их пришлось отпирать четверть часа, они вошли в большой высокий зал со стрельчатым сводом,

посредине которого при свете факелов можно было рассмотреть массивный куб из камня, железа и дерева. Внутренность его была пуста. То была одна из клеток, предназначавшихся для государственных преступников и называвшихся «дочурками короля». В стенах куба было два или три окошечка, снабженных такой частой решеткой, что стекол совершенно не было видно. Дверью служила огромная плоская плита, как у могилы, — одна из тех дверей, которые отворяются лишь для того, чтобы войти. Только здесь мертвецом являлся живой человек.

Король стал медленно обходить сооружение, внимательно осматривая его, между тем как Оливье громко читал счет:

— «На поправку заново большой деревянной клетки из толстых бревен, рам и лежней, имеющей девять футов длины, при восьми ширины и семи высоты между полом и потолком и окованной железом, устроенной в одном из отделений одной из башен крепости Святого Антония и служащей помещением задержанному по приказу короля, нашего государя, узника, помещающегося в старой, развалившейся клетке. На вышеупомянутую новую клетку употреблено девяносто шесть бревен в ширину, пятьдесят два в длину

и десять трехсаженных лежней. Заняты были постройкой девятнадцать плотников, обтесывавших, пригонявших и сколачивавших весь материал на дворе Бастилии в течение двадцати дней…»

— Дуб порядочный, — заметил король, постучав по углу сооружения.

— «…На клетку пошло, — продолжал читать Оливье, — двести двадцать толстых восьми-и девятифутовых железных брусьев, кроме некоторого количества среднего размера, с обручами, болтами и скрепами для упомянутых брусьев. Все это железо весит три тысячи семьсот тридцать пять фунтов, кроме восьми толстых колец для прикрепления клетки к полу, весящих вместе с гвоздями и скобками двести восемнадцать фунтов, не считая железных оконных решеток помещения, где поставлена клетка, дверных засовов и прочего…»

— Немало пошло железа, чтобы обуздать легкомыслие, — заметил король.

— «…Стоимость всего — триста семнадцать ливров пять солей семь денье».

— Клянусь Пасхой — немало! — воскликнул король. При этом любимом восклицании Людовика XI в клетке как будто что-то зашевелилось,

послышались лязг цепей по полу и слабый голос, доносившийся словно из могилы:

— Государь, государь! Пощадите!

Говорившего нельзя было рассмотреть.

— Триста семнадцать ливров пять солей семь денье! — повторил Людовик XI.

Жалобный голос, раздавшийся из клетки, заледенил ужасом сердца всех присутствующих, даже сердце самого Оливье. Один только король, казалось, не слыхал этого голоса. По его приказанию мэтр Оливье возобновил чтение, а его величество хладнокровно продолжал осмотр клетки.

— «…Кроме того, заплачено каменщику, пробившему в стенах дыры для укрепления решеток в окнах и на полу помещения, где клетка, ибо пол не мог бы сдержать тяжести этой клетки, двадцать семь ливров четырнадцать парижских солей».

Голос снова простонал:

— Смилуйтесь, государь! Клянусь вам, что изменник — кардинал Анжерский, а не я.

— Дорогой попался каменщик, — заметил король. — Продолжай, Оливье.

Оливье продолжал:

— «Столяру за рамы, кровать, судно и прочие принадлежности — двадцать ливров два париж-

ских су».

Голос тоже продолжал:

— Увы! Государь, неужели вы не выслушаете меня? Уверяю вас, что не я писал монсеньору Гиенскому, а господин кардинал Балю.

— Дорого взял и столяр! — заметил король. — Ну, все?

— Нет, государь... «Стекольщику за вставку окон в означенном помещении — сорок шесть солей восемь парижских денье».

— Помилосердствуйте, государь! Разве не достаточно того, что все мое состояние отдано моим судьям, серебряная посуда — господину де Торси, библиотека — мэтру Пьеру Дориоллю, ковры — губернатору руссильонскому? Я ни в чем не повинен. Вот уже четырнадцать лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Пощадите, государь! Вам это зачтется на том свете!

— Мэтр Оливье, какова вся сумма? — спросил король.

— Триста шестьдесят семь ливров восемь су три парижских денье.

— Пресвятая Дева! — воскликнул король. — Эта клетка — одно разорение.

Он вырвал тетрадь из рук Оливье и начал сам считать по пальцам, смотря то на пергамент, то

на клетку. Между тем оттуда доносились рыдания заключенного. Они производили тяжелое впечатление среди темноты, и присутствовавшие переглядывались, бледнея.

— Четырнадцать лет, государь! Уже четырнадцать лет! С апреля шестьдесят девятого года. Во имя Матери Божией выслушайте меня, государь. Вы все это время наслаждались солнечным теплом. Неужели мне, несчастному, уже не суждено увидать света Божьего? Помилуйте, государь! Будьте милосердны. Милосердие — высокая добродетель государей, торжествующая над гневом. Неужели ваше величество полагает, что для короля на смертном одре большим утешением служит, что он не оставил безнаказанной ни одной обиды? К тому же, государь, я не изменял вашему величеству, а изменил кардинал Анжерский. А у меня ноги скованы тяжелой цепью с тяжелым шаром на конце — гораздо более тяжелым, чем я того заслужил. О! Государь, сжальтесь надо мной!

— Оливье, — сказал король, качая головой, — я замечаю, что мне ставят известку по двадцати солей за бочку, когда она стоит не более двенадцати. Этот счет вы исправьте.

Он повернулся спиной к клетке и направился к

выходу. Несчастный узник заключил по удаляющемуся свету факелов, что король уходит.

— Государь! Государь! — кричал он в отчаянии.

Дверь затворилась. Узник уже ничего не слышал, кроме хриплого голоса тюремщика, распевавшего над самым его ухом:

Maitre Jean Balue
A perdue la vue
De ses êvechês.
Monsieur de Verdun
N'en a plus pas un;
Tous sont dêpêchês[145].

Король молча поднимался в свою молельню, а свита его шла за ним под ужасным впечатлением стонов узника. Вдруг его величество обернулся к коменданту Бастилии:

— Кстати! В клетке как будто кто-то есть?

— Как же, государь! — ответил комендант, пораженный вопросом.

— Кто же?

— Архиепископ Верденский.

---

[145] Сноски: 145

Господин Жан Балю Больше не увидит Своих епископств. Господин де Верден Не имеет больше ни одного — Все исчезли (*фр.*).

Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было. Но такова была его привычка.

— А! — сказал он с наивным видом, будто в первый раз вспомнив об этом. — Гильом де Аранкур, друг кардинала Балю. Добряк был епископ.

Через несколько минут дверь молельни опять отворилась и снова затворилась за пятью лицами, которых читатель видел в начале главы. Они снова заняли прежние места, приняли прежние позы и продолжали по-прежнему беседовать вполголоса.

Во время отсутствия короля на стол положили несколько пакетов, которые он сам распечатал. Он быстро прочел их, один за другим, затем сделал знак мэтру Оливье, по-видимому исполнявшему при нем должность министра, чтобы тот взял перо, и, не сообщая ему содержания известий, начал вполголоса диктовать ответы. Оливье писал в довольно неудобной позе — стоя на коленях перед столом.

Гильом Рим наблюдал.

Король говорил так тихо, что фламандцы могли слышать из того, что он диктовал, только малопонятные отрывки.

— …Поддерживать торговлею плодородные местности, а промышленностью бесплодные…

Показать англичанам наши четыре новые бомбарды: «Лондон», «Брабант», «Бурган-Бресс», «Сент-Омер»… Война ведется теперь правильнее благодаря артиллерии… Нашему другу, господину де Брессюиру… Нельзя содержать армию без налогов… и т. д.

В одном месте король пожал плечами:

— Клянусь Пасхой! Король сицилийский запечатывает свои письма желтым воском, как король Франции. Мы, может быть, напрасно допускаем это. Наш любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных родов поддерживается неприкосновенностью привилегий. Запиши это, кум Оливье… Ого! — воскликнул он в другом месте. — Какое длинное послание! Чего хочет от нас наш брат император? — Он пробежал послание, прерывая чтение восклицаниями: — Правда, немцы так многочисленны и сильны, что едва веришь этому!.. Но не надо забывать поговорки: нет графства прекраснее Фландрии, нет герцогства прекраснее Милана и нет королевства лучше Франции… Не так ли, господа фламандцы?

На этот раз и Коппеноль поклонился с Гильомом Римом: патриотизм чулочника был польщен. Последняя депеша заставила Людови-

ка XI нахмуриться:

— Это что? Жалобы и недовольство нашими гарнизонами в Пикардии? Оливье, напиши немедленно маршалу Руо... что дисциплина падает... что вестовые кавалеристы, служащие в войске по призыву дворяне, вольные стрелки и швейцарцы наносят бесконечный вред крестьянству... Что солдаты, не довольствуясь тем, что находят в домах землевладельцев, принуждают их палкою и плетью отправляться в город за вином, рыбой, сластями и другими предметами роскоши... Что король знает об этом, что мы намереваемся оградить наш народ от поборов, грабежей и насилий... Что такова наша воля! И что, кроме того, нам не угодно, чтобы всякие менестрели, цирюльники, денщики одевались, как князья, в бархат, шелковые материи и носили золотые перстни... Что подобное тщеславие ненавистно Богу... Что мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся суконным кафтаном по шестнадцати су за парижский локоть... Что хамы могут, следовательно, тоже снизойти до сукна... Предпишите и прикажите!.. Господину Руо, нашему другу... Хорошо!

Он продиктовал это письмо громко, твердым, отрывистым тоном. В ту минуту, как он его кон-

чил, дверь отворилась и появилось новое лицо, бросившееся в комнату с криком:

— Государь! Государь! Парижская чернь бунтует!

Строгое лицо Людовика исказилось. Но это внешнее волнение исчезло, как молния. Он сдержался и сказал со спокойной строгостью:

— Что это вы так врываетесь, кум Жак?

— Государь! Бунт! — ответил, еле переводя дух, кум Жак.

Король, встав с места, грубо взял его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, сказал ему на ухо так, что тот один мог слышать:

— Молчи или говори шепотом.

Вошедший понял и начал шепотом сбивчивый рассказ, который король слушал спокойно, между тем как Гильом Рим обращал внимание Коппеноля на лицо и наряд прибежавшего, на его меховую шапку — caputia furrata, короткую епанчу — apitogia curta и длинное платье из черного бархата, по которым можно было узнать председателя счетной палаты.

Едва эта личность успела дать кое-какие объяснения королю, как Людовик XI воскликнул, захохотав:

— В самом деле? Да говори же громче, кум Куаксье. Чего шептаться? Пресвятой Деве известно, что у нас нет ничего тайного от наших друзей фламандцев.

— Но, государь…

— Говори громче!

Кум Куаксье молчал в изумлении.

— Ну же, говори, — продолжал король, — в нашем славном городе Париже волнение черни?

— Да, государь.

— Направленное, по твоим словам, против председателя суда?

— Да, по-видимому, так, — отвечал кум, путаясь в словах после резкой, необъяснимой перемены, происшедшей в мыслях короля.

Людовик XI спросил:

— Где ночной обход встретил толпу?

— По дороге от Двора чудес к мосту Менял. И я повстречался с ней, направляясь сюда по приказанию вашего величества. Я слышал, как некоторые кричали: «Долой председателя суда!»

— Что они имеют против него?

— Ведь он их ленный владетель.

— В самом деле?..

— Да, государь: это бродяги с Двора чудес. Они уже давно жалуются на председателя, которому

подчинены. Они не хотят признавать за ним ни права судить их, ни права собирать подати.

— Вот как! — заметил король с улыбкой удовольствия, которую тщетно старался скрыть.

— Во всех своих прошениях к парламенту они утверждают, что повинуются только двум высшим властям — вашему величеству и своему богу, которым они, по-моему, считают Сатану, — отвечал кум Жак.

— Эге! — сказал король.

Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, от которого сияет лицо. Он не мог скрыть радости, хотя и пытался сдержать себя. Никто ничего не понимал, даже сам Оливье. Король с минуту молчал, задумавшись, но с довольным лицом.

— Много их? — спросил он вдруг.

— Да, государь, немало, — отвечал кум Жак.

— Сколько?

— По крайней мере шесть тысяч.

Король не мог удержаться, чтоб не воскликнуть:

— Отлично!

Затем он снова спросил:

— Вооружены?

— Косами, пиками, самострелами, заступами,

всяким смертоносным оружием.

Этот перечень, по-видимому, вовсе не встревожил короля. Кум Жак счел долгом прибавить:

— Если, ваше величество, не пошлете поспешно помощи председателю, он погиб.

— Пошлем, — с притворной серьезностью проговорил король, — конечно, пошлем. Председатель наш друг. Шесть тысяч! Какие выискались отчаянные! Неслыханная дерзость, и мы на нее очень гневаемся. Но у нас под рукой сегодня мало народу… Успеем послать завтра утром.

Кум Жак вскричал:

— Немедленно, государь! Здание суда будет до завтра двадцать раз разгромлено, поместье разграблено, а сам судья повешен! Ради бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего дня.

Король пристально взглянул ему в лицо:

— Я сказал — завтра утром!

Это был один из тех взглядов, после которых уже не возражают.

Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос:

— Кум Жак, ты должен знать это. Каковы были… — Он поправился: — Каковы феодальные права председателя?

— Государь, председатель суда владеет улицей Каляндр до улицы Эрбри, площадью Святого

Михаила и постройками, известными в простореччии под названием ле Мюро, расположенными в числе тринадцати близ церкви Богородицы на Полях, — (тут Людовик XI приподнял шапку), — затем Двором чудес, больницей, называемой Банпье, и всем шоссе — от этой больницы до ворот Святого Иакова. Во всех этих местах он пользуется правом суда и собирания податей, вообще — всеми правами ленного господина.

— Ого! — сказал король, почесывая за левым ухом правой рукой. — Порядочный кусочек моего города. Так господин судья был владельцем всего этого?

На этот раз он не поправился и продолжал, как бы рассуждая сам с собой:

— Отлично, господин судья! Славный кусочек нашего Парижа был в ваших зубах!

Вдруг он разразился:

— Клянусь Пасхой! Что это за господа, присваивающие себе права сборщиков податей, судей, правителей, полных хозяев в нашем государстве! У них свои сборщики податей, свой суд и палачи на всех перекрестках! Выходит, что, как грек насчитывал столько богов, сколько было источников в его стране, а перс столько, сколько звезд на небе, так француз насчитывает столько

королей, сколько видит виселиц! Прескверный порядок, и подобное смешение мне не нравится. Желал бы я узнать, волей ли Всевышнего установлено, чтобы в Париже кто-нибудь получал подати кроме короля, чтобы судил кто-нибудь кроме нашего парламента и в нашем государстве был иной государь кроме нас? Клянусь спасением своей души! Пора наступить дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья, один палач, подобно тому как в раю есть только один Бог!

Он еще раз приподнял шапку и продолжал, все еще погруженный в свои мысли, тоном охотника, науськивающего и спускающего свою свору:

— Хорошо, мой народ! Отлично! Сокрушай этих самозваных властителей! Делай свое дело. Ату их! Грабь их, вешай, разоряй!.. А! Вы захотели стать королями, господа! Бери их, народ, бери!..

Тут он вдруг оборвал речь, закусил губу, как бы желая вернуть чуть было не вырвавшуюся наружу мысль, окинул своим проницательным взглядом каждого из пяти окружавших его вельмож и вдруг, схватив обеими руками шапку и глядя на нее, сказал:

— О, я бы сжег тебя, если б ты знала, что у меня в голове!

Затем, еще раз оглядевшись внимательным и тревожным взглядом лисицы, тайком пробирающейся в свою нору, он докончил:

— Ну, все равно! Мы окажем помощь господину судье. К несчастью, у нас здесь мало войска сравнительно с такой массой черни. Надо подождать до завтра. Порядок будет восстановлен, а кого захватят, без разговоров повесят.

— Кстати, государь, — сказал кум Куаксье, — с перепугу я забыл доложить, что стража захватила двоих бродяг из шайки. Если вашему величеству угодно будет видеть этих людей, они здесь.

— Угодно будет их видеть! — закричал король. — Клянусь Пасхой! Как ты забыл такую вещь? Оливье, беги скорей за ними!

Мэтр Оливье вышел и через минуту вернулся с двумя арестантами, окруженными конвоем королевских стрелков. У первого из арестантов было толстое, глупое, удивленное лицо пьяницы. Он был одет в рубище и шел, сгибая колени и волоча одну ногу. Второй был человек с бледной улыбающейся физиономией, уже знакомый читателю.

Король смотрел на них с минуту, не говоря ни слова, затем вдруг, обращаясь к первому из приведенных, спросил:

— Как тебя зовут?

— Жьефруа Пенсбурд.

— Твое ремесло?

— Бродяга.

— Зачем ты ввязался в этот проклятый бунт?

Бродяга смотрел на короля, качая руками с глупым видом. Это была одна из тех несуразных голов, где уму так же удобно помещаться, как огню под гасильником.

— Не знаю, — отвечал он. — Другие пошли, и я пошел.

— Вы шли нападать и грабить вашего господина, председателя суда?

— Я знаю, что хотели нападать на что-то, захватить кого-то. Вот и все.

Один из солдат показал кривой нож, найденный у бродяги.

— Ты узнаешь это оружие? — спросил король.

— Да, это мой нож. Я виноградарь.

— А в этом человеке признаешь своего товарища? — спросил Людовик XI, указывая на второго арестанта.

— Нет, я его не знаю.

— Довольно, — сказал король, делая знак личности, молча стоявшей у двери, на которую мы уже обратили внимание читателя. — Кум Тристан, бери, он твой.

Тристан Пустынник поклонился. Он тихим голосом отдал приказание двум стрелкам, и они увели несчастного бродягу.

Между тем король подошел ко второму арестованному, с которого градом катился пот.

— Как тебя зовут?

— Пьер Гренгуар, государь.

— Твое ремесло?

— Философ, государь.

— Как ты смеешь, негодяй, восставать против нашего друга, господина председателя суда, и что скажешь об этом бунте черни?

— Государь, я в нем не участвовал.

— Как это? Разве не захватила тебя, грабителя, стража в той толпе?

— Нет, государь, тут недоразумение. Это злой рок. Я пишу трагедии. Умоляю, ваше величество, выслушать меня. Я поэт. Людей моей профессии меланхолия иногда заставляет выйти ночью на улицу. Со мной это случилось сегодня. Несчастная случайность! Меня задержали напрасно. Я не принимал участия в бунте. Ваше величество видели, что бродяга не узнал меня. Умоляю, ваше величество…

— Замолчи, — приказал король, глотнув своего отвара, — от твоей болтовни голова трещит…

Тристан Пустынник подошел и, указывая на Гренгуара пальцем, спросил:

— Государь, и этого можно повесить?

Это были первые слова, произнесенные им.

— Пхэ! — небрежно ответил король. — Не имею ничего против…

— Зато я имею, — сказал Гренгуар.

Наш философ был в эту минуту зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он увидал, что спасения можно искать в каком-нибудь очень патетическом эффекте. Он бросился к ногам Людовика, восклицая с отчаянными жестами:

— Ваше величество, сделайте милость, выслушайте меня! Государь, не тратьте ваши громы на такое ничтожество, как я. Гром Божий не поражает латука. Государь, вы могущественный, августейший монарх, сжальтесь над несчастным, но честным человеком, которому было бы труднее подстрекать кого-либо к бунту, чем льдине дать искру! Милостивый государь, милосердие — добродетель льва и короля. Увы! Строгость только запугивает умы. Бешеным порывом ветра не сорвать плаща со странника; солнце же, пригревая его своими лучами, мало-помалу так разгорячает его, что заставляет остаться в

одной рубахе. Государь, вы — солнце! Уверяю вас, мой государь, господин и повелитель, что я не бродяга, не товарищ этих безумных воров. Бунт и разбой не пристали свите Аполлона. Не такой я человек, чтоб броситься в эти грозные тучи, которые разражаются мятежом. Я верный подданный вашего величества. Подобно тому как муж дорожит честью своей жены, а сын дрожит при мысли навлечь на себя гнев отца, так верноподданный дорожит славой своего короля. Он должен жить единой мыслью о благополучии королевского дома, об усилении своей преданности. Всякая иная страсть, берущая верх над этим чувством, — заблуждение. Вот, государь, мои политические правила. Не смотрите же на меня как на бунтовщика и грабителя, видя мое вытертое на локтях платье. Если вы меня помилуете, я протру его на коленях, молясь денно и нощно за вас. Увы! Правда, я не очень богат и даже несколько бедноват, но это не сделало меня порочным. Это не моя вина. Всем известно, что литературными трудами не накопишь большого богатства и что у тех, кто зачитывается хорошими книгами, не всегда бывает яркий огонь зимою. Одна только адвокатура склевывает все зерна, оставляя мякину прочим научным профессиям. О дырявом

плаще философов есть сорок прекрасных пословиц. О государь, милосердие — единственный свет, способный осветить глубины великой души. Милосердие создает любовь подданных, которая является лучшей охраной личности государя. Что в том вашему величеству, ослепляющему всех вашим могуществом, если на свете будет больше одним человеком — одним философом, который будет продолжать плестись во мраке бедствий с пустыми карманами, перекликающимися с его пустым желудком? К тому же, государь, я ученый. Великие государи увеличивают славу своего венца, покровительствуя ученым. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз. Матвей Корвин покровительствовал Жану Монроялю, украшению математиков. Плохое же было бы покровительство наукам, если бы ученых вешали. Какое пятно наложил бы на себя Александр, если б велел повесить Аристотеля! Этот поступок не был бы мушкой для украшения его лица, но зловредным наростом, который бы испортил его лицо. Государь, я написал очень удачную эпиталаму для принцессы Фландрской и августейшего дофина. Разве мог бы сделать это мятежник? Ваше величество, вы изволите видеть, что я не полуграмотный босяк, что я прекрасно учился и

обладаю природным талантом. Помилуйте меня, государь. Этим вы угодите Пресвятой Деве, и клянусь вам, меня очень пугает мысль о виселице!

При этом Гренгуар в отчаянии целовал туфли короля, а Гильом Рим говорил шепотом Коппенолю:

— Хорошо делает, что валяется у его ног. Король все равно что критский Юпитер, — у него уши только в ногах.

А чулочник, не думая о критском Юпитере, отвечал с мрачной улыбкой, смотря на Гренгуара:

— О! Превосходно! Мне кажется, что это канцлер Гюгоне снова молит меня о пощаде.

Когда наконец Гренгуар умолк, еле переводя дух, он, дрожа, поднял глаза на короля, который ногтем отчищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество начал медленно пить свой отвар из кубка. Он не говорил ни слова, и это молчание было пыткой для Гренгуара. Наконец Людовик взглянул на него.

— Вот так болтун, — проговорил он.

Затем, обращаясь к Тристану Пустыннику, приказал:

— Отпусти его!

Гренгуар так и присел, не помня себя от радости.

— Отпустить! — проворчал Тристан. — Ваше величество, не подержать ли его немножко в клетке?

— Неужели ты думаешь, кум, что мы строим клетки, обходящиеся нам по триста шестидесять семь ливров восемь солей три денье, для таких птиц, как он? Отпусти этого развратника! — (Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с «клянусь Пасхой» всегда употреблял в веселые минуты.) — Вытолкать его отсюда пинком!

— Ах! — воскликнул Гренгуар. — Вот великий король!

Опасаясь, чтобы король не взял назад своего приказания, он бросился к двери, которую Тристан отворил ему довольно неохотно. Солдаты последовали за ним, подталкивая его кулаками, что Гренгуар перенес, как подобает истинному философу-стоику.

Хорошее расположение, овладевшее королем с той минуты, как ему сообщили о бунте против председателя суда, сквозило во всем. Это необычайное милосердие было немаловажным признаком. Тристан смотрел из своего угла свирепо, точно дог, видевший кость и не получивший ее.

Людовик XI между тем весело барабанил по

ручке своего кресла марш Пон-Одемера.

Король был очень скрытен, но умел гораздо лучше скрывать свое огорчение, чем свою радость. Эти внешние проявления удовольствия при каждом хорошем известии заходили иногда очень далеко; так, при известии о смерти Карла Смелого он дал обет построить серебряную балюстраду в храме Святого Мартина Турского, а при своем восшествии на престол он даже забыл распорядиться похоронами отца.

— Да, государь! — вдруг спохватился Жак Куаксье. — Что сталось с острым приступом болезни, ради которого вы меня вызвали?

— Ох, кум, я и в самом деле очень страдаю, — отвечал король. — В ушах шум, и грудь раздирает словно железными когтями.

Куаксье взял руку короля и стал считать пульс с ученым видом.

— Посмотри, Коппеноль, — шепотом обратился Рим к своему товарищу. — Вот он теперь между Куаксье и Тристаном. Это весь его штат. Врач — для него, палач — для других.

Ощупывая пульс короля, Куаксье становился все озабоченнее.

Людовик XI начал посматривать на него несколько тревожно. Лицо Куаксье явно омра-

чилось. У бедняка не было другого средства пропитания, кроме плохого здоровья короля. Он извлекал из него всю выгоду, какую мог.

— Да, да, — пробормотал он наконец, — с этим шутить нельзя.

— Правда? — с беспокойством спросил король.

—

Pulsus creber, anhelans, crepitans, irregularis[146], — продолжал врач.

— Клянусь Пасхой!

— При таком пульсе через три дня может не стать человека.

— Пресвятая Дева! — воскликнул король. — Какое же лекарство, кум?

— Подумаю, государь.

Он заставил Людовика XI показать язык, покачал головой, сделал гримасу и посреди этих кривляний неожиданно сказал:

— Кстати, государь, я должен сообщить вам, что освободилось место сборщика коронных регалий, а у меня есть племянник.

— Даю место твоему племяннику, кум Жак, — отвечал король, — только избавь меня от этого огня в груди.

---

[146] Сноски: 146
Пульс частый, прерывистый, слабый, неправильный (*лат.*).

— Я надеюсь, ваше величество, что при вашем милосердии вы не откажете мне немного помочь при постройке моего дома в улице Сент-Андрэ-дез-Арк.

— Гм! — ответил король.

— Мои финансы истощились, — продолжал врач, — а ведь жаль оставить дом без крыши. Не из-за дома — он у меня самый простой — буржуазный, а из-за живописи Жегана Фурбо, украшающей стены. Там есть одна мчащаяся Диана, такая прекрасная, такая нежная, изящная, жизненная, с головкой, украшенной полумесяцем, с кожей такой белой, что, кажется, она способна соблазнить каждого, кто на нее поглядит слишком пристально. Есть еще Церера. Красивая богиня! Она сидит на снопе в венке из козельца и других цветов. Ничто не может быть обольстительнее ее глаз и округленнее ее ног, благороднее ее фигуры и изящнее складок ее одежды. Это одна из совершеннейших и самых чистых красавиц, когда-либо вышедших из-под кисти художника.

— Палач! — ворчал Людовик XI. — К чему ты ведешь свою речь?

— Все эти картины нуждаются в крыше, и хотя это недорого стоит, однако у меня совсем нет

денег.

— Что будет стоить крыша?

— Крыша… медная, с резьбой и позолотой — не больше двух тысяч.

— Ах, убийца! — закричал король. — За каждый выдернутый зуб ему приходится платить бриллиантом.

— Будет у меня крыша? — спросил Куаксье.

— Да! И убирайся к черту, только вылечи меня.

Жак Куаксье низко поклонился и сказал:

— Государь, вот отвлекающее средство, которое спасет вас. Мы вам поставим на поясницу целебный пластырь из воска, армянского болюса, яичного белка, оливкового масла и уксуса. Вы будете продолжать пить свое питье, и мы отвечаем за жизнь вашего величества.

Горящая свеча привлекает не одну мошку. Мэтр Оливье, видя, что король в щедром настроении, и считая минуту удобной, приблизился в свою очередь:

— Государь…

— Что еще? — спросил Людовик.

— Государь, вам известно, что Симон Раден умер?..

— Ну, и что же?

— Он состоял королевским советником в суде

казначейства….

— Ну так что же?

— Государь, его место освободилось…

Во время этого разговора на высокомерном лице Оливье надменное выражение сменилось низкопоклонным. Это единственная перемена, на которую способно лицо придворного. Король очень пристально взглянул ему в лицо и ответил сухо:

— Понимаю.

Затем продолжал:

— Мэтр Оливье, маршал Бусико говорил: «От кого ждать подарка, как не от короля, где ждать богатого улова, как не в море». Я вижу, ты разделяешь мнение Бусико. Ну, теперь послушай, что я скажу. У нас память хорошая. В шестьдесят восьмом году мы возвели тебя в должность камердинера; в шестьдесят девятом — назначили тебя комендантом замка близ моста в Сен-Клу с жалованьем в сто турских ливров (ты желал парижских). В ноябре семьдесят третьего года рескриптом, данным в Жержоле, мы отдали тебе должность привратника в Венсенском лесу вместо оруженосца Жильбера Акля. В семьдесят пятом году сделали тебя лесничим в Руврэ-ле-Сен-Клу вместо Жака ле Мэра. В семьдесят восьмом

году мы указом за двумя висячими восковыми зелеными печатями соблаговолили предоставить тебе и жене твоей право взимать ренту в десять парижских ливров за места с торговцев, торгующих близ Сен-Жерменской школы. В семьдесят девятом году мы назначили тебя лесничим Сенорского леса вместо бедняги Жегана Диаца, затем комендантом замка Лош, потом губернатором Сен-Кантена, потом комендантом Мёланского моста, и с этого времени ты стал называться графом. Из пяти солей, которые платит каждый цирюльник, бреющий в праздник, три достаются тебе, а мы уж получаем остальное. Мы соблаговолили переменить твою фамилию Le Mauvais[147], прекрасно подходившую к твоей физиономии. В семьдесят четвертом году мы, к великому неудовольствию нашего дворянства, даровали тебе разноцветный герб, который делает твою грудь похожей на грудь павлина. Клянусь Пасхой! Не хватил ли ты лишнего? Не слишком ли хорош и необычаен улов? Смотри, как бы лишняя рыбка не опрокинула твою ладью! Тщеславие погубит тебя, куманек. За гордостью всегда идут по пятам разорение и позор. Прими это во внимание и

[147] Сноски: 147
Плохой, урод (*фр.*).

молчи!

Эти сурово произнесенные слова вернули лицу мэтра Оливье его нахальное выражение.

— Ладно, — пробормотал он почти вслух, — видно, что король сегодня болен. Все только для врача.

Людовик вовсе не рассердился на такую дерзость, а, напротив, сказал довольно кротко:

— Постой, я еще забыл, что дал тебе пост посланника в Генте, при дворе герцогини Марии. Да, господа, — обратился король к фламандцам, — он был посланником. Ну, куманек, не обижайся, — продолжал он, обращаясь к мэтру Оливье, — ведь мы старые друзья. Однако уже очень поздно; мы кончили работу. Побрей меня.

Читатели, несомненно, не догадывались до сих пор, что мэтр Оливье был не кто иной, как тот страшный Фигаро, которого судьба, эта великая сочинительница драм, так искусно заставила играть роль в длинной кровавой комедии царствования Людовика XI. Мы не станем останавливаться здесь подробно на описании этой оригинальной личности. У этого королевского брадобрея было три имени. При дворе его из вежливости звали Оливье ле Дэн, в народе — Оливье Дьявол. Настоящее же его имя было

Оливье Урод.

Оливье Урод стоял неподвижно, сердясь на короля, и косился на Жака Куаксье.

— Да, да, все врачу! — бормотал он сквозь зубы.

— Ну да, врачу! — повторил Людовик с необычайным добродушием. — Врач пользуется большим кредитом, чем ты. И это очень понятно. Он господин всей нашей особы, а ты держишь в своих руках только наш подбородок. Погоди, мой бедный брадобрей, и на твоей улице будет праздник. А что бы ты стал делать и на что бы тебе послужило твое ремесло, если бы я, как король Хильперик, имел привычку держаться за бороду рукою?.. Ну, куманек, принимайся за свои обязанности и выбрей меня. Принеси все, что нужно.

Оливье, видя, что король все обратил в шутку и что даже не было возможности рассердить его, отправился ворча исполнять его приказание. Король встал, подошел к окну и вдруг, распахнув его, в необычайном волнении воскликнул, захлопав в ладоши:

— О! Над городом зарево! Это горит дом председателя суда! Сомнений быть не может. Ах, мой добрый народ! Наконец-то ты поможешь мне уничтожить феодалов. — Обращаясь к фламанд-

цам, он сказал: — Посмотрите, господа. Это зарево, не правда ли?

Оба гентца подошли.

— Сильный огонь! — сказал Гильом Рим.

— О, это напоминает мне сожжение дома сеньора д'Эмберкура! — прибавил Коппеноль, глаза которого вдруг сверкнули. — Восстание, должно быть, серьезное.

— Вы так думаете, мэтр Коппеноль? — Взгляд Людовика XI стал почти так же весел, как взгляд чулочника. — Трудно будет противиться ему!

— Клянусь Богом! Вашему величеству придется пожертвовать не одной ротой солдат…

— Ах, мне… Ну, это другое дело… Если б я захотел…

Чулочник смело продолжал:

— Если это восстание таково, как я предполагаю, то тут мало захотеть вашему величеству…

— Двух рот моего конвоя, кум, да одного залпа картечи будет достаточно, чтобы обуздать это мужичье, — ответил Людовик XI.

Чулочник, несмотря на знаки, которые ему делал Гильом Рим, по-видимому, решился не уступать королю:

— Государь, и швейцарцы были мужичье! Герцог Бургундский был знатный вельможа и

с презрением относился к этой черни. В битве при Грансоне, государь, он кричал: «Канониры! стреляйте в этих негодяев!» — и клялся святым Георгием. Но Шарнахталь бросился на великолепного герцога со своей палицей и своим народом, и от натиска толстокожих мужиков блестящая бургундская армия разлетелась, как стекло от удара камнем. Немало рыцарей пало от руки крестьян, а сеньора Шато-Гюона, самого знатного вельможу Бургундии, нашли мертвым с его серой лошадью в небольшом болотце.

— Вы говорили, любезный, о битве, а тут бунт. Я с ним справлюсь, когда только мне вздумается нахмурить брови.

Коппеноль отвечал невозмутимо:

— Очень может быть, государь. Это будет означать, что час народа еще не наступил.

Гильом Рим счел нужным вмешаться:

— Мэтр Коппеноль, вы говорите с могущественным королем.

— Знаю, — серьезно отвечал чулочник.

— Пусть себе говорит, мой друг Рим, — сказал король. — Я люблю, когда говорят так свободно. Отец мой, Карл Седьмой, говорил, что правда больна. Я же думал, что она умерла и не нашла себе духовника. Мэтр Коппеноль доказал мне,

что я ошибаюсь. — И, положив ласково руку на плечо Коппеноля, он обратился к нему: — Итак, мэтр Коппеноль, вы сказали...

— Я сказал, государь, что вы, быть может, правы, что час народа еще не пробил.

Людовик XI посмотрел на него своим проницательным взглядом:

— А когда этот час наступит, мэтр?

— Вы услышите бой часов.

— Каких часов, нельзя ли узнать?

Коппеноль со своей спокойной, безыскусственной сдержанностью подвел короля к окну.

— Послушайте, государь! Здесь есть башня, дозорная вышка, пушки, горожане, солдаты. Когда вышка ударит в набат, когда пушки загрохочут, когда башня рухнет со страшным шумом, когда горожане и солдаты с ревом начнут убивать друг друга, — это и будет бой часов.

Лицо Людовика омрачилось. Он задумался и несколько минут молчал, затем похлопал рукой, как ласкают круп коня, по толстой стене башни.

— Ну, нет, не так-то легко ты обрушишься, моя добрая Бастилия, — сказал он. И вдруг, обратившись резким движением к смелому фламандцу, спросил: — А вам, мэтр Жак, случалось видеть бунт?

— Я сам принимал в нем участие, — отвечал чулочник.

— Как же вы устраивали бунт? — спросил король.

— Ну, — ответил Коппеноль, — это дело нехитрое. На это есть сто способов. Прежде всего необходимо, чтоб в городе существовало недовольство. Это не редкость. Затем — характер жителей. Жителей Гента на бунт поднять нетрудно. Они всегда на стороне наследника, на стороне правителя — никогда. Так вот, скажем, в одно прекрасное утро в мою лавку входят и говорят: «Отец Коппеноль, так-то и так-то, Фландрия хочет спасти своих министров», или еще что-нибудь в этом роде, — это не важно. Я бросаю работу, выхожу из лавки на улицу и кричу: «Грабь!» Тут же всегда находится какая-нибудь бочка с выбитым дном. Я влезаю на нее и начинаю громко говорить все, что взбредет мне в голову, все, что у меня на сердце; а когда происходишь из народа, государь, на сердце всегда что-нибудь лежит. Люди собираются, кричат, бьют в набат, народ вооружается оружием, отобранным у солдат, к толпе присоединяются торговцы, и все двигаются в путь. И так будет всегда, до тех пор, пока будут сеньоры в поместьях, буржуа в городах, крестьяне

в селениях.

— Против кого же вы бунтуете? — спросил король. — Против ваших судей? Против ваших сеньоров?

— Иногда. Это — смотря по обстоятельствам. Иногда и против герцогов.

Людовик XI снова сел и сказал, улыбаясь:

— У нас пока принимаются еще только за судей.

В эту минуту вернулся Оливье ле Дэн в сопровождении двух пажей, несших принадлежности королевского туалета. Но короля поразило то, что вместе с ним появились парижский префект и начальник ночной стражи, по-видимому сильно перепуганные. У коварного брадобрея вид был тоже перепуганный, но вместе с тем на лице его проглядывало злорадство. Он заговорил первый:

— Государь, я прошу ваше величество простить меня за печальную новость, которую я вам приношу.

Король быстро повернулся, царапая ножками кресла циновки на полу.

— Что такое?

— Государь, — начал Оливье с злобным выражением человека, радующегося, что может нанести жестокий удар, — народ восстал не про-

тив председателя суда…

— Против кого же?

— Против вас, государь!

Старый король вскочил и выпрямился во весь рост, как юноша.

— Говори ясней, Оливье! Говори ясней! Да смотри, обдумай свои слова, куманек, клянусь крестом святого Лоо, что если ты солжешь нам сегодня, то окажется, что шпага, отрубившая голову герцогу Люксембургскому, еще не настолько притупилась, чтоб не снести голову тебе!

Клятва была ужасна. Людовик XI только два раза в жизни поклялся крестом святого Лоо. Оливье пытался ответить:

— Государь…

— На колени! — резко перебил его король. — Тристан, не выпускай из виду этого человека!..

Оливье стал на колени и продолжал холодно:

— Государь, парламентский суд приговорил к смерти колдунью. Она спаслась в соборе Богоматери. Народ хочет силой вывести ее оттуда. Господин префект и начальник ночной стражи, только что пришедшие оттуда, могут подтвердить, правду ли я говорю. Чернь осаждает собор Богоматери.

— Вот как! — тихо проговорил король, весь

побледнев и дрожа от гнева. — Они нападают на нашу покровительницу, Пресвятую Деву, в ее соборе… Встань, Оливье! Ты прав. Место Симона Радена за тобой… Ты прав: нападают на меня. Колдунья находится под охраной церкви, а церковь — под моей! А я-то думал, что взбунтовались против председателя суда! Оказывается — против меня…

Помолодев от ярости, он стал ходить по комнате большими шагами. Он уже не смеялся, он был ужасен, он бегал взад и вперед. Лисица превратилась в гиену. Он задыхался так, что не мог говорить; его губы шевелились, костлявые кулаки сжимались. Вдруг он поднял голову; впалые глаза его сверкали, а голос звенел, как рожок:

— Бей их, Тристан! Бей этих негодяев! Иди, Тристан, иди, мой друг! Бей их! Бей!

После этой вспышки он снова уселся и сказал с холодным, сосредоточенным бешенством:

— Поди сюда, Тристан… Здесь, в Бастилии, у нас под рукой триста всадников виконта де Жифа — возьми их. Здесь также рота стрелков нашего конвоя под начальством Шатопера — возьми и их. Ты начальник кузнецов, у тебя есть члены твоего цеха — захвати и их. В отеле Сен-Поль застанешь сорок стрелков новой гвардии дофина

— возьми их и со всеми этими силами скорей к собору. Ах, парижские бродяги, вы смеете посягать на французскую корону, на святость Богоматери, на мир нашего государства! Тристан, уничтожай их! А кто останется жив, того на Монфокон!

Тристан поклонился:

— Повинуюсь, государь.

Помолчав, он прибавил:

— А что делать с колдуньей?

Король призадумался:

— С колдуньей?.. Господин д'Эстувиль, что хотел с ней сделать народ?

— Мне думается, государь, что раз народ пытается взять ее из собора, где она нашла убежище, значит, ее безнаказанность возмущает его, и он хочет ее повесить.

Король, казалось, глубоко задумался, а затем обратился к Тристану:

— Ну, что же, кум, перебей народ, а колдунью повесь!

— Вот это мне нравится, — шепотом сказал Рим Коппенолю, — наказывать народ за намерение и делать то, что он хочет.

— Слушаю, государь, — ответил Тристан. — А если колдунья еще в соборе Богоматери, взять ее оттуда, несмотря на право убежища?

— Да, клянусь Пасхой, право убежища! — сказал король, почесывая за ухом. — А между тем эту женщину необходимо повесить.

И, словно охваченный внезапной идеей, он бросился на колени перед креслом, снял шапку, положил на сиденье и, набожно смотря на одну из свинцовых фигурок, украшавших шапку, начал молиться, сложив руки:

— Прости меня, Парижская Богоматерь, моя милостивая покровительница! Никогда больше я не стану делать этого. Надо покарать эту преступницу. Уверяю тебя, Пресвятая Дева, моя владычица, что эта колдунья недостойна твоего милостивого заступничества. Тебе известно, что многие благочестивые государи преступали церковные привилегии во имя славы Божией и государственной необходимости. Святой Гюг, епископ Английский, разрешил королю Эдуарду взять колдуна из его церкви. Святой Людовик Французский, мой покровитель, во имя того же нарушил неприкосновенность храма Святого Павла, а Альфонс, сын короля иерусалимского, — даже неприкосновенность Гроба Господня. Прости же меня на этот раз, Парижская Богоматерь. Впредь я не буду делать этого и пожертвую тебе прекрасную серебряную статую — такую же,

какую в прошедшем году принес в дар церкви Богоматери в Экуане. Аминь.

Он перекрестился, встал, снова надел шапку и сказал Тристану:

— Не медли, кум. Возьми с собой господина де Шатопера. Пусть ударят в набат. Раздави чернь, повесь колдунью. Я сказал, и я хочу, чтобы казнь была совершена тобой. Ты отдашь мне потом в ней отчет… Идем, Оливье, я не лягу сегодня… Брей меня.

Тристан поклонился и вышел. Тогда король жестом отпустил Рима и Коппеноля.

— Да хранит вас Бог, верные друзья мои, господа фламандцы. Ступайте отдохните. Уж поздно; время ближе к утру, чем к вечеру.

Оба откланялись, и по дороге в свои комнаты, куда их повел комендант Бастилии, Коппеноль говорил Риму:

— Гм… Надоел мне этот кашляющий король. Мне приходилось видеть пьяного Карла Бургундского. Но он не был так зол, как больной Людовик Одиннадцатый.

— Это оттого, мэтр Жак, — отвечал Рим, — что королей вино ожесточает меньше, чем лекарство.

VI. «Огонек горит»

Выйдя из Бастилии, Гренгуар пустился бежать вниз по улице Святого Антония с прытью понесшей лошади. Добежав до ворот Бодуйе, он направился прямо к каменному кресту, стоявшему посреди площади, словно различив в темноте фигуру человека, одетого в черный плащ с капюшоном и сидевшего на ступенях у подножия креста.

— Это вы, учитель? — спросил Гренгуар.

Черная фигура поднялась.

— Проклятье! Я сгорел от нетерпения, Гренгуар. Сторож с башни Сен-Жерве прокричал половину второго пополуночи.

— О, это не моя вина, — сказал Гренгуар, — виновата королевская ночная стража. Мне, однако, счастливо удалось отделаться. Я опять чуть-чуть было не попал на виселицу. Такова, видно, моя судьба.

— У тебя всегда все выходит «чуть-чуть не». Ну, пойдем скорей. Знаешь пароль?

— Представьте себе, учитель, я видел короля. Я прямехонько от него. На нем бумазейные штаны. Это целое приключение!..

— О, какой ты болтун! Какое мне дело до твоего приключения! Ты узнал пароль бродяг?

— Узнал, не беспокойтесь: «Огонек горит».

— Хорошо. Иначе нам не добраться до церкви. Бродяги преградили доступ со всех улиц. Но, кажется, к счастью, они натолкнулись на препятствие. Мы еще, может быть, поспеем вовремя.

— Поспеем, учитель. А только как же мы пройдем в собор?

— У меня ключи от башен.

— А как выйдем?

— Позади монастыря есть дверца, выходящая во двор, а оттуда к реке. Я захватил ключ от этой дверцы и с утра заготовил лодку.

— Меня, право, чуть было не повесили! — снова сказал Гренгуар.

— Ну скорей, иди! — ответил второй.

Оба быстрыми шагами направились к Сите.

VII. «Шатопер, выручай!»

Читатель, может быть, помнит, в каком критическом положении мы оставили Квазимодо. Храбрый глухой, осажденный со всех сторон, потерял если не всякое мужество, то, по крайней мере, всякую надежду спасти — не себя: он и

не думал о себе, — но цыганку. Он в отчаянии бегал по галерее. Еще несколько минут, и собор очутится в руках бродяг. Вдруг в соседних улицах послышался лошадиный топот; на площади показался длинный ряд факелов и густая колонна всадников, скакавших с пиками наперевес; на площадь, как ураган, обрушились шум и крики: «Франция! Франция! Кроши мужиков! Шатопер, выручай! За прево! За прево!» Испуганные бродяги повернулись лицом к всадникам. Квазимодо, не слыша ничего, увидал обнаженные шпаги, факелы, наконечники пик всадников, во главе которых узнал капитана Феба, увидал смятение бродяг, испуг одних и смущение наиболее храбрых и почерпнул в неожиданно подоспевшей помощи столько новой силы, что сбросил со стен церкви уже вступавших было на галерею осаждающих.

То действительно прискакали королевские отряды. Бродяги встретили их храбро. Они защищались отчаянно. Захваченные сбоку, со стороны улицы Сен-Пьер-о-Беф, и с тылу, через улицу Парви, притиснутые к фасаду собора, который они осаждали и который защищал Квазимодо, играя двойную роль осаждающих и осажденных, бродяги находились в таком же оригинальном

положении, в каком впоследствии, в 1640 году, очутился граф Генрих д'Аркур между принцем Фомой Савойским, которого он осаждал, и маркизом Леганез, который блокировал его. Taurinum obsessor idem et obsessus[148], как гласит его надгробная надпись.

Произошла ужасная схватка. «В волчью шкуру — собачьи зубы», — как говорит Матье. Королевские войска, среди которых отличался своей храбростью Феб Шатопер, не щадили никого; они кололи и рубили направо и налево. Плохо вооруженные бродяги кусались с пеной у рта. Мужчины, женщины, дети бросались на лошадей спереди и сзади и вцеплялись в них зубами и ногтями рук и ног. Другие совали факелы в лицо всадникам. Третьи крючьями захватывали всадников за шею, стаскивали с лошадей и терзали упавших. Особенно выделялся один из бродяг, долго подкашивавший огромной сверкающей косой ноги лошадей. Он был ужасен. Гнусаво распевая песню, он без остановки взмахивал своей косой. При каждом взмахе вокруг него ложился круг срезанных членов. Спокойно и медленно покачивая головой и дыша глубоко и ровно,

---

[148] Сноски: 148
Осаждал тавринов и сам был осажден (*лат.*).

точно косец, скашивающий поле пшеницы, он подвигался к самому центру конницы. Это был Клопен Труйльфу. Выстрел из арбалета уложил его наповал.

Между тем окна в домах снова начали отворяться. Жители окрестных домов, услыхав боевой крик королевских солдат, вмешались в дело, и со всех этажей на бродяг посыпались пули. Густой дым, пронизываемый огненной полосой мушкетных выстрелов, окутал всю площадь. Через нее с трудом можно было различить фасад собора Богоматери и старинного здания больницы Отель-Дьё, крыша которого была усеяна слуховыми окнами, откуда тут и там высовывались истощенные лица больных.

Наконец бродяги уступили. Усталость, недостаток в хорошем оружии, неожиданность нападения, огонь, открытый из окон, храбрый натиск королевских войск — все это сломило их. Они прорвались через цепь осаждающих и пустились бежать по всем направлениям, оставив на площади массу убитых.

Увидев бегство врагов, Квазимодо, ни на минуту не переставший обороняться, упал на колени и простер руки к небу. Затем, опьянев от радости, он с быстротой птицы помчался в келью,

вход в которую так храбро защищал. У него была одна только мысль: преклонить колени перед той, которую он сегодня спас во второй раз.

Войдя в келью, он увидал, что она пуста.

Книга одиннадцатая
I. Башмачок

В то время как бродяги осадили собор, Эсмеральда спала. Вскоре ее разбудил все увеличивавшийся шум на площади и беспокойное блеяние козы, проснувшейся раньше ее. Девушка встала с постели, прислушалась, огляделась и, испуганная ярким светом и шумом, выбежала из кельи, чтобы посмотреть, что случилось. Вид площади, смутные призраки, метавшиеся по ней, беспорядок этого ночного нападения, отвратительная толпа, напоминавшая полчище прыгающих лягушек и смутно видневшаяся в темноте, хриплое карканье толпы, одиночные красные факелы, мелькавшие в потемках, точно ночные огни на туманной поверхности болота, — вся эта сцена произвела на Эсмеральду впечатление какой-то таинственной битвы между чудовищами шабаша и каменными статуями собора. Зараженная с детства суевериями цыганского племени, она было подумала, что присутствует на игрище, устроенном таинственными существами, бродящими по ночам. В ужасе бросилась она назад в

келью и притаилась там, моля свое ложе послать ей менее страшные сновидения.

Но мало-помалу первый испуг прошел. По возраставшему шуму и другим ясным признакам она убедилась, что окружена не привидениями, а живыми людьми. Тогда испуг ее не усилился, но принял другое направление. Ей подумалось, что, может быть, это возмутился народ, чтобы взять ее силой из убежища. Мысль о том, что придется вторично проститься с жизнью, с надеждой, с Фебом, образ которого всегда рисовался в ее мечтах о будущем, сознание своего бессилия, невозможность бегства, беспомощность, одиночество — все эти мысли и множество других тяжелым гнетом легли на ее душу. Она бросилась на колени, упала ничком на постель, заломив над головой руки, и, дрожа от тоски, страха, забыв, что она цыганка — язычница, идолопоклонница, — стала, рыдая, просить помощи у христианского Бога и Богоматери, принявшей ее под свое покровительство. Бывают в жизни такие минуты, когда самый неверующий человек готов исповедовать религию того храма, который окажется ближе всего.

Долго оставалась она в таком положении, не столько молясь, сколько дрожа от страха, прислушиваясь с замиранием сердца ко все при-

ближавшемуся реву разъяренной толпы, ничего не понимая, не отдавая себе отчета в том, что там творится и чего от нее хотят, а лишь томясь предчувствием страшной беды.

Вдруг среди этих мук неизвестности она услыхала позади себя шаги. Она обернулась. Два человека, из которых один держал фонарь, вошли в ее келью. Она слабо вскрикнула.

— Не бойся, — проговорил знакомый голос, — это я.

— Кто вы? — спросила она.

— Пьер Гренгуар.

Это имя ее успокоило. Она подняла глаза и действительно узнала поэта. Но рядом с ним стоял еще кто-то, закутанный с ног до головы в черное, и при виде его она оцепенела.

— А ведь Джали меня узнала раньше, чем ты, — с укором заметил Гренгуар.

Козочка действительно не дожидалась, чтобы поэт назвал себя по имени. Едва он вошел, она начала тереться об его колени, осыпая его ласками и белыми волосами, так как в это время линяла. Гренгуар так же нежно отвечал на ее ласки.

— Кто это с вами? — спросила цыганка шепотом.

— Не беспокойся, — отвечал Гренгуар, — это

мой друг.

Затем философ, поставив на пол свой фонарь, уселся на корточки и, обнимая Джали, с восторгом воскликнул:

— Что за прелестное животное! Она, правда, более замечательна своей чистоплотностью, чем величиной, но как она разумна, понятлива и знает не меньше любого ученого! А ну-ка, Джали, посмотрим, не забыла ли ты свои штуки? Покажи-ка нам, как Жак Шармолю…

Человек, закутанный в черный плащ, не дал ему докончить, подошел к Гренгуару и грубо тряхнул его за плечо. Гренгуар вскочил.

— Правда! — воскликнул он. — Я и забыл, что нам нужно торопиться. Все-таки, учитель, можно было об этом напомнить и другим способом. Мое милое дитя, жизни твоей и Джали грозит опасность. Вас хотят взять отсюда, но мы, твои друзья, пришли вас спасти. Следуй за нами.

— Неужели это правда? — воскликнула цыганка с ужасом.

— Совершенная правда. Идем скорей!

— Идем, — пролепетала она. — Но почему твой друг все молчит?

— А в этом виноваты его чудаки-родители, которые создали его таким молчаливым, — сказал

Гренгуар.

Эсмеральде пришлось удовольствоваться таким объяснением… Гренгуар взял ее за руку, спутник их поднял фонарь и пошел вперед. Обезумевшая от ужаса девушка шла покорно туда, куда ее вели. Коза, припрыгивая, бежала за ними и, обрадованная встречей с Гренгуаром, все время подталкивала его рожками, заставляя его спотыкаться на каждом шагу.

«Вот она, жизнь, — размышлял наш философ каждый раз, как спотыкался, — часто бывает, что нас сбивают с ног наши лучшие друзья!»

Они быстро спустились по лестнице с башни, прошли церковью, безлюдной, темной, но гудевшей от отдаленного шума, что производило ужасное впечатление, и через Красную дверь выбрались на монастырский двор. Монастырь опустел, каноники попрятались во дворце епископа, где молились все вместе. Двор был пуст. Испуганные слуги забились в укромные уголки. Беглецы направились к калитке, выходившей на Террен. Незнакомец в черном плаще отпер ее своим ключом. Читателям уже известно, что Терреном назывался мыс, обнесенный стенами со стороны Сите. Мыс этот принадлежал капитулу собора Парижской Богоматери и составлял во-

сточную оконечность острова позади монастыря. Здесь не было ни души, шум приступа доносился сюда слабее, а крики осаждающих звучали глухо. Свежий ветерок, дувший с реки, шелестел листьями единственного дерева, выросшего на самой оконечности мыса, и шепот листьев ясно доносился до беглецов. Но все же опасность не миновала. Ближайшими зданиями к ним были собор и дворец епископа. Во дворце, очевидно, царило ужасное смятение. Сумрачная масса его постоянно озарялась огнями, перебегавшими от одного окна к другому, и напоминала собой кучку пепла от сожженной бумаги, на которой еще вспыхивают тут и там огоньки. Рядом — две огромные башни и главный корпус церкви, над которым они возвышались, вырисовываясь черными силуэтами на огненно-красном зареве, охватывавшем всю площадь, казались двумя гигантскими таганами над очагом циклопов.

Париж, видневшийся отсюда, казался глазу смесью колеблющихся темных и светлых тонов. На картинах Рембрандта встречается такое освещение заднего плана.

Человек, несший фонарь, направился прямо к оконечности мыса Террен. Здесь, около самой воды, шел полусгнивший забор из кольев, пере-

витых виноградной лозой, которая цеплялась за забор своими тонкими ветками, напоминая растопыренные пальцы руки. В тени за этой изгородью была привязана лодка. Незнакомец знаком приказал Гренгуару и его спутнице сесть в лодку, коза прыгнула за ними. Незнакомец вошел последним. Он отрезал веревку, которой была привязана лодка, оттолкнулся от берега длинным крюком и, усевшись на носу, взял весла и принялся грести изо всех сил, стараясь выбраться на середину реки. Течение Сены очень быстро на этом месте, и ему стоило больших трудов отплыть от мыса.

Первой заботой Гренгуара, когда он вошел в лодку, было взять на колени козочку. Он уселся на корму, девушка, которой незнакомец внушал безотчетный ужас, уселась рядом с поэтом и прижалась к нему.

Почувствовав, что лодка тронулась с места, наш философ захлопал в ладоши и поцеловал козочку в голову, между рогами.

— Ну! — воскликнул он. — Теперь мы все четверо спасены.

И, подумав немного, прибавил с весьма глубокомысленным видом:

— Благополучный исход самых великих пред-

приятий зависит иногда от судьбы, иногда — от хитрости.

Лодка медленно подвигалась к правому берегу. Девушка с тайным страхом наблюдала за незнакомцем. Он тщательно закрыл свет своего глухого фонаря и точно призрак вырисовывался во тьме на носу лодки. Опущенный капюшон закрывал его лицо, точно маска, а при каждом взмахе весел широкие черные рукава его одежды напоминали крылья огромной летучей мыши. До сих пор он не произнес ни слова, не проронил ни звука. Слышались только скрип весел в уключинах да журчание воды за бортами лодки.

— Ей-богу! — воскликнул вдруг Гренгуар. — Мы веселы и радостны, как могильщики. Ну, чего мы молчим, точно пифагорейцы или рыбы? Клянусь небом, друзья мои, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из вас заговорил. Человеческая речь — самая приятная музыка для человеческого слуха. Это не мои слова, а изречение Дидима Александрийского, и весьма знаменитое изречение! Ведь Дидим Александрийский — незаурядный философ. Скажите хоть словечко, моя красавица, умоляю, хоть одно словечко. Кстати, у вас была привычка так мило надувать губки, — осталась ли она и теперь? Знаете ли вы, моя прелесть, что

парламент имеет верховную юрисдикцию над всеми местами убежищ и что вы подвергались большой опасности в своей келье в соборе? Увы, маленькая птичка трохил вьет себе гнезда в пасти крокодила. Учитель, смотрите, вон взошла луна. Как бы нас кто не заметил! Мы совершаем похвальный поступок, спасая сию девицу, и тем не менее нас повесят именем короля, если нас поймают. Увы, на людские деяния можно смотреть с различных точек зрения! За что порицают меня, за то венчают лаврами тебя. Те, которые восторгаются Цезарем, осуждают Катилину. Не так ли, учитель? И что вы скажете о моей философии? Я ведь практикую философию по инстинкту, как пчелы геометрию — ut apes geometriam. Ну, что же это все молчат? Какие же вы оба скучные! В таком случае я буду говорить один. В трагедии это называется монологом. Клянусь Пасхой! Предупреждаю вас, что я только что видел короля Людовика Одиннадцатого и перенял у него эту поговорку. Итак, клянусь Пасхой! — здорово же они продолжают шуметь в Сите. Препротивный старикашка этот король. Он весь укутан в меха. И до сих пор должен мне за мою мистерию, а сегодня чуть-чуть не повесил меня; мне бы это пришлось вовсе не по вкусу. Он страшно скуп на награды

талантливым людям. Ему не мешало бы прочесть четыре тома сочинения Сальвиана Кельнского «Adversus avaritiam»[149]. Положительно, этот король имеет весьма узкий взгляд на писателей и совершает крайне жестокие поступки. Это какая-то губка, высасывающая все деньги из народа. Его казна — это растущая опухоль, изнуряющая весь остальной организм. И народные жалобы на плохие времена переходят в ропот на короля. При этом богомольном государе виселицы гнутся от повешенных, плахи загнивают от крови, тюрьмы готовы лопнуть, как переполненные утробы. Одной рукой король берет, а другой вешает. Это прокурор господина Налога и госпожи Виселицы. Он лишает вельмож их сана, а бедняков изнуряет все возрастающими налогами. Этот король ни в чем не знает границ, и мне он не нравится. А вам, учитель?

Человек в черном не обращал внимания на болтовню поэта. Он продолжал бороться с сильным течением узкого русла реки, отделяющего остров Сите от острова Богоматери, носящего теперь название острова Святого Людовика.

— Кстати, учитель! — вспомнил вдруг Гренгу-

---

[149] Сноски: 149
«Против скупости» (*лат.*).

ар. — Заметили ли вы, ваше преподобие, когда мы пробирались по площади среди ошалевших бродяг, маленького карапуза, которому ваш глухой звонарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорук и не узнал его. Не знаете ли, кто это был?

Незнакомец не ответил ни слова, но вдруг перестал грести, руки его беспомощно опустились, голова поникла на грудь. И Эсмеральда услышала судорожный вздох. Она содрогнулась. Она уже слыхала эти вздохи.

Лодка, предоставленная самой себе, поплыла по течению реки. Но незнакомец через несколько мгновений овладел собой, выпрямился, схватил весла и снова начал бороться с течением. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани.

— А вон, — заговорил Гренгуар, — виднеется особняк Барбо. Посмотрите, учитель: видите группу черных крыш, образующих такие странные углы, вон там, под низко нависшими разорванными грязными облаками, где восходит луна, приплюснутая и желтая, как яичный желток, пролившийся из разбитого яйца? Это великолепное здание. Там есть часовня, увенчанная небольшим сводом с чудной резьбой. А над

кровлей вы можете заметить колокольню очень тонкой ажурной работы. При доме есть парк, где имеется пруд, птичник, эхо, место для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество густых аллей, где Венера себя прекрасно чувствует. Есть там еще интересное дерево под названием «Сластолюбец». Под его тенью предавались наслаждениям любви одна знаменитая принцесса и некий весьма остроумный и галантный коннетабль Франции. Увы, что значим мы, бедные философы, перед каким-нибудь коннетаблем? То же, что грядка капусты или редиски в сравнении с Луврским садом! Но не все ли равно в конце концов? Человеческая жизнь для сильных мира сего, как и для нас, исполнена добра и зла. Страдание всегда следует за наслаждением, как спондей за дактилем. Учитель, послушайте, я расскажу вам историю особняка Барбо. Конец ее трагический. Это было в тысяча триста девятнадцатом году, в царствование Филиппа Пятого, самого долговязого из всех французских королей. Вывод из этой истории можно сделать тот, что искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо слишком засматриваться на жену своего ближнего, хотя бы она притягивала наши взоры своей красотой. Мысль о прелюбодеянии

— весьма греховная мысль. Прелюбодеяние — это любопытство изведать наслаждение, права на которое принадлежат другому… Ого! Однако шум там все растет!

И действительно, крики и грохот вокруг собора все усиливались. Довольно ясно раздавались победные клики. Вдруг сотни факелов, ярко освещавших каски солдат, замелькали во всех этажах церкви, в башнях, галереях, переходах. Очевидно, кого-то разыскивали, и вскоре до беглецов ясно донеслись отдаленные крики: «Цыганка! Колдунья! Смерть цыганке!»

Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец изо всех сил начал грести к берегу. Между тем наш философ погрузился в размышление. Нежно обнимая козочку, он осторожно отодвигался от цыганки, все ближе прижимавшейся к нему как к своему единственному защитнику.

Гренгуар находился в ужасном затруднении. Он думал о том, что козочку в случае поимки повесят, по существующим законам, и ужасно жалел бедную маленькую Джали. Соображал, что ему будет слишком трудно позаботиться о спасении обеих жертв, тогда как его спутник не желает ничего лучшего, как взять на свое попечение только цыганку.

В душе поэта происходила ужасная борьба, и, подобно Юпитеру «Илиады», он мысленно поочередно взвешивал цыганку и козочку и, глядя то на одну, то на другую глазами, влажными от слез, бормотал сквозь зубы: «А все-таки я не могу спасти вас обеих!»

Сильный толчок дал им знать, что они причалили к берегу. Зловещий шум по-прежнему доносился из Сите. Незнакомец встал, подошел к цыганке и хотел взять ее за руку, чтобы помочь выйти из лодки. Она его оттолкнула и ухватилась за рукав Гренгуара, который в свою очередь почти оттолкнул ее, всецело занятый козочкой. Тогда она выпрыгнула на берег без посторонней помощи. Бедняжка была настолько испугана, что не сознавала, что делает, куда идет. С минуту она простояла как потерянная, глядя на бегущие волны реки. Когда же она немного пришла в себя, то увидала, что осталась одна с незнакомцем. По-видимому, Гренгуар воспользовался моментом высадки на берег, чтобы скрыться вместе с козой между тесно построенными домами улицы Гренье-сюр-Ло.

Бедная цыганка вздрогнула, увидав себя наедине с незнакомцем. Она хотела заговорить, крикнуть, позвать Гренгуара, но язык отказывал-

ся повиноваться, и она не могла произнести ни звука. Вдруг она почувствовала, что незнакомец схватил ее за руку своей сильной и холодной как лед рукой. Зубы ее застучали, и лицо сделалось бледнее луча луны, озарявшего ее. Незнакомец не произнес ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа Эсмеральду за руку. В эту минуту девушка смутно сознавала, что с судьбой бороться бесполезно. Силы ее оставили, она больше не сопротивлялась и бежала рядом с быстро шагавшим незнакомцем. Набережная в этом месте идет в гору, но Эсмеральде казалось, что она спускается по крутому склону.

Она огляделась вокруг. Нигде ни души. Набережная была совершенно пустынна. Виднелись человеческие фигуры и слышались крики только на пылавшем заревом острове Сите, отделенном отсюда лишь рукавом Сены. Оттуда доносилось ее имя, сопровождаемое угрозами смерти. Весь остальной Париж тонул во мраке.

Между тем незнакомец продолжал ее увлекать вперед, так же быстро и так же безмолвно. Она не узнавала ни одного из тех мест, где они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала последнее усилие, вдруг остановилась и крикнула:

— Помогите!

Буржуа, живший в этом доме, отворил окошко, показался в нем в одной рубашке и со светильником в руке, тупо посмотрел на набережную, пробормотал что-то, чего она не расслышала, и снова захлопнул окно. Последний луч надежды исчез.

Незнакомец не произнес ни звука и, крепко держа ее за руку, зашагал еще быстрее. Она больше не сопротивлялась и следовала за ним, совсем разбитая.

По временам она собирала последние силы и спрашивала голосом, прерывающимся от быстрого бега по неровной мостовой: «Кто вы? Кто вы?» Он ничего не отвечал.

Так они дошли, все время вдоль набережной, до довольно обширной площади, слегка освещенной луной. Это была Гревская площадь. Посреди нее возвышалось что-то вроде черного креста: то была виселица.

Эсмеральда все это узнала и поняла, где находится.

Незнакомец остановился, обернулся к ней и поднял капюшон.

— Ах, я так и знала, что это он! — воскликнула молодая девушка, цепенея от ужаса.

Это был архидьякон. Он казался своей тенью,

такое впечатление создавал лунный свет. При таком освещении все предметы кажутся призраками.

— Слушай, — заговорил он, и Эсмеральда содрогнулась при звуках этого зловещего голоса, которого она уже давно не слыхала. Он продолжал свою речь отрывистым и задыхающимся голосом, что доказывало глубокое внутреннее волнение: — Слушай! Мы пришли сюда, и я хочу с тобой поговорить. Это — Гревская площадь. Дальше идти некуда. Судьба нас отдала во власть друг другу. Твоя жизнь в моих руках, моя душа — в твоих. Этой площадью и сегодняшней ночью для нас кончается все. Слушай же, что я хочу тебе сказать… только не говори со мной о своем Фебе. — (Говоря так, он все время ходил взад и вперед, как человек, который не может устоять на месте, и таскал ее за собой.) — Не говори со мной о нем, слышишь! Если ты назовешь его по имени, я не знаю, что я сделаю, но только это будет ужасно.

Высказав это, он остановился, как тело, нашедшее наконец свой центр тяжести. Однако в словах его звучало прежнее волнение. Голос его становился все глуше:

— Не отворачивайся так от меня. Слушай, это

очень серьезная вещь. Во-первых, вот что произошло. Клянусь, тут дело нешуточное. О чем это я говорил? Не помнишь? Ах да. Состоялось постановление парламента, которым тебя приговорили к эшафоту. Я тебя вырвал из их рук, но они ищут тебя. Посмотри.

И он указал на Сите. Там, по-видимому, действительно продолжались поиски. Шум приближался. В башне дома, расположенного как раз напротив Гревской площади, мелькали огни, раздавались крики. На противоположной набережной виднелись фигуры солдат, бегущих с факелами в руках, раздавались их крики: «Цыганка! Где цыганка? Смерть цыганке!»

— Ты сама видишь, что тебя ищут и что я тебе не солгал. Но я тебя люблю. Не открывай рта, лучше совсем молчи, если хочешь сказать, что ты меня ненавидишь. Я не хочу больше этого слышать. Сейчас я спас тебя от смерти. Подожди, дай мне договорить. Я могу тебя совсем спасти. У меня все готово. Теперь дело только за тобой, как ты захочешь, так я и сделаю… — Тут он круто оборвал свою речь. — Нет, совсем не то я хотел сказать.

И быстрыми шагами, не выпуская ее руки из своей и заставляя Эсмеральду бежать, он подо-

шел прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно проговорил:

— Выбирай между нами.

Эсмеральда вырвалась из его рук и припала к подножию виселицы, обнимая ее, как свою последнюю опору. Потом она приподняла свою красивую головку и взглянула через плечо на архидьякона. Она походила на Божью Матерь у подножия креста. Священник стоял не шевелясь, по-прежнему указывая пальцем на виселицу, неподвижный, как статуя.

Наконец цыганка проговорила:

— Я боюсь ее меньше, чем тебя.

Руки архидьякона горестно опустились, и взор с глубоким отчаянием устремился на камни мостовой.

— Если бы эти камни могли говорить, — прошептал он, — они бы сказали, что перед ними самый несчастный человек в мире.

Он опять заговорил. Девушка, коленопреклоненная у подножия виселицы и вся закрытая длинными волосами, не перебивала его. Теперь в голосе его слышались мягкие, жалобные ноты, странно противоречившие надменному и суровому выражению лица.

— Я тебя люблю. О! Это правда! Разве не долж-

но вырываться наружу пламя, сжигающее мое сердце? Увы! Девушка, день и ночь, день и ночь пылает оно. Неужели я не заслуживаю сострадания? Ведь такая любовь — пытка. О, я слишком страдаю, бедное дитя мое! Такая любовь должна вызвать сострадание, я в этом уверен. Ты видишь, как я кротко говорю с тобой, мне бы так хотелось, чтобы ты перестала меня бояться. Да наконец, разве мужчина виноват, если полюбит женщину! Ах, боже мой. Неужели ты меня никогда не простишь, будешь вечно меня ненавидеть! Значит, все кончено! Вот отчего я становлюсь таким жестоким, страшным самому себе. Ты даже не смотришь на меня? Ты, может быть, думаешь о другом, пока я трепетно умоляю тебя, стоя на краю бездны, готовой поглотить нас обоих? Главное, не говори ничего о капитане! Все напрасно! Пусть я валяюсь у твоих ног, пусть я целую — не ноги твои, нет, ты этого не позволишь, — но следы твоих ног, пусть я плачу, как ребенок, пусть я готов растерзать грудь свою, вырвать оттуда не слова, а сердце и внутренности, чтобы доказать свою любовь, — все, все напрасно! А между тем душа твоя полна жалости и сострадания, ты светишься прекрасной кротостью, ты добра, ты кротка, ты милосердна и прелестна. Ты жестока

только ко мне! О, проклятие!

Он закрыл лицо руками и зарыдал. В первый раз девушка видела его плачущим.

В эту минуту, стоя перед ней и вздрагивая от рыданий, он казался более несчастным и жалким, чем ползая перед ней на коленях. Так он плакал несколько минут.

— Нет, — заговорил он, немного успокоившись, — я не нахожу больше слов. А между тем я хорошо обдумал все, что хотел сказать тебе. Теперь же я волнуюсь, дрожу, силы покидают меня в решительную минуту, я чувствую над нами руку судьбы, и слова замирают у меня на устах. О, я брошусь на землю в отчаянии, если ты не сжалишься надо мной, не сжалишься над собой! Не губи нас обоих… Если бы ты знала, как я тебя люблю, какое сердце ты оттолкнула! Ты заставила меня отречься от всего доброго, отречься от самого себя! Ученый — я отвернулся от науки, дворянин — я опозорил свое имя, священнослужитель — я превратил молитвенник в подушку для сладострастных дум, я плюнул в лицо своему Богу. И все это ради тебя, чаровница, чтобы стать достойным твоего ада. Ты отвергаешь грешника! Но подожди, это еще не все, осталось самое ужасное, да, самое ужасное!

При последних словах лицо его приняло совершенно безумное выражение. Он замолк на секунду, а затем продолжал громким голосом, как бы обращаясь к самому себе:

— Каин, что сделал ты со своим братом?

Опять он замолк, потом заговорил снова.

— Что я с ним сделал, Господи? Я призрел его, я его вырастил, вскормил, я его любил, боготворил, и я его убил. Да, Господи, сегодня на моих глазах ему размозжили голову о стены твоего храма, и это по моей вине, из-за этой женщины, из-за нее…

Глаза его блуждали, голос становился все глуше. Он повторил еще несколько раз бессознательно, с большими расстановками: «из-за нее, из-за нее…», подобно замирающему отзвуку последнего удара колокола. Потом слов уже не было слышно, только губы продолжали что-то шептать. Вдруг ноги у него подкосились, он рухнул на землю и замер так, уткнувшись головой в колени.

Его заставило очнуться движение девушки, высвобождавшей свою ногу. Он медленно провел рукой по своим впалым щекам и с изумлением посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Что это? — прошептал он. — Неужели я плакал?

И, обернувшись к цыганке, продолжал с невыразимой мукой:

— И ты равнодушно смотрела, как я плакал? Знаешь ли ты, дитя, что эти слезы были раскаленной лавой? Нет, видно, ненавистному человеку ничем не тронуть твоего сердца. Если я буду умирать у тебя на глазах, ты только засмеешься. Но я не хочу видеть твоей смерти. Одно слово, одно слово прощения! Не говори, что любишь меня, скажи только, что согласна, — этого довольно; я спасу тебя. Если же нет… Время идет; умоляю тебя всем святым, не дожидайся, пока я опять превращусь в камень, как эта виселица, поджидающая тебя. Подумай, наши судьбы в моих руках, я схожу с ума и каждую минуту могу столкнуть тебя в бездонную пропасть, разверстую у наших ног, несчастная. Падая, я буду преследовать тебя вечно! Хоть одно ласковое слово! Скажи хоть одно слово! Одно слово!

Она открыла губы, собираясь отвечать. Он упал на колени перед ней, с благоговением ожидая слов, быть может, более мягких и сострадательных, которые сорвутся с ее губ. Но она произнесла:

— Вы убийца!

Архидьякон в бешенстве сжал ее в своих объя-

тиях и захохотал как безумный.

— Ну да, я убийца! — воскликнул он. — А все-таки ты будешь моей. Ты не захотела, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Но ты будешь моей. У меня есть убежище, куда я поведу тебя. И ты пойдешь за мной, — да, ты волей-неволей пойдешь за мной, иначе я тебя выдам! Выбирай, красавица, между смертью и мной. Да, ты будешь принадлежать священнику, отступнику, убийце! И сегодня же ночью, слышишь? Ну, смотри веселей! Поцелуй меня, дурочка! Выбирай — могила или мое ложе!

Глаза его сверкали от бешенства и нечистых желаний. Его сладострастные губы впивались в шею девушки, она билась в его руках. Он продолжал покрывать ее бешеными поцелуями.

— Не кусай меня, чудовище! — кричала она. — Гнусный, отвратительный монах! Оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и брошу их тебе в лицо!

Он то краснел, то бледнел, наконец выпустил ее из своих объятий и мрачно взглянул на нее.

Она подумала, что победила, и продолжала:

— Я тебе сказала, что принадлежу Фебу, люблю Феба, что Феб красив. А ты священник, ты стар, ты безобразен. Уходи прочь от меня!

Он дико вскрикнул, как преступник, которого прижгли раскаленным железом.

— Так умри же! — проговорил он, заскрежетав зубами.

Увидев его яростный взгляд, Эсмеральда кинулась бежать, но он догнал ее, встряхнул, бросил на землю и быстро зашагал к башне Роланды, волоча ее за руки за собой по камням. Подойдя к башне, он еще раз спросил:

— Последний раз — согласна ты быть моей или нет?

— Нет! — твердо отвечала она.

Тогда он крикнул громким голосом:

— Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти за себя!

Девушка почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за локоть. Она обернулась и увидала костлявую руку, высунувшуюся из небольшого окошечка в стене; рука эта сжала ее, как в железных тисках.

— Держи хорошенько, — сказал священник, — это беглая цыганка, смотри, не выпусти ее, пока я не приведу солдат. Ты увидишь, как ее повесят.

Гортанный смех раздался из-за стены в ответ на эти кровавые слова: «Ха-ха-ха!..» Цыганка увидела, как священник бегом направился к мосту

Богоматери, откуда доносился топот скачущих лошадей.

Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попробовала освободиться: извивалась, отчаянно билась и рвалась, но затворница держала ее с нечеловеческой силой. Худые, костлявые пальцы судорожно впились в ее руку. Казалось, они приросли к ней совсем. Это было хуже цепи, хуже аркана, хуже железного кольца — это были одушевленные, сознательные клещи, высунувшиеся из стены.

Обессилев, она прислонилась к стене, и ее охватил страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о небе, о красоте природы, о любви, о Фебе, обо всем, что миновало и что ждет ее впереди, о священнике, который пошел донести на нее, о палаче, который сейчас придет, о виселице, бывшей у нее перед глазами. Она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы, и услыхала зловещий смех старухи, шептавшей ей: «Ха-ха-ха! Сейчас тебя повесят!»

В смертельной тоске она обернулась к окошку и сквозь решетку его увидела безумное лицо отшельницы.

— Что я вам сделала? — спросила Эсмеральда, почти теряя сознание.

Затворница ничего не ответила и начала бормотать каким-то певучим, злобным и насмешливым голосом: «Цыганка, цыганка, цыганка!» Несчастная Эсмеральда горестно поникла головой, поняв, что имеет дело с безумным существом. Вдруг заключенная воскликнула, как будто вопрос цыганки только теперь дошел до ее сознания:

— Что ты мне сделала, спрашиваешь ты? Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Так слушай же!.. У меня был ребенок! Ребенок, понимаешь ты! Хорошенькая маленькая девочка… Агнеса моя, — продолжала она как бы в забытьи, целуя что-то в темноте. — Так слушай же, цыганка! У меня отняли моего ребенка, у меня украли моего ребенка, у меня украли моего ребенка! Вот что ты мне сделала!

Девушка отвечала, как ягненок в басне:

— Быть может, меня тогда еще не было на свете!

— Нет, нет, — возразила заключенная, — этого не может быть. Дочь моя была бы твоих лет теперь. И вот пятнадцать лет, как я сижу здесь, пятнадцать лет, как я страдаю, пятнадцать лет молюсь, пятнадцать лет бьюсь головой о стены. Говорю тебе, ее украли у меня цыганки, слышишь ты? Украли и сожрали своими зубами. Есть у тебя

сердце? Так представь себе, что это такое — маленький ребенок, который играет, сосет грудь, спит. Что может быть невиннее? И это-то, это они у меня отняли, убили! Про то знает Господь Бог!.. Сегодня мой черед, я сожру цыганку. О, я бы тебя искусала, если бы мне не мешала решетка! Через нее не пролезает голова. Бедная малютка! Ее украли сонную! А если она и проснулась, то она кричала, напрасно меня не было около нее!.. Ага, цыганки! Вы убили моего ребенка, теперь посмотрите, как умрет ваш.

И она принялась хохотать и скрежетать зубами. На этом исступленном лице трудно было отличить одно от другого. Тем временем начало рассветать. Сероватый полусвет озарял эту сцену, и виселица все отчетливее вырисовывалась на площади. С противоположного берега от моста Богоматери все яснее доносился до слуха несчастной осужденной конский топот.

— Сударыня! — воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растрепанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. — Сударыня, сжальтесь! Они приближаются. Я вам ничего не сделала. Неужели вы хотите, чтобы я умерла такой ужасной смертью у вас на глазах? Я знаю, в вашем сердце найдется хоть капля жалости. Это слишком ужас-

но! Дайте мне спастись. Пустите меня! Ради бога! Я не хочу умирать!

— Отдай моего ребенка! — отвечала узница.

— Сжальтесь, сжальтесь!

— Отдай моего ребенка!

— Пустите меня, ради бога!

— Отдай моего ребенка!

Девушка снова упала, измученная, обессиленная, глаза ее уже остекленели, как у мертвой.

— Увы! — прошептала она. — Вы ищете свою дочь, а я ищу своих родителей.

— Отдай мне мою маленькую Агнесу, — продолжала Гудула. — Ты не знаешь, где она? Так умри же! Я тебе все расскажу. Я была распутной, у меня был ребенок, и его у меня отняли. Его украли цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть. Когда твоя мать, цыганка, придет за тобой, я ей скажу: «Взгляни на виселицу!» Если не хочешь умереть, отдай мне моего ребенка. Знаешь ты, где моя маленькая дочка? Посмотри, что я тебе покажу. Вот ее башмачок, все, что у меня осталось. Не видала ли ты где другого башмачка? Если видела, скажи, и, будь это хоть на другом конце света, я поползу туда на коленях.

И с этими словами она другой рукой показала цыганке из-за решетки вышитый башмачок. Бы-

ло уже настолько светло, что легко можно было разглядеть его форму и цвет.

— Покажите мне ближе этот башмачок! — воскликнула цыганка, вся затрепетав. — Боже мой, Боже!

И в то же время свободной рукой поспешно раскрыла ладанку, украшенную зелеными бусами, которую всегда носила на шее.

— Ладно, ладно! — бормотала Гудула. — Хватайся за свой дьявольский талисман! — Вдруг голос ее оборвался, она задрожала всем телом и воскликнула голосом, выходящим из глубины души: — Дочь моя!

Цыганка вынула из ладанки башмачок, как две капли воды похожий на первый. К башмачку был привязан кусочек пергамента, а на нем написаны стихи:

Второй такой же ты найди,
И мать прижмет тебя к груди…

Быстрее молнии затворница сравнила оба башмачка, прочла надпись на пергаменте и припала к оконной решетке лицом, сияющим небесной радостью, крича:

— Дочь моя, дочь моя!

— Мать моя! — отозвалась цыганка.

Перо бессильно описать эту встречу.

Стена и железная решетка разделяли их.

— О, эта стена! — воскликнула Гудула. — Видеть тебя и не иметь возможности обнять. Дай руку! Руку!

Молодая девушка протянула в окошко руку, и затворница жадно прильнула к ней губами — и замерла в этом поцелуе. Она не подавала никаких признаков жизни, только конвульсивные рыдания по временам потрясали все ее тело. Она плакала молча в темноте, и слезы ее текли ручьями, как ночной дождь. Несчастная мать потоками изливала на эту обожаемую руку черное, бездонное море слез, накопившихся в ее душе, капля за каплей собиравшей ее горе в течение пятнадцати лет.

Вдруг она вскочила, откинула с лица длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась с яростью львицы раскачивать железную решетку окна. Но решетка не поддавалась. Тогда она схватила в углу кельи большой камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой ударила им в решетку, что один из железных прутьев сломался, брызнув во все стороны искрами. Второй удар окончательно разбил старую крестообразную решетку, загораживавшую окно. Тогда она

голыми руками отогнула ржавые прутья сломанной решетки. Бывают минуты, когда руки женщины приобретают нечеловеческую силу.

В одну минуту, расширив таким образом отверстие, она схватила свою дочь за талию и втянула ее в келью.

— Сюда! Я спасу тебя от гибели, — шептала она.

Втащив ее в келью, она тихо опустила ее на пол, потом снова подняла и начала носить на руках, как будто то была прежняя малютка — Агнеса. Она ходила взад и вперед по своей узкой келье, опьяненная, не помня себя от радости. Она кричала, пела, целовала свою дочь, что-то ей бессвязно рассказывала, заливаясь хохотом и слезами в одно и то же время.

— Дочь моя, дочь моя! — повторяла она. — Моя дочь нашлась! Вот она! Милосердный Господь возвратил ее мне. Эй, вы! Идите все сюда! Кто хочет взглянуть на мою дочь? Господи Боже мой!.. Какая она красавица! Ты заставил меня пятнадцать лет ждать, Господи, зато какой красавицей возвратил мне ее! Значит, цыганки тебя не съели? Кто же это выдумал! Дочурка моя! Милая моя дочурка! Поцелуй меня! Добрые цыганки, я люблю цыганок! Так это в самом деле ты? Недаром у

меня сердце билось всегда, когда ты проходила мимо. А я-то думала, что это от ненависти. Прости меня, моя Агнеса, прости меня! Ты думала, что я очень злая, ведь правда? Ах, как я тебя люблю! Цела ли у тебя родинка на шее? Покажи-ка. Вот она. Ах, как ты хороша! Это я вам дала ваши чудные глаза, сударыня. Поцелуй меня! Я тебя люблю! Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети, мне нечего им завидовать. Пусть они придут сюда, я им покажу свою дочь. Вот ее шейка, глазки, волосы, ручка. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее! У нее будет много поклонников, я за это ручаюсь. Пятнадцать лет я проплакала, вся моя красота исчезла — и снова расцвела в ней. Поцелуй меня!..

И много других бессвязных речей говорила она голосом, полным невыразимой нежности. Одежду молодой девушки она привела в такой беспорядок, что та смущенно краснела. Она целовала ее ноги, колени, лоб, глаза, гладила ее шелковистые волосы и всем восхищалась. Молодая девушка отдавалась ее ласкам и лишь изредка шептала с бесконечной нежностью:

— Матушка!

— Вот что я тебе скажу, моя дочурка, — продолжала затворница, прерывая свою речь поцелу-

ями, — вот что я тебе скажу. Я тебя буду очень любить. Мы уйдем отсюда и заживем так счастливо. Я получила в Реймсе, на родине, маленький клочок земли в наследство. Ты помнишь Реймс? Нет, ты, конечно, забыла его! Ты была еще слишком мала! А если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! Ножки у тебя были такие крошечные, что на них приходили полюбоваться из Эпернэ, а ведь это за семь лье от Реймса. У нас будет свой домик, свое поле. Ты будешь спать на моей постели. Боже мой, Боже мой! Трудно даже поверить, — моя дочь со мной!

— Ах, матушка! — отвечала молодая девушка, преодолев наконец свое волнение настолько, что могла заговорить. — Мне это всегда предсказывала одна цыганка. В нашем таборе была такая добрая цыганка, она умерла в прошлом году. С самого детства она заботилась обо мне, как кормилица. Она повесила мне на шею эту ладанку и часто повторяла: «Девочка, береги эту вещицу, это бесценное сокровище, оно поможет тебе найти твою мать. Ты носишь свою мать у себя на шее». Цыганка предсказала верно!

Затворница снова сжала дочь в объятиях.

— Дай я тебя поцелую! Как ты мило рассказыва-

ешь! Когда мы вернемся на родину, мы отнесем оба башмачка в церковь и обуем в них статую младенца Иисуса. Надо же нам отблагодарить милосердную Пресвятую Деву. Боже мой, какой у тебя прелестный голос! Когда ты сейчас говорила, это была музыка! О Господи! Я нашла свою дочь! Ну, можно ли этому поверить! Видно, люди ни от чего не умирают, если я не умерла от радости.

Потом она снова принялась хлопать в ладоши, смеясь и крича:

— Ах, как мы будем счастливы!..

В эту минуту в келью донесся звон оружия и топот лошадей, проскакавших, по-видимому, по мосту Богоматери и теперь приближавшихся сюда вдоль по набережной. Цыганка с отчаянием бросилась в объятия затворницы:

— Спаси меня! Спаси меня, матушка! Они едут за мной!

Мать побледнела.

— Боже мой, что ты говоришь! Я совсем забыла! За тобой гонятся! Что же ты сделала?

— Не знаю, — отвечала бедняжка, — но меня приговорили к смертной казни.

— К смертной казни! — проговорила Гудула, пошатнувшись, точно сраженная громом. — К смертной казни! — медленно повторила она,

глядя на дочь остановившимся взглядом.

— Да, матушка, — продолжала растерянно молодая девушка, — они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Эта виселица приготовлена для меня! Спаси меня! Спаси меня! Они уже близко. Спаси меня!

Затворница несколько мгновений простояла неподвижно как окаменевшая, потом покачала с сомнением головой и наконец разразилась громким хохотом, своим прежним ужасным хохотом:

— Ха-ха-ха! Нет, это ты мне сказки рассказываешь. Как! Я ее потеряла, это длилось пятнадцать лет, потом я нашла ее — и это продлится одну минуту?! Ее хотят опять отнять у меня! Теперь, когда она выросла и стала такой красавицей, когда она говорит со мной, любит меня? Теперь они хотят съесть ее на глазах у меня — у меня, ее матери! Нет, это невозможно, милосердный Господь не допустит этого!

Тут конский топот замолк, отряд, по-видимому, остановился, и издали послышался голос:

— Сюда, мессир Тристан! Архидьякон сказал, что мы ее найдем около «Крысиной норы»…

И конский топот раздался снова.

Затворница вскочила, испустив вопль отчаяния:

— Беги, беги, дитя мое! Теперь я все вспомнила! Ты права! Это идет твоя смерть! О, ужас! О, проклятие! Беги же, беги!

Она высунула голову в окно и тотчас же отшатнулась.

— Оставайся здесь, — отрывисто и мрачно прошептала она, судорожно сжимая руку цыганки, помертвевшей от ужаса. — Оставайся! Не дыши! Солдаты повсюду, тебе нельзя выйти, слишком светло.

Ее сухие глаза сверкали. Она молчала, бегая взад и вперед по келье. По временам она останавливалась, вырывала у себя клок седых волос и разрывала его зубами. Вдруг она заговорила:

— Они приближаются. Я с ними поговорю. Спрячься вон в том углу. Они тебя не увидят. Я им скажу, что ты вырвалась, что я тебя отпустила.

Она отнесла свою дочь, которую все еще держала на руках, в самый дальний угол кельи, куда снаружи нельзя было заглянуть. Там она усадила ее, заботливо осмотрев, чтобы руки и ноги были в тени, распустила ее черные волосы, стараясь ими прикрыть белое платье, поставила перед ней свою кружку с водой и камень, служивший ей изголовьем, — единственные предметы, бывшие в ее распоряжении, — воображая, что кружка

и камень могут скрыть дочь. Покончив с этим, она немного успокоилась, встала на колени и принялась молиться.

День едва занялся, и «Крысиная нора» еще тонула во мраке. В эту минуту возле кельи раздался зловещий голос архидьякона, кричавший:

— Сюда, капитан Феб де Шатопер!

Услыхав этот голос, это имя, Эсмеральда, притаившаяся в своем углу, пошевелилась.

— Не шевелись, — прошептала Гудула.

В ту же секунду около самой кельи послышались бряцанье оружия, людские голоса и конский топот. Затворница быстро вскочила и встала у окна, стараясь заслонить его собой. Она увидала большой отряд конных и пеших солдат, выстроившихся на Гревской площади. Их начальник сошел с лошади и направился к отшельнице.

— Старуха, — произнес этот человек со зверским выражением лица, — мы ищем колдунью, чтобы ее повесить. Нам сказали, что она у тебя.

Несчастная мать постаралась принять самый равнодушный вид и отвечала:

— Не понимаю, что вы говорите.

— Черт возьми! — воскликнул другой. — Что же нам наплел этот безумный архидьякон! Где он?

— Монсеньор, — отвечал один из солдат, — он

исчез.

— Смотри, старуха, не ври, — заговорил начальник отряда, — тебе поручили стеречь колдунью. Куда она девалась?

Затворница поняла, что, отпираясь ото всего, может навлечь на себя подозрение, и потому отвечала сердито и словно чистосердечно:

— Коли вы ищете высокую девушку, которую мне велели держать, так она меня укусила, и я выпустила ее… и отстаньте от меня.

Начальник отряда скорчил недовольную гримасу.

— Смотри, не вздумай мне врать, старая карга! — пригрозил он. — Я — Тристан Пустынник, кум самого короля, слышишь! — И, посмотрев на Гревскую площадь, прибавил: — Здесь эхо отзывается на мое имя.

— Хотя бы ты был сам сатана Пустынник, все-таки я тебя не боюсь и ничего больше не знаю! — отвечала ободренная Гудула.

— Ах, черт тебя возьми! — воскликнул Тристан. — Вот язык-то! Так колдунья убежала? А куда она побежала?

— Кажется, по улице Мутон, — равнодушно отвечала Гудула.

Тристан обернулся и подал знак отряду отправ-

ляться на дальнейшие поиски. Гудула вздохнула с облегчением.

— Монсеньор, — вдруг вмешался один из стрелков, — спросите-ка у старой ведьмы, почему у нее сломана решетка в окне?

Этот вопрос снова наполнил сердце несчастной матери тоской отчаяния. Однако она не потеряла присутствия духа.

— Она всегда была такая, — пробормотала она.

— Ну, нет, — отвечал стрелок, — вчера еще железный крест был цел и наводил на набожные мысли.

Тристан искоса взглянул на затворницу:

— Что это ты, голубушка, путаешь?

Несчастная понимала, что ей нужно сохранить присутствие духа, и, холодея от ужаса, заставила себя расхохотаться; только у матери могло хватить на это сил.

— Неправда, — возразила она, — солдат, верно, пьян. Уже с год тому назад тележка, нагруженная камнями, задела за решетку и сломала ее. Уж как я ругала тогда возчика!

— Правда, — сказал другой стрелок, — я сам видел.

Всегда и повсюду найдутся люди, которые все видели. Это неожиданное свидетельство стрелка

ободрило затворницу, испытывавшую во время допроса чувство человека, переходящего над пропастью по лезвию ножа. Но ей, видно, суждено было подвергаться вечным переходам от надежды к отчаянию.

— Если бы решетку сломала повозка, — возразил первый солдат, — то обломки прутьев были бы вдавлены внутрь, а они торчат на улицу.

— Эге! — обратился Тристан к солдату. — Да у тебя нюх, как у сыщика из Шатлэ. А ну-ка, старуха, что ты на это скажешь?

— Боже мой! — воскликнула Гудула, теряя голову, голосом, в котором слышались слезы. — Клянусь вам, монсеньор, что решетку сломала тележка. Вы слышали, вон тот солдат сам это видел. Да и не все ли вам равно, ведь это не касается вашей цыганки.

— Гм! — пробурчал Тристан.

— Черт возьми, — снова заметил солдат, польщенный похвалою начальника, — а ведь трещины на решетке совсем свежие!

Тристан покачал головой, Гудула побледнела.

— И давно, говоришь ты, тележка сломала решетку?

— Да с месяц тому назад, а может, недели с две, монсеньор! Не помню наверное.

— А раньше она сказала, что больше года тому назад, — заметил солдат.

— Да, дело тут нечисто, — сказал Тристан.

— Монсеньор! — воскликнула Гудула, продолжая заслонять собой окошко и дрожа при мысли, что подозрение может заставить их просунуть голову и заглянуть в келью. — Монсеньор, клянусь вам, что решетка сломана тележкой. Клянусь вам в этом всеми святыми ангелами. Если это не тележка, пусть я буду проклята навеки как богоотступница.

— Ты что-то слишком горячо клянешься! — заметил Тристан, окидывая ее инквизиторским взглядом.

Несчастная женщина чувствовала, что теряет самообладание, делает промахи и говорит совсем не то, что нужно. Тут подбежал другой солдат и воскликнул:

— Монсеньор, старая ведьма врет: колдунья не могла убежать на улицу Мутон. Улица всю ночь была загорожена цепью, и часовые никого не видали.

Лицо Тристана с каждой минутой становилось мрачнее.

— Что ты на это скажешь? — обратился он к затворнице.

Та попыталась преодолеть это новое препятствие:

— Не знаю, монсеньор, может, я ошиблась. Кажется, она действительно побежала к реке.

— Да это совсем в другую сторону, — сказал Тристан, — и притом невероятно, чтоб она бросилась назад к Сите, где ее ищут. Ты врешь, старуха!

— А кроме того, — добавил первый солдат, — ни на том, ни на этом берегу нет лодки.

— Она могла перебраться вплавь, — возразила Гудула, отстаивая под собой почву шаг за шагом.

— Да разве женщины умеют плавать? — отвечал солдат.

— Черт возьми! Ты врешь, старуха! Врешь! — гневно воскликнул Тристан. — Пожалуй, вместо колдуньи придется мне повесить тебя. Четверть часика разговора в застенке, верно, развяжут тебе язык. Собирайся-ка с нами в путь.

Она с жадностью подхватила его слова:

— Как вам угодно, монсеньор. Берите меня, берите. Пытка! Я согласна! Ведите меня, скорее, скорей! Идем сейчас же.

«Тем временем дочь моя успеет убежать», — подумала она.

— Черт возьми! — удивился Тристан. — Она так и рвется в застенок. Никак не разберешь этой

полоумной.

Тут из рядов выступил старый седой сержант, служивший в ночной страже, и обратился к Тристану:

— Она и впрямь полоумная, монсеньор. Если она выпустила цыганку, то не по своей вине, потому что она ненавидит цыганок. Вот уж пятнадцать лет, как я хожу дозорным, и каждый вечер слышу, как она осыпает цыганок всяческими проклятиями. А если та, которую мы ищем, как я предполагаю, маленькая плясунья с козой, то ту она особенно ненавидит.

Гудула сделала над собой усилие и проговорила:

— Да, да, — эту особенно.

Остальные солдаты единодушно подтвердили слова старого сержанта. Тристан Пустынник, потеряв надежду добиться толку от затворницы, повернулся к ней спиной, и она с невыразимым замиранием сердца смотрела, как он направился к своей лошади.

— Трогай! — приказал он сквозь зубы. — Надо продолжать поиски. Я не усну, пока цыганка не будет повешена.

Подойдя к лошади, он на минуту остановился в нерешительности. Гудула — ни жива ни мертва

— наблюдала за тем, как он окидывал площадь беспокойным взором охотничьей собаки, чующей близость зверя и не решающейся уходить. Наконец он тряхнул головой и вскочил в седло. Страшная тяжесть, давившая сердце Гудулы, скатилась, и она прошептала, оглянувшись на дочь, на которую до сих пор ни разу не решалась взглянуть:

— Спасена!

Несчастное дитя все это время просидело в своем углу, притаившись, не дыша, не шевелясь, ожидая смерти каждую минуту. Она слышала весь разговор Тристана с Гудулой, и все треволнения, испытанные ее матерью, переживались и ею. Она слышала, как трещит тонкая нить, на которой она висела над бездной, двадцать раз ей казалось, что нить уже порвалась. Теперь наконец она вздохнула свободнее и опять почувствовала почву под ногами. Вдруг она услыхала знакомый голос, говоривший Тристану:

— Черт возьми! Монсеньор, я — человек военный, и не мое дело вешать колдуний. Чернь усмирена, а с остальным вы сумеете управиться одни. Если позволите, я вернусь к своему отряду, который остался без капитана.

Это был голос Феба де Шатопера. Трудно пере-

дать словами, что произошло в душе цыганки. Так он тут, ее друг, ее покровитель, ее заступник, ее убежище, ее Феб. Она вскочила так быстро, что мать не успела ее удержать, и бросилась к окну с криком:

— Феб! Ко мне, мой Феб!

Но Феба уже не было. Он огибал галопом угол улицы Кутельри. Зато Тристан еще не успел удалиться. Затворница с диким воплем бросилась на свою дочь и быстро оттащила ее от окна, впиваясь ей ногтями в шею: ведь матери-тигрицы не церемонятся! Но было слишком поздно — Тристан все видел.

— Ага! — воскликнул он, захохотав и оскалив зубы, что придало его лицу сходство с волчьей мордой. — В мышеловке-то две мыши!

— Я так и думал, — заметил солдат.

Тристан потрепал его по плечу.

— У тебя хороший нюх! — похвалил он. — А ну-ка, где тут Анриэ Кузен?

Из рядов выступил человек, не похожий ни по осанке, ни по одежде на солдата. Платье на нем было наполовину серое, наполовину коричневое, с кожаными рукавами; волосы были гладко зачесаны; в руках у него был пучок веревок. Этот человек всегда сопровождал Тристана, как тот

сопровождал Людовика XI.

— Дружище, — обратился к нему Тристан Пустынник, — надо полагать, что это та самая колдунья, которую мы ищем. Повесь-ка ее. Где твоя лестница?

— Лестницу возьмем из-под навеса Дома с колоннами. Не на этом ли «правосудии» нам ее вздернуть? — продолжал он, указывая на каменную виселицу.

— Да.

— Отлично, — воскликнул палач с хохотом, еще более зверским, чем смех Тристана. — По крайней мере, недалеко ходить.

— Живей! — приказал Тристан. — Потом нахохочешься.

С той минуты, как Тристан увидал девушку и последняя надежда была потеряна, затворница не произнесла ни слова. Бросив бедную полумертвую цыганку в угол кельи, она снова стала у окна, вцепившись обеими руками, точно когтями, в углы подоконника. В такой позе она окинула солдат отважным взором, принявшим прежнее дикое и безумное выражение. Когда Анриэ Кузен подошел к келье, лицо затворницы сделалось так ужасно, что тот попятился назад.

— Монсеньор, — обратился он к Тристану, —

которую прикажете взять?

— Молодую.

— Тем лучше! Со старухой было бы трудненько справиться.

— Бедная маленькая плясунья с козочкой, — пожалел старый сержант.

Анриэ Кузен снова подошел к окошку и невольно потупил глаза, встретив пристальный взгляд несчастной матери.

— Сударыня… — обратился он к ней довольно робко.

Она перебила его яростным шипящим шепотом:

— Чего тебе нужно?

— Я не за вами пришел, а за другой.

— Какой другой?

— Молодой.

Она принялась трясти головой, крича:

— Здесь нет никого! Нет никого! Нет никого!

— Ну, будет вам притворяться, — сказал палач. — Дайте мне взять молодую, я вам зла не причиню.

Она отвечала, как-то странно посмеиваясь:

— Так ты мне зла не причинишь?

— Дайте мне взять вон ту молодку, сударыня. Монсеньор так приказал.

Она продолжала твердить с безумным видом:

— Здесь нет никого!

— А я вам говорю, что есть, — возразил палач. — Мы видели, что вас было две.

— Ну, посмотри сам! — воскликнула Гудула, посмеиваясь. — Сунь-ка голову в окошко!

Палач взглянул на ее когти и попятился.

— Живей! — крикнул ему Тристан, успевший тем временем выстроить своих солдат полукругом перед «Крысиной норой», а сам подъехал верхом к виселице.

Смущенный Анриэ опять подошел к своему начальнику, положил веревки на землю и спросил, сконфуженно комкая в руках свою шапку:

— Монсеньор, как же туда войти?

— Через дверь.

— Двери нет.

— Ну, через окно.

— Да оно слишком узко.

— Так расширь его, — отвечал сердито Тристан. — Разве нет у вас заступов?

Из глубины кельи несчастная мать все время внимательно наблюдала за ними. Она потеряла уже последнюю надежду и сама не знала, чего добивается. Она только не хотела отдавать свою дочь.

Анриэ Кузен отправился под навес Дома с колоннами, где в ящике хранились разные инструменты. Оттуда он вытащил двойную лестницу и сейчас же приставил ее к виселице. Пять-шесть солдат вооружились кирками и рычагами, и Тристан во главе их снова направился к келье.

— Слушай, старуха! — заговорил он суровым тоном. — Отдай нам эту девушку добром.

Она взглянула на него бессмысленным взором.

— Черт возьми! — воскликнул Тристан. — Какое тебе дело, что эта колдунья будет повешена по приказу короля?

Несчастная захохотала своим безумным смехом:

— Какое мне дело?! Да ведь это моя дочь!

Голос, каким она произнесла эти слова, заставил вздрогнуть самого Анриэ Кузена.

— Мне очень жаль тебя, — продолжал Тристан, — но такова воля короля.

Она воскликнула, продолжая хохотать своим диким смехом:

— Какое мне дело до твоего короля? Я тебе сказала, что это моя дочь!

— Ломайте стену! — приказал Тристан.

Для того чтобы расширить отверстие, достаточно было выломать ряд камней под окошком.

Услыхав удар кирок и рычагов, сокрушавших ее крепость, несчастная мать испустила отчаянный вопль и принялась с ужасающей быстротой кружиться по своей келье; эту привычку дикого зверя она приобрела, сидя в клетке. Она молчала, но глаза ее горели. Солдат охватил ужас.

Вдруг она схватила камень и, захохотав, с размаху бросила его в солдат. Камень, брошенный неловко, дрожащими руками, не задев никого, упал к ногам лошади Тристана. Гудула заскрежетала зубами.

Тем временем, хотя солнце еще не совсем взошло, но было уже совсем светло, и старые дымовые трубы Дома с колоннами озарились нежным розовым отблеском. В этот час раньше других проснувшиеся обыватели уже весело отворяют свои окна, выходящие на крыши. На Гревской площади показалось несколько рабочих, потом несколько торговцев овощами, отправляющихся на своих осликах на рынок. Все они на минуту останавливались перед отрядом солдат, выстроившимся около «Крысиной норы», смотрели на них с удивлением и проходили дальше.

Гудула уселась около дочери, заслоняя ее своим телом, неподвижно глядя вперед и прислушиваясь к тихому шепоту бедной девушки,

твердившей не переставая:

— Феб, Феб!

По мере того как работа солдат, ломавших стену, подвигалась вперед, мать невольно откидывалась назад и все сильнее прижимала молодую девушку к стене. Вдруг затворница увидала, что камни, за которыми она наблюдала, не спуская глаз, закачались, и услыхала голос Тристана, подбодрявшего работавших. Охватившее ее на несколько минут оцепенение покинуло ее, и она закричала каким-то странным голосом, то режущим ухо, как звук пилы, то захлебывающимся от проклятий, стремившихся разом вылиться из ее уст:

— Го, го, го! Это ужасно! Разбойники! Неужто вы в самом деле хотите отнять у меня дочь? Я же вам сказала, что это — моя дочь! Ах, подлые! Прислужники палача! Проклятые холуи, убийцы! Помогите, помогите! Пожар! Неужто у меня отнимут дочь! Где же после этого милосердный Господь?

Потом она обернулась к Тристану и заговорила с пеной у рта, с блуждающим взором, стоя на четвереньках и ощетинясь, словно пантера:

— Попробуй-ка отнять у меня дочь! Да ты что, не понимаешь: женщина тебе сказала, что это ее

дочь. Да знаешь ли ты, что значит иметь ребенка? Разве ты, волк, никогда не жил с волчицей, не имел от нее волчонка? А если у тебя есть детеныши, неужели у тебя внутри ничего не шевелится, когда они воют?

— Сворачивай камень, — приказал Тристан, — он чуть держится.

Рычаги приподняли тяжелую каменную плиту над окном, бывшую, как мы уже говорили, последним оплотом бедной матери. Она бросилась вперед, хотела удержать камень, вцепилась в него ногтями, но тяжелая каменная глыба, на которую напирало шесть человек, выскользнула у нее из рук и медленно опустилась на землю с помощью железных рычагов.

Мать, увидав, что вход готов, упала поперек отверстия и загородила его своим телом, ломая руки, стукаясь головой о камни и крича чуть слышным голосом, охрипшим от усталости:

— Помогите! Горим! Пожар!

— Теперь берите девушку, — хладнокровно сказал Тристан.

Мать окинула подошедших солдат таким грозным взглядом, что те предпочли бы отступить, чем идти вперед.

— Чего же вы стали! — крикнул Тристан. — Ан-

риэ Кузен, ступай ты вперед!

Никто не тронулся с места.

— Черт вас побери! — выругался Тристан. — Называетесь солдатами, а боитесь женщины!

— Монсеньор, — возразил Анриэ, — да разве это женщина?

— У нее грива, как у льва, — заметил один из солдат.

— Вперед! — скомандовал Тристан. — Отверстие достаточно широко. Полезайте туда по трое в ряд, как при осаде Понтуаза. Пора покончить с этим, черт возьми! Первого, кто вздумает отступить, я разрублю пополам.

Очутившись между угрожавшим начальником и угрожавшей матерью, солдаты поколебались немного, затем решительно двинулись к «Крысиной норе». Увидав это, затворница быстро встала на колени, откинула волосы с лица и снова беспомощно опустила свои исхудалые исцарапанные руки. Крупные слезы одна за другой закапали из ее глаз и побежали по бороздившим ее лицо морщинам, как ручей по проложенному им руслу. И в то же время она заговорила таким умоляющим голосом, так кротко, покорно и жалобно, что вокруг Тристана не один старый рубака, ни во что не ценивший человеческую жизнь, утирал

глаза.

— Монсеньор! Господа сержанты! Одно слово! Дайте мне сказать только одно слово. Это моя дочь, понимаете ли вы? Моя маленькая дочурка, которую я считала потерянной! Послушайте, это целая история. Ведь я вас хорошо знаю, — вы добрые, вы всегда защищали меня от мальчишек, бросавших в меня камнями за то, что я вела распутную жизнь! Я знаю, вы не захотите отнять у меня дочь, когда я вам все расскажу. Я была дурной женщиной, и ее у меня украли цыганки. Но я пятнадцать лет хранила ее башмачок. Глядите, вот он. Посмотрите, какая у нее была маленькая ножка. Это было в Реймсе, на улице Фоль-Пен; может быть, вы знавали там Пакету Шанфлери? Ведь это я. Это было во времена вашей молодости. Славные времена, весело тогда жилось. Монсеньор, ведь вы сжалитесь надо мной? Цыганки ее у меня украли и пятнадцать лет прятали от меня. Я считала ее умершей. Представьте себе, друзья мои, умершей! Пятнадцать лет провела я здесь в келье, не разводя огня зимой. Нелегко мне приходилось… Бедный маленький дорогой башмачок!.. Я так плакала, что Господь внял моим мольбам. Сегодня ночью Он возвратил мне дочь. Свершилось чудо. Она жива, и вы не захотите отнять

ее у меня, я знаю. Повесьте лучше меня, но не трогайте ее, ведь ей всего шестнадцать лет! Дайте ей насмотреться на солнце. Что она вам сделала? Ничего, да и я тоже. Если бы вы знали, что, кроме нее, у меня нет никого на свете! Посмотрите, как я стара, — ведь это Матерь Божия ниспослала мне свое благословение. А вы все такие добрые, вы не знали раньше, что она моя дочь, теперь же вам это известно. Ах, как я ее люблю! Господин начальник, я скорее согласна дать себе распороть живот, чем видеть царапинку у нее на мизинце! У вас такой добрый вид! Теперь вы понимаете, почему я не хотела отдавать ее? Монсеньор, вспомните свою мать! Ведь вы начальник над ними, не велите им трогать мою дочь! Смотрите, я молю вас на коленях, как молят самого Иисуса Христа! Мне ничего не нужно, я сама из Реймса, там у меня есть клочок земли, доставшийся мне от дяди, Майе Прадона. Я не нищенка. Мне ничего не нужно, только не трогайте моего ребенка! Оставьте мне мою дочь! Недаром же мне ее возвратил Господь, властитель над всеми! Король! Вы говорите, что так приказал король? Ну, велико ли ему будет удовольствие из-за того, что убьют мою девочку? И потом король так милостив! Это моя дочь! Моя! Не короля! Не ваша! Я не хочу

оставаться здесь, мы обе уйдем отсюда! Смотрите, смотрите, вот идут две женщины, одна из них мать, другая дочь; их пропускают! Пустите и нас, мы обе родом из Реймса. Вы такие все добрые, господа сержанты, я вас очень люблю!.. Вы не отнимете у меня моей дорогой девочки, этого не может быть? Не правда ли, ведь этого никак не может быть? Дитя мое! Дитя мое!

Мы не в силах описать ее жесты, ее голос, слезы, которые она глотала; она то складывала руки с мольбой, то в отчаянии ломала их. Свою бессвязную, беспорядочную речь она сопровождала душераздирающими улыбками, молящими взглядами, вздохами, стонами, потрясающими душу воплями. Когда она замолкла, Тристан нахмурил брови, чтобы скрыть слезу, навернувшуюся на его глаза, глаза тигра. Он превозмог, однако, эту слабость и проговорил отрывисто:

— Такова воля короля.

Потом он нагнулся к Анриэ Кузену и шепнул ему на ухо:

— Кончай скорее!

Грозный Тристан, быть может, чувствовал, что теряет власть над собой.

Палач и солдаты вошли в келью. Мать не оказала им никакого сопротивления. Она лишь

подползла к дочери и, бросившись на нее, прикрыла ее своим телом.

Цыганка увидела подходивших солдат. Ужас смерти оживил ее.

— Матушка! — воскликнула она невыразимо отчаянным голосом. — Матушка! Они идут! Защити меня!

— Да, любовь моя, я защищу тебя! — отвечала мать угасшим голосом, сжимая ее в объятиях и покрывая поцелуями. Обе они, мать и дочь, лежавшие на земле, представляли картину, которую нельзя было видеть без сострадания.

Анриэ Кузен схватил девушку поперек тела. Почувствовав на себе эту руку, бедняжка вскрикнула и лишилась чувств. Палач, у которого слезы одна за другой капали на жертву, хотел ее унести, взяв на руки. Сначала он постарался отцепить от нее мать, руки которой точно узлом завязались вокруг стана бедной девушки, но она так судорожно обхватила дочь, что не было никакой возможности ее оттащить. Тогда Анриэ Кузен потащил из кельи молодую девушку, волоча вместе с ней и мать. У матери также были закрыты глаза.

В это время солнце уже взошло, и на площади было много народу, старавшегося издали рассмот-

реть, кого это тащат так по мостовой к виселице. Таков был обычай Тристана — не допускать любопытных слишком близко к месту казни. У окон никого не было. Только вдали, на вершине той башни собора Богоматери, которая высится над Гревской площадью, вырисовывались на светлом фоне утреннего неба две черные человеческие фигуры, по-видимому наблюдавшие за тем, что происходит на площади.

Анриэ Кузен остановился со своей ношей у подножия роковой лестницы и, едва дыша, — до того он был растроган, — накинул петлю на прелестную шейку девушки. Бедняжка почувствовала ужасное прикосновение веревки. Она приоткрыла глаза и увидала над своею головой распростертую каменную руку виселицы. Она вздрогнула и крикнула высоким, раздирающим душу голосом:

— Нет! Нет! Я не хочу!

Мать, приникшая лицом к одежде своей дочери, не произнесла ни слова, только все тело ее затрепетало, и она стала покрывать еще более страстными поцелуями свое дитя. Палач воспользовался этой минутой, чтобы быстро отцепить ее руки, обвивавшие стан осужденной. Может быть, выбившись из сил, может быть, от отчаяния,

она не сопротивлялась, когда он взвалил себе на плечи девушку; тело прелестного создания, грациозно перегнувшись пополам, запрокинулось за его большую голову. Потом он ступил на лестницу, собираясь лезть наверх.

В эту минуту мать, валявшаяся на мостовой, вдруг широко раскрыла глаза. Не издав ни звука, она вскочила с искаженным от ужаса лицом и, точно зверь на добычу, кинулась на палача и укусила его за руку. Все произошло молниеносно. Палач зарычал от боли, к нему подбежали и с трудом освободили его окровавленную руку от впившихся в нее зубов несчастной матери. Она хранила глубокое молчание. Ее грубо оттолкнули, и голова ее грузно ударилась о мостовую. Ее подняли, но она упала снова. Она была мертва.

Палач, не выпустивший девушки из рук, стал взбираться по лестнице.

II. La creatura bella bianco vestita[150]

Когда Квазимодо увидел, что келья опустела, что цыганки там нет, что ее похитили в то время, как он защищал ее, он схватился за голову

---

[150] Сноски: 150
Прекрасное создание в белой одежде (*ит.*) (*Данте*).

руками и затопал ногами от неожиданности и горя. Затем он бросился искать по всей церкви цыганку, испуская страшные крики во всех углах, усеивая своими рыжими волосами пол. Это как раз совпало с той минутой, когда королевские стрелки, восторжествовав, вступили в собор, также разыскивая цыганку. Квазимодо помогал им, не подозревая, бедняга, их коварного намерения: он принимал бродяг за врагов цыганки. Он сам проводил Тристана по всем закоулкам, где бы можно было скрыться, отворял ему все потайные двери, двойные ниши алтарей и ризниц. Если бы несчастная была там, он сам бы предал ее.

Когда, наконец, Тристан устал искать без результата, — а он вообще не скоро уставал, — Квазимодо продолжал свои поиски один. Он двадцать раз, сто раз обегал церковь вдоль и поперек, сверху донизу, взбираясь и сбегая по лестницам, зовя, крича, суя голову во все дыры, освещая факелом каждый свод, не помня себя, доходя до помешательства. Самец, потерявший свою самку, не мог бы рычать страшнее, метаться отчаяннее.

Наконец, когда он окончательно убедился, что Эсмеральды нет, что все кончено, что ее похитили, он медленно поднялся на башню по той самой

лестнице, по которой в таком восторге и с таким торжеством он нес ее в тот день, когда спас. Он прошел по тем же местам, опустив голову, без голоса, без слез, почти не дыша. Собор снова опустел и погрузился в тишину. Стрелки покинули его, чтобы устроить облаву на колдунью в Сите.

Оставшись один в этих обширных стенах, столь шумных еще несколько минут тому назад, Квазимодо снова пошел в келью, где Эсмеральда спала столько ночей под его охраной.

Подходя к келье, он воображал, что, может быть, найдет в ней свою цыганку. Когда на повороте галереи, выходящей на наклонную кровлю, он увидал узенькую келейку с маленьким окошечком и дверцей, приютившуюся под сводом, как гнездышко под веткой, бедняга не выдержал и должен был прислониться к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что Эсмеральда, может быть, вернулась к себе, что какой-нибудь добрый гений привел ее туда обратно, что келейка слишком спокойна, надежна и уютна, чтоб она ушла из нее, и не смел сделать ни шагу, боясь нарушить иллюзию.

— Да, — говорил он себе, — она, быть может, спит или молится. Не надо ей мешать.

Наконец, собрав все силы, он на цыпочках

подкрался к двери, заглянул через нее и вошел в келью. Никого! Келья по-прежнему была пуста. Бедный глухой медленно обошел ее, приподнял матрац и посмотрел под него, будто Эсмеральда могла скрываться под ним, затем покачал головой и остановился, не зная, что делать.

Вдруг он яростно потушил факел ногой и, не говоря ни слова, не вздохнув, со всего размаху хватился головой об стену и упал без сознания на пол. Придя в себя, Квазимодо бросился на постель и, катаясь по ней, бешено целовал еще теплое место, где спала девушка. Несколько минут он пролежал неподвижно, будто готовясь испустить дух, затем встал, весь обливаясь потом, задыхаясь и теряя способность рассуждать. Он начал биться об стену головой с ужасающей размеренностью языка в колоколе и решимостью человека, стремящегося разбиться насмерть. Наконец, потеряв силы, он вторично упал. Он на коленях выполз из кельи и присел против двери в позе, выражающей удивление. Квазимодо просидел так больше часу, без движения, не спуская глаз с опустевшей кельи, смотря на нее задумчивее и мрачнее, чем мать, сидящая между опустевшей кроваткой и наполнившимся гробиком. Он не проронил ни слова; только через долгие промежутки рыда-

ние потрясало его тело, но то было рыдание без слез, как летняя зарница, при которой не бывает грома.

По-видимому, в эту минуту, раздумывая в своем отчаянии, кто мог так неожиданно похитить девушку, он вспомнил об архидьяконе. Он припомнил, что один только Клод имел ключ от лестницы, которая вела в келью. Ему вспомнились ночные нападения на девушку: первому из них он, Квазимодо, содействовал, а второму помешал. Он припомнил множество подробностей, и ему стало ясно, что один только архидьякон мог похитить цыганку. Однако таково было его уважение к священнику, так укоренились в его сердце любовь и преданность к этому человеку, что эти чувства даже в эту минуту боролись с когтями ревности и отчаяния.

Он думал, что это дело архидьякона, и непримиримая кровавая ненависть, которую он почувствовал бы ко всякому другому, будучи направлена на Клода Фролло, заменилась только еще более обострившеюся горестью.

В ту минуту, как его мысль сосредоточилась на священнике, а заря начала освещать своды, Квазимодо вдруг увидел на верхнем этаже собора, у поворота наружной балюстрады, окружавшей

хоры, двигавшуюся человеческую фигуру. Она направлялась в его сторону. Он узнал ее. Это был архидьякон. Клод шел медленной, тяжелой походкой, не глядя перед собой. Он направлялся к северной башне, но лицо его было обращено в сторону правого берега Сены, и он держал голову высоко, будто силясь рассмотреть что-то поверх крыш. Сова часто так поглядывает искоса. Она летит к одной точке, а смотрит на другую. Священник прошел над головой Квазимодо, не заметив его.

Глухой, окаменев при его внезапном появлении, смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за дверью лестницы в северную башню. Читатель знает, что из этой башни открывался вид на ратушу. Квазимодо встал и пошел следом за архидьяконом. Он взобрался по башенной лестнице, чтобы узнать, зачем Клод туда поднимается. Бедняга-звонарь совершенно не сознавал, что он станет делать, что скажет, вообще чего он хочет. Он был полон ярости и страха. В его сердце архидьякон столкнулся с цыганкой.

Дойдя до вершины башни, прежде чем выступить из мрака лестницы на площадку, Квазимодо осторожно взглянул, где священник.

Тот стоял, обернувшись к нему спиной. Вокруг

площадки на колокольне шла ажурная балюстрада. Священник, устремив взгляд на город, опирался грудью на ту из сторон балюстрады, которая выходила к мосту Богоматери. Бесшумно двигаясь за ним, Квазимодо стал наблюдать, на что он смотрит. Внимание священника было так поглощено, что он даже не услыхал за спиной шагов глухого.

Чудную и прелестную картину представляет собой Париж, а особенно Париж того времени, с башен собора Богоматери при первых лучах летней зари. Стоял июль месяц. Небо было совершенно чисто. Несколько запоздавших звездочек угасали в разных местах, а одна, очень яркая, сверкала на востоке, где небо было всего светлее. Солнце должно было появиться с минуты на минуту. Париж начинал просыпаться. При ярком чистом свете все очертания домов на восточной стороне особенно ясно рисовались в воздухе. Гигантская тень от колокольни протягивалась по крышам от одного края города до другого. В некоторых кварталах уже слышались шум и говор. Тут раздавался звон колокола, там удар молота, там дребезжание проезжавшей тележки. Уже кое-где, на пространстве всех этих крыш, из труб, будто из трещин огромного вулкана, начинали подни-

маться струйки дыма. Река, разбивающая свои волны о быки стольких мостов, о мысы стольких островов, вся сверкала серебристой рябью. За стенами города взор терялся в большом круге клочковатого тумана, через который проглядывали неясные линии равнин и грациозный изгиб холмов. Над этим полупроснувшимся городом носились самые разнородные звуки. На востоке утренний ветерок гнал легкие, как вата, облачка, оторванные от туманной пелены, окутывавшей холмы.

Несколько городских кумушек, стоя на соборной паперти с кувшинами для молока в руках, удивленно рассматривали разрушенные двери собора и застывшие в углублениях песчаника свинцовые ручьи. Это были единственные следы, оставшиеся от ночного переполоха. Костер, разведенный Квазимодо между башнями, погас. Тристан уже очистил площадки, велев побросать убитых в реку. Короли, подобные Людовику XI, заботятся о том, чтобы после кровопролития улицы были быстро вымыты. С внешней стороны балюстрады, как раз под тем местом, где остановился священник, приходилась одна из тех каменных сточных труб причудливого рисунка, которыми покрыты готические здания, а в одной из трещин

трубы две цветущие гвоздики, колеблемые ветерком, точно живые, приветствовали друг друга, кивая головками. Над башнями, высоко в небе, слышалось щебетание птиц.

Но священник ничего этого не слышал и не видел. Он был одним из тех людей, для которых не существует ни утра, ни птиц, ни цветов. На этом обширном горизонте, представлявшем столько разнообразия вокруг него, одна только точка поглощала все его внимание.

Квазимодо сгорал нетерпением спросить у него, куда он девал цыганку. Но архидьякон, казалось, перенесся в эту минуту в другой мир. Он, видимо, переживал одну из тех тяжелых минут, когда человек не заметил бы, если бы под ним разверзлась земля. Неизменно устремив глаза на одну точку, он стоял неподвижно и безмолвно, и в этой неподвижности и в этом молчании было что-то настолько ужасное, что дикий звонарь трепетал и не решался их нарушить. Он мог только косвенно предложить вопрос архидьякону, глазами проследить за направлением пристального взгляда священника. Несчастный глухой так и поступил, и взгляд его упал на Гревскую площадь.

И он увидал то, на что смотрел священник. К

виселице, постоянно стоявшей там, была приставлена лестница. На площади была кучка народа и очень много солдат. Какой-то человек тащил по земле что-то белое, за что цеплялось что-то черное. Этот человек остановился у подножия виселицы.

Тут произошло что-то, чего Квазимодо не мог уже рассмотреть, не потому, что его единственный глаз потерял свою зоркость, но оттого, что толпа солдат заслоняла от него происходившее. К тому же в эту минуту показалось солнце, и с горизонта хлынула волна такого ослепительного света, что все выдающиеся точки Парижа — шпили, трубы, колокольни — словно вспыхнули одновременно.

Между тем человек начал подниматься по лестнице. И тогда Квазимодо снова ясно увидал его. Он нес на плече женщину — молодую девушку — всю в белом. На шею девушки была накинута петля. Квазимодо узнал эту девушку. Это была она. Человек дошел до последней ступени. Здесь он стал затягивать узел. В эту минуту священник, чтобы лучше видеть, стал на колени на балюстраду.

Вдруг человек резким движением ноги оттолкнул лестницу, и Квазимодо, который уже

несколько мгновений не дышал, увидел, как на конце веревки, в двух саженях над мостовой, закачалось тело несчастной девушки, на плечи которой вскочил человек. Веревка несколько раз перекрутилась в воздухе, и Квазимодо увидал, как по телу цыганки пробежали страшные судороги. Священник также, с выкатившимися из орбит глазами, вытянув шею, смотрел на эту ужасную группу, на человека и девушку, — на паука и муху.

В самый страшный момент этой сцены смех — сатанинский, нечеловеческий — исказил помертвевшее лицо священника. Квазимодо не слыхал этого смеха, но видел его.

Звонарь попятился на несколько шагов за спиной архидьякона и вдруг, яростно устремившись на него, своими могучими руками толкнул его сзади в пропасть, нагнувшись над которой стоял dom Клод.

— Проклятие!.. — вскрикнул тот и полетел вниз.

Водосток, над которым он стоял, приостановил его падение. Он в отчаянии схватился за него руками, и в то мгновение, как он открыл рот, чтобы закричать вторично, он увидал высунувшееся над собой из-за балюстрады страшное лицо Ква-

зимодо, дышавшее мщением. Тогда он умолк.

Под ним зияла пропасть. До мостовой было более двухсот футов.

В этом ужасном положении архидьякон не произнес ни слова, не издал ни единого стона. Он только извивался, держась за водосток и употребляя неимоверные усилия, чтобы снова подняться на балюстраду. Но руки скользили по граниту, ноги напрасно царапали почерневшую стену, ища, за что зацепиться. Лица, всходившие на башни собора Богоматери, знают, что непосредственно под балюстрадой — каменный откос. На этом-то откосе и старался удержаться несчастный архидьякон. Он имел дело не с отвесной стеной, а со стеной, убегавшей из-под его ног.

Стоило Квазимодо только протянуть руку, и он мог бы вытащить Клода из пропасти, но горбун даже не смотрел на него. Он смотрел на площадь. Он смотрел на виселицу. Он смотрел на цыганку.

Глухой оперся о балюстраду на том самом месте, где за минуту перед тем был священник. Не сводя взора с единственного явления, существовавшего для него в эту минуту, он стоял неподвижно, не произнося ни звука, как человек, пораженный громом, и слезы ручьем лились из его единственного глаза, пролившего до сих пор

лишь одну слезу.

Архидьякон между тем тяжело переводил дух. С его лысого лба пот катился градом, ногти пятнили кровью камень, колени обдирались о стену. Он чувствовал, как его сутана, зацепившаяся за трубу, трещала и рвалась при каждом его усилии. К довершению несчастий, труба оканчивалась свинцовым желобом, гнувшимся под тяжестью его тела. Архидьякон чувствовал, что желоб медленно сгибается. Несчастный сознавал, что, как только его руки откажутся служить ему, как только сутана разорвется, а свинец согнется, ему придется упасть, и ужас леденил его до мозга костей. Иногда он с помутившимися мыслями поглядывал на подобие узенькой площадки, которую футах в десяти пониже образовало какое-то архитектурное украшение, и от всей своей измученной души молил небо дать ему окончить жизнь на этом пространстве в два квадратных фута, хотя бы ему пришлось пробыть на нем сто лет. Один раз он взглянул вниз — на площадь, в пропасть. Когда он поднял голову, глаза его были закрыты и волосы стояли дыбом.

Было что-то ужасное в молчании этих двоих людей. Между тем как архидьякон мучился в нескольких шагах от Квазимодо, звонарь плакал,

глядя на Гревскую площадь.

Архидьякон, видя, что все его усилия только колеблют его ненадежную опору, решил больше не шевелиться. Он обхватил водосток, едва переводя дух, не шевелясь, без всякого другого движения, кроме судорожного сокращения мускулов живота, которое испытываешь во сне, когда кажется, что падаешь. Его неподвижные глаза были болезненно расширены, как бы от удивления. Однако почва мало-помалу начинала уходить из-под него; его пальцы скользили по трубе. Он все более и более чувствовал увеличивавшуюся слабость рук и тяжесть своего тела. Свинцовая труба, поддерживавшая его, с каждой минутой все больше сгибалась, наклоняясь к бездне.

Он видел под собой ужасное зрелище: кровлю церкви Сен-Жан-ле-Рон, которая казалась ему маленькой, как пополам согнутая карта. Он смотрел поочередно на все бесстрастные изваяния, украшавшие башни и висевшие, как он, над бездной, но не испытывавшие ни ужаса за себя, ни жалости к нему. Все вокруг него было из камня: перед его глазами — чудовища с раскрытыми пастями, внизу, в глубине, — мостовая, над головой — плачущий Квазимодо.

На площадке перед собором собралось несколь-

ко любопытных, преспокойно рассуждавших, какой безумец нашел себе такую странную забаву. Священник слышал, как они говорили, — звук их голосов ясно долетал до него: «Да он себе сломает шею!»

Квазимодо плакал.

Наконец архидьякон, полный бешенства и ужаса, понял, что все бесполезно. Однако он собрал остаток своих сил для последнего усилия. Он привстал на желобе, оттолкнулся от стены коленями, зацепился руками за щель в камнях и успел вскарабкаться приблизительно на один фут. Но от этого резкого движения свинцовая труба вдруг согнулась крючком. В ту же минуту сутана разорвалась сверху донизу. Тогда, чувствуя, что у него нет уже опоры снизу, что его поддерживают только немеющие руки, несчастный закрыл глаза и выпустил из рук желоб. Он упал.

Квазимодо смотрел, как он падает.

Падение с такой высоты редко бывает совершенно отвесным. Полетев в пространство, архидьякон сначала падал головой вниз с распростертыми руками, затем несколько раз перевернулся в воздухе. Ветер отнес его на крышу одного из домов, о которую несчастный ударился. Однако он был еще жив, когда упал на эту крышу.

Звонарь видел, как он еще пытался удержаться за конек ногтями. Но плоскость была слишком поката, и у него не хватило сил. Он быстро покатился с крыши, как оторвавшаяся черепица, и грохнулся о мостовую. Тут он уже не шевелился.

Тогда Квазимодо поднял свой взор на цыганку, тело которой качалось на виселице и подергивалось под белой одеждой в последних судорогах. Затем он взглянул вниз на архидьякона, лежавшего у основания башни и уже потерявшего всякий человеческий образ, и проговорил с рыданием, вырвавшимся из глубины души:

— Вот все, что я любил!

III. Женитьба Феба

Под вечер этого же дня, когда епископские пристава подняли на площади изувеченный труп архидьякона, Квазимодо исчез из собора Богоматери.

Об этом происшествии ходили разные слухи. Никто не сомневался, что наступил тот день, когда, в силу их договора, дьявол, то есть Квазимодо, должен был унести Клода Фролло, то есть колдуна. Предполагали, что он разбил тело, чтобы унести душу, подобно тому как обезьяны

разбивают скорлупу, чтобы съесть орех.

Поэтому архидьякона не похоронили в освященной земле.

Людовик XI умер годом позже, в августе 1483 года.

Что касается Пьера Гренгуара, то ему удалось спасти козочку и он добился успеха как драматург. По-видимому, попытав свои силы в астрологии, философии, архитектуре и герметике, — словом, во всех безумствах, — он вернулся к трагедии, самой безумной из них всех. Он называл это «трагическим концом». Вот что мы читаем о его драматических успехах в 1483 году в отчетах городского управления: «Уплачено Жеану Маршену и Пьеру Гренгуару, плотнику и сочинителю, сочинившим и поставившим мистерию, представленную в парижском Шатлэ по случаю въезда господина легата, на вознаграждение действующих лиц, на снабжение их костюмами, как того требовала мистерия, а также за сооружение необходимых подмостков, за все — сто ливров».

Феб Шатопер тоже «кончил трагически» — он женился.

IV. Женитьба Квазимодо

Мы только что говорили, что Квазимодо исчез из собора Богоматери в день смерти цыганки и архидьякона. Его действительно больше не видали; никто не знал, что с ним сталось.

В ночь после казни Эсмеральды палачи сняли ее тело с виселицы и, по обычаю, отнесли его в монфоконский склеп.

Монфокон, по словам Соваля, «был самой древней и самой великолепной виселицей во всем королевстве». Между предместьями Тампль и Сен-Мартен, саженях в ста шестидесяти от стен Парижа, на расстоянии нескольких выстрелов из арбалета, на вершине пологого холма, поднимавшегося незаметно, но достаточно высокого, чтобы быть видимым на несколько лье в окружности, возвышалось здание странной формы, несколько похожее на кельтский кромлех, где также приносились человеческие жертвы.

Представьте себе на вершине известковой насыпи большой параллелепипед, сложенный из камней высотою в пятнадцать, шириною в тридцать, длиною в сорок футов, с дверью, наружным карнизом и площадкой наверху. На площадке

возвышаются шестнадцать огромных столбов из неотесанного камня, высотою в тридцать футов, огибающих колоннадой три стороны массивного сооружения, служащего основанием и связанного наверху крепкими балками, с которых на известных промежутках спускаются цепи. На этих цепях висят скелеты. В окрестности, на равнине, — каменный крест и две второстепенные виселицы, кажущиеся двумя разветвлениями центральной виселицы. Над всем этим вечно кружатся стаи воронов. Вот каков Монфокон!

В конце пятнадцатого века огромная виселица, выстроенная в 1328 году, уже пришла в ветхость. Балки подгнили, цепи заржавели, столбы покрылись зеленой плесенью. Фундамент из тесаного камня весь расселся, и площадка, на которую уже не ступала человеческая нога, поросла травой.

Этот памятник вырисовывался страшным силуэтом на горизонте, особенно ночью, когда луна слабо освещала эти белые черепа или северный ветер задевал цепи и скелеты и раскачивал их в ночном полумраке. Этой одной виселицы было достаточно, чтобы придать всей окрестности зловещий вид.

Каменное здание, служившее основанием отвратительному сооружению, было пусто внутри.

Там был устроен обширный склеп, запиравшийся старой, еле державшейся решеткой. В этот склеп бросали не только куски человеческих тел, спадавшие с цепей Монфокона, но также и тела всех несчастных, казненных на прочих виселицах Парижа. В этой глубокой могиле, где столько человеческих прахов, столько преступлений гнило вместе, сложили свои кости много невинных людей, начиная с невинного Ангеррана де Мариньи, обновившего монфоконскую виселицу, и кончая таким же невинным адмиралом Колиньи, завершившим вереницу казненных.

Что касается таинственного исчезновения Квазимодо, то вот все, что нам удалось узнать о нем.

Около двух или полутора лет спустя после событий, которыми закончился наш рассказ, когда в монфоконский склеп пришли разыскивать тело Оливье ле Дэна, повешенного за два дня перед тем и удостоенного Карлом VIII милости быть погребенным в лучшем обществе, на Сен-Лоранском кладбище, между отвратительными трупами были найдены два скелета, из которых один странным образом сжимал другой в своих объятиях. На одном из этих скелетов, женском, еще оставались лохмотья когда-то белого платья, а на шее было ожерелье из зерен какого-то

растения с маленькой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусами, открытой и пустой. Эти предметы были так малоценны, что палач, вероятно, не пожелал взять их себе. Другой скелет, державший первый в объятиях, был скелет мужчины. Заметили, что его позвоночный столб был искривлен, голова вдвинута между лопаток и одна нога короче другой. Однако у него не было замечено никакого повреждения спинного хребта на затылке, из чего можно было заключить, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда и здесь умер. Когда его хотели отделить от того скелета, который он обнимал, — он рассыпался прахом.

Человек, который смеется

В Англии все величественно, даже дурное, даже олигархия. Английский патрициат – патрициат в полном смысле этого слова. Нигде не было феодального строя более блестящего, более жестокого и более живучего, чем в Англии. Правда, в свое время он оказался полезен. Именно в Англии надо изучать феодальное право, подобно тому как королевскую власть надо изучать во Франции.

Книгу эту, собственно, следовало бы озаглавить «Аристократия». Другую, которая явится ее продолжением, можно будет назвать «Монархия». Обе они, если только автору суждено завершить этот труд, будут предшествовать третьей, которая замкнет собою весь цикл и будет озаглавлена «Девяносто третий год».

Отвиль-Хауз, 1869

Книга первая
«Море и ночь»
Пролог
1. Урсус

Урсус и Гомо были связаны узами тесной дружбы. Урсус[151] был человек, Гомо[152] — волк. Нравом они очень подходили друг к другу. Имя «Гомо» дал волку человек. Вероятно, он же придумал и свое; найдя для себя подходящей кличку «Урсус», он счел имя «Гомо» вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие; толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий. Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие — видеть укрощенного строптивца, и нет ничего приятней, чем наблюдать все разновидности дрессировки.

---

[151] Сноски: 151
Медведь (*лат.*).

[152] Сноски: 152
Человек (*лат.*).

Вот почему бывает так много зрителей на пути следования королевских кортежей.

Урсус и Гомо кочевали с перекрестка на перекресток, с площадей Абериствита на площади Иедбурга, из одной местности в другую, из графства в графство, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они переходили на другую. Урсус жил в балагане на колесах, который Гомо, достаточно вышколенный для этого, возил днем и стерег ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъемах в гору, человек впрягался в лямку и по-братски, бок о бок с волком, тащил возок. Так они вместе и состарились.

На ночлег они располагались где придется — среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у перекрестка нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на опушке парка, на церковной паперти. Когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, Урсус принимался разглагольствовать, и Гомо с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в

зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание. Волк был образованный, человек — тоже. Волк был научен человеком или научился сам всяким, волчьим, фокусам, которые повышали сбор.

— Главное, не выродись в человека, — дружески говаривал ему хозяин.

Волк никогда не кусался, с человеком же это порою случалось. Во всяком случае Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантроп и, чтобы подчеркнуть свою ненависть к человеку, сделался фигляром. К тому же надо было как-нибудь прокормиться, ибо желудок всегда предъявляет свои права. Впрочем, этот мизантроп и скоморох, быть может, думая таким образом найти себе место в жизни поважнее и работу посложнее, был также и лекарем. Мало того, Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих, с изумительной точностью копируя голос и интонации любого из них. Он один подражал гулу целой толпы, что давало ему полное право на звание «энгастримита». Он так себя и величал. Урсус воспроизводил всякие птичьи голоса: голос певчего дрозда, чирка, жаворонка, белогрудого дрозда — таких же скитальцев, как и он сам; благодаря этому своему

таланту он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас впечатление то площади, гудящей народом, то луга, оглашаемого мычанием стада; порою он бывал грозен, как рокочущая толпа, порою детски безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший смешанному гулу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при Бюффоне в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким россказням, которые мы называем баснями, и притворялся, будто сам верит им, — обычная хитрость лукавого шарлатана. Он гадал по руке, по раскрытой наобум книге, предсказывал судьбу, объяснял приметы, уверял, что встретить черную кобылу — к неудаче, но что еще опаснее услышать, когда ты уже совсем готов в дорогу, вопрос: «Куда собрался?» Он называл себя «продавцом суеверий», обычно говоря: «Я этого не скрываю; вот в чем разница между архиепископом Кентерберийским и мной». Архиепископ, справедливо возмущенный, однажды вызвал его к себе. Однако Урсус искусно обезоружил его преосвященство, прочитав перед

ним собственного сочинения проповедь на день рождества Христова, которая так понравилась архиепископу, что он выучил ее наизусть, произнес с кафедры и велел напечатать как свое произведение. За это он даровал Урсусу прощение.

Благодаря своему искусству врачевателя, а может быть, и вопреки ему, Урсус исцелял больных. Он лечил ароматическими веществами. Хорошо разбираясь в лекарственных травах, он умело использовал огромные целебные силы, заключенные во множестве всеми пренебрегаемых растений — в гордовине, в белой и вечнозеленой крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене; он лечил от чахотки росянкой, пользовался, сообразно надобности, листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительное, а сорванные у верхушки — как рвотное; исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого «заячьим ушком»; знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь; знал все ценные, благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на всякие случаи. Ожоги он исцелял кожей саламандры, из которой у Нерона,

по словам Плиния, была сделана салфетка. Урсус пользовался ретортой и колбой; он сам производил перегонку и сам же продавал универсальные снадобья. Ходили слухи, будто одно время он сидел в сумасшедшем доме; ему оказали честь, приняв его за умалишенного, но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего-навсего поэт. Возможно, что этого и не было: каждый из нас бывал жертвой подобных россказней.

В действительности же Урсус был грамотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он был ученым в двух областях, ибо одновременно шел по стопам и Гиппократа и Пиндара. В знании поэтического ремесла он мог бы состязаться с Раненом и с Видой. Он мог бы сочинять иезуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур. Благодаря близкому знакомству с прославленными ритмами и размерами древних Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил: «Это дактиль»; об отце, за которым шли два его сына: «Это анапест»; о внуке, шагавшем между дедом и бабушкой: «Это амфимакрий». При таком обилии знаний можно жить только впро-

голодь. Салернская школа рекомендует: «Ешьте мало, но часто». Урсус ел мало и редко, выполняя, таким образом, лишь первую половину предписания и пренебрегая второй. Но это уж была вина публики, которая собиралась не каждый день и покупала не слишком часто. Урсус говорил: «Отхаркнешься поучительным изречением — станет легче. Волк находит утешение в вое, баран — в теплой шерсти, лес — в малиновке, женщина — в любви, философ же — в поучительном изречении». Урсус по мере надобности кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал: это помогало продавать снадобья. В числе других творений он сочинил героическую пастораль в честь рыцаря Хью Миддлтона, который в 1608 году провел в Лондон речку. Эта речка спокойно протекала в шестидесяти милях от Лондона, в графстве Гартфорд; явился рыцарь Миддлтон и завладел ею; он привел с собою шестьсот человек, вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте, повышая его в другом, иногда подымая речку на двадцать футов, иногда углубляя ее русло на тридцать футов, соорудил из дерева наземные водопроводы, построил восемьсот мостов, каменных, кирпичных и бревенчатых, и вот, в одно прекрасное

утро, речка вступила в пределы Лондона, который испытывал в то время недостаток в воде. Урсус преобразил эти прозаические подробности в прелестную буколическую сцену между рекою Темзой и речкой Серпантиной. Мощный поток приглашает к себе речку, предлагая ей разделить с ним ложе. «Я слишком стар, — говорит он, — чтобы нравиться женщинам, но достаточно богат, чтобы оплачивать их». Это был остроумный и галантный намек на то, что сэр Хью Миддлтон произвел все работы за свой счет.

Урсус мастерски владел монологом. Будучи нелюдимым и вместе с тем словоохотливым, не желая никого видеть, но испытывая потребность поговорить с кем-нибудь, он выходил из затруднения, беседуя сам с собою. Кто жил в уединении, знает, до какой степени человеческой природе свойствен монолог. Слово, звучащее внутри нас, вызывает своего рода зуд. Обращаясь в пространство, мы как бы открываем предохранительный клапан. Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с Богом, которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа. Он произносил речи перед самим собой. Точно так же поступал и Лютер. Урсус брал пример с этих великих мужей.

Он обладал способностью, раздваиваясь, быть своей собственной аудиторией. Он задавал себе вопросы и сам отвечал на них; он превозносил себя и осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем возке. Прохожие, у которых есть свое мерило для оценки незаурядных людей, говорили: «Вот идиот!» По временам, как мы только что сказали, Урсус бранил самого себя, но бывали моменты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из тех кратких речей, с которыми он обращался к себе, он с гордостью воскликнул: «Я изучил растение во всех его тайнах, я изучил стебель, почку, чашелистики, лепесток, тычинку, завязь, семяпочку, бурачок, спорангий и апотеций. Я постиг хромацию, осмосию и химосию, иными словами — образование цвета, запаха и вкуса». В этом аттестате, который Урсус выдавал Урсусу, была, несомненно, некая доля бахвальства, но пусть первым кинет в него камень тот, кто не постиг хромации, осмосии и химосии.

К счастью, Урсус никогда не бывал в Нидерландах. Там его, без сомнения, взвесили бы, чтобы определить, обладает ли он должным весом, избыток или недостаток которого свидетельствует о том, что человек — колдун. В Голландии этот

должный вес был мудро установлен законом. Это было удивительно просто и остроумно. Вас клали на чашу весов — и все сразу становилось ясным: если вы оказывались слишком тяжелым, вас вешали, если слишком легким — сжигали. Еще теперь можно видеть в Удеватере весы для взвешивания колдунов, но в наши дни на этих весах взвешивают сыр, — вот во что выродилась религия! Тощему Урсусу, пожалуй, не поздоровилось бы от такого взвешивания. В своих странствиях он избегал Голландии — и хорошо делал. Впрочем, мы полагаем, что он вообще не покидал пределов Англии.

Как бы то ни было, Урсус, человек очень бедный и притом сурового нрава, завязав в лесу знакомство с Гомо, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью, полной всяких неожиданностей. Урсус был очень изобретателен, всегда себе на уме, весьма искусен во врачебном деле и великий мастер на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра; само собою разумеется, что его считали и чародеем, но лишь отчасти, ибо (прослыть приятелем черта было в ту пору небезопасно.

Говоря по правде, Урсус своим пристрастием к фармакопее и лекарственным растениям мог навлечь на себя подозрение, так как часто уходил собирать травы в угрюмые, непролазные чащи, где произрастает салат Люцифера и где, как это установил советник д'Анкр, рискуешь встретить в вечернем тумане вышедшего из-под земли человека, «кривого на правый глаз, без плаща, со шпагой на боку и совершенно босого». Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, вихрем пляски замучить человека насмерть, внушать безмятежные или, напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырехкрылых петухов, — подобных проделок за ним не водилось. Он был неспособен на такие мерзости, как, например, говорить по-немецки, по-древнееврейски или по-гречески, не изучив этих языков, что является признаком либо гнусного коварства, либо природной болезни, вызываемой меланхолией. Если Урсус изъяснялся по-латыни, то только потому, что знал ее. Он не позволил бы себе говорить по-сирийски, так как не знал этого языка; кроме того, доказано, что сирийский язык — язык ведьм. В медицине Урсус не без основания

отдавал предпочтение Галену перед Кардано, ибо Кардано, при всей своей учености, жалкий червь по сравнению с Галеном.

В общем, Урсус не принадлежал к числу тех лиц, которых часто тревожит полиция. Его возок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нем на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешанной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того, у него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в дни больших представлений; он называл это — облачаться в парадный костюм. «У меня две шкуры, — говорил он, — вот эта — настоящая». И он указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме возка, реторты и волка, у него были флейта и виола-да-гамба, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры. Все эти таланты иногда обеспечивали ему возможность поужинать. В потолке его лачуги было отверстие, через которое проходила труба чугунной печки, стоявшей почти вплотную к сундуку, так что деревянная стенка его даже слепка обуглилась. В печке было два отделения: в одном из них Урсус варил свои

специи, в другом — картошку. По ночам волк, дружеской рукой посаженный на цепь, спал под возком. Гомо был черен, Урсус сед; Урсусу было лет пятьдесят, если не все шестьдесят. Его покорность человеческой судьбе была такова, что он, как выше упомянуто, питался картофелем, который в ту пору считался поганой пищей, годной лишь для свиней да каторжников. Он ел его, негодуя, но подчиняясь своей участи. Ростом он был невысок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Согбенная спина старика — это груз прожитых лет. Урсусу на роду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешение в слезах и временное облегчение в веселье. Старик — это не что иное, как мыслящая развалина. Урсус и был такой развалиной. Краснобайство шарлатана, худоба пророка, воспламеняемость заряженной мины — таков был Урсус. В молодости он жил в качестве философа у одного лорда.

Все это происходило сто восемьдесят лет назад, в те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни.

Впрочем, не намного.

Гомо не был обыкновенным волком. Судя по

тому, как он набрасывался на кизил и на яблоки, его можно было принять за степного волка; темной окраской шерсти он походил на гиену, а воем, постепенно переходившим в лай, напоминал чилийскую дикую собаку; но зрачок этого животного еще недостаточно изучен, и, может быть, оно лишь разновидность лисицы, между тем как Гомо был настоящим волком. Длина его равнялась пяти футам, а это немалый рост для волка даже в Литве; он был очень силен; смотрел он исподлобья, но это нельзя было ставить ему в вину; язык у него был мягкий, и он иногда лизал Урсуса; по спинному хребту у него щетинилась узкая полоска короткой шерсти; он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. До своего знакомства с Урсусом, когда ему не приходилось еще таскать за собой возок, он легко пробегал по сорок лье за ночь. Урсус, натолкнувшись на него в чаще на берегу ручья, проникся к нему уважением, увидев, как он умно и осторожно ловит раков, и с удовлетворением признал в нем отличный экземпляр подлинного гвианского волка — купара, из породы так называемых собак-ракоедов.

Урсус предпочитал Гомо ослу в качестве вьючного животного. Ему было бы неприятно заставлять осла тащить возок: он слишком уважал это

животное. К тому же он заметил, что осел, этот не понятый людьми четвероногий мечтатель, имеет неприятное обыкновение настораживать уши, когда философы изрекают какие-нибудь глупости. Между нами и нашей мыслью осел оказывается, таким образом, лишним свидетелем, а это стеснительно. Урсус предпочитал Гомо в качестве друга и собаке, так как полагал, что волку дружба с человеком дается труднее.

Вот почему Урсус довольствовался обществом Гомо. Гомо был для него больше, чем другом, — он был его подобием. Похлопывая волка по впалым бокам, Урсус говорил: «Я нашел свое второе издание».

Он говорил также: «Когда я умру, всякому, кто пожелает получить представление обо мне, надо будет только изучить Гомо. Я оставлю его потомству в качестве моей вернейшей копии».

Английский закон, не слишком мягкий по отношению к хищным зверям, мог бы придраться к этому волку и притянуть его к ответу за смелость, с которой он свободно появлялся в городах; но Гомо пользовался неприкосновенностью, дарованной домашним животным одним из статутов Эдуарда IV. «Всякое домашнее животное, — гласит этот статут, — может свободно следовать за

своим хозяином». Кроме того, некоторое ослабление строгостей по отношению к волкам явилось результатом моды, распространившейся при последних Стюартах среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов, величиной с кошку, выписывая их за большие деньги из Азии.

Урсус передал Гомо часть своих талантов: научил его стоять на задних лапах, умерять свой гнев, заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчанье вместо воя и т. д. Волк, со своей стороны, передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу рабству во дворце.

Возок Урсуса, своеобразная передвижная хижина, следовал по самым различным направлениям, не выходя, однако, за пределы Англии и Шотландии; он был установлен на четырех колесах и снабжен оглоблями для волка и лямкой для человека. Пристяжкой пользовались только при дурной дороге. Балаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычно идущих на перегородки. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи, а сзади — глухая дверь с форточкой. Для

входа в балаган, на ночь тщательно запиравшийся засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки, прилаженная на шарнирах к внутренней стороне задней двери. Немало дождей и снега перевидал возок на своем веку. Когда-то он был окрашен, но теперь уже нельзя было установить, в какой именно цвет, ибо перемены погоды действуют на дорожные возки точно так же, как смены царствований на придворных. Снаружи на стенке возка когда-то можно было разобрать на дощечке надпись черными буквами по белому полю, постепенно расплывшуюся и стершуюся:

«Золото ежегодно теряет от трения одну тысяча четырехсотую часть своего объема; это называется потерей в весе монеты; отсюда следует, что из миллиарда четырехсот миллионов золотом, находящихся в обращении на всем земном шаре, ежегодно пропадает один миллион. Этот миллион золотом распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отягчает ее, соединяется с душою богачей, которые становятся от него надменными, и с душою бедняков, которые от него ожесточаются».

Надпись эту, размытую дождями и стершуюся по милости провидения, к счастью, уже нельзя было прочитать, так как весьма вероятно, что это загадочное и вместе с тем довольно прозрачное рассуждение о золоте, проникающем в легкие, пришлось бы не по вкусу шерифам, прево, маршалам и прочим носителям париков, стоящим на страже закона. Английское законодательство в ту пору шутить не любило. Быть жестоким считалось в порядке вещей. Беспощадность была исконным свойством судей, а жестокосердие — их второй натурой. Инквизиторы кишмя кишели. Джеффрис породил целое племя себе подобных.

Внутри возка были еще две надписи. Над сундуком на дощатой, выбеленной известкой стене было выведено от руки чернилами:

«Единственное, что следует знать:

Барон и пэр Англии носит на голове золотой обруч с шестью жемчужинами.

Право на корону начинается с виконта.

Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин; граф — жемчужную корону, зубцы которой перемежаются с небольшими земляничными листьями; у маркиза — зубцы и листья на одном уровне; у герцога — одни

зубцы, без жемчужин; у герцога королевской крови — обруч, составленный из крестов и лилий; у принца Уэльского корона такая же, как у короля, но незамкнутая.

Герцог именуется “светлейшим и могущественнейшим государем”; маркиз и граф — “высокородным и могущественным владетелем”, виконт — “благородным и могущественным господином»; барон — «истинным господином”.

Обращение к герцогу: “ваша светлость”, к остальным пэрам — “ваша милость”.

Личность лорда неприкосновенна.

Пэры — это парламент и суд, concilium et curia, законодательство и правосудие.

Most honourable (высокочтимый) значит больше, чем right honourable (досточтимый).

Лорды-пэры признаются лордами по праву рождения, лорды не пэры — лордами из учтивости; только пэры — настоящие лорды.

Лорд никогда не приносит присяги ни королю, ни на суде. Достаточно одного его слова. Он говорит: “Заверяю своей честью”.

Члены палаты общин, представляющие народ, будучи вызваны в палату лордов, смиренно обнажают головы перед лордами, сидящими в головных уборах.

Палата общин представляет билли в палату лордов через депутацию из сорока членов, которые при вручении билля отвешивают три глубоких поклона.

Лорды препровождают в палату общин свои билли через простого писца.

В случае разногласия между палатами они совместно совещаются в “расписном зале”, причем пэры сидят в шляпах, а члены палаты общин стоят с непокрытой горловой.

По закону, изданному Эдуардом VI, лорды пользуются привилегией непреднамеренного убийства. Лорд, убивший простолюдина, не подлежит преследованию.

Бароны приравниваются по рангу к епископам.

Чтобы быть бароном-пэром, надо получить от короля пожалование per baroniam integram, то есть полным баронским поместьем.

Полное баронское поместье состоит из тринадцати с четвертью дворянских ленов, каждый стоимостью в двадцать фунтов стерлингов, что составляет четыреста марок.

Баронский замок — эта “голова” баронского поместья — caput baroniae — переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона

Англии, то есть переходит к дочерям лишь при отсутствии детей мужского пола и в таком случае достается старшей дочери; caeteris filiabus aliunde satisfactis.

Бароны носят титул лорда, от саксонского laford (классическое латинское — dominus и вульгарно-латинское — lordus).

Старшие и следующие за ними сыновья виконтов и баронов — первые эсквайры королевства.

Старшие сыновья пэров имеют преимущество перед кавалерами ордена Подвязки; младшие сыновья преимущества не имеют.

Старший сын виконта в процессии следует за баронами и впереди всех баронетов.

Дочь лорда — леди, прочие английские девицы — мисс.

Все судьи признаются ниже пэров. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка; судьи — капюшон de minuto vario — из белых шкурок любых мелких зверей, кроме горностая. Горностай носят только пэры и король.

Против лорда не допускается supplicavit[153].

Лорда нельзя посадить в обычную тюрьму. Он может быть заключен только в лондонский

---

[153] Сноски: 153
Мольба (*лат.*) — так называлась жалоба, обращенная к королю.

Тауэр.

Лорд, приглашенный в гости к королю, имеет право убить в королевском парке одну или две лани.

Лорду в его владениях предоставляется право баронского суда.

Выйти на улицу в мантии, взяв с собою для сопровождения только двух слуг, — недостойно лорда. Он может появляться лишь с целой свитой приближенных дворян.

Пэры отправляются в парламент в каретах цугом; члены палаты общин этого права не имеют. Некоторые пэры отправляются в Вестминстер в открытых двухместных колясках. Украшенные гербами и коронами коляски и кареты разрешается иметь только лордам: это одна из их привилегий.

Лорд может быть приговорен к штрафу только лордами, и притом в размере не свыше пяти шиллингов; исключение составляет герцог, которого можно оштрафовать на десять шиллингов.

Лорд может иметь у себя в доме шесть иностранцев. Всякий другой англичанин — только четырех.

Лорд может беспошлинно держать у себя в погребе восемь бочек вина.

Только лорд не подлежит явке к окружному шерифу.

Лорд не может быть облагаем податью на содержание войска.

Когда это угодно лорду, он на свои средства набирает полк и предоставляет его в распоряжение короля; так поступают их светлости герцог Атольский, герцог Гамильтон и герцог Нортемберлендский.

Лорд может быть судим только лордами.

В гражданских делах он может требовать пересмотра и отмены решения, если в составе суда не было по крайней мере одного дворянина.

Лорд сам назначает своих капелланов.

Барон назначает трех капелланов, виконт — четырех, граф и маркиз — пять, герцог — шесть.

Лорд не может быть подвергнут пытке даже при обвинении в государственной измене.

Лорд не может быть заклеймен палачом.

Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения.

Герцог появляется под балдахином всюду, за исключением тех мест, где присутствует король; виконт имеет балдахин у себя дома; у барона есть кубок с крышкой для пробы вина, крышку слуга

держит под кубком, пока барон пьет; баронесса в присутствии виконтессы имеет право пользоваться услугами одного человека для ношения шлейфа.

Восемьдесят шесть лордов или старших сыновей лордов занимают председательские места за восемьюдесятью шестью столами на пятьсот приборов каждый, накрываемыми ежедневно в королевском дворце за счет округи, в которой расположена королевская резиденция.

Простолюдину, ударившему лорда, отсекают кисть руки.

Лорд почти то же, что король.

Король почти то же, что бог.

Вся земля — собственность лордов.

Англичане, обращаясь к Богу, называют его “милорд”».

Против этой надписи можно было прочесть другую, написанную таким же способом. Вот она:

«Утешение, которым должны довольствоваться те, кто ничего не имеет.

Генрих Оверкерк, граф Грентэм, заседающий в палате лордов между графом Джерси и графом Гриничем, имеет сто тысяч фунтов стерлингов

ежегодного дохода. Его милости принадлежит дворец Грентэм-Террас, выстроенный из мрамора и знаменитый своим лабиринтом коридоров, представляющим собою настоящую достопримечательность. В этом дворце есть алый коридор из саранколинского мрамора, коридор из астраханской лумачеллы, белый — из ланийского мрамора, черный — из алабандского мрамора, серый — из старемского мрамора, желтый — из гессенского мрамора, зеленый — из тирольского, красный — наполовину из крапчатого богемского мрамора, наполовину из кордовской лумачеллы, темно-синий — из генуэзского мрамора, фиолетовый — из каталонского гранита, траурный — из сланцев Мурвиедро с белыми и черными прожилками, розовый — из альпийского циполина, жемчужный — из нонетской лумачеллы и разноцветный коридор, называемый “придворным”, — из пестрой брекчии.

Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Уэстморленде замок Лаутер; необыкновенно пышный подъезд этого замка как бы приглашает королей посетить его.

Ричард, граф Скарборо, виконт и барон Лэмлей, виконт Уотерфорд в Ирландии, лорд-лейтенант и вице-адмирал графства Нортемберлендского,

графства Дерхемского с одноименным городом, владеет двумя поместьями в Стэнстеде, старым и новым, в котором всеобщее внимание привлекает великолепная решетка, охватывающая полукругом бассейн с фонтаном необычайной красоты. Сверх того ему принадлежит замок в Лэмлее.

Роберту Дарси, графу Холдернесу, принадлежит родовой замок Холдернес с баронскими башнями и огромным французским парком, в котором он совершает прогулки в карете, запряженной шестеркой лошадей, с двумя форейторами, как и подобает пэру Англии.

Чарльз Боклерк, герцог Сент-Олбенс, граф Барфорд, барон Хеддингтон, первый сокольничий Англии, рядом с королевским дворцом в Виндзоре владеет дворцом, нисколько не проигрывающим от этого соседства.

Чарльз Бодвилл, лорд Робертс, барон Труро, виконт Бодмин, владеет в Кембридже поместьем Уимпл, где выстроены три дворца с тремя фронтонами, из коих один в виде арки, а два треугольные. Въездная аллея обсажена четырьмя рядами деревьев.

Высокородный и могущественный лорд Филипп Герберт, виконт Кардиф, граф Монтгомери,

граф Пемброк, пэр и владетель Кендола, Мармиона, Сент-Квентина и Чарленда, смотритель прудов в графствах Корнуэле и Девоне, наследственный наблюдатель коллегии Иисуса, является собственником чудесного Уилстонского сада, в котором, есть два фонтана, превосходящие красотою версальские фонтаны христианнейшего короля Людовика XIV.

Чарльз Сеймур, герцог Сомерсетский, владеет на Темзе виллой Сомерсет-Хауз, ничем не уступающей вилле Памфили в Риме. На величественном камине обращают на себя внимание две китайские фарфоровые вазы эпохи Юаньской династии, оцениваемые в полмиллиона на французские деньги.

В Йоркшире Артур, лорд Ингрэм, виконт Ирвин, владеет дворцом Темпл-Ньюшем, к которому подъезжают через триумфальную арку; широкие и плоские крыши этого дворца похожи на мавританские террасы.

Роберту, лорду Феррерс-Чартлею, Борчиру и Ловену, принадлежит в Лестершире замок Стаунтон-Гарольд с парком, имеющим форму храма с фронтоном; большая церковь с четырехугольной колокольней, высящаяся на берегу пруда, входит в состав поместья.

В графстве Нортгемптон Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, член тайного совета его величества, владеет поместьем Олтроп, в которое въезжают через кованые железные ворота на четырех столбах, украшенных мраморными группами.

Лоуренсу Хайду, графу Рочестеру, принадлежит в Серрее поместье Нью-Парк, с замком, украшенным художественно изваянным акротерионом, с обсаженной деревьями круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусно закругленная горка, увенчанная большим, издалека видным дубом.

Филипп Стенхоп, граф Честерфилд, владеет в Дербишире поместьем Бредби, в котором есть великолепный павильон с часами, соколиный двор, кроличьи садки и прелестные пруды, четырехугольные и овальные, в том числе один в форме зеркала, с двумя фонтанами, бьющими очень высоко.

Лорду Корнуэлу, барону Ай, принадлежит Бром-Холл — дворец четырнадцатого века.

Высокородный Олджернон Кейпл, виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гартфордшире замком Кешиобери, имеющим форму буквы “Н”, и лесными угодьями, изобилующими дичью.

Лорду Чарльзу Оссалстоуну принадлежит в

Миддлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе.

Джемс Сесил, граф Солсбери, в семи лье от Лондона владеет дворцом Гартфилд-Хауз, с четырьмя господскими павильонами, с дозорной башней в центре и парадным двором, выложенным белыми и черными плитами, как в Сен-Жермене. Дворец этот, занимающий по фасаду двести семьдесят два фута, был выстроен в царствование Иакова I государственным казначеем Англии, прадедом нынешнего владельца. Кровать одной из графинь Солсбери стоит несметных денег: она целиком сделана из бразильского дерева, признанного вернейшим средством от змеиного укуса, которое называется milhombres, что значит “тысяча мужчин”. На этой кровати золотыми буквами выведена надпись: “Honni soit qui mal y pense”[154].

Эдуард Рич, граф Уорик и Холленд, — собственник замка Уорик-Касл, где камины топят целыми дубами.

В приходе Севн-Оукс Чарльзу Секвиллу, барону Бекхерсту, виконту Кренфилду, графу Дорсету и Миддлсексу, принадлежит поместье Ноул, по ве-

---

[154] Сноски: 154
Позор тому, кто подумает дурное (*фр.*).

личине не уступающее городу; в нем выстроены параллельно друг другу три дворца, длинных, как линии пехоты; на главном здании с лицевой стороны — десять ступенчатых щипцов, а над воротами замковая башня, окруженная четырьмя малыми башнями.

Томас Тинн, виконт Уэймет, барон Уорминстер, — собственник дворца Лонг-Лит, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок, арок, павильонов, башенок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю.

Генри Ховард, граф Сэффолк, владеет в двенадцати лье от Лондона, в Миддлсексе, дворцом Одлейн, почти не уступающим размерами и величественностью Эскуриалу испанского короля.

В Бедфордшире Рест-Хауз-энд-Парк, обнесенный рвами и стенами, — целая округа с лесами, реками, холмами — составляет собственность маркиза Генри Кента.

В Гартфорде Гемптон-Корт с огромной зубчатой башней и садом, который отделен от леса прудом, принадлежит Томасу, лорду Конингсби.

Графу Роберту Линдсею, лорду и наследственному владельцу Уолхемского леса, принадлежит в Линкольншире замок Гримсторф с длинным

фасадом, украшенным высокими башенками в виде частокола, с парками, прудами, фазаньими дворами, овчарнями, лужайками, рощами, площадками для игр, высокоствольными деревьями, узорными цветниками, разбитыми на квадраты и ромбы и похожими на большие ковры, с полянами для состязаний в верховой езде и с величественной круговой аллеей, служащей въездом в замок.

В Сессексе высокочтимому Форду, лорду Грею, виконту Глендейлу и графу Танкарвиллу, принадлежит большой квадратный замок с двумя симметрически расположенными по обеим сторонам парадного двора флигелями, над которыми высятся дозорные башни.

Дворец Ньюхем Пэдокс, в Уорикшире, со стеклянным четырехскатным щипцом и с двумя четырехугольными рыбными садками в парке, составляет собственность графа Денби, который в Германии носит еще титул графа Рейнфельден.

Замок Уайтхем в графстве Берк с французским парком, в котором сооружены четыре грота из тесаного камня, с его высокой зубчатой башней, подпираемой двумя крепостного типа контрфорсами, принадлежит лорду Монтегю, графу Эбингдону, который является также собствен-

ником баронского замка Райкот, над въездными воротами которого красуется девиз: “Virtus ariete fortior”[155].

Уильям Кавендиш, герцог Девонширский, владеет шестью замками, и в том числе двухэтажным Четсуортом, отлично выдержанным в греческом стиле; кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенной спиною к королевскому дворцу.

Виконт Кинелмики, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилли дворцом Барлингтон-Хауз, с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему также принадлежит дворец Чизуик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Ландсборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый.

Герцог Бофорт — собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного во флорентийском; ему же принадлежит в Глостере дворец Бедмингтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный и могущественный принц Генри, герцог Бофорт, носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и

---

[155] Сноски: 155
Доблесть сильнее тарана (*лат.*).

барона Герберт-Чипстоу.

Джон Холле, герцог Ньюкасл и маркиз Клер, владеет замком Болсовер, четырехугольная дозорная башня которого производит величественное впечатление, а также замком Хоутон в Ноттингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре, наподобие вавилонской башни.

Лорд Вильям Кревен, барон Кревен-Хемпстед, имеет в Уорикшире свою резиденцию — Комб-Эбей, с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка: Хемпстед-Маршал с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле, и Эсдоун-Парк, выстроенный в лесу на скрещении двух дорог.

Лорд Линней Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, владеет замком Кленчарли, выстроенным в 914 году Эдуардом Старым для защиты от датчан; ему же принадлежат дворцы: Генкервилл-Хауз в Лондоне и Корлеоне-Лодж в Виндзоре, а также восемь кастелянств: в Брукстоне на Тренте, с правом разработки алебастровых копей, затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемб, Тренуордрайт, Хелл-Кертерс с замечательным источником, Пиллинмор с торфяными болотами, Рикелвер близ старинного города Уайнкаунтон на горе Мойл-Энли; затем

девятнадцать небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа Пенснет-Чейз, что в совокупности приносит его милости сорок тысяч фунтов стерлингов годового дохода.

Сто семьдесят два пэра, облеченных властью в царствование Иакова II, получают в совокупности миллион двести семьдесят две тысячи фунтов стерлингов годового дохода, что составляет одиннадцатую часть доходов Англии».

Сбоку, против последнего имени, лорда Линнея Кленчарли, рукою Урсуса была сделана пометка:

«Мятежник; в изгнании; имущество, земли и поместья под секвестром. И поделом».

Урсус восхищался Гомо. Мы восхищаемся тем, что нам близко. Это — закон.

Внутренним состоянием Урсуса была постоянная глухая ярость; его внешним состоянием была ворчливость. Урсус принадлежал к числу тех, кто недоволен мирозданием. В системе природы он выполнял роль оппозиции. Он видел мир с его дурной стороны. Никто и ничто на свете не удостаивалось его одобрения. Для него сладость меда не оправдывала укуса пчелы; распустившаяся на солнце роза не оправдывала желтой лихорадки

или рвоты желчью, вызванных тем же солнцем. Возможно, что наедине с самим собой Урсус резко осуждал господа. Он говорил: «Очевидно, дьявола надо держать на привязи, и вина Бога, что он спустил его с цепи». Он одобрял только владетельных особ, но выказывал это одобрение довольно своеобразно. Однажды, когда Иаков II принес в дар Богоматери ирландской католической часовни тяжелую золотую лампаду, Урсус, как раз проходивший мимо этой часовни с Гомо, который, впрочем, относился к таким событиям более равнодушно, стал во всеуслышание выражать свой восторг. «Несомненно, — воскликнул он, — Богородица гораздо больше нуждается в золотой лампаде, чем вот эта босоногая детвора — в башмаках!»

Такие доказательства «благонамеренности» Урсуса и его очевидное уважение к властям предержащим, вероятно, немало содействовали тому, что власти довольно терпимо относились к его кочевому образу жизни и необычайному союзу с волком. Иногда вечерком он по дружеской слабости разрешал Гомо немного поразмяться и побродить на свободе вокруг возка. Волк был бы неспособен злоупотребить доверием — и в «обществе», то есть на людях, вел себя смирнее

пуделя. Однако попадись он в дурную минуту на глаза полицейским, не миновать бы неприятностей; вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чем не повинного волка на цепи.

С точки зрения политической его надпись насчет золота, ставшая совсем неразборчивой, да к тому же малопонятная по существу, представлялась простой мазней на фасаде балагана и не навлекала на Урсуса никаких подозрений. Даже после Иакова II и в «досточтимое» царствование Вильгельма и Марии возок Урсуса спокойно разъезжал по глухим городкам английских графств. Урсус исколесил всю Великобританию, продавая свои чудодейственные зелья и снадобья и проделывая с помощью волка шарлатанские фокусы странствующего лекаря; он легко ускользал от сетей полиции, раскинутых в ту пору по всей Англии для очистки страны от бродячих шаек и главным, образом для задержания «компрачикосов».

В сущности это было справедливо. Урсус не принадлежал ни к какой бродячей шайке. Урсус жил вдвоем с Урсусом, и только волк, осторожно просовывая между ними свою морду, нарушал эту беседу с самим собой. Пределом мечтаний Урсуса было родиться караибом. Но так как это

было вне его власти, он стал отшельником. Отшельничество — это та слабо выраженная форма дикарства, которую соглашается терпеть цивилизованное общество. Чем дольше мы скитаемся по свету, тем более мы одиноки. Этим объяснялись постоянные странствования Урсуса. Долгое пребывание в одном каком-нибудь месте казалось ему переходом от свободного состояния к неволе. Вся его жизнь прошла в скитаниях. При виде города в нем возрастала тяга к чаще, к лесным дебрям, к пещерам в скалах. В лесу он был у себя дома. Но глухой гул толпы на площадях не смущал его, так как напоминал ему шум лесных деревьев. В известной мере толпа удовлетворяет склонности к отшельничеству. Если что и не нравилось Урсусу в его повозке, то только дверь и окно, придававшие ей сходство с настоящим домом. Он достиг бы своего идеала, если бы мог поставить на колеса пещеру и путешествовать в ней.

Мы уже говорили, что Урсус не улыбался; он только смеялся — временами даже часто; но это был горький смех. В улыбке всегда есть некие начала примирения, тогда как смех часто выражает собою отказ примириться.

Главной особенностью Урсуса была ненависть

к роду человеческому. В этой ненависти он был неумолим. Он пришел к твердому убеждению, что человеческая жизнь отвратительна; он заметил, что существует своего рода иерархия бедствий: над королями, угнетающими народ, есть война, над войною — чума, над чумою — голод, а над всеми бедствиями — глупость людская; удостоверившись, что уже самый факт существования является в какой-то мере наказанием, и видя в смерти избавление, он тем не менее лечил больных, которых к нему приводили. У него были укрепляющие лекарства и снадобья для продления жизни стариков. Он ставил на ноги калек и потом язвительно говорил им: «Ну вот, ты снова на ногах. Можешь теперь вволю мыкаться в этой юдоли слез». Увидев нищего, умирающего от голода, он отдавал ему все деньги, какие у него были, и сердито ворчал: «Живи, несчастный! Ешь! Старайся протянуть подольше! Уж только не я сокращу сроки твоей каторги». Затем, потирая руки, он приговаривал: «Я делаю людям все зло, какое только в моих силах».

Через окошечко в задней стене балагана прохожие имели возможность прочитать на потолке его надпись углем крупными) буквами: «Урсус-философ».

2. Компрачикосы

Кому в наши дни известно слово «компрачикосы»? Кому понятен его смысл?

Компрачикосы, или компрапекеньосы, представляли собой необычайное и гнусное сообщество бродяг, знаменитое в семнадцатом веке, забытое в восемнадцатом и совершенно неизвестное в наши дни. Компрачикосы, подобно «отраве для наследников», являются характерной подробностью старого общественного уклада. Это деталь древней картины нравственного уродства человечества. С точки зрения истории, сводящей воедино разрозненные события, компрачикосы представляются ответвлением гигантского явления, именуемого рабством. Легенда об Иосифе, проданном братьями, — одна из глав повести о компрачикосах. Они оставили память о себе в уголовных кодексах Испании и Англии. Разбираясь в темном хаосе английских законодательных актов, — кое-где наталкиваешься на следы этого чудовищного явления, как находишь в первобытных лесах отпечаток ноги дикаря.

«Компрачикос», так же как и «компрапекеньос», — составное испанское слово, означающее

«скупщик детей».

Компрачикосы вели торговлю детьми.

Они покупали и продавали детей.

Но не похищали их. Кража детей — это уже другой промысел.

Что же они делали с этими детьми?

Они делали из них уродов.

Для чего же?

Для забавы.

Народ нуждается в забаве. Короли — тоже. Улице нужен паяц; дворцам нужен гаер. Одного зовут Тюрлюпен, другого — Трибуле.

Усилия, которые затрачивает человек в погоне за весельем, иногда заслуживают внимания философа.

Что должны представлять собою эти вступительные страницы?

Главу одной из самых страшных книг, книги, которую можно было бы озаглавить: «Эксплуатация несчастных счастливыми».

Ребенок, предназначенный служить игрушкой для взрослых, — такое явление не раз имело место в истории. (Оно имеет место и в наши дни.) В простодушно-жестокие эпохи оно вызывало к жизни особый промысел. Одной из таких эпох был семнадцатый век, называемый «великим».

Это был век чисто византийских нравов; простодушие сочеталось в нем с развращенностью, а жестокость с чувствительностью — любопытная разновидность цивилизации! Он напоминает жеманничающего тигра. Это век мадам де Севинье, мило щебечущей о костре и колесовании. В этот век эксплуатация детей была явлением обычным: историки, льстившие семнадцатому столетию, скрыли эту язву, но им не удалось скрыть попытку Венсена де Поля залечить ее.

Чтобы сделать из человека хорошую игрушку, надо приняться за дело заблаговременно. Превратить ребенка в карлика можно, только пока он еще мал. Дети служили забавой. Но нормальный ребенок не очень забавен. Горбун куда потешнее.

Отсюда возникает настоящее искусство. Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в харю. Останавливали рост. Перекраивали ребенка наново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам. Это была целая наука. Представьте себе ортопедию наизнанку. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где Бог достиг

совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. И в глазах знатоков именно этот набросок и был совершенством. Такие же опыты искажения естественного облика производились и над животными: изобрели, например, пегих лошадей. У Тюренна был пегий конь. А разве в наши дни не красят собак в голубой и зеленый цвета? Природа — это канва. Человек искони стремился прибавить к творению божьему кое-что от себя. Он переделывает его иногда к лучшему, иногда к худшему. Придворный шут был не чем иным, как попыткой вернуть человека к состоянию обезьяны. Прогресс вспять. Изумительный образец движения назад. Одновременно бывали попытки превратить обезьяну в человека. Герцогиня Барбара Кливленд, графиня Саутгемптон, держала у себя в качестве пажа обезьяну сапажу. У Франсуазы Сеттон, баронессы Дадлей, жены мэра, занимавшего восьмое место на баронской скамье, чай подавал одетый в золотую парчу павиан, которого леди Дадлей называла «мой негр». Екатерина Сидлей, графиня Дорчестер, отправлялась на заседание парламента в карете с гербом, на запятках которой торчали, задрав морды кверху, три павиана в парадных ливреях. Одна из герцогинь Мединасели, при утреннем

туалете которой довелось присутствовать кардиналу Полу, заставляла орангутанга надевать ей чулки. Обезьян возвышали до положения человека, зато людей низводили до положения скотов и зверей. Это своеобразное смешение человека с животным, столь приятное для знати, ярко проявлялось в традиционной паре: карлик и собака; карлик был неразлучен с огромной собакой. Собака была неизменным спутником карлика. Они ходили как бы на одной сворке. Это сочетание противоположностей запечатлено во множестве памятников домашнего быта, в частности на портрете Джеффри Гудсона, карлика Генриеты Французской, дочери Генриха IV, жены Карла I.

Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершалось уродованием. Некоторым операторам того времени превосходно удавалось вытравить с человеческого лица образ божий. Доктор Конкест, член Аменстритской коллегии, инспектировавший торговлю химическими товарами в Лондоне, написал на латинском языке книгу, посвященную этой хирургии наизнанку, изложив ее основные приемы. Если верить Юстусу Каррик-Фергюсу, основоположником этой хирургии является некий монах по имени Авен-Мор, что

по-ирландски значит «Большая река».

Карлик немецкого властительного князя — уродец Перкео (кукла, изображающая его, — настоящее страшилище — выскакивает из потайного ящика в одном из гейдельбергских погребков) — был замечательным образчиком этого искусства, чрезвычайно разностороннего в своем применении.

Оно создавало уродов, для которых закон существования был чудовищно прост: им разрешалось страдать и вменялось в обязанность служить предметом развлечения.

Фабрикация уродов производилась в большом масштабе и охватывала многие разновидности.

Уроды нужны были султану; уроды нужны были папе. Первому — чтобы охранять его жен; второму — чтобы возносить молитвы. Это был особый вид калек, неспособных к воспроизведению рода. Эти человекоподобные существа служили и сладострастию и религии. Гарем и Сикстинская капелла были потребителями одной и той же разновидности уродов: первый — свирепых, вторая — пленительных.

В те времена умели делать многое, чего не умеют делать теперь; люди обладали талантами, которых у нас уже нет, — недаром же благомыс-

лящие умы кричат об упадке. Мы уже не умеем перекраивать живое человеческое тело: это объясняется тем, что искусство пытки нами почти утрачено. Раньше существовали виртуозы этого дела, теперь их уже нет. Искусство пытки упростили до такой степени, что вскоре оно, быть может, совсем исчезнет. Отрезая живым людям руки и ноги, вспарывая им животы, вырывая внутренности, проникали в живой организм человека — и это приводило к открытиям. От подобных успехов, которыми хирургия обязана была палачу, нам теперь приходится отказаться.

Операции эти не ограничивались в те давние времена изготовлением диковинных уродов для народных зрелищ, шутов, увеличивающих собою штат королевских придворных, и кастратов — для султанов и пап. Они были чрезвычайно разнообразны. Одним из высших достижений этого искусства было изготовление «петуха» для английского короля.

В Англии существовал обычай, согласно которому в королевском дворце держали человека, певшего по ночам петухом. Этот полуночник, не смыкавший глаз в то время, как все спали, бродил по дворцу и каждый час издавал петушиный крик, повторяя его столько раз, сколько требова-

лось, чтобы заменить собою колокол. Человека, предназначенного для роли петуха, подвергали в детстве операции гортани, описанной в числе других доктором Конкестом. С тех пор как в царствование Карла II герцогиню Портсмутскую чуть не стошнило при виде слюнотечения, бывшего неизбежным результатом такой операции, к этому делу приставили человека с неизуродованным горлом, но самую должность упразднить не решились, дабы не ослабить блеска короны. Обычно на столь почетную должность назначали отставного офицера. При Иакове II ее занимал Вильям. Самсон Кок[156], получавший за свое пение девять фунтов два шиллинга шесть пенсов в год.

В Петербурге, менее ста лет тому назад, — об этом упоминает в своих мемуарах Екатерина II, — в тех случаях, когда царь или царица бывали недовольны каким-нибудь вельможей, последний должен был в наказание садиться на корточки в парадном вестибюле дворца и просиживать в этой позе иногда по нескольку дней, то мяукая, как кошка, то кудахтая, как наседка, и подбирая на полу брошенный ему корм.

Эти обычаи отошли в прошлое. Однако не на-

---

[156] Сноски: 156
Coq — петух (*фр.*).

столько, как это принято думать. И в наши дни придворные квохчут в угоду властелину, лишь немного изменив интонацию. Любой из них подбирает свой корм если не из грязи, то с полу.

К счастью, королям не свойственно ошибаться. Благодаря этому противоречия, в которые они впадают, никого не смущают. Всегда одобряя их действия, можно быть уверенным в своей правоте, а такая уверенность приятна. Людовик XIV не пожелал бы видеть в Версале ни офицера, поющего петухом, ни вельможу, изображающего индюка. То, что в Англии и в России поднимало престиж королевской и императорской власти, показалось бы Людовику Великому несовместимым с короной Людовика Святого. Всем известно, как он быт недоволен, когда Генриета, герцогиня Орлеанская, забылась до того, что увидала во сне курицу, — поступок, в самом деле весьма непристойный для особы, приближенной ко двору. Тот, кто принадлежит к королевскому двору, не должен интересоваться двором птичьим. Боссюэ, как известно, разделял возмущение Людовика XIV.

Торговля детьми в семнадцатом столетии, как уже было упомянуто, дополнялась особым промыслом. Этой торговлей и этим промыслом занимались компрачикосы. Они покупали детей,

слегка обрабатывали это сырье, а затем перепродавали его.

Продавцы бывали всякого рода, начиная с бедняка-отца, освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада. Торговля людьми считалась самым обычным делом. Еще и в наши дни право на нее отстаивали с оружием в руках. Достаточно только вспомнить, что меньше столетия назад курфюрст Гессенский продавал своих подданных английскому королю, которому нужны были люди, чтобы посылать их в Америку на убой. К курфюрсту Гессенскому шли как к мяснику. Он торговал пушечным мясом. В лавке этого государя подданные висели, как туши на крюках. Покупайте — продается!

В Англии во времена Джеффриса, после трагической авантюры герцога Монмута, было обезглавлено и четвертовано немало вельмож и дворян: жены и дочери их, оставшиеся вдовами и сиротами, были подарены Иаковом II его супруге — королеве. Королева продала этих леди Вильяму Пенну. Возможно, что король получил комиссионное вознаграждение и известный процент со сделки! Но удивительно не то, что

Иаков II продал этих женщин, а то, что Вильям Пенн их купил. Впрочем, эта покупка, находит себе если не оправдание, то объяснение в том, что, будучи поставлен перед необходимостью заселить целую пустыню, Пенн нуждался в женщинах. Женщины были как бы частью живого инвентаря.

Эти леди оказались недурным источником дохода для ее королевского величества. Молодые были проданы по дорогой цене. Не без смущения думаешь о том, что старых герцогинь Пенн, по всей вероятности, приобрел за бесценок.

Компрачикосы назывались также «чейлас» — индусское слово, означающее «охотники за детьми».

Долгое время компрачикосы находились почти на легальном положении. Иногда темные стороны самого общественного строя благоприятствуют развитию преступных промыслов; в подобных случаях они особенно живучи. В наши дни в Испании такое сообщество, возглавлявшееся бандитом Рамоном Селлем, просуществовало с 1834 по 1866 год; в течение тридцати лет оно держало в страхе три провинции: Валенсию, Аликанте и Мурсию.

Во времена Стюартов к компрачикосам при

дворе относились довольно снисходительно. При случае правительство прибегало к их услугам. Для Иакова II они были почти instrumentum regni[157].

Это были времена, когда пресекали существование целых родов, проявивших непокорность или являвшихся почему-либо помехой, когда одним ударом уничтожали целые семьи, когда насильственно устраняли наследников. Иногда обманным образом лишали законных прав одну ветвь в пользу другой. Компрачикосы обладали умением видоизменять наружность человека, и это делало их полезными целям политики. Изменить наружность человека лучше, чем убить его. Существовала, правда, железная маска, но это было слишком грубое средство. Нельзя ведь наводнить Европу железными масками, между тем как уроды-фигляры могут появляться на улицах, не возбуждая ни в ком подозрения; кроме того, железную маску можно сорвать, чего с живой маской сделать нельзя. Сделать навсегда маской собственное лицо человека — что может быть остроумнее этого? Компрачикосы подвергали обработке детей так, как китайцы обрабатывают

[157] Сноски: 157
Орудие власти (*лат.*).

дерево. У них, как мы уже говорили, были свои секретные способы. У них были свои особые приемы. Это искусство исчезло бесследно. Из рук компрачикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех; оно заставляло призадуматься. Компрачикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спинной хребет нетронутым, но перекраивали лицо. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка.

У тех, кого предназначали для роли фигляра, весьма искусно выворачивали суставы; казалось, у этих существ нет костей. Из них делали гимнастов.

Компрачикосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем — что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни — он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов

железом. На время операции компрачикосы усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего волшебным средством, устраняющим всякую боль. Этот порошок издавна был известен в Китае; им пользуются также и в наши дни. Китай задолго до нас знал книгопечатание, артиллерию, воздухоплавание, хлороформ. Но в то время как в Европе открытие сразу оживает, развивается и творит настоящие чудеса, в Китае оно остается в зачаточном состоянии и сохраняется в мертвом виде. Китай — это банка с заспиртованным в ней зародышем.

Раз мы уже заговорили о Китае, остановимся еще на одной подробности. В Китае с незапамятных времен существовало искусство, которое следовало бы назвать отливкой живого человека. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу более или менее причудливой формы, но без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. Днем вазу держали в вертикальном положении, а ночью клали на бок, чтобы ребенок мог спать. Дитя росло, таким образом, только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда. Это выращивание в бутылке

длилось несколько лет. По истечении известного времени жертва оказывалась изуродованной непоправимо. Убедившись, что эксперимент удался и урод вполне готов, вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму.

Это очень удобно: можно заказать себе карлика какой угодно формы.

Иаков II относился к компрачикосам терпимо. У него были на то уважительные причины: он сам не раз пользовался их услугами. Не всегда пренебрегают тем, что презирают. Этот низкий промысел, бывший весьма на руку тому высокому промыслу, который именуется политикой, обрекался на жалкое существование, но не преследовался. Никакого надзора за ним не было, однако из виду его не упускали. Он мог пригодиться. Закон закрывал один глаз, король открывал другой.

Иногда король доходил до того, что сознавался в соучастии. Таково бесстыдство монархической власти! Иногда жертву клеймили королевскими лилиями; с нее снимали печать, наложенную Богом, и заменяли клеймом короля. В семье Иакова Эстли, родовитого дворянина и баронета, владельца замка Мелтон и констебля графства

Норфолк, был такой проданный ребенок, на лбу которого правительственный чиновник выжег каленым железом королевскую лилию. В некоторых случаях, когда по каким-либо причинам хотели удостоверить, что изменение в судьбе ребенка произошло не без участия короля, прибегали именно к этому средству. Англия всегда оказывала нам честь, пользуясь для своих собственных надобностей цветком лилии.

Компрачикосы в некоторых отношениях напоминали «душителей» индусской секты — конечно, принимая во внимание разницу между людьми, промышлявшими преступным ремеслом, и фанатиками-изуверами; они дробились на шайки и занимались, между прочим, скоморошеством, но делали это для отвода глаз. Это облегчало им свободный переход с места на место. Они кочевали, появлялись то здесь, то там, но, отличаясь строгими правилами и религиозностью, были неспособны на воровство и ничем не походили на другие бродячие шайки. Народ долгое время неосновательно смешивал их с «испанскими и китайскими маврами». «Испанскими маврами» назывались фальшивомонетчики, а «китайскими» — мошенники. Совсем иное дело компрачикосы. Это были честные люди.

Можно быть о них какого угодно мнения, но они порой бывали честны до щепетильности. Они стучались в дверь, входили, покупали ребенка, платили деньги и уносили его с собой. Сделка совершалась так, что покупателей ни в чем нельзя было упрекнуть.

Среди компрачикосов были люди различных национальностей. Это название объединяло англичан, французов, кастильцев, немцев, итальянцев. Такое тесное содружество обычно возникает в результате общности образа мыслей, общности суеверий, занятия одним и тем же ремеслом. В этом братстве бандитов левантинцы представляли Восток, а уроженцы западного побережья Европы — Запад. Баски свободно объяснялись с ирландцами: баск и ирландец понимают друг друга, ибо оба говорят на древнем пуническом наречии; кроме того, здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией и католической Испанией. Эти дружеские отношения завершились даже повешением в Лондоне гаэльского лорда Брани, который был почти королем Ирландии, что послужило поводом к созданию Литримского графства.

Компрачикосы были скорее сообществом, чем племенем, но скорее сбродом, чем сообществом.

Это была голь, собравшаяся со всего света и превратившая преступление в ремесло. Это было лоскутное племя, скроенное из пестрых отрепьев. Каждый новый человек был здесь как бы еще одним лоскутом, пришитым к нищенским лохмотьям.

Бродяжничество было законом существования компрачикосов, — они появлялись, потом опять исчезали. Тот, кого едва терпят, не может надолго осесть на одном месте. Даже в тех королевствах, где их промысел имел спрос при дворе и служил при случае подспорьем королевской власти, с ними порой обходились весьма сурово. Короли прибегали к их мастерству, а затем ссылали этих мастеров на каторгу. Такая непоследовательность объясняется непостоянством королевских прихотей. Таково уж свойство «высочайшей воли».

Кочевой промысел — что катящийся камень: он не обрастает мохом. Компрачикосы были бедны. Они могли бы сказать о себе то же, что сказала однажды изможденная, оборванная колдунья, увидев зажженный для нее костер: «Игра не стоит свеч». Очень возможно и даже вполне вероятно, что их главари, оставшиеся неизвестными и производившие торговлю детьми в крупных раз-

мерах, были богаты. Теперь, по прошествии двух столетий, трудно выяснить это обстоятельство.

Мы уже говорили, что компрачикосы были своего рода сообществом. У них были свои законы, своя присяга, свои обычаи. У них была, можно сказать, своя каббалистика. Если кому-нибудь в наши дни захотелось бы основательно познакомиться с компрачикосами, ему следовало бы съездить в Бискайю или в Галисию. Среди них было много басков, и поэтому там, в горах, и теперь еще сохранились легенды о них. Еще в наше время о компрачикосах вспоминают в Оярсуне, в Урбистондо, в Лесо, в Астигаре. «Aguardate, nino, que voy allamar al comprachicos!»[158] — пугают в тех местах матери своих детей.

Компрачикосы, подобно цыганам, устраивали сходбища; время от времени их вожаки собирались, чтобы посовещаться. В семнадцатом столетии у них было четыре главных пункта для таких встреч. Один — в Испании, в ущелье Панкорбо; второй — в Германии, на лесной прогалине, носившей название «Злая женщина», близ Дикирха, где находятся два загадочных барельефа, изображающих женщину с головой

---

[158] Сноски: 158
Берегись, детка, не то я позову компрачикосов (*исп.*).

и мужчину без головы; третий — во Франции, на холме, где высилось колоссальное изваяние Палицы Обещания, в старинном священном лесу Борво-Томона, близ Бурбон-ле-Бена; четвертый — в Англии, за оградой сада, принадлежавшего Вильяму Челонеру, джисброускому эсквайру, в Кливленде, в графстве Йорк, между четырехугольной башней и стеной со стрельчатыми воротами.

Английские законы, направленные против бродяг, всегда отличались крайней суровостью. Казалось, в своем средневековом законодательстве Англия руководилась принципом: Homo errans fera errante pejor[159]. Один из специальных статутов характеризует человека, не имеющего постоянного местожительства, как существо более опасное, чем аспид, дракон, рысь и василиск» (atrocior aspide, dracone, lynce et basilico). Цыгане, от которых Англия хотела избавиться, долгое время причиняли ей столько же хлопот, сколько волки, которых ей удалось совсем истребить.

В этом отношении англичанин отличается от ирландца, который молится святым о здравии волка и величает его своим «крестным».

---

[159] Сноски: 159
Бродячий человек страшнее бродячего зверя (*лат.*).

Однако английское законодательство, смотревшее, как мы только что видели, сквозь пальцы на прирученного волка, ставшего чем-то вроде собаки, относилось так же терпимо к бродягам, кормящимся каким-нибудь ремеслом. Никто не преследовал ни скомороха, ни странствующего цирюльника, ни лекаря, ни разносчика, ни скитающегося алхимика, если только у них было какое-либо ремесло, доставлявшее им средства к жизни. Но и с этой оговоркой и за этими исключениями вольный человек, каким являлся каждый бродяга, уже внушал опасение закону. Всякий праздношатающийся представлял собою угрозу общественному спокойствию. Характерное для нашего времени бесцельное шатание по белу свету было тогда явлением неизвестным: знали только существовавшее испокон веков бродяжничество. Достаточно было только иметь тот особый вид, который принято называть «подозрительным», — хотя никто не может объяснить, что значит это слово, — чтобы общество схватило такого человека за шиворот: «Где ты проживаешь? Чем занимаешься?» И если он не мог ответить на эти вопросы, его ожидало суровое наказание. Железо и огонь были средствами воздействия, предусмотренными уголовным кодексом. Закон

боролся с бродяжничеством прижиганиями.

Отсюда, как прямое следствие, вытекал неписаный «закон о подозрительных лицах», применявшийся на всей английской территории к бродягам (которые, надо сознаться, легко становились преступниками) и, в частности, к цыганам, изгнание которых неосновательно сравнивали с изгнанием евреев и мавров из Испании и протестантов из Франции. Что же касается нас, мы не смешиваем облавы с гонением.

Компрачикосы, повторяем, не имели ничего общего с цыганами. Цыгане составляли определенную народность; компрачикосы же были смесью всех наций, как мы уже говорили, отбросами их, отвратительной лоханью с помоями. Компрачикосы, в противоположность цыганам, не имели собственного наречия; их жаргон был смесью самых разнообразных наречий; они изъяснялись на каком-то тарабарском языке, заимствовавшем свои слова из всех языков. Они в конце концов сделались, подобно цыганам, племенем, кочующим среди других племен; но их связывало воедино сообщество, а не общность происхождения. Во все исторические эпохи в необъятном океане человечества можно наблюдать такие отдельные потоки вредоносных

людей, распространяющие вокруг себя отраву. Цыгане составляли племя, компрачикосы же были своего рода масонским обществом; но это масонское общество не преследовало высоких целей, а занималось отвратительным промыслом. Наконец, было между ними различие и в религии. Цыгане были язычниками, компрачикосы — христианами, и даже хорошими христианами, как подобает братству, хотя и состоявшему из представителей всех народностей, но возникшему в благочестивой Испании.

Они были больше чем христианами — они были католиками, и даже больше чем католиками — они были рьяными почитателями папы. Притом они столь ревностно охраняли чистоту своей веры, что отказались соединиться с венгерскими кочевниками из Пештского комитата, во главе которых стоял некий старец, имевший вместо жезла посох с серебряным набалдашником, украшенным двуглавым австрийским орлом. Правда, эти венгры были схизматиками и даже праздновали 27 августа успение — омерзительная ересь!

В Англии при Стюартах компрачикосы, по указанным нами причинам, пользовались некоторым покровительством властей. Иаков II, пламенный ревнитель веры, преследовавший

евреев и травивший цыган, по отношению к компрачикосам был добрым государем. Мы уже знаем почему: компрачикосы были покупателями человеческого товара, которым торговал король. Они весьма искусно устраивали внезапные исчезновения. Такие исчезновения иной раз требовались «для блага государства». Стоявший кому-нибудь поперек дороги малолетний наследник, попав к ним в руки и будучи подвергнут ими определенной операции, становился неузнаваемым. Это облегчало конфискацию имущества, это упрощало передачу родовых поместий фаворитам. Кроме того, компрачикосы были крайне сдержанны и молчаливы: обязавшись хранить безмолвие, они твердо блюли данное слово, что совершенно необходимо в государственных делах. Почти не было примера, чтобы они выдали королевскую тайну. Правда, это соответствовало их же собственным интересам: если бы король потерял к ним доверие, им грозила бы немалая опасность. Итак, с политической точки зрения они были подспорьем власти. Сверх того, эти мастера на все руки поставляли певчих святейшему отцу. Благодаря им можно было исполнять

«Miserere»[160] Аллегри. Особенно чтили они деву Марию. Все это нравилось папистам Стюартам. Иаков II не мог неприязненно относиться к людям, благочестие которых простиралось до того, что они фабриковали кастратов для церковных капелл. В 1688 году в Англии произошла смена династии. Стюарта вытеснил принц Оранский. Место Иакова II занял Вильгельм III.

Иаков II скончался в изгнании, и на его могиле совершилось чудо: его останки исцелили от фистулы епископа Отенского — достойное воздаяние за христианские добродетели низложенного монарха.

Вильгельм Оранский, не разделявший образа мыслей Иакова II и придерживавшийся в своей деятельности других принципов, сурово отнесся к компрачикосам. Он положил немало труда, чтобы уничтожить этот тлетворный сброд.

Статут, изданный в самом начале царствования Вильгельма III и Марии, обрушился со всей силой на сообщества компрачикосов. Это было для них жестоким ударом, от которого они уже никогда не смогли оправиться. В силу этого статута члены шайки, изобличенные в преступных действиях,

---

[160] Сноски: 160
«Помилуй» — молитва (*лат.*).

подлежали клеймению: каленым железом у них выжигалась на плече буква «R», что значит rogue, то есть мошенник, на левой руке — буква «T», означающая thief, то есть вор, и на правой руке — буква «M», означающая manslay, то есть убийца. Главари, «предположительно богатые люди, хотя с виду и нищие», подвергались collistrigium, то есть стоянию у позорного столба (pilori), и на лбу у них выжигали букву «P»; их имущество подлежало конфискации, а деревья в их угодьях вырубались, и пни выкорчевывались. Виновные в недоносительстве на компрачикосов карались как их сообщники конфискацией имущества и пожизненным заключением в тюрьме. Что же касается женщин, входивших в состав шаек, то они подлежали наказанию, носившему название cucking-stool, — это была своего рода западня, а самый термин образовался из соединения французского слова coquine («непотребная женщина») и немецкого слова stuhl («стул»). Английские законы отличаются необыкновенной долговечностью: в английском уголовном кодексе это наказание сохранилось еще до сих пор для «сварливых женщин». Cucking-stool подвешивают над рекой или прудом, сажают в него женщину и погружают в воду. Эта операция повторяется три-

жды, «чтобы охладить злобу провинившейся», как поясняет комментатор Чемберлен.

Часть первая
Ночь не так черна, как человек
1. Южная оконечность Портленда

В продолжение всего декабря 1689 года и января 1690 года на европейском материке непрерывно дул упорный северный ветер, в особенности неистовствуя в Англии. Это он вызвал те страшные по своим последствиям холода, которые сделали эту зиму «памятной для бедных», как об этом записано на полях старинной Библии в пресвитерианской лондонской часовне Non Jurors[161]. Благодаря исключительной прочности старинного королевского пергамента, употреблявшегося для официальных актов, длинные списки бедняков, найденных мертвыми от голода и холода, можно еще и теперь без труда разобрать во многих местных реестрах, особенно в приходских записях Клинк-Либерти-Корта в городке Саутворке, Пай-Паудер-Корта (что означает «Двор запыленных ног») и Уайт-Чепел-Корта в деревне

[161] Сноски: 161
Не приемлющих присяги (*англ.*).

Стэпней, где церковным ктитором был местный бальи. Темза стала, что случается реже одного раза в столетие, так как морские приливы препятствуют образованию на ней льда. По замерзшей реке ездили на повозках; на Темзе открылась ярмарка с палатками, с боями медведей и быков; тут же, на льду, зажарили целого быка. Такой толщины лед держался два месяца. Тяжелый 1690 год превзошел холодами даже знаменитые зимы начала семнадцатого века, тщательно изученные доктором Гедеоном Делоном, которого как аптекаря короля Иакова I город Лондон почтил постановкой памятника — бюста на цоколе.

Однажды вечером, к концу одного из самых морозных январских дней 1690 года, в одной из многочисленных негостеприимных бухточек Портлендского залива происходило нечто необычайное. Всполошившиеся чайки и морские гуси с криком кружились у входа в бухточку, не отваживаясь вернуться в нее.

В этой маленькой бухте, самой опасной из всех бухт залива, когда дуют некоторые ветры, а следовательно, самой пустынной и наиболее удобной для судов, укрывающихся от нежелательных взоров, почти вплотную к берегу — место было глубокое — стояло небольшое суденышко, при-

чалившее к выступу скалы. Мы делаем ошибку, говоря: «ночь опускается на землю»; следовало бы говорить: «ночь поднимается от земли», ибо темнота надвигается на небо снизу. Внизу, у подножия скалы, уже наступила ночь; вверху был еще день. Если бы кто-нибудь подошел поближе к стоявшему на причале суденышку, он узнал бы в нем бискайскую урку.

Солнце, скрывавшееся весь день в тумане, только что село. В сердце уже начинало проникать то мрачное беспокойство, которое можно было бы назвать тоской по исчезнувшему светилу.

Ветер с моря улегся, и в бухте было тихо.

Это было счастливым исключением, в особенности зимой. Доступ в большинство портлендских бухт прегражден мелями. В бурную погоду волнение в них очень сильно, и нужны немалая ловкость и опыт, чтобы благополучно довести судно до берега. Эти крошечные гавани хороши только с виду, на самом же деле они сплошь и рядом оказывают дурную услугу. Войти в них опасно, выйти — страшно. Однако в этот вечер, вопреки обыкновению, бухта не таила в себе никакой угрозы.

Бискайская урка — старинное судно, вышедшее ныне из употребления. Этот тип судна, в свое вре-

мя принесший известную пользу военному флоту, отличался крепким корпусом и по размерам соответствовал барке, а по прочности — кораблю. Урки входили в состав Армады; военные урки, правда, имели большое водоизмещение; так, «Большой грифон», капитанское судно, которым командовал Лопе де Медина, было вместимостью в шестьсот пятьдесят тонн и имело на борту сорок пушек; торговая же и контрабандистская урки были значительно меньших размеров. Моряки ценили и уважали это утлое суденышко. Тросы такелажа на нем были из пеньковых стренд, некоторые из них — со вплетенной внутрь железной проволокой, что свидетельствовало, быть может, о намерении, хотя научно и не совсем обоснованном, обеспечить правильное действие компаса при магнитных бурях; оснастка урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиней, из кабрий испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинным: это имело то преимущество, что увеличивалась сила рычага, но и ту дурную сторону, что уменьшался угол поворота; два шкива в двух шкивгатах на конце румпеля исправляли этот недостаток и до известной степени уменьшали потерю силы. Компас помещался в

нактоузе правильной четырехугольной формы и сохранял устойчивое равновесие благодаря двум медным ободкам, вставленным один в другой и утвержденным горизонтально на маленьких стержнях, как в лампах Кардана. Конструкция урки свидетельствовала о том, что строитель ее обладал известными знаниями и смекалкой; но это были знания невежды и смекалка дикаря. Урка была так же примитивна по своему устройству, как прама и пирога; она обладала устойчивостью, первой и быстроходностью второй и, подобно всем судам, созданным инстинктом пирата и рыбака, отличалась высокими мореходными качествами. Такое судно было одинаково пригодно для плавания в закрытых и открытых морях; его чрезвычайно своеобразная парусная оснастка, включавшая в себя и стакселя, позволяла ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собою бассейны, как, например, Пасахес, и полным ходом в открытом море; на нем можно было совершать путешествия и по озеру и вокруг света, — оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что трясогузка среди пернатых — меньше всех и смелей всех;

усевшись на камыш, трясогузка только чуть-чуть сгибает его, а вспорхнув — может перелететь через океан.

Бискайские урки, даже самые бедные, были позолочены и раскрашены. Такая татуировка совсем в духе басков, этого очаровательного, но несколько дикого народа. Чудесные краски Пиренейских гор, покрытых белым снегом и зелеными пастбищами, пробуждают в их обитателях неодолимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны в своей нищете: над входом в их хижины намалеваны гербы; у них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев; их телеги, за две мили дающие знать о себе скрипом колес, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. Над дверью башмачника — барельеф, высеченный из камня: изображение св. Крепина и башмак. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого непосредственного веселья баски величавы. Они, подобно грекам, — дети солнца. В то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы, жители Гали-

сии и Бискайи наряжаются в красивые рубашки из выбеленного на росе холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на порогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие личики. Жизнерадостная и гордая ясность духа находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, в ремеслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора, эта исполинская растрескавшаяся лачуга, в Бискайе насквозь пронизана светом: солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый Хаискивель — сплошная идиллия. Бискайя — краса Пиренеев, как Савойя — краса Альп. В опасных бухтах, близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуэнтарабии, в бурную погоду, под небом, затянутым тучами, среди всплесков пены, перехлестывающей через скалы, среди яростных волн и воя ветра, среди ужаса и грохота можно увидеть лодочниц-перевозчиц в венках из роз. Кто хоть раз видел страну басков, тот захочет увидеть ее вновь. Благословенный край! Две жатвы в год, веселые, шумные деревни, горделивая бедность; по воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты; любовь, опрятные светлые хижины да аисты на колокольнях.

Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале.

Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенной клювом к океану, а затылком к Уэймету; перешеек кажется горлом.

В наши дни Портленд, в ущерб своей первобытной прелести, стал промышленным центром. В середине восемнадцатого века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского мергеля вырабатывают так называемый романский цемент — весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. Двести лет назад скалистые берега залива подмывало только море, теперь же их разрушает рука каменолома; волна отхватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски; пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека. Этот труд совершенно уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале бискайская урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайера, и даже дальше Уэкхема, между Черч-Хопом и Саутвелем.

Бухта, сжатая со всех сторон отвесными берегами, Превосходящими своей высотой ее ширину,

с каждой минутой все больше погружалась в темноту; мутный туман, обычно подымающийся к ночи, все сгущался; становилось темно, как в глубоком колодце; узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне почти ночного сумрака, оживленного мерным плеском прибоя. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом их тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая с борта на низкий и плоский выступ утеса — единственное место, куда можно было поставить ногу; по этому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.

Благодаря скале, возвышавшейся в северной части бухты; и игравшей роль заслона, здесь было теплее, чем в открытом море; тем не менее люди дрожали. Они торопились.

В сумерках очертания предметов кажутся как бы изваянными резцом. Можно было ясно различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствовавшие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии the ragged, то есть оборванцами.

На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросающая через спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями спускаются до полу, сама того не подозревая, воспроизводит извивы горных троп. К площадке, с которой была переброшена доска на судно, вела зигзагами такая тропинка, скорее пригодная для коз, чем для человека. Дороги в скалах своею, крутизной способны испугать пешехода; с них легче скатиться, чем сойти; это не спуски, а обрывы. Тропинка, о которой идет речь, по всей вероятности была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине, но шла так отвесно, что на нее страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползет змеей к вершине утеса, а оттуда, через обвалы и через, расщелину в скале, выбирается на выше расположенное плато. Должно быть, по этой тропе спустились и люди, которых урка ожидала в бухте.

Кроме людей, торопливо готовящихся к отплытию, несомненно под влиянием страха и тревоги, в бухте никого не было; вокруг царили тишина и спокойствие. Не слышно было ни шума шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда, у входа в Рингстедскую бухту, можно

было с трудом, разглядеть флотилию судов для ловли акул, сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда загнало сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в Портлендской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, угрожавшей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразно белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего, по древнему обычаю норвежских флотилий, впереди остальных судов; виден был весь его такелаж, а на носу ясно можно было различить снаряды для ловли акул: всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты на seymnus glacialis, squalus acanthias и на squalus spinax niger[162], а также неводы для ловли крупного селаха. За исключением этих судов, теснившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни живой души. Ни жилого строения, ни корабля. Побережье в ту пору было еще необитаемо, а рейд в это время года обычно пустовал.

Однако, что бы ни сулила им погода, люди,

---

[162] Сноски: 162
Латинские названия разных видов акул.

собиравшиеся отчалить на бискайской урке, судя по всему, и не думали откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу и с озабоченным и растерянным видом быстро сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было и рассмотреть, стары они или молоды. Вечерние сумерки затушевывали и заволакивали их фигуры. Тень маской ложилась на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь, в том числе, вероятно, одна или две женщины, но они почти не отличались от мужчин: жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду. Отрепья не имеют пола.

Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку.

Это был ребенок.

2. Брошенный

Присмотревшись поближе, можно было заметить следующее.

Все эти люди были в длинных плащах с капюшонами, рваных, в заплатах, но очень широких, закрывавших их в случае необходимости до са-

мых глаз, одинаково защищавших и от непогоды, и от любопытных взоров. Плащи эти ничуть не стесняли их быстрых движений. У большинства из них вокруг головы был повязан платок — испанский головной убор, из которого потом образовалась чалма. В Англии этот убор не был редкостью. В ту пору Юг был на Севере в моде. Быть может, это происходило оттого, что Север побеждал Юг; восторжествовав над ним, он приносил ему дань восхищения. После разгрома Армады кастильское наречие стало считаться изысканнейшим языком при дворе Елизаветы. Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать, хотя бы отчасти, нравы тех, для кого он стал законодателем, сделалось обычаем, победителя-варвара по отношению к побежденному народу более высокой культуры; монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникали в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию.

Один из группы, готовившейся к отплытию, имел вид главаря. Он был обут в альпаргатьи; его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блестка-

ми, отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде сомбреро, была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки; это указывало, что владелец ее — человек ученый.

Куртка взрослого человека может служить для ребенка плащом; по этой причине ребенок был закутан поверх отрепьев в матросскую парусиновую куртку, доходившую ему до колен. Судя по росту, это был мальчик лет десяти — одиннадцати. Он был бос.

Экипаж урки состоял из владельца судна и двух матросов.

Урка, по всей вероятности, пришла из Испании и возвращалась туда же. Совершая рейсы между двумя берегами, она, несомненно, выполняла какое-то тайное дело.

Люди, собиравшиеся отплыть на ней, переговаривались между собой шепотом.

Изъяснялись они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порою — валлийское, порою — баскское. Это был язык простонародья, если не воровской жаргон.

Казалось, они принадлежали к разным нациям, но были членами одной шайки.

Экипаж судна, по всей видимости, состоял из их сообщников; и он принимал живое участие в приготовлениях к отплытию.

Этот разношерстный сброд можно было принять и за тесную приятельскую компанию и за шайку соумышленников.

Будь немного посветлее, можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях четки и ладанки, наполовину скрытые лохмотьями. На одной из этих фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали величиною зерен четкам дервиша; в них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в Ланимтефри, называемом также Ланандифри.

Если бы не было так темно, можно было бы также увидеть на носу урки позолоченную статую Богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская мадонна, нечто вроде панагии древних кантабров. Под этой фигурой, заменявшей обычное скульптурное украшение на носу корабля, висел фонарь, в эту минуту не зажженный: предосторожность, свидетельствовавшая о том, что эти люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь, вероятно, имел двойное назначение: когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением Богоматери и в то же

время освещал море, — он одновременно был судовым фонарем и церковным светильником.

Длинный, изогнутый и острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. В самом верху водореза, у ног Богородицы, прислонившись к форштевню, стоял коленопреклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Ангел был позолочен, так же как и Богоматерь.

В водорезе были проделаны отверстия и просветы, через которые проходила ударявшая волна; это было еще одним поводом украсить его позолотой и арабесками.

Под изображением Богородицы прописными золотыми буквами было выведено название судна: «Матутина», но его в эту минуту нельзя было прочесть из-за темноты.

У подножия утеса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собою эти люди; по доске, служившей сходней, они быстро переправляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонок соленой трески, ящик с сухим бульоном, три бочки — одна с пресной водой, другая с солодом и третья со смолой, четыре или пять больших бутылей эля, старый, затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки, баулы, тюк

пакли для факелов и световых сигналов — таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы, и это указывало на то, что они вели кочевой образ жизни. Бродяги вынуждены иметь кое-какой скарб; они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но не могут сделать этого, чтобы не остаться без средств к пропитанию. Каков бы ни был их кочевой промысел, им необходимо всюду таскать с собой орудия своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не однажды служившими им помехой.

Им, вероятно, нелегко было спустить ночью свой скарб к подножию скалы. Однако они спустили его, что доказывало решение немедленно покинуть эти края.

Они не теряли времени: шло беспрерывное движение с судна на берег и с берега на судно; все принимали участие в погрузке; один тащил мешок, другой ящик. Женщины — если они здесь были (об этом можно было только догадываться) — работали как и все остальные. Ребенка обременяли непосильной ношей.

Сомнительно, чтобы у ребенка были среди этих людей отец и мать. Никто к нему не обращался. Его заставляли работать — и только. Он производил впечатление не ребенка в своей семье, а раба

среди чуждого ему племени. Он помогал всем, но никто с ним не заговаривал.

Впрочем, он тоже торопился и, подобно всей темной шайке, к которой он принадлежал, казалось, был поглощен одною только мыслью — поскорее уехать. Отдавал ли ребенок себе отчет в происходившем? Вероятно, нет. Он торопился бессознательно, видя, как торопятся другие.

Урка была палубным судном. Всю кладь быстро уложили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был уже поднят на палубу, оставалось только погрузить людей. Двое из них, чем-то напоминавшие женщин, уже были на борту; шестеро же, в том числе и ребенок, находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию; владелец урки взялся за руль, один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат — признак спешки: когда есть время, канат отвязывают. «Andamos»[163], — вполголоса произнес один из шести, одетый в лохмотья с блестками и казавшийся главарем. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы взбежать первым. Но не успел он поставить на

[163] Сноски: 163
Идемте (*исп.*).

нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду; за ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий, четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим, пятый — это был главарь — одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду; взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега — и ребенок остался на суше.

3. Один

Ребенок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул. Никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было неожиданностью для него, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание. Ни единого вопля не вырвалось у ребенка вслед этим людям, ни одного слова не сказали эти люди ему на прощанье. Обе стороны молча мирились с тем, что расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Это напоминало расставание теней на берегу подземной реки Стикса. Ребенок, словно пригвожденный к скале, которую уже начал омывать прилив, смотрел на удалявшееся судно. Можно было подумать, что он понимает.

Что именно? Что понимал он? Непостижимое.

Мгновение спустя урка достигла пролива, служившего выходом из бухты, и вошла в него. На светлом фоне неба над раздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, еще виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем, точно врезавшись в них, совершенно пропала из виду. Все было кончено. Урка вышла в море.

Ребенок следил за ее исчезновением.

Он был удивлен, он что-то обдумывал.

К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединялось какое-то мрачное сознание действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает каким-то опытом. Быть может, в нем уже пробуждался судья? Иногда, под влиянием слишком ранних испытаний, в тайниках детской души возникает нечто вроде весов, грозных весов, на которых эта беспомощная детская душа взвешивает деяния Бога.

Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял совершившееся. Ни малейшей жалобы. Безупречный не упрекает.

Неожиданное изгнание, которому его под-

вергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутренне он словно окаменел. Но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавшей положить конец его существованию на самой заре его жизни. Он мужественно вынес этот удар.

Всякому, кто увидел бы его изумление, в котором не было ничего общего с отчаянием, стало бы ясно, что среди этих бросивших его людей никто не любил его и никто не был им любим.

Погруженный в раздумье, он забыл про стужу. Вдруг волной ему залило ноги: нарастал прилив; холодное дыхание коснулось его волос; поднимался северный ветер. Он вздрогнул. Дрожь охватила его с ног до головы — он очнулся.

Он посмотрел вокруг.

Он был один.

До этого дня для него во всем мире не существовало других людей, кроме тех, которые в эту минуту находились на урке. Эти люди только что скрылись.

Добавим, что, как это ни странно, единственные люди, которых он знал, были ему неизвестны.

Он не мог бы сказать, кто они такие.

Его детство протекло среди них, но он не сознавал себя принадлежащим к их среде. Он жил бок

о бок с ними, только и всего.

Теперь они покинули его.

У него не было ни денег, ни обуви, лохмотья едва прикрывали его тело, в кармане не было ни куска хлеба.

Стояла зима. Был вечер. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было пройти несколько лье.

Ребенок не знал, где он.

Он ничего не знал, кроме того, что люди, пришедшие с ним на берег моря, уехали без него.

Он почувствовал себя выброшенным из жизни.

Он почувствовал, что теряет мужество.

Ему было десять лет.

Ребенок был в пустыне, между бездной, откуда поднималась ночь, и бездной, откуда доносился рокот волн.

Он поднял худые ручонки, потянулся и зевнул.

Затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и с проворством белки или, быть может, клоуна повернулся спиной к бухте и смело стал карабкаться вверх по скале. Он стал взбираться по тропинке, потом сошел с нее, но снова на нее вернулся, полный решимости. Он

торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определенное намерение. Между тем он сам не знал, куда идет.

Он спешил без цели; это было какое-то бегство от судьбы.

Человеку свойственно подниматься, животному — карабкаться; он и поднимался и карабкался. Портлендские скалы своими отвесными склонами обращены к югу, и на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил и этот снег в ледяную пыль, идти было очень скользко. Но ребенок продолжал идти. Надетая на нем куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движения. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утеса и падал. Иногда он несколько мгновений висел над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он ступил на жилу крапчатого мрамора, который внезапно осыпался под ним, увлекая его за собой. Такие обвалы довольно опасны. Несколько секунд ребенок скользил вниз, как черепица по крыше; он скатился до самого края пропасти и спасся только тем, что во-время ухватился за кустик сухой травы. Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бро-

сили его; он собрался с силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребенку еще не раз пришлось преодолевать такие препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной. Отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того как он поднимался, утес, казалось, вырастал. Продолжая карабкаться, ребенок вглядывался в черный карниз, точно преграда стоявший между ним и небом. Наконец он достиг вершины.

Он прыгнул на площадку. Можно было бы сказать: он ступил на землю, ибо он выбрался из бездны.

Едва он очутился наверху, как его охватила дрожь. Точно острое жало ночи, почувствовал он на своем лице ледяное дыхание зимы. Дул резкий северо-западный ветер. Ребенок плотнее запахнул на груди парусиновую матросскую куртку.

Это была хорошая, плотная одежда. Моряки называют ее «непромокайкой», потому что такая куртка не боится дождей.

Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился; он твердо стал босыми ногами на мерзлую почву и оглянулся вокруг.

Позади него — море, впереди — земля, над го-

ловою — небо.

Но небо было беззвездно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод.

С вершины утеса он увидел перед собою землю и стал всматриваться в даль. Перед ним расстилалось бескрайное, плоское и обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги. Ничего. Не было даже хижины пастуха. В нескольких местах кружились беловатые спирали снежной пыли, вихрем уносившейся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом. Огромная голая равнина исчезала в белесой мгле. Глубокое безмолвие. Все вокруг казалось беспредельным и молчало, как могила.

Ребенок обернулся к морю.

Море, как и земля, было сплошь белое: земля — от снега, море — от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем отсветы, порожденные этой двойной белизной. Иногда световые эффекты ночного пейзажа отличаются замечательной определенностью: море казалось стальным, утесы — изваянными из черного дерева.

С высоты, где находился ребенок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружия

утесов, имел почти тот же вид, что и на географической карте; было нечто фантастическое в этой ночной картине; это напоминало серп луны, кажущийся иногда темнее, чем, охватываемый им округлый клочок неба. На всем берегу, от одного мыса до другого, не было ни одного огонька, указывающего на близость горящего очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма и на земле и на небе; ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Кое-где широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходившая на всех парусах урка.

Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледно-свинцовой поверхности.

Вдали, в зловещем полумраке беспредельности, волновалось водное пространство.

«Матутина» быстро убегала. Она уменьшалась с каждой минутой. Нет ничего быстрее исчезновения судна в морской дали. Вскоре на носу урки зажегся фонарь; вероятно, сгущавшаяся вокруг нее темнота побудила кормчего осветить волны. Эта блестящая точка, мерцание которой заметно было издалека, сообщала что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже

на блуждающее по морю привидение в саване, со звездою в руке.

В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребенок не отдавал себе в этом отчета, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Это была минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии станут сейчас живыми существами и на наших глазах произойдет таинственное превращение ветра в ураган. Море разольется в океан, слепые силы природы преобразятся в волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделенным душою. Кажется, что все это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душою Вселенной.

Еще минута — и все будет объято хаосом. Ветер, разгоняя туман и нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы, действующими лицами которой являются морские волны, и зима и которая называется снежной бурей.

4. Вопросы

Что же это была за шайка, которая, бросив ребенка, спасалась бегством?

Быть может, то были компрачикосы?

Выше мы обстоятельно изложили, какие меры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрачикосами, компрапекеньосами и чейласами.

Некоторые законодательные акты вызывают настоящую панику. Закон, направленный против компрачикосов, обратил в повальное бегство не только их самих, но и всякого рода бродяг. Они наперебой спешили скрыться и покинуть берега Англии. Большинство компрачикосов вернулись в Испанию. Среди них, как мы уже упоминали, было много басков.

Закон, взявший на себя защиту детей, имел на первых порах довольно странные последствия: сразу же возросло число брошенных детей.

Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найденышей, то есть подкинутых детей. Дело объяснялось крайне просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребенок, навлекала на себя подозрений; уже самый факт наличия ребенка в ее среде становился уликой против нее. «Это, по всей вероятности, компрачикосы» — такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу, прево, констеблю.

Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться и просить подаяния, дрожали от страха, что их могут принять за компрачикосов, хотя они не имели с ними ничего общего; но бедняк никогда не огражден от возможных ошибок правосудия. Кроме того, бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Компрачикосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но нищета и сопряженные с нею бедствия создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребенок, находящийся при них, — их родное дитя. Откуда у вас этот ребенок? Как доказать, что он — твой? Иметь при себе ребенка становилось опасно; от него старались отделаться. Бежать без него было много легче. Взвесив все, отец и мать оставляли ребенка в лесу или на берегу моря, а то и просто бросали его в колодец.

В водоемах находили утопленных детей.

Прибавим, что компрачикосов, по примеру Англии, стали преследовать по всей Европе. Первый толчок к гонению на них был дан. Во всяком деле главное — почин. Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрачикосами, и испанские альгвазилы выслеживали их с не

меньшим рвением, чем английские констебли. Всего двадцать три года назад можно было прочитать на камне у ворот Отеро неудобопереводимую надпись — закон в выборе выражений не стесняется, — из которой явствовало, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Вот эта надпись на несколько варварском кастильском наречии: «Aqui quedan las orejas de los comprachicos, y las bolsas de los robaniños, mientras que se van ellos al trabajo de mar».

Мы видим, что отрезание ушей и прочее отнюдь не избавляло от ссылки на галеры. Такие меры вызвали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испуге и добирались до места, дрожа от страха. На всем побережье Европы прибывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала везти с собой ребенка, потому что высадиться с ним был делом опасным.

Гораздо легче было сбыть ребенка с рук.

Кем же был покинут ребенок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда?

Судя по всему, компрачикосами.

5. Дерево, изобретенное людьми

Было, вероятно, около семи часов вечера. Ветер убывал — признак того, что он скоро должен был снова усилиться. Ребенок находился на краю плоскогорья южной оконечности Портленда.

Портленд — полуостров. Но ребенок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слова «Портленд». Он знал только одно: что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым; у ребенка не было этого представления. Они привели его сюда и бросили здесь. «Они» и «здесь» — в этих двух загадочных словах заключалась вся его судьба: «они» — это был весь человеческий род, «здесь» — вся Вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой иной точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги, — такой каменистой и такой холодной земли. Что ожидало этого ребенка в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто.

Он шел навстречу этому Ничто.

Вокруг него простирались безлюдные места. Вокруг него простиралась пустыня.

Он пересек по диагонали первую площадку, за-

тем вторую, третью… В конце каждой площадки ребенок наталкивался на обрыв; спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые равнины оконечности Портленда похожи на огромные плиты, наполовину налегающие одна на другую, подобно ступеням лестницы; южным краем каждая площадка плоскогорья как бы уходила под верхнюю равнину, возвышаясь северным краем над нижней. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось все темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и ребенок теперь мог видеть только в нескольких шагах от себя.

Вдруг он остановился, на минуту прислушался, еле заметно с удовлетворением, кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовывавшейся справа, в том конце равнины, который примыкал к скале. На этой возвышенности виднелись смутные очертания чего-то, казавшегося в тумане деревом. Оттуда и слышал он только что шум, не похожий ни на шум ветра, ни на шум моря. Это не был также и крик животного. Ребенок решил, что там кто-то есть.

Сделав несколько шагов, он очутился у подножия холма.

Там действительно кто-то был.

То, что издали смутно виднелось на вершине холма, теперь вырисовывалось вполне отчетливо.

Это было нечто, похожее на огромную руку, торчавшую прямо из земли. Кисть руки была согнута в горизонтальном направлении, и вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцами приняла на фоне неба очертания угломера. От того места, где соединялись эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался какой-то черный бесформенный предмет. Веревка, раскачиваемая ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей.

Этот звук и слышал ребенок.

Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить по ее лязгу, — корабельной цепью из крупных стальных звеньев.

В силу таинственного закона слияния впечатлений, который во всей природе как бы наслаивает кажущееся на действительное, все здесь — место, время, туман, мрачное море, смутные

образы, возникавшие на самом краю горизонта, — сочеталось с этим силуэтом и сообщало ему чудовищные размеры.

Бесформенный предмет, висевший на цепи, имел сходство с футляром. Он был спеленут, как младенец, но длиною равнялся росту взрослого человека. В верхней части его виднелось что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишенные мяса кости.

Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха; в ней было нечто, внушавшее панический страх; ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его истинные размеры, сохраняя лишь его контуры; это был сгусток мрака, принявший какие-то очертания; тьма была кругом, тьма была внутри; она вобрала в себя нараставшую вокруг нее могильную жуть; сумерки, восходы луны, исчезновения созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, роза ветров — все в конце концов вошло в состав этого призрака; этот обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на морскую даль и на небо, и

мрак поглощал последние черты того, что было некогда человеком.

Это было нечто, ставшее ничем.

Превратиться в останки — для обозначения этого состояния в человеческом языке нет надлежащих слов. Не жить и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне и в то же время вне ее, умереть и не быть поглощенным смертью — во всем этом, несмотря на несомненную реальность, есть что-то неестественное и потому невыразимое. Это существо — можно ли было назвать его существом? — этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Останками чего? Прежде всего природы, а затем общества. Это было ничто и все.

Он находился здесь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение пустыни окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против мрака, который делал с ним все, что хотел. Он должен был терпеть все. И он терпел. Ураганы обрушивались на него. Мрачная задача, выполняемая ветрами!

Этот призрак был здесь добычей всех разрушительных сил. Его обрекали на чудовищную участь — разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он

подвергся уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем, пыли, осенью обрастал корою грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила — стыдливостью. Здесь не было стыдливости, не было покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории — вне могилы.

Этот труп был выпотрошен. В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортани не было голоса. Труп — это карман, который смерть выворачивает наизнанку и вытряхивает. Если у него когда-либо было свое «я», где оно было теперь? Быть может, еще здесь, — страшно подумать. Что-то, витающее вокруг чего-то, прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный?

На земле существуют явления, открывающие какой-то доступ к неведомому; мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет свое compelle intrare[164]. В иных местах и перед иными предметами мы

[164] Сноски: 164
Заставь войти (*лат.*).

невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещенную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышления вид этого мертвеца?

Огромная сила распада бесшумно подтачивала этот труп. В нем была кровь — ее выпили, на нем была кожа — ее изглодали, было мясо — его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Декабрь позаимствовал у него холод его тела, полночь — ужас, железо — ржавчину, чума — миазмы, цветок — запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу, дождю, росе, пресмыкающимся, птицам. Все темные руки ночи обшарили этого мертвеца.

Это был странный обитатель ночи. Он находился на холме посреди равнины, и в то же время его там не было. Он был доступен осязанию и вместе с тем не существовал. Он был тенью, дополнявшей ночную тьму. Когда угасал дневной свет, он зловеще сливался со всем окружающим в беспредельном безмолвии ночи. Одно его присутствие здесь усиливало мрачную ярость бури и спокойствие звезд. Все то невыразимое, что есть в пустыне, было, как в фокусе, сосредоточено в

нем. Жертва неведомого рока, он усугублял собою угрюмое молчание ночи. Его тайна смутно отражала в себе все, что есть загадочного в мире.

Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходящей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве утрачивало постепенно спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, — все это трагически сближало пейзаж с черной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призрака в поле зрения отягчает одиночество.

Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами, он был неумолим. Вечная дрожь делала его ужасным. Он казался — страшно вымолвить — средоточием окружавшего пространства и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой нами справедливости, которая выше нашего правосудия. В его пребывании вне могилы была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель. Для того чтобы мертвая материя вызывала в нас тревогу, она в свое время должна была быть одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небес-

ного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога. Над ним, принимая расплывчато-извилистые очертания туч и волн, реяли исполинские видения мрака.

За этим призраком стояла какая-то непроницаемая, роковая преграда. Этого мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем — ни деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия — небо, бездна, жизнь, могила, вечность, — в такие мгновения все ощущается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.

6. Битва смерти с ночью

Ребенок стоял перед темным силуэтом, безмолвно, удивленно, пристально глядя на него.

Для взрослого человека это была бы виселица, для ребенка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребенок видел призрак.

Он ничего не понимал.

Бездна таит в себе все разновидности приманок; одна из них находилась на вершине этого холма. Ребенок сделал шаг, другой. Он стал взби-

раться выше, испытывая желание спуститься, и приблизился, желая отступить назад.

Весь дрожа, он в то же время решительно подошел к самой виселице, чтобы получше рассмотреть призрак. Очутившись под виселицей, он поднял голову и стал внимательно разглядывать его.

Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребенок различал черты лица. Оно тоже было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две черных ямы на месте глаз. Тело было как бы запеленуто в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено. В другом видны были ребра. Одни части тела были еще трупом; другие уже стали скелетом. Лицо было цвета чернозема, ползавшие по нему слизняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись на две половины, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний

крик. На щеках можно было заметить несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась.

Его, по-видимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же как и выступавшие из прорех колено и ребра. Внизу из-под холста торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в траве, видны были два башмака, утратившие от снега и дождей всякую форму. Они свалились с ног мертвеца.

Босой ребенок смотрел на эти башмаки.

Ветер, становившийся все резче и резче, иногда внезапно спадал, как будто собирался с силами, чтобы разразиться бурей; на несколько минут он даже совсем стих. Труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок отвеса с гирькой на конце.

Как у всякого существа, только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей — мыслей еще неясных, детских, но уже стучащих в мозг, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца; но все, чем в эту минуту было полно его младенческое сознание, повергало его лишь в оцепенение. Как излишек масла гасит огонь,

так избыток ощущений гасит мысль. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов, ребенок только смотрел.

Обмазанное смолой лицо мертвеца казалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слезы. Однако смола значительно замедляла разложение трупа: разрушительная работа смерти была задержана, насколько это оказалось возможным. То, что ребенок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По-видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мертвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочная и стояла здесь уже давно.

В Англии с незапамятных времен существовал обычай смолить контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть; преступника, в назидание прочим, следует подвергать казни у всех на виду, и если его просмолить, он на долгие годы будет служить острасткой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять виселицы. Виселицы расставляли на берегу на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время

фонари. Повешенный заменял собою фонарь. Он по-своему светил своим сотоварищам-контрабандистам. Контрабандисты издали, еще находясь в море, замечали виселицы. Вот одна — первое предостережение, а там другая — второе предостережение. Это нисколько не мешало им заниматься контрабандой, но таков порядок. Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуврским замком можно было видеть трех повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолен. Аббат Койе, называющий Джона Пейнтера Жаном Живописцем, видел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожженных им складов, в время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел, — можно бы сказать, прожил, — почти четырнадцать лет. Еще в 1788 году он служил правосудию. Однако в 1790 году его пришлось заменить новым. Египтяне чтили мумии своих фараонов; оказывается, мумия про-

стого смертного также может быть полезной.

Ветер, с особенной силой разгулявшийся на холме, смел с него весь снег. Во многих местах виднелась трава, кое-где выглядывал чертополох. Холм был одет тем густым и низким приморским дерном, благодаря которому вершины скал кажутся покрытыми зеленым сукном. Только под виселицей, под самыми ногами казненного, росла высокая густая трава — явление неожиданное на этой бесплодной почве. Объяснялось это тем, что тела повешенных разлагались здесь на протяжении нескольких веков. Земля питается прахом человека.

Какие-то мрачные чары удерживали ребенка на холме. Он стоял на месте как вкопанный. Один только раз он наклонил голову: крапива больно обожгла ему ноги, и он принял это за укус животного. Затем он выпрямился и, закинув голову, снова стал смотреть прямо в лицо повешенному, который тоже смотрел на него. У мертвеца не было глаз, и потому казалось, что он смотрит особенно пристально. Это был взгляд рассеянный и вместе с тем невыразимо сосредоточенный; в нем были свет и мрак; он исходил из черепа, из оскала зубов, из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца — сплошной взор, и это

страшно. Зрачков нет, но мы чувствуем на себе их взгляд, жуткий взгляд привидения.

Постепенно ребенок сам становился страшен. Он больше не шевелился, как будто оцепенел. Он не замечал, что уже теряет сознание. Он коченел, замерзал. Зима безмолвно предавала его ночи; в зиме есть что-то вероломное. Дитя превратилось почти в изваяние. Каменный холод проникал в его кости; мрак, это пресмыкающееся, заползал в него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив; ребенком медленно овладевала неподвижность, напоминавшая неподвижность трупа. Он засыпал.

На руке сна есть перст смерти.

Ребенок чувствовал, как его хватает эта рука. Он был близок к тому, чтобы упасть под виселицей. Он уже не сознавал, стоит он на ногах или нет.

Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнило испытаний, возможность в каждое мгновение скатиться в бездну — таково человеческое существование.

Еще минута — и ребенок, и мертвец, жизнь, едва зародившаяся, и жизнь, уже угасшая, должны были слиться в общем уничтожении.

Казалось, призрак понял это и не хотел этого. Он вдруг зашевелился, словно предупреждая ребенка. Это был просто новый порыв ветра.

Трудно представить себе что-либо более ужасное, чем этот качающийся покойник.

Подвешенный на цепи труп, колеблемый невидимым дуновением ветра, принимал наклонное положение, поднимался влево, возвращался на прежнее место, поднимался вправо, падал и снова взлетал мерно и угрюмо, как язык колокола. Зловещее движение взад и вперед. Казалось, качается во тьме ночи маятник часов самой вечности.

Так продолжалось какое-то время. Увидев, что мертвец движется, ребенок очнулся от столбняка, почувствовал страх. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. Этот звук напоминал стрекотание кузнечика.

Приближение бури вызывает внезапный напор ветра. Ветер вдруг перешел в ураган. Труп задвигался еще порывистее. Это было уже не раскачивание, а резкая встряска. Скрип цепи сменился пронзительным лязгом.

Звук этот, по-видимому, был услышан. Если это был призыв, то ему повиновались. Издали, с

горизонта, донесся какой-то шум.

То был шум крыльев.

Слеталась стая воронов, как это часто бывает на кладбищах и пустырях, в особенности перед грозой.

Черные летящие точки пробились сквозь тучу, преодолели завесу тумана, приблизились, стали больше, сгрудились, сплотились и с неистовым криком бросились к холму. Это было подобно наступлению легиона. Крылатая нечисть ночи усеяла всю виселицу.

Ребенок в испуге отступил.

Стаи повинуются команде. Вороны кучками расселись на виселице. Ни один не спустился на мертвое тело. Они перекликались между собою. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев — это голоса жизни, карканье же — радостное приятие тления. В нем чудится звук потревоженного безмолвия гробницы. Карканье — голос ночной тьмы. Ребенок весь похолодел не столько от стужи, сколько от ужаса.

Вороны притихли. Но вот один из них прыгнул на скелет. Это было сигналом. За ним устремились все остальные — целая туча крыльев; еще мгновение — и повешенный исчез под кишащей грудой черных пятен, шевелившихся во мраке. В

эту минуту мертвец вдруг дернулся.

Сам ли он вздрогнул? Дунуло ли на него ветром? Но его с устрашающей силой подбросило на цепи. Налетевший ураган пришел ему на помощь. Призрак забился в судорогах. Бурный ветер, разгулявшись в высоте, завладел мертвым телом и принялся швырять его во все стороны. Мертвец стал ужасен. Он бесновался. Чудовищный картонный паяц, висевший не на тонкой веревочке, а на железной цепи! Какой-то злобный шутник дергал за ее конец и забавлялся пляской этой мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распасться на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул с себя этих омерзительных птиц. Но они снова вернулись. И начался бой.

Казалось, в мертвеце проснулись невероятные жизненные силы. Порывы ветра подбрасывали его кверху, словно собираясь умчать с собою, а он как будто отбивался что было мочи, стараясь вырваться; только железный ошейник удерживал его. Птицы повторяли все его движения, то отлетая, то снова набрасываясь, испуганные, остервенелые. С одной стороны — страшная попытка к бегству, с другой — погоня за прикованным на цепи. Мертвец, весь во власти

судорожных порывов ветра, подскакивал, вздрагивал, приходил в ярость, отступал, возвращался, взлетал и стремглав падал вниз, разгоняя черную стаю. Он был палицей, стая — пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев при виде этого множества клювов, участил свои бесцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к праще. Временами на него набрасывались все клювы и все крылья, затем все куда-то пропадало; орда рассыпалась, но через мгновение накидывалась еще яростней. Ужасная казнь, продолжавшаяся и за порогом жизни. На птиц, казалось, нашло исступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая. Удары когтей, удары клювов, карканье, раздирание в клочья того, что уже не было мясом, скрип виселицы, хруст костей, лязг железа, вой бури, смятение — возможна ли более мрачная картина схватки? Мертвец, борющийся с демонами. Битва призраков.

Временами, когда ветер усиливался, повешенный вдруг начинал вертеться, поворачиваясь лицом во все стороны, как будто хотел броситься на птиц и перегрызть им глотку своими оскаленными зубами. Ветер был за него, цепь — против

него, — словно темные божества вели бой вместе с ним. Ураган тоже принимал участие в сражении. Мертвец весь извивался, вороны спиралью кружились над ним. Это был живой смерч.

Снизу доносился глухой и мощный рокот моря.

Ребенок видел наяву этот страшный сон. Вдруг он вздрогнул от головы до пят, трепет пробежал по всему его телу; он заметался, задрожал, еле удержался на ногах и сжал лоб обеими руками, словно это была единственная точка опоры; ошеломленный, с развевающимися по ветру волосами, зажмурив глаза, сам похожий на призрак, он большими шагами спустился с холма и бросился бежать, оставив позади себя мучительные видения ночи.

7. Северная оконечность Портленда

Он бежал, задыхаясь, несся куда глаза глядят, мчался, не помня себя, по снегу, по равнине, в пространство. Бег согрел его. Это было ему необходимо. Если бы не быстрое движение и не испуг, он был бы уже мертв.

Когда у него захватило дыхание, он остановился; но оглянуться он не посмел. Ему мерещилось, что птицы гонятся за ним, что мертвец, сорвав-

шись с цепи, следует за ним по пятам, что даже виселица кинулась с холма вслед за покойником. Он боялся обернуться, чтобы не увидеть этого.

Немного передохнув, он снова пустился бежать.

Дети не умеют отдавать себе отчет в происходящем. Затуманенное страхом сознание ребенка воспринимало внешние впечатления без связи, без выводов. Он мчался, сам не зная куда и зачем. Охваченный щемящей тоской, он бежал с трудом, как бегут во сне. За три часа, проведенные им в одиночестве, его стремление идти куда-то вперед, не став определеннее, изменило, однако, свою первоначальную цель: тогда это были поиски, теперь это было бегство. Он уже не чувствовал ни голода, ни холода; он чувствовал только страх. Один инстинкт вытеснил другой. Все его помыслы свелись к одному — убежать. Убежать от чего? От всего. Жизнь мрачной стеной обступила его со всех сторон. Если бы он мог убежать от всего на свете, он так бы и сделал.

Но детям неведом тот способ взлома тюремной двери, который именуется самоубийством.

Он продолжал бежать.

Сколько времени он мчался так — неизвестно. Но наступает минута, когда и дыхания не хватает,

и страху приходит конец.

И вдруг, как бы внезапно охваченный приливом энергии и рассудительности, ребенок остановился; ему, видимо, стало стыдно за свое бегство; он выпрямился, топнул ногою, смело поднял голову и обернулся назад.

Ни холма, ни виселицы, ни воронья.

Туман опять окутал весь горизонт.

Ребенок снова пустился в путь.

Теперь он уже не бежал, он медленно шел. Сказать, что встреча с мертвецом сделала его взрослым, значило бы втиснуть в узкие рамки то сложное и неясное впечатление, которое она на него произвела. Виселица, смутно запечатлевшаяся в его еще зачаточном сознании, оставалась для него лишь видением. Но так как победа над страхом придает нам силы, в нем пробудилась отвага. Будь он в том возрасте, когда человек способен разобраться в себе, он нашел бы тысячу поводов к раздумью; но мышление детей лишено четкости, и ребенок в лучшем случае может ощутить лишь легкую горечь того, пока недоступного ему чувства, которое он, став взрослым, назовет негодованием.

Прибавим к этому, что ребенок одарен способностью быстро забывать свои ощущения. От

него ускользают отдаленные, беглые очертания сущности горестного явления. Самым своим возрастом, своей слабостью дитя защищено от слишком сложных душевных волнений. Оно воспринимает события, но почти ничего с ними не связывает. Взрослый доискивается связи между разрозненными явлениями, ребенок же легко удовлетворяется частичным их объяснением. Жизненный процесс как нечто целое возникает перед ним позднее, когда приходит опыт, на который уже можно опереться. Тогда сопоставляются отдельные группы фактов, просветленный и зрелый рассудок сравнивает их между собой, и воспоминания детского возраста проступают сквозь все пережитое, как палимпсест из-под новейшего письма; воспоминания оказываются точками опоры для логики, и то, что было в уме ребенка впечатлением, становится силлогизмом в сознании взрослого. Впрочем, опыт бывает различным и обращается на пользу или во вред в зависимости от натуры человека. Хорошая натура созревает, дурная — растлевается.

Ребенок пробежал с добрую четверть лье и еще столько же прошел шагом. Вдруг он почувствовал мучительный голод. Мысль о еде завладела всем его существом, сразу вытеснив из памяти

омерзительную картину, которую он видел на холме. В человеке, к счастью, есть животное: оно возвращает его к действительности.

Но что бы поесть? Где бы поесть? Как бы поесть? Мальчик невольно ощупал свои карманы, отлично зная, что они пусты.

Он ускорил шаги. Не зная сам, куда идет, он спешил добраться до какого-нибудь жилья.

Надежда на пристанище в известной мере является источником человеческой веры в провидение. Верить, что для нас всегда найдется кров, значит верить в Бога.

Однако на этой снежной равнине не было видно ничего, похожего на кровлю.

Ребенок шел и шел; перед ним по-прежнему простиралось голое плоскогорье; казалось, ему не будет конца.

На этой возвышенности никогда не было человеческого жилья. Только у подножия утеса, в расселинах скал, ютились в давние времена первобытные обитатели этой страны, у которых не было дерева для постройки хижины; оружием им служила праща, топливом — сухой коровий помет, божеством, которому они поклонялись, был идол Чейл, стоявший на лесной прогалине в Дорчестере, весь же их промысел сводился к лов-

ле серого коралла, который валлийцы называют plin, а греки — isidis plocamos.

Ребенок искал дорогу, как умел. Вся наша судьба — перепутье; выбрать надлежащее направление очень трудно, а этому маленькому существу уже на заре его жизни предстояло сделать выбор вслепую. Тем не менее он продолжал идти вперед. Но хотя мышцы ног у него были точно стальные, он начал уставать. На всем пространстве не было ни; одной тропы, а если они и были, их занесло снегом. Безотчетно он продолжал двигаться на восток. Он изранил ступни об острые камни. Если бы было светло, можно было бы увидеть на следах, оставляемых им на снегу, алые пятна крови.

Местность была ему совсем незнакома. Он пересекал Портлендскую возвышенность с юга на север, а шайка, с которой он сюда попал, вероятно, избегая нежелательных встреч, пересекла ее с запада на восток. По-видимому, она бежала в рыбацкой или контрабандистской лодке с какого-нибудь пункта на Эджискомбском побережье, из Сент-Катрин-Чипа или из Суонкри, направляясь в Портленд, где ее ожидала урка, и должна была высадиться в одной из бухт Уэстона, с тем чтобы пересесть на другое судно в одном из заливчиков Истона. Путь этот под прямым углом перекрещи-

вался с направлением, по которому шел теперь ребенок. Потому-то он и не узнавал местности.

На Портлендском плоскогорье сплошь и рядом попадаются высокие холмы, нависающие прямо над берегом и отвесно обрывающиеся к морю. Блуждая, ребенок взобрался на один из таких холмов, остановился и стал всматриваться в даль, надеясь, что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним, заслоняя горизонт, расстилалась синеватая туманная мгла. Он стал внимательно всматриваться в нее, и пристальный взгляд его постепенно начал улавливать в ней какие-то очертания. На востоке, на дне отдаленной лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было бы принять за движущийся в мутном сумраке ночи утес, стлались по земле и развевались в воздухе какие-то черные клочья. Синеватая мгла была туман, а черные клочья — дым. Где есть дым, там есть и люди. Ребенок направился в ту сторону.

На некотором расстоянии от себя он увидел спуск и внизу у спуска, среди неясных очертаний скал, окутанных туманом что-то вроде песчаной мели или косы, которая, вероятно, соединяла видневшиеся на горизонте равнины с только что пересеченным им плоскогорьем. Очевидно, надо

было идти в этом направлении.

Действительно, он достиг Портлендского перешейка, образованного дилювиальными наносами, который называется Чесс-Хилл.

Он стал спускаться по склону. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которую он карабкался, выбираясь из бухты. Правда, спускаться было легче. Всякий подъем вознаграждается спуском. Раньше он карабкался, теперь скатывался кубарем.

Он перепрыгивал с утеса на утес, рискуя вывихнуть себе ногу или свалиться в невидимую пропасть. Чтобы удержаться на льду при спуске со скалы, он хватался руками за тонкие, длинные ветки дикого терна или за усеянные шипами кусты утесника, и колючие иглы их вонзались ему в пальцы. Кое-где скат был не так крут, и тогда ребенок немного отдыхал, но рядом опять начинался обрыв, и снова приходилось рассчитывать каждый шаг. При спуске в пропасть надо быть ловким, иначе грозит смерть; каждое движение — решение задачи. Эту задачу ребенок разрешал с врожденным искусством, которому позавидовали бы обезьяны, и с таким умением, которому подивился бы акробат. Склон был крут

и длинен. Тем не менее ребенок уже находился почти внизу.

Мало-помалу приближалась минута, когда он вступит на перешеек, издали представший его взору.

Он то перескакивал, то переползал с утеса на утес и временами вдруг начинал прислушиваться, насторожившись, как чуткая лань. Он различал вдали, налево от себя, слабый протяжный гул, похожий на низкий звук рожка. Действительно, в вышине уже происходили сдвиги воздушных слоев — предвестники того страшного северного ветра, который каким-то трубным воем дает знать о своем прибытии с полюса. В то же время ребенок почувствовал у себя на лбу, на веках, на щеках нечто, напоминавшее прикосновение к лицу холодных ладоней. Это были крупные хлопья снега, сначала незаметно порхавшие в воздухе и вдруг закружившиеся вихрем. Они предвещали снежную бурю. Ребенок уже был с головы до ног покрыт снегом. Снежная буря, более часа свирепствовавшая на море, захватила теперь и берег. Она постепенно простирала свою власть и на горные равнины. Надвигаясь под косым углом с северо-запада, она готовилась разразиться над Портлендским

плоскогорьем.

Часть вторая
Урка в море
1. Законы, не зависящие от человеческой воли

Снежная буря на море — одно из наименее исследованных явлений. Она во всех отношениях должна быть признана самым темным метеорологическим феноменом. Это соединение тумана со штормом, которое и в наше время еще не вполне изучено, вызывает множество бедствий.

Причиною снежной бури считают ветер и волны. Но ведь в воздухе есть какая-то сила, отличная от ветра, а в воде — сила, отличная от волны. Сила эта, одна и та же и в воздухе и в воде, есть ток. Воздух и вода — две текучих массы, почти тождественные и проникающие одна в другую путем сгущения или разрежения; поэтому дышать — то же самое, что пить. Но только ток по-настоящему текуч. Ветер и волна — это толчки, ток же есть истечение. Ветер становится зримым благодаря облакам, волна — благодаря пене, ток же невидим. Тем не менее время от времени он дает знать

о себе: «я здесь». Это «я здесь» — удар грома.

Снежная буря представляется такой же загадкой, как и сухой туман. Если удастся когда-либо пролить свет на сущность явления, именуемого испанцами callina, а эфиопами quobar, то это, конечно, окажется возможным только при условии внимательного наблюдения над свойствами магнитных токов.

Без этого множество фактов останется для нас загадкой. Например, изменением скорости ветра, обычно пробегающего три фута, а в бурю — двести двадцать футов в секунду, объясняется изменение высоты волны, подымающейся с трех дюймов при тихой погоде до тридцати шести футов в шторм. Или, например, горизонтальное направление ветра даже при шторме объясняет, каким образом вал в тридцать футов высотою может простираться в длину на полторы тысячи футов. Но почему волны Тихого океана в четыре раза выше у берегов Америки, чем у берегов Азии, то есть выше на западе, чем на востоке? Почему в Атлантическом океане мы наблюдаем обратное явление? Почему уровень воды в океане выше всего на экваторе? Чем вызывается изменение высоты волн океана в различных широтах? Все эти явления объясняются только влиянием

магнитных токов в связи с вращением земли и притяжением небесных светил.

Не в этом ли таинственном сочетании различных сил следует искать причину внезапных перемен в направлении ветра, идущего, например, через запад от юго-востока к северо-востоку, затем внезапно поворачивающего обратно и возвращающегося назад тем же путем от северо-востока на юго-восток, — таким образом за тридцать шесть часов он описывает на огромном пространстве две дуги общей сложностью в пятьсот шестьдесят градусов, как это имело место перед снежной бурей 17 марта 1867 года.

В Австралии во время бури волны достигают восьмидесяти футов в высоту; это происходит от близости магнитного полюса. Штормы в этих широтах вызываются не столько перемещением воздушных слоев, сколько продолжительностью подводных электрических разрядов; в 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжение двух часов, с двенадцати до двух часов пополудни, — приступы своеобразной перемежающейся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил имеют своим последствием определенные явления; моряк, желающий избегнуть корабле-

крушения, должен непременно принимать их в расчет.

В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее еще руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой, точной как математика; когда начнут доискиваться, почему, например, в наших широтах теплые ветры дуют иногда с севера, а холодные — с юга; когда поймут, что понижение температуры воды прямо пропорционально глубине океана; когда для всех станет очевидным, что земной шар — огромный, поляризованный в бесконечном пространстве магнит с двумя осями — осью вращения и осью магнитной, пересекающимися в центре земли, и что магнитные полюсы вращаются вокруг полюсов географических; когда люди, рискующие своей жизнью, согласятся рисковать ею лишь во всеоружии научных знаний; когда неустойчивая стихия, с которой приходится иметь дело мореплавателям, будет достаточно изучена; когда капитан будет метеорологом, а лоцман — химиком, — только тогда явится возможность избегнуть многих катастроф. Море в такой же мере стихия магнитная, как и водная; целый океан неведомых сил зыблется в океане воды, иначе сказать — плывет

по течению. Видеть в море одну лишь массу воды — значит совсем не видеть моря; в море происходит непрерывное движение токов точно так же, как непрерывное чередование приливов и отливов; законы притяжения имеют для него, быть может, большее значение, чем ураганы; молекулярное сцепление, выражающееся, помимо ряда других явлений, капиллярным притяжением, неуловимое для невооруженного глаза, в океане приобретает грандиозные размеры, зависящие от его огромных пространств, и волны магнитные то усиливают движение воздушных и морских волн, то противодействуют им. Кто не знает законов электричества, тому неизвестны и тесно связанные с ними законы гидравлики. Правда, нет области знания более трудной и менее разработанной: наука эта имеет столь же близкое отношение к данным опыта, как астрономия — к астрологии. Однако без этой науки немыслимо кораблевождение.

А теперь перейдем к нашему повествованию.

Одно из самых страшных явлений на море — снежная буря. Она в значительной мере вызывается магнитными токами. Подобно северному сиянию, она есть порождение полюса; во мгле снежной бури и в блеске северного сияния —

все тот же полюс; и в снежных хлопьях, как и в голубоватых сполохах, очевидно присутствие магнитных токов.

Снежные бури — это нервные припадки и приступы горячки у моря. У моря тоже есть свои мигрени. Бури можно сравнить с болезнями. Одни из них смертельны, другие — нет; от одной болезни выздоравливают, от другой — умирают. Снежная буря считается смертельным бедствием. Один из лоцманов Магеллана, Харабиха, называл ее «тучей, вышедшей из левого бока дьявола» (una nube sali da del malo lado del diabolo).

Сюркуф говорил: «Такая буря точно холера».

В старину испанские мореплаватели называли бурю la nevada, когда падали снежные хлопья, и la helada, когда шел град. По их словам, вместе со снегом падали с неба и летучие мыши.

Снежные бури — явление обычное в полярном поясе. Однако они иногда доходят и до наших широт, вернее, обрушиваются на них — так велики причиняемые ими бедствия.

Как мы уже видели, «Матутина», покинув Портленд, с решимостью устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим благодаря надвигавшейся буре. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникшей перед ней

угрозе. Но, повторяем, она была достаточно предупреждена об этом.

2. Обрисовка первых силуэтов

Пока урка находилась еще в Портлендском заливе, море было довольно спокойно; волнения почти не чувствовалось. Океан, правда, потемнел, но на небе было еще светло. Ветер чуть надувал паруса. Урка старалась держаться возможно ближе к утесу, служившему для нее прекрасным заслоном.

Их было десять на бискайском суденышке: три человека экипажа и семь пассажиров, в том числе две женщины. В открытом море сумерки всегда светлее, чем на берегу; теперь можно было ясно различить всех, находившихся на борту судна. К тому же им не было уже надобности ни прятаться, ни стесняться; все держали себя непринужденно, говорили громко, не закрывали лиц; отплыв от берега, беглецы вздохнули свободно.

Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста: бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскийка, другая, с крупными

четками, — ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный обычно беднякам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядышком на сундуках у мачты. Они беседовали: ирландский и баскский языки, как мы уже говорили, родственны между собой. У баскийки волосы пахли луком и базиликом. Хозяин урки был баск из Гипускоа, один из матросов — тоже баск, уроженец северного склона Пиренеев, а другой — южного, то есть принадлежал к той же национальности, хотя первый был французом, а второй испанцем. Баски не признают официального подданства. «Mi madre se llama montana» («мою мать зовут гора»), — говаривал погонщик мулов Салареус. Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами, один был француз из Лангедока, другой — француз-провансалец, третий — генуэзец, четвертый, старик, носивший сомбреро без отверстия в полях для трубки, — по-видимому, немец; пятый, главарь, был баск из Бискароссы, житель каменистых пустошей. Это он в ту минуту, когда ребенок уже собирался подняться на урку, сбросил мостик в море. Этот крепко сложенный человек, отличавшийся порывистыми, быстрыми движениями и одетый, как уже было упомянуто, в лохмотья, расшитые галунами и блестками, не мог усидеть

на месте; он то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, как будто его тревожило и то, что он только что сделал, и то, что должно было сейчас произойти.

Главарь шайки, хозяин корабля и двое матросов, все четверо баски, говорили то на баскском языке, то по-испански, то по-французски: эти три языка одинаково распространены на обоих склонах Пиренеев. Впрочем, все, за исключением женщин, объяснялись немного на французском языке, который был основою жаргона их шайки. В ту эпоху французский язык начинал входить во всеобщее употребление, так как он представляет собою переходную ступень от северных языков, отличающихся обилием согласных, к южным языкам, изобилующим гласными. В Европе по-французски говорили торговцы и воры. Многие, верно, помнят, что лондонский вор Джибби понимал Картуша.

Урка, быстроходный парусник, неслась вперед; однако десять человек, да сверх того еще и багаж, были слишком тяжелым грузом для такого утлого суденышка.

Бегство шайки на «Матутине» отнюдь не свидетельствовало о том, что между экипажем судна и его пассажирами существовала постоянная

связь. Для такого предприятия было вполне достаточно, чтобы хозяин урки и главарь шайки были оба vascongado[165]. Помогать друг другу — священный долг каждого баска, не допускающий никаких исключений. Баск, как мы уже говорили, не признает себя ни испанцем, ни французом: он баск и потому везде, при любых обстоятельствах, обязан приходить на помощь своему соплеменнику. Таковы узы братства, связывающие всех жителей Пиренеев.

Все время, пока урка находилась в заливе, небо хотя и было пасмурно, однако не сулило ничего страшного, что могло бы встревожить беглецов. Они спасались от преследования, уходили от врага и были безудержно веселы. Один хохотал, другой распевал песни. Хохот был грубый, но непринужденный, пение — не пленявшее слуха, зато беззаботное.

Уроженец Лангедока орал: «Caougagno!» — «Кокань!», что на нарбоннском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюиссан, лепившейся по южному склону Клаппа, он не был настоящим матросом, не был мореходом, а был скорее

---

[165] Сноски: 165
Баск (*исп.*).

рыбаком, привыкшим разъезжать в своей душегубке по Бажскому озеру и вытаскивать полный рыбою невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тому племени, где носят красный вязаный колпак, крестясь, складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы, пьют вино из козьего меха, обгладывают окорок дочиста, становятся на колени, когда богохульствуют, и, обращаясь к своему покровителю с мольбой, грозят ему: «Великий святой, исполни мою просьбу, не то я запущу тебе камнем в голову» (ou té feg' un pic).

В случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса.

Провансалец в камбузе подкидывал куски торфа под чугунный котел и варил похлебку.

Эта похлебка напоминала собой «пучеро», но только говядину заменяла в ней рыба; провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие, нарезанные квадратиками, ломтики сала и стручки красного перца, что было уступкой со стороны любителя bouillabaisse[166] любителям

---

[166] Сноски: 166
Род рыбной солянки (*фр.*).

olla podrida[167]. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, всегда поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер.

Занимаясь стряпней, провансалец то и дело подносил ко рту горлышко фляги и; прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивняком: такие фляги носили на ремне у пояса, почему они назывались «поясными флягами». Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены почти всякого содержания: протоптанная тропинка, изгородь; меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади; время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно.

Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей,

[167] Сноски: 167

Горячий винегрет (*исп.*) — национальное испанское блюдо из мяса, овощей и пряностей.

владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в сомбреро.

Старика этого скорее всего можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, с которых уже стерлись все признаки какой-либо национальности; он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась тонзурой. Проходя мимо изваяния святой девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию, одеяние из коричневой дорчестерской саржи, потертое и рваное, распахиваясь, приоткрывало кафтан, плотно облегавший его и застегнутый, наподобие сутаны, до самого горла. Его руки, казалось, сами собой складывались на груди косым, крестом, по привычке богомолов. Цвет лица у него был мертвенно бледный: лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски. Это старческое лицо отражало странное душевное состояние — результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно и в сторону добра и в сторону зла; внимательный наблюдатель разгадал бы, что

это существо способно нравственно опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что этот человек изведал и предвкушение зла, заранее рассчитывая его последствия, и опустошенность, следующую за его совершением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать — ибо чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, — что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым. С первого же взгляда бросалась в глаза эта ученость, запечатленная во всех его движениях, даже в складках его плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречившую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, — лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью.

Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы были на висках совершенно белыми. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой; высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление, уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его зрачков можно было уловить отблеск души, отдающей себе отчет в окружающем ее мраке и знающей, что такое угрызения совести.

Время от времени главарь шайки, человек грубый и бойкий, быстро носившийся по палубе, подбегал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается о чем-то с ночью.

3. Встревоженные люди на тревожном море

Два человека на судне были озабочены: старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки; судохозяин был озабочен видом моря, старик — видом неба. Один не спускал

глаз с морских волн, другой сосредоточил все свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки, старику же внушало опасения то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч.

Был тот сумеречный час, когда еще светло, но кое-где в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды.

Горизонт выглядел необычно. Туман принимал самые разнообразные формы.

Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем.

Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил весь такелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнет мыс, он подверг осмотру швиц-сарвени, убедился, что переплетка нижних вантов находится в полной исправности и служит надежной опорой путенс-вантам марсов, — предосторожность моряка, собирающегося поставить на судне все паруса.

Урка — в этом заключался ее недостаток — сидела в воде носом на полвары глубже, чем кормой.

Судохозяин то и дело переходил от путевого компаса к главному, стараясь при помощи обоих

диоптров определить по неподвижным предметам на берегу скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала это оказался бейдевинд, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и вызывал отклонение на пять пунктов в сторону от намеченного курса. Он сам по возможности стоял все время у румпеля, по-видимому, не доверяя другим и считая только себя способным извлечь из управления рулем наибольшую скорость хода.

Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движется судно, то казалось, что урка идет под большим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейдевинд, но настоящее направление ветра можно определить, только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса.

Он управлял рулем осторожно и в то же время смело, брасопил реи, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал

за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шло судно; особенно же, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, он все время добивался того, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.

Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды, находящиеся в поясе Ориона; эти три звезды носят название Трех волхвов, и в старину испанские лоцманы говаривали: «Кто видит трех волхвов, тому недалеко и до спасителя».

Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика:

— Не видно ни Полярной звезды, ни Антареса, несмотря на его ярко-красный цвет. Не различить ни одной звезды.

Остальных беглецов это, казалось, не тревожило.

Однако, когда прошел первый порыв радости, вызванный бегством, все почувствовали на себе

ледяное дыхание ветра, напоминавшее им о том, что стоит январь и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно: она была слишком мала и к тому же вся загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки — экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе — лишение в сущности небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон.

Впрочем, в эту ночь, как мы только что сказали, небо было беззвездно.

Уроженец Лангедока и генуэзец в ожидании ужина улеглись, свернувшись клубком, рядом с женщинами у мачты, накрывшись брезентом, который им бросили матросы.

Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода.

Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую в Америке называют «восклицателем»; на этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин

обратился к нему:

— Etcheco jaüna!

Эти два баскских слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания.

При этом владелец урки пальцем, указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев:

— Горный земледелец, что это за человек?

— Человек.

— На каких языках он говорит?

— На всех.

— Что он знает?

— Все.

— Какую страну он считает своей родиной?

— Никакую.

— Кто его бог?

— Бог.

— Как зовешь ты его?

— Безумцем.

— Как, повтори, зовешь ты его?

— Мудрецом.

— Кто он в вашей шайке?

— То, что он есть.

— Главарь?

— Нет.

— Кто же он в таком случае?

— Душа.

Главарь шайки и судохозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли, а немного времени спустя «Матутина» вышла из залива.

Началась сильная качка.

Там, где море не было покрыто пеной, оно казалось клейкой массой; в вечернем сумраке волны, утратив четкость очертаний, походили на лужи желчи. В иных местах волны как будто ложились плашмя, и на них виднелись лучеобразные трещины, как на стекле, в которое бросили камнем. В самом центре этих расходившихся лучей, в кружащейся точке, мерцал фосфорический свет, похожий на тот кошачий блеск, которым горят глаза совы.

«Матутина» гордо и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембурской мелью. Чембурская мель, заграждающая выход из портлендского рейда, имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра. Песчаная круглая арена подводного цирка с симметрически расположенными ступенями, выбитыми круговоротом волн на поглощенной морем вершине высотою с Юнгфрау, Колизей

на дне океана, призрачным видением возникающий перед водолазом в прозрачной глубине морской пучины, — вот что представляет собою Чембурская мель. Чудовищная арена; там сражаются гидры, там бросаются в схватку левиафаны; там, если верить легенде, на дне гигантской воронки покоятся остовы кораблей, схваченных и потопленных исполинским пауком Кракеном, которого называют также «горой-рыбой». Такова страшная тайна моря.

Эта призрачная, неведомая человеку жизнь дает о себе знать на поверхности моря только легкой зыбью.

В девятнадцатом столетии Чембурская мель почти совсем исчезла. Недавно построенный волнорез силою прибоя опрокинул и разрушил это высокое подводное сооружение, подобно тому как плотина, воздвигнутая в 1760 году в Круазике, передвинула время прилива и отлива у берегов его на четверть часа. Между тем приливы и отливы вечны. Но вечность подчиняется человеку гораздо больше, чем полагают.

4. Появление тучи, не похожей на другие

Старик, которого главарь шайки назвал сперва безумцем, а затем мудрецом, больше не покидал носовой части судна. Как только миновали Чембурскую мель, его внимание разделилось между небом и океаном. Он то опускал глаза, то снова поднимал их; особенно пристально всматривался он в направлении северо-востока.

Судохозяин передал руль одному из матросов, перешагнул через люк канатного ящика, перешел шкафут и очутился на баке.

Приблизившись к старику, он остановился в нескольких шагах позади него и, прижав локти к бокам, расставив руки, склонил голову набок; выкатив глаза, приподняв брови, он улыбнулся одними уголками губ, и лицо его выразило любопытство, находившееся на грани между иронией и уважением.

Старик, потому ли, что он имел привычку беседовать иногда сам с собою, или потому, что чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие, вызывающее его на разговор, принялся разгла-

гольствовать, ни к кому не обращаясь и глядя на расстилавшийся перед ним водный простор:

— Меридиан, от которого исчисляется прямое восхождение, в нашем веке обозначен четырьмя звездами: Полярной, креслом Кассиопеи, головой Андромеды и звездой Альгениб, находящейся в созвездии Пегаса. Но ни одной из них не видать…

Слова эти, прозвучавшие еле слышно, были обронены как будто безотчетно, словно сознание этого человека не принимало никакого участия в их произнесении. Они слетали с его губ и пропадали в воздухе. Монолог — это дым духовного огня, горящего внутри нас.

Владелец урки перебил его:

— Сеньор…

Старик, быть может тугой на ухо, а может быть, глубоко погруженный в свои думы, не расслышал обращения и продолжал:

— Слишком мало звезд, и слишком много ветра. Ветер то и дело меняет направление и устремляется на берег. Он обрушивается на него отвесно. Это происходит оттого, что на суше теплее, чем на море. Воздух над сушею легче. Холодный и тяжелый морской ветер устремляется на землю и вытесняет теплый воздух. Потому-то на

большой высоте ветры дуют на землю со всех сторон. Следовало бы делать длинные галсы между параллелью теоретически исчисленной и параллелью предполагаемой. В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты предполагаемой не больше, чем на три минуты на каждые десять лье и на четыре минуты на каждые двадцать лье, можно не сомневаться в правильности курса.

Судохозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в какое-то одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя своей надменно-суровой позы, и пристально смотрел на море, как человек, хорошо изучивший и водную стихию и людей. Он вглядывался в волны, как будто собираясь принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную весть. В нем было нечто, напоминавшее и средневекового алхимика и авгура древнего Рима. У него был вид ученого, претендующего на знание последних тайн природы.

Он продолжал свой монолог, быть может в расчете на то, что кто-то его слушает.

— Можно было бы бороться, будь у нас вместо румпеля штурвал. При скорости в четыре лье

в час давление в тридцать фунтов на штурвал может дать триста тысяч фунтов полезного действия. И даже больше, ибо в некоторых случаях удается выгадать лишних два оборота.

Судохозяин вторично поклонился и произнес:

— Сеньор…

Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив своей позы.

— Называй меня доктором.

— Сеньор доктор, я владелец судна.

— Хорошо, — ответил «доктор».

Доктор — отныне и мы будем называть его так — по-видимому, согласился вступить в разговор.

— Хозяин, есть у тебя английский октант?

— Нет.

— Без английского октанта ты не в состоянии определять высоту ни впереди, ни позади судна.

— Баски, — возразил судовладелец, — умели определять высоту, когда никаких англичан еще на свете не было.

— Берегись приводиться к ветру.

— Я припускаюсь, когда это нужно.

— Ты измерил скорость хода корабля?

— Да.

— Когда?

— Только что.

— Чем?

— Лагом.

— А ты осмотрел деревянный сектор лага?

— Да.

— Песочные часы верно показывают свои тридцать секунд?

— Да.

— Ты уверен, что песок не расширил трением отверстия между двумя склянками?

— Да.

— Проверил ли ты песочные часы при помощи мушкетной пули, подвешенной…

— На ровной нитке из смоченной пеньки? Разумеется.

— Хорошо ли ты навощил нитку, чтобы она не растянулась?

— Да.

— А лаг ты проверил?

— Я проверил песочные часы посредством мушкетной пули и лаг посредством пушечного ядра.

— Каков диаметр твоего ядра?

— Один фут.

— Калибр вполне достаточный.

— Это старинное ядро с нашей старой военной урки «Касс де Паргран».

— Она входила в состав Армады?

— Да.

— На ней было шестьсот солдат, пятьдесят матросов и двадцать пять пушек?

— Про то знает море, поглотившее их.

— А как определил ты силу удара воды об ядро?

— При помощи немецкого безмена.

— Принял ли ты в расчет напор волны на канат, к которому привязано ядро?

— Да.

— Что же у тебя получилось в итоге?

— Сто семьдесят фунтов.

— Иными словами, урка делает четыре французских лье в час.

— Или три голландских лье.

— Но ведь это только превышение скорости хода над быстротою морского течения.

— Конечно.

— Куда ты направляешься?

— В знакомую мне бухту между Лойолой и Сан-Себастьяном.

— Выходи поскорее на параллель, на которой лежит эта бухта.

— Да, надо как можно меньше отклоняться в сторону.

— Остерегайся ветров и течений. Ветры усили-

вают течения.

— Предатели!

— Не надо ругательств! Море все слышит. Избегай бранных слов. Наблюдай — и только.

— Я наблюдал и наблюдаю. Ветер дует сейчас навстречу поднимающемуся приливу, но скоро, как только начнется отлив, он будет дуть в одном направлении с ним, и тогда мы полетим стрелой.

— Есть у тебя карта?

— Нет. Для этого моря у меня нет карты.

— Значит, ты идешь вслепую?

— Нет. У меня компас.

— Компас — один глаз, а карта — второй.

— И кривой видит.

— Каким образом ты измеряешь угол, образуемый курсом судна и килем?

— У меня есть компас, а остальное — дело догадки.

— Догадка хороша, но знание лучше.

— Христофор Колумб основывался на догадке.

— Когда во время бури стрелка компаса мечется как угорелая, никто уже не знает, за какой ветер следует ухватиться, и дело кончается тем, что теряешь всякое направление. Осел с дорожной картой стоит большего, чем прорицатель с его

оракулом.

— Но ветер пока еще не предвещает бури, и я не вижу повода к тревоге.

— Корабли — мухи в паутине моря.

— Сейчас ни волны, ни ветер не внушают никаких опасений.

— Черные точки, качающиеся на волне, — вот что такое люди в океане.

— Я не предвижу ничего дурного этой ночью.

— Берегись, может произойти такая кутерьма, что ты и не выпутаешься из нее.

— Пока все обстоит благополучно.

Взор доктора устремился на северо-восток.

Владелец урки продолжал:

— Только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Там я как у себя дома. Гасконский залив я знаю, как свой карман. Хотя эта лоханка довольно часто бурлит от ярости, но мне известны все ее глубокие и мелкие места, все особенности фарватера: близ Сан-Киприано — ил, близ Сисарки — раковины, у мыса Пеньяс — песок, у Буко-де-Мимисана — мелкие гальки; я знаю, какого цвета каждый камешек.

Он остановился: доктор не слушал его.

Доктор внимательно смотрел на северо-восток. Что-то необычайное появилось вдруг на его

бесстрастном лице. Оно выражало ту степень испуга, какую только способна выразить каменная маска. Из его уст вырвалось восклицание:

— В добрый час!

Его глаза, ставшие теперь совершенно круглыми, как у совы, расширились от ужаса при виде еле заметной точки на горизонте.

Он прибавил:

— Это справедливо. Что касается меня, я согласен.

Судовладелец смотрел на него.

Доктор, обращаясь не то к самому себе, не то к кому-то, притаившемуся в морской пучине, повторил:

— Я говорю: да.

Он умолк, шире раскрыл глаза, с удвоенным вниманием вглядываясь в то, что представилось его взору, и произнес:

— Оно надвигается издалека, но отлично знает, что делает.

Часть небосклона, противоположная закату, к которой неотрывно были прикованы и взор и мысль доктора, была освещена, как днем, отблеском заходившего солнца. Этот отрезок, резко очерченный окружавшими его клочьями сероватого тумана, был синего цвета, но скорее

свинцового, чем лазурного оттенка.

Доктор, всем корпусом повернувшись к морю и уже не глядя на судовладельца, указал пальцем на эту часть неба:

— Видишь, хозяин?

— Что?

— Вот это.

— Что именно?

— Вон там.

— Синеву? Вижу.

— Что это такое?

— Клочок неба.

— Это для тех, кто думает попасть на небо, — возразил доктор. — Для тех же, кто туда не попадет, это совсем иное.

Он подчеркнул свои загадочные слова странным взглядом, потонувшим в вечернем полумраке.

Наступило молчание.

Владелец урки, вспомнив двойственную характеристику, данную старику главарем шайки, мысленно задал себе вопрос: «Кто же этот человек? Безумец или мудрец?»

Костлявый палец доктора все еще был направлен на мутно-синий край горизонта.

— Синяя туча-хуже черной, — произнес док-

тор.

И прибавил:

— Это снеговая туча.

— La nube de la nieve, — проговорил хозяин, переведя эти слова на родной язык, для того чтобы лучше уяснить себе их смысл.

— Знаешь ты, что такое снеговая туча?

— Нет.

— Так скоро узнаешь.

Судовладелец впился взглядом в горизонт. Всматриваясь в тучу, он бормотал сквозь зубы:

— Месяц бурных ветров, месяц дождей, кашляющий январь да плачущий февраль — вот и вся наша астурийская зима. Дождь у нас теплый. Снег у нас выпадает только в горах. Зато там берегись лавины! Лавина ничего не разбирает: лавина — это зверь.

— А смерч — чудовище, — подхватил доктор.

И, помолчав немного, прибавил:

— Вот он надвигается.

Затем продолжал:

— Сразу начинает дуть несколько ветров: порывистый с запада и другой, очень медленный, с востока.

— Восточный — это лицемер, — заметил судовладелец.

Синяя туча все росла.

— Если снег, — продолжал доктор, — страшен, когда он скатывается с горы, сам посуди, каков он, когда обрушивается с полюса.

Глаза его стали совершенно стеклянными; казалось, туча, сгущавшаяся на горизонте, одновременно сгущалась и на его лице.

Он продолжал задумчиво:

— С каждой минутой близится ужасный час. Приподымается завеса над предначертаниями верховной воли.

Владелец урки опять задал себе вопрос: «Не сумасшедший ли это?»

— Хозяин, — снова заговорил доктор, не отрывая взгляда от тучи, — ты много плавал в Ла-Манше?

— Сегодня в первый раз, — ответил тот.

Доктор, поглощенный созерцанием синей тучи, переполненный чувством тревоги, не взволновался от этого ответа, — так губка, пропитавшаяся влагой, уже не способна вобрать в себя ни одной лишней капли. В ответ на слова судохозяина он только слегка пожал плечами:

— Как же так?

— Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии. Я делаю рейс от Фуэнтарабии до

Блек-Харбора или до острова Акиля; называют его «остров», а на деле он состоит из двух островов. Иногда я захожу в Брачипульт, на побережье Уэльса. Но я никогда не спускался до Силлийсиих островов и этого моря не знаю.

— Плохо дело. Горе тому, кто с трудом разбирает азбуку океана! Ла-Манш — книга, которую надо читать бегло, Ла-Манш — сфинкс. Дно у него коварное.

— Здесь глубина двадцать пять брассов.

— Надо держать курс на запад, где глубина достигает пятидесяти пяти брассов, и не плыть на восток, где она всего лишь двадцать брассов.

— Мы будем бросать лот.

— Помни, Ла-Манш — море особенное. Вода здесь поднимается до пятидесяти футов при высокой воде и до двадцати пяти при низкой. Здесь спад воды — еще не отлив, а отлив — это еще не спад воды… Ага! Ты, кажется, испугался.

— Сегодня ночью будем бросать лот.

— Чтобы бросить лот, нужно остановиться, а это тебе не удастся.

— Почему?

— Не позволит ветер.

— Попробуем.

— Шквал, как шпага, воткнутая в ребра, лишает

всякой свободы действий.

— Все равно будем бросать лот, сеньор доктор.

— Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру.

— Бог поможет.

— Будь осторожен в словах. Не произноси всуе грозного имени.

— А все-таки я буду бросать лот.

— Будь скромнее. Сейчас ветер надает тебе пощечин.

— Я хочу сказать, что постараюсь бросить лот.

— Волны не дадут свинцу опуститься на дно, и линь оборвется. Видно, что ты впервые в этих местах.

— Ну да, я уже говорил вам…

— В таком случае слушай, хозяин…

Это «слушай» было сказано таким повелительным тоном, что судовладелец покорно склонил голову.

— Я слушаю, сеньор доктор.

— Ссади галсы на бакборте и натяни шкоты на штирборте.

— Что вы хотите этим сказать?

— Сворачивай на запад.

— Карамба!

— Сворачивай на запад.

— Невозможно.

— Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Что касается меня, я готов покориться судьбе.

— Но, сеньор доктор, повернуть на запад…

— Да, хозяин.

— Значит идти против ветра.

— Да, хозяин.

— Будет дьявольская качка!

— Выбирай другие слова. Да, качка будет, хозяин.

— Судно встанет на дыбы.

— Да, хозяин.

— Может и мачта сломаться.

— Может.

— Вы хотите, чтобы я взял курс на запад?

— Да.

— Не могу.

— В таком случае справляйся с морем, как знаешь.

— Пусть только ветер переменится.

— Он не переменится всю ночь.

— Почему?

— Он дует на протяжении тысячи двухсот лье.

— Как же идти против такого ветра? Невозможно.

— Возьми курс на запад, говорю тебе.

— Попытаюсь. Но нас все равно отнесет в сторону.

— То-то и опасно.

— Ветер гонит нас на восток.

— Не правь на восток.

— Почему?

— Знаешь, хозяин, как зовут сегодня нашу смерть?

— Нет.

— Ее зовут востоком.

— Буду править на запад.

Доктор посмотрел на судовладельца таким взглядом, как будто хотел запечатлеть в его мозгу какую-то мысль. Он повернулся к нему и, медленно отчеканивая слог за слогом, произнес:

— Если сегодня ночью, когда мы будем в открытом море, до нас долетит звон колокола, судно погибло.

Владелец урки с ужасом уставился на него:

— Что вы хотите этим сказать?

Доктор ничего не ответил. Его взор, оживившийся на мгновение, снова погас. Он опять смотрел куда-то внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумленного судохозяина. Его внимание целиком было поглощено тем, что

происходило в нем самом. С его губ невольно сорвалась шепотом произнесенная фраза:

— Настало время омыться черным душам.

Судохозяин сделал выразительную гримасу, от которой его подбородок поднялся чуть не до самого носа.

— Он скорее сумасшедший, чем мудрец, — пробормотал он, отойдя в сторону.

Но все-таки повернул судно на запад.

А ветер крепчал, и волны вздымались все выше.

5. Хардкванон

Туман набухал, поднимался клубами на всем протяжении горизонта, словно какие-то незримые рты раздували мехи бури. Облака начинали принимать зловещие очертания.

Синяя туча заволокла большую часть небосвода. Она уже захватила и запад и восток. Она надвигалась против ветра. Такие противоречия свойственны природе ветров.

Море, за минуту перед тем вздымавшееся граненой, крупной чешуей, тетерь было словно покрыто кожей. Таков этот дракон. Это был уже не крокодил, а боа. Грязно-свинцового цвета

кожа казалась толстой и морщилась тяжелыми складками. На ней вздувались круглые пузыри, похожие на нарывы, и тотчас же лопались. Пена напоминала собой струпья проказы.

Как раз в это мгновение урка, которую брошенный ребенок разглядел на горизонте, зажгла фонарь.

Прошло четверть часа.

Судохозяин стал искать глазами доктора, но его уже не было на палубе.

Как только владелец урки отошел от него, доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Там он уселся на эзельгофте подле кухонной плиты, вынул из кармана чернильницу, обтянутую шагренью, и большой бумажник из кордовской кожи, достал из бумажника вчетверо сложенный кусок пожелтевшего, пятнистого, исписанного пергамента, развернул его, извлек из футляра перо, примостил бумажник на коленях, положил на него пергамент оборотной стороной вверх и при свете фонаря, выхватывавшего из мрака фигуру повара, принялся писать. Ему мешали удары волн о борт, он медленно выводил букву за буквой.

Занятый этим делом, доктор случайно кинул взгляд на флягу с водкой, к которой провансалец

прикладывался каждый раз, когда подбрасывал перцу в котел, как будто советовался с ней насчет приправы.

Доктор обратил внимание на флягу не потому, что это была бутыль с водкой, а потому, что заметил на ее плетенке имя, выведенное красными прутьями на фоне белых. В каюте было достаточно светло: он без труда прочитал это имя.

Прервав свое занятие, доктор медленно произнес вполголоса:

— Хардкванон.

Затем обратился к повару:

— Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Хардкванону?

— Нашему бедняге Хардкванону? — переспросил повар. — Да.

Доктор продолжал допытываться:

— Фламандцу Хардкванону?

— Да.

— Тому самому, что сидит в тюрьме?

— Да.

— В Четэмской башне?

— Да, это его фляга, — произнес повар, — он был мне приятель. Я храню ее как память. Когда-то мы еще свидимся с ним? Да, это его поясная фляга.

Доктор снова взялся за перо и опять начал с тру-

дом выводить букву за буквой: строчки ложились криво, но он явно старался писать разборчиво. Рука у него тряслась от старости, судно сотрясала качка, и все же он довел до конца свою запись.

Он кончил во-время, ибо как раз в эту минуту налетел шквал.

Волны приступом пошли на урку, и все бывшие на борту почувствовали, что началась та ужасающая пляска, которой корабли встречают бурю.

Доктор встал и, несмотря на сильную качку удерживая равновесие, подошел к плите, высушил, насколько это было возможно, на огне только что написанные строки, снова сложил пергамент, сунул его в бумажник, а самый бумажник вместе с чернильницей спрятал в карман.

Плита благодаря своему остроумному устройству занимала далеко не последнее место среди оборудования урки; она была расположена в части судна, наименее подверженной качке. Однако теперь котел сильно трясло. Провансалец не спускал с него глаз.

— Похлебка из рыбы, — сказал он.

— Для рыбы, — поправил его доктор.

И возвратился на палубу.

6. Они уповают на помощь ветра

Охваченный все возраставшей тревогой, доктор постарался выяснить положение дел. Тот, кто в эту минуту оказался бы рядом с ним, мог бы расслышать сорвавшуюся с его уст фразу:

— Слишком сильна боковая качка и слишком слаба килевая.

И, поглощенный мрачным течением своих мыслей, он снова погрузился в раздумье, подобно тому как рудокоп спускается в шахту.

Размышления нисколько не мешали ему наблюдать за тем, что происходило на море. Наблюдать море — значит размышлять.

Начиналась жестокая пытка водной стихии, от века терзаемой бурями. Из морской пучины вырывался жалобный стон. На всем безмерном пространстве ее совершались зловещие приготовления. Доктор смотрел на все творившееся у него перед глазами, не упуская ни малейшей подробности. Но его взгляд не был взглядом созерцателя. Нельзя спокойно созерцать ад.

Начинался пока еще мало приметный сдвиг воздушных слоев, однако уже проявивший себя в смятении океана, усиливший ветер и волны,

сгустивший тучи. Нет ничего более последовательного и вместе с тем более вздорного, чем океан. Неожиданные прихоти его соприродны его могуществу и составляют один из элементов величия океана. Его волна не ведает ни покоя, ни бесстрастия. Она сливается с другой волной, чтобы тотчас же отхлынуть назад. Она то нападает, то отступает. Ничто не сравнится с зрелищем бушующего моря. Как живописать эти почти невероятные в своей непрерывной смене провалы и взлеты, эти исполинские зыблющиеся холмы и ущелья, эти едва воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры? Как изобразить эти кущи пены на гребнях сказочных гор? Здесь все неописуемо — и эта разверстая бездна, и ее угрюмо-тревожный вид, и ее совершенная безликость, и эта светотень, и низко нависшие тучи, и внезапные разрывы облаков над головой, и их беспрестанное, неуловимое глазом таяние, и зловещий грохот, сопровождающий этот дикий хаос.

Ветер стал дуть прямо с севера. Ярость, с которой он налетал на судно, была как нельзя более кстати, ибо порывы его гнали урку от берегов Англии; владелец «Матутины» решил поднять все паруса. Вся в хлопьях пены, подгоняемая ветром,

дувшим прямо в корму, урка неслась как будто вскачь, с бешеным весельем перепрыгивая с волны на волну. Беглецы заливались смехом. Они хлопали в ладоши, приветствуя волны, ветер, паруса, быстроту хода, свое бегство и неведомое будущее. Доктор, казалось, не замечал их; он был погружен в задумчивость.

Померкли последние лучи заката.

Они угасли как раз в ту минуту, когда ребенок, стоя на отдаленном утесе и пристально глядя на урку, потерял ее из виду. До этого мгновения его взор был прикован к судну. Какую роль в судьбе беглецов сыграл этот детский взор? Когда ребенок не мог уже ничего различить на горизонте, он повернулся и пошел на север, между тем как судно уносилось на юг.

Все потонуло во мраке ночи.

7. Священный ужас

А те, кого уносила на своем борту урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступает все дальше и уменьшается в размерах враждебная земля. Мало-помалу перед ними, округляясь, все выше вздувалась мрачная поверхность океана, и в сумерках скрывались один

за другим Портленд, Пербек, Тайнем, Киммридж и оба Матравера, длинный ряд мглистых утесов и усеянный маяками берег.

Англия скрылась из виду. Только море окружало теперь беглецов.

И вдруг наступила страшная темнота.

Ни расстояния, ни пространства уже не существовало; небо стало совершенно черным и непроницаемой завесой протянулось над судном. Медленно начал падать снег. Закружились первые хлопья. Казалось, это кружатся живые существа. В непроглядном мраке бушевал на просторе ветер. Люди почувствовали себя во власти стихии. На каждом шагу их подстерегала ловушка.

Именно такой глубокой тьмой обычно начинается в наших широтах полярный смерч.

Огромная бесформенная туча, похожая на брюхо гидры, тяжко нависла над океаном, в иных местах своей серо-свинцовой утробой вплотную соприкасаясь с волнами. Иногда она приникала к нему чудовищными присосками, похожими на лопнувшие мешки, которые втягивали в себя воду и выпускали клубы пара. Они поднимали то там, то здесь на поверхности волн конусообразные холмы пены.

Полярная буря обрушилась на урку, и урка ринулась в самую гущу ее. Шквал и судно устремились друг другу навстречу, словно бросились в рукопашную.

Во время этой первой неистовой схватки ни один парус не был убран, ни один кливер не спущен, не взят ни один риф — до такой степени бегство граничило с безумием. Мачта трещала и перегибалась назад, точно отпрянув в испуге.

Циклоны в нашем северном полушарии вращаются слева направо, в направлении часовой стрелки, и в своем поступательном движении проходят иногда до шестидесяти миль в час. Хотя урка оказалась всецело во власти яростного вихря, она держалась так, как держится судно при умеренном ветре, стараясь только идти наперерез волне, подставляя нос первому порыву ветра, правый борт — последующим, благодаря чему ей удавалось избегать ударов в корму и в борта. Такая полумера не принесла бы ни малейшей пользы, если бы ветер стал менять направление.

Откуда-то сверху, с недосягаемой высоты, доносился протяжный мощный гул.

Что можно сравнить с ревущей бездной? Это оглушительный звериный вой целого мира. То, что мы называем материей, это непознаваемое

вещество, этот сплав неизмеримых сил, в действии которых обнаруживается едва ощутимая, повергающая нас в трепет воля, этот слепой хаос ночи, этот непостижимый Пан иногда издает крик — странный, долгий, упорный, протяжный крик, еще не ставший словом, но силою своей превосходящий гром. Этот крик и есть голос урагана. Другие голоса — песни, мелодии, возгласы, речь — исходят из гнезд, из нор, из жилищ, они принадлежат наседкам, воркующим влюбленным, брачующимся парам; голос же урагана — это голос из великого Ничто, которое есть Все. Живые голоса выражают душу Вселенной, тогда как голосом урагана вопит чудовище, ревет бесформенное. От его косноязычных вещаний захватывает дух, объемлет ужас. Гулы несутся к человеку со всех сторон. Они перекликаются над его головой. Они то повышаются, то понижаются, плывут в воздухе волнами звуков, поражают разум тысячью диких неожиданностей, то разражаясь над самым ухом пронзительной фанфарой, то исходя хрипами где-то вдалеке; головокружительный гам, похожий на чей-то говор, — да это и в самом деле говор; это тщится говорить сама природа, это ее чудовищный лепет. В этом крике новорожденного глухо прорывается тре-

петный голос необъятного мрака, обреченного на длительное, неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего свое иго. Чаще всего это напоминает бред безумца, приступ душевного недуга; это скорее эпилептические судороги, чем сила, направленная к определенной цели; кажется, будто видишь воочию бесконечность, бьющуюся в припадке падучей. Временами начинает казаться, что стихии предъявляют своя встречные права и хаос покушается снова завладеть Вселенной. Временами это жалобный стон причитающего и в чем-то оправдывающегося пространства, нечто вроде защитительной речи, произносимой целым миром; в такие минуты приходит в голову, что вся Вселенная ведет спор; прислушиваешься, стараясь уловить страшные доводы за и против; иногда стон, вырывающийся из тьмы, неопровержим, как логический силлогизм. В неизъяснимом смущении останавливается перед этим человеческая мысль. Вот где источник возникновения всех родов мифологии и политеизма. Ужас, вызываемый этим оглушительным и невнятным рокотом, усугубляется мгновенно возникающими и столь же быстро исчезающими фантастическими образами сверхчеловеческих существ: еле различимые лики

эвменид, облакоподобная грудь фурий, адские химеры, в реальности которых почти невозможно усомниться. Нет ничего страшнее этих рыданий, взрывов хохота, многообразных возгласов, этих непостижимых вопросов и ответов, этих призывов о помощи, обращенных к неведомым союзникам. Человек теряется, слыша эти жуткие заклинания. Он отступает перед загадкой свирепых и жалобных воплей. Каков их скрытый смысл? Что означают они? Кому угрожают, кого умоляют они? В них чудится бешеная злоба. Яростно перекликается бездна с бездной, воздух с водою, ветер с волной, дождь с утесом, зенит с надиром, звезды с морскою пеной, несется вой пучины, сбросившей с себя намордник, — таков этот бунт, в который замешалась еще и таинственная распря каких-то злобных духов.

Многоречивость ночи столь же зловеща, как и ее безмолвие. В ней чувствуется гнев неведомого.

Ночь скрывает чье-то присутствие. Но чье?

Впрочем, следует различать ночь и потемки. Ночь заключает в себе нечто единое; в потемках есть известная множественность. Недаром грамматика, со свойственной ей последовательностью, не допускает единственного числа для

слова «потемки». Ночь — одна, потемок много.

Разрозненное, беглое, зыбкое, пагубное — вот что представляет собою покров ночной тайны. Земля пропадает у нас под ногами, вместо нее возникает иная реальность.

В беспредельном и смутном мраке чувствуется присутствие чего-то или кого-то живого, но от этого живого веет на нас холодом смерти. Когда закончится наш земной путь, когда этот мрак станет нам светом, тогда и мы станем частью этого неведомого мира. А пока — он протягивает к нам руку. Темнота — его рукопожатие. Ночь налагает свою руку на нашу душу. Бывают ужасные и торжественные мгновения, когда мы чувствуем, как овладевает нами этот посмертный мир.

Нигде эта близость неведомого не ощущается более явственно, чем на море, во время бури. Здесь ужас возрастает от фантастической обстановки. Древний тучегонитель, по своему произволу меняющий течение людских жизней, располагает здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды: непостоянной, буйной стихией и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря, природа которой остается для нас тайной, только исполняет приказания, ежеминутно повинуясь внушениям

чьей-то мнимой или действительной воли.

Поэты всех времен называли это прихотью волн.

Но прихоти не существует.

Явления, повергающие нас в недоумение и именуемые нами случайностью в природе и случаем в человеческой жизни, — следствия законов, сущность которых мы только начинаем постигать.

8. Nix et nox – Снег и ночь

Характерным признаком снежной бури является ее чернота. Обычная картина во время грозы — помрачневшее море или земля и свинцовое небо — резко изменяется: небо становится черным, океан — белым. Внизу — пена, вверху — мрак. Горизонт заслонен стеною мглы, зенит занавешен крепом. Буря напоминает внутренность собора, задрапированную траурной материей. Но никакого освещения в этом соборе нет. Нет ни огней святого Эльма на гребнях волн, нет ни одной искорки, ни намека на фосфоресценцию — куда ни глянь, сплошной мрак. Полярный циклон тем и отличается, между прочим, от циклона тропического, что один из них зажигает все огни, другой гасит их все до последнего. Над миром

внезапно вырастает давящий каменный свод. В непроглядной тьме падают с неба, крутясь в воздухе, белые пушинки и постепенно опускаются в море. Пушинки эти не что иное, как снежные хлопья, — они порхают и кружатся в воздухе. Как будто с погребального покрова, раскинутого в небе срываются серебряные блестки и ожившими слезами падают одна за другой. Сеется снег, дует яростный северный ветер. Чернота, испещренная белыми точками, беснование во мраке, смятение перед разверзшейся могилой, ураган под катафалком — вот что представляет собою снежная буря.

Внизу волнуется океан, скрывающий страшные, неизведанные глубины.

При полярном ветре, насыщенном электричеством, хлопья снега мгновенно превращаются в градины, и воздух пронизывают маленькие ядра. Обстреливаемая этой картечью, поверхность моря кипит.

Ни одного удара грома. Во время полярной бури молния безмолвствует, и про нее можно сказать то же, что говорят иногда про кошку: «Она способна испепелить взглядом». Это — грозно разверстая пасть, не знающая пощады. Снежная буря — буря слепая и немая. Сплошь и рядом

после того, как она пронеслась, корабли тоже становятся слепыми, а матросы немыми.

Выбраться из этой бездны нелегко.

Было бы, однако, ошибкой думать, что в снежную бурю кораблекрушение неизбежно. Датские рыболовы из Диско и Балезена, охотники за черными китами, Хирн, отправившийся к Берингову проливу отыскивать устье реки Медных Залежей, Гудсон, Мекензи, Ванкувер, Росс, Дюмон-Дюрвиль — все они за полярным кругом попадали в полосу страшных снежных бурь и все же остались невредимы.

Навстречу такой буре и устремилась дерзко урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на весла, чтобы с размаху прорвать цепь, загораживающую Сену у Буйля, он действовал с той же отвагой.

«Матутина» летела стрелой. По временам, несясь под парусами, она давала такой ужасный крен, что угол, образуемый ее бортом и поверхностью моря, не превосходил пятнадцати градусов, но ее отличный закругленный киль прилегал к волне, словно приклеенный. Киль противостоял напору урагана. Носовая часть судна освеща-

лась фонарем. Туча, с приближением которой усилился ветер, все ниже нависала над океаном, суживая и поглощая пространство вокруг урки. Ни одной чайки. Ни одной ласточки, гнездящейся на скалах. Ничего, кроме снега. Клочок водной поверхности, освещенный фонарем впереди корабля, внушал ужас. На нем вздымались три-четыре вала исполинских размеров.

Время от времени огромная молния цвета красной меди вспыхивала, рассекая черные напластования тьмы от зенита до горизонта. Прорезанная ее алым сверканием, толща туч казалась еще более грозной. Пламя пожара, внезапно охватывавшего ее глубины, озаряя на миг передние облака и хаотическое их нагромождение вдалеке, открывало взорам всю бездну. На этом огненном фоне хлопья казались черными бабочками, залетевшими в пылающую печь. Потом все гасло.

После первого натиска ураган, продолжая подгонять урку, принялся реветь глухим басом. Это — вторая фаза, фаза зловещего замирания грохота. Нет ничего тревожнее такого монолога бури. Этот угрюмый речитатив как будто прерывает на время борьбу таинственных противников и свидетельствует о том, что в мире неведомого

кто-то стоит на страже.

Урка по-прежнему с безумной скоростью мчалась вперед. Оба ее главных паруса были напряжены до предела. Небо и море стали чернильного цвета, брызги пены взлетали выше мачты. Потоки воды то и дело захлестывали палубу, и всякий раз, когда в боковой качке судно накренялось то правым, то левым бортом, клюзы, подобно раскрытым ртам, изрыгали пену обратно в море. Женщины укрылись в каюте, но мужчины оставались на палубе. Снежный вихрь слепил им глаза. Волны плевали им прямо в лицо. Все вокруг было охвачено неистовством.

В эту минуту главарь шайки, стоявший на корме, на транце, уцепившись одной рукой за ванты, другой сорвал с головы платок и, размахивая им при свете фонаря, с развевающимися по ветру волосами, с лицом, просиявшим от горделивой радости, опьяненный дыханием бури, крикнул:

— Мы свободны!

— Свободны! Свободны! Свободны! — вторили ему беглецы.

И вся шайка, держась за снасти, выстроилась на палубе.

— Ура! — крикнул вожак.

И шайка проревела в бурю:

— Ура!

Не успел еще замереть этот крик, заглушенный воем ветра, как на противоположном конце судна раздался громкий суровый голос:

— Молчать!

Все повернули головы в ту сторону.

Они узнали голос доктора. Вокруг царила непроглядная тьма; доктор прислонился к мачте, его высокая худая фигура сливалась с нею, его совсем не было видно.

Голос продолжал:

— Слушайте!

Все замолкли.

И тогда во мраке явственно прозвучал звон колокола.

9. Бурное море предостерегает

Владелец урки, державший румпель, разразился хохотом:

— Колокол! Отлично! Мы идем левым галсом. Что означает этот колокол? Только одно: вправо от нас земля.

Медленно выговаривая каждое слово, доктор твердо сказал:

— Вправо от нас нет земли.

— Есть! — крикнул судохозяин.

— Нет.

— Но ведь звон-то доносится с земли.

— Этот звон, — ответил доктор, — доносится с моря.

Даже наиболее бесстрашные из беглецов вздрогнули.

У входа в каюту, словно призраки, вызванные заклинанием, показались испуганные женщины. Доктор сделал шаг вперед, и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи.

— Среди моря, на полпути между Портлендом и Ла-Маншским архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплен к отмели я плавает на поверхности воды. На буе на железных козлах подвешен колокол. В непогоду море, волнуясь, раскачивает буй, и колокол звонит. Этот колокол вы и слышите теперь.

Доктор выждал, чтобы улегся порыв ветра, и когда снова долетел звон колокола, продолжал:

— Слышать этот звон во время бури, когда дует северный ветер, равносильно смертному приговору. Почему? Сейчас объясню. Если вы слышите звуки колокола, то лишь потому, что их доносит

ветер. Ветер дует с запада, а буруны Ориньи лежат на востоке. До вас не долетали бы эти звуки, не находись вы между буем и бурунами. Ветер гонит вас прямо на риф. Вы мчитесь навстречу опасности. Если бы судно не сбилось с курса, вы были бы в открытом море, на значительной глубине, и не слышали бы колокола. Ветер не доносил бы до вас его звона. Вы прошли бы около буя, не подозревая о его существовании. Мы сбились с пути. Колокол — это набат, возвещающий о кораблекрушении. А теперь решайте сами, как быть!

Во время речи доктора удары колокола, лишь слегка раскачиваемого утихшим ветром, стали реже; долетая через правильные промежутки, они как будто подтверждали слова старика. Казалось, в морской пучине раздается похоронный звон.

Задыхаясь от ужаса, беглецы внимали то голосу старика, то звону колокола.

10. Буря – лютая дикарка

Владелец урки схватил рупор.

— Cargate todo, hombres![168] Отдай шкоты! Тяни

---

[168] Сноски: 168
Люди, спускайте все! (*Исп.*)

виралы! Спускай драйперы у нижних парусов! Забираем на запад! Подальше в море! Правь на буй! Правь на колокол! Там развернемся! Не все еще потеряно!

— Попробуйте, — сказал доктор.

Заметим здесь мимоходом, что этот буй, нечто вроде колокольни, был уничтожен в 1802 году. Старые моряки еще помнят его звон. Он предупреждал об опасности, но немного поздно.

Все кинулись исполнять приказания владельца урки. Уроженец Лангедока взял на себя роль третьего матроса. Работа закипела. Паруса не только убрали, но и закрепили; подтянули сезьни, завязали узлом нок-гордени, бак-гордени и гитовы, накрутили концы на стропы, превратив последние в ванты: наложили шкало на мачту; наглухо забили полупортики, благодаря чему судно оказалось как бы обнесенным стеной. Хотя все это делалось второпях, однако по всем правилам. Урка приняла вид гибнущего корабля. Но по мере того как она, убирая свой такелаж, уменьшалась в размерах, волны и ветер все свирепей обрушивались на нее. Валы достигали почти такой же высоты, какой бывают они за полярным кругом.

Ураган, словно палач, спешащий прикончить свою жертву, стал рвать урку на части. В мгно-

вение ока она подверглась невероятному опустошению: марсели были сорваны, фальшборт снесен, галс-боканцы выбиты, ванты превращены в клочья, мачта сломана — все это с треском и грохотом разлетелось в разные стороны. Толстые перлини — и те не выдержали.

Магнитное напряжение, сопутствующее обычно снежным бурям, еще более способствовало разрыву снастей. Они лопались столько же от напора ветра, сколько от действия тока. Цепи, соскочив с блоков, больше не поддерживали рей. Скулы в носовой части и корма на всем протяжении от бизань-русленей до гакаборта сплющивались от страшного давления. Первой волною смыло компас вместе с нактоузом; второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю к бушприту; третьей сорвало блинда-рей; четвертой — статую Богородицы и фонарь.

Уцелел один лишь руль.

Фонарь заменили крупной гранатой, которую повесили на форштевне, наполнив ее горящей смолой и паклей.

Мачта, сломанная пополам, унизанная сверху донизу клочьями парусов, обрывками снастей, остатками блоков и рей, загромождала палубу.

Падая, она пробила правый борт.

Судовладелец, не выпускавший ни на минуту румпеля, крикнул:

— Ничего еще не потеряно, пока мы можем управлять судном. Подводная часть совсем не повреждена! Давай сюда топоры! Топоры! Мачту в море! Расчищай палубу!

Экипаж и пассажиры работали с тем лихорадочным возбуждением, какое появляется у людей в самые решительные моменты жизни. Несколько взмахов топора, и дело было сделано.

Мачту выкинули за борт. Палуба была очищена.

— А теперь, — продолжал судохозяин, — возьмите фал и принайтовьте меня к рулю.

Его привязали к румпелю.

Пока его привязывали, он смеялся. Он крикнул морю:

— Реви, старина, реви! Видывал я и почище бури у мыса Мачичако!

Когда его всего обкрутили канатами, он обеими руками схватился за румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает в нас борьба с опасностью:

— Все идет отлично! Слава Буглосской божьей матери! Держим курс на запад!

Внезапно сбоку налетела огромная волна и хлынула на корму. Во время бури не раз поднимается такой свирепый вал: как беспощадный тигр, он сначала крадется по морю ползком, потом с рычанием и скрежетом набрасывается на гибнущий корабль и превращает его в щепы. Вей кормовая часть «Матутины» скрылась под горою пены, и в ту же минуту среди черного хаоса налетевших хлябей раздался громкий треск. Когда пена схлынула и из воды снова показалась корма, на ней не было уже ни судохозяина, ни руля.

Все исчезло бесследно.

Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот.

Главарь шайки, пристально всматриваясь в окружавшую темноту, воскликнул:

— Te burlas de nosotros?[169]

Вслед за этим негодующим криком раздался другой:

— Бросим якорь! Спасем хозяина!

Кинулись к кабестану. Отдали якорь. На урках бывает только один якорь. Попытка привела к тому, что «Матутина» потеряла свой единственный якорь. Дно было скалистое, волнение неистовое.

---

[169] Сноски: 169
Издеваешься ты над нами? (*Исп.*)

Канат порвался, как волосок.

Якорь остался на дне морском.

От водореза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу.

С этой минуты урка сделалась добычей волн. «Матутина» была безнадежно оголена. Это судно, еще совсем недавно крылатое, можно сказать — грозное в своем стремительном беге, было теперь совершенно беспомощно. Вся оснастка была сорвана и пришла в полную негодность. Точно окаменев, оно без сопротивления подчинилось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орел превратился в ползающего калеку: такие метаморфозы возможны только на море.

Порывы шторма ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури — исполинские легкие. Она беспрестанно нагнетает новый ужас, сгущает мрак, хотя он как будто и не допускает, по самой своей сущности, никаких градаций. Колокол посреди моря отчаянно гудел, словно его раскачивала чья-то безжалостная рука.

«Матутина» неслась по воле волн. Так носится пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала наверх. Казалось, каждую минуту она может перевернуться, как

мертвая рыба, брюхом кверху. Единственное, что спасало урку от гибели, — это прочность корпуса, не давшего ни малейшей течи. Сколько ни трепала ее буря, все доски внутренней обшивки были на месте. Не было ни одной трещины или щели, ни одна капля воды не попала в трюм. Это было чрезвычайно важно, ибо насос испортился и не действовал.

Урка прыгала по волнам в какой-то дикой пляске. Палуба судорожно вздымалась и опускалась, как диафрагма человека, которого тошнит. Казалось, она всячески старается изрыгнуть ютившихся на ней людей. Они же, не в силах ничего предпринять, только цеплялись за безжизненно повисшие снасти, за доски, за краспис, за рустов, за линьки, за обломки вздувшихся переборок, гвоздями раздиравшие им руки, за искривленные ридерсы, за самые незначительные выступы на всем, что еще оставалось после катастрофы. Время от времени они прислушивались. Звон колокола доносился все слабее и слабее. Казалось, он тоже был в агонии. Его удары напоминали прерывистое хрипение умирающего. Но вот и оно прекратилось. Где же они находились? В каком расстоянии от буя?

Звон колокола испугал их, его молчание по-

вергло их в ужас. Ветер гнал их, быть может, туда, откуда нет возврата. Они чувствовали, что новый яростный шторм мчит их к чему-то страшному. Остов «Матутины» несся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего ужаснее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон — впереди них, сзади них и под ними — зияла бездна. Это не было уже бегом, это было стремительным падением.

Вдруг сквозь оплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное.

— Маяк! — закричали погибающие.

11. Каскеты

Это был действительно Каскетский маяк.

В девятнадцатом столетии маяк — это высокое конусообразное каменное сооружение, вверху которого находится осветительный аппарат, устроенный по всем правилам науки. В частности, Каскетский маяк в настоящее время представляет собою тройную башню с тремя вращающимися огнями. Световые приборы, приводимые в движение при помощи часовых механизмов, совершают оборот вокруг своей оси с такой точностью, что вахтенный, наблюдающий

их огни в открытом море, успевает сделать десять шагов по палубе во время проблеска и двадцать пять во время затмения. Вся система построена на строжайшем расчете как фокусных расстояний, так и вращающегося восьмигранного барабана, образованного восемью ступенчатыми плосковыпуклыми стеклами, сверху и снизу которых помещаются диоптрические зеркала; эта тончайшая аппаратура защищена от напора ветра и от прибоя волн литыми миллиметровыми стеклами; однако даже такие стекла иногда разбивают своим клювом морские орлы, налетающие, как огромные ночные мотыльки, на исполинские фонари маяков. Здание, заключающее в себе этот механизм и служащее ему как бы оправой, отличается не меньшей математической точностью устройства. Все в нем просто, соразмерно, целесообразно, строго, стройно. Маяк — это цифра.

В семнадцатом веке маяк был, так сказать, пышным украшением земли на берегу моря. Башня маяка привлекала к себе внимание вычурным великолепием своей архитектуры. Она была перегружена множеством балконов, балюстрад, башенок, ниш, беседок, флюгеров. Сверху донизу ее усеивали лепные украшения в виде голов, статуи, решетки, завитки, рельефы, фигурки,

дощечки с надписями. «Pax in bello»[170] — гласил Эддистоунский маяк. Заметим мимоходом, что это провозглашение мира не всегда обезоруживало океан. Уинстенлей воспроизвел эту надпись на маяке, сооруженном им на свои средства в дикой местности близ Плимута. По окончании постройки он поселился в башне, желая лично проверить, как выдержит она бурю. Но буря налетела и унесла в море и маяк и Уинстенлея. Эти чрезмерно затейливые сооружения, со всех сторон открытые ветрам, навлекали на себя ярость ураганов, подобно тому как генералы в цветных, расшитых золотом мундирах оказываются во время битвы наиболее уязвимой целью. Помимо украшений из камня, на маяках были украшения из железа, меди, дерева; металлические части изобиловали рельефами, деревянные — всякого рода выступами. По наружным стенам маяка, вделанные среди арабесок, лепились всевозможные снаряды, годные и непригодные к употреблению: лебедки, тали, блоки, багры, лестницы, грузоподъемные краны, дреки. На самой вершине башни, вокруг фонаря, на кованых, искусной работы кронштейнах были утвержде-

---

[170] Сноски: 170
Мир во время войны (*лат.*).

ны огромные железные подсвечники, в которые вставлялись куски просмоленного каната, — этих факелов не мог погасить самый сильный ветер. Вся башня сверху донизу была убрана морскими флагами, вымпелами, флюгарками, знаменами, султанами, наметами, укрепленными на флагштоках и поднимающимися от яруса к ярусу до самого фонаря; эта пестрая смесь разноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов во время бури живописной массой лоскутьев весело развевалась вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов и пробуждал отвагу у мореплавателей, терпевших бедствие в море. Но Каскетский маяк совсем не был похож на эти маяки.

В ту пору это был простой старинный, самого примитивного устройства маяк, воздвигнутый по приказанию Генриха I после гибели «Бланш-Нефа»: на вершине утеса в железной клетке горел костер — высокая груда углей, обнесенная решеткой, и ветер раздувал языки пламени.

Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке со времени его сооружения в двенадцатом веке, были кузнечные мехи, приводимые в движение зубчатым колесом с каменной гирей; их присоединили к железной клетке в

1610 году.

Для морских птиц эти старинные маяки представляли несравненно большую опасность, чем нынешние. Привлеченные ярким светом, птицы слетались на огонь и попадали прямо в костер; там они прыгали, как адские духи, корчась в предсмертных судорогах; иногда они вырывались из раскаленной клетки и падали на скалу, обугленные, искалеченные, ослепленные, как падает ночная мошкара, обгоревшая в пламени лампы.

Вполне оснащенному судну, повинующемуся воле кормчего, Каскетский маяк нередко оказывает услугу. Он кричит ему: «Берегись!» Он предупреждает его о близости рифа. Но для судна, потерявшего и такелаж и руль, он только страшен. Оголенный остов корабля, беспомощный, бессильный в борьбе с бешеным натиском волн, беззащитный против шторма, — рыба без плавников, бескрылая птица, — он может плыть лишь туда, куда его гонит ветром. Маяк указывает ему роковое место, где его ждет неминуемая гибель, освещает его могилу. Маяк для него — погребальный факел.

Озарять путь к неотвратимому, предупреждать о неизбежном — какая трагическая насмешка!

12. Поединок с рифом

Несчастные, погибавшие на «Матутине», сразу же поняли горькую насмешку судьбы. При виде маяка они сначала приободрились, затем пришли в отчаяние. У них не было выхода, они ничего не могли предпринять. К волнам вполне применимо изречение, относящееся к царям: всякий, кто им подвластен, становится их жертвой. Хочешь не хочешь, надо терпеть все их безрассудства. Ветер гнал урку на Каскеты. Приходилось плыть по воле ветра. Сопротивляться было невозможно. Судно быстро несло на риф. Беглецы чувствовали, что дно мелеет; если бы измерение лотом имело для них какой-либо смысл, они убедились бы, что глубина моря здесь не больше трех-четырех брассов. Они прислушивались к глухому рокоту волн, врывающихся в расщелины подводных скал. Они различали у подножия маяка, между двумя гранитными выступами, темную полоску — узкий пролив, соединявший с океаном страшную бухточку, на дне которой, как можно было предположить, покоилось немало человеческих скелетов и разбитых остовов кораблей. Это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С верши-

ны маяка доносилось потрескивание костра в железной клетке, его багровые вспышки угрюмо освещали картину бури, пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана, черная туча, словно змей, сцепившийся со змеем, вступала в схватку с красным дымом, взлетали, подхваченные ветром, мелкие горящие головешки, и снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов, вначале еле заметные, теперь выступали совершенно отчетливо — беспорядочное нагромождение скал с их пиками, гребнями и ребрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, а скаты — кровавыми огненными бликами. По мере того как они приближались к рифу, его громада, разрастаясь ввысь и вширь, становилась все более зловещей.

Одна из женщин, ирландка, исступленно перебирала четки.

Обязанности лоцмана, лежавшие на погибшем судохозяине, пришлось взять на себя главарю шайки, который был капитаном. Баски все без исключения отлично знают горы и море. Они не боятся пропастей и не теряются при кораблекрушениях.

Судно подходило к самому рифу — вот-вот

налетит на него. Внезапно северный склон Каскетов оказался так близко, что гранитная их стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес да свет, пробивавшийся из-за него. Скала, выступавшая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном с огненным чепцом на голове.

Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библе. Она является крайней северной точкой рифа, ограниченного с юга другим утесом, известным под именем Этак-о-Гильме.

Главарь шайки, окинув взглядом Библе, крикнул:

— Не найдется ли охотника доплыть с перлинем до бурунов? Кто умеет плавать?

Ответа не последовало.

Никто из находившихся на борту не умел плавать, даже матросы, — явление, довольно обычное среди моряков.

Наполовину оторвавшийся от бортовой обшивки лонгкарлинс болтался на скрепах. Главарь шайки схватил его обеими руками и сказал:

— Помогите мне.

Лонг-карлинс оторвали совсем. Теперь им можно было пользоваться как угодно. Из орудия обороны он стал наступательным орудием.

Это было довольно длинное бревно, вырезанное

из сердцевины дуба, крепкое и толстое, одинаково пригодное и для нападения и для упора; оно могло служить и рычагом для подъема груза и тараном для разрушения башни.

— Становись! — крикнул главарь.

Все шестеро, выстроившись в ряд и упершись изо всех сил в обломок мачты, держали лонг-карлинс горизонтально за бортом, как копье, направленное в ребро утеса.

Это был опасный маневр. Атаковать гору — дерзость немалая. Все шестеро могли быть сброшены в воду обратным толчком.

Борьба с бурей чревата неожиданностями. Вслед за штормом — риф. На смену ветру — гранит. Приходится иметь дело то с неуловимым, то с несокрушимым.

Наступила одна из тех минут, когда у людей сразу седеют волосы.

Риф и судно должны были вступить друг с другом в схватку.

Утес терпелив. Он спокойно выжидал этого мгновения.

Набежала волна и положила конец ожиданию. Она подхватила судно снизу, приподняла его на своем гребне и с минуту раскачивала, как праща раскачивает камень.

— Смелей! — крикнул главарь. — Ведь это всего только утес, а мы — люди!

Бревно держали наготове. Все шесть человек как бы срослись с ним. Острые шипы лонг-карлинса врезались им в подмышки, но никто не почувствовал боли.

Волна швырнула урку на скалу.

Столкнувшись, они окрылись в бесформенном облаке пены, которое всегда готово скрыть от взоров такие столкновения.

Когда пенное облако скатилось в море и волна отхлынула от утеса, все шесть человек лежали на палубе; но «Матутина» уже огибала буруны. Бревно выдержало испытание, и толчок повлек за собой изменение курса. В несколько секунд урка, унесенная бешеным течением, оставила Каскеты далеко позади себя. «Матутина» на время оказалась вне опасности.

Такие случаи нередки. Удар бушприта о скалу спас от гибели Вуда де Ларго в устье Тея. В опасном месте, близ мыса Уинтертона, оттолкнувшись ганшпугом от страшного Бранноумского утеса, капитан Гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна «Ройял Мери», хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа. Волна — сила, подверженная мгновенному спаду,

который делает если не легким, то, во всяком случае, возможным перемену галса, даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то животное: ураган — как бык: его можно ввести, в обман.

Перейти от движения по секущей к движению по касательной — вот весь секрет того, как избегнуть кораблекрушения.

Именно такую услугу и оказал судну лонг-карлинс. Он сыграл роль весла, он заменил собою руль. Но этим спасительным маневром можно было воспользоваться лишь однажды; повторить его уже было невозможно: бревно унесло в море. Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лонг-карлинс значило бы расшатать самый кузов.

Ураган снова подхватил «Матутину». Через мгновение Каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях у рифов бывает смущенный вид. В природе, еще далеко не изученной нами до конца, зримое как будто находит свое дополнение в незримом, и скалы угрюмо смотрят неподвижным взглядом вам вслед, негодуя, что добыча вырвалась у них из рук.

Именно так выглядели Каскеты, когда от них

убегала «Матутина».

Маяк, отступая назад, бледнел, тускнел, затем пропал из глаз.

Его исчезновение вселило тоску. Густая пелена тумана заволокла растекавшийся во мгле багровый свет. Его лучи растворились в необъятности водной стихии. Пламя побарахталось немного на волнах, пытаясь еще бороться, потом поникло, нырнуло, как будто пошло ко дну. Костер превратился в огарок, еле мерцавший бледным огоньком. Вокруг него расплывалось кольцо мутного сияния, точно на дне пучины мрака кто-то раздавил ногой горящий светильник.

Умолк колокол, звучавший угрозой. Исчез из виду маяк, предостерегавший об опасности. Однако, когда тот и другой остались позади, беглецов объял еще больший ужас. Колокол был голосом, маяк был факелом. В них было нечто человеческое. Без них оставалась одна лишь пучина.

13. Лицом к лицу с мраком ночи

Урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благополучно миновав Каскеты, «Матутина» теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсрочка развязки среди хаоса.

Урка металась из стороны в сторону, воспроизводя своими движениями безумные взлеты пенистых валов. Она почти совсем не испытывала килевой качки — грозный признак агонии судна. Потерпевшие аварию суда подвержены лишь боковой качке. Килевая же — судороги борьбы. Только руль может повернуть судно против ветра.

Во время бури, особенно во время снежной бури, море и мрак в конце концов сливаются воедино и образуют одно неразрывное целое. Туман, метель, ветер, бесцельное кружение, отсутствие всякой опоры, невозможность выправить свой курс, сделать хотя бы короткую передышку, падение из одного провала в другой, полное исчезновение видимого горизонта, безнадежное движение вслепую — вот к чему свелось плавание урки.

Выбраться благополучно, из Каскетов, миновать рифы было для несчастных беглецов подлинной победой. Но эта победа повергла их в оцепенение. Они уже не приветствовали ее криками «ура»; в море не позволяют себе дважды такой неосторожности. Бросать вызов там, где не рискуешь бросать лот, — опасно.

Оттолкнуться от рифа значило осуществить

невозможное. Это ошеломило гибнущих. Мало-помалу, однако, в их сердцах пробудилась надежда. Человеческая душа всегда склонна уповать на чудо. Нет такого отчаянного положения, при котором в самый критический момент из глубины души не подымалась бы заря надежды. Несчастные так жаждали сказать себе: «Спасены!» У них уже готово было сорваться это слово.

Но вдруг во мраке ночи с левой стороны судна выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала с прямыми углами — четырехугольная башня, возникшая из бездны.

Они смотрели на нее, пораженные.

Шторм гнал их прямо на нее.

Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах.

14. Ортах

Опять начинались рифы. После Каскетов — Ортах. Буря не блещет фантазией: она груба, могуча и прибегает всегда к одним и тем же приемам.

Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе неисчислимые ловушки и козни. Человек же быстро расходует все свои средства. Человек вы-

дыхается; бездна неистощима.

Глаза погибающих обратились к главарю, к единственному их защитнику. Но он только пожал плечами с угрюмым презрением к собственному бессилию.

Ортах — исполинский булыжник, поставленный дыбом посреди океана. Ортахский риф, представляющий собою сплошной массив, возвышается на восемьдесят футов над бушующими волнами. О него разбиваются и морские валы и корабли. Неподвижный гранитный куб отвесно погружает свои прямолинейные грани в бесчисленные змеиные извивы волнующегося моря.

Ночью его можно принять за огромную плаху, придавившую собой складки черного сукна на помосте. В бурю он ждет удара топора, или, что то же, удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает. Правда, ночная темнота вполне заменяет для корабля повязку на глазах. Его ждет плаха, как осужденного на казнь преступника. Но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать никаких надежд.

«Матутина», жалкая игрушка волн, понеслась навстречу этому утесу, как незадолго перед тем мчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасенными, снова впали в отчаяние.

Перед ними вновь возникал призрак кораблекрушения, который они оставили позади. Со дна моря опять вынырнул риф. Оттолкнувшись от скалы, они ничего не добились.

Каскеты — вафельница со множеством углублений; Ортах — сплошная стена. Потерпеть аварию у Каскетов — значит быть растерзанным на части; потерпеть аварию у Ортаха — значит быть расплющенным.

И все-таки у находившихся на борту урки была еще возможность спастись.

От отвесной скалы — а Ортах именно такая скала — волна не отскакивает рикошетом, подобно пушечному ядру. Она соскальзывает вниз. Это похоже на прилив и отлив. Она налетает валом, а отступает зыбью. В подобных случаях вопрос о жизни и смерти решается следующим образом: если вал бросит судно на скалу, оно разобьется вдребезги; если же волна отхлынет раньше, чем корабль достиг скалы, он окажется спасенным.

Сердце сжимала мучительная тревога. Погибавшие уже различали в полумраке приближение девятого вала.

Как далеко он увлечет их? Если волна ударит в борт, их отбросит к самому рифу, и тогда смерть неизбежна. Если же она пройдет под килем…

Волна прошла под килем.

Они облегченно вздохнули.

Но что будет с ними, когда она вернется? Куда умчит их отхлынувшая волна?

Волна умчала их в море.

Несколько минут спустя «Матутина» была уже далеко от рифа. Ортах постепенно скрывался из виду, как перед тем исчезли из виду Каскеты.

Вторая победа. Уже во второй раз урка была на краю гибели и счастливо избежала ее.

15. Portentosum mare – Море ужаса

Между тем густой туман со всех сторон окутал несчастных, носившихся по прихоти волн. Они не знали, где они. Они едва различали, что происходит на расстоянии нескольких кабельтовых от урки. Несмотря на крупный град, заставлявший всех наклонять головы, даже женщины упорно отказывались спуститься в каюту. Всякий, кто терпит бедствие на море, предпочитает погибнуть под открытым небом. Когда смерть так близка, потолок над головой начинает казаться крышкой гроба.

Волны, вздымаясь все выше и выше, вместе с тем становились короче. Нагромождение валов

свидетельствует о том, что им приходится прорываться сквозь теснины: такое бурление волн всегда указывает на близость узкого пролива. Действительно, беглецы, сами не догадываясь о том, огибали Ориньи. Между Ортахом и Каскетами на западе и Ориньи на востоке море сжато двойным рядом утесов. И там, где ему тесно, оно бурлит. Море, как и все на свете, не избавлено от страданий, и в тех местах, где оно испытывает боль, оно особенно яростно. Такой фарватер опасен для судов.

«Матутина» вступила в этот узкий проход.

Представьте себе под водою щит черепахи величиною с Гайд-Парк или с Елисейские Поля, на котором каждая бороздка была бы мелким протоком, а каждая выпуклость — скалой. Таковы подступы к Ориньи с запада. Море прикрывает и прячет эту западню для кораблей. Дробясь об острые грани подводных камней, волны скачут и пенятся. В тихую погоду это лишь плеск, но в бурю это хаос.

Люди на судне почуяли какую-то новую опасность, хотя не сразу могли ее себе объяснить. Вдруг они все поняли. Небо в зените немного посветлело, на море пал бледный тусклый свет, и с левого борта на востоке показалась длинная

гряда утесов, на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Ориньи.

Что представляла собою эта преграда? Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Ориньи.

Нет острова более недоступного для человека, чем Ориньи. И над водой и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах.

На западе — Бюру, Сотерьо, Анфрок, Ниангль, Фон-дю-Крок, Жюмель, Гросс, Кланк, Эгийон, Врак, Фосс-Мальер; на востоке — Сокс, Омо, Флоро, Бринбете, Келенг, Кроклиу, Фурш, Со, Нуар-Пют, Купи, Орбю. Что это за чудовища? Гидры? Да, из породы рифов.

Один из этих утесов называется Бю (цель), словно в знак того, что здесь конец всякому странствованию.

Это нагромождение рифов, слитых воедино мраком и водою, предстало взорам погибающих в виде сплошной черной полосы, как бы перечеркнувшей собою горизонт.

Кораблекрушение — высшая степень беспомощности. Находиться близ земли и не быть в состоянии достигнуть ее; носиться по волнам и

не иметь возможности выбрать направление; опираться на нечто кажущееся твердым, но на самом деле зыбкое и хрупкое, быть одновременно полным жизни и полным смерти; быть узником неизмеримых пространств, заточенным между небом и океаном; ощущать над собою бесконечность сводами темницы; быть окруженным со всех сторон буйным разгулом ветров и быть схваченным, связанным и парализованным — такое состояние подавляет и рождает возмущение. Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крылья, а рыбам свободно двигаться. На первый взгляд это ничто, а между тем это все. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладонь. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей ее, и ты ощутишь только горечь во рту. Глоток ее вызывает лишь тошноту, волна же может погубить. Песчинка в пустыне, клочок пены в океане — потрясающие феномены; всемогущая природа не считает нужным скрывать свои атомы; она превращает слабость в силу, наполняет собою ничтожное и из бесконечно малого образует бесконечно великое, уничто-

жающее человека. Океан сокрушает нас своими каплями. Чувствуешь себя его игрушкой.

Игрушкой — какое страшное слово!

«Матутина» находилась чуть-чуть повыше Ориньи, и это было благоприятным обстоятельством, но ее относило к северной оконечности гряды, а это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал урку со стремительностью стрелы, выпущенной из туго натянутого лука. У этого мыса, немного не доходя до гавани Корбеле, есть место, которое моряки Нормандского архипелага прозвали «обезьяной».

«Обезьяна» — swinge — это бешеное течение. Ряд воронкообразных углублений в отмелях вызывает на поверхности океана ряд водоворотов. Только вы выбрались из одного, как вас подхватывает другой. Судно, попав в лапы «обезьяны», вертится, перебрасываемое от спирали к спирали, пока не напорется кузовом на острый утес. Получив пробоину, корабль останавливается, вздернув корму выше волн, носом погрузившись в воду, водоворот кружит его в последний раз, корма скрывается под водой, и пучина засасывает судно. Островок пены расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь несколько пузырьков, свидетельствующих о том, что люди

задохнулись под водой.

Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах: один по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлер-Сендс, другой возле Джерси, между Пиньонэ и мысом Нуармон, и третий близ Ориньи.

Если бы на борту «Матутины» находился местный лоцман, он предупредил бы об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана несчастным приходилось руководствоваться инстинктом: в критические минуты у человека появляется нечто вроде второго зрения. Яростный ветер вздымал на воздух целые каскады пены и разносил их вдоль всего побережья. Это плевалась «обезьяна». Множество судов погибло в этой ловушке. Беглецы с ужасом приближались к этому месту, хотя и не знали, что оно собой представляет.

Как обогнуть грозный мыс? Это невозможно.

Так же, как перед ними ранее выросли, Каскеты, а затем Ортах, теперь им предстали высокие скалы Ориньи. Один великан вслед за другим. Ряд ужасных поединков.

Сцилла и Харибда — их было только две; Каскеты, Ортах и Ориньи — это три противника.

Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым

однообразием, на какое способна только бездна. В битвах с океаном, так же как в гомеровских битвах, встречаются повторения.

С каждой волной, приближавшей их к мысу, громада его, и без того чудовищно разросшаяся в тумане, становилась выше на двадцать локтей. Расстояние между уркой и утесом сокращалось с угрожающей быстротой. Они уже находились на самой грани водоворота. Первая же струя должна была увлечь их безвозвратно. Еще одна волна, и все было бы кончено.

Вдруг урка отпрянула назад, словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, затем опрокинулась и отшвырнула урку, обдав ее облаком пены. Этим толчком «Матутину» отбросило от Ориньи.

Она снова очутилась в открытом море.

Кто же пришел на помощь урке? — Ветер.

Шторм внезапно изменил направление.

До сих пор беглецы были игралищем волн, теперь они стали игралищем ветра. Из Каскетов они выбрались сами. От Ортаха их спасла волна. От Ориньи их отогнал ветер.

Северо-западный ветер сразу сменился юго-западным.

Течение — это ветер в воде; ветер — это течение

в воздухе: две силы столкнулись, и ветру вздумалось вырвать у течения его добычу.

Внезапные причуды океана непостижимы: это бесконечное «а вдруг». Когда всецело находишься в его полной власти, нельзя ни надеяться, ни отчаиваться. Он создает и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному угрюмому морю, которое Жан Барт называл «грубой скотиной», свойственны все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда буря топит судно походя, на скорую руку, иногда как бы тщательно обдумывает кораблекрушение, можно оказать — лелеет каждую мелочь. У моря времени достаточно. В этом уже не раз убеждались его жертвы!

Порою, кстати сказать, отсрочка казни знаменует собою предстоящее помилование. Но такие случаи редки. Как бы то ни было, погибающим на море недолго поверить в свое спасение: стоит только буре немного утихнуть, и им уже мнится, что опасность миновала. После того как они считали себя погребенными на дне морском, они с лихорадочной поспешностью хватаются за то, что им еще не даровано: все дурное уже пережито, никаких сомнений, они вполне удовлетворены, они спасены, им уже ничего не нужно от Бога. Не

следует слишком торопиться с выдачей Неведомому расписок в окончательном расчете с ним.

Юго-западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекрушение, обычно не церемонится. Шквал, ухватив «Матутину» за обрывки парусов, как хватают за волосы утопленницу, стремительно поволок ее в открытое море. Это напоминало великодушие Тиберия, даровавшего свободу пленницам ценой их бесчестья. Ветер беспощадно обрушивался на тех, кого спасал. Он оказывал им эту услугу с бешеной злобой. Это была помощь, не знавшая жалости…

После столь жестокого спасения урка окончательно стала обломком.

Крупные градины, величиною с мушкетную пулю и не уступавшие ей в твердости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины перекатывались по палубе, как свинцовые шарики дроби. Урка, терзаемая сверху и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлестывавших через нее волн и каскадов пены. На судне каждый думал только о себе.

Люди хватались за что попало. После каждой очередной встряски они с удивлением оглядывались, видя, что никого не унесло в море. У многих

лица были исцарапаны разлетавшимися во все стороны щепками.

К счастью, отчаяние во много крат увеличивает силы человека. Рука объятого ужасом ребенка не слабее руки великана. В минуты смертельного страха пальцы женщин превращаются в настоящие тиски; молодая девушка способна тогда вонзить свои розовые ноготки даже в камень. Погибающие изо всех сил старались удержаться на месте. Но каждая волна грозила смыть их с палубы.

Вдруг они снова вздохнули с облегчением.

16. Загадочное затишье

Ураган внезапно утих.

Ни северного, ни южного ветра уже не было в помине. Смолк бешеный вой бури. Без всякого перехода, без малейшего ослабления смерч в одно мгновение куда-то исчез, точно провалился в бездну. И не сообразить было, куда он девался. Вместо градин в воздухе опять замелькали белые хлопья. Снова начал медленно падать снег.

Волнение улеглось. Море стало гладким, как скатерть.

Снежным бурям свойственно такое внезапное

затишье. Как только прекращается электрический ток, все успокаивается, даже волны, которые после обыкновенных бурь некоторое время еще продолжают бушевать. Тут же наоборот — никаких следов недавней ярости. Как труженик после тяжкой работы, море сразу засыпает; это как будто идет вразрез с законами статики, но нисколько не удивляет старых моряков, знающих, что море полно всяких неожиданностей.

Подобные явления — правда, очень редко — имеют место и при обыкновенных бурях. Так, в наши дни во время памятного урагана, разразившегося 27 июля 1867 года над Джерси, ветер, неистовствовавший четырнадцать часов подряд, внезапно сменился мертвым штилем.

Несколько минут спустя вокруг урки простиралась бесконечная пелена сонных вод. Одновременно с этим — ибо последняя фаза бури похожа на первую — наступила полная темнота. Все, что удавалось разглядеть, пока снежные тучи еще клубились в небе, снова стало невидимым, бледные силуэты расплылись, растаяли, и беспредельный мрак опять со всех сторон окутал судно. Эта стена непроглядной ночи, это сплошное черное кольцо, эта внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила «Матути-

ну» и суживалась со зловещей медлительностью замерзающей полыньи. В зените — ни звезды, ни клочка неба: давящий, низко нависший потолок тумана. Урка очутилась как бы на дне глубокого колодца.

В этом колодце море казалось жидким свинцом. Вода застыла в суровой неподвижности. Никогда океан не бывает так угрюм, как в то время, когда он напоминает собою пруд.

Все было объято безмолвием, тишиной и глубоким мраком.

Тишина в природе бывает нередко грозным безмолвием.

Последние всплески улегшегося волнения изредка докатывались до бортов судна. Палуба, принявшая опять горизонтальное положение, лишь слегка накренялась то в одну, то в другую сторону. Кое-где еле заметно колыхались оборванные снасти. Висевшая вместо фонаря граната, в которой горела просмоленная пакля, уже не раскачивалась на бушприте, и с нее не стекали в море огненные капли. Ветерок, еще разгуливавший в облаках, не производил никакого шума. Густой рыхлый снег падал чуть-чуть косо. Уже не было слышно кипения волн у рифов. Могильная тишина.

После взрывов дикого отчаяния, пережитого несчастными, беспомощно носившимися по волнам, это внезапное затишье казалось невыразимым счастьем. Они решили, что настал конец их испытаниям. Все вокруг них и над ними как будто молча сговорилось спасти их. К ним опять вернулась надежда. Все, что за минуту перед тем было яростью, стало теперь спокойствием. Они сочли это верным признаком того, что мир заключен. Измученные люди вздохнули наконец полной грудью. Они могли теперь выпустить из рук обрывок каната или обломок доски, за которые до сих пор цеплялись, могли подняться, выпрямиться, стоять, ходить, двигаться. Неизъяснимое чувство покоя овладело ими. Во мраке бездны бывают иногда такие мгновения райского блаженства, служащие лишь подготовлением к чему-то иному. Было очевидно, что людям больше не угрожали ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порывы ветра, — от всего этого они уже избавились.

Отныне все им благоприятствовало. Часа через три-четыре забрезжит заря, их заметит и подберет какое-нибудь встречное судно. Самое страшное осталось позади. Они возвращались к жизни. Самое важное достигнуто: им удалось

продержаться на воде до прекращения бури. Они говорили себе: «Теперь уже конец».

Вдруг они убедились, что действительно пришел конец.

Один из матросов, уроженец Северной Бискайи, по имени Гальдеазун, спустился за канатом в трюм и, вернувшись, объявил:

— Трюм полон.

— Чего? — спросил главарь.

— Воды, — ответил матрос.

Главарь закричал:

— Что же это значит?

— Это значит, — ответил Гальдеазун, — что еще полчаса, и мы потонем.

17. Последнее средство

В днище оказалась пробоина. Судно дало течь. Когда это произошло? Никто не мог бы ответить на этот вопрос. Случилось ли это, когда их пригнало к Каскетам? Или когда они находились вблизи Ортаха? Или, может быть, когда их едва не затянуло в водоворот, к западу от Ориньи? Вероятнее всего, они вплотную подошли к «обезьяне», и там судно напоролось на острие подводного камня. Они не заметили толчка, так как их в это

время швыряло ветром из стороны в сторону. В состоянии столбняка не чувствуешь уколов.

Другой матрос, уроженец Южной Бискайи, которого звали Аве-Мария, тоже спустился в трюм и, вернувшись, сообщил:

— Воды в трюме на два вара.

Это около шести футов.

Аве-Мария прибавил:

— Через сорок минут мы пойдем ко дну.

В каком именно месте днище дало течь? Пробоины не было видно, ее скрывала вода, наполнявшая трюм, она находилась под ватерлинией, где-то глубоко в подводной части урки. Отыскать ее было невозможно. Невозможно было ее и заделать. Где-то была рана, а перевязать ее было нельзя. Впрочем, вода прибывала не слишком быстро.

Главарь крикнул:

— Надо выкачивать воду!

Гальдеазун ответил:

— У нас больше нет насосов.

— Тогда, — воскликнул главарь, — надо плыть к берегу!

— А где он, берег?

— Не знаю.

— И я не знаю.

— Но где-нибудь да должен быть?

— Конечно.

— Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу, — продолжал главарь.

— У нас нет лоцмана, — возразил Гальдеазун.

— Берись ты за румпель.

— У нас больше нет румпеля.

— Сделаем из первой попавшейся балки. Гвоздей! Молоток! Инструмент! Живо!

— Весь плотничный инструмент в воде, нет ничего.

— Все равно, будем как-нибудь править.

— Чем же править?

— Где шлюпка? В шлюпку! Будем грести!

— Нет шлюпки.

— Будем грести на урке.

— Нет весел.

— Тогда пойдем на парусах.

— У нас нет ни парусов, ни мачт.

— Сделаем мачту из лонг-карлинса, а парус из брезента. Выберемся отсюда, положимся на ветер.

— И ветра нет.

Действительно, ветер совсем улегся. Буря унеслась прочь, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью. Если

бы юго-западный ветер продолжал дуть с прежней яростью, он пригнал бы их к какому-нибудь берегу раньше, чем трюм наполнился водою, или, быть может, выбросил бы их на песчаную отмель до того, как судно начало тонуть. Шторм помог бы им добраться до суши. Но не было ветра, не было и надежды. Они погибали, потому что ураган утих.

Положение становилось безвыходным.

Ветер, град, шквал, вихрь — необузданные противники, с которыми можно справиться. Над бурей удается одержать верх, ибо она недостаточно вооружена. С врагом, который беспрестанно сам разоблачает свои намерения, мечется без толку и зачастую допускает промахи, всегда можно найти средства борьбы. Но против штиля нет никакого орудия. Тут не за что ухватиться.

Ветры — это налет диких всадников; держитесь стойко, и ватага рассеется. Штиль — это клещи палача.

Вода, тяжелая и неодолимая, медленно, но безостановочно прибывала в трюме, и, по мере того как она поднималась, урка все глубже погружалась. Это совершалось очень медленно.

Находившиеся на «Матутине» чувствовали, как мало-помалу на них надвигается ужасней-

шая гибель, гибель без борьбы. Ими овладела зловеще-спокойная уверенность в неизбежном торжестве слепой стихии. В воздухе не было ни малейшего дуновения, на воде — ни малейшей ряби. В неподвижности кроется что-то неумолимое. Пучина поглощала их в полном безмолвии. Сквозь слой немотствующей воды безгневно, бесстрастно, бесцельно, безотчетно и безучастно их притягивал к себе центр земного шара. Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни разверстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюстей шквала и моря, ни зева смерча, ни валов, вскипавших пеной в предвкушении добычи; теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности. Они чувствовали, что погружаются в спокойную глубину, которая была не что иное, как смерть. Расстояние от борта до воды постепенно уменьшалось — только и всего. Можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет совсем. Это было зрелище, прямо противоположное зрелищу наступающего прилива. Не вода поднималась к ним, а они опускались к ней. Они сами рыли себе могилу. Их могильщиком была их собственная тяжесть.

Им готовилась казнь не по людским законам, но по законам природы.

Снег все шел, и так как тонущее судно не двигалось, эта белая корпия пеленой ложилась на палубу, точно саваном покрывая урку.

Трюм постепенно наполнялся водой. Не было никаких средств остановить течь. У них не было даже черпака, который, впрочем, не мог бы принести никакой пользы — урка была палубным судном. Тремя-четырьмя факелами, воткнутыми куда попало, осветили трюм. Гальдеазун принес несколько старых кожаных ведер; решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но ведра оказались никуда не годными: одни расползлись по швам, у других было дырявое дно, и вода выливалась из них по дороге. Несоответствие между количеством воды прибывавшей и вычерпываемой казалось прямым издевательством. Прибывала целая бочка, убывал один стакан. Все старания не приводили ни к чему. Это напоминало усилия скупца, который пытается израсходовать миллион, тратя ежедневно по одному су.

Главарь сказал:

— Нужно облегчить судно.

Во время бури несколько сундуков, находившихся на палубе, канатами привязали к мачте. Они так и остались принайтовленными к ее

обломку. Теперь найтовы развязали и столкнули сундуки в воду через брешь в обшивке борта. Один из этих сундуков принадлежал уроженке Бискайи: у бедной женщины вырвалось горестное восклицание:

— Ах, ведь там мой новый плащ на красной подкладке! И мои кружевные чулки! И серебряные сережки, в которых я ходила к обедне в Богородицын день!

Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена. В ней, как помнит читатель, находился багаж пассажиров и тюки, принадлежавшие матросам.

Багаж вытащили и выкинули за борт через ту же брешь.

Тюки также столкнули в море.

Принялись до конца опоражнивать каюту. Фонарь, эзельгофт, бочонки, мешки, баки, бочки с пресной водой, котел с похлебкой — все полетело в воду.

Отвинтили гайки у чугунной печки, уже давно потухшей, сняли ее с цементной подставки, подняли на палубу, дотащили до бреши и бросили за борт.

Выкинули в море все, что можно было оторвать от внутренней обшивки, выбросили ридерсы,

ванты, обломки мачты и реи.

Время от времени главарь шайки брал факел и освещал цифры на носу урки, показывающие глубину осадки, стараясь определить, сколько еще продержится судно.

18. Крайнее средство

Избавившись от груза, «Матутина» стала погружаться немного медленнее, но все же продолжала погружаться.

Положение было отчаянное: ни на что уже не приходилось надеяться. Последнее средство было исчерпано.

— Нет ли там еще чего, что можно было бы бросить в море? — выкрикнул главарь.

Доктор, о котором все теперь позабыли, вышел из рубки и сказал:

— Есть.

— Что именно? — спросил начальник.

Доктор ответил:

— Наше преступление.

Все вздрогнули и в один голос воскликнули:

— Аминь!

Доктор весь вытянулся, мертвенно бледный, и, указав рукой на небо, произнес:

— На колени!

Они качнулись, собираясь пасть ниц.

Доктор продолжал:

— Бросим в море наши преступления. Они — наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Нечего больше думать о спасении жизни, подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные: тяжелее всего наше последнее преступление — то, которое мы сейчас совершили, или, вернее, довершили. Нет более дерзкого кощунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, — содеяно против Бога. Уехать было необходимо, знаю, но это была верная погибель. Тень, отброшенная нашим черным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам не о чем. Тут, неподалеку от нас, в этой непроглядной тьме, Вовильские песчаные отмели и мыс Гуг. Это — Франция. Для нас оставалось только одно убежище — Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу. Либо потонуть, либо быть повешенным — другого выбора у нас не было. Бог сделал выбор за нас. Возблагодарим же его. Он дарует нам могилу в пучине моря, которая смоет с нас грехи. Братья мои,

это было неизбежно. Подумайте, ведь мы сами только что сделали все от нас зависящее, чтобы погибло невинное существо, ребенок, и, быть может, в эту самую минуту в небе, над нашими головами, его чистая душа обвиняет нас перед лицом судии, взирающего на нас. Воспользуемся же последней отсрочкой. Постараемся, если только это еще возможно, исправить в пределах, нам доступных, содеянное нами зло. Если ребенок нас переживет, придем ему на помощь. Если он умрет, приложим все усилия к тому, чтобы заслужить его прощение. Снимем с себя тяжесть преступления. Освободимся от бремени, гнетущего нашу совесть. Постараемся, чтобы наши души не были отвергнуты Богом, ибо это было бы самой ужасной гибелью. Наши тела тогда достались бы рыбам, а души — демонам. Пожалейте самих себя! На колени, говорю вам! Раскаяние — ладья, которая никогда не идет ко дну. У вас нет больше компаса? Вы заблуждаетесь. Ваш компас — молитва.

Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуты безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лижут распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить — трудно, не верить — невозможно. Как бы ни

были несовершенны попытки существовавших и существующих религий измыслить картину загробного мира, но даже и тогда, когда вера человека носит неопределенный характер и предлагаемые ему догматы никак не согласуются с его смутными представлениями о вечности, все-таки в последнюю минуту невольный трепет овладевает его душой. За порогом жизни нас ждет что-то неведомое. Это и угнетает нас перед лицом смерти.

Час смерти — время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собою то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездной, как и неизведанное, и обе эти пропасти, одна — исполненная заблуждений, другая — ожидания, взаимно отражаются одна в другой. Это слияние двух пучин повергает в ужас умирающего.

Беглецы утратили последнюю надежду на спасение здесь, в земной жизни. Потому-то они и повернулись в противоположную сторону. Только там, во мраке вечной ночи, они еще могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым сразу же

снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала — все, затем — ничего. И видишь, и вместе с тем не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем.

Они воскликнули, обращаясь к доктору:

— Ты! Ты! Ты один теперь у нас. Мы исполним все, что ты велишь. Что нужно делать? Говори!

Доктор ответил:

— Нужно перешагнуть неведомую бездну и достигнуть другого берега жизни, по ту сторону могилы. Я знаю больше всех вас, и наибольшая опасность угрожает мне. Вы поступаете правильно, предоставляя выбор моста тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя.

И он прибавил:

— Сознание содеянного зла гнетет совесть.

Потом спросил:

— Сколько времени нам еще остается?

Гальдеазун взглянул на цифры, показывающие глубину осадки, и ответил:

— Немного больше четверти часа.

— Хорошо, — промолвил доктор.

Низкая крыша рубки, на которую он облокотился, представляла собою нечто вроде стола.

Доктор вынул из кармана чернильницу, перо и бумажник, вытащил из него пергамент, тот самый, на котором несколько часов назад он набросал строк двадцать своим неровным, убористым почерком.

— Огня! — распорядился он.

Снег, падавший безостановочно, как брызги пены водопада, погасил один за другим все факелы, кроме одного. Аве-Мария выдернул этот факел из гнезда и, держа его в руке, стал рядом с доктором.

Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу рубки чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал:

— Слушайте.

И вот среди моря, на неуклонно оседавшем остове судна, похожем на шаткий настил над зияющей могилой, доктор с суровым лицом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружавший их мрак. Осужденные на смерть, склонив головы, обступили старика. Пламя факела подчеркивало бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано на английском языке. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только

что прочитанное на французский, испанский, баскский или итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться в воду.

Когда чтение было окончено, доктор разложил пергамент на крыше рубки, взял перо и на оставленном для подписей месте под текстом вывел свое имя: «Доктор Гернардус Геестемюнде».

Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал:

— Подойдите и подпишитесь.

Первой подошла уроженка Бискайи, взяла перо и подписалась: «Асунсион».

Затем передала перо ирландке, которая, будучи неграмотной, поставила крест.

Доктор рядом с крестом приписал: «Барбара Фермой, с острова Тиррифа, что в Эбудах».

Потом протянул перо главарю шайки.

Тот подписался: «Гаиздорра, капталь».

Генуэзец вывел под этим свое имя: «Джанджирате».

Уроженец Лангедока подписался: «Жак Катурз, по прозванию Нарбоннец».

Провансалец подписался: «Люк-Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы».

Под этими подписями доктор сделал приме-

чание:

«Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже».

Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бискайи подписался: «Гальдеазун». Уроженец Южной Бискайи подписался: «Аве-Мария, вор».

Покончив с этим делом, доктор кликнул:

— Капгаруп!

— Есть, — отозвался провансалец.

— Фляга Хардкванона у тебя?

— Да.

— Дай-ка ее мне.

Капгаруп выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору.

Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно все больше и больше погружалось в море.

Скошенная к краям палуба медленно затоплялась плоской, постепенно возраставшей волной.

Все сбились в кучу на изгибе палубы.

Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, сложил пергамент тонкой трубкой, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал:

— Пробку!

— Не знаю, где она, — ответил Капгаруп.

— Вот обрывок гинь-лопаря, — предложил Жак Катурз.

Доктор заткнул флягу кусочком несмоленого троса и приказал:

— Смолы!

Гальдеазун отправился на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес его доктору: граната была до половины наполнена кипящей смолой.

Доктор погрузил горлышко фляги в смолу, затем вынул его оттуда. Теперь фляга, заключавшая в себе подписанный всеми пергамент, была закупорена и засмолена.

— Готово, — сказал доктор.

И в ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятный разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб:

— Да будет так!

— Mea culpa![171]

— Asi sea![172]

---

[171] Сноски: 171
Грешен (*лат.*).

[172] Сноски: 172
Да будет так (*исп.*).

— Aro rai![173]

— Amen![174]

Восклицания потонули во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказывавшегося внимать им.

Доктор повернулся спиною к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту. Подойдя к нему вплотную, он устремил взор в беспредельную даль и с чувством произнес:

— Со мной ли ты?

Он обращался, вероятно, к какому-то призраку.

Судно оседало все ниже и ниже.

Позади доктора все стояли, погруженные в свои думы. Молитва — неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под ее тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в безветрие парус, и мало-помалу эти сбившиеся в кучу суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали, хотя и по-разному, сокрушенную

---

[173] Сноски: 173
В добрый час (*баск.*).

[174] Сноски: 174
Аминь (*лат.*).

позу отчаяния и упования на божью милость. Быть может, то было отсветом разверзавшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица теперь легла печать спокойного достоинства.

Доктор снова подошел к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным. Безмолвие черных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не повергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствия его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие Бога.

В облике этого старика, этого углубленного в свои мысли преступника, была торжественность пастыря, хотя он об этом и не подозревал.

Он промолвил:

— Слушайте!

И, посмотрев с минуту в пространство, прибавил:

— Пришел наш смертный час.

Взяв факел из рук Аве-Марии, он взмахнул им в воздухе.

Стая искр оторвалась от пламени, взлетела и рассеялась во тьме.

Доктор бросил факел в море.

Факел потух. Последний свет погас, воцарился непроницаемый мрак. Казалось, над ними закрылась могила.

И в этой темноте раздался голос доктора:

— Помолимся!

Все опустились на колени.

Теперь они стояли уже не на снегу, а в воде.

Им оставалось жить лишь несколько минут.

Один только доктор не преклонил колея. Снежные хлопья падали, усеивая его фигуру белыми, похожими на слезы, звездочками и выделяя ее на черном фоне ночи. Это была говорящая статуя мрака.

Он перекрестился и возвысил голос, меж тем как палуба у него под ногами уже начала вздрагивать толчками, предвещающими близость момента окончательного погружения судна в воду. Он произнес:

— Pater noster, qui es in coelis[175].

Провансалец повторил это по-французски:

— Notre père qui êtes aux cieux.

Ирландка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискайи:

— Ar nathair ata ar neamh.

---

[175] Сноски: 175

Отче наш, иже еси на небесех (*лат.*).

Доктор продолжал:

— Sanctificetur nomen tuum[176].

— Que votre nom soit sanctifyé, — перевел провансалец.

— Naomhthar hainm, — сказала ирландка.

— Adveniat regnum tuum[177], — продолжал доктор.

— Que votre règne arrive, — повторил провансалец.

— Tigeadh do rioghachd, — подхватила ирландка.

Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч.

Доктор продолжал:

— Fiat voluntas tua[178].

— Que votre volonté soil faite, — пролепетал провансалец.

У обеих женщин вырвался вопль:

— Deuntar do thoil ar an Hhalàmb!

---

[176] Сноски: 176
Да святится имя Твое (*лат.*).

[177] Сноски: 177
Да приидет царствие Твое (*лат.*).

[178] Сноски: 178
Да будет воля Твоя (*лат.*).

— Sicut in coelo, et in terra[179], — произнес доктор.

Никто не отозвался.

Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Никто не встал. Стоя на коленях, они без сопротивления дали воде поглотить себя.

Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крышке рубки, и поднял ее над головой.

Судно шло ко дну.

Погружаясь в воду, доктор шепотом договаривал последние слова молитвы.

С минуту над водой виднелась еще его грудь, потом только голова, наконец лишь рука, державшая флягу, как будто он показывал ее бесконечности.

Но вот исчезла и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Все падал и падал снег.

Какой-то предмет вынырнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшаяся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.

---

[179] Сноски: 179
Как на небе, так и на земле (*лат.*).

Часть третья
Ребенок во мраке
1. Чесс-Хилл

На суше буря свирепствовала не меньше, чем на море.

Та же дикая ярость окружала и покинутого ребенка. Слабым и неискушенным приходится самим изыскивать способы борьбы с бешеным разгулом слепой стихии; мрак не делает различий; природа вовсе не так милосердна, как это предполагают.

Правда, на берегу почти не чувствовалось ветра; в холоде была какая-то странная неподвижность. Града не было. Но шел невероятно густой снег.

Град бьет, колотит, ранит, оглушает, разрушает, но снежные хлопья хуже града. Мягкие неумолимые снежинки делают свое дело втихомолку. Если до них дотронуться — они тают. Их чистота — то же, что искренность лицемера. Ложась слой за слоем, снежинки вырастают в лавину; нагромождая обман на обман, лицемер доходит до преступления.

Ребенок продолжал идти вперед в сплошном тумане. Туман на первый взгляд представляется легко преодолимым препятствием, но в этом-то и заключается его опасность: он отступает, но не рассеивается; так же как в снеге, в тумане есть нечто предательское. Ребенку, которому по странной прихоти судьбы приходилось бороться со всеми этими опасностями, удалось достигнуть конца спуска и выйти на Чесс-Хилл. Сам того не зная, он находился теперь на перешейке; по обеим сторонам от него простирался океан: достаточно было ему в ночном тумане и снежной метели сделать несколько неверных шагов, и он, ступив направо, упал бы в глубокие воды залива, а свернув налево — в бушующие волны открытого моря. Он шел, не подозревая о том, что идет между двумя безднами.

В те времена Портлендский перешеек имел необычайно суровый и дикий вид. Теперь этот перешеек уже ничем не напоминает то, чем он был прежде. С тех пор как из портлендского камня стали делать романский цемент, всю скалу изрыли сверху донизу, совершенно изменив этим ее первоначальный вид. Правда, там и в наши дни еще попадаются известняки нижнеюрской формации, сланцы и траппы, выступающие из

пластов смешанных пород, точно зубы из десен; но кирка разрыла и сровняла с землей эти остроконечные каменистые холмы, на которых вили свои безобразные гнезда стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться поморники и хищные чайки, любящие, подобно завистливым людям, грязнить все высокое. Напрасно стали бы там искать и исполинский монолит, прозванный Годольфином, что на древневаллийском языке означает «белый орел». Летом на этой изрытой и пористой, как губка, почве еще находят розмарин, мяту, дикий иссоп, морокой укроп, настой которого служит хорошим укрепляющим средством, и узловатую траву, растущую прямо на песке и употребляемую для изготовления циновок; но там уже не увидишь ни серой амбры, ни черного олова, ни трех разновидностей сланца — зеленого, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисицы, барсуки, выдры, куницы; на скалистых уступах Портленда, так же как и на высотах Корнуэла, водились прежде серны; теперь их больше нет. В некоторых местах еще ловят палтусов и сардин. Но вспугнутые лососи уже не поднимаются в период между днем св. Михаила и рождеством к верховьям Уэя, чтобы метать там икру. Сюда уже не прилетают, как в старину, во времена

Елизаветы, те неизвестные птицы величиною с ястреба, что расклевывали яблоко пополам и съедали только семена. Не видно тут и тех коварных желтоклювых ворон, называемых по-английски cornish dough, а по-латыни pyrrocarax, которые сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лоз. Не видно больше и переселившегося сюда с шотландского архипелага колдуна-буревестника, выпускавшего из клюва какой-то жир, который островитяне жгли в своих светильнях. Не встретить больше вечером в лужах, оставленных морским приливом, древней легендарной птицы со свиными ногами, мычавшей теленком. Приливом уже не выбрасывает на песок острозубую усатую нерпуху с загнутыми ушами, ползающую на ластах. На Портленде, ставшем в наши дни неузнаваемым, никогда не водились соловьи, потому что там не было лесов, но соколы, лебеди и морские гуси перевелись на нем сравнительно недавно. У теперешних портлендских овец жирное мясо и тонкое руно; но у тех немногочисленных иизкорослых овец, которые паслись здесь два века назад, питаясь соленой прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая; так и подобало кельтскому скоту, который стерегли во время оно пастухи,

евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстояний полумили пробивавшие латы своими аршинными стрелами. Где не возделана земля, там и шерсть груба. Нынешний Чесс-Хилл ничем не напоминает прежнего Чесс-Хилла: до такой степени все здесь преображено человеком и бешеными ветрами, разрушающими даже камень.

В наши дни по этой узкой косе проходит железная дорога, доходящая до Чезлтона, в котором новенькие дома расположены в шахматном порядке. Есть и станция «Портленд». Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны.

Двести лет назад Портлендский перешеек представлял собою двухсторонний скат со скалистым хребтом посредине.

Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли, только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножию утеса; на перешейке же он на каждом шагу рисковал провалиться в какую-нибудь рытвину. Раньше он имел дело с пропастью; теперь ему пришлось иметь дело с трясиной. На берегу моря все оказывается ловушкой: утесы — скользки, песок — зыбуч. Что ни изберешь точкой опоры — все обманчиво. Ходишь точно по стеклу. В любую минуту почва может раздаться у

вас под ногами, и вы исчезнете бесследно. Берег океана, как хорошо оборудованная сцена, имеет свои многоярусные люки.

Высокие гранитные склоны, в которые упираются оба ската перешейка, почти совсем недоступны. На них с трудом можно отыскать то, что на театральном языке называется выходом на сцену. Человек не должен рассчитывать на гостеприимство океана: ни скалы, ни волны не окажут ему радушного приема. Море заботится лишь с птицах и о рыбах. Перешейки всегда обнажены и каменисты. Волны, размывающие и подрывающие их с двух сторон, придают им резкие очертания. Всюду — острые выступы, гребни, пилообразные хребты, ужасные осколки треснувших глыб, впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами челюсть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным мхом, крутые обрывы скал, нависших над пенящимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые, величиною с дом, громады, имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков — омерзительную анатомию оголенных утесов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробирается через груды этих

обломков. Это почти то же самое, что ходить по костяку исполинского скелета.

Представьте же себе ребенка, совершающего этот Геркулесов подвиг.

При ярком дневном свете идти все-таки было бы легче, ко вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребенок был один. И взрослому человеку здесь пришлось бы немало потрудиться, а у него были только слабые силы ребенка. Проводника могла бы, на худой конец, заменить тропинка. Но тропинок здесь не было. Инстинктивно он избегал цепи острых утесов и старался держаться как можно ближе к берегу. Но на этом пути ему попадались рытвины. Их было три разновидности: одни — наполненные водой, другие — снегом, третьи — песком. Последняя разновидность всего страшнее, ибо песок засасывает.

Опасность, которую ждешь заранее, внушает тревогу; опасность неожиданная внушает ужас. Ребенок боролся с неведомыми ему опасностями. Он то и дело вслепую приближался к тому, что могло стать его могилой.

У него не было колебаний. Он огибал скалы, обходил провалы, чутьем угадывал расставленные мраком ловушки, преодолевал одно препятствие за другим и смело двигался вперед.

Не имея возможности идти прямо, он все-таки шел уверенно.

В случае надобности он мгновенно отступал. Он вовремя выбирался из трясины зыбучих песков. Он стряхивал с себя снег. Не раз оказывался он по колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шел быстро в своей обледеневшей одежде. При этом он как-то умудрился сохранить свою матросскую куртку сухой и теплой на груди. Голод по-прежнему мучил его.

Нет предела неожиданностям, кроющимся в бездне: тут все возможно, даже спасение. Исхода из нее не видно, но он существует. Каким образом ребенок, застигнутый снежной метелью, от которой у него захватывало дыхание, заблудившийся на узком подъеме между двумя разверстыми пропастями, не видя дороги, все-таки одолел перешеек, он и сам не мог бы объяснить. Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шел вперед — вот и все. В этом тайна всякой победы. Не прошло и часа, как он почувствовал, что поднимается в гору: он достиг другого конца перешейке, он оставил позади себя Чесс-Хилл, он стоял уже на твердой почве.

Моста, соединяющего теперь Сендфорд-Кэс со

Смолмоус-Сендом, в ту пору не существовало. Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высящегося как раз напротив Уайк-Реджиса, где тогда пролегала песчаная коса — природное шоссе, пересекавшее Ист-Флит.

Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке, но все еще находился лицом к лицу с бурей, с зимою, с ночью.

Перед ним снова простиралась во мгле необъятная равнина.

Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку.

Вдруг он наклонился.

Он заметил на снегу что-то, похожее на след.

В самом деле это был след, след человеческой ноги. Ее отпечаток совершенно явственно виднелся на белой пелене снега. Ребенок стал рассматривать его. След был оставлен босой ступней; нога была меньше мужской, но больше детской.

Вероятно, это была нога женщины.

За первым следом был второй, за ним третий, следы шли на расстоянии шага один от другого и уклонялись вправо по равнине. Следы были еще свежие, слегка припорошенные снегом. Здесь несомненно прошла недавно женщина.

Она, по-видимому, направилась в ту сторону,

где ребенок разглядел дым.

Не спуская глаз с этих следов, ребенок пошел по ним.

2. Действие снега

Некоторое время он шел по этим следам. К несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег так и валил. Это было как раз то время, когда «Матутина» под тем же снегопадом шла к своей гибели в открытом море.

Ребенок, боровшийся, так же как и судно, со смертью, хотя она и предстала ему в ином облике, не видел в окружавшей его со всех сторон непроглядной тьме ничего, кроме этих следов на снегу, и он ухватился за них, как за путеводную нить.

Вдруг — потому ли, что их окончательно замело снегом, или по другой причине — следы пропали. Все вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо — черной.

Можно было подумать, что женщина, проходившая здесь, улетела.

Выбившийся из сил ребенок наклонился к земле и стал приглядываться. Увы, тщетно.

Не успел он выпрямиться, как ему почудился

какой-то непонятный звук, но у него не было уверенности, что он не ослышался. Звук был похож на голос, на вздох, на неуловимый лепет, и, казалось, исходил скорее от человека, чем от животного. Однако в нем было что-то замогильное, а не живое. Это был звук, какой нам слышится иногда сквозь сон.

Он посмотрел вокруг, но ничего не увидел.

Перед ним расстилалась бесконечная, голая, мертвенная пустыня. Он прислушался. Звук прекратился. Быть может, это ему только почудилось? Он прислушался еще раз. Все было тихо.

Очевидно, в густом тумане что-то вызывало слуховую галлюцинацию. Он снова двинулся в путь.

Он брел теперь наугад.

Едва прошел он несколько шагов, как звук возобновился. На этот раз он уже не мог сомневаться. Это был стон, почти рыдание.

Звук вновь повторился.

Если души, находящиеся в чистилище, могут стонать, то, вероятно, они стонут именно так.

Трудно представить себе что-либо более трогательное, душераздирающее и вместе с тем более слабое, чем этот голос. Ибо это был голос — голос, принадлежавший человеческому суще-

ству. В этом жалобном и, казалось, безотчетном стенании чувствовалось биение чьей-то жизни. Это молило о помощи живое страдание, не сознающее того, что оно страждет и молит. Этот стон, бывший, может быть, первым, может быть, последним вздохом, в равной мере напоминал предсмертный хрип и крик новорожденного. Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба, доносившаяся неизвестно откуда.

Ребенок зорко посмотрел во все стороны: вдаль, вблизи себя, вверх, вниз. Никого и ничего.

Он напряг слух. Звук раздался еще раз. Он явственно услыхал его. Голос немного напоминал блеяние ягненка.

Тогда ему стало страшно, ему захотелось убежать.

Стон повторился. Уже четвертый раз. В нем была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это — последнее усилие, скорее невольное, чем сознательное, и что сейчас этот крик, вероятно, умолкнет навсегда. Это была мольба о помощи, безотчетно обращенная умирающим в пространство, откуда должно было прийти спасение; это был предсмертный лепет, взывавший к незримому провидению. Ребенок пошел в ту сторону, где слышался голос.

Он по-прежнему ничего не видел.

Чутко прислушиваясь, он сделал еще несколько шагов.

Стенание не прекращалось. Из нечленораздельного и еле внятного оно сделалось теперь явственным и громким. Это было где-то совсем близко. Но где именно?

Кто-то рядом жалобно взывал. Эти дрожащие звуки раздавались возле него. Человеческий стон, носившийся где-то в пространстве, — вот что слышал ребенок в непроглядном мраке. Таково по крайней мере было его впечатление, смутное, как густой туман, в котором он блуждал.

Колеблясь между безотчетным желанием бежать и безотчетным желанием остаться, он вдруг заметил на снегу, в нескольких шагах от себя, волнообразное возвышение размером с человеческое тело, невысокий бугорок, продолговатый и узкий, нечто вроде белой могильной насыпи на заснеженном кладбище.

В эту минуту стон перешел в крик.

Он доносился из-под этого холмика.

Ребенок нагнулся, присел на корточки перед снежным сугробом и принялся торопливо разгребать его обеими руками.

По мере того как он расчищал снег, перед ним

стали обрисовываться очертания человеческого тела, и вдруг в вырытом углублении показалось бледное лицо.

Но кричало не это существо. Нет, глаза его были закрыты, а рот хотя и открыт, но полон снега.

Лицо было неподвижно. Оно не дрогнуло, когда ребенок дотронулся до него рукой. Ребенок, обморозивший себе кончики пальцев, отпрянул, ощутив холод этого лица. Это была голова женщины. В разметавшиеся волосы набился снег. Женщина была мертва.

Ребенок снова принялся разгребать снег. Показалась шея покойницы, потом верхняя часть туловища, прикрытая лохмотьями, сквозь которые виднелось голое тело.

Вдруг он почувствовал под своими руками легкое движение. Что-то маленькое шевелилось под снежным сугробом. Мальчик быстро раскидал снег и увидел на обнаженной груди матери жалкое тельце крошечного, совершенно голого младенца, хилого, посиневшего от холода, но еще живого.

Это была девочка.

Рваные пеленки, в которые ее завернули, были, должно быть, короткими, и она, ворочаясь, выбилась из них. Тепло, исходившее от ее щуплого

тельца и от ее дыхания, растопило вокруг нее немного снега. Кормилица дала бы ей на вид месяцев пять-шесть, но ей было, вероятно, около года: ведь нищета ведет детей к рахитизму и задерживает их рост. Как только лицо малютки показалось из-под снега, горький плач ее сменился резким криком. Мать, несомненно, была мертва, если этот отчаянный вопль не мог разбудить ее.

Мальчик взял малютку на руки.

Эта мать, застывшая на снегу, производила страшное впечатление. Казалось, ее лицо светится каким-то призрачным светом. Ее отверстый бездыханный рот как будто готовился отвечать на невнятном языке теней на вопросы, предлагаемые там, в незримом мире, мертвецам. На лице ее лежал тусклый отпечаток белеющих кругом снежных просторов. Виднелось юное чело, обрамленное темными волосами, почти негодующе нахмуренные брови, сжатые ноздри, закрытые веки, слипшиеся от инея ресницы и спускавшиеся от углов глаз к концам губ следы обильных слез. Снег бросал бледный отблеск на это мертвое лицо. Зима и могила отнюдь не враждебны друг другу. Труп — это обледеневший человек. В наготе груди было нечто возвышенно-трогательное. Она

исполнила свое назначение. Лежавшая на ней трагическая печать увядания свидетельствовала о том, что это безжизненное существо дало жизнь другому существу: девственную чистоту сменило величие материнства. На одном соске белела жемчужина. Это была замерзшая капля молока.

Поясним сразу, что по тем же самым равнинам, по которым шел покинутый мальчик, незадолго до него брела в поисках крова заблудившаяся нищенка с младенцем у груди. Окоченев от холода, она свалилась под бурным порывом ветра и не могла уже подняться. Ее замело вьюгой. Из последних сил она прижала к себе ребенка и так умерла.

Малютка пыталась прильнуть губами к этому мрамору. В бессознательной доверчивости, с которой она искала себе пищи, не было ничего противного законам природы, ибо мать, только что испустившая последний вздох, по-видимому, еще способна накормить грудью ребенка.

Но ротик младенца не мог найти соска, на котором застыла похищенная смертью капля молока, и малютка, более привыкшая к колыбели, чем к могиле, закричала под снегом.

Покинутый мальчик услыхал вопль погибавшей крошки.

Он вырыл ее из сугроба.

Он взял ее на руки.

Почувствовав, что ее держат на руках, она перестала кричать. Лица двух детей соприкоснулись, и посиневшие губы младенца прильнули к щеке мальчика, как к материнской груди.

Малютка была близка к тому состоянию, когда застывающая кровь останавливает биение сердца. Мать уже успела приобщить ее в какой-то мере к своей смерти; холод трупа распространяется на окружающее: ножки и ручки малютки были словно скованы этим ледяным холодом. Мальчик тоже почувствовал на себе его дыхание.

Из всей одежды на нем осталась сухой и теплой только матросская куртка. Положив крошку на грудь умершей, он снял с себя куртку, закутал в нее девочку, снова взял ее на руки и, сам теперь полуголый, ничем почти не защищенный от бушующей вьюги, держа малютку в объятиях, опять тронулся в путь.

Снова отыскав щеку мальчика, младенец прильнул к ней губами, и, согревшись, уснул. Это было первым поцелуем двух детских душ, встретившихся во мраке.

Мать осталась лежать в снегу; лицо ее было обращено к ночному небу. Но в ту минуту, когда

мальчик снял с себя куртку, чтобы завернуть в нее малютку, покойница, быть может, увидела это из беспредельности, где уже была ее душа.

3. Тягостный путь еще тяжелее от ноши

Прошло более четырех часов с того момента, как урка покинула воды Портлендской бухты, оставив мальчика одного на берегу. За те долгие часы, когда он, брошенный всеми, брел куда глаза глядят, ему повстречались здесь, в человеческом обществе, в которое ему, быть может, предстояло вступить, лишь трое: мужчина, женщина и ребенок. Мужчина — тот, что был на холме; женщина — та, что лежала в снегу; ребенок — девочка, которую он нес на руках.

От усталости и голода он еле держался на ногах. Но он шел вперед еще решительнее, чем прежде, хотя теперь у него прибавилась ноша, а сил убавилось. Он был почти совсем раздет. Еле прикрывавшие его лохмотья, обледенев на морозе, подобно стеклу резали тело и обдирали кожу. Он замерзал, зато девочка согревалась. То, что терял он, не пропадало даром, а шло на пользу малютке. Он ощущал это тепло, возвращавшее ее

к жизни, и упорно шел вперед.

Время от времени, стараясь не выронить ноши, он нагибался, захватывал полную горсть снега и растирал себе ступни, чтобы не дать им закоченеть.

Порою же, когда у него пересыхало в горле, он набирал в рот немного снегу и сосал его; это ненадолго утоляло жажду, но вызывало озноб. Мимолетное облегчение лишь усиливало страдания.

Вьюга, разбушевавшись, уже не знала пределов своему неистовству, — в природе наблюдаются явления, которые следовало бы назвать снежными потопами. Это и было таким потопом. Беснуясь, буря обрушилась не только на океан: она свирепствовала и на побережье. Вероятно, как раз в это время урка, беспомощно носясь по волнам, теряла в поединке с рифами последние остатки такелажа.

Двигаясь сквозь вьюгу на восток, ребенок пересек широкие снежные пространства. Он не имел представления, который мог быть час. Уже давно не различал он никакого дыма. Такие приметы исчезают во мраке ночи довольно скоро, не говоря уже о том, что час был поздний и огни давно были потушены; в конце концов, он, может быть,

просто ошибся, и в той стороне, куда он направлялся, не было ни города, ни селения.

Но эти сомнения нисколько не ослабили его решимости.

Два-три раза малютка принималась кричать. Не останавливаясь, он укачивал ее на ходу; она успокаивалась и умолкала. Наконец она заснула крепким, безмятежным сном. Сам дрожа от холода, он чувствовал, что ей тепло.

Он то и дело запахивал плотнее куртку вокруг шейки малютки, чтобы в разошедшиеся складки не забился иней и чтобы к тельцу ребенка не было ни малейшего доступа таявшему снегу.

Поверхность равнины была волнистой. В ложбинах, где она понижалась, ветром намело такие сугробы, что мальчик утопал в них чуть не по грудь и с трудом прокладывал себе дорогу, расталкивая снег коленями.

Выбравшись из лощины, он попал на плоскогорье, со всех сторон открытое ветрам, где снег лежал лишь тонким слоем. Там была гололедица.

Теплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но увлажненные волосы на виске тотчас же превращались в сосульку.

Он отдавал себе отчет, насколько усложнилась его задача: ему уже нельзя было упасть. Он чувствовал, что, упав, он больше не подымется. Он изнемогал от усталости, и мрак немедленно придавил бы его своей свинцовой тяжестью к земле, а мороз заживо приковал бы его к ней, как ту покойницу. До сих пор он уже не раз висел над пропастью, но спускался благополучно; не раз спотыкался, попадая ногою в ямы, но выбирался из них невредимым; теперь же всякое падение было равносильно смерти. Неверный шаг развернул бы перед ним могилу. Ему нельзя было поскользнуться: у него не хватило бы сил даже привстать на колени. А между тем поскользнуться можно было на каждом шагу: все пространство вокруг покрылось ледяной корой.

Девочка, которую он нес, страшно мешала ему идти; это была не только тяжесть, непосильная при его усталости и истощении, это была еще и помеха. Обе руки у него были заняты, между тем при гололедице именно руки служат пешеходу необходимым естественным балансиром.

Надо было обходиться без этого балансира.

Он и обходился без него и шел, не зная, как ему управиться с ношей.

Малютка оказалась каплей, переполнившей

чашу его бедствий.

Он продвигался вперед, ставя ноги как на туго натянутом канате, проделывая чудеса равновесия, которых никто не видел. Впрочем, повторяем, быть может на этом скорбном пути за ним из мрака бесконечности следили открывшиеся глаза матери да око божие.

Он шатался, оступался, но удерживался на ногах, все время заботясь о малютке, закутывая ее поплотнее в куртку, покрывая ей головку, опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова выпрямлялся. У ветра же хватало низости еще подталкивать его.

Он, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинкливская ферма, на полпути между нынешними Спринг-Гарденсом и Персонедж-Хаузом. В настоящее время там — фермы и коттеджи, тогда же там была пустошь. Нередко меньше, чем за столетие, голая степь превращается в город.

Вдруг слепившая ему глаза и пронизывавшая холодом метель на минуту затихла, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы — целый город, выступавший белым пятном на черном фоне горизонта, так сказать, силуэт наизнанку, нечто вроде того, что теперь

называют негативом.

Кровли, жилища, ночлег! Он, значит, куда-то добрался! Он почувствовал неизъяснимый прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда. Вахтенный на сбившемся с курса судне, кричащий своим спутникам: «Земля!», переживает подобное же волнение. Ребенок ускорил шаги.

Он наконец нашел людей. Он сейчас увидит живые лица. Куда девался страх! Он чувствовал себя в безопасности, и от одного этого сознания кровь быстрей потекла в его жилах. С тем, что ему только что пришлось пережить, было, значит, покончено навсегда. Не будет больше ни ночи, ни зимы, ни вьюги. Ему казалось, что все самое страшное теперь позади. Малютка уже нисколько не обременяла его. Он почти бежал.

Его глаза были прикованы к этим кровлям. Там, под ними, была жизнь. Он не сводил с них взгляда. Так смотрел бы мертвец на мир, представший ему сквозь приоткрытую крышку гроба. Это были те самые трубы, дым которых он видел издалека.

Теперь ни одна из них не дымилась.

Он быстро дошел до первых домов. Он вступил в предместье, представлявшее собою открытый въезд в город. В ту эпоху уже отмирал обычай загораживать улицы на ночь.

Улица начиналась двумя домами. Однако в них не было видно ни одной горящей свечи, ни одной лампы, так же как и во всей улице и во всем городе — нигде не было ни одного огонька.

Дом направо был похож скорее на сарай, чем на жилое строение, до того он был невзрачен; стены были глинобитные, крыша соломенная и по сравнению со стенами несоразмерно велика. Большой куст крапивы, разросшийся у стены, доходил чуть не до застрехи. В лачуге была одна только дверь, похожая на кошачью лазейку, и лишь одно крошечное окошко под самой кровлей. Все было заперто. Рядом, в хлеву, глухо хрюкала свинья; это свидетельствовало о том, что и дом обитаем.

Дом слева был высоким, длинным каменным зданием с аспидной крышей. Палаты богача, выросшие против лачуги бедняка.

Мальчик, не колеблясь, направился к большому дому. Тяжелая дубовая двустворчатая дверь с узором из крупных шляпок гвоздей не вызывала сомнения в том, что она заперта на несколько крепких засовов и замков; снаружи висел железный молоток.

Ребенок не без труда поднял молоток — его окоченевшие руки были скорее обрубками, чем руками. Он постучал.

Никакого ответа.

Он постучал еще раз, теперь в два удара.

В доме не слышно было ни малейшего движения.

Он постучал в третий раз. Никто не откликнулся.

Он понял, что хозяева либо опят, либо не желают подняться с постели.

Тогда он подошел к бедному дому. Разыскав в снегу булыжник, он постучал им в низенькую дверь.

Никакого ответа.

Привстав на носки, он стал барабанить камнем в окошечко — достаточно осторожно, чтобы не разбить стекла, но достаточно громко, чтобы его услышали.

Никто не отозвался, никто не шевельнулся, никто не зажег свечи.

Он понял, что здесь тоже не хотят вставать.

И в каменных палатах и в крытой соломой хижине люди были одинаково глухи к мольбам обездоленных.

Мальчик решил идти дальше и направился в тянувшийся прямо перед ним узкий переулок, настолько мрачный, что его можно было скорее принять за ущелье между скалами, чем за город-

скую улицу.

4. Иного рода пустыня

Поселок, в который он попал, назывался Уэймет.

Тогдашний Уэймет не был нынешним почтенным и великолепным Уэйметом.

В старинном Уэймете не было, подобно теперешнему Уэймету, безукоризненной, прямой, как стрела, набережной со статуей Георга III и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георга III в то время еще не было на свете. По той же причине на зеленом склоне холма, к востоку от Уэймета, еще не красовалось занимающее теперь чуть ли не целый арпан и сделанное из подстриженного дерна, уложенного на обнаженной почве, изображение некоего короля верхом на белом коне с развевающимся хвостом, обращенным, в честь того же Георга III, в сторону города. Впрочем, почести эти были заслужены: Георг III, лишившийся в старости рассудка, которым он не обладал и в молодости, не ответственен за бедствия, происшедшие в его царствование. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятник и ему?

Сто восемьдесят лет тому назад Уэймет отличался приблизительно той же симметричностью, что и сваленная в беспорядке куча бирюлек. Легендарная Астарот иногда прогуливалась по земле с мешком за плечами, в котором было все решительно, включая и домики с добрыми хозяйками. Груда домишек, выпавшая из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности уэйметских жилищ и даже о добрых уэйметских хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся доныне Дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою; уродливые, покосившиеся на сторону строения, из коих одни опирались на столбы, а другие прислонялись к соседним домишкам, чтобы не свалиться под напором морского ветра, узкие, кривые, извилистые проходы, переулки, перекрестки, часто затопляемые морским приливом, ветхие лачуги, лепившиеся вокруг старинной церкви, — вот что представлял собой в ту пору Уэймет. Уэймет был чем-то вроде древнего нормандского поселка, выброшенного волнами на английский берег.

Путешественник, заходивший в таверну, на месте которой стоит ныне гостиница, вместо того

чтобы потребовать жареной камбалы и бутылку вина и с королевской щедростью заплатить двадцать пять франков, скромно съедал за два су тарелку рыбной похлебки, впрочем отменно вкусной. Все это было очень убого.

Покинутый ребенок, неся на руках найденную им девочку, прошел одну улицу, затем другую, третью. Он смотрел вверх, надеясь найти хоть одно освещенное окно, но все дома были наглухо заперты и темны. Иногда он стучался в какую-нибудь дверь. Никто не отзывался. Теплая постель обладает способностью превращать человеческое сердце в камень. Стук и толчки разбудили в конце концов малютку. Он заметил это, потому что она принялась сосать его щеку. Она не кричала, так как думала, что лежит на руках у матери.

Быть может, ему пришлось бы долго кружить и блуждать по лабиринту переулков Скрамбриджа, где в то время было больше огородов, чем домов, и больше изгородей из кустов терновника, чем жилых строений, если бы по счастливой случайности он не забрел в узкий проход, еще существующий и в наши дни возле школы Троицы. Этот проход вывел его к отлогому берегу, где было сооружено некое подобие набережной с парапетом. Направо от себя он увидел мост.

Мост этот, переброшенный через Уэй, был тот самый, что и теперь соединяет Уэймет с Мелкомб-Реджисом, — мост, под пролетами которого гавань сообщается с рекой, прегражденной плотиной.

Уэймет был еще в те времена предместьем портового города Мелкомб-Реджиса. Теперь Мелкомб-Реджис — один из приходов Уэймета. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты — это своеобразные насосы, перекачивающие население из одной местности в другую и иногда способствующие росту какого-нибудь прибрежного селения за счет его соседа на противоположном берегу.

Мальчик направился к мосту, который представлял собой в те времена просто крытые деревянные мостки. Он прошел по этим мосткам.

Благодаря крыше на настиле моста не было снега. Ступая босыми ногами по сухим доскам, он испытал на минуту блаженное ощущение.

Перейдя мост, он очутился в Мелкомб-Реджисе.

Здесь деревянных домиков было меньше, чем каменных. Это было уже не предместье, это был город. Мост упирался в довольно красивую улицу св. Фомы. Мальчик пошел по ней. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома с резным

щипцом, там и сям попадались окна лавок. Он снова стал стучаться в двери. У него уже не было сил ни звать, ни кричать.

Никто не откликался в Мелкомб-Реджисе, так же, как это было и в Уэймете. Все двери были крепко заперты на замок. Окна были закрыты ставнями, как глаза веками. Были приняты все меры предосторожности против внезапного, всегда неприятного пробуждения.

Маленький скиталец испытал на себе не выразимое никакими словами влияние спящего города. Безмолвие такого оцепеневшего муравейника способно вызвать головокружение. Кошмары тяжелого сна, что толпой теснятся в мозгу неподвижно распростертых человеческих тел, как будто исходят от них клубами дыма. Смутная мысль спящих реет над ними то легким туманом, то тяжким угаром и сливается с несбыточными их мечтами, которые, пожалуй, тоже витают в пространстве, где-то на грани сна и действительности. Отсюда вся эта путаница наших снов. Грезы, наплывая облаком, порою плотным, порою прозрачным, заслоняют собою звезду, имя которой разум. За сомкнутыми веками глаз, где зрение вытеснено сновидением, проносятся призрачные силуэты, распадающиеся образы,

совсем живые, но неосязаемые, и кажется, что рассеянные где-то в иных мирах таинственные существования сливаются с нашей жизнью на том рубеже смерти, который называется оном. Этот хоровод призраков и душ кружится в воздухе. Даже тот, кто не спит, чувствует, как давит его эта среда, исполненная зловещей жизни. Окружающие его химеры, в которых он угадывает нечто реальное, не дают ему покоя. Бодрствующий человек проходит по спящим улицам точно сквозь мглу чужих сновидений, безотчетно сопротивляясь натиску наступающих на него призраков; он испытывает (или, во всяком случае, ему кажется, будто он испытывает) ужас соприкосновения с незримыми и враждебными существами; каждое мгновение он сталкивается с чем-то неизъяснимым, что сейчас же пропадает бесследно. В этом ночном странствии среди летучего хаоса сонных грез есть нечто общее с блужданием в дремучем лесу.

Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом.

У ребенка это чувство проявляется еще сильнее, чем у взрослых.

Ужас, внушаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем как будто вымерших домов,

усугублял тяжесть бедственного его положения.

Войдя в Коникер-лейн, он увидел в конце этого переулка запруженную реку и принял ее за океан; он уже не мог бы сказать, в какой стороне находится море; он возвратился на прежнее место, свернул влево по Мейдн-стрит и пошел назад по Сент-Олбенс-роу.

Там он стал уже без разбора громко стучать в первые попавшиеся дома. Беспорядочно сыпавшиеся отрывистые удары, в которые он влагал свои последние силы, повторялись через определенные промежутки все с большей и большей яростью. Это билось в двери его иссякшее терпение.

Наконец раздался ответный звук.

Ответили часы.

На старинной колокольне церкви св. Николая медленно пробило три часа ночи.

Затем все снова погрузилось в безмолвие.

Может показаться невероятным, что ни один из жителей города не приоткрыл даже окошка. Однако это находит некоторое объяснение. Надо сказать, что в январе 1690 года только что улеглась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне, и боязнь впустить к себе в дом какого-нибудь больного бродягу вы-

звала во всей стране, упадок гостеприимства. Не решались даже слегка приотворить окно, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха.

Холодность людей была для ребенка еще страшнее, чем холод ночи. В ней ведь всегда чувствуется преднамеренность. Сердце у него болезненно сжалось: он впал в большее уныние, чем там, в пустыне. Он вступил в общество себе подобных, но продолжал оставаться одиноким. Это было мучительно. Безжалостность пустыни была ему понятна, но беспощадное равнодушие города казалось ему чудовищным. Мерные звуки колокола, отбивающего истекшие часы, повергли его в еще большее отчаяние. Порою ничто не производит такого удручающего впечатления, как бой часов. Это — откровенное признание в полном безразличии. Это — сама вечность, заявляющая громогласно: «Какое мне дело?»

Он остановился. Как знать, может быть в эту горькую минуту он задал себе вопрос: не лучше ли лечь прямо на улице и умереть? Но в это время девочка склонила головку к нему на плечо и опять заснула. Инстинктивная доверчивость малютки побудила его идти дальше.

Он, вокруг которого все рушилось, почувствовал, что сам является чьей-то опорой. При таких

обстоятельствах в человеке пробуждается голос долга.

Но ни эти мысли, ни состояние, в котором он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что все это было выше уровня его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчета.

Он направился к Джонсон-роу.

Он уже не шел, а еле волочил ноги.

Оставив по левую руку от себя Сент-Мери-стрит, он миновал несколько кривых переулков и, пробравшись через узкий извилистый проход между двумя лачугами, очутился на довольно обширном незастроенном поле. Этот пустырь находился приблизительно в том месте, где теперь Честерфилдская площадь. Здесь дома кончались. Направо виднелось море, налево — редкие хижины предместья.

Как быть? Опять начиналась голая равнина. На востоке простирались покрытые пеленою снега широкие склоны Редипола.

Что делать? Идти дальше? Уйти снова в безлюдье? Вернуться назад на городские улицы? Что предпочесть: безмолвие снежных полей или глухой, бездушный город? Которое выбрать из этих двух зол?

Существует якорь спасения, существует и взгляд, молящий о спасении. Именно такой взгляд кинул вокруг себя отчаявшийся ребенок.

Вдруг он услышал угрозу.

5. Причуды мизантропа

Какой-то странный, пугающий скрежет донесся до него из темноты.

Тут было от чего попятиться назад. Однако он пошел вперед.

Тому, кого удручает безмолвие, приятно даже рычание.

Эта свирепо разверстая пасть ободрила его. Угроза сулила какой-то выход. Здесь, неподалеку, было живое, не погруженное в сон существо, хотя бы и дикий зверь. Он пошел в ту сторону, откуда доносилось рычание.

Он повернул за угол и при мертвенно-тусклых отсветах снега увидел какое-то темное сооружение, приютившееся у самой стены: не то повозку, не то хижину. Оно стояло на колесах, — значит, повозка. Но у него была крыша, как у дома, — значит, людское жилье. Над крышей торчала труба, из трубы шел дым. Дым был красноватого цвета, что свидетельствовало о жарко горящем очаге.

Петли, приделанные снаружи на стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырехугольное отверстие в середине двери виден был свет, горевший в хижине. Ребенок подошел ближе.

Существо, издававшее рычание, почуяло его. Когда он приблизился к повозке, угрожающие звуки стали еще яростнее. Это уже было не глухое ворчанье, а громкий вой. Он услыхал лязг натянувшейся цепи, и внезапно между задними колесами повозки, под самой дверью, блеснул двойной ряд острых белых клыков.

В ту же минуту, как между колесами показалась звериная морда, в четырехугольное отверстие двери просунулась чья-то голова.

— Молчать! — крикнула голова.

Вой прекратился.

Голова спросила:

— Есть тут кто-нибудь?

Ребенок ответил:

— Да.

— Кто?

— Я.

— Ты? Кто ты? Откуда ты?

— Я устал, — сказал ребенок.

— А который теперь час?

— Я озяб.

— Что ты там делаешь?

— Я голоден.

Голова возразила:

— Не всем же быть счастливыми, как лорды. Убирайся прочь!

Голова скрылась. Форточка захлопнулась.

Ребенок опустил голову, прижал к себе спящую малютку и собрал последние силы, чтобы снова тронуться в путь. Он уже отошел на несколько шагов от возка.

Но в то самое время, как закрылась форточка, распахнулась дверь, и опустилась подножка. Голос, только что говоривший с мальчиком, сердито окликнул его из глубины возка:

— Ну, что ж ты не входишь?

Ребенок обернулся.

— Входи же, — продолжал голос. — И откуда это еще взялся на мою беду такой негодяй? Голоден, озяб, а входить не хочет.

Ребенок, которого одновременно прогоняли и звали, стоял не двигаясь.

Голос продолжал:

— Говорят тебе, входи, бездельник!

Мальчик наконец решился и уже занес ногу на первую ступеньку лестницы.

Но в эту минуту под тележкой послышалось рычанье.

Он отступил. Из-под возка опять показалась разинутая пасть.

— Молчать! — крикнул человеческий голос.

Пасть исчезла. Рычанье прекратилось.

— Влезай! — продолжал человек.

Ребенок с трудом поднялся по трем ступенькам лестницы. Его движениям мешала девочка, которую он держал на руках; она вся закоченела, хотя так плотно была закутана в куртку, что ее совсем не было видно: это был какой-то бесформенный сверток.

Одолев все три ступеньки, мальчик остановился на пороге.

В домике не горело ни одной свечи — вероятно, из нищенской экономии. Он был освещен лишь красноватым отблеском, вырывавшимся из дверцы чугунной печки, где потрескивал торф. На печке стояла дымившаяся миска и горшок, в котором, по-видимому, готовилось какое-то кушанье. От него шел приятный запах. Все убранство домика состояло из сундука, скамьи и подвешенного к потолку незажженного фонаря. По стенам, на подставках, было укреплено несколько полок и вбит ряд крюков, на которых висела разная

утварь. На полках и отдельно, на гвоздях, поблескивала стеклянная и медная посуда, перегонный куб, колба, похожая на сосуд для плавления воска, и множество странных предметов, назначения которых ребенок не мог себе объяснить и которые составляют кухню химика. Домик имел продолговатую форму; печь помещалась в самой глубине. Это была даже не клетушка, а деревянный ящик не слишком больших размеров. Снаружи домик был освещен снегом сильнее, чем изнутри — печкой. Полумрак, наполнявший каморку, скрадывал все очертания. Тем не менее благодаря отсвету пламени можно было прочитать на потолке слова, написанные крупными буквами: «Урсус, философ».

В самом деле, ребенок очутился в жилище Гомо и Урсуса. Рычание, которое мы только что слышали, было рычанием Гомо, а голос — голосом Урсуса.

Переступив порог, ребенок увидел около печки высокого пожилого мужчину, худощавого и гладко выбритого; он был одет во что-то серое и стоял, упираясь лысым черепом в самый потолок. Человек этот не мог приподняться на носки: каморка была высотою как раз в его рост.

— Входи, — сказал человек. Это был Урсус.

Ребенок вошел.

— Узелок положи вон туда.

Ребенок, боясь испугать и разбудить малютку, бережно опустил на сундук свою ношу.

Мужчина продолжал:

— Что это ты так осторожно кладешь? Мощи там у тебя, что ли? Уж не боишься ли ты разорвать свое тряпье? Ах, мерзкий бездельник! В такой час слоняться по улицам! Кто ты? Отвечай! Впрочем, не надо никаких разговоров! Сперва проделаем самое неотложное: ты прозяб, ступай погрейся.

И, взяв мальчика за плечи, он толкнул его к печке.

— Ну и промок же ты! Ну и замерз же ты! И в таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом? Ну-ка, сбрасывай поскорее с себя всю эту ветошь, негодяй!

И с лихорадочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались на клочья, а другою снял с гвоздя мужскую рубашку и вязаную фуфайку.

— Ну, напяливай на себя!

Выбрав из вороха тряпок шерстяной лоскут, он принялся растирать перед огнем руки и ноги нагого, остолбеневшего от неожиданности и близкого к обмороку ребенка, которому в эту ми-

нуту блаженного тепла показалось, что он попал на небо. Растерев мальчику все тело, человек ощупал его ступни.

— Ну, кощей, ничего у тебя не отморожено. А я-то, дурень, боялся, не отморозил ли он себе передние или задние лапы! На этот раз ты еще не калека! Одевайся!

Ребенок натянул на себя рубашку, а поверх нее старик накинул на него фуфайку.

— Теперь…

Он пододвинул ногою скамью, толкнул на нее ребенка и пальцем показал на миску, от которой шел пар. В этой миске ребенку снова явилось небо, на этот раз в виде картошки с салом.

— Раз голоден, так ешь!

Достав с полки черствую горбушку хлеба и железную вилку, он протянул их ребенку; тот не решался взять.

— Уж не прикажешь ли накрыть для тебя стол? — заворчал мужчина.

И он поставил миску мальчику на колени.

— Лопай все это!

Голод взял верх над изумлением. Ребенок принялся за еду. Бедняжка не ел, а пожирал убогую снедь. В каморке слышался веселый хруст жестких корок, которые он уплетал. Хозяин ворчал:

— И куда это ты торопишься, обжора! Ну и жаден же, негодяй! Эти голодные канальи едят так, что тошно становится. То ли дело лорды: любо посмотреть, как они кушают. Мне случалось видеть герцогов за столом. Они совсем ничего не едят; вот что значит благородное воспитание. Правда, они пьют… Ну, ешь до отвала, поросенок!

Голодное брюхо к ученью глухо; ругательства, которыми хозяин осыпал своего гостя, не производили на него особого впечатления, тем более что они явно противоречили той доброте, которую проявил к нему Урсус. К тому же все внимание ребенка было всецело поглощено двумя желаниями: согреться и поесть.

Продолжая негодовать, Урсус между тем ворчал себе под нос:

— Я видел, как ужинал сам король Иаков; это было в Банкетинг-Хаузе, где по стенам висят картины знаменитого Рубенса; его величество даже не притронулся ни к чему. А этот нищий знай набивает себе живот! Недаром «живот» и «животное» — слова одного корня. И дернула же меня нелегкая забраться в этот Уэймет, чтоб ему провалиться! С самого утра ничего не продал, краснобайствовал перед снегом, играл на флейте для урагана, не заработал ни одного фартинга, а

вечером тут как тут — нищие! Ну и гнусный край! Только и знаешь, что с дураками прохожими состязаться, кто кого надует! Они стараются отделаться от меня жалкими грошами, а я стараюсь всучить им какое-нибудь целительное снадобье. Но сегодня, как назло, — ничего, решительно ничего! Ни одного болвана на перекрестке, ни одного пенни в кассе! Ешь, исчадие ада! Уплетай за обе щеки, грызи, глотай! Мы живем в такое время, когда ничто не может сравниться с наглостью лизоблюдов. Жирей на мой счет, паразит! Это не голодный ребенок, а людоед! Это не аппетит, а звериная жадность. Тебя, видно, разъедает изнутри какая-то зараза. Кто знает? Уж не чума ли? У тебя чума, разбойник? Что, если она перебросится на Гомо? Ну нет, подыхай один, подлое отродье, не хочу я, чтоб умер мой волк. Однако я и сам проголодался. Надо прямо сказать, пренеприятный случай. Сегодня я проработал до глубокой ночи. Бывают такие обстоятельства в жизни, когда человеку нужно что-нибудь до зарезу. Нынче вечером мне во что бы то ни стало надо было поесть. Сижу я здесь один, развел огонь; всего-то припасов у меня две картошки, горбушка хлеба, ломтик сала да капля молока; ставлю я все это подогреть и думаю: ладно, попробую как-нибудь

этим насытиться. Трах! Надо же было, чтобы этот крокодил свалился мне на голову! Ни слова не говоря, становится между мной и моей пищей. И вот в моей трапезной хоть шаром покати! Ешь, щука, ешь, акула! Хотелось бы знать, во сколько рядов зубы у тебя в пасти? Жри, волчонок! Нет, беру это слово назад — из уважения к волкам. Глотай мой корм, удав! Работал, работал, а в желудке пусто, горло пересохло, в поджелудочной железе боль, все кишки свело; трудился до поздней ночи — и вот моя награда: смотрю, как ест другой. Что ж, так и быть, разделим ужин пополам. Ему — хлеб, картошка и сало, мне — молоко.

В эту минуту каморка огласилась протяжным и жалобным криком. Урсус насторожился.

— И еще кричишь, мошенник? Чего ты орешь?

Мальчик повернулся к нему. Было очевидно, что кричит не он. Рот у него был полон.

Крик не прекращался.

Урсус направился к сундуку.

— Да это твой сверток орет! Долина Иосафата! Вот уж и свертки стали горланить. Чего это он раскаркался?

Он развернул куртку. Из нее показалась головка младенца, надрывавшегося от крика.

— Это еще кто там? — спросил Урсус. — Что это

такое? Еще один! Этому конца не будет! Караул! В ружье! Капрал, взвод вперед! Вторичная тревога! Что это ты мне принес, бандит! Разве ты не видишь, что она хочет пить? Значит, надо ее напоить. Ничего не поделаешь, придется, видно, остаться и без молока.

Он выбрал из кучи хлама, лежавшего на полке, несколько ветошек, губку и пузырек, продолжая все время яростно ворчать:

— Проклятый край!

Потом осмотрел малютку.

— Девчонка. Можно по визгу узнать. Эта тоже насквозь промокла.

Он сорвал с нее, так же как с мальчика, тряпье, в которое она была укутана, и завернул ее в обрывок грубого толста, дырявый, но чистый и сухой. Внезапное и быстрое переодевание окончательно растревожило малютку.

— Ну и мяучит! Пощады нет! — промолвил он.

Он откусил зубами продолговатый кусок губки, оторвал от тряпки четырехугольный лоскут, вытянул из него нитку, снял с печки горшок с молоком, перелил молоко в пузырек, наполовину воткнул губку в горлышко, прикрыл ее лоскутом, обвязал холст ниткой, приложил пузырек к щеке, чтобы убедиться, что он не слишком горяч, и взял

подмышку спеленутого младенца, продолжавшего неистово кричать.

— На, поужинай, негодная тварь! Вот тебе соска!

И он сунул ей в рот горлышко пузырька.

Малютка стала с жадностью сосать.

Он поддерживал склянку в наклонном положении, продолжая ворчать:

— Все они на один образец, негодные! Как только преподнесешь, чего им хочется, так и замолкают.

Малютка глотала молоко так торопливо и с такой жадностью впилась в искусственную грудь, протянутую ей этим ворчливым провидением, что закашлялась.

— Да ты захлебнешься, — сердито буркнул Урсус. — Смотри-ка, тоже обжора хоть куда!

Он отнял у нее губку, выждал, пока прошел кашель, затем снова сунул ей в рот пузырек, говоря:

— Соси, дрянь ты этакая!

Тем временем мальчик положил вилку. Он смотрел, как малютка сосет молоко, и забыл о еде. За минуту до этого, когда он утолял свой голод, в его взгляде было только удовлетворение; теперь же этот взгляд выражал признательность.

Он смотрел на возвращавшуюся к жизни малютку. Окончательное воскрешение девочки, вырванной из объятий смерти, исполнило его взор неизъяснимо радостным блеском. Урсус продолжал сердито ворчать сквозь зубы. По временам мальчик поднимал на него глаза, влажные от слез: бедное создание, хоть его и осыпали руганью, было глубоко растрогано, но не умело выразить словами волновавших его чувств.

Урсус гневно накинулся на него:

— Будешь ты есть, наконец!

— А вы? — дрожа всем телом, спросил ребенок, в глазах которого стояли слезы. — Вам ничего не останется?

— Ешь все, говорят тебе, дьявольское отродье! Здесь и тебе одному еле хватит, если для меня было мало.

Ребенок взял вилку, но не решался есть.

— Ешь! — заорал Урсус. — При чем тут я? Кто тебя просит заботиться обо мне? Говорю тебе, ешь все, босоногий причетник Безгрошового прихода! Раз ты попал сюда, так надо есть, пить и спать. Ешь, не то я вышвырну тебя за дверь вместе с твоей негодницей.

Услышав эту угрозу, мальчик снова принялся за еду. Ему не пришлось слишком много трудить-

ся, чтобы уничтожить то, что еще оставалось в миске.

Урсус пробормотал:

— Постройка не из важных: от окон так и несет холодом.

В самом деле, оконце в двери было разбито не то от тряски, не то камнем шалуна. Урсус залепил дыру бумагой, но она отставала. Через это отверстие проникал холодный ветер.

Урсус присел на самый край сундука. Малютка, которую он, обхватив обеими руками, держал у себя на коленях, с наслаждением сосала свою соску, впав в то состояние блаженной дремоты, в котором находятся херувимы перед ликом божьим и младенцы у материнской груди.

— Наелась, — промолвил Урсус.

И прибавил:

— Проповедуйте-ка после этого воздержание!

Ветром сорвало со стекла наложенную Урсусом заплатку; клочок бумаги, взлетев на воздух, закружился по всей каморке, но такой пустяк не мог отвлечь внимания детей от занятия, возвращавшего их обоих к жизни.

Пока девочка пила, а мальчик ел, Урсус продолжал брюзжать:

— Пьянство начинается с пеленок. Стоит ли по-

сле этого быть епископом Тиллотсоном и метать громы и молнии на пьяниц! Вот отвратительный сквозняк! Да и печка того гляди развалится. Такой дым, что глаза ест. Не сладить ни с холодом, ни с огнем. Да и темновато. Эта тварь злоупотребляет моим гостеприимством, а я еще не разглядел его рожи. Да, до роскоши здесь далеко. Клянусь Юпитером, я умею ценить утонченное пиршество в теплом зале, где тебя не продувает насквозь. Я изменил своему призванию: я рожден для чувственных удовольствий. Величайший из мудрецов — Филоксен выразил желание иметь журавлиную шею, чтобы подольше наслаждаться хорошей трапезой. Сегодня ни гроша не заработал! За весь день ничего не продал! Катастрофа. Пожалуйте, горожане, слуги, мещане, вот лекарь и вот лекарства! Напрасно стараешься, старина. Убери-ка свою аптеку. Здесь все здоровы. Что за проклятый город, где нет ни одного больного! Одни лишь небеса страдают поносом. Вон какой снег! Анаксагор учил, что снег черного цвета. Он был прав: холод — это чернота. Лед — это ночь. Ну и вьюга! Представляю себе, как приятно сейчас в море. Ураган — это хоровод дьяволов, это бешеная свистопляска вампиров, все они скачут галопом и кувыркаются у нас над головой. Они мелькают

в тучах: у одного — хвост, у другого — рога, у третьего вместо языка во рту пламя, у этого — крылья с когтями, у того — брюхо лорд-канцлера, а вон у того — башка академика. Каждого из них можно распознать по особому, им одним издаваемому звуку. Что ни порыв ветра, то новый адский дух; слышишь и видишь в одно и то же время, ибо этот грохот принимает зрительные формы. Черт возьми, а ведь в море, наверно, есть люди! Друзья мои, управляйтесь с бурей как-нибудь без меня, а мне и самому-то нелегко управиться с жизнью. Что я вам, содержатель харчевни, что ли? С какой это стати ко мне прут путешественники? Всемирная нужда перехлестывает через порог моего убогого жилища. Омерзительные брызги человеческой нищеты летят прямо ко мне в хижину. Я жертва алчности всяких проходимцев. Я их добыча. Добыча околевающих с голоду. Зима, ночь, картонный домишко, под ним — несчастный друг; снаружи со всех сторон — буря, в каморке — картошка, жалкий огонь в печке, попрошайки, ветер, свистящий во все щели, ни гроша в кармане и впридачу — свертки, которые вдруг начинают выть. Разворачиваешь его, а там — маленькая нищенка! Ну и жизнь! Не говоря уже о том, что здесь налицо явное нарушение закона.

Ах ты, бродяга, гнусный карманник, преступный недоносок! Шатаешься по улицам после того, как погасили огни. Если бы наш добрый король узнал об этом, он мигом законопатил бы тебя в какое-нибудь подземелье, чтобы проучить как следует: шутка ли сказать, молодчик прогуливается по ночам со своей девицей! В пятнадцатиградусный мороз без шапки и босиком! Да ведь это запрещено, на сей счет существуют особые правила и указы, мятежник ты этакий! Ты разве не знаешь, что все бродяги подлежат наказанию, тогда как благонамеренные люди, имеющие свои дома, пользуются охраной и покровительством закона: недаром же короли — отцы народа. Я, например, человек оседлый! Если бы тебя поймали, тебя выпороли бы кнутом на площади, и отлично бы сделали. В благоустроенном государстве нужен порядок. Напрасно я сразу же не донес на тебя констеблю. Но так уж я создан: знаю, что хорошо, а поступаю дурно. Ах ты, мерзавец! Явился ко мне в таком виде! Я и не заметил сперва, сколько снегу ты нанес. А теперь все растаяло. Лужи во всех углах. Настоящее наводнение. Придется сжечь уйму угля, чтобы осушить это озеро. А уголь-то стоит двенадцать фартингов мерка! Как же мы поместимся втроем в этой хибарке?

Кончено, отныне я завожу у себя питомник — в моих руках будущее всей английской голи, которую мне придется вскармливать на свой счет. Моим занятием, обязанностью и назначением в жизни будет воспитание недоносков великой мошенницы — нищеты, наведение лоска на малолетних висельников, превращение молодых плутов в философов! И подумать только, что если бы меня тридцать лет кряду не объедали такие твари, как эти, я был бы богачом, Гомо нагулял бы жиру, у меня был бы врачебный кабинет со всякими диковинками и хирургическими инструментами, как у доктора Лайнекра, хирурга короля Генриха Восьмого, с чучелами разных зверей, египетскими мумиями и тому подобным. Я был бы членом Докторской коллегии, имел бы право пользоваться библиотекой, выстроенной в тысяча шестьсот пятьдесят втором году знаменитым Гарвеем, и работал бы под стеклянным куполом, откуда открывается вид на весь Лондон. Я мог бы продолжать заниматься вычислением солнечных затмений и доказал бы, что от этого светила исходит неуловимый глазом пар. Таково мнение Иоганна Кеплера, который родился за год до Варфоломеевской ночи и был придворным математиком императора. Солнце — это очаг,

который иногда дымит, как моя печка. Она не лучше солнца. Да, я нажил бы себе состояние, был бы совсем другим человеком — не пошляком, унижающим достоинство науки на всех перекрестках. Народ не заслуживает, чтобы его просвещали, ибо народ — это сборище безумцев обоего пола, беспорядочная смесь возрастов, нравов, общественных положений, чернь, которую мудрецы всех времен открыто презирали, сумасбродство и ярость которой справедливо ненавидят даже самые умеренные из них. Ах, мне надоело все на свете! С такими чувствами долго не проживешь. Говорят, что жизнь человеческая коротка. А я уже ею сыт по горло. Чтобы мы не впали в полное отчаяние, чтобы заставить нас добровольно влачить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первой попавшейся веревке и гвозде, природа нет-нет да и прикинется, будто она не прочь и позаботиться о человеке, — я не говорю об этой ночи. Она, эта угрюмая природа, взращивает хлебные колосья, наливает соком виноград, заставляет петь соловья. Порою луч зари или стакан джина вызывает у нас обманчивые мечты о счастье. Узенькая полоска добра окаймляет огромный саван зла.

Наша судьба целиком соткана дьяволом, а Бог только подшил рубец. Ах ты, воришка: пока я тут разглагольствовал, ты проглотил весь мой ужин!

Между тем у малютки, которую он осторожно держал на руках и, несмотря на высказываемое негодование, старался не беспокоить, начинали смыкаться глазки — знак того, что она вполне удовлетворена. Взглянув на пузырек, Урсус буркнул:

— Все вылакала, бессовестная!

Поддерживая крошку левой рукой, он встал, приподнял правой рукой крышку сундука и извлек оттуда медвежью шкуру, которую он, как помнит читатель, называл своей «настоящей шкурой».

Проделывая все это, он искоса поглядывал на другого ребенка, еще занятого едой.

— Туго придется мне, если надо будет кормить этого обжору. Это будет подлинный солитер во чреве моего промысла.

Свободной рукой он старательно разостлал медвежью шкуру на сундуке, помогая себе локтем другой руки и следя за каждым своим движением, чтобы не потревожить засыпавшую малютку. Затем положил ее на мех, поближе к огню.

Покончив с этим, он поставил пустой пузырек на печку и воскликнул:

— Смерть как хочется пить!

Заглянув в горшок, где оставалось еще несколько глотков молока, он поднес этот горшок к губам. Но в эту минуту его взгляд упал на девочку. Он поставил горшок обратно на печку, взял пузырек, вылил в него остатки молока, снова вложил губку в горлышко, обернул ее лоскутком и завязал ниткой.

— А все-таки хочется и есть, и пить, — продолжал он.

И прибавил:

— Когда нет хлеба, пьют воду.

За печкой стоял безносый кувшин.

Он взял его и подал мальчику.

— Пей!

Ребенок напился и снова принялся за еду.

Урсус схватил кувшин и поднес его ко рту. Вода в нем, благодаря соседству в печкой, нагрелась неравномерно. Он сделал несколько глотков и скорчил гримасу.

— О ты, якобы чистая вода, ты похожа на мнимых друзей. Сверху ты теплая, а на дне — холодная.

Между тем мальчик покончил с ужином. Миска была не только опорожнена: она была вылизана дочиста. О чем-то задумавшись, мальчик подби-

рал и доедал последние крошки хлеба, упавшие к нему на колени.

Урсус повернулся к нему.

— Это еще не все. Теперь потолкуем. Рот дан человеку не только для того, чтобы есть, но и для того, чтобы говорить. Ты согрелся, нажрался и теперь смотри, животное, берегись: тебе придется отвечать на мои вопросы. Откуда ты пришел?

Ребенок ответил:

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Сегодня вечером меня оставили одного на берегу моря.

— Ах, негодяй! Как же тебя зовут? Хорош гусь, если от него даже родители отказались.

— У меня нет родителей.

— Ты должен считаться с моими вкусами: имей в виду, что я терпеть не могу вранья. Раз у тебя есть сестра, значит, есть и родители.

— Она мне не сестра.

— Не сестра?

— Нет.

— Кто же она такая?

— Эту девочку я нашел.

— Нашел?

— Да.

— Где? Если ты лжешь, я тебя убью.

— На мертвой женщине в снегу.

— Когда?

— Час тому назад.

— Где?

— В одном лье отсюда.

Урсус сурово сдвинул брови, что характерно для философа, охваченного волнением.

— Так эта женщина умерла? То-то счастливица. Надо ее так и оставить в снегу. Ей там хорошо. А где ж она лежит?

— Как идти к морю.

— Ты переходил мост?

— Да.

Урсус открыл форточку в задней стене и посмотрел, что делается на дворе. Погода нисколько не стала лучше. Все так же падал густой, наводивший уныние снег.

Он захлопнул форточку.

Подойдя к разбитому стеклу, он заткнул дыру тряпкой, подбросил в печку торфу, разостлал как можно шире медвежью шкуру на сундуке, взял лежавшую в углу толстую книгу, пристроил ее в изголовье вместо подушки и положил на нее головку уснувшей малютки.

Затем повернулся к мальчику:

— Ложись сюда.

Ребенок послушно растянулся во всю длину рядом с девочкой. Урсус плотно закутал обоих детей в медвежью шкуру и подоткнул ее края им под ноги.

Он достал с полки и надел на себя холщовый пояс с большим карманом, в котором, вероятно, были хирургические инструменты и склянка со снадобьями.

Потом отцепил висевший над потолком фонарь, зажег его. Фонарь был потайной. Свет от него не падал на лица детей.

Урсус приоткрыл дверь и, уже стоя на пороге, сказал:

— Я ухожу. Не бойтесь. Я скоро вернусь. Спите.

Спуская подножку, он позвал:

— Гомо!

Ему ответило ласковое ворчание.

Урсус с фонарем в руке сошел вниз, подножка поднялась, дверь снова закрылась. Дети остались одни.

Снаружи донесся голос Урсуса; он спрашивал:

— Мальчик, съевший мой ужин, ты еще не спишь?

— Нет, — ответил ребенок.

— Ну так вот: если она заревет, дай ей осталь-

ное молоко.

Послышался лязг отвязываемой цепи и постепенно удалявшийся шум шагов человека и зверя.

Несколько минут спустя дети спали глубоким сном.

Их дыхание смешалось, и в этом была неизъяснимая чистота. Реявшие над ними детские сны перелетали от одного к другому, под закрытыми веками их глаза, быть может, сияли звездами; если слово «супруги» в этом случае будет допустимо, то они были супругами в том смысле, в каком могут быть ими ангелы. Такая невинность в таком мраке жизни, такая чистота объятий, такое предвосхищение небесной любви возможно только в детстве, и все, что есть на свете великого, меркнет перед величием младенцев. Из всех бездн это самая глубокая. Ни чудовищный жребий висевшего на цепи мертвеца, ни бешеное неистовство, с которым разъяренный океан топит корабль, ни белизна снега, заживо погребающего человека под своей холодной пеленой, — ничто не может сравниться с трогательным зрелищем божественного соприкосновения детских уст, которое не имеет ничего общего с поцелуем. Быть может, это обручение?

Быть может — предчувствие роковой развязки? Над этими спящими детьми нависло неведомое. Это зрелище очаровательно. Но кто знает — не страшно ли оно? Сердце невольно замирает. Невинность выше добродетели. Невинность — плод святого неведения. Они спали. Им было спокойно. Им было тепло. Нагота их прижавшихся друг к другу тел была так же целомудренна, как их невинные души. Они были здесь как в гнездышке, повисшем над бездной.

6. Пробуждение

День начинался зловещей хмурью. В каморку проник бледный, печальный свет. Занялась ледяная заря. Белесоватые ее лучи постепенно обрисовывали угрюмые очертания предметов, ночью казавшихся призраками, но не разбудили детей; они продолжали спать, прижавшись друг к дружке. В каморке было тепло. Слышно было дыхание спящих детей; оно напоминало ровные всплески двух чередующихся волн. Ураган затих. Рассвет неторопливо захватывал одну полосу небосвода за другой. Созвездия гасли, как потушенные свечи. Только несколько крупных звезд упорно продолжали мерцать. С моря доносился

бесконечный, глухой, протяжный гул.

Печка не совсем еще потухла. Утренние сумерки постепенно переходили в дневной свет. Мальчик спал не так крепко, как девочка. Он и во сне, казалось, бодрствовал над нею и охранял ее. Как только первый яркий луч проник в окно, он открыл глаза. До окончательного своего пробуждения ребенок обычно бывает некоторое время погружен в забытье. Мальчик в дремоте не отдавал себе отчета, ни где он, ни кто лежит рядом с ним, и не старался припомнить что бы то ни было; глядя в потолок, он мечтательно рассматривал надпись «Урсус-философ», не понимая ее смысла, потому что он не умел читать.

Щелканье ключа в замке заставило его приподнять голову.

Дверь отворилась, подножка откинулась наружу. Вошел Урсус. Он поднялся по ступенькам, держа в руке потушенный фонарь.

Одновременно послышался мягкий топот четырех лап, легко взбиравшихся по подножке. Это был Гомо, возвращавшийся домой вслед за Урсусом.

Мальчик, окончательно проснувшись, вздрогнул.

Волк, вероятно проголодавшийся к утру, рас-

крыл пасть, ощерив ослепительно белые клыки.

Стоя на подножке, он положил передние лапы на порог, позой напоминая проповедника, облокотившегося на кафедру. Он издали обнюхал сундук, на котором не привык видеть никого постороннего. В прямоугольном проеме двери верхняя часть его туловища вырисовывалась черным силуэтом на фоне светлеющего неба. Наконец он решился и вошел.

Увидев в каморке, волка, мальчик вылез из-под медвежьей шкуры и встал на ноги, заслонив собою малютку, спавшую крепким сном.

Урсус повесил фонарь на крюк, вбитый в потолок. Молча, не спеша, привычным движением снял и положил на полку пояс с инструментами. Он не смотрел по сторонам и как будто ничего не замечал. Глаза у него казались стеклянными. По-видимому, он был чем-то глубоко взволнован. Наконец его мысль прорвалась наружу, как всегда, быстрым потоком слов:

— Вот счастливица! Мертва, совсем мертва!

Он присел на корточки, подбросил в печку выпавший из нее шлак и, помешивая торф, бормотал:

— Нелегко было отыскать ее. Какая-то злая сила запрятала ее на два фута под снег. Не будь со мною

Гомо, чутье которого ведет его так же хорошо, как в свое время разум вел Христофора Колумба, я до сих пор вязнул бы там в сугробах, играя в прятки со смертью. Диоген днем с фонарем искал человека, а я ночью с фонарем искал покойницу; поиски Диогена привели его к сарказму, мои привели меня к зрелищу смерти. Какая она была холодная! Я дотронулся до ее руки — настоящий камень. Какое безмолвие в ее глазах! Как это глупо — умирать, зная, что оставляешь после себя ребенка! Не очень-то удобно будет нам втроем в этой коробке. Ну и неприятность! Выходит, я обзавелся семьей. Девочкой и мальчиком.

Пока Урсус произносил эту тираду, Гомо прокрался к печке. Ручка спящей малютки свешивалась между печкой и сундуком. Волк стал лизать ручку.

Он лизал ее так осторожно, что девочка даже не шевельнулась.

Урсус повернулся к волку.

— Ладно, Гомо. Я буду отцом, а ты — дядей.

Не прерывая своего монолога, он с философским глубокомыслием снова принялся помешивать торф в печке.

— Значит, усыновляю. Это дело решенное. Да и Гомо не прочь.

Он выпрямился.

— Любопытно было бы знать, кто повинен в этой смерти? Люди? Или…

Он устремил взор куда-то ввысь и еле внятно докончил:

— Или ты?

И в тяжелом раздумье Урсус поник головой.

— Ночь взяла на себя труд умертвить эту женщину, — сказал он.

Когда он снова поднял голову, его взгляд упал на лицо мальчика, который совсем проснулся и прислушивался к его словам. Урсус резко спросил его:

— Ты чему смеешься?

Мальчик ответил:

— Я не смеюсь.

Урсус вздрогнул и, пристально посмотрев на него, сказал:

— В таком случае ты ужасен.

Ночью в лачуге было настолько темно, что Урсус не разглядел лица мальчика. Теперь, при дневном свете, он увидел его впервые.

Положив обе руки на плечи ребенка, он со все возраставшим вниманием всматривался в его черты и, наконец, крикнул:

— Да перестань же смеяться!

— Я не смеюсь! — сказал мальчик.

По всему телу Урсуса пробежала дрожь.

— Ты смеешься, говорю тебе!

И, тряся ребенка с яростной силой, не то от гнева, не то от жалости, он накинулся на него:

— Кто же так над тобою поработал?

Ребенок ответил:

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Урсус продолжал допытываться:

— С каких это пор ты так смеешься?

— Я всегда был такой, — ответил мальчик.

Урсус повернулся лицом к сундуку и произнес вполголоса:

— Я думал, что этого уже не делают.

Осторожно, чтобы не разбудить спящей малютки, он вытащил у нее из-под головки книгу, которую положил ей вместо подушки.

— Посмотрим, что говорится на этот счет у Конкеста, — пробормотал он.

Это был толстый фолиант в мягком пергаментном переплете. Урсус полистал большим пальцем трактат, отыскивая нужную страницу, разложил книгу на печке и прочел:

— ...«De denasatis»[180]. Это здесь.

---

[180] Сноски: 180

О людях, лишенных носа (*лат.*).

— И продолжал:

— «Bucca fissa usque ad aures, genzivis denudatis, nasoque murdridato, masca eris, et ridebis semper[181]. Да, именно так.

Он водворил книгу на полку, бормоча себе под нос:

— Случай, в смысл которого было бы вредно углубляться. Останемся на поверхности явления. Смейся, малыш!

Девочка проснулась. Ее утренним приветствием был крик.

— Ну, кормилица, дай-ка ей грудь, — сказал Урсус.

Малютка приподнялась на своем ложе. Урсус достал с печки пузырек и сунул его в рот девочки.

В эту минуту взошло солнце. Оно только что всплыло над горизонтом. Алые его лучи, проникнув в окно, ударили прямо в лицо малютки, повернувшейся в ту сторону. В зрачках ее, как в двух зеркалах, отразился пурпурный диск светила. Зрачки не сократились, и веки не дрогнули.

— Что ж это, — вскрикнул Урсус, — она слепа!

---

[181] Сноски: 181

Рот твой разодран до ушей, десны обнажены, нос изуродован — ты станешь маской и будешь вечно смеяться (*лат.*).

Книга вторая
«По приказу короля»
Часть первая
Прошлое не умирает; в людях отражается человек
1. Лорд Кленчарли

В те времена существовал человек, который был живым осколком прошлого.

Этим осколком был лорд Линней Кленчарли.

Барон Линней Кленчарли, современник Кромвеля, был одним из тех, спешим прибавить — немногочисленных, пэров Англии, которые в свое время признали республику. Это признание имело свои причины и в конце концов вполне объяснимо, поскольку республика на короткое время восторжествовала. Так что не было ничего удивительного в том, что лорд Кленчарли пребывал в партии республиканцев, пока республика была победительницей. Но лорд Кленчарли продолжал оставаться республиканцем и после того, как окончилась революция и пал парламентский режим. Высокородному патрицию нетрудно было бы вернуться во вновь восстановленную палату

лордов, ибо при реставрациях монархи всегда очень охотно принимают раскаявшихся и Карл II был милостив к тем, кто возвращался к нему. Однако лорд Кленчарли совершенно не понял, чего требовали от него события. И в то время, как в Англии радостными кликами встречали короля, вновь вступавшего во владение страной, как верноподданные единодушно приветствовали монархию и династия восстанавливалась среди всеобщего торжественного отречения от прошлого, в то время, как прошлое становилось будущим, а будущее — прошлым, лорд Кленчарли не пожелал покориться. Он не захотел видеть этого ликования и добровольно покинул родину. Он мог стать пэром, а предпочел стать изгнанником. Так протекали годы; так он и состарился, храня верность мертвой республике. Такое ребячество сделало его всеобщим посмешищем.

Он удалился в Швейцарию. Он поселился в высоком полуразвалившемся доме на берегу Женевского озера. Он выбрал себе жилище в самом глухом месте побережья — между Шильоном, где был заключен Бонивар, и Веве, где похоронен Ледло. Его окружали овеваемые ветрами и одетые тучами суровые, сумрачные Альпы; он жил здесь, затерянный, в глубокой тени, отбра-

сываемой горами. Его редко встречал прохожий. Этот человек жил вне своей страны, почти вне своей эпохи. В то время каждый, кто был в курсе событий и разбирался в них, понимал, что всякое сопротивление установившемуся порядку не имело оправдания. Англия была счастлива; реставрация — своего рода примирение супругов: король и нация возвращаются на свое брачное ложе; можно ли представить себе что-либо более приятное и радостное? Великобритания сияла от счастья; иметь короля — это уже много, а тем более такого очаровательного короля. Карл II был любезен, умел и пожить в свое удовольствие и управлять государством, напоминая своим величием Людовика XIV. Это был джентльмен и дворянин; подданные восхищались им; он вел войну с Ганновером и, конечно, хорошо знал зачем, хотя только он один это и знал; он продал Дюнкерк Франции — дело высокого политического значения. У демократически настроенных пэров, про которых Чемберлен сказал: «Проклятая республика заразила своим тлетворным дыханием даже некоторых аристократов», хватило здравого смысла очень быстро примениться к обстоятельствам, не отстать от своего времени и занять свои места в палате лордов; для этого

им достаточно было лишь принести присягу королю.

Когда люди думали обо всем этом — об этом прекрасном царствовании, об этом превосходном короле, об этих августейших принцах, возвращенных народу божественным милосердием; о том, что такие значительные особы, как Монк и позднее Джеффрис, примирились с троном и были справедливо вознаграждены за верность и усердие самыми почетными должностями и самыми доходными местами; о том, что лорд Кленчарли не мог не знать, что от него одного зависело торжественно занять между ними подобающее ему место и разделить сыпавшиеся на них почести; о том, что Англия, благодаря своему королю, вознесена на вершину процветания, что в Лондоне одно празднество сменяется другим, что все кругом богатеют и преисполнены восторга, что королевский двор галантен, весел и пышен, — и при этом случайно возникал в памяти образ изгнанника, прозябающего вдали от всего этого великолепия, этого, старика в одежде простолюдина, бледного, согбенного, вероятно уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту над озером в печальном полумраке, не замечая холода и непогоды, или шагает по его берегу без

цели, с неподвижным взором, с развевающимися на ветру седыми волосами, молчаливый, одинокий, погруженный в свои думы, — трудно было удержаться от улыбки.

Этот старик был олицетворением безумия.

Улыбка, являвшаяся у людей при мысли о том, чем мог быть лорд Кленчарли и чем он стал, несомненно была проявлением их снисходительности. Иные смеялись открыто. Были и такие, что негодовали.

Понятно, что людей положительных коробила такая вызывающая отчужденность.

Вину лорда Кленчарли смягчало только то, что он никогда не блистал умом. Таково было общее мнение.

Неприятно видеть людей упорствующих. Подражатели Регула не пользуются симпатией, и общественное мнение относится к ним с иронией. Подобное упрямство походит на упрек, и здравомыслящие люди правы, когда смеются над этим.

И в конце концов разве такое упорство, такая непреклонность — добродетель? Разве в чрезмерном подчеркивании своей самоотверженности и честности нет большой доли тщеславия? Это просто-напросто рисовка. К чему такие крайности,

как добровольное одиночество и изгнание? Ничего не преувеличивать — вот правило мудреца. Можете возражать, осуждать, если вам угодно, но делайте это благопристойно и не переставая возглашать: «Да здравствует король!» Подлинная добродетель — это рассудительность. То, что падает, должно было упасть, то, что преуспевает, должно было преуспеть. У провидения свои цели: оно награждает того, кто этого достоин. Неужели вы мните себя способным разобраться в этом лучше, чем оно? Когда обстоятельства совершенно ясно определились, когда один режим сменил другой, когда самим успехом установлено, где правда и где ложь, где катастрофа, а где торжество, — не может уже быть места никаким сомнениям; порядочный человек присоединяется к той стороне, которая одержала верх, и будь это даже выгодно ему и его родне, он, конечно, вовсе не из этих соображений, а исключительно во имя общественного блага предоставляет себя целиком в распоряжение победителя.

Что стало бы с государством, если бы никто не согласился служить? Все остановилось бы. Всякий благоразумный гражданин должен оставаться на своем месте. Умейте поступаться своими сокровенными симпатиями. Должности существуют

для того, чтобы их занимали. Надо жертвовать собой. Не изменять общественным обязанностям — вот истинная верность. Самовольный уход чиновников парализовал бы государство. Вы добровольно отправляетесь в ссылку? Очень жаль. Вы хотите показать пример? Какое тщеславие! Вы бросаете вызов? Какая наглость! Кем же вы себя возомнили? Знайте, что мы не хуже вас. Но мы не покидаем своего поста. При желании мы тоже могли бы быть несговорчивы и непокорны и натворить еще худших дел, чем вы. Но мы предпочитаем благоразумие. Только потому, что я Тримальхион, вы считаете меня неспособным быть Катоном? Какие глупости!

Никогда еще положение вещей не было таким ясным и определенным, как в 1660 году. Никогда еще линия поведения благонамеренного человека не намечалась сама собой с такой отчетливостью.

Англия избавилась от Кромвеля. Много неправомерного было совершено во время республики. Британия приобрела первенство в Европе; в результате Тридцатилетней войны была покорена Германия; с помощью Фронды ослаблена Франция, с помощью герцога Браганцкого умалена Испания. Кромвель подчинил себе Мазарини; во

всех договорах протектор Англии ставил свою подпись выше подписи французского короля; на Соединенные провинции была наложена контрибуция в восемь миллионов; Алжир и Тунис подверглись притеснениям; покорили Ямайку; усмирили Лиссабон; в Барселоне подогрели соперничество Испании и Франции, а в Неаполе восстание Мазаньелло; присоединили к Англии Португалию; от Гибралтара до Кандии очистили море от берберийцев; утвердили морское владычество двумя способами: силой оружия и торговлей; 10 августа 1653 года английский флот разбил Мартина Гапперца Тромпа, человека, выигравшего тридцать три сражения, старого адмирала, именовавшего себя «дедушкой матросов», победителя испанского флота. Англия отняла Атлантический океан у испанцев, Великий — у голландцев. Средиземное море — у венецианцев и по навигационному акту установила свое господство на побережьях всех морей; захватив океан, она держала в руках весь мир; голландский флаг смиренно приветствовал в море флаг английский; Франция в лице своего посла Манцини преклонила колени перед Оливером Кромвелем, а Кромвель, как мячами, играл Кале и Дюнкерком; он заставил трепетать весь

континент, он диктовал мир, объявлял войну; повсюду развевался английский флаг; один только закованный в латы полк протектора внушал Европе больший ужас, чем целая армия; Кромвель говорил: «Я хочу, чтобы английскую республику уважали так, как уважали республику римскую»; не оставалось ничего святого; слово было свободно, печать была свободна; на улице говорили все, что хотели, все печатали без всякого контроля и цензуры; престолы зашатались; весь монархический порядок Европы, частью которого были Стюарты, пришел в расстройство. Но вот, наконец, Англия свергла этот ненавистный режим и получила прощение.

Снисходительный Карл II даровал Бредскую декларацию. Он дал Англии возможность забыть о том времени, когда сын гентингдонского пивовара попирал пятой голову Людовика XIV.

Англия покаялась в своих тяжких прегрешениях и вздохнула свободно. Радость, как мы уже говорили, объяла все сердца, и воздвигнутые виселицы цареубийц только усиливали ликование. Реставрация — это улыбка, но несколько виселиц не портят впечатления: надо же успокоить общественную совесть. Дух неповиновения рассеялся, восстанавливалась преданность монарху. Быть

добрыми верноподданными — к этому сводились отныне все честолюбивые стремления. Все опомнились от политического безумия, все поносили теперь революцию, издевались над республикой и над тем удивительным временем, когда с уст не сходили громкие слова «Право, Свобода, Прогресс»; над их высокопарностью теперь смеялись. Возврат к здравому смыслу был зрелищем; достойным восхищения. Англия стряхнула с себя тяжкий сон. Какое счастье — избавиться от этих заблуждений. Возможно ли что-нибудь более безрассудное? Что было бы, если бы каждого встречного и поперечного наделили всеми правами? Вы представляете себе? Вдруг все стали бы правителями? Мыслимо ли, чтобы страна управлялась гражданами? Граждане — это упряжка, а упряжка — не кучер. Решать вопросы управления голосованием — разве это не то же, что плыть по воле ветра? Неужели вы хотели бы сообщить государственному строю зыбкость облака? Беспорядок не создает порядка. Если зодчий — хаос, строение будет Вавилонской башней. И потом, эта пресловутая свобода — сущая тирания. Я хочу веселиться, а не управлять государством. Мне надоело голосовать, я хочу танцевать. Какое счастье, что есть король, который всем этим

занимается. Право, как великодушен король, что берет на себя весь этот труд. Кроме того, его этому учили, он умеет справляться с этим. Это его ремесло. Мир, война, законодательство, финансы — какое до всего этого дело народу? Конечно, необходимо, чтобы народ платил, чтобы он служил, и он должен этим довольствоваться. Ведь ему предоставлена возможность участвовать в политике: из его недр выходят две основные силы государства — армия и бюджет, Платить подати и быть солдатом — разве этого мало? Чего ему еще надо? Он — опора военная, и он же — опора казны. Великолепная роль. А за него царствуют. Должен же он платить за такую услугу. Налоги и цивильный лист — это жалованье, которое народы платят королям за их труды. Народ отдает свою кровь и деньги для того, чтобы им правили. Какая нелепая идея — самим управлять собою. Народу необходим поводырь. Народ невежествен, а стало быть, слеп. Ведь есть же у слепца собака. А у народа есть король — лев, который соглашается быть для своего народа собакой. Какая доброта! Но почему народ невежествен? Потому что так надо. Невежество — страх добродетели. У кого нет никаких надежд, у того нет и честолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, ко-

торый, лишая его возможности видеть, лишает его вместе с тем всяких вожделений. Отсюда — неведение. Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. А зачем, спрашивается, народу рассуждать? Не рассуждать — это его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На этом зиждется общество.

Таким образом в Англии снова восторжествовали здоровые социальные доктрины. Так вернула себе нация утраченную честь. Одновременно возродился интерес к изящной литературе. Стали презирать Шекспира и восхищаться Драйденом. «Драйден — величайший поэт Англии и своего века», — говорил Эттербери, переводчик «Ахитофела». Это было время, когда Гюэ, епископ Авраншский, писал Сомезу, оказавшему своими нападками и бранью честь автору «Потерянного рая»: «Как можете вы заниматься таким ничтожеством, как этот Мильтон?» Все возрождалось; все опять становилось на свое место: Драйден вверху, Шекспир внизу. Карл II на троне, Кромвель на виселице. Англия старалась загладить позор и сумасбродство минувших лет. Великое счастье для нации, когда монархия восстанавливает порядок в государственных делах и воспитывает хороший литературный вкус.

Трудно поверить, что можно не оценить такие благодеяния. Отвернуться от Карла II, заплатить неблагодарностью за то, что он великодушно воссел на восстановленный трон, — не гнусно ли это? Лорд Кленчарли причинил большое огорчение всем порядочным людям. Как это возмутительно — досадовать на счастье своей родины!

Известно, что в 1650 году парламент установил следующий текст присяги: «Обещаю хранить верность республике, без короля, без монарха, без государя». Лорд Кленчарли на том основании, что он принес эту чудовищную присягу, жил вне пределов королевства и на фоне всеобщего благополучия и привольной жизни считал себя вправе быть печальным. Он хранил скорбную память о том, что погибло. Странная привязанность к несуществующему!

Ему не было оправдания; даже самые благожелательные к нему люди отвернулись от него. Друзья долго оказывали ему честь, считая, что он вступил в ряды республиканцев лишь для того, чтобы поближе увидеть слабые стороны республики, и позднее, когда настанет время, вернее поразить ее, защищая священные интересы короля. А такое выжидание удобного момента для нападения на врага с тыла и есть одно из прояв-

лений лояльности. Именно такой лояльности и ожидали от лорда Кленчарли и были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение. Но перед лицом его странной приверженности к республике пришлось поневоле изменить это доброе мнение. Очевидно, лорд Кленчарли был верен своим убеждениям, то есть глуп.

Снисходительные люди колебались, не зная, чем объяснить его образ действий — ребяческим ли упрямством или старческим упорством.

Люди строгие, справедливые шли дальше. Они клеймили отступника. Тупоумие в человеке допустимо, но оно должно иметь и границы. Можно быть грубияном, но нельзя быть бунтовщиком. В конце концов, кто такой этот лорд Кленчарли? Перебежчик. Он покинул стан аристократии, чтобы примкнуть к стану противоположному — к народу. Следовательно, этот стойкий приверженец республики — изменник. Правда, он изменил более сильному и остался верен более слабому. Правда, стан, им покинутый, был победителем, а стан, к которому он примкнул, был побежденным; правда, при этом «предательстве» он потерял все: свои политические привилегии и свой домашний очаг, свое пэрство и свою родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и вынужден

жить в изгнании. А что это доказывает? Да то, что он глупец! Это — бесспорно.

Предатель и в то же время простак — это бывает.

Будь дураком сколько хочешь, но не подавай дурного примера. От дураков не требуется ничего, кроме благонамеренности, и тогда они могут считать себя опорой монархии. Этот Кленчарли был невероятно ограниченным человеком. Он был по-прежнему ослеплен революционными фантазиями. Он прельстился республикой и из-за этого выброшен за борт. Он обесчестил свою страну. Позиция, занятая им, была настоящим вероломством. Его отсутствие было оскорблением. Он, словно от чумы, бежал от счастья своих соотечественников. В его добровольном изгнании был какой-то протест против всеобщего довольства. Он, видимо, считал королевскую власть заразой. На фоне веселья, вызванного торжеством монархии, он был чем-то мрачным и зловещим, как черный флаг над чумным бараком. Как? Напускать на себя угрюмый вид перед лицом восстановленного порядка, воспрянувшей нации, восторжествовавшей религии! Набрасывать тень на эту безмятежность! Негодовать на счастливую Англию! Быть темным пятном в

безбрежном голубом небе! Напоминать собою угрозу! Противиться желанию нации! Говорить «нет», когда столько людей говорят «да»! Это было бы гнусно, если бы не было смешно. Этот Кленчарли не понял, что можно заблуждаться вместе с Кромвелем, но что следует вернуться вместе с Монком. Посмотрите на Монка. Он командовал республиканской армией; Карл II, находясь в изгнании и зная о его тайной преданности престолу, написал ему; Монк, умея сочетать доблесть с хитростью, сначала скрывал свои намерения, потом неожиданно ринулся во главе войска на мятежный парламент, возвел на престол короля и за спасение общества получил титул герцога Олбемарльского. Он приобрел богатство, навеки прославил свое время и в качестве кавалера ордена Подвязки может рассчитывать на то, что его похоронят в Вестминстерском аббатстве. Такова слава истинно верноподданного англичанина. Лорд Кленчарли не мог подняться до столь тонкого понимания долга. Он предпочел всему бездейственное изгнание. Он удовольствовался пустыми фразами. Его сковала гордость. Слова «совесть», «достоинство» и тому подобное в конце концов только слова. Надо смотреть глубже.

Вот этого-то умения смотреть глубже не было у

лорда Кленчарли — он был близорук; прежде чем принять участие в каком-нибудь деле, он всегда хотел присмотреться к нему, узнать, чем оно пахнет. Отсюда все его нелепые предубеждения. При такой щепетильности нельзя быть государственным деятелем. Требовательная совесть превращается в недуг. Человек совестливый — однорук, ему не захватить власти; он евнух — ему не овладеть фортуной. Остерегайтесь щепетильности; она далеко заведет вас. Неразумная верность своим убеждениям ведет вниз, как лестница в погреб. Ступенька, другая, третья — и вы погружаетесь во тьму. Люди смышленые поднимаются обратно, простофили остаются внизу. Нельзя легкомысленно разрешать своей совести быть неприступной. Ведь так можно понемногу дойти до такой крайности, как честность в политике. Тогда вы погибли. Так и случилось с лордом Кленчарли.

Принципы в конце концов увлекают людей в бездну.

Вот и шагай теперь, заложив руки за спину, по берегу Женевского озера, — прекрасное занятие!

В Лондоне иногда говорили об этом изгнаннике. В глазах благородного общества он был чем-то вроде подсудимого. Одни высказывались за,

другие против него. При этом смягчающим вину обстоятельством признавалась его глупость.

Многие из бывших приверженцев республики перешли на сторону Стюартов; что же, за это они только достойны похвалы. Естественно, что они слегка злословили на его счет. Угодливые души не выносят упрямцев. Люди умные, занявшие хорошее положение при дворе, которым надоело его вызывающее поведение, охотно говорили: «Он не примкнул к нам только потому, что ему слишком мало заплатили. Он хотел занять место канцлера, а король предоставил это место лорду Хайду» и т. д. Один из его «старых друзей» смело утверждал: «Он сам мне об этом говорил». Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни Линнея Кленчарли, до него доходили кое-какие слухи через беглецов, которых он встречал, — старых цареубийц, вроде Эндрью Броутона, жившего в Лозанне. В ответ Кленчарли только пожимал плечами — признак полного отупения.

Однажды он дополнил этот жест следующими, сказанными вполголоса, словами: «Жалею тех, кто этому верит».

Карл II, человек мягкий, отнесся к нему с презрением. Англия была при Карле II больше чем счастлива — она ликовала. Реставрация подоб-

на потемневшей от времени картине, которую заново покрыли лаком, — все прошлое вдруг выступает наружу. Возвратились добрые старые нравы: красивые женщины царствовали и управляли. Эвелин отметил это; мы читаем в его дневнике: «Разврат, кощунство, презрение к Богу. В воскресный вечер я видел короля с его непотребными девками: Портсмут, Кливленд, Мазарини и еще двумя-тремя другими; все почти голые собрались в галерее для игр». В этом описании сквозит явное недовольство; но Эвелин был ворчливый пуританин, зараженный республиканскими идеями. Он не оценил всего значения примера, который подают короли своими вавилонскими праздниками, в итоге способствующими развитию роскоши. Он не понимал пользы пороков. Существует правило: если хотите иметь прелестных женщин, не истребляйте пороков, иначе вы будете похожи на тех дураков, которые, страстно любя бабочек, истребляют гусениц.

Карл II, как мы уже сказали, почти не заметил, что существует мятежник по имени Кленчарли, но Иаков II был более внимателен. Карл II правил мягко, это была его манера; признаться, правлению государством это не вредило. Иногда моряк, натягивая снасти, предназначенные управлять

ветром, оставляет один узел свободным, для того чтобы его затянул сам ветер. В этом проявляется глупость урагана и глупость народа.

Правление Карла II и было таким слабым узлом, который, однако, очень быстро затянулся туго-натуго.

При Иакове II этот узел затянулся окончательно; началось последовательное удушение всего, что осталось от революции. Иаков II возымел похвальное желание быть подлинным королем. В его глазах царствование Карла II было лишь черновым наброском реставрации; Иаков II хотел полностью возвратить прежние порядки. В 1660 году он выразил сожаление, что повесил всего лишь десять цареубийц. Он действительно восстановил «твердую власть». При нем восторжествовали серьезные принципы; воцарилось настоящее правосудие, которое, став выше чувствительных разглагольствований, заботится прежде всего об интересах общества.

Эти строгие охранительные мероприятия обнаруживают в нем отца государства. Он доверил отправление правосудия Джеффрису, а меч — Кирку. Этот рьяный полковник умножил устрашающие примеры. Вешая одного республиканца, он три раза подряд вынимал его из

петли, спрашивая при этом: «Отказываешься от республики?» Злодей неизменно отвечал: «Нет!» — и был удавлен. «Я четыре раза вешал его», — с удовлетворением говорил Кирк. Возобновившиеся казни служили несомненным признаком сильной власти. Была казнена леди Лайль, отправившая своего сына на войну против Монмута, но укрывшая у себя двух мятежников. Другой мятежник, у которого хватило благородства сознаться, что старуха-анабаптистка давала ему приют, был помилован, женщину же сожгли на костре. Однажды Кирк дал понять одному городу, что знает о его республиканских грехах, — он повесил там девятнадцать горожан. Вполне законное возмездие, если вспомнить, что при Кромвеле в церквах отбивали носы и уши каменным статуям святых. Иаков II, сумевший выбрать Джеффриса и Кирка, был государем глубоко религиозным; он умерщвлял свою плоть, выбирая себе уродливых любовниц, он слушал проповедника, отца Ла-Коломбьера, почти не уступавшего елейностью речей отцу Шемине, но отличавшегося еще большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Иакова II, а вторую — вдохновителем Марии Алакок. Благо-

даря такой религиозной пище Иаков II позднее с достоинством мог переносить изгнание и в своем сен-жерменском уединении спокойно относился к превратностям судьбы и беседовал с иезуитами, являя собой пример твердого духом короля.

Понятно, что этот король должен был обратить некоторое внимание на такого мятежника, как лорд Линней Кленчарли. И так как наследственное пэрство заключает в себе кое-какие возможности, то ясно, что Иаков II готов был без всяких колебаний принять любые меры против этого лорда.

2. Лорд Дэвид Дерри-Мойр

Лорд Линней Кленчарли не всегда был стариком и изгнанником. Он пережил когда-то пору молодости и страстей. Со слов Гаррисона и Прайда известно, что Кромвель в молодости любил женщин и удовольствия; иной раз подобные увлечения доказывают (другая сторона женского вопроса), что в юноше таится будущий мятежник.

Итак, у лорда Кленчарли, как и у Кромвеля, были ошибки и заблуждения. У него был незаконный сын. Этот ребенок, явившийся на свет в

дни падения республики, родился в Англии, как раз тогда, когда его отец отправлялся в изгнание. Вот почему мальчик никогда не видел своего отца. Незаконнорожденный отпрыск лорда Кленчарли вырос пажом при дворе Карла II. Его звали лорд Дэвид Дерри-Мойр; титул лорда за ним оставили «из учтивости», так как мать его была знатной дамой. В то время как лорд Кленчарли жил в Швейцарии угрюмым нелюдимом, эта красивая женщина решила быть сговорчивее и добилась того, что ей простили ее первого любовника-бунтовщика ради второго, несомненно более благонамеренного, даже роялиста, так как это был сам король. Она пробыла любовницей Карла II достаточно времени для того, чтобы король, счастливый тем, что отвоевал у республики такую красавицу, назначил маленького лорда Дэвида, сына побежденной им женщины, в свой личный конвой. Внебрачный сын получил офицерское звание, право столоваться при дворе и, в противовес своему отцу, стал горячим приверженцем Стюартов. Некоторое время он, в качестве офицера конвоя его величества, был одним из ста семидесяти, носивших палаши, затем был переведен в «пенсионеры» и стал одним из сорока, имевших право носить золотой бердыш.

Кроме того, входя в состав учрежденного Генрихом VIII благородного отряда телохранителей, он пользовался привилегией подавать блюда на стол короля.

Таким образом, в то время как отец его старился в изгнании, лорд Дэвид благоденствовал при дворе Карла II.

Затем он стал благоденствовать и при дворе Иакова II.

Король умер, да здравствует король! — это non deficit alter, aureus[182].

По восшествии на престол герцога Йоркского он получил разрешение называться лордом Дэвидом Дерри-Мойр, по названию поместья, которое, умирая, завещала ему мать; поместье это находилось в Шотландии, в большом лесу, где водится птица краг, клювом выдалбливающая себе гнездо в стволе дуба.

Иаков II был королем, но притязал на славу полководца. Он любил окружать себя молодыми офицерами. Он охотно показывался народу верхом, в каске и кирасе, в огромном развевавшемся парике, ниспадавшем из-под каски на кирасу; в таком виде он напоминал конную статую, оли-

---

[182] Сноски: 182
На смену одной золотой ветви — другая (*лат.*).

цетворяющую войну во всей ее бессмысленности. Ему нравились изящные манеры молодого лорда Дэвида. Он даже питал нечто вроде признательности к этому роялисту за то, что он был сыном республиканца: отречься от отца-бунтовщика небесполезно в начале придворной карьеры. Король сделал лорда Дэвида Дерри-Мойр своим постельничим, с жалованьем в тысячу ливров.

Это было крупное повышение. Постельничий спит в одной комнате с королем, на кровати, которую ставят для него рядом с королевским ложем. Всех постельничих двенадцать, и они поочередно охраняют короля.

Лорд Дэвид был, кроме того, назначен главным королевским конюшим, на обязанности которого лежало отпускать овес для королевских лошадей, за что он получал еще двести пятьдесят ливров в год. Под его началом находились пять королевских кучеров, пять королевских форейторов, пять королевских конюхов, двенадцать королевских выездных лакеев и четыре королевских носильщика. На нем лежал присмотр за шестью скаковыми лошадьми, которых король содержал в Хеймаркете и которые обходились его величеству в шестьсот ливров в год. Он был полновластным хозяином в королевской гар-

деробной, снабжавшей парадными костюмами кавалеров ордена Подвязки. Ему до земли кланялся королевский придверник, пристав черного жезла. При Иакове II эту должность занимал кавалер Дюппа. Лорду Дэвиду оказывали все знаки уважения королевский клерк господин Бекер и парламентский клерк господин Броун. Английский двор был образцом великолепия и гостеприимства. Лорд Дэвид председательствовал на пирах и приемах в числе двенадцати вельмож. Он имел честь стоять позади короля в «дни приношения», когда король жертвует церкви золотой безант, byzantium, и в «орденские дни», когда король надевает цепь своего ордена, и в «дни причастия», когда не причащается никто, кроме короля и принцев крови. В страстной четверг он вводил к королю двенадцать бедняков, которым король дарил столько серебряных пенни, сколько ему было лет, и столько шиллингов, сколько лет он уже царствует. Когда король заболевал, на обязанности лорда Дэвида лежало призывать двух высших сановников церкви, которые должны были ухаживать за королем, и не допускать к нему врачей без разрешения государственного совета. Кроме того, он был подполковником шотландского полка королевской

гвардии, того самого, который играет шотландский марш.

В этом чине он участвовал в нескольких кампаниях и приобрел заслуженную славу как храбрый воин. Это был человек сильный, хорошо сложенный, красивый, щедрый, с благородной наружностью и превосходными манерами. Его внешность соответствовала его положению. Он был высокого роста и высокого происхождения.

Дерри-Мойр был уже на шаг от того, чтобы получить звание groom of the stole, что давало бы ему право подносить королю сорочку, но для этого нужно было быть принцем или пэром.

Сделать кого-нибудь пэром — дело серьезное. Это значит создать пэрство и тем самым породить завистников. Это — милость, а оказывая кому-либо милость, король приобретает одного друга и сто недругов, не считая того, что и друг оказывается потом неблагодарным. Иаков II из политических соображений с большим трудом жаловал своих подданных достоинством пэра, но передавал его охотно. Переданное пэрство не вызывает волнения. Это делается просто в целях сохранения знатного имени, и такая передача мало трогала лордов.

Король не имел ничего против того, чтобы

ввести лорда Дэвида Дерри-Мойр в палату пэров, лишь бы это произошло в результате передачи пэрства. Его величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида Дерри-Мойр, лорда «из учтивости», лордом по праву.

Случай этот представился.

В один прекрасный день стало известно, что со старым изгнанником произошли разные события, и главное из них было то, что он умер. Смерть хороша тем, что она заставляет хотя бы немного поговорить об умершем. Начали рассказывать, что знали (или, вернее, думали, будто знают) о последних годах жизни лорда Линнея. Очевидно, это были догадки и вымыслы. Если верить этим рассказам, несомненно совершенно неосновательным, республиканские чувства лорда Кленчарли до такой степени обострились к концу его жизни, что он женился — странное упрямство изгнанника! — на дочери одного из цареубийц, Анне Бредшоу, — имя называли с точностью, — которая умерла, произведя на свет ребенка, мальчика, являющегося якобы, если только все это правда, законным сыном и наследником лорда Кленчарли. Эти сведения, очень неопределенные, были похожи скорее на слухи, чем на факты. Для Англии того времени все про-

исходящее в Швейцарии было таким же далеким, как для теперешней Англии то, что происходит в Китае. Лорду Кленчарли было будто бы пятьдесят девять лет, когда он женился, и шестьдесят, когда у него родился сын; говорили, что он умер немного времени спустя и мальчик остался круглым сиротой. Что ж, возможно, конечно, но маловероятно. Прибавляли, что ребенок этот «хорош как день», — как говорится в волшебных сказках. Король Иаков положил конец этим безусловно неосновательным слухам, всемилостивейше объявив в одно прекрасное утро Дэвида Дерри-Мойр единственным и бесспорным наследником его незаконного отца, лорда Линнея Кленчарли, «за неимением у такового законных детей и поскольку установлено отсутствие всякого другого родства и потомства», — грамота, гласящая об этом, была занесена в реестры палаты лордов. Этой грамотой король признавал за лордом Дэвидом Дерри-Мойр титулы, права и преимущества покойного лорда Линнея Кленчарли, при единственном условии, чтобы лорд Дэвид женился, по достижении ею совершеннолетия, на девице, которая в то время была еще младенцем в возрасте нескольких месяцев и которую король, неизвестно по каким причинам, еще в колыбели

сделал герцогиней. Впрочем, причины эти были хорошо известны.

Малютку-невесту звали герцогиней Джозианой. В Англии была тогда мода на испанские имена. Одного из незаконных детей Карла II звали Карлосом, графом Плимут. Возможно, что имя Джозиана было сокращением двух имен — Джозефа и Анны. А может быть, существовало имя Джозиана, как было имя Джозия. Одного из приближенных Генриха II звали Джозией дю Пассаж.

Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал пэрство Кленчарли. Она была пэрессой, ожидавшей своего пэра: пэром должен был стать ее будущий муж. Это пэрство состояло из двух баронств: баронства Кленчарли и баронства Генкервилл; кроме того, лорды Кленчарли в награду за какой-то воинский подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских маркизов Корлеэне. Как общее правило, пэры Англии не могут носить иностранных титулов; однако бывают исключения — так, например, Генри Эрандел, барон Эрандел-Уордур, был, так же как и лорд Клиффорд, графом Священной Римской империи, князем которой был лорд Каупер; герцог Гамильтон носит во Франции титул герцога Шательро;

Бэзил Фейлдинг, граф Денби, в Германии носит титул графа Габсбурга, Лауфенбурга и Рейнфельдена. Герцог Мальборо был в Швеции князем Миндельгеймом, так же как герцог Веллингтон был в Бельгии князем Ватерлоо. Тот же герцог Веллингтон был испанским герцогом Сьюдад-Родриго и португальским графом Вимейра.

В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместья дворянские и поместья недворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, лены, поместья, аллоды и вотчины пэрства Кленчарли-Генкервилл принадлежали временно леди Джозиане, и король объявил, что как только лорд Дэвид Дерри-Мойр женится на Джозиане, он станет бароном Кленчарли.

Кроме наследства Кленчарли, у леди Джозианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу йоркскому Madame sans queue[183], иначе говоря, просто Madame. Так величали Генриету Английскую, первую, после королевы, женщину Франции.

Лорд Дэвид, преуспевавший при Карле и Иа-

[183] Сноски: 183

Мадам без дальнейшего определения (*фр.*) — «мадам» — титул старшей дочери французского короля, дочери дофина и жены брата короля.

кове, продолжал преуспевать и при Вильгельме Оранском. Он не заходил в своей приверженности Иакову так далеко, чтобы последовать за ним в изгнание. Не переставая любить своего законного короля, он имел благоразумие служить узурпатору. Впрочем, лорд Дэвид был хоть и не очень дисциплинированным, но превосходным офицером; он переменил сухопутную службу на морскую и отличился в «белой эскадре». Лорд Дэвид стал, как называли тогда, капитаном легкого фрегата. В конце концов из него вышел вполне светский человек, прикрывающий изяществом манер свои пороки, немного поэт, как и все в ту пору, хороший слуга королю и государству, непременный участник всех празднеств, торжеств, «малых королевских выходов», церемоний, но не избегавший и сражений, достаточно угодливый царедворец и вместе с тем весьма надменный вельможа, близорукий или зоркий, смотря по обстоятельствам; честный по природе, почтительный по отношению к одним и высокомерный с другими, искренний и чистосердечный по первому побуждению, но способный мгновенно надеть на себя любую личину, прекрасно учитывающий дурное и хорошее расположение духа у короля, беспечно стоявший перед направлен-

ным на него острием шпаги, по одному знаку его величества готовый геройски нелепо рисковать своей жизнью, способный на любые выходки, но неизменно вежливый, раб этикета и учтивости, гордый возможностью в торжественных случаях преклонить колено перед монархом, веселый, храбрый, истый придворный по своему облику и рыцарь в душе, человек все еще молодой, несмотря на свои сорок пять лет.

Лорд Дэвид распевал французские песенки, изысканная веселость которых нравилась когда-то Карлу II.

Он любил красноречие, ценил высокий слог и восхищался прославленными, но нестерпимо скучными разглагольствованиями епископа Боссюэ в «Надгробных речах».

От матери ему досталось скромное наследство, приносившее около десяти тысяч фунтов стерлингов, или двести пятьдесят тысяч франков годового дохода, — этого едва хватало на жизнь. Он кое-как изворачивался, делая долги. В роскоши, экстравагантности и новшествах он не имел соперников. Как только ему начинали подражать, он придумывал что-нибудь новое. Для верховой езды он надевал широкие со шпорами сапоги из юфти двойного дубления. Ни у кого не

было таких шляп, таких редкостных кружев и таких брыжей, как у него.

3. Герцогиня Джозиана

Хотя в 1705 году леди Джозиане было уже двадцать три года, а лорду Дэвиду сорок четыре, они все еще не были женаты — и по очень веским причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет. Но то, что от вас все равно не уйдет, не внушает вам ни малейшего желания торопиться. Джозиана хотела сохранить свою свободу, а лорд Дэвид — свою молодость. Ему казалось, что он тем дольше сможет продлить ее, чем позже свяжет себя брачными узами. В ту богатую любовными похождениями эпоху мужчины не спешили с женитьбой; седины не мешали волокитству: их скрывали парики, позднее на помощь пришла пудра. В пятьдесят лет лорд Чарльз Джерард, барон Джерард из бромлейских Джерардов, пользовался в Лондоне огромным успехом у женщин. Молодая прелестная герцогиня Бекингем, графиня Ковентри, была без ума от шестидесятисемилетнего красавца Томаса Белласайз, виконта Фалькомберга. Цитировали знаменитые стихи семидесятилетнего Корнеля,

посвященные двадцатилетней даме: «Пускай мое лицо, маркиза». Женщины на склоне лет тоже побеждали сердца: вспомним хотя бы Нинон и Марион. Было кому подражать.

Отношения Джозианы и Дэвида были изящным кокетством, игрой в любовь. Они не любили, они только нравились друг другу. Им было вполне достаточно того, что они общались друг с другом. К чему было спешить? Тогдашние романы внушали влюбленным, что такого рода искус есть проявление хорошего тона. К тому же Джозиана, гордая своим высоким, хотя и незаконным происхождением, считала себя принцессой и держалась довольно надменно. Лорд Дэвид ей нравился. Лорд Дэвид был красив, но главное, она находила его изящным. Быть изящным — это все. Великолепный и изящный Калибан оставляет позади бедного Ариэля. Лорд Дэвид был красив — тем лучше; красивому мужчине угрожает опасность быть приторным; лорд Дэвид не был приторным. Он любил бокс, азартные игры и был в долгу как в шелку. Джозиану занимали его лошади, собаки, его проигрыши и любовницы. Лорд Дэвид в свою очередь поддавался очарованию герцогини Джозианы, девушки безупречного поведения, но свободной от предрассудков, высокомерной,

неприступной и дерзкой. Он посвящал ей сонеты, которые Джозиана иногда удостаивала прочесть; он уверял в этих сонетах, что обладание Джозианой вознесет его на небеса, что не мешало ему, однако, из года в год откладывать это вознесение. Он стоял у врат сердца Джозианы, и это нравилось им обоим. Утонченность их отношений восхищала двор. Леди Джозиана говорила:

— Как досадно, что я должна выйти замуж за лорда Дэвида: мне хотелось бы только быть влюбленной в него!

Джозиана была олицетворением чувственной красоты. Невозможно было себе представить тело более великолепное. Она была очень высокого роста, пожалуй, даже слишком высокого. Ее золотые волосы отливали пурпуром. Это была полная, свежая, румяная красавица, очень смелая и остроумная. Глаза ее говорили красноречиво. Любовников у нее не было, но у нее не было и целомудрия. Ее ограждала гордость. Мужчина? Что вы! Она могла бы снизойти только до божества или чудовища. Если добродетель состоит в неприступности, то Джозиана была идеалом добродетели, но отнюдь не воплощением невинности. Надменность удерживала ее от любовных приключений, но она не рассердилась бы, если

бы ей их приписали, лишь бы они были оригинальны и достойны такой особы, как она. Она мало заботилась о своей репутации, но очень дорожила своей славой. Казаться легкомысленной и быть недосягаемой — верх искусства. Джозиана сознавала свое величие и свое обаяние. Ее красота скорей подавляла, чем очаровывала. Она ступала по сердцам. Это была вполне земная женщина. Если бы она почувствовала, что в груди у нее есть душа, она удивилась бы этому не меньше, чем увидев у себя за спиной крылья. Она рассуждала о Локке. Она была хорошо воспитана. Ходили слухи, что она знает арабский язык.

Быть живой женской плотью и быть женщиной — две вещи разные. Слабая струна женщины — жалость, так легко переходящая в любовь, — была неведома Джозиане. Не потому, что она была бесчувственна: неверно сравнивать тело с мрамором, как это делали древние. Красивое тело не должно быть похоже на мрамор; оно должно трепетать, содрогаться, покрываться румянцем, истекать кровью, быть упругим, но не твердым, белым, но не холодным, должно испытывать наслаждение и боль; оно должно жить, мрамор же — мертв. Прекрасное тело почти имеет право быть обнаженным; его ослепительность заменя-

ет ему одежды. Кто увидел бы Джозиану нагой, увидел бы ее тело лишь сквозь излучаемое им сияние. Она, не смутясь, предстала бы нагой и перед сатиром и перед евнухом. У нее была самоуверенность богини. Она с удовольствием создала бы из своей красоты пытку для нового Тантала. Король сделал ее герцогиней, а Юпитер — нереидой. Какое-то двойственное обаяние исходило от этого существа. Всякий, кто любовался ею, чувствовал, как становится язычником и ее рабом. Она была дитя прелюбодеяния и казалась нимфой, вышедшей из пены морской. Первое, что судил ей рок, — это плыть по течению, но в царственной среде. В ней было что-то не поддающееся определению, изменчивое, властное, порывистое. Она была образованна и умна. Ни одна страсть не коснулась ее, но мысленно она испытала все. Возможность осуществить свои порочные мечты отталкивала ее и вместе с тем привлекала. Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это, как Лукреция, уже после падения. У этой девственницы было развращенное воображение. В этой Диане таилась Астарта. Пользуясь своим высоким происхождением, она держалась вызывающе и неприступно. Однако ей показалось бы забавным самой подготовить

свое падение. Слава вознесла ее на лучезарную высоту, но она испытывала соблазн спуститься оттуда и, движимая любопытством, быть может, даже бросилась бы вниз. Она была немного тяжеловесна для облаков, падение казалось ей заманчивым. Свойственная великим мира сего дерзость дает им право производить любые опыты, ведь то, что губит мещанку, для герцогини только забава. Знатность рода, иронический ум, сияющая красота делали Джозиану почти королевой. Одно время она восторгалась Луи де Буфлером, ломавшим одною рукою подкову. Она жалела, что Геркулес уже умер, и жила в ожидании какой-то высокой и вместе с тем сладострастной любви.

Нравственный облик Джозианы заставлял вспомнить стих послания к Пизонам: Desinit in piscem[184]:

> *Прекрасный женский торс и гидры хвост.*

Благородный торс, высокая грудь, вздымаемая ровным биением царственного сердца, живой и ясный взор, чистые, горделивые черты, а там под

---

[184] Сноски: 184
Оканчивается рыбьим хвостом (*лат.*).

водой, в мутной волне, — как знать? — скрывается, быть может, сверхъестественное продолжение — гибкий и безобразный, ужасный хвост дракона. Недосягаемая добродетель, таящая порочные мечты…

И вместе с тем она была жеманна. Этого требовала мода. Вспомним Елизавету. Елизавета — тот тип женщины, который преобладал в Англии в течение трех столетий — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого. Елизавета была не только англичанкой, она была англиканкой. Вот чем объясняется глубокое уважение, с которым епископальная церковь относилась к этой королеве; это уважение, впрочем, разделяла и католическая церковь, что не помешало ей отлучить Елизавету. В устах Сикста Пятого, предававшего Елизавету анафеме, проклятие превращается в мадригал. «Государыня большого ума», — говорит он.

Мария Стюарт, менее заботившаяся о религиозных вопросах и больше занятая женскими переживаниями, не слишком уважала свою сестру Елизавету и писала ей как королева королеве и кокетка недотроге: «Ваше нежелание вступить в брак происходит от того, что вы не хотите отказаться от возможности свободно пре-

даваться любви». Мария Стюарт играла веером, Елизавета — топором. Оружие неравное. Они обе соперничали в литературе. Мария Стюарт писала французские стихи, Елизавета переводила Горация. Некрасивая Елизавета считала себя красавицей; она любила катрены, акростихи; по ее желанию ключи от города ей подносили купидоны; она поджимала губки, как итальянка, и закатывала глаза, как испанка; у нее было три тысячи платьев, в том числе несколько костюмов Минервы и Амфитриты; она ценила ирландцев за их широкие плечи, носила расшитые блестками фижмы, обожала розы, ругалась, сквернословила, топала ногами, колотила своих фрейлин, Дедлея посылала к черту, била канцлера Берлея так, что бедняга плакал, плевала в лицо Мэтью, хватала за шиворот Хэттона, давала пощечины Эссексу, показывала свои ноги Бассомпьеру — и при всем том была девственницей.

Она сделала для Бассомпьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. Священное писание упоминало о подобном случае: следовательно, это не могло быть неприличным. Все, что допускала Библия, могло быть допущено и англиканской церковью. Происшествие, о котором повествует Библия, завершилось рождением

ребенка, нареченного Эвнеакимом или Мелилехетом, что означает «сын мудреца».

Развратные нравы. Да. Но лицемерие не лучше цинизма.

Современная Англия, имеющая своего Лойолу в лице Уэсли, немного стесняется этого прошлого. Она и досадует на него и гордится им.

В те времена нравилось безобразие, в особенности женщинам, и притом красивым. Стоит ли быть красавицей, если у тебя нет урода? Стоит ли быть королевой, если нет какого-нибудь смешного пугала, который говорит тебе «ты»? Мария Стюарт «была благосклонна» к горбуну Риччо. Мария-Терезия Испанская была немного фамильярна с одним мавром. Следствием этой фамильярности явилась «черная аббатиса». В альковных историях «великого века» не был помехой и горб; примером может служить маршал Люксембургский. А еще раньше Люксембургского — Конде, этот «маленький красавчик».

Красавицы, и те могли иметь недостатки. Это допускалось. У Анны Болейн одна грудь была больше другой, шесть пальцев на руке и один лишний зуб, выросший над другим. У Лавальер были кривые ноги. Это не мешало Генриху VIII быть без ума от Анны Болейн, а Людовику XIV

терять голову от любви к Лавальер.

Такие же отклонения от нормы наблюдались и в области моральной. Почти все женщины, принадлежавшие к высшему кругу, были нравственными уродами. В Агнесах таились Мелузины. Днем они были женщинами, а ночью упырями. Они ходили к месту казни и целовали только что отрубленные головы, насаженные на железные колья. Маргарита Валуа, родоначальница всех жеманниц, носила у пояса юбки пришитые к корсажу, закрывавшиеся на замок жестяные коробочки, в которых хранились сердца умерших ее возлюбленных. Под этой необъятной юбкой прятался Генрих IV.

В восемнадцатом веке герцогиня Беррийская, дочь регента французского королевства, воплотила в своем образе все разновидности этого типа распутных принцесс.

И наряду с этим прекрасные дамы знали латынь. Начиная с семнадцатого века, знакомство с латынью считалось одной из женских прелестей. Изысканность Джен Грей доходила до того, что она изучила древнееврейский язык.

Герцогиня Джозиана знала латинский. Кроме того, у нее было еще одно преимущество: она была католичкой — правда, втайне и скорее как ее

дядя Карл II, чем как ее отец Иаков II. Из-за своей приверженности к католицизму Иаков потерял трон, Джозиана же совсем не желала рисковать своим пэрством. Вот почему, будучи католичкой в кругу своих утонченных друзей, она была протестанткой для черни.

Этот способ исповедовать религию удобен; вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церковью, а умираете, как Гроциус, в правоверии католицизма, и отец Пето служит по вас заупокойную мессу.

Несмотря на свое цветущее здоровье, Джозиана, повторяем, была в полном смысле слова жеманницей.

Иногда ее ленивая и сладострастная манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения крадущейся в джунглях тигрицы.

Положение жеманниц выгодно тем, что они резко отделяют себя от всего человеческого рода, считая свою особу выше остальных людей.

Жеманницам важней всего держать человечество на известном расстоянии.

За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. Юнона превращается в Араминту.

Жеманницу создает неосуществимое притязание на божественность. Небесные громы заменяются дерзостью; храм, уменьшившись в размерах, становится будуаром. Не имея возможности быть богиней, жеманница ограничивается ролью идола.

В жеманстве есть известного рода педантство, которое приятно женщинам. Кокетка и педант — близкие соседи. Их внутреннее родство ясно проступает в образе фата.

Изнеженность идет от чувственности. Чревоугодие прикрывается разборчивостью. Алчности к лицу гримаса отвращения.

Кроме того, слабости, обычно свойственные женщинам, оказываются хорошо защищенными любовной казуистикой, которая заменяет им суровый голос совести. Это похоже на ров перед осаждаемой крепостью. Всякая жеманница имеет неприступный вид. Это ограждает ее от возможной опасности.

Она, конечно, сдастся, но пока она полна презрения; повторяем, пока.

В глубине души Джозиана была неспокойна. Она сознавала в себе такую склонность к разнузданности, что держала себя святошей. Гордость, сдерживающая наши пороки, толкает нас к поро-

кам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной делали Джозиану недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью.

Она была ограждена своим исключительным положением и высоким происхождением, не переставая, как мы уже говорили, помышлять о какой-нибудь неожиданной выходке.

Занималась заря восемнадцатого столетия. Англия копировала Францию времен регентства. Уолпол немногим отличался от Дюбуа. Мальборо сражался против своего бывшего короля Иакова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блистал Болингброк, всходила звезда Ришелье. Некоторое смешение сословий создавало удобную почву для любовных интриг; порок уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Якшаясь с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время, когда Желиот мог открыто сидеть среди бела дня на кровати маркизы д'Эпине. Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами

другого. Шестнадцатый век был свидетелем того, как ночной колпак Сметона лежал на подушке Анны Болейн.

Если женщина и грех одно и то же, как утверждалось на каком-то вселенском соборе, то никогда еще женщина не была до такой степени женщиной, как в те времена. Прикрывая свое непостоянство очарованием, а слабость — всемогуществом, она никогда еще так властно не заставляла прощать себя. То, что Ева сделала из плода запретного плод дозволенный, было ее падением, зато ее торжеством было превращение дозволенного плода в плод запретный. В восемнадцатом веке женщина не допускает в свою спальню супруга. Ева запирается в эдеме с сатаной. Адам остается по ту сторону райских врат.

Инстинкты Джозианы скорее склоняли ее к свободной любви, чем к законному браку. В свободной любви есть что-то от литературы, это напоминает историю Меналка и Амарилис, свидетельствует почти что об учености.

Если исключать влечение одного урода к другому, мадемуазель Скюдери не имела другого основания уступить Пелиссону.

Девушка властвует над женихом, а жена подчиняется мужу — таков старинный английский

обычай. Джозиана старалась, насколько возможно, отдалить час своего рабства. Конечно, повинуясь королевской воле, ей неизбежно предстояло выйти замуж за лорда Дэвида. Но как это было неприятно! Не отвергая лорда Дэвида, Джозиана в то же время держала его в некотором отдалении. Между ними существовало безмолвное соглашение; не заключать брака и не расходиться. Они избегали друг друга. Этот способ любить, делая один шаг вперед и два назад, отразился и в танцах того времени — в менуэте и гавоте. Брак никому не к лицу, из-за него блекнут ленты, украшающие платье, он старит. Брак — убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса — какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым положениям; он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умаляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется; наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательнее равновесие,

существующее между полом сильным и полом могущественным, между силой и красотой, мужа делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существуют только раб и царица. Как превращать ложе в нечто до того прозаическое, что оно становится вполне благопристойным, — мыслимо ли что-либо более вульгарное? Не глупо ли стремиться к такой пресной любви?

Лорд Дэвид достиг вполне зрелого возраста. Сорок лет — не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джозиану, чем обладать ею. Он обладал другими женщинами; у него были любовницы.

А Джозиана предавалась мечтам. И это было хуже.

У герцогини Джозианы была одна особенность, встречающаяся чаще, чем предполагают: один глаз у нее был голубой, а другой черный. Глаза эти таили в себе любовь и ненависть, счастье и горе. День и ночь смешались в ее взгляде.

Честолюбие ее было столь велико, что ей хотелось совершить невозможное.

Однажды она сказала Свифту:

— Вы воображаете, что ваше презрение чего-нибудь стоит?

Под этим «вы» подразумевался весь человеческий род.

Она была паписткой, но это было в ней очень поверхностно. Ее католицизм не переходил границ, установленных требованиями элегантности. В наши дни это называлось бы пюзеизмом. Она носила тяжелые бархатные, атласные или муаровые платья, затканные золотом и серебром, некоторые шириною в пятнадцать-шестнадцать локтей, пояс ее был перевит множеством нитей жемчуга и драгоценных камней. Она злоупотребляла галунами. Иногда она надевала суконный камзол, обшитый позументом, как у бакалавра. Она ездила верхом по-мужски, несмотря на то, что дамские седла были введены в Англии Анной, женой Ричарда II, еще в четырнадцатом веке. Следуя кастильскому обычаю, сна мыла лицо, руки и грудь раствором леденцов в яичном белке. Выслушав какое-нибудь остроумное замечание, она отвечала на него задумчивым, необычайно красивым смехом.

Впрочем, злой она не была; она была скорее добра.

4. Magister elegantiarum – Законодатель изящества

Джозиана, конечно, скучала.

Лорд Дэвид Дерри-Мойр занимал выдающееся место среди веселящегося лондонского общества. Аристократия и дворянство относились к нему с глубоким почтением.

Отметим один из славных подвигов лорда Дэвида: он осмелился носить собственные волосы. Реакция против париков уже начиналась. Подобно тому как в 1824 году Эжен Деверия первый отважился отпустить бороду, так в 1702 году Прайс Девере первый появился в обществе с прической из собственных, искусно завитых волос. Рисковать шевелюрой значило почти рисковать головой. Негодование было всеобщим, хотя Прайс Девере был виконтом Герфордом и пэром Англии. Его оскорбляли, и действительно было за что. И вот, в самый разгар этой травли, лорд Дэвид неожиданно появился тоже без парика, в прическе из своих волос. Подобные поступки знаменуют собою начало крушения общественного уклада. На лорда Дэвида посыпалось еще больше

оскорблений, чем на виконта Герфорда. Он, однако, продолжал делать по-своему. Прайс Деверe был первым, Дэвид Дерри-Мойр оказался вторым. Иногда вторым быть труднее, чем первым. Для этого нужно меньше гениальности, но больше отваги. Первый, упоенный новизной, может не знать размеров угрожающей ему опасности, второй же видит пропасть и все же бросается в нее. Вот в эту-то пропасть и устремился Дэвид Дерри-Мойр, дерзнув вторым появиться без парика. Позднее у двух смельчаков нашлись подражатели, рискнувшие носить собственные волосы; смягчающим обстоятельством явилась пудра.

Чтобы правильнее осветить столь важный исторический факт, мы должны признать настоящее первенство в этой войне против париков за шведской королевой Христиной, одевавшейся в мужское платье и носившей, начиная с 1680 года, свои собственные каштановые волосы, напудренные и беспорядочно взбитые. Впрочем, у нее, кроме того, была, по словам Миссона, «кое-какая растительность на подбородке». Со своей стороны папа римский тоже подорвал отчасти уважение к парику, издав в марте 1694 года буллу, запрещавшую епископам и священникам носить парики и предписав всем служителям церкви

отращивать волосы.

Итак, лорд Дэвид не признавал парика и, кроме того, носил сапоги из юфти.

Эти подвиги вызывали всеобщее восхищение. Не было ни одного аристократического клуба, где лорд Дэвид не состоял бы почетным членом, не проходило ни одного состязания боксеров, где бы он не являлся для всех желанным referee. Referee — значит судья.

Он принял участие в сочинении уставов нескольких клубов лондонского высшего света; он основал ряд великолепных учреждений, из которых одно, а именно «Леди Гинея», существовало в Пел-Меле еще в 1772 году. Там играли на золото. Самой маленькой ставкой был столбик из пятидесяти гиней; в банке никогда не было меньше двадцати тысяч гиней. Подле каждого игрока стоял столик, чтобы ставить на него чай и золоченую деревянную чашку для гиней. Игроки надевали, как лакеи во время чистки ножей, кожаные нарукавники и нагрудники, предохранявшие от порчи их кружевные манжеты и брыжи; широкополые соломенные шляпы, украшенные цветами, защищали их от яркого света и сохраняли завивку. Все они были в масках, чтобы скрыть свое волнение, в особенности когда

шла игра в «пятнадцать». Камзолы они надевали наизнанку, так как, говорят, это приносит удачу.

Лорд Дэвид состоял членом «Бифштекс-клуба», «Серли-клуба», «Клуба ворчунов», «Сплит-фартинг-клуба», «Клуба скаредов», «Клуба запечатанного узла» («Силед-Нот»), «Клуба роялистов» и «Клуба Мартина Скриблера», основанного Свифтом взамен «Клуба Рота», учрежденного Мильтоном.

Несмотря на свою красивую наружность, он был также членом «Клуба безобразных». Этот клуб был посвящен уродству. Там давали обещание драться не из-за красивых женщин, а из-за безобразных мужчин. В зале клуба были развешаны портреты уродливых людей: Терсита, Трибуле, Дунса, Гудибраса, Скаррона; на камине между двумя кривыми — Коклесом и Камоэнсом — стоял Эзоп; Коклес был крив на левый глаз, а Камоэнс на правый; каждый из них был обращен к зрителю своим невидящим глазом; их слепые профили смотрели друг на друга. В тот день, когда красавица Визар заболела оспой, в «Клубе безобразных» пили за ее здоровье. Этот клуб процветал еще в начале девятнадцатого столетия; он послал Мирабо диплом почетного члена.

С восстановлением на престоле Карла II все

республиканские клубы были уничтожены. На улице, прилегавшей к Мурфилдсу, была уничтожена таверна, в которой заседал «Клуб телячьей головы», получивший это название потому, что 30 января 1649 года, в день, когда пролилась на эшафоте кровь Карла I, здесь пили красное вино за здоровье Кромвеля из телячьего черепа.

На смену республиканским клубам явились клубы монархические.

Там развлекались вполне благопристойно: например, члены «Клуба озорников» хватали на улице какую-нибудь проходившую мимо мещанку, по возможности не старую и не безобразную, силой затаскивали ее в клуб и заставляли ходить на руках, вверх ногами, причем падавшие на голову юбки закрывали ей лицо. Если она упрямилась, ее слегка подстегивали хлыстом по тем частям тела, которых больше не скрывала одежда. Сама виновата, изволь слушаться. Подвизавшиеся в этом своеобразном манеже назывались «прыгунами».

Был клуб «Жарких молний», который назывался также «Клубом веселых танцев». Там заставляли негров и белых женщин исполнять танцы перуанских пикантов и тимтиримбасов, в частности «мозамалу» (дурная девушка) — пляс-

ку, завершающуюся тем, что танцовщица садится на кучу отрубей и, подымаясь, оставляет на ней отпечаток неудобоназываемой части тела. Там же ставили в лицах картину, о которой говорит стих Лукреция:

Tunc Venus
in sylvis jungebat corpora amantum[185].

Был «Клуб адского пламени», в котором занимались богохульством. Члены его соперничали друг с другом в кощунстве. Ад доставался в награду тому, кто превосходил в этом отношении всех остальных.

Был «Клуб ударов головы», названный так потому, что там наносили людям удары головой. Подыскивали какого-нибудь грузчика с широкой грудью и глупым лицом. Предлагали ему, а иногда и насильно заставляли его согласиться выпить кружку портера с тем, что его четыре раза ударят в грудь головой. Потом составлялись пари. Один валлиец, по имени Гоганджерд, здоровенный малый, после третьего удара испустил дух. Дело оказалось довольно серьезным. Началось расследование, и комиссия установила: «Умер от разрыва сердца вследствие злоупотребления

---

[185] Сноски: 185
Там Венера в лесах соединяла в объятиях любовников (*лат.*).

спиртными напитками». Гоганджерд действительно выпил кружку портера.

Был еще «Фен-клуб». Fun, как и cant или как humour, — термин почти непереводимый. По отношению к шутке fun то же, что перец по отношению к соли. Пробраться к кому-нибудь в дом, разбить дорогое зеркало, изрезать фамильные портреты, отравить собаку, посадить к птицам кошку, все это — fun. Распустить слух о чьей-нибудь смерти, заставив родственников мнимого покойника облечься в траур, — это тоже fun. Тот, кто прорезал в картине Гольбейна в Гемптон-Корте большую четырехугольную дыру, тоже устроил fun.

Самым замечательным fun было бы отбить руку у Венеры Милосской. При Иакове II один молодой лорд миллионер заставил хохотать весь Лондон: он ночью поджег для забавы чью-то лачугу; его объявили королем fun. Несчастные обитатели лачуги спаслись в одном белье, лишившись всего своего убогого скарба. Ночью, когда обыватели спали, члены «Фен-клуба», все представители высшей аристократии, бродили по Лондону, срывали с петель ставни, перерезали пожарные кишки, вышибали дно у бочек с водой, снимали вывески, топтали огороды, тушили

уличные фонари, перепиливали столбы, подпиравшие ветхие стены домов, разбивали оконные стекла, в особенности в бедных кварталах. Так поступали с бедняками богачи. Жаловаться на них было невозможно. Впрочем, все это считалось шутками. Подобные нравы и до сих пор еще не совсем вывелись. В разных частях Англии или английских владений, например на острове Гернсей, от времени до времени на ваш дом ночью происходит небольшое нападение: у вас ломают забор, срывают молоток у двери и т. д. Если бы это проделывали бедняки, их сослали бы на каторгу, но этим занимается золотая молодежь.

Во главе самого аристократического клуба стоял председатель, который носил на лбу полумесяц и назывался «Великим могоком». Могок превосходил даже fun. Делать зло во имя зла — такова была его программа. «Могок-клуб» ставил перед собой великую цель — вредить. Для достижения этой цели все средства были хороши. Тот, кто становился могоком, давал клятву всем вредить. Вредить во что бы то ни стало, все равно когда, все равно кому, все равно как, — это входило в его обязанность. Всякий член «Могок-клуба» должен был иметь какой-нибудь особый талант. Один был «учителем танцев»: он заставлял подскаки-

вать крестьян тем, что колол им шпагой икры. Другой умел «вгонять в пот». Для этого шесть-восемь джентльменов, вооруженных рапирами, останавливали какого-нибудь бродягу; оборванец, окруженный со всех сторон, неизменно оказывался к кому-нибудь спиной; джентльмен, к которому несчастный обращался спиной, колол его клинком, отчего бедняга невольно поворачивался; новая рана в поясницу давала ему знать о том, что сзади него стоит другой джентльмен; таким образом, его кололи по очереди; когда забавникам казалось, что израненный человек достаточно навертелся и напрыгался, они приказывали лакеям избить его, чтобы изменить направление его мыслей. Другие «били льва», то есть со смехом останавливали какого-нибудь прохожего, ударом кулака разбивали ему нос и большими пальцами вдавливали глаза. Если он навсегда терял зрение, его вознаграждали за слепоту некоторой суммой денег.

Вот как мило развлекались в начале восемнадцатого столетия богатые лондонские повесы. Парижские бездельники развлекались по-своему. Граф де Шароле подстрелил мирного жителя, стоявшего на пороге своего дома. Молодость любит повеселиться.

Лорд Дэвид Дерри-Мойр вносил во все эти увеселительные учреждения свойственный ему дух великолепной щедрости. Как и все, он весело поджигал крытую соломой деревянную лачугу и поджаривал немного ее обитателей, но зато потом он строил им каменный дом. Однажды в «Клубе озорников» ему случилось заставить танцевать на руках двух женщин. Одной из них, девушке, он дал потом хорошее приданое; другая была замужем, и он выхлопотал ее мужу место капеллана.

Он ввел достойные похвал усовершенствования в петушиные бои. Нельзя было не любоваться им, когда он готовил петуха к бою. Как люди хватают друг друга за волосы, так петухи друг друга хватают за перья. Поэтому лорд Дэвид делал своего петуха как можно более лысым. Он самолично срезывал ему ножницами все перья на хвосте и от головы до плеч. «Тем меньше останется для клюва противника», — говорил он. Потом он расправлял петуху крылья и одно за другим заострял в них перья, так что каждое перо становилось своего рода копьем. «А это для глаз противника», — объяснял он. Потом он скоблил ему лапы, перочинным ножиком оттачивал когти, надевал на шпоры острые стальные наконечники; поплевав ему на

голову и на шею, он натирал его своей слюной, как натирали маслом тела атлетов, и выпускал его в этом устрашающем виде, возглашая:

— Вот как из петуха делают орла и как обитателя курятника превращают в горную птицу.

Лорд Дэвид неизменно присутствовал при боксе и являлся тончайшим знатоком всех правил этого спорта. Под его наблюдением перед каждым серьезным боем вколачивались колья и протягивалась меж ними веревка; он определял величину площадки, на которой будет происходить поединок. Когда он бывал секундантом, он шаг за шагом следовал за своим подопечным с бутылкой в одной руке и губкой в другой, кричал боксеру: «Бей крепче!», подсказывал всякие уловки, давал советы, вытирал ему кровь, подымал, когда тот падал, и, положив к себе на колени, поил его; набрав воды в рот, прыскал ему в лицо, обмывал глаза и уши; таким образом он приводил в чувство даже умирающих. Когда он бывал судьей, он всегда следил за правильностью ударов, запрещал кому бы то ни было, кроме секундантов, помогать дерущимся, объявлял побежденным чемпиона, который становился в неправильную позицию к противнику, наблюдал, чтобы приготовления к схватке не длились

больше полминуты, не позволял подставлять подножку, не разрешал наносить удары головой или бить упавшего. Вся эта премудрость отнюдь не делала из него педанта и ничуть не вредила его светскости.

И уж когда судьей в боксе бывал он, ни один из загорелых, прыщавых, нестриженых сторонников того или иного бойца не осмеливался перелезать через ограду, выскакивать на середину площадки, разрывать веревки, вытаскивать колья и вмешиваться в бой, чтобы прийти на помощь слабеющему боксеру и склонить весы счастья на его сторону. Лорд Дэвид принадлежал к числу тех немногих судей, которым не осмеливались задать трепку.

Никто не умел так тренировать, как он. Боксер, получивший согласие лорда Дэвида быть его тренером, был заранее уверен в победе. Лорд Дэвид выбирал геркулеса, крепкого как скала и высокого, как башня, и воспитывал его как родное дитя. Задача состояла в том, чтобы научить эту каменную глыбу в образе человека переходить из положения оборонительного в положение наступательное, и лорд Дэвид блестяще разрешал ее. Выбрав великана, он уже не расставался с ним. Он становился его нянькой. Он отмерял ему

вино, отвешивал мясо, считал часы его сна. Он установил тот замечательный режим для атлетов, который впоследствии возобновил Морлей: утром сырое яйцо и стакан хереса, в полдень кровавый бифштекс и чай, в четыре часа поджаренный хлеб и чай, вечером эль и поджаренный хлеб. После этого он раздевал своего питомца, массировал и укладывал в постель. На улице он не терял его из виду, оберегал от всяких опасностей: от вырвавшихся на свободу лошадей, от колес экипажей, от пьяных солдат и красивых девушек. Он следил за его нравственностью. С материнской заботливостью он вносил все новые и новые усовершенствования в воспитание опекаемого им силача. Он показывал ему, как надо выбивать зубы ударом кулака, как выдавливать большим пальцем глаз. Трудно было представить себе что-либо более трогательное.

Вот каким образом готовил он себя к политической деятельности, которой впоследствии должен был заняться. Не так-то просто стать настоящим джентльменом.

Лорд Дэвид Дерри-Мойр страстно любил уличные зрелища, театральные подмостки, цирки с диковинными зверями, балаганы, клоунов, фигляров, шутов, представления под открытом

небом, ярмарочных фокусников. Настоящий аристократ не гнушается удовольствиями простого народа; вот почему лорд Дэвид посещал таверны и балаганы Лондона и Пяти Портов. Чтобы иметь возможность, не компрометируя своего звания офицера «белой эскадры», схватиться при случае с каким-нибудь матросом или конопатчиком, он прибегал к маскараду и в толпе обитателей трущоб всегда появлялся в матросской куртке. При этих переодеваниях было большим удобством то, что он не носил парика, ибо даже при Людовике XIV народ сохранял свои волосы, как лев — гриву. В таком виде лорд Дэвид чувствовал себя ничем не связанным. Мелкий люд, с которым он вступал в общение на этих шумных сборищах, относился к нему с уважением, не зная, что он лорд. Его называли Том-Джим-Джек. Под этой кличкой он был очень популярен и даже знаменит среди голытьбы. Он мастерски прикидывался простолюдином и при случае пускал в ход кулаки.

Эту сторону его изысканной жизни знала и очень ценила леди Джозиана.

5. Королева Анна

Над этой четой судьба поставила Анну — королеву Англии. Королева Анна была самой заурядной женщиной. Она была весела, благожелательна, почти величественна. Ни одно из ее положительных качеств не достигало степени добродетели, ни один из недостатков не доходил до порока. Ее полнота была одутловатостью, остроумие — тупостью, а доброта — глупостью. Она была упряма и ленива, была и верна, и неверна своему мужу, так как отдавала сердце фаворитам, а ложе берегла для супруга. Как христианка, она была и еретичкой и ханжой. Ее красила сильная шея Ниобеи. Все остальное в ее наружности было значительно хуже. Кокетничала она неловко и бесхитростно. Зная, что у нее нежная белая кожа, она охотно надевала открытые платья. Она ввела в моду плотно облегавшие шею ожерелья из крупного жемчуга. У нее был низкий лоб, чувственные губы и выпуклые близорукие глаза. Эта близорукость распространялась и на ее ум. За исключением редких порывов веселости, почти столь же тягостных для окружающих, как и ее гнев, она жила в атмосфере молчаливого

недовольства и затаенного брюзжания. У нее вырывались слова, о смысле которых надобно было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой дьяволицы. Она любила неожиданности — чисто женское свойство. Это была представительница первобытного типа Евы, еле тронутого резцом времени. И на долю этого чурбана случайно выпал трон. Она пила. Муж ее был породистый датчанин.

Будучи сторонницей тори, она правила при посредстве вигов. Правила по-женски, безрассудно. На нее иногда находили припадки бешенства. Все у нее валилось из рук. Трудно представить себе человека, менее подходящего для управления государством. Она роняла наземь события. Через ее политику проходила глубокая трещина. Из-за нее пустяковые происшествия приводили к катастрофам. Когда ей почему-либо хотелось показать свою власть, она называла эти проявления самодурства «огреть кочергой».

Она с глубокомысленным видом изрекала такие фразы:

— Ни один пэр, кроме Курси, барона Кинсела, пэра Ирландии, не смеет стоять перед королем с покрытой головой.

Или:

— Мой отец был лорд-адмиралом, отчего же и моему мужу не носить этого звания? Это несправедливо.

И она делала Георга Датского генерал-адмиралом Англии и всех колоний Ее Величества. Она постоянно находилась в дурном настроении. Мысли свои она не высказывала, а изрекала. В этой гусыне были некоторые черты сфинкса.

Она не была противницей fun — злобной издевательской шутки. Она с радостью сделала бы Аполлона горбатым, но оставила бы его богом. Когда на нее находил добрый стих, она не хотела никого огорчать, но докучала решительно всем. У нее часто вырывались грубые слова; еще немного — и она ругалась бы площадными словами, как Елизавета. Время от времени она доставала из кармана юбки маленькую круглую коробочку чеканного серебра с ее собственным профилем между двумя буквами «К» и «А» и, взяв оттуда на кончик мизинца немного помады, красила себе губы. Приведя в порядок рот, она начинала смеяться. Ее любимым лакомством были плоские зеландские пряники. Она гордилась своим дородством.

Будучи скорее всего пуританкой, Анна питала, однако, склонность к зрелищам. Ей очень

хотелось основать музыкальную академию, наподобие французской. В 1770 году один француз, по имени Фортерош, задался целью построить в Париже «Королевский цирк», который должен был обойтись в четыреста тысяч франков, но этому воспротивился министр д'Аржансон; Фортерош приехал в Англию и предложил свой план королеве Анне; ее на минуту соблазнила идея выстроить в Лондоне оборудованный машинами и четырехъярусными люками театр, который затмил бы роскошью театр короля Франции. Как и Людовик XIV, она любила быструю езду. Иногда ее переезд в карете из Виндзора в Лондон занимал не больше часа с четвертью, включая все остановки.

Во времена Анны никакие сборища не допускались без разрешения двух мировых судей. Двенадцать человек, собравшихся хотя бы для того, чтобы поесть устриц и выпить портеру, объявлялись заговорщиками.

Во время этого относительно спокойного царствования насильственный набор во флот производился с особой жестокостью — печальное доказательство того, что англичанин в большей мере подданный, чем гражданин. На протяжении столетий английские короли поступали в этом

отношении как тираны, нарушая все старинные хартии вольностей и вызывая этим негодование и злорадство во Франции. Торжество ее отчасти умалялось тем, что, наподобие практиковавшейся в Англии насильственной вербовки матросов, во Франции существовала насильственная вербовка солдат. Во всех больших городах Франции любой здоровый мужчина, шедший по своим делам, мог быть схвачен на улице вербовщиками и отправлен в один из домов, носивших название «печи». Там его запирали вместе с другими жертвами, затем вербовщики отбирали годных к военной службе и продавали их офицерам. В 1695 году в Париже было тридцать таких «печей».

Изданные королевой Анной законы против Ирландии были ужасны.

Анна родилась в 1664 году, за два года до пожара Лондона, на основании чего астрологи (эти звездочеты тогда еще существовали; при рождении Людовика XIV также присутствовал астролог, составивший его гороскоп) предсказали, что, как «старшая сестра огня», она будет королевой. Она и стала королевой благодаря астрологии и революции 1688 года. Анна чувствовала себя униженной тем, что ее крестным отцом был всего лишь Джильберт, архиепископ Кентерберийский.

В те времена в Англии уже невозможно было иметь крестным отцом папу. Но даже старший среди епископов — незавидный восприемник для августейшей особы. Анне пришлось удовольствоваться им. Это произошло по ее собственной вине. Зачем она была протестанткой?

За ее девственность, virginitas empta[186], как говорится в старинных хартиях, Дания уплатила шесть тысяч двести пятьдесят фунтов стерлингов годового пожизненного дохода, получаемого ею с Вардинбурга и острова Фемарна.

Анна следовала — не по убеждениям, а по привычке — традициям Вильгельма Оранского. Во время этого царствования, рожденного революцией, англичане пользовались свободой на всем пространстве между Тауэром, куда заключали ораторов, и позорным столбом, к которому ставили писателей. Анна говорила немного по-датски — наедине с мужем, и по-французски — наедине с Болингброком. Французский язык она коверкала нещадно, но в Англии, в особенности при дворе, было в моде говорить по-французски. На другом языке никакие остроты не имели успеха. Анна уделяла огромное внимание монетам, в осо-

[186] Сноски: 186
Оплаченная девственность (*лат.*).

бенности мелким медным монетам, имеющим широкое хождение, — ей хотелось красоваться на них. В ее царствование отчеканили фартинги шести образцов. На трех первых она приказала изобразить трон, на четвертом — триумфальную колесницу, а на шестом — богиню, держащую в одной руке меч, в другой — оливковую ветвь с надписью: Bello et Pace[187]. Дочь наивного и жестокого Иакова II была груба.

И вместе с тем она была, в сущности, кроткой женщиной. Это противоречие только кажущееся. Ее преображал гнев. Подогрейте сахар — он закипит.

Анна пользовалась популярностью. Англия любит царствующих женщин. Почему? Да потому, что Франция их не допускает. Это уже достаточно веская причина. А других причин, пожалуй, и нет. Если верить английским историкам, то Елизавета была олицетворением величия, а Анна — доброты. Предположим, что это так. Но в обоих этих женских царствованиях не было и намека на изящество. Все линии были топорны. Это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятнанной добродетели этих королев, на

---

[187] Сноски: 187
Войною и миром (*лат.*).

которой так настаивает Англия, мы не будем ее оспаривать. Елизавета — девственница, целомудрие которой несколько умаляется тенью Эссекса, супружеская верность Анны осложняется близостью с Болингброком.

У народов существует идиотская привычка приписывать королям свои собственные подвиги. Они сражаются. Кому достается слава? Королю. Они платят деньги. Кто на эти деньги роскошествует? Король. И народу нравится, что его король так богат. Король собирает с бедняков экю, а возвращает им лиар. Как он щедр! Колосс служит пьедесталом и любуется стоящим на нем пигмеем. Какой великий карапузик! Он взобрался ко мне на спину! У карлика есть прекрасная возможность стать выше гиганта — стоит лишь вскарабкаться к нему на плечи. Удивительно, что исполин это позволяет, но то, что он еще и восхищается величием карлика, — просто глупо. Человечество очень наивно.

Конная статуя, воздвигаемая только в честь королей, — прекрасный символ монархии. Конь — это народ. Но только конь этот постепенно видоизменяется. Вначале это осел, но в конце концов он становится львом. Тогда он сбрасывает всадника, и Англия переживает 1642 год, а Фран-

ция — 1789 год; случается, что лев и пожирает всадника, тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции — 1793 года.

Трудно поверить, чтобы лев мог снова стать ослом, однако иногда это бывает. Так случилось в Англии. Впав в монархическое идолопоклонство, народ снова стал вьючным животным. Королева Анна, как мы уже сказали, была популярна. Что же она делала для этого? Ничего. Ничего не делать — вот все, что требуется от короля Англии. За этот труд он получает тридцать миллионов в год. Англия, имевшая при Елизавете только тридцать военных судов и при Иакове II — тридцать шесть, в 1705 году насчитывала их сто пятьдесят. У англичан было три армии — пять тысяч человек в Каталонии, десять тысяч в Португалии, пятьдесят тысяч во Фландрии; кроме того, она платила сорок миллионов в год монархической и дипломатической Европе, этой публичной девке, которую всегда содержала Англия на деньги народа. Когда парламент вотировал патриотический заем в тридцать четыре миллиона, дававший пожизненную ренту, казначейство осаждали охотники подписаться на него. Англия послала одну эскадру в Восточную Индию, другую, во главе с адмиралом Ликом, — к берегам Испании,

не считая запасной флотилии из четырехсот парусных судов, находившихся под командой адмирала Шоуэлла. Англия только что присоединила к себе Шотландию. Это было в период между Гохштетом и Рамильи, когда первая победа дала возможность предвидеть вторую. Под Гохштетом Англия окружила и взяла в плен семь батальонов и четыре драгунских полка, отобрала сто два лье территории у французов, в замешательстве отступивших от Дуная к Рейну. Англия протягивала руку к Сардинии и Балеарским островам. Она с триумфом ввела в свои порты десять испанских линейных кораблей и множество груженных золотом галионов. Гудсонов залив и пролив были почти брошены Людовиком XIV; чувствовалось, что он так же легко расстанется с Акадией, и с островами св. Христофора, и с Новой Землей и будет счастлив, если Англия снисходительно разрешит Франции ловить треску у Бретонского мыса. Англия готовилась принудить французского короля совершить позорный поступок — самому разрушить укрепления Дюнкерка.

А покуда она завладела Гибралтаром и намеревалась завладеть Барселоной. Сколько великих деяний! Как было не восторгаться королевой Анной, соблаговолившей жить в такое время?

В некотором отношении царствование Анны представляется сколком с царствования Людовика XIV. Анна, которую случай, называемый историей, сделал современницей этого короля, имела с ним некое, довольно слабое, сходство, была его бледным подобием.

Подобно Людовику XIV, она играла в «великое царствование»; у нее были свои памятники, свое искусство, свои победы, свои полководцы, свои писатели, свои личные средства, из которых она выдавала пенсии знаменитостям, своя галерея произведений искусств. У нее тоже был пышный двор и свита, собственный этикет и собственный марш. Двор этот был воспроизведением в миниатюре всех «великих людей» Версаля — и в оригинале не очень-то великих. В некотором роде обман зрения, но прибавьте к этому гимн «Боже, спаси королеву», музыка которого заимствована у Люлли, и все вместе создавало иллюзию сходства. Все необходимые персонажи налицо: Кристофер Рен вполне подходящий Мансар, Сомерс не хуже Ламуаньона. У Анны был свой Расин — Драйден, свой Буало — Поп, свой Кольбер — Годольфин, свой Лувуа — Пемброк и свой Тюренн — Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем все торжественно и пышно, и Виндзор

в то время почти не уступал Марли. Но на всем лежал женственный отпечаток, даже отец Телье у Анны носил имя Сары Дженнингс. Впрочем, к этому времени в литературе начинает звучать та ирония, которая пятьюдесятью годами спустя воплотится в философию, и Свифт разоблачает протестантского Тартюфа так же, как Мольер разоблачил Тартюфа-католика. Несмотря на то, что Англия ссорится в это время с Францией и побеждает ее, она ей подражает и заимствует у нее просвещение; все, что красуется на фасаде Англии, освещено лучами Франции. Жаль, что царствование Анны продолжалось только двенадцать лет, иначе англичане не долго думая стали бы говорить «век Анны», как французы говорят: «век Людовика XIV». Анна появилась на горизонте в 1702 году, когда Людовик XIV уже склонялся к закату. Восхождение бледного светила совпало с закатом светила пурпурного; когда во Франции царствовал король Солнце, в Англии правила королева Луна.

Любопытный исторический факт: в Англии очень почитали Людовика XIV, несмотря на то, что вели с ним войну. «Именно такой король и нужен Франции», — говорили англичане. Любовь англичан к своей свободе не мешает им мириться

с рабством других народов. Благожелательное отношение к цепям, сковывающим соседа, приводит англичан к восторженному преклонению перед деспотами.

В общем, Анна осчастливила свой народ, как говорит французский переводчик книги Биверелла, с любезной настойчивостью упоминая об этом трижды: на шестой и девятой страницах своего посвящения и на третьей странице предисловия.

Королева Анна не очень благоволила к Джозиане по двум причинам.

Во-первых, потому, что находила герцогиню Джозиану красивой.

Во-вторых, потому, что находила красивым жениха герцогини Джозианы.

Чтобы возбудить зависть женщины, необходимы два повода; королеве же достаточно одного.

Она сердилась на Джозиану еще за то, что Джозиана была ее сестрой.

Анна была против красивых женщин.

Она считала, что это развращает нравы.

Что касается ее самой, она была некрасива, — но, конечно, не по своей воле.

Непривлекательной внешностью Анны отчасти и объясняется ее религиозность.

Умница и красавица Джозиана раздражала

королеву.

Хорошенькая герцогиня не совсем желанная сестра для некрасивой королевы.

Была еще одна причина для недовольства: происхождение Джозианы.

Анна была дочерью Анны Хайд, простой леди, на которой Иаков II женился хотя и неудачно, но вполне законным образом, когда еще был герцогом Йоркским. Зная, что в ее жилах есть некоролевская кровь, Анна чувствовала себя королевой лишь наполовину; Джозиана, явившаяся на свет совсем незаконно, точно подчеркивала не вполне безупречное происхождение королевы. Дочери от неравного брака было досадно видеть рядом с собою внебрачную дочь. Напрашивалось какое-то неприятное сравнение. Джозиана имела право заявить Анне: «Моя мать ничуть не хуже вашей!» При дворе об этом не говорили, но, вероятно, думали. Это раздражало ее королевское величество. К чему здесь эта Джозиана? Зачем она вздумала родиться? Кому понадобилась эта Джозиана?

Некоторые родственные связи бывают унизительными.

Однако внешне Анна относилась к Джозиане благосклонно.

Возможно, она даже полюбила бы ее, не будь герцогиня ее сестрой.

6. Баркильфедро

Знать, что делают твои ближние, весьма полезно, и благоразумие требует, чтобы за ними велось наблюдение.

Джозиана поручила наблюдение за лордом Дэвидом преданному человеку, которому она доверяла и которого звали Баркильфедро.

Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джозианой преданному человеку, в котором он не сомневался и которого звали Баркильфедро.

Королева Анна, со своей стороны, была осведомлена обо всех поступках и действиях Джозианы, своей побочной сестры, и лорда Дэвида, своего будущего зятя с левой стороны, через преданного человека, на которого сна вполне полагалась и которого звали Баркильфедро.

У этого Баркильфедро было под рукой три клавиша: Джозиана, лорд Дэвид и королева. Мужчина и две женщины! Сколько возможных модуляций! Какие сочетания самых противоположных чувств!

В своем прошлом Баркильфедро не всегда имел

такую блестящую возможность нашептывать на ухо трем высоким особам.

Когда-то он был слугой герцога Йоркского. Он пытался стать священнослужителем, но это ему не удалось. Герцог Йоркский, принц английский и римский, соединявший приверженность к папе с официальной принадлежностью к англиканской церкви, мог бы далеко продвинуть Баркильфедро по ступеням той и другой иерархии, но не считал его ни достаточно ревностным католиком, чтобы сделать из него священника, ни достаточно ревностным протестантом, чтобы сделать его капелланом. Таким образом, Баркильфедро очутился между двух религий, и душа его низверглась с неба на землю.

Для пресмыкающихся душ это не такое уж плохое положение.

Есть дороги, по которым можно продвигаться только ползком.

В течение долгого времени единственным источником существования Баркильфедро была хотя и скромная, но сытная должность лакея. Такая должность давала ему кое-что, но он, кроме того, стремился к власти. Быть может, он и дорвался бы до нее, если бы не падение Иакова II. Приходилось все начинать сызнова. Трудно было

достичь чего-нибудь при Вильгельме III, царствовавшем с угрюмой суровостью, которую он считал честностью. Баркильфедро впал в нищету не сразу после падения его покровителя Иакова II. Какие-то непонятные силы, продолжающие действовать и после того, как низложен монарх, обычно питают и поддерживают еще некоторое время его паразитов. Остатки растительных соков в течение двух-трех дней еще сохраняют зеленой листву на ветвях срубленного дерева; потом оно сразу желтеет и вянет; то же происходит и с царедворцами.

Благодаря своеобразному бальзамированию, которое называют наследственным правом на престол, монарх, если даже он свергнут и изгнан, продолжает существовать; не так обстоит дело с придворными — они более мертвы, чем король. Там, на чужбине, король — мумия, здесь, на родине, придворный — только призрак. А быть тенью тени — это высшая степень худобы. Баркильфедро совсем отощал, изголодался. Тогда он стал сочинителем.

Но его гнали даже из кухонь. Иногда он не знал, где переночевать. «Кто приютит меня?» — вопрошал он и боролся, боролся с упорством человека, близкого к отчаянию, — черта, обычно

вызывающая участие к несчастному. Кроме того, он обладал особым талантом: подобно термиту, он просверливал в древесном стволе ход снизу доверху. С помощью имени Иакова II, играя на своих воспоминаниях, чувстве преданности, умилении, он получил доступ к герцогине Джозиане.

Джозиана милостиво отнеслась к человеку, который обладал двумя качествами, способными тронуть сердце: он был беден и умен. Она представила его лорду Дерри-Мойр, поселила в отведенном для слуг помещении, зачислила его в штат своей домашней челяди, была к нему добра и даже иногда разговаривала с ним. Баркильфедро не пришлось больше терпеть ни холода, ни голода. Джозиана говорила ему «ты». Такова была мода: знатные дамы обращались к литераторам на «ты», и те не протестовали. Маркиза де Мальи, принимая лежа в постели, спросила Руа, которого видела первый раз в жизни:

— Это ты написал «Год светской жизни»? Здравствуй!

Позднее писатели расплатились той же монетой. Пришел день, когда Фабр д'Эглантин обратился к герцогине де Роган:

— Ты урожденная Шабо?

То, что Джозиана говорила Баркильфедро «ты»,

было для него большим успехом. Это приводило его в восторг. Ему льстила высокомерная фамильярность герцогини.

«Леди Джозиана говорит мне “ты”!» — думал он, потирая руки от удовольствия.

Он воспользовался этим, чтобы упрочить свое положение. Он сделался чем-то вроде своего человека во внутренних покоях Джозианы, человека, которого никто не замечает, которого не стесняются; герцогиня не постеснялась бы переменить при нем сорочку. Но все это было ненадежно. А Баркильфедро добивался прочного положения. Герцогиня — только половина пути. Он считал бы все свои труды потерянными, если бы, прокладывая подземный ход, ему не удалось добраться до королевы.

Однажды Баркильфедро обратился к Джозиане:

— Не захочет ли ваша светлость осчастливить меня?

— Чего ты хочешь? — спросила Джозиана.

— Получить должность.

— Должность? Ты?

— Да, ваша светлость.

— Что за фантазия пришла тебе просить должности? Ты ведь ни на что не годен.

— Потому-то я вас и прошу.

Джозиана рассмеялась.

— Какую же должность из всех, для которых ты не пригоден, тебе хотелось бы получить?

— Место откупорщика океанских бутылок.

Джозиана рассмеялась еще веселее:

— Что это такое? Ты шутишь?

— Нет, ваша светлость.

— Хорошо. Для забавы буду отвечать тебе серьезно. Кем ты хочешь быть? Повтори.

— Откупорщиком океанских бутылок.

— При дворе все возможно. Неужели есть такая должность?

— Да, ваша светлость.

— Для меня это ново. Продолжай.

— Такая должность существует.

— Поклянись душой, которой у тебя нет.

— Клянусь.

— Нет, тебе невозможно верить.

— Благодарю вас, ваша светлость.

— Итак, ты хотел бы… Повтори еще раз.

— Распечатывать морские бутылки.

— Такая обязанность, должно быть, не слишком утомительна. Это почти то же, что расчесывать гриву бронзовому коню.

— Почти.

— Ничего не делать… Такое место действительно по тебе. К этому ты вполне пригоден.

— Видите, и я кое на что способен.

— Перестань шутить! Такая должность в самом деле существует?

Баркильфедро почтительно приосанился:

— Ваш августейший отец — король Иаков Второй, ваш зять — знаменитый Георг Датский, герцог Кемберлендский. Ваш отец был, а зять и поныне состоит лорд-адмиралом Англии.

— Подумаешь, какие новости ты мне сообщаешь. Я и без тебя это отлично знаю.

— Но вот чего не знает ваша светлость: в море попадаются три рода находок — те, что лежат на большой глубине, те, что плавают на поверхности, и те, что море выбрасывает на берег.

— Ну и что же?

— Все эти предметы, *легон, флоутсон и джетсон*, являются собственностью генерал-адмирала.

— Ну?

— Теперь ваша светлость понимает?

— Ничего не понимаю.

— Все, что находится в море, все, что пошло ко дну, все, что всплывает наверх, все, что прибивает к берегу, — все это собственность генерал-ад-

мирала.

— Допустим. Что ж из этого?

— Все, за исключением осетров, которые принадлежат королю.

— А я думала, — сказала Джозиана, — что все это принадлежит Нептуну.

— Нептун — дурак. Он все выпустил из рук, позволил англичанам завладеть всем.

— Кончай скорей!

— Находки эти называются морской добычей.

— Прекрасно.

— Они неисчерпаемы. На поверхности моря всегда кто-нибудь плавает, волна всегда что-нибудь пригонит к берегу. Это контрибуция, которую платит море. Англичане берут таким образом с моря дань.

— Ну и прекрасно. А дальше?

— Ваша светлость, таким образом океан создал целый департамент.

— Где?

— В адмиралтействе.

— Какой департамент?

— Департамент морских находок.

— Ну?

— Департамент этот состоит из трех отделов: Легон, Флоутсон и Джетсон, и в каждом отделе

сидит чиновник.

— Ну?

— Допустим, какой-нибудь корабль, плавающий в открытом море, хочет послать уведомление о том, что он находится на такой-то широте, или встретился с морским чудовищем, или заметил какой-то берег, или терпит бедствие, тонет, гибнет и прочее; хозяин судна берет бутылку, кладет в нее клочок бумаги, на котором записано это событие, запечатывает горлышко и бросает бутылку в море. Если бутылка идет ко дну, это касается начальника отдела Легон, если она плавает — начальника отдела Флоутсон, если волны выбрасывают ее на сушу — начальника отдела Джетсон.

— И ты хочешь служить в отделе Джетсон?

— Совершенно верно.

— И это ты называешь должностью откупорщика океанских бутылок?

— Такая должность существует.

— Почему тебе это место нравится больше первых двух?

— Потому что оно в настоящее время никем не занято.

— В чем состоят эти обязанности?

— Ваша светлость, в тысяча пятьсот девяно-

сто восьмом году один рыбак, промышлявший ловлей угрей, нашел в песчаных мелях у мыса Эпидиум засмоленную бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете; пергамент, извлеченный из этой бутылки, известил Англию о том, что Голландия, не говоря никому ни слова, захватила неизвестную страну, называемую Новой Землей, что это случилось в июне тысяча пятьсот девяносто шестого года, что в этой стране медведи пожирают людей, что описание зимы, проведенной в этих краях, спрятано в футляре из-под мушкета, подвешенном в трубе деревянного домика, построенного и покинутого погибшими голландцами, и что труба эта сделана из укрепленного на крыше бочонка с выбитым дном.

— Не понимаю всей этой чепухи.

— А Елизавета поняла: одной страной больше у Голландии, значит, одной страной меньше у Англии. Бутылка, содержавшая это известие, оказалась вещью значительной. Было издано постановление о том, что отныне всякий, нашедший на берегу запечатанную бутылку, должен под страхом повешения доставить ее генерал-адмиралу Англии. Адмирал поручает особому чиновнику вскрыть бутылку и, если «содержимое оной того заслуживает», сообщить о нем Ее

Величеству.

— И часто доставляют в адмиралтейство такие бутылки?

— Редко. Но это ничего не значит. Должность существует, и тот, кто занимает ее, получает в адмиралтействе специальную комнату для занятий и казенную квартиру.

— И сколько же платят за этот способ ничего не делать?

— Сто гиней в год.

— И ты беспокоишь меня из-за такой безделицы?

— На эти деньги можно жить.

— Нищенски.

— Как и подобает таким людям, как я.

— Сто гиней! Ведь это ничто.

— Того, что вы проживаете в одну минуту, нам, мелкоте, хватит на год. В этом преимущество бедняков.

— Ты получишь это место.

Неделю спустя, благодаря желанию Джозианы и связям лорда Дэвида Дерри-Мойр, Баркильфедро, теперь окончательно спасенный, зажил на всем готовом, получая бесплатную квартиру и годовой оклад в сто гиней.

7. Баркильфедро пробивает себе дорогу

Прежде всего люди спешат проявить неблагодарность.

Не преминул поступить таким образом и Баркильфедро.

Облагодетельствованный Джозианой, он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить.

Напомним, что Джозиана была красива, высока ростом, молода, богата, влиятельна, знаменита, а Баркильфедро уродлив, мал, стар, беден, зависим и безвестен. За все это, разумеется, надо было отомстить.

Может ли тот, кто воплощает мрак, простить тому, кто полон блеска?

Баркильфедро был ирландец, отрекшийся от Ирландии, — самый дрянной человек.

Только одно говорило в пользу Баркильфедро — его большой живот.

Большой живот обычно считается признаком доброты. Но чрево Баркильфедро было сплошным лицемерием: он был злым человеком.

Сколько лет было Баркильфедро? Трудно сказать. Столько, сколько требовали обстоятельства. Морщины и седина придавали ему старческий вид, а живость ума говорила о молодости. Он был и ловок и неповоротлив; что-то среднее между обезьяной и гиппопотамом. Роялист? Конечно. Республиканец? Как знать! Католик? Может быть. Протестант? Несомненно. За Стюартов? Вероятно. За Брауншвейгскую династию? Очевидно. Быть «за» выгодно только тогда, когда ты в то же время и «против», — Баркильфедро придерживался этого мудрого правила.

Должность «откупорщика океанских бутылок» на самом деле не была такой уж нелепой, какою она казалась со слов Баркильфедро. Гарсиа Феррандес в своем «Морском путеводителе» протестовал против разграбления потерпевших крушение судов и расхищения прибрежными жителями выброшенных морем вещей; протест, который в наши дни был бы сочтен простым витийством, произвел в Англии сенсацию и принес пострадавшим от кораблекрушения ту выгоду, что с тех пор их имущество уже не растаскивалось крестьянами, а конфисковывалось лорд-адмиралом.

Все, что выбрасывало море на английский

берег, — товары, остовы судов, тюки, ящики и прочее, — все принадлежало лорд-адмиралу (в том-то и заключалась значительность должности, о которой ходатайствовал Баркильфедро); особенно привлекали внимание адмиралтейства плававшие на поверхности моря сосуды, содержавшие в себе всякие известия и сообщения. Кораблекрушения — вопрос, серьезно занимающий Англию. Жизнь Англии в мореплавании, и потому кораблекрушения составляют вечную ее заботу. Море причиняет ей постоянное беспокойство. Маленькая стеклянная фляжка, брошенная в море гибнущим кораблем, содержит в себе важные и ценные со всех точек зрения сведения — сведения о судне, об экипаже, времени и причине крушения, о ветрах, потопивших корабль, о течении, прибившем фляжку к берегу. Должность, которую занимал Баркильфедро, уничтожена более ста лет тому назад, но в свое время она действительно приносила пользу. Последним «откупорщиком океанских бутылок» был Вильям Хесси из Доддингтона в Линкольне. Человек, исполнявший эту обязанность, являлся как бы докладчиком обо всем, что происходит в море. Ему доставлялись все запечатанные сосуды, бутылки, фляжки, выброшенные прибоем на

английский берег; он один имел право их вскрывать, он первый узнавал их тайну; он разбирал их и, снабдив ярлыками, записывал в реестр; отсюда и пошло до сих пор еще употребляемое на островах Ла-Манша выражение: «водворить плетенку в канцелярию». Правда, была принята одна мера предосторожности: все эти сосуды могли быть распечатаны только в присутствии двух представителей адмиралтейства, приносивших присягу не разглашать тайну и совместно с чиновником, заведующим отделом Джетсон, подписывавших протокол о распечатании. Так как оба «присяжных» были связаны своим клятвенным обязательством, то для Баркильфедро открывалась некоторая свобода действий, и в известной мере от него одного зависело скрыть какой-либо факт или предать его гласности.

Эти хрупкие находки были далеко не такими редкими и незначительными, как Баркильфедро говорил Джозиане. Иногда они довольно быстро достигали земли, иногда на это требовались долгие годы, — все зависело от ветров и течений. Обычай бросать в море бутылки теперь почти вывелся, так же как и обычай вешать ex voto[188]

---

[188] Сноски: 188
Приношения по обету (*лат.*).

перед изображениями святых, но в те времена люди, смотревшие в глаза смерти, любили таким способом посылать Богу и людям свои последние мысли, и иногда в адмиралтействе скоплялось много подобных посланий.

Пергамент, хранящийся в Орлеанском замке и подписанный графом Сэффолком, лорд-казначеем Англии при Иакове I, гласит, что в течение одного только 1615 года в адмиралтейство было доставлено и зарегистрировано в канцелярии лорд-адмирала пятьдесят две штуки засмоленных склянок, банок, бутылок и фляг, содержавших известия о гибнущих кораблях.

Придворные должности похожи на капли масла, которые, расплываясь, постепенно захватывают все более широкое поле. Таким путем привратник становится канцлером, а конюх — коннетаблем. На должность, которую выпрашивал и получил Баркильфедро, назначался обычно человек, облеченный доверием. Так пожелала Елизавета. При дворе доверие подразумевает под собой интригу, а интрига означает повышение в чинах. Чиновник этот в конце концов стал в некотором роде значительной персоной. Он был клерком и в придворной иерархии следовал непосредственно за двумя раздатчиками мило-

стыни. Он имел право входа во дворец, — правда, скромного входа (humilis introitus), но перед ним открывались двери даже королевской спальни; обычай требовал, чтобы в некоторых случаях он оповещал королевскую особу о своих находках, часто весьма любопытных: в них бывали завещания людей, потерявших всякую надежду остаться в живых, прощальные письма родным, сообщения о хищениях груза и других преступлениях, совершенных в море, дарственные записи в пользу короны и т. д.; «откупорщик океанских бутылок» поддерживал непосредственные сношения с двором и время от времени давал королю отчет о вскрытых им находках. Это был «черный кабинет» по делам океана.

Елизавета, охотно говорившая по-латыни, спрашивала обычно у Темфилда из Колея в Беркшире, который занимал при ней должность чиновника Джетсон и вручал ей такие выброшенные морем послания:

— Quid mihi scribit Neptunus? (Что пишет мне Нептун?)

Ход был проделан. Термит добился своего. Баркильфедро проник к королеве.

Это было именно то, к чему он стремился.

Чтобы создать свое благополучие?

Нет.

Чтобы разрушить благополучие других.

Это гораздо приятнее.

Вредить ближнему — высшее наслаждение.

Далеко не всем дано испытывать смутное, но необоримое желание причинять другому вред и ни на минуту не забывать о своем намерении. Баркильфедро был удивительно настойчив. В осуществлении своих замыслов он отличался мертвой хваткой бульдога. Он испытывал мрачное удовлетворение от сознания собственной непреклонности. Только бы чувствовать в своих руках добычу или хотя бы знать, что зло будет нанесено неизбежно, — больше ему ничего не надо было.

Он готов был сам дрожать от холода, лишь бы этот холод заморозил другого. Быть злым — роскошь. Человек, который слывет бедным, да и на самом деле беден, обладает одним лишь сокровищем, от которого он не откажется ни за какие другие; это сокровище — его злоба. Все дело в удовлетворении, которое испытываешь, сыграв с кем-нибудь скверную штуку. Эта радость дороже всяких денег. Чем хуже для жертвы, тем лучше для шутника. Кэтсби, сообщник Гая Фокса в пороховом заговоре папистов, говорил: «Я и

за миллион фунтов стерлингов не отказался бы от радости увидеть, как взлетает в воздух парламент».

Кто был Баркильфедро? Самым ничтожным и самым ужасным существом. Завистником.

При дворе зависть всегда найдет себе применение. Там много наглецов, бездельников, богатых лодырей, жадных до сплетен, искателей соломинки в чужом глазу, злопыхателей, осмеянных насмешников, глупых остряков, и все они нуждаются в услугах завистника.

Как отрадно послушать хулу на своего ближнего!

Из завистников выходят ловкие шпионы.

Между врожденной страстью — завистью и развившимся в обществе особым ремеслом — шпионством есть глубокое сходство. Шпион, как собака, выслеживает добычу для других; завистник, как кошка, выслеживает ее для себя.

Звериный эгоизм — вот существо завистника.

У Баркильфедро были другие особенности: он был скромен, скрытен, но всегда ставил себе определенную цель. Он все хранил про себя и копил в себе злобу. Великая низость идет об руку с великим тщеславием. К Баркильфедро благоволили те, кого он забавлял, остальные ненавидели его;

но он чувствовал, что ненавидящие относятся к нему с пренебрежением, а благосклонные — с презрением.

Он постоянно сдерживал себя. Под личиной враждебной покорности в нем кипели оскорбленные чувства. Он возмущался, как будто негодяи имеют право на негодование. Ярость, не дававшая ему ни минуты покоя, никогда не проявлялась у него внешне. Он был способен вынести любые оскорбления. Его терзали мрачные порывы злобы и пожирало вечно тлевшее в его душе пламя, но никто об этом даже не догадывался. Втайне Баркильфедро был холерик, но он всегда улыбался. Он был обходителен, услужлив, учтив и угодлив. Он кланялся всем и каждому. Малейшее, дуновение ветерка склоняло его до земли. Легко добиться счастья тому, у кого вместо позвоночного столба гибкая тростинка.

Таких скрытных и ядовитых людей больше, чем мы думаем. Они зловеще шныряют вокруг нас. Зачем они существуют на свете? Какой мучительный вопрос! Его постоянно задает себе мечтатель и никогда не может разрешить мыслитель. Поэтому печальные взоры философов всегда устремлены к той сумрачной вершине, которую именуют роком и с высоты которой огромный

призрак зла бросает на землю пригоршни змей.

У Баркильфедро было тучное тело и худое лицо. На жирном туловище узкая головка. У него были короткие, плоские рубчатые ногти, узловатые пальцы, жесткие волосы, далеко расставленные друг от друга глаза, лоб преступника, широкий и низкий. Раскосые глаза с подлым выражением прятались под нависшими бровями. Длинный, острый, горбатый нос почти соприкасался со ртом. Если бы облачить Баркильфедро в одежду римских императоров, он был бы похож на Домициана. Его желтое лицо казалось вылепленным из какой-то клейкой массы, а неподвижные щеки — из воска; множество продольных и поперечных морщин свидетельствовали о всевозможных пороках; у него была широкая нижняя челюсть, тяжелый подбородок и большие мясистые уши. Когда он молчал, из-под верхней губы, приподнятой острым углом, видны были, при взгляде на него сбоку, два зуба. Казалось, эти зубы смотрят на вас. Ведь зубы могут смотреть, так же как глаза — кусаться.

Терпеливость, сдержанность, умеренность, осторожность, скромность, любезность, уступчивость, мягкость, вежливость, трезвость и целомудрие — все эти добродетели дополняли и

совершенствовали образ Баркильфедро. То, что он обладал ими, было клеветой на них.

В очень короткое время Баркильфедро прочно обосновался при дворе.

8. Inferi – Преисподняя

Обосноваться при дворе можно двояким способом: либо на облачных высотах — тогда вы окружены ореолом величия, либо в грязи — и тогда в ваших руках сила.

В первом случае вы пребываете на Олимпе, во втором — располагаетесь в гардеробной.

Обитатель Олимпа повелевает только громами; тот, кто живет при гардеробной, — полицией.

Здесь, в гардеробной, вы найдете все атрибуты королевской власти, а иногда — ибо гардеробная место предательское — и орудия кары. Тут находят свою смерть Гелиогабалы. В подобных случаях гардеробная называется отхожим местом.

Но обыкновенно в гардеробной не столь ужасно. Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским, коронованные особы охотно дают здесь аудиенции. Она заменяет собою тронную залу. Людовик XIV принимал в ней герцогиню

Бургундскую. Филипп V восседал там рядом с королевой. В королевскую гардеробную получает доступ и священник. Иногда она становится отделением исповедальни.

Вот почему, занимая при дворе самое незаметное положение, можно сделать карьеру. И неплохую карьеру.

Если вы хотите быть великим при Людовике XI — будьте Пьером Роганом, маршалом Франции; если хотите быть «влиятельным — будьте, как Оливье Леден, цирюльником. Если хотите прославиться при Марии Медичи — будьте канцлером Силлери, если хотите иметь значение — будьте Ганнон, камеристкой. Если вы хотите быть знаменитым при Людовике XV — будьте Шуазелем, министром, если хотите быть грозным — будьте Лебелем, лакеем. Бонтан, стеливший Людовику XIV постель, был более могуществен, чем Лавуа, создавший этому королю армию, и Тюренн, доставивший ему столько побед. Отнимите у Ришелье отца Жозефа, и от Ришелье почти ничего не останется. Исчезнет всякая таинственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке! Все Нарваэсы вкупе со всеми О'Доннелями не могут сделать того, что сделает какая-нибудь

сестра Патрочиньо.

Первым условием такого могущества является ничтожество. Если вы хотите быть сильным, будьте незаметным. Будьте ничем. Свернувшаяся кольцом спящая змея является в одно и то же время символом бесконечности и нуля.

Такая змеиная удача выпала и на долю Баркильфедро.

Он прополз туда, куда стремился.

Плоские паразиты проникают всюду. В кровати Людовика XIV водились клопы, а в его политике действовали иезуиты.

В нашем мире нет ничего несовместимого.

Жизнь напоминает маятник. Тяготеть к чему-либо — значит качаться из стороны в сторону. Один полюс стремится к другому. Франциску I необходим Трибуле, Людовику XV — Лебель. Существует глубокое сходство между «высшим величием» и крайним ничтожеством.

Управляет ничтожество. Это совершенно понятно. Нити находятся в руках того, кто внизу.

Он занимает самую удобную позицию.

Он все видит, и к нему прислушиваются.

Он — око правительства.

В его распоряжении — ухо короля.

Если в вашем распоряжении ухо короля, то

это значит, что вы можете по собственному усмотрению открывать и защелкивать дверь королевского сознания и всовывать туда все, что вам заблагорассудится. Ум короля — ваш шкаф. Если вы тряпичник — он превращается в вашу корзинку. Уши королей принадлежат не им, и поэтому, сказать по правде, эти бедняги не вполне ответственны за свои поступки. Тот, кто не владеет своими мыслями, не распоряжается и своими действиями. Король всегда повинуется.

Кому?

Какому-нибудь мерзавцу, который жужжит у него над ухом. Черной мухе, исчадию бездны.

В этом жужжании — приказ. Король всегда правит под чью-то диктовку.

Монарх повторяет вслух, подлинный властитель диктует шепотом.

И те, кто умеет уловить этот шепот и услышать, что именно подсказывает он королю, — настоящие историки.

9. Ненависть так же сильна, как и любовь

Немало подсказчиков нашептывали на ухо королеве Анне. В том числе и Баркильфедро.

Кроме королевы, он старался воздействовать и на леди Джозиану и на лорда Дэвида, стремясь незаметно подчинить их своему влиянию. Как мы уже говорили, он нашептывал сразу в три уха. На одно ухо больше, чем Данжо. Вспомним, что Данжо нашептывал только двоим; просунув голову между Людовиком XIV, влюбленным в свою свояченицу Генриету, и Генриетой, влюбленной в Людовика XIV, и, сделавшись без ведома Генриеты секретарем Людовика и без ведома Людовика секретарем Генриеты, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток, сам задавая вопросы и сам же отвечая на них.

Баркильфедро был таким веселым и сговорчивым, таким безобразным и злоязычным, он был так неспособен заступиться за кого-либо и проявить верность кому бы то ни было, что нет ничего странного в том, что он стал в конце концов необходим королеве. Оценив по достоинству Баркильфедро, Анна не пожелала слушать других льстецов. Он льстил ей так же, как льстили Людовику XIV, он обращал свое жало против других. «Король невежествен, — говорила госпожа де Моншеврейль, — приходится поэтому смеяться над учеными».

Отравлять постепенно, уколами — это верх

искусства. Нерон любил смотреть на работу Локусты.

В королевские дворцы проникнуть нетрудно: в этих коралловых сооружениях существуют внутренние ходы, о существовании которых очень быстро догадывается полип, называемый царедворцем; найдя готовый ход, он расширяет его, а если нужно, проделывает новый. Чтобы попасть во дворец, достаточно какого-нибудь предлога.

Воспользовавшись в качестве такого предлога своей службой, Баркильфедро в очень короткое время сделался для королевы тем, чем он был и для герцогини Джозианы, — привычным и забавным домашним животным. Сорвавшееся у него однажды с языка остроумное словечко помогло ему раскусить королеву: теперь он знал, чем можно заслужить милость Ее Величества. Королева очень любила своего лорда-управителя Вильяма Кавендиша, герцога Девонширского, человека необычайно глупого. В одно прекрасное утро этому лорду, имевшему все ученые степени Оксфорда и писавшему с ошибками, вздумалось умереть. Придворный, умирая, совершает большую неосторожность, ибо никто больше не стесняется о нем злословить. Королева погоревала о нем в присутствии Баркильфедро и наконец

промолвила со вздохом:

— Как жаль, что столь добродетельный человек был не очень умен!

— Да примет Господь душу своего осла, — вполголоса пробормотал по-французски Баркильфедро.

Королева улыбнулась. Баркильфедро отметил эту улыбку.

Отсюда он сделал вывод: нравится, когда язвят.

Итак, ему дозволялось быть злоязычным.

С этого дня Баркильфедро дал волю своему любопытству и своей злости. Его никто не смел одернуть, все его боялись. Тот, кто смешит короля, гроза для всех остальных.

Баркильфедро стал всесильным шутом.

Ежедневно пробирался он вперед своим подземным ходом. В Баркильфедро нуждались. Некоторые вельможи до такой степени дарили его своим доверием, что в случае нужды поручали ему то или иное гнусное дело.

Двор — это целая система зубчатых колес. Включившись в эту систему, Баркильфедро стал ее двигателем. Обратили ли вы внимание на то, что в некоторых механизмах двигательное колесо очень мало?

Джозиана, как мы уже сказали, пользовалась

шпионскими способностями Баркильфедро и питала к нему такое доверие, что, не задумываясь, дала ему ключ от своих покоев, с помощью которого Баркильфедро мог проникнуть к ней в любое время.

Такое чрезмерное доверие, раскрывающее интимную сторону жизни перед посторонними людьми, было в семнадцатом столетии весьма распространенным явлением. Это называлось «подарить ключ». Джозиана подарила два потайных ключа: один — лорду Дэвиду, другой — Баркильфедро.

Впрочем, в старину никто не удивлялся, если человек получал доступ в спальню. Иногда это приводило к неожиданностям. Ла Ферте, например, раздвинув внезапно полог постели мадемуазель Лафон, наткнулся на черного мушкетера Сенсона.

Баркильфедро отличался особым умением раскрывать тайны, которые подчиняют великих мира сего и предают их в руки маленьких людей. Он умел бесшумно красться в потемках извилистым путем. Как всякий хороший соглядатай, он совмещал в себе жестокость палача и терпение микрографа. Он был прирожденным царедворцем, а все царедворцы — лунатики. Они бродят в

ночи, называемой всемогуществом. В руке у них потайной фонарь. Лучом этого фонаря они освещают только то, что хотят, оставаясь сами в тени. Не человека ищет царедворец с этим фонарем, а животное, которое скрывается в человеке; он находит его в короле.

Королям не нравится, чтобы кто-то рядом с ними претендовал на величие. Талант Баркильфедро заключался в том, что он непрерывно умалял достоинства лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы.

Ключ, подаренный Баркильфедро, был с двумя бородками по концам, и потому им можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джовианы — в Генкервилл-Хаузе в Лондоне и в Корлеоне-Лодже в Виндзоре. Оба эти дворца входили в состав наследства лорда Кленчарли. Генкервилл-Хауз прилегал к Олдгейту. Олдгейт был воротами, ведущими в Лондон из Харвика; там стояла статуя Карла II с раскрашенным изваянием ангела над головой и фигурами льва и единорога у подножия. Восточный ветер доносил в Генкервилл-Хауз благовест из Сент-Мерильбона. Дворец Корлеоне-Лодж в Виндзоре был построен в флорентийском стиле из кирпича и камня с мраморной колоннадой и стоял на сваях;

к нему вел деревянный мост; парадный двор его считался одним из самых красивых в Англии.

В этом дворце, расположенном неподалеку от Виндзорского замка, Джозиана была на виду у королевы. Тем не менее ей нравилось там жить.

Влияние Баркильфедро на королеву было незаметно со стороны, но пустило глубокие корни. Нет ничего более трудного, чем удалить такие придворные плевелы; они почти не дают ростков, и их не за что ухватить. Выполоть Роклора, Трибуле или Бреммеля — задача почти невозможная.

С каждым днем королева Анна становилась все благосклоннее к Баркильфедро.

Всем известно имя Сары Дженнингс. Имя же Баркильфедро осталось неизвестным. Никто не знает о милостивом отношении к нему королевы Анны. Его имя не дошло до истории. Не всякий крот попадает в руки кротолова.

Баркильфедро, неудачливый кандидат в священнослужители, учился всему понемногу, а потому, как это бывает обычно в подобных случаях, не знал ничего. Можно стать жертвой мнимого всезнайства. Сколько на свете таких, можно сказать, бесплодных ученых, у которых на плечах вместо головы бочка Данаид. Чем только ни набивал Баркильфедро свою голову, все на-

прасно — она оставалась пустой.

Ум, как и природа, не терпит пустоты. Природа заполняет пустоту любовью; ум нередко прибегает для этого к ненависти. Ненависть дает ему пищу.

Существует ненависть ради ненависти; искусство ради искусства более свойственно натуре человека, чем принято думать.

Люди ненавидят. Надо же что-нибудь делать.

Беспричинная ненависть ужасна. Это ненависть, которая находит удовлетворение в самой себе.

Медведь живет тем, что сосет свою лапу.

Но это не может длиться без конца. Лапу надо питать. Медведю необходим какой-нибудь корм.

Ненависть сладостна сама по себе, и на некоторое время ее хватает, но в конце концов она должна устремиться на определенный предмет.

Злоба беспредметная истощает, как всякое наслаждение в одиночестве. Она похожа на стрельбу холостыми патронами. Эта игра увлекает лишь в том случае, если можно пронзить чье-либо сердце.

Нельзя ненавидеть только ради того, чтобы прослыть ненавистником. Необходима цель — мужчина или женщина, кто-то, кого стремишься

погубить.

Джозиана бессознательно оказала Баркильфедро эту восхитительную и ужасную услугу — она придала игре интерес и сообщила ей цель: она разожгла и направила ненависть, раздразнила охотника видом живой добычи, внушила притаившемуся стрелку надежду, что скоро прольется теплая, дымящаяся кровь, обрадовала птицелова мнимой легковерностью быстрокрылого жаворонка, пробудила в охотнике зверя, ибо, сам того не подозревая, он был создан для того, чтобы убивать.

Мысль — это снаряд. Баркильфедро с первого дня избрал Джозиану мишенью для всех черных замыслов, гнездившихся в его мозгу. Существует сходство между намерением и пищалью. Баркильфедро притаился в засаде, направив на герцогиню всю свою затаенную злобу. Это вас удивляет? Зачем вы стреляете в птицу, которая не сделала вам никакого зла? Чтобы съесть ее — отвечаете вы. Того же хотел и Баркильфедро.

Джозиану нельзя было ранить в сердце, так как трудно поразить место, где скрывается загадка, но можно было нанести ей удар в голову, уязвив ее гордость.

Именно гордость была ее слабостью, а она ви-

дела в ней свою силу.

Баркильфедро это прекрасно понял.

Если бы Джозиана могла разобраться в черной душе Баркильфедро, если бы она узнала, что скрывается за его улыбкой, эта надменная высокопоставленная особа затрепетала бы. Но сны ее были безмятежно спокойны, она даже не подозревала, что таилось в этом человеке.

Нежданное обрушивается неизвестно откуда. Страшны глубинные источники жизни. Нет малой ненависти. Ненависть всегда огромна. Она сохраняет свои размеры даже в самой ничтожной твари и остается чудовищной. Всякая ненависть сильна уже тем, что она — ненависть. Слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность.

Еще не нанеся удара, Баркильфедро уже радостно предвкушал зло, которое собирался совершить. Он пока не знал еще, что именно он предпримет против Джозианы. Но намерение его было твердо. И одно уже такое решение значит немало.

Он не надеялся уничтожить Джозиану; это было бы слишком большой удачей. Но оскорбить ее, унизить, причинить ей горе, увидеть, как покраснеют от слез бессильной ярости эти прекрасные глаза, — вот что он считал бы удачей. И на нее он

рассчитывал. Не напрасно природа одарила его такой настойчивостью, такой страстной жаждой причинять страдания другим. Он был уверен, что найдет какой-нибудь изъян в золотых доспехах Джозианы и прольет кровь этой обитательницы Олимпа. Какая же за это ждала его награда? — спросим мы. Огромная: радость отплатить злом за добро.

Кто такой завистник? Неблагодарный. Он ненавидит солнце, которое освещает и согревает его. Так Зоил ненавидит Гомера.

Подвергнуть Джозиану тому, что назвали бы теперь вивисекцией, видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь резать ее живую на части — вот какие мечты лелеял Баркильфедро.

Чтобы достигнуть этого, он рад был бы и сам пострадать немного. Можно попасть в собственные тиски. Складывая нож, можно обрезать себе пальцы. Велика важность! Если бы, мучая Джозиану, Баркильфедро причинил боль себе, он отнесся бы к этому безразлично. Палач, орудуя раскаленным железом, обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше. Видя, как мучится тот, кого пытают, вы не ощущаете собственной боли.

Вреди как можно больше, а там — будь что будет.

Причиняя ближнему зло, вы береге на себя ответственность. Подвергая другого опасности, вы рискуете собой, так как сцепление различных обстоятельств может привести к неожиданному крушению и вашу судьбу. Истинно злой человек не останавливается даже перед этим. Его радуют терзания страдальца. Его приятно щекочут эти муки. Веселье злодея ужасно. Он чувствует себя отлично при виде пытки. Герцог Альба грел руки у костров, на которых жгли людей. Огонь — страдание, его отблеск — радость. Невольно содрогаешься при мысли о том, какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений. Темные стороны души непостижимы. Встречающееся у Бодена выражение «изощренная казнь» имеет, быть может, тройной ужасный смысл: утонченные пытки, страдания пытаемого, наслаждение мучителя.

«Алчность», «честолюбие» — эти слова означают, что кто-то приносится в жертву для удовлетворения аппетита другого. Как печально, что даже понятие «надежда» может быть извращено! Таить зло против кого-нибудь — значит желать ему зла. Почему не добра? Не потому ли, что наша

воля устремлена преимущественно в сторону зла? Самая тяжелая задача — постоянно подавлять в своей душе желание зла, с которым так трудно бороться. Почти все наши желания, если хорошенько разобраться в них, содержат нечто такое, в чем нельзя признаться. Но у законченного злодея — а такого рода гнусное совершенство существует — вырабатывается правило: чем хуже для других, тем лучше для меня. Совесть его — мрачный вертеп.

Джозиана в избытке обладала той беспечностью, которая порождается презрительной гордостью и высокомерно-пренебрежительным отношением ко всему. Способность женщины к презрению поразительна. Джозиане была присуща бессознательная, непроизвольная, самоуверенная надменность. Баркильфедро в ее глазах был почти вещью. Она очень удивилась бы, если бы ей сказали, что у него тоже есть душа.

Она ходила, говорила, смеялась, не обращая внимания на этого человека, который исподтишка наблюдал за ней.

Он только выжидал удобного случая. И чем больше он ждал, тем больше крепло в нем решение омрачить чем-нибудь жизнь этой женщины.

Беспощадная засада…

Впрочем, объясняя себе свое поведение, он приводил весьма убедительные доводы. Не думайте, что негодяи не питают к себе уважения. Они оправдываются в своих поступках, произнося высокопарные монологи, и свысока смотрят на окружающих. Как! Эта Джозиана подала ему милостыню! Она, как нищему, швырнула ему несколько лиаров из своего несметного богатства! Она поработила его этой нелепой должностью! Если он, Баркильфедро, почти духовное лицо, человек, одаренный такими крупными и разнообразными способностями, ученый муж, имеющий все основания получить титул его преподобия, должен заниматься описью черепков вроде тех, которыми Иов соскребывал гной со своих струпьев, если он вынужден проводить свою жизнь в мерзкой канцелярии и с важностью раскупоривать глупые бутылки, покрытые слоем ила и морских ракушек, читать заплесневелые пергаменты, истлевшие бестолковые послания, грязные обрывки завещаний, какой-то неудобочитаемый вздор, — во всем этом виновата Джозиана.

И эта тварь еще смеет говорить ему «ты»!

Да неужели он не отомстит за себя, не проучит

это ничтожество?

Нет, погоди! Есть еще на свете справедливость!

10. Пламя, которое можно было бы видеть, будь человек прозрачен

Как! Эта шалая женщина, эта похотливая мечтательница, девственница по недоразумению, этот кусок человеческого мяса, который пока еще не нашел владельца, эта бесстыжая причудница в герцогской короне, эта Диана, еще не доставшаяся первому встречному только потому, что спесива, — или, быть может, по чистой случайности; эта побочная дочь канальи-короля, у которого не хватило ума удержаться на троне, эта неизвестно откуда выпорхнувшая герцогиня, только благодаря своей знатности разыгрывающая из себя богиню, между тем как в бедности она была бы потаскухой; эта мнимая леди, эта воровка, укравшая имущество изгнанника, — эта высокомерная дрянь обнаглела до того, что когда он, Баркильфедро, оказался без крова и куска хлеба, она посадила его на нижнем конце своего стола и дала ему пристанище в одном из углов ее постылого дворца, не все ли равно где — на чердаке, в подвале? Живется ему немного лучше лакея

в людской, немного хуже лошади на конюшне! Воспользовавшись его, Баркильфедро, отчаянным положением, она поторопилась оказать ему предательскую услугу, как это обычно делают богачи, чтобы унизить бедняков и привязать их к себе, как своих такс, которых они водят на сворке! А чего стоила ей эта помощь? Цена помощи определяется ценою жертвы. У нее во дворце комнат хоть отбавляй! Она, видите ли, помогала ему, Баркильфедро! Подумаешь, как ей было это трудно! Съела ли она из-за этого хоть одной ложкой меньше черепахового супа? Лишила ли она себя хотя бы частицы своего проклятого богатства? Нет, она прибавила к своему изобилию новый повод к тщеславию, еще один предмет роскоши, — сделала доброе дело, украсившись им, как украшают палец перстнем, пришла на помощь умному человеку, взяла под свое покровительство духовное лицо! Теперь она может кичиться этим, говорить: «Я оказываю благодеяния, я кормлю писателей!» Она может разыгрывать из себя его покровительницу. «Повезло этому бедняге, что он напал на меня! Ведь я друг искусства!» И все лишь потому, что она отвела ему жалкую койку в дрянном чулане под своей крышей. Конечно, должность в адмиралтействе Баркильфедро получил бла-

годаря Джозиане. Прекрасная должность, черт возьми! Джозиана сделала из Баркильфедро то, что он есть. Она дала ему положение, допустим. Да, но ничтожное. Меньше чем ничтожное. В этой смехотворной должности он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам, парализованным, утратившим собственный облик. Чем он обязан Джозиане? Признательностью, которую горбун питает к матери, родившей его уродом. Вот они, эти привилегированные, пресыщенные всеми благами люди, эти выскочки, баловни подлой мачехи-судьбы! А даровитый человек, Баркильфедро, вынужден вытягиваться перед ними на лестнице, кланяться лакеям, карабкаться вечером на самую вышку, быть любезным, предупредительным, обходительным, вежливым, приятным и неизменно хранить на лице почтительную улыбку! Как тут не заскрежетать зубами от ярости! А она в это время надевает на шею жемчуга и ломает любовную комедию со своим дураком, лордом Дэвидом Дерри-Мойр, негодяйка этакая!

Никогда не принимайте ничьих услуг. Вас непременно поймают на удочку. Не давайтесь благодетелям в руки в ту минуту, когда вы валитесь с ног от изнеможения. Вам окажут благоде-

яние. У него, Баркильфедро, не было хлеба, — эта женщина его накормила? С тех пор он стал ее лакеем! Временное чувство пустоты в желудке — и вот вы прикованы на всю жизнь! Быть кому-либо обязанным — значит попасть в рабскую зависимость. Счастливцы власть имущие пользуются моментом, когда вы протягиваете руку, чтобы сунуть вам грош, они пользуются минутой вашей слабости, чтобы превратить вас в раба, в худшую разновидность раба — в раба, облагодетельствованного милостыней, в раба, обязанного любить! Какой позор! Какая неделикатность! Какая западня для вашей гордости! И вот все кончено: вы навеки осуждены превозносить доброту этого человека, признавать красавицей эту женщину, оставаться на заднем плане, со всем соглашаться, всему рукоплескать, восхищаться, курить фимиам, натирать себе мозоли вечным коленопреклонением, рассыпаться в сладких речах, когда вас гложет ярость, когда вы готовы вопить от бешенства, когда дикая злоба разрывает вашу грудь и горькая пена клокочет в ней сильнее, чем в океане.

Вот как богачи делают бедняка своим узником.

Вы навсегда увязаете в клейкой смоле оказанного вам благодеяния, которое замарает вас на

всю жизнь.

Милостыня — нечто непоправимое. Признательность — тот же паралич. Благодеяние прилипает к вам, лишает вас свободы движения. Это свойство хорошо известно ненавистным богачам, которые обрушили на вас свою жалость. Дело сделано. Вы стали вещью. Они вас купили. Чем? Костью, которую они отняли у своей собаки, чтобы бросить вам. Они швырнули эту кость вам в голову. Этой костью они больше ушибли вас, чем помогли вам. Все равно, обглодали вы эту кость или нет. Вам отвели место в конуре. Благодарите же. Будьте благодарны всю жизнь. Боготворите ваших господ. Валяйтесь в ногах у них. Благодеяние предполагает добровольное подчинение благодетельствуемого благодетелю. Благотворители требуют от вас, чтобы вы признавали себя ничтожеством, а их — богами. Ваше унижение возвеличивает их. Взглянув на ваш согбенный стан, они держатся еще прямее. В звуке их голоса слышится надменность. Их семейные события, свадьбы, крестины, беременность, появление на свет потомства — все это касается вас. У них рождается волчонок — отлично, пишите стихи на случай. На то вы и поэт, чтобы сочинять всякие пошлости. Как тут не остервенеть! Еще

немного, и они заставят вас донашивать их старые башмаки!

«Кто это у вас, моя милая? Вот урод! Откуда он?» — «Сама не знаю, какой-то писака, которого я кормлю». Так разговаривают между собою эти индюшки. И даже не понижают голоса. Вы слышите это и продолжаете расточать любезности. Впрочем, если вы больны, ваши господа присылают вам врача. Не своего, конечно. При случае он осведомляется о вас. Будучи иной породы, чем вы, и находясь на недосягаемой для вас высоте, они приветливы с вами. Их высокое положение делает их доступными. Они знают, что вы не можете быть с ними на равной ноге. Презирая вас, они учтивы с вами. За столом они слегка кивают вам головой. Иногда они знают, как пишется ваше имя. Если они и дают почувствовать, что покровительствуют вам, то лишь простодушно попирая ногами все, что есть в вас наиболее уязвимого и чувствительного. Они так добры к вам!

Разве это не верх гнусности?

Конечно, следовало как можно скорее наказать Джозиану. Надо было дать ей понять, с кем она имеет дело! А-а, господа богачи, потому лишь, что вы не в состоянии поглотить все, что у вас есть, потому лишь, что излишество могло бы повлечь

за собой несварение желудка (ибо ваши желудки не больше наших), потому лишь, наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их вон, вы великолепным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы! Ах, вы даете нам хлеб, даете пристанище, одежду, занятие, и ваша дерзость, ваше безумие, ваша жестокость, ваша глупость и нелепость доходят до того, что вы верите, будто мы вам обязаны! Наш хлеб — это хлеб рабства, пристанище, которое вы нам даете, — лакейская, одежда — ливрея, должность — издевательство; правда, нам на этой должности платят, но она низводит нас на уровень скота! Ах, вы считаете себя вправе бесчестить нас за то, что дали нам кров и пищу, вы воображаете, что мы ваши должники, вы рассчитываете на нашу признательность! Отлично! Мы сожрем ваши внутренности! Отлично! Мы выпотрошим вас, красавица, проглотим вас живьем, перегрызем зубами все мышцы вашего сердца!

Ах, эта Джозиана! Чудовище! В чем ее заслуга? Велика, подумаешь, важность: появилась на свет, подтвердив этим глупость своего отца и бесстыдство своей матери; оказала нам милость, согласившись существовать, и за то, что она любезно соизволила быть публичным скандалом,

ей заплатили миллионы, пожаловали земли и замки, заповедники, охоты, озера, леса — всего не перечесть! И при этом она еще кривляется. Ей пишут стихи! А он, Баркильфедро, который столько учился и работал, столько потрудился на своем веку, поглотил уйму фолиантов, забил ими свои мозги, заплесневел среди научных трактатов, он, человек выдающегося ума, он, который мог бы отлично командовать армиями и — если бы только захотел — писать трагедии, подобно Отвею и Драйдену, он, рожденный быть императором, вынужден согласиться на то, чтобы это ничтожество спасало его от голодной смерти! Могут ли простираться еще дальше узурпаторские действия богачей, ненавистных баловней случая? Притворяться великодушными и улыбаться нам, нам, готовым выпить их кровь и облизать себе губы! Не чудовищная ли это несправедливость, что какая-то гнусная придворная дама имеет право называть себя вашей благодетельницей, а человек, превосходящий ее во всех отношениях, обречен подбирать крохи, оброненные такой рукою? Как тут не схватить скатерть за все четыре конца, не швырнуть ее в потолок вместе со всем пиром, со всею оргией, обжорством и пьянством, со всеми гостями — и с теми, что развалились,

опираясь локтями на стол, и с теми, что ползают под столом на четвереньках, — с наглецами, которые бросают нищему подачку, и идиотами, принимающими эту подачку, выплюнуть все это Богу прямо в лицо, швырнуть в небо всю нашу землю! Ну, а пока вонзим когти в Джозиану.

Так рассуждал Баркильфедро. Дикий рык раздавался в его душе. Оправдывая себя, завистник смешивает свои личные обиды с общественным злом. В кровожадном сердце бурно кипят все виды злобных страстей. На географических картах пятнадцатого века в углу изображали большое безыменное пространство, на котором были начертаны три слова: Hie sunt leones[189]. Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где то внутри нас волнуются и бурлят страсти, и об этом темном уголке нашей души можно также сказать: «Hie sunt leones».

Но разве уж совершенно нелеп был хаос этих диких мыслей? Разве был он лишен всякой логики? Надо сознаться, что нет.

Страшно подумать, но наш рассудок не всегда является голосом справедливости. Суждение — нечто относительное. Справедливость — нечто

---

[189] Сноски: 189
Здесь обитают львы (*лат.*).

безусловное. Поразмыслите над тем, какая разница между судом и правосудием.

Злодеи своевольно распоряжаются своей совестью. Существует всякого рода гимнастика лжи. Софист — фальсификатор: в случае нужды он насилует здравый смысл. Определенная логика, чрезвычайно гибкая, беспощадная и искусная, всегда готова к услугам зла: она изощреннейшим образом побивает скрытую в тени истину. Сатана наносит Богу страшные удары кулаком.

Иной софист, приводящий в восхищение глупцов, только тем и славен, что покрыл синяками человеческую совесть.

Больше всего удручала Баркильфедро мысль, что дело сорвется. Он предпринял огромный труд и опасался, что в итоге причинит слишком мало вреда. Носить в своем сердце всепожирающую злобу и твердую, как алмаз, ненависть, обладать железной волей, стремиться все взорвать — и в результате ничего не сжечь, никого не обезглавить, никого не уничтожить! Быть тем, чем он был, — разрушительной силой, всепоглощающей враждебностью, палачом чужого счастья, быть созданным (ибо всегда есть создатель — дьявол или Бог) по мерке, присущей только Баркильфедро, и разрядить всю свою энергию в жалком

щелчке, да разве это мыслимо! Баркильфедро промахнется? Чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы, — и всего-навсего посадить шишку на лоб жеманницы! Быть катапультой — и напрасно сотрясать воздух! Выполнять сизифов труд — и убедиться, что это не более как муравьиные усилия! Излить весь запас ненависти почти без всякие последствий! Не унизительно ли это, когда сознаешь себя злобной силой, могущей превратить в прах всю Вселенную! Привести в движение сложную систему зубчатых колес, громыхать во мраке, как машина Марли, для того чтобы прищемить кончик розового пальчика! Своротить глыбу, чтобы вызвать на поверхности болота придворной жизни легкую рябь! Нелепое расточительство сил к лицу только богам: обвал горы иной раз кончается тем, что кротовая нора меняет свое место.

Да и кроме того, на своеобразном поле битвы, каким является двор, нет ничего опаснее, как прицелиться в своего врага и промахнуться. Во-первых, вы тем самым предстаете своему противнику без личины и вызываете его ярость, а во-вторых (и это существеннее), промахнувшись, вы возбуждаете недовольство вашего господина. Королям не очень-то нравятся неловкие люди.

Смотрите, чтоб не было ни шишек, ни безобразных ссадин! Режьте всех, но не разбивайте носы в кровь. Кто убивает — тот молодец, кто только ранит — тот разиня. Короли не любят, чтобы увечили их слуг. Они сердятся, когда вы разбиваете фарфор у них на камине или калечите кого-либо из их свиты. При дворе должна быть чистота, опрятность. Разбивайте, но заменяйте новым, и все будет в порядке.

Вдобавок это превосходно согласуется со взглядом вельможных людей на злословие. Злословьте, но тумаков не давайте или, если уж зудит рука, бейте насмерть.

Вонзайте кинжал, но не царапайте. Разве только отравленной булавкой. Это — смягчающее вину обстоятельство. Вспомним, что именно таково было оружие Баркильфедро.

Всякий злобствующий пигмей — сосуд, в котором заключен сказочный дракон. Крошечный сосуд — и исполинский дракон. Чудовищно плотный сгусток, выжидающий момента, чтобы расшириться до необъятных размеров. Скучая, он утешается мыслью о грядущем взрыве. Содержимое больше вместилища. Притаившийся гигант — не странно ли это? Червяк, вынашивающий в себе гидру! Быть ужасной шкатулкой с сюрпри-

зом, таящей в себе Левиафана, — для карлика это и пытка и наслаждение.

Итак, ничто не могло бы заставить Баркильфедро отказаться от его намерений. Он ждал своего часа. Наступит ли этот час? Что нужды! Он ждал его. У отъявленных злодеев ко всему примешивается личное самолюбие. Рыть яму и вести подкоп под карьеру придворного, стоящего выше вас, пытаться взорвать эту карьеру, рискуя собственной головой, как бы мы ни были сами укрыты под землей, повторяем, дело интересное. Такая игра может захватить. Ею можно увлечься, как сочинением эпической поэмы. Быть ничтожеством и напасть на существо в тысячу раз сильнее вас — блестящий подвиг. Приятно быть блохою на теле льва.

Гордый зверь чувствует укус и расходует свою бешеную ярость, обрушиваясь на ничтожный атом. Встреча с тигром причинила бы ему меньше досады. И вот роли переменились. Униженный лев чувствует в своем теле жало насекомого, а блоха вправе заявить: «Во мне течет львиная кровь».

Однако гордость Баркильфедро удовлетворялась этим лишь наполовину. Это было слабое утешение. Дразнить — приятно, но лучше бы-

ло пытать. Назойливая мысль не давала покоя Баркильфедро; он боялся, что ему удастся только слегка задеть Джозиану, нанести поверхностную царапину. Мог ли он рассчитывать на большее, он, такое ничтожество по сравнению с этой блестящей женщиной? Нанести царапину — какая малость, когда ему хотелось содрать кожу, обнажить живое кровоточащее мясо, когда ему хотелось бы слышать дикие вопли женщины, не обнаженной, нет, а лишившейся последнего покрова — собственной кожи! Как ужасно сознавать свое бессилие, тая в душе такое стремление! Увы, на свете нет ничего совершенного.

Как бы там ни было, он покорялся своей судьбе. Не имея возможности воплотить в жизнь свои замыслы, он мечтал осуществить их хотя бы наполовину. Сыграть злую шутку — все-таки цель.

Человек, мстящий за оказанное ему благодеяние, — фигура недюжинная. Баркильфедро проявил себя здесь подлинным исполином. Обычно неблагодарность проявляется в забвении; у этого же избранника зла она проявлялась в яростной ненависти. Сердце неблагодарного человека хранит в себе только пепел. Что же было в сердце Баркильфедро? Его сердце было горнилом, полным пылающих углей. Ненависть, гнев, досада,

злоба молчаливо раздували здесь то пламя, которое должно было испепелить Джозиану. Никогда еще мужчина не пылал такой беспричинной ненавистью к женщине. Это было ужасно! Джозиана стала его бессонницей, его единственной заботой, его тоской, его бешенством.

Быть может, он был в нее немного влюблен.

11. Баркильфедро в засаде

Найти уязвимое место Джозианы и нанести ей удар — таково было, по причинам, о которых мы говорили выше, непреклонное желание Баркильфедро.

Хотеть — недостаточно; надо мочь.

Как взяться за это?

В этом весь вопрос.

Мелкие негодяи тщательно разрабатывают подробный план гнусности, которую хотят совершить. Они не чувствуют в себе достаточно силы, чтобы на лету схватить первую представившуюся возможность, завладеть ею добром или насильно и подчинить ее своим целям. Этим объясняются их предварительные комбинации, которыми настоящие злодеи пренебрегают. Опытные злодеи полагаются главным образом

на свой злодейский нрав: они вооружаются чем можно, заготовляют на всякий случай разного рода оружие и, подобно Баркильфедро, просто выжидают благоприятного момента. Они знают, что заранее выработанный план может не совпасть с обстоятельствами. Связав себя определенной программой действий, злодей рискует запутаться и не добиться поставленной цели. С судьбою не ведут предварительных переговоров. Завтрашний день нам не подвластен. Случай не повинуется нам. Поэтому преступники подстерегают случай и, ухватив его цепкой лапой, заставляют сразу же, без лишних слов, работать с ними заодно. Ни плана, ни чертежа, ни модели, ничего заранее обдуманного, что оказалось бы непригодным для неожиданности, как башмак, сшитый не по мерке. Они бросаются очертя голову в черную бездну. Немедленно и быстро извлекать для себя пользу из любого обстоятельства — искусство подлинного злодея, превращающее мошенника в демона.

Настоящий злодей поражает нас, как праща, первым попавшимся под руку камнем. Настоящие злодеи всегда полагаются на неожиданность, эту немую помощницу всякого преступления.

Поймать случай, прыгнуть ему на спину — вот

единственное art poétique[190] этого рода талантов.

А до поры до времени им необходимо выведать, с кем они имеют дело. Нащупать почву.

Для Баркильфедро этой почвой была королева Анна.

Баркильфедро все ближе подползал к королеве.

Его допускали так близко, что порою ему казалось, будто он слышит мысли Ее Величества.

Иногда он, как лицо, которое в счет не идет, присутствовал при разговорах двух сестер. Ему не запрещалось вставить и свое словечко. Он пользовался этим для собственного уничижения. Это был способ внушить к себе доверие.

Так, однажды в Гемптон-Корте, в саду, находясь позади герцогини, стоявшей за спиной у королевы, он услыхал, как Анна, с натугой следовавшая тогдашней моде изрекать сентенции, произнесла:

— Счастливы животные — они не рискуют попасть в ад.

— Они и без того в аду, — возразила Джозиана.

Ответ этот, внезапно подменивший религию

---

[190] Сноски: 190
Искусство поэзии (*фр.*).

философией, пришелся королеве не по вкусу. Пусть ответ даже был глубокомыслен, Анну он все же покоробил.

— Милая моя, — заметила она Джозиане, — мы говорим об аде как две дурочки. Спросим у Баркильфедро, что представляет собою ад. Он должен хорошо разбираться в этом.

— В качестве дьявола? — спросила Джозиана.

— В качестве животного, — ответил Баркильфедро.

И поклонился.

— Он, сударыня, — обратилась королева к Джозиане, — умнее нас с вами.

Для такого человека, как Баркильфедро, быть приближенным к королеве значило держать ее в руках. Он мог сказать: «Она в моей власти». Теперь ему надо было только найти способ заставить ее служить своим целям.

Он занял определенное место при дворе. Укрепиться при дворе — чего лучше! Только бы подвернулся благоприятный случай: уж он не упустит его. Не раз он вызывал злобную улыбку на устах королевы. Это значило, что ему дозволено охотиться.

Но не было ли при дворе какой-либо запретной дичи? Давало ли ему это разрешение право

подбить крылышко или лапку, скажем, родной сестре Ее Величества?

Это следовало узнать в первую очередь. Любит ли королева свою сестру?

Неверный шаг мог погубить все дело. Баркильфедро стал приглядываться.

Прежде чем сделать ход, игрок смотрит в свои карты. Какие у него козыри? Баркильфедро первым делом сопоставил возраст обеих женщин: Джозиане двадцать три года, Анне — сорок один. Отлично. Карты недурные.

Момент, с которого женщина перестает вести счет годам по веснам и начинает вести его по зимам, действует на нее раздражающим образом. В ней пробуждается глухая злоба против безжалостного времени, которое она начинает чувствовать. Молодые, только что расцветшие красавицы, источающие для других благоухание, обращены к ней одними шипами, и каждая из этих роз причиняет ей укол. Ей кажется, что это они отняли у нее свежесть, что ее собственная красота вянет лишь потому, что она расцветает в других.

Воспользоваться этой тайной досадой, углубить морщины на лице сорокалетней женщины, королевы, — вот что предстояло Баркильфедро.

Зависть — отличное средство для возбуждения ревности: она выводит ее наружу, подобно тому как крыса выгоняет крокодила из его логова.

Баркильфедро сосредоточил все внимание на королеве. Он вглядывался в королеву, как вглядываются в стоячую воду. Болото иной раз бывает довольно прозрачно. В грязной воде видны пороки, в мутной — нелепости. Анна была водою мутной.

В ее тупом мозгу шевелились зародыши чувств и личинки мыслей.

Все там было неясно. Все было едва намечено. Это было тем не менее нечто реальное, хотя и бесформенное. Королева думала то-то. Королева желала того-то. Точно установить, что она думала, чего желала, — было трудно. Еле заметные превращения, происходящие в стоячей воде, не так-то легко поддаются исследованию.

Обычно вялая, королева иногда позволяла себе глупые и грубые выходки. Этими вспышками и следовало воспользоваться. Надо было поймать ее на этом.

Чего в глубине души желала Анна герцогине Джозиане? Добра или зла?

Загадка. Баркильфедро задался целью разгадать ее.

Найдя ответ, он мог бы пойти дальше.

На помощь ему пришел ряд случайностей, но главное — помогла его постоянная настороженность.

Анна приходилась по мужу дальней родственницей новой прусской королеве, супруг которой имел сто камергеров; у Анны был его портрет, писанный на эмали по способу Тюрке де Майерна. У прусской королевы тоже была незаконнорожденная младшая сестра, баронесса Дрика.

Однажды в присутствии Баркильфедро Анна стала расспрашивать прусского посланника об этой Дрике.

— Говорят, она богата?

— Очень богата, — ответил посланник.

— У нее есть дворцы?

— И даже более великолепные, чем у ее сестры — королевы.

— За кого она выходит замуж?

— За знатного вельможу, за графа Гормо.

— Он красив?

— Очарователен.

— Она молода?

— Совсем молода.

— Так же хороша, как королева?

Посланник, понизив голос, ответил:

— Еще лучше.

— Какая дерзость! — прошептал Баркильфедро.

Королева помолчала, потом воскликнула:

— Ох, уж эти незаконнорожденные!

Это множественное число не ускользнуло от Баркильфедро.

В другой раз, при выходе из часовни, где Баркильфедро стоял довольно близко от королевы, позади двух раздатчиков милостыни, лорд Дэвид Дерри-Мойр, продвигавшийся сквозь ряды королевской свиты, произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью. Вслед ему раздавался хор женских восклицаний: «Как он изящен! — Как он любезен! — Какой у него величественный вид! — Какой красавец!»

— Как это неприятно! — пробормотала королева.

Баркильфедро услышал это.

Теперь он знал, что ему делать.

Можно было вредить герцогине, не опасаясь возбудить недовольство королевы.

Первая задача была решена.

Перед ним возникла вторая.

Как же повредить герцогине?

Какие средства для достижения столь трудной

цели могла доставить ему его жалкая должность?

Никаких, очевидно.

12. Шотландия, Ирландия и Англия

Отметим одну подробность: у Джозианы «был диск».

Это станет понятным, если вспомнить, что она была сестрой королевы — правда, сестрой побочной, но все же особой королевской крови.

«Иметь диск» — что это значит?

Виконт Сент-Джон (иными словами — Болингброк) писал Томасу Леннарду, графу Сессексу: «Две вещи сообщают людям высокое положение. В Англии — tour, во Франции — pour». Pour означало во Франции следующее: когда король путешествовал, гоф-фурьер вечером, во время остановок, отводил помещение лицам, сопровождавшим его величество. Некоторые из этих вельмож пользовались огромным преимуществом перед остальными. «У них есть *pour*, — читаем мы в "Историческом журнале" за 1694 год на странице 6-й, — то есть распределитель помещения пишет перед именами этих особ слово *pour* (для), например: "для принца Субиз", между тем как,

отмечая помещение лица не королевской крови, он опускает предлог “для” и пишет просто: “Герцог де Жевр, герцог Мазарини”» и т. д. Предлог pour, красовавшийся на дверях, указывал на то, что здесь помещается принц крови или фаворит. Фаворит — это еще хуже, чем принц. Король жаловал право на pour, как орденскую ленту или как пэрство.

«Право на диск» (tour) в Англии было менее почетно, но представляло большие выгоды. Это было знаком подлинной близости к царствующей особе. Тот, кто по праву рождения или вследствие расположения монарха мог получать от него непосредственные сообщения, имел в стене своей спальни диск с приделанным к нему звонком. Звонок звонил, диск открывался в виде дверцы, и на золотой тарелке или на бархатной подушке появлялось королевское послание, после чего диск возвращался на прежнее место; это было интимно и торжественно. Таинственное входило в повседневный обиход. Диск не имел никакого другого назначения. Звонок возвещал только о королевском послании. Тот, кто приносил послание, оставался невидимым. Впрочем, обычно это был паж короля или королевы. В царствование Елизаветы «диск» был у Лестера, в царствование

Иакова I — у Бекингема. Джозиана получила «право на диск» при Анне, хотя королева и не питала к ней особой благосклонности. Получавший эту привилегию как бы входил в непосредственное сношение с небом и время от времени получал письма от Бога через его почтальона. Ничему так не завидовали, как этому знаку отличия. Однако эта привилегия усиливала раболепство. Ее обладатель становился еще раболепнее других. При дворе всякое возвышение унижает. «Право на диск» обозначалось французским термином avoir le tour; эта особенность английского этикета исходила, по всей вероятности, из какого-нибудь старинного французского обычая.

Леди Джозиана, пэресса-девственница, подобно тому как Елизавета была девственницей-королевой, жила, смотря по времени года, то в городе, то в деревне и вела почти королевский образ жизни; у нее был свой собственный двор, при котором лорд Дэвид, вместе с другими лицами, играл роль придворного. Не будучи еще супругами, лорд Дэвид и леди Джозиана все же могли, не вызывая пересудов, показываться вместе на людях и охотно пользовались этим. Нередко они ездили в театр или на бега в одной карете и сидели в одной ложе. Хотя мысль о браке, в

который им было разрешено и даже предписано вступить, расхолаживала их, тем не менее им было приятно встречаться друг с другом. Свободное обхождение, дозволенное помолвленным, имеет границы, которые легко переступить. Однако они воздерживались от этого, ибо чрезмерная непринужденность — признак дурного вкуса.

Самые знаменитые состязания в боксе происходили в ту пору в Ламбетском приходе, где находился дворец архиепископа Кентерберийского, хотя на этой окраине воздух вреден для здоровья; там же была и богатая библиотека архиепископа, открытая в определенные часы для всех добропорядочных людей. Однажды зимой на обнесенной оградой поляне происходило состязание между двумя боксерами, на котором присутствовала Джозиана: ее привез сюда Дэвид. Она как-то спросила его: «Разве женщины допускаются на бокс?» Дэвид ответил: «Sunt faeminae magnates». В вольном переводе это означает: «Только не мещанки», в буквальном же переводе: «Знатные дамы». Герцогини вхожи куда угодно. Потому-то леди Джозиана и присутствовала на этом зрелище.

Ей пришлось сделать только одну уступку приличиям — надеть мужской костюм, но это

было вполне в обычае того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На шесть человек, помещавшихся в виндзорском дилижансе, почти всегда приходились одна или две дамы в мужском платье. Это свидетельствовало об их принадлежности к дворянству.

Поскольку лорд Дэвид сопровождал даму, он не мог принимать непосредственного участия в состязании и вынужден был оставаться просто зрителем.

Леди Джозиана выдавала свое высокое общественное положение лишь тем, что смотрела в лорнет: на это имели право только знатные особы.

«Благородный поединок» происходил под председательством лорда Джермена, прадеда или двоюродного деда того лорда Джермена, который в конце XVIII века служил полковником, бежал с поля сражения, а затем стал военным министром и спасся от неприятельских пуль лишь для того, чтобы пасть жертвой сарказмов Шеридана, оказавшихся страшнее всякой картечи. Многие из джентльменов держали пари: Гарри Белью из Карлтона, претендент на угасшее пэрство Белла-Аква, бился об заклад с Генри, лордом Хайдом, членом парламента от местечка Ден-

хайвед, носившего также название Лаунсестон; высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, — с сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейдстоуна; лорд Лемирбо из Лотианской епархии — с Семюэлем Трефузисом из местечка Пенрайн; сэр Бартелемью Грейсдью из местечка Сент-Ивс — с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвилем, который носил титул лорда Робертса и являлся custos rotulorum — мировым судьей Корнуэлского графства. Бились об заклад и многие другие.

Один боксер был ирландец из Типперери, прозванный по имени родной горы Филем-ге-Медоном, другой — шотландец Хелмсгейл. Таким образом, здесь столкнулись два национальных самолюбия. Предстояла схватка между Ирландией и Шотландией. Поэтому общая сумма пари превышала сорок тысяч гиней, не считая негласной игры.

Оба бойца были обнажены до пояса, весь костюм их состоял из коротких панталон, застегнутых на бедрах, и башмаков на подбитой гвоздями подошве, зашнурованных у щиколоток.

Шотландец Хелмсгейл был низкорослый малый, не больше девятнадцати лет от роду, но уже со швом на лбу; поэтому за него держали пари на

два с третью. В прошлом месяце он переломил ребро и выбил оба глаза боксеру Сиксмайлсуотеру; этим объяснялся вызываемый им энтузиазм. Ставившие на него выиграли тогда двенадцать фунтов стерлингов. Кроме шва на лбу, у Хелмсгейла была еще повреждена челюсть. Он был легок и проворен, ростом не выше маленькой женщины, плотен, приземист, коренаст; в его фигуре было что-то угрожающее; природа, казалось, ничего не упустила, вылепив его из особого теста, и, казалось, каждый мускул его был предназначен для кулачного боя. В его крепком, лоснящемся, коричневом, как бронза, торсе была какая-то собранность. Когда он улыбался, обнаруживалось отсутствие трех зубов.

Его противник был огромен и широк, иными словами — слаб.

Это был мужчина лет сорока, шести футов роста, с грудной клеткой гиппопотама, очень кроткий на вид. Ударом кулака он мог бы проломить корабельную палубу, но не умел наносить этого удара. Ирландец Филем-ге-Медон представлял собою преимущественно удобную мишень для противника и, по-видимому, принимал участие в боксе не столько для того, чтобы наносить удары, сколько для того, чтобы получать их. Од-

нако чувствовалось, что он продержится долго. Он напоминал недожаренный ростбиф, который трудно разжевать и невозможно проглотить. На языке боксеров таких силачей называют raw flesh — сырая говядина. У него были косые глаза. Судя по всему, он примирился со своей участью.

Эти два человека проспали всю прошедшую ночь бок о бок в одной постели. Оба выпили из одного стакана по три больших глотка портвейна. И у того и у другого были свои приверженцы, люди с суровыми физиономиями, которые в случае надобности могли припугнуть судей. В группе сторонников Хелмсгейла бросался в глаза Джон Громен, прославившийся тем, что пронес на спине целого быка, и некто Джон Брей, который однажды взвалил себе на плечи десять мешков муки по пятнадцать галлонов в каждом, да еще мельника впридачу, и прошел с этим грузом больше двухсот шагов. В числе приверженцев Филем-ге-Медона находился приведенный лордом Хайдом из Лаунсестона некто Кильтер, который жил в Зеленом Замке и метал через плечо камень весом в двадцать фунтов выше самой высокой башни этого замка. Все трое, Кильтер, Брей и Громен, были уроженцы Корнуэла — обстоятельство, делающее честь этому графству.

Остальные сторонники обоих боксеров были здоровенные парни, с широкими спинами, кривыми ногами, большими узловатыми руками, с тупыми лицами, в лохмотьях, почти все побывавшие под судом и не боявшиеся ничего на свете.

Многие из них отлично умели подпаивать полицейских. В каждой профессии должны быть свои таланты.

Поляна, выбранная для поединка, простиралась за Медвежьим садом, где некогда происходили бои медведей, быков и догов, за последними, еще не законченными городскими строениями, рядом с развалинами приорства святой Марии Овер-Рэй, разрушенного Генрихом VIII. Дул северный ветер, моросил дождь, была гололедица. Среди собравшихся джентльменов можно было сразу узнать отцов семейства по раскрытым зонтам.

На стороне Филем-ге-Медона был полковник Монкрейф в качестве арбитра и Кильтер — чтобы подставлять колено.

На стороне Хелмсгейла — достопочтенный Пьюг Бьюмери в качестве арбитра и лорд Дизертем из Килкерн — чтобы подставлять колено.

Несколько минут, пока сверялись часы, оба боксера неподвижно стояли в ограде. Затем противники подошли друг к другу и обменялись

рукопожатием.

Филем-ге-Медон сказал Хелмсгейлу:

— Эх, хорошо бы уйти домой.

Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил:

— Нельзя же попусту собирать благородную публику.

Они были обнажены, и им было холодно. Филем-ге-Медон весь дрожал, и у него стучали зубы.

Доктор Элинор Шарп, племянник архиепископа Йоркского, крикнул им:

— Надавайте друг другу тумаков, болваны! Сразу согреетесь.

Эти любезные слова расшевелили их.

Они бросились друг на друга.

Но они еще недостаточно разъярились. Первые три схватки прошли вяло. Преподобный доктор Гемдрайт, один из сорока членов «Коллегии всех душ», крикнул:

— Поднесите-ка им джину!

Но оба «рефери» и двое «восприемников» — все четверо судей, хотя и было очень холодно, настояли на соблюдении правил.

Послышался крик: «First blood!» — требовали «первой крови». Противников поставили лицом

к лицу.

Они сошлись, вытянули руки, ощупали друг у друга кулаки, потом каждый отступил назад. Вдруг низкорослый Хелмсгейл бросился вперед. Начался настоящий бой.

Филем-ге-Медон получил удар прямо в лоб, между бровей. Кровь залила ему все лицо. Толпа заорала:

— Хелмсгейл пролил красное вино!

Раздались рукоплескания. Филем-ге-Медон, вращая руками как мельничными крыльями, принялся бить кулаками куда попало. Достопочтенный Перегрин Берти заметил:

— Ослеплен. Но еще не ослеп.

Тогда Хелмсгейл услыхал доносившиеся со всех сторон возгласы поощрения:

— Выбей ему буркалы!

Словом, оба бойца были выбраны вполне удачно, и хотя погода не благоприятствовала состязанию, всем стало ясно, что поединок не будет безрезультатным. Великан Филем-ге-Медон оказался жертвой собственных преимуществ: большой рост и вес делали его неповоротливым. Руки его были настоящими палицами, но тело — мертвым грузом. Маленький шотландец бегал, разил, прыгал, скрежетал зубами, быстротою дви-

жений удваивал свою силу, пускался на всякие уловки. С одной стороны — первобытный, дикий, некультурный, невежественный удар кулаком; с другой — удар цивилизованный. Хелмсгейл столько же бился нервами, сколько и мускулами, брал не одной лишь силой, но и злобой; Филем-ге-Медон смахивал на ленивого мясника, слегка оглушенного предварительным ударом. Искусство выступало здесь против природы. Ожесточенный человек — против варвара.

Было ясно, что побежденным окажется варвар. Однако не слишком скоро. Это и возбуждало интерес. Низкорослый против великана. Преимущество было на стороне первого. Кошка одолевает дога. Голиафы всегда бывают побеждены Давидами.

Бойцов подстегивали градом восклицаний:

— Браво, Хелмсгейл! Хорошо! Отлично, горец! — Твоя очередь, Филем!

Друзья Хелмсгейла сочувственно повторяли:

— Выбей ему буркалы!

Хелмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись волнообразным движением пресмыкающегося, он ударил Филем-ге-Медона под ложечку. Колосс зашатался.

— Незаконный удар! — крикнул виконт Бар-

нард.

Филем-ге-Медон опустился на колено к Кильтеру и произнес:

— Я начинаю согреваться.

Лорд Дизертем, посовещавшись с рефери, объявил:

— Пятиминутная передышка!

Филем-ге-Медон был близок к обмороку. Кильтер фланелью отер ему кровь на глазах и пот на теле, затем вставил в рот горлышко фляги. Это была одиннадцатая схватка. Не считая раны на лбу, у Филем-ге-Медона была помята грудная клетка, распух живот и было повреждено темя. Хелмсгейл нисколько не пострадал. Среди джентльменов замечалось некоторое смятение.

Лорд Барнард повторил:

— Незаконный удар!

— Пари вничью! — сказал лорд Лемирбо.

— Я требую обратно мою ставку! — подхватил сэр Томас Колпепер.

А достопочтенный член парламента от местечка Сент-Ивс сэр Бартелемью Грейсдью прибавил:

— Пускай мне возвратят мои пятьсот гиней, я ухожу.

— Прекратите состязание! — крикнули арбитры.

Но Филем-ге-Медон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал:

— Продолжим поединок, но с одним условием. За мною тоже признается право нанести один незаконный удар.

Со всех сторон закричали:

— Согласны!

Хелмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба, которая для Филем-ге-Медона была сплошной мукой, казалась забавой для Хелмсгейла. Вот что значит наука! Маленький человечек нашел способ засадить великана in chancery; иначе говоря, Хелмсгейл вдруг захватил огромную голову Филем-ге-Медона под свою левую, стальным полумесяцем изогнутую руку и, держа подмышкой затылком вниз, стал правым кулаком колотить по голове противника, словно молотком по гвоздю, сверху и снизу, пока не изуродовал все лицо. Когда же Филем-ге-Медон получил, наконец, возможность поднять голову, лица у него больше не было. То, что прежде было носом, глазами и ртом, теперь казалось чем-то вроде черной губки, пропитанной кровью. Он сплюнул. На землю упало четыре зуба. Затем он свалился. Кильтер подхватил его на свое колено. Хелмсгейл почти совсем

не пострадал. Он получил несколько синяков да царапину на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хелмсгейла против Филем-ге-Медона ставили теперь шестнадцать с четвертью.

Гарри из Карлтона крикнул:

— Нет больше Филем-ге-Медона! Ставлю на Хелмсгейла мое пэрство Белла-Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа Кентерберийского.

— Дай-ка твою морду, — сказал Кильтер Филем-ге-Медону и, поливая окровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джином. Показался рот. Филем-ге-Медон открыл одно веко. Виски у него, казалось, были рассечены.

— Еще одна схватка, дружище, — сказал Кильтер. — За честь нижнего города.

Валлийцы и ирландцы понимают друг друга; однако Филем-ге-Медон ничем не обнаружил, что он еще способен соображать. При поддержке Кильтера Филем-ге-Медон поднялся. Эта была двадцать пятая схватка. По тому, как этот циклоп (ибо одного глаза он лишился) стал в позицию, все поняли, что это конец; никто уже не сомневался в его неизбежной гибели.

Защищаясь, он поднял руку выше подбородка: это был промах умирающего. Хелмсгейл, только

слегка вспотевший, крикнул:

— Ставлю за себя тысячу против одного.

И, занеся руку, ударил противника. Однако странное дело: упали оба. Раздалось веселое мычание.

Это Филем-ге-Медон вслух выражал свою радость.

Он воспользовался страшным ударом, который Хелмсгейл нанес ему по черепу, и сам, вопреки правилам, ударил его в живот. Хелмсгейл, лежа без чувств, хрипел.

Арбитры, увидев Хелмсгейла на земле, изрекли:

— Получил сдачу сполна.

Все захлопали в ладоши, даже проигравшие.

Филем-ге-Медон отплатил незаконным ударом за незаконный удар, но это было ему разрешено.

Хелмсгейла унесли на носилках. Все были убеждены, что он не оправится.

Лорд Роберте воскликнул:

— Я выиграл тысячу двести гиней!

Филем-ге-Медон должен был, очевидно, остаться калекой на всю жизнь.

Уходя, Джозиана оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось помолвленным, и проговорила:

— Прекрасное зрелище. Но…

— Но что?

— Я думала, что оно рассеет мою скуку. Оказывается, нет.

Лорд Дэвид остановился, посмотрел на Джозиану, сжал губы, надул щеки, покачал головой, что обозначало: «Примем к сведению», затем ответил герцогине:

— Против скуки существует только одно лекарство.

— Какое?

— Гуинплен.

Герцогиня спросила:

— А что это такое — Гуинплен?

Часть вторая
Гуинплен и Дея
1. Лицо человека, которого до сих пор знали только по его поступкам

Природа не пожалела своих даров для Гуинплена. Она наделила его ртом, открывающимся до ушей, ушами, загнутыми до самых глаз, бесформенным носом, созданным для того, чтобы на нем подпрыгивали очки фигляра, и лицом, на которое нельзя было взглянуть без смеха.

Мы сказали, что природа щедро осыпала Гуинплена своими дарами. Но было ли это делом одной природы?

Не помог ли ей кто-нибудь в этом?

Глаза — как две узкие щелки, зияющее отверстие вместо рта, плоская шишка с двумя дырками вместо ноздрей, сплющенная лепешка вместо лица — в общем, нечто, являющееся как бы воплощением смеха; было ясно, что природа не могла создать такое совершенное произведение искусства без посторонней помощи.

Но всегда ли смех выражает веселье?

Если при встрече с этим фигляром, — ибо Гуинплен был фигляром, — после того как рассеивалось первоначальное веселое впечатление, вызываемое наружностью этого человека, в него вглядывались более внимательно, на его лице замечали признаки мастерской работы. Такое лицо — не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Такая законченная отделка не свойственна природе. Человек бессилен сделать из себя красавца, но обезобразить себя вполне в его власти. Вы не превратите готтентотский профиль в римский, но из греческого носа легко сделаете нос калмыка. Для этого достаточно раздавить переносицу и расплющить

ноздри. Недаром же вульгарная средневековая латынь создала глагол denasare[191]. Не был ли Гуинплен в детстве столь достойным внимания, чтобы кто-то занялся изменением его лица? Возможно! Хотя бы только с целью показывать его и наживать на этом деньги. Судя по всему, над этим лицом поработали искусные фабриканты уродов. Очевидно, какая-то таинственная и, по всей вероятности, тайная наука, относившаяся к хирургии так, как алхимия относится к химии, исказила, несомненно еще в очень раннем возрасте, его природные черты и умышленно создала это лицо. Это было проделано по всем правилам науки, специализировавшейся на надрезах, заживлении тканей и наложении швов: был увеличен рот, рассечены губы, обнажены десны, вытянуты уши, переломаны хрящи, сдвинуты с места брови и щеки, расширен скуловой мускул; после этого швы и рубцы были заглажены, и на обнаженные мышцы натянута кожа с таким расчетом, чтобы навеки сохранить на этом лице зияющую гримасу смеха; так возникла в руках искусного ваятеля эта маска — Гуинплен.

С таким лицом люди не рождаются.

---

[191] Сноски: 191
Лишить носа (*лат.*).

Как бы там ни было, маска Гуинплена удалась на славу. Гуинплен был даром провидения для всех скучающих людей. Какого провидения? Не существует ли наряду с провидением божественным и провидение дьявольское? Мы ставим этот вопрос, не разрешая его.

Гуинплен был скоморохом. Он выступал перед публикой. Ничто не могло сравниться с производимым им впечатлением. Он исцелял ипохондрию одним лишь своим видом. Людям, носившим траур, приходилось избегать Гуинплена, ибо с первого же взгляда они невольно начинали смеяться до неприличия. Однажды явился палач; Гуинплен заставил и его расхохотаться. Увидав Гуинплена, люди хватались за бока: он только раскрывал рот, как все покатывались от смеха. Он был полюсом, противоположным печали. Сплин находился на одном конце, Гуинплен — на другом. Поэтому-то на всех ярмарках и площадях за ним установилась лестная слава непревзойденного урода.

Гуинплен вызывал смех своим собственным смехом. Однако сам он не смеялся. Смеялось его лицо, но не он сам. Смеялась только эта чудовищная физиономия, созданная игрою случая или особым искусством. Гуинплен тут был ни при

чем. Внешний облик его не зависел от его внутреннего состояния. Он не мог согнать со своего лба, со щек, с бровей, с губ этот непроизвольный смех. Это был смех автоматический, казавшийся особенно заразительным именно потому, что он застыл навсегда. Никто не мог устоять перед этим осклабившимся ртом. Два судорожных движения рта действуют заразительно: это смех и зевота. В результате таинственной операции, которой, по всей вероятности, подвергся Гуинплен в детстве, все черты его лица вызывали это впечатление смеха, вся его физиономия сосредоточилась только на этом выражении, подобно тому, как все спицы колеса сосредоточиваются в ступице. Какие бы чувства ни волновали Гуинплена, они только усиливали это странное выражение веселья, вернее — обостряли его; удивление, страдание, гнев или жалость только резче подчеркивали веселую гримасу этих мускулов: заплачь он, его лицо продолжало бы смеяться; что бы ни делал Гуинплен, чего бы он ни желал, о чем бы ни думал, стоило ему лишь поднять голову, как толпа, если только возле него была толпа, разражалась громовым хохотом.

Представьте себе голову веселой Медузы.

Неожиданное зрелище нарушало привычное

течение мыслей и заставляло смеяться.

Некогда в древней Греции на фронтонах театров красовалась бронзовая смеющаяся маска. Маска эта называлась Комедией. Бронзовая личина как будто смеялась и вызывала смех, но вместе с тем хранила печать задумчивости. Пародия, граничащая с безумием, ирония, близкая к мудрости, сосредоточивались и сливались воедино в этом лице; заботы, печали, разочарования, отвращение к жизни отражались на этом бесстрастном челе и порождали мрачный итог — веселость; один угол рта, обращенный к человечеству, был приподнят насмешкой; другой, обращенный к богам, кощунством; люди приходили к этому совершеннейшему образу сарказма, чтобы столкнуть с ним тот запас иронии, который каждый из нас носит в себе, и толпа, беспрерывно сменявшаяся перед этим воплощением смеха, замирала от восторга при виде застывшей издевательской улыбки.

Если бы эту мрачную маску античной Комедии надеть на лицо живого человека, можно было бы получить представление о лице Гуинплена. На плечах у него была голова, казавшаяся сатанинской смеющейся маской. Какое бремя для человеческих плеч — такой вечный смех!

Вечный смех. Объяснимся. Если верить манихеям, доброе начало отступает перед враждебным, злым началом, и у самого Бога бывают перерывы в бытии. Условимся также насчет того, что такое воля. Мы не допускаем, чтобы она всегда была бессильна. Всякое существование похоже на письмо, смысл которого изменяется постскриптумом. Для Гуинплена постскриптумом было следующее: огромным усилием воли, на котором он сосредоточивал все свое внимание, когда никакое волнение не отвлекало его и не ослабляло этого напряжения, он иногда умудрялся согнать этот непрестанный смех со своего лица и набросить на него некий трагический покров. И в такие минуты его лицо вызывало у окружающих уже не смех, а содрогание ужаса.

Заметим, что Гуинплен очень редко прибегал к этому усилию, так как оно стоило ему мучительного труда и невыносимого напряжения. Достаточно было к тому же малейшей рассеянности, малейшего волнения, чтобы прогнанный на минуту, неудержимый как морской прибой, смех снова появлялся на его лице и обнаруживал себя тем резче, чем сильнее было это волнение.

За исключением таких случаев Гуинплен смеялся вечно.

Глядя на Гуинплена, люди смеялись. Но, посмеявшись, отворачивались. Особенно сильное отвращение вызывал он у женщин. И в самом деле, этот человек был ужасен. Судорожный хохот зрителей был своего рода данью, и ее выплачивали весело, но почти бессознательно. Когда же приступ смеха затихал, смотреть на Гуинплена становилось для женщин совершенно нестерпимо, они опускали глаза и старались не глядеть на него.

Между тем он был высок ростом, хорошо сложен, ловок и нисколько не уродлив, если не считать лица. Это было еще одним признаком, подтверждавшим предположение, что наружность Гуинплена была скорее делом рук человеческих, нежели произведением природы. Красоте сложения Гуинплена должна была соответствовать, по всей вероятности, и красота лица. При рождении он был, несомненно, таким же ребенком, как и все другие дети. Тела его не тронули, а перекроили только лицо. Гуинплен был созданием чьей-то злонамеренной воли.

По крайней мере, это было очень похоже на истину.

Зубов у него не вырвали. Зубы необходимы для смеха. Они остаются и в черепе мертвеца.

Операция, произведенная над ним, должно быть, была ужасна. Он не помнил о ней, но это вовсе не доказывало, что он ей не подвергся. Такая работа хирурга-ваятеля могла увенчаться успехом только в том случае, если ее объектом был младенец, который не сознавал, что с ним происходит, и легко мог принять нанесенные раны за болезнь. К тому же в те времена, как помнит читатель, усыпляющие и болеутоляющие средства были уже известны. Только тогда это называли колдовством. В наши дни это называют анестезией.

Наделив Гуинплена такой маской, люди, взрастившие его, развили в нем задатки будущего гимнаста и атлета; путем умело подобранных акробатических упражнений его суставам была придана способность выворачиваться в любую сторону, тело получило резиновую гибкость, и сочленения двигались подобно шарнирам. Ничто не было упущено в воспитании Гуинплена для того, чтобы с малолетства подготовить его к мастерству фигляра.

Его волосы раз навсегда были выкрашены в цвет охры — секрет, вновь найденный в наши дни. Им пользуются красивые женщины, и то, что некогда, считалось уродством, теперь счи-

тается признаком красоты. У Гуинплена были рыжие волосы, а краска, очевидно едкая, сделала их жесткими и грубыми на ощупь. Под рыжей гривой, скорее похожей на щетину, чем на волосы, скрывался прекрасно развитый череп — достойное вместилище мысли. Какова бы ни была операция, уничтожившая гармонию лица и изуродовавшая его мускулы, она оказалась бессильной изменить черепную коробку. Лицевой угол Гуинплена поражал своей мощью. За этой смеющейся маской таилась душа, склонная, как и у всех людей, предаваться мечтам.

Впрочем, смех Гуинплена был настоящим талантом. Он не мог избавиться от него и потому извлекал из него пользу. Этим смехом он добывал себе пропитание.

Гуинплен — читатели, вероятно, уже догадались об этом — был тот самый ребенок, которого покинули в зимний вечер на портлендском берегу и который нашел себе приют в бедном домике на колесах в Уэймете.

2. Дея

Ребенок стал взрослым мужчиной. Прошло пятнадцать лет. Шел 1705 год. Гуинплену должно

было исполниться двадцать пять лет.

Урсус оставил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью.

Урсус и Гомо состарились. Урсус совсем облысел. Волк поседел. Продолжительность жизни волков не установлена с такою точностью, как продолжительность жизни собак. По данным Молена, некоторые волки достигают восьмидесятилетнего возраста, в том числе малый купар, caviae vorus, и вонючий волк, canis nubilus, описанный Сэем.

Девочка, найденная на груди мертвой женщины, превратилась теперь в шестнадцатилетнюю девушку, с бледным лицом, обрамленным темными волосами, довольно высокую, стройную и хрупкую, с таким тонким станом, что, казалось, он переломится, едва прикоснешься к нему; девушка была дивно хороша, но глаза ее, полные блеска, были незрячи.

Роковая зимняя ночь, свалившая в снег нищенку и ее младенца, нанесла сразу двойной удар: убила мать и ослепила дочь.

Темная вода навсегда сделала неподвижными зрачки ребенка, ставшего теперь взрослой девушкой. На лице ее, непроницаемом для света, эта горечь разочарования выражалась в пе-

чально опущенных углах губ. Ее большие ясные глаза отличались странным свойством: угаснув для нее, они сохранили свою лучезарность для окружающих. Таинственные светильники, озарявшие только внешний мир! Это лишенное света существо излучало свет. Потухшие глаза были исполнены сияния. Эта пленница мрака освещала тьму, в которой она жила. Из глубины безысходной темноты, из-за черной стены, именуемой слепотою, она посылала в пространство яркие лучи. Она не видела нашего солнца, но в ней отражалась сущность его. Ее мертвый взор обладал неподвижностью, свойственной небесным светилам.

Она была воплощением ночи и горела как звезда, горела в этой непроницаемой тьме, ставшей ее собственной стихией.

Урсус, помешанный на латинских именах, окрестил ее Деей. Он предварительно посоветовался с волком. «Ты представляешь человека, — сказал он, — я представляю животное, мы с тобой представители земного мира. Пусть же эта малютка будет представительницей мира небесного. Ее слабость на самом деле — всемогущество. Таким образом, в нашей лачуге будет заключена отныне вся Вселенная: мир человеческий, мир живот-

ный, мир божественный».

Волк ничего не возразил, и найденыш стал называться Деей.

Что касается Гуинплена, Урсусу не пришлось ломать себе голову, чтобы придумать для него имя. В то самое утро, когда он узнал, что мальчик обезображен и что девочка слепа, он спросил:

— Как звать тебя, мальчик?

— Меня зовут Гуинпленом, — ответил ребенок.

— Что ж, Гуинплен так Гуинплен, — сказал Урсус.

Дея помогала Гуинплену в его выступлениях.

Если бы можно было подвести итог всей совокупности человеческих несчастий, он нашел бы свое воплощение в Гуинплене и Дее. Казалось, оба они явились на землю из мира теней: Гуинплен — из той его области, где царит ужас, Дея — из той, где царит тьма. Их существования были сотканы из различного рода мрака, заимствованного у чудовищных полюсов вечной ночи. Дея носила этот мрак внутри себя, Гуинплен — на своем лице. В Дее было что-то призрачное; Гуинплен был подобен привидению. Дея была окружена черной бездной, Гуинплена окружало нечто худшее. У зрячего Гуинплена была ужасная возможность, от которой слепая Дея была избав-

лена, — возможность сравнивать себя с другими людьми. Но в положении Гуинплена, если только допустить, что он старался дать себе в нем отчет, сравнивать значило перестать понимать самого себя. Иметь, подобно Дее, глаза, в которых не отражается внешний мир, — несчастие огромное, однако меньшее, чем быть загадкою для самого себя: чувствовать в мире отсутствие чего-то, что является тобою самим, видеть Вселенную и не видеть себя в ней. На глаза Деи был накинут покров мрака, на лицо Гуинплена была надета маска. Как выразить это словами? На Гуинплене была маска, выкроенная из его живой плоти. Он не знал своих подлинных черт. Они исчезли. Их подменили другими чертами. Его истинного облика уже не существовало. Голова жила, но лицо умерло. Он не мог вспомнить, видел ли он его когда-нибудь. Для Деи, так же как и для Гуинплена, род человеческий был чем-то внешним, далеким от них. Она была одинока. Он — тоже. Одиночество Деи было мрачным: она не видела ничего. Одиночество Гуинплена было зловещим. Он видел все. Для Деи весь мир не выходил за пределы ее слуха и осязания: все существующее было ограничено, почти не имело протяженности, обрывалось в двух шагах от нее; бесконечной представлялась

только тьма. Для Гуинплена жить — значило вечно видеть перед собою толпу, с которой ему никогда не суждено было слиться. Дея была изгнанницей из царства света, Гуинплен был отверженным среди живых существ. Оба они имели все основания отчаяться. И он и она переступили мыслимую черту человеческих испытаний. При виде их всякий, призадумавшись, почувствовал бы к ним безмерную жалость. Как они должны были страдать! Над ними явно тяготел злобный приговор судьбы, и рок никогда еще так искусно не превращал жизнь двух ни в чем не повинных существ в сплошную муку, в адскую пытку.

А между тем они жили в раю.

Они любили друг друга.

Гуинплен обожал Дею. Дея боготворила Гуинплена.

— Ты так прекрасен! — говорила она ему.

3. Oculos non habet, et videt – Не имеет глаз, а видит

Одна только женщина на свете видела настоящего Гуинплена — слепая девушка.

Чем она была обязана Гуинплену, Дея знала от Урсуса, которому Гуинплен рассказал о своем

трудном переходе из Портленда в Уэймет и обо всех ужасах, пережитых им после того, как его оставили на берегу. Она знала, что ее, крошку, умиравшую на груди умершей матери и сосавшую ее мертвую грудь, подобрало другое дитя, не намного старше ее, что это существо, отвергнутое всеми и как бы погребенное в мрачной пучине всеобщего равнодушия, услыхало ее крик и, хотя все были глухи к нему самому, не оказалось глухим к ней; что этот одинокий, слабый, покинутый ребенок, не имевший никакой опоры на земле, сам еле передвигавший ноги в пустыне, истощенный, разбитый усталостью, принял из рук ночи тяжкое бремя — другого ребенка; что несчастное существо, обездоленное при непонятном разделе жизненных благ, именуемом судьбою, взяло на себя заботу о судьбе другого существа и, будучи олицетворением нужды, скорби и отчаяния, стало провидением для найденной им малютки. Она знала, что, когда небо закрылось для нее, он раскрыл ей свое сердце; что, погибая сам, он спас ее; что, не имея ни крова, ни пристанища, он пригрел ее; что он сделался ее матерью и кормилицей; что он, совершенно одинокий на свете, ответил небесам, покинувшим его, тем, что усыновил другого ребенка; что, затерянный

в ночи, он явил этот высокий пример; что, сочтя себя недостаточно обремененным собственными бедами, он взвалил себе на плечи бремя чужого несчастья; что он открыл на этой земле, где, казалось бы, его уже ничто не ждало, существование долга; что там, где всякий заколебался бы, он смело пошел вперед; что там, где все отшатнулись бы, он не отстранился; что он опустил руку в отверстую могилу и извлек оттуда ее, Дею; что, сам полуголый, он отдал ей свои лохмотья, ибо она страдала от холода, что, сам голодный, он постарался накормить и напоить ее; что ради нее этот ребенок боролся со смертью, со смертью во всех ее видах: в виде зимы и снежной метели, в виде одиночества, в виде страха, в виде холода, голода и жажды, в виде урагана; что ради нее, ради Деи, этот десятилетний титан вступил в поединок с беспредельным мраком ночи. Она знала, что он сделал все это, будучи еще ребенком, и что теперь, став мужчиной, он для нее, немощной, является опорой, для нее, нищей, — богатством, для нее, больной, — исцелением, для нее, слепой, — зрением. Сквозь густую, ей самой неведомую завесу, заставлявшую ее держаться вдали от жизни, она ясно различала эту преданность, эту самоотверженность, это мужество — во внутреннем нашем

мире героизм принимает совершенно определенные очертания. Она улавливала его благородный облик: в той невыразимо отвлеченной области, где живет мысль, не освещаемая солнцем, она постигала это таинственное отражение добродетели. Окруженная со всех сторон непонятными, вечно куда-то движущимися предметами (таково было единственное впечатление, производимое на нее действительностью), замирая в тревоге, свойственной бездеятельному существу, всегда настороженно поджидающему возможную опасность, постоянно переживая, как и все слепые, чувство своей полной беззащитности в этом мире, она вместе с тем явственно ощущала где-то над собой присутствие Гуинплена — Гуинплена, никогда не знающего устали, всегда близкого, всегда внимательного, Гуинплена ласкового, доброго, всегда готового прийти ей на помощь. Дея вся трепетала от радостной уверенности в нем, от признательности к нему: ее тревога стихала, сменялась восторгом, и своими исполненными мрака глазами она созерцала в зените над окружавшей ее бездной неугасимое сияние этой доброты.

Во внутреннем мире человека доброта — это солнце. И Гуинплен ослеплял собою Дею.

Для толпы, у которой слишком много голов, чтобы она могла над чем-нибудь призадуматься, и слишком много глаз, чтобы она могла к чему-нибудь приглядеться, для толпы, которая, будучи поверхностной, останавливается только на поверхности явлений, Гуинплен был всего лишь клоуном, фигляром, скоморохом, шутом, чем-то вроде животного. Толпа знала только его маску.

Для Деи Гуинплен был спасителем, извлекшим ее из могилы и вынесшим на свет, утешителем, дававшим ей возможность жить, освободителем, руку которого она, блуждавшая в темном лабиринте, чувствовала в своей руке. Гуинплен был братом, другом, руководителем, опорой, подобием лика небесного, крылатым, лучезарным супругом, и там, где толпа видела чудовище, она видела архангела.

И это потому, что слепая Дея видела его душу.

4. Прекрасно подобранная чета влюбленных

Философ Урсус это понимал. Он одобрял ослепление Деи:

— Слепой видит незримое.

Он говорил:

— Сознавать — значит видеть.

Глядя на Гуинплена, он бормотал:

— Получудовище и полубог.

Гуинплен, со своей стороны, был опьянен Деей. Существует глаз невидимый — ум, и глаз видимый — зрачок. Гуинплен смотрел на Дею видимыми глазами. Дея была очарована идеальным образом, Гуинплен — реальным. Гуинплен был не просто безобразен, он был ужасен. В Дее он видел свою противоположность. Насколько он был страшен, настолько Дея была прелестна. Он был олицетворением уродства, она — олицетворением грации. Дея казалась воплощенной мечтой, грезой, принявшей телесные формы. Во всем ее существе, в ее воздушной фигуре, в ее стройном и гибком стане, трепетном как тростник, в ее, быть может, незримо окрыленных плечах, в легкой округлости ее форм, говорившей о ее пуле не столько чувствам, сколько душе, в почти прозрачной белизне ее кожи, в величественном спокойствии ее незрячего взора, божественно отрешенного от земного, в святой невинности ее улыбки было нечто, роднившее ее с ангелом; а между тем она была женщиной.

Гуинплен, как мы уже сказали, сравнивал себя с другими; сравнивал он и Дею.

Его жизнь представлялась ему сочетанием двух непримиримых противоположностей. Она была точкой пересечения двух лучей, черного и белого, шедших один снизу, другой — сверху. Одну и ту же крошку могут одновременно клевать два клюва: клюв зла и клюв добра, первый — терзая, второй — лаская. Гуинплен был такой крошкой, атомом; его и терзали и ласкали. Гуинплен был детищем роковой случайности, усложненной вмешательством провидения. Несчастье коснулось его своим перстом, но его коснулось и счастье. Два противоположных удела, сочетавшись, породили его необычную судьбу. На нем лежало и проклятие, и благословение. Он был избранником, на котором лежало проклятие. Кто он? Он не знал этого сам. Когда он смотрел на себя в зеркало, он видел незнакомца. И незнакомец этот был чудовищем. Гуинплен жил как бы обезглавленным, с лицом, которое он не мог признать своим. Это лицо было безобразно, до того безобразно, что служило предметом потехи. Оно было настолько ужасно, что вызывало смех. Оно было жутко-смешным. Человеческое лицо исчезло, как бы поглощенное звериной мордой. Никогда еще никто не видел такого полного исчезновения человеческих черт на лице человека, никогда еще

пародия на человеческий образ не достигала такого совершенства, никогда еще, даже в кошмаре, не возникала такая жуткая смеющаяся харя, никогда еще все, что может оттолкнуть женщину, не соединялось так отвратительно в наружности мужчины; несчастное сердце, скрывавшееся за этой маской и оклеветанное ею, казалось, было обречено на вечное одиночество; такое лицо было для него настоящей гробовой доской. Но нет, нет! Там, где исчерпала весь запас своих средств неведомая злоба, там в свою очередь расточила свои дары и незримая доброта. Внезапно подняв из праха поверженного, она всему, что было в нем отталкивающего, придала все, что способно было привлекать: в риф вложила магнит, внушила другой душе желание устремиться как можно скорее к обездоленному; поручила голубке утешить пораженного молнией, заставила красоту боготворить безобразие.

Для того чтобы это оказалось возможным, было необходимо, чтобы красавица не могла видеть урода. Для счастья было необходимо несчастье. И провидение сделало Дею слепой.

Гуинплен смутно сознавал себя искупительной жертвой. Но за что преследовала его судьба? Этого он не знал. За что ему пришлось понести

кару? Это тоже оставалось для него загадкой. Над ним, заклейменным навеки, вдруг засиял ореол — вот и все, что он знал. Когда Гуинплен подрос настолько, что стал многое понимать, Урсус прочел и объяснил ему соответствующее место из сочинения доктора Конкеста «De denasatis» и из другого фолианта, из трактата Гуго Плагона, отрывок, начинающийся словами: «Nares habens mutilas»[192], однако Урсус предусмотрительно воздержался от всяких догадок и остерегся делать какие-либо выводы. Возможны были всякие предположения, с известной степенью вероятия удалось бы, пожалуй, установить кое-какие события, имевшие отношения к детству Гуинплена, но для Гуинплена очевидным было лишь одно: самый результат. Ему суждено было прожить всю жизнь с клеймом на лице. За что заклеймили его? На это не было ответа. Безмолвие и одиночество окружали Гуинплена. Все догадки, возникавшие в связи с трагической действительностью, были зыбки и шатки: вполне достоверным представлялся лишь сам ужасный факт. И вот в эти минуты тяжкой скорби появлялась Дея, словно небесная посредница между Гуинпленом и его

---

[192] Сноски: 192
Имеющий рваные ноздри (*лат.*).

отчаянием. Ласковость этой восхитительной девушки, склонявшейся к нему, уроду, трогала и как бы согревала его, черты дракона смягчались выражением счастливого изумления. Созданный для того, чтобы внушать ужас, он каким-то чудом вызывал восторг и обожание светозарного существа; он, чудовище, чувствовал, что его любовно созерцает звезда.

Гуинплен и Дея составляли отличную пару; эти трогательно-нежные сердца боготворили друг друга. Гнездо и две птички — такова была их история. Они подчинились закону, общему для всего мироздания, состоящему в том, чтобы любить, искать и находить друг друга.

Таким образом, ненависть обманулась в своих расчетах. Преследователи Гуинплена, кто бы они ни были, загадочная вражда к нему, откуда бы она ни исходила, не достигли цели. Его хотели обречь на безысходное отчаяние, а сделали счастливым человеком. Ему нанесли рану, которой суждено было затянуться, его заранее обручили с той, которая должна была пролить на нее целительный бальзам; его скорбь должна была утешить та, которая была сама воплощенной скорбью. Тиски палача незаметно превратились в ласковую руку женщины. Гуинплен был поистине ужасен, но не

от природы; таким сделала его рука человека; его надеялись сперва отлучить от семьи, если только у него была семья, затем от всего человечества; еще ребенком его превратили в развалину, но природа оживила эту развалину, как она вообще оживляет развалины; в его одиночестве природа утешила его, как она вообще утешает всех одиноких; природа всегда приходит на помощь обездоленным; там, где ощущается недостаток во всем, она отдает всю себя безраздельно, она покрывает руины цветами и зеленью; для камня у нее есть плющ, для человека — любовь.

Глубокое великодушие сокрытых сил природы.

5. Лазурь среди мрака

Так жили друг другом эти два обездоленных существа. Дею поддерживала рука Гуинплена, Гуинплена — доверие Деи.

Сирота опиралась на сироту. Урод опекал калеку.

Двое одиноких нашли друг друга.

Чувство невыразимой благодарности переполняло их сердца. Они благодарили.

Кого?

Таинственную бесконечность.

Чувствовать благодарность — вполне достаточно. У благодарности есть крылья, и она несется туда, куда нужно. Ваша молитва лучше вас знает, куда ей устремиться.

Сколько людей, думая, что молятся Юпитеру, молились Иегове! Скольким верующим в амулеты внимает бесконечность! Сколько атеистов не замечают того, что их доброта и грусть — та же молитва, обращенная к Богу!

Гуинплен и Дея чувствовали благодарность.

Уродство — это изгнание. Слепота — это бездна. И вот изгнанник нашел приют; бездна стала обитаема.

Гуинплен видел, как к нему по воле рока, точно сон наяву, нисходит в потоках света прекрасное белое облако, принявшее образ женщины, лучезарное видение, в котором бьется сердце, и этот призрак, почти облако и в то же время женщина, протягивает к нему объятия, это видение целует его, это сердце рвется к нему; Гуинплен забывал о своем уродстве, чувствуя себя любимым; роза пожелала вступить в брак с гусеницей, предугадывая в этой гусенице восхитительную бабочку; Гуинплен, существо отверженное, оказался избранником.

Иметь необходимое — в этом все. Гуинплен

имел необходимое ему, Дея — необходимое ей.

Унизительное сознание собственного уродства перестало тяготить Гуинплена, оно постепенно рассеивалось, сменившись другими чувствами — упоением, восторгом, верою; а навстречу горькой беспомощности слепой Деи протягивалась из окружавшей ее тьмы чья-то рука.

Две скорби, поглотив одна другую, вознеслись в идеальный мир. Двое обездоленных взаимно признали друг друга. Двое ограбленных соединились, чтобы обогатить друг друга. Каждого из них связывало с другим то, чего он был лишен. Чем был беден один, тем был богат другой. В несчастье одного заключалось сокровище другого. Не будь Дея слепа, разве избрала бы она Гуинплена? Не будь Гуинплен обезображен, разве он предпочел бы Дею другим девушкам? Она, вероятно, не полюбила бы урода, так же как и он — увечную. Какое счастье для Деи, что Гуинплен был отвратителен! Какая удача для Гуинплена, что Дея была слепа! Если бы не горестное сходство их неотвратимой жестокой участи, союз между ними был бы невозможен. В основе их любви лежала неодолимая потребность друг в друге. Гуинплен спасал Дею, Дея спасала Гуинплена. Столкновение двух горестных судеб вызвало взаимное тяготение.

Это было объятие двух существ, поглощенных пучиной. Нет ничего более сближающего, более безнадежного, более упоительного.

Гуинплен постоянно думал:

«Что бы сталось со мной без нее!»

Дея постоянно думала:

«Что бы сталось со мной без него!»

Двое изгнанников обрели родину; два непоправимых, роковых несчастья — клеймо Гуинплена и слепота Деи, соединив их, стали для обоих источником глубокой радости. Им ничего не надо было, кроме их близости, они не представляли себе ничего вне ее: говорить друг с другом было для них наслаждением, находиться рядом — блаженством; каждый из них непрерывно следил за малейшим душевным движением другого, и они дошли до полного единства мечтаний: одна и та же мысль возникала одновременно у обоих. При звуке шагов Гуинплена Дее казалось, что она слышит поступь божества. Они прижимались друг к другу в некоем звездном полумраке, полном благоуханий, блеска музыки, ослепительных архитектурных форм, грез; они принадлежали друг другу; они знали, что навсегда связаны общими радостями и восторгами. Ничего не могло быть более странного, чем этот рай, созданный двумя

осужденными на муку существами.

Они были невыразимо счастливы.

Свой ад они превратили в небесный рай: таково твое могущество, любовь!

Дея слышала смех Гуинплена; Гуинплен видел улыбку Деи.

Так было обретено идеальное блаженство, было воплощено наяву совершенное наслаждение жизнью, была разрешена таинственная проблема счастья. И кем? Двумя обездоленными.

Для Гуинплена Дея была олицетворенным сиянием. Для Деи Гуинплен был олицетворенным присутствием высшего существа. Такое присутствие — глубокая тайна, сообщающая незримому божественные свойства и порождающая другую тайну — доверие. Во всех религиях одно лишь доверие непреложно, но его вполне достаточно: безграничное существо, без которого верующие не могут обойтись, пребывает невидимым, однако они чувствуют его.

Гуинплен был божеством Деи.

Иногда, в порыве любви, она опускалась перед ним на колени, точно прекрасная жрица, поклоняющаяся идолу в индийской пагоде.

Представьте себе бездну и среди этой бездны светлый оазис, а в нем два изгнанные из жизни

существа, ослепленные друг другом.

Ничто не могло быть чище этой любви. Дея не знала, что такое поцелуй, хотя, быть может, и желала его, ибо слепота, особенно у женщин, не исключает грез: как бы слепая ни страшилась прикосновений неведомого, она не всегда избегает их. Что же касается Гуинплена, то трепетная молодость делала его задумчивым: чем сильнее он чувствовал себя опьяненным, тем застенчивее он становился; он мог бы себе позволить все с этой подругой детства, с этой девушкой, не ведавшей, что такое грех, так же как она не знала, что такое свет, с этой слепой, которая способна была видеть только одно — что она обожает его. Но он счел бы воровством взять то, что она сама отдала бы ему; с чувством грустного удовлетворения он соглашался любить ее лишь бесплотной любовью, и сознание своего уродства приводило его к еще более высокому целомудрию.

Эти счастливцы жили в идеальном мире. Там, подобно небесным сферам, они были супругами на расстоянии. Они обменивались в лазури той эманацией, которая а бесконечности есть притяжение, а на земле — пол. Они дарили друг другу поцелуи души.

Они всегда жили общей жизнью и не мыслили

себе другой жизни. Детство Деи совпало с отрочеством Гуинплена. Они росли вместе. Долгое время они спали в одной постели, так как домик на колесах представлял собою не слишком просторную спальню. Они помещались на сундуке, а Урсус на полу, — таков был заведенный порядок. Потом в один прекрасный день — Дея была тогда еще совсем ребенком — Гуинплен почувствовал себя взрослым, и в нем проснулся стыд. Он сказал Урсусу: «Я тоже хочу спать на полу». И вечером растянулся на медвежьей шкуре, рядом со стариком. Тогда Дея расплакалась. Она потребовала к себе своего соседа по постели. Но Гуинплен, взволнованный, так как в нем уже зарождалась любовь, настоял на своем. С тех пор он спал на полу вместе с Урсусом. Летом, в теплые ночи, он спал на дворе вместе с Гомо. Дее минуло уже тринадцать лет, а она все еще не могла примириться с этим. Часто вечером она говорила: «Гуинплен, поди ко мне: я скорее засну». Ей необходимо было чувствовать подле себя Гуинплена для того, чтобы заснуть, и она засыпала спокойным сном невинности. Сознание наготы возникает лишь у того, кто видит себя нагим, поэтому Дея не знала наготы. Аркадская или таитянская невинность. Близость дикарки

Деи делала Гуинплена нелюдимым. Случалось, что Дея, уже почти взрослой девушкой, сидя на постели в сорочке, спускавшейся с плеча и открывавшей ее уже ясно обозначавшуюся юную грудь, расчесывала волосы и настойчиво звала к себе Гуинплена. Гуинплен краснел, опускал глаза, не знал, куда спрятаться от этой невинной наготы, что-то бормотал, отворачивался, пугался и уходил: порожденный мраком Дафнис обращался в бегство перед погруженной во тьму Хлоей.

Такова была эта идиллия, расцветшая в столь трагической обстановке.

Урсус говорил им:

— Любите друг друга, скоты вы этакие!

6. Урсус наставник и Урсус опекун

Урсус прибавлял:

— Сыграю я с ними на днях шутку. Женю их.

Урсус излагал Гуинплену теорию любви. Он говорил:

— Любовь! Знаешь ли, как Господь Бог зажигает этот огонь? Он сближает женщину и мужчину, а между ними пристраивает дьявола, так что мужчина наталкивается на дьявола. Одной искры, иными словами, одного взгляда достаточно,

чтобы все это запылало.

— Можно обойтись и без взгляда, — отвечал Гуинплен, думая о Дее.

Урсус возражал:

— Простофиля! Разве душам нужны глаза, чтобы смотреть друг на друга?

Иногда Урсус бывал благодушен. Порою Гуинплен, теряя голову от любви к Дее, становился мрачен и избегал Урсуса, как свидетеля. Однажды Урсус сказал ему:

— Ба! Не стесняйся. Влюбленный петух не прячется.

— Да, но орел уходит от посторонних взоров, — ответил Гуинплен.

Бывало, что Урсус бормотал про себя:

— Благоразумие требует вставить несколько палок в колеса Венериной колесницы. Мои голубки слишком горячо любят друг друга. Это может привести к нежелательным последствиям. Предупредим пожар. Умерим пыл этих сердец.

И, обращаясь к Гуинплену, когда Дея спала, и к Дее, когда внимание Гуинплена было чем-нибудь отвлечено, Урсус прибегал к такого рода предостережениям:

— Дея, тебе не следует слишком привязываться к Гуинплену. Жить другим человеком опасно. Эго-

изм — самая надежная основа счастья. Мужчины легко уходят из-под власти женщин. К тому же Гуинплен может в конце концов возгордиться. Он пользуется таким успехом! Ты не представляешь себе, какой он имеет успех!

— Гуинплен, такое несоответствие никуда не годится. Чрезмерное уродство с одной стороны и совершенство красоты с другой — над этим стоит призадуматься. Умерь свой пыл, мой мальчик. Не приходи в такой восторг от Деи. Неужели ты серьезно считаешь себя созданным для нее? Но взгляни на свое собственное безобразие и на ее совершенство. Подумай, какое расстояние отделяет ее от тебя. У нее есть все, у нашей Деи! Какая белая кожа, какие волосы, какие губы — настоящая земляника! А ее ножка! А руки! Округлость ее плеч восхитительна, ее лицо прекрасно. Когда она ступает, от нее исходит сияние. А ее разумная речь, а ее чарующий голос! И при всем этом, подумай, ведь она женщина. Она не настолько глупа, чтобы быть ангелом. Это — совершенная красота. Подумай об этом и успокойся.

Но такие увещания только усиливали любовь Деи и Гуинплена, и Урсус удивлялся своей неудаче, подобно человеку, который говорил бы себе:

— Странная вещь, сколько ни лью я масла в

огонь, никак его не погасить!

Желал ли он погасить или хотя бы только охладить их сердечный жар? Конечно, нет. Если бы это ему удалось, для него это было бы крайне неприятным сюрпризом. В глубине души эта любовь, бывшая для них пламенем, а для него теплом, восхищала его.

Но надо же иногда слегка побранить то, что нас очаровывает. Это брюзжанье и называют благоразумием.

Урсус был для Гуинплена и Деи почти что и отцом и матерью. Ворча себе под нос, он вырастил их; поругивая, вскормил их. Так как после усыновления двух детей возок стал тяжелее, Урсусу пришлось чаще впрягаться рядом с Гомо.

Следует заметить, однако, что через несколько лет, когда Гуинплен стал почти взрослым, а Урсус — совсем старым, наступила очередь Гуинплена возить Урсуса.

Наблюдая за подрастающим Гуинпленом, Урсус предрек уроду его будущее.

— О твоем богатстве позаботились, — сказал он ему.

Семья, состоявшая из старика, двух детей и волка, странствуя, сплачивалась все тесней и тесней.

Такая бродячая жизнь не помешала воспитанию детей. «Скитаться — это расти», — говорил обыкновенно Урсус. Так как Гуинплен был явно предназначен для того, чтобы его «показывали на ярмарках», Урсус сделал из него хорошего фигляра, вкладывая при этом в своего ученика все те премудрости, которые только тот смог воспринять. Иногда, глядя в упор на чудовищную маску Гуинплена, он бормотал: «Да, начато было совсем неплохо». И он стремился завершить начатое, дополняя воспитание Гуинплена разнообразными философскими и научными познаниями.

Нередко повторял он Гуинплену:

— Будь философом. Быть мудрым — значит быть неуязвимым. Взгляни на меня, я никогда не плакал. А все потому, что я мудрец. Неужели ты думаешь, что, если бы я захотел, у меня не нашлось бы повода поплакать?

В монологах, которым внимал только волк, Урсус говорил:

— Гуинплена я научил всему, в том числе и латыни, Дею же — ничему, ибо музыка в счет не идет.

Он выучил их обоих петь. Сам он недурно играл на маленькой старинной флейте, а также на рылях, которые хроника Бертрана Дюгесклена

называет «инструментом нищих» и изобретение которых послужило толчком к развитию симфонической музыки. Эти концерты привлекали публику. Урсус показывал ей свои многострунные рыли и пояснял:

— По-латыни это называется organistrum.

Он обучил Дею и Гуинплена пению по методе Орфея и Эгидия Беншуа. Не раз прерывал он свои уроки восторженным возгласом:

— Орфей — певец Греции! Беншуа — певец Пикардии!

Эта сложная система тщательного воспитания все же не настолько поглощала досуг детей, чтобы помешать им любить друг друга. Они выросли, соединив свои сердца, подобно тому как два посаженные рядом деревца со временем соединяют свои ветви.

— Все равно, — бормотал Урсус, — я их поженю.

И брюзжал про себя:

— Надоели они мне со своей любовью.

Прошлого, даже того, о котором они могли помнить, не существовало ни для Гуинплена, ни для Деи. Они знали о нем только то, что им сообщил Урсус. Они звали Урсуса отцом.

У Гуинплена сохранилось лишь одно воспоми-

нание раннего детства: нечто вроде вереницы демонов, пронесшихся над его колыбелью. У него осталось впечатление, будто чьи-то уродливые ноги топтали его в темноте. Было ли то нарочно или случайно, этого он не знал. Ясно до малейших подробностей помнил Гуинплен только трагические происшествия ночи, в которую его покинули на берегу моря. Но в ту ночь он нашел малютку Дею — находка, превратившая для него страшную ночь в лучезарный день.

Память у Деи была окутана еще более густым туманом, чем у Гуинплена, и в этом сумраке все исчезало. Она смутно помнила свою мать как что-то холодное. Видела ли она когда-нибудь солнце? Быть может. Она напрягала все усилия, чтобы оживить пустоту, оставшуюся позади ее. Солнце? Что это такое? Ей смутно припоминалось что-то яркое и теплое; его место занял теперь Гуинплен. Они говорили друг с другом шепотом. Нет никакого сомнения, что воркование — самое важное занятие на свете. Дея говорила Гуинплену:

— Свет — это твой голос.

Однажды Гуинплен, увидев сквозь кисейный рукав плечо Деи и не устояв, прикоснулся к нему губами. Безобразный рот и такой чистый поцелуй. Дея почувствовала величайшее блаженство.

Ее щеки зарделись румянцем. Под поцелуем чудовища заря занялась на этом погруженном в вечную тьму прекрасном челе. А Гуинплен задохнулся от чего-то, похожего на ужас, и не мог удержаться, чтобы не взглянуть на райское видение — на белизну груди, приоткрытой распахнувшейся косынкой.

Дея подняла рукав и, протянув Гуинплену обнаженную выше локтя руку, сказала:

— Еще!

Гуинплен спасся тем, что обратился в бегство.

На следующий день игра возобновилась — правда, с некоторыми вариантами. Восхитительное погружение в сладостную бездну, именуемую любовью.

Это и есть те радости, на которые Господь Бог в качестве старого философа взирает с улыбкой.

7. Слепота дает уроки ясновидения

Порою Гуинплен упрекал себя. Его счастье вызывало в нем нечто вроде угрызений совести. Ему казалось, что, позволяя любить себя этой девушке, которая не может его видеть, он обманывает ее. Что сказала бы она, если бы ее глаза внезапно прозрели? Какое отвращение почувствовала бы

она к тому, что так ее привлекает! Как отпрянула бы она от своего страшного магнита! Как вскрикнула бы! Как закрыла бы лицо руками! Как стремительно убежала бы! Тягостные сомнения терзали его. Он говорил себе, что он, чудовище, не имеет права на любовь. Гидра, боготворимая светилом! Он считал долгом открыть истину этой слепой звезде.

Однажды он сказал Дее:

— Знаешь, я очень некрасив.

— Я знаю, что ты прекрасен, — ответила она.

Он продолжал:

— Когда ты слышишь, как все смеются, знай, что смеются надо мной, потому что я уродлив.

— Я люблю тебя, — сказала Дея.

И, помолчав, прибавила:

— Я умирала, ты вернул меня к жизни. Когда ты здесь, я ощущаю рядом с собою небо. Дай мне свою руку: я хочу коснуться Бога!

Их руки, найдя одна другую, соединились. Оба не проронили больше ни слова; они молчали от полноты взаимной любви.

Урсус, нахмурившись, слушал этот разговор. На другое утро, когда они сошлись все трое, он сказал:

— Да ведь и Дея тоже некрасива.

Эта фраза не достигла своей цели. Дея и Гуинплен пропустили ее мимо ушей. Поглощенные друг другом, они редко вникали в сущность изречений Урсуса. Мудрость философа пропадала даром.

Однако в этот раз предостерегающее замечание Урсуса «Дея тоже некрасива» изобличало в этом книжном человеке известное знание женщин. Несомненно, Гуинплен, сказав правду, допустил тем самым неосторожность. Сказать всякой другой женщине, всякой другой слепой, кроме Деи: «Я очень некрасив собою», — было опасно. Быть слепой и сверх того влюбленной — значит быть слепой вдвойне. В таком состоянии с особенной силой пробуждается мечтательность. Иллюзия — насущный хлеб мечты; отнять у любви иллюзию — все равно что лишить ее пищи. Для возникновения любви необходимо восхищение как душой, так и телом. Кроме того, никогда не следует говорить женщине ничего такого, что ей трудно понять. Она начинает над этим задумываться, и нередко мысли ее принимают дурной оборот. Загадка разрушает цельность мечты. Потрясение, вызванное неосторожно оброненным словом, влечет за собою глубокую трещину в том, что уже срослось. Иногда случается, неизвестно даже как,

что под влиянием случайно брошенной фразы сердце незаметно для самого себя постепенно пустеет. Любящее существо замечает, что уровень его счастья понизился. Нет ничего страшнее этого медленного исчезновения счастья сквозь стенки треснувшего сосуда.

К счастью, Дея была вылеплена совсем из другой глины и резко отличалась от прочих женщин. Это была редкая натура. Хрупким было только тело, но не сердце Деи. Основой ее существа было божественное постоянство в любви.

Вся работа мысли, вызванная в ней словами Гуинплена, свелась лишь к тому, что однажды она затеяла с ним такой разговор:

— Быть некрасивым — что это значит? Это значит причинять кому-либо зло. Гуинплен делает только добро, значит, он прекрасен.

Затем все в той же форме вопросов, которая свойственна обычно детям и слепым, она продолжала:

— Видеть? Что называете вы, зрячие, этим словом? Я не вижу, а я знаю; Оказывается, видеть — значит многое терять.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гуинплен.

Дея ответила:

— Зрение скрывает истину.

— Нет, — сказал Гуинплен.

— Скрывает! — возразила Дея, — если ты говоришь, что ты некрасив.

И после минутного раздумья прибавила!

— Обманщик!

Гуинплену оставалось только радоваться: он признался, ему не поверили. Его совесть была теперь спокойна, любовь — тоже.

Так дожили они до той поры, когда Дее исполнилось шестнадцать лет; Гуинплену шел двадцать пятый год.

Со дня своей первой встречи они, как принято говорить теперь, «нисколько не продвинулись вперед». Даже пошли назад. Ибо читатель помнит, что они уже провели свою брачную ночь, когда Дее было девять месяцев, а Гуинплену десять лет. В их любви как бы нашло свое продолжение их безгрешное детство. Так иногда запоздалый соловей продолжает петь свою ночную песню и после того, как занялась заря.

Их ласки не шли дальше пожатия рук. Изредка Гуинплен слегка прикасался губами к обнаженному плечу Деи. Им достаточно было этого невинного любовного наслаждения.

Двадцать четыре года, шестнадцать лет. И вот

однажды утром Урсус, не оставивший своего намерения «сыграть с ними шутку», объявил им:

— На днях вам придется выбрать себе вероисповедание.

— Зачем? — спросил Гуинплен.

— Чтобы пожениться.

— Да ведь мы уже женаты, — ответила Дея.

Она не понимала, что можно быть в большей мере мужем и женой, чем они.

Эта чистота желаний, это наивное упоение двух душ, не ищущих ничего за пределами настоящего, это безбрачие, принимаемое за супружескую жизнь, в сущности даже нравились Урсусу. Если он прохаживался на этот счет, то лишь потому, что нужно же было побрюзжать. Но как-человек, обладавший медицинскими познаниями, он находил Дею если не слишком юной, то во всяком случае слишком хрупкой и слишком слабой для того, что он называл «плотским браком».

Это никогда не будет поздно.

К тому же разве не были они уже супругами? Если существует на свете нерасторжимая связь, то не в союзе ли Гуинплена и Деи? Этот чудесный союз был порожден несчастьем, бросившим их в объятия друг друга. И, словно одних этих уз было недостаточно, к несчастью присоединилась, об-

вилась вокруг него, срослась с ним еще и любовь. Какая сила в состоянии разорвать железную цепь, скрепленную узлом из цветов?

Конечно, разлучить эту чету было невозможно.

Дея обладала красотой, Гуинплен — зрением. Каждый из них принес приданое. Они составляли не просто чету, они составляли отлично подобранную пару, которую разделяла только священная преграда невинности.

Однако, как ни старался Гуинплен жить одними мечтами, ограничиваясь только созерцанием Деи и духовной любовью к ней, он все-таки был мужчиной. Влияния роковых законов устранить нельзя. Как и все в природе, он был подвержен таинственному брожению заложенных в него сил, происходящему по воле создателя. Порою, во время представлений, он невольно смотрел на женщин, находившихся в толпе, но тотчас же отводил от них ищущий взгляд и торопился уйти со смутным чувством раскаяния.

Прибавим, что он не встречал поощрения. На лицах всех женщин, на которых он смотрел, он читал отвращение, антипатию, гадливость. Было ясно, что, кроме Деи, ни одна женщина не могла ему принадлежать. Это способствовало его

раскаянию.

8. Не только счастье, но и благоденствие

Сколько правды заключено в сказках! Жгучее прикосновение незримого дьявола — это угрызение совести за дурную мысль.

У Гуинплена дурных мыслей не возникало, и поэтому совесть не мучила его. Но по временам он чувствовал какое-то недовольство собой.

Смутный голос совести.

Что это было? Ничего.

Счастье Гуинплена и Деи было полным. И теперь они даже не были бедны.

Между 1689 и 1704 годами в их положении произошла перемена.

Случалось иногда в 1704 году, что в тот или иной городок побережья под вечер въезжал тяжелый, громоздкий фургон, запряженный парой сильных лошадей. Фургон напоминал опрокинутый и поставленный на четыре колеса корпус судна: киль вместо крыши и палуба вместо пола. Колеса все были одинакового размера и величиной с колеса ломовой телеги. Колеса, дышло, фургон — все было выкрашено в зеленый цвет с постепенным

переходом оттенков: от бутылочно-зеленого на колесах до ярко-зеленого на крыше. Этот зеленый цвет в конце концов заставил обратить внимание на колымагу, и она получила известность на ярмарках: ее стали называть «Зеленый ящик». В «Зеленом ящике» было всего лишь два окна, по одному на каждом конце; сзади находилась дверь с откидной лесенкой. Из трубы, торчавшей над крышей и выкрашенной, как и все остальное, в зеленый цвет, шел дым. Стенки этого дома на колесах всегда были покрыты свежим лаком и чисто вымыты. Впереди, на козлах, сообщавшихся с внутренностью фургона посредством окна вместо двери, над крупами лошадей, рядом со стариком, державшим в руке вожжи, сидели две цыганки, одетые богинями, и трубили в трубы. Горожане, разинув рты, смотрели на эту большую колымагу, важно переваливавшуюся с боку на бок, и толковали о ней.

Прежний балаган Урсуса уступил место более усовершенствованному сооружению и превратился в настоящий театр. На цепи под колымагой было привязано какое-то странное существо — не то собака, не то волк. Это был Гомо.

Старик, правивший лошадьми, был не кто иной, как наш философ.

Чем же было вызвано такое превращение жалкой повозки в олимпийскую колесницу?

Тем, что Гуинплен стал знаменитостью.

Урсус проявил настоящее чутье того, что у людей считается успехом, когда сказал Гуинплену:

— О твоем богатстве позаботились!

Как помнят читатели, Урсус сделал Гуинплена своим учеником. Неизвестные люди обработали лицо ребенка. Он же обработал его ум и постарался вложить под эту столь удачно сделанную личину возможно больший запас мысли. Как только подросший мальчик показался ему годным для роли комедианта, он вывел его на сцену, то есть на подмостки перед балаганом. Появление Гуинплена произвело необычайное впечатление. Зрители сразу же пришли в восторг. Никто еще никогда не видел ничего похожего на эту поразительную маску смеха. Никто не знал, каким способом было достигнуто это чудо: одни считали этот смех, заражавший всех окружающих, естественным, другие — искусственным; действительность обрастала догадками, и всюду на перекрестках дорог, на площадях, на ярмарках, на праздничных гуляньях толпа стремилась взглянуть на Гуинплена. Благодаря этому «блестящему аттракциону» в тощий кошелек бродячих фиг-

ляров сначала полились дождем лиары, затем су и, наконец, шиллинги. Насытив любопытство публики в одном месте, возок переезжал в другое. Для камня не велик прок — перекатываться с места на место, но домик на колесах от таких странствий богател. И вот, по мере того как шли годы, а Гуинплен, кочевавший из города в город, мужал и становился все безобразнее, пришло, наконец, предсказанное Урсусом богатство.

— Какую услугу оказали тебе, сынок! — говаривал Урсус.

Это «богатство» позволило Урсусу, руководившему успехами Гуинплена, соорудить такую колымагу, о которой он всегда мечтал, то есть фургон, достаточно просторный, чтобы вместить в себе театр, — настоящий театр, сеятель благотворных семян науки и искусства на всех перекрестках. Сверх того, Урсус получил возможность присоединить к труппе, состоявшей из него, Гомо, Гуинплена и Деи, пару лошадей и двух женщин, исполнявших, как мы уже сказали, роли богинь и обязанности служанок. В те времена для балагана фигляров было полезно иметь мифологическую вывеску.

— Мы — странствующий храм, — говаривал Урсус.

Две цыганки, подобранные философом в пестрой толпе, кочующей по городам и местечкам, были молоды и некрасивы; одна, по воле Урсуса, носила имя Фебы, другая — Венеры, или — поскольку необходимо сообразоваться с английским произношением — Фиби и Винос.

Феба стряпала, а Венера убирала храм искусства.

Кроме того, в дни представлений они одевали Дею.

За исключением тех моментов, когда фигляры, также как и государи, «показываются народу», Дея, подобно Фиби и Винос, носила флорентийскую юбку из цветной набойки и короткую кофту без рукавов. Урсус и Гуинплен носили мужские безрукавки, кожаные штаны и высокие сапоги, какие носят матросы на военных судах. Гуинплен, кроме того, надевал для работы и во время гимнастических упражнений еще и кожаный нагрудник. Он ходил за лошадьми. Что касается Урсуса и Гомо, то они заботились друг о друге сами.

Дея настолько привыкла к «Зеленому ящику», что расхаживала в нем с уверенностью зрячего человека.

Если бы чей-либо глаз, заинтересовавшись

внутренним расположением и устройством этого странствующего дома, заглянул в него, он заметил бы в одном из его углов прикрепленную к стене прежнюю повозку Урсуса, вышедшую в отставку, доживавшую свой век на покое и избавленную от необходимости трястись по дорогам, так же как Гомо, который был теперь избавлен от необходимости тащить возок.

Эта развалина, загнанная в самый конец фургона, направо от двери, служила Урсусу и Гуинплену спальней и актерской уборной. В ней помещались теперь два ложа и наискосок от них — кухня.

Даже на корабле трудно было бы встретить более обдуманное и целесообразное расположение предметов, чем внутри «Зеленого ящика». Все в нем было на своем месте, точно предусмотрено, заранее рассчитано.

Фургон, разгороженный тонкими переборками, состоял из трех отделений, которые сообщались между собою завешенными материей проемами без дверей. Заднее отделение занимали мужчины, переднее — женщины, среднее было театром. Музыкальные инструменты и все приспособления, необходимые для спектаклей, хранились в кухне. На помосте, под самой крышей, помеща-

лись декорации; приподняв трап, устроенный в этом помосте, можно было увидеть лампы, предназначенные для «магических и световых эффектов».

Этими «магическими эффектами» вдохновенно распоряжался Урсус. Он же сочинял пьесы.

Он обладал самыми разнородными талантами; он показывал удивительные фокусы. Помимо того, что он подражал всевозможным голосам, проделывал самые неожиданные штуки, посредством игры света и тени вызывал внезапное появление на стене огненных цифр и слов — любых, по желанию публики, и исчезновение в полумраке разных фигур, — он удивлял зрителей множеством других диковинных вещей, между тем как сам, совершенно равнодушный к изъявлениям восторга, казалось был погружен в глубокое раздумье.

Однажды Гуинплен сказал ему:

— Отец, вы похожи на волшебника!

Урсус ответил:

— А что же, может быть я действительно волшебник.

«Зеленый ящик», сооруженный по искусным чертежам Урсуса, имел остроумное приспособление: вся средняя часть левой стенки фургона,

между передними и задними колесами, была укреплена на шарнирах, и с помощью цепей и блоков ее по желанию можно было опустить, как подъемный мост. А когда ее откидывали, три подпорки на петлях, приняв вертикальное положение, опускались под прямым углом к земле, как ножки стола, и поддерживали стенку фургона, превращенную в театральные подмостки. Перед зрителями возникала сцена, для которой откинутая стенка служила авансценой. Отверстие это, по словам пуританских проповедников, проходивших мимо и в ужасе отворачивавшихся от него, напоминало собой точь-в-точь вход в ад. Вероятно, именно за такое неблагочестивое изобретение Солон присудил Фесписа к палочным ударам.

Впрочем, изобретение Фесписа оказалось долговечнее, чем принято думать. Театр-фургон существует и поныне. Именно на таких кочующих подмостках в шестнадцатом и в семнадцатом столетиях в Англии ставили баллады и балеты Амнера и Пилкингтона, во Франции — пасторали Жильбера Колена, во Фландрии на ярмарках — двойные хоры Климента, прозванного *лже*папой, в Германии — «Адама и Еву» Тейля, в Италии — венецианские интермедии Анимучча

и Кафоссиса, сильвы Джезуальдо, принца Венузского, «Сатиры» Лауры Гвидиччони, «Отчаяние Филлена» и «Смерть Уголино» Винченцо Галилея, отца астронома, причем Винченцо Галилей сам пел свои произведения, аккомпанируя себе на виоле-да-гамба; а также все первые опыты итальянских опер, в которых с 1580 года свободное вдохновение вытесняло мадригальный жанр.

Фургон, окрашенный в цвет надежды и перевозивший Урсуса и Гуинплена со всем их достоянием, с Фиби и Винос, трубившими на козлах, как две вестницы славы, входил в состав великой бродячей литературной семьи: Феспис не отверг бы Урсуса, так же как Конгрив не отверг бы Гуинплена.

Приехав в город или деревню, Урсус в промежутках между трубными призывами Фиби и Винос давал пояснения к их музыке.

— Это — грегорианская симфония! — восклицал он. — Граждане горожане, грегорианские канонические напевы, явившиеся таким крупным шагом вперед, столкнулись в Италии с амброзианским каноном, а в Испании — с мозарабическим и восторжествовали над ними с большим трудом.

После этого «Зеленый ящик» останавливал-

ся где-нибудь в месте, облюбованном Урсусом; вечером стенка-авансцена опускалась, театр открывался, и представление начиналось.

Декорации «Зеленого ящика» изображали пейзаж, написанный Урсусом, не знавшим живописи, вследствие чего, в случае надобности, пейзаж мог сойти и за подземелье.

Занавес сшит был из квадратных шелковых лоскутьев ярких цветов.

Публика помещалась под открытым небом, располагаясь полукругом перед подмостками, на улице или на площади, под солнцем, под проливным дождем, вследствие чего дождь для тогдашних театров был явлением куда более разорительным, чем для нынешних. Если только была возможность, представления давались во дворах гостиниц, и тогда оказывалось столько ярусов лож, сколько в здании было этажей. В таких случаях театр более походил на закрытое помещение, и публика платила за места дороже.

Урсус принимал участие во всем: в сочинении пьесы, в ее исполнении, в оркестре. Винос играла на деревянных цимбалах, мастерски ударяя по клавишам палочками, а Фиби пощипывала струны инструмента, представлявшего собою разновидность гитары. Волк тоже был привлечен

к делу. Его окончательно ввели в состав труппы, и при случае он исполнял небольшие роли. Когда Урсус и Гомо появлялись рядом на сцене, Урсус в плотно облегавшей его медвежьей шкуре, а Гомо в своей собственной волчьей, еще лучше пригнанной к нему, зрители нередко затруднялись определить, кто же из этих двух существ настоящий зверь; это льстило Урсусу.

9. Сумасбродство, которое люди без вкуса называют поэзией

Пьесы Урсуса представляли собой интерлюдии — литературный жанр, несколько вышедший из моды в наше время. Одна из этих пьес, не дошедшая до нас, называлась «Ursus rursus»[193]. По-видимому, Урсус исполнял в ней главную роль. Мнимый уход со сцены и сразу же вслед за ним новое, эффектное появление главного действующего лица — таков, судя по всему, был скромный и похвальный сюжет этой пьесы.

Интерлюдии Урсуса, как видит читатель, носили иногда латинские названия, стихи же в них нередко были на испанском языке. Испанские

---

[193] Сноски: 193
«Медведь наизнанку» (*лат.*).

стихи Урсуса были рифмованные, как почти все кастильские сонеты того времени. Публику это не смущало. В ту эпоху испанский язык был довольно распространен, и английские моряки говорили на кастильском наречии не менее свободно, чем римские солдаты на карфагенском. Почитайте Плавта. К тому же в театре, как и во время обедни, латинский язык или какой-нибудь другой, столь же непонятный аудитории, не являлся ни для кого камнем преткновения. Чужую речь весело сопровождали знакомыми словами. Это, в частности, помогало нашей старой галльской Франции быть набожной. На голос «Immolatus»[194] верующие пели в церкви «Давайте веселиться», а на голос «Sanctus»[195] — «Поцелуй меня, дружок». Понадобилось особое постановление Тридентского собора, чтобы положить конец таким вольностям.

Урсус сочинил специально для Гуинплена интерлюдию, которой был очень доволен. Это было его лучшее произведение. Он вложил в него всю свою душу. Выразить всего себя в своем творении — существует ли большее торжество для творца?

---

[194] Сноски: 194
«Закланный агнец» (*лат.*).

[195] Сноски: 195
«Свят Господь» (*лат.*).

Жаба, производящая на свет другую жабу, создает шедевр. Вы сомневаетесь? Попытайтесь сделать то же.

Эту интерлюдию Урсус тщательно отделывал, стараясь довести ее до совершенства. Его детище носило название: «Побежденный хаос».

Вот содержание пьесы.

Ночь. Раздвигался занавес, и толпа, теснившаяся перед «Зеленым ящиком», сначала не видела ничего кроме темноты. В этом непроглядном мраке ползали по земле три еле различимые фигуры — волк, медведь и человек. Волка изображал волк, медведя — Урсус, человека — Гуинплен. Волк и медведь были воплощением грубых сил природы, бессознательных влечений, дикого невежества; оба они набрасывались на Гуинплена; это был хаос, боровшийся с человеком. Лиц их не было видно. Гуинплен отбивался, закутанный в саван, лицо его было закрыто густыми длинными волосами. К тому же все кругом было объято мраком. Медведь ревел, волк скрежетал зубами, человек кричал. Звери одолевали, он погибал, он молил о помощи, о поддержке, он бросал в неизвестность душераздирающий призыв. Он издавал предсмертный хрип. Зрители присутствовали при агонии первобытного человека,

еще мало чем отличавшегося от дикого зверя; это было зловещее зрелище, толпа смотрела на сцену, затаив дыхание; еще мгновение — и звери восторжествуют, хаос поглотит человека. Борьба, крики, вой — и вдруг полная тишина. Во мраке раздавалось пение. Проносилось какое-то веяние, и слышался нежный голос. В воздухе реяли звуки таинственной музыки, вторившие напевам незримого существа, и вдруг неведомо откуда, неизвестно каким образом возникало белое облачко. Это белое облачко было светом, этот свет — женщиной, эта женщина — духом. И вот появлялась Дея; спокойная, чистая, прекрасная и грозная своей красотой и своей чистотой, возникала она, окруженная сиянием. Лучезарный силуэт на фоне утренней зари. Голос принадлежал ей. Нежный, глубокий, невыразимо пленительный голос. Из незримой став видимой, она пела в лучах зари. Это пение было подобно ангельскому или соловьиному. Она появлялась, и человек, ослепленный этим дивным видением, сразу вскакивал и ударами кулаков повергал обоих зверей.

Тогда видение, скользя по сцене неуловимым для публики движением, возбуждавшим ее восторг именно этой неуловимостью, начинало петь

на испанском языке, чистота которого у слушателей, английских матросов, не вызывала никаких сомнений:

Ora! ilora!
De palabra
Nace razón
De luz el son[196].

Затем Дея опускала глаза, точно увидав пропасть у себя под ногами, и продолжала:

Noche quita te de allí!
El alba canta hallalí[197].

По мере того как она пела, человек все больше и больше выпрямлялся: он уже не был простерт на земле, он стоял теперь коленопреклоненный, протянув руки к видению, попирая коленями обоих неподвижно лежавших, как бы сраженных молнией животных. Она же продолжала, обращаясь к нему:

Es menester a cielos ir

---

[196] Сноски: 196
Молись! плачь! Из слова Родится разум, Из пения — свет (*исп.*).

[197] Сноски: 197
Ночь, уходи! Заря поет победную песню (*исп.*).

Y tu que llorabas reír[198].

Приблизившись к нему с величием светила, она продолжала:

Quebra barzón!
Dexa, monstro,
A tu negro
Caparazón[199].

И возлагала руку ему на лоб.

Тогда во мраке раздавался другой голос, более низкий и страстный, голос сокрушенный и восторженный, глубоко трогательный своей дикой робостью. Это была песнь человека в ответ на песнь звезды. Все еще стоя на коленях во мраке и пригибая к земле побежденных зверей — медведя и волка, — Гуинплен, на челе которого покоилась рука Деи, пел:

O ven! ama!
Eres alma
Soy corazón[200].

---

[198] Сноски: 198
Вознесись на небо И смейся, плакавший (*исп.*).

[199] Сноски: 199
Разбей ярмо! Сбрось, чудовище, Свою черную Оболочку (*исп.*).

[200] Сноски: 200
О, подойди! люби! Ты — душа, Я — сердце (*исп.*).

И вдруг, прорезав пелену мрака, яркий луч света падал прямо на лицо Гуинплена.

Из тьмы внезапно возникала смеющаяся маска чудовища.

Невозможно передать словами волнение, охватывавшее при этом зрителей. Над толпою поднималось солнце смеха. Смех порождается неожиданностью, а что могло быть неожиданнее такой развязки? Впечатление, производимое на публику снопом света, ударявшего в шутовскую и вместе с тем ужасную маску, было ни с чем не сравнимо. Все хохотали кругом; всюду — наверху, внизу, в передних, в задних рядах, мужчины, женщины; лысые головы стариков, розовые детские рожицы, добрые, злые, веселые, грустные лица — все озарялось весельем; даже прохожие на улице, которым ничего не было видно, начинали смеяться, услыхав этот громовый хохот. Ликованье зрителей выражалось бурными рукоплесканиями и топотом ног. Когда занавес задергивался, Гуинплена бешено вызывали. Он имел огромный успех. «Видели вы “Побежденный хаос”?» Все спешили посмотреть Гуинплена. Приходили посмеяться люди беззаботные, приходили меланхолики, приходили люди с нечистой совестью. Этот неудержимый хохот можно было

иногда принять за болезнь. Но если существует на свете зараза, которой человек не боится, то это заразительное веселье. Впрочем Гуинплен имел успех только среди бедноты. Большая толпа — это маленькие люди. «Побежденный хаос» можно было посмотреть за один пенни. Знать не посещает тех мест, где за вход платят грош.

Урсус был не совсем равнодушен к своему драматическому произведению, которое он долго вынашивал.

— Это в духе некоего Шекспира, — скромно заявлял автор «Побежденного хаоса».

Контраст между Деей и ее партнером усиливал поразительное впечатление, оказываемое на зрителей Гуинпленом. Этот лучезарный образ рядом с этим уродом вызывал чувство, которое можно было бы определить как изумление при виде божества. Толпа взирала на Дею с тайной тревогой. В ней было нечто возвышенное, она казалась девственной жрицей, не ведающей людских страстей, но познавшей Бога. Видно было, что она слепа, но вместе с тем чувствовалось, что она все видит. Казалось, она стоит на пороге в мир сверхъестественного; казалось, ее освещает какой-то нездешний свет. Она опустилась из звездного мира, чтобы принести благо, но так,

как это делает небо: разливая вокруг сияние зари. Она нашла отвратительное чудовище и вдохнула в него душу. Она производила впечатление созидательной силы, удовлетворенной и в то же время ошеломленной собственным творением. На ее прекрасном лице отражалось восхитительное смущение, твердая воля совершить благо и изумление перед тем, что она сделала. Чувствовалось, что она любит своего урода. Знала ли она, что он — урод? Да — ведь она прикасалась к нему. Нет — ведь она не отвергала его. Сочетание этих противоположностей, тьмы и света, порождало в сознании зрителя некий сумрак, в котором вырисовывались беспредельные дали. Каким путем божество соединяется с первичным веществом, как происходит проникновение души в материю, почему солнечный луч является своего рода пуповиной, как преображается урод, как бесформенное становится райски совершенным? — все эти тайны, возникавшие в виде смутных образов, внушали почти космическое волнение, усиливавшее судорожный хохот, который вызывала маска Гуинплена. Не вникая в сущность авторского замысла — ибо зритель не любит утруждать себя глубоким проникновением, — публика все-таки постигала нечто выходившее за пределы того,

что она видела на подмостках: этот необычайный спектакль приподымал завесу над тайною преображения человека.

Что касается переживаний Деи, то их трудно передать словами. Она чувствовала себя окруженной большой толпою, не зная, что такое толпа. Она слышала гул — больше ничего. Толпа для нее была лишь дуновением, и по существу это действительно так. Смена поколений не что иное, как дыхание вечности. Человек делает вдох, выдох и испускает дух. В толпе Дея чувствовала себя одинокой и трепетала от страха, словно под ногами ее зияла разверстая пропасть. Но и в том состоянии смятения и скорби, когда невинное существо, возмущенное возможным падением в бездну, готово бросить упрек неведомому, Дея сохраняла присутствие духа, преодолевала сознание своего одиночества, смутную тревогу перед лицом опасности и вдруг, снова обретая уверенность и точку опоры, хваталась за спасительную нить, кинутую ей в беспредельном мире мрака, и, простирая руку, возлагала ее на могучую голову Гуинплена. Несказанная радость! Ее розовые пальцы погружались в лес курчавых волос. Прикосновение к шерсти вызывает всегда ощущение чего-то нежного. Дея ласкала густое руно, зная,

что это — лев. Ее сердце было переполнено неизъяснимой любовью. Она чувствовала себя вне опасности, она нашла своего спасителя. Публике же представлялось совсем иное: для зрителей спасенным был Гуинплен, а спасительницей — Дея. «Не беда!» — думал Урсус, понимавший, что происходит в сердце Деи. И Дея, успокоенная, утешенная, восхищенная, преклонялась перед ангелом, между тем как толпа, видела перед собой чудовище и, тоже зачарованная, но совсем иначе, испытывала на себе воздействие этого титанического смеха.

Истинная любовь не знает пресыщения. Будучи всецело духовной, она не может охладиться. Пылающий уголь может подернуться пеплом, небесное светило — никогда. Каждый вечер возобновлялись для Деи эти восхитительные переживания; она готова была плакать от нежности, в то время как толпа надрывалась от смеха. Люди только веселились, Дея же испытывала счастье.

Впрочем, необузданное веселье, вызываемое внезапным появлением ошеломляющей маски Гуинплена, вовсе не входило в намерения Урсуса. Он предпочел бы этому хохоту улыбку, он хотел бы встретить у публики восхищение

менее грубого свойства. Но триумф всегда служит утешением. И Урсус каждый вечер примирялся с несколько странным успехом своей пьесы, подсчитывая, сколько шиллингов составляют стопки собранных фартингов и сколько фунтов стерлингов в стопках шиллингов. Кроме того, он говорил себе, что, когда смех уляжется, «Побежденный хаос» снова всплывет перед глазами зрителей и неизбежно оставит впечатление в их душе. Он, пожалуй, не совсем ошибался. Всякое произведение искусства оставляет след в сознании людей. Действительно, простой народ, внимательно следивший за этим волком, за медведем, за человеком, за этой музыкой, за диким воем, побежденным гармонией, за этим мраком, рассеянным лучами зари, за пением, от которого исходил свет, — относился с неясной, но глубокой симпатией, даже с некоторым уважением и нежностью к драматической поэме «Побежденный хаос», к этой победе светлого начала над силами тьмы, приводившей к радостному торжеству человека.

Таковы были грубые увеселения простого народа.

Он вполне довольствовался ими. Народ не имел возможности посещать «благородные поединки»,

устраиваемые на потеху высокородных джентльменов, и не мог, подобно им, ставить тысячу гиней на Хелмсгейла против Филем-ге-Медона.

10. Взгляды на вещи и на людей человека, выброшенного за борт жизни

У человека всегда есть затаенное желание — отомстить за доставленное ему удовольствие. Отсюда — презрение к актеру.

Это существо пленяет меня, развлекает, забавляет, восхищает, утешает, нравственно возвышает, оно мне приятно и полезно — каким же злом отплатить ему? Унижением. Презрение — это пощечина на расстоянии. Дадим ему пощечину. Он мне нравится — значит, он подл. Он мне служит, я его за это ненавижу. Где бы найти камень, чтобы бросить в него? Священник, дай мне твой камень! Философ, дай мне свой! Боссюэ, отлучи его от церкви! Руссо, поноси его! Оратор, осыпь его градом галек, которые ты держишь во рту! Медведь, запусти в него булыжником! Побьем камнями дерево, растопчем плод и съедим его. «Браво!» и «Долой его!» Декламировать стихи поэта — значит быть зачумленным. Эй ты, фигляр! Сейчас в награду за успех мы наденем на

него железный ошейник и поставим к позорному столбу. Завершим его триумф травлей. Пусть он собирает вокруг себя толпу и тем самым создает свое одиночество. Так имущие классы, которые называют высшими, изобрели для комедианта особую форму отчуждения от общества — аплодисменты.

Простой народ не так жесток. Он не питал ненависти к Гуинплену, он не презирал его. Но все же самый последний из конопатчиков самого последнего экипажа на самом последнем судне в последнем из портов Англии считал себя неизмеримо выше этого увеселителя «сброда» и был убежден, что конопатчик настолько же выше скомороха, насколько лорд выше конопатчика.

Итак, как это бывает со всеми комедиантами, Гуинплена награждали рукоплесканиями и обрекали на одиночество. Впрочем, в этом мире всякий успех — преступление, которое приходится искупать. У каждой медали есть оборотная сторона.

Для Гуинплена этой оборотной стороны не существовало, потому что и то и другое последствие его успеха были ему по душе: он был рад аплодисментам и доволен одиночеством. Аплодисменты приносили ему богатство, одиночество дарило

ему счастье.

В низших слоях общества быть богатым значит всего-навсего не быть бедным. Не иметь дыр на платье, не страдать от пустоты в желудке, от отсутствия дров в очаге. Есть и пить вволю. Иметь все необходимое, включая возможность подать грош нищему. Этого-то скромного благосостояния, достаточного, чтобы чувствовать себя свободным, и достиг Гуинплен.

Но душа его обладала несметным богатством: он любил и был любим. Чего мог он еще пожелать?

Он ничего и не желал.

Единственное, что ему можно было бы, пожалуй, предложить — это избавить его от уродства. Однако с каким негодованием он отверг бы такое предложение! Сбросить с себя маску, вернуть свое подлинное лицо, снова стать таким, каким он, быть может, был, — красивым и привлекательным, — он не согласился бы ни за что. Как бы он мог тогда кормить Дею? Что сталось бы с бедной кроткой слепой, любившей его? Без этой гримасы смеха на лице, делавшей из него единственного в своем роде комедианта, он оказался бы простым скоморохом, заурядным гимнастом, подбирающим жалкие гроши на

мостовой, и Дея, возможно, не каждый день ела бы хлеб! С глубокой и трогательной гордостью он сознавал себя покровителем этого беззащитного небесного создания. Мрак, одиночество, нужда, беспомощность, невежество, голод и жажда — семь разверстых пастей нищеты — зияли перед ним, а он был святым Георгием, сражающимся с этим драконом. И он побеждал нищету. Чем? Своим безобразием. Благодаря своему безобразию он был полезен, он оказывал помощь, одерживал победу за победой, стал велик. Стоило ему только показаться публике, и деньги сыпались в его карман. Он властвовал над толпой, он был ее повелителем. Он все мог сделать для Деи. Он заботился об удовлетворении ее потребностей; он исполнял все ее желания, прихоти, фантазии в тех ограниченных пределах, какие могли быть у слепой девушки. Гуинплен и Дея, как мы уже говорили, были настоящим провидением друг для друга. Он чувствовал, что она возносит его на своих крыльях; она чувствовала, что он носит ее на руках. Нет ничего приятнее, чем покровительствовать любимому существу, давать необходимое тому, кто возносит вас к звездам. Гуинплен познал это высокое блаженство. Он был обязан им своему безобразию. Это безобразие

давало ему превосходство надо всем. С помощью этой уродливой маски он содержал себя и своих близких; благодаря ей он был независим, свободен, знаменит, удовлетворен и горд собою. Уродство делало его неуязвимым. Рок уже был не властен над ним: рок выдохся, вероломно нанеся жестокий удар, который, однако, принес Гуинплену торжество. Пучина бед превратилась в вершину светлого счастья. Гуинплен находился в плену у собственного уродства, но этот плен разделяла с ним Дея. Темница, мы уже говорили это, стала раем. Между двумя заключенными и всем остальным миром стояла стена. Тем лучше. Эта стена отгораживала их от других, но зато и защищала. Какой вред можно было нанести Дее или Гуинплену, когда они были так далеки от всех жизненных волнений? Отнять у него успех? Невозможно. Для этого пришлось бы наделить Гуинплена другим лицом. Отнять у него любовь Деи? Невозможно. Дея не видела его. Слепота Деи была неисцелима. Какое же неудобство представляло для Гуинплена его безобразие? Никакого. Какие оно ему давало преимущества? Все. Несмотря на свое уродство, а может быть, благодаря ему, он был любим. Уродство и увечье инстинктивно потянулись одно к другому и всту-

пили в союз. Быть любимым — разве это не все? Гуинплен думал о своем безобразии не иначе, как с признательностью. Клеймо оказалось для него благословением. Он с радостью сознавал, что оно неизгладимо и вечно. Какое счастье, что это благо у него никак нельзя отнять! Пока существуют перекрестки, ярмарочные площади, дороги, уводящие вдаль, народ внизу и небо над головою, можно быть уверенным в завтрашнем дне. Дея ни в чем не будет нуждаться, и они будут любить друг друга. Гуинплен не поменялся бы лицом с Аполлоном. Быть уродом — в этом заключалось все его счастье.

Потому-то мы и говорили в начале повествования, что судьба щедро одарила его. Этот отверженный был ее баловнем.

Он был так счастлив, что порой даже жалел окружавших его людей, — он был сострадателен. Впрочем, его бессознательно влекло взглянуть на то, что творится кругом, ибо на свете нет совершенно замкнутого в себе человека, и природа — не отвлеченность; он был рад, что стена отгораживает его от остального мира, однако время от времени он поднимал голову и смотрел поверх ограды. И, сравнив свое положение с положением других, он с еще большей радостью возвращался

к своему одиночеству, к Дее.

Что же видел он вокруг себя? Что представляли собою эти существа, которые благодаря его постоянным странствиям возникали перед ним во всем своем разнообразии, ежедневно сменяясь другими? Вечно новые люди, а в действительности — все та же толпа. Вечно новые лица — и вечно все те же несчастия. Смешение всякого рода обломков. Каждый вечер все виды неизбежных социальных бедствий тесным кольцом обступали его счастье.

«Зеленый ящик» пользовался успехом.

Низкие цены привлекают низшие классы. К Гуинплену шли слабые, бедные, обездоленные. К нему тянулись, как тянутся к рюмке джина. Приходили купить на два гроша забвения. С высоты своих подмостков Гуинплен производил смотр этой угрюмой толпе народа. Один за другим проникали в его сознание эти образы бесконечной нищеты. Лицо человека отражает на себе состояние его совести и всю его жизнь: оно — итог множества таинственных воздействий, из которых каждое оставляет на нем свой след. Не было такого страдания, такой злобы и гнева, такого бесчестья, такого отчаяния, отпечатка которых не наблюдал бы Гуинплен на

этих лицах. Вот эти детские рты сегодня ничего не ели. Вот этот мужчина — отец, эта женщина — мать: образы обреченных на гибель семей. Вон то лицо принадлежит человеку, находящемуся во власти порока и идущему к преступлению; причина ясна: это невежество и нищета. Были лица, отмеченные печатью природной доброты, уничтоженной социальным гнетом и превратившейся в ненависть. На лбу седой старухи можно было прочесть слово «голод»; на лбу юной девушки — слово «проституция». Один и тот же факт имел разные последствия для молодой и для старухи, но для кого из них они были тяжелее? В этой толпе были руки, умевшие трудиться, но лишенные орудий труда; эти люди хотели работать, но работы не было. Иногда рядом с рабочим садился солдат, порою инвалид, и перед Гуинпленом вставал страшный призрак войны. Здесь Гуинплен угадывал безработицу, там — эксплуатацию, а там — рабство. На некоторых лицах он замечал явные признаки вырождения, постепенный возврат человека к состоянию животного, вызванный в низших слоях общества тяжким гнетом блаженствующей верхушки его. И в этом беспросветном мраке Гуинплен видел лишь одну светлую точку. Он и Дея, пройдя через

горькие страдания, были счастливы. На всем остальном лежало клеймо проклятия. Гуинплен знал, что над ним стоят власть имущие, богатые, знатные, баловни судьбы, и чувствовал, как они бессознательно топчут его; а внизу он различал бледные лица обездоленных. Он видел себя и Дею, свое крошечное и в то же время безграничное счастье, между этими двумя мирами; вверху был мир свободных и праздных, веселых и пляшущих, беспечно попирающих других ногами; внизу — мир тех, которых попирают. Подножием блеска служит тьма — печальный факт, свидетельствующий о глубоком общественном недуге. Гуинплен отдавал себе отчет в этом печальном явлении. Какая унизительная участь! Человек способен так пресмыкаться! Такое тяготение к праху и грязи, такое отвратительное самоотречение вызывали у него желание раздавить эту мерзость ногой. Для какой же бабочки может служить гусеницей подобное существование? И перед каждым в этой голодной, невежественной толпе стоит вопросительный знак. Что ждет его — преступление или позор? Растление совести — неизбежный закон существования всех этих людей. Здесь нет ни одного ребенка, которого не ждало бы унижение, ни одной девушки, которой

не пришлось бы торговать собой, ни одной розы, которой не предстояло бы быть растоптанной!

Порой Гуинплен пытался всмотреться пытливым и сочувственным взором в самые глубины этого мрака, где гибло столько бесплодных порывов, где столько сил сломилось в борьбе; он видел перед собой целые семьи, павшие жертвой общества, честных людей, искалеченных законом, раны, ставшие гнойниками из-за системы уголовных наказаний, бедняков, истощаемых налогами, умных, увлекаемых невежеством в пучину мрака; он видел тонущие плоты, усеянные голодными, войны, неурожаи, сонмы смертей. И эта душераздирающая картина всеобщих бедствий заставляла болезненно сжиматься его сердце. Он как будто воочию видел всю накипь несчастий над мрачным морем человечества. А он был надежно укрыт в гавани и лишь со стороны наблюдал это страшное кораблекрушение. Иногда он закрывал руками свое обезображенное лицо и погружался в раздумье.

Какое безумие — быть счастливым! Чего только не приходило ему в голову! В его мозгу зарождались самые нелепые мысли. Когда-то он пришел на помощь младенцу, теперь в нем рождалось страстное желание помочь всем обездоленным.

Эти смутные мечты порою даже заслоняли от него действительность; он терял чувство меры до такой степени, что задавал себе вопрос: «Как же, чем же помочь этому бедному народу?» Порою он так погружался в эти мысли, что произносил эти слова вслух. Тогда Урсус пожимал плечами и пристально смотрел на него. А Гуинплен продолжал мечтать:

— Ах, будь в моих руках власть, как бы я помогал несчастным! Но что я? Жалкое ничтожество. Что я могу сделать? Ничего.

Он ошибался. Он немало делал для несчастных. Он заставлял их смеяться.

А мы уже сказали, что заставить людей смеяться — значит дать им забвение.

И разве не благодетель человечества тот, кто дарит людям забвение?

11. Гуинплен – глашатай справедливости, Урсус – глашатай истины

Философ — это соглядатай. Урсус, любитель читать чужие мысли, внимательно следил за своим питомцем. Наши безмолвные монологи отражаются у нас на лице и вполне ясны физиономисту. Поэтому от Урсуса не скрылось то,

что происходило в душе Гуинплена. Однажды, когда Гуинплен был погружен в раздумье, Урсус, дернув его за полу, воскликнул:

— Ты, кажется, стал присматриваться к окружающему, глупец! Берегись, это тебя не касается! У тебя есть другое занятие — любить Дею. Ты счастлив вдвойне: во-первых, тем, что толпа видит твою рожу; во-вторых, тем, что Дея ее не видит. Ты пользуешься незаслуженным счастьем. Ни одна женщина не согласилась бы принять от тебя поцелуй, увидев твой рот. А ведь этот рот, который стал залогом твоего благополучия, эта морда, приносящая тебе богатство, — не твои. Ты родился не с таким лицом. Ты исказил свои подлинные черты гримасой, украденной в преисподней. Ты похитил у дьявола его личину. Ты отвратителен: довольствуйся же выпавшей на твою долю удачей. В нашем весьма благоустроенном мире есть счастливцы по праву и счастливцы случайные. Ты баловень случая. Ты живешь в подземелье, куда попала звезда. Эта бедная звезда досталась тебе. Не пытайся же выбраться из подземелья и держи крепко свою звезду, паук! В твоих сетях алмазом горит Венера. Сделай милость, не привередничай. Я вижу, ты задумываешься — это глупо. Послушай-ка, я буду с тобой говорить на

языке настоящей поэзии: пускай Дея ест побольше говядины и бараньих котлет, и через полгода она станет толстой, как турчанка; женись на ней, не долго думая, и она родит тебе ребенка, да не одного, а двух, трех, целую кучу детей. Вот что я называю философией. Когда человек чувствует себя счастливым, это совсем не плохо. Иметь собственных детенышей — великолепное дело. Обзаведись ребятами, пеленай их, вытирай им носы, укладывай спать, умывай чумазых пачкунов, и пускай вся эта мелюзга копошится вокруг тебя; если они смеются — прекрасно; если ревут — еще лучше: кричать — значит, жить; наблюдай, как в полгода они сосут грудь, в год — ползают, в два — ходят, в пятнадцать — становятся подростками, в двадцать — влюбляются. У кого есть эти радости — у того есть все. Я упустил это счастье, вот почему я — грубое животное. Сам Господь Бог, сочинитель прекрасных поэм, первый литератор на свете, продиктовал своему секретарю Моисею: «Размножайтесь!» Так гласит писание. Размножайся, животное! Ну, а мир — он всегда будет таким, каков он есть; на земле все будет идти достаточно дурно и без твоего содействия. Не заботься об этом. Не занимайся тем, что происходит вокруг. Не вызывай никаких

бурь. Комедиант создан для того, чтобы на него смотрели, а не для того, чтобы смотреть самому. Знаешь ли, кто верховодит на свете? Счастливцы по праву. Ты же, повторяю, счастливец случайный. Ты мошеннически завладел счастьем, которое тебе не принадлежит. Они — его законные обладатели, а ты — втируша, ты незаконно сожительствуешь с удачей. Чего тебе еще? Вот уж явное доказательство, что негодяй с жиру бесится! А ведь обзавестись потомством в союзе с Деей — приятнейшее дело. Это такое блаженство, что без плутовства до него, пожалуй, не доберешься. Те, кто получил свыше привилегию на земное счастье, не любят, чтобы существа, стоящие ниже их, позволяли себе такие радости. Если они спросят тебя, по какому праву ты счастлив, ты не сумеешь ответить. У тебя нет высочайшей грамоты на счастье, как у них. Юпитер ли, Аллах, Вишну или Саваоф — кто уж там, не знаю, выдал им разрешение на счастье. Бойся их. Не суйся в их дела, чтобы они не занялись тобой. Знаешь ли ты, несчастный, что такое счастливец по праву? Это — страшное существо, это — лорд. О, лорд!.. Вот кому, прежде чем появиться на свет в неведомом дьявольском прошлом, пришлось вести немало интриг, чтобы вступить в жизнь именно через

эту дверь! Как ему, должно быть, было трудно родиться! Конечно, других забот у него не было, но, боже правый, что это был за труд! Добиться От судьбы, от этой слепой, своевольной дуры, чтобы она сразу, с колыбели, сделала вас владыкой над остальными людьми! Подкупить кассира, чтобы получить лучшее место в театре! Прочти памятку на стенке нашей вышедшей в отставку повозки, прочти этот требник моей мудрости, и ты увидишь, что такое лорд. Лорд — это человек, у которого есть все и который в своем лице воплощает все. Лорд — это существо, попирающее законы человеческой природы; лорд — это тот, кто в юности имеет права старика, а в старости — все преимущества молодости; развратник, он пользуется уважением порядочных людей; трус, он командует храбрецами; тунеядец, он пожирает плоды чужого труда; невежда, он является обладателем дипломов Кембриджского и Оксфордского университетов; глупец, он слышит в его честь славословия поэтов; урод, он получает в награду улыбки женщин; Терсит, он носит шлем. Ахилла; заяц, он облекается в львиную шкуру. Не истолковывай неправильно моих слов, я не утверждаю, что всякий лорд — обязательно невежда, трус, урод и старый дурак; я только говорю, что

он может быть всем этим без всякого ущерба для себя. Напротив, лорды — повелители. Король Англии — тоже лорд, первый вельможа между вельможами; это уже много, это — все. В былое время короли именовались лордами: лорд Дании, лорд Ирландии, лорд Соединенных островов. Лорд Норвегии всего лишь триста лет назад принял титул короля. Древнейшего короля Англии, Луция, святой Телесфор называл милордом Луцием. Лорды — это пэры, иначе говоря — равные. Кому? Королю. Я не смешиваю ошибочно лордов с парламентом. Парламент — это народное собрание, которое саксы до покорения их норманнами называли wittenagemot, а покорители-норманны называли parliamentum. И мало-помалу народ выставили за дверь. В королевских приказах по созыву палаты общин некогда стояло: «ad consilium impendendum»[201], теперь же в них стоит: «ad conserittendum»[202]. Палата общин имеет право давать свое согласие. Ей разрешается говорить «да». Пэры же могут говорить «нет». Они доказали на деле, что обладают этим правом. Пэры могут отсечь голову королю, а народ не мо-

[201] Сноски: 201
Для предстоящего совета (*лат.*).

[202] Сноски: 202
Для согласования (*лат.*).

жет. Казнь Карла I — нарушение не королевских прав, а пэрских привилегий, и правильно сделали, что вздернули на виселицу скелет Кромвеля. Лорды могущественны. Почему? Потому что в их руках богатства. Кто перелистывал когда-нибудь «Doomsday-book» — «Книгу страшного суда»? Эта книга — доказательство того, что Англией владеют лорды; это составленный при Вильгельме Завоевателе реестр земельных имуществ, принадлежащих английским подданным, хранящийся у лорд-канцлера казначейства. Чтобы сделать выписку из этого реестра, платят по четыре су за строку. Любопытнейшая книга! Знаешь ли ты, что я служил в качестве домашнего врача у некоего лорда Мармедьюка, который имел девятьсот тысяч французских франков годового дохода? Сообрази-ка это, дуралей! Знаешь ли ты, что одними кроликами, содержащимися в садках графа Линдсея, можно было бы накормить всю голь в Пяти Портах? А попробуй протянуть к ним руку! Все на учете. Каждого браконьера вешают. Я видел, как вздернули на виселицу отца шестерых детей только за то, что у него из ягдташа торчала пара длинных кроличьих ушей. Таковы вельможи. Кролик, принадлежащий лорду, дороже человеческой жизни. Но раз лорды

существуют на свете — слышишь ты, мошенник? — мы должны находить, что это прекрасно. А если бы мы даже нашли, что это плохо, какое это может иметь для них значение? Народ против чего-то возражает! Подумайте только! Да у самого Плавта не найти ничего комичнее! Смешон был бы тот философ, который посоветовал бы этой жалкой черни возражать против гнета лордов. Да это все равно, как если бы гусеница вступила в пререкания с пятою слона. Однажды я видел, как на кротовую нору наступил гиппопотам; он все раздавил; но он был ни в чем не повинен. Этот добродушный великан даже не догадывался о том, что на свете есть кроты. Милый мой, кроты, которых давят, — это род человеческий. Давить друг друга — закон природы. А ты думаешь, что крот никого не давит? Он является великаном по отношению к клещу, который в свою очередь великан по отношению к тле. Но не будем углубляться в рассуждения. Друг мой, на свете существуют кареты. В каретах ездят лорды, неосторожные пешеходы попадают под колеса, а благоразумный человек норовит отойти в сторону. Посторонись и дай карете проехать. Что касается меня, я люблю лордов, но избегаю их. Я жил у одного из них. Этого вполне достаточно для

того, чтобы у меня сохранилось о них прекрасное воспоминание. Его замок запечатлелся у меня в памяти в виде некоего сияния в облаках. Мои мечты обращены назад. Нет ничего замечательнее, чем Мармедьюк-Лодж в смысле величественности здания, соразмерности отдельных частей, пышности украшений, множества пристроек. Вообще дома, особняки, дворцы лордов — это собрание всего, что есть самого великолепного и роскошного в нашем цветущем королевстве. Я люблю наших вельмож. Я признателен им за их богатство, могущество и благосостояние. Я, прозябающий во мраке, с интересом и удовольствием взираю на клочок небесной лазури, именуемый лордом. В Мармедьюк-Лодж въезжали через огромный двор, имевший вид прямоугольника, разделенного, на восемь квадратов, из которых каждый был обнесен балюстрадой; между ними пролегала широкая дорога, посреди которой высился восхитительный восьмиугольный фонтан с двумя водоемами и прелестным ажурным куполом, поддерживаемым шестью колоннами. Там-то я и познакомился с ученым французом, аббатом Дюкро из якобинского монастыря на улице Сен-Жак. В Мармедьюк-Лодже хранится половина библиотеки Эрпениуса, другая половина

которой находится на богословском факультете Кембриджского университета. Я занимался чтением, сидя под разукрашенным портиком. Такие вещи обычно обращают на себя внимание лишь немногих любознательных путешественников. Знаешь ли ты, чудак, что у сиятельного Вильяма Норта, лорда Грей-Ролстона, занимающего четырнадцатое место на баронской скамье, больше высокоствольных деревьев на принадлежащей ему горе, чем у тебя волос на твоей ужасной башке? Известно ли тебе, что у лорда Норриса Райкота, графа Эбингдона, есть четырехугольная башня высотою в двести футов с девизом: Virtus ariete fortior, что будто бы означает: «Доблесть сильнее тарана», но что в действительности, дурак ты этакий, следует перевести: «Храбрость сильнее военных машин». Да, я чту и уважаю наших вельмож, я преклоняюсь перед ними. Ведь именно лорды вместе с его королевским величеством заботятся о том, чтобы доставить и обеспечить нации всевозможные выгоды. Их глубокая мудрость блестяще проявляется во всяких затруднительных обстоятельствах. Хотел бы я видеть, как могли бы они не первенствовать всюду и везде. Разумеется, они и первенствуют. То, что в Германии называется княжеским до-

стоинством, а в Испании достоинством гранда, называется пэрством в Англии и Франции. Так как были все основания считать наш мир устроенным достаточно плохо, то Бог, подметив в нем изъяны, решил доказать, что он умеет создавать и счастливых людей, и сотворил лордов на утешение философам. Тем самым Господь исправил первоначальную ошибку и с честью вышел из ложного положения. Вельможи исполнены величия. Пэр, говоря о себе, употребляет местоимение nos[203]. Пэр — это множественное число. Король называет пэров consanguinei nostri[204]. Пэры издали целую кучу мудрых законов, в том числе закон, карающий смертной казнью всякого, кто срубит трехлетний тополь. Они настолько выше всех остальных людей, что у них есть даже свой особый язык. Так, в геральдике черный цвет, именуемый «песком» на гербе простого дворянина, обозначается словом «сатурн» на княжеском гербе и словом «алмаз» на гербе пэра. Алмазная пыль, звездная ночь — вот что такое черный цвет для счастливых. И даже между этими высокими лицами существуют тонкие различия в отно-

[203] Сноски: 203
Мы (*лат.*).

[204] Сноски: 204
Равные нам по крови (*лат.*).

шениях. Барон может совершить омовение рук перед трапезой в присутствии виконта только с разрешения этого последнего. Все это превосходно придумано и служит залогом сохранения нации. Какое счастье для народа — иметь двадцать пять герцогов, пять маркизов, семьдесят шесть графов, девять виконтов и шестьдесят одного барона, что составляет в совокупности сто семьдесят шесть пэров, из коих одних величают «ваша светлость», а других «ваше сиятельство». Велика, подумаешь, важность, если при этом кое-где и попадаются кое-какие лохмотья! Нельзя же требовать, чтобы всюду было одно лишь золото. Лохмотья так лохмотья! Зато рядом с ними — пурпур. Одно искупает другое. Велика важность, что на свете есть неимущие! Они служат строительным материалом для счастья богачей. Черт возьми! Наши лорды — наша слава. Одна лишь свора гончих Чарльза Мохена, барона Мохена, стоит столько же, сколько больница для прокаженных в Мургете или детская больница Иисуса Христа, основанная в тысяча пятьсот пятьдесят третьем году Эдуардом Шестым. Томас Осборн, герцог Лидс, расходует ежегодно на одни только ливреи для своих слуг пять тысяч золотых гиней. При испанских грандах состоит назначенный

королем блюститель, который следит; чтобы они не разорились в пух и прах. Это пошло. У нас, в Англии, лорды сумасбродствуют, но зато они великолепны. Я это уважаю. Не будем же поносить их, словно мы какие-нибудь завистники. Я счастлив уже тем, что мне удается лицезреть это прекрасное видение. Пусть я — существо, лишенное света, но на меня падает отблеск чужого. Падает на мои язвы, скажешь ты? Убирайся к дьяволу! Я — Иов, счастливый тем, что созерцаю Тримальхиона. О, как прекрасна лучезарная планета там, в небесной вышине! Быть освещенным лучами луны чего-нибудь да стоит. Уничтожить лордов! Да такая мысль не пришла бы в голову даже Оресту, как ни был он безумен, Утверждать, что лорды вредны или бесполезны, — да это все равно что требовать потрясения государственных основ или утверждать, будто люди вовсе не созданы для того, чтобы жить подобно баранам, пощипывая траву и покорно перенося укусы собак. Баран оголяет луг, на котором пасется, а пастух оголяет барана, стрижет с него шерсть. Что может быть справедливее? На всякого находится своя управа. Что касается меня, то мне все равно: я — философ и за жизнь не цепляюсь. Жизнь земная — лишь временное пристанище.

Подумать только, что у Генри Боуса Ховарда, графа Беркширского, в его каретном сарае стоят двадцать четыре парадных кареты, из коих одна с серебряной упряжью и одна с золотой! Боже мой, я отлично знаю, что не у всякого есть по двадцать четыре парадных кареты, но стоит ли волноваться из-за этого? Ты продрог однажды ночью — подумаешь, велика беда! Мало ли на свете бездомных! Другие тоже страдают от холода и голода. Знаешь ли ты, что не будь этого мороза, Дея не ослепла бы, а если бы она не ослепла, она не полюбила бы тебя. Поразмысли-ка об этом, дуралей! Да и хороша была бы музыка, если бы все недовольные начали жаловаться вслух! Молчание — вот правило мудрости. Я убежден, что Господь Бог предписывает молчать всем осужденным на вечные муки, иначе он сам был бы осужден слушать нескончаемые вопли. Олимпийское блаженство покупается ценою безмолвия Коцита. Итак, молчи, народ! А я поступаю еще лучше; я одобряю и восхищаюсь. Я только что перечислил тебе лордов, но к ним надо еще прибавить двух архиепископов и двадцать четыре епископа. Право, я прихожу в умиление, когда думаю об этом. Я вспоминаю, что видел у сборщика десятины для преподобного декана Рафоэ,

который является одновременно представителем светской знати и служителем церкви, огромные скирды прекрасной пшеницы, отобранной для нужд его преосвященства у окрестных поселян; декану не пришлось трудиться, чтобы вырастить эту пшеницу, вот у него и оставалось время для молитвы. Знаешь ли ты, что лорд Мармедьюк, у которого я служил, был лорд-казначеем Ирландии и главным сенешалом Кнерсберга в графстве Иоркском? Знаешь ли ты, что лорд обер-камергер (это наследственная должность в роду герцогов Анкастерских) одевает короля в день коронации и получает в награду за свой труд сорок локтей малинового бархата да еще постель, на которой спал король, и что в процессиях ему всегда предшествует, в качестве его представителя, пристав черного жезла? Хотел бы я посмотреть, как ты станешь протестовать против того, что старейшим виконтом Англии признается сэр Роберт Брент, пожалованный в виконты Генрихом Пятым. Все титулы лордов указывают на право владения какими-нибудь землями, за исключением лорда Риверса, у которого фамилия вместе с тем и титул. Ведь это замечательно, что они имеют право облагать налогом других, взимая, как, например, нынче, по четыре шиллинга с фунта

стерлингов ежегодного дохода, каковая привилегия продлена еще на год! Какое великолепное изобретение — пошлина на очищенный спирт, акциз на вино и на пиво, сборы за взвешивание и обмер товаров, налоги на сидр, на грушевую наливку, на солод, на перегонку ячменя, на каменный уголь и согни тому подобных налогов! Преклонимся перед существующим порядком! Даже духовенство находится в зависимости от лордов. Мэнский епископ — подданный графа Дерби. Лорды имеют собственных зверей, которых они помещают в свои гербы. Так как Господь Бог сотворил недостаточное количество зверей, то лорды изобретают новые разновидности. Они создали геральдического кабана, который настолько же выше обыкновенного, насколько тот выше свиньи или насколько знатный вельможа выше священника. Они создали грифона, этого орла среди львов и льва среди орлов, пугающего львов своими крыльями, а орлов — своей гривой. У них есть геральдический змей, единорог, саламандра, тараск, дрея, дракон, гиппогриф. Все это наводит на нас ужас, а им служит украшением. У них есть зверинец, называемый гербовником, в котором рычат невиданные чудовища. Ни в одном лесу не найдешь таких диковин, как те,

что порождены их спесью. Их тщеславие полно всяких призраков, которые словно прогуливаются среди величественного мрака, вооруженные, в шлемах и панцирях, бряцают шпорами и, держа в руке имперский жезл, грозным голосом говорят: «Мы — предки!» Жуки подтачивают корни растений, а гербы — народное благосостояние. Так и надо! Стоит ли из-за этого изменять законы? Дворянство — неотъемлемая часть существующего порядка. Знаешь ли ты, что в Шотландии есть герцог, который может проскакать тридцать лье по прямой, не выходя за пределы своих владений? Знаешь ли ты, что у лорда-архиепископа Кентерберийского миллион франков ежегодного дохода? Знаешь ли ты, что его величество получает ежегодно по цивильному листу семьсот тысяч фунтов стерлингов, не считая доходов с замков, лесов, наследственных имений, ленных владений, аренд, поместий, свободных от всяких повинностей, пребенд, десятин, оброков, конфискаций и штрафов, превышающих миллион фунтов стерлингов? Те, кто недоволен этим, попросту привередничают.

— Да, — задумчиво прошептал Гуинплен, — рай богатых создан из ада бедных.

12. Урсус-поэт увлекает Урсуса-философа

Вошла Дея. Он взглянул на нее и больше уже ничего не видел. Такова любовь. Вихрь мыслей может на мгновение завладеть нами, но входит любимая женщина, и сразу исчезает все, что не имеет к ней непосредственного отношения, бесследно исчезает, и она даже не подозревает, что, быть может, уничтожила в нашей душе целый мир.

Упомянем здесь об одном незначительном обстоятельстве. В «Побежденном хаосе» Дее не нравилось слово «monstro» (чудовище), с которым она должна была обращаться к Гуинплену. Иногда, пользуясь тем небольшим знанием испанского языка, которым в то время обладали все, она самовольно заменяла это слово другим, а именно «quiero», что означает «желанный». Урсус относился к таким изменениям текста с некоторым неудовольствием. Он свободно мог бы заявить Дее, как в наши дни Моэссар сказал Виссо:

— Ты с недостаточным уважением подходишь

к репертуару.

«Человек, который смеется» — такова была кличка, под которой Гуинплен приобрел известность. Под этим прозвищем исчезло его настоящее имя, почти никому неизвестное, так же, как исчезло под маской смеха его настоящее лицо. Его популярность тоже была маской.

Между тем его имя красовалось на широкой вывеске, водруженной на передней стенке «Зеленого ящика». Надпись, сочиненная Урсусом, гласила:

«Здесь можно видеть Гуинплена, брошенного в десятилетнем возрасте, в ночь на 29 января 1690 года, злодеями компрачикосами на берегу моря в Портленде, ставшего взрослым и теперь носящего имя: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».

Существование этих фигляров походило на существование прокаженных в лепрозории или на блаженную жизнь обитателей некоей Атлантиды. Ежедневно совершался привычный для них переход от самых шумных выступлений перед ярмарочной толпой к полной отрешенности от внешнего мира. Каждый вечер они покидали этот мир, исчезали, словно мертвецы в могильной сени, и на следующий день снова оживали. Актер

— это вертящийся фонарь маяка, огонь которого то вспыхивает, то пропадает; для публики од только призрак, только проблеск в этой жизни, где свет постоянно сменяется тьмою.

За выступлением на площади следовало добровольное заточение. Как только кончалось представление и поредевшая толпа зрителей растекалась по смежным улицам, громко выражая свое одобрение, «Зеленый ящик» поднимал откидную стенку, точно крепость подъемный мост, и общение со всем остальным человечеством прерывалось. По одну сторону находилась Вселенная, по другую — передвижной барак, и в этом бараке ярким созвездием сияли свобода, чистая совесть, мужество, самоотверженность, невинность, счастье, любовь.

Ясновидящая слепая и любимый ею урод садились рядом, рука сжимала руку, чело прикасалось к челу, и так, пьянея от близости, они перешептывались друг с другом.

Средняя часть «Зеленого ящика» имела двойное назначение: для публики она была сценой, для актеров — столовой.

Урсус, всегда охотно прибегавший к сравнению, пользовался этим как поводом к уподоблению средней части фургона «аррадашу» абиссинской

хижины.

Урсус подсчитывал выручку, потом садились за ужин. Любовь во всем находит нечто идеальное; когда влюбленные вместе едят и пьют, это создает для них возможность украдкой обмениваться восхитительными прикосновениями, превращающими любой глоток в поцелуй. Они пьют эль или вино из одного стакана, как пили бы росу из чашечки одной лилии. Их души напоминают пару грациозных птичек. Гуинплен прислуживал Дее, нарезал ей ломтиками хлеб или мясо, наливал ей чаю, близко наклонялся к ней.

— Гм! — мычал Урсус, но его брюзжание, помимо его воли, переходило в улыбку.

Волк ужинал под столом, не обращая внимания ни на что, кроме своей кости.

Винос и Фиби разделяли общую трапезу, но никого не стесняли своим присутствием. Эти полудикарки, все еще чуждавшиеся людей, говорили между собой по-цыгански.

После ужина Дея вместе с Фиби и Винос удалялась на «женскую половину», Урсус шел привязывать Гомо на цепь под «Зеленым ящиком», а Гуинплен направлялся к лошадям, превращаясь из влюбленного в конюха, подобно гомеровскому герою или паладину Карла Великого. В полночь

все уже спало, кроме волка, который, полный сознания своей ответственности, время от времени приоткрывал один глаз.

На следующее утро все сходились опять. Завтракали вместе — обычно хлебом с ветчиной, запивая его чаем, который в Англии вошел в употребление с 1678 года. Затем Дея, следуя испанскому обычаю и совету Урсуса, находившего, что она слаба здоровьем, спала несколько часов, между тем как Гуинплен и Урсус занимались внутри фургона и на дворе всеми теми мелкими работами, которых требует кочевая жизнь.

Лишь в редких случаях покидал Гуинплен «Зеленый ящик», чтобы побродить немного, да и то по пустынным дорогам и безлюдным местам. В городах он выходил лишь ночью, надвинув на глаза широкополую шляпу, чтобы его лицо не примелькалось на улице.

С открытым лицом его можно было видеть только на сцене.

Впрочем, «Зеленый ящик» не слишком часто заглядывал в города; Гуинплен в свои двадцать четыре года еще не видел городов больше Пяти Портов. Между тем слава Гуинплена росла. Она уже вышла за пределы простонародья и начинала подниматься выше. Громкая молва о человеке

с необычайным лицом, кочующем с места на место и появляющемся неожиданно то здесь, «то там, передавалась из уст в уста любителями ярмарочных чудес и охотниками до диковинок. О нем говорили, его искали, спрашивали друг друга: «Где он? Как бы его посмотреть?» «Человек, который смеется» положительно становился знаменитым. Отблеск его славы падал до некоторой степени и на «Побежденный хаос».

И вот однажды Урсус, исполненный честолюбивых замыслов, объявил:

— Надо ехать в Лондон.

Часть третья
Возникновение трещины
1. Тедкастерская гостиница

В Лондоне в ту пору был всего один мост — Лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с Саутворком — предместьем, узкие улички и переулки которого, вымощенные галькой из Темзы, казались настоящими теснинами; подобно самому городу, Саутворк представлял собой беспорядочное нагромождение всякого рода построек, жилых домов и деревянных лачуг, бывших вполне подходящей

пищей для пожаров: 1666 год доказал это.

Слово Саутворк произносили в то время как Соудрик, а в наши дни произносят приблизительно Соузуорк. Впрочем, наилучший способ произношения английских имен — это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговаривайте так: Стпнтн.

Это — было время, когда Четэм произносили как Je t'aime[205].

Тогдашний Саутворк так же был похож на нынешний Саутворк, как Вожирар на Марсель. Теперь это город; тогда это был поселок, бывший, однако, весьма оживленным портом. В длинную, старую, напоминавшую циклопические сооружения стену над Темзой были вделаны кольца, к которым пришвартовывались речные суда. Стена эта называлась Эфрокской стеной, или Эфрокстоун. Когда Йорк был еще саксонским, он назывался Эфрок. Согласно преданию, у подножия этой стены утопился какой-то эфрокский герцог. В самом деле, место здесь достаточно глубокое для любого герцога. Даже во время отлива глубина тут была не менее шести брассов. Эта отличная якорная стоянка привлекала к себе морские суда, и ста-

---

[205] Сноски: 205
Люблю тебя (*фр.*).

ринная пузатая голландская шхуна «Вограат» становилась обычно на причал к Эфрок-стоуну. «Вограат» еженедельно совершала прямой рейс из Лондона в Роттердам и из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорт, в Гринич или в Гревсенд, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Гревсенда занимал шесть часов, хотя расстояние и не превышало двадцати миль.

Шхуна «Вограат» принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь только в морских музеях. Ее чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал джонку. В ту пору Франция подражала Греции, а Голландия — Китаю. «Вограат», тяжелая двухмачтовая шхуна с водонепроницаемыми перпендикулярными переборками в трюме, имела посредине глубокую каюту, а на носу и на корме палуба была без бортов, как на теперешних железных судах, снабженных башенками. Отсутствие борта имело то преимущество, что во время бури ослаблялся напор волн, однако вместе с тем экипаж подвергался опасности: не встречая на своем пути никакой преграды, волны смывали людей прямо в море. Случаи их гибели бывали столь частыми, что от такого типа судна пришлось отказаться.

Обычно «Вограат» шла прямо в Голландию, даже не останавливаясь в Гревсенде.

Вдоль подножия Эфрок-стоуна тянулся старинный каменный карниз — частью утес, частью искусственно сооруженный выступ, и это облегчало судам возможность пришвартовываться к стене при любом уровне воды. Стена эта, пересеченная в нескольких местах лестницами, представляла границу южной оконечности Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облокачиваться на гребень Эфрок-стоуна, как на парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. По другую сторону реки кончался Лондон; дальше тянулись поля.

Возле Эфрок-стоуна, у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джемского дворца и позади Ламбет-Хауза, неподалеку от места гулянья, носившего тогда название Фокс-Холл, между горшечной мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготовляли цветные бутылки, находился один из тех больших, поросших сорными травами пустырей, которые во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии — bowling-greens. Слово bowling-green, означающее «зеленая лужайка для катания шара», мы переделали в

boulingrin. В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе: зеленое сукно заменяет дерн, и все это называется бильярдом.

Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово бульвар (boulevard — boule-vert), совершенно соответствующее по смыслу слову bowling-green, мы придумали еще boulingrin. Удивительно, что такая солидная особа, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь.

Саутворкская «зеленая лужайка» называлась Таринзофилд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также титул баронов Таринзо-Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофилд перешел к баронам Тедкастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому как позднее один из герцогов Орлеанских сделал своей доходной статьей Пале-Рояль. С течением времени Таринзофилд как выморочное имущество стал приходской собственностью.

Таринзофилд представлял собой нечто вроде постоянной ярмарочной площади, где выстраивались в ряд балаганы фокусников, эквилибристов, фигляров, музыкантов и где вечно толпились зеваки, «приходившие поглазеть на дьявола», как

говаривал архиепископ Шарп. «Глазеть на дьявола» — значило смотреть представление. На эту празднично разукрашенную площадь выходили фасадом несколько харчевен, из которых одни отбивали публику у театров, а другие поставляли им зрителей. Харчевни эти процветали. Это были обыкновенные кабачки, открытые только днем. Вечером хозяин запирал свой кабачок, клал ключ в карман и уходил. Только одно из этих заведений носило характер гостиницы и было единственным прочным жилым помещением на всей «зеленой лужайке», ибо остальные ярмарочные постройки могли быть разобраны в любую минуту: ничто не привязывало всех этих странствующих комедиантов к одному месту. Фигляры ведут кочевой образ жизни.

Это заведение, называвшееся Тедкастерской гостиницей, по имени бывших владельцев поля, напоминало скорее постоялый двор, чем таверну, и скорее гостиницу, чем харчевню; в его довольно широкий двор можно было попасть через большие ворота.

Ворота, выходившие на площадь, были как бы парадным подъездом Тедкастерской гостиницы; рядом с ними находилась боковая дверь, которой и пользовались обычно посетители. Люди всегда

и всюду предпочитают входить не с главного входа. Эта дверь служила единственным средством сообщения между площадью и харчевней. Она вела непосредственно в харчевню — просторное, но невзрачное, сплошь уставленное столами помещение с низким потолком и закоптелыми стенами. Прямо над ней, во втором этаже, было пробито окно, и на железной его решетке была прикреплена вывеска гостиницы. Ворота же, крепко запертые на засов, никогда не отпирались.

Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок.

В Тедкастерской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядюшкой Никлсом, слугу — Говикемом. Дядюшка Никлс — очевидно, Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Никлса, — был скупой вдовец, вечно трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки. Что касается четырнадцатилетнего мальчугана, прислуживавшего посетителям и откликавшегося на имя Говикем, то это был большеголовый подросток с всегда улыбающейся физиономией. Он носил передник и был подстрижен под гребенку в знак своего зависимого положения. Спал он в нижнем

этаже, в крохотной конурке, где прежде держали собаку. Окном этой конурки служило круглое отверстие, выходившее на «зеленую лужайку».

2. Красноречие под открытым небом

Однажды вечером, в холодную и ветреную погоду, когда, казалось, никому не могла прийти охота задерживаться на улице, какой-то человек, проходивший по Таринзофилду, остановился вдруг у стен Тедкастерской гостиницы. Был конец зимы 1704–1705 года. Человек этот, судя по одежде — матрос, был хорош собой и высок ростом — качества, которые требуются от придворных, но не возбраняются и простолюдинам. Для чего он остановился? Он остановился, чтобы послушать. Что же он слушал? Голос, который раздавался по ту сторону стены, очевидно со двора; голос этот был старческим, но звучал так громко, что его слышно было на улице. И в то же время во дворе, откуда раздавался этот голос, слышался гул толпы. Голос говорил:

— Вот и я, жители и жительницы Лондона. От всего сердца поздравляю вас с тем, что вы — англичане. Вы — великий народ. Скажу точнее: вы — великое простонародье. Вы деретесь

на кулачках еще лучше, чем на шпагах. У вас превосходный аппетит. Вы — нация, которая поедает другие народы. Великолепное занятие! Эта способность пожирать других ставит Англию на совершенно особое место. В своей политике и философии, в своем искусстве прибрать к рукам колонии и целые народности, в ремеслах и промышленности, в своем умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы, вы изумительны! И недалек уже день, когда земной шар будет разделен на две части; на одной будет надпись: «Владения людей», на другой — «Владения англичан». Утверждаю это к вящей вашей славе — я, не имеющий отношения ни к тем, ни к другим, ибо я не англичанин и не человек: я имею честь быть медведем. Кроме того, я еще и доктор — одно не мешает другому. Джентльмены, я поучаю. Чему, спросите вы? Двум разным вещам: тому, что я знаю, и тому, чего я не знаю. Я продаю снадобья и подаю мысли. Подходите же и слушайте. Вас призывает наука. Хорошенько навострите уши; если они малы, истины попадет в них не много; если они велики, в них войдет немало глупости. Итак, внимание. Я учу науке, которая называется Pseudodoxia epidemica. У меня есть товарищ, который учит

смеяться, я же учу мыслить. Мы живем с ним в одном ящике, ибо смех так же благороден, как благородно знание. Когда Демокрита спрашивали: «Как познаешь ты истину?», он ответствовал: «Я смеюсь». А если спросят меня: «Почему ты смеешься?», я отвечу на это: «Потому что познал истину». Впрочем, я вовсе не смеюсь. Я искореняю предрассудки. Я хочу прочистить ваши мозги. Они весьма засорены. Господь Бог охотно дозволяет, чтобы народ обманывался и был обманут. Отбросим ложную скромность; я совершенно открыто заявляю, что верую в Бога, даже тогда, когда он бывает неправ. Однако, когда я вижу мусор, — а предрассудки тот же мусор, — я выметаю его. Откуда я знаю то, что я знаю? Это уж мое дело. Каждый учится по-своему. Лактанций вопрошал бронзовую голову Вергилия, и она отвечала ему. Сильвестр Второй беседовал с птицами. Что ж, птицы говорили по-человечьи, — или, может быть, папа щебетал по-птичьи? Это не выяснено. Умерший ребенок раввина Елеазара разговаривал со святым Августином. Говоря между нами, я сильно сомневаюсь в истинности всех этих событий, кроме последнего. Допустим, что этот умерший ребенок действительно разговаривал; но под языком у него была золотая пластинка

с начертаниями различных созвездий. Значит, тут плутовство. Все это вполне поддается объяснению. Как видите, я беспристрастен. Я отделяю правду от лжи. А вот вам другие заблуждения, которым вы, бедные, невежественные люди, наверное, отдаете дань и от которых я хочу освободить вас. Диоскорид полагал, что бог сокрыт в белене, Хризипп находил его в черной смородине, Иосиф — в репе, Гомер — в чесноке. Все они ошибались. Не Бог заключен в этих растениях, а дьявол. Я это проверил. Неверно, что у змея, соблазнившего Еву, было человеческое лицо, как у Кадма. Гарсиа де Горто, Кадамосто и Жан Гюго, архиепископ Тревский, отрицают, будто достаточно подпилить дерево, чтобы поймать слона. Я склонен согласиться с ними. Граждане, ложные убеждения возникают благодаря стараниям Люцифера. Когда находишься под владычеством князя тьмы, что удивительного в том, что заблуждения так и сыплются дождем? Добрые люди, знайте же, Клавдий Пульхр умер вовсе не от того, что куры отказались выйти из курятника; это Люцифер, предвидя кончину Клавдия Пульхра, помешал курам клевать корм. Тем, что Вельзевул дал императору Веспасиану силу исцелять калек и возвращать зрение слепым, он совершил по-

ступок похвальный, но побуждения Вельзевула при этом были преступны. Джентльмены, не доверяйтесь шарлатанам, применяющим корень переступня и белой матицы и делающим глазные примочки из меда и крови петуха. Научитесь отличать ложь от правды. Неверно, будто Орион явился на свет вследствие того, что Юпитер удовлетворил свою естественную надобность; в действительности это светило произошло таким образом от Меркурия. Неправда, что у Адама был пуп. Когда святой Георгий убил дракона, рядом не было никакой дочери святого. У святого Иеронима в кабинете не было никаких каминных часов: во-первых, потому, что в его пещере не было никакого кабинета; во-вторых, потому, что там не было камина; в третьих, потому, что в то время еще не существовало часов. Проверяйте, проверяйте все. Милые мои слушатели, если вам скажут, будто в мозгу человека, нюхающего валерианову траву, заводится ящерица, будто бык, разлагаясь, превращается в пчелиный рой, а лошадь — в шершней, будто покойник весит больше, чем живой, будто изумруд растворяется в козлиной крови, будто гусеница, муха и паук, замеченные на одном дереве, предвещают голод, войну и чуму, будто падучую возможно излечить

с помощью червя, найденного в голове косули, — не верьте этому. Все это предрассудки. Но вот вам подлинные истины: тюленья шкура предохраняет от грома; жаба питается землей, и от этого в голове, у нее образуется камень; иерихонская роза цветет в сочельник; змеи не переносят тени ясеня; у слона нет суставов, и он вынужден спать стоя, опершись о дерево; если жаба высидит куриное яйцо, из него вылупится скорпион, который родит вам саламандру; если слепой доложит одну руку на левую сторону алтаря, а другою закроет себе глаза, он прозреет; девственность не исключает материнства. Добрые люди, впитывайте в себя эти очевидные истины. А там можете верить в Бога по-разному — либо как жаждущий верит в апельсин, либо как осел верит в кнут. Ну, а теперь я познакомлю вас с нашей труппой.

В это мгновение довольно сильный порыв ветра потряс оконные рамы и ставни гостиницы, стоявшей в стороне от других построек. Это было похоже на раскаты грома, донесшиеся с неба. Голос подождал минуту, затем продолжал:

— Перерыв. Что ж, не возражаю. Пусть говорит Аквилон. Джентльмены, я не сержусь. Ветер словоохотлив, как всякий отшельник. Там, наверху, ему не с кем поболтать. Вот он и отводит

душу. Итак, я продолжаю. Перед вами труппа артистов. Нас четверо. A lupo principium — начинаю со своего друга; это волк. Он не возражает, чтобы на него смотрели. Смотрите же на него. Он у нас ученый, серьезный и проницательный. Как видно, провидение собиралось сделать его сначала доктором наук, но для этого требовалась некоторая доля тупоумия, а он совсем не глуп. Прибавим, что он лишен предрассудков и отнюдь не аристократ. При случае он не прочь завести знакомство и с собакой, хотя имеет все права на то, чтобы его избранница была волчицей. Потомки его, если только они существуют, вероятно премило урчат, подражая тявканью матери и вою отца. Ибо волк воет. С людьми жить — по-волчьи выть. Но он также и лает — из снисхождения к цивилизации. Такая мягкость манер — проявление великодушия. Гомо — усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака — экое странное животное! — потеет языком и улыбается хвостом. Джентльмены, Гомо не уступит по уму бесшерстному мексиканскому волку, знаменитому холойтцениски, но превосходит его добросердечием. К тому же он смирен. Он скромен, как только может быть скромен волк, сознающий пользу, которую он приносит людям.

Он сострадателен, всегда готов прийти на помощь, но делает это втихомолку. Его левая лапа не ведает, что творит правая. Таковы его достоинства. О втором своем приятеле скажу только одно: это чудовище. Вы только подивитесь на него. Некогда он был покинут пиратами на берегу океана. А вот это — слепая. Разве на свете мало слепых? Нет. Все мы слепы, каждый по-своему. Слеп скупец: он видит золото, но не видит богатства. Слеп расточитель: он видит начало, но не видит конца. Слепа кокетка: она не видит своих морщин. Слеп ученый; он не видит своего невежества. Слеп и честный человек, ибо не видит плута, слеп и плут, ибо не видит Бога. А Бог тоже слеп — в день сотворения мира он не увидел, как в его творение затесался дьявол. Да ведь и я слеп: говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая, наша спутница, это жрица таинственного культа. Веста могла бы доверить ей свой светильник. В ее характере есть нечто загадочное и вместе с тем нежное, как овечье руно. Думаю, что она королевская дочь, то не утверждаю этого. Мудрому свойственна похвальная недоверчивость. Что касается меня самого, то я учу и лечу.

Я мыслю и врачую. Chirurgus sum[206]. Я исцеляю от лихорадки, от чумы и прочих болезней. Почти все виды воспалений и недугов не что иное, как заволоки, выводящие болезнь наружу, и если правильно лечить их, можно избавиться еще и от других болезней. И все же не советую вам обзаводиться многоголовым вередом, иными словами карбункулом. Это дурацкая болезнь, от которой нет никакого проку. От него умирают, только и всего. Не подумайте, что с вами говорит невежда и грубиян. Я высоко чту красноречие и поэзию и нахожусь с этими башнями в очень близких, хотя и невинных отношениях. Заканчиваю свою речь советом: милостивые государи и милостивые государыни, выращивайте в душе своей, в самом светлом ее уголке, такие прекрасные цветы, как добродетель, скромность, честность, справедливость и любовь. Тогда каждый из нас сможет здесь, в этом мире, украсить свое окошко небольшим горшочком с цветами. Милорды и господа, я кончил. Сейчас начнем представление.

Человек в одежде матроса, прослушавший всю эту речь на улице, вошел в низкий зал харчевни, пробрался между столами, заплатил, сколько с

---

[206] Сноски: 206
Я лекарь (*лат.*).

него потребовали, за вход и сразу же очутился во дворе, переполненном народом; в глубине двора он увидел балаган на колесах с откинутой стенкой: на подмостках стояли какой-то старик, одетый в медвежью шкуру, молодой человек с лицом, похожим на уродливую маску, слепая девушка и волк.

— Черт побери — воскликнул матрос, — вот замечательные актеры!

3. Прохожий появляется снова

«Зеленый ящик», который читатели, конечно, узнали, недавно прибыл в Лондон. Он остановился в Саутворке, Урсуса привлекала «зеленая лужайка», имевшая то неоценимое достоинство, что ярмарка на ней не закрывалась даже зимой.

Урсусу было приятно увидеть купол собора Святого Павла. В конце концов, Лондон — это город, в котором немало хорошего. Ведь для того, чтобы посвятить собор святому Павлу, требовалось известное мужество. Настоящий соборный святой — это святой Петр. Святой Павел несколько подозрителен своим излишним воображением, а в вопросах церковных воображение ведет к ереси. Святой Павел признан святым только благодаря

смягчающим его вину обстоятельствам. На небо он попал с черного хода.

Собор — это вывеска. Собор Святого Петра — вывеска Рима, города догмы, так же как собор Святого Павла — вывеска Лондона, города ереси.

Урсус, чье мировоззрение было настолько широко, что охватывало все на свете, был вполне способен оценить все эти оттенки, я его влечение к Лондону объяснялось, быть может, той особой симпатией, которую он питал к святому Павлу.

Урсус остановил свой выбор на Тедкастерской гостинице, обширный двор которой был как будто нарочно предназначен для «Зеленого ящика» и представлял собой уже совершенно готовый зрительный зал. Квадратный двор был отгорожен с трех сторон жилыми строениями, а с четвертой — глухой стеной, возведенной против гостиницы; к этой-то стене и придвинули вплотную «Зеленый ящик», который вкатили во двор через широкие ворота. Длинная деревянная галерея с навесом, построенная на столбах, находилась в распоряжении жильцов второго этажа; она тянулась вдоль трек стен внутреннего фасада, образуя два поворота под прямым углом. Окна первого этажа были ложами бенуара, мощеный двор — партером, галерея — бельэтажем. «Зеле-

ный ящик», прислоненный к стене, был обращен лицом к зрительному залу. Это весьма напоминало «Глобус», где были сыграны впервые «Отелло», «Король Лир» и «Буря».

В закоулке, за «Зеленым ящиком», помещалась конюшня.

Урсус договорился обо всем с хозяином харчевни дядюшкой Никлсом, который, из уважения к закону, согласился впустить волка только за большую плату. Вывеску «Гуинплен — Человек, который смеется», снятую с «Зеленого ящика», повесили рядом с вывеской гостиницы. В зале кабачка, как уже известно читателю, была внутренняя дверь, выходившая прямо во двор. Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая должна была изображать будку для «кассирши», обязанности которой поочередно выполняли Фиби и Винос. Все обстояло приблизительно так же, как в наши дни. С каждого зрителя брали плату. Под вывеской «Человек, который смеется» прибили двумя гвоздями доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса — «Побежденный хаос».

В центре галереи, как раз напротив «Зеленого ящика», было устроено с помощью деревянных

перегородок отделение для «благородной публики». В него входили через стеклянную дверь.

Здесь могли поместиться, усевшись в два ряда, десять человек.

— Мы в Лондоне, — сказал Урсус. — Надо быть готовым к тому, что явится и благородная публика.

По его требованию, в эту «ложу» поставили лучшие стулья, какие только нашлись в гостинице, а в середине — большое кресло, обитое утрехтским бархатом, золотистым, с вишневыми разводами, — на случай, если бы спектакль посетила жена какого-нибудь сановника.

Представления начались.

Сразу же хлынул народ.

Но отделение для знати пустовало.

Если не считать этого, успех был такой, что никто из комедиантов не мог припомнить ничего подобного. Весь Саутворк толпами сбегался поглазеть на «Человека, который смеется».

Среди скоморохов и фигляров Таринзофилда Гуинплен произвел настоящий переполох. Как будто ястреб влетел в клетку с щеглами и пожрал весь их корм. Гуинплен отбил у них всю публику.

Кроме убогих представлений, даваемых шпа-

гоглотателями и клоунами, на ярмарочной площади бывали и настоящие спектакли. Тут был цирк с наездницами, с канатными плясуньями, откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов: барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопелок, валторн, бубнов, волынок, немецких дудок, английских рожков, свирелей, свистулек, флейт и флажолетов.

В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные пиренейские скороходы — Дульма, Борденав и Майлонга, хотя они и спускаются с остроконечной вершины Пьерфит на Лимасонское плато, что почти равносильно падению. Был там и бродячий зверинец с тигром-комиком, который, когда его хлестал укротитель, норовил вырвать у него бич и проглотить конец плети. Но Гуинплен затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями.

Любопытство, рукоплескания, сборы, толпу — все перехватил «Человек, который смеется». Это произошло в мгновение ока. Кроме «Зеленого ящика», не признавали больше ничего.

— «Побежденный хаос» оказался хаосом-победителем, — говорил Урсус, приписывая себе

половину успеха Гуинплена, или, как принято выражаться на актерском жаргоне, «оттягивая скатерть к себе».

Гуинплен имел необычайный успех. Однако это был только местный успех. Славе трудно преодолеть водную преграду. Понадобилось сто тридцать лет для того, чтобы имя Шекспира дошло из Англии во Францию: вода — стена, и если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру, Шекспир и в наше время, быть может, еще находился бы по ту сторону стены, в Англии, в плещу у своей островной славы.

Слава Гуинплена не перешла через Лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать эхо в большом городе. Во всяком случае на первых порах. Но и Саутворка достаточно для честолюбия клоуна. Урсус говорил:

— Мешок с выручкой, словно согрешившая девушка, толстеет прямо у вас на глазах.

Играли «Ursus rursus», затем «Побежденный хаос».

В антрактах Урсус показывал свои способности «энгастримита», давая сеансы чревовещания: он подражал голосу любого из присутствующих, пению, крику, поражая сходством самого певше-

го или кричавшего, а иногда воспроизводил гул целой толпы, и при этом гудел так громко, как будто в нем одном вмещалось множество людей. Замечательный талант!

Кроме того, он, как мы видели, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал снадобьями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных.

Саутворк был покорен.

Горячий прием, оказанный в Саутворке «Зеленому ящику», доставлял Урсусу удовольствие, но не удивлял его.

— Это древние тринобанты, — говорил он.

И прибавлял:

— Что касается изысканности их вкуса, я не сравню их ни с атробатами, населяющими Беркс, ни с белгами, обитателями Сомерсета, ни с паризиями, основавшими Йорк.

На время каждого представления двор гостиницы, превращенный в партер, заполнялся бедно одетой, но восторженной публикой. Это были лодочники, носильщики, корабельные плотники, рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие свое жалованье на пирушки и женщин. Были тут и кучера, и завсегдатаи кабаков, и солдаты, осужденные за

какое-нибудь нарушение дисциплины носить красные мундиры черной подкладкой наружу и прозванные поэтому «черными гвардейцами». Весь этот народ стекался с улицы в театр, а из театра устремлялся в кабачок. И выпитые кружки отнюдь не вредили успеху спектакля.

Среди всех этих людей, которых принято называть «подонками», особенно выделялся один: он был выше других, крупнее, сильнее и шире в плечах; он казался менее бедным, чем остальные; его одежда, обычная одежда простолюдина, была, однако, опрятной и не рваной. Не зная меры в выражении своего восторга, он пролагал себе дорогу кулаками, ерошил свои вихры, ругался, кричал, зубоскалил и мог при случае подбить кому-нибудь глаз, но тотчас же поставить потерпевшему бутылку вина.

Этот завсегдатай был тот самый прохожий, у которого, как мы помним, вырвалось на улице восторженное восклицание.

Этот знаток искусства сразу же пленился «Человеком, который смеется». Ходил он не на все представления, но когда приходил, то становился «вожаком» публики; рукоплескания превращались в овации; бурные волны успеха взмывали если не до потолка (его и не было), то до обла-

ков, которых было достаточно (из этих облаков иногда шел дождь, безжалостно поливавший гениальное произведение Урсуса, не защищенное крышей).

В конце концов Урсус заметил этого человека, и Гуинплен тоже обратил на него внимание.

В его лице они, по-видимому, нашли надежного друга.

Урсусу и Гуинплену захотелось познакомиться с ним или, по крайней мере, узнать, кто он такой.

Как-то вечером, столкнувшись случайно с хозяином гостиницы Никлсом, Урсус показал ему из-за кухонной двери, служившей кулисой, на незнакомца и спросил:

— Знаете вы этого человека?

— Еще бы.

— Кто он?

— Матрос.

— Как его зовут? — вмешался Гуинплен.

— Том-Джим-Джек, — ответил хозяин гостиницы.

И, спускаясь по откидной лесенке «Зеленого ящика», чтобы возвратиться в свое заведение, дядюшка Никлс обронил чрезвычайно глубокомысленное замечание:

— Какая жалость, что он не лорд. Славная из него вышла бы каналья!

Хотя труппа «Зеленого ящика» и остановилась во дворе гостиницы, она ни в чем не изменила своего обычного уклада жизни и по-прежнему держалась обособленно. Если не считать нескольких слов, которыми ее участники изредка перебрасывались с хозяином, они не вступали ни в какие сношения с обитателями гостиницы, как постоянными, так и временными, и продолжали общаться только друг с другом.

С тех пор как они прибыли в Саутворк, Гуинплен завел привычку по окончании спектакля, уже после того, как все, — и люди, и лошади, — поужинают, а Урсус и Дея улягутся спать, каждый в своем отделении, выходить между одиннадцатью и двенадцатью часами на «зеленую лужайку» подышать немного свежим воздухом. Мечтательное настроение предрасполагает к ночным прогулкам под звездами; юность — вся таинственное ожидание; потому-то молодежь так охотно и бродит ночью без всякой цели. В этот поздний час на ярмарочной площади уже не было никого, кроме нескольких пьяниц, чьи колеблющиеся силуэты вырисовывались в темноте; закрывались пустые таверны, гасли огни

в низком зале Тедкастерской гостиницы; только где-нибудь в углу догорала последняя свеча, освещая последнего посетителя; сквозь неплотно закрытые ставни пробивался тусклый свет, и Гуинплен, задумчивый, довольный, погруженный в мечты, ощущая в душе прилив невыразимого счастья, расхаживал взад и вперед близ приоткрытой двери. О чем думал он? О Дее, обо всем и ни о чем; он думал о самом сокровенном. Он никогда не отходил слишком далеко от гостиницы, словно какая-то нить удерживала его подле Деи. Для него было вполне достаточно пройтись около дома.

Затем он возвращался, заставал всех обитателей «Зеленого ящика» уже спящими и сам засыпал.

4. Ненависть роднит самых несходных людей

Чужого успеха не выносят, в особенности те, кому он вредит. Пожираемые редко любят пожирателей. «Человек, который смеется» стал положительно событием. Окрестные фигляры негодовали. Театральный успех — это смерч, который, засасывая толпу, оставляет вокруг пустое

пространство. В балагане, стоящем напротив, начался переполох. Повышение сборов в балагане «Зеленый ящик» сразу же вызвало снижение выручки в соседних заведениях. Балаганы, которые до этого времени охотно посещались, внезапно перестали привлекать к себе зрителей. Это было как бы понижением уровня жидкости в одном из двух сообщающихся сосудов, о котором можно было судить по повышению уровня в другом. Все театры знают эти приливы и отливы: половодье в одном вызывает мелководье в другом. Ярмарочный муравейник, выставлявший напоказ на соседних подмостках свои таланты и фанфарами зазывавший к себе публику, оказался совершенно разоренным «Человеком, который смеется»; но, впав в отчаяние, он вместе с тем был ослеплен Гуинпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. Ну и счастливчик же этот обладатель звериной морды! Матери-комедиантки и канатные плясуньи с досадой смотрели на своих хорошеньких ребятишек и говорили, указывая на Гуинплена:

— Какая жалость, что у тебя не такое лицо!

Некоторые из них шлепали своих малышей, злясь, что они так красивы. Немало матерей, знай они только секрет, охотно изуродовали бы лицо

своих сыновей наподобие Гуинплена. Ангельское личико, не приносящее никакого дохода, ничего не стоит по сравнению с дьявольской рожей, обогащающей ее обладателя.

Как-то мать одного малютки, игравшего на сцене купидонов и прелестного словно херувим, воскликнула:

— Что за неудачные вышли у нас дети! Вот Гуинплен уродился на славу.

И, погрозив кулаком своему ребенку, прибавила:

— Знала бы я, кто твой отец, уж устроила бы я ему скандал!

Гуинплен был курицей, несущей золотые яйца. «Какое удивительное чудо!» — только и слышно было во всех балаганах. Скоморохи, скрежеща зубами, глазели на Гуинплена с восхищением и отчаянием. Когда восторгается злоба — это называется завистью. В таких случаях ее голос становится воем. Соседи «Зеленого ящика» сделали попытку сорвать успех «Побежденного хаоса»; сговорившись между собой, они начали свистеть, хрюкать, выть. Это послужило для Урсуса поводом обратиться к толпе с обличительными речами в духе Гортензия и дало возможность Том-Джим-Джеку прибегнуть к тумакам, достаточно

внушительным, чтобы восстановить порядок. Кулачная расправа, учиненная Том-Джим-Джеком, окончательно привлекла к нему внимание Гуинплена и вызвала уважение Урсуса. Впрочем, только издали, так как труппа «Зеленого ящика» ни с кем не искала знакомства и держалась особняком. Что же касается Том-Джим-Джека, то он казался головой выше предводительствуемого им сброда и ни с кем, по-видимому, не был дружен и близок: буян и зачинщик всяких скандалов, он то появлялся, то исчезал, всему свету приятель и никому не товарищ.

Однако неистовые завистники Гуинплена не сочли себя побежденными после нескольких затрещин, которые закатил им Том-Джим-Джек. Когда попытка освистать пьесу провалилась, таринзофилдские комедианты подали жалобу. Они обратились к властям. Это — обычный прием. Если чей-нибудь успех становится нам поперек дороги, мы сперва натравливаем на этого человека толпу, а затем прибегаем к содействию полиции.

К фиглярам присоединились священники: «Человек, который смеется» нанес ущерб проповедникам. Опустели не только балаганы, но и церкви. Часовни пяти саутворкских прихо-

дов лишились своих прихожан. Люди удирали с проповеди, чтобы посмотреть на Гуинплена. «Побежденный хаос», «Зеленый ящик», «Человек, который смеется» — все эти языческие мерзости брали верх над церковным красноречием. Глас вопиющего в пустыне, vox damantis jn deserto, в таких случаях не бывает доволен и охотно призывает на помощь власти предержащие. Настоятели пяти приходов обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тот в свою очередь — к Ее Величеству.

Комедианты исходили в своей жалобе из соображений религиозного свойства. Они заявляли, что религии нанесено оскорбление. Они обвиняли Гуинплена в чародействе, а Урсуса — в безбожии.

Священники, напротив, выдвигали доводы общественного порядка. Оставляя в стороне вопросы церковные, они ссылались на нарушение парламентских актов. Это было более хитро. Ибо дело происходило во времена Локка, скончавшегося всего за шесть месяцев до этого, 28 октября 1704 года, и скептицизм, которым Болингброк вскоре заразил Вольтера, уже начинал оказывать свое влияние на умы. Впоследствии Уэсли пришлось снова обратиться к Библии, подобно тому

как в свое время Лойола восстановил папизм.

Таким образом, на «Зеленый ящик» повели атаку с двух сторон: фигляры — во имя пятикнижия, и духовенство — во имя полицейских правил. С одной стороны — небо, с другой — дорожный устав, причем священники вступались за уличное движение, а скоморохи — за небо. Преподобные отцы утверждали, что «Зеленый ящик» препятствует свободному движению по дорогам, а фигляры усматривали в нем кощунство.

Был ли к этому какой-либо повод? Давал ли «Зеленый ящик» основание для обвинений? Да, давал. В чем же заключалось его преступление? А вот в чем: в труппе находился волк. Волку же в Англия жить не разрешается. Догу — можно, а волку — нельзя. Англия не возражает против собаки, которая лает, но не признает той, которая воет: такова грань между скотным двором и лесом. Настоятели и викарии пяти саутворкских приходов ссылались в своих жалобах на многочисленные королевские и парламентские статуты, объявлявшие волка вне закона. В заключение они требовали, чтобы Гуинплена заточили в тюрьму, а волка посадили в клетку или, на худой конец, изгнали обоих из прадедов Англии. По их словам, это вызывалось интересами обще-

ственного порядка, необходимостью оградить прохожих от опасности и т. п. Кроме того, они ссылались на авторитет науки. Они цитировали определение коллегии восьмидесяти лондонских медиков, ученого учреждения, существующего со времен Генриха VIII, имеющего, подобно государству, свою печать, возводящего больных в ранг подсудимых, пользующегося правом подвергать тюремному заключению всякого, кто преступит его постановления и нарушит его предписания; среди прочих направленных к охране здоровья граждан полезных открытий эта коллегия установила следующий чрезвычайно важный научный факт: «Если волк первым увидит человека, то человек охрипнет на всю жизнь. Кроме того, волк может укусить его».

Таким образом, Гомо оказался предлогом для преследования.

Благодаря хозяину гостиницы Урсус был осведомлен обо всех этих происках. Он встревожился, ибо боялся и когтей полиции и когтей правосудия. Чтобы бояться судейских чиновников, достаточно одного только страха: вовсе нет необходимости быть в чем-нибудь виновным. — Урсус совершенно не желал входить в соприкосновение с шерифами, прево, судьями или коронерами.

Он отнюдь не стремился лицезреть их близко. Он так же жаждал познакомиться с представителями судебного ведомства, как заяц с борзыми.

Он уже начинал сожалеть, что приехал в Лондон.

— От добра добра не ищут, — бормотал он про себя. — Я считал эту пословицу не стоящей внимания, и ошибался. Дурацкие истины оказываются самой настоящей правдой.

Против стольких объединившихся сил, против скоморохов, вступившихся за религию, и против духовных пастырей, возмутившихся во имя медицины, бедный «Зеленый ящик», заподозренный в чародействе в лице Гуинплена и в водобоязни в лице Гомо, имел только один козырь — бездеятельность местных властей, являющуюся в Англии большой силой. Из этой-то бездеятельности и родилась английская свобода. В Англии свобода ведет себя так же, как ведет себя в Англии море. Она подобна морскому приливу. Обычай вздымается мало-помалу все выше и выше, поглощая в своей пучине страшное законодательство. Однако свирепый кодекс еще и поныне проступает сквозь прозрачную гладь свободы, — такова Англия.

«Человек, который смеется», «Побежденный

хаос» и Гомо могли восстановить против себя фигляров, проповедников, епископов, палату общин, палату лордов, Ее Величество, Лондон, всю Англию — и оставаться тем не менее спокойными, пока за них стоял Саутворк. «Зеленый ящик» был излюбленным развлечением пригорода, а местные власти относились к нему, по-видимому, равнодушно. В Англии безразличие властей равносильно их покровительству. И пока шериф графства Серрей, в состав которого входит Саутворк, оставался в бездействии, Урсус мог дышать свободно, а Гомо — спать крепким сном.

Поскольку ненависть, внушаемая обитателями «Зеленого ящика», не достигала своей цели, она только способствовала их успеху. «Зеленому ящику» покуда жилось от этого ничуть не хуже. Даже напротив. В публику проникли слухи об интригах и подкопах, и «Человек, который смеется» стал еще популярнее. Толпа чутьем угадывает донос и принимает сторону жертвы. Быть предметом травли — значит вызывать сочувствие. Народ инстинктивно берет под защиту все, на что направлен угрожающий перст власти. Жертва доноса — запретный плод и от этого лишь кажется милее. Да и рукоплескания, неугодные высокому начальству, весьма при-

ятны. Провести весело вечер, выражая в то же время сочувствие притесняемому и возмущение притеснителями, — кому же это не понравится? Ты покровительствуешь угнетаемому и вместе с тем развлекаешься. Прибавим, что владельцы балаганов продолжали, по взаимному уговору, свистать и шикать «Человеку, который смеется». Ничто не могло в большей мере содействовать его успеху. Когда враги поднимают шум, это только увеличивает и подчеркивает триумф. Друг скорее устанет хвалить, нежели враг поносить. Хула не причиняет вреда. Этого не понимают враги. Они не могут удержаться от оскорблений, и в этом их польза. Они неспособны молчать и тем самым постоянно подогревают интерес публики. Толпа валом валила посмотреть «Побежденный хаос».

Урсус хранил про себя все, что сообщал ему дядюшка Никлс об интригах и жалобах, поданных высокому начальству, и не затоваривал об этом с Гуинпленом, не желая лишать его спокойствия, необходимого актеру. Если нагрянет беда, об этом всегда успеешь узнать.

5. Жезлоносец

Впрочем, однажды Урсус счел необходимым отказаться от этой осторожности и во имя осторожности потревожить Гуинплена. Правда, он считал, что на этот раз речь идет о вопросе более важном, нежели происки ярмарочных фигляров и служителей церкви. Как-то раз, подобрав с полу фартинг, упавший при подсчете выручки, Гуинплен принялся внимательно рассматривать его; пораженный тем, что на этой монете, являвшейся как бы символом народной нищеты, изображена королева Анна, олицетворявшая паразитическое великолепие трона, он позволил себе в присутствии хозяина гостиницы весьма резкое суждение по этому поводу. Его слова, подхваченные Никлсом, передавались из уст в уста и в конце концов, через Фиби и Винос, дошли до Урсуса. Урсуса бросило в жар и в холод. Крамольные слова! Оскорбление Ее Величества! Он жестоко разбранил Гуинплена.

— Заткни ты свою омерзительную пасть. Закон сильных мира сего — бездельничать; закон маленьких людей — молчать. У бедняка только один друг — это молчание. Он должен произно-

сить лишь односложное «да». Все принимать, со всем соглашаться — вот его единственное право. Отвечать «да» судье. Отвечать «да» королю. Знатные люди могут, если им вздумается, избивать нас — меня самого били не раз — такова уж их привилегия, и они ничуть не умаляют своего величия, ломая нам кости. Костолом — это разновидность орла. Преклонимся же перед скипетром: он — первый среди палок. Почтение не что иное, как осторожность, безропотное подчинение — самозащита. Тот, кто оскорбляет короля, подвергает себя той же опасности, что и девушка, отважившаяся отрезать гриву у льва. Мне передавали, будто ты болтал какие-то глупости насчет фартинга, который по существу совершенно то же, что и лиар, и что ты отозвался неуважительно об этой монете с изображением высочайшей особы — монете, за которую нам на рынке дают осьмушку соленой селедки. Берегись. Будь серьезнее. Вспомни, что на свете есть наказания. Проникнись уважением к закону. Ты находишься в стране, где человека, срубившего трехлетнее дерево, преспокойно ведут на виселицу, где охотникам божиться попусту надевают на ноги колодки. Пьяницу помещают в бочку с выбитым дном с отверстием для головы и с

отверстиями по бокам для рук, так что ходить он может, но лечь не в состоянии. Ударивший кого-либо в зале Вестминстерского аббатства подлежит пожизненному заключению в тюрьме и конфискации имущества. У того же, кто сделает это в королевском дворце, отрубают правую руку. Щелкни кого-нибудь по носу так, чтобы у него пошла кровь, — и вот ты уже без руки. Уличенного в ереси сжигают на костре по приговору епископского суда. За пустячную провинность колесовали Кетберта Симпсона. Всего три года назад, в тысяча семьсот втором году, — как видишь, совсем недавно, — поставили к позорному столбу некоего злодея, Даниэля Дефо, за то, что он имел наглость напечатать имена членов палаты общин, которые накануне выступали с речами в парламенте. У человека, который предал Ее Величество, рассекают грудь, вырывают сердце и этим сердцем хлещут его по щекам. Вдолби себе в голову эти основные понятия права и справедливости. Никогда не позволять себе лишнего слова и при малейшей тревоге быть готовым к отлету — в этом вся моя отвага; советую и тебе поступать так же. Будь храбр, как птица, и болтлив, как рыба. Помни, Англия тем и хороша, что ее законодательство отличается поразительной

мягкостью.

После этого внушения Урсус еще долго не мог успокоиться, Гуинплен же нисколько не встревожился: молодость неопытна, а потому бесстрашна. Однако, по-видимому, Гуинплен имел все основания сохранять спокойствие, ибо несколько недель протекло без всяких волнений и его слова о королеве как будто не повлекли за собой никаких последствий. Урсус, как известно, не отличался беспечностью и, подобно косуле, все время был настороже.

Однажды, несколько дней спустя после заданной Гуинплену головомойки, Урсус выглянул в слуховое окно, выходившее на площадь, и побледнел.

— Гуинплен!

— Что?

— Погляди.

— Куда?

— На площадь.

— Ну и что же?

— Видишь этого прохожего?

— Человека в черном?

— Да.

— С дубинкой в руке?

— Да.

— Ну так что же?

— Так вот, Гуинплен, этот человек — wapentake.

— Что это такое — wapentake?

— Это жезлоносец, окружной пристав.

— А что значит окружной пристав?

— Это значит praepositus hundredi.

— Кто он такой, этот praepositus hundredi?

— Очень страшное должностное лицо, начальник сотни.

— А что у него в руке?

— Это — iron-weapon.

— Что такое iron-weapon?

— Железный жезл.

— А что он с ним делает?

— Прежде всего приносит на нем присягу. Потому-то его и зовут жезлоносец.

— А затем?

— А затем прикасается им к кому-либо.

— Чем?

— Железным жезлом.

— Жезлоносец прикасается железным жезлом?

— Да.

— Что это означает?

— Это означает: следуйте за мной.

— И нужно за ним идти?

— Да.

— Куда?

— Почем я знаю?

— Но сам-то он говорит, куда?

— Нет.

— А спросить у него можно?

— Нет.

— Как это так?

— Он ничего не говорит, и ему ничего не говорят.

— Но…

— Он дотрагивается до тебя железным жезлом, и этим все сказано. Ты должен идти за ним.

— Но куда?

— Куда он поведет.

— Но куда же?

— Куда ему вздумается, Гуинплен.

— А если отказаться?

— Повесят.

Урсус снова высунул голову в окошко, вздохнул всей грудью и сказал:

— Слава Богу, прошел мимо! Это не к нам.

Урсус, по-видимому, больше, чем следовало, страшился сплетен и доносов, которые могли последовать за неосторожными словами Гуинплена.

Дядюшке Никлсу, в чьем присутствии они были сказаны, не было никакой выгоды навлечь подозрение властей на бедных обитателей «Зеленого ящика». «Человек, который смеется» приносил немалый доход ему самому. «Побежденный хаос» оказался залогом двойного преуспеяния: в то время как в «Зеленом ящике» торжествовало искусство, в кабачке процветало пьянство.

6. Мышь на допросе у котов

Урсусу пришлось пережить еще одну тревогу, и достаточно страшную. На этот раз дело касалось непосредственно его. Он получил предложение явиться в Бишопсгейт, в комиссию, состоящую из трех пренеприятных лиц. Это были доктора, официальные блюстители порядка: один был доктор богословия, представитель вестминстерского декана; другой — доктор медицины, представитель Коллегии восьмидесяти, третий — доктор истории и гражданского права, представитель Грешемской коллегии. На этих трех экспертов in omni re scibili[207] был возложен надзор за всеми речами, произносимыми публично на

[207] Сноски: 207
Во всех предметах, доступных познанию (*лат.*).

всей территории ста тридцати приходов Лондона, семидесяти трех приходов Миддлсекского графства, а заодно уж и пяти саутворкских. Эти богословские судилища существуют в Англии еще и поныне и беспощадно расправляются с провинившимися. 23 декабря 1868 года решением Арчского суда, получившим утверждение тайного совета лордов, преподобный Маконочи был приговорен к порицанию и возмещению судебных издержек за то, что зажег свечи на простом столе. Литургия шутить не любит.

Итак, в один прекрасный день Урсус получил от трех ученых докторов письменный вызов в суд, который, к счастью, был вручен ему лично, так что он мог сохранить дело в тайне. Не говоря никому ни слова, он отправился по этому вызову, трепеща при мысли, что в его поведении что-то могло подать повод заподозрить его, Урсуса, в какой-то дерзости. Для него, столько раз советовавшего другим помалкивать, это было жестоким уроком. Garrule, sana te ipsum[208].

Три доктора — три официальных блюстителя законов — заседали в Бишопсгейте, в глубине зала первого этажа, в трех черных кожаных

---

[208] Сноски: 208
Болтун, исцелись сам (*лат.*).

креслах. Над их головами стояли бюсты Миноса, Эака и Радаманта, перед ними — стол, в ногах — скамейка.

Войдя в зал в сопровождении степенного и строгого пристава и увидав ученых мужей, Урсус сразу же мысленно окрестил каждого из них именем того страшного судьи подземного царства, чье изображение красовалось у него над головой.

Первый из трех, Минос, официальный представитель богословия, знаком велел ему сесть на скамейку.

Урсус поклонился учтиво, то есть до земли, и, зная, что медведя можно задобрить медом, а доктора — латынью, произнес, почти не разгибая спины — из уважения к присутствующим:

— Tres faciunt capitulum[209].

И с опущенной головой (смирение обезоруживает) сел на скамейку.

Перед каждым из трех докторов лежала на столе папка с бумагами, которые они перелистывали.

Допрос начал Минос:

— Вы выступаете публично?

---

[209] Сноски: 209
Трое составляют капитул (*лат.*).

— Да, — ответил Урсус.

— По какому праву?

— Я — философ.

— Это еще не дает вам права.

— Кроме того, я — скоморох, — сказал Урсус.

— Это другое дело.

Урсус вздохнул с облегчением, но еле слышно. Минос продолжал:

— Как скоморох вы можете говорить, но как философ вы должны молчать.

— Постараюсь, — сказал Урсус.

И подумал: «Я могу говорить, но должен молчать. Сложная задача».

Он был сильно напуган.

Представитель богословия продолжал:

— Вы высказываете неблагонамеренные суждения. Вы оскорбляете религию. Вы отрицаете самые очевидные истины. Вы распространяете возмутительные заблуждения. Например, вы говорили, что девственность исключает материнство.

Урсус кротко поднял глаза:

— Я не говорил этого. Я только сказал, что материнство исключает девственность.

Минос задумался и пробормотал:

— В самом деле, это нечто прямо противопо-

ложное.

Это было одно и то же. Но первый удар был отражен.

Размышляя над ответом Урсуса, Минос погрузился в бездну собственного тупоумия, вследствие чего наступило молчание.

Официальный представитель истории, тот, которого Урсус мысленно назвал Радамантом, постарался прикрыть поражение Миноса, обратившись к Урсусу со следующими словами:

— Обвиняемый, всех ваших дерзостей и заблуждений не перечислить. Вы отрицали тот факт, что Фарсальская битва была проиграна потому, что Брут и Кассий встретили по дороге негра.

— Я говорил, — пролепетал Урсус, — что это объясняется также тем, что Цезарь был более талантливым полководцем.

Представитель истории сразу перешел к мифологии:

— Вы оправдывали низости Актеона.

— Я полагаю, — осторожно возразил Урсус, — что увидеть обнаженную женщину не позор для мужчины.

— И вы заблуждаетесь, — строго заметил судья.

Радамант опять вернулся к истории:

— В связи с несчастьями, постигшими конницу Митридата, вы оспаривали всеми признанные свойства некоторых трав и растений. Вы утверждали, что от травы securiduca у лошадей не могут отвалиться подковы.

— Простите, — ответил Урсус, — я только говорил, что подобным свойством обладает лишь трава sferra-cavallo. Я не отрицаю достоинств ни в одном растении.

И вполголоса прибавил:

— И ни в одной женщине.

Последними словами Урсус хотел доказать самому себе, что, невзирая на свою тревогу, он не обезоружен. Несмотря на владевший им страх, Урсус не терял присутствия духа.

— Я настаиваю на этом, — продолжал Радамант. — Вы заявили, что Сципион поступил глупо, когда, желая отворить ворота Карфагена, он прибегнул к траве Aethlopis, ибо, по вашему мнению, трава Aethlopis не обладает способностью взламывать замки.

— Я просто сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой Lunaria.

— Ну, это еще вопрос, — пробормотал Радамант, задетый в свою очередь.

И представитель истории умолк.

Представитель богословия Минос, придя в себя, снова стал допрашивать Урсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь с заметками.

— Вы отнесли аурипигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аурипигмент может служить отравой. Библия отрицает это.

— Библия отрицает, — со вздохом возразил Урсус, — зато мышьяк доказывает.

Особа, которую Урсус мысленно называл Эаком и которая в качестве официального представителя медицины не проронила до сих пор ни слова, теперь вмешалась в разговор и, надменно полузакрыв глаза, с высоты своего величия поддержала Урсуса. Она изрекла:

— Ответ не глуп.

Урсус поблагодарил Эака самой льстивой улыбкой, на какую только был способен.

Минос сделал страшную гримасу.

— Продолжаю, — сказал он. — Отвечайте. Вы говорили, что неправда, будто василиск царствует над змеями под именем Кокатрикса.

— Ваше высокопреподобие, — промолвил Урсус, — я нисколько не хотел умалить славы василиска и даже утверждал, как нечто, не подлежащее сомнению, что у него человеческая голова.

— Допустим, — сурово возразил Минос, — но вы прибавили, что Пэрий видел одного василиска с головою сокола. Можете вы доказать это?

— С трудом, — ответил Урсус.

Здесь он почувствовал, что теряет почву под ногами.

Минос, воспользовавшись его замешательством, продолжал:

— Вы говорили, что еврей, перешедший в христианство, дурно пахнет.

— Но я прибавил, что христианин, перешедший в иудейство, издает зловоние.

Минос бросил взгляд на тетрадь с обличительными записями.

— Вы распространяете самые вздорные бредни. Вы говорили, будто Элиан видел, как слон писал притчи.

— Нет, ваше высокопреподобие. Я просто сказал, что Оппиан слышал, как гиппопотам обсуждал философскую проблему.

— Вы заявили, что на блюде из букового дерева не могут сами собой появиться любые яства.

— Я сказал, что таким свойством может обладать лишь блюдо, подаренное вам дьяволом.

— Подаренное мне?!

— Нет, мне, ваше преподобие! Нет, никому! Я

хотел сказать: всем!

И про себя Урсус подумал: «Я и сам уж не знаю, что говорю». Но, несмотря на то, что он сильно волновался, он почти ничем не выдавал своего волнения. Он продолжал бороться.

— Все это, — возразил Минос, — отчасти предполагает веру в дьявола.

Урсус не смутился.

— Ваше высокопреподобие, я верю в дьявола. Вера в дьявола — оборотная сторона веры в Бога. Одна доказывает наличие другой. Кто хоть немного не верит в черта, не слишком верит и в Бога. Кто верит в солнце, должен верить и в тень. Дьявол — это ночь Господня. Что такое ночь? Доказательство существования дня.

Урсус импровизировал, преподнося своим судьям непостижимую смесь философии с религией. Минос снова задумался и еще раз погрузился в молчание.

Урсус опять вздохнул с облегчением.

И вдруг он подвергся неожиданной атаке. Эак, официальный представитель медицины, только что высокомерно защитивший его от богослова, внезапно из союзника превратился в нападающего. Положив кулак на внушительный ворох испещренных записями бумаг, он сразил Урсуса

в упор:

— Доказано, что хрусталь — результат естественной возгонки льда, и алмаз — результат такой же возгонки хрусталя; установлено, что лед становится хрусталем через тысячу лет, а хрусталь становится алмазом через тысячу веков. Вы это отрицали.

— Нет, — меланхолически возразил Урсус. — Я только говорил, что за тысячу лет лед может растаять и что тысячу веков не так-то легко счесть.

Допрос продолжался; вопросы и ответы звучали как сабельные удары.

— Вы отрицали, что растения могут говорить.

— Ничуть. Но для этого нужно, чтобы они росли под виселицей.

— Признаете вы, что мандрагора кричит?

— Нет, но она поет.

— Вы отрицали, что безымянный палец левой руки обладает свойством исцелять сердечные болезни?

— Я только сказал, что чихнуть налево — дурная примета.

— Вы дерзко и оскорбительно отзывались о фениксе.

— Ученейший судья, я всего-навсего говорил, что, утверждая, будто мозг феникса — вкусное

блюдо, вызывающее, однако, головную боль, Плутарх зашел слишком далеко, так как феникса никогда не существовало.

— Возмутительные речи. Каннамалка, который вьет себе гнездо из палочек корицы, дубоноса, из которого Паризатида изготовляла свои отравы, манукодиату, которая не что иное, как райская птица, и семенду с тройным клювом ошибочно принимали за феникса; но феникс существовал.

— Я не возражаю.

— Вы осел.

— Вполне этим удовлетворен.

— Вы признали, что бузина излечивает грудную жабу, но вы прибавили, что это происходит вовсе не потому, что у нее на корне есть волшебный нарост.

— Я объяснял целебные свойства бузины тем, что на ней повесился Иуда.

— Суждение, близкое к истине, — пробормотал Минос, довольный тем, что может в свою очередь подпустить шпильку медику Эаку.

Задетое высокомерие сразу переходит в гнев. Эак пришел в ярость:

— Бродяга, ваш ум блуждает так же, как и ваши ноги. У вас подозрительные и странные наклонности. Вы занимаетесь чем-то близким

к чародейству. Вы состоите в сношениях с неведомыми зверями. Вы говорите простонародью о вещах, существующих лишь в вашем воображении и природа которых никому не известна, например, о гемороусе.

— Гемороус — гадюка, которую видел Тремеллий.

Этот ответ поверг свирепого доктора Эака в некоторое замешательство.

Урсус прибавил:

— В существовании гемороуса так же не может быть сомнений, как в существовании пахучей гиены или циветты, описанной Кастеллом.

Эак вышел из затруднения, выпустив решительный заряд:

— Вот ваши подлинные, поистине дьявольские слова. Слушайте.

Заглянув в свои записи, Эак прочел:

— «Два растения, фалагсигль и аглафотис, светятся с наступлением темноты. Днем они цветы, ночью — звезды».

Он пристально посмотрел на Урсуса.

— Что вы можете сказать в свое оправдание?

Урсус ответил:

— Каждое растение — лампада. Его благоухание — свет.

Эак перелистал несколько страниц.

— Вы отрицали, что железы выдры выделяют жидкость, тождественную бобровой струе.

— Я ограничился замечанием, что, быть может, в этом вопросе не следует доверять Аэцию.

Эак рассвирепел.

— Вы занимаетесь медицинской практикой?

— Я практикую в этой области, робко вздохнул Урсус.

— На живых людях?

— Предпочитаю на живых, нежели на покойниках, сказал Урсус.

Урсус отвечал серьезно и вместе с тем заискивающе; в этом удивительном сочетании двух интонаций преобладала вкрадчивость. Он говорил с такой кротостью, что Эак почувствовал потребность оскорбить его.

— Что вы там воркуете? — грубо сказал он.

Урсус растерялся и ограничился тем, что ответил:

— Воркуют молодые люди, старики же только кряхтят. Увы, я могу лишь кряхтеть.

Эак продолжал:

— Предупреждаю вас: если вы возьметесь лечить больного и он умрет, вы будете казнены.

Урсус отважился задать вопрос:

— А если он выздоровеет?

— В таком случае, — ответил доктор более мягким тоном, — вы также будете казнены.

— Невелика разница, — заметил Урсус.

Доктор продолжал:

— В случае смерти больного карается невежество, в случае выздоровления — дерзость. В обоих случаях вас ждет виселица.

— Я не знал этой подробности, — пролепетал Урсус. — Благодарю вас за разъяснение. Ведь не всякому известны все тонкости нашего замечательного законодательства.

— Берегитесь!

— Буду свято беречься, — промолвил Урсус.

— Мы знаем, чем вы занимаетесь.

«А я, — подумал Урсус, — знаю это не всегда».

— Мы могли бы отправить вас в тюрьму.

— Я вижу, милостивейшие государи.

— Вы не в состоянии отрицать ваши проступки и своевольные действия.

— Как философ, прошу прощения.

— Вам приписывают целый ряд дерзких суждений.

— Это страшная ошибка.

— Говорят, что вы излечиваете больных.

— Я — жертва клеветы.

Три пары бровей, устрашающе направленных на Урсуса, нахмурились; три ученые физиономии наклонились одна к другой; послышался шепот. Урсусу померещилось, будто над тремя головами трех официальных представителей науки высится один дурацкий колпак; многозначительно-таинственное бормотание этой троицы длилось несколько минут, в течение которых его от ужаса бросало то в жар, то в холод; наконец Минос, председатель, повернулся к нему и с бешенством прошипел:

— Убирайтесь вон!

Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал Иона, когда кит извергнул его из своего чрева.

Минос продолжал:

— На этот раз вас отпускают.

Урсус подумал: «Уж больше я им не попадусь! Прощай, медицина!»

И прибавил в глубине души: «Отныне я предоставлю больным полную свободу околевать».

Согнувшись в три погибели, он отвесил поклоны во все стороны: докторам, бюстам, столу, стенам, и, пятясь, отступил к дверям, чтобы исчезнуть, подобно рассеявшейся тени.

Он вышел из зала медленно, как человек с чи-

стой совестью, но очутившись на улице, кинулся бежать опрометью, как преступник. При ближайшем знакомстве представители правосудия производят столь страшное и непонятное впечатление, что, даже будучи оправданным, человек норовит поскорее унести ноги.

Убегая, Урсус ворчал себе под нос:

— Я дешево отделался. Я — ученый дикий, они — ученые ручные. Доктора преследуют настоящих ученых. Ложная наука — отброс науки подлинной, и ею пользуются для того, чтобы губить философов. Философы, создавая софистов, сами роют себе яму. На помете певчего дрозда вырастает омела, выделяющая клей, при помощи которого ловят дроздов. Turdus sibi malum cacat[210].

Мы не хотим изобразить Урсуса чрезмерно щепетильным. Он имел дерзость употреблять выражения, вполне передававшие его мысль. В этом отношении он стеснялся не более, чем Вольтер.

Вернувшись в «Зеленый ящик», Урсус объяснил дядюшке Никлсу свое опоздание тем, что ему попалась на улице какая-то хорошенькая женщина; ни словом не обмолвился он о своем

---

[210] Сноски: 210
Дрозд роняет помет себе на беду (*лат.*).

приключении.

Только вечером он шепнул на ухо Гомо:

— Знай: я одержал победу над трехголовым псом Цербером.

7. По каким причинам может затесаться золотой среди медяков?

Произошло неожиданное событие.

Тедкастерская гостиница все более и более становилась очагом веселья и смеха. Нигде нельзя было встретить более жизнерадостной суматохи. Владелец гостиницы и его слуга разрывались на части, без конца наливая посетителям эль, стаут и портер. По вечерам в низенькой зале светились все окна и не оставалось ни одного свободного столика. Пели, горланили; старинный камин с железной решеткой, доверху набитый углем, пылал ярким пламенем. Харчевня казалась вместилищем огня и шума.

Во дворе, то есть в театре, толпа была еще гуще.

Вся публика пригорода, все население Саутворка валом валило на «Побежденный хаос», так что к моменту поднятия занавеса, иными словами — когда опускалась подъемная стенка «Зеленого

ящика», все места были заняты, окна битком набиты зрителями, галерея переполнена. Не видно было ни одной плиты на мощеном дворе: сплошная масса голов скрывала все.

Только ложа для знати по-прежнему оставалась пустой.

Вот почему в том месте, где находился как бы центр балкона, зияла черная дыра — на актерском языке это называется «провалом». Ни души. Всюду толпа, а здесь — никого.

И вот однажды вечером здесь кто-то появился.

Это было в субботу — в день, когда англичане спешат развлечься в предвидении воскресной скуки. В зале яблоку негде было упасть.

Мы говорим «в зале». Шекспир тоже долгое время давал представления во дворе гостиницы и называл его залом.

В ту минуту, когда раздвинулся занавес и начался пролог «Побежденного хаоса», Урсус, находившийся в это время на сцене вместе с Гомо и Гуинпленом, по обыкновению окинул взором публику и поразился.

Отделение «для знати» было занято.

Посреди ложи в кресле, обитом утрехтским бархатом, сидела женщина.

Рядом с ней не было никого, и казалось, она

одна наполняет собой ложу.

Есть существа, которые излучают сияние. Так же как и Дея, эта женщина вся светилась, но совсем по-иному. Дея была бледна, эта женщина — румяна. Дея была занимающимся рассветом, эта женщина — багряной зарей. Дея была прекрасна, эта женщина — ослепительна. Дея была вся невинность, целомудрие, белизна, алебастр; эта женщина была пурпуром, и чувствовалось, что она не боится краснеть. Излучаемый ею свет как бы изливался за пределы ложи, а она неподвижно сидела в самом центре ее, торжественная, невозмутимая, словно идол.

В этой грязной толпе она сверкала точно драгоценный карбункул, она распространяла вокруг себя такой блеск, что все остальное тонуло во мраке: она затмевала собою тусклые лица окружающих. Перед ее великолепием меркло все.

Все глаза были устремлены на нее.

Среди зрителей находился и Том-Джим-Джек. Он, как и все другие, исчезал в сиянии ослепительной незнакомки.

Женщина, приковавшая к себе сначала внимание публики, отвлекла ее от спектакля и этим несколько помешала первому впечатлению от «Побежденного хаоса».

Хотя тем, кто сидел близко от нее, она и казалась видением, это была самая настоящая женщина. Быть может, даже слишком женщина. Она была высока, довольно полна; ее плечи и грудь были обнажены, насколько это позволяло приличие. В ушах сверкали крупные жемчужные серьги с теми странными подвесками, которые называются «ключами Англии». Платье на ней было из сиамской кисеи, затканной золотом, — чрезвычайная роскошь, ибо такое платье стоило тогда не менее шестисот экю. Большая алмазная застежка придерживала сорочку, по нескромной моде того времени еле прикрывавшую грудь; сорочка была из тончайшего фрисландского полотна, из которого Анне Австрийской шили простыни, свободно проходившие сквозь перстень. Незнакомка была как бы в панцире из рубинов, среди которых было несколько неграненых; юбка ее тоже сверкала множеством нашитых на ней драгоценных каменьев. Ее брови были подведены китайской тушью, а руки, локти, плечи, подбородок, ноздри, края век, мочки ушей, ладони, кончики пальцев нарумянены, и это обилие красноватых тонов придавало ей что-то чувственное и вызывающее. Во всей ее наружности проглядывало непреклонное желание быть прекрасной. И она в самом

деле была прекрасна, прекрасна до ужаса. Это была пантера, способная притвориться ласковой кошечкой. Один глаз у нее был голубой, другой — черный.

Гуинплен, так же как и Урсус, не спускал глаз с этой женщины.

«Зеленый ящик» являл собой в известной мере зрелище фантастическое. «Побежденный хаос» воспринимался скорее как сновидение, чем как театральное представление.

Урсус и Гуинплен уже привыкли к тому, что для публики они — нечто вроде видения; теперь видение являлось им самим; призрак был в зрительном зале; настала их очередь испытать смятение. Они, которые завораживали других, теперь были заворожены сами.

Женщина смотрела на них, и они смотрели на нее.

Благодаря значительному расстоянию, отделявшему их от нее, и полумраку в «театральном зале», ее очертания терялись в световой дымке; казалось, это галлюцинация. Да, без сомнения, это была женщина, но не пригрезилась ли она им? Это вторжение света в их мрачное существование ошеломило их. Казалось, неведомая планета залетела к ним из неких блаженных

миров. Она казалась очень большой, благодаря исходящему от нее сиянию. Женщина вся сверкала, как сверкает Млечный Путь на ночном небе. Драгоценные камни на ней казались звездами. Алмазная застежка была как будто одной из Плеяд. Великолепные очертания ее груди представлялись чем-то сверхъестественным. При одном только взгляде на это звездное существо мгновенно возникало леденящее ощущение близости к сферам вечного блаженства. Как будто с райских высот склонялось это непреклонное и спокойное лицо над убогим «Зеленым ящиком» и его жалкими зрителями. Острое любопытство к тому, что она видит, и снисхождение к любопытству черни отражались на этом лице небожительницы. Сойдя с горных высот, она позволяла земным тварям взирать на себя.

Урсус, Гуинплен, Винос, Фиби, толпа — все затрепетали, ослепленные этим блеском; только Дея, погруженная в вечную ночь, ни о чем не знала.

Эта женщина вызывала мысль о призраке, хотя в ее наружности не было ничего такого, что обычно связывают с этим словом: ничего призрачного, ничего таинственного, ничего воздушного, никакой дымки; это было розовое, свежее, цветущее

здоровьем привидение, и, однако, свет падал на нее таким образом, что с того места, где находились Урсус и Гуинплен, она казалась им чем-то нереальным. Такие упитанные призраки действительно существуют: они именуются вампирами. Иная королева, которая тоже кажется толпе прелестным видением и пожирает по тридцати миллионов в год, высасывая их из народа, отличается таким же завидным здоровьем.

Позади этой женщины в полумраке стоял ее грум, el mozo[211], маленький человечек с детским личиком, бледный, хорошенький и серьезный. Очень юные и вместе с тем очень степенные слуги были в то время в моде. Грум был одет с головы до ног в бархат огненно-красного цвета; на его обшитой золотом шапочке красовался пучок вьюрковых перьев, что было отличительным признаком челяди знатных домов и свидетельствовало о высоком положении его госпожи.

Лакей — неотъемлемая часть господина, и потому в тени этой женщины нельзя было не заметить ее пажа-шлейфоносца. Наша память нередко удерживает многое без нашего ведома; Гуинплен и не подозревал, что пухлые щеки,

---

[211] Сноски: 211
Слуга (*исп.*).

важный вид и обшитая галуном, украшенная перьями шапочка маленького пажа запечатлелись в его памяти. Впрочем, грум вовсе не старался привлечь к себе чьи-либо взоры: обращать на себя внимание — значит быть непочтительным; он невозмутимо стоял в глубине ложи, около самой двери, держась как можно дальше от своей госпожи.

Хотя ее muchacho[212], ее паж, и находился при ней, казалось, что женщина в ложе совершенно одна: слуги в счет не идут.

Как ни велико было впечатление, произведенное незнакомкой, появление которой, казалось, входило в спектакль, развязка «Побежденного хаоса» потрясла зрителей еще сильнее. Эффект, как всегда, был неотразим. Быть может, благодаря присутствию в зале блистательной зрительницы (ведь зритель иногда является участником спектакля) публика была особенно наэлектризована. Смех Гуинплена в этот вечер казался заразительнее, чем когда бы то ни было. Все присутствующие покатывались от хохота в неописуемом припадке судорожного веселья, и среди всех голосов резко выделялся зычный смех Том-Джим-Джека.

---

[212] Сноски: 212
Мальчик-слуга (*исп.*).

И только незнакомка, просидевшая весь вечер неподвижно, как статуя, глядя на сцену пустыми глазами призрака, ни разу не улыбнулась. Да, это был призрак, но призрак яркий, будто солнечный спектр.

Когда представление окончилось и стенка фургона была поднята, обитатели «Зеленого ящика» собрались, по обыкновению, в своем тесном кругу, и Урсус высыпал из мешка на уже приготовленный для ужина стол всю выручку. И вдруг в куче медных монет засверкала испанская золотая унция.

— Она! — воскликнул Урсус.

Среди позеленевших медных грошей золотая унция действительно сияла, подобно той женщине среди серой толпы.

— Она заплатила за свое место квадрупль! — продолжал восхищенный Урсус.

В эту минуту в «Зеленый ящик» вошел хозяин гостиницы; просунув руку в заднее окошко фургона, он отворил в стене форточку, о которой мы упоминали и которая находилась на уровне окна, благодаря чему из нее видна была вся площадь. Он молча поманил к себе Урсуса и знаками показал ему, чтобы тот взглянул на площадь. От харчевни быстро отъезжала нарядная карета с

роскошной упряжкой и лакеями в шляпах, разукрашенных перьями, и с факелами в руках.

Почтительно придерживая большим и указательным пальцами квадрупль, Урсус показал его дядюшке Никлсу и произнес:

— Это богиня.

Затем его взор упал на карету, заворачивавшую за угол, на крышке которой свет от факелов освещал восьмиконечную корону.

Тогда он воскликнул:

— Это больше, чем богиня! Это герцогиня!

Карета скрылась из виду. Стук колес замер вдали.

Несколько мгновений Урсус стоял неподвижно, восторженно воздевая кверху руку с квадруплем, словно дарохранительницу, — тем самым жестом, каким возносят святые дары.

Потом положил монету на стол и, не сводя с нее глаз, заговорил о «госпоже». Хозяин гостиницы отвечал на его вопросы. Да, это герцогиня. Ее титул известен. А имя? Имени никто не знает. Но Никлс рассмотрел вблизи карету с гербами и лакеев в шитых золотом ливреях. На кучере парик — точь-в-точь как у лорд-канцлера. Карета редко встречающегося образца, который в Испании называется «повозка-гробница», — великолеп-

ный экипаж с верхом, напоминающим по форме крышку гроба, увенчанную короной. Грум был такой крошечный, что вполне свободно помещался на подножке кареты с наружной стороны дверцы. Эти миловидные существа носят обычно шлейфы знатных дам; иногда же им поручают носить и любовные послания. Заметил ли кто пучок вьюрковых перьев на его шапочке? Вот бесспорный признак знатности его госпожи. Всякий, кто, не имея на то права, украсит головной убор своего слуги такими, перьями, платит штраф. Никлс видел вблизи и самое даму. Настоящая королева. Такое богатство не может не красить человека. И кожа становится белей, и взгляд более гордым, и поступь благороднее, и движения уверенней. Ничто не в состоянии сравниться с надменным изяществом вечно праздных рук. Никлс описывал великолепие этой белой с голубыми жилками кожи, шею, плечи незнакомки, ее румяна, жемчужные серьги, прическу, волосы, припудренные золотым порошком, несчетное множество драгоценных камней, рубинов, алмазов.

— Они блестят не так ярко, как ее глаза, — пробормотал Урсус.

Гуинплен молчал.

Дея слушала.

— И знаете, что удивительнее всего? — сказал трактирщик.

— Что? — спросил Урсус.

— Я видел, как она садилась в карету.

— Ну и что?

— Она села не одна.

— Вот как!

— С ней сел еще один человек.

— Кто?

— Угадайте.

— Король? — сказал Урсус.

— Прежде всего, — заметил дядюшка Никлс, — у нас теперь нет короля. Нами правит королева. Угадайте же, кто сел в карету этой герцогини.

— Юпитер, — сказал Урсус.

Трактирщик ответил:

— Том-Джим-Джек.

— Том-Джим-Джек? — вырвалось у Гуинплена, не проронившего до этой минуты ни слова.

Все были поражены. Наступило молчание. И в этой тишине вдруг раздался тихий голос Деи:

— Нельзя ли больше не пускать сюда эту женщину?

8. Признаки отравления

«Призрак» больше не возвращался.

Он не вернулся в ложу, но снова возник в душе Гуинплена.

Гуинплен был в некотором смятении.

Ему показалось, что он впервые в жизни увидал женщину.

И, сразу же отдавшись необычным грезам, он наполовину совершил грехопадение. Надо остерегаться, грез, овладевающих нами против нашей воли. Мечта обладает таинственностью и неуловимостью аромата. По отношению к мысли она — то же, что благоухание туберозы. Порою она одурманивает, словно ядовитый аромат, и проникает в мысли, словно угар. Грезами можно отравиться так же, как цветами. Упоительное самоубийство, восхитительное и ужасное!

Дурные мысли — самоубийство души. В них-то и заключается отрава. Мечта привлекает вас, обольщает, заманивает, затягивает в свои сети, затем превращает вас в своего сообщника: она делает вас соучастником в обмане совести. Она одурманивает, а потом развращает. О ней можно сказать то же, что об азартной игре. Сперва

человек бывает жертвой мошенничества, затем начинает плутовать сам.

Гуинплен предался мечтам.

Он никогда не видел Женщины.

Он видел лишь тень ее в женщинах простонародья и видел душу ее в Дее.

Теперь он увидел настоящую женщину.

Он увидел теплую нежную кожу, под которой чувствовалось биение пылкой крови; очертания тела, пленяющие четкостью мрамора и плавными изгибами волны; высокомерно-бесстрастное лицо, выражающее одновременно и призыв и отказ, лицо с ослепительно прекрасными чертами; волосы, точно озаренные отблеском пожара; изящество наряда, пробуждающего трепет сладострастия; обольстительную полунаготу; надменное желание воспламенять вожделения завороженной толпы, но только издали; неотразимое кокетство; влекущую неприступность; искушение, идущее рука об руку с предвидением гибели; обещание чувствам и угрозу рассудку; сложное чувство тревоги, порожденное страстным влечением и страхом. Он только что видел все это. Он только что видел женщину.

То, что он только что видел, было и больше и меньше, чем женщина. То была влекущая жен-

ская плоть — и в то же время богиня Олимпа. Олицетворенная чувственность и красота небожительницы.

Ему воочию предстала тайна пола.

И где? За пределами досягаемого.

В бесконечном отдалении от него.

Какая насмешка судьбы: душу, эту небесную сущность, он держал в руках, она принадлежала ему, — это была Дея; женскую плоть, эту сущность земную, он только видел издали, на недосягаемой высоте, — это была та женщина.

Герцогиня!

«Больше, чем богиня», — так сказал о ней Урсус.

Какая высота!

Даже в мечтах было бы страшно взобраться на такую крутизну.

Неужели он так безрассуден, что думает об этой незнакомке? Он старался побороть эти чары.

Он вспоминал все, что рассказывал ему Урсус о жизни этих высоких, почти царственных особ; разглагольствования философа, казавшиеся ему до сих пор не заслуживающими внимания, теперь становились вехами его размышлений, — наша память нередко бывает прикрыта лишь тончайшей пеленой забвения, сквозь которую в

нужную минуту нам удается разглядеть то, что погребено под нею; Гуинплен старался представить себе высший свет, мир знати, к которому принадлежала эта женщина, этот мир, стоящий неизмеримо выше мира низшего, мира простого народа, к которому принадлежал он сам. Да и принадлежал ли он к народу? Не был ли он, скоморох, ниже даже тех, кто находится в самом низу? Впервые с тех пор, как он стал мыслить, у него сжалось сердце от сознания своего низкого положения, от того, что теперь мы назвали бы чувством унижения. Картины, набросанные Урсусом, его восторженные лирические описания замков, парков, фонтанов и колоннад, его подробные рассказы о богатстве и могуществе знати оживали в памяти Гуинплена, наполняясь образами, в которых действительность смешивалась с фантазией. Он был одержим видениями этих заоблачных высот. Ему казалось химерой, что человек может быть лордом. А между тем такие люди существуют. Невероятно, просто невероятно! На свете есть лорды! Созданы ли они из плоти и крови, как все люди? Вряд ли. Он чувствовал, что находится в глубоком мраке, что он окружен со всех сторон стеною; словно человек, брошенный на дно колодца, он видел там, в зените, над

самой головой, ослепительное смешение лазури, света и видений — обиталище олимпийцев, и в самом центре этого лучезарного мира сияла она, герцогиня.

Он испытывал к этой женщине какое-то странное чувство, в котором непреодолимое влечение было неотделимо от сознания ее недоступности. И он без конца мысленно возвращался к этой вопиющей нелепости: ощущать душу близ себя, рядом с собой, тесно соприкасаясь с ней на каждом шагу, плоть же видеть только в идеальной сфере, в области недосягаемого.

Ни одна из этих мыслей не была совершенно четкой. Это был какой-то туман, где все было зыбко, где все ежеминутно меняло очертания. Это было глубокое смятение чувств.

Впрочем, ему ни разу не приходило в голову сделать попытку приблизиться к герцогине. Даже в мечтах не разрешил бы он себе подняться на такую высоту. И это было его счастьем.

Ведь стоит лишь раз поставить ногу на ступень этой лестницы, чтобы ее дрожание навсегда помутило ваш рассудок: думаешь, что восходишь на Олимп, а попадаешь в Бедлам. Явственное вожделение привело бы Гуинплена в ужас. Но ничего подобного он не испытывал.

Да и увидит ли он еще когда-нибудь эту женщину? По всей вероятности, никогда. Влюбиться в зарницу, вспыхнувшую на горизонте, — на такое безумие не способен никто. Пленяться звездой — это все-таки еще понятно: ее увидишь снова, она опять появится в небе на том же месте. Но можно ли загореться страстью к промелькнувшей молнии?

В его душе одна мечта сменялась другою. В них то возникал, то вновь исчезал образ этого божества, этой величественной, лучезарной женщины, сияющей из глубины ложи. Он то думал о ней, то забывал, то отвлекался чем-нибудь другим и снова возвращался все к тем же мыслям. Они будто баюкали его, но не могли усыпить.

Это не давало ему спать в течение нескольких ночей. Бессонница, как и сон, полна видений.

Нет почти никакой возможности выразить точными словами неясные процессы, протекающие в нашем мозгу. Слова неудобны именно тем, что очертания их резче, чем контуры мысли. Не имея четких контуров, мысли зачастую сливаются друг с другом; слова — иное дело. Поэтому какая-то смутная часть нашей души всегда ускользает от слов. Слово имеет границы, у мысли их нет.

Наш внутренний мир так смутен и необъятен,

что происходившее в душе Гуинплена не имело почти никакого отношения к Дее. Дея оставалась средоточием его помыслов, она была священной; ничто не могло коснуться ее.

А между тем, — душа человека вся соткана из таких противоречий, — в нем происходила борьба. Сознавал ли он это? Вероятно, только смутно догадывался.

В самой глубине души, в наиболее уязвимом ее месте, там, где у каждого легко может возникнуть трещина, он чувствовал столкновение противоположных желаний. Для Урсуса все это было бы ясно. Гуинплену было трудно разобраться в этом.

Два инстинкта боролись в нем: влечение к идеалу и влечение к женщине. На мосту, перекинутом через бездну, подобные поединки между ангелом белым и ангелом черным происходят нередко.

Наконец черный ангел был низвергнут.

Однажды как-то сразу Гуинплен перестал думать о незнакомке.

Борьба двух начал, схватка между земной и небесной сущностью Гуинплена произошла в тайниках его души, на такой ее глубине, что почти не достигла его сознания.

Несомненным было лишь одно: ни на мгнове-

ние не переставал он обожать Дею.

Когда-то давно — чудилось ему — он пережил какое-то смятение, его кровь кипела, но теперь с этим было покончено. Осталась только Дея.

Гуинплен даже удивился бы, если б ему сказали, что Дея хотя одну минуту была в опасности.

Неделю или две спустя призрак, который, казалось, угрожал этим двум существам, исчез бесследно.

Сердце Гуинплена снова пламенело одной любовью к Дее.

К тому же, как мы уже говорили, герцогиня больше не возвращалась.

Урсус находил это в порядке вещей. «Дама с квадруплем» — явление необычное. Такое существо входит однажды, платит за место золотой, потом исчезает бесследно. Жизнь была бы слишком хороша, если б это повторялось.

Что касается Деи, она ни разу даже не упомянула больше о той женщине, отошедшей в прошлое. Она, вероятно, прислушивалась к разговорам; вздохи Урсуса и время от времени вырывавшиеся у него многозначительные восклицания «Не каждый же день получать золотые унции!» пробудили в ней смутный страх. Она теперь больше никогда не заговаривала о незнакомке. В этом

сказывался глубокий инстинкт. Порою душа безотчетно принимает меры предосторожности, тайна которых ей не всегда бывает ясна. Когда молчишь о ком-нибудь, кажется, что этим отстраняешь его от себя. Расспрашивая о нем, боишься привлечь его. Можно оградить себя молчанием, как ограждаешь себя, запирая дверь.

Происшествие было забыто.

Следовало ли придавать ему какое-либо значение? Произошло ли это на самом деле? Можно ли было сказать, что между Гуинпленом и Деей промелькнула какая-то тень? Дея не знала об этом, а Гуинплен уже забыл. Нет. Ничего и не было. Образ герцогини растаял в отдалении, словно только померещился им. Просто Гуинплен замечтался на минуту, а теперь очнулся от грез. Рассеявшиеся мечты, как и рассеявшийся туман, не оставляют следов, и после того, как туча пронеслась мимо, любовь в душе испытывает не больше ущерба, чем солнце в небе.

9. Abyssus abyssum vocat – Бездна призывает бездну

Исчезло и другое лицо — Том-Джим-Джек. Он вдруг перестал появляться в Тедкастерской го-

стинице.

Люди, которым их общественное положение позволяло видеть обе стороны великосветской жизни лондонской знати, вероятно заметили, что в то же самое время в «Еженедельной газете», между двумя выписками из приходских метрических книг, появилось известие об «отъезде лорда Дэвида Дерри-Мойра, коему, согласно повелению Ее Величества», предстояло снова принять командование фрегатом, крейсирующим в составе «белой эскадры» у берегов Голландии.

Урсус заметил, что Том-Джим-Джек больше не посещает «Зеленый ящик»; это очень занимало его. Том-Джим-Джек не показывался с того дня, как уехал в одной карете с дамой, заплатившей квадрупль. Конечно, этот Том-Джим-Джек, похищавший герцогинь, был загадкой. Как было бы интересно углубиться в исследование такого происшествия! Сколько тут возникало вопросов! Сколько можно было бы высказать по этому поводу замечаний! Именно потому Урсус и не обмолвился ни словом.

Немало повидав на своем веку, он знал, как жестоко можно обжечься на дерзком любопытстве. Любопытство всегда должно соразмеряться с положением любопытствующего. Подслушивая

— рискуешь ухом, подсматривая — рискуешь глазом. Ничего не видеть и ничего не слышать — самое благоразумное. Том-Джим-Джек сел в княжескую карету, хозяин гостиницы видел, как он садился. Матрос, занявший место рядом с леди, казался каким-то чудом, и это заставило Урсуса насторожиться. Прихоти знатных людей должны быть священны для лиц низкого звания. Всем этим существам, пресмыкающимся во прахе, всем, кого высокородные люди называют чернью, не остается ничего лучшего, как забиться в свою нору, когда они замечают что-нибудь необычайное. Лишь тот в безопасности, кто сидит смирно. Закройте глаза, если вам не посчастливилось родиться слепым; заткните уши, если, на свою беду, вы не глухи; крепко держите язык за зубами, если вы не настолько совершенны, чтобы быть немым. Великие мира сего становятся тем, чем им хочется быть, малые — чем могут; посторонимся же перед неведомым. Не будем тревожить мифологию, не будем доискиваться смысла видимых явлений; почтительно преклонимся перед их показной стороной. Оставим досужие толки об угасании или рождении светил, происходящем в высоких сферах по причинам, нам неизвестным. Для нас, ничтожных людишек, это по большей

части оптический обман. Метаморфозы — дело богов; внезапные превращения и исчезновения случайно встреченных знатных особ, парящих где-то в высоте над нами, — туманные события, понять которые невозможно, а изучать опасно. Излишнее внимание раздражает олимпийцев, занятых своими развлечениями и причудами; берегитесь, удар грома может разъяснить вам лучше слов, что бык, к которому вы слишком пристально присматриваетесь, не кто иной, как Юпитер. Не будем же распахивать складки серой мантии, облекающей страшных властителей наших судеб. Равнодушие — это благоразумие. Не шевелитесь — в этом ваше спасение. Притворитесь мертвым, и вас не убьют. К этому сводится мудрость насекомого. Урсус следовал ей.

Хозяин гостиницы, чрезвычайно заинтригованный, однажды обратился к Урсусу:

— А знаете, Том-Джим-Джек что-то больше не показывается.

— Вот как? — ответил Урсус. — А я и не заметил.

Никлс пробормотал что-то, должно быть не слишком почтительное, насчет близости Том-Джим-Джека к герцогской карете, но так как его слова показались Урсусу слишком неосторожны-

ми, старик притворился, будто не расслышал их.

Однако Урсус был слишком артистической натурой, чтобы не-сожалеть о Том-Джим-Джеке. Он был до известной степени разочарован. Своими впечатлениями он поделился только с Гомо, единственным наперсником, в чьей скромности он был уверен. Он шепнул на ухо волку:

— С тех пор как Том-Джим-Джек больше не приходит, я ощущаю пустоту как человек и холод как поэт.

Излив свою печаль дружескому сердцу, Урсус почувствовал некоторое облегчение.

Он ни звуком не обмолвился об этом в разговоре с Гуинпленом, а тот в свою очередь ни разу не упомянул о Том-Джим-Джеке.

В самом деле, Гуинплен был всецело поглощен Деей, и его мало интересовал Том-Джим-Джек.

С каждым днем Гуинплен все больше забывал о незнакомке. Что касается Деи, она и не подозревала о смятении, овладевшем на короткий срок душою ее возлюбленного. К этому же времени прекратились и всякие слухи о заговоре против «Человека, который смеется», о каких бы то ни было жалобах на него. Ненавистники, по-видимому, успокоились. Все волнения улеглись и в «Зеленом ящике» и вокруг него. Комедианты и

священники точно сквозь землю провалились. Замерли последние раскаты грома. Успеху бродячей труппы уже не грозило ничто. Иногда в человеческой судьбе внезапно наступает такая полоса безмятежной тишины. Ни малейшая тень не омрачала в это время безоблачного счастья Гуинплена и Деи. Мало-помалу оно дошло до той точки, где останавливается всякий рост. Есть слово, обозначающее такое состояние, — апогей. Подобно морскому приливу, счастье порою достигает своего высшего уровня. Единственное, что еще тревожит вполне счастливых людей, — это мысль о том, что за приливом неизбежно следует отлив.

Опасности можно избежать двумя способами: либо стоять очень высоко, либо очень низко. Второй способ едва ли не лучше первого. Инфузорию раздавить труднее, чем настигнуть стрелою орла. Если кто-нибудь на земле мог благодаря своему скромному положению чувствовать себя в безопасности, — это были, как мы уже сказали, Гуинплен и Дея: никогда это чувство безопасности не было полнее, чем в ту пору. Они все больше и больше жили друг другом, отражаясь — он в ней, она в нем. Сердце впитывает в себя любовь, словно некую божественную соль, сохраняющую

его; этим объясняется нерасторжимая связь двух существ, полюбивших друг друга на заре жизни, и свежесть любви, продолжающейся и в старости. Любовь как бы бальзамируется. Дафнис и Хлоя превращаются в Филемона и Бавкиду. Такая старость, когда вечерняя заря походит на утреннюю, по-видимому, ждала Гуинплена и Дею. А пока они были молоды.

Урсус наблюдал эту любовь, как медик, производящий наблюдения в клинике. У него был, как выражались в то время, «гиппократовский взгляд». Он останавливал на хрупкой и бледной Дее свой проницательный взор и бормотал себе под нос:

— Какое счастье, что она счастлива!

Другой раз он говорил:

— Она счастлива, это необходимо для ее здоровья!

Он покачивал головой и иногда принимался читать Авиценну в переводе Вописка Фортуната, изданном в Лувене в 1650 году, — старинный фолиант, в котором его интересовал раздел, трактующий о «сердечных недугах».

Дея быстро уставала, часто у нее выступала испарина, она легко впадала в дремоту и, как помнит читатель, всегда отдыхала днем. Одна-

жды, когда она опала на медвежьей шкуре, а Гуинплена не было в «Зеленом ящике», Урсус осторожно наклонился над ней и приложил ухо к ее груди в том месте, где находится сердце. Он послушал несколько мгновений, потом, выпрямившись, прошептал:

— Малейшее потрясение для нее опасно. Болезнь быстрыми шагами пошла бы вперед.

Толпа продолжала стекаться на представления «Побежденного хаоса». Успех «Человека, который смеется» казался нескончаемым. Все опешили посмотреть Гуинплена, и теперь это были уже не только жители Саутворка, но в какой-то мере и Лондона. Публика теперь собиралась смешанная: она не состояла уже из одних только матросов и возчиков; по мнению дядюшки Никлса, бывшего знатоком всякого сброда, в толпе зрителей бывали теперь и дворяне и даже баронеты, переодетые простолюдинами. Переодевание — одно из излюбленных развлечений знати; в то время оно было в большой моде. Появление аристократии среди черни было хорошим признаком и свидетельствовало о том, что «Человек, который смеется» завоевывает и Лондон. Положительно, слава Гуинплена уже проникала в круги высокородной публики. В этом не было никаких

сомнений. В Лондоне только и говорили, что о «Человеке, который смеется». О нем говорили даже в «Могок-клубе», где бывали только лорды.

В «Зеленом ящике» об этом не подозревали; его обитатели довольствовались собственным счастьем. Для Деи было высшим блаженством каждый вечер прикасаться к курчавым, непокорным волосам Гуинплена. В любви главное — привычка. В ней сосредоточивается вся жизнь. Ежедневное появление солнца — привычка Вселенной. Вселенная — влюбленная женщина, и солнце — ее возлюбленный.

Свет — ослепительная кариатида, поддерживающая весь мир. Каждый день — это длится только одно божественное мгновение — земля, еще в покрове ночи, опирается на восходящее солнце. Слепая Дея испытывала такое же чувство возврата тепла и возрождения надежды в ту минуту, когда прикасалась рукой к голове Гуинплена.

Быть двумя безвестными, боготворящими друг друга; любить в совершенном безмолвии — да так и целая вечность прошла бы незаметно!

Однажды вечером, по окончании спектакля, Гуинплен, изнемогая от избытка блаженства, от которого, как от опьяняющего аромата цветов, сладостно кружится голова, бродил, как обыч-

но, по лугу, неподалеку от «Зеленого ящика». Бывают часы, когда сердце до того переполнено чувствами, что уже не в силах вместить их. Ночь была темна и безоблачна; в небе ярко сияли звезды. Площадь была безлюдна; сон и забвение безраздельно царили в деревянных бараках, разбросанных по всему пространству Таринзофилда.

В одном лишь месте горел огонь: это был фонарь Тедкастерской гостиницы, полуоткрытая дверь которой поджидала возвращения Гуинплена.

На колокольнях пяти саутворкских приходских церквей только что пробило полночь; на каждой колокольне бой часов не совпадал по времени с остальными и отличался от них по звуку.

Гуинплен думал о Дее. Да и о чем другом мог он еще думать? Но в этот вечер он чувствовал какое-то странное смятение; весь во власти очарования, к которому примешивалась и тревога, он думал о Дее иначе, чем всегда, он думал о ней, как думает мужчина о женщине. Он упрекал себя за это. Ему казалось, что это принижает его любовь. В нем глухо начинало бродить желание. Сладостное и повелительное нетерпение. Он переходил незримую границу, по одну сторону которой — девственница, а по другую — женщина. Он

тревожно вопрошал себя, он как бы внутренне краснел. Прежний Гуинплен мало-помалу изменился; сам того не сознавая, он возмужал. Прежде стыдливый юноша, он испытывал теперь смутное, волнующее влечение. У нас есть ухо, обращенное к свету, — им мы внемлем голосу разума, — и другое, обращенное в сторону тьмы, которым мы прислушиваемся к тому, что говорит инстинкт; именно в это ухо, служившее рупором мрака, неведомые голоса настойчиво шептали что-то Гуинплену. Как бы ни был чист душою юноша, мечтающий о любви, между ним и его мечтою встанет в конце концов некий телесный образ женщины. Грезы его теряют свою безгрешность. Им овладевают стремления, внушаемые самой природой, в которых он сам боится себе признаться. Гуинплена страстно влекло к живой, телесной прелести женщины, которая является источником всех наших искушений и которой недоставало бесплотному образу Деи. В горячке, казавшейся ему чем-то опасным, он преображал, быть может, не без некоторого страха, ангельский облик Деи, придавая ему черты земной женщины. Ты нужна нам, женщина!

Излишек райской невинности в конце концов перестает удовлетворять любовь. Она жаждет

лихорадочно горячей руки, трепета жизни, испепеляющего поцелуя, после которого уже нет возврата, беспорядочно разметавшихся волос, страстных объятий. Звездная высота мешает. Эфир слишком тягостен для нас. В любви избыток небесного — то же, что избыток топлива в очаге: пламя не может разгореться. Теряя рассудок, Гуинплен отдавался во власть упоительно-страшного видения: перед ним возникал образ Деи, доступной обладанию, Деи покорной, отдающейся в минуту головокружительной близости, связующей два существа тайной зарождения новой жизни. «Женщина!» Он слышал в себе этот зов, идущий из самых недр природы. Словно новый Пигмалион, создающий Галатею из лазури, он в глубине души дерзновенно изменял очертания целомудренного облика Деи — облика, слишком небесного и недостаточно райского; ибо рай — это Ева, а Ева была женщиной, рождающей желание, матерью, кормилицей земного, в чьем священном чреве таились все грядущие поколения, в чьих сосцах не иссякало молоко, чья рука качала колыбель новорожденного мира. Женская грудь и ангельские крылья несовместимы. Девственность — лишь обетование материнства. Однако до сих пор в мечтах Гуинплена Дея стояла

выше всего плотского. Теперь же, в смятении, он мысленно пытался низвести ее, ухватившись за ту нить, которая всякую девушку связывает с землею. Эта нить — пол. Ни одной из этих легкокрылых птиц не дано реять на свободе. Дея, подобно всем остальным, была подвластна законам природы, и Гуинплен, лишь наполовину сознаваясь себе в этом, жаждал, чтоб она им подчинилась. Это желание возникало в нем помимо его воли, и он все время боролся с ним. В воображении он наделял Дею чертами земной женщины. Он дошел до того, что представлял себе нечто невозможное: Дею — существом, вызывающим не только экстаз, но и страсть, Дею, склоняющую голову к нему на подушку. Он стыдился этих кощунственных видений; какая-то сила внутри его пыталась унизить образ Деи; он сопротивлялся наваждению, отворачивался от этих картин, потом снова к ним возвращался; ему казалось, что он покушается на целомудрие девушки. Дея была для него как бы в облаке. Весь трепеща, он раздвигал это облако, точно приподымал покровы. Стоял апрель.

Спинной мозг тоже грезит на свой лад.

Гуинплен шагал наудачу, рассеянно, слегка раскачиваясь, как это иногда делают люди, нето-

ропливо прогуливаясь в одиночестве. Когда рядом нет никого, это предрасполагает к безрассудным мечтаниям. Куда устремлялась его мысль? Он сам не решился бы признаться себе. К небу? Нет. К брачному ложу. И вы еще глядели на него, звезды!

Почему говорят: «влюбленный»? Надо было бы говорить: «одержимый». Быть одержимым дьяволом — исключение; быть одержимым женщиной — общее правило. Всякий мужчина подвержен этой потере собственной личности. Какая волшебница — красивая женщина! Настоящее имя любви — плен!

Женщина пленяет нас душой. Но и плотью. И порой плотью больше, чем душой. Душа — возлюбленная, плоть — любовница!

На дьявола клевещут. Не он искушал Еву. Это Ева ввела его в искушение. Почин принадлежал женщине.

Люцифер преспокойно шел мимо. Он увидел женщину и превратился в Сатану.

Тело — внешняя оболочка неведомого. И — странное дело — оно пленяет своей стыдливостью. Нет ничего более волнующего. Подумать только: оно, бесстыдное, стыдится!

В ту минуту именно такое неодолимое влече-

ние к телесной красоте волновало и подчиняло Гуинплена. Страшное мгновение, когда мы вожделеем к наготе. Ничего не стоит поскользнуться и нравственно пасть. Сколько мрака кроется в белизне Венеры!

Что-то внутри Гуинплена громко призывало Дею, Дею — девушку, Дею — подругу, Дею — плоть и пламя, Дею — с обнаженной грудью. Он был готов прогнать ангела. Таинственный кризис, переживаемый всяким влюбленным и грозящий опасностью идеалу. Извечный закон мироздания.

Миг помрачения небесного света в душе.

Любовь Гуинплена к Дее обращалась в любовь супружескую. Целомудренная любовь — только переходная ступень. Настала неизбежная минута. Гуинплен страстно желал эту женщину.

Он страстно желал женщину.

Он скользил по этой наклонной плоскости, обрывавшейся на первом же шагу.

Невнятный зов природы необорим.

Какая бездна — женщина!

К счастью для Гуинплена, близ него не было женщины, кроме Деи. Единственной женщины, которую он желал. Единственной, которая могла желать его.

Гуинплен весь был охвачен неясным трепетом: сама жизнь властно взывала в нем о своих правах.

Прибавьте к этому еще и влияние весны. Он вбирал в себя неизъяснимые токи звездной ночи. Он шел без цели, в каком-то упоительном забытьи.

Рассеянный в воздухе аромат весенних соков, хмельные запахи, которыми пропитан сумрак ночи, благоухание распускавшихся вдали ночных цветов, согласный щебет, доносящийся из укрытых где-то маленьких гнезд, журчанье вод и шелест листьев, вздохи со всех сторон, свежесть, теплота — все это таинственное пробуждение природы не что иное, как властный голос весны, нашептывающий о страсти, дурманящий призыв, и душа отвечает ему лишь бессвязным лепетом, сама уже не понимая собственных слов.

Всякий, кто увидел бы в эту минуту Гуинплена, подумал бы: «Смотри-ка! Пьяный!»

Действительно, он еле держался на ногах под бременем своего отягощенного сердца, под бременем весны и ночи. Кругом было безлюдно и тихо, и Гуинплен порою громко разговаривал сам с собой.

Когда знаешь, что тебя никто не слышит, охот-

но говоришь вслух.

Он медленно шел, опустив голову, заложив руки за спину, держа левую в правой и не сжимая ладони.

Вдруг он почувствовал, как будто что-то скользнуло ему в руку.

Он быстро обернулся.

В руке у него была бумага, а перед ним стоял какой-то человек.

Очевидно, этот человек, неслышно, как кошка, подкравшись к нему сзади, сунул ему в руку бумагу.

Бумага оказалась письмом.

Человек, насколько его можно было рассмотреть при свете звезд, был маленького роста, круглолиц, совсем юн, но очень важен и одет в огненного цвета ливрею, видневшуюся между длинными полами серого плаща, называемого в то время capenoche — испанское сокращенное слово, означающее «ночной плащ». На голове у него была ярко-малиновая шапочка, похожая на кардинальскую шапочку, но с галуном, указывавшим на то, что ее носитель — слуга. К шапочке был прикреплен пучок вьюрковых перьев.

Мальчик неподвижно стоял перед Гуинпленом. Он походил на фигуру, привидевшуюся во сне.

Гуинплен узнал в нем слугу герцогини.

И, прежде чем Гуинплен успел вскрикнуть от удивления, он услыхал тоненький, не то детский, не то женский, голосок пажа, который говорил ему:

— Будьте завтра в этот же час у Лондонского моста. Я буду там и провожу вас.

— Куда? — спросил Гуинплен.

— Туда, где вас ждут.

Гуинплен перевел глаза на письмо, которое продолжал машинально держать в руке.

Когда он снова поднял их, грума уже не было. Вдали, на ярмарочной площади, двигался темный силуэт, быстро уменьшавшийся в размерах. Это уходил маленький слуга. Он завернул за угол и исчез из виду.

Гуинплен посмотрел на удалявшегося грума, потом на письмо. В жизни человека бывают мгновения, когда случившееся с ним как будто не случилось; оцепенение некоторое время не дает ему осознать происшедшее. Гуинплен поднес письмо к глазам, как будто хотел прочесть его, но только тут заметил, что не может сделать это по двум причинам: во-первых, конверт еще не был распечатан, во-вторых, было темно. Прошло несколько минут, прежде чем он сообразил, что

в гостинице горит фонарь. Он ступил два-три шага, но в сторону, как бы не зная, куда идти. Так двигался бы лунатик, получив письмо из рук призрака.

Наконец он очнулся от изумления и почти бегом направился к гостинице, остановился против приоткрытой двери и еще раз посмотрел при свете на запечатанное письмо. На печати не было никакого оттиска, а на конверте стояло только одно слово: «Гуинплену». Он сломал печать, разорвал конверт, развернул письмо, поднес его ближе к свету и прочел:

«Ты безобразен, а я красавица. Ты скоморох, а я герцогиня. Я — первая, ты — последний. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Приди».

Часть четвертая
Подземный застенок
1. Искушение святого Гуинплена

Иной огонь едва прорезывает окружающую темноту, иной же может воспламенить вулкан.

Бывают искры, которые могут вызвать пожар.

Гуинплен прочел письмо, затем перечитал его. Он ясно видел эти слова: «Я люблю тебя».

Страшные мысли одна за другой проносились

в его мозгу.

Первой была мысль о том, что он сошел с ума. Он помешался. В этом нет сомнения. Он видит то, чего на самом деле не существует. Призраки ночи сделали его, несчастного, своей игрушкой. Красный человечек только померещился ему. Иногда ночью болотный пар, уплотнившись, становится блуждающим огоньком и дразнит вас. Так и теперь: поиздевавшись, обманчивое видение исчезло, оставив позади себя обезумевшего Гуинплена. Чего только не померещится в темноте!

Вторая мысль была еще страшней: он понял, что находится в полном рассудке.

Привидение? Какой вздор! А это письмо? Оно у него в руках. Вот и конверт, печать, бумага, исписанная чьим-то почерком. Он знает, от кого это письмо. Ничего загадочного в этом приключении нет. Взяли перо, чернила, написали письмо. Зажгли свечу, запечатали конверт сургучом. Разве на конверте не стоит его имя: «Гуинплену»? Бумага надушена, Все ясно. И человечка он знает. Этот карлик — ее грум. Блуждающий огонек — ливрея. Грум назначил Гуинплену свидание на завтра, в этот же час, у въезда на Лондонский мост. Разве и Лондонский мост обман чувств? Нет, нет, все это

вполне вяжется одно с другим. Это ничуть не похоже на бред. Это — действительность. Гуинплен находится в здравом уме. Это не мираж, постепенно рассеивающийся в воздухе и исчезающий бесследно, это нечто вполне реальное. Гуинплен не сумасшедший; ему это вовсе не снится. И он снова и снова перечитывал письмо.

Ну да, конечно. Но что же это? Ведь тогда… Но ведь это непостижимо.

Женщина желает его! Если так, пускай отныне никто не произносит слова: «невероятно». Женщина желает его! Женщина, которая видела его лицо! А между тем она не слепая. Кто же она, эта женщина? Урод? Нет, красавица. Цыганка? Нет, герцогиня.

Что же под этим кроется и что же это значит? Как опасно такое торжество! И все же — как не устремиться очертя голову ему навстречу?

Как? Это та женщина, сирена, видение, леди, сияющий мрачным блеском призрак, зрительница в ложе! Да, это она, конечно она.

В груди Гуинплена запылал пожар. Это она — та странная незнакомка! Та самая, что смутила его покой! Волнующие мысли, словно распаленные этим темным огнем, снова овладели Гуинпленом, мысли, впервые возникшие в нем при виде этой

женщины. Забвение не что иное, как палимпсест. Случайность — и все, казалось уже стертое навеки, вдруг снова оживает между строками в изумленной памяти. Гуинплену казалось, что он изгнал этот образ из сердца, и вот он опять перед ним: он в нем запечатлелся, оставил, вопреки его воле, неизгладимый след в мозгу Гуинплена, обуреваемого мечтами. Без его ведома эти черты глубоко врезались ему в душу. Теперь зло было уже непоправимо, и он с увлечением снова отдался во власть неодолимым грезам.

Как! Он — предмет вожделения? Как! Принцесса сходит со ступенек трона, кумир спускается с алтаря, изваяние — со своего пьедестала, призрак — с облаков? Как! Из недр невозможного возникла химера? Как! Эта нимфа с плафона, это воплощение лучезарности, эта нереида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней, эта недосягаемо-величественная красавица со своей ослепительной высоты склоняется к Гуинплену? Как! Остановив над его головой свою, запряженную горлицами и драконами, колесницу Авроры, она говорит ему: «Приди!» Как! Ему, Гуинплену, выпал ужасный и славный жребий — унизить, низведя на землю, эмпирей? Эта женщина, если можно назвать женщиной обитательницу

иной, более совершенной планеты, эта женщина предлагает себя Гуинплену, отдается ему! Непостижимо! Богиня Олимпа — гетера, призывающая на ложе любви! И кого? Его, Гуинплена! Окруженные ореолом, ему раскрывались объятия блудницы, чтобы прижать его к груди богини. И это ничуть не позорит ее. К этим высшим существам не пристает никакая грязь. Свет омывает богов. И богиня, спускающаяся к нему, знает, что она делает. Ей известно чудовищное уродство Гуинплена. Она видела маску, заменявшую ему лицо! И эта маска не отталкивает ее! Гуинплен любим, несмотря на свое безобразие!

Это превосходило самые дерзкие мечты: он любим за свое безобразие! Маска не отвращает богиню — напротив, привлекает ее. Гуинплен не только любим — он вызывает страсть. Она не только снизошла к нему — она его избрала. Он — ее избранник!

Как! В царственной среде, окружавшей эту женщину, в среде блестящих, беспечных и могущественные людей, были принцы — она могла избрать принца; там были лорды — она могла выбрать лорда; были красивые, обворожительные, великолепные мужчины — она могла выбрать Адониса. И кем она соблазнилась? Гнафроном!

Там, где одни метеоры и молнии, она могла выбрать себе шестикрылого серафима, а остановила свой выбор на жалкой личинке, пресмыкающейся в тине. С одной стороны — сплошь высочества и сиятельства, величие, роскошь, слава, с другой — скоморох. И скоморох одержал верх над всеми! Какие же весы были в сердце этой женщины? Чем взвешивала она свою любовь? Эта женщина сняла с себя диадему герцогини и швырнула ее на подмостки клоуна. Эта женщина сняла со своего чела ореол богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот вверх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказались в заоблачных сферах, а созвездия — внизу, засасывал Гуинплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием среди клоаки. Всемогущая, возмутившись против красоты и роскоши, отдавала себя осужденному на вечный мрак, предпочитала Гуинплена Антиною: охваченная любопытством при виде тьмы, она спускалась в нее, и это отречение богини возводило ничтожное существо в царское достоинство, чудесным образом венчало его на царство. «Ты безобразен. Я люблю тебя». Эти слова льстили гордости Гуинплена с худшей ее стороны. Гордость — ахиллесова пята всех

героев. Гуинплен познал тщеславие урода. Его полюбили именно за его безобразие. Он в такой же мере, как Юпитер и Аполлон, а быть может и больше, чем они, был исключением. Он сознавал себя существом сверхчеловеческим и благодаря еще невиданному уродству — равным божеству. Ужасное ослепление.

Но что же это за женщина? Что он знал о ней? Все и ничего. Она — герцогиня, он это знал. Он знал, что она красива, богата, что у нее есть ливрейные лакеи, пажи, скороходы с факелами, сопровождающие украшенную короной карету. Он знал, что она влюблена в него, по крайней мере она ему об этом писала. Остального он не знал. Он знал ее титул, но не знал ее имени. Он знал ее мысли, но не знал ее жизни. Кто она: замужняя женщина, вдова или девушка? Свободна ли она или связана какими-нибудь узами долга? К какой семье она принадлежит? Не грозят ли ей западни, ловушки, тайные происки? Гуинплен и не подозревал, какая распущенность царит в высших, совершенно праздных слоях общества, он не думал, что на этих вершинах есть вертепы, где жестокие волшебницы предаются грезам среди жалких остатков былых любовных увлечений, не догадывался, на какие ужасные по своему циниз-

му опыты толкает скука женщину, полагающую, что она выше мужчины; он не имел ни малейшего представления об этом, ибо общественные низы плохо осведомлены о том, что происходит в высших сферах. Тем не менее он предчувствовал что-то дурное. Он отдавал себе отчет в мрачной природе этого блеска. Понимал ли он? Нет. Догадывался ли? Еще меньше! Что скрывалось за этим письмом? Распахнутая настежь дверь и в то же время какая-то внушающая тревогу преграда. С одной стороны — признание. С другой — загадка.

Признание и загадка — два голоса; привлекая и угрожая, они произносят одно и то же слово: «Дерзай».

Никогда еще коварный случай не действовал более умело, никогда еще искушение не приходило так кстати. Гуинплен, волнуемый весенним пробуждением природы, наливавшейся буйными соками, находился во власти чувственных мечтаний. Неистребимый, древний как мир инстинкт, которого никому из нас еще не удалось победить, просыпался в этом юноше, сохранившем до двадцати четырех лет всю целомудренную чистоту отрока. Именно в такое мгновение, в самую тягостную минуту кризиса, он получил любовное признание, и ему предста-

ла ослепительная в своей наготе грудь сфинкса. Молодость — это наклонная плоскость. Гуинплен скользил по ней, кто-то толкал его. Кто? Весна. Кто? Ночь. Кто? Эта женщина. Не будь апреля, люди были бы гораздо добродетельнее. Кустарники в цвету — шайка сообщников; любовь — воровка; весна — укрывательница.

Гуинплен был в смятении.

Дурному поступку предшествует нечто вроде испарений зла, от которых задыхается совесть. Искушаемую честность мутит от зловония преисподней. Пары, вырывающиеся оттуда, служат предупреждением для сильных и дурманом для слабых. Гуинплен испытывал это таинственное недомогание.

Перед ним, быстро сменяя друг друга, возникали неотвязные вопросы. Упорно соблазнявший его проступок принимал определенные очертания. Завтра в полночь, Лондонский мост, паж. Пойти? «Да!» — кричала плоть. «Нет!» — кричала душа.

Однако, как это ни странно на первый взгляд, надо сказать, что Гуинплен ни разу отчетливо не поставил перед собою вопроса: пойти ли ему? Соблазны влекут к себе украдкой, таясь от совести. Они напоминают чересчур крепкую водку,

которую нельзя выпить одним духом. Рюмку отодвигают — подождем немного, уже и от первого глотка кружится голова.

Одно было несомненно: он чувствовал, как что-то толкает его навстречу неведомому.

Он весь трепетал. Он видел, что стоит на краю пропасти. Он отступал назад, чуя со всех сторон угрозу. Он закрывал глаза. Он всячески старался уверить себя, что ничего не случилось, старался снова внушить себе, что потерял рассудок. Конечно, это было бы самым лучшим выходом из положения. Самое благоразумное — это считать себя сумасшедшим.

Роковая болезнь! Каждый, кто хоть раз был жертвой неожиданного, пережил минуты такой мрачной тревоги. Человек, сознательно относящийся к тому, что с ним происходит, всегда с ужасом прислушивается к глухим ударам тарана, которые судьба вдруг обрушивает на его совесть.

Увы, Гуинплен колебался! Но там, где нет никаких сомнений, в чем состоит наш долг, колебаться — значит потерпеть поражение.

Впрочем — и это следует отметить, — беззастенчивая откровенность письма, которая, вероятно, смутила бы человека испорченного, совершенно ускользнула от Гуинплена. Он не знал, что такое

цинизм. Мысль о разврате в тех формах, о которых говорилось выше, не приходила ему в голову. Он даже не был в состоянии этого понять. Он был слишком чист, чтобы столь сложным способом объяснить себе происшедшее. В этой женщине он видел только величие. Увы, он был польщен! Тщеславие заставило его обратить внимание только на победу. Для того же, чтобы заметить, что он оказался не столько предметом любви, сколько предметом бесстыдного любопытства, ему надо было обладать тем опытом, который отнюдь не свойствен невинности. Рядом со словами «Я люблю тебя» он не заметил ужасной приписки: «Я хочу тебя». Животная сущность богини ускользала от него.

Рассудок порою подвергается нашествию. У души есть свои вандалы — дурные мысли, совершающие опустошительные набеги на нашу добродетель. Тысяча самых противоположных мыслей одна за другой овладевали Гуинпленом, иногда они обрушивались на него все сразу. Затем все в нем успокаивалось. Тогда он сжимал голову руками, мрачно прислушиваясь к тому, что происходило в нем, точно созерцая ночной пейзаж.

Вдруг он заметил, что уже ни о чем не думает.

Размышляя, он постепенно дошел до того черного провала, в котором все исчезает. Он вспомнил, что давно пора вернуться домой. Было около двух часов ночи.

Он положил письмо, доставленное пажом, в боковой карман, но, сообразив, что так оно будет лежать прямо у сердца, вынул послание обратно, небрежно смяв, сунул его как попало в карман штанов и направился к гостинице. Он бесшумно вошел, не разбудив Говикема, который, ожидая его, заснул у стола, подложив руки под голову; запер дверь, зажег свечу о фонарь харчевни, задвинул засовы, повернул ключ в замке, машинально принимая все предосторожности человека, поздно возвращающегося домой, затем поднялся по лесенке «Зеленого ящика», прокрался в старый возок, служивший ему теперь спальней, посмотрел на спящего Урсуса, задул свечу, но не лег.

Так прошел целый час. Наконец, усталый, воображая, что постель и сон одно и то же, он, не раздеваясь, положил голову на подушку и, уступая темноте, закрыл глаза; но буря чувств, волновавших его, не унималась ни на минуту. Бессонница — это насилие ночи над человеком. Гуинплен очень страдал. В первый раз за всю

свою жизнь он был недоволен собой. К его удовлетворенному тщеславию примешивалась тайная боль. Что делать? Наступило утро. Он так и не нашел покоя. Он слышал, как поднялся Урсус, но глаз не открывал. Он думал. Слова письма снова возникали перед ним в хаотическом беспорядке. При сильном душевном смятении наша мысль становится похожей на волну. Она бурлит, куда-то рвется, порождая звуки, напоминающие глухой рокот моря. Прилив, отлив, толчки, водовороты, временами задержка у подножия утеса, град и дождь, тучи, в просветы которых прорывается луч, жалкие брызги никому не нужной пены, безумные взлеты, за которыми следует немедленное падение, огромные, попусту затраченные усилия, угроза кораблекрушения, со всех сторон мрак и гибель — все, что мы видим в морской пучине, можно наблюдать и в душе человека. Такую бурю переживал Гуинплен.

И вот, когда терзания его достигли высшего предела, Гуинплен, все еще лежавший с закрытыми глазами, услыхал близ себя сладостный голос:

— Ты спишь, Гуинплен?

Он сразу открыл глаза и присел на постели; дверь его каморки была приотворена, и на пороге стояла Дея. Ее глаза и губы улыбались неизъ-

яснимо прелестной улыбкой. Она возникла очаровательным видением, окруженная лучезарным ореолом, о котором сама и не догадывалась. Это было божественное мгновение. Гуинплен пристально всматривался в нее и, ослепленный ею, затрепетал и очнулся. Очнулся от чего? От сна? Нет, от бессонницы. Это была она, это была Дея! И вдруг он почувствовал в глубине своего существа не выразимое никакими словами внезапное успокоение бури и дивное торжество добра над злом; взгляд, устремленный на него с неба, совершил чудо; кроткая носительница света, слепая одним только своим присутствием рассеяла мрак, царивший в его душе; туманная завеса, застилавшая его духовный взор, упала, точно сорванная невидимой рукой, и — о, священный восторг! — Гуинплен почувствовал, как возвращаются к нему утраченные ясность и спокойствие. Благодаря этому ангелу он снова стал сильным, добрым, невинным Гуинпленом. В человеческой душе, как и во всем мироздании, бывают такие таинственные столкновения противоположностей. Оба молчали: она — свет, он — бездна; она — благая тишина, он — умиротворение; и над бурным сердцем Гуинплена, словно звезда морей, неизъяснимым блеском сияла Дея.

2. От сладостного к суровому

Как просто иногда совершается чудо. В «Зеленом ящике» настало время завтрака, и Дея просто пришла узнать, почему Гуинплен не идет к столу.

— Ты?! — воскликнул Гуинплен, и этим все было сказано.

Для него уже не существовало никаких других горизонтов, ничего другого, кроме неба, где была Дея.

Кто не видел улыбки моря, непосредственно следующей за ураганом, тот не может представить себе картину такого умиротворения. Ничто не успокаивается быстрее, чем пучина. Это объясняется легкостью, с какою она все поглощает. Таково и человеческое сердце. Впрочем, не всегда.

Стоило появиться Дее, как все, что было светлого в душе юноши, устремилось к ней, и все призраки бежали прочь от ослепленного Гуинплена. Какая великая сила любовь!

Несколько мгновений спустя оба сидели друг против друга, Урсус между ними, Гомо — у их ног. Чайник, над которым горела лампочка, стоял

на столе. Фиби и Винос были чем-то заняты во дворе.

Завтракали, так же как и ужинали, в среднем отделении фургона. Узенький стол был расположен таким образом, что Дея сидела спиною к окну, служившему также и входной дверью «Зеленого ящика». Гуинплен наливал Дее чай. Колени их соприкасались.

Дея грациозно дула в свою чашку. Вдруг девушка чихнула. Это произошло как раз в то мгновение, когда над лампой рассеивался дымок и что-то вроде листка бумаги рассыпалось пеплом. От этого-то дымка и чихнула вдруг Дея.

— Что это? — спросила она.

— Ничего, — ответил Гуинплен.

И улыбнулся.

Он только что сжег письмо герцогини.

Совесть любящего мужчины — ангел-хранитель любимой им женщины.

Уничтожив письмо, Гуинплен почувствовал странное облегчение. Он ощутил свою честность, как орел ощущает мощь своих крыльев.

Ему показалось, что с этим дымком улетучивается и соблазн, что вместе с клочком бумаги обратилась в пепел и сама герцогиня.

Путая свои чашки, беря одну вместо другой,

они без умолку говорили. Лепет влюбленных — чириканье воробышков. Ребячество, достойное Матушки-Гусыни и Гомера. Беседа двух влюбленных сердец — вершина поэзии, звук поцелуев — вершина музыки.

— Знаешь что?

— Нет.

— Гуинплен, мне снилось, будто мы звери и будто у нас крылья.

— Раз крылья — значит, мы птицы, — шепотом произнес Гуинплен.

— А звери — значит, ангелы, — буркнул Урсус.

Разговор продолжался.

— Если б тебя не было на свете, Гуинплен…

— Что тогда?

— Это значило бы, что нет бога.

— Чай очень горячий. Ты обожжешься, Дея.

— Подуй на мою чашку.

— Как ты сегодня хороша!

— Знаешь, мне надо так много сказать тебе.

— Скажи.

— Я люблю тебя!

— Я обожаю тебя!

Урсус бормотал про себя:

— Вот славные люди, ей-богу!

В любви особенно восхитительны паузы. Как

будто в эти минуты накопляется нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями.

Помолчав немного, Дея воскликнула:

— Если б ты знал! Вечером во время представления, когда я дотрагиваюсь до твоего лба… — о, у тебя благородное чело, Гуинплен! — в ту минуту, когда я чувствую под своими пальцами твои волосы, меня охватывает трепет, я испытываю неизъяснимую радость, я говорю себе: в этом мире вечной ночи, окружающей меня, в этой Вселенной, где я обречена на одиночество, в необъятном, мрачном хаосе, в котором я нахожусь и где все так обманчиво-зыбко во мне и вне меня, существует только одна точка опоры. Это он, — это ты.

— О, ты любишь меня, — промолвил Гуинплен. — У меня тоже нет на земле никого, кроме тебя. Ты для меня все. Потребуй от меня чего угодно, Дея, и я сделаю. Чего бы ты желала? Что мне надо сделать для тебя?

Дея ответила:

— Не знаю. Я счастлива.

— О да, — подхватил Гуинплен, — мы счастливы.

Урсус строго повысил голос:

— Ах так! Вы счастливы? Это почти преступ-

ление. Я уже предупреждал вас. Вы счастливы? Тогда старайтесь, чтобы вас никто не видел. Занимайте как можно меньше места. Счастье должно забиваться в самый тесный угол. Съежьтесь еще больше, станьте еще незаметнее. Чем незначительнее человек, тем больше счастья перепадет ему от Бога. Счастливые люди должны прятаться, как воры. Ах, вы сияете, жалкие светляки, — ладно, вот наступят на вас ногой, и отлично сделают! Что это за дурацкие нежности? Я не дуэнья, которой по должности положено смотреть, как целуются влюбленные голубки. Вы мне надоели, в конце концов. Убирайтесь к черту!

И, чувствуя, что его суровый тон все смягчается, становится почти нежным, он, скрывая свое волнение, заворчал еще громче.

— Отец, — сказала Дея, — почему у вас такой сердитый голос?

— Это потому, — ответил Урсус, — что я не люблю, когда люди слишком счастливы.

Тут Урсуса поддержал Гомо. У ног влюбленной пары послышалось рычанье волка.

Урсус наклонился и положил руку на голову Гомо.

— Ну вот, ты тоже не в духе. Ты ворчишь. Вон как ощетинилась шерсть на твоей волчьей баш-

ке! Ты не любишь любовного сюсюканья. Это потому, что ты умен. Но все равно молчи. Ты поговорил, ты высказал свое мнение. Теперь — ни гу-гу.

Волк снова зарычал.

Урсус заглянул под стол.

— Смирно, говорю тебе, Гомо. Ну, не упрямься, философ.

Но волк вскочил на ноги и, глядя на дверь, оскалил клыки.

— Что с тобой? — спросил Урсус и схватил Гомо за загривок.

Дея, не обращая внимания на ворчанье волка, вся погруженная в собственные мысли, наслаждалась звуком голоса Гуинплена и молчала в том свойственном одним лишь слепым состоянии экстаза, порою дающего им возможность слышать пение, которое звучит у них в душе и заменяет им какой-то неведомой музыкой недостающий свет. Слепота — мрак подземелья, откуда слышна глубокая, вечная гармония.

В то время как Урсус, уговаривая Гомо, опустил голову, Гуинплен поднял глаза.

Он поднес ко рту чашку чая, но не стал пить ее; с медлительностью ослабевшей пружины он поставил ее обратно на стол, его пальцы так и

остались разжатыми, он весь замер и, не дыша, устремил глаза в одну точку.

В дверях, за спиною Деи, стоял какой-то человек.

Незнакомец был одет в длинный черный плащ с капюшоном. Его парик был надвинут до самых бровей, в руках он держал железный кованый жезл и короной на обоих концах. Жезл был короткий и массивный.

Вообразите себе Медузу, просунувшую голову между двумя ветвями райского дерева.

Урсус почувствовал, что кто-то вошел; не выпуская Гомо, он поднял голову и узнал страшного гостя. Он задрожал всем телом.

— Это жезлоносец, — шепнул он на ухо Гуинплену.

Гуинплен вспомнил.

Он чуть было не вскрикнул от удивления, но удержался. Железный жезл с короной на концах был iron-weapon.

Это тот знаменитый жезл, на котором городские судьи, вступая в должность, приносили присягу и от которого прежние полицейские в Англии получили свое название.

Позади человека в парике вырисовывалась в полумраке фигура перепуганного хозяина го-

стиницы.

Человек, не произнося ни слова и как бы олицетворяя собой немую Фемиду древних хартий, протянул правую руку над головой улыбающейся Деи и, дотронувшись железным жезлом до плеча Гуинплена, в то же время большим пальцем левой руки указал на дверь «Зеленого ящика». Двойной этот жест, казавшийся еще повелительнее благодаря молчанию жезлоносца, означал: «Следуйте за мной».

«Pro signo exeundj, sursum trahe»[213], — говорится в нормандском своде монастырских грамот.

Тот, на кого опускался железный жезл, терял все права, кроме права повиноваться. Никаких возражений против безмолвного приказания не разрешалось. Английское законодательство грозило ослушнику самыми беспощадными карами.

Почувствовав на себе суровую длань закона, Гуинплен вздрогнул, потом сразу точно окаменел.

Сильный удар по голове оглушил бы его не больше, чем это простое прикосновение железного жезла к плечу. Он видел, что ему приказано следовать за полицейским. Но почему? Этого он не понимал.

---

[213] Сноски: 213
По знаку встань и выйди (*лат.*).

Урсус, тоже как громом пораженный, все-таки довольно ясно отдавал себе отчет в происшедшем. Он думал о своих конкурентах, фиглярах и проповедниках, о доносах на «Зеленый ящик», о преступнике-волке, о своих препирательствах с тремя бишопсгейтскими инквизиторами и — как знать? — последнее было ужаснее всего — о непристойных и крамольных словах Гуинплена насчет королевской власти. Он был сильно испуган.

А Дея улыбалась.

Ни Гуинплен, ни Урсус не проронили ни слова. У обоих возникла одна и та же мысль: не тревожить Дею. Волк, должно быть, решил поступить так же, ибо перестал ворчать. Правда, Урсус продолжал держать его за загривок.

Впрочем, Гомо в некоторых случаях соблюдал осторожность. Кому не приходилось замечать, как сдержанно проявляется иногда беспокойство у животных?

Быть может, в той мере, в какой волк способен понимать людей, Гомо чувствовал себя преступником.

Гуинплен встал.

Он знал, что сопротивляться немыслимо, он помнил слова Урсуса, что никаких вопросов зада-

вать нельзя. Он вытянулся перед представителем закона во весь рост.

Пристав снял с его плеча железный жезл и повелительным жестом простер его вперед; в те времена этот жест полицейского был понятен всякому и означал:

«Этот человек один пойдет со мною. Все остальные пусть остаются на своих местах. Ни звука».

Вопросов не допускалось. Полиция во все времена с особым рвением пресекала праздные разговоры. Этот вид ареста назывался «секвестром личности».

Пристав одним движением, точно заводная кукла, вращающаяся вокруг собственной оси, повернулся спиной и важным, размеренным шагом направился к выходу. Гуинплен посмотрел на Урсуса.

Урсус ответил ему сложной мимикой: поднял плечи, прижал локти к бокам и, отставив руки, взметнул кверху брови, что должно было означать: «Покоримся неведомой судьбе».

Гуинплен взглянул на Дею. Она о чем-то задумалась; Улыбка застыла на ее лице.

Он приложил пальцы к губам и послал ей невыразимо нежный поцелуй.

Как только пристав повернулся к Урсусу спи-

ной, тот, набравшись смелости, воспользовался этим мгновением, чтобы шепнуть на ухо Гуинплену:

— Если тебе дорога жизнь, не открывай рта, молчи, пока не спросят.

Стараясь не производить ни малейшего шума, как человек, находящийся в комнате больного, Гуинплен снял со стены шляпу и плащ, завернулся в него до самых глаз, а шляпу низко надвинул на лоб; так как накануне он лег не раздеваясь, на нем был рабочий костюм и кожаный нагрудник; он еще раз взглянул на Дею; пристав, дойдя до наружной двери «Зеленого ящика», поднял кверху жезл и стал спускаться по откидной лесенке; Гуинплен пошел за ним, точно тот тащил его на невидимой цепи; Урсус посмотрел вслед уходящему Гуинплену; в эту минуту волк принялся жалобно выть, но Урсус сразу призвал его к порядку, шепнув: «Он скоро вернется».

На дворе Никлс, видимо желая угодить полицейскому, гневным жестом велел замолчать вопившим от ужаса Винос и Фиби: с отчаянием смотрели они, как человек в черном плаще и с железным жезлом уводит Гуинплена.

Девушки стояли словно каменные, словно вдруг обратились в сталактиты.

Ошеломленный Говикем, вытаращив глаза, глядел в полурастворенное окно.

Пристав, не оборачиваясь, шел на несколько шагов впереди Гуинплена с тем ледяным спокойствием, которое дается человеку сознанием, что он олицетворяет собою закон.

В гробовом молчании они прошли через двор, затем через зал кабачка и вышли на площадь. Перед дверью гостиницы толпилась кучка прохожих, и стоял наряд полиции во главе с судебным приставом. Пораженные зрелищем зеваки, не проронив ни звука, расступились перед жезлом констебля с дисциплинированностью, свойственной каждому англичанину; пристав направился узкими переулками, которые тянулись вдоль Темзы; Гуинплен, конвоируемый с обеих сторон отрядом полицейских, бледный, не делая никаких движений, кроме тех, которых требует ходьба, закутавшись в плащ, точно в саван, медленно удалялся от гостиницы, безмолвно шествуя за молчаливым человеком, подобно статуе, которая сопровождала бы призрак.

3. Lex, rex, fex – Закон, король, чернь

Арест без объяснения причин, который сильно удивил бы нынешнего англичанина, был приемом весьма частым в полицейской практике тогдашней Великобритании. К нему прибегали еще в царствование Георга II, невзирая на habeas corpus, особенно в тех щекотливых случаях, в каких во Франции пускали в ход тайные повеления об арестах, так называемые lettres de cachet; одно из обвинений, предъявленных Уолполу, заключалось в том, что он допустил или даже сам распорядился задержать Нейгофа именно таким образом. Обвинение это было, по всей вероятности, недостаточно обосновано, ибо Нейгоф, корсиканский король, был посажен в тюрьму своими кредиторами.

Безмолвные аресты, нашедшие себе широкое применение в практике фемгерихта, допускались германским обычаем, легшим в основу доброй половины английских законов, и в некоторых случаях поощрялись обычаем нормандским, дух которого сказывается в другой их половине. Начальник дворцовой стражи Юстиниана именовался «императорским блюстителем

молчания» — silentiarius imperialis. Английская магистратура, прибегавшая к подобным арестам, опиралась на многочисленные нормандские тексты: Canes latrant, sergentes silent. — Sergenter agere, id est tacere[214]. Она ссылалась на параграф 16 статута Ландульфа Сагакса: Facit imperator silentium[215]. Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 года: Multos tenebimus bastonerios qui, obmutescentes, sergentare valeant[216]. Она приводила выдержки из главы LIII статута Генриха I, короля Англии: Surge signo jussus. Taciturnior esto. Hoc est esse in captione regis[217]. Особенно охотно пользовалась она предписанием, которое рассматривалось ею как одна из наиболее старинных феодальных привилегий Англии и которое гласило: «Под началом виконтов состоят военные сержанты, каковые обязаны карать по всей строгости законов всех вступивших в

[214] Сноски: 214

Собаки лают, служители закона безмолвствуют. Служить закону — значит молчать (*лат.*).

[215] Сноски: 215

Император водворяет безмолвие (*лат.*).

[216] Сноски: 216

Мы будем содержать многих жезлоносцев, которым надлежит молча исполнять свои обязанности (*лат.*).

[217] Сноски: 217

Встань по приказу, данному знаком. Будь безмолвен. Так должно вести себя при задержании по королевской воле (*лат.*).

злонамеренные общества, всех обвиненных в каком-либо тяжком преступлении, людей беглых и однажды присужденных к изгнанию… обязаны применять столь внушительные меры тайного устрашения, чтобы мирное население продолжало жить спокойно, а злоумышленники были обезврежены…» Быть задержанным на основании этого постановления значило быть схваченным вооруженной стражей (Vetus Consuetude Normanniae, MS.[218], часть I, раздел I, глава II). Юрисконсульты, кроме того, приводили главу о servientes spathae из Charta Ludovici Hutini pro normannis[219]. Servientes spathae по мере приближения вульгарной латыни к современному разговорному языку превратились в sergentes spadae[220].

Безмолвные аресты были противоположностью крику «Держи его» и указывали на то, что надлежит соблюдать молчание, покуда не будут выяснены некоторые обстоятельства.

Они были предупреждением: никаких вопро-

---

[218] Сноски: 218
Древний нормандский статут в рукописи (*лат.*).

[219] Сноски: 219
Служители меча — из хартии Людовика Восьмого о норманнах (*лат.*).

[220] Сноски: 220
Сержанты шпаги (*лат.*).

сов!

Когда полиция производила такие аресты, это указывало, что они производились по государственным соображениям.

К арестам этого рода прилагался правовой термин private, то есть «при закрытых дверях».

Именно таким образом, по свидетельству некоторых историков, Эдуард III подверг Мортимера задержанию в постели своей матери Изабеллы Французской. Впрочем, этот факт отнюдь не бесспорен, ибо есть сведения, что Мортимер выдержал в своем городе целую осаду, прежде чем его захватили.

Уорик, «делатель королей», охотно пользовался этим способом «привлечения людей к суду».

Кромвель тоже применял его, особенно в Коннауте: именно так, соблюдая молчание, был арестован в Кильмеко родственник графа Ормонда — Трейли-Аркло.

Личное задержание по молчаливому знаку представителя правосудия являлось скорее вызовом в суд, нежели арестом.

Иногда оно было всего-навсего способом производства дознания, и в самом молчании, налагаемом на всех присутствующих, проявлялось стремление оградить в какой-то мере интересы

арестованного.

Однако народу, плохо разбиравшемуся в таких тонкостях, эти безмолвные аресты представлялись особенно страшными.

Не следует забывать, что в 1705 году, и даже значительно позднее, Англия была не та, что теперь. Весь ее внутренний уклад был крайне сумбурен и порою чрезвычайно тягостен для населения. В одном из своих произведений Даниэль Дефо, который на собственном опыте узнал, что такое позорный столб, характеризует общественный строй Англии словами: «железные руки закона». Страшен был не только закон, страшен был произвол. Вспомним хотя бы Стиля, изгнанного из парламента; Локка, прогнанного с кафедры; Гоббоа и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса. Если начать перечислять все жертвы статута seditious libel, список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы; ее приемы сыска стали школой для многих. В Англии было возможно самое чудовищное посягательство на основные права ее обитателей; пусть вспомнят хотя бы о «газетчике в панцире». В середине восемнадцатого века, по приказу

Людовика XV, на Пикадилли хватали неугодных ему писателей. Правда, и Георг III арестовал во Франции в зале Оперы претендента на престол. Это были две чрезвычайно длинные руки: рука французского короля дотягивалась до Лондона, а рука английского короля — до Парижа. Такова была свобода.

Прибавим, что власть охотно прибегала к казням в стенах тюрьмы; к казни примешивался обман. То был омерзительнейший способ действий, к которому Англия возвращается в наши дни, являя тем самым всему миру чрезвычайно странное зрелище: в поисках лучшего эта великая держава избирает худшее и, стоя перед выбором между прошлым, с одной стороны, и прогрессом, с другой, — допускает жестокую ошибку, принимая ночь за день.

4. Урсус выслеживает полицию

Как мы уже говорили, по суровым законам того времени обращенное к кому-либо требование следовать за жезлоносцем являлось для всех присутствующих при этом приказанием не двигаться с места.

Тем не менее кое-кто из любопытных этому

требованию не подчинился и издали сопровождал группу полицейских, уводивших Гуинплена. В числе их был и Урсус.

В первое мгновение он окаменел, как только может окаменеть человек. Но столько раз уже приходилось ему сталкиваться со случайностями бродячей жизни, со всякими неожиданными злоключениями, что, подобно военному судну, на котором в минуту тревоги вызывается к боевым постам весь экипаж, он объявил сам себе аврал, призвав на помощь весь свой разум.

Он поспешил сбросить с себя оцепенение и стал размышлять. В беде нельзя поддаваться панике, беде надо смотреть прямо в лицо; это долг каждого, если только он не дурак.

Не доискиваться долго смысла события, но действовать. Действовать немедленно. Урсус задал себе вопрос: «Что делать?»

Теперь, когда Гуинплена увели, перед Урсусом встал трудный выбор: страх за судьбу Гуинплена гнал его за ним, страх за самого себя подсказывал решение не трогаться с места.

Урсус обладал отвагой мухи и стойкостью мимозы. Его объял неописуемый трепет. Однако он героически поборол все колебания и решил, вопреки закону, пойти за жезлоносцем, — до

такой степени он был встревожен тем, что могло произойти с Гуинпленом. Видно, он очень перепугался, если проявил такое мужество. На какие только отважные поступки не толкает порою зайца смертельный страх! Испуганная серна способна перескочить через пропасть. Полное забвение осторожности — одна из форм страха.

Гуинплена скорее похитили, чем арестовали. Полиция действовала так быстро, что на ярмарочной площади, еще малолюдной в этот ранний час, арест Гуинплена прошел незаметно. В балаганах Таринзофилда почти никто и не знал о том, что жезлоносец приходил за «Человеком, который смеется». Вот почему кучка людей, сопровождавших шествие, была очень невелика.

Благодаря плащу и войлочной шляпе, закрывавшим все лицо Гуинплена, кроме глаз, прохожие не узнавали его.

Прежде чем пойти за Гуинпленом, Урсус принял меры предосторожности. Отозвав в сторону Никлса, Говикема, Фиби и Винос, он строго-настрого приказал им хранить обо всем полное молчание при Дее, которая так ни о чем и не подозревала; ни единым словом не проговориться при ней о случившемся и для того, чтобы она ни о чем не догадалась, объяснить отсутствие Гуинплена

и Урсуса хлопотами по театральным делам; скоро наступит час ее предобеденного сна, и, прежде чем она проснется, Урсус возвратится вместе с Гуинпленом, ибо все это сплошное недоразумение, mistake, как говорится в Англии; им обоим, ему и Гуинплену, без малейшего труда удастся все разъяснить суду и полиции, они докажут властям их ошибку, и оба вскоре вернутся домой.

Урсусу удалось следовать за Гуинпленом совсем незаметно, ибо он старался держаться как можно дальше от него; и все же он умудрился не потерять его из виду. Смелое подглядывание — храбрость робких.

В конце концов, несмотря на всю торжественность, с которой арестовали Гуинплена, быть может его вызвали в полицию из-за какого-нибудь маловажного проступка. Урсус успокаивал себя, что вопрос может быть разрешен без проволочки.

Кое-что выяснится тут же в зависимости от того, в какую сторону направится отряд полицейских, когда дойдет до конца Таринзофилда и вступит в один из переулков Литтл-стренда.

Если он повернет налево, то это значит, что Гуинплена ведут в Саутворкскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не при-

ходится: какое-нибудь пустячное нарушение городских постановлений; выговор судьи, два-три шиллинга штрафа. Гуинплена отпустят, и представление «Побежденного хаоса» состоится в тот же вечер в обычное время. Никто ничего не заметит.

Если же отряд повернет направо — дело серьезное; в этом направлении находились грозные места.

Когда жезлоносец, возглавлявший двойную шеренгу полицейских, конвоировавших Гуинплена, дошел до Литтл-стренда, Урсус, затаив дыхание, впился в него главами. Бывают моменты, когда все силы человека сосредоточиваются в его взгляде.

Куда же они повернут?

Отряд повернул направо.

Урсус зашатался от ужаса и прислонился к стене, чтобы не упасть.

Нет ничего лицемернее слов, с которыми в иные минуты человек обращается к самому себе: «Надо узнать, в чем дело». В глубине души он совсем этого не желает. В нем говорит один лишь страх. К тревоге присоединяется еще и смутное опасение сделать какие-либо выводы. Человек сам себе в этом не сознается, но он уже охотно

попятился бы обратно и, ступив шаг вперед, уже упрекает себя в этом.

Так было и с Урсусом. Он с трепетом подумал: «Дело принимает дурной оборот. Я всегда успел бы узнать об этом. Зачем я пошел за Гуинпленом?»

Придя к такому заключению, он — ибо всякий человек соткан из противоречий — ускорил шаг и, преодолевая страх, поспешил нагнать полицейских, чтобы в лабиринте саутворкских улиц не разорвалась нить, соединявшая его с Гуинпленом.

Полицейский отряд не мог двигаться быстрее из-за торжественности шествия.

Шествие открывалось жезлоносцем.

Оно замыкалось судебным приставом.

Все это требовало известной медлительности.

Все величие, какое только способно воплощать в себе должностное лицо, сказывалось в наружности этого замыкавшего шествие судебного пристава. Его костюм представлял собой нечто среднее между роскошным одеянием оксфордского доктора музыки и скромным черным платьем кембриджского доктора богословия. Из-под длинного годберга, то есть мантии, подбитой мехом норвежского зайца, выглядывал камзол

дворянина. Внешность у этого человека была наполовину средневековая: на голове парик, как у Ламуаньона, а рукава широкие, как у Тристана Отшельника. Его большие круглые глаза по-совиному уставились на Гуинплена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли можно было встретить более свирепого малого.

Урсус немного сбился с пути среди извилистых переулков, но у церкви святой Марии Овер-Рэй ему удалось нагнать шествие, которое, к счастью, задержала драка между мальчишками и собаками — обычная сцена на улицах тогдашнего Лондона; в старинных полицейских протоколах, отводящих собаке место впереди детей, она значилась под рубрикой «dogs and boys» — «собаки и мальчишки».

Человек, которого под конвоем полиции вели к судье, был в то время самым заурядным явлением, и так как у каждого были свои собственные дела, кучка любопытных вскоре разбрелась. Один только Урсус продолжал идти по следам Гуинплена.

Миновали две часовни, стоявшие одна против другой и принадлежавшие двум сектам, существующим еще и в наши дни: общине «Религиозного отдыха» и «Лиге аллилуйи».

Затем шествие, извиваясь, переходило из переулка в переулок, выбирая по преимуществу еще не застроенные улицы, поросшие травой, безлюдные проходы между домами, и делая много поворотов. Наконец оно остановилось. Это был глухой переулок. Никаких жилых строений, кроме двух-трех лачуг в самом начале его. Переулок пролегал между двумя стенами — низкой слева и высокой каменной стеной справа. Эта почерневшая от времени стена саксонской кладки с зубцами была укреплена железными «скорпионами» и прорезана узенькими отдушинами, закрытыми толстой решеткой. Ни одного окна; только кое-где отверстия, служившие некогда амбразурами для камнеметов и старинных пищалей. В самом низу стены виднелась маленькая калитка, похожая на дверцу мышеловки.

Эта калитка с решетчатым оконцем была проделана в полукруглом углублении массивного свода и висела на узловатых прочных петлях; она была заперта на большой замок, снабжена тяжелым молотком, сплошь усеяна гвоздями и словно покрыта панцирем из металлических пластинок и блях: в ней было больше железа, чем дерева.

В переулке — ни души. Ни лавок, ни прохожих. Но откуда-то поблизости доносился непрерыв-

ный шум, как будто рядом с переулком протекал бурный поток. Это был гул голосов и грохот экипажей. Возможно, что по другую сторону почерневшего здания проходила большая улица, вероятно главная улица Саутворка, упиравшаяся одним концом в Кентерберийскую дорогу, а другим — в Лондонский мост.

На всем протяжении переулка случайный наблюдатель мог бы обнаружить, кроме конвоя, окружавшею Гуинплена, только одно человеческое лицо — смертельно бледный профиль Урсуса, который рискнул наполовину высунуться из тени, падавшей от стены. Он притаился в одном из коленчатых изгибов переулка, смотрел и боялся увидеть.

Отряд выстроился перед калиткой.

Гуинплен находился в центре, но теперь жезлоносец со своим железным жезлом стоял позади него. Судебный пристав поднял молоток и постучал три раза. Оконце открылось. Судебный пристав произнес:

— По указу Ее Величества.

Тяжелая дубовая, окованная железом дверь повернулась на петлях, открылся темный, холодный проем, напоминавший вход в пещеру. Страшный свод терялся во мраке.

Урсус видел, как Гуинплен исчез под этим сводом.

5. Ужасное место

Жезлоносец вошел вслед за Гуинпленом. За жезлоносцем — судебный пристав. За ним — весь отряд. Калитка захлопнулась.

Тяжелая дверь вплотную прилегла к каменному косяку, и не было видно, ни кто открыл ее, ни кто ее запер. Казалось, засовы сами собой вошли в скобы. В некоторых очень давней постройки смирительных домах еще существуют подобные механизмы, служившие в старину для вящего устрашения преступника. Дверь, привратник которой оставался незримым. Это придавало тюремным воротам сходство с вратами ада.

Эта калитка была задним ходом Саутворкской тюрьмы.

В этом покрытом плесенью угрюмом здании не было ни одной детали, которая шла бы вразрез с мрачным видом, свойственным всякой тюрьме.

Языческий храм, воздвигнутый некогда катьюкланами в честь могонов, древних божеств Англии, ставший впоследствии дворцом для Этелульфа и крепостью для Эдуарда Святого, а в 1199

году превращенный Иоанном Безземельным в место заключения, — вот что представляла собою Саутворкская тюрьма. Это сооружение, вначале пересеченное улицей, подобно тому как Шенонсо пересекается рекой, в течение одного или двух столетий было тем, что по-английски называется gate, то есть укрепленной заставой городского предместья; затем проезд заложили. В Англии еще сохранилось несколько тюрем этого типа: в Лондоне — Ньюгейт, в Кентербери — Вестгейт, в Эдинбурге — Кенонгейт. Французская Бастилия на первых порах тоже служила заставой.

Почти все английские тюрьмы имели один и тот же внешний вид: снаружи — высокая стена, внутри — целый улей тюремных камер. Трудно представить себе что-либо мрачнее этих готических тюрем, в которых паук и правосудие ткали свою паутину и куда в то время не проник еще, подобно солнечному лучу, Джон Ховард. Все они, подобно старинной брюссельской «геенне», могли бы быть названы «домом слез».

Глядя на эти угрюмые здания, люди испытывали ту же щемящую тоску, какую чувствовали древние мореплаватели, проезжая мимо ада рабов, упоминаемого Плавтом, мимо островов железного лязга, ferricrepiditae insulae, при при-

ближении к которым слышен был звон цепей.

В Саутворкскую тюрьму, старинное место пыток и изгнания бесов, вначале сажали преимущественно колдунов, как на то указывало полустершееся двустишие, высеченное на камне над калиткой:

> *Sunt arreptitii vexati daemone multo.*
>
> *Est energumenus quem daemon possidet unus*[221].

Эти стихи устанавливают тонкое различие между одержимым и бесноватым.

Над этой надписью была прибита к стене виселичная лестница — символ высшего правосудия; она была когда-то сделана из дерева, но окаменела, будучи зарыта в землю близ Вобурнского аббатства, в Асплей-Говисе, почва которого обладает свойством все превращать в камень.

Саутворкская тюрьма, ныне уже разрушенная, выходила на две улицы, сообщавшиеся между собой в те времена, когда она служила воротами; в ней было два входа: один, парадный, с главной улицы, предназначавшийся для властей, другой — с переулка, «скорбный вход», для всех прочих

---

[221] Сноски: 221

Бесноватые — это те, кого мучат многие бесы. Тот, кем владеет лишь один бес, — только одержимый (*лат.*).

смертных, а также для покойников, ибо когда в тюрьме умирал заключенный, его труп выносили в эту калитку. Это было тоже своего рода освобождение. Смерть — свобода, даруемая вечностью.

Этим «скорбным входом» Гуинплена ввели в тюрьму.

Переулок, как мы уже говорили, представлял выложенную камнем узкую дорожку, сжатую с обеих сторон стенами. В Брюсселе есть такой переулок, именуемый «Улицей для одного прохожего». Стены были неравной высоты: высокая стена была стеной тюрьмы, низкая — оградой кладбища. Эта ограда, за которой окончательно превращалось в прах тело, наполовину сгнившее в тюрьме, была не выше человеческого роста. Ее ворота приходились как раз напротив тюремной калитки. Покойнику только и было труда, что перебраться через улицу. Достаточно было сделать двадцать шагов вдоль стены, чтобы очутиться на кладбище. К высокой стене была прибита виселичная лестница; напротив, на кладбищенской ограде, красовалось изваяние черепа. Одна стена нисколько не ослабляла мрачного впечатления от другой.

6. Какие судебные чины скрывались под париками того времени

Если бы кто-нибудь в эту минуту посмотрел, что творится по другую сторону тюрьмы — со стороны ее фасада, он увидел бы главную улицу Саутворка и мог бы заметить у монументального парадного подъезда здания дорожную карету с крытыми козлами, напоминавшую нынешние кабриолеты. Ее окружала кучка любопытных. Карета была разукрашена гербами, и толпа видела, как из нее вышел человек, который исчез затем в дверях тюрьмы; вероятно, судья, — решили присутствовавшие, ибо в Англии судьи часто бывали из дворян и имели «право на герб». Во Франции герб и судейская мантия почти всегда исключали друг друга; герцог Сен-Симон, говоря о судьях, как-то выразился: «люди этого сословия». В Англии же звание судьи нисколько не бесчестило дворянина.

В Англии существуют должности выездных судей; они называются «окружными судьями», и не было ничего проще, как принять эту карету за экипаж судьи, совершающего объезд. Несколько

необычным казалось только то, что предполагаемый судья вышел не из самой кареты, а сошел с козел, где хозяин обычно не сидит. Другая странность: в ту эпоху в Англии путешествовали либо в дилижансе, уплачивая по шиллингу за каждые пять миль, либо верхом, с оплатой по три су за милю и по четыре су форейтору после каждого перегона; тот, кто позволял себе путешествовать на перекладных в собственной карете, платил за каждую лошадь и за каждую милю столько шиллингов, сколько су платил ехавший верхом; карета же, остановившаяся у подъезда Саутворкской тюрьмы, была запряжена четверкой лошадей и управлялась двумя форейторами — княжеская роскошь. Наконец больше всего возбуждало любопытство и сбивало с толку то обстоятельство, что карета была тщательно закрыта со всех сторон. Верх был поднят. Окошечки были защищены ставнями; все отверстия, куда только мог проникнуть глаз, заслонены; снаружи нельзя было видеть того, что было внутри экипажа, и, вероятно, изнутри точно так же не было видно ничего из происходившего снаружи. Впрочем, судя по всему, в карете никого не было.

Так как Саутворк входил в состав Серрейского графства, то Саутворкская тюрьма была

подведомственна серрейскому шерифу. Такое разграничение подсудности было в Англии явлением обычным. Так, например, лондонский Тауэр считался расположенным вне территории какого-либо графства, то есть, с точки зрения юридической, как бы висел в воздухе. Тауэр не признавал никаких судебных властей, кроме своего констебля, носившего звание custos turris[222]. Тауэр имел свою собственную юрисдикцию, свою церковь, свой суд, свое особое управление. Власть кустода, или констебля, простиралась и за пределы Лондона на двадцать одно селение.

В Великобритании существует множество юридических несообразностей: так, в частности, должность главного канонира Англии подчинена лондонскому Тауэру.

Другие обычаи, получившие силу закона, кажутся еще более странными. Например, английский морской суд руководствуется в своей практике законами Родоса и Олерона (французского острова, некогда принадлежавшего англичанам).

Шериф графства был весьма важным лицом. Он всегда был эсквайром, а иногда и рыцарем.

---

[222] Сноски: 222
Страж башни (*лат.*).

В старинных хартиях он именуется spectabilis — человеком, на которого надлежит смотреть. Этот титул занимал среднее место между illustris и clarissimus[223]: он был ниже первого и выше второго. Шерифы графств некогда избирались народом; но с тех пор как Эдуард II я вслед за ним Генрих VI сделали назначение на эту должность прерогативой короны, шерифы, стали представителями королевской власти. Все они назначались его величеством, за исключением шерифа уэстморлендского, должность которого являлась наследственной, а также шерифов Лондона и Миддлсекса, избиравшихся самим населением в Commonhall. Шерифы Уэльса и Честера пользовались известными правами фискального характера. Все эти должности существуют в Англии и поныне, но мало-помалу, испытав на себе влияние новых обычаев и новых идей, уже утратили свои прежние характерные особенности. На шерифе графства лежала, между прочим, обязанность сопровождать выездных судей и при случае оказывать им покровительство. Подобно тому, как у человека две руки, у шерифа было два помощника; правой его рукой был собственно

[223] Сноски: 223
Преславный и светлейший (*лат.*).

помощник шерифа, а левой — судебный пристав. При содействии окружного пристава, именуемого жезлоносцем, судебный пристав арестовывал, допрашивал и под ответственность шерифа подвергал тюремному заключению воров, убийц, бунтовщиков, бродяг и всяких мошенников, подлежавших суду окружных судей. Разница между помощником шерифа и судебным приставом, которые оба были подчинены шерифу, состояла в том, что помощник шерифа сопровождал его, а судебный пристав помогал ему в отправлении его должности. Шериф возглавлял два суда: суд постоянный, окружной, County court, и суд выездной, Sheriff-turn, воплощая, таким образом, в своем лице единство и вездесущность судебной власти. В качестве судьи он мог требовать в сомнительных случаях содействия и разъяснений от ученого юриста, так называемого sergens coifae, присяжного законоведа, который под черной шапочкой носил колпачок из белого кембрика. Шериф «разгружал» места заключения: прибыв в один из городов подведомственного ему графства, он имел право наскоро, огулом, решить судьбу всех арестованных, либо освободив их совсем, либо отправив на виселицу, что называлось очисткой тюрьмы, goal delivery. Шериф

предлагал составленный им обвинительный акт двадцати четырем присяжным заседателям; если они соглашались с ним, то писали на нем; bilta vera[224]; если не соглашались, делали надпись: ignoramus[225]; во втором случае обвинение отпадало, я шериф имел право уничтожить обвинительный акт. Если во время судебного следствия один из присяжных умирал, каковое обстоятельство по закону влекло за собой признание обвиняемого невиновным, шерифу, имевшему право арестовать обвиняемого, предоставлялось право освободить его из-под стражи. Особенное уважение и особый страх, внушаемые шерифом, объяснялись тем, что на его обязанности лежало исполнение «всех приказаний его величества» — чрезвычайно опасная широта полномочий. Такие формулы таят в себе неограниченную возможность произвола. Шерифа сопровождали чиновники, именовавшиеся verdeors (лесничими) и коронеры; торговые приставы обязаны были оказывать ему содействие; кроме того, у него была прекрасная свита из конных и пеших слуг, одетых в ливреи. «Шериф, — говорит

---

[224] Сноски: 224
Правильный акт (*лат.*).

[225] Сноски: 225
Не знаем (*лат.*).

Чемберлен, — это жизнь правосудия, закона и графства».

В Англии все законы и обычаи в результате незаметно протекающего разрушительного процесса подвергаются постепенному измельчанию и уничтожению. В наше время, повторяем, ни шериф, ни жезлоносец, ни судебный пристав уже не могли бы отправлять свою должность так, как они отправляли ее прежде. В старинной Англии существовало некоторое смешение отдельных видов власти, и недостаточная определенность полномочий влекла за собой вторжение в сферу чужой деятельности — явление, в наши дни уже невозможное. Тесной связи между полицией и правосудием положен ныне конец. Наименования должностей сохранились, но функции их уже стали иными. Нам кажется, что даже самый смысл слова wapentake изменился. Прежде оно обозначало судейскую должность, теперь оно обозначает территориальное подразделение; прежде так назывался кантонный пристав, ныне же — самый кантон.

В описываемую нами эпоху шериф графства соединял и сосредоточивал в своем лице в качестве городской власти и представителя короля, правда с некоторыми добавочными полномо-

чиями и ограничениями, обязанности двух чиновников, носивших некогда во Франции звание главного гражданского судьи города Парижа и полицейского судьи. Главного судью города Парижа довольно четко характеризует запись в одном из полицейских протоколов того времени: «Господин гражданский судья не враг семейных раздоров, потому что это всегда для него грабительская пожива» (22 июля 1704 года). Что же касается полицейского судьи, особы, опасной многообразием и неопределенностью своих функций, то этот тип нашел себе наиболее полное выражение в личности Рене д'Аржансона, в котором, по словам Сен-Симона, сочетались черты трех судей Аида.

Эти судьи, как уже видел читатель, заседали и в лондонской Бишопсгейтской тюрьме.

7. Трепет

Услыхав, как заскрипела всеми петлями и захлопнулась входная дверь, Гуинплен содрогнулся. Ему показалось, что эта только что закрывшаяся за ним дверь была рубежом между светом и мраком, между миром земных радостей и царством смерти, что все, что освещает и согре-

вает солнце, осталось позади, что он переступил пределы жизни, очутился вне ее. Сердце у него болезненно сжалось. Что с ним намерены сделать? Что все это значит?

Где он?

Он ничего не видел вокруг себя; его окружала непроглядная тьма. Как только закрылась дверь, он как будто мгновенно ослеп. Оконце тоже захлопнулось. Не было ни отдушины, ни фонаря — обычная мера предосторожности в старинные времена. Запрещалось освещать внутренние ходы тюрьмы, чтобы вновь прибывшие не могли их приметить.

Гуинплен протянул руки в стороны и нащупал справа и слева стены; это был какой-то коридор. Мало-помалу бог весть откуда сочившийся в высокое подземелье сумеречный свет, к которому, расширяясь, приспособился зрачок, позволил Гуинплену различить неясные очертания тянувшегося перед ним коридора.

О суровых карательных мерах Гуинплен знал только со слов все преувеличивавшего Урсуса, и теперь ему чудилось, будто его схватила чья-то огромная незримая рука. Ужасно, когда нами распоряжается неведомый нам закон. Можно сохранять присутствие духа при всяких обстоя-

тельствах и все-таки растеряться перед лицом правосудия. Почему? Потому, что человеческое правосудие — потемки, и судьи бродят в них ощупью. Гуинплен помнил, что Урсус говорил ему о необходимости соблюдать молчание; ему хотелось живым вернуться к Дее; он сознавал, что находится во власти чьего-то произвола, и боялся раздражать тех, от кого он теперь всецело зависел. Иногда желание выяснить положение только ухудшает его. С другой стороны, все происходившее с ним так тяготило его, что в конце концов он не удержался и спросил:

— Господа, куда вы ведете меня?

Никто не ответил ему.

Сохранение полного молчания было одним из основных правил при безмолвном аресте, и текст нормандского закона не допускал в подобных случаях никаких послаблений: «A silentiarils ostio praepositis introducti sunt»[226].

От этого молчания кровь застыла в жилах Гуинплена. До сих пор он считал себя сильным; он не нуждался ни в чьей поддержке; не нуждаться ни в чьей поддержке — значит быть необоримым. Он жил одиноким, воображая, что одиночество

---

[226] Сноски: 226

Вводятся привратниками, блюстителями тишины (*лат.*).

— верный залог неуязвимости. И вот внезапно он почувствовал на себе гнет некоей ужасной безликой силы. Каким способом бороться с чем-то страшным, жестоким, неумолимым — с законом? Он изнемогал под бременем этой загадки. Неведомый прежде страх прокрался к нему в душу, отыскав слабое место в защищавшей его броне. К тому же он совсем не спал и ничего не ел; он еле прикоснулся к чашке чая. Всю ночь он метался в каком-то бреду, его и теперь лихорадило. Его мучила жажда, быть может, и голод. Пустой желудок дурно влияет на наше душевное состояние. Со вчерашнего дня на Гуинплена обрушивалось одно нежданное событие за другим. Его поддерживало только терзавшее его волнение: не будь урагана, парус висел бы тряпкой. Он чувствовал себя именно таким беспомощным лоскутом, который ветер напрягает до тех пор, пока не превратит в лохмотья. Он чувствовал, что силы покидают его. Неужели он упадет без сознания на эти каменные плиты? Обморок — средство защиты для женщин и позор для мужчины. Он старался взять себя в руки, и все-таки дрожал.

Он испытывал ощущение человека, у которого почва уходит из-под ног.

8. Стон

Процессия тронулась.

Пошли по коридору.

Никаких предварительных опросов. Никакой канцелярии, никакой регистрации. Тюремное начальство того времени не занималось излишним бумагомаранием. Оно ограничивалось тем, что захлопывало за человеком двери, нередко даже не зная, за что его заточили. Тюрьма вполне довольствовалась тем, что она тюрьма и что у нее есть узники.

Коридор был узким, и шествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом: впереди жезлоносец, за ним Гуинплен, за Гуинпленом судебный пристав, за судебным приставом полицейские, двигавшиеся вереницей вдоль всего коридора. Проход сужался все больше и больше: теперь Гуинплен уже касался локтями обеих стен; в своде, сооруженном из залитого цементом мелкого камня, на равном расстоянии один от другого были гранитные выступы, и здесь потолок нависал еще ниже; приходилось наклоняться, чтобы пройти; бежать по коридору было невозможно. Даже тот, кто вздумал бы спастись бегством,

был бы вынужден двигаться тут шагом; узкий коридор извивался, как кишка; внутренность тюрьмы так же извилиста, как и внутренности человека. Местами, то направо, то налево, чернели четырехугольные проемы, защищенные толстыми решетками, за которыми виднелись лестницы — одни поднимались вверх, другие спускались вниз. Дошли до запертой двери, она отворилась, переступили через порог, и она снова закрылась; затем встретилась еще одна дверь, тоже пропустившая шествие, потом третья, также повернувшаяся на петлях. Двери открывались и закрывались как бы сами собой. По мере того как коридор сужался, свод нависал все ниже и ниже, так что можно было двигаться, только согнув спину. На стенах выступала сырость; со свода капала вода, каменные плиты, которыми был выложен коридор, были покрыты липкой слизью, точно кишки. Какой-то бледный, рассеянный сумрак заменял свет; уже не хватало воздуха. Но всего страшнее было то, что галерея шла вниз.

Впрочем, заметить это можно было, только внимательно приглядевшись. Отлогий скат в темноте становился чем-то зловещим. Нет ничего чудовищнее неизвестности, которой идешь навстречу, спускаясь по едва заметному склону.

Спуск — это вход в ужасное царство неведомого.

Сколько времени шли они таким образом? Гуинплен не мог бы сказать этого.

Тревожное ожидание, словно прокатный вал, удлиняет каждую минуту до бесконечности.

Вдруг шествие остановилось.

Кругом был непроглядный мрак.

Коридор тут немного расширился.

Гуинплен услышал рядом с собой звук, похожий на звон китайского гонга, — как будто удар в диафрагму бездны.

Это жезлоносец ударил жезлом в железную плиту.

Плита оказалась дверью.

Дверь не поворачивалась на петлях, а поднималась и опускалась наподобие подъемной решетки.

Раздался резкий скрип в пазах, и глазам Гуинплена внезапно предстал четырехугольный просвет.

Это скользнула кверху и ушла в щель, проделанную в своде, железная плита, точь-в-точь как поднимается дверца мышеловки.

Открылся пролет.

Свет, проникавший оттуда, не был дневным

светом, а тусклым мерцанием. Но для расширенных зрачков Гуинплена эти слабые лучи были ярче внезапной вспышки молнии.

Некоторое время он ничего не видел; различить что-нибудь в ослепительном сиянии так же трудно, как и во мраке.

Затем мало-помалу его зрачки приспособились к свету, также как ранее они приспособились к темноте; и Гуинплен стал постепенно различать то, что его окружало: свет, показавшийся ему вначале таким ярким, постепенно ослабел и перешел в полумрак; Гуинплен отважился взглянуть в зиявший перед ним пролет, и то, что он увидел, было ужасно.

У самых ног его почти отвесно спускалось в глубокое подземелье десятка два крутых, узких и стершихся ступеней, образуя нечто вроде лестницы без перил, высеченной в каменной стене. Ступени шли до самого низа.

Подземелье было круглое, со стрельчатым покатым сводом, покоившимся на осевших устоях неравной высоты, как это обычно бывает в подвалах, устроенных под слишком массивными зданиями.

Отверстие, служившее входом и обнаружившееся, только когда поднялась кверху железная

плита, было пробито в каменном своде в том месте, где начиналась лестница, так что с этой высоты взор погружался в подземелье, точно в колодец.

Подземелье занимало большое пространство, и если оно когда-то служило дном колодца, то колодец этот был циклопических размеров. Старинное выражение «яма» могло быть применено к этому каменному мешку, только если представить его себе в виде рва для львов или тигров.

Подземелье не было вымощено ни плитами, ни булыжником. Полом служила сырая, холодная земля, какой она бывает в глубоких погребах.

Посредине подземелья четыре низкие уродливые колонны поддерживали каменный стрельчатый навес, четыре ребра которого сходились в одной точке, образуя нечто, напоминавшее митру епископа. Этот навес, вроде тех балдахинов, под которыми некогда ставились саркофаги, упирался вершиной в самый свод, образуя в подземелье как бы отдельный покой, если можно назвать покоем помещение, открытое со всех сторон и имеющее вместо четырех стен четыре столба.

К замочному камню навеса был подвешен круглый медный фонарь, защищенный решеткой, словно тюремное окно. Фонарь отбрасывал

на столбы, на своды, на круглую стену, смутно видневшуюся за столбами, тусклый свет, пересеченный полосами тени.

Это и был тот свет, который в первую минуту ослепил Гуинплена. Теперь он казался ему мерцающим красноватым огоньком.

Другого освещения в подземелье не было. Ни окна, ни двери, ни отдушины.

Между четырьмя столбами, как раз под фонарем, на месте, освещенном ярче всего, лежала на земле какая-то белая, страшная фигура.

Она была простерта на спине. Можно было ясно разглядеть лицо с закрытыми глазами; туловище исчезало под какой-то бесформенной грудой; руки и ноги, растянутые в виде креста, были привязаны четырьмя цепями к четырем столбам, а цепи прикреплены к железным кольцам у подножия каждой колонны. Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасной позе четвертуемого, синевато-бледным цветом кожи походила на труп. Это было обнаженное тело мужчины.

Окаменев, Гуинплен стоял на верхней ступени лестницы.

Вдруг он услыхал хрип.

Значит, это был не труп. Это был живой человек.

Немного поодаль от этого страшного существа, под одной из стрельчатых арок навеса, по обе стороны, большого кресла, водруженного на широком каменном подножия, стояло двое людей в длинных черных хламидах, а в кресле сидел одетый в красную мантию бледный неподвижный старик со зловещим лицом, держа в руке букет роз.

Человек более сведущий, чем Гуинплен, взглянув на букет, сразу сообразил бы, в чем дело. Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало чиновнику, представлявшему одновременно и королевскую, и муниципальную власть. Лорд-мэр города Лондона и поныне отправляет судейские функции с букетом в руке. Назначением первых весенних роз было помогать судьям творить суд и расправу.

Старик, сидевший в кресле, был шериф Серрейского графства.

Он застыл в величественной позе, напоминая собою римлянина, облеченного верховной властью.

Кроме кресла, в подземелье не было других сидений.

Рядом с креслом стоял стол, заваленный бумагами и книгами; на нем лежал длинный белый

жезл шерифа.

Люди, недвижимо стоявшие по обе стороны кресла, были доктора: один — доктор медицины, другой — доктор права; последнего можно было узнать по шапочке, надетой на парик. Оба были в черных мантиях. Представители обеих этих профессий носят траур по тем, кого они отправляют на тот свет.

Позади шерифа, на выступе каменной плиты, служившей подножием, сидел с пером в руке и, видимо, собирался писать секретарь в круглом парике; на коленях у него лежала папка с бумагами, а на ней лист пергамента; подле него на плите стояла чернильница.

Чиновник этот принадлежал к числу так называемых «мешкохранителей», на что указывала сумка, лежавшая у его ног. Такая сумка, некогда бывшая непременным атрибутом судебного процесса, называлась «мешком правосудия».

Прислонившись к одному из столбов, со скрещенными на груди руками, стоял человек в кожаной одежде. Это был помощник палача.

Все эти люди, замершие в мрачных позах вокруг закованного в цепи человека, казались зачарованными. Ни один не двигался; никто не произносил ни слова.

Кругом царила зловещая тишина.

Место, которое видел перед собой Гуинплен, было застенком. Таких застенков в прежней Англии было великое множество. Подземелье башни Бошана долгое время служило для этой цели, так же как подвалы тюрьмы Лоллардов. До наших дней сохранилось в Лондоне подземелье, известное под названием «склепа леди Плейс». В этом помещении находится камин, где накаливались щипцы.

Во всех тюрьмах, выстроенных при короле Иоанне, — а Саутворкская тюрьма была типичной тюрьмой той эпохи, — имелись застенки.

То, о чем сейчас будет рассказано, в ту пору часто происходило в Англии и могло бы, строго говоря, происходить и теперь, ибо все законы того времени существуют и поныне. Англия представляет собою любопытное явление в том отношении, что варварское законодательство прекрасно уживается в ней со свободой. Что и говорить, чета образцовая.

Однако некоторое недоверие к ней было бы нелишним. Случись какая-нибудь смута — и прежние карательные меры могли бы легко возродиться. Английское законодательство — прирученный тигр. Лапа у него бархатная, но

когти прежние; они только спрятаны.

Обрезать эти когти было бы вполне разумно.

Английские законы почти совсем не признают права. По одну сторону — система карательных мер, по другую — принципы человечности. Философы протестуют против такого порядка, но пройдет еще немало времени, прежде чем человеческое правосудие сольется со справедливостью.

Уважение к закону характерно для англичан. В Англии к законам относятся с таким почтением, что их никогда не упраздняют. Из этого нелегкого положения, впрочем, находят выход: законы чтут, но их не исполняют. С устаревшими законами происходит то же, что с состарившимися женщинами; никто не думает насильственно пресекать существования тех или других; на них просто перестают обращать внимание — вот и все. Пусть себе думают на здоровье, что они все еще красивы и молоды. Никто не позволит себе сказать им, что они отжили свой век. Подобная учтивость и называется уважением к закону.

Нормандское обычное право изборождено морщинами; это, однако, не мешает многим английским судьям строить ему глазки. Англичане любовно оберегают всякие древние жестокости, если только они нормандского происхождения.

Есть ли что-нибудь более жестокое, чем виселица? В 1867 году одного человека приговорили к четвертованию, с тем чтобы его растерзанный труп преподнести женщине — королеве.

Впрочем, в Англии пыток никогда не существовало. Ведь именно так утверждает история. Что ж, у нее немалый апломб.

Мэтью Вестминстерский, констатируя, что «саксонский закон, весьма милостивый и снисходительный», не наказывал преступников смертной казнью, присовокупляет: «Ограничивались только тем, что им отрезали носы, выкалывали глаза и вырывали части тела, являющиеся признаками пола». Только-то!

Гуинплен, растерянно остановившись на верхней ступеньке лестницы, дрожал всем телом. Им овладел страх. Он старался вспомнить, какое преступление мог он совершить. Молчание жезлоносца сменилось картиной пытки. Это был шаг вперед, но шаг трагический. Мрачный облик угрожавшего ему закона принимал все более и более загадочные очертания.

Человек, лежавший на полу, снова захрипел.

Гуинплен почувствовал, что кто-то слегка толкнул его в плечо.

Это был жезлоносец.

Гуинплен понял, что ему приказывают сойти вниз.

Он повиновался.

Нащупывая ногой ступеньки, он стал спускаться с лестницы.

Ступени были узкие и крутые, высотой в восемь-девять дюймов. Перил не было. Спускаться можно было только с большой осторожностью. За Гуинпленом на расстоянии двух ступенек от него следовал жезлоносец, держа прямо перед собой железный жезл, и на таком же расстоянии позади жезлоносца — судебный пристав.

Спускаясь по этим ступеням, Гуинплен чувствовал, что теряет последнюю надежду на спасение. Казалось, он шаг за шагом приближается к смерти. Каждая пройденная ступень угашала в нем какую-то частицу света. Бледнея все больше и больше, он достиг конца лестницы.

Распластанный на земле и прикованный к четырем столбам призрак продолжал хрипеть.

В полумраке послышался голос:

— Подойдите!

Это сказал шериф.

Гуинплен сделал шаг вперед.

— Ближе, — произнес голос.

Гуинплен сделал еще шаг.

— Еще ближе, — повторил шериф.

Судебный пристав прошептал Гуинплену на ухо с таким внушительным видом, что шепот прозвучал торжественно:

— Вы находитесь перед шерифом Серрейского графства.

Гуинплен подошел почти вплотную к пытаемому, распростертому на полу посреди подземелья. Жезлоносец и судебный пристав остановились поодаль.

Когда Гуинплен, очутившись под навесом, увидал вблизи несчастное существо, на которое он до сих пор смотрел только издали, его страх перешел в беспредельный ужас.

Человек, лежавший скованным на земле, был совершенно обнажен, если не считать целомудренно прикрывавшего его отвратительного лоскута, который можно было бы назвать фиговым листом пытки и который у римлян назывался succingulum, у готов — christipannus — слово, из которого наше древнегалльское наречие образовало слово cripagne. Тело распятого на кресте Иисуса тоже было прикрыто только обрывком ткани.

Осужденному на смерть преступнику, которого видел перед собой Гуинплен, было лет пятьде-

сят — шестьдесят. Он был лыс. На подбородке у него торчала редкая седая борода. Глаза были закрыты, широко открытый рот обнажал все зубы. Худое, костлявое лицо походило на череп мертвеца. Руки и ноги, прикованные цепями к четырем каменным столбам, образовали букву «Х». Грудь и живот были у него придавлены чугунной плитой, на которой лежало пять-шесть огромных булыжников. Его хрип иногда переходил в едва слышный вздох, иногда же — в звериное рычание.

Шериф, не расставаясь со своим букетом роз, свободной рукой взял со стола белый жезл и, подняв его, произнес:

— Повиновение Ее Величеству.

Затем положил жезл обратно на стол.

Потом медленно, точно отбивая удары похоронного колокола, сохраняя ту же неподвижность, что и пытаемый, шериф заговорил:

— Человек, закованный здесь в цепи, внемлите последний раз голосу правосудия. Вас вывели из вашей темницы и доставили сюда. На вопросы, предложенные вам с соблюдением всех требований формальностей, formaliis verbis pressus, вы, не обращая внимания на прочитанные вам документы, которые вам будут предъявлены еще

раз, побуждаемый злобным духом противного человеческой природе упорства, замкнулись в молчании и отказываетесь отвечать судье. Это — отвратительное своеволие, заключающее в себе все признаки наказуемого по закону отказа от дачи показаний суду и запирательства.

Присяжный законовед, стоявший справа от шерифа, перебил его с зловещим равнодушием и произнес:

— Overhernessa. Законы Альфреда и Годруна. Глава шестая.

Шериф продолжал:

— Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детенышей.

И, словно колокол, вторящий колоколу, законовед подтвердил:

— Qui faciunt vastum in foresta ubi damae solent founinare.

— Отказывающийся отвечать на вопросы судьи, — продолжал шериф, — может быть заподозрен во всех пороках. Он способен на всякое злодеяние.

Снова раздался голос законоведа:

— Prodigus, devorator, profusus, salax, ruffianus, ebriosus, luxuriosus, simulator, consumptor

patrimonii elluo, ambro, et gluto[227].

— Все пороки, — говорил шериф, — предполагают возможность любых преступлений. Кто все отрицает, тот во всем сознается. Тот, кто не отвечает на вопросы судьи, — лжец и отцеубийца.

— Mendax et parricida, — подхватил законовед.

Шериф продолжал:

— Человек, прикрываться молчанием воспрещается. Своевольно уклоняющийся от суда наносит тяжелое оскорбление закону. Он подобен Диомеду, ранившему богиню. Молчание на суде есть сопротивление власти. Оскорбление правосудия — то же, что оскорбление величества. Это самое отвратительное и самое дерзкое преступление. Уклоняющийся от допроса крадет истину. Законом это предусмотрено. В подобных случаях англичане во все времена пользовались правом воздействовать на преступника, прибегая к яме, к колодкам и к цепям.

— Anglica charta[228] тысяча восемьдесят восьмого года, — пояснил законовед.

---

[227] Сноски: 227

Пожиратель достояния, расточитель, мот, любострастник, сводник, пьяница, прожигатель жизни, лицемер, истребитель родового наследства, растратчик, транжир и обжора (*лат.*).

[228] Сноски: 228

Английская хартия (*лат.*).

И с той же деревянной торжественностью прибавил:

— Ferrum, et fossam, et furcas, cum alliis libertatibus[229].

Шериф продолжал:

— Вследствие этого, подсудимый, поскольку вы не пожелали нарушить свое молчание, хотя находитесь в здравом уме и отлично понимаете, чего требует от вас правосудие, поскольку вы обнаружили дьявольское упорство, вас надлежало бы сжечь живым, но вы, в соответствии с точными указаниями уголовных статутов, были подвергнуты пытке, именуемой «допросом с наложением тяжестей». Вот что было сделано с вами. Закон требует, чтобы я лично сообщил вам это. Вас привели в это подземелье, вас раздели донага и положили на спину, растянув вам руки и ноги и привязав их к четырем колоннам — к столпам закона, — на грудь вам положили чугунную плиту, а на нее столько камней, сколько вы оказались в состоянии выдержать. «И даже сверх того», как говорит закон.

— Plusque[230], — подтвердил законовед.

---

[229] Сноски: 229
Цепи, и яма, и колодки, и прочее (*лат.*).

[230] Сноски: 230
Сверх того (*лат.*).

Шериф продолжал:

— Прежде чем подвергнуть вас дальнейшему испытанию, я, шериф графства Серрейского, обратился к вам, когда вы уже находились в таком положении, вторично предложив вам отвечать и говорить, но вы с сатанинским упорством хранили молчание, невзирая на то, что на вас надеты цепи, колодки, ошейник и кандалы.

— Attachiamenta legalja[231], — произнес законовед.

— Ввиду вашего отказа и запирательства, — сказал шериф, — а также ввиду того, что справедливость требует, чтобы настойчивость закона не уступала упорству преступника, испытание было продолжено в порядке, установленном эдиктами и сводом законов. В первый день вам не давали ни есть, ни пить.

— Hoc est superjejunare[232], — пояснил законовед.

Наступило молчание. Слышно было только ужасное хриплое дыхание человека, придавленного грудой камней.

Законовед дополнил свое пояснение:

---

[231] Сноски: 231
Узы, законом установленные (*лат.*).

[232] Сноски: 232
Полное воздержание от пищи (*лат.*).

— Adde augmentum abstinentiae ciborum diminutione. Consuetude britannica[233], статья пятьсот четвертая.

Оба, шериф и законовед, говорили попеременно; трудно представить себе что-либо мрачнее этого невозмутимого однообразия; унылый голос вторил голосу зловещему; можно было подумать, что священник и дьякон, представители некоего культа пыток, служат кровожадную обедню закона.

Шериф снова начал:

— В первый день вам не давали ни пить, ни есть. На второй день вам дали есть, но не дали пить; вам положили в рот три кусочка ячменного хлеба. На третий день вам дали пить, но не дали есть. Вам влили в рот в три приема тремя стаканами пинту воды, почерпнутой из сточной канавы тюрьмы. Наступил четвертый день — сегодняшний. Если вы и теперь не будете отвечать, вас оставят здесь, пока вы не умрете. Этого требует правосудие.

Законовед, не упуская случая подать реплику, монотонно произнес:

---

[233] Сноски: 233

Увеличить еще более воздержание от пищи уменьшением количества ее. Британское обычное право (*лат.*).

— Mors rei homagium est bonae legi[234].

— И в то время, как вы будете умирать самым жалким образом, — подхватил шериф, — никто не придет к вам на помощь, хотя бы у вас кровь хлынула горлом, выступила из бороды, из подмышек, из всех отверстий тела, начиная со рта и кончая чреслами.

— A throtebolla, — подтвердил законовед, — et pabus et subhircis, et a grugno usque ad crupponum.

Шериф продолжал:

— Человек, выслушайте меня внимательно, ибо последствия касаются вас непосредственно. Если вы откажетесь от своего гнусного молчания и сознаетесь во всем, то вас только повесят, и вы получите право на meldefeoh, то есть на известную сумму денег.

— Damnum confitens, — подтвердил законовед, — habeat le meldefeoh. Leges Inae[235], глава двадцатая.

— Каковая сумма, — подчеркнул шериф, — будет выплачена вам дойткинсами, сускинсами и галихальпенсами, которые в силу статута, изданного в третий год царствования Генриха Пятого,

---

[234] Сноски: 234
Смерть преступника есть дань уважения закону (*лат.*).

[235] Сноски: 235
Признающийся в своей вине да получит meldefeoh. Закон Ины (*лат.*).

отменившего эти деньги, могут иметь хождение только в данном случае; кроме того, вы будете иметь право на scortum ante mortem[236], после чего вас удавят на виселице. Таковы выгоды признания. Угодно вам отвечать суду?

Шериф умолк в ожидании ответа. Пытаемый даже не пошевельнулся.

Шериф продолжал:

— Человек, молчание — это прибежище, в котором больше риска, чем надежды на спасение. Запирательство пагубно и преступно. Кто молчит на суде, тот изменник короне. Не упорствуйте в своем дерзостном неповиновении. Подумайте о Ее Величестве. Не противьтесь нашей всемилостивейшей государыне. Отвечайте ей в моем лице. Будьте верным подданным.

Пытаемый захрипел.

Шериф продолжал:

— Итак, по истечении первых трех суток испытания наступили четвертые. Человек, это — решительный день. Очная ставка законом предусмотрена на четвертый день.

— Quarta die, frontem ad frontem adduce[237], —

---

[236] Сноски: 236
Любовное свидание перед смертью (*лат.*).

[237] Сноски: 237
На четвертый день назначь очную ставку (*лат.*).

пробормотал законовед.

— Мудрость законодателя, — продолжал шериф, — избрала этот последний час для получения того, что наши предки называли «решением смертного хлада», поскольку в такое мгновение принимается на веру бездоказательное утверждение или отрицание.

Законовед снова пояснил:

— Judicium pro frodmortell, quod homines credensi sint per suum ya et per suum na. Хартия короля Адельстана. Том первый, страница сто семьдесят третья.

Шериф выждал минуту, затем наклонил к пытаемому свое суровое лицо:

— Человек, простертый на земле…

Он сделал паузу.

— Человек, слышите ли вы меня? — крикнул он.

Пытаемый не шевельнулся.

— Во имя закона, — приказал шериф, — откройте глаза.

Веки допрашиваемого по-прежнему оставались закрытыми.

Шериф повернулся к врачу, стоявшему налево от него.

— Доктор, поставьте ваш диагноз.

— Probe, da diagnosticum, — повторил законовед.

Врач, сохраняя торжественность каменного изваяния, сошел с плиты, приблизился к простертому на земле, нагнулся, приложил ухо к его рту, пощупал пульс на руке, подмышкой и на бедре, потом снова выпрямился.

— Ну как? — спросил шериф.

— Он еще слышит, — ответил медик.

— Видит он?

— Может видеть.

По знаку шерифа судебный пристав и жезлоносец приблизились. Жезлоносец поместился у головы пытаемого; судебный пристав стал позади Гуинплена.

Врач, отступив на шаг, стал между колоннами.

Тогда шериф, подняв букет роз, словно священник кропило, обратился громким голосом к допрашиваемому; он стал страшен.

— Говори, о несчастный! — крикнул он. — Закон заклинает тебя, прежде чем уничтожить. Ты хочешь казаться немым, подумай о немой могиле; ты притворяешься глухим, подумай о страшном суде, который глух к мольбам грешника. Подумай о смерти, которая еще хуже, чем ты. Подумай, ведь ты навеки останешься в под-

земелье. Выслушай меня, подобный мне, ибо и я — человек. Выслушай меня, брат мой, ибо я христианин. Выслушай меня, сын мой, ибо я старик. Страшись меня, ибо я властен над твоим страданием и буду беспощаден. Ужас, воплощенный в лице закона, сообщает судье величие. Подумай! Я сам трепещу перед собой. Моя собственная власть повергает меня в смятение. Не доводи меня до крайности. Я чувствую в себе священную злобу судьи карающего. Исполнясь же, несчастный, спасительным и достодолжным страхом перед правосудием и повинуйся мне. Час очной ставки наступил, и тебе надлежит отвечать. Не упорствуй. Не допускай непоправимого. Вспомни, что кончина твоя в моих руках. Внемли мне, полумертвец! Если только ты не хочешь умирать здесь в течение долгих часов, дней и недель, угасая в мучительной, медленной агонии, среди собственных нечистот, терзаемый голодом, под тяжестью этих камней, один в этом подземелье, покинутый всеми, забытый, отверженный, отданный на съедение крысам, раздираемый на части всякой тварью, водящейся во мраке, меж тем как над твоей головой будут двигаться люди, занятые своими делами, куплей, продажей, будут ездить кареты; если только ты не хочешь стенать

здесь от отчаяния, скрежеща зубами, рыдая, богохульствуя, не имея подле себя ни врача, который смягчил бы боль твоих ран, ни священника, который божественной влагой утешения утолил бы жажду твоей души, о, если только ты не хочешь чувствовать, как будет выступать на губах твоих предсмертная пена, — то молю и заклинаю тебя: послушайся меня! Я призываю тебя помочь самому себе; сжалься над самим собой, сделайте, что от тебя требуют, уступи настояниям правосудия, повинуйся, поверни голову, открой глаза и скажи, узнаешь ли ты этого человека?

Пытаемый не повернул головы и не открыл глаз.

Шериф посмотрел сначала на судебного пристава, потом на жезлоносца.

Судебный пристав снял с Гуинплена шляпу и плащ, взял его за плечи и поставил лицом к свету так, чтобы закованный в цепи мог видеть его. Черты Гуинплена внезапно выступили из темноты во всем своем ужасающем безобразии.

В то же время жезлоносец нагнулся, схватил обеими руками голову пытаемого за виски, повернул ее к Гуинплену и пальцами раздвинул сомкнутые веки. Показались дико выкатившиеся глаза.

Пытаемый увидел Гуинплена.

Тогда, уже сам приподняв голову и широко раскрыв глаза, он стал всматриваться в него.

Содрогнувшись всем телом, как только может содрогнуться человек, которому на грудь навалили целую гору, он вскрикнул:

— Это он! Да, это он!

И разразился ужасным смехом.

— Это он! — повторил пытаемый.

Его голова снова упала на землю, глаза закрылись.

— Секретарь, запишите, — сказал шериф.

До этой минуты Гуинплен, несмотря на свой испуг, кое-как владел собою. Но крик пытаемого «Это он!» потряс его. При словах же шерифа: «Секретарь, запишите» — у него кровь застыла в жилах. Ему показалось, что лежащий перед ним преступник увлекает его за собою в пропасть по причинам, о которых он, Гуинплен, даже не догадывался, и что непонятное для него признание этого человека железным ошейником замкнулось у него на шее. Он представил себе, как их обоих — его самого и этого человека — прикуют рядом к позорному столбу. Охваченный ужасом, потеряв всякую почву под ногами, он попробовал защищаться. Глубоко взволнован-

ный, сознавая свою полную непричастность к какому бы то ни было преступлению, он бормотал что-то бессвязное и, весь дрожа, утратив последнее самообладание, выкрикивал все, что ему приходило на ум, — подсказанные смертельной тревогой слова, напоминающие пущенные наудачу снаряды.

— Неправда! Это не я! Я не знаю этого человека! Он не может знать меня, потому что я не знаю его! Меня ждут; у меня сегодня представление. Чего от меня хотят? Отпустите меня на свободу! Все это ошибка! Зачем привели меня в это подземелье? Неужели не существует никаких законов? Скажите тогда прямо, что никаких законов не существует. Господин судья, повторяю, это не я! Я не виновен ни в чем решительно. Я это твердо знаю. Я хочу уйти отсюда. Это несправедливо! Между этим человеком и мною нет ничего общего. Можете навести справки. Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно вора. Зачем меня задержали? Да разве я знаю, что это за человек? Я — странствующий фигляр, выступающий на ярмарках и рынках. Я — Человек, который смеется. Немало народу перевидало меня. Мы помещаемся на Таринзофилде. Вот уже пятнадцать лет, как я честно занимаюсь своим ремеслом. Мне

пошел двадцать пятый год. Я живу в Тедкастерской гостинице. Меня зовут Гуинплен. Сделайте милость, господа судьи, прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей. Сжальтесь над человеком, который ничего дурного не сделал, у которого нет ни покровителей, ни защитников. Перед вами бедный комедиант.

— Передо мною, — сказал шериф, — лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, пэр Англии.

Шериф встал и, указывая Гуинплену на свое кресло, прибавил:

— Милорд, не соблаговолит ли ваше сиятельство присесть?

Часть пятая
Море и судьба послушны одним и тем же ветрам
1. Прочность хрупких предметов

Порою судьба протягивает нам чашу безумия. Из неизвестного появляется вдруг рука и подает нам темный кубок с неведомым дурманящим напитком.

Гуинплен ничего не понял.

Он оглянулся, чтобы посмотреть, к кому обращается шериф.

Слишком высокий звук неуловим для слуха; слишком сильное волнение непостижимо для разума. Существуют определенные границы, как для слуха, так и для понимания.

Жезлоносец и судебный пристав приблизились к Гуинплену, взяли его под руки, и он почувствовал, как его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф.

Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что означает все это.

Когда Гуинплен сел, судебный пристав и жезлоносец отступили на несколько шагов и, вытянувшись, стали позади кресла.

Шериф положил свой букет на выступ каменной плиты, надел очки, которые подал ему секретарь, извлек из-под груды дел, лежавших на столе, пожелтелый, покрытый пятнами, позеленевший, изъеденный плесенью и местами разорванный пергамент, исписанный с одной: стороны и хранивший на себе следы многочисленных сгибов. Подойдя поближе к фонарю, шериф поднес пергамент к глазам и, придав своему голосу всю торжественность, на какую только

был способен, принялся читать:

«Во имя отца и сына и святого духа.

Сего двадцать девятого января тысяча шестьсот девяностого года от рождества Христова.

На безлюдном побережье Портленда был злонамеренно покинут десятилетний ребенок, обреченный тем самым на смерть от голода и холода в этом пустынном месте.

Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению его величества, всемилостивейшего короля Иакова Второго.

Ребенок этот — лорд Фермен Кленчарли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчарли, барона Кленчарли-Генкервилла, маркиза Корлеоне Сицилийского, пэра Английского королевства, ныне покойного, и Анны Бредшоу, его супруги, также покойной.

Ребенок этот — наследник всех владений и титулов своего отца. Поэтому, в соответствии с желанием Его Величества, всемилостивейшего короля, его продали, изувечили, изуродовали и объявили пропавшим бесследно.

Ребенок этот был воспитан и обучен с целью сделать из него фигляра, выступающего на ярмарках и рыночных площадях.

Он был продан двух лет от роду, после смер-

ти отца, причем королю было уплачено десять фунтов стерлингов за самого ребенка, а также за различные уступки, попущения и льготы.

Лорд Фермен Кленчарли в двухлетнем возрасте был куплен мною, нижеподписавшимся, а изувечен и обезображен фламандцем из Фландрии, по имени Хардкванон, которому был известен секрет доктора Конкеста.

Ребенок был нами предназначен стать маскою смеха — masca ridens.

С этой целью Хардкванон произвел над ним операцию Bucca fissa usque ad aures[238], запечатлевающую на лице выражение вечного смеха.

Способом, известным одному только Хардкванону, ребенок был усыплен и изуродован незаметно для него, вследствие чего он ничего не знает о произведенной над ним операции.

Он не знает, что он лорд Кленчарли.

Он откликается на имя “Гуинплен”.

Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему едва исполнилось два года.

Хардкванон — единственный человек, умеющий делать операцию Bucca fissa, и это дитя

---

[238] Сноски: 238
Рот, разодранный до ушей (*лат.*).

— единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена.

Операция эта столь своеобразна и неповторима, что, если бы этот ребенок превратился в старика и волосы его из черных стали бы седыми, Хардкванон все-таки сразу узнал бы его.

В то время, как мы пишем это, Хардкванон, которому доподлинно известны все упомянутые события, ибо он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочества принца Оранского, ныне именуемого у нас королем Вильгельмом Третьим. Хардкванон был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке компрачикосов, или чейласов. Он заточен в башню Четэмской тюрьмы.

Ребенок, согласно повелению короля, был продан и выдан нам последним слугой покойного лорда Линнея в Швейцарии, близ Женевского озера, между Лозанной и Веве, в том самом доме, где скончались отец и мать ребенка; слуга умер вскоре после своих господ, так что это злодеяние в настоящее время является тайной для всех, кроме Хардкванона, заключенного в Четэмской тюрьме, и нас, обреченных на смерть.

Мы, нижеподписавшиеся, воспитали и держа-

ли у себя в течение восьми лет купленного нами у короля маленького лорда, рассчитывая извлечь из него пользу для нашего промысла.

Сегодня, покинув Англию, чтобы не разделить участи Хардкванона, мы, из опасений и страха перед суровыми карами, установленными за подобные деяния парламентом, с наступлением сумерек оставили одного на Портлендском берегу упомянутого маленького Гуинплена, лорда Фермена Кленчарли.

Сохранить это дело в тайне мы поклялись королю, но не господу.

Сегодня ночью, по воле провидения, застигнутые в море сильной бурей и находясь в совершенном отчаянии, преклонив колени перед тем, кто один в силах спасти нам жизнь и, быть может, по милосердию своему спасет и наши души, уже не ожидая ничего от людей, а страшась гнева господня и видя якорь спасения и последнее прибежище в глубоком раскаянии, примирившись со смертью и готовые радостно встретить ее, если только небесное правосудие будет этим удовлетворено, смиренно каясь и бия себя в грудь, — мы делаем это признание и вверяем его бушующему морю, чтобы оно воспользовалось им во благо, согласно воле Всевышнего. Да поможет нам Пре-

святая Дева! Аминь. В чем и подписываемся».

Шериф прервал чтение и сказал:

— Вот подписи. Все сделаны разными почерками.

И снова стал читать:

«Доктор Гернардус Геестемюнде. — Асунсион». — Крест, и рядом: «Барбара Фермой с острова Тиррифа, что в Эбудах. — Гаиздорра, капталь. — Джанджирате. — Жак Катурз, по прозвищу Нарбоннец. — Люк-Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы».

Шериф опять остановился и сказал:

— Следует приписка, сделанная тем же почерком, каким написан текст, очевидно учиненная тем лицом, которому принадлежит первая подпись.

Он прочел:

«Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже: — Гальдеазун. — Аве-Мария, вор».

Перемежая чтение своими замечаниями, шериф продолжал:

— Внизу листа помечено: «В море, на борту “Ма-

тутины", бискайской урки из залива Пасахес».

— Этот лист, — прибавил шериф, — канцелярский пергамент с вензелем короля Иакова Второго. На полях есть еще приписка, сделанная тою же рукою:

«Настоящее показание написано нами на оборотной стороне королевского приказа, врученного нам в качестве оправдательного документа при покупке ребенка. Перевернув лист, можно прочесть приказ».

Шериф перевернул пергамент и, держа его в правой руке, поднес ближе к свету. Все увидели чистую страницу, если только выражение «чистая страница» применимо к полусгнившему лоскуту; посредине можно было разобрать три слова: два латинских — jussu regis[239] и подпись «Джеффрис».

— Jussu regis, Джеффрис, — произнес шериф во всеуслышание, но уже без всякой торжественности.

Гуинплен был подобен человеку, которому свалилась на голову черепица с крыши волшебного замка.

---

[239] Сноски: 239
По повелению короля (*лат.*).

Он заговорил, словно в полузабытьи:

— Гернардус… да, его называли «доктор». Всегда угрюмый старик. Я боялся его. Гаиздорра, капталь, это значит — главарь. Были и женщины: Асунсион и еще другая. Потом был провансалец — Капгаруп. Он пил из плоской фляги, на которой красными буквами было написано имя.

— Вот она, — сказал шериф.

И положил на стол какой-то предмет, который секретарь вынул из «мешка правосудия».

Это была оплетенная ивовыми прутьями фляга с ушками. Она, несомненно, перевидала всякие виды и, должно быть, немало времени провела в воде. Ее облепили раковины и водоросли. Она была сплошь испещрена ржавым узором — работой океана. Затвердевшая смола на горлышке свидетельствовала о том, что фляга была когда-то герметически закупорена. Ее распечатали и откупорили, потом снова заткнули вместо пробки втулкой из просмоленного троса.

— В эту бутылку, — сказал шериф, — люди, обреченные на смерть, вложили только что прочитанное мною показание. Это послание к правосудию было честно доставлено ему морем.

Сообщив своему голосу еще большую торжественность, шериф продолжал:

— Подобно тому, как гора Харроу родит отличную пшеницу, из которой получается прекрасная мука, идущая на выпечку хлеба для королевского стола, точно так же и море оказывает Англии всевозможные услуги, и когда исчезает лорд, оно его находит и возвращает обратно.

Он прибавил:

— На этой фляге действительно красными буквами выведено чье-то имя.

Возвысив голос, он повернулся к преступнику, лежавшему неподвижно:

— Здесь стоит ваше имя, злодей! Неисповедимы пути, которыми истина, поглощаемая пучиной людских деяний, снова всплывает на поверхность.

Взяв в руки флягу, шериф поднес ее к свету той стороной, которая была очищена, — вероятно, для расследования. В ивовые прутья была вплетена извилистая красная полоска тростника, местами почерневшая от действия воды и времени. Несмотря на то что кое-где она была повреждена, можно было совершенно ясно разобрать все десять букв, составлявших имя Хардкванон.

Шериф опять повернулся к преступнику и снова заговорил тем не похожим ни на какой другой тоном, который можно назвать голосом

правосудия:

— Хардкванон! Когда эта фляга с вашим именем была нами, шерифом, предъявлена вам в первый раз, вы сразу же добровольно признали ее своею; затем, по прочтении вам пергамента, находившегося в ней, вы не пожелали ничего прибавить к своим предшествующим показаниям и отказались отвечать на какие бы то ни было вопросы, вероятно рассчитывая, что пропавший ребенок не найдется и что вы, таким образом, избегнете наказания. Вследствие этого я к вам применил «длительный допрос с наложением тяжестей», и вам вторично прочитали вышеупомянутый пергамент, содержащий в себе показания и признание ваших сообщников. Это не привело ни к чему. Сегодня, на четвертый день — день, назначенный по закону для очной ставки, — очутившись лицом к лицу с тем, кто был брошен в Портленде двадцать девятого января тысяча шестьсот девяностого года, вы убедились в крушении всех своих греховных надежд и, нарушив молчание, признали в нем свою жертву…

Преступник открыл глаза, приподнял голову и необычно громким для умирающего голосом, в котором вместе с предсмертным хрипом звучало какое-то странное спокойствие, с зловещим вы-

ражением произнес несколько слов; при каждом слове ему приходилось подымать всей грудью кучу наваленных на него камней, могильной плитою пригнетавших его к земле.

— Я поклялся хранить тайну и действительно хранил ее до последней возможности. Темные люди — люди верные; честность существует и в аду. Сегодня молчание уже бесполезно. Пусть будет так. И потому я говорю. Ну да. Это он. Таким его сделали мы вдвоем с королем: король — своим соизволением, я — своим искусством.

Взглянув на Гуинплена, он прибавил:

— Смейся же вечно.

И сам захохотал.

Этот смех, еще более страшный, чем первый, звучал как рыдание.

Смех прекратился, голова Хардкванона откинулась назад, веки опустились.

Шериф, предоставив преступнику возможность высказаться, заговорил снова:

— Все это подлежит внесению в протокол.

Он дал секретарю время записать слова Хардкванона и продолжал:

— Хардкванон, по закону, после очной ставки, приведшей к положительному результату, после третьего чтения показаний ваших сообщников,

подтвержденных ныне вашим собственным откровенным признанием, после вашего вторичного свидетельства вы сейчас будете освобождены от оков, чтобы, с соизволения Ее Величества, быть повешенным как плагиатор.

— Как плагиатор, — отозвался законовед, — то есть как продавец и скупщик детей. — Вестготский закон, книга седьмая, глава третья, параграф Usurpaverit[240]; и Салический закон, глава сорок первая, параграф второй; и закон фризов, глава двадцать первая — «De Plagio»[241]. Александр Некам говорит также: «Qui pueros vendis, plagiarius est tibi nomen»[242].

Шериф положил пергамент на стол, снял очки, снова взял букет и произнес:

— Суровый длительный допрос с пристрастием прекращается. Хардкванон, благодарите Ее Величество.

Судебный пристав сделал знак человеку в кожаной одежде.

Человек этот, подручный палача, «виселичный

---

[240] Сноски: 240
Присвоил (*лат.*).

[241] Сноски: 241
Противозаконное присвоение (*лат.*).

[242] Сноски: 242
Тебе, продающему детей, имя — плагиатор (*лат.*).

слуга», как он назывался в старинных хартиях, подошел к пытаемому, снял один за другим лежавшие на животе камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показались расплющенные ее тяжестью бока несчастного, освободил кисти рук и лодыжки от колодок и цепей, приковывавших его к четырем столбам.

Преступник, избавленный от всякого груза и от оков, все еще лежал на полу с закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, точно распятый, которого только что сняли с креста.

— Встаньте, Хардкванон! — сказал шериф.

Преступник не шевелился.

«Виселичный слуга» взял его за руку, подержал ее, потом опустил, — она безжизненно упала. Другая рука, которую он приподнял вслед за первой, упала точно так же. Подручный палача схватил сначала одну, затем другую ногу преступника; когда он отпустил их, они ударились пятками о пол. Пальцы обеих ног остались неподвижными, точно одеревенели. У лежащего плашмя на земле голые ступни всегда как-то странно торчат кверху.

Подошел врач, вынул из кармана маленькое стальное зеркальце и приложил его к раскрытому рту Хардкванона, затем пальцем приподнял

ему веки. Они уже больше не опустились. Остекленевшие зрачки не дрогнули.

Врач выпрямился и сказал:

— Он мертв.

Затем прибавил:

— Он засмеялся, и это его убило.

— Это уже не имеет значения, — заметил шериф. — После того как он сознался, вопрос о его жизни или смерти — пустая формальность.

И, указав на Хардкванона букетом роз, он отдал распоряжение жезлоносцу:

— Труп убрать отсюда сегодня же ночью.

Жезлоносец почтительно наклонил голову.

Шериф прибавил:

— Тюремное кладбище — напротив.

Жезлоносец опять наклонил голову.

Секретарь писал протокол.

Шериф, держа в левой руке букет, взял в правую руку свой белый жезл, стал прямо перед Гуинпленом, все еще сидевшим в кресле, отвесил ему глубокий поклон, потом с не меньшей торжественностью откинул назад голову и, глядя в упор на Гуинплена, сказал:

— Вам, здесь присутствующему, мы, кавалер Филипп Дензил Парсонс, шериф Серрейского графства, в сопровождении Обри Доминика,

эсквайра, нашего клерка и секретаря, наших обычных помощников, получив надлежащим образом прямые и специальные на этот счет приказания Ее Величества, в силу данного нам поручения, со всеми вытекающими из него правами и обязанностями, сопряженными с нашей должностью, а также с разрешения лорд-канцлера Англии, на основании протоколов, актов, сведений, сообщенных адмиралтейством, после проверки документов и сличения подписей, по прочтении и выслушании показаний, после очной ставки, учинения всех требуемых законом процедур, приведших к благополучному и справедливому завершению дела, — мы удостоверяем и объявляем вам, чтобы вы могли вступить в обладание всем, принадлежащим вам по праву, что вы — Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский и пэр Англии. И да хранит Господь ваше сиятельство.

И он поклонился.

Законовед, врач, судебный пристав, жезлоносец, секретарь — все присутствующие, за исключением палача, последовали его примеру и поклонились Гуинплену еще более почтительно, чуть не до самой земли.

— Что это такое? — крикнул Гуинплен. — Да

разбудите же меня!

И, смертельно бледный, вскочил с кресла.

— Я и пришел для того, чтобы разбудить вас, — проговорил чей-то голос, который прозвучал здесь в первый раз.

Из-за каменного столба выступил человек. Так как никто не спускался в подземелье с той минуты, когда железная плита, поднявшись, открыла доступ в застенок полицейскому шествию, было ясно, что этот человек проник сюда и спрятался в тени еще до появления Гуинплена, что ему поручили наблюдать за всем происходившим и что в этом заключалась его обязанность. Это был тучный человек в придворном парике и дорожном плаще, скорее старый, чем молодой, державшийся весьма пристойно. Он поклонился Гуинплену почтительно, непринужденно; с изяществом хорошо вышколенного лакея, а на с неуклюжестью судейского чина.

— Да, — сказал он, — я пришел разбудить вас. Вот уже двадцать пять лет, как вы спите. Вы видите сон, и вам пора очнуться. Вы считаете себя Гуинпленом, тогда как вы — Кленчарли. Вы считаете себя простолюдином, между тем как вы — знатный дворянин. Вы считаете, что находитесь в последнем ряду, между тем как стоите в

первом. Вы считаете себя скоморохом, в то время как вы — сенатор. Вы считаете себя бедняком, в действительности же вы — богач. Вы считаете себя ничтожным, между тем как вы принадлежите к сильным мира сего. Проснитесь, милорд!

Слабым голосом, в котором звучал неподдельный ужас, Гуинплен прошептал:

— Что значит все это?

— Это значит, милорд, — ответил толстяк, — что меня зовут Баркильфедро, что я — чиновник адмиралтейства; что эта выброшенная волнами фляга Хардкванона была найдена на берегу моря; что она была доставлена мне, ибо распечатывание таких сосудов входит в круг моих обязанностей; что я откупорил ее в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе Джетсон, двух членов парламента, Вильяма Блетуайта, представителя города Бата, и Томаса Джервойса, представителя города Саутгемптона; что они описали и удостоверили содержимое фляги и вместе со мною скрепили протокол своими подписями; что о находке я доложил Ее Величеству; что, по повелению королевы, все требуемые законом формальности были выполнены с соблюдением тайны, необходимой в столь щекотливом деле, и что последняя из этих формальностей — очная

ставка — только что имела место; это значит, что у вас миллион годового дохода, что вы — лорд Соединенного Королевства Великобритании, законодатель и судья, верховный судья и верховный законодатель, облаченный в пурпур и горностай, что вы стоите на одной ступени с принцами и почти равны императору, что ваша голова увенчана пэрской короной и что вы женитесь на герцогине, дочери короля.

Потрясенный этим превращением, поразившим его подобно удару грома, Гуинплен лишился чувств.

2. То, что плывет, достигает берега

Все случившееся явилось следствием того, что некий солдат нашел на берегу моря бутылку.

Расскажем, как это случилось.

Каждое происшествие должно рассматривать лишь как звено в цепи других обстоятельств.

Как-то раз один из четырех канониров, составлявших гарнизон Келшорского замка, подобрал во время отлива на песке оплетенную ивовыми прутьями флягу, выброшенную на берег волнами. Фляга эта, сплошь покрытая плесенью, была закупорена просмоленной втулкой. Солдат отнес

находку в замок полковнику, а тот отослал ее адмиралу Англии. Адмиралу — значит, в адмиралтейство; в адмиралтействе же предметами, выброшенными на берег, ведал Баркильфедро. Баркильфедро, распечатав и откупорив бутылку, доставил ее королеве. Королева сразу взялась за дело. Она сообщила о находке и предложила высказаться двум важнейшим своим советникам — лорд-канцлеру, который по закону является «блюстителем совести английского короля», и лорд-маршалу, «знатоку в вопросах геральдических и родословных». Томас Ховард, герцог Норфолькский, пэр-католик, наследственный гофмаршал Англии, передал через своего представителя графа-маршала Генри Ховарда, графа Биндона, что он заранее соглашается с мнением лорд-канцлера. Лорд-канцлером был тогда Вильям Коупер. Не надо смешивать его с его однофамильцем и современником Вильямом Коупером, анатомом и комментатором Бидлоу, выпустившим в Англии свой «Трактат о мускулах» почти в то же самое время, когда во Франции Этьен Абейль напечатал «Историю костей»; между хирургом и лордом существует некоторая разница. Лорд Вильям Коупер стяжал себе известность фразой, сказанной по поводу дела

Талбота Иелвертона, виконта Лонгвиля: «Для конституции Англии восстановление в правах пэра имеет большее значение, чем реставрация короля». Найденная в Келшоре фляга чрезвычайно заинтересовала лорд-канцлера. Всякий, высказавший какое-либо принципиальное суждение, рад отучаю применить его на деле. А тут как раз представился случай восстановить пэра в его правах. Принялись за розыски человека, выступавшего под именем Гуинплена; найти его оказалось делом нетрудным. Хардкванона тоже. Он был еще жив. Тюрьма может сгноить человека, но вместе с тем сохранить его, если только содержать под стражей значит сохранять. Заключенных в крепости тревожили редко. Темницу не меняли так же, как не меняют мертвецам гроба. Хардкванон все еще сидел в Четэмской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Четэма в Лондон. Одновременно с этим навели справки в Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лозанне и Веве нашли брачное свидетельство лорда Линнея, относящееся к периоду его изгнания, метрическую запись о рождении ребенка, акты о смерти отца и матери; со всех этих бумаг сняли «на всякий случай»

по две засвидетельствованные копии. Все это было выполнено с соблюдением строжайшей тайны в чрезвычайно короткий срок, как говорилось тогда, «с королевской быстротой» и с сохранением глубочайшего «рыбьего молчания», рекомендованного и применявшегося Беконом, а позднее возведенного Блекстоном в обязательное правило при производстве дел верховной канцелярии и государственных дел, а также при рассмотрении вопросов, именовавшихся в ту пору «сенаторскими».

Надпись «Jussu regis» и подпись «Джеффрис» были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, именовавшихся «соизволением его или Ее Величества», это «Jussu regis» не представляет ничего удивительного. Почему Иаков II, которому, казалось бы, следовало скрывать подобные деяния, запечатлел их в документах, рискуя даже повредить успеху предприятия? Ведь это цинизм. Высокомерное презрение ко всему на свете. Ах, вы думаете, что только непотребные женщины, бывают бесстыдны? Государственная политика тоже не отличается стыдливостью. Et se cupit ante

videri[243]. Совершить преступление и хвастаться им — к этому сводится вся история. Король делает себе татуировку, точно каторжник. Надо бы спастись от жандарма и от суда истории, но в то же время жаль расстаться с такой интересной приметой: ведь хочется, чтоб тебя знали и запомнили. Взгляните на мою руку, обратите внимание на этот рисунок с изображением храма любви и пылающего сердца, пронзенного стрелой, — это я, Ласнер. «Jussu regis» — это я, Иаков Второй. Совершить злодеяние — и приложить к нему свою печать. Проявить бесстыдство, сознательно выдать самого себя, выставить напоказ свое преступление — в этом и заключается наглая похвальба злодея. Христина велит схватить Мональдески, вырвать у него признание, умертвить его и при этом говорит: «Я — королева Швеции и пользуюсь гостеприимством короля Франции». Не все тираны поступают одинаково: одни прячутся, как Тиберий, другие тщеславно хвастаются, как Филипп II. Одни ближе к скорпиону, другие — к леопарду. Иаков II принадлежал ко второй разновидности. Лицо у него, как известно, в противоположность Филиппу II, было

[243] Сноски: 243
Желает, чтобы его видели впереди (*лат.*).

открытое и веселое. Филипп II был мрачен, Иаков II — жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Иаков II был тигр добродушный, но, подобно Филиппу, спокойно относился к своим преступлениям. Он был извергом «милостью божией». Потому-то ему ничего не приходилось скрывать и затушевывать: его убийства находили себе оправдание в его «божественном праве». Он тоже готов был оставить после себя Симанкасские архивы, в которых хранились бы пергаменты с подробным перечнем всех его злодеяний, перенумерованные, разложенные по отделам, снабженные ярлыками, в полном порядке, каждый на своей полке, словно яды в лаборатории аптекаря. Подписываться под своими преступлениями — жест, достойный короля.

Всякое совершенное деяние — вексель, выданный на великого неизвестного предъявителя. По векселю со зловещей передаточной надписью «jussu regis» наступил срок платежа.

Королева Анна, умевшая, в отличие от большинства женщин, прекрасно хранить тайну, предложила лорд-канцлеру представить ей по этому важному делу тайный доклад, так называемый «доклад королевскому уху». Такого рода доклады были в большом ходу во всех монархиче-

ских странах. В Вене был даже особый «советник уха», в звании советника двора. Эта почетная должность, учрежденная во времена Каролингов, соответствовала auricularius[244] старинных палатинских хартий — лицу, близкому к императору и имевшему право нашептывать ему на ухо.

Вильям Коупер, канцлер Англии, пользовавшийся доверием королевы на том основании, что был близорук, как и она, если не больше, составил докладную записку, начинавшуюся так: «У Соломона к его услугам были две птицы: удод “худбуд”, говоривший на всех языках, и орел “симурганка”, покрывавший тенью своих крыльев караван из двадцати тысяч человек. Точно так же, хотя и в несколько иной форме…» и т. д. Лорд-канцлер признавал доказанным тот факт, что наследственный пэр был похищен, изувечен и впоследствии найден. Он не порицал Иакова II, который как-никак приходился королеве родным отцом. Он даже приводил доводы в его оправдание. Во-первых, испокон веков существуют известные монархические принципы. Е

[244] Сноски: 244
Наушник (*лат.*)

senioratu eripimus. In roturagio cadut[245]. Во-вторых, королю принадлежит право изувечения его подданных. Чемберлен это признавал. «Corpora et bona nostrorum subjectorum nostra sunt»[246], — изрек преславной и преблагой памяти Иаков I. «Для блага государства» выкалывали глаза герцогам королевской крови. Некоторые принцы, слишком близкие к трону, в полезных для него целях были удушены между двумя тюфяками, прячем их смерть приписывалась апоплексии. Удушить же — дело более серьезное, чем изуродовать. Король тунисский вырвал глаза своему отцу, Муллей-Ассему, тем не менее его послы были приняты императором. Итак, король может приказать лишить своего подданного какой-либо части тела точно так же, как лишают прав состояния и т. п., — это вполне законно. Но одно законное действие не уничтожает другого. «Если человек, которого утопят по приказанию короля, выплывет на поверхность живым, это означает, что Бог смягчил королевский приговор. Если найден наследственный пэр, должно ему возвратить

[245] Сноски: 245

Исторгаемый из среды дворянства становится лицом недворянского сословия (*лат.*).

[246] Сноски: 246

Жизнь и имущество наших подданных принадлежат нам (*лат.*).

пэрскую корону. Так было с лордом Алла, королем Нортумбрии, который тоже был фигляром. Так должно поступить и с Гуинпленом, который тоже король, то есть лорд. Низкое ремесло, которым ему пришлось заниматься в силу непреодолимых обстоятельств, не позорит герба; тому свидетельством Абдолоним, который, будучи королем, был вместе с тем и садовником, или святой Иосиф, который был плотником, или, наконец, Аполлон, который был богом и в то же время пастухом». Короче, ученый канцлер приходил к выводу, что необходимо восстановить Фермена, лорда Кленчарли, ложно именуемого Гуинпленом, во всех его имущественных правах и титулах, но «под непременным условием, чтобы ему была дана очная ставка с преступником Хардкваноном и чтобы упомянутый Хардкванон признал его». Этим заключением канцлер, конституционный блюститель королевской совести, окончательно успокаивал эту совесть.

В особой приписке лорд-канцлер напоминал, что в случае упорного запирательства Хардкванона к нему следует применить «длительный допрос с пристрастием», причем очная ставка должна произойти лишь на четвертый день, когда для преступника настанет час «смерт-

ного хлада», о котором говорит хартия короля Адельстана. В этом было, конечно, некоторое неудобство: а именно — пытаемый мог умереть на второй или на третий день, что затруднило бы очную ставку; тем не менее приходилось подчиняться закону. Применение закона всегда встречает известные трудности.

Впрочем, по мнению лорд-канцлера, можно было быть вполне уверенным, что Хардкванон признает Гуинплена.

Анна, с одной стороны, в достаточной мере осведомленная об уродстве Гуинплена, с другой — не желая обижать сестру, к которой перешли все поместья Кленчарли, с радостью согласилась на брак герцогини Джозианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом.

Восстановление в правах лорда Фермена Кленчарли не представляло никаких затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником. В сомнительных случаях, когда трудно бывало доказать родство или когда пэрство in abeyance[247] оспаривалось родственниками по боковой линии, закон требовал перенесения вопроса в палату лордов. Не обращаясь к более

---

[247] Сноски: 247
В состоянии неизвестности (*англ.*).

отдаленным временам, укажем, что в 1782 году здесь был разрешен вопрос о праве Елизаветы Перри на Сиднейское баронство; в 1789 году — о праве Томаса Степльтона на Бомонтское баронство; в 1803 году — о праве достопочтенного Таимвела Бриджеса на баронство Чандос; в 1813 году — о праве генерал-лейтенанта Ноллиса на пэрство и на графство Бенбери и т. д. В данном случае не было ничего подобного. Никакой тяжбы. Незачем было тревожить палату, и для признания нового лорда было вполне достаточно одного волеизъявления королевы в присутствии лорд-канцлера.

Заправлял всем Баркильфедро.

Благодаря ему дело велось с такими предосторожностями, тайна охранялась так тщательно, что ни Джозиана, ни лорд Дэвид даже не подозревали о том, как искусно под них подкапываются. Высокомерную Джозиану, державшуюся в стороне от всех, обойти было нетрудно. Что же касается лорда Дэвида, то его отправили в плавание к берегам Фландрии. Ему предстояло лишиться титула лорда, а он об этом и не догадывался. Отметим здесь одну подробность. В десяти лье от места стоянки флотилии, которой командовал лорд Дэвид, капитан Хелибертон

разбил французский флот. Граф Пемброк, председатель совета, предложил наградить капитана Хелибертона чином контр-адмирала. Анна вычеркнула фамилию Хелибертон и внесла вместо нее в список имя лорда Дэвида Дерри-Мойр, для того чтобы к тому моменту, когда он узнает о потере пэрства, лорд Дэвид мог по крайней мере утешиться адмиральским чином.

Анна чувствовала себя вполне удовлетворенной. Сестре — безобразный муж, лорду Дэвиду — прекрасный чин. С одной стороны — злорадство, с другой — благоволение.

Ее Величеству предстояло насладиться ею же самой придуманной комедией. К тому же она убедила себя в том, что исправляет несправедливость, допущенную ее августейшим отцом, возвращает сословию пэров одного из его членов, то есть действует, как подобает великой монархине, что, по воле божией, она защищает невинность, что провидение в благих и неисповедимых путях своих… и т. д. Нет ничего приятнее, чем поступать справедливо, когда тем самым причиняешь огорчение тому, кого ненавидишь.

Впрочем, для королевы было достаточно уже одного сознания, что у ее красавицы сестры будет уродливый муж. В чем именно состоит уродство

Гуинплена, каково это безобразие, — Баркильфедро не счел нужным сообщить королеве, а сама она не соблаговолила расспросить его об этом. Подлинно королевское пренебрежение. Да и не все ли равно? Палата лордов могла быть только признательна ей. Лорд-канцлер, официальный оракул, выразил общее мнение. Восстановить пэра — значит поддержать все пэрское сословие. Королевская власть в этом случае выступала как верная и надежная заступница пэрских привилегий. Какова бы ни была внешность нового пэра, она не может явиться препятствием, поскольку речь идет о законном праве на наследство. Анна, вполне удовлетворенная своими доводами, пошла прямо к цели — к великой, женской и королевской цели, состоящей в том, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится.

Королева жила в то время в Виндзоре, поэтому придворные интриги не сразу получили огласку.

Только лица, без которых никак нельзя было обойтись, были осведомлены о предстоящих событиях.

Баркильфедро торжествовал, и это придавало его лицу еще более зловещее выражение. Порою радость бывает самым отвратительным чувством.

Ему первому выпало на долю удовольствие откупорить флягу Хардкванона. Он не выказал при этом особого удивления, ибо удивляются только ограниченные люди. К тому же — не правда ли? — это было для него вполне заслуженной наградой, — он так долго ждал счастливого случая. Должна же была, наконец, судьба улыбнуться ему.

Это nil mirari[248] было одной из отличительных черт его поведения. Однако, надо сознаться, в глубине души он был поражен. Тому, кто мог бы сорвать с него личину, под которой он скрывал свою душу даже перед Богом, представилась бы такая картина: именно в это время Баркильфедро начинал приходить к убеждению, что он, человек ничтожный и вместе с тем так близко стоящий к блистательной герцогине Джозиане, не в силах нанести ей хоть какой-нибудь удар. Это вызвало в нем безумный взрыв затаенной ненависти. Он дошел до полного отчаяния. Чем больше терял он надежду, тем сильнее становилась его ярость. «Грызть удила» — как верно передают эта слова состояние духа злого человека, которого гложет сознание собственного бессилия. Баркильфед-

---

[248] Сноски: 248
Ничему не удивляться (*лат.*).

ро был, пожалуй, готов отказаться если не от желания причинить зло Джозиане, то от своих мстительных планов; если не от бешеной вражды к ней, то от намерения ужалить ее. Но какой это позор для него — выпустить из рук добычу! Затаить в себе злобу, как прячут в ножны кинжал, годный лишь для музея! Какое горчайшее унижение!

И вдруг, как раз в это самое время (хаос, господствующий во Вселенной, любит такие совпадения!) фляга Хардкванона, перепрыгивая с волны на волну, попадает в руки Баркильфедро. В неведомом сокрыты какие-то силы, всегда готовые выполнять веления зла. В присутствии двух равнодушных свидетелей, двух чиновников адмиралтейства Баркильфедро открывает флягу, находит в ней пергамент, разворачивает его, читает... Представьте себе только его сатанинскую радость!

Странно подумать, что море, ветер, водные пространства, приливы и отливы, бури, штили могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить счастье злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся целых пятнадцать лет. Непостижимая тайна! В течение пятнадцати лет океан беспрерывно работал над

этим. Волны передавали одна другой всплывшую на поверхность флягу, подводные камни сделали все, чтобы она не разбилась о них и на стекле не появилось ни одной трещины, пробка осталась цела, морские водоросли не разъели ивовой плетенки, раковины не стерли слова «Хардкванон», вода не проникла внутрь сосуда, плесень не покрыла пергамента, сырость не уничтожила написанного — сколько забот приняла на себя морская пучина! И вот в конечном итоге то, что Гернардус бросил во тьму, тьма отдала Баркильфедро: послание, предназначенное Богу, попало в руки к дьяволу. Беспредельность злоупотребила доверием человека; по мрачной иронии судьбы торжество справедливости — превращение покинутого ребенка, Гуинплена, в лорда Кленчарли — осложнилось победой адской злобы; судьба совершила благое дело, прибегнув к дурному средству, и заставила правосудие послужить несправедливости. Отнять жертву у Иакова II — и отдать ее в руки Баркильфедро. Возвысить Гуинплена только для того, чтобы унизить Джозиану. Баркильфедро достиг успеха — и для этого в продолжение стольких лет волны, бурные валы и шквалы бросали, терзали — и уберегли стеклянную флягу, в которой тесно переплелись жребии

стольких людей! Для этого вступили между собою в сердечное согласие ветры, приливы и бури! Необъятный, вечно волнующийся океан сотворил это чудо в угоду мерзавцу! Бесконечность оказалась помощницей жадного червя! Какие мрачные прихоти бывают порою у судьбы!

Баркильфедро почувствовал прилив титанической гордости. Он говорил себе, что все было сделано ради него одного. Ему казалось, что он — центр и цель происшедшего.

Он ошибался. Отдадим справедливость случаю. Не в этом заключался истинный смысл замечательного происшествия, которым воспользовался в своей ненависти Баркильфедро. Дело обстояло совсем иначе. Океан, заменив сироте отца и мать, наслал бурю на его палачей, разбил урку, оттолкнувшую от себя ребенка, поглотил тех, кто находился на ней, не внимая их мольбам о пощаде и соглашаясь принять от них только раскаяние; буря получила залог из рук смерти; прочное судно, хранящее преступления, заменила собою хрупкая фляга, внутри которой был документ, долженствовавший восстановить поруганную справедливость; море, подобно пантере, ставшей кормилицей, взяло на себя новую роль: оно принялось укачивать

не самого ребенка, а его жребий, в то время как ребенок рос, не подозревая о том, что совершает для него морская пучина; волны, в которые была брошена бутылка, неусыпно бодрствовали над этим осколком прошлого, заключавшим в себе грядущее; ураган осторожно проносился над хрупким сосудом, течения несли его зыбкими путями среди бездонных глубин; водоросли, буруны, утесы, кипящие пеной волны взяли под свое покровительство невинное существо; океанский вал оказался непоколебим, как совесть; хаос восстанавливал порядок; мрак стремился к торжеству света; тьма содействовала восходу солнца истины; изгнанник, лежавший в могиле, получил утешение, наследник — законное наследство: преступное решение короля отменялось, предначертанное свыше воплощалось в жизнь, беспомощный, брошенный ребенок обрел опекуна в лице самой бесконечности. Вот что мог бы увидеть Баркильфедро в событии, приводившем его в такой восторг. Но ничего этого он не видел. Ему и в голову не приходило, что все это совершилось ради Гуинплена; он решил, что все было сделано для него, Баркильфедро, и что он вполне заслужил это. Таковы сатанинские натуры.

Тот, кто удивился бы, что такой хрупкий предмет, как стеклянная фляга, мог уцелеть, проплавав пятнадцать лет, лишь обнаружил бы недостаточное знакомство с океаном, который очень кроток по природе. 4 октября 1867 года в Морбигане, между островом Груа, оконечностью Гаврского полуострова и утесом Странников, рыбаки из Порт-Луи нашли римскую амфору четвертого века, которую море разрисовало своими арабесками. Эта амфора проплавала полторы тысячи лет.

Как ни старался Баркильфедро напустить на себя равнодушный вид, его изумление могло сравниться только с его радостью.

Все само давалось ему в руки, все было словно нарочно подготовлено. Все составные части события, которое должно было насытить его ненависть, оказались к его услугам. Ему оставалось только сблизить их еще больше и соединить между собой. Такая пригонка — приятное занятие. Чеканная работа.

Гуинплен! Это имя было ему известно. Masca ridens. Как и все, он ходил смотреть на «Человека, который смеется». Он прочитал вывеску у Тедкастерской гостиницы, как читают всякую театральную афишу, привлекающую к себе

внимание толпы; он заметил ее и теперь сразу припомнил ее до мельчайших подробностей, которые, впрочем, позднее проверил; эта афиша возникла перед его умственным взором с быстротою электрической искры, заняла место в его сознании рядом с пергаментом, обнаруженным в бутылке, как ответ на вопрос, как разгадка загадки, и слова вывески: «Здесь можно видеть Гуинплена, покинутого в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года на берегу моря в Портленде» — внезапно озарились для него апокалиптическим светом. Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнула огромными буквами надпись — «Мене, текел, фарес». Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джозианы, сразу рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой. Дэвид Дерри-Мойр терял все. Пэрство, богатство, могущество, высокое положение — все переходило от лорда Дэвида к Гуинплену. Все — замки, охоты, леса, особняки, дворцы, поместья, — все, в том числе и Джозиана, доставалось отныне Гуинплену. А Джозиана! Какой финал! Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной, высокомерной герцогине — площадной шут. Ей, привередливой красавице — урод. Кто мог бы этого ожидать? Говоря по прав-

де, Баркильфедро был в восторге. Неожиданные прихоти судьбы, неистощимой на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса. Теперь Баркильфедро казались глупыми и жалкими его недавние мечты. Его ожидало нечто лучшее.

Если бы предстоящая перемена даже послужила ему во вред, он все равно, продолжал бы к ней стремиться. Есть злые насекомые, которые жалят, не только не извлекая из укуса никакой пользы для себя, но даже зная, что сами умрут от этого. Баркильфедро принадлежал к их числу.

Но в этот раз он действовал не бескорыстно. Лорд Дэвид Дерри-Мойр не был ему обязан ничем, тогда как лорд Фермен Кленчарли должен был стать его неоплатным должником. Из покровительствуемого Баркильфедро становился покровителем. И чьим покровителем? Пэра Англии. У него будет свой собственный лорд — лорд, созданный им! Баркильфедро твердо рассчитывал, что сразу же приберет его к рукам. И этот лорд будет морганатическим зятем королевы! Своим уродством он столько же будет приятен королеве, сколько противен Джозиане. Благодаря ему и он, Баркильфедро, облачившись

в скромную, солидную одежду, может стать значительной персоной. Он всегда чувствовал влечение к духовной карьере. Ему так хотелось сделаться епископом.

А пока он был вполне счастлив настоящим.

Какой блестящий успех! Простая случайность, и как все отлично сложилось! Волны медленно, но верно доставили ему возможность мщения: он называл это своим мщением! Не напрасно подстерегал он удачу.

Он, Баркильфедро, был подводным утесом, а Джозиана — потерпевшим крушение судном. Джозиана разбилась о Баркильфедро! Он испытывал неописуемый злобный восторг.

Он обладал так называемым даром внушения, который состоит в том, что в уме другого человека делают как бы надрез, куда влагают собственную мысль; держась в стороне и не вмешиваясь явно ни во что, Баркильфедро устроил так, чтобы Джозиана поехала в «Зеленый ящик» и увидела Гуинплена. Это никак не могло повредить планам Баркильфедро. Напротив, показать фигляра в окружавшей его унизительной обстановке — это было совсем неплохо придумано и позднее должно было оказаться острой приправой к тому, что ожидало Джозиану впереди.

Он заранее потихоньку подготовил все. Он хотел, чтобы события разразились внезапно. Проделанную им работу можно было обозначить только необычным определением: он стремился вызвать удар грома.

Покончив с предварительными приготовлениями, он позаботился о том, чтобы все требуемые законом формальности были выполнены. Однако дело не получило огласки, ибо закон предписывал соблюдать в подобных случаях строгую тайну.

Произошла очная ставка Хардкванона с Гуинпленом; Баркильфедро присутствовал при этом. Чем она окончилась, читателю известно.

В тот же самый день за леди Джозианой, находившейся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню в Виндзор, где пребывала в это время Анна. Джозиана, у которой были свои планы, с удовольствием ослушалась бы приказания Ее Величества или по крайней мере отложила бы свою поездку на один день, но придворный этикет не допускает такого своеволия. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу и переменить свою лондонскую резиденцию, Генкервилл-Хауз, на виндзорскую — Корлеоне-Лодж.

Герцогиня Джозиана покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда жезлоносец явился в Тедкастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуинплена и отвести его в саутворкское подземелье пыток.

Когда она приехала в, Виндзор, пристав черного жезла, дежуривший у дверей в приемную королевы, сообщил Джозиане, что Ее Величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять ее только на следующий день; поэтому она должна ждать в Корлеоне-Лодже распоряжений Ее Величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джозиана, весьма раздосадованная, вернулась к себе, была за ужином в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме своего пажа, потом отпустила и его и легла спать еще засветло.

Уже дома она узнала, что завтра в Виндзоре ожидают лорда Дэвида Дерри-Мойр, который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору.

3. Всякий, кого в одно мгновение перебросили бы из Сибири в Сенегал, лишился бы чувств (Гумбольдт)

Нет ничего удивительного в том, что даже самый крепкий и выносливый мужчина теряет сознание под влиянием внезапной перемены судьбы. Неожиданность оглушает человека, как мясник оглушает обухом быка. Франциск д'Альбескола, тот самый, что разрывал голыми руками железные цепи в турецких гаванях, целый день пролежал в обмороке, когда его избрали папой. А ведь расстояние, отделяющее кардинала от папы, меньше расстояния, отделяющего скомороха от пэра Англии.

Ничто не действует так сильно, как нарушение равновесия.

Когда Гуинплен открыл глаза и пришел в себя, была уже ночь. Он сидел в кресле посреди просторной комнаты, где стены и потолок были обтянуты пурпурным бархатом, а пол устлан мягким ковром. Рядом стоял без шляпы и в дорожном плаще человек с толстым животом — тот, который вышел из-за колонны в саутворкском

подземелье. Кроме него и Гуинплена, никого в комнате не было. По обеим сторонам от кресла, так близко, что Гуинплен мог достать до них рукой, стояли два стола, а на них — канделябры с шестью зажженными восковыми свечами. На одном из столов находились какие-то бумаги и шкатулка; на другом — золоченое блюдо с закуской: холодная дичь, вино и бренди.

В высоком, от самого пола до потолка, окне на светлом фоне ночного апрельского неба вырисовывались колонны, обступившие полукругом парадный двор с тремя воротами: одними очень широкими и двумя поуже; средние ворота — для карет — были очень большие, ворота направо — для всадников — поменьше, а налево — для пешеходов — еще меньше. Все ворота запирались решетками с блестящими остриями на концах прутьев. Средние ворота были украшены лепкой. Колонны были, по-видимому, из белого мрамора, так же как и блестевшие, точно снег, плиты, которыми был вымощен двор; они окаймляли белым полем какой-то мозаичный узор, еле выделявшийся в полумраке; при дневном свете этот узор, вероятно, оказался бы гербом, выложенным по флорентийскому образцу из разноцветных плиток. Балюстрады, то поднимавшиеся зигзагами

кверху, то спускавшиеся вниз, были не чем иным, как перилами лестниц, соединявших между собою террасы. Над двором высилось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле; вверху, на усеянном звездами небе, выступал резкий силуэт кровля. Видна была огромная крыша, щипец с завитками, мансарды, похожие на шлемы с забралами, дымовые трубы, напоминавшие башни, и карнизы со статуями богов и богинь. В полумраке между колоннами взлетали кверху брызги одного из тех волшебных водометов, которые, переливаясь с тихим журчанием из бассейна в бассейн, ниспадают то мелким дождем, то сплошными каскадами, похожи на ларцы, из которых высыпались драгоценности, и с безрассудной щедростью разбрасывают во все стороны свои алмазы и жемчуга, словно для того, чтобы развеять скуку окружающих их статуй. В простенках длинного ряда окон виднелись барельефы в виде щитов с доспехами и бюсты на подставках. На цоколях фронтона военные трофеи и каменные шишаки с султанами чередовались с изображениями богов.

В глубине комнаты, где находился Гуинплен, был с одной стороны громадный, упиравшийся в самый потолок, камин, а с другой, под бал-

дахином, — одна из тех непомерно высоких и широких кроватей средневекового стиля, на которые надо взбираться по ступенькам помоста и где свободно можно улечься поперек. К помосту этого ложа была придвинута скамейка. Остальная мебель состояла из кресел, выстроившихся вдоль стен, и расставленных перед ними стульев. Потолок имел форму купола; в камине, на французский лад, пылал жаркий огонь; по яркости пламени, по его розовато-зеленым языкам знаток сразу определил бы, что горят ясеневые дрова — большая роскошь в те времена; комната была так велика, что два канделябра еле освещали ее. Несколько дверей, одни с опущенными, другие с приподнятыми портьерами, вели в смежные комнаты. Вся обстановка, прочная и массивная, носила на себе отпечаток несколько устаревшей, но великолепной моды времен Иакова I. Точно так же, как ковер и обивка стен, все в этой комнате было из красного бархата: полог, балдахин, покрывало кровати, занавеси, скатерти на столах, кресла, стулья. Никакой позолоты, кроме как на потолке. Там, в самой середине, блестел огромный чеканной работы круглый щит с ослепительными геральдическими украшениями; среди них, на двух расположенных рядом гербах,

выделялись баронская корона в виде обруча и корона маркиза. Из чего были сделаны все эти эмблемы? Из позолоченной меди? Из позолоченного серебра? Определить было трудно. Они казались золотыми. С темного свода роскошного потолка этот мрачно сверкающий щит сиял, словно солнце на ночном небе.

Выросший на воле человек, который дорожит своей свободой, испытывает во дворце почти то же чувство беспокойства, что и в тюрьме. Это пышное зрелище вызывает тревогу. Всякое великолепие внушает страх. Кто обитатель этого царского чертога? Какому исполину принадлежит этот дворец? Гуинплен все еще не мог прийти в себя, и сердце его сжималось.

— Где я? — произнес он вслух.

Человек, стоявший перед ним, ответил:

— Вы у себя дома, милорд.

4. Чары

Для того чтобы всплыть со дна на поверхность, требуется некоторое время.

Гуинплен был ввергнут в такую глубокую пучину изумления, что сразу прийти в себя он не мог.

Невозможно в одно мгновение освоиться с

неведомым.

Мысли иногда приходят в расстройство точно так же, как войско на войне, и их так же трудно собрать, как разбежавшихся солдат. Человек чувствует себя как бы расчлененным на части. Он присутствует при каком-то странном распаде собственной личности.

Бог — рука, случай — праща, человек — камень. Попробуйте остановиться, когда вас метнули ввысь.

Гуинплена — да простят нам это сравнение — как бы швыряло от одного поразительного события к другому. После любовного письма герцогини — открытие в саутворкском подземелье.

Когда вы вступаете в полосу неожиданностей, готовьтесь к тому, что они обрушатся на вас одна за другой. Как только перед вами распахнулась эта страшная дверь, в нее сразу устремляются неожиданности. Как только в стене пробита брешь, события сразу же врываются в этот пролом. Необычайное не приходит только один раз.

Необычайное — это мрак. Этот мрак окутывал Гуинплена. То, что с ним случилось, казалось ему непостижимым. Он видел все сквозь туман, который заволакивает наше сознание после пережитого нами глубокого потрясения подобно тому,

как после обвала еще стоит в воздухе облако пыли. Это было действительно сильное потрясение. Он не мог разобраться в окружающем. Но мало-помалу воздух становится прозрачнее. Пыль оседает. С каждой минутой ослабевает удивление. Гуинплен напоминал человека, спящего с открытыми глазами и старающегося разглядеть то, что происходит с ним во сне. Он то разгонял это облако, то опять давал ему сгущаться, то терял рассудок, то снова обретал его. Под влиянием неожиданности он переживал те колебания разума, которые бросают нас из стороны в сторону, заставляя переходить от понимания к полной растерянности. Кому не случалось наблюдать это качание маятника в собственном мозгу?

Постепенно мысль Гуинплена стала осваиваться с мраком загадочного события, подобно тому как ранее его глаза освоились с мраком саутворкского подземелья. Трудность заключалась в том, что надо было как-то распутать все эти сбившиеся в один клубок впечатления. Для того чтобы воспринять нагромождение событий, нужна передышка. Здесь же ее не было: события обрушивались одно за другим, не давая ни минуты отдыха. Входя в ужасное саутворкское подземелье, Гуинплен ожидал, что его закуют в

кандалы, как каторжника, а его увенчали короной. Как это могло случиться? Между тем, чего опасался Гуинплен, и тем, что с ним произошло в действительности, промежуток времени был слишком мал, все следовало слишком быстро одно за другим, его испуг чересчур скоро сменился иными чувствами, и он не мог прийти в себя. Противоположности были слишком разительны. Они как тисками сдавили рассудок Гуинплена, и он всеми силами старался высвободить его.

Он молчал. Мы не в достаточной мере отдаем себе отчет, насколько силен инстинкт, заставляющий нас прибегать к молчанию, когда мы чем-нибудь поражены до глубины души. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему. Одно случайно оброненное слово может иногда погубить все.

Бедняк живет в вечном страхе быть раздавленным. Толпа всегда боится, что ее кто-то растопчет. А Гуинплен с младенческих лет был частью этой толпы.

Бывает странное состояние тревоги, выражающееся словами «что-то надвигается». Гуинплен находился именно в таком состоянии, когда человек чувствует, что положение еще не определилось окончательно, когда выжидаешь чего-то,

что еще должно произойти. Смутно настораживаешься. «Что-то надвигается». Что? — Неизвестно. Кто? Всматриваешься в даль.

Человек с большим животом повторил:

— Вы у себя дома, милорд.

Гуинплен озирался. Когда человек изумлен, он сперва оглядывается кругом, чтобы удостовериться, что все по-прежнему стоит на своем месте, затем ощупывает самого себя, чтобы убедиться в собственном существовании. Да, действительно обращались к нему, но он уже был не он. На нем уже не было его рабочего костюма, его кожаного нагрудника. На нем был камзол из серебряной парчи и, судя по ощущению, атласный, расшитый золотом кафтан, в кармане камзола туго набитый кошелек; поверх узкого, в обтяжку, трико клоуна — широкие бархатные панталоны, а на ногах башмаки с высокими красными каблуками. Его не только перенесли во дворец, его переодели с головы до ног.

Человек продолжал:

— Соблаговолите запомнить, ваша милость, что меня зовут Баркильфедро. Я чиновник адмиралтейства. Это я вскрыл флягу Хардкванона и извлек из нее ваш жребий. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана.

Гуинплен устремил глаза на улыбающееся лицо говорившего.

Баркильфедро продолжал:

— Кроме этого дворца, милорд, вам принадлежит Генкервилл-Хауз — тот дворец еще роскошнее. Вам принадлежит Кленчарли-Касл, дающий вам титул пэра и представляющий собою крепость времен Эдуарда Старого. Вы владеете девятнадцатью округами со всеми входящими в них деревнями и поселянами. Это дает вам возможность собрать под вашим знаменем лорда и дворянина около восьмидесяти тысяч вассалов и тяглых людей. В Кленчарли вы — полновластный судья и господин над всем — над имуществом и над людьми; там вы можете править свой баронский суд. У короля только то преимущество перед вами, что он чеканит монету. Король, который в нормандских законах именуется chief signer[249], имеет право суда и право чеканки. За исключением последнего, вы такой же король в своих поместьях, как он в своем королевстве. Как барон, вы в Англии имеете право на виселицу о четырех столбах, и в Сицилии, как маркиз, — на виселицу о семи столбах; у простого дворянина

---

[249] Сноски: 249
Главный сеньер (*англ.*).

виселица о двух столбах, у ленного владельца — о трех, а у герцога — о восьми. В старинных хартиях Нортумбрии вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валеншиа (они же Поуэр) в Ирландии и с графами Эмфревиль (они же Ангус) в Шотландии. Вы являетесь главою клана, так же как Кемпбел, Ардманах и Мак-Каллумор. У вас восемь родовых поместий: Рикелвер, Бекстон, Хелл-Кертерс, Хомбл, Морикемб, Гемдрайт, Тренуордрайт и еще другие. Вам принадлежит право на торфяные разработки в Пилинморе и на алебастровые ломки в Тренте; кроме того, в вашем владении находится вся Пенетчейзская область и гора с расположенным на ней старинным городом. Город называется Вайнкаунтон, а гора — Мойл-Энли. Все это дает вам сорок тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода, то есть в сорок раз больше тех двадцати пяти тысяч франков, которыми довольствуется какой-нибудь французский маркиз.

В то время как Баркильфедро говорил, изумление Гуинплена все возрастало, и он припоминал многое. Воспоминание — пучина, которую одно слово может всколыхнуть до дна. Все названия замков и поместий, которые перечислил Баркильфедро, были знакомы Гуинплену. Они

занимали несколько строк внизу двух надписей, украшавших стены возка, в котором протекло его детство; долгие годы взор его машинально скользил по ним, он невольно заучил их наизусть. Придя покинутым сиротою в передвижной балаган Урсуса, он нашел в нем опись ожидавшего его наследства; просыпаясь по утрам, бедный мальчик первым делом устремлял свой беспечный и рассеянный взгляд на перечень своих владений и титулов. Удивительное совпадение, присоединившееся ко всем неожиданностям, уготованным ему судьбою: в течение пятнадцати лет он, клоун бродячей труппы, кочевавшей с одного перекрестка на другой, он, с трудом зарабатывавший себе изо дня в день на пропитание, собиравший гроши и живший впроголодь, странствовал, все время имея перед глазами перечень своих богатств.

Баркильфедро дотронулся указательным пальцем до шкатулки, стоявшей на столе.

— Милорд, в этой шкатулке две тысячи гиней, которые Ее Величество, всемилостивейшая королева, посылает вам на первые расходы.

Гуинплен сделал движение.

— Это будет для моего отца Урсуса, — сказал он.

— Хорошо, милорд, — ответил Баркильфедро. — Для Урсуса, что живет в Тедкастерской гостинице. Присяжный законовед, сопровождавший нас сюда, сейчас отправляется обратно: он и отвезет ему эти деньги. Быть может, и я поеду в Лондон. В таком случае я возьму это поручение на себя.

— Я сам отвезу их, — возразил Гуинплен.

Баркильфедро перестал улыбаться и сказал:

— Невозможно.

Есть интонации, которые подчеркивают слова. Баркильфедро прибегнул именно к такой интонации. Он остановился, как будто для того, чтобы поставить точку. Потом продолжал тем почтительным и полным значения тоном, каким говорят слуги, чувствующие себя господами:

— Милорд, вы находитесь в двадцати трех милях от Лондона, в Корлеоне-Лодже, вашей придворной резиденции, смежной с Виндзорским королевским замком. Никому не известно, что вы здесь. Вас привезли сюда в закрытой карете, которая ждала вас у ворот Саутворкской тюрьмы. Люди, доставившие вас в этот дворец, вас не знают, но они знают меня, и этого довольно. Мы могли попасть в это помещение лишь благодаря тому, что у меня есть секретный ключ. В доме спят, и сейчас неудобно будить слуг. Поэтому

я успею дать вам некоторые объяснения, тем более что сказать мне остается немного. Сейчас изложу суть дела. У меня есть поручение от Ее Величества.

Продолжая говорить, Баркильфедро принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой.

— Милорд, вот ваша грамота на звание пэра. Вот другая грамота на титул сицилийского маркиза. Вот документы ваших восьми баронств, с печатями одиннадцати королей, начиная с Бальдрета, короля Кентского, и до Иакова Шестого и Первого, короля Англии и Шотландии. Вот документ на право председательствования в разных учреждениях. Вот арендные договоры на получение доходов, акты на право владения и подробные описания ваших ленов, поместий, земель и вотчин. Вот в щите над вашей головой изображены две короны — баронская с жемчугами и зубчатая корона маркиза. Рядом с этой комнатой, в гардеробной, висит ваша пурпурная, отороченная горностаем, бархатная мантия пэра. Сегодня, всего лишь несколько часов тому назад, лорд-канцлер и депутат — граф-маршал Англии, узнав о результате вашей очной ставки с компрачикосом Хардкваноном, получали распоряжения

Ее Величества. Королева Анна соизволила своей подписью скрепить соответствующий приказ, что равносильно закону. Все формальности соблюдены. Не позднее, чем завтра, вы вступите в качестве полноправного члена в палату лордов; там уже несколько дней идет обсуждение представленного короною билля об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов, то есть на два с половиной миллиона французских ливров, годичного содержания герцогу Кемберлендскому, супругу королевы; вы можете принять участие в прениях.

Баркильфедро остановился, медленно перевел дух и продолжал:

— Однако дело еще не доведено до конца. Нельзя стать пэром Англии помимо своего желания. Если вы не захотите понять, что от вас требуется, все может рухнуть и погибнуть безвозвратно. В политике бывают случаи, когда назревающее событие так и не воплощается в жизнь. Милорд, о перемене в вашем положении пока еще никому не известно. Палата лордов узнает об этом только завтра. Все ваше дело хранилось в тайне по соображениям государственного порядка, и соображения эти настолько серьезны, что те немногие высокопоставленные лица, которые в

настоящее время осведомлены о вашем существовании и ваших правах, немедленно же забудут о них, если того потребуют государственные интересы. То, что сохраняется сейчас в тайне, может остаться скрытым навсегда. Устранить вас ничего не стоит. Это тем более легко, что у вас есть брат, побочный сын вашего отца и женщины, которая впоследствии, во время его изгнания, стала любовницей короля Карла Второго, благодаря чему и ваш брат занимает при дворе видное положение; ваше пэрство может перейти к нему, хотя он и незаконный сын. Хотите вы этого? Не думаю. Итак, все зависит от вас. Надо повиноваться королеве. Вы покинете этот дворец только завтра и отправитесь в карете Ее Величества прямо в палату лордов. Милорд, желаете вы быть пэром Англии, да или нет? Королева имеет на вас виды. Она намерена соединить вас браком с особой почти королевской крови. Лорд Фермен Кленчарли, настала решительная минута в вашей жизни; Судьба никогда не открывает одной двери, не захлопнув в то же время другой. Сделав несколько шагов вперед, уже нельзя отступить ни на шаг. Перевоплощение неизбежно предполагает исчезновение прежней личности, Милорд! Гуинплен умер. Вы все поняли?

Гуинплен задрожал с головы до ног, потом овладел собой.

— Да, — сказал он.

Баркильфедро улыбнулся, поклонился и, спрятав шкатулку под плащ, вышел.

5. Человеку кажется, что он вспоминает, между тем как он забывает

Что за странные перемены совершаются порою в человеческой душе!

Гуинплен в одно и то же время был вознесен на вершину и низвергнут в пропасть.

У него кружилась голова.

Кружилась вдвойне.

Кружилась от взлета и от падения.

Роковое сочетание.

Он чувствовал, как подымается, но не ощущал своего падения.

Новый горизонт всегда пугает нас.

Перспектива помогает найти направление. Не всегда правильное.

Перед Гуинпленом в облаках открылся волшебный просвет — не западня ли это? — и сквозь него проглянула густая синева. Такая густая, что ее можно было принять за тьму.

Он стоял на горе, с которой видны все земные царства. Гора эта тем страшнее, что в действительности ее не существует. Те, кто находится на этой вершине, погружены в сон. Тут искушает бездна, и она так сильна, что ад надеется совратить здесь рай и дьявол возносит сюда Бога. Обольстить вечность — какая странная надежда! Каково же бороться человеку там, где сатана искушает Иисуса?

Дворцы, замки, могущество, богатство, все блага земные, мир безграничных наслаждений, нечто вроде лучезарной карты обоих полушарий, средоточием которых являешься ты сам, — какой опасный мираж!

Вообразите же себе смятение души перед таким видением, возникшим внезапно и без предварительно пройденных ступеней, без предупреждения, без всяких переходов.

Гуинплен был подобен человеку, заснувшему в кротовой норе, а проснувшемуся на шпиле колокольни Страсбургского собора.

Головокружение — это своего рода ясновидение. В особенности то, которое, слагаясь из двух противоположных вращательных движений, увлекает вас одновременно и к свету, и к мраку.

Видишь и слишком много и слишком мало.

Видишь все и не видишь ничего.

Испытываешь состояние, которое автор этой книги назвал где-то состоянием «ослепленного светом слепого».

Оставшись один, Гуинплен взволнованно зашагал взад и вперед по комнате. Вспышка всегда предшествует взрыву.

Обуреваемый нахлынувшими мыслями, он не в силах был усидеть на месте. Эта вспышка уничтожала все его прошлое. Он вызывал в своей памяти картины минувшего. Странно: оказывается, мы прекрасно слышим то, к чему почти не прислушиваемся. Прочитанное шерифом в саутворкском подземелье показание погибших на урке теперь до малейших подробностей всплыло в его мозгу; он припоминал каждое слово; этот документ раскрыл ему тайну его детства.

Вдруг он остановился, заложив руки за спину, и поглядел на потолок или на небо — словом, куда-то вверх.

— Возмездие! — воскликнул он.

Он походил на человека, вынырнувшего из воды. Ему казалось, что он видит все: и прошедшее, и настоящее, и будущее, озаренные внезапным светом.

«Ах! — мысленно воскликнул он, ибо можно

восклицать и мысленно. — Так вот в чем дело! Я, значит, родился лордом. Теперь все ясно. Меня похитили, продали, лишили наследства, покинули, обрекли на смерть! Пятнадцать лет труп моей судьбы носился по морю и наконец воспрянул и ожил. Я возрождаюсь. Я рождаюсь вновь! Я всегда чувствовал, что под моими лохмотьями бьется сердце не простого фигляра, и когда я обращался к людям, я сознавал, что если они стадо, то я не собака, а пастух! Пастырями народов, предводителями, правителями и властелинами, — вот кем были мои предки; и я могу быть тем же! Я дворянин — у меня есть шпага; я барон — у меня есть шлем; я маркиз — у меня есть шляпа с перьями; я пэр — у меня есть корона. Ах! Все это отняли у меня. Я был рожден для света, меня низвергли во тьму. Изгнавшие отца продали ребенка. Когда скончался мой отец, они вынули из-под его головы камень изгнания, служивший ему изголовьем, они повесили этот камень мне на шею и бросили меня в помойную яму. Эти разбойники, мучившие меня в детстве, как живые стоят передо мной, я снова вижу их. Я был куском мяса, который клевала на могиле стая воронов. Я истекал кровью, я кричал от ужаса перед этими кошмарными призраками. Ах, так вот куда меня

кинули — под ноги прохожим, чтобы меня попирали все, кому не лень; меня сделали последним из последних, ниже крепостного, ниже лакея, ниже каторжника, ниже раба, — меня швырнули туда, где хаос превращается в смрадную клоаку, где все исчезает. И вот я выхожу из нее! Я воскресаю! Я здесь! Вот оно, возмездие!»

Он сел, снова вскочил, сжал голову руками и опять принялся ходить, продолжая свой бурный монолог:

«Где я? На высоте! Куда я попал? На вершину! Эта вершина, этот купол мира, это величие и всемогущество — мой родной дом. Я один из богов, обитающих в этом воздушном недосягаемом храме! Я в нем живу. Эта вершина, на которую я смотрел снизу, лучи которой так ослепляли меня, что я закрывал глаза, этот неприступный замок, эта несокрушимая крепость счастливцев — я вхожу в нее! Я поднялся к ней. Я здесь. О решающий поворот колеса судьбы! Я был внизу — и очутился наверху. Наверху — и навсегда! Я — лорд, у меня будет пурпурная мантия, зубчатая корона, я буду присутствовать при коронации королей, принимать их присягу, буду судить министров и принцев, я буду жить своей настоящей жизнью. Из бездны, куда низвергли меня, я возношусь к

самому зениту. У меня есть дворцы в городе и за городом, сады, охотничьи угодья, леса, кареты, миллионы, я буду давать пиры, буду писать законы, буду наслаждаться всеми радостями жизни; бродяга Гуинплен, не имевший права сорвать полевой цветок, будет срывать с неба звезды!».

Печально вторжение мрака в человеческую душу! В том Гуинплене, который был раньше героем, да и теперь, пожалуй, не перестал быть им, произошло вытеснение величия морального жаждой величия материального, Пагубная перемена. Уничтожение добродетели сонмом налетевших демонов. Неожиданность, поражающая человека в самое слабое его место. Все низменное, что обычно считается высоким, — честолюбие, нечистые инстинкты, страсти, вожделения, изгнанные из души Гуинплена благотворным влиянием несчастья, — теперь бурной толпой нахлынуло на него и завладело этим великодушным сердцем. Что же было виною этому? Находка пергамента во фляге, выброшенной на берег Англии. Такое растление совести нежданной удачей бывает довольно часто.

Гуинплен упивался гордостью, и душа его становилась при этом все мрачнее и мрачнее. Таково воздействие этого рокового напитка.

У него кружилась голова; ошеломляющая перемена захватила все его существо; он не только принял ее, но и наслаждался ею. Слишком долго не мог он утолить жажды. Разве не добровольно жертвуем мы рассудком, прикасаясь устами к чаше безумия? Он всегда смутно желал этого. Его взор был всегда устремлен на великих мира сего, а смотреть — значит желать. Недаром орленок родился в орлином гнезде.

Он — лорд; теперь это начинало казаться ему совершенно естественным.

Прошло только несколько часов, а как далеко от него все вчерашнее!

Гуинплен встретил на своем пути западню: лучшее оказалось врагом хорошего.

Горе тому, про кого говорят: «Счастливец!»

С несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Невзгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность — Харибда, богатство — Сцилла. Те, что устояли под ударами грома, падают, ослепленные внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Зловещая опасность падения кроется в апофеозе.

Трудно познать себя в счастье. Случай всегда

рад надеть на себя личину. Нет ничего обманчивее его. Что он: провидение или злой рок?

Не всякий огонь есть свет. Ибо свет — истина, а огонь может быть вероломным. Вы думаете, что он освещает, а он испепеляет.

Ночь. Чья-то рука ставит зажженную свечу на окно, распахнутое в темноту. Жалкая сальная свеча кажется во мраке звездою, и мотылек летит на нее.

Его ли это вина?

Огонь зачаровывает мотылька так же, как взгляд змеи зачаровывает птицу.

Могут ли мотылек и птица устоять перед этим? Может ли листок не поддаться ветру? Может ли камень не подчиниться закону притяжения?

Все это вопросы материальные, но они имеют и моральное значение.

После письма герцогини Гуинплену удалось взять себя в руки. В нем оказалось достаточно сил, чтобы устоять перед соблазном. Но буря, утихнув на одном краю горизонта, начинает бушевать на другом; судьба впадает в не меньшее ожесточение, чем природа. Первый порыв ветра сотрясает дерево, второй вырывает его с корнем.

Увы! Не так ли падают могучие дубы?

И вот тот, кто десятилетним ребенком, остав-

шись один на Портлендском утесе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, — и буре, уносившей корабль, на котором он собирался плыть, и морю, поглотившему доску, по которой он хотел взбежать на корабль, и зияющей пустоте, грозно отступавшей перед ним, и земле, отказавшей ему в приюте, и зениту, отказавшему ему в путеводной звезде, и безжалостному одиночеству, и непроглядному мраку, и океану, и небу — словом, всем силам, заключенным в одной беспредельности, и всем загадкам, заключенным в другой; тот, кто не задрожал и не пал духом перед беспощадной враждебностью неведомого рока; тот, кто еще малым ребенком не убоялся ночи, как древний Геркулес не убоялся смерти; тот, кто в этой неравной борьбе бросил вызов и взял на свое попечение другого ребенка; тот, кто взвалил на себя, несмотря на слабость и усталость, лишнее бремя и стал еще более уязвим, но сорвал своей рукой намордники с чудовищ мрака, подстерегавших его со всех сторон; тот, кто, чуть не с колыбели вступив в поединок с собственной судьбой, стал укротителем диких зверей; тот, кому явное превосходство сил противника все же не помешало сразиться с ним; тот, кто, невзирая

на одиночество, в котором он очутился, когда все покинули его, мужественно принял этот жребий и гордо продолжал свой путь; тот, кто храбро боролся с холодом, жаждой и голодом; тот, кто, будучи пигмеем по росту, оказался исполином душой, — тот самый Гуинплен, который победил свирепое дыхание двуликой бездны — бури и несчастья, теперь пошатнулся под дуновением тщеславия.

И вот, когда рок, обрушив на человека все несчастья, бедствия, бури, катастрофы и смертные муки, видит, что тот все-таки устоял, и начинает ему улыбаться, человек, внезапно охмелев, валится с ног.

Улыбка рока! Можно ли представить себе что-нибудь более страшное? Это — последнее средство, к которому прибегает безжалостный искуситель человеческих душ. Судьба, словно тигр, протягивает иногда бархатную лапу. Коварные приготовления. Омерзительна ласковость этого чудовища.

Каждый знает по себе, как часто возвышение совпадает с упадком сил. Слишком быстрый рост нарушает равновесие и вызывает лихорадку.

Бесчисленное множество новых мыслей с головокружительной быстротой проносилось в

мозгу Гуинплена; в нем совершались таинственные превращения, непостижимое столкновение прошлого с будущим; это была встреча двух Гуинпленов, это было как бы его раздвоение; позади — ребенок в лохмотьях, вышедший из мрака, бездомный голодный бродяга, дрожащий от холода и вызывающий смех; впереди — блистательный, гордый, пышный вельможа, ослепляющий своим великолепием весь Лондон. Он сбрасывал старую оболочку и срастался с новой. Он расставался с существованием фигляра и становился лордом. Меняя внешний облик, порой меняют душу. Минутами все это казалось слишком похожим на сон. Это было так сложно, это было и дурно и хорошо. Он думал о своем отце. Как мучительно думать об отце, которого не знаешь! Он старался себе представить его. Он думал о брате, о котором ему только что сказали. Итак, у него есть семья. Как? Семья — у него, у Гуинплена! Он терялся в фантастических догадках. Воображение рисовало ему великолепные картины, перед ним, как облака, проходили величественные шествия; ему чудились трубные звуки.

«И к тому же, — думал он, — я буду красноречив».

И он представлял себе свое торжественное

вступление в палату лордов. Он входит туда, полный новых идей. Сколько надо ему сказать! Как много накопилось у него мыслей! Какое огромное преимущество имеет он перед ними — он, человек, столько видевший, столько испытавший, столько переживший, столько страдавший, человек, который может крикнуть им: «Все то, от чего вы так далеки, мне было близко!» Этим патрициям, живущим в искусственном, ложном мире, он бросит в лицо голую правду, и они затрепещут, ибо он ничего не скроет, и они станут рукоплескать ему, потому что он будет велик. Он будет головою выше этих всесильных людей, могущественнее их всех; он предстанет перед ними носителем света, ибо явит им истину, и меченосцем, ибо откроет им справедливость. Какое торжество!

И в то время как эти совершенно отчетливые и вместе с тем смутные мысли проносились в мозгу Гуинплена, он беспрерывно двигался, как бы в бреду: опускался в первое попавшееся кресло, впадал в минутное забытье и вдруг снова вскакивал. Он ходил взад и вперед по комнате, глядел на потолок, рассматривал короны, изучал непонятные ему изображения на гербе, ощупывал бархатную обивку стен, передвигал

стулья, разворачивал свитки грамот, разбирал титулы — Бекстон, Хомбл, Гемдрайт, Генкервилл, Кленчарли, сравнивал между собою сургучные оттиски королевских печатей, дотрагивался до их шелковых шнурков, подходил к окну, прислушивался к журчанию водомета; устремлял взор на статуи, с терпением лунатика пересчитывал мраморные колонны и говорил: «Да, все это явь».

Ощупывая свой атласный кафтан, он спрашивал себя:

— Я ли это?

И сам же отвечал:

— Да, я.

В нем все еще бушевала буря.

В этом вихре чувств, наполнявшем все его существо, чувствовал ли он слабость, усталость? Утолял ли он жажду и голод, спал ли он? Если да, то бессознательно. При сильном душевном потрясении человек удовлетворяет свои физические потребности без всякого участия мысли. К тому же мысли Гуинплена рассеивались, как дым. Разве в ту минуту, когда черное пламя вырывается из клокочущего кратера, вулкан отдает себе отчет в том, что на траве, у его подножия, пасутся стада?

Часы проходили за часами.

Занялась заря, наступило утро. Луч света проник в комнату, а вместе с тем и в сознание Гуинплена.

«А Дея?» — напомнил он Гуинплену.

Часть шестая Личины Урсуса
1. Что говорит человеконенавистник

Увидав, как Гуинплен скрылся за дверью Саутворкской тюрьмы, Урсус, растерявшись, так и замер в закоулке, откуда он наблюдал за всем происходившим. В ушах у него еще долго раздавались скрип замков и лязг засовов, похожие на радостный визг тюрьмы, поглотившей еще одного несчастного. Он ждал. Чего? Он высматривал. Что? Эти неумолимые двери, однажды замкнувшись, распахиваются уже не скоро; они кажутся окаменевшими, навсегда застывшими неподвижно во мраке и с трудом поворачиваются на своих петлях, в особенности когда надо кого-нибудь выпустить; войти — можно, выйти — дело другое. Урсус знал это. Но человек так устроен, что он ждет иногда помимо своей воли, даже зная, что ждать уже нечего. Чувства, толкающие нас на какие-нибудь действия, продолжают проявляться вовне, как бы в силу инерции, даже тогда, когда

предмета, на который они были направлены, уже нет, и заставляют нас еще в течение какого-то времени стремиться к исчезнувшей цели. Бесполезное ожидание, бессмысленное стояние, потеря времени, когда внимание приковано к предмету, уже скрывшемуся из виду, — все это каждому не раз приходилось переживать. Продолжаешь чего-то выжидать с безотчетным упорством. Сам не знаешь почему, но остаешься на том же месте. То, что было начато сознательно, продолжаешь по какой-то инерции. Такое упорство истощает и приводит к упадку сил. Хотя Урсус во многом отличался от других людей, однако и он все еще стоял как вкопанный: он погрузился в состояние настороженного раздумья, охватывающего нас перед лицом огромного события, перед которым мы бессильны. Он смотрел на черные стены — то на низкую, то на высокую, смотрел на калитку, на прибитую над нею виселичную лестницу, на ворота, над которыми красовалось изображение черепа; он был как бы зажат в тиски между тюрьмой и кладбищем. В этой пустынной улице, которую все старались обойти, было так мало прохожих, что Урсуса никто не замечал.

Наконец он вышел из своего закоулка — из каменной ниши, где стоял на карауле, и медленно

поплелся назад. Уже вечерело, — так долго он пробыл здесь. Он то и дело оборачивался и смотрел на страшную калитку, за которой скрылся Гуинплен. Взгляд у него был тупой и застывший. Он добрел до конца переулка, повернул за угол, прошел один переулок, потом другой, смутно припоминая дорогу, которая несколько часов тому назад привела его сюда. Он то и дело оглядывался, как будто мог увидать тюремную калитку, хотя улица, где находилась тюрьма, осталась далеко позади. Мало-помалу он приближался к Таринзофилду. Переулки, прилегавшие к ярмарочной площади, представляли собой пустынные тропинки между оградами садов. Он шел, согнувшись, вдоль изгородей и рвов. Но вдруг он остановился и воскликнул:

— Тем лучше!

Тут он дважды хлопнул себя по лбу и по бедрам — жест, свидетельствующий о том, что человек понял, наконец, в чем дело.

Он продолжал идти, то бормоча себе под нос, то повышая голос:

— Отлично! Ах, негодяй! Разбойник! Шалопай! Бездельник! Бунтовщик! Конечно, он мятежник! И я укрывал у себя мятежника. Ну, теперь я избавился от него. Он осрамил нас. Его упекли на

каторгу! И поделом! На то и законы. Ах, неблагодарный! А я-то воспитывал его! Вот и старайся тут! Кто тянул его за язык? Туда же, рассуждать! Совать нос в государственные дела! Скажите пожалуйста! У самого в кармане ломаный грош, а он разглагольствует о налогах, обо всем, что нисколько его не касается! Позволять себе высказывать суждения о пенни! Глумиться над королевской медной монетой! Оскорблять Ее Величество! Разве фартинг не то же самое, что королева? На нем ее изображение, черт возьми, ее священное изображение! Есть у нас королева или нет? Ну, так изволь уважать ее позеленевшие медяки. В государстве все связано одно с другим. Это надо зарубить себе на носу. Я-то пожил на свете. Я знаю жизнь. Мне, пожалуй, скажут: вы, значит, отрекаетесь от политики? Ну разумеется. Политика, друзья мои, интересует меня, как прошлогодний снег. Однажды меня ударил тростью один баронет. Я сказал себе: «Довольно с меня, теперь я понял, что такое политика». Королева отбирает у народа последний грош, и народ ее благодарит. Нет ничего проще. Остальное касается лордов. Их сиятельств, вельмож духовных и светских. А Гуинплена под замок! А Гуинплена на галеры! Так и надо, это справедливо. Это вполне

резонно, великолепно, заслуженно и законно. Сам виноват. Не болтай лишнего. Что ты — лорд, что ли, дурак этакий? Жезлоносец арестовал его, судебный пристав увел, шериф держит в своих руках. Теперь, должно быть, его, как петуха, ощипывает какой-нибудь законовед. О, это молодцы! Они тебя выведут на чистую воду! Законопатили тебя, голубчика! Тем хуже для тебя, тем лучше для меня. Ей-богу, я очень рад. Скажу по совести, мне везет. Какую глупость я сделал, подобрав этого мальчишку и девчонку! Нам с Гомо жилось так спокойно. И зачем только эти негодяи приплелись ко мне в балаган? Мало я возился с ними, когда они были еще малышами! Мало я таскал их за собою! Стоило спасать их! Его, такого урода, ее — слепую на оба глаза! Вот и отказывай себе во всем! Сколько пришлось голодать из-за них! И вот они вырастают, да еще и влюбляются друг в дружку! Любовь двух калек! Вот до чего мы докатились! Жаба и крот — идиллия, нечего сказать! И все это творилось у меня под носом. Это и должно было кончиться вмешательством правосудия. Жаба заквакала о политике — очень хорошо! Теперь у меня руки развязаны. Когда явился жезлоносец, я сперва ошалел, сразу не поверил собственному счастью; мне казалось,

что это мне померещилось, что это невозможно, что это кошмар, что это мне во сне приснилось. Но нет, это не игра воображения. Так оно и есть. Гуинплен в самом деле сидит в тюрьме. Само провидение позаботилось об этом. Этот урод наделал такого шуму, что обратил внимание властей на мое заведение и на моего бедного волка. И вот Гуинплена больше нет. Я могу считать себя избавленным от обоих сразу. Одним выстрелом двух зайцев убили. Ведь Дея умрет от всего этого. Когда она больше не увидит Гуинплена — а она его видит, идиотка! — она решит, что ей незачем жить, она скажет себе: «Что мне делать на этом свете?» — и тоже уберется прочь. Счастливого пути! К черту обоих! Я всегда терпеть их не мог! Подыхай же, Дея! Ах, как я доволен!

2. И как он поступает

Он вернулся в Тедкастерскую гостиницу. Пробило половина седьмого, «половина после шести», как выражаются англичане. Еще только начинало смеркаться.

Дядюшка Никлс стоял на пороге входной двери. Ему так и не удалось согнать с лица выражение испуга, пережитого утром.

Заметив Урсуса еще издали, он крикнул ему:

— Ну, что?

— Как что?

— Вернется Гуинплен? Давно уже пора. Скоро соберется публика. Будет сегодня выступать «Человек, который смеется»?

— Человек, который смеется, — это я, — сказал Урсус.

И, взглянув на содержателя харчевни, оглушительно захохотал.

Потом поднялся на второй этаж, распахнул ближайшее к вывеске гостиницы окно, высунулся в него, протянул руку, сорвал доски с надписями: «Гуинплен — Человек, который смеется» и «Побежденный хаос», взял их подмышку и спустился вниз.

Дядюшка Никлс следил за ним глазами.

— Зачем вы снимаете это?

Урсус снова разразился хохотом.

— Чему это вы радуетесь? — спросил хозяин.

— Я решил жить сам для себя.

Никлс понял и приказал своему помощнику Говикему объявлять всем, кто придет, что сегодня вечером представления не будет. Он убрал от дверей бочку, служившую будкой кассирше, и откатил ее в дальний угол низкого зала.

Минуту спустя Урсус поднялся в «Зеленый ящик».

Он поставил в угол обе вывески и вошел в отделение фургона, которое он называл «женской половиной».

Дея спала.

Она лежала на постели одетая, только расстегнув платье, как делала обычно во время дневного отдыха.

Подле нее сидели, погруженные в задумчивость, Винос и Фиби, одна на табуретке, другая прямо на полу.

Несмотря на поздний час, они не надели костюмов, в которых изображали богинь, что свидетельствовало о глубоком унынии. Они так и остались в корсажах из грубой шерсти и в холщовых юбках.

Урсус посмотрел на Дею.

— Она готовится к более долгому сну, — пробормотал он.

И обратился к Фиби и Винос:

— Эй, вы, послушайте! Кончена музыка! Можете спрятать ваши трубы в ящик. Хорошо сделали, что не вырядились богинями. Конечно, в своем естественном виде вы достаточно уродливы, но все-таки поступили умно. Щеголяйте в своих

отрепьях. Представления не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Нет больше Гуинплена. Сам черт его теперь не сыщет.

И он снова устремил глаза на Дею.

— Какой это будет для нее удар! Она погаснет сразу, как свеча.

Он набрал в грудь воздуха и дунул:

— Фу! — и кончено.

И засмеялся сухим смешком.

— Не будет у нас Гуинплена, не будет ничего. Это все равно, как если бы я лишился Гомо. Даже хуже. Она почувствует себя более одинокой, чем всякая другая. Слепые тяжелее переживают горе, чем мы.

Он подошел к окошечку в глубине фургона.

— Как прибавляется день! Уже семь часов, а еще довольно светло. Все-таки зажжем свечу.

Он высек огнивом искру и зажег фонарь, спускавшийся с потолка «Зеленого ящика». Затем наклонился над Деей.

— Она простудится. Вы ее слишком легко одели. Французы говорят:

Апрель еще не май –
Фуфайки не снимай.

Заметив, что на полу блестит булавка, он поднял ее и воткнул себе в рукав. Потом, жестикулируя, стал ходить взад и вперед по фургону.

— Я не потерял присутствия духа. Я нахожусь в здравом уме более, чем когда-либо. По-моему, данное событие в порядке вещей, и я одобряю то, что происходит. Как только она проснется, я выложу ей все без утайки. Катастрофа разразится немедленно. Гуинплена больше нет. Значит, прощай, Дея! Как хорошо все устроилось. Гуинплен в тюрьме, Дея на кладбище. Как раз друг против друга. Настоящая пляска смерти. Две человеческие судьбы сходят со сцены. Спрячем костюмы. Захлопнем чемодан, то есть гроб. Это была чета неудачников. Дея без глаз, Гуинплен без лица. Там, на небесах, Господь возвратит Дее зрение, а Гуинплену красоту. Смерть все приводит в порядок. Все отлично. Фиби, Винос, повесьте на стену ваши тамбурины. Ваш, с позволения сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Ни играть, ни трубить больше не придется. «Побежденный хаос» побежден. «Человеку, который смеется» — крышка. Великому шуму и грохоту конец. А Дея все спит. И хорошо делает. На ее месте я бы и не просыпался. Впрочем, она скоро опять заснет. Долго ли помереть такой худышке?

Вот что значит удариться в политику. Какой урок! И как правительства правы! Гуинпленом занялся шериф. Деей займется могильщик, Поучительная симметрия. Надеюсь, хозяин харчевни плотно запер дверь. Сегодня мы умрем в тесном семейном кругу. Впрочем, ни я, ни Гомо. Одна только Дея. Я буду по-прежнему разъезжать в фургоне. Я рожден для бродячей жизни. Отпущу обеих женщин. Ни одной у себя не оставлю. У меня есть наклонность сделаться старым развратником. Служанка у распутника — все равно что хлеб на столе. Не желаю искушений. Не по возрасту это мне. Turpe senilis amor[250]. Теперь опять стану бродить один с Гомо. Вот кто удивится — так это он: где Гуинплен, где Дея? Мы снова вдвоем, старый товарищ. Я в восторге, черт побери! Поперек горла стояла у меня их идиллия. А этот негодяй Гуинплен и не думает возвращаться. Он бросил нас. Прекрасно. Теперь очередь за Деей. Ну, эта не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всем. Пальцем о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. Околевай, слышишь! Ах, черт, она просыпается!

Дея открыла глаза (слепые часто спят с за-

---

[250] Сноски: 250
Старческая любовь — постыдна (*лат.*).

крытыми глазами). Ее нежное, невинное лицо озарилось улыбкой.

— Она улыбается, — пробормотал Урсус, — а я смеюсь. Все идет прекрасно.

Она позвала:

— Фиби! Винос! Пора, должно быть, начинать представление. Я, кажется, очень долго спала. Оденьте меня.

Ни Фиби, ни Винос не шевельнулись.

Между тем взгляд Деи, в котором было нечто невыразимое, свойственное всем слепым, встретился с глазами Урсуса. Старик вздрогнул.

— Ну, — закричал он, — чего вы ждете? Фиби, Винос, разве вы не слышите, что говорит Дея? Оглохли вы, что ли? Живее! Представление сейчас начнется.

Обе женщины с крайним удивлением смотрели на Урсуса.

Урсус заорал:

— Разве вы не видите, что публика уже собирается? Фиби, одевай Дею! Винос, бей в тамбурин!

Фиби была само послушание, Винос — пассивность. Вдвоем они олицетворяли собою безропотную покорность. Их хозяин всегда был для них загадкой. Кого не понимают, тому обычно слепо повинуются. Они просто решили, что он сошел с

ума, но исполнили его приказание. Фиби сняла с гвоздя костюм, Винос схватила тамбурин.

Фиби принялась одевать Дею. Урсус опустил завесу «женской половины» и уже по ту сторону ее продолжал:

— Смотри-ка, Гуинплен! Почти полон двор народу. У входа настоящая давка. Ну и толпа! Хороши Фиби и Винос, им и дела нет. До чего глупы эти цыганки! Что за дурачье живет в Египте! Не подымай занавески. Будь скромен: Дея одевается.

Он сделал паузу, и вдруг послышалось восклицание:

— Как прекрасна Дея!

Это был голос Гуинплена. Фиби и Винос вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуинплена в устах Урсуса.

Выглянув из-за занавески, он знаком запретил им выражать свое удивление.

Потом продолжал голосом Гуинплена:

— Ангел!

И возразил уже своим голосом:

— Это Дея-то ангел? Ты рехнулся, Гуинплен. Из всех млекопитающих летают только летучие мыши.

И прибавил:

— Вот что, Гуинплен, ступай-ка отвяжи Гомо. Это будет умнее.

И легкой походкой Гуинплена он быстро побежал по приставной лесенке «Зеленого ящика». Он подражал шагам Гуинплена в расчете, что Дея услышит этот топот.

На дворе он увидел Говикема, которого так занимало все происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом.

— Подставь обе руки, — шепотом сказал Урсус.

И насыпал ему целую пригоршню медных монет.

Такая щедрость растрогала Говикема.

Урсус шепнул ему на ухо:

— Останься во дворе, прыгай, пляши, стучи, вой, реви, свисти, ори, бей в ладоши, топай, хохочи, сломай что-нибудь.

Дядюшка Никлс, оскорбленный и огорченный тем, что публика, пришедшая посмотреть на «Человека, который смеется», поворачивала назад и направлялась в другие балаганы на ярмарочной площади, запер дверь харчевни; желая избежать докучных расспросов, он даже отказался торговать в этот вечер напитками. Оставшись без дела из-за несостоявшегося представления, он смотрел с галереи на двор, держа в руке свечу.

Урсус: поднеся обе руки ко рту, чтобы его слышал только Никлс, обратился к нему:

— Джентльмен, возьмите пример с вашего слуги: визжите, вопите, рычите!

Вернувшись в «Зеленый ящик», он приказал волку:

— Гомо, вой как можно громче.

И, повысив голос, произнес:

— Слишком много народу. Боюсь, что стены не выдержат.

Винос тем временем ударила в тамбурин.

Урсус продолжал:

— Дея одета. Можно будет сейчас начать. Жалко, что столько напустили публики. Какая уйма их набилась! Посмотри-ка, Гуинплен! Какая сумасшедшая давка! Бьюсь об заклад, что нынче у нас будет самый большой сбор за все время. Ну-ка, бездельницы, принимайтесь за свою музыку! Ступай сюда, Фиби, возьми свой рожок. Хорошо. Винос, колоти в тамбурин. Задай ему встряску, да покрепче! Фиби, стань в позу богини славы. Милостивые государыни, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте безрукавки. Накиньте газ. Публика не прочь полюбоваться на женские формы. Пускай моралисты мечут громы и молнии. Черт возьми, можно себе позволить маленькую

нескромность. Больше страсти! Огласите воздух бешеными мелодиями. Трубите, гудите, дудите, трещите, бейте в тамбурины! Сколько народу… Гуинплен!

Он перебил себя:

— Помоги мне, Гуинплен. Откинем стенку.

Тем временем он развернул носовой платок.

— А я пока прочищу как следует нос.

И он энергично высморкался — необходимое приготовление к чревовещанию.

Спрятав платок в карман, он привел в движение систему блоков, заскрипевших как обычно, и откинул стенку фургона.

— Гуинплен, не отдергивай занавеса! Пускай он будет закрыт до начала представления. Иначе мы окажемся на виду у всех. Фиби, Винос, ступайте обе на авансцену. Ну-ка, сударыни! Бум! Бум! Публика у нас подобралась на диво. Самые что ни на есть подонки! Господи, сколько народу!

Цыганки, привыкшие к безропотному повиновению, разместились по обе стороны откинутой стенки.

Тут Урсус превзошел самого себя. Это был уже не один человек, а целая толпа. Задавшись целью изобразить двор, переполненный народом, на том месте, где зияла абсолютная пустота, он при-

звал на помощь свои удивительные способности чревовещателя. Со всех сторон сразу раздались голоса людей и животных. Он превратился в целый легион. Закрыв глаза, можно было подумать, что находишься на какой-нибудь площади, где волнуется праздничная или мятежная толпа. Вихрь криков и восклицаний вырывался из груди Урсуса: он пел, лаял, горланил, кашлял, харкал, гикал, нюхал табак, чихал, вел диалоги, задавал вопросы, отвечал, и все это одновременно. Обрывки фраз сталкивались, перерезали друг друга. В безлюдном дворе звучали голоса мужчин, женщин, детей. Сквозь смутный гомон и смешанный гул голосов прорывалась, точно сквозь дымную завесу, странная какофония, кудахтанье, мяуканье, плач грудных детей. Слышались хриплый говор пьяниц, недовольное ворчанье собак, которым зрители наступали на лапы. Голоса раздавались вблизи, доносились издали, сверху, снизу, справа, слева. Все в совокупности было рокотом, каждый звук в отдельности был криком. Урсус стучал кулаками, топал ногами, кричал то из глубины двора, то откуда-то из-под земли. Это было что-то бурное и хорошо знакомое. Он переходил от шепота к шуму, от шума к грохоту, от грохота к реву урагана. Он был самим собою

и в то же время всеми. Это были то монологи, то хор голосов. Так же, как существует зрительный обман, существует и слуховой. Тем же, чем был Протей для взора, был Урсус для слуха. Ничего не могло быть искуснее такого подражания толпе. Время от времени он раздвигал занавес и смотрел на Дею. Дея слушала.

Говикем тоже бесновался во дворе.

Винос и Фиби добросовестнейшим образом дули в трубы и отчаянно барабанили.

Единственный зритель, дядюшка Никлс, так же как и они, решил, что Урсус сошел с ума; это, впрочем, было только лишним мрачным штрихом на фоне его меланхолии. «Какое безобразие!» — бормотал себе под нос этот славный трактирщик. Он сохранял серьезность, как всякий, кто не забывает, что над ним бдит закон.

Говикем, в восторге, что может принять участие в этом гаме, неистовствовал не меньше Урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он ведь зарабатывал деньги.

Гомо был задумчив.

Производя весь этот шум, Урсус умудрялся произносить еще отдельные фразы:

— Как всегда, Гуинплен, против нас заговор. Опять конкуренты стараются подорвать наш

успех. Но шиканье только придает ему остроту. Кроме того, народу набралось слишком много. Зрителям тесно. Когда тебя толкает локоть соседа, это не вызывает восторга. Только бы они не поломали скамеек. Ах, если бы наш друг Том-Джим-Джек был здесь! Но он не приходит больше. Посмотри, целое море голов! У этой части публики, которая стоит, не слишком довольный вид, хотя, по словам великого ученого Галена, стоячее положение укрепляет организм. Мы сократим спектакль; так как на афише значится только «Побежденный хаос», то мы не будем играть «Ursus rursus». Хоть на этом выгадаем. Какой кавардак! До чего сумасбродна эта буйная толпа. Уж чего-нибудь они да натворят! Однако это не может так продолжаться. Ведь такой шум заглушает все происходящее на сцене. Надо обратиться к ним с речью, чтобы они успокоились. Гуинплен, раздвинь немного занавес! Граждане…

Тут Урсус прервал самого себя, крикнув резким и пронзительным голосом:

— Долой старика!

И уже своим голосом продолжал:

— Кажется, публика меня оскорбляет. Цицерон

прав: plebs, fex urbis[251]. Ничего, попробуем уговорить чернь. Трудно будет заставить их слушать. Однако я все-таки попытаюсь. Человек, исполни свой долг. Посмотри-ка, Гуинплен, на эту мегеру! Как она скрежещет зубами!

Урсус сделал паузу и заскрежетал зубами. Гомо, введенный в заблуждение, последовал его примеру. Говикем присоединился к ним обоим.

Урсус продолжал:

— Женщины куда хуже мужчин. Момент не особенно подходящий. Все равно, испытаем силу слова… Красноречие никогда не помешает. Послушай, Гуинплен, как я буду их увещевать. Гражданки и граждане! Я — медведь. Чтобы говорить с вами, я снимаю свою голову. Покорнейше прошу вас соблюдать тишину.

Изображая возглас в толпе, Урсус крикнул:

— Брюзга!

И продолжал:

— Я глубоко уважаю свою аудиторию. Брюзга — обращение ничуть не хуже всякого другого. Привет тебе, буйная толпа! Я нисколько не сомневаюсь в том, что все вы бездельники. Но от этого мое уважение к вам ничуть не меньше. Уважение

---

[251] Сноски: 251

Чернь — подонки столицы (*лат.*).

вполне сознательное. Я отношусь с искренним почтением к господам жуликам, оказавшим мне честь явиться сюда. Среди вас есть уроды, но для меня это безразлично. Хромые и горбатые — явление естественное. Верблюд горбат; у бизона нарост на спине; у барсука обе левых ноги короче правых; об этом упоминает еще Аристотель в своем трактате о походке животных. Те из вас, у кого есть две рубашки, одну носят на теле, а другую несут к ростовщику. Я знаю, что это дело обычное. Альбукерк закладывал свои усы, а святой Денис — свой нимб. Ростовщики ссужали деньги даже под нимб. Достойные примеры. Иметь долги — значит уже кое-что иметь. В вашем лице я чту нищету.

Урсус прервал свою речь, крикнув низким басом:

— Втройне осел!

И ответил самым вежливым тоном:

— Согласен. Я ученый. Приношу в этом свое извинение. С научной точки зрения я и сам презираю науку. Невежество есть нечто такое, чем можно снискать себе пропитание; наука же заставляет голодать. В общем, приходится выбирать: либо быть ученым и худеть, либо быть ослом и пощипывать травку. О граждане,

пощипывайте травку! Наука не стоит ни одного вкусного кусочка. Я предпочитаю есть бифштекс, нежели знать, как он называется по-латыни. Я обладаю только одним достоинством: у меня глаза не на мокром месте. Я никогда не плакал. Надо вам сказать, что и доволен я никогда не был. Никогда. Даже самим собой. Я презираю себя. Но прошу присутствующих здесь представителей оппозиции принять во внимание, что если Урсус всего-навсего ученый, то Гуинплен — настоящий артист.

Он снова фыркнул:

— Брюзга!

— Опять брюзга! Это — серьезное возражение. И тем не менее я пропускаю его мимо ушей. А рядом с Гуинпленом, милостивые государи и милостивые государыни, вы увидите другого артиста, личность мохнатую и благородную, странствующую с нами, господина Гомо — некогда дикую собаку, а ныне цивилизованного пса и верноподданного Ее Величества. Гомо — мимический актер, одаренный замечательным талантом. Будьте внимательны и сосредоточьтесь. Сейчас вы увидите игру Гомо и Гуинплена, а к искусству должно относиться с почтением. Это пристало великим нациям. Не в лесу же вы

выросли? А если бы и так, то sylvae sunt consule dignae[252]. Два артиста стоят одного консула. Прекрасно. В меня запустили капустной кочерыжкой, но она не задела меня. Это не помешает мне говорить. Напротив. Опасность, которой удалось избежать, предрасполагает к болтливости — garrula pericula, как говорит Ювенал. Зрители, среди вас есть пьяницы, — мужчины и женщины. Отлично. Пьяные мужчины мерзки, пьяные женщины омерзительны. Правда, у вас немало веских причин собираться здесь: праздность, лень, свободное время между двумя-тремя кражами, портер, эль, стаут, солодовые напитки, водка, джин, влечение одного пола к другому. Чудесно. Игривый ум нашел бы себе здесь отличное применение. Но я воздерживаюсь. Любострастие — пускай! Однако и в оргии надо соблюдать известное приличие. Вы весело настроены, но слишком шумны. Вы превосходно подражаете крикам разных животных, но что сказали бы вы, если бы я прервал вашу любовную беседу в укромном уголке с какой-нибудь леди и вдруг стал бы лаять по-собачьи? Это несколько помешало бы вам. Ну так вот, и ваш галдеж нам

---

[252] Сноски: 252
Пусть леса будут достойны консула (*лат.*).

мешает. Разрешаю вам замолчать. К искусству должно относиться с не меньшим уважением, чем к разврату. Я говорю с вами, как порядочный человек.

Он тут же накинулся на себя:

— Задуши тебя лихорадка, вместе с твоими бровями, торчащими, как ржаные колосья.

И немедленно возразил:

— Милостивые государи, оставим в покое ржаные колосья. Грешно оскорблять растения, сравнивая их с людьми или животными. Кроме того, лихорадка не душит, а трясет. Неудачная метафора. Прошу вас, помолчите! Простите за откровенность, но вам не хватает величия, свойственного настоящим английским джентльменам. Я замечаю, что те из вас, у которых из дырявых башмаков вылезают большие пальцы, пользуются этим, чтоб класть ноги на плечи сидящих впереди; это позволяет дамам делать вывод, что подошвы всегда протираются в самом выдающемся месте плюсны. Показывайте немного поменьше ваши ноги и побольше — руки. Я вижу отсюда мошенников, ловко запускающих пальцы в карманы дураков-соседей. Дорогие карманники, будьте чуть-чуть скромнее. Награждайте своего ближнего тумаками, если желаете,

но не обкрадывайте его. Он меньше разозлится на вас, если вы подобьете ему глаз, чем если вы сопрете у него медный грош. Так и быть, разбивайте носы. Мещанин больше дорожит деньгами, чем красотой. Впрочем, примите уверения в моем искреннем расположении к вам. Я отнюдь не такой педант, чтобы порицать мошенников. Зло действительно существует. Каждый страдает от него, и каждый его творит. Всех нас одолевают грехи. Сейчас я имею в виду лишь тот грех, о котором говорил раньше. Разве не испытывает каждый из нас этот зуд? Бог — и тот почесывается, когда его жалит дьявол. Я и сам впадал в ошибки. Plaudite, cives![253]

Здесь Урсус изобразил продолжительный рев толпы, затем закончил речь следующими словами:

— Милорды и господа, я вижу, что моя речь имела счастье вам не понравиться. На одну минуту я расстанусь с вашим шиканьем и свистом. Сейчас надену свою голову, и представление начнется…

Оставив ораторский тон, он заговорил обыкновенным голосом:

— Задерни занавес, передохнем. Я был медото-

---

[253] Сноски: 253
Рукоплещите, граждане! (*Лат.*)

чив. Я говорил хорошо. Я назвал их милордами и господами. Вкрадчивый, но бесполезный язык. Что скажешь ты насчет этих бездельников, Гуинплен? Как ясно видишь все, что выстрадала Англия за последние сорок лет, когда посмотришь на этот озлобленный и лукавый сброд. В старину англичане были воинственны, теперь же они угрюмы, задумчивы и кичатся своим презрением к закону и королевской власти. Я сделал все, на что только способно человеческое красноречие. Я щедро расточал метонимии, прелестные, как цветущие ланиты отрока. Смягчило ли это их? Сомневаюсь. Чего можно ждать от людей, которые поглощают невероятное количество пищи и отравляют себя табаком до такой степени, что даже писатели пишут свои сочинения, не выпуская трубки изо рта? Ну, была не была, начнем пьесу.

Кольца, на которых двигался занавес, с визгом заскользили по проволоке. Цыганки перестали бить в тамбурины. Урсус снял со стены свои рыли, сыграл прелюдию и произнес вполголоса:

— Каково, Гуинплен? До чего все это таинственно!

Затем вступил в борьбу с волком.

Одновременно с рылями Урсус снял с гвоздя косматый парик и бросил его на пол, неподалеку

от себя.

Представление «Побежденного хаоса» шло почти так же, как и всегда, не было только голубого освещения и «магических эффектов». Волк играл вполне добросовестно. В надлежащую минуту появилась Дея и своим чудным трепетным голосом окликнула Гуинплена. Она протянула руку вперед, ища его голову…

Урсус кинулся к парику, взбил его, напялил на себя и, удерживая дыхание, тихими шагами приблизившись к Дее, подставил ей свою голову.

Затем он призвал на помощь все свое искусство и, подражая голосу Гуинплена, спел с выражением неизъяснимой любви арию чудовища в ответ на зов светлого духа.

Он подражал так искусно, что и в этот раз обе цыганки принялись искать глазами Гуинплена, испуганные тем, что, не видя его, слышат его голос.

Восхищенный Говикем затопал ногами, захлопал в ладоши, производя невероятный шум и один хохоча, как целое сборище богов. Мальчик, повторяем, оказался на редкость талантливым зрителем.

Фиби и Винос, как два автомата, которых заводил Урсус, начали изо всех сил трубить и бить

в тамбурины; под эти оглушительные звуки обычно заканчивался спектакль и расходилась публика.

Урсус поднялся на ноги, весь обливаясь потом.

Он шепнул Гомо:

— Понимаешь, надо было выиграть время. Кажется, нам это удалось. Я неплохо вышел из положения, хотя было из-за чего потерять голову. Гуинплен, быть может, еще вернется завтра. Зачем же было преждевременно убивать Дею? Тебе-то я могу объяснить, в чем дело.

Он снял парик и отер лоб.

— Я гениальный чревовещатель, — пробормотал он. — Как я все это великолепно проделал! Пожалуй, я перещеголял Брабанта, чревовещателя короля Франциска Первого. Дея убеждена, что Гуинплен здесь.

— Урсус, — сказала Дея, — а где Гуинплен?

Урсус вздрогнул и обернулся.

Дея продолжала стоять в глубине сцены, под фонарем, спускавшимся с потолка. Она была бледна как смерть.

Она продолжала с неповторимой улыбкой, в которой было отчаяние:

— Я знаю. Он нас покинул. Он исчез. Я знала, что у него есть крылья.

И, подняв к небу свои невидящие глаза, она прибавила:

— Когда же мой черед?

3. Осложнения

Урсус совершенно растерялся.

Ему не удалось ввести Дею в заблуждение.

Было ли тут виною его искусство чревовещателя? Конечно, нет. Ему удалось обмануть зрячих Фиби и Винос, но слепую Дею он не смог обмануть. Ведь Фиби и Винос смотрели только глазами, тогда как Дея видела сердцем.

Он не был в состоянии ответить ни слова. Он только подумал про себя: Bos in lingua[254]. У растерявшегося человека точно бык подвешен к языку.

Когда человек находится во власти сложных переживаний, он прежде всего испытывает приступ самоуничижения. Урсус пришел к печальному выводу:

— Напрасно я столько труда потратил на звукоподражание!

Как и всякий мечтатель, потерпевший неудачу,

---

[254] Сноски: 254
Бык на языке (*лат.*).

он принялся горько сетовать:

— Полный провал! Я воспроизводил все эти голоса впустую. Что же будет теперь с нами?

Он взглянул на Дею. Она стояла молча, не шевелясь и все больше и больше бледнея. Ее неподвижный, слепой взор был устремлен куда-то в пространство.

На помощь Урсусу пришел случай.

Урсус увидел во дворе дядюшку Никлса, который, держа в руке свечу, делал ему знаки.

Дядюшка Никлс не дождался конца фантастической комедии, единственным исполнителем которой был Урсус, так как кто-то постучал в двери харчевни. Дядюшка Никлс пошел отворить. В дверь стучали дважды, и хозяин дважды уходил. Урсус, поглощенный своим стоголосым монологом, ничего не заметил.

Увидав, что Никлс машет ему рукой, Урсус спустился во двор.

Он подошел к хозяину гостиницы.

Урсус приложил палец к губам.

Дядюшка Никлс тоже приложил палец к губам.

Они смотрели друг на друга.

Каждый из них словно говорил другому: «Поговорим, но не здесь».

Никлс тихо отворил дверь в нижний зал. Они вошли. Кроме них, в комнате не было никого. Входная дверь с улицы и окна были наглухо закрыты.

Хозяин захлопнул дверь во двор перед самым носом любопытного Говикема.

Потом поставил свечу на стол.

Начался разговор. Вполголоса, почти шепотом!

— Мистер Урсус…

— Мистер Никлс?

— Я, наконец, понял.

— Вот как!

— Вы хотели убедить эту бедную слепую, что все идет как обычно.

— Закон не запрещает чревовещания.

— У вас настоящий талант.

— Вовсе нет.

— Удивительно, до какой степени вы умеете воспроизводить все, что вам хочется.

— Уверяю вас, нет.

— А теперь мне нужно поговорить с вами.

— Это разговор о политике?

— Как сказать.

— О политике я и слушать не хочу.

— Вот в чем дело. В то время как вы играли, изображая один и актеров и публику, в дверь

стучались.

— Стучались в дверь?

— Да.

— Мне это не нравится.

— Мне тоже не нравится.

— Что же дальше?

— Я отворил.

— Кто же стучал?

— Человек, который вступил со мной в разговор.

— Что он вам сказал?

— Я выслушал его.

— Что вы ему ответили?

— Ничего. Я вернулся смотреть на вашу игру.

— Ну?

— Ну, и в дверь постучали вторично.

— Кто? Тот же самый?

— Нет, другой.

— Он тоже с вами говорил?

— Нет, этот не сказал ни слова.

— Я это предпочитаю.

— А я нет.

— Объяснитесь, мистер Никлс.

— Угадайте, кто говорил со мной в первый раз?

— Мне некогда разыгрывать роль Эдипа.

— Это был хозяин цирка.

— Соседнего?

— Да, соседнего.

— Того, где гремит такая бешеная музыка?

— Да. Ну так вот, мистер Урсус, он делает вам предложение.

— Предложение?

— Предложение.

— Почему?

— Да потому.

— У вас передо мной одно преимущество, мистер Никлс; вы только что разгадали мою загадку, а я никак не могу разгадать вашу.

— Хозяин цирка поручил мне передать вам, что он видел, как приходили полицейские, и что он, хозяин цирка, желая доказать вам свою дружбу, предлагает купить у вас за пятьдесят фунтов стерлингов наличными ваш фургон «Зеленый ящик», обеих лошадей, трубы вместе с дующими в них женщинами, вашу пьесу вместе со слепой, которая в ней играет, и вашего волка с вами в придачу.

Урсус высокомерно улыбнулся.

— Содержатель Тедкастерской гостиницы, передайте хозяину цирка, что Гуинплен вернется.

Трактирщик взял со стула что-то темное и повернулся к Урсусу, подняв обе руки и держа в

одной плащ, в другой кожаный нагрудник, войлочную шляпу и рабочую куртку.

И сказал:

— Человек, который постучал вторым, был полицейский; он вошел и вышел, не произнеся ни слова, и передал мне вот это.

Урсус узнал кожаный нагрудник, рабочую куртку, шляпу и плащ Гуинплена.

4. Moenibus surdis, campana muta – Стены глухи, колокол нем

Урсус ощупал войлок шляпы, сукно плаща, саржу куртки, кожу нагрудника — никаких сомнений быть не могло; коротким повелительным жестом, не произнеся больше ни слова, он показал хозяину на дверь гостиницы.

Тот открыл ее.

Урсус опрометью выбежал на улицу.

Дядюшка Никлс следил за ним глазами. Урсус бежал так быстро, как только позволяли ему ноги, в том направлении, в каком утром вели Гуинплена. Четверть часа спустя запыхавшийся Урсус был уже в том переулке, куда выходила калитка Саутворкской тюрьмы и где он провел столько часов на своем наблюдательном посту.

Этот переулок был безлюден не только в полночь. Но если днем он нагонял тоску, то ночью внушал тревогу. Никто не отваживался появляться в нем позже определенного часа. Казалось, каждый боялся, как бы тюрьма и кладбище не сдвинулись со своих мест и, приди им только фантазия обняться, не раздавили его в этом объятии. Все это — ночные страхи. В Париже подстриженные ивы на улице Вовер тоже пользовались дурной славой. Поговаривали, будто по ночам эти обрубки деревьев превращаются в громадные руки и хватают прохожих.

Население Саутворка, как мы уже говорили, инстинктивно избегало этого переулка между тюрьмой и кладбищем. В прежнее время поперек него протягивали на ночь железную цепь. Излишняя предосторожность, ибо самой лучшей цепью, преграждавшей вход в переулок, был внушаемый им ужас.

Урсус решительно свернул в него.

Какую цель преследовал он? Никакой.

Он пришел в этот переулок, чтобы выведать что-нибудь. Собирался ли он постучаться в тюремную дверь? Конечно, нет. Это страшное и бесполезное средство ему и в голову не приходило. Попытаться проникнуть в тюрьму, чтобы

расспросить о Гуинплене? Какое безумие! Тюремные двери так же трудно отворяются для тех, кто хочет войти в них, как и для тех, кто хочет выйти. Их можно отпереть только именем закона. Урсус это понимал. Зачем же он пришел сюда? Чтобы увидать. Что именно? Он и сам не знал. Что удастся. Очутиться против калитки, за которой скрылся Гуинплен, — и то уже хорошо. Иногда самая мрачная и угрюмая стена приобретает дар речи, и из щелей между ее камнями вырывается наружу сноп лучей. Порою из наглухо запертого темного здания пробивается тусклый свет. Внимательно рассмотреть оболочку таинственного — значит потерять время — не напрасно. Мы все инстинктивно стараемся быть поближе к тому, что нас интересует. Вот почему Урсус вернулся в переулок, куда выходила задняя дверь тюрьмы.

В ту минуту, когда он вступил в него, он услыхал один удар колокола, потом второй.

«Неужели уже полночь?» — подумал он.

И машинально принялся считать:

«Три, четыре, пять».

Он подумал:

«Какие большие промежутки между ударами! Как медленно бьют эти часы! — Шесть, семь».

Потом мысленно воскликнул:

«Какой заунывный звон! — Восемь, девять. — Впрочем, все очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. — Десять. — Да, здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мертвым — вечность. — Одиннадцать. — Увы! Тем, кто лишен свободы, он тоже отмеряет вечность. — Двенадцать».

Он остановился.

«Да, полночь».

Колокол ударил тринадцатый раз.

Урсус вздрогнул.

«Тринадцать!»

Раздался четырнадцатый удар, потом пятнадцатый.

«Что это значит?»

Удары продолжали раздаваться через большие промежутки. Урсус слушал.

«Это не часы. Это колокол mutus[255]. Недаром я говорил: как медленно бьет полночь. Это не бой часов, а звон церковного колокола. Что же предвещает этот унылый звон?»

Во всех тюрьмах того времени, как и во всех монастырях, был так называемый колокол mutus, отмечавший печальные события. Этот «немой

---

[255] Сноски: 255
Немой (*лат.*).

колокол» бил очень тихо, словно стараясь, чтобы его не услыхали.

Урсус опять возвратился в удобный для наблюдений закоулок, где он провел большую часть дня, не сводя глаз с тюремной калитки.

Удары колокола по-прежнему, с большими равномерными паузами, следовали один за другим.

Погребальный звон как бы расставляет в пространстве зловещие знаки восклицания. На развернутом свитке наших повседневных забот каждый удар колокола словно мрачно отмечает красную строку. Похоронный звон похож на предсмертное хрипение человека. Он гласит о смертных муках. Если в домах, куда доносится этот звон, кто-нибудь предается мечтательному ожиданию, удары колокола резко обрывают его. Неясные мечты представляются как бы убежищем; человеку, объятому тоскою, они подают какую-то надежду; угрюмый звук колокола отнимает ее своей определенностью. Он рассеивает туманную пелену, за которой стремится укрыться наше беспокойство. Он вызывает в нашей душе горестную тревогу. Похоронный звон напоминает каждому о человеческих страданиях, о чем-то страшном. Эти печальные звуки обращены к каждому из нас. Они предостерегают. Нет ничего

более мрачного, чем этот размеренный монолог. Удары, отделенные друг от друга равными промежутками, преследуют какую-то цель. Что кует молот колокола на наковальне нашей мысли?

Урсус бессознательно продолжал считать удары, хотя в этом не было никакого смысла. Чувствуя, что он на краю бездны, он старался не строить никаких догадок. Догадки — наклонная плоскость, по которой можно скатиться очень глубоко. И все-таки — что означал этот звон?

Урсус смотрел в ту сторону, где, как он знал, находится тюремная калитка.

Вдруг в том самом месте, где чернело что-то вроде дыры, появился красноватый отблеск. Он становился все ярче и ярче и превратился в свет.

Это было не расплывчатое пятно, а четко обозначившийся в темноте четырехугольник. Дверь тюрьмы повернулась на петлях. Красноватый свет явственно обрисовал притолоку и косяки.

Дверь только приотворилась. Тюрьма не распахивает настежь своих ворот, она лишь наполовину раскрывает свою пасть, словно зевая от скуки.

Из калитки вышел человек с факелом в руке.

Колокол продолжал звонить.

Внимание Урсуса теперь раздвоилось: он на-

пряженно прислушивался к колоколу и в то же время не спускал глаз с факела.

Пропустив человека, полуоткрытая дверь широко раскрылась, и из нее вышло еще двое; вслед за ними показался четвертый. Это был жезлоносец. Урсус узнал его при свете факела. В руке у него был жезл.

Вслед за жезлоносцем вышли попарно какие-то люди; они двигались молча, держась прямо, словно деревянные истуканы.

Участники этого ночного шествия, напоминавшего процессию кающихся, с мрачной торжественностью, пара за парой, переступали тюремный порог, стараясь не производить ни малейшего шума. Так осторожно выползает из своей норы змея.

Факел освещал свирепые лица и мрачные фигуры.

Урсус узнал тех самых полицейских, которые утром увели Гуинплена.

Никаких сомнений — это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы.

Очевидно, сейчас выйдет и Гуинплен.

Они привели его сюда, они и выведут его назад.

Это ясно.

Урсус стал всматриваться еще пристальнее. Выпустят ли Гуинплена на свободу?

Полицейские по двое выходили из-под низкого свода, очень медленно, как просачивается капля за каплей из стены вода. Колокол, не переставая звонить, казалось, ударял в такт их шагам. Выходя из тюрьмы, люди в этом шествии поворачивались спиною к Урсусу, направляясь в правый, противоположный, конец переулка.

В дверях блеснул второй факел.

Значит, шествие сейчас кончится.

Сейчас Урсус увидит, кого они сопровождают. Узника. Человека.

Сейчас Урсус увидит Гуинплена.

То, что они сопровождали, наконец появилось.

Это был гроб.

Четыре человека несли гроб, покрытый черным сукном.

За гробом шагал могильщик с лопатой на плече.

Шествие замыкалось третьим факелом, который держал человек, читавший какую-то книгу, — очевидно, тюремный священник.

Гроб понесли за полицейскими, повернув направо.

В то же время люди, шедшие впереди, остано-

вились.

Урсус услышал скрип ключа в замке.

Факел осветил другую дверь, напротив тюрьмы, в низкой стене, тянувшейся по ту сторону переулка.

Эта дверь, над которой был изображен череп, вела на кладбище.

Жезлоносец вошел в нее, за ним остальные, за дверью скрылся уже второй факел; шествие стало короче, напоминая хвост уползающей змеи; вся вереница полицейских исчезла во тьме, за ними гроб, могильщик с лопатой, священник с факелом и книгой, и дверь захлопнулась.

Все исчезло, только за стеной еще мерцал свет.

Послышалось какое-то бормотанье, потом глухие удары.

Вероятно, священник и могильщик провожали гроб, опускаемый в землю, — один псалмами, другой комьями земли.

Бормотанье прекратилось, прекратились и глухие удары.

Опять послышались шаги, сверкнули факелы, на пороге распахнувшейся кладбищенской калитки снова показался жезлоносец, высоко держа свой жезл, за ним священник с книгой, могильщик с лопатой, полицейские, но уже без

гроба. Процессия, двигаясь все так же попарно, вернулась обратно тем же путем, храня, как и прежде, угрюмое молчание; закрылись ворота кладбища, отворилась, снова освещенная факелами, дверь тюрьмы; сводчатый коридор на мгновение озарился красноватым отблеском; взору Урсуса предстали мрачные недра тюрьмы, и снова все потонуло во тьме.

Колокол умолк. Ночь завершила трагедию, опустив над нею зловещий занавес тишины.

Видение исчезло бесследно.

Призраки рассеялись.

Мы часто находим какой-то смысл в случайных совпадениях и строим на этом основании как будто правдоподобные догадки.

К таинственному аресту Гуинплена, к его одежде, принесенной полицейским, к похоронному звону колокола в той самой тюрьме, куда его увели, присоединилась еще одна трагическая деталь — опущенный в землю гроб.

— Он умер! — воскликнул Урсус и без сил опустился на камень. — Умер! Они убили его! Гуинплен! Дитя мое! Мой сын! — И он зарыдал.

5. Государственные интересы проявляются в великом и в малом

Увы, напрасно Урсус хвалился тем, что никогда не плачет. Теперь слезы подступили к самому его горлу. Они накоплялись в груди по капле в продолжение всей его горестной жизни. Переполненная до краев чаша не может пролиться в одно мгновение. Урсус рыдал долго.

Первая слеза пролагает дорогу другим. Он оплакивал Гуинплена, Дею, самого себя, Гомо. Плакал как дитя. Плакал как старик. Плакал обо всем, над чем смеялся. Он задним числом выплатил свой долг прошлому. Право человека на слезы не знает давности.

На самом деле покойник, опущенный в землю, был Хардкванон, но Урсус не мог этого знать.

Прошло несколько часов.

Занялся день; бледная пелена утреннего света, кое-где еще боровшегося с ночными тенями, легла на ярмарочную площадь. В лучах зари выступил белый фасад Тедкастерской гостиницы.

Дядюшка Никлс так и не ложился спать. Нередко одно и то же событие вызывает бессонницу у

нескольких человек.

Всякая катастрофа вызывает много последствий. Бросьте камень в воду и попробуйте сосчитать круги.

Дядюшка Никлс сознавал, что арест Гуинплена может затронуть и его. Очень неприятно, когда у вас в доме происходят такие события. Он был встревожен этим; предвидя впереди еще всякие осложнения, Никлс погрузился в мрачное раздумье. Он сожалел, что пустил к себе «этих людей». Если бы он знал раньше! Втянут они его в конце концов в какую-нибудь беду. Как развязаться с ними теперь? Ведь с Урсусом у него заключен контракт. Какое было бы счастье избавиться от таких постояльцев! К чему бы только придраться, чтобы выгнать их?

Вдруг в дверь харчевни раздался сильный стук, который возвещает в Англии о прибытии важного лица. Гамма стуков соответствует иерархической лестнице.

Это был стук не вельможного лорда, а судейского чиновника.

Дрожа от страха, трактирщик приоткрыл форточку.

И действительно, стучался судейский чиновник. При свете занимавшегося дня дядюшка

Никлс увидел у двери отряд полицейских, возглавляемый двумя людьми, из которых один был судебный пристав.

Судебного пристава дядюшка Никлс видел утром и потому сразу узнал его.

Другой человек был ему неизвестен.

Это был тучный джентльмен с будто восковым лицом, в придворном парике и дорожном плаще.

Судебного пристава дядюшка Никлс очень боялся. Если бы дядюшка Никлс принадлежал к королевскому двору, он еще больше испугался бы второго посетителя, ибо то был Баркильфедро.

Один из полицейских снова громко постучался в дверь.

Трактирщик, у которого на лбу выступил холодный пот, поспешил открыть.

Судебный пристав тоном человека, призванного наблюдать за порядком и хорошо знакомого с бродягами, возвысил голос и строго спросил:

— Где Урсус, хозяин балагана?

Сняв шляпу, Никлс ответил:

— Он проживает здесь, ваша честь.

— Это я знаю и без тебя, — сказал пристав.

— Конечно, ваша честь.

— Позови его сюда.

— Его нет дома, ваша честь.

— Где же он?

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Он еще не возвращался.

— Значит, он очень рано ушел из дому?

— Нет, очень поздно.

— Ах, эти бродяги! — заметил пристав.

— Да вот он, ваша честь, — тихо промолвил дядюшка Никлс.

Действительно, в эту минуту из-за угла показался Урсус. Он направлялся к гостинице. Почти всю ночь провел он между тюрьмой, куда в полдень ввели Гуинплена, и кладбищем, где в полночь, как он слышал, засыпали свежую могилу. Его побледневшее от горя лицо казалось еще бледнее в утренних сумерках.

Занимающийся день, этот предвестник яркого света, не меняет ночных, неясных очертаний предметов, даже находящихся в движении. Медленно приближавшийся Урсус своим бледным лицом и всей своей фигурой, смутно выступавшей в полумраке, напоминал привидение.

Накануне, охваченный отчаянием, он выбежал из гостиницы с непокрытой головой. Он даже не заметил, что забыл надеть шляпу. Его жидкие

седые волосы развевались по ветру. Широко раскрытые глаза, казалось, ничего не видели. Мы часто как будто бодрствуем во сне и спим наяву. Урсус был похож на сумасшедшего.

— Мистер Урсус, — закричал трактирщик, — подите-ка сюда. Эти джентльмены желают поговорить с вами.

Дядюшка Никлс, всецело занятый мыслью, как бы уладить инцидент, употребил множественное число, хотя в то же время опасался, не заденет ли оно самолюбие начальника тем, что поставит его на одну доску с подчиненными.

Урсус вздрогнул, как человек, внезапно сброшенный с постели, на которой он спал глубоким сном.

— Что такое? — спросил он.

Он увидел полицейских с судебным приставом во главе.

Новое тяжелое потрясение.

Совсем недавно жезлоносец, теперь — судебный пристав. Один как бы перебрасывал его другому. Он был в положении судна, оказавшегося меж двух грозных утесов, о которых говорится в древних преданиях.

Судебный пристав знаком приказал ему войти в харчевню.

Урсус повиновался.

Говикем, который только что проснулся и подметал в это время зал, остановился, отставил в сторону метлу и, укрывшись за столами, затаил дыхание. Запустив руку в волосы, он почесывал затылок — признак напряженного внимания.

Судебный пристав сел на скамью перед столом; Баркильфедро сел на стул; Урсус и дядюшка Никлс стояли перед ними. Полицейские столпились на улице, у закрытых ворот.

Судебный пристав устремил на Урсуса строгий взор блюстителя закона и спросил:

— Вы держите у себя волка?

Урсус ответил:

— Не совсем так.

— Вы держите у себя волка, — повторил судебный пристав, резко напирая на слово «волк».

— Дело в том… — начал было Урсус и замолчал.

— Уголовно наказуемый проступок, — сказал пристав.

Урсус попробовал защищаться:

— Это домашнее животное.

Пристав положил руку на стол, растопырив все пять пальцев, — жест, прекрасно выражающий всю силу его власти.

— Фигляр, завтра в этот час вы с вашим волком будете за пределами Англии. В противном случае волка заберут, отведут в присутствие и убьют.

Урсус подумал: «Одно убийство за другим». Однако не произнес ни слова и только задрожал всем телом.

— Вы слышите? — продолжал пристав.

Урсус утвердительно кивнул головой.

Пристав повторил:

— И убьют.

Наступило молчание.

— Удавят или утопят.

Судебный пристав посмотрел на Урсуса:

— А вас — в тюрьму.

Урсус пробормотал:

— Господин судья…

— Вы должны уехать прежде, чем наступит утро завтрашнего дня. Иначе приказ будет выполнен.

— Господин судья…

— Что?

— Нам обоим нужно уехать из Англии?

— Да.

— Сегодня?

— Сегодня же.

— Но как это сделать?

Дядюшка Никлс был счастлив. Этот судебный

пристав, которого он так боялся, выручил его из беды. Полиция пришла ему, Никлсу, на помощь. Она освободила его от «этих людей». Она сама взяла на себя заботу избавить его от них. Урсуса, которого он хотел выгнать, высылала полиция. Неодолимая сила. Попробуй с ней поспорить! Он был в восторге.

Он вмешался в разговор:

— Ваша честь, этот человек…

Он указал пальцем на Урсуса.

— Этот человек спрашивает, как ему уехать нынче из Англии. Нет ничего проще. На Темзе по обеим сторонам Лондонского моста и днем и ночью можно найти суда, отплывающие в различные страны: в Данию, в Голландию, в Испанию, — куда угодно, кроме Франции, с которой мы ведем войну. Многие из них снимутся с якоря сегодня около часу ночи, когда начнется отлив. Между прочими и роттердамская шхуна «Вограат».

Судебный пристав повел плечом в сторону Урсуса.

— Хорошо. Уезжайте на любом судне. Хоть на «Вограате».

— Господин судья… — начал Урсус.

— Ну?

— Господин судья, это было бы возможно, если бы у меня, как и прежде, был только возок. Его можно было бы погрузить на корабль. Но…

— Но что же?

— Но сейчас у меня «Зеленый ящик», огромный фургон с двумя лошадьми, который не поместится даже на большом судне.

— А мне-то что за дело? — возразил пристав. — В таком случае волка убьют.

Урсус затрепетал, почувствовав, что сердце у него словно сжимает чья-то ледяная рука. «Изверги! — думал он. — Убийство — их излюбленное занятие».

Трактирщик с улыбкой обратился к Урсусу:

— Мистер Урсус, ведь вы же можете продать свой «Зеленый ящик».

Урсус взглянул на него.

— Мистер Урсус, вам же сделали предложение.

— Какое?

— Предложение насчет фургона, насчет лошадей. Насчет обеих цыганок. Насчет…

— Кто?

— Хозяин соседнего цирка.

— Да, верно.

Урсус вспомнил.

Никлс повернулся к судебному приставу:

— Ваша честь, сделка может состояться сегодня же. Хозяин соседнего цирка хочет купить фургон и лошадей.

— Хозяин цирка поступит разумно, — сказал пристав, — потому что фургон и лошади ему очень скоро понадобятся. Он тоже уедет сегодня. Священники саутворкских приходов подали жалобу на шум и безобразие, которые творятся в Таринзофилде. Шериф принял надлежащие меры. Сегодня вечером на площади не останется ни одного балагана. Конец всем этим безобразиям. Почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием…

Судебный пристав сделал паузу, чтобы отвесить поклон Баркильфедро, который ответил ему тем же.

— …почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием, прибыл сегодня из Виндзора. Он привез приказы. Ее Величество повелела: «Очистить площадь».

Урсус, успевший много передумать за эту ночь, мысленно задавал себе не один вопрос. Ведь в конце концов он видел только гроб. Мог ли он поручиться, что в нем лежало тело Гуинплена? Мало ли узников умирает в тюрьме? На гробе не ставят имя покойника. Вскоре после ареста

Гуинплена кого-то хоронили. Это еще ничего не доказывает: Post hoc, non propter hoc[256] — и так далее. Урсусом снова овладели сомнения. Надежда загорается и сверкает над нашей скорбью, подобно тому как горит нефть на воде. Ее огонек постоянно всплывает на поверхность людского горя. В конце концов Урсус решил: «Возможно, что хоронили действительно Гуинплена, но это еще не достоверно. Как знать? А вдруг Гуинплен еще жив?»

Урсус поклонился приставу:

— Достопочтенный судья, я уеду. Мы уедем. Все уедут. На «Вограате». В Роттердам. Я повинуюсь. Я продам «Зеленый ящик», лошадей, трубы, цыганок. Но у меня есть товарищ, которого я не могу оставить. Гуинплен…

— Гуинплен умер, — произнес чей-то голос.

Урсусу показалось, будто он внезапно ощутил холодное прикосновение какого-то пресмыкающегося.

Эти слова произнес Баркильфедро.

Угас последний луч надежды. Сомнений больше не было. Гуинплен умер.

Незнакомец должен был знать это доподлинно.

---

[256] Сноски: 256

После этого еще не значит вследствие этого (*лат.*).

У него был такой зловещий вид.

Урсус поклонился.

В сущности, дядюшка Никлс был человеком добрым. Но когда не трусил. Страх делал его жестоким. Нет никого безжалостнее перепуганного труса.

Он пробормотал:

— Это упрощает дело.

И стал за спиною Урсуса потирать руки, радуясь, как все эгоисты, и мысленно говоря: «Я здесь ни при чем» — жест Понтия Пилата, умывающего руки.

Урсус горестно поник головой. Смертный приговор, вынесенный Гуинплену, был приведен в исполнение; он же, Урсус, как ему только что об этом объявили, был осужден на изгнание. Ничего другого не оставалось, как повиноваться. Он задумался.

Вдруг он почувствовал, что кто-то взял его за локоть. Это был спутник судебного пристава. Урсус вздрогнул.

Голос, сказавший раньше: «Гуинплен умер», теперь прошептал ему на ухо:

— Вот десять фунтов стерлингов, которые посылает лицо, желающее вам добра.

И Баркильфедро положил на стол перед Урсу-

сом маленький кошелек.

Читатель помнит, конечно, про шкатулку, унесенную Баркильфедро.

Десять гиней — вот и все, что смог уделить Баркильфедро из двух тысяч. По совести говоря, этого было вполне достаточно. Дай он Урсусу больше, он сам оказался бы в убытке. Ведь он потратил немало труда на то, чтобы разыскать лорда, — теперь он приступал к использованию находки, и справедливость требовала, чтобы первая же добыча с открытой им золотой россыпи досталась ему. Пускай иные назовут такой поступок низким, это их дело, но удивляться тут не приходится. Просто Баркильфедро любил деньги, в особенности краденые. В каждом завистнике кроется корыстолюбец. У Баркильфедро были свои недостатки — ведь злодеи не избавлены от мелких пороков. И у тигров бывают вши.

Кроме того, здесь сказывалась школа Бекона.

Баркильфедро повернулся к судебному приставу и сказал:

— Сударь, будьте любезны, кончайте поскорей. Я очень тороплюсь. Мне нужно скакать во весь дух в Виндзор и прибыть туда не позже, чем через два часа. Я должен донести обо всем и получить дальнейшие приказания.

Судебный пристав поднялся.

Он подошел к двери, которая была заперта только на задвижку, открыл ее, не произнося ни слова, окинул взором полицейских, поманил их к себе указательным пальцем. Весь отряд вступил в зал, соблюдая тишину, которая обычно предвещает наступление чего-то грозного.

Дядюшка Никлс, довольный быстрой развязкой, сулившей конец всем осложнениям, был в восторге, что выпутался из беды, но при виде шеренги выстроившихся полицейских испугался, как бы Урсуса не арестовали у него в доме. Один за другим два ареста в его гостинице — сначала Гуинплена, затем Урсуса — это могло повредить его заведению, так как посетители не любят тех кабачков, куда часто заглядывает полиция. Наступил момент, когда надо было почтительно вмешаться и в то же время проявить великодушие. Дядюшка Никлс обратил к приставу улыбающееся лицо, на котором выражение самоуверенности смягчилось подобострастием.

— Ваша честь, я позволю себе заметить, что в почтенных господах сержантах нет никакой нужды теперь, когда ясно, что преступный волк будет увезен из Англии, а человек, носящий имя Урсуса, не оказывает сопротивления и собира-

ется в точности исполнить приказание вашей чести. Пусть ваша честь соблаговолит принять во внимание, что достойные всякого уважения действия полиции, столь необходимые для блага королевства, могут причинить ущерб моему заведению, хотя оно ни в чем не повинно. Как только площадь, пользуясь выражением Ее Величества, будет очищена от фигляров «Зеленого ящика», на ней не останется больше преступного элемента, ибо, по-моему, нельзя считать нарушителями законности ни слепую девушку, ни обеих цыганок; поэтому я умоляю вашу честь сократить свое высокое пребывание здесь и отправить назад достойных господ, только что вошедших сюда, так как им больше нечего делать в моем доме; если бы ваша честь позволила мне подтвердить справедливость моих слов смиренным вопросом, я доказал бы бесполезность присутствия этих почтенных господ, спросив вашу честь: поскольку человек, носящий имя Урсуса, подчиняется приговору, то кого же они намереваются арестовать здесь?

— Вас, — ответил пристав.

С ударом шпаги, пронзающей вас насквозь, спорить не приходится. Пораженный как громом, Никлс упал на первый стоявший близ него

предмет, не то на стол, не то на скамью.

Судебный пристав возвысил голос так, что его могли услышать на площади:

— Мистер Никлс Племптри, содержатель харчевни, нам нужно покончить еще с одним делом. Этот скоморох и волк — бродяги. Они изгоняются из Англии. Но главный виновник — вы. При вашем попустительстве был у вас в доме нарушен закон, и вы, человек, которому разрешили содержать гостиницу, человек, ответственный за все происходящее в ней, вы терпели бесчинства в своем заведении. Мистер Никлс, у вас отныне отбирается патент, вы заплатите штраф и будете посажены в тюрьму.

Полицейские окружили трактирщика.

Судебный пристав указал на Говикема.

— Этот малый арестуется как ваш сообщник.

Рука одного из полицейских схватила за шиворот Говикема, который с любопытством взглянул на блюстителя порядка. Он не очень испугался, так как плохо понимал, в чем дело; он насмотрелся на всякие странности и мысленно задавал себе вопрос, не продолжают ли еще разыгрывать перед ним комедию.

Судебный пристав нахлобучил на голову шляпу, сложил руки на животе, что является высшим

выражением величественности, и прибавил:

— Итак, мистер Никлс, вас отведут в тюрьму и посадят за решетку. Вас и этого мальчишку. А ваша Тедкастерская гостиница будет закрыта и заколочена. В назидание другим. Теперь следуйте за нами.

Часть седьмая
Женщина-титан
1. Пробуждение

— А Дея?

Гуинплену, смотревшему на занимавшийся день в Корлеоне-Лодже, в то время как в Тедкастерской гостинице происходили описанные выше события, показалось, что этот возглас донесся к нему извне; но крик этот вырвался из глубины его существа.

Кому из нас не приходилось слышать голос, звучащий в тайниках нашей души?

К тому же начинало светать.

Утренняя заря — призыв.

К чему бы служило солнце, если бы оно не будило совесть, спящую тяжелым сном?

Свет и добродетель соприродны друг другу.

Зовут ли Бога Христом или Амуром — в жизни

каждого, даже лучшего из нас, наступает час, когда мы забываем о нем; все мы, не исключая и праведников, нуждаемся тогда в напоминании, и заря пробуждает в нас вещий голос совести. Он предшествует пробуждению в нас чувства долга так же, как пение петуха предшествует рассвету.

В хаосе человеческого сердца раздается возглас: «Fiat lux»[257].

Гуинплен (мы будем называть его по-прежнему этим именем, ибо Кленчарли — только лорд, а Гуинплен — человек) — Гуинплен как бы воскрес.

Пора было перевязать лопнувшую артерию, иначе он мог утратить последнюю каплю благородства.

— А Дея? — сказал он.

И он почувствовал в своих жилах живительный прилив крови. Словно обдало его бодрящей мятежной волною. Бурный наплыв добрых мыслей похож на возвращение домой человека, который потерял ключ и взламывает собственную дверь. Это насильственное вторжение, но вторжение добра; это насилие, но насилие над игом зла.

— Дея! Дея! Дея! — повторил он.

Он как бы закреплял этим именем то, что про-

---

[257] Сноски: 257
Да будет свет (*лат.*).

исходило у него в сердце.

Он спросил вслух:

— Где ты?

И почти удивился, что не получил ответа.

Оглядывая потолок и стены, как человек, к которому возвращается разум, он продолжал вопрошать:

— Где ты? Где я?

И он снова заметался по комнате, точно запертый в клетку звери.

— Где я? В Виндзоре. А ты? В Саутворке. Ах, боже мой! В первый раз в жизни мы разлучены друг с другом. Кто же разъединил нас? Я здесь, а ты там. О! Это невозможно. Этого не будет. Что же со мной сделали?

Он остановился.

— Кто это говорил мне про королеву? Откуда я знаю? Изменился! Я изменился? Почему? Потому, что я стал лордом. Знаешь ли ты, что случилось, Дея? Ты теперь леди. Творятся удивительные дела. Ах, да! Надо выбраться на настоящую дорогу. Не заблудился ли я? Какой-то человек говорил мне что-то непонятное. Я помню его слова: «Милорд, судьба, отворяя одну дверь, захлопывает другую. То, что осталось позади вас, уже не существует!» Иначе говоря: «Вы негодяй!» Этот

презренный человек говорил мне все это, пока я еще не пришел в себя. Он воспользовался тем, что я был ошеломлен. Я оказался его добычей. Где он? Я хочу ответить ему оскорблением! Я, точно в кошмаре, видел его ехидную улыбку. Ах, но теперь я опять становлюсь самим собой! Прекрасно! Они ошибаются, думая, будто с лордом Кленчарли можно сделать все, что угодно! Я — пэр Англии, да, но у пэра есть законная супруга — Дея. Условия? Да разве я приму какие-то условия? Королева? Что мне за дело до королевы? Я ее в глаза не видал. Не для того родился я лордом, чтобы быть рабом. Я получу власть, но не отдам своей свободы. Даром, что ли, сняли с меня оковы? Меня изуродовали — только и всего. Дея! Урсус! Я с вами. Я был таким, как вы. Теперь вы будете такими, каким стал я. Придите! Нет! Я иду к вам! Сейчас же, немедля! Я и так слишком долго ждал. Что они могут подумать, видя, что я не возвращаюсь? Ах, эти деньги! Как смел я послать им деньги! Я должен был сам поспешить к ним. Я помню, этот человек сказал, что мне не выйти отсюда. Посмотрим. Эй, карету! Пусть подадут карету! Я отправлюсь за ними. Где слуги? Должны же быть слуги, раз есть господин. Я здесь хозяин! Это мой дом! Я сорву запоры, сломаю замки, я но-

гами вышибу двери. Я насквозь проколю шпагой того, кто преградит мне дорогу: теперь у меня есть шпага. Пусть только попробуют оказать мне сопротивление. У меня есть жена — это Дея! У меня есть отец — это Урсус! Мой дом — дворец, и я дарю его Урсусу. Мое имя — корона, и я отдаю ее Дее. Скорей! Сейчас! Вот я, Дея. Одно только мгновение — и я перешагну разделяющее нас расстояние, вот увидишь!

И, откинув первую попавшуюся портьеру, он порывисто вышел из комнаты.

Он очутился в коридоре и бросился вперед.

Перед ним открылся второй коридор.

Все двери были настежь.

Он пошел наугад из комнаты в комнату, из коридора в коридор в поисках выхода.

2. Дворец, похожий на лес

Как и во всех дворцах, выстроенных в итальянском вкусе, в Корлеоне-Лодже было мало дверей. Их заменяли занавесы, портьеры, ковры.

В те времена не было дворца, который не представлял бы собой странного нагромождения великолепных палат, коридоров, украшенных позолотой, мрамором, резными панелями, во-

сточными шелками, уединенных уголков, то темных и таинственных, то залитых светом. Там были веселые, богато убранные покои, блестевшие лаком, плитками голландского фаянса или португальскими узорными изразцами; амбразуры высоких окон, верхняя часть которых уходила в антресоли, застекленные кабинеты, похожие на большие красивые фонари. Глубокие ниши в толстых стенах также могли служить уединенными уголками. Почти на каждом шагу попадались гардеробные, напоминавшие бонбоньерки. Все это называлось «внутренними покоями». Именно здесь готовились преступления.

Такие покои оказывались очень удобными в тех случаях, когда надо было убить герцога Гиза, обесчестить хорошенькую жену президента Сильвекана или, позднее, заглушать крики юных девушек, которых приводил Лебель. Замысловатые строения, где человеку непривычному легко было заблудиться. В таких дворцах не стоило никакого труда кого угодно похитить и замести все следы. В этих изысканных вертепах принцы и вельможи скрывали свою добычу. Граф Шароле прятал там госпожу Куршан, жену председателя кассационного суда; де Монтюле — дочь Одри, арендатора земель Круа-Сен-Ланфруа; принц

Конти — двух красавиц булочниц из Лиль-Адама; герцог Бекингем — бедняжку Пеньюэл и т. д. Все происходившее там совершалось, если пользоваться выражением римского права, vi, clam et precario, то есть насильственно, тайно и ненадолго. Кто попадал туда, оставался там до тех пор, пока это было угодно хозяину. Это были позолоченные темницы. Они напоминали собой и монастырь и сераль. Винтовые лестницы кружили, поднимались, спускались. Извиваясь спиралью, вереница смежных комнат приводила вас снова туда, откуда вы вышли. Галерея упиралась в молельню. Исповедальня примыкала к алькову. Моделью для архитекторов, строивших королям и вельможам «внутренние покои», служили, очевидно, разветвления кораллов и ходы в губках. Из этого лабиринта, казалось, невозможно было выбраться, но вдруг какой-нибудь вращающийся на шарнирах портрет оказывался замаскированной дверью. Все было предусмотрено. Да оно и понятно: здесь нередко разыгрывались драмы. Дворец от подвалов до мансард представлял собой многоэтажный улей. Этот причудливый звездчатый коралл, выросший внутри каждого дворца, начиная от Версаля, представлялся как бы жилищем пигмеев

в обиталище титанов. Коридоры, альковы, ниши, тайники — все это были укромные уголки, где высокие особы прятали от людских взоров свои низкие дела.

Эти извилистые, глухие переходы напоминали об играх, о завязанных глазах, о руках, нащупывающих двери, о сдержанном смехе, о жмурках, прятках и в то же время приводили на память Атридов, Плантагенетов, Медичи, свирепых рыцарей Эльца, убийство Риччо, Мональдески, людей с обнаженными шпагами, преследующих беглеца из комнаты в комнату.

Такие таинственные убежища, где роскошь предназначена укрывать страшные злодеяния, были еще в древности. Образцом их могут служить сохранившиеся под землей египетские гробницы, как, например, склеп царя Псаметиха, обнаруженный раскопками Пассалакки. Древние поэты с ужасом описывали эти таинственные постройки. Error circumflexus, locus implicitus gyris[258].

Гуинплен находился во «внутренних покоях» Корлеоне-Лоджа.

Он сгорал желанием выйти отсюда, очутиться

---

[258] Сноски: 258
Запутанный тайник со сложными поворотами (*лат.*).

на воле, вновь увидеть Дею. Эта путаница коридоров, комнат, потайных дверей, неожиданных выходов задерживала его, замедляла его шаги. Он хотел бежать, а вынужден был пробираться. Ему казалось, что достаточно только распахнуть дверь, чтобы выбраться на свободу, но за ней следовали новые и новые двери, и он блуждал по этому лабиринту.

За одной комнатой следовала другая, за залом новый зал.

Нигде ни живой души. Ни звука. Ни шороха.

Иногда ему казалось, что он кружится на одном месте.

Порой ему чудилось, что кто-то идет навстречу. На самом деле не было никого: это было его собственное отражение в зеркале.

Это был он, но в костюме знатного дворянина, совершенно не похожий на себя. Он узнавал себя, но не сразу.

Он блуждал долго. Он путался в сложном расположении «внутренних покоев», попадал то в укромный кабинет, кокетливо украшенный резьбой и живописью, немного непристойной, то в какую-то подозрительную часовню со стенами, покрытыми перламутром и эмалью, с изображениями из слоновой кости такой тон-

кой работы, что их надо было рассматривать в лупу, как крышки табакерок; то в один из тех изысканных уголков во флорентийском вкусе, которые как будто нарочно были придуманы для взбалмошных женщин, находящихся в капризном настроении, и с тех пор так и называются «будуарами». Всюду — на потолках, на стенах и даже на полу — пестрели на бархате или металле изображения птиц и деревьев, фантастические растения, перевитые жемчугом, рельефные басоны, скатерти, сверкавшие блестками стекляруса, фигуры воинов, королев, женщин-тритонов с чешуйчатым хвостом гидры. Граненый хрусталь отражал свет и переливался всеми цветами радуги. Стеклянная посуда соперничала блеском с драгоценными камнями. Во мраке что-то вспыхивало искрами в угловых шкафах. Трудно было сказать, что представляли собою эти сверкающие блики, в которых зелень изумрудов сливалась с золотом восходящего солнца и на которые словно наплывали облака цвета голубиных перьев, — были ли это крохотные зеркала, или же огромные аквамарины. Хрупкое и в то же время громоздкое великолепие! Это был самый маленький из всех дворцов, или громаднейший ларец для драгоценностей. Домик феи Маб или безделушка Гео.

Гуинплен искал выхода.

Он не находил его. Он растерялся. Ничто не поражает с такой силой, как роскошь, когда ее видишь в первый раз. К тому же это был лабиринт. На каждом шагу какое-нибудь великолепное препятствие преграждало ему дорогу. Казалось, все противится его бегству. Дворец как будто не хотел выпускать его. Он точно попал в плен ко всем этим чудесам. Он чувствовал, что его схватили и цепко держат.

«Какой страшный дворец!» — думал он.

Он блуждал по бесконечным переходам, тревожно спрашивая себя, что означает все это, не в тюрьме ли он; он приходил в бешенство, он рвался на вольный воздух. Он повторял: «Дея! Дея!», хватаясь за это имя как за путеводную нить, боясь оборвать ее; она одна могла вывести его отсюда.

Временами он кричал:

— Эй! Кто-нибудь!

Никто не откликался.

Комнатам не было конца. Все было пустынно, молчаливо, пышно и зловеще.

Такими рисуются нашему воображению заколдованные замки.

Скрытые источники тепла поддерживали в этих коридорах и комнатах летнюю температуру.

Казалось, какой-то чародей завладел июнем и запер его в этом лабиринте. Порою до Гуинплена доносился чудесный запах. Его обволакивали ароматы, словно где-то неподалеку благоухали невидимые цветы. Было жарко. Всюду были разостланы ковры. Здесь можно было бы ходить обнаженным.

Гуинплен смотрел в окна. Вид постоянно менялся. Его взор встречал то сады, исполненные свежести весеннего утра, то новые фасады с новыми статуями, то испанские патио — квадратные, выложенные плитами дворики, сырые и холодные, заключенные между стенами многоэтажных зданий, то воды Темзы, то высокую башню Виндзорского замка.

В этот ранний час на дворе не было ни души.

Он останавливался. Прислушивался.

— О, я уйду отсюда! — восклицал он. — Я вернусь к Дее. Меня не удержать силой. Горе тому, кто вздумал бы помешать мне. Что это там за башня? Пусть в ней живет великан, адский пес или тараск, охраняющий выход из этого заколдованного замка, все равно я их убью. Я справлюсь с целым полчищем. Дея! Дея!

Вдруг до него донесся тихий, еле слышный звук, похожий на журчание воды.

Гуинплен находился в узкой темной галерее; в нескольких шагах от него была закрытая портьера.

Он сделал несколько шагов, раздвинул портьеру и вошел.

Его глазам открылось неожиданное зрелище.

3. Ева

Он увидел восьмиугольный зал с полуовальными арками сводов; окон не было; свет лился откуда-то сверху; стены, пол и свод были облицованы мрамором цвета персика. Посреди зала возвышался черного мрамора балдахин, опиравшийся на витые колонны в тяжеловесном, но очаровательном стиле времен Елизаветы; под ним помещалась ванна-бассейн такого же черного мрамора; в ней била медленно наполнявшая ее тонкая струя душистой теплой воды. Черный мрамор ванны, оттеняя белизну тела, сообщает ему ослепительный блеск.

Журчанье этой струи и услыхал Гуинплен. Отверстие в ванне, сделанное на известном уровне, не давало воде переливаться через край. Над ванной поднимался еле заметный пар, мельчайшею росою оседая на мраморе. Тонкая

струйка воды была похожа на гибкий стальной прут, колеблющийся от малейшего дуновения.

Мебели почти не было; только около самой ванны стояла кушетка с подушками, достаточно длинная для того, чтобы в ногах лежащей на ней женщины могли поместиться ее собачка или ее любовник; поэтому такие кушетки и носят название can-al-pie[259], которое мы превратили в «канапе».

Судя по серебряным ножкам и серебряной раме, это был испанский шезлонг. Обивка и подушки были из белого атласа.

По другую сторону ванны стоял у стены высокий туалет из литого серебра со всеми необходимыми принадлежностями; посередине его возвышалось что-то вроде окна, состоявшего из восьми небольших венецианских зеркал, соединенных между собой серебряным переплетом.

В стене, ближайшей к кушетке, было вырублено квадратное отверстие, похожее на слуховое окно и закрывавшееся серебряной дверцей. Эта дверца ходила на петлях, как ставень. На ней сверкала покрытая золотом и чернью королевская корона. Над дверцей висел вделанный в

---

[259] Сноски: 259
Собачка в ногах (*исп.*).

стену колокольчик из позолоченного серебра, а может быть и из золота.

Напротив арки, через которую вошел Гуинплен, круглился в конце зала проем такой же арки, занавешенный от потолка до полу серебристой тканью.

Тонкая, как паутина, ткань была совершенно прозрачна. Сквозь нее было видно все.

В центре этой паутины, в том самом месте, где обычно помещается паук, Гуинплен увидел нечто поразительное — нагую женщину.

Собственно говоря, она не была совсем нагой. Женщина была одета. Одета с головы до пят. На ней была очень длинная рубашка вроде тех одеяний, в которых изображают ангелов, но настолько тонкая, что казалась мокрой. Такая полуобнаженность более соблазнительна и более опасна, нежели откровенная нагота. Из истории нам известно, что принцессы и знатные дамы принимали участие в процессиях кающихся, проходивших между двумя рядами монахов; в одной из таких процессий герцогиня Монпансье, под предлогом самоуничижения, показалась всему Парижу в одной кружевной рубашке. Правда, герцогиня шла босая и со свечой в руках.

Серебристая ткань, прозрачная как стекло, слу-

жила занавесью. Она была прикреплена только вверху, и ее можно было приподнять. Она отделяла мраморный зал-ванную от смежной с нею спальни. Эта очень небольшая комната представляла собой нечто вроде зеркального грота. Зеркала, вплотную подогнанные одно к другому, были соединены между собой золотым багетом и, образуя многогранник, отражали кровать, стоявшую в центре. Кровать, так же как туалет и кушетка, была из серебра; на ней лежала женщина. Она спала.

Она спала, запрокинув голову, одной ногой отбросив одеяло, словно ведьма, над которой распростер свои крылья сладостный сон.

Обшитая кружевом подушка упала на ковер.

Между наготой женщины и взором Гуинплена были только две преграды, две прозрачных ткани; рубашка и занавес из серебристого газа. Комната, похожая скорее на альков, освещалась слабым светом, проникавшим из ванной. Свет, казалось, обладал большей стыдливостью, чем эта женщина.

Кровать была без колонн, без балдахина, без полога, так что женщина, открывая глаза, могла видеть в окружавших ее зеркалах тысячекратное отражение своей наготы.

Простыни были сбиты, словно в тревожном сне. Их красивые складки свидетельствовали о тонкости ткани. Это было то время, когда некая королева, стараясь представить себе адские мученья, воображала их в виде постели с грубыми простынями.

Обычай спать голым перешел из Италии, он существовал еще до римлян. Sub clara nuda lucerna[260], — говорит Гораций.

В ногах кровати был брошен халат из какого-то необычайного шелка, несомненно китайского, так как в складках его виднелась большая, вышитая золотом ящерица.

Позади кровати, в глубине алькова, находилась, по всей вероятности, дверь, скрытая довольно большим зеркалом, с изображенными на нем павлинами и лебедями. В этой полутемной комнате все сияло. Промежутки между стеклом и золотым багетом были залиты тем блестящим сплавом, который в Венеции называется «стеклянной желчью».

К изголовью кровати был прикреплен серебряный пюпитр с вращающейся доской и неподвижными подсвечниками; на нем лежала

---

[260] Сноски: 260
Нагая при ярком светильнике (*лат.*).

раскрытая книга; на страницах ее, над текстом, стояло начертанное красными буквами заглавие: «Alcoranus Mahumedis»[261].

Гуинплен не заметил ни одной из этих подробностей: он видел только женщину.

Он остолбенел и в то же время был взволнован до глубины души. Противоречие невероятное, но в жизни оно бывает.

Он узнал эту женщину.

Глаза ее были закрыты, лицо обращено к нему.

Перед ним быта герцогиня.

Да, это она, загадочное существо, таившее в себе всю прелесть неизвестного, она, являвшаяся ему столько раз в постыдных снах, она, написавшая ему такое странное письмо, единственная в мире женщина, про которую он мог сказать: «Она меня видела и хочет быть моею!» Он отогнал от себя эти сны, он сжег письмо. Он изгнал ее из своих мыслей, из своей памяти, он больше не думал о ней, он забыл ее…

И вот она снова перед ним. И еще более грозная, чем прежде! Нагая женщина — это женщина во всеоружии.

Он затаил дыхание. Ослепительное облако под-

---

[261] Сноски: 261
«Коран Магомета» (*лат.*).

хватило его и увлекло с собой. Он смотрел. Перед ним была эта женщина. Возможно ли?

В театре — герцогиня. Здесь — нереида, наяда, фея. И всюду она — призрак.

Он хотел бежать и почувствовал, что не может двинуться с места. Взгляды его стали цепями, приковывавшими его к видению.

Кто она? Непотребная женщина? Девственница? И то и другое. Улыбка таившейся в ней Мессалины сочеталась с настороженностью Дианы. В ее блистательной красоте было что-то неприступное. Ничто не могло сравниться чистотою с целомудренно строгими формами ее тела. Снег, на который никогда не ступала нога человека, можно узнать с первого взгляда. Эта женщина сияла священной белизной вершины Юнгфрау. От ее невозмутимого чела, от рассыпавшихся золотистых волос, от опущенных ресниц, от еле заметных голубоватых жилок, от округлостей ее груди, достойной резца ваятеля, от бедер и колен, розовевших сквозь прозрачную рубашку, веяло величием спящей богини. Ее бесстыдство растворялось в сиянии. Она лежала нагая так спокойно, точно имела право на этот олимпийский цинизм; в ней чувствовалась самоуверенность богини, которая, погружаясь в морскую волну,

может сказать океану: «Отец!» Великолепная, недосягаемая, она предлагала себя всем взглядам, всем желаниям, всем безумиям, всем мечтам, горделиво покоясь на этом ложе, подобно Венере на лоне пенных вод.

Она заснула с вечера и безмятежно спала до сих пор; доверчивость, с которой она отдалась сумраку, не исчезла и при свете дня.

Гуинплен трепетал. Он смотрел на нее восхищенный. Болезненное, алчное восхищение пагубно. Ему стало страшно.

Неожиданностям, которыми судьба дарит человека, не бывает конца. Гуинплену казалось, что он дошел до предела, и вдруг все начиналось снова. Что означали все эти непрерывно поражавшие его молнии и этот последний, страшный удар — внезапно представшая ему спящая богиня? Что означали эти последовательно открывавшиеся ему просветы небес, откуда, наконец, снизошла его желанная и грозная мечта? Что означала эта угодливость неведомого искусителя, осуществлявшего одну за другой его смутные грезы, неясные стремления, облекавшего плотью даже его дурные помыслы, мучительно опьянявшего его похожей на фантазию действительностью? Не соединились ли против него, жалкого че-

ловека, все силы тьмы? К чему должны были привести его все эти улыбки зловещей судьбы? Кто это задался целью вскружить ему голову? Эта женщина? Почему она здесь? Зачем? Непонятно. Зачем он здесь? Зачем она здесь? Уж не сделали ли его пэром Англии ради этой герцогини? Кто толкал их друг к другу? Кто тут был одурачен? Кто был жертвой? Чьим доверием злоупотребляли? Быть может, обманывали Бога? Все эти мысли проносились в голове Гуинплена, словно окутанные черными облаками. А это волшебное, зловещее жилище, этот странный дворец, откуда не было выхода, как из тюрьмы, — быть может, и он принимал участие в заговоре? Все окружающее словно засасывало его. Какие-то темные силы связывали все его движения. Его воля, все больше и больше слабея, покидала его, рассеивалась. За что ухватиться? Он был растерян и околдован. Ему казалось, что он окончательно сходит с ума. Объятый смертельным ужасом, он стремительно падал в зияющую бездну.

Женщина спала.

Его волнение все возрастало. Для него это была уже не леди, не герцогиня, не знатная дама; это была женщина.

Дурные наклонности заложены в нас в скры-

том состоянии. В нашем организме неведомо для нас существует уже готовая почва для пороков. От этого не свободны даже самые невинные и на первый взгляд чистые люди. Если человек ничем не запятнан, это еще не значит, что у него нет недостатков. Любовь — закон. Сладострастие — западня. Опьянение и пьянство — две разные вещи. Желать определенную женщину — опьянение. Желать женщину вообще — то же, что пьянство.

Гуинплен терял власть над собою, он весь дрожал.

Как устоять на этот раз? Тут не было уже ни легких сборок воздушных тканей, ни складок тяжелого шелка, ни пышного, кокетливого туалета, затейливо прикрывающего и вместе с тем обнажающего женское тело, — никакой дымки. Нагота во всей своей страшной простоте. Настойчивый, таинственный призыв существа, не ведающего стыда, обращенный ко всему темному, что есть в человеке. Ева, более опасная, нежели сам сатана. Человеческое в сочетании со сверхъестественным. Беспокойный восторг, завершающийся грубым торжеством инстинкта над долгом. Порабощающая власть красоты. Когда красота перестает быть идеалом и становится

чувственным соблазном, близость ее губительна для человека.

Иногда герцогиня незаметно меняла позу, как легкое облако меняет свои очертания в лазури. Линии ее тела принимали по-новому прелестную волнистость. В плавных и гибких движениях женщины та же изменчивость, что и в движениях волны, в них есть что-то неуловимое. Странно — прекрасное тело, которое созерцал Гуинплен, не вызывало никаких сомнений в своей реальности — и в то же время казалось чем-то сказочным. Несмотря на ощутимую близость, женщина эта была бесконечно далекой. Бледный, смущенный Гуинплен смотрел на нее, не отрывая взора. Он прислушивался, как дышит ее грудь, и ему чудилось, что это — дыхание призрака. Его влекло к ней, он боролся. Как устоять против нее? Как совладать с самим собой?

Он ожидал всего, только не этого. Он думал, что ему придется выдержать схватку с лютым стражем, который преградит ему выход, с каким-нибудь разъяренным чудовищем, со свирепым тюремщиком. Он ожидал встретить Цербера — и увидел Гебу.

Нагую женщину. Спящую женщину.

Какая тяжелая борьба!

Он опускал веки. От слишком яркого света глазам бывает больно. Но и сквозь закрытые веки он все видел ее. Менее ослепительную, но столь же прекрасную.

Бежать не всегда возможно. Он пытался и не мог. Он словно прирос к полу, как это бывает иногда во сне. Когда мы хотим бежать от соблазна, он приковывает нас к месту. Идти ему навстречу еще возможно, но отступить уже нельзя. Незримые руки греха тянутся к нам из-под земли и увлекают нас в пропасть.

Принято думать, будто всякое ощущение постепенно притупляется. Ошибочное мнение. Это равносильно утверждению, что азотная кислота, медленно стекая на рану, успокаивает боль, или что Дамьен, подвергнутый четвертованию, мог свыкнуться с этой пыткой.

На самом деле каждый новый толчок лишь обостряет ощущение.

Изумляясь все больше и больше, Гуинплен дошел до неистовства. Его рассудок, ошеломленный новой неожиданностью, был подобен переполненной до краев чаше. В нем пробудилось что-то неведомое и страшное.

Он потерял компас. Одно только для него было достоверно — лежащая перед ним женщина. Ему

открывалось что-то всепоглощающее, разверзшееся перед ним, как морская пучина. Он уже не мог управлять собой. Необоримое течение увлекало его к подводному камню. Но подводный камень оказался не скалою, а сиреной; дно бездны таило магнит. Гуинплен хотел бы противостоять его притягательной силе, но как? Он уже не находил точки опоры. Человека иногда подхватывает и несет буря. Подобно судну, он теряет все снасти. Его якорь — это совесть. Но, как это ни ужасно, якорь может оборваться.

Гуинплен даже не мог сказать себе: «Я безобразен, ужасен. Она оттолкнет меня». Эта женщина писала ему, что любит его.

Бывают мгновенья, когда мы как бы повисаем над пропастью. Когда мы утрачиваем связь с добром и приближаемся к злу, та часть нашего существа, которая вовлекает нас в грех, торжествует над нами и в конце концов низвергает нас в бездну. Не наступила ли и для Гуинплена такая печальная минута?

Как спастись?

Итак, это она! Герцогиня! Та женщина! Она была здесь, в этой комнате, в уединенном месте, одна, спящая, беззащитная. Она была в его руках, и он — всецело в ее власти.

Герцогиня!

В глубине небесного пространства вы заметили звезду. Вы восхищались ею. Она так далеко! Какие опасения может внушить нам неподвижная звезда? Но вот однажды ночью она меняет место. Вы различаете вокруг нее дрожащее сияние. Светило, которое вы считали бесстрастным, пришло в движение. Это не звезда, это комета. Это неистовая поджигательница неба. Светило приближается, растет, оно распускает огненные волосы, становится огромным; оно приближается к вам. О ужас! Оно летит на вас! Комета вас узнала, комета пылает к вам страстью, комета вожделеет к вам. Страшное приближение небесного тела. То, что надвигается на вас, настолько ярко, что может ослепить. Это избыток жизни, несущий смерть. Вы отвечаете отказом на зов зенита. Вы отвергаете любовь, предлагаемую бездной. Вы закрываете лицо руками, вы прячетесь, бежите, вы считаете себя спасенным, вы открываете глаза… Чудовищная звезда перед вами. И не звезда, а целый мир. Неведомый мир лавы и огня. Всепожирающее чудо, рожденное безднами. Комета заполнила собой все небо. Кроме нее, ничего не существует. В глубокой бесконечности она горела карбункулом, вдали казалась алмазом, вблизи

же превратилась в огненное горнило. Вы со всех сторон окружены пламенем.

И вы чувствуете, как этот райский огонь испепеляет вас.

4. Сатана

Вдруг спящая пробудилась. Быстрым и вместе с тем величественно-плавным движением она села на своем ложе; золотистые, мягкие, как шелк, волосы в прелестном беспорядке рассыпались вдоль ее стана; рубашка, соскользнув, обнажила плечо; она дотронулась холеной рукой до розовой ступни и некоторое время смотрела на свою обнаженную ногу, достойную восхищения Перикла и резца Фидия; потом потянулась и зевнула, как тигрица, пробудившаяся с восходом солнца.

Вероятно, она услышала тяжелое дыхание Гуинплена — человек, старающийся сдержать волнение, всегда дышит тяжело.

— Здесь кто-нибудь есть? — спросила она.

Она проговорила эти слова, сладко зевая.

Гуинплен впервые услыхал ее голос. Голос очаровательницы, в котором звучало что-то пленительно-высокомерное; свойственная ему повелительность смягчалась ласковой интона-

цией.

Внезапно став на колени, напоминая в этой позе античную статую, тело которой облекают тысячи прозрачных складок, она потянула к себе халат, соскочила с постели и с молниеносной быстротой накинула его. Он мгновенно окутал ее с ног до головы. Длинные рукава закрыли даже кисти рук. Из-под подола выглядывали только кончики пальцев белых, крошечных, как у ребенка, ног с узкими розовыми ногтями.

Она высвободила из-под халата волну роскошных волос и, подбежав к стоящему в глубине алькова расписному зеркалу, за которым, вероятно, была дверь, прильнула к нему ухом.

Согнув пальчик, она постучала в стекло.

— Кто там? Это вы, лорд Дэвид? Почему так рано? Который час? Или это ты, Баркильфедро?

Она обернулась.

— Нет, это не здесь. Это с другой стороны. Может быть, кто-то есть в ванной комнате? Да отвечайте же! Впрочем, нет, оттуда никто не может прийти.

Она направилась к занавеси из серебристого газа, откинула ее в сторону ногой, раздвинула плечом и вошла в мраморный зал.

Гуинплен почувствовал, как его охватывает

предсмертный холод. Скрыться было некуда. Бежать — слишком поздно. Да он и не в силах был бежать. Он был бы рад, если бы под ним разверзлась земля и поглотила его. Он стоял на самом виду.

И она увидала его.

Она даже не вздрогнула. Она смотрела на него чрезвычайно удивленная, но без малейшего страха; в ее глазах были и радость и презрение.

— А! — проговорила она. — Гуинплен!

И вдруг одним прыжком эта кошка, обернувшаяся пантерой, бросилась ему на шею.

От быстрого движения рукава ее халата откинулись и своими обнаженными до плеча руками она крепко прижала к себе голову Гуинплена.

И вдруг, оттолкнув его, она впилась ему в плечи цепкими, как когти, пальцами, и стала всматриваться в него каким-то странным взглядом.

Она устремила на него роковой взгляд своих разноцветных глаз, горевших как Альдебаран, глаз, в которых было и что-то низменное и что-то неземное. Гуинплен смотрел в эти двухцветные глаза — голубой и черный, — теряя голову от этого небесного и адского взора. Этот мужчина и эта женщина ослепляли друг друга, он — своим безобразием, она — своей красотой, и оба — ужа-

сом, исходившим от них.

Он продолжал молчать, словно придавленный невыносимым гнетом. Она воскликнула:

— Ты пришел! Это умно. Ты узнал, что меня заставили уехать из Лондона, и последовал за мной. Вот хорошо! Удивительно, как ты очутился здесь.

Когда два существа оказываются во власти друг друга, между ними вспыхивает молния. Гуинплен, услышав внутри себя предостерегающий голос смутного страха и голос совести, отпрянул, но розовые ногти впились ему в плечи и удержали его силой. Надвигалось что-то неумолимое. Он, человек-зверь, попал в берлогу женщины-зверя. Она продолжала:

— Представь себе, Анна, дура этакая, — ну, знаешь, королева, — вызвала меня в Виндзор, сама не зная зачем. А когда я приехала, она заперлась со своим идиотом канцлером. Но как ты умудрился пробраться ко мне? Прекрасно! Вот что значит быть настоящим мужчиной. Для него не существует преград. Его зовут, и он приходит. Ты расспрашивал обо мне? Ты, вероятно, узнал, что я герцогиня Джозиана. Кто проводил тебя сюда? Должно быть, мой грум. Смышленый мальчишка. Я дам ему сто гиней. Скажи мне, как ты все это

устроил? Нет, лучше не говори. Я не хочу этого знать. Объясняя свои смелые поступки, люди только умаляют их. Мне приятнее видеть в тебе загадочное существо. Ты настолько безобразен, что можешь казаться чудом. Ты упал с небес или поднялся из преисподней, прямо из пасти Эреба. Очень просто: или раздвинулся потолок, или разверзся пол. Ты либо спустился с облаков, либо взвился кверху в столбе серного пламени. Ты достоин того, чтобы являться как божество. Решено, ты мой любовник!

Гуинплен растерянно слушал, чувствуя, что его покидает рассудок. Все было кончено. Сомнений быть не могло. Эта женщина подтверждала все, о чем говорилось в письме, полученном ночью. Он, Гуинплен, будет любовником герцогини, обожаемым любовником! Безмерная гордость темной тысячеглавой гидрой зашевелилась в его несчастном сердце.

Тщеславие — страшная сила, действующая внутри нас, но против нас же самих.

Герцогиня продолжала:

— Ты здесь, значит так суждено. Больше мне ничего не надо. Чья-то воля, неба или ада, толкает нас в объятия друг друга. Брачный союз Стикса и Авроры! Безумный союз, попирающий все за-

коны. В тот день, когда я впервые увидела тебя, я подумала: «Это он. Я узнаю его. Это чудовище, о котором я мечтала. Он будет моим». Но надо помогать судьбе. Вот почему я тебе написала. Один вопрос, Гуинплен: ты веришь в предопределение? Я поверила с тех пор, как прочитала у Цицерона про сон Сципиона. Ах, я и не заметила! Ты одет как дворянин. Так и надо. Тем более что ты фигляр. Это только лишний повод к тому, чтобы так нарядиться. Комедиант стоит лорда. Да и что такое лорды? Те же клоуны. У тебя благородная осанка, ты прекрасно сложен. Невероятно все-таки, что ты попал сюда. Когда ты пришел? Давно ты здесь? Ты видел меня нагой? Не правда ли, я хороша? Я собиралась принять ванну. Ах, я люблю тебя! Ты прочел мое письмо? Сам прочел, или тебе его прочли? Умеешь ты читать? Ты, должно быть, совсем необразован. Я задаю тебе вопросы, но ты не отвечай. Мне не нравится звук твоего голоса. Он слишком нежен. Такое необыкновенное существо, как ты, должно не говорить, а рычать. Твоя же речь — как песня. Мне это противно. Единственное, что мне не нравится в тебе. Все остальное в тебе страшно и поэтому великолепно. В Индии ты стал бы богом. Ты так и родился с этим страшным смехом на лице?

Нет, конечно? Тебя, должно быть, изуродовали в наказанье за что-либо? Надеюсь, ты совершил какое-нибудь злодейство. Иди же ко мне!

Она упала на кушетку, увлекая его за собой. Сами не зная как, они очутились рядом. Стремительный поток ее речей бешеным вихрем проносился над Гуинпленом. Он с трудом улавливал смысл ее безумных слов. В ее глазах сиял восторг. Она говорила бессвязно, страстно, нежным, взволнованным голосом. Ее слова звучали как музыка, но в этой музыке Гуинплену слышалась буря.

Она снова устремила на него пристальный взгляд.

— Рядом с тобой я чувствую себя униженной, — какое счастье! Быть герцогиней — скука смертная! Быть особой королевской крови, — что может быть утомительнее? Падение приносит отдых. Я так пресыщена почетом, что нуждаюсь в презрении. Все мы немножко сумасбродны, начиная с Венеры, Клеопатры, госпожи де Шеврез, госпожи де Лонгвиль и кончая мной. Я не буду скрывать нашей связи, предупреждаю тебя заранее. Эта любовная интрижка будет не очень приятна королевской фамилии Стюартов, к которой я принадлежу. Ах, наконец-то я вздохну

свободно! Я нашла выход. Я сбрасываю с себя величие. Лишиться всех преимуществ моего положения — значит освободить себя от всяких уз. Все порвать, бросить всему вызов, все переделать на свой лад — это и есть настоящая жизнь. Послушай, я люблю тебя!

Она остановилась, и на ее губах промелькнула зловещая улыбка.

— Я тебя люблю не только потому, что ты уродлив, но и потому, что ты низок. Я люблю в тебе чудовище и скомороха. Иметь любовником человека презренного, гонимого, смешного, омерзительного, выставляемого на посмешище к позорному столбу, который называется театром, — в этом есть какое-то особенное наслаждение. Это значит вкусить от плода адской бездны. Любовник, который позорит женщину, — это восхитительно! Отведать яблока не райского, а адского — вот что соблазняет меня. Вот чего я жажду. Я — Ева бездны. Ты, вероятно, сам того не зная, демон. Я сберегла себя для чудовища, которое может пригрезиться только во сне. Ты марионетка, тебя дергает за нитку некий призрак. Ты воплощение великого адского смеха. Ты властелин, которого я ждала. Мне нужна была любовь, на какую способна лишь Медея или Ка-

нидия. Я так и знала, что со мной случится что-то страшное и необыкновенное. Ты именно тот, кого я желала. Я говорю тебе много такого, чего ты, должно быть, не понимаешь. Гуинплен, никто еще не обладал мною. Я отдаюсь тебе безупречно чистая. Ты, конечно, не веришь мне, но если бы ты знал, как мне это безразлично!

Ее речь была подобна извержению вулкана. Если бы пробуравить отверстие в склоне Этны, оттуда вырвался бы такой же стремительный поток пламени.

Гуинплен пробормотал:

— Герцогиня…

Она рукой зажала ему рот.

— Молчи! Я смотрю на тебя. Гуинплен, я непорочная распутница. Я девственная вакханка. Я не принадлежала ни одному мужчине и могла бы быть пифией в Дельфах, могла бы обнаженной пятою попирать бронзовый треножник в святилище, где жрецы, облокотись на кожу Пифона, топотом вопрошали невидимое божество. У меня каменное сердце, но оно похоже на те таинственные валуны, которые приносит море к подножию утеса Хентли-Набб, в устье Тисы; если разбить такой камень, внутри найдешь змею. Эта змея — моя любовь. Любовь всесильная, это

она заставила тебя прийти сюда. Нас разделяло неизмеримое пространство. Я была на Сириусе, ты на Аллиофе. Ты преодолел это расстояние, и вот — ты здесь! Как это хорошо! Молчи! Возьми меня!

Она остановилась. Он затрепетал. Она снова улыбнулась.

— Видишь ла, Гуинплен, мечтать — это творить. Желание — призыв. Создать в своем воображении химеру — значит наделить ее жизнью. Страшный, всемогущий мрак запрещает нам взывать к нему напрасно. Он исполнил мою волю. И вот ты здесь. Решусь ли я обесчестить себя? Да. Решусь ли стать твоей любовницей, твоей наложницей, твоей рабой, твоей вещью? Да, с восторгом. Гуинплен, я женщина. Женщина — это глина, жаждущая обратиться в грязь. Мне необходимо презирать себя. Это превосходная приправа к гордости. Низость прекрасно оттеняет величие. Ничто не сочетается так хорошо, как эти две крайности. Презирай же меня, ты, всеми презираемый! Унижаться перед униженным — какое наслаждение? Цветок двойного бесчестья! Я срываю его. Топчи меня ногами! Тем сильнее будет твоя любовь ко мне. Я это знаю по себе. Тебе понятно, почему я боготворю тебя?

Потому что презираю. Ты настолько ниже меня, что я могу возвести тебя на алтарь. Соединить твердь с преисподней — значит создать хаос, а хаос привлекает меня. Хаос всему начало и конец. Что такое хаос? Беспредельная скверна. И из этой скверны Бог создал свет. Вылепи светило из грязи, и это буду я.

Так говорила эта страшная женщина. Халат, распахнувшийся от ее движений, открывал ее девственный стан.

Она продолжала:

— Волчица для всех, я стану твоей собакой. Как все изумятся! Нет ничего приятнее, чем удивлять глупцов. Ведь это совершенно понятно. Кто я? Богиня? Но ведь Амфитрита отдалась Циклопу. Кто я? Фея? Но Ургела приняла к себе на ложе восьмирукого Бугрикса, полумужчину-полуптицу, с перепонками меж пальцев. Кто я? Принцесса? А у Марии Стюарт был Риччо. Три красавицы и три урода. Я превзошла их, ибо ты уродливее их любовников. Гуинплен, мы созданы друг для друга. Ты чудовище лицом, я чудовище душою. Оттого-то я и люблю тебя. Пусть это моя прихоть. А что такое ураган? Ведь он — прихоть ветров. Между нами космическое сходство. И ты и я, мы оба дети мрака: ты — лицом, я — душой. И ты в

свою очередь создаешь меня. Ты пришел, и душа моя раскрылась. Я сама ее не знала. Она поражает меня. Я богиня, но твое приближение пробуждает во мне гидру. Ты открываешь мне мою подлинную природу. Ты помогаешь мне заглянуть в самое себя. Смотри, как я похожа на тебя! Ты можешь смотреться в меня как в зеркало. Твое лицо — моя душа. Я не подозревала, как я ужасна. Значит, и я — тоже чудовище. О Гуинплен, ты почти рассеял мою скуку!

Она залилась странным, каким-то детским смехом, наклонилась к нему и прошептала на ухо:

— Хочешь видеть безумную? Она перед тобой!

Ее пристальный взгляд зачаровывал Гуинплена. Взгляд — это тот же волшебный напиток. Ее халат, распахиваясь, открывал взору Гуинплена страшное своею красотою тело. Слепая, животная страсть охватила Гуинплена. Страсть, в которой была смертельная мука.

Женщина говорила, и слова ее жгли его как огнем. Он чувствовал, что сейчас случится непоправимое. Он не мог произнести — ни слова. Иногда она умолкала и, всматриваясь в него, шептала: «О, чудовище!» В ней было что-то хищное.

Она схватила его за руки.

— Гуинплен, — продолжала она, — я рожде-

на для трона, ты — для подмостков. Станем же рядом. Ах, какое счастье, что я пала так низко! Я хочу, чтобы весь мир узнал о моем позоре. Люди стали бы еще больше преклоняться передо мной, ибо чем сильнее их отвращение, тем больше они пресмыкаются. Таков род людской. Злобные гады. Драконы и вместе с тем черви. О, я безнравственна, как боги! Недаром же я незаконная дочь короля. И я поступаю по-королевски. Кто такая была Родопис? Царица, влюбленная во Фта, мужчину с головою крокодила. В честь его она воздвигла третью пирамиду. Пентесилея полюбила кентавра, носящего имя Стрельца и ставшего впоследствии созвездием. А что ты скажешь об Анне Австрийской? Уж до чего дурен был этот Мазарини! А ты не некрасив, ты безобразен. То, что некрасиво, — мелко, а безобразие величественно! Некрасивое — гримаса дьявола, просвечивающая сквозь красоту. Безобразие — изнанка прекрасного. Это его оборотная сторона. У Олимпа два склона: на одном, залитом светом, мы видим Аполлона, на другом, во мраке, — Полифема. Ты — титан. В лесу ты был бы Бегемотом, в океане — Левиафаном, в клоаке — Тифоном. В твоем уродстве есть нечто грозное. Твое лицо как будто обезображено ударом молнии. Твои черты

исковерканы чьей-то огромной огненной рукой. Она смяла их и исчезла. Кто-то в припадке мрачного безумия заключил твою душу в страшную, нечеловеческую оболочку. Ад — это печь, где накаляют докрасна железо, которое мы называем роком; этим железом ты заклеймен. Любить тебя — значит постигнуть великое. Мне выпало на долю это торжество. Влюбиться в Аполлона! Подумаешь, как это трудно! Мерило нашей славы — удивление, которое мы вызываем. Я люблю тебя. Ты снился мне все ночи! Вот мой дворец. Ты увидишь мои сады. Здесь есть ключи, журчащие в траве, есть гроты, в которых можно предаваться ласкам, есть прекрасные мраморные группы работы кавалера Бернини. А сколько цветов! Их даже слишком много. Розы весною пылают, как пожар. Я, кажется, сказала тебе, что королева — моя сестра. Делай же со мной, что хочешь. Я создана для того, чтобы Юпитер целовал мне ноги, а сатана плевал мне в лицо. Какой ты веры? Я — папистка. Мой отец, Иаков Второй, умер во Франции, окруженный толпою иезуитов. Никогда я еще не переживала того, что испытываю возле тебя. Ах, я хотела бы плыть вечером на золотой галере, под пурпурным навесом, прислонясь рядом с тобой к подушке, наслаждаясь

под звуки музыки бесконечной красотою моря. Оскорбляй меня! Ударь! Плати мне за любовь! Обращайся со мной как с продажной тварью! Я боготворю тебя…

Рычанье может быть голосом любви. Вы сомневаетесь? Посмотрите на львов. Эта женщина была и свирепа и нежна. Трудно представить себе что-либо более трагическое. Она и ранила и ласкала. Она нападала, как кошка, и тотчас же отступала. В этой игре обнажились ее звериные инстинкты. В ее поклонении было нечто вызывающее. Ее безумие заражало. Ее роковые речи звучали невероятно грубо и нежно. Ее оскорбления не оскорбляли. Ее обожание унижало. Ее пощечина возносила на недосягаемую высоту. Ее интонации сообщали безумным, полным страсти словам прометеевское величие. Воспетые Эсхилом празднества в честь великой богини пробуждали в женщинах, искавших сатиров в звездные ночи, такую же темную, эпическую ярость. Подобные пароксизмы страсти сопровождали таинственные пляски, происходившие в лесах Додоны. Эта женщина как бы преображалась, если только преображение возможно для тех, кто отвращается от неба. Ее волосы развевались, как грива, ее халат то запахивался, то раскрывался; ничего

не могло быть прелестнее ее груди, из которой вырывались дикие вопли; лучи ее голубого глаза смешивались с пламенем черного; в ней было что-то нечеловеческое. Гуинплен изнемогал от этой близости и, весь проникнутый ею, чувствовал себя побежденным.

— Люблю тебя! — крикнула она.

И, словно кусая, впилась в его губы поцелуем.

Быть может, Гуинплену и Джозиане вскоре могло понадобиться одно из тех облаков, которыми Гомер иногда окутывал Юпитера и Юнону. Быть любимым женщиной зрячей, видящей его, ощущать на своем обезображенном лице прикосновение ее дивных уст, было для Гуинплена жгучим блаженством. Он чувствовал, что перед этой загадочной женщиной в его душе исчезает образ Деи. Воспоминание о ней, слабо стеная, уже не в силах было бороться с наваждением тьмы. Есть античный барельеф с изображением сфинкса, пожирающего амура; божественное нежное создание истекает кровью, зубы улыбающегося свирепого чудовища раздирают его крылья.

Любил ли Гуинплен эту женщину? Может ли у человека быть, подобно земному шару, два полюса? Неужели мы тоже вращаемся на неподвижной оси и кажемся издали звездой, а вблизи

комом грязи? Не планета ли мы, где день чередуется с ночью? Неужели у сердца две стороны? Одна — любящая при свете, другая — во мраке? Одна — луч, другая — клоака? Ангел необходим человеку, но неужели он не может обойтись без дьявола? Зачем душе крылья летучей мыши? Неужели для каждого наступает роковой сумеречный час? Неужели грех входит, как что-то неотъемлемое, в нашу судьбу, и мы никак не можем без него обойтись? Неужели мы должны принимать зло, лежащее в нашей природе, как нечто, неразрывно связанное со всем нашим существом? Неужели дань греху неизбежна? Глубоко волнующие вопросы.

И, однако, какой-то голос твердит нам, что слабость преступна. Гуинплен переживал невыразимо сложное чувство; в нем одновременно боролись влеченья плоти, жажда жизни, сладострастие, мучительное опьянение и все то чувство стыда, которое содержится в гордости. Неужели он поддастся искушению?

Она повторила:

— Люблю тебя!

И в каком-то исступлении прижала его к своей груди.

Гуинплен задыхался.

Вдруг совсем близко от них раздался громкий и пронзительный звонок. Это звенел колокольчик, вделанный в стену. Герцогиня повернула голову и сказала:

— Что ей нужно от меня?

И внезапно, подобно отброшенной тугой пружиной крышке люка, в стене со стуком отворилась серебряная дверца, украшенная королевской короной.

Показались внутренние стенки, обтянутые голубым бархатом; в ней на золотом подносе лежало письмо.

Объемистый квадратный конверт был положен с таким расчетом, чтобы в глаза сразу бросилась крупная печать из алого сургуча. Колокольчик продолжал звенеть.

Открытая дверца почти касалась кушетки, на которой сидели Джозиана и Гуинплен. Все еще одной рукой обнимая Гуинплена, герцогиня наклонилась, взяла письмо и захлопнула дверцу. Отверстие закрылось, и колокольчик умолк.

Герцогиня сломала печать, разорвала конверт, вынула из него два листа и бросила конверт на пол к ногам Гуинплена.

Печать надломилась таким образом, что Гуинплен мог рассмотреть королевскую корону и под

нею букву «А». На другой стороне конверта стояла надпись: «Ее светлости герцогине Джозиане».

Джозиана вынула из него большой лист пергамента и маленькую записку на веленевой бумаге. На пергаменте стояла зеленая канцелярская печать больших размеров, свидетельствовавшая о том, что документ относится к знатной особе. Герцогиня, все еще в упоении восторга, затуманившего ее глаза, сделала еле заметную недовольную гримасу.

— Ах, что это она мне опять посылает? — сказала она. — Бумаги! Какая надоедливая женщина!

И, отложив в сторону пергамент, она развернула записку.

— Ее почерк. Почерк моей сестры. Как мне это наскучило! Гуинплен, я уже спрашивала тебя: умеешь ты читать? Умеешь?

Гуинплен утвердительно кивнул головой.

Она растянулась на кушетке, со странной стыдливостью спрятала ноги под халат, опустила широкие рукава, оставив, однако, открытой грудь, и, обжигая Гуинплена страстным взглядом, протянула ему листок веленевой бумаги.

— Ну вот, Гуинплен, ты — мой теперь. Начни же свою службу. Мой возлюбленный, прочти, что пишет мне королева.

Гуинплен взял письмо, развернул и стал читать голосом, дрожащим от самых разнообразных чувств:

«Герцогиня!

Всемилостивейше посылаем вам прилагаемую при сем копию протокола, заверенную и подписанную нашим слугою Вильямом Коупером, лорд-канцлером королевства Англии, из какового протокола выясняется весьма примечательное обстоятельство, а именно, что законный сын лорда Кленчарли, известный до сих пор под именем Гуинплена и ведший низкий, бродячий образ жизни в среде странствующих фигляров и скоморохов, ныне разыскан, и личность его установлена. Всех принадлежащих ему прав состояния он лишился в самом раннем возрасте. Согласно законам королевства и в силу своих наследственных прав, лорд Фермен Кленчарли, сын лорда Линнея, будет сегодня же восстановлен в своем звании и введен в палату лордов. А посему, желая выразить вам нашу благосклонность и сохранить за вами право владения переданными вам поместьями и земельными угодьями лордов Кленчарли-Генкервиллей, мы предназначаем его вам в женихи взамен лорда Дэвида Дерри-Мойр. Мы распорядились доставить лорда Фермена

в вашу резиденцию Корлеоне-Лодж; мы приказываем и, как сестра и королева, изъявляем желание, чтобы лорд Фермен Кленчарли, до сего времени носивший имя Гуинплена, вступил с вами в брак и стал вашим мужем. Такова наша королевская воля».

Пока Гуинплен читал — голосом, изменявшимся почти при каждом слове, — герцогиня, приподнявшись с подушки, слушала, не сводя с него глаз. Когда он кончил, она вырвала у него из рук письмо.

— «Анна, королева», — задумчиво произнесла она, взглянув на подпись.

Подобрав с полу пергамент, она быстро пробежала его. Это была засвидетельствованная саутворкским шерифом и лорд-канцлером копия признаний компрачикосов, погибших на «Матутине».

Она еще раз перечла письмо королевы. Затем сна сказала:

— Хорошо.

И совершенно спокойно, указывая Гуинплену на портьеру, отделявшую их от галереи, она проговорила:

— Выйдите отсюда.

Окаменевший Гуинплен не трогался с места.

Ледяным тоном она повторила:

— Раз вы мой муж — уходите.

Гуинплен, опустив глаза, словно виноватый, не вымолвил ни слова и не пошевельнулся.

Она прибавила:

— Вы не имеете права оставаться здесь. Это место моего любовника.

Гуинплен сидел как пригвожденный.

— Хорошо, — сказала она, — в таком случае уйду я. Так вы мой муж? Превосходно! Я ненавижу вас.

Она встала и, сделав в пространство высокомерный прощальный жест, вышла из комнаты.

Портьера галереи опустилась за ней.

5. Узнают друг друга, оставаясь неузнанными

Гуинплен остался один.

Один перед теплой ванной и неубранной постелью.

В голове его царил полный хаос. То, что возникало в его сознании, даже не было похоже на мысли. Это было нечто расплывчатое, бессвязное, непонятное и мучительное. Перед его взором проносились рой за роем леденящие душу образы.

Вступление в неведомый мир дается не так-то легко.

Начиная с письма герцогини, принесенного грумом, на Гуинплена одно за другим обрушилось столько неожиданных событий, час от часу непостижимее. До этой минуты он словно спал, но все видел ясно. Теперь, так и не придя в себя, он вынужден был брести ощупью.

Он не размышлял. Он даже не думал. Он просто подчинялся течению событий.

Он продолжал сидеть на кушетке, на том самом месте, где его оставила герцогиня.

Вдруг в глубокой тишине раздались чьи-то шаги. Шаги мужчины. Они приближались со стороны, противоположной галерее, куда скрылась герцогиня. Они звучали глухо, но отчетливо. Как ни был поглощен Гуинплен всем происшедшим, он насторожился.

За откинутым герцогиней серебристым занавесом, позади кровати, в стене внезапно распахнулась замаскированная расписным зеркалом дверь, и веселый мужской голос огласил зеркальную комнату припевом старинной французской песенки:

Три поросенка, развалясь в грязи,

Как старые носильщики ругались.

Вошел мужчина в расшитом золотом морском мундире.

Он был при шпаге и держал в руке украшенную перьями шляпу с кокардой.

Гуинплен вскочил, словно его подбросило пружиной.

Он узнал вошедшего, и тот, узнал его.

Из их уст одновременно вырвался крик:

— Гуинплен!

— Том-Джим-Джек!

Человек со шляпой, украшенной перьями, подошел к Гуинплену, который скрестил руки на груди.

— Как ты здесь очутился, Гуинплен?

— А ты как попал сюда, Том-Джим-Джек?

— Ах, я понимаю! Каприз Джозианы. Фигляр, да еще урод впридачу. Слишком соблазнительное для нее существо, она не могла устоять. Ты переоделся, чтобы прийти сюда, Гуинплен?

— И ты тоже, Том-Джим-Джек?

— Гуинплен, что означает это платье вельможи?

— А что означает этот офицерский мундир, Том-Джим-Джек?

— Я не отвечаю на вопросы, Гуинплен.

— Я тоже, Том-Джим-Джек.

— Гуинплен, мое имя не Том-Джим-Джек.

— Том-Джим-Джек, мое имя не Гуинплен.

— Гуинплен, я здесь у себя дома.

— Том-Джим-Джек, я здесь у себя дома.

— Я запрещаю тебе повторять мои слова. Ты не лишен иронии, но у меня есть трость. Довольно передразнивать меня, жалкий шут!

Гуинплен побледнел.

— Сам ты шут! Ты ответишь мне за это оскорбление.

— В твоем балагане, на кулаках, — сколько угодно.

— Нет, здесь, и на шпагах.

— Шпага, мой любезный, — оружие джентльменов. Я дерусь только с равными. Одно дело рукопашная, тут мы равны, шпага же — дело совсем другое. В Тедкастерской гостинице Том-Джим-Джек может боксировать с Гуинпленом. В Виндзоре же об этом не может быть и речи. Знай: я — контр-адмирал.

— А я — пэр Англии.

Человек, которого Гуинплен до сих пор считал Том-Джим-Джеком, громко расхохотался.

— Почему же не король? Впрочем, ты прав. Скоморох может исполнять любую роль. Скажи

уж прямо, что ты Тезей, сын афинского царя.

— Я пэр Англии, и мы будем драться.

— Гуинплен, мне это надоело. Не шути с тем, кто может приказать высечь тебя. Я — лорд Дэвид Дерри-Мойр.

— А я — лорд Кленчарли.

Лорд Дэвид вторично расхохотался.

— Ловко придумано! Гуинплен — лорд Кленчарли! Это как раз то имя, которое необходимо, чтобы обладать Джозианой. Так и быть, я тебе прощаю. А знаешь почему? Потому что мы оба ее возлюбленные.

Портьера, отделявшая их от галереи, раздвинулась, и чей-то голос произнес:

— Вы оба, милорды, ее мужья.

Оба обернулись.

— Баркильфедро! — воскликнул лорд Дэвид.

Это был действительно Баркильфедро.

Улыбаясь, он низко кланялся обоим лордам.

В нескольких шагах позади него стоял дворянин с почтительным, строгим выражением лица; в руках у незнакомца был черный жезл.

Незнакомец подошел к Гуинплену, трижды отвесил ему низкий поклон и сказал:

— Милорд, я пристав черного жезла. Я явился за вашей светлостью по приказанию Ее Вели-

чества.

Часть восьмая
Капитолий и его окрестности
1. Торжественная церемония во всех ее подробностях

Та ошеломляющая сила, которая привела Гуинплена в Виндзор и в течение уже стольких часов возносила все выше и выше, теперь снова перенесла его в Лондон.

Непрерывной чередой промелькнули перед ним все эти фантастические события.

Уйти от них было невозможно. Едва завершалось одно, как на смену ему являлось другое.

Он не успевал даже перевести дыхание.

Кто видел жонглера, тот воочию видел человеческую судьбу. Эти шары, падающие, взлетающие вверх и снова падающие, — не образ ли то людей в руках судьбы? Она так же бросает их. Она так же ими играет.

Вечером того же дня Гуинплен очутился в необычайном месте.

Он восседал на скамье, украшенной геральдическими лилиями. Поверх его атласного, шитого

золотом кафтана была накинута бархатная пурпурная мантия, подбитая белым шелком и отороченная горностаем, с горностаевыми же наплечниками, обшитыми золотым галуном. Вокруг него были люди разного возраста, молодые и старые. Они восседали так же, как и он, на скамьях с геральдическими лилиями и так же, как и он, были одеты в пурпур и горностай.

Прямо перед собой он видел других людей. Эти стояли на коленях, мантии их были из черного шелка. Некоторые из них что-то писали.

Напротив себя, немного поодаль, он видел ступени, которые вели к помосту, крытому алым бархатом, балдахин, широкий сверкающий щит, поддерживаемый львом и единорогом, а под балдахином, на помосте, прислоненное к щиту позолоченное, увенчанное короной кресло. Это был трон.

Трон Великобритании.

Гуинплен, ставший пэром, находился в палате лордов Англии.

Каким же образом произошло это введение Гуинплена в палату лордов? Сейчас расскажем.

Весь этот день, с утра до вечера, от Виндзора до Лондона, от Корлеоне-Лоджа до Вестминстерского дворца был днем его восхождения со ступени

на ступень. И на каждой ступени его ждало новое головокружительное событие.

Его увезли из Виндзора в экипаже королевы в сопровождении свиты, подобающей пэру. Почетный конвой очень напоминает стражу, охраняющую узника.

В этот день обитатели домов, расположенных вдоль дороги из Виндзора в Лондон, видели, как пронесся вскачь отряд личного Ее Величества конвоя, сопровождавший две стремительно мчавшиеся коляски. В первой из них сидел пристав с черным жезлом в руке. Во второй можно было разглядеть только широкополую шляпу с белыми перьями, бросавшую густую тень на лицо сидевшего в коляске человека. Кто это был? Принц или узник?

Это был Гуинплен.

Судя по всем признакам, кого-то везли не то в лондонский Тауэр, не то в палату лордов.

Королева устроила все как подобает. Для сопровождения будущего мужа своей сестры она дала людей из собственного своего конвоя.

Во главе кортежа скакал верхом помощник пристава черного жезла.

На откидной скамейке против пристава лежала серебряная парчовая подушка, а на ней черный

портфель с изображением королевской короны.

В Брайтфорде, на последней станции перед Лондоном, обе коляски и конвой остановились.

Здесь их уже дожидалась карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, с четырьмя лакеями на запятках, двумя форейторами впереди и кучером в парике. Колеса, подножки, дышло, ремни, поддерживающие кузов кареты, были позолочены. Кони были в серебряной сбруе.

Этот парадный экипаж, сделанный по совершенно особому рисунку, был так великолепен, что, несомненно, мог бы занять место в числе тех пятидесяти знаменитых карет, изображения которых оставил нам Рубо.

Пристав черного жезла вышел из экипажа, его помощник соскочил с лошади.

Помощник пристава черного жезла снял со скамеечки дорожной кареты парчовую подушку, на которой лежал портфель, украшенный изображением короны, и, взяв ее в обе руки, стал позади пристава.

Пристав черного жезла отворил дверцы пустой кареты, затем дверцы коляски, в которой сидел Гуинплен, и, почтительно склонив голову, предложил Гуинплену пересесть в парадный экипаж.

Гуинплен вышел из коляски и сел в карету.

Пристав с жезлом и его помощник с подушкой последовали за ним и уселись на низкой откидной скамеечке, на которой в старинных парадных экипажах обыкновенно помещались пажи.

Внутри карета была обтянута белым атласом, отделанным беншским кружевом, серебряными позументами и кистями. Потолок был украшен гербами.

Форейторы, сопровождавшие дорожные экипажи, были одеты в придворные ливреи. Кучер, форейторы и лакеи парадного экипажа были в великолепных ливреях уже другого образца.

Сквозь то полусознательное состояние, в котором он находился, Гуинплен все же обратил внимание на эту пышно разодетую челядь и спросил пристава черного жезла:

— Чьи это слуги?

Пристав черного жезла ответил:

— Ваши, милорд.

В этот день палата лордов должна была заседать вечером. Curia erat serena[262], отмечают старинные протоколы. В Англии парламент охотно ведет ночной образ жизни. Известно, что

---

[262] Сноски: 262
Заседание происходило вечером (*лат.*).

Шеридану однажды пришлось начать речь в полночь и закончить ее на заре.

Оба дорожных экипажа вернулись в Виндзор пустыми; карета, в которую пересел Гуинплен, направилась в Лондон. Эта карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, двинулась из Брайтфорда в Лондон шагом, как это полагалось карете, управляемой кучером в парике. В лице этого исполненного важности кучера церемониал вступил в свои права и завладел Гуинпленом.

Впрочем, медлительность переезда, судя по всему, преследовала определенную цель. В дальнейшем мы увидим какую.

Еще не наступила ночь, но было уже довольно поздно, когда карета с черепаховыми инкрустациями остановилась перед Королевскими воротами — тяжелыми низкими воротами между двумя башнями, служившими сообщением между Уайт-Холлом и Вестминстером.

Конвой живописной группой окружил карету.

Один из лакеев, соскочив с запяток, отворил дверцы.

Пристав черного жезла в сопровождении помощника, несшего подушку, вышел из кареты и обратился к Гуинплену:

— Благоволите выйти, милорд. Не снимайте, ваша милость, шляпы.

Под дорожным плащом на Гуинплене был надет атласный кафтан, в который его переодели накануне. Шпаги при нем не было.

Плащ он оставил в карете.

Под аркой Королевских ворот, служившей въездом для экипажей, находилась боковая дверь, к которой вело несколько ступенек.

Церемониал требует, чтобы лицу, которому оказывается почет, предшествовала свита.

Пристав черного жезла, сопровождаемый помощником, шел впереди.

Гуинплен следовал за ними.

Они поднялись по ступенькам, вошли в боковую дверь и спустя несколько мгновений очутились в просторном круглом зале с массивной колонной посредине.

Зал помещался в первом этаже башни и был освещен очень узкими стрельчатыми окнами; должно быть, здесь и в полдень царил полумрак. Недостаток света иногда усугубляет торжественность обстановки. Полумрак величественен.

В комнате стояли тринадцать человек: трое впереди, шестеро во втором ряду и четверо позади.

На одном из стоявших впереди был камзол алого бархата, на двух остальных тоже алые камзолы, но атласные. У каждого из этих троих был вышит на плече английский герб.

Шесть человек, составлявшие второй ряд, были в далматиках белого муара; на груди у каждого из них красовался свой особый герб.

Четверо последних, одетых в черный муар, отличались друг от друга какой-нибудь особенностью в одежде: на первом был голубой плащ, у второго — пунцовое изображение святого Георгия на груди, у третьего — два вышитых малиновых креста на спине и на груди, на четвертом — черный меховой воротник. Все были в париках, без шляп и при шпагах.

В полумраке их лица трудно было различить. Они также не могли видеть лица Гуинплена.

Пристав поднял свой черный жезл и произнес:

— Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл! Я, пристав черного жезла, первое должностное лицо в приемной Ее Величества, передаю вашу светлость кавалеру ордена Подвязки, герольдмейстеру Англии.

Человек в алом бархатном камзоле выступил вперед, поклонился Гуинплену до земли и сказал:

— Милорд Фермен Кленчарли, я — кавалер ордена Подвязки, первый герольдмейстер Англии. Я получил свое звание от его светлости герцога Норфолка, наследственного графа-маршала. Я присягал королю, пэрам и кавалерам ордена Подвязки. В день моего посвящения, когда граф-маршал Англии оросил мне голову вином из кубка, я торжественно обещался служить дворянству, избегать общества людей, пользующихся дурной славой, чаще оправдывать, чем обвинять людей знатных и оказывать помощь вдовам и девицам. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон пэров и охранять их гербы. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.

Первый из двух одетых в атласные камзолы отвесил низкий поклон и сказал:

— Милорд, я — Кларенс, второй герольдмейстер Англии. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон дворян, не имеющих пэрского титула. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.

Затем выступил второй, поклонился и сказал:

— Милорд, я — Норрой, третий герольдмейстер Англии. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.

Шесть человек, составлявшие второй ряд, не кланяясь, сделали шаг вперед.

Первый, направо от Гуинплена, сказал:

— Милорд, мы — шесть герольдов Англии. Я — Йорк.

Затем каждый из герольдов по очереди назвал себя:

— Я — Ланкастер.

— Я — Ричмонд.

— Я — Честер.

— Я — Сомерсет.

— Я — Виндзор.

На груди у каждого из них был вышит герб того графства или города, по названию которого он именовался.

Четверо последних, одетые в черное и стоявшие позади герольдов, хранили молчание.

Герольдмейстер, кавалер ордена Подвязки, указал на них Гуинплену и представил:

— Милорд, вот четверо оруженосцев. — Голубая Мантия.

Человек в голубом плаще поклонился.

— Красный Дракон.

Человек с изображением святого Георгия на груди поклонился.

— Красный Крест.

Человек с красным крестом поклонился.

— Страж Решетки.

Человек в меховом воротнике поклонился.

По знаку герольдмейстера подошел первый из оруженосцев, Голубая Мантия, и взял из рук помощника пристава парчовую подушку с портфелем, украшенным короной.

Герольдмейстер обратился к приставу черного жезла:

— Да будет так. Честь имею сообщить вам, что принял от вас его милость.

Вся эта процедура, а также, и некоторые другие, которые будут описаны дальше, входили в состав старинного церемониала, установленного еще до Генриха VIII; королева Анна одно время пыталась возродить эти обычаи. В наши дни все они отжили свой век. Тем не менее палата лордов и поныне считает себя чем-то вечным, и если где-нибудь на свете существует что-либо не изменяющееся, то именно в ней.

А все же и она подвержена переменам. E pur si muove[263].

Куда, например, девалась may pole (майская мачта), которую город Лондон водружал на пути

---

[263] Сноски: 263

А все-таки она движется (*итал.*).

шествия пэров в парламент? В последний раз она была воздвигнута в 1713 году. С тех пор о ней уже ничего не слыхать. Она вышла из употребления.

Многое представляется внешне незыблемым, в действительности же все меняется. Возьмем, например, титул герцогов Олбемарлей. Он кажется вечным, а между тем он последовательно переходил к шести фамилиям: Одо, Мендвилям, Бетюнам, Плантагенетам, Бошанам и Монкам. Титул герцога Лестера тоже принадлежал поочередно пяти фамилиям: Бомонтам, Брюзам, Дадлеям, Сиднеям и Кокам. Титул Линкольна носили шесть фамилий. Титул графа Пемброка — семь и т. д. Фамилии изменяются, титулы остаются неизменными. Историк, который подходит к явлениям поверхностно, верит в их незыблемость. В сущности же на свете нет ничего устойчивого. Человек — это только волна. Человечество — это море.

Аристократия гордится именно тем, что женщина считает для себя унизительным: своею старостью; однако и женщина и аристократия питают одну и ту же иллюзию — обе уверены, что хорошо сохранились.

Нынешняя палата лордов, возможно, не пожелает узнать себя в описанной нами картине и

в том, что нами будет описано далее: так давно отцветшая красавица не хочет видеть в зеркале своих морщин. Виноватым всегда оказывается зеркало, но оно привыкло к обвинениям.

Правдиво рисовать прошлое — вот долг историка.

Герольдмейстер обратился к Гуинплену:

— Благоволите следовать за мной, милорд.

Он прибавил:

— Вам будут кланяться. Вы же, ваша милость, приподымайте только край шляпы.

Вся процессия направилась к двери, находившейся в глубине круглого зала.

Впереди шел пристав черного жезла.

За ним, с подушкой в руках, — Голубая Мантия; далее — первый герольдмейстер и, наконец, Гуинплен в шляпе.

Прочие герольдмейстеры, герольды и оруженосцы остались в круглом зале.

Гуинплен, предшествуемый приставом черного жезла и руководимый герольдмейстером, прошел анфиладу зал, ныне уже не существующих, ибо старое здание английского парламента давно разрушено.

Между прочим, он прошел и через ту готическую палату, где произошло последнее свидание

Иакова II с герцогом Монмутом, палату, где малодушный племянник тщетно склонил колени перед жестоким дядей. На стенах этой палаты были развешаны, в хронологическом порядке, с подписями имен и изображениями гербов, портреты во весь рост девяти представителей древнейших пэрских родов: лорда Нансладрона (1305 год), лорда Белиола (1306 год), лорда Бенестида (1314 год), лорда Кентилупа (1356 год), лорда Монтбегона (1357 год), лорда Тайботота (1372 год), лорда Зуча Коднорского (1615 год), лорда Белла-Аква — без даты и лорда Харрен-Серрея, графа Блуа — без даты.

Так как уже стемнело, в галереях на некотором расстоянии друг от друга были зажжены лампы. В залах, тонувших в полумраке, как церковные притворы, горели свечи в медных люстрах.

По пути встречались одни только должностные лица.

В одной из комнат стояли, почтительно склонив головы, четыре клерка государственной печати и клерк государственных бумаг.

В другой находился достопочтенный Филипп Сайденгем, кавалер Знамени, владетель Браймптона в Сомерсете. Кавалеры Знамени получали это звание во время войны от самого короля под

развернутым королевским знаменем.

В следующем зале они увидели древнейшего баронета Англии сэра Эдмунда Бэкона из Сэффолка, наследника сэра Николаев, носившего титул primus baronetorum Angliae[264]. За сэром Эдмундом стоял его оруженосец с пищалью и конюший с гербом Олстера, так как носители этого титула были наследственными защитниками графства Олстер в Ирландии.

В четвертом зале их ожидал канцлер казначейства с четырьмя казначеями и двумя депутатами лорд-камергера, на обязанности которых лежала раскладка податей. Тут же находился начальник монетного двора: он держал на ладони золотую монету в один фунт стерлингов, вычеканенную при помощи специального штампа. Все восемь человек низко поклонились новому лорду.

При входе в коридор, устланный циновками и служивший для сообщения палаты общин с палатой лордов, Гуинплена приветствовал сэр Томас Мансель Маргем, контролер двора Ее Величества и член парламента от Глеморгана. При выходе его встретила депутация баронов Пяти Портов, выстроившихся по четыре человека с каждой

[264] Сноски: 264
Первого баронета Англии (*лат.*).

стороны, ибо портов было не пять, а восемь. Вильям Ашбернгем приветствовал его от Гастингса, Мэтью Эйлмор — от Дувра, Джозиа Берчет — от Сандвича, сэр Филипп Ботлер — от Гайта, Джон Брюэр — от Нью-Ремнея, Эдуард Саутвелл — от города Рея, Джемс Хейс — от города Уинчелси и Джордж Нейлор — от города Сифорда.

Гуинплен хотел было поклониться в ответ на приветствия, но первый герольдмейстер шепотом напомнил ему правила этикета:

— Приподымите только край шляпы, милорд.

Гуинплен последовал его указанию.

Наконец он вступил в «расписной зал», где, впрочем, не было никакой живописи, если не считать нескольких изображений святых, в том числе изображение святого Эдуарда, в высоких нишах стрельчатых окон, разделенных настилом пола таким образом, что нижняя часть окон находилась в Вестминстер-Холле, а верхняя — в «расписном зале».

Зал был перегорожен деревянной балюстрадой, за которой стояли три важные особы, три государственных секретаря. Первый из них ведал югом Англии, Ирландией и колониями, а также сношениями с Францией, Швейцарией, Италией, Испанией, Португалией и Турцией. Второй

управлял севером Англии и ведал сношениями с Нидерландами, Германией, Швецией, Польшей и Московией. Третий, родом шотландец, ведал делами Шотландии. Первые два были англичане. Одним из них являлся достопочтенный Роберт Гарлей, член парламента от города Нью-Реднора. Тут же находился шотландский депутат. Мунго Грехэм, эсквайр, родственник герцога Монтроза. Все они молча поклонились Гуинплену.

Гуинплен дотронулся до края своей шляпы.

Служитель откинул подвижную часть барьера, укрепленную на петлях, и открыл доступ в заднюю часть «расписного зала», где стоял длинный накрытый зеленым сукном стол, предназначенный только для лордов.

На столе горел канделябр.

Предшествуемый приставом черного жезла. Голубой Мантией и кавалером ордена Подвязки, Гуинплен вступил в это святилище.

Служитель закрыл за Гуинпленом барьер.

Очутившись за барьером, герольдмейстер остановился.

«Расписной зал» был очень большим.

В глубине его, под королевским щитом, помещавшимся между двумя окнами, стояли два старика в красных бархатных мантиях, с окайм-

ленными золотым галуном горностаевыми наплечниками и в шляпах с белыми перьями поверх париков. Из-под мантий видны были шелковые камзолы и рукояти шпаг.

Позади этих двух стариков неподвижно стоял человек в черной муаровой мантии; в высоко поднятой руке он держал огромную золотую булаву с литым изображением льва, увенчанного короной.

Это был булавоносец пэров Англии.

Лев — их эмблема. «А львы — это бароны и пэры» — гласит хроника Бертрана Дюгесклена.

Герольдмейстер указал Гуинплену на людей в бархатных мантиях и шепнул ему на ухо:

— Милорд, это — равные вам. Поклонитесь им так же, как они поклонятся вам. Оба эти вельможи — бароны, и лорд-канцлер назначил их вашими восприемниками. Они очень стары и почти слепы. Это они введут вас в палату лордов. Первый из них — Чарльз Милдмей, лорд Фицуолтер, занимающий шестое место на скамье баронов, второй — Август Эрандел, лорд Эрандел-Трерайс, занимающий на той же скамье тридцать восьмое место.

Герольдмейстер, сделав шаг вперед по направлению к обоим старикам, возвысил голос:

— Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский приветствует ваши милости.

Оба лорда как можно выше приподняли шляпы над головами, затем снова покрыли головы.

Гуинплен приветствовал их таким же образом.

Затем выступил вперед пристав черного жезла, потом Голубая Мантия, за ним кавалер ордена Подвязки.

Булавоносец подошел к Гуинплену и стал перед ним, лорды поместились по обе стороны от него: лорд Фицуолтер — по правую руку, а лорд Эрандел-Трерайс — по левую. Лорд Эрандел, старший из двух, был очень дряхл на вид. Он умер год спустя, завещав свое пэрство несовершеннолетнему внуку Джону, но все же его род прекратился в 1768 году.

Шествие вышло из «расписного зала» и направилось в галерею с колоннами; у каждой колонны стояли на часах попеременно английские бердышники или шотландские алебардщики.

Шотландские алебардщики, ходившие с обнаженными коленями, были великолепным войском, позднее, при Фонтенуа, сражавшимся с французской кавалерией и с теми королевскими кирасирами, к которым их полковник обращался

перед сражением с такими словами: «Господа, наденьте плотнее ваши головные уборы, мы будем иметь честь пойти в атаку».

Командиры бердышников и алебардщиков отсалютовали Гуинплену и обоим лордам-восприемникам шпагой. Солдаты взяли на караул бердышами и алебардами.

В глубине галереи отливала металлическим блеском огромная дверь, столь роскошная, что створки ее казались двумя золотыми плитами.

По обе стороны двери стояли неподвижно два человека. По ливреям в них можно было узнать так называемых door-keepers — привратников.

Немного не доходя до дверей, галерея расширялась, образуя застекленную ротонду.

Здесь в громадном кресле восседала чрезвычайно важная особа, если судить по размерам ее мантии и парика. Это был Вильям Коупер, лорд-канцлер Англии.

Весьма полезно обладать каким-нибудь физическим недостатком в еще большей степени, чем монарх. Вильям Коупер был близорук, Анна тоже, но меньше, чем он. Слабое зрение Вильяма Коупера понравилось близорукости Ее Величества и побудило королеву назначить его канцлером и блюстителем королевской совести.

Верхняя губа Вильяма Коупера была тоньше нижней — признак некоторой доброты.

Ротонда освещалась спускавшейся с потолка лампой.

По правую руку лорд-канцлера, величественно восседавшего в высоком кресле, сидел за столом коронный клерк, по левую, за другим столом, — клерк парламентский.

Перед каждым из них лежала развернутая актовая книга и находился письменный прибор.

Позади кресла лорд-канцлера стоял его булавоносец, державший булаву с короной, и два чина, на обязанности которых лежало носить его шлейф и кошель, — оба в огромных париках. Все эти должности существуют и поныне.

Подле кресла на маленьком столике лежала шпага в ножнах, с золотой рукоятью и с бархатной портупеей огненно-красного цвета.

Позади коронного клерка стоял чиновник, держа обеими руками наготове развернутую мантию, предназначенную для церемонии.

Второй чиновник, стоявший позади парламентского клерка, держал таким же образом другую мантию, в которой Гуинплену предстояло заседать.

Обе эти мантии из красного бархата, подбитые

белым атласом, с горностаевыми наплечниками, отороченными золотым галуном, были почти одинаковы, с той лишь разницей, что на церемониальной мантии горностаевые нашивки были шире.

Третий чиновник, так называемый librarian[265], держал на четырехугольном подносе из фландрской кожи маленькую книжку в красном сафьяновом переплете, заключавшую в себе список пэров и представителей палаты общин; кроме того, на подносе лежали листки чистой бумаги и карандаш, которые вручались обычно каждому новому члену парламента.

Шествие, которое замыкал Гуинплен, сопровождаемый двумя пэрами-восприемниками, остановилось перед креслом лорд-канцлера.

Лорды-восприемники сняли шляпы. Гуинплен последовал их примеру.

Герольдмейстер, взяв из рук Голубой Мантии парчовую подушку с черным портфелем, поднес ее лорд-канцлеру.

Лорд-канцлер взял портфель и передал его парламентскому клерку. Тот принял портфель с подобающей торжественностью, затем, вернув-

---

[265] Сноски: 265
Библиотекарь (*англ.*).

шись на свое место, раскрыл его.

Портфель, согласно обычаю, содержал два документа: королевский указ палате лордов и предписание новому пэру заседать в парламенте.

Клерк встал и громко, с почтительной медленностью прочел обе бумаги.

Предписание лорду Фермену Кленчарли оканчивалось обычной формулой: «Предписываем вам во имя верности и преданности, коими вы нам обязаны, занять лично принадлежащее вам место среди прелатов и пэров, заседающих в нашем парламенте в Вестминстере, дабы по чести и совести подавать ваше мнение о делах королевства и церкви».

Когда чтение обеих бумаг было окончено, лорд-канцлер возгласил:

— Воля Ее Величества объявлена. Лорд Фермен Кленчарли, отрекается ли ваша милость от догмата пресуществления, от поклонения святым и от мессы?

Гуинплен наклонил голову в знак согласия.

— Отречение состоялось, — сказал лорд-канцлер.

Парламентский клерк подтвердил:

— Его милость принес присягу.

Лорд-канцлер прибавил:

— Милорд Фермен Кленчарли, вы можете заседать в парламенте.

— Да будет так, — произнесли оба восприемника.

Герольдмейстер поднялся, взял со столика шпагу и надел ее на Гуинплена.

«После сего, — говорится в старинных нормандских хартиях, — пэр берет свою шпагу, занимает свое высокое место и присутствует на заседании».

Гуинплен услыхал позади себя голос:

— Облачаю вашу светлость в парламентскую мантию.

С этими словами говоривший накинул на него мантию и завязал на шее черные шелковые ленты горностаевого воротника.

Теперь, в пурпурной мантии, со шпагой на боку, Гуинплен ничем не отличался от лордов, стоявших направо и налево от него.

«Библиотекарь» взял с подноса красную книгу и положил ее Гуинплену в карман его кафтана.

Герольд шепнул ему на ухо:

— Милорд, при входе поклонитесь королевскому креслу.

Королевское кресло — это трон.

Между тем оба клерка, каждый сидя за своим столом, что-то вписывали, один в актовую книгу короны, другой — в парламентскую актовую книгу.

Потом они по очереди, сперва королевский клерк, а за ним парламентский, поднесли на подпись свои книги лорд-канцлеру.

Скрепив обе записи своей подписью, лорд-канцлер встал и обратился к Гуинплену:

— Лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, приветствую вас среди равных вам духовных и светских лордов Великобритания.

Восприемники Гуинплена дотронулись до его плеча. Он обернулся.

Высокие золоченые двери в глубине галереи распахнулись настежь.

Это были двери английской палаты лордов.

Не прошло и тридцати шести часов с той самой минуты, как перед Гуинпленом, окруженным совсем другого рода свитой, растворилась железная дверь Саутворкской тюрьмы.

Все эти события пронеслись над его головой быстрее стремительно бегущих облаков. Они точно штурмовали его.

2. Беспристрастие

Провозглашение пэрского сословия равным королю было фикцией, но фикцией, принесшей в те варварские времена известную пользу. Эта незамысловатая политическая уловка привела во Франции и в Англии к совершенно разным последствиям. Во Франции пэр был только мнимым королем; в Англии же он был подлинным властелином. В Англии у него было, пожалуй, меньше величия, чем во Франции, но больше настоящей власти. Можно было сказать: «меньше, да зловреднее».

Пэрство родилось во Франции. В какую эпоху оно возникло, неизвестно; по преданию — при Карле Великом; согласно данным истории — при Роберте Мудром. Но история ничуть не достовернее устных преданий. Фавен пишет: «Французский король хотел привлечь к себе вельмож своего государства, награждая их пышным титулом пэра, коим как бы признавал, их равными себе».

Пэрство вскоре разветвилось и перешло из Франции в Англию.

Учреждение английского пэрства явилось

крупным событием и имело важное значение. Ему предшествовал саксонский wittenagemot. Датский тан и нормандский вавасор слились в бароне. Слово «барон» означает то же самое, что латинское vir и испанское varon, то есть «муж». Начиная с 1075 года, бароны дают чувствовать свою власть королям. И каким королям! — Вильгельму Завоевателю! В 1086 году они кладут основание феодализму «Книгою страшного суда», «Doomsday book». При Иоанне Безземельном происходит столкновение: французская аристократия относится свысока к Великобритании и к ее монарху, и французские пэры вызывают к себе на суд английского короля. Английские бароны негодуют. При короновании Филиппа-Августа английский король в качестве герцога нормандского несет первое четырехугольное знамя, а герцог Гиеннский — второе. Против этого короля, вассала чужестранцев, вспыхивает «война вельмож». Бароны заставляют безвольного Иоанна подписать «Великую хартию», породившую палату лордов. Папа становится на сторону короля и отлучает лордов от церкви. Дело происходит в 1215 году, при папе Иннокентии III, который

написал гимн «Veni sancte Spiritus»[266] и прислал королю Иоанну Безземельному четыре золотых кольца, знаменовавших собой четыре основных христианских добродетели. Лорды упорствуют. Начинается долгий поединок, которому суждено было длиться несколько поколений. Пемброк борется. В 1248 году издаются «Оксфордские постановления». Двадцать четыре барона ограничивают королевскую власть, оспаривают ее решения и привлекают к участию в разгоревшейся распре по одному дворянину от каждого графства — зарождение палаты общин. Позднее лорды стали призывать в качестве помощников по два человека от каждого города и по два — от каждого местечка. В результате этого вплоть до царствования Елизаветы пэры держали в своих руках выборы в палату общин. Их юрисдикция породила изречение: «Депутаты должны избираться без трех “Р”: sine Prece, sine Pretio, sine Poculo»[267]. Это, однако, не помешало подкупам в некоторых общинах. Еще в 1293 году французские пэры считали подсудным себе короля Англии, и Филипп Красивый требовал к ответу Эдуарда I.

---

[266] Сноски: 266
Приди, дух святой (*лат.*).

[267] Сноски: 267
Без просьбы, без подкупа, без попойки (*лат.*).

Эдуард I был тот самый король, который, умирая, приказал своему сыну выварить его труп и кости взять с собой на войну. Королевские безрассудства побуждают лордов принять меры к укреплению власти в парламенте; с этой целью они разделяют его на две палаты, верхнюю и нижнюю. Со свойственным им высокомерием лорды сохраняют главенство за собой. «Если кто-либо из членов нижней палаты дерзнет неуважительно отозваться о палате лордов, он подлежит вызову в суд для наказания, вплоть до заключения в Тауэр». Такое же неравенство наблюдается и при подаче голосов. В палате лордов голосуют по одному, начиная с младшего барона, так называемого «меньшого пэра». Каждый пэр, голосуя, отвечает: «доволен» или «недоволен». В нижней палате голосуют одновременно, все сразу, отвечая просто: «да» или «нет». Палата общин обвиняет, палата пэров вершит суд. Пренебрегая цифрами, пэры поручают нижней палате, которая со временем обращает это себе на пользу, надзор за «шахматной доской», то есть за казначейством, получившим это название, по одной версии, от скатерти с изображением шахматной доски, а по другой — от ящиков старинного шкафа, где за железной решеткой хранилась казна

английских королей. С конца тринадцатого века вводится ежегодный реестр — «Year-book». Во время войны Алой и Белой Розы лорды дают почувствовать свое влияние, становясь то на сторону Джона Гонта, герцога Ланкастерского, то на сторону Эдмунда, герцога йоркского. Уот Тайлер, лолларды, Уорик, «делатель королей», и все стихийные движения — эти зачаточные попытки добиться вольностей — имеют явной или тайной точкой опоры английский феодализм. Лорды не без пользы для себя ревниво следили за престолом; ревновать — значит не спускать с глаз; они ограничивают королевский произвол, сужают понятие измены королю, выставляют против Генриха IV лже-Ричардов, присваивают себе функции верховных судей, решают тяжбу о трех коронах между герцогом Йоркским и Маргаритой Анжуйской, в случае нужды сами снаряжают войска и с переменным успехом сражаются между собой, как это было при Шрусбери, Тьюксбери и Сент-Олбане. Уже в тринадцатом столетии они одержали победу при Льюисе и изгнали из королевства четырех братьев короля, побочных сыновей Изабеллы и графа Марча, за лихоимство и притеснение христиан при посредстве евреев; с одной сторо-

ны, это были принцы, с другой — обыкновенные мошенники; подобное сочетание довольно часто встречается и поныне, но в прежние времена оно не пользовалось уважением. До пятнадцатого века в короле Англии еще чувствуется норманд-ский герцог, и парламентские акты пишутся на французском языке; начиная с царствова-ния Генриха VII эта акты, по настоянию лордов, пишутся уже на английском. Англия, бывшая бретонской при Утэре Пендрагоне, римской при Цезаре, саксонской при семивластии, датской при Гарольде, нормандской после Вильгельма, благодаря лордам становится, английской. Затем она делается англиканской. Собственная церковь — большая сила. Глава церкви, находящийся вне пределов страны, обескровливает ее. Всякая Мекка высасывает, как спрут. В 1534 году Лондон порывает с Римом, пэрство соглашается на ре-формацию, и лорды признают Лютера, — таков ответ на отлучение от церкви, состоявшееся в 1215 году. Генриху VIII это было на руку, но в других отношениях лорды его стесняли: они стояли перед, ним, как бульдог перед медведем. Кто стал грозно скалить зубы, когда Уолсей неза-конно отнял Уайт-Холл у народа, а Генрих VIII отобрал его у Уолсея? — Четыре лорда: Дарси

Чичестер, Сент-Джон Блетсо и (два нормандских имени) — Маунтжуа и Маунтигль. Король стремится захватить всю власть. Пэры урезывают ее. Преемственность власти в значительной мере обусловливает ее неподкупность: этим объясняется непокорность лордов. Даже при Елизавете бароны осмеливаются бунтовать. Это вызывает дерхемские казни. Юбка этой тиранки забрызгана кровью казненных. Плаха, скрытая под фижмами, — вот что такое царствование Елизаветы. Она созывает парламент как можно реже и ограничивает число лордов верхней палаты шестьюдесятью пятью, оставив в ней одного лишь маркиза Вестминстера и исключив всех герцогов. Впрочем, во Франции короли так же ревниво оберегали свою власть и ограничивали число пэров. При Генрихе III было только восемь герцогов-пэров; бароны де Мант, де Куси, де Куломье, де Шатонеф-Римере, де Ла Фер-Тарденуа, де Мортань и еще некоторые другие сохранили свое пэрское достоинство, к величайшему неудовольствию короля. В Англии короли охотно допускали вымирание пэрских родов; достаточно сказать, что при Анне число угасших с двенадцатого века пэрских родов дошло до шестидесяти пяти. Истребление герцогов, начало которому положила война Алой

и Белой Розы, было довершено топором Марии Тюдор. Так обезглавили дворянство. Уничтожить герцога — значило лишить дворянство его главы. Политика, конечно, сама по себе недурная, но все же подкуп лучше убийства. Это прекрасно понял Иаков I. Он восстановил герцогское достоинство. Он сделал герцогом своего фаворита Вильерса, величавшего его «ваше свинство». Герцог-феодал превращается в герцога-придворного. Со временем их развелось несчетное множество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам — Барбаре Саутгемптон и Луизе Керуэл. При Анне насчитывается двадцать пять герцогов, из них три иностранца: Кемберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрость Иакова I? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки и приходит в негодование. Она негодует на Иакова I, негодует и на Карла I, который, кстати говоря, быть может отчасти повинен в смерти своего отца, так же как Мария Медичи, быть может, повинна в смерти своего мужа. Между Карлом I и палатой лордов происходит разрыв. Лорды, которые при Иакове I привлекали к суду взяточничество в лице Бекона, при Карле I судят государственную измену в лице Страффорда. Они вынесли обвинительный приговор Бекону, они

выносят его и Страффорду. Один потерял честь, другой — жизнь. Карл I обезглавлен в первый раз в лице Страффорда. Лорды оказывают поддержку нижней палате. Король созывает парламент в Оксфорде, революция созывает его в Лондоне; сорок три пэра принимают сторону короля, двадцать два — сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготовляют почву для «Билля о правах», первоначального наброска «Декларации прав человека», — из глубины грядущего французская революция бросает бледную тень на революцию английскую.

Такова польза от сословия пэров. Пускай невольная. И дорого стоившая народу, ибо пэрство — чудовищный паразит. Но польза все же значительная. Все то, что имело место во Франции, — укрепление деспотизма при Людовике XI, Ришелье и Людовике XIV; установление чисто султанского режима; приниженность, выдаваемая за равенство; превращение скипетра в палку; всеобщий гнет, весь этот турецкий уклад миновали Англию именно благодаря лордам. Это они сделали из аристократии стену, которая, с одной стороны, сдерживала, точно плотиной, королевскую волю, с другой — защищала народ. Свое высокомерие по отношению к народу они

искупают дерзостью по отношению к королю. Граф Саймон Лестер сказал в лицо Генриху III: «Король, ты солгал». Лорды навязывают короне ряд ограничений; они задевают чувствительное место короля — охоту. Всякий лорд, проезжая через королевский парк, имеет право убить в нем серну. Лорд чувствует себя как дома во дворце короля. Предусмотренная законом возможность заключения короля в Тауэр и определение ему в этом случае еженедельного содержания в размере двенадцати фунтов стерлингов, то есть не больше, чем пэру, — это дело палаты лордов. Мало того, ей же Англия обязана развенчанием ряда королей. Лорды лишили престола Иоанна Безземельного, свергли Эдуарда II, удалили Ричарда II, сломили Генриха VI и сделали возможным появление Кромвеля. Какой Людовик XIV таился в Карле II! Но Кромвель помешал ему развернуться. Кстати, упомянем мимоходом об одном обстоятельстве, на которое не обратил внимания ни один историк, а именно: Кромвель сам домогался пэрства; в этих целях он женился на Елизавете Борчир, родственнице и наследнице лорда Борчира, пэрство которого угасло в 1471 году, и другого Борчира, лорда Робсарта, род которого угас в 1429 году. Стараясь не отстать от событий, развивав-

шихся со страшной быстротой, Кромвель, однако, нашел, что проще прийти к власти, убрав короля, чем домогаясь от него пэрства.

Мрачный церемониал суда, установленный для лордов, распространился и на короля. Если король представал перед судом пэров, у него, как у обыкновенного лорда, по бокам стояли два вооруженных топорами тюремщика из Тауэра. На протяжении пяти веков древняя палата лордов упорно придерживалась одного и того же направления. Можно перечесть по пальцам те редкие случаи, когда ее подозрительность и настороженность ослабевали, как, например, в тот злополучный день, когда она позволила соблазнить себя присланное папой Юлием II галерой, груженной сырами, окороками и греческими винами. Английская аристократия была беспокойна, надменна, упряма, сурова и недоверчива. Именно она в конце XVII столетия десятым актом 1694 года лишила местечко Стокбридж в Саутгемптоне права представительства в парламенте и заставила палату общин кассировать выборы в этом местечке, запятнавшем себя приверженностью папистам. Это она предложила Иакову, герцогу йоркскому, принести присягу в отречении от католических догматов и устранила его

от престолонаследия, когда он отказался. Правда, он все-таки стал королем, но лордам в конце концов удалось захватить его и изгнать из пределов страны. За долгий период своего существования английская аристократия не раз проявляла бессознательное тяготение к прогрессу. Она в какой-то мере была носительницей просвещения, правда за исключением последнего времени, то есть наших дней. При Иакове II она соблюдала в нижней палате определенную пропорцию между горожанами и дворянами, а именно — на триста сорок шесть горожан приходилось там девяносто два дворянина; шестнадцать баронов, представители от Пяти Портов, имели вполне достаточный противовес в лице пятидесяти граждан, депутатов от двадцати пяти городов. Несмотря на свое развращающее влияние и эгоизм, эта аристократия в некоторых случаях проявляла беспристрастие. Ее судят слишком строго. История относится снисходительно только к палате общин; это едва ли справедливо. Мы находим, что роль лордов весьма значительна. Олигархия — довольно первобытная форма независимости, но все-таки это независимость. Взять, например, Польшу, которая, будучи королевством по названию, в действительности являлась респуб-

ликой. Английские пэры относились к престолу с подозрением и держали его под опекой. Во многих случаях лорды навлекали на себя королевскую немилость в большей мере, чем палата общин. Они нередко делали шах королю. Так, в достопамятном 1694 году билль о трехлетнем парламенте, отвергнутый палатой общин как неугодный Вильгельму III, был утвержден в палате пэров; Вильгельм III, придя в ярость, отнял у графа Бата замок Пенденнис и лишил виконта Мордаунта всех занимаемых им должностей. Палата лордов была своего рода Венецианской республикой в самом сердце королевской Англии. Низвести короля до уровня дожа — такова была ее цель, и она обогащала народ тем, что отнимала у короля.

Королевская власть сознавала это и ненавидела пэров. Обе стороны старались ослабить одна другую. Ущерб, наносимый ими друг другу, шел на пользу народу. Эти две слепые силы — монархия и олигархия — не замечали, что работают в интересах третьей — демократии. Как ликовал в прошлом столетии королевский двор, когда удалось повесить одного из пэров, лорда Ферерса!

Впрочем, отдавая дань учтивости, его повесили на шелковой веревке.

«Пэра Франции не повесили бы», — гордо заметил герцог Ришелье. Совершенно верно. Ему отрубили бы голову. Это еще учтивее. Монморанси-Танкервилл подписывался: «Пэр Франции и Англии», отодвигая, таким образом, английское пэрство на второе место. Французские пэры стояли выше английских, но были менее могущественны, так как дорожили титулом больше, чем действительной властью, и почетным первенством больше, чем фактическим господством. Между ними и английскими лордами была такая же разница, как между тщеславием и гордостью. Стоять выше чужестранных принцев, идти впереди испанских грандов во время церемоний, затмевать венецианских патрициев; сажать в парламенте на скамьи низших рядов маршалов Франции, коннетабля и адмирала Франции, хотя бы им был сам граф Тулузский, сын Людовика XIV; устанавливать различие между герцогством по мужской и женской линии, проводить грань между простым графством вроде Арманьякского или Альбретского и графством-пэрством вроде Эвре; носить чуть ли не в двадцатипятилетнем возрасте голубую орденскую ленту через плечо или орден Золотого Руна; противопоставлять герцогу де ла Тремуйль, старейшему пэру королевства,

герцога д'Юзеса, старейшего пэра парламента; домогаться права иметь столько же пажей и запрягать в карету столько же лошадей, сколько полагалось немецкому курфюрсту; требовать, чтобы председатель государственного совета называл пэров «монсеньерами»; обсуждать вопрос; вправе ли герцог Мэнский, имеющий в качестве графа д'Э звание пэра с 1458 года, проходить через большой зал заседаний по диагонали или вдоль стен, — вот что было самым важным для пэров Франции. Английских лордов гораздо больше занимали вопросы о навигационном акте, о клятвенном отречении от католических догматов, об использовании Европы в интересах Англии, о господстве на морях, об изгнании Стюартов, о войне с Францией. Для первых главное — этикет, для вторых — подлинная власть. Пэры Англии захватили добычу, пэры Франции гонялись за призраком.

В общем, английская палата лордов сыграла существенную роль в истории цивилизации страны. Ей выпала честь основать нацию. Она явилась первым по времени воплощением народного единства. Сопротивление английского народа — эта мрачная, но могучая сила — зародилось в палате лордов. Рядом насилий над

своим монархом бароны подготовили почву для окончательного низвержения королей. Нынешняя палата лордов сама несколько удивлена и огорчена тем, что она когда-то бессознательно и помимо своей воли совершила. Тем более что все это непоправимо. Что такое уступки? Восстановление в правах. И народы прекрасно понимают это. «Жалую», — говорит король. «Беру свое», — говорит народ. Думая добиться привилегий для пэров, палата лордов давала права гражданам. Аристократия подобна ястребу, высидевшему яйцо орла — свободу.

В наши дни это яйцо разбито, орел парит в облаках, ястреб издыхает.

Аристократия корчится в предсмертных судорогах, народ Англии растет.

Но будем справедливы к аристократии. Она удерживала королевскую власть в известных границах, она была ее противовесом. Она служила преградой для деспотизма; она была барьером.

Поблагодарим же ее и предадим земле.

3. Старинный зал

Близ Вестминстерского аббатства стоял старинный нормандский дворец, сгоревший в цар-

ствование Генриха VIII. От этого здания уцелело два флигеля. В одном из них Эдуард VI поместил палату лордов, в другом — палату общин.

Ни флигелей, ни обоих залов в настоящее время уже не существует, — все перестроено.

Мы уже упоминали и теперь снова повторяем, что между прежней и нынешней палатой лордов нет никакого сходства. Разрушив старинный дворец, уничтожили и некоторые старинные обычаи. Удары лома, наносимые древним памятникам, отзываются также на обычаях и на хартиях. Старый камень, падая, увлекает за собой какой-нибудь старый закон. Поместите в круглом зале сенат, заседавший в зале квадратном, и он окажется другим. Форма моллюска изменяется по мере изменения формы раковины.

Если вы хотите сохранить какое-нибудь старинное установление, будь оно происхождения человеческого или божественного; будь оно кодексом или догматом, аристократией или жреческим сословием, — ничего не переделывайте в нем заново, даже наружной оболочки. В крайнем случае положите заплату. Орден иезуитов, например, — заплата на католицизме. Если хотите уберечь от перемен учреждения, ничего не меняйте в зданиях.

Тени должны жить среди развалин. Обветшалой власти не по себе в заново отделанном помещении. Если учреждение пришло в упадок, ему нужен полуразрушенный дворец.

Показать внутренность прежней палаты лордов — значит показать неведомое. История — та же ночь. В ней нет заднего плана. Все, что не находится на авансцене, немедленно пропадает из виду и тонет во мраке. Когда декорации убраны, память о них исчезает, наступает забвение. Прошедшее и неведомое — синонимы.

Пэры Англии в качестве верховных судей заседали в большом зале Вестминстера, а в качестве законодателей — в особом зале, носившем название «дома лордов», house of the lords.

Кроме суда пэров, созывавшегося только по инициативе короны, в большом Вестминстерском зале заседали еще два судебных учреждения, стоявших ниже суда пэров, но выше всех остальных судебных органов. Они занимали два смежных отделения в передней части этого зала. Первое из них, носившее название «суда королевской скамьи», возглавлялось самим королем, второе именовалось канцлерским судом, и в нем председательствовал канцлер. Одно было органом карающим, другое — милующим. Имен-

но канцлер возбуждал перед королем вопрос о помиловании, но случалось это редко. Оба эти судилища, существующие и поныне, толковали законы, а иногда слегка изменяли их. Искусство судьи состоит в том, чтобы судебной практикой устранять шероховатости свода законов — ремесло, от которого справедливость нередко страдает. В суровом большом Вестминстерском зале вырабатывались и применялись законы. Сводчатый потолок этого зала был из каштанового дерева, на котором не может завестись паутина; достаточно было и того, что она завелась в законах.

Заседать как суй и как законодательная палата — две разные вещи. Из двух этих прерогатив слагается верховная власть. «Долгий парламент», начавший заседать 3 ноября 1640 года, почувствовал необходимость вооружиться в революционных целях этим двойным мечом. Поэтому, подобно палате лордов, он объявил себя не только властью законодательной, но и властью судебной.

Эта двойная власть с незапамятных времен принадлежит палате лордов. Мы только что говорили, что в качестве судей лорды занимали Вестминстер-Холл, а в качестве законодателей заседали в другом помещении.

Палата лордов в собственном смысле занимала продолговатый и узкий зал. Он освещался только четырьмя окнами, проделанными в потолке, так что свет проникал в него через крышу и через затянутое занавесками круглое оконце в шесть стекол над королевским балдахином; вечером здесь зажигали только дюжину канделябров, висевших на стенах. Освещение в зале венецианского сената было еще более скудным. Подобно совам, всемогущие вершители народных судеб любят полумрак.

Над залом, где заседали лорды, высился огромный многогранный, украшенный позолотой свод. В палате общин потолок был плоским; в сооружениях, воздвигаемых при монархическом строе, все имеет свой определенный смысл. В одном конце длинного зала палаты лордов находилась дверь, в другом, противоположном, — трон. В нескольких шагах от двери тянулся барьер, пересекая зал поперек и образуя своего рода границу, обозначавшую, где кончается место народа и начинаются места знати. Направо от трона, на камине, украшенном наверху гербом, выступали два мраморных барельефа: один с изображением победы Кетуольфа над бретонцами в 572 году, другой — с планом местечка Денстебль, в кото-

ром было только четыре улицы, соответственно четырем странам света. К трону вели три ступени. Он назывался «королевским креслом». По обе стороны от трона стены были обтянуты рядом тканых шпалер, подаренных Елизаветой палате лордов и в последовательном порядке представлявших все злоключения испанской Армады, начиная с ее отплытия из Испании и кончая ее гибелью у берегов Англии. Надводные части судов были вытканы золотыми и серебряными нитями, почерневшими от времени. Под этими шпалерами, разделенными стенными канделябрами, стояли направо от трона три ряда скамей для епископов, налево столько же рядов скамей для герцогов, маркизов и графов; скамьи шли уступами и разделялись проходами. На трех скамьях первого сектора восседали герцоги, второго — маркизы, третьего — графы. Скамьи виконтов, поставленные под прямым углом одна к другой, помещались прямо против трона, а между ними и барьером стояли две скамьи для баронов. Верхнюю скамью направо от трона занимали два архиепископа — Кентерберийский и Йоркский, среднюю — три епископа: Лондонский, Дерхемский и Винчестерский, нижнюю — остальные епископы. Между архиепископом Кентерберий-

ским и другими епископами существует важное различие: он является епископом «промыслом божиим», между тем как прочие — епископы лишь «соизволением божиим». Направо от трона стояло кресло для принца Уэльского, налево — складные стулья для принцев крови, а позади этих стульев — скамья для несовершеннолетних пэров, не имеющих еще права заседать в палате. Всюду — множество королевских лилий, а на всех четырех стенах над головами пэров, так же как и над головой королевы, — громадные щиты с гербом Англии. Сыновья пэров и наследники пэрств присутствовали на заседаниях, стоя позади трона, между балдахином и стеной. Между троном, находившимся в глубине зала, и тремя рядами скамей вдоль стен оставалось еще большое свободное пространство в форме четырехугольника. На ковре с гербами Англии, устилавшем это пространство, лежало четыре мешка, набитых шерстью; один, прямо перед троном, — для канцлера, который сидел на нем, держа булаву и государственную печать; второй, перед епископами, — для судей — государственных советников, имевших право присутствовать без права голоса; третий, против герцогов, маркизов и графов, — для государственных секретарей;

четвертый, против виконтов и баронов, — для клерков: коронного и парламентского; на нем писали, стоя на коленях, их помощники. В центре этого четырехугольника стоял большой, покрытый сукном стол, заваленный бумагами, списками, счетными книгами, с массивными, чеканной работы, чернильницами и с высокими светильниками по четырем углам. Пэры занимали места «в хронологическом порядке» — каждый соответственно древности его рода. Они рассаживались, соблюдая двойное старшинство — титула и времени его пожалования. У барьера стоял пристав черного жезла, держа в руке эту эмблему своей должности; у дверей — его помощник, за дверьми — глашатай черного жезла, на обязанности которого лежало открывать заседание возгласом: «Слушайте». Он трижды произносил это слово по-французски, торжественно растягивая первый слог. Рядом с глашатаем стоял булавоносец канцлера.

Когда заседания палаты происходили в присутствии короля, светские пэры надевали корону, а духовные — митру. Архиепископы носили митры с герцогской короной, а епископы, приравненные к виконтам, — митру с короной баронской.

Странное и вместе с тем поучительное обсто-

ятельство: четырехугольник, образованный троном, скамьями епископов и баронов, с коленопреклоненными чиновниками посредине, был точной копией древнего парламента Франции при двух первых династиях. И во Франции и в Англии власть принимала одни и те же внешние формы. В 853 году Гинкмар в трактате «De ordinatione sacri palatii»[268] как будто описывает заседание палаты лордов, происходящее в Вестминстере в восемнадцатом веке. Курьезный протокол, составленный за девятьсот лет до самого события.

Что такое история? Отголосок прошедшего в будущем. Отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее.

Созыв парламента был обязательным лишь через каждые семь лет.

Лорды совещались тайно, при закрытых дверях. Заседания же палаты общин были публичными. Гласность казалась умалением достоинства.

Число лордов было неограниченным. Назначение новых лордов королем было своего рода угрозой. Это было способом дать почувствовать строптивым лордам королевскую власть.

---

[268] Сноски: 268
«Об устройстве королевских палат» (*лат.*).

В начале восемнадцатого столетия число заседавших в палате лордов достигло весьма внушительной цифры. С тех пор оно возросло еще больше. Такое разбавление аристократии новыми лицами преследовало определенную политическую цель. Елизавета, быть может, допустила ошибку, сократив число пэров до шестидесяти пяти. Чем малочисленнее знать, тем она сильнее. Чем многолюднее ее сборище, тем меньше в нем голов. Иаков II отлично сознавал это, увеличивая число лордов в верхней палате до ста восьмидесяти восьми или до ста восьмидесяти шести, если исключить отсюда двух герцогинь королевского алькова — Портсмут и Кливленд. При Анне общее число пэров, включая и епископов, достигло двухсот семи.

Не считая герцога Кемберлендского, супруга королевы, герцогов было двадцать пять, из коих первый, Норфолк, не заседал в палате, так как был католиком, а последний, герцог Кембриджский, курфюрст Ганноверский, входил в ее состав, хотя и был иностранцем. Винчестер, называвшийся первым и единственным маркизом Англии, подобно тому как в Испании единственным маркизом был Асторга, был якобитом и потому отсутствовал; но вместо него было еще пять

маркизов: старшим из них считался Линдсей, а младшим — Лотиан; семьдесят девять графов: из них старшим был Дерби, а младшим — Айлей; девять виконтов: из них старший — Герфорд, а младший — Лонсдейл; шестьдесят два барона: из них старший — Эбергевени, а младший — Гарвей, который в качестве самого младшего члена палаты назывался «меньшим». Дерби, который при Иакове II был четвертым по старшинству, так как выше него стояли графы Оксфорд, Шрусбери и Кент, при Анне занял среди графов первое место. В ту пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров: Верулама, известного истории как Бэкон, и Уэма, известного под именем Джеффриса; Бэкон и Джеффрис — имена мрачные, каждое по-своему. В 1705 году из двадцати шести епископов оставалось двадцать пять, так как Честерская епархия была вакантна. Среди епископов встречались знатные вельможи, как, например, Вильям Талбот, архиепископ Оксфордский, глава протестантской ветви своего дома. Другие были выдающимися учеными, как, например, Джон Шарп, архиепископ Йоркский, бывший деканом в Норвике, поэт Томас Спратт, епископ Рочестерский, человек апоплексической наружности, или епископ Линкольнский Уэйк,

противник Боссюэ, умерший в сане архиепископа Кентерберийского.

В особо важных случаях, когда, например, верхней палате предстояло выслушать какое-либо королевское сообщение, все это величественное сборище в мантиях, в париках, митрах или шляпах с белыми перьями заполняло пэрский зал и рассаживалось ступенчатыми рядами вдоль стен, на которых в полумраке можно было разглядеть изображение бури, уничтожающей испанскую Армаду. Эта картина как бы говорила: «И буря повинуется Англии».

4. Палата лордов в старину

Вся церемония посвящения Гуинплена в звание пэра и введения в палату лордов, начиная со въезда в Королевские ворота и кончая торжественным отречением от католических догматов в стеклянной ротонде, происходила в полутьме.

Лорд Вильям Коупер не допустил, чтобы ему, канцлеру Англии, слишком подробно докладывали об уродстве молодого лорда Фермена Кленчарли; он находил ниже своего достоинства знать, что пэр может быть некрасивым, и счел бы себя оскорбленным дерзостью подчиненного,

который отважился бы сообщить ему такого рода сведения. Без сомнения, какой-нибудь простолюдин скажет с особенным злорадством: «А ведь принц-то горбат». Поэтому уродство оскорбительно для лорда. Когда королева Анна мельком упомянула о наружности Гуинплена, лорд-канцлер ограничился тем, что заметил; «Красота вельможи — в его знатности». Но в общем из ее слов и из протоколов, которые пришлось проверить и засвидетельствовать, он понял все. Потому-то он и принял некоторые предосторожности.

Лицо нового лорда при его вступлении в палату могло произвести нежелательное впечатление. Это нужно было как-то предотвратить. Лорд-канцлер принял некоторые меры. Как можно меньше неприятных происшествий — таково упорное стремление и неизменное правило поведения всех сановных лиц. Отвращение к скандалам — неотъемлемая черта всякой важной персоны. Необходимо было позаботиться о том, чтобы представление Гуинплена произошло без осложнений, подобно тому как происходит представление любого наследника пэрства.

Вот почему лорд-канцлер назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником, quodammodo ostiarius, как го-

ворится в нормандских хартиях, или j'anuarum cancellorumque potestas[269], по выражению Тертуллиана, может исполнять свои обязанности не только в самой палате, но и в преддверии ее; лорд Вильям Коупер воспользовался этим правом и выполнил все формальности посвящения лорда Фермена Кленчарли в стеклянной ротонде. Кроме того, он назначил церемонию на ранний час, чтобы новый пэр вступил в палату еще до начала вечернего заседания.

Что касается возведения в пэрское достоинство вне парламентского зала, то примеры этому бывали и прежде. Так, первый наследственный барон Джон Бошан из Холт-Касла, получивший в 1387 году от Ричарда II титул барона Киддерминстера, был принят в палату именно таким образом.

Впрочем, последовав этому примеру, лорд-канцлер сам поставил себя в затруднительное положение, все неудобства которого он понял только два года спустя, при вступлении в палату лордов виконта Ньюхевена.

Благодаря своей близорукости, о которой мы уже упоминали, лорд Вильям Коупер почти не заметил уродства Гуинплена; лорды же воспри-

---

[269] Сноски: 269
Смотритель дверей и решеток (*лат.*).

емники также не разглядели его: оба они были почти совершенно слепы от старости.

Потому-то лорд-канцлер и остановил на них свой выбор.

Мало того, лорд-канцлер, видевший только фигуру и осанку Гуинплена, нашел, что он весьма представителен.

В ту минуту, когда оба привратника распахнули перед Гуинпленом двустворчатую дверь, в зале находилось лишь несколько лордов: почти все они были стариками. Старики так же аккуратно являются на собрание, как усердно ухаживают за молодыми женщинами. На скамье герцогов были только два герцога. Один, белый как лунь, — Томас Осборн, герцог Лидс, другой, с проседью, — Шонберг, сын того Шонберга, который, будучи немцем по происхождению, французом по маршальскому жезлу и англичанином по пэрству, воевал сначала как француз против Англии, а затем, изгнанный Нантским эдиктом, стал воевать уже как англичанин против Франции. На скамье князей церкви в верхнем углу сидел лишь архиепископ Кентерберийский, старшая духовная особа Англии, а внизу — доктор Саймон Патрик, епископ Илийский, беседовавший с Эвелином Пирпонтом, маркизом Дорчестером,

который объяснял ему разницу между габионом и куртином, между палисадами и штурмфалами; палисады представляли собой ряд столбов, водруженных перед палатками, и предназначались для защиты лагеря, штурмфалами же назывался ряд остроконечных кольев перед крепостным валом, преграждавший доступ осаждающим и не позволявший бежать осажденным; маркиз объяснял епископу, как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тинн, виконт Уэймет, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке в Уилтшире дерновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймленные желтым и красным песком, речными раковинами и каменноугольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды Эссекс, Оссалстоун, Перегрин, Осборн, Вильям Зулстайн, граф Рошфор и несколько молодых лордов, из числа тех, что не носили париков; они окружали Прайса Девере, виконта Герфорда, и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из листьев зубчатолистника. «Можно отчасти», — говорил Осборн. «Можно вполне», — утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Полете Сент-Джон,

двоюродный брат Болингброка, учеником которого в какой-то степени был позднее Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Поре, завершилось влиянием Болингброка. На скамье маркизов Томас Грей, маркиз Кент, лорд-камергер королевы, уверял Роберта Берта, маркиза Линдсея, лорда-камергера Англии, что главный выигрыш большой английской лотереи в 1614 году достался двум французским выходцам: Лекоку, бывшему члену парижского парламента, и господину Равенелю, бретонскому дворянину. Граф Уаймс читал книгу под заглавием «Любопытные предсказания сивилл». Джон Кемпбел, граф Гринич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика восьмидесяти семи лет игривостью писал письмо своей любовнице. Лорд Чандос занимался отделкой ногтей. Ввиду того, что предстояло королевское заседание, то есть такое, на котором корона должна была быть представленной комиссарами, два помощника привратников ставили перед троном обитую ярко-красным бархатом скамью. На втором мешке с шерстью сидел блюститель списков, sacrorum scriniorum magister, занимавший в те времена дом, в котором прежде жили обращенные в христианство евреи. На четвертом мешке два

помощника клерка, стоя на коленях, перелистывали актовые книги.

Между тем лорд-канцлер занял место на первом мешке с шерстью, парламентские чиновники тоже заняли свои места, кто сидя, кто стоя; архиепископ Кентерберийский, поднявшись, прочел вслух молитву, и заседание палаты началось. К тому времени Гуинплен уже вошел, не обратив на себя ничьего внимания; скамья баронов, на которой он сидел, была ближайшей к перилам, так что ему пришлось пройти лишь несколько шагов. Лорды-восприемники сели по обе стороны его, благодаря чему появление нового лорда осталось незамеченным. Никто не был предупрежден, и парламентский клерк вполголоса, чуть ли не шепотом, прочел все документы, относившиеся к новому лорду, а лорд-канцлер объявил о его принятии в сословие пэров среди «всеобщего невнимания», как говорится в отчетах.

Все были заняты разговорами. В зале стоял тот особый гул, пользуясь которым, в собраниях часто «под шумок» проводят постановления, впоследствии вызывающие удивление самих участников.

Гуинплен сидел молча, с обнаженной головой, между двумя стариками, своими восприемника-

ми, — лордом Фицуолтером и лордом Эранделом.

Необходимо заметить, что Баркильфедро, в качестве шпиона осведомленный обо всем и решивший во что бы то ни стало с успехом довести до конца свой замысел, в официальных донесениях лорд-канцлеру скрыл до известной степени уродство лорда Фермена Кленчарли, особо настаивая на том, что Гуинплен мог усилием воли подавлять на своем лице выражение смеха и сообщать серьезность своим изуродованным чертам. Баркильфедро, быть может, даже преувеличил эту способность. Впрочем, какое могло все это иметь значение в глазах аристократии? Ведь сам лорд-канцлер Вильям Коупер был автором знаменитого изречения: «В Англии восстановление пэра в его правах имеет большее значение, чем реставрация короля». Разумеется, красоте и знатности следовало бы быть неразлучными; досадно, что лорд обезображен; это, конечно, злобная насмешка судьбы, но в сущности разве это может отразиться на его правах? Лорд-канцлер принял известные предосторожности и поступил правильно, но в конце концов даже если б они и не были приняты, что могло бы помешать пэру вступить в палату лордов? Разве родовитость и королевское происхождение не

искупают любого уродства и увечья? Разве в древней фамилии Кьюменов, графов Бьюкен, угасшей в 1347 году, не передавался из рода в род, наравне с пэрским достоинством, дикий, хриплый голос, так что по одному уж этому звериному рыку узнавали отпрысков шотландского пэра? Разве отвратительные кроваво-красные пятна на лице Цезаря Борджа помешали ему быть герцогом Валантинуа? Разве слепота помешала Иоанну Люксембургскому быть королем Богемии? Разве горб помешал Ричарду III стать королем Англии? Если вдуматься как следует, то окажется, что увечье и безобразие, переносимые с высокомерным равнодушием, не только не умаляют величия, но даже поддерживают и подчеркивают его. Знать так величественна, что ее не может унизить никакое уродство. Такова другая, не менее важная, сторона вопроса. Как видит читатель, ничто не могло воспрепятствовать принятию Гуинплена в число пэров, и благоразумные предосторожности лорд-канцлера, целесообразные во всяком ином случае, оказались совершенно излишними с точки зрения аристократических принципов.

При входе в зал Гуинплен, следуя наставлению герольдмейстера и напоминаниям обоих восприемников, поклонился «королевскому креслу».

Итак, все было кончено. Он стал лордом.

Он достиг ее, этой чудесной вершины, перед ослепительным сиянием всю свою жизнь с ужасом преклонялся его учитель Урсус. Теперь Гуинплен попирал ее ногами.

Он находился в самом знаменитом и самом мрачном месте Англии.

Это была древнейшая вершина феодализма, на которую в продолжение шести веков взирали Европа и история. Страшное сияние, вырвавшееся из царства тьмы.

Он вступил в круг этого сияния. Вступил безвозвратно.

Он был теперь в своей среде, на своем месте, как король на своем.

Отныне ничто не могло помешать ему остаться здесь.

Эта королевская корона, которую он видел над балдахином, была родной сестрой его собственной короне. Он был пэром этого трона.

Перед лицом королевской власти он олицетворял собою знать. Он был меньше, чем король, но подобен ему.

Кем был он еще вчера? Скоморохом. Кем стал он сегодня? Властелином.

Вчера он — ничто, сегодня — все.

Столкнувшись внезапно лицом к лицу в глубине одной души, ничтожество и могущество стали двумя половинами одного и того же сознания.

Два призрака — призрак нищеты и призрак благоденствия, — овладев одной и той же душой, влекли ее каждый в свою сторону. Эти братья-враги, бедность и богатство, вступив в трагическое столкновение, делили между собою разум, волю и совесть одного человека. Авель и Каин воплотились в одном лице.

5. Высокомерная болтовня

Мало-помалу скамьи палаты заполнились. Начали появляться лорды. В порядке дня стоял билль об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания Георгу Датскому, герцогу Кемберлендскому, супругу королевы. Кроме того, было объявлено, что несколько биллей, одобренных Ее Величеством, будут представлены в палату коронными комиссарами, на которых возложено право и обязанность утвердить их; тем самым заседание приобретало значение королевского. Все пэры были в парламентских мантиях, накинутых поверх своей обычной одежды или

придворных костюмов. На всех были одинаковые мантии, такие же, как и на Гуинплене, с той лишь разницей, что у герцогов было по пять горностаевых, обшитых золотом полос, у маркизов четыре, у графов и виконтов три, а у баронов две. Лорды входили группами, продолжая беседу, начатую еще в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, в позах же и в словах не было ничего торжественного. Входя, каждый из лордов кланялся трону.

Пэры все прибывали. Все эти обладатели громких имен входили в зал почти без всякого церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфилду; затем явились Чарльз Мордаунт, граф Питерборо, и Монмут, друг Локка, по инициативе которого он в свое время предложил переливку монеты; Чарльз Кемпбел, граф Лоудоун, которому что-то нашептывал Фук Гревилл, лорд Брук; Дорм, граф Карнарвон; Роберт Сеттон, барон Лексингтон, сын того Лексингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Грегорио Лети, слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком; красивый старик Томас Белласайз, виконт Фалькомберг; трое двоюродных братьев Ховардов: Ховард, граф Биндон, Боур-Ховард, граф

Беркшир, и Стаффорд-Ховард, граф Стаффорд; Джон Ловлес, барон Ловлес, чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону ввести Ловлеса в свой роман и создать под этим именем определенный тип. Все эти лица, выдвинувшиеся либо в области политики, либо на войне и прославившие собою Англию, смеялись и болтали. Это была сама история в домашнем халате.

Меньше чем за полчаса палата оказалась почти в полном составе. Дело объяснялось просто — предстояло королевское заседание. Более необычным обстоятельством были оживленные разговоры. Палата, еще недавно погруженная в сонную тишину, загудела, как потревоженный улей. Пробудило ее от дремоты появление запоздавших лордов. Они принесли с собой любопытные вести. Странное дело: пэры, находившиеся в палате с начала заседания, не подозревали о том, что произошло в палате, тогда как те, что отсутствовали, знали обо всем.

Многие лорды приехали из Виндзора.

Уже несколько часов, как все происшедшее с Гуинпленом стало достоянием гласности. Тайна — та же сеть: достаточно, чтобы порвалась одна петля, и все расползается. Весть о происшествиях, уже известных читателю, вся история о пэре, най-

денном на подмостках, о скоморохе, признанном лордом, еще утром разнеслась по Виндзору в кругу приближенных королевы. Об этом заговорили сначала вельможи, затем лакеи. Вслед за королевским двором событие стало известно всему городу. События имеют свой вес, и к ним вполне применим закон квадрата скоростей. Обрушиваясь на публику, они с невероятной быстротой вызывают всевозможные толки. В семь часов в Лондоне никто и понятия не имел об этой истории. В восемь часов в городе только и говорили, что о Гуинплене. Лишь несколько пожилых лордов, прибывших до открытия заседания, ни о чем не догадывались, так как не успели побывать в городе, где о случившемся кричали на всех перекрестках, а провели это время в палате и ровно ничего не заметили. Они невозмутимо сидели на скамьях, когда вновь прибывшие члены взволнованно обратились к ним.

— Каково? — спрашивал Френсис Броун, виконт Монтекьют, маркиза Дорчестера.

— Что?

— Неужели это возможно?

— Что?

— Да «Человек, который смеется»!

— Что это за «Человек, который смеется»?

— Как, вы не знаете «Человека, который смеется»?

— Нет.

— Это клоун. Ярмарочный комедиант. Невероятно уродливый, такой уродливый, что его доказывали в балагане за деньги. Фигляр.

— Ну и что же?

— Вы только что приняли его в пэры Англии.

— Вы сами — человек, который смеется, милорд Монтекьют.

— Я нисколько не смеюсь, милорд Дорчестер.

Виконт Монтекьют знаком подозвал парламентского клерка, и тот, поднявшись с мешка, набитого шерстью, подтвердил их светлостям факт принятия нового пэра. Затем он сообщил всякие подробности.

— Вот так штука, — сказал лорд Дорчестер, — а я все время беседовал с епископом Илийским!

Молодой граф Энсли подошел к старому лорду Юру, которому оставалось жить лишь два года, так как он умер в 1707 году.

— Милорд Юр?

— Милорд Энсли?

— Знали вы лорда Линнея Кленчарли?

— Старого лорда? Знал.

— Того, что умер в Швейцарии?

— Да. Мы были с ним в родстве.

— Того, что был республиканцем при Кромвеле и остался республиканцем при Карле Втором?

— Республиканцем? Вовсе нет. Он попросту обиделся. У него были личные счеты с королем. Я знаю из достоверных источников, что лорд Кленчарли помирился бы с ним, если бы ему предоставили место канцлера, доставшееся лорду Хайду.

— Вы удивляете меня, милорд Юр! Мне говорили, что лорд Кленчарли был честным человеком.

— Честный! Да разве честные люди существуют? Молодой человек, на свете нет честных людей.

— А Катон?

— Вы верите в Катона?

— А Аристид?

— Его прогнали, и поделом.

— А Томас Мор?

— Ему отрубили голову, и хорошо сделали.

— И, по вашему мнению, лорд Кленчарли…

— Был из той же породы. К тому же человек, добровольно остающийся в изгнании, просто смешон.

— Он там умер.

— Честолюбец, обманувшийся в своих расчетах.

Знал ли я его? Еще бы! Я был его лучшим другом.

— Известно ли вам, милорд Юр, что в Швейцарии он женился?

— Что-то слыхал об этом.

— И что от этого брака у него был законный сын?

— Да. Этот сын умер.

— Нет, он жив.

— Жив?

— Жив.

— Невозможно.

— Вполне возможно. Доказано. Засвидетельствовано. Официально признано судом. Зарегистрировано.

— В таком случае этот сын унаследует пэрство Кленчарли?

— Нет, не унаследует.

— Почему?

— Потому что он уже унаследовал. Дело сделано.

— Уже?

— Поверните голову, барон Юр. Он сидит за вами на скамье баронов.

Лорд Юр обернулся, но Гуинплен сидел, опустив голову, и лица его не было видно.

— Смотрите! — воскликнул старик, не видя

ничего, кроме волос Гуинплена. — Он уже усвоил новую моду. Он не носит парика.

Грентэм подошел к Колпеперу.

— Вот кто попался-то!

— Кто?

— Дэвид Дерри-Мойр.

— Почему?

— Он больше уже не пэр.

— Как так?

И Генри Оверкерк, граф Грентэм, рассказал Джону, барону Колпеперу, весь «анекдот», то есть историю о выброшенной морем и доставленной в адмиралтейство бутылке, о пергаменте компрачикосов, о королевском приказе, скрепленном подписью Джеффриса, об очной ставке в саутворкском застенке, о том, как отнеслись ко всем этим событиям лорд-канцлер и королева, об отречении от католических догматов в стеклянной ротонде, наконец, о принятии лорда Фармена Кленчарли в члены палаты перед началом заседания. Оба лорда старались разглядеть сидевшего между лордом Фицуолтером и лордом Эранделом нового пэра, о котором столько говорилось, но, так же как и лорду Юру и лорду Энсли, им это не удалось.

Быть может, случайно, а может быть, потому,

что об этом позаботились его восприемники, предупрежденные канцлером, Гуинплен сидел в тени, укрывавшей его от любопытных взоров.

— Где он, где же он?

Все, входя, задавали себе этот вопрос, но никому не удавалось как следует рассмотреть нового лорда. Некоторые, видевшие Гуинплена в «Зеленом ящике», сгорали от любопытства, но все их усилия были тщетны. Как иногда старые, вдовы благоразумно заслоняют собою от нескромных взоров молодую девушку, так и Гуинплен был укрыт за широкими спинами пожилых, немощных и ко всему безучастных лордов. Старики, страдающие подагрой, мало интересуются тем, что не имеет к ним прямого отношения.

По рукам ходила копия письма в три строки, которое, как уверяли, герцогиня Джозиана прислала своей сестре, королеве, в ответ на предложение Ее Величества выйти замуж за нового пэра, законного наследника баронов Кленчарли, лорда Фермена. Письмо это было следующего содержания:

«Государыня!

Я согласна. Это даст мне возможность взять себе в любовники лорда Дэвида».

Внизу стояла подпись: «Джозиана». Письмо это, настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг.

Молодой лорд Чарльз Окемптон, барон Мохен, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Льюис Дюрас, граф Фивершем, англичанин, отличавшийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мюхена.

— Вот женщина! — воскликнул лорд Мохен. — На такой стоит жениться!

И два лорда, сидевшие рядом с Дюрасом и Мохеном, услышали следующий разговор:

— Жениться на герцогине Джозиане, лорд Мохен?

— А почему бы нет?

— Черт возьми!

— Это было бы счастье!

— Это счастье делили бы с вами другие.

— Разве бывает иначе?

— Лорд Мохен, вы травы. Когда дело касается женщины, нам всегда перепадают крохи чужого пиршества. Кто положил этому начало?

— Адам, должно быть.

— Вовсе нет.

— Верно, сатана.

— Дорогой мой, — заметил в заключение Льюис Дюрас, — Адам только подставное лицо. Его надули, беднягу. Он взвалил себе на плечи весь род людской. Дьявол сотворил мужчину для женщины.

Натанаэль Крью, бывший вдвойне пэром, светским в качестве барона Крью и духовным в качестве епископа Дерхемского, сидя на епископской скамье, окликнул Гью Чолмлея, графа Чолмлея, известного законоведа:

— Возможно ли это?

— Вы хотите сказать — законно ли это? — поправил его Чолмлей.

— Принятие нового лорда совершилось не в зале палаты, — продолжал епископ, — хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше.

— Да. Лорд Бошан при Ричарде Втором, лорд Ченей при Елизавете.

— И лорд Брогил при Кромвеле.

— Кромвель в счет не идет.

— Что вы думаете, обо всем этом?

— Как сказать…

— Милорд граф Чолмлей, какое же место будет занимать в палате молодой Фермен Кленчарли?

— Милорд епископ, так как республика нарушила исконный порядок старшинства, то

пэрство Кленчарли занимает теперь среднее место между пэрством Барнард и пэрством Сомерс, следовательно, при подаче мнений лорд Фермен Кленчарли будет говорить восьмым.

— Подумать только! Ярмарочный фигляр!

— Происшествие само по себе не удивляет меня, милорд епископ. Такие вещи случаются. Бывают и еще более удивительные. Разве накануне войны Алой и Белой Розы первого января тысяча триста девяносто девятого года не высохла вдруг рева Уза в Бедфорде? Но если река может высохнуть, то и вельможа может впасть в унизительное состояние. Улиссу, царю Итаки, приходилось браться за всякую работу. Фермен Кленчарли оставался лордом под внешней оболочкой скомороха. Одежда простолюдина не умаляет того, в чьих жилах течет благородная кровь. Однако принесение присяги и принятие в члены палаты вне зала заседаний, хотя они и произведены вполне законно, могут все же вызвать возражения. Я полагаю, что нам необходимо сговориться, следует ли позднее сделать лорд-канцлеру запрос по этому поводу. Через несколько недель станет ясно, как нам поступить.

Епископ заметил:

— Все равно. Такого происшествия не было со

времени графа Джесбодуса.

На всех скамьях только и было разговору, что о Гуинплене, о «Человеке, который смеется», о Тедкастерской гостинице, о «Зеленом ящике», о «Побежденном хаосе», о Швейцарии, о Шильоне, о компрачикосах, об изгнании, об изуродовании, о республике, о Джеффрисе, об Иакове II, о приказе короля, о бутылке, откупоренной в адмиралтействе, об отце, лорде Линнее, о законном сыне, лорде Фермене, о побочном сыне, лорде Дэвиде, о возможных столкновениях между ними, о герцогине Джозиане, о лорд-канцлере, о королеве. Громкий шепот пробегал по залу с быстротою огня по пороховой дорожке. Без конца смаковали подробности. От всех этих толков в зале стоял непрерывный гул. Гуинплен лишь смутно слышал это гуденье, не подозревая, что причиной этого является он сам. Однако он был по-своему внимателен ко всему окружавшему, но только внимание его было обращено куда-то вглубь, а не на внешнюю сторону происходившего в зале. Избыток внимания вызывает обособленность.

Шум в палате не мешает заседанию идти своим чередом, так же как дорожная пыль не препятствует продвижению войск. Судьи, присутствующие в палате лордов в качестве зрителей и

имеющие право говорить не иначе, как отвечая на предлагаемые им вопросы, уселись на втором мешке с шерстью, а три государственных секретаря — на третьем. Наследники пэрских титулов собрались в отведенном им отделении позади трона, несовершеннолетние пэры заняли свою особую скамью. В 1705 году их было не меньше двенадцати: Хентингтон, Линкольн, Дорсет, Уорик, Бат, Берлингтон, Дервентуотер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгвил, Лонсдейл, Дадлей, Уорд и Картрет; среди этих юнцов было восемь графов, два виконта и два барона.

Каждый лорд занял свое место на одной из скамей, тремя ярусами окружавших зал. Почти все епископы были налицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймура, герцога Сомерсета, и кончая Георгом-Августом, курфюрстом Ганноверским, герцогом Кембриджским, младшим по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все сидели в порядке старшинства. Кавендиш, герцог Девоншир, чей дед приютил у себя в Гартвике девяностодвухлетнего Гоббса; Ленокс, герцог Ричмонд; три Фиц-Роя: герцог Саутгемптон, герцог Грефтон и герцог Нортемберленд; Бетлер, герцог Ормонд; Сомерсет, герцог Бофорт;

Боклерк, герцог Сент-Олбенс; Раулет, герцог Болтон; Осборн, герцог Лидс; Райотсли Рессел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было: «Che sara sara» («Будь что будет»), выражавшее полную покорность судьбе; Шеффилд, герцог Бекингем; Меннес, герцог Ретленд, и прочие. Ни Ховард, герцог Норфолк, ни Талбот, герцог Шрусбери, будучи католиками, не присутствовали на заседании, не было также Черчилля, герцога Мальборо — по-вашему Мальбрука, который к тому времени «в поход собрался» и воевал во Франции. Не было также шотландских герцогов Куинсбери, Монтроза и Роксберга, так как они были приняты в палату лордов только в 1707 году.

6. Верхняя и нижняя палаты

Вдруг зал ярко осветился. Четыре привратника принесли и поставили по обеим сторонам трона четыре высоких канделябра со множеством восковых свечей. Освещенный таким образом трон предстал в пурпурном сиянии. Пустой, но величественный. Сиди на нем сама королева, это вряд ли прибавило бы торжественности.

Вошел пристав черного жезла и, подняв кверху свой жезл, возгласил:

— Их милости комиссары Ее Величества.

Шум сразу прекратился.

На пороге большой двери появился клерк в парике и длиннополой мантии, держа в руках расшитую геральдическими лилиями подушку, на которой лежали свитки пергамента. Эти свитки были не что иное, как билли. От каждого из них свешивался шелковый плетеный шнурок с прикрепленным к концу шариком; некоторые из этих шариков были золотые. По этим шарикам — bills, или bulles, — законы зовутся в Англии биллями, а в Риме буллами.

За клерком выступали три человека в пэрских мантиях и шляпах с перьями.

Это были королевские комиссары. Первый из них был лорд-казначей Англии Годольфин, второй — лорд-председатель совета Пемброк, третий — лорд-хранитель собственной Ее Величества печати Ньюкасл.

Они шествовали один за другим не по старшинству титулов, а по старшинству должностей; Годольфин шел поэтому первым, а Ньюкасл последним, хотя и был герцогом.

Подойдя к скамье, стоявшей перед троном, они отвесили поклон «королевскому креслу», затем, снова надев шляпы, сели на скамью.

Лорд-канцлер, обратившись к приставу черного жезла, произнес:

— Позовите представителей палаты общин.

Пристав черного жезла вышел.

Парламентский клерк положил на стол, стоявший посредине помещения, подушку с биллями.

Наступил перерыв, продолжавшийся несколько минут. Два привратника поставили перед барьером трехступенчатый, обитый пунцовым бархатом помост, на котором золотые головки гвоздей были расположены узором геральдических лилий.

Двустворчатая дверь снова распахнулась, и чей-то голос возвестил:

— Верноподданные представители английской палаты общин!

Это пристав черного жезла объявил, о прибытии второй половины парламента.

Лорды надели шляпы.

Члены палаты общин, предшествуемые спикером, вошли с обнаженными головами.

Они остановились у барьера. На них были костюмы горожан, преимущественно черного цвета; каждый имел при себе шпагу.

Спикер, достопочтенный Джон Смит, эсквайр, депутат от Андовера, поднялся на помост перед

барьером. На нем была длинная мантия черного атласа с широкими рукавами и разрезами спереди и сзади, обшитыми завитушками из золотых шпуров; парик у него был немного меньше, чем у лорд-канцлера. Несмотря на его величественный вид, чувствовалось, что здесь он исполняет второстепенную роль.

Все члены палаты общин почтительно стояли с обнаженными головами перед лордами, сидевшими в шляпах.

Среди представителей нижней палаты можно было увидеть Джозефа Джекиля, главного судью города Честера, трех присяжных законоведов Ее Величества — Хупера, Пауиса и Паркера, генерального прокурора и генерального стряпчего Саймона Харкорта. За исключением нескольких баронетов, дворян и девяти лордов — Харпингтона, Виндзора, Вудстона, Мордаунта, Гремби, Скьюдемора, Фиц-Хардинга, Хайда и Беркли — сыновей пэров и наследников пэрств, все остальные принадлежали к среднему сословию. Они стояли темной молчаливой толпой.

Когда стих шум их шагов, глашатай пристава черного жезла, стоявший у дверей, воскликнул:

— Слушайте!

Коронный клерк встал. Он взял с подушки

пергамент и, развернув, прочел его. Это было послание королевы, в котором сообщалось, что своими представителями в парламенте с правом утверждать билли она назначает трех комиссаров, а именно…

Тут клерк повысил голос:

— Сиднея, графа Годольфина.

Клерк поклонился лорду Годольфину. Лорд Годольфин приподнял шляпу. Клерк продолжал:

— Томаса Герберта, графа Пемброка и Монтгомери.

Клерк поклонился лорду Пемброку. Лорд Пемброк прикоснулся к своей шляпе. Клерк продолжал:

— Джона Голлиса, герцога Ньюкасла.

Клерк поклонился лорду Ньюкаслу. Лорд Ньюкасл в ответ кивнул головой.

После этого коронный клерк снова сел. Поднялся парламентский клерк. Его помощник, стоявший на коленях позади него, последовал его примеру. Оба стали лицом к трону, а спиною к членам палаты общин.

На подушке лежало пять биллей. Эти пять биллей, принятые палатой общин и одобренные палатой лордов, ожидали королевской санкции.

Парламентский клерк прочел первый билль.

Этим актом нижней палаты издержки в сумме одного миллиона фунтов стерлингов, произведенные королевою на украшение ее резиденции в Гемптон-Корте, относились за счет государства.

Окончив чтение, клерк низко поклонился трону. Его помощник поклонился еще ниже, затем, став вполоборота к представителям палаты общин, произнес:

— Королева принимает ваше добровольное даяние и изъявляет на то свое согласие.

Затем клерк прочел второй билль.

Это был проект закона, присуждавшего к тюремному заключению и к штрафу всякого уклоняющегося от службы в войсках ополчения. Это ополчение, служившее в царствование Елизаветы без жалованья, в ту пору, когда ожидалось прибытие испанской Армады, выставило сто восемьдесят пять тысяч пехотинцев и сорок тысяч всадников.

Оба клерка снова поклонились «королевскому креслу», после чего помощник клерка, опять обернувшись через плечо в сторону палаты общин, произнес:

— Такова воля Ее Величества.

Третий билль увеличивал десятину и пребенду личфилдской и ковентрийской епархии, одной из

самых богатых в Англии, устанавливал ежегодную ренту кафедральному собору этой епархии, умножал число ее каноников и повышал доходы духовенства, для того чтобы, как говорилось во вступительной части проекта, «удовлетворить нужды нашей святой церкви». Четвертый билль вводил в бюджет новые налоги: на мраморную бумагу, на наемные кареты, которых в Лондоне насчитывалось около восьмисот и которые облагались пятьюдесятью фунтами стерлингов ежегодно; на адвокатов, прокуроров и судебных стряпчих — ежегодно по сорок восемь фунтов стерлингов с каждого; на дубленые кожи, «невзирая, — как говорилось во вступительной части, — на жалобы кожевников»; на мыло, «несмотря на протест городов Эксетера и Девоншира, в которых вырабатывается много саржи и сукна, а потому употребляется на промывку тканей много мыла»; на вино по четыре шиллинга с бочонка, на муку, на ячмень и хмель, причем этот последний налог подлежал возобновлению каждые четыре года ввиду того, что «нужды государства, — как говорилось все в том же предисловии, — должны быть выше коммерческих соображений»; далее устанавливался налог на корабельные грузы в размере от шести турских фунтов с тонны това-

ров, привозимых с запада, и до тысячи восьмисот турских фунтов с тонны товаров, привозимых с востока; кроме того, билль, объявляя недостаточной обычную подушную подать, уже собранную в текущем году, вводил дополнительный сбор во всем государстве по четыре шиллинга, или сорок восемь турских су, с каждого подданного, причем указывалось, что уклонившиеся от уплаты этого сбора будут обложены вдвойне. Пятый билль гласил, что ни один больной не может быть принят в больницу, если он не внесет одного фунта стерлингов на оплату своих похорон в случае смерти. Три последних билля, как и первые два, были утверждены палатой путем изложенной выше процедуры: поклона, отвешиваемого трону, и традиционной формулы: «такова воля королевы», которую произносил помощник клерка, став вполоборота к членам палаты общин.

Затем помощник клерка опять опустился на колени около четвертого мешка с шерстью, и лорд-канцлер возгласил:

— Да будет все исполнено, как на том согласились.

Этим завершалось «королевское заседание».

Спикер низко склонился перед канцлером и, пятясь, спустился с помоста, подбирая сзади во-

лочившуюся по полу мантию; все члены палаты, общин поклонились до самой земли и удалились из зала, между тем как лорды, не обращая внимания на вое эти почести, занялись очередными делами.

7. Жизненные бури страшнее океанских

Двери снова затворились; пристав черного жезла возвратился в зал; лорды-комиссары покинули государственную скамью и заняли отведенные им по должности три первых места на скамье герцогов, после чего лорд-канцлер взял слово:

— Милорды! Прения по обсуждавшемуся уже несколько дней биллю об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания его королевскому высочеству, принцу супругу Ее Величества, ныне закончены, и нам надлежит приступить к голосованию. Согласно обычаю, подача голосов начнется с младшего на скамье баронов. При поименном опросе каждый лорд встанет и ответит «доволен» или «недоволен», причем ему предоставлено право, если он сочтет это уместным, изложить причины своего согласия или несогласия. Клерк, приступите к опросу.

Парламентский клерк встал и раскрыл большой фолиант, лежавший на позолоченном пюпитре, так называемую «книгу пэрства».

В ту пору младшим по титулу членом парламента был лорд Джон Гарвей, получивший баронское и пэрское звание в 1703 году, — тот самый Гарвей, от которого впоследствии произошли маркизы Бристол.

Клерк провозгласил:

— Милорд Джон, барон Гарвей.

Старик в белокуром парике поднялся и заявил:

— Доволен.

И снова сел.

Помощник клерка записал его ответ.

Клерк продолжал:

— Милорд Фрэнсис Сеймур, барон Конуэй Килтелтег.

— Доволен, — пробормотал, приподнявшись, изящный молодой человек с лицом пажа, не подозревавший в ту пору, что ему суждено стать дедом маркизов Гартфордов.

— Милорд Джон Ливсон, барон Гоуэр, — продолжал клерк.

Барон Гоуэр, будущий родоначальник герцогов Саутерлендов, встал и, опускаясь на место, произнес:

— Доволен.

Клерк продолжал:

— Милорд Хинедж Финч, барон Гернсей.

Предок графов Эйлсфордов, столь же молодой и изящный, как прародитель маркизов Гертфордов, оправдал свой девиз «Aperto vivere vote»[270], громко объявив:

— Доволен.

Не успел он опуститься на место, как клерк вызвал пятого барона:

— Милорд Джон, барон Гренвилл.

— Доволен, — ответил, быстро поднявшись и снова сев на скамью, лорд Гренвилл Потридж, роду которого, за неимением наследников, предстояло угаснуть в 1709 году.

Клерк перешел к шестому лорду:

— Милорд Чарльз Монтег, барон Галифакс.

— Доволен, — ответил лорд Галифакс, носитель титула, под которым угасло имя Севилей и предстояло угаснуть роду Монтегов. Эту фамилию не следует смешивать с фамилиями Монтегю и Монтекьют.

И лорд Галифакс прибавил:

— Принц Георг получает известную сумму в

---

[270] Сноски: 270

«Жить, открыто изъявляя свою волю» (*лат.*).

качестве супруга Ее Величества, другую — как принц Датский, третью — как герцог Кемберлендский, четвертую — как главный адмирал Англии и Ирландии, но не получает ничего по должности главнокомандующего. Это несправедливо. В интересах английского народа необходимо положить конец такому беспорядку.

Затем лорд Галифакс произнес похвалу христианской религии, выразил осуждение папизму и подал свой голос за увеличение сумм на содержание принца.

Когда он уселся, клерк продолжал:

— Милорд Кристоф, барон Барнард.

Лорд Барнард, от которого впоследствии произошли герцоги Кливленды, услыхав свое имя, встал и объявил:

— Доволен.

Он не торопился садиться, так как на нем были прекрасные кружевные брыжи и ими стоило щегольнуть. Впрочем, это был вполне достойный джентльмен и храбрый воин.

Пока лорд Барнард опускался на скамью, клерк, до сих пор бегло читавший все знакомые имена, на мгновение запнулся. Он поправил очки и с удвоенным вниманием наклонился над книгой, потом, снова подняв голову, провозгласил:

— Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл.

Гуинплен поднялся.

— Недоволен, — сказал он.

Все головы повернулись к нему. Гуинплен стоял во весь рост. Свечи канделябров, горевшие по обеим сторонам трона, ярко освещали его лицо, отчетливо выступившее из мглы полутемного зала, словно маска среди клубов дыма.

Гуинплен сделал над собой то особое усилие, которое, как помнит читатель, было иногда в его власти. Огромным напряжением воли, не меньшим, чем то, которое потребовалось бы для укрощения тигра, ему удалось согнать со своего лица роковой смех. Он не смеялся. Это не могло продлиться долго. Лишь короткое время способны мы противиться тому, что является законом природы или нашей судьбой. Бывает, что море, не желая повиноваться закону тяготения, взвивается смерчем, вздымается кверху горой, но оно вскоре возвращается в прежнее состояние. Так было и с Гуинпленом. Сознавая торжественность минуты, он невероятным усилием воли на один лишь миг отразил на своем челе мрачные думы, отогнал свой безмолвный смех, удалил со своего изуродованного лица маску веселости; теперь он

был ужасен.

— Что это за человек? — раздался всеобщий крик.

Всех охватило неописуемое волнение.

Густая грива волос, два черных провала под бровями, пристальный взор глубоко запавших глаз, чудовищно уродливые черты, искаженные жуткой игрою светотени, — все это произвело ошеломляющее впечатление. Это превосходило всякие пределы. Сколько бы ни толковали о Гуинплене, лицо его всегда вызывало невольный ужас. Даже те, кто был в какой-то мере подготовлен к его виду, не ожидали такого потрясения. Вообразите себе вершину горы, где обитают боги, ясный вечер, веселое пиршество, собравшее всех небожителей, и вдруг, словно кровавая луна на горизонте, возникает перед ними исклеванное коршуном лицо Прометея. Олимп, взирающий на грозный Кавказ, — какое зрелище! Старые и молодые лорды, онемев от изумления, смотрели на Гуинплена.

Уважаемый всей палатой старик, перевидавший на своем веку много людей и событий, Томас, граф Уортон, представленный к герцогскому титулу, в ужасе вскочил со своего места.

— Что это значит? — закричал он. — Кто впу-

стил этого человека в палату? Выведите его!

И высокомерно обратился к Гуинплену:

— Кто вы? Откуда вы явились?

Гуинплен ответил:

— Из бездны.

И, скрестив руки на груди, окинул взглядом палату.

— Кто я? Я — нищета. Милорды, вы должны меня выслушать.

Дрожь охватила присутствующих. Воцарилась тишина.

Гуинплен продолжал.

— Милорды, вы — на вершине. Отлично. Нужно предположить, что у Бога есть на то свои причины. В ваших руках власть и богатство, все радости жизни, для вас всегда сияет солнце, вы пользуетесь неограниченным авторитетом, безраздельным счастьем, и вы забыли обо всем прочих людях. Пусть так. Но под вами, а может быть и над вами есть еще кое-кто. Милорды, я пришел, чтобы сообщить вам новость: на свете существует род человеческий.

Люди в собраниях похожи на детей; неожиданное происшествие для них — то же, что для ребенка коробка с сюрпризом: немного страшно и любопытно. Порой кажется, что стоит лишь

нажать пружинку — и выскочит чертик. Во Франции эта роль выпала на долю Мирабо, который тоже был безобразен.

Гуинплен чувствовал в эту минуту, что он внутренне будто вырастает. Те, к кому обращается оратор, служат для него как бы пьедесталом. Он стоит, так сказать, на возвышении, образованном людскими душами. Он чувствует у себя под ногами трепещущие человеческие сердца. Теперь Гуинплен был уже не тем человеком, который прошлой ночью был почти ничтожен. Дурман, вскруживший ему голову при внезапном подъеме, уже рассеялся, уже не застилал ему взора, и в том, что раньше соблазняло его тщеславие, Гуинплен видел теперь свое назначение. То, что сперва унизило его, теперь вознесло его на высоту. В душе его вспыхнул вдруг тот ослепительный свет, который рождается чувством долга.

Вокруг Гуинплена со всех сторон неслись крики:

— Слушайте! Слушайте!

Судорожным, сверхчеловеческим усилием воли ему асе еще удавалось удержать на своем лице зловеще-суровое выражение, сквозь которое готов был прорваться смех, точно дикий конь, стремящийся вырваться на свободу. Гуинплен

продолжал:

— Я поднялся сюда из низов. Милорды, вы знатны и богаты. Это таит опасность. Вы пользуетесь прикрывающим вас мраком. Но берегитесь, существует великая сила — заря. Заря непобедима. Она наступит. Она уже занимается. Она несет с собой потоки неодолимого света. И кто же помешает этой праще взметнуть солнце на небо? Солнце — это справедливость. Вы захватили в свои руки все преимущества. Страшитесь! Подлинный хозяин скоро постучится в дверь. Кто порождает привилегии? Случай. А что порождают привилегии? Злоупотребления. Однако ни то, ни другое не прочно. Будущее сулит вам беду. Я пришел предупредить вас. Я пришел изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье людей. Вы обладаете всем, но только потому, что обездолены другие. Милорды, я — адвокат, защищающий безнадежное дело. Однако Бог восстановит нарушенную справедливость. Сам я ничто, я только голос. Род человеческий — уста, и я их вопль. Вы услышите меня. Перед вами, пэры Англии, я открываю великий суд народа — этого властелина, подвергаемого пыткам, этого верховного судьи, которого ввергли в положение осужденного. Я изнемогаю под бременем того,

что хочу сказать. С чего начать? Не знаю. В безмерном море человеческих страданий я собрал по частям основные доводы моей обличительной речи. Что делать мне с ними теперь? Меня гнетет этот груз, и я сбрасываю его с себя наугад, в беспорядке. Предвидел ли я это? Нет. Вы удивлены? Я тоже. Еще вчера я был фигляром, сегодня я лорд. Непостижимая прихоть. Чья? Неведомого рока. Страшитесь! Милорды, вся лазурь неба принадлежит вам. В беспредельной Вселенной вы видите только ее праздничную сторону; знайте же, что в ней существует и тьма. Среди вас я — лорд Фермен Кленчарли, но настоящее мое имя — имя бедняка: меня зовут Гуинплен. Я — отверженный; меня выкроили из благородной ткани по капризу короля. Вот моя история. Некоторые из вас знали моего отца, я не знал его. Вас связывает с ним то, что он феодал, меня — то, что он изгнанник. Все, что сотворил Господь, — благо. Я был брошен в бездну. Для чего? Чтобы измерить всю глубину ее. Я водолаз, принесший со дна ее жемчужину — истину. Я говорю потому, что знаю. Вы должны выслушать меня, милорды. Я все видел, я все испытал. Страдание — это не просто слово, господа счастливцы. Страдание — это нищета, я знаю ее с детских лет; это холод, я дрожал от него; это

голод, я вкусил его; это унижения, я изведал их; это болезни, я перенес их; это позор, я испил чашу его до дна. И я изрыгну ее перед вами, и блевотина всех человеческих бедствий, забрызгав вам ноги, вспыхнет огнем. Я колебался, прежде чем согласился прийти сюда, ибо у меня есть другие обязанности. Сердце мое не с вами. Что произошло во мне — вас не касается; когда человек, которого вы называете приставом черного жезла, явился за мной от имени женщины, которую вы называете королевой, мне на одну минуту пришла мысль отказаться. Но мне показалось, будто незримая рука толкает меня сюда, и я повиновался. Я почувствовал, что мне необходимо появиться среди вас. Почему? Потому, что вчера еще на мне были лохмотья. Бог бросил меня в толпу голодных для того, чтобы я говорил о них сытым. О, сжальтесь! О, поверьте, вы не знаете того гибельного мира, к которому будто бы принадлежите. Вы стоите так высоко, что находитесь вне его пределов. О нем расскажу вам я. У меня достаточный опыт. Я пришел от тех, кого угнетают. Я могу сказать вам, как тяжел этот гнет. О вы, хозяева жизни, знаете ли вы — кто вы такие? Ведаете ли вы, что творите? Нет, не ведаете. Ах, все это страшно… Однажды ночью, бурной но-

чью, еще совсем ребенком, вступил я в эту глухую тьму, которую вы называете обществом. Я был сиротой, брошенным на произвол судьбы, я был совсем один в этом беспредельном мире. И первое, что я увидел, был закон, в образе виселицы; второе — богатство, в образе женщины, умершей от голода и холода; третье — будущее, в «образе умирающего ребенка; четвертое — добро, истина и справедливость, в лице бродяги, у которого был только один спутник и товарищ — волк.

В эту минуту Гуинплен, охваченный душераздирающим волнением, почувствовал, что к горлу у него подступают рыдания.

И одновременно с этим — о ужас! — его лицо перекосилось чудовищной гримасой смеха.

Этот смех был до того заразителен, что все присутствующие захохотали. Над собранием только что нависала мрачная туча; она могла разразиться чем-то страшным, — она разразилась весельем. Смех, словно припадок радостного безумия, охватил всю палату. Вершители народных судеб всегда рады позабавиться. Насмехаясь, они мстят за свою вынужденную чопорность.

Смех королей похож на смех богов, в нем всегда есть нечто жестокое. Лорды стали потешаться. К смеху присоединились издевательства. Во-

круг говорившего раздались рукоплескания, послышались оскорбления. Его осыпали градом убийственно ядовитых насмешек.

— Браво, Гуинплен! — Браво, «Человек, который смеется»! — Браво, харя из «Зеленого ящика»! — Браво, кабанье рыло с Таринзофилда! — Ты пришел дать нам представление! Прекрасно! Болтай сколько влезет! — Вот кто умеет потешить! — Здорово смеется эта скотина! — Здравствуй, паяц! — Привет лорду-клоуну! Продолжай свою проповедь! — И это пэр Англии?! — А ну-ка еще! — Нет! Нет! — Да! Да!

Лорд-канцлер чувствовал себя довольно неловко.

Глухой лорд Джеме Бутлер, герцог Ормонд, приставил в виде рупора руку к уху и спросил у Чарльза Боклерка, герцога Сент-Олбенс:

— Как он голосовал?

Сент-Олбенс ответил:

— Он недоволен.

— Еще бы, — заметил герцог Ормонд, — можно ли быть довольным с эдаким лицом!

Попробуйте вновь подчинить себе толпу, когда она вырвется из-под вашей власти; а ведь любое собрание — та же толпа. Красноречие — удила; когда удила лопнули, собрание встает на дыбы,

как необузданный конь, и будет брыкаться до тех пор, пока не выбьет оратора из седла. Аудитория всегда ненавидит оратора. Это — истина, недостаточно известная. Некоторым кажется, что стоит лишь натянуть поводья, и порядок восстановится. Однако это не так. Но всякий оратор бессознательно прибегает к этому средству. Гуинплен тоже прибегнул к нему.

Некоторое время он молча смотрел на хохотавших вокруг него людей.

— Значит, вы издеваетесь над несчастьем! — крикнул он. — Тише, пэры Англии! Судьи, слушайте же защитительную речь. О, заклинаю вас, сжальтесь! Над кем? Над собой. Кому угрожает опасность? Вам. Разве вы не видите, что перед вами весы, на одной чаше которых ваше могущество, на другой — ваша ответственность? Эти весы держит в руках сам господь. О, не смейтесь! Подумайте. Колебание этих весов не что иное, как трепет вашей совести. Вы ведь не злодеи. Вы такие же люди, как и все, не хуже и не лучше других. Вы мните себя богами, но стоит вам завтра заболеть, и вы увидите, как ваше божественное естество будет дрожать от лихорадки. Все мы стоим один другого. Я обращаюсь к людям честным — надеюсь, что такие здесь есть; я обращаюсь к

людям с возвышенным умом — надеюсь, такие здесь найдутся; я обращаюсь к благородным душам — надеюсь, что их здесь немало, Вы — отцы, сыновья и братья, значит, вам должны быть знакомы добрые чувства. Тот из вас, кто видел сегодня утром пробуждение своего ребенка, не может не быть добрым. Сердца у всех одинаковы. Человечество не что иное, как сердце. Угнетатели и угнетаемые отличаются друг от друга только тем, что одни находятся выше, а другие ниже. Вы попираете ногами головы людей, но это не ваша вина. Это вина той Вавилонской башни, какою является наш общественный строй. Башня сооружена неудачно, она кренится набок. Один этаж давит на другой. Выслушайте меня, я сейчас объясню вам все. О, ведь вы так могущественны, будьте же сострадательными; вы так сильны — будьте же добрыми. Если бы вы только знали, что мне пришлось видеть! Какие страдания — там, внизу! Род человеческий заключен в темницу. Сколько в нем осужденных, ни в чем не повинных! Они лишены света, лишены воздуха, они лишены мужества; у них нет даже надежды; но ужаснее всего то, что они все-таки ждут чего-то. Отдайте себе отчет во всех этих бедствиях. Есть существа, чья жизнь — та же смерть. Есть

девочки, которые в восемь лет уже занимаются проституцией, а в двадцать обращаются в старух. Жестокие кары ваших законов — они поистине ужасны. Я говорю бессвязно, я не выбираю слов; я высказываю то, что приходит мне на ум. Не далее, как вчера, я видел закованного в цепи обнаженного человека, на грудь ему навалили целую гору камней, и он умер во время пытки. Знаете ли вы об этом? Нет. Если бы вы знали, что творится рядом с вами, никто из вас не осмелился бы веселиться. А бывал ли кто-нибудь в Ньюкасле-на-Тайяе? Там, в копях, люди зачастую жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод, Или взять, например, Риблчестер в Ланкастерском графстве: он так обнищал, что превратился из города в деревню. Я не верю, чтобы принц Георг Датский нуждался в этих ста тысячах гиней. Пусть лучше в больницу принимают больного бедняка, не требуя с него заранее платы за погребение. В Карнарвоне, в Трейт-Море, так же как в Трейт-Бичене, народная нищета ужасна. В Стаффорде нельзя осушить болото потому, что нет денег. В Ланкашире закрыты все суконные фабрики. Всюду безработица. Известно ли вам, что рыбаки в Гарлехе питаются травой, когда улов рыбы

слишком мал? Известно ли вам, что в Бертон-Лезерсе еще есть прокаженные; их травят, как диких зверей, стреляя в них из ружей, когда они выходят из своих берлог? В Элсбери, принадлежащем одному из вас, никогда не прекращается голод. В Пенкридже, в Ковентри, где вы только что отпустили ассигнования на собор и где вы увеличили оклад епископу, в хижинах нет кроватей, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток, — дети, вместо колыбели, начинают жизнь в могиле. Я видел это собственными глазами. Милорды, знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду. Увы, вы заблуждаетесь. Вы идете по ложному пути. Вы увеличиваете нищету бедняка, чтобы возросло богатство богача. А между тем следовало бы поступать наоборот. Как! Отбирать у труженика, чтобы давать праздному, отнимать у нищего, чтобы дарить пресыщенному, отбирать у неимущего, чтобы давать государю! О да, в моих жилах течет старая республиканская кровь! По-моему, все это отвратительно. Я ненавижу королей. А как бесстыдны ваши женщины! Недавно мне рассказали печальную историю. О, я ненавижу Карла Второго! Этому королю отдалась женщи-

на, которую любил мой отец; распутница! она была его любовницей в то время, как мой отец умирал в изгнании. Карл Второй, Иаков Второй; после негодяя — злодей. Что такое в сущности король? Безвольный, жалкий человек, раб своих страстей и слабостей. На что нам нужен король? А вы кормите этого паразита. Из дождевого червя вы выращиваете удава. Солитера превращаете в дракона. Сжальтесь над бедняками! Вы увеличиваете налог в пользу трона. Будьте осторожны, издавая законы! Берегитесь тех несчастных, которых вы попираете пятой. Опустите глаза. Взгляните себе под ноги! О великие мира сего, на свете есть и обездоленные! Пожалейте их! Пожалейте самих себя! Ибо народ — в агонии, а те, кто умирает внизу, увлекают к гибели и тех, кто стоит наверху. Смерть уничтожает всех, никого не щадя. Когда наступает ночь, никто не в силах сохранить даже частицу дневного света. Если вы любите самих себя, спасайте других. Если корабль гибнет, никто из пассажиров не может относиться к этому равнодушно. Если потонут одни, то и других поглотит пучина. Знайте, бездна равно подстерегает всех.

Неудержимый смех усилился, хохотала вся палата. Впрочем, одной уже необычности этой

речи было достаточно, чтобы развеселить высокое собрание.

Быть внешне смешным, когда душа переживает трагедию, — что может быть унизительнее таких мучений, что может вызвать в человеке большую ярость? Именно это испытывал Гуинплен. Слова его бичевали, лицо вызывало хохот. Это было ужасно. В голосе его зазвучали вдруг пронзительные ноты:

— Им весело, этим людям! Что ж, прекрасно. Они смеются над агонией, они издеваются над предсмертным хрипом. Ах да, ведь они всемогущи. Возможно. Ну, хорошо, будущее покажет. Ах, да ведь я тоже один из них. Но я и ваш, о бедняки! Король продал меня, бедняк приютил меня. Кто изувечил меня? Монарх. Кто исцелил и вскормил? Нищий, сам умиравший с голоду. Я — лорд Кленчарли, но я останусь Гуинпленом. Я из стана знатных, но принадлежу к стану обездоленных. Я среди тех, кто наслаждается, но душой я с теми, кто страждет. Ах, как неправильно устроено наше общество! Но настанет день, когда оно сделается настоящим человеческим обществом. Не будет больше вельмож, будут только свободные люди. Не будет больше господ, будут только отцы. Вот каково будущее. И тогда исчезнут и низкопо-

клонство, и унижение, и невежество, не будет ни людей, превращенных в вьючных животных, ни придворных, ни лакеев, ни королей. Тогда засияет свет! А пока — я здесь. Это право дано мне, и я пользуюсь им. Есть ли у меня это право? Нет — если я пользуюсь им для себя. Да — если я пользуюсь им для других. Я буду говорить с лордами, ибо я сам — лорд. О братья мои, томящиеся там, внизу, я поведаю этим людям о вашей нужде. Я предстану перед ними, потрясая вашими жалкими отрепьями, я брошу эти лохмотья рабов в лицо господам; и им, высокомерным баловням судьбы, уж не избавиться от воспоминания о страждущих; им, владыкам земли, не освободиться от жгучей язвы нищеты, и тем хуже для них, если в этих лохмотьях кишит всякая нечисть, тем лучше, если она обрушится на львов.

Тут Гуинплен обернулся к писцам, стоявшим на коленях и писавшим на четвертом мешке с шерстью.

— Кто это там, на коленях? Что вы делаете? Встаньте! Ведь вы же люди.

Это внезапное обращение к подчиненным, которых лорду не подобает даже замечать, придало веселью палаты еще более бурный характер. Раньше кричали «браво», теперь стали кричать

«ура». От рукоплесканий перешли к стуку ногами. Можно было подумать, что находишься в «Зеленом ящике». Но в «Зеленом ящике» хохот толпы был торжеством Гуинплена, здесь же этот хохот уничтожал его. Смех стремится стать смертоносным оружием. Иногда хохотом пытаются убить человека.

Хохот превратился в пытку. Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело. Всякое происшествие — это вопросительный знак. Смеяться над ним — значит смеяться над загадкой. Но позади загадки — сфинкс, и он отнюдь не смеется.

Слышались противоречивые восклицания:

— Довольно! Долой! — Продолжай! Дальше!

Вильям Фармер, барон Лестер, кричал Гуинплену, как некогда Рик-Квайни Шекспиру:

— Histrio! Mima![271]

Лорд Воган, занимавший двадцать девятое место на баронской скамье и любивший изрекать сентенции, восклицал:

— Вот мы опять вернулись к временам, когда

---

[271] Сноски: 271
Скоморох! Комедиант! (*Лат.*)

пророчили животные. Среди человеческих уст заговорила и звериная пасть.

— Послушаем валаамову ослицу, — подхватил лорд Ярмут. Мясистый нос и перекошенный рот придавали лорду Ярмуту глубокомысленный вид.

— Мятежник Линней наказан в могиле, такой сын — кара отцу, — изрек Джон Гауф, епископ Личфилдский и Ковентрийский, на доходы которого посягнул в своей речи Гуинплен.

— Он *лжет*, — сказал лорд Чолмлей, законодатель и законовед. — То, что он называет пыткой, не что иное, как разумная мера, именуемая «длительный допрос с пристрастием». Пыток в Англии не существует.

Томас Уэнтворт, барон Реби, обратился к канцлеру:

— Милорд канцлер, закройте заседание!

— Нет! Нет! Нет! Пусть продолжает. Он забавляет нас. Гип! Гип! Гип! Ура!

Это кричали молодые лорды; их веселость граничила с неистовством. Особенно бесновались, захлебываясь от хохота и от ненависти, четверо из них: Лоуренс Хайд, граф Рочестер, Томас Тефтон, граф Тенет, виконт Хеттон и герцог Монтегю.

— В конуру, Гуинплен! — кричал Рочестер.

— Долой его! Долой! Долой! — орал Тенет.

Виконт Хеттон вынул из кармана пенни и бросил его Гуинплену.

Джон Кемпбел, граф Гринич, Севедж, граф Риверс, Томсон, барон Гевершем, Уорингтон, Эскрик, Ролстон, Рокингем, Картрет, Ленгдейл, Банистер Мейнард, Гудсон, Карнарвон, Кавендиш, Берлингтон, Роберт Дарси, граф Холдернес, Отер Виндзор, граф Плимут, — рукоплескали.

В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гуинплена. Можно было расслышать только одно слово: «Берегитесь!»

Ральф, герцог Монтегю, юноша с едва пробивавшимися усиками, только что кончивший курс в Оксфордском университете, сошел с герцогской скамьи, на которой он занимал девятнадцатое место, и, подойдя к Гуинплену, стал против него, скрестив руки на груди. На каждом лезвии есть наиболее острое место, и в каждом голосе есть наиболее оскорбительные интонации. Герцог Монтегю придал своему голосу именно такое выражение и, смеясь прямо в лицо Гуинплену, крикнул:

— Что ты тут рассказываешь?

— Я предсказываю, — ответил Гуинплен.

Снова раздался взрыв хохота, сквозь который немолчным рокотом прорывался глухой гнев. Один из несовершеннолетних пэров, Лайонел Кренсилд-Секвилл, граф Дорсет и Миддлсекс, стал ногами на скамью, со степенным видом, как подобает будущему законодателю, и, не смеясь, не говоря ни слова, обратил к Гуинплену свое свежее мальчишеское лицо и пожал плечами. Заметив это, епископ Сент-Асафский наклонился к уху своего соседа епископа Сент-Дэвидского, шепнул, указывая на Гуинплена: «Вот безумец!» — и, указав на подростка, прибавил: «А вот мудрец».

В хаосе насмешек выделялись громкие выкрики:

— Страшилище!

— Что означает все это?

— Оскорбление палаты!

— Это выродок, а не человек!

— Позор! Позор!

— Прекратить заседание!

— Нет, дайте ему кончить!

— Говори, шут!

Лорд Льюис Дюрас крикнул, подбоченясь:

— Ах, до чего же хорошо посмеяться! Как это полезно для моей печени! Предлагаю вынести постановление в нижеследующей редакции:

«Палата лордов изъявляет свою признательность забавнику из “Зеленого ящика”».

Как помнит читатель, Гуинплен мечтал совсем о другом приеме.

Тот, кто подымался по крутому песчаному, осыпающемуся скату над глубокой пропастью, кто чувствовал, как из-под его рук, из-под его пальцев, колен и ног ускользает точка опоры, кто тщетно пытался двигаться вверх по непокорному обрыву, опасаясь каждую минуту поскользнуться, скатываясь вниз вместо того, чтобы подыматься, спускаясь вместо того, чтобы восходить, увеличивая опасность при каждой попытке добраться до вершины, сползая все больше и больше при каждом движении, вызванном желанием спастись, кто чувствовал, что страшная бездна все ближе, кто ощущал мрачный холод и зияние разверзающейся перед ним пропасти, — тот испытал то, что испытывал в эти минуты Гуинплен.

Он чувствовал, как рушатся его гордые мечты, как мрачной пропастью разверзается перед ним вражда этих людей.

Всегда находится человек, способный в немногих словах выразить общее мнение.

Лорд Скерсдейл выразил единодушное чувство собрания, воскликнув:

— Зачем явилось сюда это чудовище?

Гуинплен вздрогнул, словно от нестерпимой боли; он резко выпрямился и пылающим взором окинул все скамьи.

— Зачем я явился сюда? Затем, чтобы повергнуть вас в ужас. Я чудовище, говорите вы? Нет, я — народ. Я выродок, по-вашему? Нет, я — все человечество. Выродки — это вы. Вы — химера, я — действительность. Я — Человек. Страшный. Человек, который смеется. Смеется над кем? Над вами. Над собой. Надо всем. О чем говорит этот смех? О вашем преступлении и о моей муке. И это преступление, эту муку он швыряет вам в лицо. Я смеюсь — и это значит: я плачу.

Он остановился. Шум утих. Кое-где еще смеялись, но уже не так громко. Он подумал было, что снова овладел вниманием слушателей. Передохнув, он продолжал:

— Маска вечного смеха на моем лице — дело рук короля. Этот смех выражает отчаяние. В этом смехе — ненависть и вынужденное безмолвие, ярость и безнадежность. Этот смех создан пыткой. Этот смех — итог насилия. Если бы так смеялся сатана, этот смех был бы осуждением Бога. Но предвечный не похож на бренных людей. Он совершенен, он справедлив, и деяния королей

ненавистны ему. А! Вы считаете меня выродком! Нет. Я — символ. О всемогущие глупцы, откройте же глаза! Я воплощаю в себе все. Я представляю собой человечество, изуродованное властителями. Человек искалечен. То, что сделано со мной, сделано со всем человеческим родам: изуродовали его право, справедливость, истину, разум, мышление, так же как мне изуродовали глаза, ноздри и уши; в сердце ему, так же как и мне, влили отраву горечи и гнева, а на лицо надели маску веселости. На то, к чему прикоснулся перст божий, легла хищная лапа короля. Чудовищная подмена! Епископы, пэры и принцы, знайте же, народ — это великий страдалец, который смеется сквозь слезы. Милорды, народ — это я. Сегодня вы угнетаете его, сегодня вы глумитесь надо мной. Но впереди — весна. Солнце весны растопит лед. То, что казалось камнем, станет потоком. Твердая по видимости почва провалится в воду. Одна трещина — и все рухнет. Наступит час, когда страшная судорога разобьет ваше иго, когда в ответ на ваше гиканье раздастся грозный рев. Этот час уже наступил однажды — ты пережил его, отец мой! — этот час господень назывался республикой: ее уничтожили, но она еще возродится. А пока помните, что длинную

череду вооруженных мечами королей пресек Кромвель, вооруженный топором. Трепещите! Близится неумолимый час расплаты, отрезанные когти вновь отрастают, вырванные языки превращаются в языки пламени, они взвиваются ввысь, подхваченные буйным ветром, и вопиют в бесконечности; голодные скрежещут зубами; рай, воздвигнутый над адом, колеблется; всюду страдания, горе, муки; то, что находится наверху, клонится вниз, а то, что лежит внизу, раскрывает зияющую пасть; тьма стремится стать светом; отверженные вступают в спор с блаженствующими. Это идет народ, говорю я вам, это поднимается человек; это наступает конец; это багряная заря катастрофы. Вот что кроется в смехе, над которым вы издеваетесь! В Лондоне — непрерывные празднества. Пусть так. По всей Англии — пиры и ликованье. Хорошо. Но послушайте! Все, что вы видите, — это я. Ваши празднества — это мой смех. Ваши пышные увеселения — это мой смех. Ваши бракосочетания, миропомазания, коронации — это мой смех. Празднества в честь рождения принцев — это мой смех. Гром над вашими головами — это мой смех!

Как можно было сдержаться, слыша такие слова? Смех возобновился, на этот раз с удручающей

силой. Из всех видов лавы, которые извергает, словно кратер вулкана, человеческий рот, самый едкий — это насмешка. Никакая толпа не в состоянии противиться соблазну жестокой потехи. Не все казни совершаются на эшафотах, и любое сборище людей, будь то уличная толпа или законодательная палата, всегда имеет наготове палача: палач этот — сарказм. Нет пытки, которая сравнялась бы с пыткой глумления. Этой пытке подвергся Гуинплен. Насмешки сыпались на него градом камней и градом картечи. Он оказался в роли детской игрушки, манекена, истукана, ярмарочного силомера, который бьют по голове, пробуя крепость кулака. Присутствующие подпрыгивали на своих местах, кричали «Еще!», покатывались от хохота, топали ногами, хватались за брыжи. Ни торжественность места, ни пурпур мантий, ни белизна горностая, ни внушительные размеры париков — ничто не могло остановить их. Хохотали лорды, хохотали епископы, хохотали судьи. Старики смеялись до слез, несовершеннолетние надрывались от смеха. Архиепископ Кентерберийский толкал локтем архиепископа Йоркского. Генри Комптон, епископ Лондонский, брат графа Нортгемптона, хватался за бока. Лорд-канцлер опускал глаза,

чтобы скрыть невольную улыбку. Смеялся даже пристав черного жезла, стоявший у перил, как живое олицетворение почтительности.

Гуинплен скрестил руки на груди: он был бледен. Окруженный всеми этими лоснящимися от удовольствия лицами, старыми и молодыми, среди взрывов гомерического хохота, в этом вихре рукоплесканий, топота, криков «Ура!», среди этого безудержного ликования, этого необузданного веселья, он чувствовал в душе могильный холод. Все было кончено. Отныне он не мог уже совладать ни с выражением смеха на своем лице, ни с теми, кто осыпал его оскорблениями.

Никогда еще не проявлялся с такой очевидностью извечный, роковой закон близости великого и смешного: хохот оказывается отзвуком мучительного вопля, пародия движется следом за отчаянием; никогда еще противоречие между кажущимся и действительным не вскрывалось столь, ужасно. Никогда еще более зловещий свет не озарял непроглядной тьмы человеческой души.

Гуинплен присутствовал при полном крушении своих чаяний: они были уничтожены смехом. Произошло нечто непоправимое. Упавший может встать, но человек раздавленный

уже не подымется. Нелепая, всепобеждающая насмешка обратила его в прах. Отныне у него не было никакой надежды. Все зависит от среды. То, что в «Зеленом ящике» было торжеством, в палате лордов оказалось падением и катастрофой. Рукоплескания, служившие там наградою, были здесь оскорблением. Он почувствовал теперь как бы изнанку своей личины. По одну сторону была симпатия простого люда, принимающего Гуинплена, по другую — ненависть знати, отвергающей лорда Фермена Кленчарли. Притягательная сила одних и отталкивающая сила других — обе одинаково влекли его во мрак. Ему казалось, будто кто-то напал на него сзади. Рок нередко наносит такие предательские удары. Потом все разъяснится, но пока судьба оказывается западней, и человек попадает в волчью яму. Гуинплену казалось, что он возносится вверх, а его осмеяли. Порой апофеозы завершаются мрачно. Существует зловещее слово: отрезвление. Это — трагическая мудрость, которую рождает опьянение. Застигнутый этой беспощадной бурей веселья, Гуинплен задумался.

Отдаться сумасшедшему смеху — то же, что плыть по воле волн. Сборище людей, охваченное неудержимым хохотом, — то же, что судно,

потерявшее компас. Никто уже не знал, ни чего он хочет, ни что он делает. Пришлось закрыть заседание.

«Ввиду происшедшего» лорд-канцлер отложил голосование на следующий день. Члены палаты стали расходиться. Поклонившись королевскому креслу, лорды покидали зал. Их смех еще звучал в коридорах, теряясь где-то в отдалении. Кроме официальных выходов, во всех залах заседаний есть еще много дверей, скрытых коврами, лепными украшениями стен и нишами; просачиваясь в эти выходы, как просачивается влага в трещины сосуда, публика быстро освобождает помещение. В несколько минут зал пустеет. Такие перемены наступают быстро, почти без переходов. В местах шумных сборищ сразу же воцаряется безмолвие.

Углубившись в раздумье, можно забыть обо всем и в конце концов оказаться как бы на другой планете. Гуинплен вдруг словно очнулся. Он был один в пустом зале; он и не заметил, как закрыли заседание. Все пэры куда-то исчезли, даже оба его восприемника. Осталось лишь несколько служителей палаты, ожидавших ухода «его милости», чтобы покрыть чехлами мебель и погасить свет. Он машинально надел шляпу, сошел со своей скамьи и направился к большим дверям, распах-

нутым в галерею. Когда он проходил мимо перил, привратник снял с него пэрскую мантию. Он едва обратил на это внимание. Мгновение спустя он был уже в галерее.

Слуги, находившиеся в зале, с удивлением заметили, что новый лорд вышел, не поклонившись трону.

8. Был бы хорошим братом, если бы не был примерным сыном

В галерее уже никого не было. Гуинплен прошел через стеклянную ротонду, откуда успели убрать кресло и столы и где не оставалось больше никаких следов церемонии его посвящения в пэры. Горевшие на равном расстоянии друг от друга люстры и канделябры указывали ему путь к выходу. Благодаря этой веренице огней Гуинплену удалось легко отыскать в путанице залов и коридоров дорогу, по которой он шел в палату вслед за герольдмейстером и приставом черного жезла. Он не встретил ни души, если не считать нескольких замешкавшихся старых лордов, тяжелыми шагами бредущих к выходу.

Вдруг среди безмолвия этих огромных пустынных залов до него долетел неясный гул

человеческих голосов, необычный для такого места и в столь поздний час. Он направился в ту сторону, откуда доносился шум, и очутился в широком, слабо освещенном вестибюле, служившем выходом из платы. Сквозь распахнутую стеклянную дверь виден был подъезд, лакей с факелами, площадь и ряд карет, ожидавших у подъезда.

Отсюда и исходил шум, услышанный Гуинпленом.

Около двери, под фонтаном, в вестибюле стояла кучка людей, которые бурно жестикулировали и громко о чем-то спорили. Незамеченный в полумраке Гуинплен подошел ближе.

Очевидно, здесь происходила ссора. Десять — двенадцать молодых лордов толпились у выхода, а какой-то человек в шляпе, как и они, стоял перед ними, гордо вскинув голову и преграждая им дорогу.

Кто был этот человек? Том-Джим-Джек.

Некоторые из лордов еще не сняли пэрской мантии, другие уже сбросили с себя парламентское одеяние и были в обыкновенном платье.

На шляпе Том-Джим-Джека развевались перья, но не белые, как у пэров, а зеленые с оранжевыми завитками; его костюм, сверху донизу расшитый золотыми галунами, был украшен у ворота и на

рукавах целыми каскадами лент и кружев; левой рукой он крепко сжимал рукоять висевшей сбоку шпаги, на бархатных ножнах и на перевязи которой были вышиты золотом адмиральские якоря.

Гуинплен услышал, как он говорил, обращаясь ко всем этим молодым лордам:

— Я назвал вас трусами. Вы требуете, чтобы я взял свои слова назад. Извольте. Вы не трусы. Вы идиоты. Вы все накинулись на одного. Это не трусость? Пожалуй. В таком случае это глупость. Вы слушали, но ровно ничего не поняли. Старики здесь тугоухи, а молодежь тупоумна. Я в достаточной мере принадлежу к вашей среде, чтобы иметь право высказывать вам такие истины. Этот новый лорд — существо странное, он наговорил кучу нелепостей, — согласен, но среди этих нелепостей было и много верного. Его речь была сбивчива, бестолкова, он произнес ее неумело, — не спорю; он слишком часто повторял «знаете ли вы, знаете ли вы», но человек, еще вчера бывший ярмарочным фигляром, не обязан говорить, как Аристотель или как Гильберт Барнет, епископ Сарумский. Его слова о нечисти, о львах, его обращение к помощникам клерков — все это было безвкусно. Черт возьми! Кто же спорит с вами? Это была безрассудная, беспоря-

дочная речь, где все было спутано, но иногда в ней проскальзывала настоящая правда. Говорить так, как он, не будучи опытным оратором, — это уже немалая заслуга. Хотел бы я увидеть вас на его месте. То, что он рассказал о прокаженных Бертон-Лезерса — факт бесспорный. К тому же не он первый говорит глупости в парламенте. Наконец, милорды, я не люблю, когда все нападают на одного, таков уж мой характер, а потому разрешите мне считать себя оскорбленным. Ваше поведение не нравится мне, я возмущен. Я не очень-то верю в Бога, но, когда он совершает добрые поступки, что случается с ним не каждый день, я готов склониться к мысли, что он существует; поэтому, например, я весьма признателен ему, если только он есть, за то, что он извлек из общественных низов пэра Англии и возвратил наследство законному владельцу; независимо от того, на руку мне это или нет, я рад, что мокрица внезапно превратилась в орла, Гуинплен — в Кленчарли. Милорды, я запрещаю вам держаться иного мнения. Жаль, что здесь нет Льюиса Дюраса. Он получил бы от меня по заслугам! Милорды, Фермен Кленчарли вел себя как лорд, а вы — как скоморохи. Что касается его смеха, он в нем не повинен. Вы потешались над его смехом. Нельзя

смеяться над несчастьем. Вы глупцы, и глупцы жестокие. Вы очень ошибаетесь, если полагаете, что нельзя посмеяться и над вами, вы сами безобразны, и вы не умеете одеваться. Милорд Хавершем, я видел третьего дня твою любовницу, она отвратительна. Хоть и герцогиня, но настоящая мартышка. Господа насмешники, повторяю вам, мне очень хотелось бы послушать, сумеете ли вы связать три-четыре слова кряду. Болтать может всякий, говорить — далеко не каждый. Вы воображаете себя образованными людьми на том лишь основании, что протирали штаны на скамьях в Оксфорде или Кембридже, и потому, что, прежде чем усесться в качестве пэров Англии на скамьи Вестминстер-Холла, вы хлопали ушами на скамьях Гонвиллского или Кайского колледжа. Я говорю вам в лицо: вы вели себя нагло с новым лордом.

Конечно, он чудовище, но чудовище, отданное на съедение диким зверям. Я предпочел бы быть на его месте, чем на вашем. Я присутствовал на заседании в качестве возможного наследника пэрства. Я все слышал. Я не имел права высказываться, но имею право быть порядочным человеком. Ваши насмешки возмутили меня. Когда я зол, я способен подняться на гору

Пендлхилл и набрать там травы «собачий зуб», хотя она навлекает молнию на голову того, кто срывает ее. Вот почему я поджидал вас здесь, у выхода. Объясниться никогда не лишнее, и мне нужно поговорить с вами. Понимаете ли вы, что в известной степени оскорбили и меня? Милорды, я твердо решил отправить кое-кого из вас на тот свет. Все вы, присутствующие здесь — Томас Тефтон, граф Тенет, Севедж, граф Риверс, Чарльз Спенсер, граф Сендерленд, Лоуренс Хайд, граф Рочестер, и вы, бароны Грей-Ролстон, Кери Хенсдон, Эскрик, Рокингем, ты, маленький Картрет, ты, Роберт Дарси, граф Холдернес, ты, Вильям, виконт Хеттон, и ты, Ральф, герцог Монтегю, и все остальные, — я, Дэвид Дерри-Мойр, моряк английского флота, бросаю вам вызов и настоятельно предлагаю вам запастись секундантами и свидетелями; я буду ждать вас, чтобы встретиться лицом к лицу и грудь с грудью нынче же вечером, сейчас же или завтра, днем или ночью, при солнечном свете или при свете факелов, в любом месте, в любое время и на каких угодно условиях, всюду, где только хватит места, чтобы скрестить два клинка; вы хорошо сделаете, если осмотрите ваши пистолеты и лезвия ваших шпаг, ибо я имею намерение сделать вакантными ваши пэрства.

Огль Кавендиш, прими меры предосторожности и вспомни свой девиз: «Cavendo tutus»[272]. Мармедьюк Ленгдейл, ты поступишь благоразумно, если, по примеру твоего предка Гундольда, велишь нести за собою гроб. Джордж Бутс, граф Уорингтон, не видать тебе больше своего графства в Честере, своего критского лабиринта и высоких башен Денгем-Месси. Что касается лорда Вогана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар, чтобы отвечать за них; поэтому за его слова я привлеку к ответу его племянника Ричарда Вогана, депутата города Мерионета в палате общин. Тебя, Джон Кемпбел, граф Гринич, я убью, как Эгон убил Мэтеса, но только честным ударом, а не сзади, так как я привык становиться к острию шпаги грудью, а не спиной. Это решено, милорды. А теперь, если угодно, прибегайте к колдовству, обращайтесь к гадалкам, натирайте себе тело мазями и снадобьями, делающими его неуязвимым, вешайте себе на шею дьявольские или Богородицыны ладанки, — я буду драться с вами, невзирая ни на какие благословения или колдовские заговоры, и не стану ощупывать вас, чтобы узнать, нет ли

---

[272] Сноски: 272
«Остерегаясь, будешь в безопасности» (*лат.*).

на вас талисманов. Я буду биться с вами пеший или конный. На любом перекрестке, если хотите — на Пикадилли или Черинг-Кроссе, пусть даже для нашего поединка разворотят мостовую, как это сделали во дворе Лувра для Гиза с Бассомпьером. Слышите вы? Я вызываю вас всех! Дорм, граф Карнарвон, я заставлю тебя проглотить мою шпагу до рукоятки, как это сделал Мароль с Лилем-Мариво; тогда увидим, будешь ли ты смеяться, милорд. Ты, Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девчонку, ты можешь выбрать себе место для могилы, где пожелаешь: на лужайке ли твоего Миддлсекского замка или в твоем Лендерсбергском саду в Йоркшире. Ставлю в известность ваши милости, что я не терплю дерзостей и накажу вас по заслугам, милорды. Я не допущу, чтобы вы глумились над лордом Ферменом Кленчарли. Он лучше вас. Как Кленчарли, он не менее знатен, чем вы, а как Гуинплен, он обладает умом, которого у вас нет. Я объявляю его дело своим делом, оскорбление, нанесенное ему, считаю нанесенным мне и возмущен вашими издевательствами над ним. Посмотрим, кто из нас останется жив, ибо я вызываю вас, слышите ли вы, на смертный бой; оружие и способ смерти выбирайте какие вам угодно, но так как вы в

то же время и джентльмены и грубые скоты, я соразмеряю свой вызов с вашими качествами и предлагаю вам все существующие способы взаимного истребления, начиная с дворянского оружия — шпаги и кончая простонародной кулачной расправой.

Этот яростный поток был встречен всеми молодыми людьми высокомерной улыбкой.

— Согласны, — ответили они.

— Я выбираю пистолет, — сказал Барлингтон.

— Я, — заявил Эскрик, — выбираю старинный поединок в огороженном месте на палицах и на кинжалах.

— Я, — сказал Холдернес, — рукопашную схватку на двух ножах, одном длинном и одном коротком.

— Лорд Дэвид, — ответил граф Тенет, — ты шотландец, и я выбираю палаш.

— Я — шпагу, — сказал Рокингем.

— Я, — объявил герцог Ральф, — предпочитаю бокс. Это благороднее!

Гуинплен вышел из темноты.

Он направился к человеку, который до сих пор назывался Том-Джим-Джеком, но теперь оказался кем-то совсем другим.

— Благодарю вас, — сказал он, — но это касается

только меня.

Все обернулись к нему.

Гуинплен подошел еще ближе. Какая-то сила толкала его к тому, кого все называли лордом Дэвидом и кто стал его защитником, если не более. Лорд Дэвид отступил.

— А! — воскликнул лорд Дэвид. — Это вы! Вы здесь? Прекрасно. Мне и вам надо сказать несколько слов Вы осмелились говорить о женщине, которая спервa любила лорда Линнея Кленчарли, а потом короля Карла Второго?

— Да, говорил.

— Сударь, вы оскорбили мою мать.

— Вашу мать? — воскликнул Гуинплен. — Значит… я чувствовал это… значит, мы…

— Братья, — закончил лорд Дэвид.

И он дал Гуинплену пощечину.

— Мы — братья, — повторил он. — Поэтому мы можем драться. Поединок возможен только между равными. Кто же мне более равен, чем собственный брат? Я пришлю к вам секундантов. Завтра мы будем драться насмерть.

Часть девятая

На развалинах
1. С высоты величия в бездну отчаяния

В то время, как на колокольне собора святого Павла пробило полночь, какой-то человек, перейдя Лондонский мост, углублялся в сеть саутворкских переулков. Фонари уже не горели, ибо в то время в Лондоне, как и в Париже, гасили городское освещение в одиннадцать часов, то есть именно тогда, когда оно всего нужнее. Темные улицы были безлюдны. Отсутствие фонарей сокращает количество прохожих. Человек шел большими шагами. На нем был костюм, совсем не подходящий для поздней прогулки по улицам: шитый золотом атласный камзол, шпага на боку, шляпа с белыми перьями; плаща на нем не было. Ночные сторожа при виде его говорили: «должно быть, какой-нибудь лорд, побившийся об заклад», — и уступали ему дорогу с уважением, с каким должно относиться и к лордам и к пари.

Человек этот был Гуинплен.

Он бежал из Лондона.

Куда он стремился, он и сам не знал. Как мы уже говорили, в душе, человека иногда бушует смерч, и для него земля и небо, море и суша, день и ночь, жизнь и смерть сливаются в непостижимый хаос.

Действительность душит нас. Мы раздавлены силами, в которые не верим. Откуда-то налетает ураган. Меркнет небесный свод. Бесконечность кажется пустотой. Мы перестаем ощущать самих себя. Мы чувствуем, что умираем. Мы стремимся к какой-то звезде. Что испытывал Гуинплен? Только жажду видеть Дею. Он весь был полон одним желанием: вернуться в «Зеленый ящик», в Тедкастерскую гостиницу, шумную, ярко освещенную, оглашаемую взрывами добродушного смеха простого народа; снова встретиться с Урсусом, с Гомо, снова увидеть Дею, вернуться к настоящей жизни.

Подобно тому, как стрела, выпущенная из лука, с роковою силою устремляется к цели, так и человек, истерзанный разочарованиями, устремляется к истине. Гуинплен торопился. Он приближался к Таринзофилду. Он уже не шел, он бежал. Его глаза впивались в расстилавшийся перед ним мрак; таким же жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани. Как радостна будет минута, когда он увидит освещенные окна Тедкастерской гостиницы!

Он вышел на «зеленую лужайку», обогнул забор: на противоположном конце пустыря перед ним выросло здание гостиницы — единственной,

как помнит читатель, жилой постройки на ярмарочной площади.

Он стал всматриваться. Света не было. Все окна были темны.

Он вздрогнул. Затем стал убеждать себя, что уже поздно, что харчевня закрыта, что дело объясняется просто: все спят, и ему надо только разбудить Никлса или Говикема, постучав в двери. Он двинулся туда. Он уже не бежал — он мчался изо всех сил.

Добравшись до харчевни, он остановился, с трудом переводя дыхание. Если человек, измученный жестокой душевной бурей, судорожно сопротивляясь натиску нежданных бедствий, не зная, жив ли он или мертв, все же способен с бережной заботливостью относиться к любимому существу — это верный признак истинно прекрасного сердца. Когда все оказывается поглощенным пучиной, всплывает наверх одна только нежность. Первое, о чем подумал Гуинплен, это как бы не испугать спящую Дею.

Он подошел к дому, стараясь производить как можно меньше шума. Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем Говикему; в этом закоулке, примыкавшем к нижнему залу харчевни, было маленькое оконце, выходив-

шее на площадь. Гуинплен тихонько постучал пальцем по стеклу. Надо было только разбудить Говикема.

Но в каморке никто не пошевелился. «В его возрасте, — решил Гуинплен, — спят очень крепко». Он стукнул в оконце еще раз. Никакого движения.

Он постучал сильнее два раза подряд. В чуланчике по-прежнему было тихо. Тогда, встревоженный, он подошел к дверям гостиницы и постучался.

Никакого ответа.

Чувствуя, что весь холодеет, он подумал: «Дядюшка Никлс стар, дети спят крепко, а у стариков сон тяжелый. Постучу погромче».

Он барабанил, бил кулаком, колотил изо всей силы. И это вызвало в нем далекое воспоминание об Уэймете, когда он, еще мальчиком, бродил ночью с малюткой Деей на руках.

Он стучался властно, как лорд; ведь он и был лордом, к несчастью.

В доме по-прежнему стояла мертвая тишина.

Он почувствовал, что теряет голову. Он уже перестал соблюдать осторожность. Он стал звать:

— Никлс! Говикем!

Он заглядывал в окна в надежде, не вспыхнет

ли где-нибудь огонек.

Никакого движения. Ни звука. Ни голоса. Ни малейшего света. Он подошел к воротам, стал стучаться, яростно грясти их и кричать:

— Урсус! Гомо!

Волк не залаял в ответ.

На лбу Гуинплена выступил холодный пот.

Он оглянулся вокруг. Стояла глухая ночь, но на небе было достаточно звезд, чтобы рассмотреть ярмарочную площадь. Его глазам представилась мрачная картина — кругом был голый пустырь; не осталось ни одного балагана. Ни одной палатки, никаких подмостков. Ни одной повозки. Цирка тоже не было. Там, где еще совсем недавно шумно кишел бродячий люд, теперь зияла зловещая черная пустота. Все исчезло.

Безумная тревога овладела Гуинпленом. Что это значит? Что случилось? Разве тут больше нет никого? Разве с его уходом рухнула вся его прежняя жизнь? Что же сделали с ними со всеми? Ах, боже мой!

Как ураган, он снова ринулся к гостинице. Он стал стучать в боковую дверь, в ворота, в окна, в ставни, стены, стучал кулаками, ногами, обезумев от ужаса и тоски. Он звал Никлса, Говикема, Фиби, Винос, Урсуса, Гомо. Стоя перед стеной, он

надрывался в криках, он стучал что было мочи. По временам он умолкал и прислушивался. Дом оставался нем и мертв. В отчаянии он снова принимался стучать и звать. Все вокруг гудело от его ударов, стука и криков. Это было похоже на раскаты грома, пытающиеся нарушить молчание гробницы.

Есть такая степень страха, когда человек сам делается страшен. Кто боится всего, тот уже ничего не боится. В такие минуты мы способны ударить ногой даже сфинкса. Мы не страшимся оскорбить неведомое. Гуинплен бушевал как помешанный, иногда останавливаясь, чтобы передохнуть, затем опять оглашал воздух непрерывными криками и зовом, как бы штурмуя это трагическое безмолвие.

Он сотни раз окликал всех, кто, по его предположению, мог находиться внутри, — всех, кроме Деи. Предосторожность, непонятная ему самому, но которую он, несмотря на всю свою растерянность, еще инстинктивно соблюдал.

Видя, что крики и призывы напрасны, он решил пробраться в дом. Он сказал себе: «Надо проникнуть внутрь». Разбив стекло в каморке Говикема и порезав при этом руку, он отодвинул задвижку и отворил оконце. Шпага мешала ему,

и он, гневно сорвав с себя перевязь, пояс и шпагу, швырнул все это на мостовую. Потом, вскарабкавшись на выступ стены, влез, несмотря на узкую оконную раму, в каморку; оттуда он пробрался в гостиницу.

В темноте еле была видна постель Говикема, но мальчика на ней не было. Раз не было Говикема, очевидно не было и Никлса. Весь дом был погружен во мрак. В этом совершенно темном помещении угадывалась таинственная неподвижность пустоты и та зловещая тишина, которая означает: «Здесь нет ни души». Содрогаясь, Гуинплен прошел в нижний зал; он натыкался на столы, ронял на пол посуду, опрокидывал скамьи, жбаны, шагал через стулья и, очутившись, у двери, выходившей на двор, так сильно ударил в нее коленом, что сбил щеколду. Дверь повернулась на петлях, Гуинплен заглянул во двор. «Зеленого ящика» там не было.

2. Последний итог

Гуинплен вышел из гостиницы и осмотрел во всех направлениях Таринзофилд. Он ходил всюду, где накануне стояли подмостки, палатки, балаганы. Теперь ничего от этого не осталось.

Он стучался в лавки, хотя отлично знал, что в них нет никого, колотил во все окна, ломился во все двери. Ни один голос не откликнулся из этой тьмы. Казалось, здесь вымерло решительно все.

Муравейник был разрушен. Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошел разбойничий набег. Таринзофилд не то что опустел, он был разорен; во всех его углах чувствовались следы чьих-то свирепых когтей. У этой жалкой ярмарки вывернули, так сказать, наизнанку карманы и опорожнили их.

Внимательно обследовав всю площадь, Гуинплен покинул «зеленую лужайку», свернул в извилистые переулки той части предместья, которая носит название Ист-Пойнта, и направился к Темзе.

Миновав запутанную сеть переулков, обнесенных заборами и изгородями, он почувствовал, что на него пахнуло свежестью воды, услыхал глухой плеск реки и вдруг очутился перед парапетом Эфрок-Стоуна.

Парапет окаймлял очень короткий и узкий участок набережной. Под парапетом высокая стена отвесно спускалась в темную воду.

Гуинплен остановился, облокотился на парапет, сжал обеими руками голову и задумался,

склонясь над водой.

На что он смотрел? На реку? Нет. Во что же он вглядывался? Во мрак. Но не в тот, что окружал его, а в тот, что наполнял его душу.

В унылом ночном пейзаже, которого он не замечал, в темноте, куда не проникал его взор, можно было различить черные силуэты рей и мачт. Под Эфрок-Стоуном не было ничего, кроме воды, но неподалеку, вниз по течению, набережная полого спускалась к берегу, где стояло несколько судов, только что прибывших или готовящихся к отплытию и сообщавшихся с сушей маленькими пристанями, сооруженными из камня или дерева, или дощатыми мостками. Одни суда стояли на якоре, другие — на причале. На них не слышалось ни шагов, ни разговоров, так как матросы имеют похвальную привычку спать как можно дольше и вставать только для работы. Даже если какому-либо из этих судов и предстояло уйти ночью во время прилива, то пока на нем еще никто не просыпался.

Во мгле смутно вырисовывались черные пузатые кузовы и такелаж, переплетения снастей и веревочных лестниц. Все затягивала сизая мглистая дымка. Местами ее прорезывал красный фонарь.

Ничего этого Гуинплен не замечал. Он созерцал собственную судьбу.

Он был погружен в раздумье, этот мечтатель, растерявшийся перед лицом неумолимой действительности. Ему чудилось, будто он слышит позади себя какой-то грохот, словно гул землетрясения. Это был хохот лордов.

Он только что бежал от этого хохота. Бежал, получив пощечину.

От кого? — От родного брата.

И, убежав от этого хохота, оглушенный пощечиной, спеша укрыться в своем гнезде, словно раненая птица, спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь, что встретил он?

Мрак.

Ни души.

Все исчезло.

Он сравнивал этот мрак со своими мечтами.

Все, все рухнуло!

Гуинплен подошел к самому краю зловещей пропасти, к зияющей пустоте.

«Зеленый ящик» исчез, и это было гибелью Вселенной.

Над ним как бы захлопнулась крышка гроба.

Он размышлял.

Что с ними могло произойти? Где они? Оче-

видно, их всех куда-то убрали. Тем же самым ударом, каким она вознесла его на высоту, судьба уничтожила его близких. Было ясно, что он их больше никогда не увидит. Для этого приняли необходимые меры. Сразу удалили всех до одного обитателей ярмарочной площади, начиная с Никлса и Говикема, чтобы он нигде не мог получить никаких сведений. Их смели беспощадной рукой. Та же грозная общественная сила, жертвой которой он стал в палате лордов, уничтожила Урсуса и Дею в их убогом жилище.

Они погибли. Дея погибла. Во всяком случае, для него. Навсегда. О силы небесные, где она? И его не было рядом, и он не защитил ее!

Строить догадки об отсутствующих, которых любишь, значит подвергать себя пытке. И Гуинплен переживал эту пытку. Куда бы ни устремлялась его мысль, какие бы предположения ни приходили ему на ум, все причиняло ему жестокую внутреннюю боль, и он глухо стонал.

В вихре проносившихся в его голове мучительных мыслей у него возникло внезапно воспоминание о том, несомненно роковом, человеке, который назывался Баркильфедро. Это он оставил в его мозгу те неясные слова, которые загорались теперь в его памяти, как будто были

начертаны огнем. Он чувствовал, как пылают они в его мозгу — эти, прежде загадочные, теперь ставшие понятными слова:

«Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув прежде другой».

Все было кончено. Последние тени сгустились над ним.

В жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто бы рушится мир. Это называется отчаянием. Душа в этот час полна падающих звезд.

Итак, вот что с ним случилось!

Откуда-то вдруг надвинулось облако дыма. Оно покрыло его, Гуинплена. Дым закрыл ему глаза; он проник в его мозг, он ослепил и одурманил его. Все это длилось недолго, только пока рассеялся дым. И вот рассеялось все — и дым и жизнь его. Очнувшись от этого страшного сна, он оказался одиноким.

Все исчезло. Все ушло. Все погибло. Ночь. Небытие. Вот что он видел вокруг себя.

Он был одинок.

Синоним одиночества — смерть.

Отчаяние — великий счетчик. Оно всему подводит итоги. Ничто не ускользает от него. Оно все подсчитывает, не упуская ни одного сантима. Оно

ставит в счет Богу и громовый удар и булавочный укол. Оно хочет точно знать, чего следует ждать от судьбы. Оно все принимает во внимание, взвешивает и высчитывает.

Как страшен этот наружный холод, под которым клокочет огненная лава!

Гуинплен заглянул в свою душу и посмотрел прямо в глаза своей судьбе. Оглядываясь назад, человек подводит страшный итог.

Находясь на вершине горы, мы всматриваемся в пропасть.

Упав в бездну, созерцаем небо.

И говорим себе: «Вот где я был».

Гуинплен познал всю глубину несчастья. И как быстро это случилось! Несчастье надвинулось на него так внезапно! А между тем оно так тяжело, что от него можно было бы ждать большей медлительности. Увы, это не так! Казалось бы, холод, присущий снегу, должен был сообщить ему оцепенелость зимы, а белизна — неподвижность савана. Однако это опровергается стремительным падением лавины.

Лавина — это снег, ставший огненной печью. Она ледяная, но все пожирает. Такая лавина увлекла за собой Гуинплена. Она оторвала его, как лоскут, вырвала с корнем, как дерево, швыр-

нула, как камень.

Он припомнил все обстоятельства своего падения. Сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Страдания — это допрос. Ни один судья не допрашивает обвиняемого так пытливо, как допрашивает нас собственная совесть.

В какой мере отчаяние Гуинплена было вызвано угрызениями совести?

Он пожелал дать себе в этом отчет и, как анатом, вскрыл свою душу. Мучительная операция.

Его отсутствие привело к катастрофе. Зависело ли оно от него? Действовал ли он по собственной воле? Нет. Он все время чувствовал себя пленником. Что же удерживало и останавливало его? Тюрьма? Нет. Цепи? Нет. Что же? Липкая смола. Он завяз в собственном величии.

Кому не случалось быть с виду свободным, но чувствовать, что у него связаны крылья!

Он будто попался в расставленные тенета. То, что вначале было соблазном, стало в конце концов пленом.

Совесть не давала ему покоя: разве он только подчинился обстоятельствам? Нет. Он охотно принял то, что предлагала ему судьба.

Правда, в известной мере над ним совершили насилие, его захватили врасплох, но и он в свою

очередь не воспротивился этому. В том, что его похитили, он не был виноват, но он проявил слабость, позволив одурманить себя. Была ведь решительная минута, когда ему задали вопрос: Баркильфедро предложил ему сделать выбор и предоставил полную возможность одним-единственным словом решить свою участь.

Гуинплен мог сказать «нет». Он сказал «да».

Это «да», произнесенное в состоянии полной растерянности, и повлекло за собою все остальное. Гуинплен сознавал это. И воспоминание об этой минуте вызвало теперь прилив горечи в его душе.

И все же Гуинплен пытался оправдаться перед самим собой, — неужели он так провинился, вступив в свои права, в свое исконное наследие, в свой дом, заняв в качестве патриция положение, принадлежавшее его предкам, и в качестве сироты приняв имя своего отца? На что он согласился? На восстановление своих прав. И с чьей помощью? С помощью провидения.

Но при мысли об этом его охватывал порыв возмущения. Какую глупость он совершил, дав свое согласие! В какую недостойную сделку вступил он! Какой нелепый обмен! Эта сделка принесла ему несчастье. Как! За два миллиона ежегодно-

го дохода, за семь-восемь поместий, за десять — двенадцать дворцов, за несколько особняков и за псовую охоту, кареты и гербы, за право быть судьей и законодателем, за честь носить корону и пурпурную мантию, как король, за титул барона, маркиза и пэра Англии он отдал балаган Урсуса и улыбку Деи! За всепоглощающую жизненную пучину он отдал подлинное счастье! За океан — жемчужину! О, безумец! О, глупец! О, простофиля!

Однако — и это возражение было достаточно основательным — разве в охватившей его горячке все было только нездоровым тщеславием? Быть может, отказаться от предложенных ему благ было бы эгоистичным; быть может, соглашаясь принять их, он действовал, повинуясь чувству долга? Что оставалось ему делать, когда он так внезапно превратился в лорда? Сложный круговорот событий повергает в замешательство каждого. Это случилось и с ним, Гуинпленом. Он растерялся, когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. Именно этой сковавшей его растерянностью и объясняется его покорность — в частности, то, что он позволил доставить себя из Корлеоне-Лоджа в палату лордов.

То, что в жизни называют «возвышением», — не что иное, как переход с пути спокойного на путь, полный тревоги. Где же прямая дорога? В чем состоит наш основной долг? В заботе ли о близких нам людях? Или обо всем человечестве? Не следует ли оставить малую семью ради большой? Человек поднимается вверх и чувствует на своей совести все увеличивающееся бремя. Чем выше подымается он, тем больше становится его долг по отношению к окружающим. Расширение прав влечет за собой увеличение обязанностей. Возникает соблазнительная иллюзия, будто перед нами расстилается одновременно несколько дорог и на каждую из этих дорог нам указывает наша совесть. Куда идти? Свернуть в сторону? Остановиться? Пойти вперед? Отступить? Что делать? Это странно, но у долга тоже есть свои перекрестки; ответственность бывает иногда настоящим лабиринтом.

И когда несешь в себе какую-то идею, когда ты не просто человек из плоти и крови, но и воплощение, но и символ, — разве твоя ответственность не больше? Вот чем объяснялись и сознательная покорность и немая тревога Гуинплена, вот почему согласился он заседать в палате лордов.

Человек, много думающий, часто бывает бездеятельным. Гуинплену казалось, что он повинуется голосу долга. Разве его вступление в парламент, где можно было бороться за угнетенный народ, не было осуществлением одной из самых заветных грез Гуинплена? Разве мог он отказаться, когда ему дано было право голоса, ему, чудовищному образчику уродливого общественного строя, ему, наглядной жертве произвола, под игом которого вот уже шесть тысяч лет стонет человеческий род? Имел ли он право уклониться от сходящего на него с неба огненного языка?

Что говорил себе Гуинплен в таинственном и ожесточенном споре с собственной совестью? Он говорил: «Народ молчит. Я буду неустанным глашатаем этого безмолвия; я буду говорить за немых. Я расскажу великим о малых, могущественным о слабых. В этом смысл моей судьбы. Господь знает, чего хочет, он осуществляет свои предначертания. Конечно, поразительно, что фляга Хардкванона, заключавшая в себе все необходимое для превращения Гуинплена в лорда Кленчарли, пятнадцать лет носилась по морю и ни бурные волны, ни рифы, ни шквалы не причинили ей никакого вреда. Я понимаю, почему. Есть жизненные жребии, остающиеся навеки тайной.

Я владею тайной своей судьбы; я знаю ее разгадку. Я предназначен Богом. На меня возложена миссия. Я буду лордом бедняков. Я буду говорить за всех молчащих и отчаявшихся. Я передам их несвязный лепет; я передам их ропот и стоны; я переведу на человеческий язык и неясный гул толпы, и невнятные жалобы, и косноязычные речи — все звериные крики, исторгаемые из людских уст страданием и невежеством. Ведь вопль страдания столь же невнятен, как вой ветра. Люди кричат, но слов у них нет, никто их не понимает, ибо вопить — то же, что молчать, а молчать — значит быть безоружным. Людей обезоружили насилием, и они зовут к себе на помощь. И я приду им на помощь. Я буду обличителем. Я буду голосом народа. Благодаря мне все станет понятно. Я буду окровавленными устами, с которых сорвана повязка. Я выскажу все. Это будет великим делом.

Да, говорить за немых — это прекрасно, но как тяжело говорить перед глухими! Это и было второй частью пережитой им трагедии.

Увы! Его постигла неудача.

Неудача непоправимая.

Его внезапное возвышение, в которое он поверил, видимость счастья, блестящая будущность

рухнули, едва только он коснулся их.

Какое падение! Потонуть в море смеха!

Он считал себя сильным, — столько лет его носили ветры в беспредельном море людских страданий, так чутко прислушивался он к его рокоту и слышал во мраке столько горестных воплей.

И вот он потерпел крушение, натолкнувшись на исполинский подводный камень — на ничтожество баловней счастья. Он считал себя мстителем, а оказался клоуном. Он думал разить громом, но только пощекотал противника. Вместо глубокого впечатления он вызвал только насмешки. Он рыдал, а ему ответили хохотом. Пучина этого смеха поглотила его. Мрачная гибель.

Над чем же смеялись? Над его смехом.

Итак, отвратительное насилие, след которого навсегда остался запечатленным на его лице, увечье, сообщившее ему выражение вечной веселости, клеймо смеха, скрывающее муки угнетенных, забавная маска, созданная пыткой, гримаса, исказившая его черты, рубцы, обозначавшие jussu regis, это вещественное доказательство преступления, совершенного королевской властью над целым народом, — вот что восторжествовало над ним, вот что сразило его; то, что должно было

обвинить палача, стало приговором для жертвы. Неслыханная несправедливость! Королевская власть, погубив отца, поражала теперь и сына. Совершенное некогда зло служило теперь предлогом для нового злодейства. На кого обратилось негодование лордов? На мучителя? Нет. На его жертву.

С одной стороны — трон, с другой — народ; здесь Иаков II, там — Гуинплен. Очная ставка проливала свет на посягательство и на преступление.

В чем заключалось посягательство? Он посмел жаловаться. В чем заключалось преступление? Он посмел страдать. Пусть нищета прячется и молчит, иначе она виновна в оскорблении величества. Были ли злы по природе люди, поднявшие Гуинплена на смех? Нет, но над ними также тяготел рок, неизбежная жестокость богатых и счастливых: они были палачами, сами того не подозревая. Они были весело настроены. Они просто нашли Гуинплена лишним.

У них на глазах он вскрыл себе грудь, он вынул из себя печень и сердце, он показал им свои раны, а они кричали ему: «Валяй, ломай комедию!» Всего ужаснее было то, что он сам смеялся. Страшные цепи сковывали его душу, не давая мысли отразиться на его лице. Все его существо было

изуродовано этой насильственной улыбкой, и в то время, как в нем бушевала ярость, черты его, противореча этой ярости, расплывались в смехе. Все кончено. Он — «Человек, который смеется», кариатида мира, исходящего слезами. Он — окаменевшая в смехе маска отчаяния, маска, запечатлевшая неисчислимые бедствия и навсегда обреченная служить для потехи и вызывать хохот; вместе со всеми угнетенными, чьим олицетворением он являлся, он разделял страшную участь — быть отчаянием, которому не верят. Над его терзаниями смеялись, он был чудовищным шутом, порожденным безысходной человеческой мукой, беглецом с каторги, где томились люди, забытые богом, бродягой, поднявшимся из народных низов, из «черни» до ступеней трона, к созвездиям избранных, скоморохом, забавлявшим вельмож, после того как он увеселял отверженных! Все его великодушие, весь энтузиазм, все красноречие — его сердце, душа, ярость, гнев, любовь, невыразимая скорбь — все это вызывало только смех. И он убеждался, как уже сказал лордам, что это не было исключением, а, напротив, заурядным, обычным фактом, настолько распространенным и неразрывно связанным с повседневной жизнью, что никто

уже не замечал его. Смеется умирающий с голоду, смеется нищий, смеется каторжник, смеется проститутка, смеется сирота, чтобы заработать себе на хлеб насущный, смеется раб, смеется солдат, смеется народ. Человеческое общество устроено так, что все его беды, все несчастья, все катастрофы, все болезни, все язвы, все агонии здесь, над зияющей бездной, разрешаются ужасающей гримасой смеха. И олицетворением этой гримасы был он.

Небесная воля, неведомая сила, правящая нами, пожелала, чтобы доступный взору и осязанию призрак, призрак из плоти и крови, явился исчерпывающим выражением чудовищной пародии, которую мы называем миром. Этим призраком был он, Гуинплен.

Рок неумолим.

Он взывал: «Сжальтесь над страждущими!» Тщетный призыв.

Он хотел вызвать жалость, а вызвал отвращение. Появление призрака пробудило только это чувство. Но, будучи призраком, он был и человеком — мучительное осложнение. У привидения была человеческая душа. Он был человеком в большей мере, быть может, чем кто бы то ни было, ибо двойственная судьба его воплощала в себе

все человечество. Однако, являясь выразителем человечества, он все же чувствовал себя вне его.

Какое-то неодолимое противоречие крылось в самой его судьбе. Кем был он? Обездоленным бродягой? Нет, ведь он оказался лордом. Кем он стал? Лордом? Нет, ведь он мятежник. Он был светоносцем и грозным нарушителем общественного спокойствия. Правда, не сатана, но Люцифер. Он явился как зловещее привидение с факелом в руке.

Зловещее для кого? Для зловещих. Грозное для кого? Для грозных. Потому-то они и отвергли его. Находиться в их среде? Быть допущенным в нее? Никогда! Препятствие, каким являлось его лицо, было ужасно, препятствие, каким были мысли, оказалось необоримым. Его речь казалась еще более отталкивающей, чем его лицо. Его понятия были несовместимы с понятиями того особого мира знатных и могущественных людей, где он по роковой случайности родился и откуда его изгнала другая роковая случайность. Между людьми и его лицом стояла преградой маска смеха, а между высокородным обществом и его образом мыслей высилась стена. Бродячий фигляр, с детства сроднившийся с живучей, крепкой средою, которую называют простонародьем, вобравший в себя

магнитные токи бесчисленных людских толп, насквозь пропитавшийся всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя частицей его угнетенных масс и не мог смотреть на мир глазами господствующих классов. Ему не было места наверху общественной лестницы. Он поднялся из колодца Истины и все еще был покрыт ее влагой. От него исходило зловоние омута. Он внушал отвращение этим вельможам, благоухающим ложью. Тому, кто живет обманом, истина кажется смрадной. Того, кто жаждет лести, тошнит от правды, если ему нечаянно придется отведать ее. Все, что принес с собой Гуинплен, было неприемлемо для лордов. Что же он принес с собою? Разум, мудрость, справедливость. Они с гадливостью оттолкнули его.

В палате заседали епископы. Он был неугоден их богу. Кто он такой, этот непрошенный гость?

Противоположные полюсы взаимно отталкиваются. Соединить их невозможно. Переходных ступеней нет между ними. Читатель видел, к какому взрыву глумящегося хохота привела страшная очная ставка людских страданий, сосредоточенных в одном человеке, с высокомерием и гордостью, сосредоточенными в касте.

Обвинять бесполезно. Достаточно установить

факт. И Гуинплен, размышляя в эту трагическую для него минуту, понял глубочайшую бесполезность своих усилий, понял глухоту представителей знати. Привилегированные слои общества глухи к воплям обездоленных. Виновны ли они в этом? Нет. К сожалению, это закон их существования. Простим им это. Если бы их тронул голос несчастных, им пришлось бы отказаться от своих привилегий. От принцев и вельмож нечего ждать хорошего. Тот, кто всем удовлетворен, — неумолим. Сытый голодного не разумеет. Баловни счастья ничего не хотят знать, они отгородились от несчастных. На пороге их рая, так же как на вратах ада, следовало бы написать: «Оставь надежду навсегда».

Гуинплена встретили так, как встретили бы призрак, явившийся в чертоги богов.

Гнев закипал в нем при этом воспоминании. Нет, он не призрак, он человек. Он говорил им это, он кричал им, что он Человек.

Он не был привидением. Он был трепещущей плотью. У него был мозг, и мозг этот мыслил; у него было сердце, и сердце это любило; у него была душа, и он надеялся. В том-то и состояла его ошибка, что он надеялся понапрасну.

Увы, он до того увлекся надеждами, что поверил

в блестящий и таинственный мир, имя которому — общество. Он, которого когда-то вышвырнули из общества, решился вернуться в него.

И общество сразу же поднесло ему три своих дара: брак, семью и сословие. Брак? На пороге брака он столкнулся с развратом. Семья? Брат дал ему пощечину и ждал его завтра с оружием в руке. Сословие? Оно только что хохотало ему в лицо, ему, патрицию, ему, отверженному! Оно изгнало его, едва успев принять. Он ступил только три шага в глубоком мраке, каким оказалось это общество, а под его ногами уже разверзлось три бездны.

Его несчастье началось с предательского превращения. Катастрофа подкралась к нему под видом апофеоза! «Подымайся!» означало «Падай!»

Он был своего рода противоположностью Иову: источником его бедствий оказалось его благоденствие.

О трагическая загадка человеческой судьбы! Сколько козней скрывается в ней! Ребенком он боролся с ночью и одолел ее. Став взрослым, он боролся с выпавшим ему жребием и одержал над ним верх. Из урода сделался существом, окруженным сиянием славы, из несчастного — счастливцем. Место своего изгнания он превратил в свой

приют. Бродяга, он преодолевал пространство и, подобно птицам небесным, скитаясь, находил себе пропитание. Нелюдим, он померился силами с толпой и завоевал ее расположение. Атлет, он боролся с народом, с этим львом, и лев стал его другом. Неимущий, он боролся с нуждою; став лицом к лицу с суровой необходимостью добывать себе хлеб насущный и умудряясь даже нищету сочетать с сердечными радостями, он превратил свою бедность в богатство. Он имел право считать себя победителем жизни. И вдруг из неведомой глубины перед ним возникли новые враждебные силы — на этот раз уже не грозные, а ласковые и льстивые; ему, охваченному чистой любовью, предстала чувственная, хищная любовь; он, живший идеалом, оказался во власти плотских вожделений; он услышал слова страсти, походившие на яростные вопли; он испытал женские объятия, напоминавшие змеиные кольца, свет истины сменился очарованием лжи, ибо правда не плоть, а душа. Плоть — зола, душа — пламя. Горсть людей, связанных с ним узами бедности и труда и составлявших его настоящую семью, заменила семья кровных родственников, хотя и смешанной крови, и, едва вступив в эту семью, он сразу очутился лицом к лицу с призраком

братоубийства. Увы, он позволил ввести себя в то самое общество, о котором Брантом (впрочем, Гуинплен и не читал его) писал: «Сын может вызвать отца на дуэль, и это считается в порядке вещей». Роковая судьба крикнула ему: «Ты не принадлежишь к толпе, ты принадлежишь к сонму избранных!» — и распахнула у него над головой, точно врата на небо, свод общественного здания; втолкнув его в это отверстие, она заставила его нежданным и грозным видением появиться среди сильных мира сего.

И вдруг, вместо простого люда, рукоплескавшего ему, он увидал вельмож, осыпавших его проклятиями. Печальная перемена. Постыдное возвышение. Внезапная гибель всего, что составляло его счастье. Дикая травля, крушение всей его жизни. Удары орлиных клювов, рвавших на части Гуинплена, Кленчарли, лорда, фигляра, его прошлое и его будущее.

Стоило ли одолевать препятствия в начале жизненного пути? Стоило ли одерживать победу? Увы, ему суждено было быть ниспровергнутым, чтобы завершилась его судьба.

Итак, отчасти подчиняясь насилию, отчасти по доброй воле (ведь после жезлоносца ему пришлось иметь дело с Баркильфедро, и переезд в

палату лордов совершился не без его, Гуинплена, согласия), он променял действительность на химеру, истину на ложь, Дею на Джозиану, любовь на тщеславие, свободу на могущество, гордый честный труд на богатство и связанную с ним тяжкую ответственность, сумрак, укрывающий божество, на адское пламя, где обитают демоны, рай на Олимп!

Он вкусил от золотого плода, и во рту у него остался пепел.

Скорбный итог! Разгром, банкротство, падение, гибель, поругание всех надежд, уничтоженных злобным смехом, беспредельное отчаяние. Что делать теперь? Что сулит ему завтрашний день? Острие обнаженной шпаги, направленной в его грудь рукою брата. Он видел только ужасный блеск этой шпаги. Остальное — Джозиана, палата лордов — все было позади в чудовищном полумраке, полном трагических теней.

А этот брат, показавшийся ему таким отважным, таким рыцарски благородным! Увы, этот Том-Джим-Джек, защищавший Гуинплена, этот лорд Дэвид, вступившийся за лорда Кленчарли, мелькнул перед ним лишь на одно короткое мгновение, успев только внушить любовь к себе и дать ему пощечину.

Сколько горестных событий!

Идти дальше было некуда: все вокруг рухнуло. Да и к чему? Отчаяние лишает человека последних сил.

Опыт был сделан, и повторять его было незачем.

Гуинплен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри. Он позволил заманить себя в страшный игорный дом. Не отдавая себе отчета в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщений, он поставил на карту Дею против Джозианы — и выиграл чудовище. Поставил Урсуса против семьи — и выиграл бесчестье. Поставил подмостки фигляра против скамьи лорда — и вместо восторженных криков услыхал проклятия.

Последняя его карта упала на роковой зеленый ковер опустевшей ярмарочной площади. Гуинплен проиграл. Оставалось одно — расплатиться. Расплачивайся же, несчастный!

Пораженные молнией не двигаются. Гуинплен как будто оцепенел. Всякий, кто издали увидал бы его, застывшего неподвижно у края парапета, подумал бы, что это каменное изваяние.

Ад, змея и человеческая мечта могут образовать замкнутый круг. Гуинплен все глубже и глубже

погружался в мрачное раздумье.

Он мысленно окинул только что представшее ему общество холодным прощальным взглядом.

Брак без любви, семья без братской привязанности, богатство без совести, красота без целомудрия, правосудие без справедливости, порядок без равновесия, могущество без разума, власть без права, блеск без света. Беспощадный итог! Он мысленно перебрал все проносившиеся перед его взором видения. Последовательно подверг оценке свою судьбу, свое положение, общество и самого себя. Чем была для него судьба? Западней. Его положение? Отчаянием. Общество? Ненавистью. А он сам? Побежденным. В глубине души он воскликнул: «Общество — мачеха, природа — мать. Общество — это мир, в котором живет наше тело, природа — мир нашей души. Первое приводит человека к гробу, к сосновому ящику в могиле, к червям и на том и кончается. Вторая ведет к вольному полету, к преображению в лучах зари, к растворению в беспредельности, где сияют звезды и не иссякает жизнь».

Мало-помалу Гуинпленом овладевал вихрь скорбных мыслей. Все, с чем мы расстаемся перед смертью, предстает нам, словно при вспышке молнии.

Кто судит, тот сопоставляет. Гуинплен сравнил то, что дало ему общество, с тем, что дала ему природа. Как она была добра к нему! Как она поддерживала его, как помогала ему! Все было отнято у него — все, вплоть до лица; природа все возвратила ему — все, даже лицо, ибо на земле жил слепой ангел, созданный нарочно для него, не видевший его безобразия и разгадавший его красоту.

И он позволил разлучить себя со всем этим! Он покинул восхитительное существо, сердце, сроднившееся с ним, нежную любовь, божественный слепой взор, единственный взор, сумевший его разглядеть! Дея была его сестрой, ибо он чувствовал между собой и ею те высокие братские узы, ту тайну, в которой заключено все небо. С детских лет Дея была его невестой, ибо каждый ребенок имеет такую избранницу, и жизнь всегда начинается чистым союзом двух непорочных душ, двух маленьких невинных существ. Дея была его супругой, ибо у них на самой вершине высокого дерева Гименея было свое гнездо. Больше того, Дея была его светом: без нее все казалось небытием и пустотой, и он видел ее окруженною лучезарным сиянием. Как жить без Деи? Что делать ему с собой? Без нее все в нем было

мертво. Как же мог он потерять ее из виду хотя бы на мгновение? О, несчастный! Он позволил себе уклониться от своей путеводной звезды, а там, где действуют грозные, неведомые силы притяжения, всякое уклонение сразу влечет в бездну. Куда же закатилась его звезда? Дея! Дея! Дея! Дея! Увы! Он потерял свое светило. Удалите заезды с неба, — что останется от него? Сплошной мрак. Но почему же все это исчезло? О, как он был счастлив! Бог создал для него рай, вплоть до того, что впустил туда и змия! Но на этот раз искушению подвергся мужчина. Его похитили оттуда, и он попал в страшную западню, в адский хаос мрачного хохота. Горе! Горе! Как ужасно было все то, что околдовало его! Что такое эта Джозиана? Страшная женщина, не то зверь, не то богиня! Из пропасти, куда его низвергли, Гуинплен видел теперь оборотную сторону того, что недавно так ослепляло его. Это было отвратительное зрелище. Знатность оказалась уродливой, корона отвратительной, пурпурная мантия мрачной, стены дворцов насквозь пропитанными ядом, трофеи, статуи, гербы — фальшивыми; в самом воздухе было что-то нездоровое, что-то предательское, способное свести с ума. О, как великолепны были лохмотья фигляра Гуинплена! Как вернуть теперь

«Зеленый ящик», бедность, радость, счастливую бродячую жизнь вместе с Деей, похожую на жизнь ласточек? Они не расставались друг с другом, встречались ежеминутно, вечером, утром, за столом касались друг друга локтями, коленями, пили из одного стакана. Солнце заглядывало в окошко, но оно было только солнцем, Дея же была любовью. Ночью они чувствовали, что спят почти рядом, и сновидения Деи витали над Гуинпленом, а сновидения Гуинплена реяли над Деей! Пробуждаясь, они не могли поручиться, что не обменялись поцелуями в голубой дымке сонных грез. Вся невинность была воплощена в Дее, вся мудрость — в Урсусе. Они переходили из города в город, напутствуемые и поддерживаемые неподдельным весельем любившего их народа. Они были странствующими ангелами, в достаточной мере людьми, чтобы ступать по земле, и недостаточно крылатыми, чтобы улететь на небо. А теперь все исчезло. Куда? Неужели они скрылись бесследно? Каким могильным ветром унесло их? Они поглощены мраком, потеряны безвозвратно. Увы! Неумолимые деспоты, угнетающие малых людей, имеют в своем распоряжении все темные силы и способны на все. Что сделали с ними? И его не было тут, чтобы заступиться за них, чтобы

заслонить их грудью, защитить своим титулом лорда, своей знатностью и шпагой, своими кулаками фигляра! И вдруг ему в голову пришла горькая мысль, быть может, самая горькая из всех. Нет, он не мог бы их защитить. Именно он был причиной их гибели. Ведь только для того, чтобы уберечь его, лорда Кленчарли, от них, чтобы оградить его достоинство от соприкосновения с ними, на них и обрушился всей своей гнусной тяжестью полновластный общественный произвол. Лучшим средством защитить их было бы для Гуинплена исчезнуть, тогда отпали бы все поводы их преследовать. Не будь его, их оставили бы в покое. Это леденящее душу открытие придало новый оборот его мыслям. О, почему он позволил разлучить себя с Деей? Разве его первым долгом не было охранять Дею? Служить народу и защищать его? Но разве Дея не воплощение народа? Дея — сирота, слепая, само человечество! Ах, что сделали с ними? Жгучее, мучительное сожаление! Катастрофа разразилась только потому, что его не было с ними. Иначе он разделил бы их участь: он увел бы их с собою, либо погиб бы с ними вместе. Что станется с ним теперь? Разве может существовать Гуинплен без Деи? С ее утратой потеряно все. Ах, все кончено! Эта горсточка

любимых, родных людей пропала безвозвратно. Наступил конец всему. Зачем теперь ему продолжать борьбу, если он осужден и отвержен? Нечего больше ждать ни от людей, ни от неба. Дея! Дея! Где Дея? Потеряна! Неужели потеряна? Тот, кто утратил душу, может снова обрести ее лишь в смерти.

В скорбном волнении Гуинплен положил руку на парапет, как бы найдя решение, и посмотрел на реку.

Он не спал уже третью ночь. Его била лихорадка. Мысли, казавшиеся ему ясными, в действительности были смутны. Он испытывал неодолимую потребность уснуть.

Несколько мгновений стоял он, наклонившись над водой; черная гладь сулила ему спокойное ложе, вечное забвение… Страшный соблазн.

Он снял с себя кафтан и положил его на парапет, затем расстегнул камзол; когда он начал снимать его, рука наткнулась на какой-то предмет, лежавший в кармане. Это была красная книжечка, которую ему вручил «библиотекарь» палаты лордов. Он вынул книжечку из кармана, посмотрел на нее три тусклом свете, нашел карандаш и написал на первой чистой странице следующие две строки: «Я ухожу. Пусть мой брат

Дэвид займет мое место и будет счастлив». И подписал: «Фермен Кленчарли, пэр Англии».

Затем он снял камзол и положил его на кафтан. Снял шляпу и положил ее на камзол; записную книжку, открытую на той странице, где сделал надпись, он положил в шляпу. Увидев на земле камень, он поднял его и тоже положил в шляпу.

Потом посмотрел вверх, в беспредельный мрак, расстилавшийся над ним.

Голова его медленно поникла, как будто его тянула в пучину незримая нить.

В нижней части парапета было отверстие; он вставил в него ногу, чтобы опереться коленом на парапет, и теперь ему оставалось только броситься вниз.

Заложив руки за спину, он подался вперед.

— Да будет так, — промолвил он.

И устремил взор на воду.

В эту минуту он почувствовал, что кто-то лижет ему руки.

Он вздрогнул и обернулся.

Перед ним был Гомо.

Заключение

Море и ночь
1. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем

У Гуинплена вырвался крик:

— Это ты, волк!

Гомо завилял хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуинплена.

Затем он снова начал лизать ему руки. Одну минуту Гуинплен был точно пьяный. Он был потрясен внезапно вернувшейся к нему надеждой. Гомо! Откуда он явился? За двое последних суток Гуинплен испытал всякие неожиданности; ему оставалось еще пережить нежданную радость. Эту радость принес Гомо. Вновь обретенная уверенность или по крайней мере надежда, внезапное вмешательство таинственной, благодетельной силы, быть может присущей судьбе, жизнь, проникшая в непроглядный мрак могилы, свет исцеления и освобождения, блеснувший, когда уже не ждешь ничего, точка опоры, обретенная в минуту крушения, — всем этим оказался Гомо для Гуинплена. Волк казался ему озаренным сиянием.

Между тем волк побежал назад. Сделав несколько шагов, он обернулся, словно для того, чтобы

посмотреть, идет ли за ним Гуинплен.

Гуинплен последовал за ним. Гомо помахал хвостом и двинулся дальше.

Он бежал по спуску набережной Эфрок-Стоуна. Спуск вел к берегу Темзы. Гуинплен, следуя за Гомо, сошел вниз по этому спуску.

Время от времени Гомо поворачивал голову назад, чтобы удостовериться, идет ли за ним Гуинплен.

Бывают в жизни случаи, когда самый проницательный ум не может сравниться с чутьем преданного животного. Животное как будто обладает даром ясновидения.

В некоторых случаях собака следует за хозяином, в иных же — ведет его за собой, и тогда инстинкт животного руководит разумом человека. Тонкое чутье зверя безошибочно разбирается там, где мы теряемся во мраке. Животное испытывает смутную потребность стать нашим проводником. Знает ли оно, что нам угрожает опасность сделать неверный шаг и что надо помочь нам избежать опасности? Вероятно, нет. А может быть, и да; во всяком случае кто-то знает это за него; мы уже говорили, что нередко помощь, которую в решительные минуты оказывают нам существа низшие, на самом деле

приходит к нам свыше. Мы не знаем, в каком обличье может явиться божество. Иногда зверь служит выразителем воли провидения.

Дойдя до берега, волк спустился вниз на отмель, тянувшуюся вдоль Темзы.

Он не издал ни единого звука, он не лаял, он бежал молча. Подчиняясь своему инстинкту, Гомо при любых обстоятельствах исполнял свой долг с мудрой осторожностью существа, преследуемого законом.

Пройдя шагов пятьдесят, он остановился. Направо виднелась пристань на сваях, за ней темнел грузный корпус довольно большого судна. На палубе, недалеко от носа, светился тусклый огонек, похожий на гаснущий ночник.

В последний раз удостоверившись, что Гуинплен тут, волк вскочил на пристань, представлявшую собою длинный помост из просмоленных досок, укрепленный на толстых бревнах, под которыми текла река. Через несколько мгновений Гомо и Гуинплен дошли до конца пристани.

Судно, стоявшее здесь на причале, представляло собой пузатую голландскую шхуну с двумя палубами без бортов, одной — в носовой части, другой — в кормовой, и с устроенным между ними по японскому образцу открытым трюмом, куда

спускались по прямому трапу и который предназначался для грузов. Таким образом, на шхуне было две палубы — бак на носу, ют на корме, как в старину на наших речных сторожевых судах. Пространство между палубами заполнялось грузом. Приблизительно такую форму имеют бумажные детские кораблики. Под палубами находились каюты, сообщавшиеся с центральным отделением дверцами и освещенные иллюминаторами, пробитыми в обшивке. При погрузке оставляли проход между тюками. На шхуне было две мачты, по одной на каждой палубе. Передняя мачта называлась Павлом, а кормовая — Петром, так что судно, подобно католической церкви, возглавлялось двумя апостолами. Над центральным грузовым отделением были переброшены с одной палубы на другую деревянные мостки. В дурную погоду глухие стенки мостков откидывались с обеих сторон при помощи особого механизма, образуя крышу над межпалубным отделением, так что в бурю трюм оказывался плотно закрытым. На этих громоздких шхунах рулем служило толстое бревно, так как сила руля должна соответствовать тяжести судна. Для управления этими грузными морскими судами достаточно было трех человек: хозяина с двумя

матросами, не считая мальчика-юнги. Носовая и кормовая палубы были, как мы уже сказали, без бортов. На черном пузатом корпусе этой шхуны можно было даже в темноте разобрать надпись белыми буквами: «Вограат. Роттердам».

В ту эпоху ряд событий, разыгравшихся на море, и, в частности, совсем недавняя катастрофа, постигшая у мыса Карнеро 21 апреля 1705 года восемь кораблей барона Пуанти и заставившая весь французский флот отойти к Гибралтару, совершенно расчистила Ла-Манш и освободила от военных судов весь путь между Лондоном и Роттердамом, так что торговые суда могли плавать безо всякого конвоя.

Шхуна «Вограат», к которой подошел Гуинплен, была подтянута к пристани левым краем кормовой палубы и находилась почти на одном уровне с помостом. Надо было спуститься на одну ступеньку. Одним прыжком Гомо и Гуинплен очутились на корме. Палуба была пуста, и на всем судне не замечалось никакого движения; судя по тому, что шхуна готовилась отчалить и погрузка была закончена, на что указывал переполненный тюками и ящиками трюм, пассажиры на борту были, но они, по всей вероятности, спали в каютах между палубами, так как переезд должен был

произойти ночью. В подобных случаях путешественники показываются на палубе лишь утром. Что касается экипажа, то в ожидании скорого отплытия он, очевидно, ужинал в помещении, которое тогда носило название матросской каюты. Этим объяснялось совершенное безлюдье на обеих палубах.

По пристани волк почти бежал; но очутившись на судне, он пошел медленно, словно крадучись. Он вилял хвостом, но уже не радостно, а беспокойно и уныло, как пес, чующий недоброе. По-прежнему идя впереди Гуинплена, он перешел по мостику с кормовой палубы на носовую.

Вступив на мостки, Гуинплен увидел перед собой свет. Это был фонарь, стоявший у подножия передней мачты; при свете фонаря вырисовывались очертания какого-то большого ящика на четырех колесах.

Гуинплен узнал старый возок Урсуса.

Эта убогая деревянная лачуга, одновременно и возок и хижина, в которой протекло его детство, была прикреплена к подножию мачты толстыми канатами, продетыми сквозь колеса. Давно выйдя из употребления, она совершенно обветшала; ничто не действует так разрушительно на людей и вещи, как праздность; лачуга печально поко-

силась набок. От бездействия ее точно разбил паралич, не говоря уже о том, что она была больна неисцелимым недугом — старостью. Ее бесформенный, источенный червями остов производил впечатление совершенной развалины. Все, из чего она была сооружена, разрушалось: железные части заржавели, кожа потрескалась, дерево сгнило. Стекло переднего окошечка, сквозь которое проходил свет фонаря, было разбито. Колеса покривились. Стенки, потолок и оси обветшали и словно изнемогали от усталости. Все в целом носило на себе отпечаток чего-то бесконечно жалкого и молящего о пощаде. Торчавшие вверх оглобли походили на руки, воздетые к небу. Вся повозка расползалась по швам. Внизу висела цепь Гомо.

Казалось бы вполне законным и совершенно естественным, вновь обретя все, в чем заключается наша жизнь, наше счастье, наша любовь, броситься ко всему этому очертя голову. Да, но не в тех случаях, когда мы пережили глубокое потрясение. Человек, вышедший совершенно подавленным, обезумевшим из целого ряда катастроф, похожих на предательство, становится недоверчивым даже в радости, боится приобщить к своей злополучной судьбе тех, кого он

любит, чувствует себя носителем зловещей заразы и даже к самому счастью подходит с опаской. Перед ним вновь раскрывается рай, но, прежде чем вступить в него, он боязливо всматривается.

Гуинплен, еле держась на ногах от волнения, глядел на родное жилище.

Волк тихо улегся рядом со своей цепью.

2. Баркильфедро метил в ястреба, а попал в голубку

Подножка возка была спущена, дверь приотворена; внутри никого не было, скудный свет, пробивавшийся сквозь переднее окошечко, смутно обрисовывал внутренность балагана, тонувшую в печальном полумраке. На обветшалых досках, служивших одновременно наружными стенами и внутренней обшивкой, еще можно было (разобрать надписи, сделанные Урсусом и прославлявшие величие лордов. Близ двери Гуинплен увидел свой кожаный нагрудник и рабочий костюм, висевшие на гвозде, как одежда покойника в морге.

На Гуинплене не было ни кафтана, ни камзола.

Возок загораживал собою какой-то предмет, лежавший на палубе у подножия мачты и

освещенный фонарем. Это был край тюфяка, видневшийся из-за повозки. На тюфяке, очевидно, кто-то лежал. По палубе двигалась какая-то тень.

Слышался чей-то голос. Гуинплен, притаившись за возком, стал прислушиваться.

Говорил Урсус.

Этот голос, казавшийся столь грубым, но скрывавший такую нежность, так часто бранивший Гуинплена с самого детства и так хорошо его воспитавший, теперь утратил свою звучность и живость. Он стал глухим, вялым и беспрестанно прерывался вздохами. Лишь отдаленно напоминал он прежний ясный и твердый голос Урсуса. Он принадлежал человеку, похоронившему свое счастье. Голос тоже может стать тенью.

Урсус, казалось, говорил сам с собою. У него, как известное была привычка к монологам. Из-за этого многие считали его помешанным.

Гуинплен затаил дыхание, чтобы не проронить ни слова из того, что говорил Урсус, и вот что он услыхал:

— Суда такого типа очень опасны. У них нет бортов. Ничего не стоит скатиться в море. Если разыграется непогода, Дею придется перенести в трюм, а это будет ужасно. Одно неловкое движение, малейший испуг, и у нее может сделаться

разрыв сердца. Я видал такие примеры. Ах, боже мой, что с нами будет! Спит она? Да, спит. Кажется, спит. А может быть, она без сознания? Нет. Пульс хороший. Наверное, она спит. Сон — это отсрочка. Благодетельная слепота! Как бы устроить, чтобы никто здесь не ходил? Господа, если кто-нибудь тут есть на палубе, прошу вас, не шумите. Не подходите сюда, если можно. Нужно бережно обращаться с людьми слабого здоровья. У нее лихорадка, видите ли. Она совсем еще молоденькая. У этой девочки горячка. Я вытащил ее тюфяк на воздух, чтобы ей легче было дышать. Я объясняю это для того, чтобы вы были осторожнее. От усталости она свалилась на тюфяк, словно лишилась чувств. Но она спит. Очень прошу — не будите ее. Обращаюсь к женщинам, если здесь есть леди. Как не пожалеть молоденькую девушку? Мы только бедные фигляры, будьте снисходительны к нам; если нужно заплатить, чтобы не шумели, я готов заплатить. Благодарю вас, милостивые государи и милостивые государыни. Есть здесь кто-нибудь? Нет. Кажется, никого. Я трачу слова впустую. Тем лучше. Господа, благодарю вас, если вы здесь, но еще больше вам признателен, если вас нет. — На лбу у нее капельки пота. — Ну что ж, вернемся на каторгу. Опять впряжемся в

лямку. К нам возвратилась нищета. Нам снова приходится положиться на волю волн. Чья-то рука, страшная рука, которой мы не видим, но которую постоянно чувствуем над собой, внезапно повернула нашу судьбу в худшую сторону. Пусть так, не будем терять мужества. Только бы она не хворала. Глупо, что я говорю вслух с самим собой, но надо же, чтобы она почувствовала, если проснется, что рядом с нею кто-то есть. Лишь бы только не разбудили ее внезапно. Не шумите, ради бога. Всякий толчок, малейшее волнение может ей повредить. Будет ужасно, если здесь начнут ходить. Мне кажется, на судне все спят. Благодарю провидение за эту милость. А где же Гомо? Во всей этой суматохе я забыл посадить его на цепь. Я сам не знаю, что делаю. Вот уже больше часу, как я его не видел. Он, верно, ушел промышлять себе ужин. Лишь бы с ним ничего дурного не случилось Гомо! Гомо!

Волк тихо застучал хвостом по палубе.

— А, ты здесь! Слава Богу! Потерять еще и Гомо — это было бы слишком. Она шевелит рукой. Она, пожалуй, сейчас проснется. Тише, Гомо! Начинается отлив. Сейчас мы отчалим. По-моему, ночь будет спокойной. Ветер затих. Вымпел повис вдоль мачты, плаванье будет благополучным.

Я не вижу, где луна, но облака еле движутся. Качки не будет. Погода будет хорошая. Как она бледна! Это от слабости. Нет, щеки у нее горят. Это лихорадка. Да нет, она порозовела. Значит, она здорова. Я ничего не могу разобрать. Мой бедный Гомо, я уже ничего не понимаю. Итак, надо начинать жизнь сызнова. Надо будет опять приняться за работу. Ведь нас теперь только двое. Мы с тобой будем работать для нее. Это наше дитя. А! Судно тронулось. Отправляемся. Прощай, Лондон! Добрый вечер, доброй ночи, к черту! Ах, проклятый Лондон!

Судно действительно стало понемногу отчаливать от берега. Расстояние между ним и пристанью все увеличивалось. На другом конце судна, на корме, стоял человек, очевидно судовладелец; он только что вышел из каюты и, отдав причал, взялся за руль. Человек этот, отличавшийся хладнокровием моряка и флегматичностью голландца, устремил все свое внимание на фарватер; он ничего не видел, кроме поверхности воды, ничего не слышал, кроме шума ветра; еле выделяясь в темноте, он походил на призрак и медленно двигался по палубе от одного края кормы к другому, согнувшись под тяжестью румпеля. Он был один на палубе. Пока

судно шло по реке, ему не нужны были помощники. Через несколько минут шхуна поплыла по течению. Ни боковой, ни килевой качки не было. Почти не нарушая спокойствия Темзы, волна отлива быстро увлекала судно. За ним в тумане уменьшался черный силуэт Лондона.

Урсус продолжал:

— Все равно, я дам ей выпить настоя наперстянки. Боюсь, как бы у нее не начался бред. Ладони у нее влажные. Но чем же это мы прогневили Бога? Как неожиданно пришла беда! Как торопится обрушиться на нас несчастье! Коршун падает камнем, вонзает когти в жаворонка. Такова судьба. И вот ты слегла, моя дорогая малютка. Приезжаем в Лондон, думаем: вот большой город с прекрасными монументами, вот Саутворк, великолепное предместье. Поселяемся. А оказывается, что это ужасная страна. Что прикажете делать? Я рад, что уезжаю. Сегодня — тридцатое апреля. Я всегда опасался апреля; в этом коварном месяце только два счастливых дня: пятое и двадцать седьмое, а несчастливых четыре: десятое, двадцатое, двадцать девятое и тридцатое. Это неопровержимо доказано вычислениями Кардано. Хоть бы поскорее миновал нынешний день. Хорошо, что мы уже отчалили. На рассвете будем

в Гревсенде, а завтра вечером в Роттердаме. Ну что же, черт возьми, опять примемся за прежнюю жизнь, опять будем тащить на себе наш возок, не правда ли, Гомо?

В знак согласия волк тихо стукнул о палубу хвостом.

Урсус продолжал:

— Если б можно было так же легко расстаться со своим горем, как расстаешься с городом! Гомо, мы могли бы быть еще счастливы. Но увы, нам всегда будет кого-то не хватать. Тень умершего всегда остается с тем, кто его пережил. Ты знаешь, о ком я говорю, Гомо. Нас было четверо, теперь нас только трое. Жизнь — лишь длинная цепь утрат любимых нами существ. Идешь и оставляешь за собою вереницу скорбей. Рок оглушает человека, осыпая его градом невыносимых страданий. Как после этого удивляться, что старики вечно твердят одно и то же? Они глупеют от отчаяния. Мой славный Гомо, все еще дует попутный ветер. Уже совсем не видать купола святого Павла. Мы сейчас пройдем мимо Гринича. Это значит — отхватили добрых шесть миль. Ах, меня всегда воротит от этих мерзких столиц, кишащих священниками, судьями и чернью. Я предпочитаю видеть, как колышутся листья в

лесу. А лоб у нее все еще влажный! Не нравятся мне эти вздувшиеся выше локтя лиловые вены. Это у нее от жара. Ах, все это меня убивает! Спи, дитя мое. О да, она спит.

В эту минуту послышался неизъяснимо нежный голос, казалось, звучавший издалека, доносившийся одновременно я с высоты небес и из глубин земли, чудесный и страдальческий голос Деи.

Все, что Гуинплен до сих пор испытал, сразу было позабыто. Говорил его ангел. Ему чудилось, что он слышит слова, произносимые где-то за пределами жизни, как бы в блаженном забытьи. Голос говорил:

— Он хорошо сделал, что ушел. Этот мир не для него. Только и мне нужно уйти вслед за ним. Отец, я не больна, я слышала все, что вы говорили; мне хорошо, я чувствую себя прекрасно; я спала. Отец, я буду счастлива.

— Дитя мое, — с тоскою спросил Урсус, — что ты хочешь этим сказать?

— Отец, не огорчайтесь, — ответила Дея.

Наступила пауза; очевидно, она перевела дух, затем до Гуинплена донеслись медленно произнесенные слова:

— Гуинплена больше нет. Теперь я действи-

тельно слепа. Раньше я не знала ночи. Ночь — это разлука.

Голос ее опять прервался, потом снова зазвенел:

— Я всегда боялась, что он улетит; я знала, что он спустился ко мне с неба. И вот он исчез. Этого и нужно было ожидать. Душа улетает, как птица. Но гнездо души находится в глубине, там, где скрыт великий магнит, притягивающий к себе все; я хорошо знаю, где можно найти Гуинплена. Поверьте, я найду к нему дорогу. Отец, он там. Позднее и вы будете с нами. И Гомо тоже.

Услышав свое имя, Гомо слегка ударил хвостом по палубе.

— Отец, — продолжал голос, — вы же понимаете — все кончено с тех пор, как Гуинплена нет. Если бы я и хотела, я не могла бы здесь остаться: без воздуха нечем дышать. Не надо требовать невозможного. Когда со мною был Гуинплен, я жила — это было так просто. Теперь Гуинплена больше нет, и я умираю. Либо он должен вернуться, либо я должна умереть. Но так как возвратиться он не может, я ухожу сама. Так хорошо умереть! Это совсем не страшно. Отец, то, что гаснет здесь, вновь зажигается там. Когда живешь, постоянно чувствуешь, как от боли сжи-

мается сердце. Нельзя же страдать вечно. И вот люди уходят, как вы говорите, к звездам, там сочетаются браком, не расстаются никогда и любят, любят друг друга; это и есть царство небесное.

— Ну, не волнуйся так, — сказал Урсус.

Голос продолжал:

— В прошлом году, весной, мы были вместе, были счастливы, не то что теперь. Я уж не помню где, в каком-то маленьком городке; там шелестели деревья, и я слышала пение малиновок. Потом мы приехали в Лондон, и все переменилось. Я никого не упрекаю. Перебираясь на новое место, никто не знает, что там случится. Помните, отец, однажды вечером в большой ложе сидела женщина, которую вы называли герцогиней? Мне стало грустно. Я думаю, было бы лучше избегать больших городов. Но Гуинплен поступил хорошо. Теперь моя очередь. Вы сами мне рассказывали, что я была совсем малюткой, когда моя мать умерла, что я ночью лежала на земле и снег падал на меня, а Гуинплен тогда тоже был ребенком и тоже совершенно одиноким; он подобрал меня, и лишь потому я осталась в живых; не удивляйтесь же, если я сегодня должна покинуть вас и уйти в могилу, чтобы узнать, там ли Гуинплен. Ведь единственное, что у нас есть при жизни, — это

сердце, а когда жизнь кончится, — душа. Отец, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Что это колышется? Мне кажется, будто наш дом движется. Однако я не слышу стука колес.

После некоторого перерыва голос Деи продолжал:

— Я немного путаю вчерашний и нынешний день. Я не жалуюсь. Я не знаю, что произошло, но словно чувствую какую-то перемену.

Слова эти были произнесены с кроткой, но безутешной грустью, и до Гуинплена донесся слабый вздох.

— Я должна уйти, если только он не вернется.

Урсус угрюмо буркнул вполголоса:

— Не верю я в выходцев с того света.

И продолжал:

— Это судно. Ты спрашиваешь, почему движется дом? Потому что мы плывем на шхуне. Успокойся. Тебе вредно много говорить. Если ты хоть немного любишь меня, дочурка, не волнуйся, не доводи себя до горячки. Я стар и не перенесу твоей болезни. Пожалей меня, не хворай.

Снова зазвучал голос Деи:

— Зачем искать на земле то, что можно найти только на небе?

Урсус возразил, пытаясь придать своему голосу

повелительный тон:

— Успокойся! Иногда ты совсем ничего не соображаешь. Ты должна лежать смирно. В конце концов, тебе незачем знать, что такое полая вена. Если ты успокоишься, я тоже буду спокоен. Дитя мое, подумай немного и обо мне. Он тебя подобрал, но я тебя приютил. Ты сама себе вредишь. Это плохо. Ты должна успокоиться и заснуть. Все будет хорошо. Даю тебе честное слово, все будет хорошо. Погода отличная. Как будто нарочно установилась для нас. Завтра мы будем в Роттердаме, это город в Голландии, у самого устья Мааса.

— Отец, — произнес голос, — когда с детства живешь неразлучно друг с другом, нельзя расставаться, лучше умереть, так как другого выхода нет. Я очень люблю вас, но чувствую, что я уже не с вами, хотя еще и не с ним.

— Ну, попробуй опять заснуть, — уговаривал Урсус.

— О, мне еще предстоит спать долгим, долгим сном.

Голосом, дрожащим от волнения, Урсус возразил:

— Говорю тебе, мы едем в Голландию, в город Роттердам.

— Отец, — продолжал голос, — я вовсе не больна; если это вас тревожит, вы можете не волноваться, лихорадки у меня нет, мне только немного жарко, вот и все.

Урсус пробормотал:

— У самого устья Мааса.

— Мне хорошо, отец, но я чувствую, что умираю.

— Как тебе не стыдно говорить такую чушь! — проворчал Урсус.

И прибавил:

— Господи, лишь бы только что-нибудь ее не взволновало.

Наступило молчание.

Вдруг Урсус вскрикнул:

— Что ты делаешь? Зачем ты встаешь? Умоляю тебя, лежи!

Гуинплен вздрогнул и выглянул из-за повозки.

3. Рай, вновь обретенный на земле

Он увидал Дею. Она стояла на тюфяке, выпрямившись во весь рост. На ней было длинное белое платье, наглухо застегнутое, позволявшее видеть только верхнюю часть плеч и нежную шею. Рукава спускались ниже локтей, складки платья

скрывали ее ступни. На кистях рук выступала сеть голубых жилок, вздувшихся от лихорадки. Молодая девушка не шаталась, но вся дрожала и трепетала, как тростник. Фонарь освещал ее снизу. Лицо ее было невыразимо прекрасно. Распущенные волосы ниспадали на плечи. Ни одна слезинка не скатилась по ее щекам. Но глаза ее горели мрачным огнем. Она была бледна той бледностью, которая является как бы отражением божественной жизни на человеческом лице. Ее тонкий, хрупкий стан точно слился с ее одеждой. Вся она колебалась, словно пламя на ветру. В то же время чувствовалось, что она уже становится тенью. Широко раскрытые глаза сверкали ярким блеском. Она казалась бесплотным призраком, душой, воспрянувшей в лучах зари.

Урсус, стоявший к Гуинплену спиною, в испуге всплеснул руками:

— Дочурка моя! Ах, господи, у нее начинается бред. Вот чего я так боялся. Малейшее потрясение может ее убить или свести с ума. Смерть или безумие. Какой ужас! Что делать, боже мой? Ложись, доченька!

Но Дея снова заговорила. Ее голос был еле слышен, как будто некое облако уже отделяло ее от земли.

— Отец, вы ошибаетесь. Это не бред. Я прекрасно понимаю все, что вы говорите. Вы говорите, что собралось много народу, что публика ждет и что мне надо сегодня вечером играть; я согласна, видите, я в полном сознании, но я не знаю, как это сделать; ведь я умерла, и Гуинплен умер. Но все равно, я иду. Я готова играть. Вот я, но Гуинплена нет.

— Детка моя, — повторил Урсус, — послушайся меня. Ляг опять в постель.

— Его больше нет! Его больше нет. О, как темно!

— Темно, — пробормотал Урсус. — Она впервые в жизни произносит это слово.

Гуинплен бесшумно проскользнул в возок, снял с гвоздя свой костюм фигляра и нагрудник, надел их и вышел на палубу, скрытый от взоров балаганом, снастями и мачтой.

Дея продолжала что-то лепетать, едва шевеля губами; понемногу ее лепет перешел в мелодию. Она стала напевать, иногда умолкая и забываясь в бреду, таинственный призыв, с которым столько раз обращалась к Гуинплену в «Побежденном хаосе». Ее пение, звучал о неясно и было не громче жужжанья пчелы:

Noche, quita te de alli

La alba canta…

Она перебила сама себя:

— Нет, это неправда, я не умерла. Что это я говорю? Увы! Я жива, а он умер. Я внизу, а он наверху. Он ушел, а я осталась. Я не слышу ни его голоса, ни его шагов. Бог дал нам на краткий миг рай на земле, а потом отнял его. Гуинплен! Все кончено. Я никогда больше не коснусь его рукой. Никогда. Его голос! Я больше не услышу его голоса.

И она запела:

Es rnenester a cielos ir…
…Dexa, quiero,
A tu negro
Caparazón.

Она простерла руку, словно ища опоры в пространстве.

Гуинплен, выступив из темноты и очутившись рядом с остолбеневшим от ужаса Урсусом, опустился перед нею на колени.

— Никогда! — говорила Дея. — Никогда я уже не услышу его!

И опять запела в полузабытьи:

Dexa, quiero
A tu negro

Caparazón!

И тогда она услыхала голос любимого, отвечавший ей:

O ven! ama!

Eres alma,

Soy corazón.

В ту же минуту Дея почувствовала под своей рукой голову Гуинплена. Из груди ее вырвался крик, звучавший невыразимой нежностью:

— Гуинплен!

Ее бледное лицо озарилось как бы звездным светом, и она пошатнулась.

Гуинплен подхватил ее на руки.

— Жив! — вскрикнул Урсус.

Дея повторила:

— Гуинплен!

Прижавшись головой к щеке Гуинплена, она прошептала:

— Ты опустился обратно с неба. Благодарю тебя.

Сидя на коленях у Гуинплена, сжимавшего ее в объятиях, она обратила к нему свое кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза, словно могла видеть его.

— Это ты! — промолвила она.

Гуинплен осыпал поцелуями ее платье. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания представляют неразрывное целое. В них слиты воедино и выражаются одновременно и восторг и скорбь. Они не имеют никакого смысла и вместе с тем говорят все.

— Да, я! Это я! Я, Гуинплен! А ты — моя душа, слышишь? Это я, дитя мое, моя супруга, моя звезда, мое дыхание! Ты — моя вечность! Это я! Я здесь, я держу тебя в своих объятиях. Я жив! Я твой! Ах, подумать только, что я хотел покончить с собой! Еще одно мгновенье и, не будь Гомо… Я расскажу тебе об этом после. Как близко соприкасается радость с отчаянием! Будем жить, Дея! Дея, прости меня! Да, я твой навсегда! Ты права: дотронься до моего лба, убедись, что это я. Если бы ты только знала! Но теперь уже ничто не в силах нас разлучить. Я вышел из преисподней и возношусь на небо. Ты говоришь, что я спустился с неба, — нет, я подымаюсь туда. Вот я опять с тобою. Навеки, слышишь ли? Вместе! Мы вместе! Кто бы мог подумать? Мы снова нашли друг друга. Все дурное кончилось. Впереди нас ждет блаженство. Мы опять заживем счастливо и запрем двери нашего рая так плотно, что никакому горю уже не удастся к нам проникнуть. Я

расскажу тебе все. Ты удивишься. Судно отошло от берега. Никто не может теперь его задержать. Мы в пути, и мы свободны. Мы направляемся в Голландию, там мы обвенчаемся; я не боюсь, я добуду средства к жизни, — кто может помешать мне в этом? Нам ничего больше не угрожает. Я обожаю тебя.

— Умерь-ка свой пыл! — буркнул Урсус.

Дея, замирая от блаженства, трепетной рукой провела по лицу Гуинплена. Он услышал, как она прошептала:

— Такое лицо должно быть у Бога.

Затем дотронулась до его одежды.

— Нагрудник, — сказала она. — Его куртка. Ничего не изменилось. Все как прежде.

Урсус, ошеломленный, вне себя от радости, смеясь и обливаясь слезами, смотрел на них и разговаривал сам с собой:

— Ничего не понимаю. Я круглый идиот. Ведь я же сам видел, как его несли хоронить! Я плачу и смеюсь. Вот и все, на что я способен. Я так же глуп, как если бы сам был влюблен. Да я и на самом деле влюблен. Влюблен в них обоих. Ах, я старый дурак! Не слишком ли много для нее волнений? Как раз то, чего я опасался. Нет, как раз то, чего я желал. Гуинплен, побереги ее! Впрочем, пусть

целуются. Мне-то что за дело? Я лишь случайный свидетель. Какое странное чувство! Я — паразит, пользующийся чужим счастьем. Я тут ни при чем, а между тем мне кажется, что и я приложил к этому руку. Благословляю вас, дети мои!

В то время как Урсус произносил свой монолог, Гуинплен говорил Дее:

— Ты слишком прекрасна, Дея. Не знаю, где был у меня рассудок в эти дни. Кроме тебя, на земле для меня нет никого. Я снова вижу тебя и глазам своим не верю. На этой шхуне! Но объясни, что с вами произошло? Ах, до чего вас довели! Где же «Зеленый ящик»? Вас ограбили, вас изгнали! Какая низость! О, я отомщу за вас! Отомщу за тебя, Дея! Им придется иметь дело со мной. Ведь я пэр Англии.

Урсус, которого последние слова точно обухом ударили по голове, отшатнулся и внимательно посмотрел на Гуинплена.

— Он не умер — это ясно, но не рехнулся ли он?

И недоверчиво насторожился.

Гуинплен продолжал:

— Будь спокойна, Дея. Я подам жалобу в палату лордов.

Урсус еще раз пристально взглянул на него и

постучал пальцем себя по лбу.

Потом, очевидно приняв какое-то решение, пробормотал:

— Все равно. Это дела не меняет. Будь сумасшедшим, если тебе так нравится, мой Гуинплен. Это — право каждого из нас. Во всяком случае, я счастлив. Но что означает все это?

Судно легко и быстро двигалось вперед; ночь становилась все темнее и темнее; туман, наплывавший с океана, благодаря безветрию, поднимался вверх и заволакивал небо, сгущаясь в зените; можно было различить только несколько крупных звезд, но вскоре они исчезли одна за другой, и над головами людей, находившихся на палубе, простерлась сплошная черная пелена спокойного бескрайнего неба. Река становилась все шире, берега ее казались темными узкими полосками, почти сливавшимися с окружающим мраком. Ночь дышала глубоким покоем. Гуинплен присел, держа в объятиях Дею. Они говорили, обменивались восклицаниями, лепетали, шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. Как описать тебя, о радость!

— Жизнь моя!

— Небо мое!

— Любовь моя!

— Счастье мое!

— Гуинплен!

— Дея! Я пьян тобою! Дай мне поцеловать твои ноги!

— Так это ты?

— Мне так много надо сказать. Не знаю, с чего начать.

— Поцелуй меня!

— Жена моя!

— Не говори мне, Гуинплен, что я хороша собой. Это ты красавец.

— Я опять нашел тебя, я прижимаю тебя к сердцу. Да, ты моя. Я не грежу наяву. Это ты. Возможно ли? Да. Я снова оживаю. Если бы ты знала, что мне пришлось испытать, Дея!

— Гуинплен!

— Люблю тебя!

А Урсус шептал про себя:

— Я радуюсь, как дедушка.

Гомо вылез из-под возка и, неслышно ступая, переходил от одного к другому; не притязая ни на чье внимание, он лизал наудачу все, что попадалось, — грубые сапоги Урсуса, куртку Гуинплена, платье Деи, тюфяк. Это был его волчий способ изъявлять радость.

Миновали Четэм и устье Медуэя. Приближа-

лись к морю. Черная гладь реки была так спокойна, что шхуна спускалась вниз по течению Темзы без малейшего труда; незачем было прибегать к парусам, и матросов не вызывали на палубу. Судохозяин, по-прежнему один у руля, управлял шхуной. Кроме него на корме не было ни души; на носу фонарь освещал горсточку счастливых людей, неожиданно встретившихся снова и в пучине скорби внезапно обретших блаженство.

4. Нет, на небесах

Вдруг Дея, высвободившись из объятий Гуинплена, привстала. Она прижала обе руки к сердцу, словно желая сдержать его биение.

— Что со мной? — оказала она. — Мне трудно дышать. Но это ничего. Это от радости. Это хорошо. Я сражена твоим появлением, мой Гуинплен. Сражена внезапным счастьем. Что может быть упоительнее мгновения, когда все небо нисходит нам в сердце? Без тебя я чувствовала, что умираю. Ты возвратил меня к жизни. Точно раздвинулась какая-то тяжелая завеса, и я почувствовала, как в грудь мою хлынула жизнь, кипучая жизнь, полная волнений и восторгов. Как необычайна эта жизнь, которую ты пробудил во мне! Она так

чудесна, что мне даже больно. Мне кажется, что душа моя становится все шире и ей как будто тесно в теле. Эта полнота жизни, это блаженство охватывает меня всю, пронизывает меня. У меня точно выросли крылья, — я чувствую, как они трепещут. Мне немного страшно, но я очень счастлива. Ты воскресил меня, Гуинплен.

Она вспыхнула, потом побледнела, затем снова разрумянилась и вдруг упала.

— Увы! — сказал Урсус. — Ты убил ее!

Гуинплен простер руки к Дее. Какое страшное потрясение — переход от высочайшего блаженства к глубочайшему отчаянию. Гуинплен сам упал бы, если бы ему не нужно, было поддержать ее.

— Дея! — вскрикнул он, весь задрожав. — Что с тобой?

— Ничего, — ответила она. — Я люблю тебя.

Она безжизненно лежала у него в объятиях. Руки ее беспомощно повисли.

Гуинплен и Урсус уложили ее на тюфяк.

Она прошептала слабым голосом:

— Мне трудно дышать лежа.

Они посадили ее.

Урсус спросил:

— Дать тебе подушку?

Она ответила:

— Зачем? Ведь у меня есть Гуинплен.

И она прислонилась головой к плечу Гуинплена, который сел позади и поддерживал ее; в глазах его отражались отчаяние и растерянность.

— Ах, как мне хорошо! — сказала она.

Урсус взял ее руку и считал пульс. Он не качал головой, не говорил ни слова, и о том, что он думал, можно было догадаться лишь по быстрым движениям его век, судорожно мигавших, словно для того, чтобы удержать готовые политься слезы.

— Что с нею? — опросил Гуинплен.

Урсус приложил ухо к левому боку Деи.

Гуинплен нетерпеливо повторил свой вопрос, с трепетом ожидая ответа.

Урсус посмотрел на Гуинплена, потом на Дею. Он был мертвенно бледен.

— Мы, должно быть, находимся на высоте Кентербери, — сказал он. — Расстояние отсюда до Гревсенда не очень велико. Тихая погода продержится всю ночь. На море нам нечего бояться нападения, потому что весь военный флот крейсирует у берегов Испании. Наш переезд совершится вполне благополучно.

Дея, бессильно склонясь и все более бледнея, судорожно мяла в руках складки своего платья. Погруженная в раздумье о чем-то, не передаваемом никакими словами, она глубоко вздохнула:

— Я понимаю, что со мной. Я умираю.

Гуинплен в ужасе вскочил. Урсус подхватил Дею.

— Умираешь? Ты умираешь? Нет, не может этого быть. Не можешь ты умереть. Умереть теперь? Умереть сейчас? Но это невозможно. Бог не так жесток. Возвратить тебя для того, чтобы в ту же минуту отнять снова? Нет, так не бывает. Ведь это значило бы, что Бог хочет, чтобы мы усомнились в нем. Это значило бы, что все, все обман — и земля, и небо, и сердце, и любовь, и звезды. Ведь это значило бы, что Бог — предатель, а человек — обманутый глупец… Ведь это значило бы, что нельзя верить ни во что, что надо проклясть весь мир, что все — бездна. Ты сама не знаешь, что говоришь, Дея. Ты будешь жить! Я требую, чтобы ты жила. Ты должна мне повиноваться. Я твой муж и господин. Я запрещаю тебе покидать меня. О небо! О несчастные люди! Нет, это невозможно. И я останусь на земле один, без тебя? Да это было бы так чудовищно, что самое солнце померкло бы! Дея, Дея, приди в себя. Это у тебя ненадолго,

это сейчас пройдет. У человека бывает иногда вот такой озноб, а потом он забывает о нем. Мне нужно, мне необходимо, чтобы ты была здорова и больше не страдала. Ты хочешь умереть! Что я тебе сделал? При одной мысли об этом я теряю рассудок. Мы принадлежим друг другу. Мы любим друг друга. У тебя нет причин уходить. Это было бы несправедливо. Разве я совершил какое-нибудь преступление? Ведь ты же простила меня. О, ты ведь не хочешь, чтобы я впал в отчаяние, чтобы я стал злодеем, безумцем, осужденным на вечные муки! Дея, прошу тебя, заклинаю, умоляю, не умирай!

Судорожно схватив себя за волосы, в смертельном ужасе, задыхаясь от слез, он бросился к ее ногам.

— Мой Гуинплен, — сказала Дея, — я в этом не виновата.

На губах у нее выступила розовая пена, которую Урсус вытер краем ее одежды; Гуинплен, лежавший ничком, не замечал ничего. Он обнимал ее ноги и бессвязно молил:

— Говорю тебе, я не хочу! Я не перенесу твоей смерти. Умрем, но вместе. Только вместе. Тебе — умереть, Дея! Я никогда не соглашусь на это! Божество мое! Любовь моя! Пойми же, я здесь.

Клянусь тебе, ты будешь жить! Умереть? Ты, значит, не представляешь себе, что будет со мною после твоей смерти. Если бы ты только знала, как ты мне нужна, ты бы поняла, что это решительно невозможно, Дея! Ведь кроме тебя у меня никого нет. Со мною случилось нечто необычайное. Представь себе, я только что пережил за несколько часов целую жизнь. Я убедился в том, что на свете нет ровно ничего. Существуешь только ты, ты одна. Если не будет тебя, мир не будет иметь никакого смысла. Сжалься надо мной! Живи, если ты любишь меня. Я нашел тебя вновь не для того, чтобы сейчас же утратить. Погоди немного. Нельзя же уходить, едва успев свидеться. Успокойся! О господи, как я страдаю! Ты ведь не сердишься на меня, правда? Ты ведь понимаешь, что я не мог поступить иначе, так как за мной пришел жезлоносец. Вот увидишь, тебе сейчас станет легче дышать. Дея, уже все прошло. Мы будем счастливы. Не повергай меня в отчаяние! Дея! Ведь я не сделал тебе ничего дурного.

Слова эти он не выговорил, а прорыдал. В них чувствовались и скорбь и возмущение. Из груди Гуинплена вырывались жалостные стоны, которые привлекли бы голубку, и дикие вопли, способные устрашить льва.

Голосом все менее и менее внятным, прерывающимся почти на каждом слове, Дея ответила:

— Увы, зачем ты говоришь так! Любимый мой, я верю, что ты сделал бы все, что мог. Час назад мне хотелось умереть, а теперь я уже не хочу этого. Гуинплен, мой обожаемый Гуинплен, как мы были счастливы! Бог послал тебя мне, а теперь отнимает меня у тебя. Я ухожу. Ты не забудешь «Зеленого ящика», правда? И своей бедной слепой Деи? Ты будешь вспоминать мою песенку. Не забывай звука моего голоса, не забывай, как я говорила тебе: «Люблю тебя». Я буду возвращаться по ночам и повторять тебе это, когда ты будешь спать. Мы снова встретились, но радость была слишком велика. Это не могло продолжаться. Я ухожу первая, так решено. Я очень люблю моего отца Урсуса и нашего брата Гомо. Вы все добрые. Как здесь душно! Распахните окно! Мой Гуинплен, я не говорила тебе этого, но однажды я приревновала тебя к женщине, которая приезжала к нам. Ты даже не знаешь, о ком я говорю. Не правда ли? Укройте мне руки. Мне немного холодно. А где Фиби и Винос? В конце концов начинаешь любить всех. Нам приятны люди, которые видели нас счастливыми. Чувствуешь к ним благодарность за то, что они были свидетелями нашей

радости. Почему все это миновало? Я не совсем понимаю, что произошло за последние два дня. Теперь я умираю. Оставьте на мне вот это платье. Когда я надевала его, я так и думала, что оно будет моим саваном. Пусть меня похоронят в нем. На нем поцелуи Гуинплена. Ах, как мне хотелось бы еще жить! Как нам чудесно жилось в нашем возке! Мы пели. Я слышала рукоплескания. Как это было хорошо — никогда не разлучаться! Мне казалось, что мы живем, окутанные облаком. Я отдавала себе отчет во всем, различала один день от другого; несмотря на свою слепоту, я знала, когда наступает утро, потому что слышала голос Гуинплена, и знала, когда наступает ночь, потому что видела Гуинплена во сне. Я чувствовала, что меня окружает нежное, теплое облако: это была его душа. Мы так долго любили друг друга. Теперь конец, не будет больше песен. Увы! Неужели жизнь кончилась? Ты будешь помнить обо мне, мой любимый?

Голос ее постепенно ослабевал. Жизнь явно ее покидала, ей уже не хватало дыхания. Она судорожно сжимала пальцы — знак приближения последней минуты. Предсмертное хрипение девушки уже переходило с лепет ангела.

Она прошептала:

— Вы будете вспоминать обо мне, неправда ли? Мне было бы грустно умереть, зная, что никто не вспомнит обо мне. Иногда я бывала злая. Простите меня, прошу вас. Я уверена, что, будь на то воля божья, мы могли бы быть очень счастливы, нам ведь нужно так немного, мой Гуинплен; мы зарабатывали бы себе на жизнь и поселились бы вместе в чужих краях; но Господь не захотел этого. Я не знаю, почему я умираю. Я ведь не жаловалась на свою слепоту, я никого не обижала. Каким счастьем было бы для меня навеки остаться слепой, никогда с тобой не разлучаясь! Ах, как горько расставаться!

Она прерывисто дышала, ее слова угасали одно за другим, точно огоньки, задуваемые ветром. Ее уже почти не было слышно.

— Гуинплен, — шептала она, — не правда ли, ты будешь помнить обо мне? Мне это будет нужно, когда я умру.

И прибавила:

— Ах, удержите меня!

Потом, помолчав, шепнула:

— Приходи ко мне как можно скорее! Даже у Бога я буду несчастной без тебя. Не оставляй меня слишком долго одну, мой милый Гуинплен! Рай был здесь, на земле. Там, наверху, только небо.

Ах, я задыхаюсь! Мой любимый! Мой любимый! Мой любимый!

— Сжалься! — крикнул Гуинплен.

— Прощай! — прошептала она.

— Сжалься! — повторил Гуинплен.

И прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам Деи.

Одно мгновение она, казалось, уже не дышала.

Вдруг она приподнялась на локтях, глаза ее вспыхнули ярким блеском, и на лице появилась неизъяснимая улыбка.

Ее голос обрел неожиданную звонкость.

— Свет! — вскрикнула она. — Я вижу!

И, упав навзничь, она вся вытянулась и застыла на тюфяке.

Бедный старик, словно раздавленный тяжестью отчаяния, припал лысой головой к ногам Деи и, рыдая, зарылся лицом в складки ее одежды. Он лишился сознания.

Гуинплен был страшен.

Он вскочил на ноги, поднял голову и стал пристально всматриваться в расстилавшееся перед ним бескрайнее черное небо.

Потом, никому не видимый, — разве только некоему незримому существу, присутствовавшему в этом мраке, — он простер руки кверху

и сказал:

— Иду!

Он пошел по палубе шхуны, направляясь к ее борту, точно притягиваемый каким-то видением.

В нескольких шагах от него расстилалась бездна.

Он двигался медленно, не глядя себе под ноги.

Лицо его было озарено улыбкой, которая была у Деи перед смертью.

Он шел прямо, словно видя что-то перед собой. В глазах у него светился как бы отблеск души, парящей вдалеке.

Он крикнул:

— Да!

С каждым шагом он приближался к борту.

Он шел решительно, простирая кверху руки, с запрокинутой назад головой, пристально всматриваясь в одну точку, двигаясь, словно призрак.

Он не спешил, не колебался, ступая твердо и неуклонно, как будто перед ним была не зияющая пропасть, не отверстая могила.

Он шептал:

— Будь спокойна, я иду за тобою. Я хорошо вижу знак, который ты подаешь мне.

Он не сводил глаз с одной точки на небе, в са-

мом зените. Он улыбался.

Небо было совершенно черно, звезд не было, но он, несомненно, видел какую-то звезду.

Он пересек палубу.

Еще несколько решительных роковых шагов, и он очутился на самом ее краю.

— Я иду, — сказал он. — Вот и я, Дея!

И продолжал идти. Палуба была без борта. Перед ним чернела пропасть. Он занес над ней ногу.

И упал.

Ночь была непроглядно темная, место глубокое. Вода поглотила его. Это было безмолвное исчезновение во мраке. Никто ничего не видел и не слышал. Судно продолжало плыть вперед, река по-прежнему катила свои волны.

Немного спустя шхуна вышла в океан.

Когда Урсус очнулся, Гуинплена уже не было. Он увидал только Гомо, стоявшего на самом краю палубы, глядя на море, волк жалобно выл в темноте.

Гаврош

I

У Парижа есть дитя, у леса есть птичка. Птичка называется воробьем, дитя — гаменом.

Это маленькое существо весело. Оно ест не каждый день, а отправляется в театр, если ему заблагорассудится, каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, кровли над головой; оно, как птица небесная, не знает ничего подобного.

Гамену от семи до тринадцати лет. Он живет шайками, гранит мостовую, спит на открытом воздухе, носит старые отцовские панталоны, которые спускаются ему ниже пят, старую шляпу какого-нибудь другого отца, которая нахлобучивается ему ниже ушей, и одну единственную подтяжку с желтой каемкой. Он бегает, ищет, подстерегает, теряет время, курит трубку, бранится как извозчик, шляется по кабакам, знается с ворами, но в сердце у него нет ничего дурного. Дело в том, что у него в душе жемчужина — невинность, а жемчуг не растворяется в грязи.

Если бы у огромного города спросили: «Кто

это?» — он ответил бы: «Это мое дитя».

Парижский гамен — это карлик великанши.

Не будем преувеличивать. У этого уличного херувима иногда бывает рубашка, во всяком случае, только одна; бывают иногда башмаки, но без подошв, бывает иногда жилище, которое он любит, потому что видит в нем свою мать, но которому все-таки предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него есть собственные игры, свои шалости, основанием которых служит чаще всего ненависть к буржуа, свои метафоры — умереть на его языке значит «есть одуванчики с корня», свои промыслы — проводить фиакры, опускать подножки карет, устраивать переправу через улицы во время сильных дождей и выкрикивать речи, произнесенные властями в пользу французского народа; он имеет свои собственные деньги, состоящие из маленьких кусочков меди, которые он подбирает на улицах.

Вечером, благодаря нескольким су, которые гамен всегда сумеет добыть, он идет в театр. Переступив за этот магический порог, он сразу преображается. Он был гаменом — он становится жаворонком. Театры — те же корабли, но перевернутые трюмом вверх. В этот-то трюм и набиваются жаворонки. Гамен относится к жа-

воронку так же, как личинка к бабочке; то же самое существо, но сначала ползающее, а потом летающее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его способности радоваться и восторгаться, его аплодисментов, похожих на хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, нездоровый, ужасный, отвратительный трюм действительно превратился в «раек».

Дайте какому-нибудь существу бесполезное и отнимите у него все необходимое, и вы получите гамена.

Гамен не совсем невежда по части литературы. Но направление, которого он придерживается, — говорим это с крайним сожалением — совсем не в духе классицизма. Он, по самой природе своей, не имеет ничего общего с академией. Так, например, популярность, которой пользовалась среди этой бурной детской публики м-ль Марс, была приправлена оттенком иронии. Гамен так прозвал артистку.

Этот странный ребенок кричит, насмехается, издевается, спорит, одетый в тряпки, как младенец, и в рубище, как философ, он удит в сточных трубах, охотится в клоаках, умеет сохранять веселость даже среди нечистот, оглашает своими

остротами перекрестки, зубоскалит и кусается, свистит и поет, восторженно приветствует и бранится, распевает все, начиная с молитвы за усопших и кончая куплетами, находит, не отыскивая, и знает, не изучая. Он непреклонен до плутовства, безумен до мудрости, лиричен до грязи; он готов бы взобраться на Олимп, а валяется в грязи и выходит оттуда чистый и сияющий, как звезда. Парижский гамен — это Раблэ в миниатюре.

Он недоволен своими панталонами, если в них нет кармашка для часов.

Он удивляется редко, пугается еще реже, сочиняет песенки, в которых осмеивает суеверия, уменьшает до надлежащих размеров преувеличения, подшучивает над тайнами, высовывает язык привидениям, обличает ходульность и зло, смеется над эпической напыщенностью. Не потому, что он прозаичен. Нет, далеко не то. Он только заменяет торжественное видение шуточной фантасмагорией. Если бы перед ним явился Господь, он, наверное, воскликнул бы: «Вот так пугало!»

II

Маленький Гаврош как раз подходил бы под сделанное нами выше описание гамена, если бы

сердце его не было так пусто и мрачно, несмотря на то что он не прочь был посмеяться, как настоящий ребенок. Он носил мужские панталоны, но не отцовские, и женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди нарядили его из милости в эти лохмотья. А между тем у него был отец, и была мать. Но отец совсем не думал о нем, а мать не любила его. Он принадлежал к числу тех несчастных детей, больше всех остальных заслуживающих сострадания, у которых есть и отец, и мать, но которые все-таки остаются сиротами.

Этот мальчик чувствовал себя лучше всего на улице. Мостовая была для него не так жестока, как сердце его матери.

Родители вытолкнули его в жизнь пинком.

И он полетел.

Это был шумливый, бледный, веселый, проворный, насмешливый мальчик, с живым, но бледным лицом. Он бегал то туда то сюда, пел, играл в бобы, рылся в канавах, слегка воровал, но весело, как кошки или воробьи, смеялся, когда его называли мальчишкой, и сердился, когда его называли негодяем. У него не было ни крова, ни хлеба, ни тепла, ни любви, но он был весел, потому что чувствовал себя свободным.

Когда эти несчастные создания вырастают, жер-

нов социального строя почти всегда захватывает и переламывает их; но в детстве они спасаются от него. Они еще так малы, что могут ускользнуть в каждую дырочку.

Однако, как ни покинут был этот ребенок, он все-таки изредка, в два или три месяца раз, говорил себе: «Пойду-ка я к своей маме!» Тогда он покидал бульвар, проходил мимо цирка и ворот Сен-Мартен, спускался на набережную, шел по мостам, достигал предместьев, добирался до больницы Сальпетриер и подходил к дому с двойным номером 50–52.

В это время в доме под № 50–52, всегда пустом и вечно украшенном билетиком «Отдаются комнаты», было, против обыкновения, довольно много жильцов, которые, как это всегда бывает в Париже, не имели друг с другом никаких сношений и связей. Все они принадлежали к тому бедному классу, который начинается мелким, стесненным в средствах буржуа, постепенно спускается все ниже и ниже, к самым подонкам общества, и кончается двумя существами, к которым приходит вся материальная сторона цивилизации: чистильщиком, вывозящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим лохмотья.

Из всех жильцов дома в самом жалком поло-

жении была семья, состоявшая из четырех лиц: отца, матери и двух почти взрослых дочерей. Они все четверо помещались на чердаке, в одной из каморок. Эта семья, на первый взгляд, не представляла ничего особенного, кроме своей крайней бедности. Отец, нанимая комнату, назвал себя Жондреттом. Жондретт сказал женщине, которая исполняла должность привратницы и мела лестницу:

— Вот что, матушка: если кто-нибудь будет спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте, что это я.

К семье Жондреттов принадлежал и веселый босоножка.

Он проходил сюда, видел здесь бедность и отчаяние, но, что еще грустнее, не видал ни одной улыбки; находил холодный очаг и холодные сердца.

Когда он входил, его спрашивали:

— Откуда ты?

— С улицы, — отвечал он.

Когда он уходил, его снова спрашивали:

— Куда ты идешь?

И он снова отвечал:

— На улицу.

— Зачем ты приходишь сюда? — не раз спра-

шивала его мать.

Этот ребенок жил, лишенный любви, как та бледная травка, которая растет на погребах. Он не страдал от этого и не обвинял никого. Он не знал, наверное, каковы должны быть отец и мать.

Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на Тампльском бульваре этот мальчик был известен под именем Гавроша. Почему назывался он Гаврошем? Да, должно быть, потому, что отец его назывался Жондреттом.

Некоторые бедные семьи как бы по инстинктивно разрывают связывающие их нити.

III

Раз вечером маленький Гаврош мучился от голода; он ничего не ел почти целый день. Он вспомнил, что не ел и накануне. Это становилось, наконец, скучным, и он решил попытаться достать себе что-нибудь на ужин. С этой целью он отправился побродить по пустынным окрестностям Сальпетриера, где иногда можно было получить подачку; там, где редко кто бывает, скорее можно надеяться найти что-нибудь. Незаметно он дошел до поселка, который показался ему деревней Аустерлицем.

Во время одной из своих прежних экскурсий в эту местность он заметил там старый, запущенный сад, в котором росла очень недурная яблоня и по которому иногда бродили какие-то старики — мужчина и женщина. Возле яблони он также заметил нечто вроде маленькой кладовой для плодов, очевидно незапиравшейся, так что в ней, наверное, можно было поживиться яблочком. Яблоко — это ужин, а ужин — жизнь. То, что погубило Адама, могло спасти Гавроша. Сад тянулся вдоль немощеного пустынного переулка, окаймленного кустарником в тех местах, где не было никаких строений. От переулка сад отделялся изгородью.

Гаврош подошел к этому саду, почти сразу отыскав его местоположение. Он узнал яблоню и маленькую кладовую и внимательно осмотрел изгородь, через которую ему ничего не стоило перебраться. День померк; в переулке не было видно даже кошки, час был вполне удобный. Гаврош начал было уже перелезать в сад, как вдруг остановился, услыхав, что там разговаривают. Он снова слез и заглянул сквозь щели изгороди.

В двух шагах от него, по ту сторону забора, лежал опрокинутый камень, очевидно служивший скамейкой; на камне сидел старик, которого Гав-

рош видал раньше в этом саду; перед ним стояла старуха и что-то ворчала.

— Господин Мабеф! — говорила старуха.

«Мабеф? Какое чудное имя», — подумал Гаврош.

Старик не шевелился. Старушка продолжала:

— Господин Мабеф!

Не поднимая с земли глаз, старик, наконец, откликнулся:

— Что вам, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх? Тоже преуморительное прозвище», — думал Гаврош.

Поощренная откликом старика, старушка уже смелее продолжала, вовлекая его в беседу:

— Ведь хозяин-то наш недоволен.

— Чем это?

— А тем, что мы задолжали ему за три срока.

— А еще через три месяца мы будем должны за четыре срока.

— Он говорит, что заставит нас ночевать на улице.

— Ну что ж, я и пойду.

— Зеленщица тоже требует по счету. Больше ничего не хочет отпускать. Потом, чем же мы будем топить эту зиму? Ведь у нас нет дров.

— Зато есть солнце.

— И мясник отказывается давать в долг; ни одного кусочка мяса больше у него не выпросишь.

— И прекрасно: я плохо перевариваю мясо. Это слишком тяжело для моего желудка.

— Что же мы будем есть?

— Хлеб.

— Да и пекарь требует денег по счету. «Если — говорит, — у вас нет денег, то у меня нет для вас хлеба».

— Ну и отлично.

— Что же вы будете есть?

— А яблоки-то наши.

— Ну, сударь, нельзя же так жить без денег!

— Откуда я их возьму?

Старуха ушла, Мабеф остался один. Он задумался. Гаврош, со своей стороны, тоже размышлял. Между тем почти совсем смерклось.

Первым результатом размышлений Гавроша было то, что он, вместо того, чтобы перебраться через изгородь, прикорнул под ней в том месте, где расходились ветви кустарников.

«Ишь ведь какая славная постель!» — мысленно говорил он себе, свертываясь в комочек. Почти прислонившись спиною к камню, на котором сидел Мабеф, он ясно слышал дыхание этого восьмидесятилетнего старика.

Гаврош старался заменить еду сном. Кошки спят только одним глазом, так спал и Гаврош. Сквозь дремоту он следил за всем, что происходило вокруг.

На землю легло отражение белесоватого сумеречного неба, и переулок обозначился бледной чертой между двумя рядами темных кустов. Вдруг в этой белесоватой полосе появились два силуэта. Один из этих силуэтов шел впереди, другой следовал за ним на некотором расстоянии.

— Вот несет каких-то двоих! — прошептал себе под нос Гаврош.

Первый силуэт походил на старого, сгорбленного задумчивого буржуа, одетого более чем просто и тихо передвигавшего разбитые годами ноги; очевидно, он вышел из дому только за тем, чтобы немного побродить при сиянии звезд. Второй силуэт отличался тонкостью, стройностью и живостью. Хотя эта фигура и соразмеряла свои шаги с шагами первой, тем не менее в ее вынужденно-медленной походке чувствовались гибкость и проворство. Несмотря на элегантную внешность второй фигуры, от нее веяло чем-то неприятным и подозрительным. Фигура эта, также мужская, была в шляпе красивой формы, в черном, прекрасно сшитом сюртуке, вероятно из дорогого

сукна, сидевшем как нельзя лучше. Голову незнакомец держал прямо, со своеобразной грацией и мощью. Из-под шляпы в сумерках виднелся молодой профиль. В этом незнакомце Гаврош сразу узнал знакомого ему вора — Монпарнаса. Что же касается того, который шел впереди, то о нем Гаврош мог сказать разве только то, что это какой-нибудь старый простачок.

Гаврош принялся зорко наблюдать. Очевидно, один из этих прохожих что-то замыслил насчет другого. Гаврош находился в положении как нельзя более удобном для наблюдения над другими, между тем как сам не мог быть никем замеченным.

Появление Монпарнаса в этом месте, в эту пору, кравшегося по следам другого, не предвещало ничего хорошего. Мальчику стало страшно жаль незнакомого старичка, которого, очевидно, преследовал Монпарнас.

Что было делать Гаврошу? Вмешаться в то, что он предвидел? Но разве один слабосильный может помочь другому? Такая попытка только рассмешила бы Монпарнаса. Гаврош отлично понимал, что для этого восемнадцатилетнего отъявленного разбойника ничего не стоило одним ударом прикончить старика и ребенка.

Пока Гаврош размышлял таким образом, ожидаемое нападение совершилось с поразительной быстротой. Это было нападение тигра на онагра, паука на муху. Монпарнас вдруг бросил розу, которую до того времени держал в губах, кинулся на старика, схватил его за ворот и вцепился в него, как дикая кошка. Глядя на это, Гаврош едва мог удержаться от крика и ужаса. Спустя минуту один из прохожих бился с хрипом на земле, придавленный сильным, точно мраморным коленом другого, упершимся ему в грудь. Но вышло совсем не так, как ожидал Гаврош: лежавший на земле был Монпарнас, а победителем оказался старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик выдержал внезапный удар молодого и вернул его, но с такой силой, что нападавший и подвергшийся нападению в один миг поменялись ролями.

«Вот так старик!» — подумал Гаврош.

И он невольно захлопал в ладоши, но его рукоплескание не донеслось до слуха противников, оглушенных друг другом и все еще продолжавших возиться, тяжело дыша один другому в лицо и напрягая все силы в борьбе.

Наступила тишина. Монпарнас вдруг перестал

биться. Гаврош спрашивал себя: «Уж не убит ли этот разбойник?»

Старик все время не издал ни крика, ни звука. Только когда Монпарнас приподнялся из своего согнутого положения, Гаврош услыхал, как старик сказал:

— Вставай!

Монпарнас встал, но старик не выпускал его из рук. Монпарнас имел приниженный и разъяренный вид волка, которого одолела овца.

Гаврош слушал и смотрел во всю, стараясь удвоить зрение слухом. Мальчик забавлялся от всей души. Он был вполне вознагражден за свое добросовестное внимание в качестве зрителя всего происходившего.

Он отлично мог расслышать следующий разговор, которому ночной мрак придавал нечто трагическое. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал:

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты парень здоровый и сильный, почему ты не работаешь?

— Потому что это мне не нравится.

— А кто ты такой?

— Бездельник.

— Отвечай серьезно. Могу я сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

— Вором.

Наступило молчание. Старик, по-видимому, глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса. По временам молодой, сильный и ловкий разбойник вздрагивал, как пойманный в капкан зверь. Он вырывался, пробовал ударить своего противника ногами, отчаянно выгибался всем туловищем, стараясь как-нибудь освободиться. Но старик точно не замечал ничего этого, с уверенностью геркулесовой силы сжимая одной рукой обе руки молодца как в железных тисках, из которых не было никакой возможности вырваться.

Подумав несколько времени, старик устремил пристальный взгляд на своего противника и мягким голосом, торжественно зазвучавшим в ночной тишине, обратился к нему с наставительной речью, из которой Гаврош пропустил немало слов мимо ушей.

Кончив, старик выпустил руки Монпарнаса, сунул ему свой кошелек. Молодой негодяй взвесил кошелек на руке, потом, с привычной осторожностью вора, положил его себе в один из задних карманов сюртука. Между тем старик спокойно

повернулся и продолжал свою прогулку.

— Дурак! — пробормотал ему вслед Монпарнас.

Изумленный Монпарнас стоял на месте, глядя, как фигура старика теряется в темноте. Это созерцание сделалось для него роковым.

Когда старик стал удаляться, Гаврош начал приближаться. Убедившись сначала одним быстрым взглядом, что Мабеф, вероятно задремав, все еще сидит на своей скамейке, мальчик потихоньку выполз из кустарника и ползком направился к Монпарнасу, неподвижно стоявшему к нему спиной. Незаметно добравшись до разбойника, Гаврош осторожно засунул руку в карман его тонкого сюртука, ощупал там кошелек, быстро выхватил его и, зажав в руке, с ловкостью ящерицы мгновенно проскользнул обратно в кусты. Монпарнас, не имевший никакой причины быть настороже и в первый раз в жизни задумавшийся, ничего не заметил. Гаврош же, вернувшись на прежнее место, около скамейки Мабефа, перебросил кошелек через изгородь и поспешил скрыться бегством.

Кошелек упал прямо к ногам Мабефа. Стук его о землю вывел старика из дремотного состояния. Он нагнулся и поднял кошелек. Ничего не пони-

мая, он машинально раскрыл кошелек и увидел, что он о двух отделениях; в одном отделении было несколько мелочи, а в другом — шесть золотых монет.

Испуганный старик поспешил показать кошелек своей ключнице.

— Это нам с неба свалилось, — просто сказала старуха.

IV

Вечером, когда леденящий ветер дул с такой силой, точно вернулся январь, и граждане снова надели свои теплые плащи, маленький Гаврош, ежась в своих лохмотьях, стоял перед окном парикмахерской, в окрестностях л'Орм-Сен-Жерве, и притворялся, что замер в восторженном созерцании восковой невесты, которая в подвенечном наряде, с померанцевым венком на голове вертелась в окне посреди двух ярко горевших ламп, показывая прохожим то спину, то вечно улыбающееся лицо. В действительности Гаврош заинтересовался этой картиной только как предлогом, чтобы, не возбуждая подозрений, наблюдать за тем, что происходило в самой парикмахерской. Он выискивал случай «стибрить» кусок мыла, с целью продать его потом за су «ку-

аферу» из предместья. Ему уже не раз удавалось поужинать таким куском; мальчик называл этого рода промысел, к которому чувствовал призвание, «бритьем цирюльников».

Кутаясь в бог весть где добытую им старую женскую шаль, служившую ему вместо кашне, и делая свои тонкие наблюдения, он бормотал себе под нос: «Во вторник… Нет, кажется, не во вторник… Или во вторник… Да, во вторник и есть!» Неизвестно к чему относился этот монолог. Если он означал тот день, когда мальчик ел в последний раз, то значит, что он голодает уже третий день, так как теперь была пятница.

Цирюльник в своей хорошо натопленной лавке брил кого-то, не переставая искоса поглядывать на «врага», то есть на стоявшего снаружи перед окном продрогшего мальчишку с дерзкими глазами, который, засунув в карманы руки, находился там, по-видимому, неспроста.

Пока Гаврош глядел на соблазнявшее его виндзорское мыло, делая вид, что любуется восковой невестой, двое мальчуганов еще меньше его — одному могло быть лет семь, а другому не больше пяти, и оба довольно прилично одетые — робко повернули ручку двери парикмахерской и вошли туда. Они чего-то просили, быть

может милостыни, и притом такими жалобными голосами, которые походили скорее на писк голодных мышей, чем на человеческую речь. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос меньшего прерывался рыданиями, а старший стучал зубами от холода. Цирюльник повернул к ним перекошенное бешенством лицо и, не выпуская бритвы из правой руки, левою оттолкнул старшего мальчика, а меньшого пнул коленкой обратно к двери. Выпроводив их снова на улицу, он захлопнул за ними дверь и сердито пробурчал:

— Зря только холод напускают!

Дети, со слезами на глазах, побрели дальше. Между тем нашла туча, и начал накрапывать дождик. Маленький Гаврош догнал мальчиков и спросил их:

— Что с вами, ребятки?

— Мы не знаем, где нам спать сегодня, — ответил старший.

— Только-то?! — сказал Гаврош. — Эка, подумаешь, беда! Да разве из-за таких пустяков ревут?.. Экие вы глупенькие!

И с видом горделивого превосходства, сквозь которое просвечивала покровительственная нежность, добавил:

— Марш за мной, мелюзга!

— Хорошо, сударь, — покорно сказал старший из мальчиков.

И малютки последовали за Гаврошем с таким доверием, с каким пошли бы за архиепископом, если бы он позвал их. Они даже перестали плакать.

Гаврош повел их по улице Сент-Антуан, по направлению к Бастилии. По пути он бросил негодующий взгляд назад на лавку цирюльника и пробормотал:

— Экая бессердечная треска! Должно быть, это англичанин.

Какая-то девушка громко расхохоталась при виде следовавших гуськом друг за другом мальчиков. Это было прямым оскорблением маленьких граждан.

— Здравствуйте, мамзель Омнибус! — насмешливо крикнул Гаврош.

Минуту спустя ему опять вспомнился парикмахер, и он пробурчал:

— Нет, я ошибся в этом животном: это не треска, а змея. Смотри, цирюльник, я приведу к тебе слесаря и заставлю его приделать тебе к хвосту погремушку!

Продолжая идти дальше по улице, Гаврош за-

метил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати с небольшим, у которой из-под слишком короткой юбки виднелись синие коленки. Девочка, очевидно, давно уже выросла из юбки, и это становилось даже неприличным.

— Бедная девчонка! — сказал Гаврош. — У нее нет даже пантолончиков… На вот, возьми хоть это.

С этими словами, распутав теплую шерстяную ткань, которая была обмотана вокруг его шеи, он набросил ее на исхудалые и посиневшие плечи девочки, превратив таким образом кашне снова в шаль.

Девочка взглянула на него с изумлением и молча приняла подарок. На известной ступени нищеты бедняк настолько тупеет, что уже более не жалуется на свои страдания и не благодарит за добро.

— Бр-р-р! — произнес Гаврош, дрожа сильнее святого Мартина, у которого оставалась хоть половина плаща.

Вслед за тем дождь хлынул как из ведра, точно в наказание за доброе дело.

— Это еще что такое! — воскликнул Гаврош. — Словно из ушата… Если так будет продолжаться, я перестану быть добрым! — прибавил он, про-

должая путь.

— Впрочем, не беда, — проговорил он, бросив прощальный взгляд на нищенку, которая ежилась под шалью, — хоть она-то согреется.

И, взглянув затем на мрачную тучу, нависшую над его головой, он задорно крикнул:

— Что, взяла?!

И прибавил шагу. Малыши старались поспеть за ним.

Проходя мимо одной из тех толстых железных решеток, которыми ограждаются окна булочной, так как хлеб сберегается в одинаковой мере с золотом, Гаврош обернулся к своим маленьким спутникам и спросил их:

— Ребятки, а вы обедали сегодня?

— Нет, сударь, — ответил старший, — мы ничего не ели с самого утра.

— Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — продолжал Гаврош.

— Извините, сударь, у нас есть и папа, и мама, но мы не знаем, где они, — возразил старший мальчуган.

— А!.. Ну, иной раз, пожалуй, лучше этого и не знать, — проговорил Гаврош глубокомысленным тоном.

— Вот уже два часа как мы ходим, — продолжал

старший из его спутников, — и ищем под ногами, нет ли чего поесть, но ничего не нашли.

— Это потому, что собаки жрут все, что валяется на улице, — сказал Гаврош и после непродолжительного молчания добавил: — Значит, мы потеряли наших родителей? Мы не знаем, что с ними сталось? Это скверно, мои милашки. Нехорошо так сбиваться с пути!.. Нужно постараться уладить дело.

Он не стал больше расспрашивать ребятишек. Не иметь пристанища — дело такое обыкновенное!

Между тем старший из мальчуганов, почти совсем вернувшийся к свойственной его возрасту беспечности, вдруг заметил:

— А ведь мама обещала свести нас на вербу в Вербное воскресенье!

— Это ерунда! — сказал Гаврош.

— Мама у нас важная дама и живет вместе с мамзель Мисс.

— Есть чем хвастаться!

Бросая эти презрительные замечания, Гаврош остановился и принялся шарить во всех заплатках своих лохмотьев. Наконец он поднял голову с видом, который должен был быть, по его желанию, только довольным, а на самом деле вышел

торжествующий.

— Успокойтесь, малыши, — сказал он, — нам всем троим есть на что поужинать. Вот, смотрите.

И он показал им су. Не дав ребятишкам времени удивиться, он толкнул их перед собой в булочную, положил там свои су на прилавок и крикнул:

— Гарсон! На пять сантимов хлеба!

«Гарсон», оказавшийся самим хозяином, взял хлеб и нож.

— Режь на три куска, гарсон, — продолжал Гаврош и с достоинством прибавил: — нас трое.

И заметив, что булочник, оглянув всех трех покупателей, отложил в сторону белый хлеб и взял черный, Гаврош засунул палец в нос и с величественным видом Фридриха Великого, нюхающего табак, бросил в лицо булочнику негодующий вопросительный возглас:

— Que-ce-que-c'est-la?

Предупреждаю тех из читателей, которые могут усмотреть в этом восклицании русское или польское слово или примут его за один из тех воинственных кличей, которыми обмениваются дикари в своих пустынях, что это самое обыкновенное слово; оно то и дело употребляется

самими читателями, но в форме целой фразы, то есть «Это что такое?»

Булочник сразу понял Гавроша.

— Это тоже очень хороший хлеб, только второго сорта, — сказал он.

— Вероятно, вы хотите сказать: самый плохой черный хлеб, — возразил Гаврош с холодной презрительностью. — Давайте нам белого хлеба, гарсон, слышите? Самого лучшего белого хлеба. Я угощаю.

Булочник не мог удержаться от улыбки и, нарезывая требуемый хлеб, смотрел на детей таким сострадательным взглядом, который задел Гавроша за живое.

— А позвольте спросить, господин пекарь, почему вы изволите так странно пялить на нас свои буркалы? — задорно спросил он.

Булочник молча отдал хлеб, взял с прилавка су и отвернулся.

— Нате вот, лопайте! — обратился Гаврош к детям, вручая каждому из них по куску хлеба.

Но мальчики изумленно глядели на него, не решаясь взять хлеб. Гаврош расхохотался.

— А, да! Вы ведь не привыкли к таким словам! — догадался он и прибавил: — Кушайте, мои пичужки.

Полагая, что старший из детей, казавшийся ему достойным более другого чести беседовать с ним, нуждается в особом поощрении, чтобы освободиться от колебания умиротворить свой голод, он присовокупил, сунув ему самую большую долю хлеба:

— Вот, заложи это себе в свой клюв.

Самый маленький кусок он оставил себе. Булочник, конечно, старался нарезать хлеб равными долями, но все-таки три части были не совсем одинаковой величины.

Бедные дети, так же как и Гаврош, были страшно голодны. Буквально разрывая хлеб зубами, они толклись в булочной, хозяин которой, удовлетворив их желание, смотрел теперь на них не очень ласково.

— Пойдемте, — сказал Гаврош своим спутникам.

И они все трое продолжили путь к Бастилии. Проходя мимо ярко освещенных окон магазинов, то и дело встречавшихся на пути, самый маленький из мальчиков каждый раз смотрел на свои свинцовые часики, которые висели у него на шее на тоненьком шнурочке.

— Экий чижик! — проговорил сквозь зубы Гаврош, с нежностью глядя на ребенка. Потом, после

некоторого раздумья, он прибавил: — Ну, если бы у меня были такие малыши, я бы их лучше берег!

V

Лет двадцать тому назад в юго-западном углу площади Бастилии, близ канала, прорытого в старом рву этой крепости-тюрьмы, красовался странный монумент. Это был слон сорока футов вышиною, построенный из камней и досок, с башней на спине, походившей на дом.

Когда-то эта фигура была вымазана зеленой краской каким-нибудь маляром, но впоследствии сделалась черной от действия времени, дождей и непогоды. В открытом и пустынном углу площади широкий лоб слона, его хобот, клыки, башня, исполинская спина и похожие на колонны ноги вырисовывались на ярком звездном ночном небе фантастически-чудовищными силуэтами. Никто не знал, что, собственно, означала эта фигура. Это могло быть символом народной силы, мрачным, загадочным. Это было могучим, резко бросавшимся в глаза призраком, рядом с невидимым призраком Бастилии. Немногие иностранцы посещали этот памятник, а прохожие едва на него взглядывали. Он стал разрушаться, каждый год с

его боков отваливались громадные пласты штукатурки, и получалось впечатление страшных зияющих ран. Дойдя до колоссальной фигуры слона, Гаврош понял, какое впечатление может произвести бесконечно великое на бесконечно малое, и сказал своим спутникам:

— Не пугайтесь, ребятки!

Затем он пробрался сквозь отверстие ограды к слону и помог своим маленьким путникам перекарабкаться через брешь. Немного испуганные дети молча следовали за Гаврошем, вполне вверяясь этому маленькому провидению в лохмотьях, которое уже накормило их и обещало дать им ночлег.

За оградой, во всю ее длину, лежала лестница, служившая днем рабочим на соседней стройке. Гаврош с необыкновенною для его лет силой поднял эту лестницу и прислонил ее к передним ногам слона. Около того места, куда достигала лестница, в брюхе слона зияло нечто вроде темной ямы.

Гаврош указал своим спутникам на лестницу и яму и сказал им:

— Ну, лезьте и входите в ту вон дверь, что видна наверху.

Мальчики в ужасе переглянулись.

— Ага! Струсили, ребятки! — вскричал Гаврош. — Смотрите, как это делается!

И, обхватив шероховатую ногу слона, он в один миг, не пользуясь лестницей, очутился наверху и быстро скрылся во впадине, а через несколько мгновений дети увидели, как во мраке впадины белым призраком обрисовалось его бледное лицо.

— Ну, влезайте теперь и вы, пиголицы! — крикнул он им. — Вы увидите, как тут хорошо. Лезь ты первый, — обратился он к старшему из мальчиков, — я тебе помогу.

Мальчуганы подталкивали друг друга. Гамен внушал им одновременно и боязнь, и доверие; в союзе с проливным дождем взяло верх последнее чувство, и ребята решились на то, что казалось им настоящим подвигом. Первым полез наверх старший. Видя себя покинутым между огромных лап страшного зверя, младший порывался зареветь, но не посмел. Между тем старший со страхом взбирался все выше и выше по перекладинам лестницы. Гаврош поощрял его одобрительными восклицаниями, точно фехтовальный учитель своих учеников или погонщик своих мулов:

— Смелей!.. Вот так!.. Не робей!.. Ставь теперь

ногу вот сюда!.. Давай руку!.. Ну, еще немножко!..

И когда мальчик был уже достаточно близко к нему, Гаврош с силой потянул его за руку к себе и сказал:

— Вот так, молодцом!

Заставив затем ребенка спуститься в яму, он добавил:

— Теперь, сударь, милости прошу садиться. Будьте как дома и ждите меня.

С ловкостью и быстротой обезьяны он выбрался из впадины, соскользнул по ноге слона вниз, в густую траву, подхватил там меньшего мальчика и поставил его сразу на средину лестницы, потом стал сам позади его и крикнул старшему:

— Эй, ты, пузырь, принимай братца! А я буду поддерживать его отсюда.

Не успел пятилетний карапуз опомниться, как тоже очутился во внутренности слона. Поднявшись вслед за малюткой, Гаврош сильно толкнул лестницу, так что она упала на землю, забрался в трещину и, захлопав в ладоши, весело воскликнул:

— Вот мы и добрались! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселости он прибавил:

— Ну, цыпочки, теперь вы у меня!

Действительно, Гаврош был тут у себя дома.

О, неожиданная польза бесполезного! Милосердие великих творений! Доброта исполинов! Этот величавый памятник, содержавший в себе мысль императора, сделался жилищем гамена! Ребенок был принят и укрыт великаном. Проходя по праздникам мимо слона на площади Бастилии, разряженные буржуа окидывали его презрительным взглядом глупо вылупленных глаз и бурчали: «Ну, на что это годно!» А «это» служило для того, чтобы спасти от холода, снега, града, дождя, вьюги, укрыть от зимнего ветра, предохранить от сна среди грязи, последствием чего бывает лихорадка, избавить от сна среди снега, ведущего к смерти, укрыть и защитить от всего этого маленькое существо без отца, без матери, без хлеба, без одежды, без приюта. «Это» служило для того, чтобы дать убежище невинному существу, отвергнутому обществом. «Это» служило для того, чтобы смягчить вину общества. «Это» была берлога того, для которого были заперты все двери.

VI

Трещина, которой пользовался Гаврош для того, чтобы проникнуть во внутренность слона,

находилась во внутренней части исполинской фигуры; снаружи она не была заметна при беглом взгляде и притом настолько узка, что в нее только кошки и дети и могли пробираться.

— Ну, сперва надо сказать швейцару, что нас нет дома, если кто будет спрашивать, — с важностью проговорил Гаврош.

Юркнув в потемки с уверенностью человека, знающего все закоулки своей квартиры, он достал доску и закрыл ею трещину. Затем дети услышали слабый треск спички, всунутой в пузырек с фосфорическим составом. Наших спичек тогда еще не существовало; прогресс в эту эпоху представлялся огнивом Фюмада.

Внезапный свет заставил детей зажмуриться. Гаврош зажег кусок фитиля, пропитанного смолою. Такие фитили назывались «погребными крысами». «Крыса» Гавроша, более чадившая, чем светившая, очень слабо озаряла внутренность слона. Озираясь вокруг, маленькие гости Гавроша испытывали нечто сходное с тем, что испытывал бы человек, заключенный в знаменитую исполинскую Гейдельбергскую банку или, еще вернее, что испытывал Иона в чреве кита. Они видели охватывающий их со всех сторон гигантский остов. Длинное почерневшее брев-

но над их головами, от которого на известных расстояниях друг от друга выгибались по бокам толстые жерди, изображало позвоночный столб с ребрами; от бревна свешивались в виде сталактитов просочившиеся когда-то сверху и застывшие струйки жидкой штукатурки, а между противоположными ребрами протягивались серыми перепонками густо запыленные паутины. Там и сям, по углам, виднелись какие-то черные пятна, которые казались живыми; они быстро и суетливо шевелились, точно испуганные. Обломки, упавшие сверху и заслонившие нижнюю часть того, что изображало брюшную полость слона, позволяли свободно ходить в этой полости, как по полу.

Мальчуганы выглядели такими испуганными, что, по мнению гамена, им нужна была известная встряска.

— Чего вы там пищите! — крикнул он. — Вам не нравится здесь? Не нарядно для вас?.. В Тюльери, что ли, прикажете вас поместить?.. Скоты вы после этого!.. Смотрите вы у меня! Я ведь шутить с собой не позволю! Я вам покажу, как рыла воротить! Подумаешь, какие важные особы.

При боязни бывает очень полезна легкая суровость — она успокаивает. Дети подошли к

Гаврошу и прижались к нему.

Тронутый таким доверием, он сразу перешел от строгости к ласке и, обратившись к младшему, мягко сказал ему:

— Дурачок ты этакий! Темно-то не здесь, а на дворе. На дворе льет дождь как из ведра, а здесь его нет; на дворе стужа, а здесь хоть не дует; на дворе куча народа, а здесь — никого, кроме нас; на дворе даже луны не видать, а здесь моя свечка, черт возьми! Чего же вам еще надо?

Дети начали посмелее оглядывать помещение, но Гаврош не дал им долго заниматься этим.

— Ступайте туда, — сказал он им, вталкивая их в глубину своей «комнаты», где помещалась его постель.

Постель Гавроша была вполне «как следует» — с тюфяком, «одеялом» и «альковом с пологом». Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом — большая, почти новая и очень теплая серая шерстяная попона, альков же был устроен следующим образом: три длинных шеста — два спереди, один сзади — были крепко водружены внизу брюшной полости слона, а верхушками связаны вместе, так что получился пирамидальный шатер. На этот шатер была накинута проволочная сеть, искусно прикрепленная к ше-

стам. Сеть эта составляла часть клетки, в которой помещаются в зверинцах птицы. К «полу» она была прикреплена рядом тяжелых камней, положенных на ее края. Под этим-то шатром, очень напоминавшим эскимосский, и находилась постель Гавроша. Шесты представляли «альков», сеть — «полог».

Гаврош раздвинул несколько камней спереди, и «полог», плотно запахнутый, раскрылся.

— Ну, малыши, вот вам и постель; ложитесь! — сказал гамен, помогая им пробраться под шатер.

Потом он сам забрался вслед за ними и также плотно накрыл опять полог и прикрепил его камнями, но только уже с внутренней стороны. Все трое растянулись на циновке.

Как ни малы были ребята, но ни один из них не мог стоять в алькове, потому что тот был слишком низок.

Гаврош все время держал в руке свою «крысу».

— Теперь извольте дрыхнуть! — скомандовал он. — Я потушу канделябр.

— Сударь, — спросил старший мальчик, показывая на сетку, — а это что такое?

— Это от крыс, — с важностью отвечал Гаврош. — Дрыхните же, говорю вам!

Однако через секунду он счел нужным сни-

зойти к незнанию малюток и прибавил им в поучение:

— Все, что вы здесь видите, взято мною из зоологического сада от зверей. Там всего этого много, целая кладовая. Стоит только перелезть через стену, вскарабкаться в окошко, проползти под дверь, и бери что хочешь.

Во время этого объяснения он закутывал меньшего мальчика частью попоны.

— Ах, как тепло! Как хорошо! — бормотал обрадованный ребенок.

Гаврош с довольным видом полюбовался на одеяло и сказал:

— И это тоже из зверинца. Это я стибрил у обезьян.

Затем, указав на циновку, которая была очень толстая и превосходной работы, прибавил:

— А это я взял у жирафа.

После небольшой паузы он продолжал:

— Это все было у зверей. Я отнял у них. Они на это не рассердились. Я им сказал: «Это для слона».

Он снова немного помолчал и потом пробурчал:

— Лезешь себе через стены и знать никого не хочешь. Да и чего бояться?

Дети с изумлением и боязливым уважением смотрели на это предприимчивое и изобретательное существо, которое было таким же бродягой, как они, таким же одиноким и жалким, но в котором было что-то особенное, что-то могучее, казавшееся сверхъестественным, и физиономия которого представляла собою смесь ужимок старого фокусника в соединении с самой прелестной, самой наивной улыбкой.

— Сударь, вы, значит, не боитесь городских сержантов? — робко спросил старший из мальчиков.

— Малыш, нужно говорить не «сержанты», а «фараоны», — наставительно заметил Гаврош.

Младший лежал молча, с широко открытыми глазами. Так как он находился с краю циновки, между тем как брат его приходился посредине, то Гаврош завернул вокруг него одеяло, как сделала бы мать, и устроил ему с помощью тряпок, подсунутых под циновку, нечто в роде подушки.

— А ведь тут недурно, а? — обратился он затем к старшему.

— О, да! — ответил тот, глядя на Гавроша с выражением ангела, спасенного от смерти.

Вымокшие до костей дети начали согреваться.

— А скажите-ка теперь, из-за чего вы давеча

так хныкали? — продолжал Гаврош и, указывая на младшего, прибавил: — Этому карапузу еще простительно реветь, а такому большому, как ты, ужасно стыдно. Ты тогда становишься похожим на мокрую курицу и на идиота.

— Да ведь нам некуда было идти и было очень страшно одним, — ответил старший.

Гаврош то и дело прерывал его, советуя заменять многие выражения словами из воровского языка; мальчик благодарил его за наставление и обещал запомнить.

VII

Дети крепко прижались друг к другу. Гаврош расправил под ними сбитую циновку, еще раз подоткнул везде попону и снова велел им «дрыхнуть». Потом задул фитиль.

Только что он успел сам хорошенько улечься, как проволочный шатер стал трястись под влиянием чего-то странного. Слышалось глухое трение, точно когтей и зубов о проволоку, издававшую резкие металлические звуки. При этом что-то пищало на разные голоса.

Младший мальчик, услыхав возле себя эту непонятную возню и задрожав от ужаса, толкнул локтем старшего, который уже «дрыхнул» по

приказанию Гавроша. Тогда ребенок, не помня себя от страха, осмелился обратиться к Гаврошу робким шепотом, боясь даже громко дохнуть:

— Сударь!

— Чего тебе? — отозвался гамен, начинавший уже дремать.

— Что это такое?

— Крысы, — спокойно ответил Гаврош, укладывая поудобнее голову.

Действительно, это были крысы, кишмя кишевшие в остове слона и являвшиеся теми самыми живыми черными пятнами, о которых мы говорили выше. Пока горел огонь, крысы держались в почтительном отдалении, но как только в этой яме, населенной ими бог весть когда, снова воцарилась обычная темнота, они, почуяв то, что славный сказочник Перро называл «свежим мясом», толпами набросились на шалаш, с таким искусством устроенный Гаврошем, вскарабкались на верхушку и с ожесточением принялись грызть проволоку, надеясь прорвать ее своими острыми зубами и таким образом забраться во внутренность шалаша. Между тем меньший мальчик все еще не спал.

— Сударь! — снова окликнул он Гавроша.

— Ну что еще, карапуз?

— Что такое крысы?

— Крысы — это мыши.

Такое объяснение немного успокоило ребенка. Он видал уже белых мышек и не боялся их. Тем не менее он через минуту снова подал свой голосок:

— Сударь!

— Ну?

— А почему у нас нет кошки?

— У меня была кошка, но ее съели.

Это второе объяснение уничтожило действие первого, и мальчуган снова начал тревожиться. Между ним и Гаврошем снова возобновился следующий разговор:

— Сударь!

— Ну еще что?

— Кого это съели?

— Кошку.

— А кто же ее съел?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Пораженный тем, что находится в обществе мышей, которые съедают кошек, ребенок продолжал:

— Сударь, а нас не съедят эти мыши?

— Наверное, они не прочь бы это сделать, — от-

вечал Гаврош, но, видя, что ребенок совсем замер от ужаса, прибавил:

— Не бойся, цыпленок! Мыши не могут пробраться к нам. Да и потом ведь я здесь. На вот, возьми мою руку. Молчи и спи.

С этими словами он протянул руку ребенку, который прижался к ней и успокоился. Мужество и сила таинственным способом передаются от одного к другому.

Звук голоса испугал и отогнал крыс. На время вокруг шалаша водворилась полная тишина. Но через несколько минут крысы снова вернулись и с еще большим ожесточением принялись за решетку. К счастью, мальчики уже крепко спали и ничего не слыхали.

Часы шли за часами. Мрак окутывал огромную площадь Бастилии. Холодный, настоящий зимний ветер, смешанный с дождем, бушевал, как в степи. Патрули обшнуривали ворота, аллеи, огороженные места, темные закоулки и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона. Застыв в своей неподвижной позе, с широко открытыми глазами, чудовище казалось погруженным в раздумье о том добром деле, которое оно совершило, приютив от непогоды и от людей бедных, сладко теперь спавших в нем детей.

Чтобы понять то, о чем сейчас будет речь, следует знать, что в описываемую эпоху гауптвахта Бастилии помещалась на другом конце площади, откуда не могло быть замечено часовыми ничего, что происходило около слона.

В исходе того часа, который непосредственно предшествует рассвету, с улицы Сент-Антуан торопливо вышел на площадь Бастилии какой-то человек. Осмотревшись вокруг, он бегом направился к Июльской колонне, обогнул ее и проскользнул сквозь палисадник под брюхо слона. Если бы какой-нибудь свет озарил этого человека, то можно было бы заметить, что он весь промок, проведя, очевидно, всю ночь под дождем. Добравшись до слона, он испустил странный крик, который мог бы быть вполне воспроизведен разве только попугаем. Он два раза повторил этот крик, о котором может дать приблизительное понятие следующее сочетание букв: «Кир кикиу!»

На вторичный крик из брюха слона отозвался молодой, ясный и веселый голос:

— Здесь!

Вслед за тем доска, закрывавшая отверстие в слоне, отодвинулась и из-за нее показался мальчик, который, проворно скользнув вдоль ноги

слона, спрыгнул с ее нижней оконечности на землю. Мальчик этот был Гаврош, а вызывавший его — Монпарнас.

Должно быть, крик Монпарнаса был условным и означал: «Здесь ли ты, Гаврош?»

Услыхав этот крик сквозь сон, гамен тотчас же вскочил, выполз из своего алькова, раздвинул немного сеть, затем снова тщательно задвинул и закрепил ее; после этого он открыл люк и спустился вниз.

Монпарнас и Гаврош сразу узнали друг друга в ночной темноте. Монпарнас ограничился словами:

— Ты нам нужен. Иди, помоги нам немного.

Гамен не требовал других объяснений.

— Иду, — сказал он.

VIII

Мятеж есть одно из явлений, выходящих из ряда вон. Он всегда вспыхивает одновременно во всех местах. Первый встречный овладевает толпой и ведет ее куда хочет. Ужасное дело, к которому примешивается что-то вроде зловещей веселости. Начинается обыкновенно с криков, потом запираются лавки, выставки товаров исчезают, там и сям раздаются одинокие выстрелы,

люди бегут, удары прикладами потрясают ворота, слышно, как в глубине дворов смеются служанки, приговаривая: «Ну, быть потехе!»

Около шести часов вечера пассаж Дю-Симон превратился в место битвы. В одном конце его находились мятежники, в другом — войска.

Перестреливались от решетки до решетки. Посторонний наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, пожелавший взглянуть в непосредственной близости на бурливый вулкан, очутился в этом пассаже буквально между двух огней. У него не было другой защиты, кроме выступов полуколонн, отделявших один от другого магазины, и он около получаса находился в этом неприятном положении. Между тем пробили сбор: национальная гвардия поспешно надевала мундиры и вооружалась, легионы выступали из мэрий, полки выходили из казарм. Против пассажа Де-Ланкер один барабанщик пал под ударом кинжала. Другой был атакован тридцатью молодыми людьми, которые разбили его барабан и отняли у него саблю. Третий был убит.

Восстание из центра Парижа устроило что-то вроде недоступной, исполинской, извилистой цитадели. Там был очаг движения, там, очевидно, и сосредоточивалось все дело; остальное же было

не более как мелкие стычки. Так как в центре еще не дрались, то можно было понять, что решение вопроса подготовлялось именно там.

В некоторых полках солдаты были в нерешительности, что еще более усиливало ужасающую мрачность кризиса. Командирами их были два неустрашимых человека, испытанных в настоящих войнах: маршал де Лобо и генерал Бюжо, причем последний был подчинен первому. Огромные патрули, состоящие из пехотных батальонов, замкнутых в целые роты национальной гвардии и предшествуемых полицейскими комиссарами в шарфах, объезжали охваченные мятежом улицы. Правительство, держа в руках армию, еще колебалось. Наступала ночь, и слышался звон набатного колокола.

В этот момент, когда мятеж, разгоревшийся от столкновения народа с войском перед арсеналом, вызвал обратное движение в толпе, следовавшей за гробом Ламарка вдоль бульваров, произошло страшное смятение. Она заколыхалась, ряды разорвались, все бросились бежать, спасаться: одни с грозными криками, требовавшими атаки, другие с выражением страха на побледневших лицах. Могучий поток, покрывавший бульвары, разделился в один миг и хлынул направо и на-

лево, чтобы затем разлиться мелкими потоками сразу по двумстам улицам и наполнить их шумом прорвавшейся плотины. В эту минуту по улице Менильмонтан шел, весь в лохмотьях, мальчик с веткой черного дерева в руках, сорванной на высотах Бельвиля. Проходя мимо лавочки торговки разным старьем, он увидал выставленный там старинный седельный пистолет. Мальчик бросил на мостовую ветвь и крикнул:

— Мамаша, я беру взаймы у тебя эту штучку! — И, схватив пистолет, он бросился с ним бежать.

Это был маленький Гаврош, тоже отправлявшийся на войну.

Вернувшись утром к слону, он извлек из него обоих малюток, разделил с ними завтрак, который где-то добыл, затем ушел от них, доверив их той доброй матери-улице, которая почти воспитала его самого. Уходя от ребятишек, он назначил им вечером свидание на том же месте, где находился с ними в эту минуту, и сказал на прощание: «Я разбиваю палку, то есть беру ноги в зубы или, как еще говорят, улепетываю. Если вы, карапузики, не отыщете сегодня папеньку с маменькой, то приходите опять сюда вечером. Я накормлю вас ужином и уложу спать». Ребятишки, подобранные, вероятно, городским

сержантом и отведенные в участок или украденные каким-нибудь балаганным фокусником, а то и просто заблудившиеся в громадном парижском лабиринте, вечером не вернулись назад. Дно общественного мира полно таких исчезновений. Гаврош так и не видал более малюток. С этой ночи протекло уже несколько месяцев, в течение которых Гаврош, почесывая голову, не раз говорил сам себе: «Куда же это девались мои ребятки, черт их возьми?»

Между тем он со своим пистолетом в руках дошел до улицы Понт-о-Шу. Он заметил, что на этой улице была отперта одна только лавка, и притом лавка пирожника. Точно само провидение позаботилось дать ему возможность полакомиться яблочным пирожком. Прежде чем броситься в неизвестность, Гаврош остановился, ощупал у себя бока, порылся в карманах, даже вывернул их, но, не найдя в них ни гроша, он, чтобы выразить чем-нибудь свою досаду, закричал во все горло:

— Караул! Ограбили!

Размахивание среди улицы пистолетом без собачки — такое важное общественное дело, что Гаврош с каждым шагом все более и более приходил в азарт. Он запел было Марсельезу, но то и дело обрывал ее, чтобы выкрикнуть что-нибудь

вроде следующего:

— Все идет хорошо! У меня сильно болит левая лапа, я ушиб ее как раз в том месте, где ревматизм, но все-таки я доволен, граждане!.. Пусть держатся буржуа, когда я запою им сногсшибательную песенку!.. Что такое мушары (сыщики)? Сущие собаки, черт бы их побрал!.. Впрочем, не нужно оскорблять собак такими сравнениями… Не мешало бы быть собачке и на моем пистолете… Я прямо с бульвара, друзья мои, там так и кипит, бурлит, брызжет во все стороны. Пора бы и пену снимать с горшка… Вперед, храбрецы! Я жертвую жизнью для отечества! Не видать мне больше своей душеньки, все кончено, все!.. Но мне на это наплевать! Да здравствует веселье!.. Будем драться, дьявол их раздави!.. Довольно с меня всего.

В эту минуту споткнулась и упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии. Гаврош бросил свой пистолет на мостовую, поднял улана, потом помог ему поднять и лошадь. После этого он поднял пистолет и продолжал путь.

На рынке Сен-Жак, где уже был обезоружен пост, Гаврош присоединился к компании, которая была почти вся вооружена.

IX

Входя с улицы Рамбюто со стороны Рынка и глядя на помещающуюся по правую руку, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, нынешние парижане не подозревают о тех страшных сценах, которые разыгрались на этом самом месте каких-нибудь тридцать лет тому назад.

Там была в то время улица Шанврери или, как она называлась в старину, Шанврери, на которой находился знаменитый кабак «Коринф».

На знаменитую баррикаду улицы Шанврери, ныне покрытую глубоким мраком забвения, мы и намерены пролить некоторый свет.

И действительно, место это было очень удобное, благодаря широкому устью улицы и ее суженному в виде воронки тупику. «Коринф» представлял собой выступ, и улицу Мондетур легко было загородить с обеих сторон, так что оставался свободным только фронт, обращенный к улице Оен-Дени.

Нашествие вооруженной толпы нагнало на всех обитателей улицы Шанврери панический ужас. Редкие прохожие поспешили скрыться. Всюду моментально затворились двери лавок, квартир и подвалов, заперлись ворота домов,

закрылись окна, портьеры и ставни, начиная с нижних помещений и кончая верхними. Какая-то испуганная старуха даже загородила свое окно тюфяком, чтобы заглушить треск ружейных выстрелов. Только кабачок остался открытым, да и то по той причине, что в него ворвалась вся банда бунтовщиков.

За несколько минут из оконных решеток нижнего этажа кабака были выломаны все железные полосы, а уличная мостовая разобрана на протяжении нескольких десятков шагов. Гаврош был здесь.

Сияющий и восхищенный, он взял на себя задачу подбодрять работающих. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, шумел, кричал. Казалось, без него не пошло бы и дело. Что подталкивало его самого? Нужда. Что окрыляло его? Веселье. Гаврош был воплощением вихря. Он был везде, и голос его разносился повсюду. Он все наполнял собою; он не давал ни минуты покоя ни себе, ни другим. Сама баррикада точно воодушевлялась им. Он подгонял ленивых, оживлял утомленных, раздражал склонных к задумчивости; одних развеселял, других сердил; всех приводил в возбуждение; того толкнет, того осмеет; на мгновение останавливался, потом

вдруг улетал, кружился над этим шумным муравейником, перескакивая от одних к другим, жужжал, бурчал, беспокоил, точно навязчивая муха, всю упряжь исполинской фуры. Его маленькие руки были в беспрерывном движении, его маленькие легкие не уставали работать.

Гавроша страшно бесило то, что его пистолет был без собачки; он то и дело приставал к мятежникам, чтобы они дали ему ружье.

— Дайте же мне ружье! Я тоже хочу ружье!.. Почему вы не даете мне ружья? — кричал он изо всех сил.

— Тебе ружье? — удивился один из них.

— А почему же нет? — спросил мальчик.

Предводитель пожал плечами и сказал:

— Когда все взрослые запасутся ружьями, тогда лишние раздадут и ребятишкам.

Гаврош с гордым видом обернулся к нему и крикнул:

— Как только тебя убьют, я возьму твое ружье.

— Мальчишка! — крикнул тот.

— Молокосос! — ответил Гаврош.

Современные газеты, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, названная ими сооружением «почти неодолимым», достигла уровня второго этажа кабака, сильно ошибались.

В действительности эта баррикада не превышала шести-семи футов. Она была устроена таким образом, что защитники ее могли, по желанию, взбираться на самый ее верх, благодаря четырем рядам камней, образовавшим ступени с внутренней стороны. С фронта эта баррикада действительно казалась неприступной, представляя очень внушительный вид, так как она была составлена из правильно сложенных камней и бочек, соединенных бревнами и досками, просунутыми в массивные колеса телеги известного заводчика Ансо и омнибуса. Чтобы иметь возможность произвести, в случае необходимости, вылазку, между стеной одного дома и самым отдаленным от кабака краем баррикады было оставлено отверстие, в которое мог протиснуться один человек. Дышло омнибуса при помощи веревок было утверждено стоймя; к нему было прикреплено красное знамя, развевавшееся над баррикадой.

Вся работа по сооружению баррикады совершилась в какой-нибудь час, без всякой помехи; горсть бунтовщиков не была смущена появлением ни одной лохматой шапки или штыка. Немногие буржуа, рискнувшие пройти по охваченной мятежом улице Сен-Дени, ускоряли шаги,

лишь только взгляд их встречал баррикаду в улице Шанврери.

Ружья и карабины бунтовщиков на улице Шанврери были заряжены все сразу, но без торопливости. Затем, когда баррикады были воздвигнуты, ружья заряжены, часовые расставлены, бунтовщики, укрепившиеся в этих улицах, по которым никто посторонний уже не проходил, окруженные безмолвными, точно вымершими домами, ни одним звуком не выдававшими присутствия в них живых людей, окутанные сгущающимися сумерками, застывшие в безмолвии, в котором чувствовалось приближение чего-то страшного, трагического, одинокие, вооруженные, спокойные, полные решимости, — ждали неизбежного.

Наступила наконец и ночь, но никто не являлся к баррикаде. Слышался лишь какой-то смутный гул, и по временам доносился треск ружейной пальбы — редкий, довольно слабый и отдаленный. Этот продолжительный роздых показывал, что правительство собирается с силами. Пятьдесят бунтовщиков на улице Шанврери поджидали шестьдесят тысяч противников. Они позаботились, чтобы в верхнем этаже и в мансарде не горел огонь. Гаврош оказался сильно

озабоченным. На улице Бильетт к бунтовщикам присоединился один незнакомец, и теперь он только что вошел в нижнее помещение кабака и сел за стол, стоявший в тени. На его долю выпало ружье большого калибра, которое он теперь, сидя на стуле, держал между колен. Гаврош, до этой минуты развлекавшийся столькими «забавными» делами, не успел заметить этого человека на баррикаде. Но когда доброволец вошел в кабак, Гаврош машинально следил за ним глазами, любуясь его оружием, потом вдруг, когда незнакомец сел, мальчик вскочил со своего места. Всякий, кто наблюдал бы за этим человеком с первого момента его появления у баррикады, мог бы заметить, что он с каким-то особенным вниманием рассматривает как самих бунтовщиков, так и то, что они делают; теперь же, войдя в кабак, он как бы сосредоточился на себе самом и точно ничего не видел из происходящего вокруг него. Гаврош подошел к задумчивому незнакомцу и стал вертеться вокруг него на цыпочках, как ходят вокруг человека, которого боятся разбудить. При этом на его детском лице, одновременно наглом и серьезном, легкомысленном и глубоком, веселом и скорбном, замелькали все гримасы, свойственные лицу старому и выражающие

мысли вроде следующих: «Ба!.. Не может быть!.. Это мне, наверное, только так кажется… чудится… А может быть… Да нет, это невозможно!.. А вдруг это тот?.. Нет, нет, вздор!» Гаврош раскачивался на пятках, сжимал засунутые в карман кулаки, повертывал шею, как птица, и выражал оттопыренною нижней губою всю свою прозорливость. Он был озадачен, поражен, неуверен, ослеплен. Он имел вид начальника евнухов на невольничьем рынке, вдруг открывшего Венеру среди неуклюжих толстух, или вид знатока, заметившего в куче мазни кисть Рафаэля. В нем одновременно работали и пронюхивающий инстинкт, и сопоставляющий ум. Очевидно, Гаврош натолкнулся на важное открытие.

В ту самую минуту, когда возбуждение Гавроша достигло высшей степени, его окликнули:

— Гаврош, ты малыш, и тебя не увидят. Выйди из баррикады, прошмыгни вдоль домов, поболтайся по улицам, потом вернись и расскажи все, что увидишь и услышишь.

Гаврош выпрямился.

— А, — сказал он, — значит, и малыши на что-нибудь да годятся? Это очень приятно!.. Хорошо, я пойду. А пока вы доверяетесь малышам, остерегайтесь взрослых…

И, подняв голову, Гаврош украдкой указал на незнакомца и шепотом прибавил:

— Видите вы этого человека?

— Ну?

— Это шпион. Недели две тому назад этот самый человек стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я сел подышать воздухом.

Анжольрас с живостью отошел от гамена и шепнул несколько слов портовому рабочему. Тот вышел из залы и через несколько минут вернулся с тремя товарищами. Эти четыре широкоплечих носильщика незаметно встали позади стола, на который облокотился человек с улицы Бильетт, очевидно готовые броситься на него по первому знаку Анжольраса.

Последний подошел к незнакомцу и спросил его:

— Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе незнакомец встрепенулся. Взглянув своими проницательными глазами в самую глубь кротких глаз Анжольраса, он, вероятно, прочел в них его мысль. Улыбнувшись затем презрительной и выразительной улыбкой, он с высокомерной важностью сказал:

— Я угадываю, что это значит… Да, это так.

— Вы — шпион?

— Я — агент власти.

— Ваше имя?

— Жавер.

Анжольрас сделал знак четырем носильщикам, и, прежде чем Жавер успел обернуться, его схватили, свалили, связали и обыскали. У него нашли маленькую круглую карточку, вставленную между двух стекол, на одной стороне которой был изображен герб Франции с надписью: «Бдительность и неусыпность», а на другой — следующее свидетельство: «Жавер, инспектор полиции, пятидесяти двух лет...», внизу была подпись тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, при нем были часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Эти вещи оставили у него. За часами, на дне кармана, нащупали бумагу в конверте и вытащили ее. Анжольрас развернул бумагу и прочел следующие пять строк, написанные собственноручно префектом полиции:

«При исполнении данной ему политической миссии инспектор Жавер должен удостовериться специальным наблюдением, верно ли то, что злоумышленники скрываются на правом побережьи Сены, близ Женского моста».

Окончив обыск, рабочие подняли Жавера на ноги, скрутили ему руки за спиной и привязали посредине залы к тому самому знаменитому столбу, который когда-то дал свое название кабаку.

Гаврош, молча наблюдавший за всей этой сценой и по временам одобрительно кивавший головой, подошел к Жаверу и сказал ему:

— На этот раз мышь поймала кота.

Все совершилось так быстро, что остальные бунтовщики, находившиеся в кабаке, заметили это только тогда, когда все уже было кончено. Жавер не оказал никакого сопротивления.

Сыщик, прислоненный спиной к столбу и так крепко скрученный веревками, что не мог пошевельнуться, держал голову с невозмутимым спокойствием человека, никогда не лгавшего.

— Это шпион, — сказал Анжольрас и, обернувшись к Жаверу, добавил: — Вы будете расстреляны за десять минут до взятия баррикады.

— Почему же не сейчас? — спокойно спросил сыщик.

— Потому что мы бережем порох.

— Так покончите со мной ножом.

— Шпион, — произнес Анжольрас, — мы судьи, а не убийцы!

Потом, подозвав Гавроша, он сказал ему:

— Так ты ступай по своему делу и помни, что я говорил.

— Иду! — крикнул Гаврош, но вдруг, на полпути к двери, остановился и сказал: — Кстати, дайте мне ружье. Музыканта я оставлю вам, а кларнет беру себе.

Гамен отдал по-военному честь и весело отправился исполнять данное поручение.

X

Десять часов пробило уже на колокольне Сен-Мери. Никто еще не показывался. Анжольрас и остальные, с карабинами в руках, находились возле лазейки большой баррикады. Они сидели молча, внимательно прислушиваясь к раздававшемуся в отдалении глухому шуму шагов. Вдруг среди унылой тишины зазвучал молодой, свежий, веселый голос, доносившийся как будто с улицы Сен-Дени и распевавший какие-то стишки на мотив старой народной песни.

— Это Гаврош, — шепнул один из них.

— Предупреждает нас, — добавил второй.

Чьи-то поспешные шаги нарушили безмолвие пустынной улицы. Вслед за тем появилась маленькая фигурка, с быстротою и ловкостью лучшего клоуна перебиравшаяся через опроки-

нутый омнибус. Это действительно был Гаврош. Очутившись на внутренней стороне баррикады, он, весь запыхавшись, крикнул:

— Дайте мне ружье! Идут!

Присутствовавшие у баррикады мгновенно встрепенулись. Послышался шорох рук, хватавшихся за оружие.

— Хочешь мой карабин? — предложил Анжольрас гамену. — Он полегче.

— Я хочу большое ружье, — сказал Гаврош и взял ружье Жавера. Почти одновременно с Гаврошем явились двое часовых, стоявших в конце улицы Шанврери.

Улица Шанврери, на которой едва можно было различить несколько камней мостовой благодаря отражению освещенного знамени, представляла бунтовщикам ряд темных зияющих ворот.

Все заняли боевую позицию. Сорок три бунтовщика, в том числе и Гаврош, стояли на коленях на большой баррикаде, держа головы в уровень с гребнем этого сооружения и положив стволы ружей и карабинов на камни, служившие им бойницами. Они стояли молча, в напряженном ожидании, готовые стрелять. Шестеро, с ружьями наготове, поместились у окон обоих этажей «Коринфа». Через несколько минут со стороны

Сен-Луи донесся шум многочисленных мерных, тяжелых шагов. Шум этот, сначала слабый, потом постепенно усиливавшийся, приближался безостановочно, неуклонно, со спокойной, строгой размеренностью. Кроме этих твердых шагов, более ничего не было слышно. Это были грузные, зловещие шаги статуи Командора, но не одной, а множества статуй. Казалось, надвигается целый легион мраморных призраков. Шаги все приближались; наконец они остановились. С конца улицы точно доносилось мощное дыхание целой толпы. Но этой толпы не было видно, только в самой глубине улицы густая тьма прорезывалась как бы множеством металлических нитей, тонких, как иглы, и едва заметных; нити эти двигались, напоминая те неуловимые фосфорические, перепутанные в сети линии, которые мелькают у нас перед закрытыми глазами в тот момент, когда мы засыпаем и нас охватывает первый туман сна. Этими нитями были стволы ружей и штыки, смутно озаренные колеблющимся светом факела, еще отдаленного от них.

Снова ненадолго водворилось безмолвие. Очевидно, обе стороны чего-то выжидали. Вдруг из глубины тьмы раздался голос, тем более зловещий, что обладателя его не было видно.

— Кто там? — прозвучал грозный оклик.

В то же время послышался лязг опускаемых ружей.

— Французская революция! — звучным, возбужденным голосом ответил Анжольрас.

— Пли! — крикнул первый голос.

Фасады всех домов улицы мгновенно озарились промелькнувшей пурпурной молнией; точно вдруг разверзлась и тут же снова захлопнулась заслонка пылающего горнила. Страшный треск сильного ружейного залпа пронесся над баррикадой. Красное знамя упало, залп был так силен, что им, как ударом острого топора, отрезало самый конец дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали в баррикаду и ранили нескольких человек. Действие этого первого залпа было ужасающее. Атака была такая серьезная, что заставила задуматься даже самых смелых из баррикадистов. Очевидно, там, во мраке, стоял целый полк.

— Товарищи! Подождем понапрасну тратить порох.

— Но прежде всего нужно опять водрузить знамя, — сказал Анжольрас.

Он нагнулся и поднял знамя, которое упало к его ногам.

Извне был слышен стук шомполов в ружьях: войско готовилось дать второй залп.

Анжольрас продолжал:

— Кто здесь смельчак? Кто водрузит снова знамя на баррикаде?

Никто не отвечал. Взлезть на баррикаду в тот миг, когда она, без сомнения, служила мишенью для ружей, — значило идти на верную смерть.

Сам Анжольрас содрогнулся. Он повторил:

— Никто не хочет?

В ту минуту, как Анжольрас повторил свой вопрос, показался старик Мабеф.

При его появлении вся баррикада заволновалась. Послышались крики:

— Это член Конвента. Это представитель народа.

Он подошел к Анжольрасу. Он вырвал знамя из рук Анжольраса, который стоял пораженный; никто не дерзнул ни остановить старика, ни прийти ему на помощь, и с трясущейся головой, но твердыми шагами направился этот восьмидесятилетний старец к баррикаде и стал медленно подыматься по лестнице, сложенной из булыжника. Зрелище было такое мрачное и такое величественное, что все кругом закричали: «Долой шляпы!» Всех обуял ужас. По мере того как

Мабеф подымался по ступеням, его белые волосы, старческое лицо, большой лысый и покрытый морщинами лоб, впалые глаза, удивленный и раскрытый рот, его старческая рука, державшая красное знамя, — все это выступало из мрака и явственно обозначалось при кровавом свете факела.

Когда он поднялся на последнюю ступень, когда это дрожащее и страшное видение встало во весь рост на куче обломков, имея перед собою тысячу невидимых ружей, и, дрогнув, глянуло в лицо смерти, точно оно было сильнее ее, — вся баррикада увидала во мраке сверхъестественный и величественный облик.

Воцарилось то безмолвие, какое бывает только при виде чуда.

Среди этого безмолвия Мабеф махнул красным знаменем и закричал:

— Да здравствует революция! Да здравствует республика! Братство, равенство и смерть!

Тот же звучный голос, который прокричал: «Кто идет!», закричал:

— Уйдите прочь!

Мабеф, бледный, с безумными глазами, поднял знамя над головой и повторил:

— Да здравствует республика!

— Пли! — крикнул голос.

Второй залп, точно стреляли картечью, разразился над баррикадой.

Мабеф опустился на колени; затем приподнялся, выпустил из рук знамя и упал навзничь на мостовую как пласт.

Мабефа прикрыли длинной черной шалью, устроили из ружей носилки и положили на них тело, потом, с обнаженными головами и с торжественной медленностью, отнесли его в нижнюю залу кабака и поместили там на большом столе. Всецело поглощенные этим священным делом, они совсем перестали думать о том опасном положении, в котором находились.

Когда проносили труп мимо Жавера, спокойно ожидавшего своей участи, Анжольрас сказал ему:

— Теперь очередь за тобой.

В это время маленький Гаврош, один остававшийся на своем посту в качестве наблюдателя, заметив, что к баррикаде осторожно прокрадываются какие-то люди, громко крикнул:

— Коммунары!

Они поспели как раз вовремя, потому что над баррикадой уже сверкал густой лес штыков.

Рослые солдаты муниципальной гвардии про-

бирались через заграждения один за другим, карабкаясь по омнибусу или протискиваясь сквозь оставленную лазейку, и напирали на мальчугана, который, хотя и отступал, но не бежал.

Минута была критическая. Этот натиск походил на первый страшный напор наводнения, когда поток поднимается выше уровня плотины и вода начинает хлестать через нее. Еще одно мгновение — и баррикада будет взята.

— Ко мне! — крикнул Гаврош.

Солдат, самый рослый из всех, настоящий исполин, шел прямо на Гавроша со штыком наперевес. Мальчик взял в свои слабые руки тяжелое ружье Жавера, прицелился в великана и спустил курок, но выстрела не последовало; очевидно, ружье не было заряжено. Верзила солдат расхохотался и занес штык над ребенком.

Но прежде, чем острие штыка коснулось Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата, внезапно пораженного чьей-то пулей прямо в лоб; грузное тело великана тяжело рухнуло в грязь.

Выстрелы и стоны раненых товарищей заставили нападающих энергичнее идти на приступ; на гребне баррикады появилось множество солдат муниципальной и национальной гвардии

и пехотинцев с ружьями наготове. Они заняли две трети баррикады, но пока еще не забирались внутрь ее, точно опасались попасть в какую-нибудь непредвиденную западню. Они заглядывали вниз, как в темное логовище льва, и держались так, что только половина их туловища выставлялась из-за вершины баррикады; свет одинокого факела освещал только их штыки, мохнатые шапки и раздраженные лица.

Захваченные отчасти врасплох, но не устрашенные, мятежники тут же оправились и собрались с духом. Анжольрас крикнул: «Удержитесь; не стреляйте зря!» В суматохе люди действительно могли попасть друг в друга вместо неприятеля.

Большинство защитников баррикады засели у окон залы и мансарды кабака и господствовали оттуда над нападающими. Самые же неустрашимые гордо прислонились к стенам домов в глубине улицы и, таким образом, совершенно открытые, подставляли свою грудь под выстрелы гвардейцев и пехотинцев, унизывавших баррикаду. Солдаты действовали без торопливости, с той грозной и спокойной медленностью, которая всегда предшествует серьезной схватке.

Обе враждовавшие стороны находились одна от другой на таком близком расстоянии, что сво-

бодно могли бы переговариваться.

Когда дело дошло до того момента, когда огонь мог вспыхнуть от малейшей искры, офицер, в густых эполетах и со значком на шее, протянул вперед шпагу и крикнул:

— Долой оружие!

— Пли! — скомандовал в ответ Анжольрас.

Такая же команда последовала и со стороны нападающих.

Выстрелы грянули одновременно с обеих сторон; вся баррикада заволоклась облаками едкого, удушливого дыма; послышались глухие стоны умирающих и раненых.

Когда дым рассеялся, уцелевшие противники оказались на своих местах и поспешно заряжали ружья.

Вдруг раздался громкий голос:

— Прочь! Или я взорву баррикаду!

Все обернулись на этот голос. Этот голос принадлежал молодому революционеру Мариусу.

Молодой человек вошел в нижнюю залу кабака, взял там бочонок с порохом, затем, пользуясь царившей в ограде баррикады туманною мглою, усиленной пороховым дымом, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, в которой стоял факел. Сорвать факел, поставить на

его место бочонок с порохом и вышибить камнем дно бочонка, которое с какой-то страшной покорностью проломилось мгновенно, — все это было для Мариуса делом, на которое ему понадобилось ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы нагнуться и вновь выпрямиться.

Нападающие, скучившиеся в другом конце баррикады, в оцепенении смотрели на молодого человека, который, с горящим факелом в руке и выражением дикой решимости на гордом лице, спокойно стоял на камнях.

Приблизив пламя факела к той зловещей куче обломков, посреди которой виднелся страшный бочонок с порохом, он и произнес ужасные слова:

— Прочь! Или я взорву баррикаду!

— Взорвешь баррикаду? Но вместе с нею и сам полетишь в воздух, — крикнул один из нападающих.

— Я знаю это, — спокойно ответил Мариус. — Вот, смотри.

И он поднес факел к пороху. Через минуту на баррикаде никого не было. Нападающие, оставив на месте своих убитых и раненых, в беспорядке, как попало отхлынули назад, на конец улицы, и снова затерялись во мраке ночи.

Свет быстро увеличивался. Но нигде еще не открывали ни одного окна, нигде не отворяли дверей; это была заря, но не пробуждение. На углу улицы Шанврери, против баррикады, уже не стояло войск, как мы уже говорили раньше; она казалась свободной и развертывалась перед глазами прохожих во всем своем зловещем спокойствии. Улица Сен-Дени была нема, как аллея сфинксов в древних Фивах. На перекрестках, освещенных утренними лучами, не видно было ни одного живого существа. Ничего не может быть печальнее, как вид пустынных улиц при ярком свете.

Но если ничего не было видно, то было слышно. На недалеком расстоянии происходило какое-то таинственное движение. Критический момент, очевидно, приближался. Как и накануне вечером, часовые вернулись обратно к своим товарищам, и на этот раз уже все.

Баррикада казалась теперь сильнее, чем во время первой атаки. После ухода пятерых избранников ее сделали еще выше.

Основываясь на донесении патруля, охранявшего доступ со стороны рынка, Анжольрас, из опасения быть захваченным с тыла, сделал очень важное распоряжение. Он приказал загородить

бывший до сих пор свободным переулок Мондетур. Для этого разобрали мостовую против нескольких домов. Благодаря этому баррикада, обнесенная стеною с трех сторон — спереди у нее была улица Шанврери, налево — улица Синь и Птиг-Трюандери и направо — переулок Мондетур, — казалась почти неприступной, хотя и защитники ее, в свою очередь, оказывались как бы замурованными. У нее было три фронта, но зато из нее не было ни одного выхода.

— Наша крепость — точно мышеловка, — заметил со смехом Курфеврак.

Анжольрас приказал свалить в кучу у двери кабачка штук тридцать булыжных камней.

С той стороны, откуда должна была начаться атака, до такой степени было тихо, что Анжольрас приказал всем стать по местам.

Трудно представить себе что-нибудь любопытнее баррикады, приготовляющейся к отражению приступа. Каждый сам выбирает себе место, точно публика в ожидании предстоящего зрелища. Один становится у стены, другой облакачивается о выступ, третий, наоборот, старается укрыться. Кое-кто устраивает себе даже сиденье из булыжника. Тут выдался угол стены, который мешает, и от него уходят; тут, наоборот, выступ, который

может служить защитой, и за ним прячутся.

Как только начальник скомандовал войскам готовиться к бою, хождение туда и сюда по баррикаде моментально прекратилось; никто уже не переходил с одного места на другое; разговоры тоже прекратились; мятежники, беседовавшие по двое или группами, разошлись по своим местам; все умы сосредоточились на одном — на ожидании атаки. Пока еще не наступила опасность, на баррикаде царил хаос, а в минуту опасности — дисциплина. Сознание опасности устраивает порядок.

Как и накануне вечером, все внимание сосредоточивал на себе, можно даже сказать, приковывал к себе конец улицы, теперь уже весь освещенный и хорошо видимый.

Ждать пришлось недолго. Шум ясно доносился со стороны Сен-Ле, но этот шум не имел ничего общего с тем, который предшествовал первой атаке. Слышался грохот окованных железом колес, гул от передвижения какой-то тяжелой массы, резкий, звенящий звук меди, точно прыгающий по мостовой, — словом, тот грозный шум, который служит предвестником приближающегося чудовища, состоящего из железа и меди. Чувствовалось, как дрожала самая почва этих тихих

улиц, которые проектировались и прокладывались, как пути, необходимые для общего блага и в интересах прогресса, а вовсе не за тем, чтобы по ним грохотали колеса орудий истребления.

Устремленные на конец улицы взоры защитников баррикады сурово нахмурились.

На улице показалась пушка.

— Пли! — скомандовал Анжольрас.

С баррикады грянул залп; облако дыма заволокло и скрыло от глаз и пушку, и людей. Через несколько секунд дым рассеялся, и пушка и люди снова показались. Орудийная прислуга медленно, по всем правилам, не выказывая ни малейшей торопливости, подкатила пушку и установила ее против баррикады. Ни один ружейный выстрел не попал в цель. Затем наводчик нажал на тарель, чтобы поднять прицел, стал устанавливать пушку с важностью астронома, наводящего подзорную трубку.

— Попало! — раздался веселый голос.

И в то самое мгновение, когда ядро ударило в баррикаду, с нее спрыгнул на землю Гаврош.

Он пробрался со стороны улицы Синь и ловко перескочил через добавочную баррикаду, которая заграждала доступ со стороны лабиринта улицы Птит-Трюандери.

Появление Гавроша произвело больший эффект, чем ядро.

Ядро ударило в кучу мусора и в ней скрылось. Оно только перебило одно из колес омнибуса и разбило вдребезги старую тележку Ансо.

Видя это, баррикада весело смеялась.

Гаврош стоял уже на другом конце баррикады и кричал: «Где мое ружье?»

Приказали возвратить ему ружье.

Гаврош сообщил «товарищам», как он их называл, что баррикада окружена со всех сторон. Сообщив эти сведения, Гаврош задорно прибавил:

— Разрешаю вам хорошенько попотчевать их.

— Надо помешать им сделать второй выстрел, — сказал Анжольрас. И, опустив дуло винтовки, стал целиться в фейерверкера, который, припав к орудию, проверял в эту минуту прицел.

Анжольрас нажал собачку винтовки. Грянул выстрел. Артиллерист взмахнул руками, два раза перевернулся на одном месте, поднял голову, как бы затем, чтобы вдохнуть в себя воздух, потом припал к пушке и замер в этой позе. Из-за баррикады видна была его спина, из нее, как раз на самой средине, фонтаном била кровь. Пуля

навылет пробила ему грудь. Он был мертв.

Надо было его унести и заменить другим, а это давало выигрыш времени на несколько минут.

XI

Ружейные залпы чередовались с картечью, не причиняя, впрочем, больших повреждений. Страдала только верхняя часть дома, занимаемая кабачком «Коринф»; окно на первом этаже и мансарды на крыше от действия пуль и картечи постепенно разрушались. Засевшие там защитники баррикады должны были выйти оттуда. Но баррикада не отвечала.

При каждом залпе Гаврош надувал щеку языком.

— Это хорошо, — сказал он, — что они рвут материю на тряпки, — нам нужна корпия.

Пушка была поднята немного выше и дистанция была рассчитана таким образом, чтобы ядро било в крайнюю часть внешнего ребра баррикады, сбивало о него верх и осыпало бунтовщиков, как картечью, дождем каменных осколков.

Этим способом имели в виду заставить бунтовщиков отойти от стены редута и принудить их сгруппироваться подальше внутри баррикады, — это означало, что скоро пойдут на приступ.

Как только бунтовщики будут отогнаны ядром от баррикады, а картечью — от окон кабачка, атакующим колоннам можно будет смело вступить в улицу, не боясь служить мишенью для выстрелов, затем броситься на редут, как накануне вечером, и, кто знает, может быть, даже взять его.

— Надо во что бы то ни стало уменьшить вред, причиняемый этими пушками, — сказал Анжольрас и затем крикнул: — Стреляйте в артиллеристов!

Все держались наготове. Баррикада, так долго до сих пор молчавшая, открыла адский огонь; шесть или семь залпов следовали один за другим, всю улицу заволокло густым туманом, и через несколько минут сквозь этот дым, нависший, как туман, который прорезывали огненные молнии, можно было различить, что две трети артиллеристов лежат под колесами пушек. Остальные между тем продолжали хлопотать около пушек со строгим спокойствием, и только выстрелы следовали один за другим гораздо реже.

— Вот это хорошо, — сказал кто-то, обращаясь к Анжольрасу. — Это успех.

Анжольрас покачал головой и ответил:

— Еще четверть часа такого успеха, и на барри-

каде останется не больше десяти патронов.

Есть основание предполагать, что Гаврош слышал эти слова.

Вдруг Анжольрас увидел кого-то возле баррикады, снаружи, на улице, под выстрелами.

Гаврош взял в кабачке корзину из-под бутылок, выбрался на баррикаду через разрез и спокойно пересыпал в свою корзину патроны из патронташей солдат национальной гвардии, лежавших убитыми у самой баррикады.

— Что ты там делаешь? — спросил Анжольрас.

Гаврош поднял голову:

— Я наполняю корзину.

— Разве ты не видишь картечи?

— Да, точно дождь идет. Дальше?

Анжольрас крикнул:

— Вернись назад!

— Сию минуту, — ответил Гаврош и одним прыжком очутился среди улицы.

Рота, отступая, оставила за собой целый ряд трупов.

Около двадцати трупов лежало в разных местах на земле по всей улице. Гаврош видел перед собой двадцать патронташей, что обещало большой запас патронов для баррикады.

Дым застилал улицу точно туман. Кому при-

ходилось видеть облако, опустившееся в ущелье между двумя отвесными скалами, тот может представить себе этот дым, сжатый и как бы сгущенный двумя тесными линиями высоких домов. Он медленно поднимался, беспрерывно в то же время возобновляясь; благодаря этому постепенно распространялась тьма, помрачавшая даже дневной свет. На этом же основании и противники, защищавшие противоположные концы улицы, едва различали друг друга, хотя расстояние тут было очень короткое.

Эта темнота, по всей вероятности, желательная и даже предвиденная начальниками, которым предстояло руководить атакой баррикады, как нельзя более благоприятствовала и Гаврошу.

Прячась в складках этой завесы, он, благодаря своему небольшому росту, мог пробраться по улице довольно далеко и, не будучи замеченным и не подвергаясь никакой особенной опасности, опустошил первые семь или восемь патронташей.

Он то ползал, то пробирался на четвереньках, держа корзину в зубах, сгибался, скользил и извивался как змея, пробираясь от одного убитого к другому и опустошая лядунки и патронташи с ловкостью обезьяны, грызущей орехи.

С баррикады, от которой он был еще довольно

близко, ему не смели кричать, чтобы он возвратился, из боязни обратить на него внимание. На одном из убитых, оказавшемся трупом капрала, он нашел пороховницу.

— На случай если захочется пить, — сказал он, опуская ее в карман.

Продвигаясь вперед, он достиг наконец места, где туман стал гораздо прозрачнее, настолько прозрачнее, что линия стрелков регулярной пехоты, занимавшая место за насыпью, сложенной из булыжника, и стрелки городской национальной гвардии, занимавшие угол улицы, вдруг стали указывать друг другу на какой-то предмет, двигавшийся в дыму.

В тот момент, когда Гаврош забирал патроны у сержанта, лежавшего около тумбы, в труп ударила пуля.

— Гм! — проговорил Гаврош. — Они стали стрелять в мертвых.

Вторая пуля ударила в камень, как раз возле него. Третья опрокинула его корзину.

Гаврош поднял глаза и увидел, что в него стреляют национальные гвардейцы.

Он выпрямился во весь рост и с развевающимися по ветру волосами уперся руками в бока, вперил глаза в стрелявших в него солдат нацио-

нальной гвардии и вызывающе запел песенку.

Потом он поднял корзину, сложил в нее, не оставляя ни одного, все упавшие на землю патроны и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронташ. Там мимо него просвистела еще четвертая пуля. Гаврош продолжал петь.

Пятая пуля точно еще более подзадорила его.

Так продолжалось несколько времени.

Зрелище было и ужасное, и захватывающее. Гаврош, в которого стреляли, насмехался над стрелками. Казалось, что ему это даже доставляет большое удовольствие. Это был воробей, собирающийся заклевать охотника. На каждый выстрел он отвечал куплетом. Стреляли безостановочно и все время давали промахи. На каждый выстрел он отвечал куплетом. Солдаты национальной гвардии и солдаты регулярной пехоты смеялись, целясь в него. Он ложился, потом вставал, прятался за угол двери, потом вскакивал, исчезал, потом опять показывался, уходил и возвращался, сердился на картечь и в то же время собирал патроны, опустошал патронташи и наполнял свою корзинку. Бунтовщики, задыхаясь от волнения, следили за ним глазами. Баррикада дрожала от страха, а он пел. Пули гнались за ним, но он был

проворнее их.

Он играл в прятки со смертью.

Но вот одна пуля, меткая и коварная, настигла храброго мальчугана. Гаврош зашатался и упал. С баррикады раздался крик ужаса. Гаврош приподнялся, тонкая струйка крови стекала по его лицу. Он поднял обе руки кверху, взглянул в ту сторону, откуда раздался выстрел, и снова запел. Но кончить куплет ему не удалось: вторая пуля навеки оборвала его песенку. Гаврош зашатался, упал лицом на мостовую и уже больше не шевелился. Отважная душа маленького ребенка отлетела.